ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

*

Редакционная коллегия:
А. С. БУШМИН, В. Я. КИРПОТИН,
С. А. МАКАШИН (*главный редактор*), Е. И. ПОКУСАЕВ,
К. И. ТЮНЬКИН

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том десятый

*

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

1869—1872

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА

1872

В БОЛЬНИЦЕ
ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ

1873

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Р1
С16

Подготовка текста
В. Н. Баскакова, Л. М. Климовой

Примечания
Л. Р. Ланского и А. М. Туркова

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1
Подп. изд.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

КАРТИНЫ НРАВОВ

ОТ АВТОРА

Исследование о «Ташкентцах» распадается на две части: «Ташкентцы приготовительного класса» и «Ташкентцы в действии». Настоящим томом оканчивается первая часть, составляющая сама по себе отдельное целое. Я отнюдь не имею претензии утверждать, что в представляемых здесь вниманию читателя параллелях исчерпывается все, что̀ могло бы подойти под эту рубрику, но ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении различных типов «ташкентства», то работе моей, пожалуй, не было бы конца. Притом же в намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники «ташкентства», так и выражение этого явления в действительности. Поэтому первую часть я посвящаю биографическим подробностям героев ташкентства, а во второй — на сцену явится самое «ташкентское дело», в создании которого примут участие действующие лица первой части. Ввиду этого я нашел, что привлечение слишком большого количества элементов, хотя и однородных по своим целям, но крайне разнообразных в своих проявлениях, могло бы загромоздить мой труд множеством лиц, связь между которыми, быть может, представилась бы читателю не вполне ясною. Тем не менее я сознаю, что отсутствие некоторых типов (как, например, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляет пропуск очень заметный. Но я постараюсь познакомить читателя с этими типами во второй части, выводя их постепенно, в роли эпизодических лиц.

ВВЕДЕНИЕ

В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, «необыкновенно ясно и дельно» изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором «Торквато Тассо» столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: «Прикажут — завтра же буду акушером».

Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут — и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Всё начеку, всё готово устремиться куда глаза глядят.

По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите — и мы изумим мир дерзостными поступками.

Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет «свежести». «Свежесть», в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вожделеющий,— это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с «свежим» человеком какого-нибудь «умника»,— и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. «Умник!» — ведь это засоренная голова! это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!

это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотим только созидать, и потому блюдем нашу «свежесть» паче зеницы ока. Мы твердо помним, что от нас ожидается какое-то «новое слово», а для того, чтоб оно сказалось, мы не полагаем никаких других условий, кроме чистоты сердца и не вполне поврежденного ума. Это условие потому хорошо, что оно общедоступно, а сверх того, благодаря ему все профессии делаются безразличными. Человек, видевший в шкафу свод законов, считает себя юристом; человек, изучивший форму кредитных билетов, называет себя финансистом; человек, усмотревший нагую женщину, изъявляет желание быть акушером. Все это люди, не обремененные знаниями, которые в «свежести» почерпнут решимость для исполнения каких угодно приказаний, а в практике отыщут и средства для их осуществления.

Практика — это тоже своего рода божество, которое выведет их из умственного оцепенения и даст смысл их невнятному бормотанию. Там, в этой насыщенной азбучными испарениями атмосфере, среди недомолвок, справок, противоречий и колебаний, они, кроха по крохе, соберут себе сокровище гораздо более прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Там, на боках Петров и Иванов, юрист уяснит себе понятие о мере наказаний; там финансист воочию убедится, что кредитные билеты сами хорошо знают карманы, в которых им быть надлежит. И не утратят они при этом ни единой капли «свежести», ибо при конце профессионального поприща пребудут столь же свободны от наук, как и при начале оного.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вера в силу прирожденной талантливости действительно делала чудеса. Приходил человек совершенно свежий и начинал орудовать. Писал законы, установлял порядки, и даже доводил «вверенную» часть до идеального совершенства. Не только подчиненные, но люди совсем посторонние — и те говорили: «Да, этот человек не то что X. или Z. Этот человек — *подтянет!*» Где тайна этого волшебства? Очевидно, ее следует искать или в неизреченной наглости «свежих людей», или же в том, что самые «вверенные» части столь уже просты, что расступаются даже перед людьми, совсем не поврежденными науками.

Первое предположение, очевидно, не выдерживает никакой критики. Наглость, выступающая вперед только по приказанию,— вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объяснением для жизненных явлений. Гораздо правильнее остановиться на простоте «вве-

ренных частей», тем больше что здесь приходит к нам на помощь и практика со своими истинно поразительными подтверждениями.

Один знатный иностранец, посещавший Россию во времена Петра Великого (предоставляю любителям отечественной старины догадаться, кто этот путешественник), рассказывает следующее: «Несмотря на совершенные сим государем преобразования, процесс, посредством коего управляется здешний народ, столь прост, что не требует со стороны администратора ни высокого ума, ни познаний. Я, по крайней мере, лично знал одного наместника, который был да такой степени простодушен, что однажды, по недоразумению, откусил свой собственный палец, но и за всем тем оказывался вполне удовлетворительным для выполнения тех задач, которые ему предстояли. Каждый день перед ним клали известную порцию бумаг, и ежели эта порция случайно уменьшалась, то он приметно начинал беспокоиться, упрекал подчиненных в нерадении и требовал усугубления рвения. С течением времени он до того вошел в свою роль, что сделался даже прихотливым. Заметил, что ему подают только коротенькие бумаги, и стал требовать длинных; потом и сим не удовлетворился, но велел сочинить статистику, которую, по изготовлении, подписал и отправил. Таким образом, с помощью одного очень простого приема, называемого по-здешнему *подтягиванием,* этот плохой и даже глупый человек прожил несколько лет и умер в звании наместника естественною смертью».

Поверить этому рассказу очень возможно. Всякий из нас знал на своем веку и неутомимых статистиков, и пребодрых финансистов, которые ничего не имели за душою, кроме чистого сердца и не вполне поврежденного ума,— и за всем тем действовали. Каким образом могли действовать эти чистосердечные люди? Каким образом могло случиться, что только естественная смерть освобождала их от тягостей лежавшего на них бремени? Что означает этот факт?

По моему мнению, он может означать одно: простоту задач. Очень долгое время область профессий представляла у нас сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тени. X. взывал об удовлетворении, но в глазах людей профессии он не существовал как живое лицо, а существовало лишь «дело об X., ищущем удовлетворения». Z. томился в тюрьме, но и он как живое лицо был неизвестен, а известно было только «дело об Z., томящемся в тюрьме». Речь шла не об действительной участи людей, а о решении уравнений с одним или несколькими неизвестными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состояния теней, то они и сами на-

чинают сознавать себя тенями, и в этом качестве делаются вполне равнодушны к тому, какие решаются об них уравнения и какие пишутся статистики. Вот тут-то и настигают их «свежие» люди. Сначала они совестятся и довольствуются только простыми уравнениями; потом делаются дерзкими и начинают требовать статистик. Какие плоды приносит их подтягивательная деятельность — они не знают, да и знать, по правде, не нужно, потому что, наверное, она никаких плодов не принесет. «Все равно, братцы, помирать!» — говорят люди, и действительно начинают помирать, как будто и невесть какое мудрое дело делают.

И что всего удивительнее, эта «свежесть» допускалась не только в области деятельности спекулятивной, но и в области ремесл, где, по-видимому, прежде всего требуется если не искусство, то навык. И тут люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему делались? — а потому, очевидно, что требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказания и готовности. Кукольник знал, что̀ говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером. Он понимал, что тут предстоит акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выражение готовности.

Таким образом оказывается, что, как ни велика наша талантливость, все-таки она может считаться действительною лишь до тех пор, пока существует беспредметность профессий или, говоря другими словами, покуда можно все сапоги шить на одну ногу. Как скоро давальцы начнут требовать сапогов, шитых по мерке, никакие приказания не помогут нашей готовности. Еще Петр Великий изволил приказать нам быть европейцами, а мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье, да и тут всё раздумываем: не рано ли? да впору ли будет? — Как хотите, а горше этой формулы самоуничижения даже выдумать трудно.

От чего же мы отбояриваемся? что защищаем? Очевидно, мы защищаем то выморочное пространство, которое после приказания Петра Великого: быть всем россиянам европейцами,— так и осталось ненаполненным. Нет у нас ничего, кроме пресловутой талантливости, то есть пустого места, на котором могут произрастать и пшеница и чертополох. Но именно это-то пустое место и дорого нам. Раскольники, современные Петру,— и те лучше были, ибо говорили: мы хотим пàхнуть по-своему. Мы же ничего не говорим, а просто-напро-

сто с пустом в пусто лезем. И выходит, что мы тоже пàхнем, только пàхнем нежилым местом.

И вот, недалеко от нас глухая стена. Сапожник начинает смутно понимать, что сколько есть на свете ног, столько же должно быть и сапогов; администратор, судья, финансист догадываются, что сзади их профессий есть нечто, что движется и заявляет о своей конкретности, что требует, чтоб к нему, а не его примеривали. В хаосе безразличия, в котором еще так недавно витал некоторый сам себе довлеющий дух, начинают выясняться отдельные образы, которые с изумлением смотрят на стену, воздвигнутую вековою русскою готовностью. И вспоминается им многострадальная история этой готовности. Вспоминается, как они, бия себя в перси, на целый мир возглашали: мы люди серые, привычные! нас хоть на куски режь, хоть огнем пали, мы на все готовы! Вспоминается, как они суетились, разоряли, громили, жгли — и все это без ненависти, без злобы, даже без мысли, единственно ради похотливого желания доказать, сколь талантлив может быть человек, когда знает, что его за эту талантливость не подвергнут телесному наказанию. «Многое мы совершили, многое претерпели,— говорят они,— а в результате все-таки стена — и ничего более!»

Эта стена, однако ж, не с неба свалилась и не из земли выросла. Мы имели свою интеллигенцию, но она заявляла лишь о готовности следовать приказаниям. Мы имели так называемую меньшую братию, но и она тоже заявляла о готовности следовать приказаниям. Никто не предвидел, что наступит момент, когда каждому придется жить за собственный счет. И когда этот момент наступил, никто не верит глазам своим; всякий ощупывает себя словно с перепоя и, не находя ничего в запасе, кроме талантливости, кричит: «Измена! бунт!»

Есть три способа избавиться от глухой стены. Первый заключается в том, чтобы признать прихотливыми все требования жизни, которые почему-нибудь нам не по нутру. Это задача очень трудная (едва ли можно отыскать человека, который дал бы уверить себя, что ощущаемые им потребности прихотливы), но если б даже мы решились поддерживать ее, то и тут необходимо прежде всего понимать, в чем заключаются приводящие в затруднение потребности, откуда они пришли и почему могут быть сочтены прихотливыми. Одним словом, необходимы ум и знание. Другой способ (тоже не весьма надежный) заключается в том, чтоб уверить общество, что положение у глухой стены есть самое выгодное для него положение. Этот тезис еще труднее, но и его защитить не невоз-

можно, если есть знание объекта беседы и подготовленность к принятию возражений. Опять-таки знание и ум. Наконец, третий способ представляется в откровенном признании законности вновь народившихся потребностей и в приискании для них правильного исхода. Этот способ самый надежный, но тут уже просто-напросто требуется ума палата.

Какой бы из этих трех путей ни был избран, во всяком случае, талантливость играет здесь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть — ничего она собственною силою не может. Везде на первом плане требуется знание, пример, навык. Они одни могут дать содержание талантливости, и в некоторых случаях даже обуздать ее стремительность. Человек, который на одной талантливости созидает здание своего будущего благополучия,— это человек, у которого есть пламенное сердце, но в этом сердце нет ничего, кроме погадки готовности. С этой погадкой ему предстоит одно из двух: или удивить мир продерзостью, или наполнить вселенную зловонием. По-видимому, это очень большой риск. Но мы убедимся, что тут даже риска никакого нет, если примем в соображение, что сневежничать, во всяком случае, легче, нежели совершить подвиг. А талантливость именно тем и отличается, что всегда имеет в виду дела самые блестящие, то есть самые легкие. Бо̀жку съесть, вавилонскую башню проектировать — вот задачи, которые ей льстят, на которые она обращает всю свою похотливость. И посмотрите, с какою легкостью выступают эти люди вперед! Как они заранее трубят о победе, как клянутся голыми руками потушить пылающий костер!

И чем больше предвкушение торжества, тем больше малодушия, ненависти и подозрительности при первом неуспехе. Эта последняя черта очень опасна, потому что почва бунтов и измены, на которую вступает потерпевшая неудачу талантливость, есть единственная, доступная ее уровню. Ни измена, ни бунты, по нашему извечному обычаю, не требуют определений. Оба эти слова для каждого ясны сами по себе, то есть ясны именно в том смысле, какой тот или другой талантливый субъект желает им сообщить. С произнесением краткого и в то же время совершенно неопределенного звука приобретается и исходный пункт, и материал для наполнения всей последующей карьеры. Затем уже следуют обуздания...

А что же, кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?

Представьте себе такой случай: директор департамента призывает к себе столоначальника и говорит ему: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку».

Я не берусь утверждать, чтоб столоначальник осмелился возразить, но он все-таки поймет, что открытие Америки совсем не его ума дело. Поэтому, всего вероятнее, он поступит так: разошлет во все места запросы, и затем постарается кончить это дело измором.

Но пускай тот же директор тому же столоначальнику скажет: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы всех этих Колумбов привели к одному знаменателю!»

Вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою.

Митрофаны не изменились. Как и во времена Фонвизина, они не хотят знать арифметики, потому что приход и расход сосчитает за них приказчик; они презирают географию, потому что кучер довезет их куда будет приказано; они небрегут историей, потому что старая нянька всякие истории на сон грядущий расскажет. Одно право они упорно отстаивают — это право обуздывать, право свободно простирать руками вперед.

Митрофан на все способен, потому что на все готов.

Он специалист по части гражданского судопроизводства, потому что занимал деньги и не отдавал оных.

Он специалист по части уголовного судопроизводства, потому что давал затрещины и получал оные.

Он специалист по части администрации, потому что знает такие ругательства, которые могут в одно мгновение опалить человека.

Он специалист по части финансов, потому что все трактиры были свидетелями его финансовых операций.

Он медик, потому что страдал секретными болезнями.

Он акушер, потому что видал нагих женщин.

Все профессии он изучил на своих собственных боках с такой основательностию, что даже получил название «выжиги». «Выжига» — это совсем не ругальный, а, скорее, деловой термин, означающий мужа совета. «Уж коли этакая «выжига» не поможет,— говорят вам, указывая на X. или Z.,— то дело твое пропащее». Вы обращаетесь к «выжиге», и, к изумлению вашему, он действительно помогает вам. Это до того удивительно, что вам непременно приходит на мысль, что и этот «выжига», и средства, которые он употребляет, и ваше дело, и вы сами — все это, взятое вместе, не стоит ломаного гроша. Все это какой-то безобразный мираж, способный поселить в душе не то отчаяние, не то презрение ко всему: к жизни, к себе самому...

Дайте «выжиге» рубль серебра, он заложит душу черту; дайте пять рублей — он сам сделается чертом. Ему и это сделать легко, потому что он один в целом мире знает, где найти черта и что у него просить.

Это ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни и умеет до такой степени прочно внедриться всюду, что, несмотря на свою безазбучность, успевает сделаться необходимым человеком и подлинным мужем совета.

И все благодаря лишь тому, что простота задач продолжает привлекать все сердца.

Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания. Наши так называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется им наполненною скоровоспламеняющимися элементами, состоящими из козней, крамол и измены. Со всем этим надо, конечно, покончить. Но к кому же обратиться? Кто возьмет на себя трудное обязательство сражаться против козней некознедействующих и крамол некрамольствующих? Кто, кроме Митрофана, этого вечно талантливого и вечно готового человека, для которого не существует даже объекта движения и исполнительности, а существует только самое движение и самая исполнительность? Налетел, нагрянул, ушиб — а что ушиб? — он даже не интересуется и узнавать об этом...

Времена усложняются. С каждым годом борьба с жизнью делается труднее для эмпириков и невежд. Но Митрофаны не унывают. Они продолжают думать, что карьера их только что началась и что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, которое им еще долго придется наполнять своими подвигами. Каким образом могли зародиться все эти смелые надежды? где их отправный пункт? Увы! уследить за этим не только трудно, но даже совсем невозможно.

Митрофан плохой теоретик; он не любит ни анализировать, ни обобщать и упорнее всего отворачивается от самого себя. Если б вчерашний день был в свежей памяти, он, быть может, стоял бы укором или, по малой мере, поучением. Но так как вчерашнего дня нет, так как последовавшая за ним ночь принесла за собой хмельное забвение всего прошлого, то нет места ни для поучений, ни для укоров. Представьте себе пропойца, который встает с постели с разбитым лицом, с угнетен-

ною винными парами головой, весь подавленный чувством тупого самоотсутствия, которое не дает ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, где он и кто он. Если б этот человек мог помнить, если б он мог ясно представить себе все подробности безобразий прошедшего дня, быть может, тут произошла бы потрясающая драма. Но так как он ничего не помнит, ничего себе не представляет, то чувствует только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, он снова возвращается к вчерашнему дню, но не для того, чтоб анализировать, а для того, чтоб воспроизвести его с буквальною точностью. В этой безнадежной картине заключается единственно возможное объяснение всего Митрофанова существования.

Для Митрофана не существует ни опыта, ни предания, ни возможности делать какие-либо умозаключения, потому что всякая настоящая минута его жизни без остатка вытесняется следующею минутою. Его наглость не есть наглость, легкомыслие не есть легкомыслие. Это сейчас родившийся, и притом совершенно порожний, человек, об которого, как о каменную скалу, разбивается принцип вменяемости. Его действия можно было бы сравнить с проявлением стихийной силы, но даже и это сравнение оказывается неуместным, потому что задача стихии — бессознательное разрушение рядом с бессознательным творчеством, а задача Митрофана — одно бессознательное разрушение! Вот почему до сих пор не существует ни одной сколько-нибудь ясной теории митрофанства, которая могла бы оправдать его существование и указать на перспективы, ожидающие это явление в будущем.

В XVIII веке Митрофан впервые выступил на дорогу деятельности во всем блеске своей талантливости. В эту достопамятную эпоху со всех сторон сыпались на него стрелы просвещения, и он с какою-то ребяческою отвагой подставлял им свое рыхлое тело. Но в действительности он облюбовал только одну из них, а именно ту, которая называется табелью о рангах, и в ней замкнул весь смысл своего существования. Все, что стояло рядом с этой табелью, все математики, химии, механики, фортификации и проч., о насаждении которых, с жезлом в руках, хлопотал Петр Великий,— все это только внешним образом окатило Митрофана, оставив в его теле лишь легкий озноб. Но табель о рангах внедрилась, вошла в плоть и кровь. С этою табелью в руках, хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам, внося в самые глухие закоулки смелую проповедь о чиноначалии и заражая самые убогие хижины своею просветительною деятельностью. Перед немеркнущим блеском табели о рангах тускло, почти през-

ренно светились прочие вопросы жизни, то есть все то, что составляет действительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всех сторон безнадежнейшим эмпиризмом; источники воочию иссякали под игом расточительности и хищничества; стихии бесконтрольно господствовали над трудом и жизнью человека, а Митрофан ничего не замечал, ни перед чем не останавливался и упорно отстаивал убеждение, что табель о рангах даст все: и славу, и богатство, и решительный голос в деле устройства судеб человечества.

Только полуторавековой искус мог пошатнуть это убеждение и возбудить сомнение насчет живоносных свойств табели о рангах. Но так как это была единственная форма западноевропейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и так как с нею отождествилась идея о просвещении, то весьма естественно, что сомнение в ее доброкачественности распространилось огулом и на все прочие результаты, выработанные цивилизацией Запада. Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой,— вот мнения, наиболее любезные Митрофану. И все потому только, что он смешал цивилизацию с табелью о рангах. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века и, заручившись ими, считает себя уже совершенно свободным от церемонных отношений к цивилизации вообще. Заговорите с Митрофаном о каких угодно открытиях или порядках, которых польза ясна и несомненна даже для неразвитого человека,— он оскалит зубы и, вместо опровержения, ушибет вас таким анекдотом из «Русского архива», что вам сделается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просветительная деятельность, на которую он ссылается, не есть просветительная деятельность, а пародия на нее; что он же, Митрофан, должен быть обвинен в том, что из всех плодов западной цивилизации успел вкусить только от самого гнилого и притом давно брошенного под стол,— он ответит на ваши доказательства другим анекдотом, еще более пахучим, и будет действовать таким образом до тех пор, пока вы не убедитесь в совершенном бессилии каких бы то ни было доказательств перед силою анекдота и уподобления.

Но ежели нет ясных фактов (нельзя же принимать за факт одну голую готовность), на основании которых можно было бы создать теорию митрофанства, то есть упования и прозре-

ния. Известно, что ничто так не окриляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов,— значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидениями. Поэтому, как только Митрофан вступает на почву упований, он делается смел до дерзости, необуздан до самозабвения. Он говорит,— и с восхищением слушает самого себя; и чем больше говорит, тем больше чувствует потребность говорить,— говорить без конца. И всегда для своих разговоров выберет тезис самый неожиданный и самый блестящий: либо пятую стихию, либо новое слово. «Будет носить чужое заношенное белье,— скажет он,— пора произнести и свое собственное, *новое* слово». И, конечно, надежду на произнесение этого нового слова возложит на самого себя.

Что носить чужое заношенное белье не лестно — это истина для всех непререкаемая. Но Митрофан упускает из вида, что он носил это заношенное белье добровольно, не замечая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему с барского плеча. Цивилизованные народы всегда имеют полный комплект белья, и потому меняют его так часто, что обладателю рубища это может показаться даже прихотью. Стало быть, в том нет ничего удивительного, что рядом с чистым бельем имеется порядочная куча и заношенного; скорее же удивительно то душевное настроение, которое заставляет останавливаться именно на заношенном белье предпочтительно перед чистым. Кто ж виноват в существовании такого настроения?

Тайна этой переимчивости задним числом опять-таки объясняется слишком большою талантливостью Митрофана. Ему некогда следить за быстро сменяющимися явлениями жизни, потому что он, уловивши одну какую-нибудь крупицу, уже не может отвязаться от нее, не натешившись всласть, не выжавши из нее сока, не доведя факта до абсурда. Из фрака он сделает мундир и напишет целый трактат о ношении его, из бритья бороды он создаст себе кумир и будет носиться с этим кумиром до изнеможения. Восприимчивость угнетает его и нередко даже делает опасным утопистом и беспардоннейшим регламентатором. Покуда он носится с своим «живым вопросом» и старается внедрить его в себя на веки вечные, живой вопрос давно уже оказывается сданным в архив и замененным другими, более подходящими вопросами. Что в результате такой упорной восприимчивости может быть только глухая стена — это очевидно; но Митрофан слишком самолюбив, чтобы обвинить себя в таком неудачном результате. «Сколько лет мы носим фраки, сколько крови из-за одной бо-

роды пролито, а все толку нет!» — говорит он и принимает твердое намерение навсегда отвернуться от затей разлагающегося Запада, которые, на его взгляд, до того уже тощи, что и натешиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не спорит, что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны. Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастие само свалится когда-нибудь с неба. Митрофан же смотрит на это дело совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутых форм, и в особенности напирая на то, что у нас они (являясь в виде заношенного чужого белья) всегда претерпевали полнейшее фиаско, он в то же время завиняет и самый процесс творчества, называет его бесплодным метанием из угла в угол, анархией, бунтом. По обыкновению, больше всего достается тут Франции, которая, как известно, выдумала две вещи: ширину взглядов и канкан. Из того числа: канкан принят Митрофаном с благодарностью, а от ширины взглядов он отплевывается и доднесь со всею страстностью своей восприимчивой натуры.

Увы! Митрофан не знает, как трудно положение человека, который обязывается жить своим умом. Нет у последнего ничего готового, кроме того, что он приготовил своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имеется в запасе большое подспорье — наука, которую он сам же выдумал и вывел в люди, но наука еще не настолько полна, чтоб отвечать на все запросы жизни. Желания человека опережают науку, и вот он делает всё новые и новые попытки, впадает в заблуждения, поправляет себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человек, живущий своим умом, не может устранить опытов, достающихся даже дорогою ценой. Он знает, во-первых, что в ширине его запросов заключается залог непрерывающегося развития жизни, да, сверх того, не может отказаться от попыток уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождает в нем другую, которая тоже требует удовлетворения. Поэтому, быть может, он копошится несколько более, нежели тот солидный человек, который знает, что кучер наверное привезет его туда, куда приказано; и не столь мудр, как тот мудрец, который стоит, уставясь глазами в стену, и твердо уповает, что стена сама собой расступится перед ним. Часто нам случается слышать, как говорят: «Вот дрянные людишки! что̀ ни человек — то мнение,

что̀ ни вопрос — то спор!» Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные; в сущности, это люди, живущие своим умом и понимающие всю трудность подобного положения. Простим их, ибо они все-таки более самих себя беспокоят, нежели нас.

Митрофан с особенным удовольствием останавливается на политических и общественных формах, потому что видит их внешнюю изменчивость и от этого признака приходит к заключению о негодности самого процесса создания этих форм. По его мнению, каприз и чудачество обуревают вселенную; люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось. То внутреннее содержание, от которого зависит то или другое устройство обществ, те открытия и изобретения человеческого ума, которые так резко определяют характер того или другого периода истории человечества, совершенно закрыты для него. Однако же это пропуск очень важный.

Историческая наука недаром отделила последние четыре столетия и существенным признаком этого отграничения признала великие изобретения и открытия XV века. Здесь проявления усилий человеческой мысли дали жизни человечества совсем иное содержание и раз навсегда доказали, что общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность, что они делаются шире и растяжимее по мере того, как пополняется и усложняется материал, составляющий их содержание.

Митрофан ничего этого не знает и не хочет знать. Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более как случайность и спешит заткнуть ту или другую дыру и сделать некоторые ничтожные поправки в обветшавшем здании табели о рангах. Да,— только в табели о рангах, ибо как ни глумится над ней Митрофан под веселую руку, а она все-таки и доднесь составляет единственный обрывок цивилизации, действительно дорогой его сердцу.

И вот таким-то образом проводится время в ожидании «нового слова» и открытия пятой стихии. Самонадеянность и хвастовство растут, а житье наступает трудное, трудное даже для Митрофанов. Неленостно перенимают они всякую новую штуку, но так как эта штука является независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений, в глазах Митрофанов, есть мир

подробностей, существующий an sich und für sich [1] и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни. Понятно, какое должно выйти столпотворение, сколько заплат, пятен и брызгов грязи должно быть на той ризе, которую сооружает себе Митрофан и к которой он каждый день прибавляет по новой заплате, по новому грязному пятну.

Но, кроме путаницы, Митрофану угрожает еще другая беда: отчаяние. Он может очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста. Если антихрист в виду, если через минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сеять, ни собирать в житницы, а нужно заботиться только о саване и гробе. Подобно сему, если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние.

И за всем тем нас ждет еще «новое слово»... но, боже мой! сколько же есть прекрасных и вполне испытанных старых слов, которых мы даже не пытались произнести, как уже хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которое мы, однако ж, не можем даже определить! Есть ли расчет предпочесть неизвестное известному? и честно ли, наконец, угрожать вселенной «новым словом», когда нам самим небезызвестно, что материал для этого «нового слова» состоит исключительно из «кратких начатков» да из первых четырех правил арифметики?

Где ж элементы будущего? вот вопрос.

В течение последних пятнадцати лет у нас выступило вперед многое, о чем никому и не снилось до того времени. На недостаток приказаний мы пожаловаться не можем, ибо ими наполнены все страницы нашей новейшей истории,— каким же образом отвечала на них наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встречаем один ответ: погодите! еще время не ушло!

У нас есть сословие адвокатов... погодите! еще время не ушло!

У нас есть гласный и устный суд... погодите! еще время не ушло!

У нас есть земские деятели... погодите! еще время не ушло!

---

[1] в себе и для себя.

У нас есть опыты крестьянского самоуправления... погодите! еще время не ушло!

— Погодите! не торопитесь! куда спешить! — в один голос вопиют все Митрофаны, и вопиют так громко, что посторонний человек останавливается в каком-то странном недоумении. С одной стороны, судя по непрерывности предостерегающих криков, ему кажется, что в сей пространной веси происходит либеральное столпотворение; с другой стороны, он видит, ясно видит, что вся поспешность здесь заключается в том, чтобы не спешить.

А этим временем, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются в «аблакатов», а земские деятели — в устроителей пикников, закусок и обедов.

Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую спрятал — в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего.

И с таким-то запасом, с такими-то идеалами Митрофан сбирается в дальний путь и надеется сказать свое новое слово. В ожидании же минуты, когда «слово» назреет, он не на шутку мечтает быть просветителем.

Просветительная миссия — это идеал Митрофана, это провиденциальное его назначение. С штофом в руке, с непреоборимым аппетитом в желудке, он мечется из угла в угол, обещая все привести к одному знаменателю (к какому — он сам того не знает) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести к знаменателю просвещения...

Молчание — вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость. Затем, в ожидании того таинственного «нового слова», которому предстоит обновить мир, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопрос:

Где ж элементы будущего?

ЧТО ТАКОЕ «ТАШКЕНТЦЫ»?

«Ташкентцы» — имя собирательное.

Те, которые думают, что это только люди, желающие воспользоваться прогонными деньгами в Ташкент, ошибаются самым грубым образом.

«Ташкентец» — это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. «Ташкентец» во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительной деятельности — просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом. Тот, кто пьет херес très vieux [1], считает себя просветителем относительно того, кто пьет херес просто vieux; [2] тот, кто пьет херес vieux, считается просветителем всех, пьющих настойку и водку. Разумеется, это только пример; но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятие о градации. Градацию эту он может перенести во всякую другую сферу (например, в сравнительную сферу сюртуков и поддевок, ресторанов и харчевен, кокоток, имеющих ложу в бельэтаже, и кокоток, безнадежно пристающих к прохожему в Большой Мещанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человеком, «который ест лебеду». Это тот самый человек, на котором окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов.

Но и здесь не следует понимать буквально, что «человек, питающийся лебедою», должен непременно наполнять свой желудок этим суррогатом. «Лебеда», как и «голод», суть выражения фигуральные, дающие место для великого множества представлений. Есть лебеда натуральная, которая слывет в мире под названием подспорья и от которой, во всяком случае, хоть живот у человека пучит; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьем ничему не служит. Человек, который питается этою последнею лебедою, есть именно тот человек, которого голоду нет пределов. Он со всех сторон открыт для действия, и именно для действия безазбучного. Он не может дать отпора, потому что у него самого нет единственного орудия, с помощью которого можно отражать безазбучное просветительство — нет азбуки. Каким образом ее не оказывается налицо — от рождения ли он не имел ее или утратил вследствие разных исторических обстоятельств,— де-

---

[1] очень старый.
[2] старый.

ло не в том; во всяком случае, он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи.

Однажды я собственными ушами слышал следующий разговор:

— Дайте срок! — говорил некто,— вот там-то (имярек) должны произойти на днях серьезные замешательства — без нас дело не обойдется!

— Шагу без нас не сделают! — ораторствовал другой,— только зевать в этом деле не следует, не то как раз перебьют дорогу!

Я полюбопытствовал взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нечто вроде горилл, способных раздробить зубами дуло ружья. У каждого из них, наверное, восприемницей была управа благочиния,— не та, которая имеет местопребывание на Садовой улице, а та, которая издревле подстерегает рождение охочего русского человека и тотчас же принимает его в свои недра, чтоб не выпустить оттуда никогда.

В другой раз я слышал другой разговор:

— Слышали? нигилисты-то!.. ведь это, батюшка, клад!

— Клад-то клад; только зевать в этом деле не нужно, а следует раз-раз-раз... вашему превосходительству имею честь явиться!

Я взглянул: передо мною были те же гориллы.

В третий раз:

— Взял и ухватил! Потому, сударь, что в этом деле главное — ухватить! Даже ума не требуется! Кому следует вручил, с кого следует получил! Ухватил — и баста!

— Ухватить-то ухватил; только зевать тоже не следует, потому что нашего брата нонче ой-ой как расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались? С чем, с какими орудиями они приступали к действию? Вот эти-то вопросы и следует предлагать себе всякий раз, когда присутствуешь при подобного рода рассуждениях и разговорах. Если этих вопросов не будет, вся соль рассуждений утратится, а вместе с тем утратится и смысл общего течения жизни. Очень часто мы проходим, слышим, смотрим, и нимало не вдумываемся в то, мимо чего проходим, что слышим, на что смотрим. В большей части случаев конкретность поражает наши чувства скорее машинально, нежели сознательно, и вследствие этого явления, по малой мере сомнительные, кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажим их от покровов обыденности, дадим место сомнениям, поставим в упор вопрос: кто вы такие? откуда? — и мы можем заранее

сказать себе, что наше сердце замрет от ужаса при виде праха, который поднимется от одного сознательного прикосновения к ним...

Вопрошать всегда следует, хотя бы проходящее перед нашими глазами явление представлялось обыденным или даже совсем посторонним. Говорят, что излишние вопросы прибавляют излишнюю горечь в жизни, что отсутствие вопросов предохраняет от состояния бессменного страха, в котором очутился бы человек, если б он всегда видел вещи в их действительном, беспокровном виде. Это правда; но правда и то, что ведь вслед за страхом сама собою приходит и охота освободиться от него, а это уже выигрыш несомненный. Поэтому следует раз навсегда сказать себе, что в мире общественных отношений нет ничего обыденного, а тем менее постороннего. Все нас касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успеем покорить свои страхи, когда уловим интимный тон жизни или, иначе, когда мы вполне усвоим себе обычай вопрошать все без изъятия явления, которые она производит.

Чего хотели упомянутые выше люди? — этот вопрос разрешается одним словом:

Жрать!!

Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!

Жгучая мысль об еде не дает покоя безазбучным; она день и ночь грызет их существование. Как добыть еду? — в этом весь вопрос. К счастию, есть штука, называемая безазбучным просвещением, которая ничего не требует, кроме цепких рук и хорошо развитых инстинктов плотоядности,— вот в эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своих здоровых зубов...

Отрицать чье бы то ни было право на еду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разрастается до таких размеров, за которыми уже следует опасность. Дело в том, что безазбучный ташкентец требует еды не только некупленной, но и беспрерывно возобновляющейся; он никогда не довольствуется одним куском, но, проглатывая этот кусок, уже усматривает другой. Чем больше он ест, тем больше он голоден, и это объясняется тем естественнее, что он даже утратил привычку утолять свой голод порядочным образом. Он не ест, а закусывает, хватая урывками, на лету; вот почему беспрерывное его закусыванье не бросается в глаза. Еда падает словно в пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентец неприметно истребляет целые массы всякого рода туш, и, к удивлению, это нимало не утучняет его. В том-то и заключается ужас, который возбуждает этот человек, что он никогда не скажет: я сыт!

Если нам не кажутся странными некоторые радости, если мы не останавливаемся в оцепенении перед некоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даем себе труда анализировать их внутреннее содержание. А между тем в этих случаях чье-то счастие всегда основано на чьем-то несчастии, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянью. Сомнение здесь тем более непростительно, что достаточно самого поверхностного обзора подобных личностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Одни идут медленно, глядят угрюмо и строго, шевелят челюстями, скрипят зубами, как будто говорят: дай срок! перекушу я тебе когда-нибудь горло! Другие виляют, поражают своею юркостью и самым наивным образом изыскивают способы снять с вас сюртук, а в случае надобности и лишить вас мимоходом жизни. Смотрите внимательнее — и, наверное, вы сделаете такие открытия, которые непременно принесут пользу. От вас не ускользнут ни судорожные подергиванья рук, ни блудящие огоньки, которыми, по временам, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; одним словом, ничего из того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будет, чтоб обогатить ваш ум познаниями и раскрыть сущность явления, дотоле загадочного. Вы приучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. В вашу душу проникнет страх, но повторяю: это здоровый страх, потому что он приводит за собой решимость во что бы ни стало освободиться от него.

Нет ничего опаснее обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается перед нами дрянной человечишко, и мы не спрашиваем даже себя: кого-то он оборвал? Кого-то заживо освежевал? Кого-то проглотил? Мы ждем, чтоб нам объявили об этом с церемонией, то есть чтоб тут был и приговор суда, и эшафот, и заплечный мастер. Только тогда, на месте казни, всматриваясь в эту несытую фигуру, мы говорим себе: «Каков! а я еще вчера видел, как он шнырил по улицам!» Но даже и это не всегда вразумляет нас, ибо, сказавши себе такое назидание, мы тут же опять вступаем на торную дорогу, опять завязываем себе глаза, и не расстаемся с нашей повязкой до тех пор, покуда новая церемония с эшафотом и заплечным мастером насильно не сорвет ее.

Понять известное явление значит уже обобщить его, значит осуществить его для себя не в одной какой-нибудь частности, а в целом ряде таковых, хотя бы они, на поверхностный взгляд, имели между собой мало общего. Понять же явление вредное, порочное — значит наполовину предостеречь себя от него. Вот почему я прошу читателя убедиться, что название

«ташкентцы» отнюдь не следует принимать в буквальном смысле. О! если б все ташкентцы нашли себе убежище в Ташкенте! Мы могли бы сказать тогда: «Ташкент есть страна, населенная вышедшими из России, за ненадобностью, ташкентцами». Но теперь — разве мы можем по совести утверждать это? разве мы можем указать наверное, где начинаются границы нашего Ташкента и где они кончаются? не живут ли господа ташкентцы посреди нас? не рыскают ли стадами по весям и градам нашим?

И ведь никто-то, никто не признает их за ташкентцев, а все видят лишь добродушных малых, которым до смерти хочется есть...

Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь — к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...

Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д.,— вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: «ай! ай!», свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица снискивающего свою лебеду, человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете.

Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют.

Вчера я был в театре, в самом аристократическом из всех — в итальянской опере — и вдруг увидел ташкентца, и что̀ всего удивительнее — ташкентца-француза (оказалось, что это был генерал Флёри). Скулы его были развиты необычайно, нос орлиный, зубы стиснуты, глаза искали. Что-то безнадежное сказывалось в этой сухой и мускулистой фигуре, как

будто там, внутри, все давно застыло и умерло. Разумеется, кроме чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился к моему соседу и с волнением, как будто хотел его предостеречь, сказал:

— Посмотрите, какой ташкентец!

Сосед с удивлением взглянул сначала на меня, потом в ту сторону, в которую я указывал; затем начал всматриваться-всматриваться и наконец пожал мне руку, как будто в самом деле я избавил его от беды.

Из этого я заключил, что, кроме тех границ, которых невозможно определить, Ташкент существует еще и за границею (каламбур плохой, но пускай он останется, благо понятен).

Переходя от одного умозаключения к другому, я пришел к догадке, что даже такие формы, которые, по-видимому, свидетельствуют о присутствии цивилизации, не всегда могут служить ручательством, что Ташкент изгиб. Ташкент удобно мирится с железными дорогами, с устностью, гласностью, одним словом, со всеми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится так называемая цивилизация. Прибавьте только к этим выгодам самое маленькое слово: фюить! — и вы получите такой Ташкент, лучше которого желать не надо.

Истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека. Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не огражденное место, а арену для веселонравных похождений, есть ташкентец; всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стесняясь, швыряет своим ближним, как неодушевленною вещью, кто видит в нем лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец. Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец...

Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными. Может быть, именно чувствуется потому, что в подобные минуты рядом с Ташкентом уже зарождается нечто похожее на гражданственность, нечто напоминающее человеку на возможность располагать своими движениями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Может быть, это «нечто зарождающееся», «нечто намекающее» и делает особенно нестерпимою боль при виде все-таки

прямо стоящего Ташкента? Действительно, все это очень возможно; но что же кому за дело до этого! Разве объяснения утешают кого-нибудь? разве они умаляют хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже в самые глухие, печальные исторические эпохи нельзя себе представить такого количества людей отчаявшихся, людей, махнувших рукою, сколько их видится в эпохи переходные. И рядом с этими отчаявшимися сколько людей, все позабывших, все в себе умертвивших... все, кроме бесконечного аппетита!

Я, конечно, был бы очень рад, если б мог, начиная этот ряд характеристик, сказать: читатель! смотри, вот издыхающий Ташкент! но, увы! я не имею в запасе даже этого утешения! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентов, поистине, пугает меня. Везде шаткость, везде сюрприз. Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить. Мне скажут на это: всему причиной Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший. Пожалуй, я и на это согласен. Что Ташкент порождает Ташкент — в этом нет ничего невероятного, но ведь это только доказывает, что и пессимисты. усматривающие в будущем достаточно длинный ряд Ташкентов, тоже не совсем неправы в своей безнадежности. Утешительного в этом объяснении немного.

Этот порочный круг не может не огорчать. Когда видишь такое общественное положение, в котором один Ташкент упраздняется только по милости возникновения другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и делается вещуном чего-то недоброго. Говорят: новый Ташкент необходим только для того, чтобы стереть следы старого; как скоро он выполнит эту задачу, то перестанет быть Ташкентом. На это я могу ответить только: да, это рассуждение очень ободрительное; но и за всем тем я ни на йоту не усилю моего легковерия, и не надену узды на мои сомнения. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: с одной стороны, упорствующую безазбучность; с другой — увеличивающийся аппетит и возрастающую затейливость требований для удовлетворения его. Ничто так не прихотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить

из безазбучности и в то же время уже порастлившийся тонкою примесью цивилизации. Пирог, начиненный устностью и гласностью,— помилуйте! да это такое объеденье, что век его ешь — и век сыт не будешь! Тут-то и лестно размахнуться, когда размах сопровождается какими-то пикантными видимостями, как будто препятствующими, а в сущности едва ли не споспешествующими. Ведь и из опыта известно, что нарезное ружье стреляет дальше, нежели ружье, у которого дуло имеет внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не верите в существование господ ташкентцев, я попросил бы вас выйти на минуту на улицу. Там вы наверное и на каждом шагу насладитесь такого рода разговорами:

— Я бы его, каналью, в бараний рог согнул! — говорит один,— да и жаловаться бы не велел!

— Этого человека четвертовать мало! — восклицает другой.

— На необитаемый остров-с! пускай там морошку сбирает-с! — вопиет третий.

Не думайте, чтоб это были приговоры какого-то жестокого, но все-таки установленного и всеми признанного судилища; нет, это приговоры простых охочих русских людей. Они хотят себе гуляючи по улице, и мимоходом ввертывают в свою безазбучную речь словцо о четвертовании. Иногда они даже не понимают и содержания своих приговоров и измышляют всевозможные казни единственно по простосердечию... Да, читатель, по простосердечию! и ежели ты сомневался, что даже в слове «четвертование» может вкрасться простосердечие, то взгляни на эти самодовольные фигуры, устремляющиеся в клуб обедать,— и убедись!

Меня нередко занимает вопрос: может ли палач обедать? может ли он быть отцом семейства? какую картину должен представлять его семейный быт? ласкает ли он жену свою? гладит ли по голове ребенка? Помнит ли он? то есть помнит ли, что он заплечный мастер?

Признаюсь, я долгое время не мог даже представить себе, чтоб палач имел надобность насыщаться; мне казалось, что он должен быть всегда сыт. Но с тех пор, как я увидел ташкентцев, которые, посулив кому-то четвертование и голодную смерть на необитаемом острове, тут же сряду устремлялись обедать,— мои сомнения сразу покончились. Да, сказал я себе,— это верно: палач может обедать, может иметь семейство, ласкать жену, гладить по голове ребенка! Что̀ нужды, что он сегодня же утром гладил кого-то по спине? — был час и было дело; настал другой час — настало другое дело; в та-

ом-то часу он заплечный мастер, в таком-то — отец семей-ства, в таком-то — полезный гражданин... Все часы распреде-лены, и у всякого часа есть особенная клетка. Все имеет свою очередь, все идет своим порядком, и, следовательно, все об-стоит благополучно...

Но оставим заплечного мастера и займемся нашими ташкентцами, из разряда простодушных.

«Согнуть в бараний рог» — ясно, что эти люди не понимают, как это больно, если они не теряют даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожелание. Ясно также, что они и о «необитаемом острове» имеют понятие только по слышанной ими в детстве истории о Робинзоне Крузоё. Может быть, им думается, что вот, дескать, Робинзон и в пустыне нашел средства приготовить себе обед и прикрыть свою наготу... Невежды! они не знают даже того, что это история вымышленная! Но в том-то и дело, что есть случаи, когда невежество не только не вредит, но помогает. Во-первых, оно освобождает человека от множества представлений, перед которыми он отступил бы в ужасе, если бы имел отчетливое понятие о их внутренней сущности; во-вторых, оно дозволяет содержать аппетит в постоянно достаточной степени возбужденности. Защищенный бронею невежества, чего может устыдиться гулящий русский человек? — того ли, что в произнесенных им сейчас угрозах нельзя усмотреть ничего другого, кроме бессмысленного бреха? но почем же вы знаете, что он и сам не смотрит на все свои действия, на все свои слова, как на сплошной брех? Он ходит — брешет, ест — брешет. И знает это, и нимало ему не стыдно.

Что тут есть брех — это несомненно. Но дело в том, что вас настигает не одиночный какой-нибудь брех, а целая совокупность брехов. И вдруг вам объявляют, что эта-то совокупность именно и составляет общественное мнение. Сначала вы не верите и усиливаете ваши наблюдения; но мало-помалу сомнения слабеют. Проходит немного времени, и вы уже восклицаете: как это странно, однако ж!.. все брешут!

Все не все; но это не мешает предполагать, что если б, при употреблении некоторых выражений, мы давали место элементу сознательности, то дело от этого едва ли бы проиграло.

Возьмем для примера хоть одно такое выражение: согнуть в бараний рог. Что нужно сделать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перегнуть человека почти вчетверо, и притом так, чтоб головой он упирался в живот, и чтоб потом ноги через голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобие бараньего рога. Возможно ли подоб-

ное предприятие? — по совести, это сказать нельзя. Я уверен, что человек умрет немедленно, как только начнут пригибать его голову с теми усилиями, какие необходимы для подобной операции. Когда он умрет, конечно, уже можно будет и пригибать и наматывать как угодно, но удовольствия в этом занятии не будет. Какая польза оперировать над трупом, который не может даже выразить, что он ценит делаемые по поводу его усилия? По-моему, если уж оперировать, так оперировать над живым человеком, который может и чувствовать, и слегка нагрубить, и в то же время не лишен способности произвести правильную оценку...

Но, скажут мне, как же вы не понимаете, что выражение «в бараний рог согнуть» есть выражение фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брех. Но не могу не огорчаться, что в нашу и без того не очень богатую речь постепенно вкрадывается такое ужасное множество брехов самых пошлых, самых вредных. По моему мнению, не мешало бы подумать и о том, чтобы освободиться от них.

Итак, Ташкент может существовать во всякое время и на всяком месте. Не знаю, убедился ли в этом читатель мой, но я убежден настолько, что считаю себя даже вполне компетентным, чтобы написать довольно подробную картину нравов, господствующих в этой отвлеченной стране. Таким образом, я нахожу возможным изобразить:

ташкентца, цивилизующего in partibus; [1]

ташкентца, цивилизующего внутренности;

ташкентца, разрабатывающего собственность казенную (в просторечии — казнокрад);

ташкентца, разрабатывающего собственность частную (в просторечии — вор);

ташкентца промышленного;

ташкентца, разрабатывающего смуту внешнюю;

ташкентца, разрабатывающего смуту внутреннюю;

и так далее, почти до бесконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всех имеется один соединительный крик:

Жрать!!

Я не предполагаю писать роман, хотя похождения любого из ташкентцев могут представлять много запутанного, сложного и даже поразительного. Мне кажется, что роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все,

---

[1] в стране неверных.

что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. Роман (по крайней мере, в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский), или в отрицательном (роман французский), но семейство всегда играет в романе первую роль.

Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов: она зарождается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это пространство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и темно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду — разве такое разрешение может быть названо разрешением? Конечно, может; и мы не признаем его таковым единственно потому, что оно предлагается нам обрубленное, обнаженное от тех предшествующих звеньев, в которых собственно и заключалась никем не замеченная драма. Но эта драма существовала несомненно, и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество, наконец, борьба за существование — всё это такие мотивы, которые имеют полное право на разрешение посредством смерти. Ведь умирал же человек из-за того, что его милая поцеловала своего милого, и никто не находил диким, что эта смерть называлась разрешением драмы. Почему? — а потому именно, что этому разрешению предшествовал самый процесс целования, то есть драма. Тем с бо́льшим основанием позволительно думать, что и другие, отнюдь не менее сложные определения человека тоже могут дать содержание для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сих пор пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что арена, на которой происходит борьба их, слишком скудно освещена. Но она есть, она существует, и даже очень настоятельно стучится в двери литературы. В этом случае я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности.

Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где; началась поцелуями двух любящих

сердец, а кончилась получением прекрасного места, Сибирью и т. п. Эти резкие перерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но между тем в них, несомненно, есть своя строгая последовательность, только усложнившаяся множеством разного рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания или неправильно признаются нами недраматическими. Проследить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожиданностью,— вот, по моему мнению, задача, которая предстоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман.

Само собою разумеется, что я не пытаюсь даже подойти к подобной задаче; я сознаю, что она мне не по силам. Но так как я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя материалов для нее. Есть типы, которые объяснить небесполезно, в особенности в тех влияниях, которые они имеют на современность. Если справедливо, что во всяком положении вещей главным зодчим является история, то не менее справедливо и то, что везде можно встретить отдельных индивидуумов, которые служат воплощением «положения» и представляют собой как бы ответ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным. И мне кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляет условий совершенной цельности, но может внести в общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный.

Но тут является еще одно условие — это отношение писателя к типам, им изображаемым. Всякая данная историческая минута, несмотря на то что ее можно охарактеризовать одним выражением (так, например, об известных эпохах говорят, что это эпохи, когда «злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя») (Нибур. Чт. о др. ист.), представляет, однако ж, довольно много мотивов, очень разнообразных, из которых одни вызывают типы, возбуждающие негодование, другие — типы, возбуждающие сочувствие. Казалось бы, что нет повода ни для негодования, ни для сочувствия, если уж раз признано, что во всяком положении главным зодчим является история. Между тем мы не можем воздержаться, чтобы одних не обвинять, а других не ставить на пьедестал, и чувствуем, что, поступая таким образом, мы поступаем совершенно законно и разумно. Мне кажется, явление это объясняется тем, что в этом случае и сочувствие и негодование устремляются не столько на самые типы, сколько

на то или иное воздействие их на общество. Кроме действующих сил добра и зла, в обществе есть еще известная страдательная среда, которая, преимущественно, служит ареной для всякого воздействия. Упускать эту среду из вида невозможно, если б даже писатель не имел других претензий, кроме собирания материалов. Очень часто об ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется как бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, в сущности же представление об этой страдательной среде никогда не покидает мысли писателя. Это та самая среда, в которой прячется «человек, питающийся лебедою». Живет ли он или только прячется? Мне кажется, что хотя он по преимуществу прячется, но все-таки и живет немного...

Спрашивается: может ли писатель оставаться совершенно безучастным к тому или иному способу воздействия на эту страдательную среду?

Как бы то ни было, но покуда арена, на которую, видимо, выходит новый роман, остается неосвещенною, скромность и сознание пользы заставляет вступать на нее не в качестве художника, а в качестве собирателя материалов. Это развязывает писателю руки, это ставит его в прямые отношения к читателю. Собиратель материалов может дозволить себе внешние противоречия — и читатель не заметит их; он может навязать своим героям сколько угодно должностей, званий, ремесл; он может сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть в этом случае — смерть примерная; в сущности, герой жив до тех пор, покуда живо положение вещей, его вызвавшее.

Но я чувствую, что уже достаточно распространился о том, какую цель имеют в виду предлагаемые этюды.

Нет ничего легче, как составить краткое известие о родопроисхождении любого «ташкентца».

В большинстве случаев это дворянский сын, не потому, чтобы в дворянстве фаталистически скоплялись элементы всевозможного ташкентства, а потому, что сословие это до сих пор было единым действующим и, следовательно, невольно представляло собой рассадник всего, что так или иначе имело возможность проявлять себя. Кроме пороков, тут были, конечно, и добродетели. Затем, «ташкентец» непременно получил так называемое классическое образование, то есть такое, которое имело свойством испаряться немедленно по оставлении пациентом школьной скамьи. Еще Грановский подметил

это странное свойство российского классицизма. «Студенты,— пишет он в одном из своих писем («Биографический очерк» А. Станкевича),— занимаются хорошо, пока не кончили курса», или, другими словами, до тех пор, покуда может потребоваться сдача экзамена. После сего, как и следует ожидать, наступает полнейшая «свобода от наук».

И в самом деле, представьте себе молодого человека, который выходит из школы, предварительно сдавши свои экзамены. Приготовление к ним стоило ему несколько недель самого усидчивого и назойливого труда и немало бессонных ночей. В течение курса он занимался всем, чем хотите, только не приобретением знания. Инстинкт подсказывал ему, что даровая жизнь не требует знания и что знание, в свою очередь, не может даже иметь никаких применений к даровой жизни. При таком положении вещей может существовать только один стимул для приобретения знания (в особенности знания с точки зрения классицизма, знания, не имеющего немедленного и непосредственного приложения) — это любознательность. Но разве можно обвинять кого бы то ни было за то, что он мало любознателен? разве любознательность обязательна? Наш юноша очень хорошо понимает это и убеждается в необходимости знания только в ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Несколько недель сряду он находится в возбужденном, почти восторженном состоянии. В течение этого времени он окачивает себя множеством разнообразнейших знаний, но понимает только одно: что знания служат ответом на печатные билеты, которые он должен будет брать наудачу со стола экзаменатора. Увы! этих билетиков так много, что на некоторые из них он даже не успел приготовить ответов...

Но судьба, видимо, покровительствует ему: он вынимает именно тот билетик, который всего тверже вызубрил. Ура! он оставляет школу и получает диплом!

Он во всеоружии является на ту самую арену истории, на которой, по выражению Грановского, он должен быть и материалом и зодчим («зачем же материалом? — недоумевает он про себя,— не лучше ли прямо зодчим?»).

Нимало не медля, отправляется он в трактир, и этим открывает свое вступление на арену истории. Через полчаса он уже смешивает Ликурга с Солоном, а Мильтиада дружески называет Марафоном. Проходит еще полчаса — и вот даже этот маскарадный разговор начинает тяготить его. Из уст его вылетают какие-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсем неклассической Машки...

Знание, которым он окатил себя, уже соскользнуло. Он помнит только одно: что он получил диплом и имеет право, отпраздновавши как следует освобождение от наук, быть «зодчим».

Где и в каком смысле зодчим?

Он устремляется под кровлю родительского дома, чтоб отдохнуть после неумеренного окачиванья. Разумеется, к нему простираются все объятия; его осматривают, облюбовывают, говорят: ну вот, молодец! но никто не спрашивает, чем он заручился и с каким запасом приехал. Среди восторгов, увеселений и ласк незаметно проходит несколько месяцев; наконец семейный праздник приедается, наступает забота об устройстве праздника более солидного и на иной манер.

— Надо, мой друг, подумать о будущем,— говорят дворянскому сыну родители,— ведь ты не объедок какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

— Да, надо подумать о будущем! — повторяет дворянский сын и, пользуясь этим случаем, вновь припоминает, что имеет право быть зодчим...

Или голубей гонять, или быть зодчим — средины нет. Сомнения, к которой из этих двух должностей примкнет выбор, нельзя допустить; колебанию может подлежать только один вопрос: где и в каком смысле быть зодчим?

Некоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земским судом. В гражданской палате существуют крепостные дела («прекраснейшие, мой друг, эти места!» — говорят растроганные родители), но там «зодчество» ограничивается только устройством и приумножением собственного благосостояния. В земском суде менее шансов для зодчества имущественного, зато большой простор для зодчества исторического. Историческое зодчество прельщает юношу своим размахом, своею красивостью.

— С чем же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что̀ предстоит мне созидать? что̀ я знаю? — спрашивает он себя, и с непривычки ему делается как будто совестно.

— Я знаю, что я ничего не знаю! — мелькает в его уме единственный афоризм, который он изучил вполне твердо.

— Э! не боги горшки обжигали! — мелькает, однако ж, и другой афоризм, тоже достаточно твердо заученный.

Как всегда водится, истина позднейшая вытесняет истину предшествовавшую. Позднейший афоризм дает молодому человеку возможность позабыть об афоризме прежде явившемся

Решено; он начинает обжигать горшки, и вскоре убеждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способным и достой-

ным. Не только он сам, но все, что его окружает: товарищество, в которое он вступает, и даже масса, которую он предпринимает обжигать,— все в один голос удостоверяет его, что он поистине способен и достоин. Никто не спрашивает его, что̀ он знает, что̀ он умеет делать: так натуральным кажется всем и каждому, что для обжигания горшков совсем не требуются божественные качества. Каково зодчество, таковы и зодчие — это бесспорно. Каково зодчество? — странный вопрос! — ухватил, смял, поволок...

И действительно: за что бы он ни взялся, все в его руках спорится, все выходит оттуда в лучшем виде. Он удивляется только одному: отчего в школе его учили как будто чему-то другому?

— А чему бишь учили меня в школе? — инстинктивно спрашивает он самого себя,— ах, да! res nullius caedet primo occupanti! [1] — верно! — Затем он успокаивается и окончательно решает в уме, что нет в мире ничего столь бесполезного, как нескромные вопросы.

Ворота Ташкента отворены настежь. Молодой человек влетает в них с гиканьем, с свистом, с малиновым звоном, надвинувши шапку набекрень... Он чувствует, что надоедливая опека школы навсегда канула в область прошлого. Стыдиться нечего, да и некогда. С этой минуты он полноправный гражданин своей новой родины.

С этой же минуты он окончательно делается продуктом принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще более своеобразные понятия, которые закрывают плотною завесой остальные обрывки воспоминаний скудного школьного прошлого. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить в мире порядок и всеобщее безмолвие.

Я должен, впрочем, сознаться, что ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается «человек, питающийся лебедою».

Этот человек — явление очень любопытное, в том отношении, что он не только не знает, но, по-видимому, и не желает сытости.

Стоит он, скучившись в каком-то безобразном муравейнике, и до того съежился и присмирел там, что никто даже не

[1] вещь принадлежит тому, кто первый ее захватит.

интересуется знать, что это за масса такая, которая как будто колышется и живет, но из которой в то же время не выходит ни единого живого звука. Членораздельна ли она? способна ли выделить из себя какие-нибудь особи? или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не в силах разложить ее?

Мрак, окружающий эти вопросы, до такой степени густ, что многие воспользовались им, чтоб утверждать, что всякий муравейник есть соединение безличных Иванов, которые все одинаково снабжены толоконными животами и все одинаково ни на что не скалят зубы, ничего не просят, кроме лебеды. Это просто бесшумное стадо, пасущееся среди всевозможных недоразумений и недомыслий, питающееся паскуднейшими злаками, встающее с восходом солнца, засыпающее с закатом его, не покорившее себе природу, но само покорившееся ей.

«Покуда существовало крепостное право,— прибавляют защитники этого мнения,— стадо, по крайней мере, было сыто и прилежно к возделыванью; теперь оно и голодно, и вместо возделыванья поет по кабакам безобразные песни». Таким образом оказывается, что труд, как результат принуждения, и кабак, как результат естественного влечения,— вот два полюса, между которыми осужден метаться человек, питающийся лебедою.

Других определений не существует; по крайней мере, Ташкент цивилизованный, Ташкент интеллигентный не сумел отыскать их.

Как ни авторитетны подобные показания, однако ж, когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то есть тоже жертвами всевозможных недоразумений и недомыслий, то в душу невольно закрадывается сомнение.

Если муравейник, имея перед собой два пути: путь трудолюбия и путь праздности, предпочел последний первому, то, стало быть, это все-таки не просто инстинктивно копошащийся муравейник, но муравейник, имеющий способность выбирать. Предположим, что в данную минуту он сделал свой выбор в явный ущерб самому себе, но если уже однажды признается за ним способность выбирать, то необходимо признать и другую способность — способность руководиться при этом какими-нибудь соображениями. Очень может быть, что праздность показалась ему выгоднее или, по крайней мере, приятнее, нежели трудолюбие. Я наперед соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблуждение, но есть же какая-нибудь причина, вследствие которой и грубые заблуждения в иные минуты принимают вид истины. Одну из таких причин, между

прочим, представляет то разноречие, которое возникает в уме, когда начинаешь применять слово «выгода» к слову «труд». Труд выгоден — это афоризм очень основательный, но нельзя же принимать всякий афоризм буквально. Афоризмы самые крепкие подвергаются разложению; люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идет речь? общая или частная? Если это общая выгода, то не слишком ли понятие об ней отвлеченно для такого простого и неразвитого ума, каким представляется ум муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?

Не могу не повторить здесь того, что уже сказано было однажды в начале этого этюда: никогда не лишнее делать себе вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляет человека, и всем явлениям сообщает их истинные, действительные размеры.

Но, оставив в стороне несостоятельное мнение о безличности «человека, питающегося лебедою», я все-таки должен сказать, что мрак, окружающий его, густ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящего, секретно-вздыхающего и секретно-вожделеющего субъекта, увидеть его лицом к лицу до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрешимою. Может быть, это происходит от того, что приемы, употреблявшиеся доселе с этою целью, были или слишком грубы, или слишком наивны. Эти приемы состояли, с одной стороны, в ташкентском воздействии, с другой — в том, что мы сами (и притом очень неискусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляет, но не исследует; притворство выглядывает наружу из-под самой искусной гримировки, и при частом повторении обращается в привычку, которая все действия человека держит в каком-то искусственном плену. Нужно найти какой-нибудь средний путь, на котором наблюдатель мог бы обозревать человека, питающегося лебедою, оставаясь самим собой, то есть не ташкентствуя, но и не лебезя.

Говоря по совести, этого среднего пути я еще не знаю, но кажется, что с 19 февраля 1861 года он уже начинает понемногу освещаться. Массы выясняются; показываются очертания отдельных особей; наблюдательные средства получают возможность действовать успешнее не потому, чтобы они сами по себе дошли до совершенства, а потому, что уничтожилось несколько лишних преград, стоявших между предметом и предметным стеклом. Очень возможно, что упадут и другие последние преграды.

Что тогда откроется? вот в чем весь вопрос.

ТАШКЕНТЦЫ-ЦИВИЛИЗАТОРЫ

Цивилизующее значение России в истории развития человечества всеми учебниками статистики поставлено на таком незыблемом основании, что самое щекотливое самолюбие должно успокоиться и сказать себе, что далее этого идти невозможно. Я узнал об этом назначении очень рано. Тому назад давно — я воспитывался в то время в одном из военно-учебных заведений, и как сейчас помню, что это было на следующее утро после какого-то великолепно удавшегося торжественного дня,— мы слушали первую лекцию статистики. Профессор вошел на кафедру и следующим образом начал свою беседу о цивилизующем значении России. «А заметили ли вы, господа,— сказал он,— что у нас в высокоторжественные дни всегда играет ясное солнце на ясном и безоблачном небе? что ежели, по временам, погода с утра и не обещает быть хорошею, то к вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставлении обывателям зажечь иллюминацию никогда не встречает препон в своем исполнении?» Затем он вздохнул, сосредоточился на минуту в самом себе и продолжал: «Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением» и т. д. и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображение. Для меня сделалось ясным, что задача России двойственна: во-первых, установить на прочном основании принцип беспрепятственности иллюминаций (политика внутренняя) и во-вторых, откуда-то нечто брать и куда-то нечто передавать (политика внешняя). Если верить московским публицистам, то первая задача уже давным-давно решена. Несмотря на то что торжества имеют характер праздников переходящих, наше солнце настолько дисциплинированно, что зараньше справляется с календарем, когда ему следует играть. Тогда и играет. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мне не мало беспокойств. Я слышал и понимал, что тут есть какие-то «плоды», которые следует где-то принимать и куда-то передавать, но что это за «плоды», в каких лесах они растут и каким порядком их передавать, то есть справа ли налево, или слева направо — этого никак не мог взять себе в голк. «Налево кру-гом!» — раздавалось в моих ушах; но и этот воинственный клич как-то не утешал, а еще пуще раздражал меня.

— Иван Петрович! — спрашивал я почтенного нашего профессора,— зачем же нам передавать чужие плоды, если у нас есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, так никто тебе не препятствует! —

отвечал Иван Петрович с тем равнодушием, которое в то время одно только и одушевляло наших педагогов и которое, казалось, так и говорило: «Что ты пристаешь ко мне за разъяснениями? Я свое дело сделал: отзвонил — и с колокольни долой!»

— Но откуда брать? Куда передавать? — продолжал я настаивать.

— Придет пора да время — все узнаешь. Скажут: «спасибо» — значит, потрафил; надерут вихор — значит, проштрафился, надо начинать сызнова.— Итак, милостивые государи! находясь на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия самим провидением призвана...

Я страдал невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходил к следующим выводам:

1) что у нас своих плодов нет;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаем: руками взял, руками и отдал — вот и все;

и 3) что мы рискуем при этом быть выдранными за вихор.

Результаты неясные, не удовлетворявшие даже тогдашних моих детских требований...

Но с течением времени самые трудные загадки разгадываются. Не буду подробно рассказывать здесь печальную историю моих колебаний; но сознаюсь, что она была обильна всякого рода разочарованиями. Была, например, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогии и видя, что солнце каждый день встает на востоке, я заключил из этого, что восточные плоды суть те самые, которые наиболее пригодны для запада, и что стоит только насадить их, чтобы положить конец всем гниениям, броженим и недоразумениям. Я ободрился. Нарезавши целую рощу цивилизующих орудий и воскликнув: а нуте, господа картофельники! посмотрим, как-то вы там гниете! — я устремился вперед. И что ж оказалось? — что мои цивилизующие орудия все сразу заглохли! что, пересаженные с почвы девственной, но сравнительно тощей, они не только никого не пленили, но даже сами не выдержали изобилия туков, представляемого западным гниением!

Всякий поймет, как был неприятен для меня этот опыт; но так как я все-таки твердо знал, что «стою на рубеже», то цивилизационное мое назначение нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западе не принесла желаемых результатов, рассуждал я сам с собою, то это значит только, что я не потрафил и что нужно потрафлять где-нибудь в другом месте. Меня начала интересовать мысль: не съездить ли, для начала, поцивилизовать слегка, например, в Рязанскую

или Тамбовскую губернии? И, не задумываясь долго, я набрал с десяток здоровых, хотя и довольно голодных ребят, хватил для храбрости очищенной и, крикнув: ребята! с нами бог! ринулся...

Могу сказать смело: я действовал по всем правилам искусства, то есть цивилизовал все, что попадалось мне по пути. Но и тут неудача не перестала меня преследовать. Оказалось, что в этих благодатных краях все уже до такой степени процивилизовано, что мне оставалось только преклониться ниц перед такими памятниками, как акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народные бани), величественные здания волостных и сельских расправ, вымощенные известковым камнем улицы и проч. и проч. Однажды, видя, как на базарной площади беспомощно утопали возы с крестьянскою жалкою кладью, я невольно воскликнул: да чего же им, мерзавцам, еще нужно? — и должен был отступить. Очевидно, тут сталкивались две цивилизации совершенно равноправные: одна, которую хотел насадить я с своими «ребятами», и другая, которую постепенно насаждал целый ряд «ребят», начиная от знаменитого своими проказами Удар-Ерыгина и кончая Колькой Шалопаевым.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывал мое огорчение. Но товарищи мои крепко приуныли. И не мудрено: весь запас очищенной был выпит без остатка, а за минуту перед тем мы съели последний кусок колбасы. В долг никто не верил... Куда девать никому не нужную силу? Где найти секрет, который давал бы возможность просвещать без просвещения, палить без пороху, сечь без розог? Какое употребление сделать из рук, которые так и цепляются, так и хватают? А главное: как добыть очищенной, не имея гроша за душой, спустивши все до последней нитки, не зная никакого ремесла, никаких даже слов, кроме: ради стараться! и — с нами бог?! Всякий согласится, что положение более безвыходное, более трагическое — трудно себе представить!

По временам мною овладевали движения совершенно бессознательные. Я вскакивал с места и бежал вперед, сам не зная куда. Будь у меня в руках штоф водки, я был бы способен в одну минуту процивилизовать насквозь целую палестину! Я бросался и на запад и внутрь, все в надежде что-нибудь зацепить, что-нибудь ущемить... тщетно! Я чувствовал, что во мне сидит что-то такое, чему нет имени... или нет! Это ужасное имя есть, и называется оно — разоренье! Неоткуда ничем раздобыться, некуда ничего нести... все вздор, все обольщенье и прах! Ничего у меня не осталось, кроме ужасного аппетита!

Жрррrать!!

И вдруг я услышал слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаил дыхание.

— Таш-кент! Таш-кент! — слаще всякой музыки раздавалось в ушах моих.

Жрррать!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумал это слово, ты не понимал и сам, какие новые пути оно открывает твоим добрым товарищам! Ты произнес его бессознательно, в порыве отчаяния, но услуга, которую оказала твоя бессознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлял и соображал, товарищи шумели и спорили; слово «Ташкент» было у всех на языке.

— Ташкент! — ораторствовал друг мой, Аркаша Пустолобов,— но, поймите же, messieurs, ведь это только географический термин, ведь это просто пустое место, в котором не только удобств, но даже еды никакой, кроме баранины, нет!

— Жрррать! — как-то особенно звонко раздавалось в ушах.

— Однако, mon cher,— возражал Сеня Броненосный,— баранина... c'est très succulent! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout à mépriser![1] Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а в нашем положении даже далеко не лишняя!

— Жрррать!

— Позвольте! ну, положим — баранина! но общество женщин? где, я вас спрашиваю, найдем мы общество женщин?

Но я уже не слушал; уста мои шептали: стоя на рубеже...

Господи, ужели же, наконец, те цели, о которых говорил учебник статистики, будут достигнуты!

Я прогорел, как говорится, дотла. На плечах у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминание Севастопольской брани, которой я, впрочем, не видал, так как известие о мире застало нас в один переход от Тулы; впоследствии эта самая ополченка была свидетельницей моих усилий по водворению начал восточной цивилизации в северо-западных губерниях), на ногах — соответствующие брюки. Затем, кроме голода и жажды — ничего!

В таком положении я на последние деньги взял себе место в вагоне третьего класса, чтобы искать счастья в Петербурге.

---

[1] это очень вкусно! Из нее делают шашлык... вполне достойный внимания.

Я еще прежде замечал, что, по какой-то странной случайности, состав путешественников, наполняющих вагоны, почти всегда бывает однородный. Так, например, бывают вагоны совершенно глупые, что в особенности часто случалось вскоре после заведения спальных вагонов. Однажды, поместившись в спальном вагоне второго класса, я был лично свидетелем, как один путешественник, не успевши еще осмотреться, сказал:

— Ну, теперича нам здесь преотлично! ежели мы теперича даже совсем разденемся, так и тут никто ничего нам сказать не может!

И действительно, он скинул с себя все, даже сапоги, и в одном белье начал ходить взад и вперед по отделениям. Эта глупость до того заразила весь вагон, что через минуту уже все путешественники были в одном белье и радостно приговаривали:

— Ну, теперь нам здесь преотлично! теперь ежели мы и совсем разденемся, так никто ничего сказать нам не смеет!

И таким образом ехали все вплоть до Петербурга, то раздеваясь, то одеваясь и выказывая радость неслыханную.

Точно так же было и в настоящем случае; вагон, в котором я поместился, можно было назвать, по преимуществу, ташкентским. Казалось, люди, собравшиеся тут, были не от мира сего, но принадлежали к числу выходцев какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло из отставных служак, уже порядочно обколоченных жизнью, хотя там и сям виднелось и несколько молодых людей, жертв преждевременной страсти к табаку и водке. Никаким другим цивилизующим орудием они не обладали, кроме сухих, мускулистых и чрезвычайно цепких рук, которыми они, по временам, как будто загребали. На многих были одеты такие же ополченки, как и на мне; от многих отдавало запахом овчины и водки... Но все говорили без устали; в душе у всякого жила надежда. Надо было видеть, с какою поспешностью проглатывали они на станциях стаканы очищенной, с какими судорожными движениями отдирали зубами куски зачерствелой колбасы! Казалось, земля горела под их ногами, и они опасались только одного: как бы не упустить времени!

— Да-с,— говорит кто-то в одном углу,— это, я вам доложу, сторонка! сверху палит, кругом песок... воды — ни капли! Ну, да ведь мы люди привышные!

— Так-то так, только вот насчет еды... ну, и тово-воно как оно — и этого тоже нету!

— Помилуйте! да какой вам еды лучше! баранина есть, водка есть... выпил рюмку, выпил другую, съел кусок...

— То-то, что водка-то там кусается; а хлебного, так сказывают, и в заводе нет!

— Так что ж! еще лучше — из рису ее там делают! От этой, от рисовой-то, и голова никогда не болит!

В другом углу:

— В этих-то обстоятельствах, доложу вам, я уже не в первый раз нахожусь...

— Ссс...

— Да-с, вот тоже в шестьдесят третьем году, сижу, знаете, слышу: шумят! Ну, думаю, люди нужны! Надеваю вот эту самую дубленку и прямо к покойному генералу! Вышел... хрипит! — Ну? говорит.— Так и так, говорю: — готов! — Хорошо, говорит, мне люди нужны... Только и слов у нас с ним было. Налево круг-ом... Качай! И какую я, сударь, там пòлечку подцепил — масло!

— Д-да... а теперь, пожалуй, об пòлечках-то надо будет забыть! Это такой край, что тут не то чтобы чтò, а как бы только перехватить что-нибудь!

— Что вы! да разве вы не слышали, какая у них там баранина...

В третьем углу:

— Мне бы, знаете, годик-другой,— а потом урвал свое, и на боковую!

— Чтò вы! чтò вы! да вы не расстанетесь! там, я вам доложу, такая баранина...

В четвертом углу:

— Так вы изволите говорить, что тринадцать дел за собой имеете?

— Тринадцать раз, шельма, под суд отдавал! двенадцать раз из уголовной чист выходил — ну, на тринадцатом скапутился!

— Однако, теперь бог милостив!

— Теперь, батюшка, наше дело верное! — завтра к вечеру приедем, послезавтра чем свет в канцелярию... отрапортовал... сейчас тебе в зубы подорожную, прогоны и прочее... А уж там-то, на месте-то какое житье! баранина, я вам скажу...

В пятом углу:

— Не посчастливилось мне, mon cher! — говорит один молодой человек другому (у обоих над губой едва пробивается пушок),— из школы выгнали... ну, и решился!

— А я так долгов наделал; вот отец и говорит: ступай, говорит, мерзавец, в Ташкент!

— Однако, ваш родитель нельзя сказать чтобы был очень учтив!

— Какое учтив! Такими словами ругается, что хоть любому

вахмистру... Ну да, впрочем, это всё пустяки! а меня вот что пугает: как-то там будет насчет лакомства?!

— Говорят, будто ташкентские принцессы очень недурны...

— Гм... ведь мы в полку-то разбаловались. Вот тоже и об еде не совсем одобрительные слухи ходят!

— Однако, я слышал, что баранину можно достать отличную...

В шестом углу:

— Так вы и с супругой туда отправляться изволите?

— Конечно! нельзя же! она у меня баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигивают друг другу. Один из них шепотом говорит: ну, вот! значит, и насчет лакомства сомневаться нечего!

— Только тяжеленько им будет, супруге-то вашей! — продолжает один из прежних голосов,— ведь там ни съесть, ни испить слатенько...

— И! что вы! да там, говорят, такая баранина...

В седьмом углу:

— Откровенно вам доложу: я уж маленько от медицины-то поотстал, потому что и выпущен-то я из академии почесть что при царе Горохе. Однако, травки некоторые еще знаю...

— Конечно! конечно! с них и этого будет!

— Народ простой, непорченый-с. Опять, сказывают, что у них даже простая баранина от многих недугов исцеляет!

В восьмом углу:

— Проповедовать — можно! Только вот сказывают, что они по постам баранину лопают,— ну, это истребимо с трудом!

Одним словом, все заканчивают свои речи бараниной, все надеются на баранину, как на каменную гору. Так что мой друг, Сеня Броненосный, слушал, слушал, но наконец не вытерпел и сказал:

— Если эта баранина хоть в сотую долю так вкусна, как об ней говорят, то я уверен, что через полгода в стране не останется ни одного барана!

Увы! такова судьба цивилизующего начала! Оно истребляет туземных баранов и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу стад своих, или те, которые, в возврат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных — просвещение?

Но здесь я должен сделать довольно горькое для моего самолюбия признание. Я чувствую, что в жизни моей готовится что-то решительное, а это невольно заставляет меня чаще и чаще обращаться к самому себе. Бывают минуты, когда откровенная оценка пройденного пути становится настоятель-

нейшею потребностью всего человеческого существа. По-видимому, одна из таких минут наступает теперь для меня...

Сознаюсь без оговорок: я не имею права быть очень высокого о себе мнения. Лучшее из качеств, которыми я обладаю, есть нечто вроде сократовского: я знаю, что ничего не знаю. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мне в жизни, так как оно делало из меня во всякое время и на всяком месте лихого исполнителя. Я никогда не изобрету пороха (даже если мне формально *прикажут* изобрести — я и тогда как-нибудь отшучусь), но если его изобретут другие — я очень рад. Палить я тоже готов во всякое время, и ежели не встречу слишком серьезных препятствий, то могу выказать храбрость несомненную. Не помню, в какой именно из шекспировских комедий герой пьесы задает себе вопрос: что такое невинность? — и весьма резонно отвечает: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить каким угодно содержанием. Хотя, с точки зрения моралистов, это сравнение для меня не совсем выгодно, но я должен сказать правду (разумеется, по секрету), что оно подходит ко мне довольно близко. Пустая бутылка! — лестного, конечно, немного для меня в этом сравнении! — но для чего ж бы, однако ж, я стал отрекаться от этого звания? Разве мир не наполнен сплошь такими же точно пустыми бутылками, как и я? и разве сущность дела может измениться от того, что некоторые из этих бутылок высокомерно называют себя «сосудами»?

Я тем меньше имею основания конфузиться этого названия, что сделался пустою посудой далеко не произвольно. Тут, задолго до меня, уж были целые поколения пустых посудин, которые, дребезжа и звеня, так много о себе надребезжали и назвенели, что, казалось, и впрямь нет звания более почетного, более счастливого и спокойного, как звание пустой бутылки. Звание это не только насижено, но и по штатам значится подлежащим немедленному замещению, как только открывается свободная вакансия. Тут нет места ни для размышлений, ни для колебаний. Вы являетесь в жизнь, объявляете имя и фамилию. «Записать его в звание пустой бутылки» — и вы записаны...

С моей стороны уже и то значительный шаг вперед, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно так скоро дать трещину, как посудина, которую слишком часто то наполняют, то опоражнивают. Я чувствую, что уже недалек момент разложения, тот момент, когда навсегда должен быть поколеблен авторитет балалаек, пустых бутылок, упраздненных голов и т. п. Но если я сознаю, что такой результат не-

избежен, это нимало не обязывает меня стараться о приближении минуты, которая должна превратить бутылки в черепки. Совсем напротив. Я думаю даже, что если б я действовал в смысле приближения этой минуты, то такая деятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохранения. Что говорит мне здравый смысл? — он говорит: как ты ни бейся, но, кроме пустой бутылки, ничего из тебя не выйдет. Что говорит чувство самосохранения? — оно говорит: неужели же погибать из-за того только, что явился в свет пустою посудиной? и явился непроизвольно, нимало не участвуя в этом акте ни сознанием, ни волею?.. Что остается мне делать после таких ответов? Измениться — я не могу; погибнуть — не имею ни малейшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать в ряду пустых бутылок и этим действием окончательно закрепить законность моего присутствия на арене всероссийской цивилизующей деятельности.

Как бы то ни было, но я живу, а если живу, то, стало быть, имею и право отстаивать свое существование. Но отстаивать его я не могу иначе, как продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою сделали меня обстоятельства. Иначе я буду исключен из жизни. Покуда порожняя посуда имеет возможность дребезжать и звенеть, моя обязанность — тоже дребезжать и звенеть, и, время от времени, наполняться той жидкостью, которая наиболее подходит к вкусам минуты. Какая это жидкость — до этого мне нет дела, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся с полным равнодушием к тому, что ее наполняет. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чем-нибудь заменить эту пустоту, и заменяю ее готовностью. Поэтому я переимчив, вертляв, дерзок на услугу и ни перед какой профессией не задумываюсь. Никто не застал меня ни в каких подвигах, которые могли бы свидетельствовать, что я такое, и это в совершенстве обеспечивает мою свободу. Я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа. Вчера существовало крепостное право — я был крепостником; сегодня крепостное право отменено — я удивляюсь, как можно было дожить до настоящей вожделенной минуты и не задохнуться. Всякая минута застает меня врасплох, и всякая же минута находит меня готовым. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и роды моей готовной деятельности. Над всеми ими парит одно: моя всегдашняя, непоколебимая готовность следовать указанию всякого одаренного способностью указывать перста, хотя бы этот перст был и запачкан. Не ужасайтесь этой способности, не клеймите ее именем разврата; это дей-

ствительно разврат, но разврат добросовестный (бывает же добросовестное воровство!), разврат лишь *до некоторой степени,* точно так, как и все прочее, что̀ во мне ни есть, все добросовестно, и все развратно лишь *до некоторой степени.*

Иногда мне случается накуролесить серьезно: обрушить какой-нибудь монумент, передавить при этом целую уйму людей. Из этого одни заключают, что я имею злое сердце и делаю вред преднамеренно, другие — что я человек решительный, действующий во имя каких-то сознанных мною идей. Я вслушиваюсь в эти толки и смеюсь себе втихомолку, ибо я очень хорошо понимаю, что, в действительности, я только веселонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно бить, давить, неистовствовать, ходить колесом — и никто не имеет права вменить мне это ни в злодеяние, ни даже в озорство. Помилуйте! я сам к своим деяниям отношусь совершенно объективно, то есть исключительно с точки зрения чистоты отделки. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю; мало того: я радуюсь, трепещу, страдаю, скрежещу зубами... о, если б знали, что все это не более как угар! если б могли видеть, как разрывается после этого угара голова, как болезненно бьется и сжимается сердце!..

Многие спрашивают меня: чего ж я достиг? Но разве на этот вопрос я, с своей стороны, не могу ответить другим вопросом: а чего же, милостивые государи, может достигнуть человек, прогоревший дотла? человек, который не имеет ни воспоминаний, ни надежд, у которого нет ничего внутри, кроме разорения? — Конечно, ничего другого, кроме того, чтобы как-нибудь не пропасть, чтоб не быть вконец искалеченным и хоть изредка да возобновлять в себе вкус тех благ, которые *теперь* выбрасываются ему в виде обглоданной кости, но которые *некогда* составляли фонд его существования. Если я достигаю всего этого — я считаю себя вполне удовлетворенным. Воспоминание о потерянных благах жизни переносится совсем не так легко, как это может казаться с первого взгляда. Оно до последней минуты волнует и раздражает пленное воображение; оно преследует, жжет; оно медленно, всечасно отравляет. В настоящем — воздержание и тоска; впереди — вино, игра, женщины... а в промежутке — лишь небольшой океан грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупец, который, благословясь, не бросится вплавь?

Грязи! какой грязи? в этом весь вопрос!

Если б эта грязь пачкала наглядно, осязательно, если б она изменяла наружность человека, уничтожала ее элегантность, действовала тлетворным образом на зрение и обоняние сосе-

дей — тогда так! Тогда, конечно, и самый отчаянный человек задумался бы, прежде чем окунуться в нее. Но ведь это грязь отвлеченная, метафизическая; грязь, о которой ces dames[1] даже понятия никакого не имеют!

Переплывите этот грязный океан, окунитесь в него с головою, ныряйте, шалите сколько угодно — и вы все-таки выйдете на берег, словно из душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получают даже какой-то особенный, не лишенный пикантности блеск!

Мне во сто крат более досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороков, которую так охотно навязывают всем и каждому особого рода цеховые, именующие себя моралистами. Неприличие и бесконечную ядовитость моей поддевки я понимаю сразу. Ее появление вносит конфуз в порядочные семейства, заставляет умолкнуть самые оживленные разговоры, расширяет изумлением глаза; одним словом, уничтожает веселость, гармонию, движение и жизнь. Как бы я ни был самостоятелен, я не могу не сознавать, что мой приход производит всеобщую панику. Я не могу не сказать внутренно: «Да, твое место не здесь, не среди этих цветущих силою и уверенностью людей, а там, в вагоне третьего класса, в кругу людей надломленных, потухших и полинявших, людей с завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающих очищенную и раздирающих зубами окаменелую колбасу!» В эти горькие минуты я явственно слышу, как внутренности мои колышутся под наплывом ненависти — ненависти к кому? К тем ли, которые меня презирают? Нет, не к ним, ибо они представляют идеал, к которому стремятся все мои помыслы и которому я могу завидовать, но ненавидеть не могу. К кому же? — а именно к тем, кого я сам презираю, к тем моим собеседникам по вагону третьего класса, которые вчера простодушно сообщали мне о своих видах на ташкентскую баранину!

Эти ужасные люди своим участием, своим панибратством каждую минуту уничтожают меня. Они напоминают мне, что я не что иное, как un homme perdu de dettes[2], что я такой же проходимец, пропойца, прощелыга, как они все, что я один из тех любопытных субъектов, которые растратили молодость, силу, таланты и состояние — на что? — на лестное знакомство с половыми московских трактиров! Как же мне не ненавидеть их? Как не броситься мне в какой угодно омут, лишь бы освободиться из плена их ужасного панибратства!

---

[1] дамы.
[2] человек, погрязший в долгах.

И я достигну этого! В Ташкенте ли или в другом месте, но я дойму этих людей, пятнающих меня своим прикосновением!..

Да, если уж заводить речь о каких-то метафизических пятнах, незримо ложащихся на какую-то, не менее метафизическую совесть, то прежде надлежит изобрести средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы их гореть на лбу и щеках человека неизгладимым свидетельством того праха, которым преисполнено в нем все, за исключением сюртука и штанов, всегда находящихся в безукоризненной исправности! А так как этого средства, по счастью, не изобретено, то, стало быть...

Но довольно морализировать.

Я знал, что главным двигателем по части ташкентской цивилизации состоит некто Пьер Накатников, мой старый товарищ по школе. Он занимался организацией армии цивилизаторов; он кликал клич и вербовал охочих людей; он отправлял их целыми транспортами к месту назначения, распоряжался перевозочными средствами и т. д. и т. д.

Каждого человека судьба снабжает какою-нибудь специальностью. Одних она делает специалистами по части юридических вопросов, других — специалистами по части вопросов педагогических, третьих (большинство) — специалистами по части «очищенной» и т. п. Специальность Накатникова заключалась в распространении цивилизации. Никто не имел права с бо́льшим основанием сказать: «стоя на рубеже», как Накатников. В нем это была страсть до того живая и беспокойная, что он ни минуты не мог посидеть на месте, чтоб не озаботиться насчет того или другого темного уголка, каким-нибудь чудом ускользнувшего от его цивилизующего влияния. Он неоднократно уже делывал весьма замечательные в этом смысле походы, и потому был чрезвычайно опытен. Мало того что он мог заранее определить все материальные подробности похода (заготовление цивилизующих орудий, количество их и т. д.), но инстинктивно угадывал, что́ кому требуется. Разумеется, всего нужнее оказывались разные принципы. Так, например, направляя стопы свои на запад, он наперед говорил, что первый принцип, с которым надлежит ближе познакомить обывателей,— это le principe du stanovoy russe[1]. Устремляясь внутрь, он знакомил невежд с принципом строгости и скорости во взыскании податей. Теперь, когда дело шло

---

[1] принцип русского станового.

об отдаленном востоке, он, разумеется, прежде всего задал себе вопрос: чего им нужно? — и тотчас же, с свойственною ему проницательностью, решил, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцев с principe du télègue russe[1]. Я это знал и, разумеется, приготовил несколько нелишних соображений в этом смысле.

Признаюсь, я не без волнения переступил порог канцелярии, в которой должна была решиться моя участь. Накатников был некогда моим другом — это правда, но в то же время я знал, что ему небезызвестна была моя цивилизующая деятельность в одной из западных губерний... Это меня смущало, потому что я вел себя тогда... ах, как я себя тогда вел! К счастию, я мог утешить себя той мыслью, что современный контингент наших цивилизующих сил все тот же, который действовал и на западе, и внутри, и что, следовательно, как ни бейся, а обойти нас ни под каким видом нельзя.

Когда я вошел в приемную, все мои вчерашние спутники по вагону были уже налицо. Многие из них почистились, все были положительно трезвы. Такие физиономии встречаешь только в приемные дни в канцеляриях да в церквах перед причастием. Кроме их, набралось еще много другого народа, столь же решительного и столь же скудно, но чистенько одетого. Пьер опрашивал каждого поодиночке и главное внимание обращал на специальности, могущие служить подспорьем в деле цивилизации. В большей части случаев он встречал просителей как старых знакомых, уж известных ему по цивилизующей деятельности на западе и внутри. По движению его лица я убедился, что и мой приход не остался им незамеченным.

Странно играет судьба людьми. Я знал Пьера в школе и знал, что там он играл довольно незавидную роль. Как сейчас вижу его: сидит перед складным зеркальцем и вечно причесывает волосы. На губах улыбка, и около верхней губы, в углу, шевелится кончик языка; изнутри слышится какое-то неопределенное мурлыканье. Чешется-чешется, потом нагнется, заглянет в зеркальце, помурлычет, что-то поправит, и опять начнет мерно водить щеткой по голове. Никто не знал, о чем он думал, и даже думал ли о чем-нибудь. В те минуты, когда он бывал свободен от туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда поневоле и всегда с определенной целью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставом заведения. И всегда при этом кончик языка прилизывал зачинающийся над верхнею губою ус.

---

[1] принципом русской телеги.

Казалось, в нем происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтоб очень умная. В улыбке его (а он улыбался постоянно) виделось что-то сардоническое, вопросительное; как будто он сам себя спрашивал: «Чему же я, однако, улыбаюсь?» Говорил он редко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроков, которая все-таки требовала некоторой связности речи, едва ли кто-нибудь из нас имел бы возможность утверждать, в состоянии ли он сказать кряду два слова. Он никогда не дрался, никогда ни к кому не приставал; его можно было дразнить и даже щипать — он только пожимался и изредка произносил единственное, заветное слово: «шут»! Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой меры, то он молча вскакивал из-за туалета, молча схватывал первый попавшийся под руку предмет: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырял ею в обидчика. Таким образом, молча, улыбаясь и как-то машинально следуя за всеми товарищескими движениями, прожил он с нами шесть лет. Никто не мог назвать его своим другом, но все видели в нем доброго товарища. В курсе он вышел последним.

И вдруг мы узнаем, что наш Петя трется около какого-то генерала и что тот употребляет его в качестве цивилизатора!..

Но счастье ужасно изменяет человека. В ту минуту, как я пишу эти строки, Накатников уже состоит в чине штатского генерала, имеет на груди очень почтенное украшение... и говорит! Я не могу утверждать, что он говорит разумно, но он говорит, и этого уже для меня достаточно. Слова следуют друг за другом в порядке; по временам можно даже различить мысленное присутствие знаков препинания. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькает на губах, но теперь она уже имеет характер благосклонности; кончик языка по-прежнему беспокойно прилизывает искусно заправленные концы усов, но теперь это движение уже не кажется просто инстинктивным, а выражает какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнее, безукоризненные бакенбарды обрамливают блистающее свежестью лицо; но ничто не напоминает ни о долгих часах туалета, ни о томительных совещаниях по поводу какого-нибудь непокорного волоска. Напротив того, кажется, что Пьер исключительно поглощен заботами своей миссии, а прическа тут так себе... пришла сама собою.

Как произошла эта метаморфоза — я с точностью объяснить не могу, но несомненно, что тут большую роль играло то случайное положение, которое Пьер успел занять. Положения обязывают. С расширением горизонтов явления самые обще-

известные и бесспорные утрачивают свою резкость и даже изменяют свои первоначальные названия. Глупость начинает называться благодушием, коварство — дипломатией, мошенничество — искусством жить на свете. В чине коллежского регистратора Пьер был глуп; теперь, в чине штатского генерала, он сделался благодушен. Глупость неприятна, и ежели не представляет положительного порока, то, во всяком случае, никого не украшает; напротив того, благодушие есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьер обошел всех по очереди; всем сказал слово ободрения и надежды, и когда приблизился к моему соседу, то я совершенно явственно услышал как бы случайно оброненное им слово: «шут»!

Я понял, что это слово было пущено по моему адресу, и, признаюсь откровенно, весь вспыхнул от удовольствия. Это слово разом перенесло меня к милой односложности нашего школьного прошлого. Мало того: оно заключало в себе отпущение всех моих недавних проказ. Я просветлел и переминался с ноги на ногу в ожидании аудиенции. Я видел в нем уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшего завидное положение, а какое-то высшее существо, которому я обязан был принести в жертву все. «До последней капли крови!», «не щадя живота!», «не токмо за страх, но и за совесть!» — вот единственные формулы, которые бессознательно вырабо-

тывали мои мозги, под влиянием внезапного прилива преданности. Наконец просители были удовлетворены, и мы остались вдвоем.

— Шут! — повторил он, но так мило, так бесконечно-благосклонно, что я мог только произнести:

— Ради стараться, ваше превосходительство!

— Шут!

Он с «небесною» улыбкой оглядел меня с головы до ног и, остановившись на моем ополченском казакине, продолжал:

— Ба! и старый друг на плечах!

Я был побежден и уничтожен. Со слезами на глазах я рассказал печальную повесть моих грехопадений; признался ему во всем, даже...

— Ваше превосходительство! Я здесь перед вами... как перед отцом! казните, но не отнимайте от меня вашего расположения! — заключил я прерывающимся от волнения голосом.

Такая доверенность видимо польстила ему; он был тронут и с чувством пожал мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось полное надежд и загадочных предприятий. Он объяснил мне всю важность предстоящих задач и,

постепенно развивая свои мысли, de fil en aiguille[1] пришел наконец к тому, что̀ он называл «la question du télègue russe»[2]. Этот вопрос, по его мнению, должен был явиться отправным пунктом нашей будущей цивилизующей деятельности.

— Первоначальный способ передвижения,— говорил он,— несомненно представляется нам в собственных ногах человека. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этим способом, удовлетворяя своим немногочисленным нуждам. Тем же способом двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищ наших...

— В недавнее время заведены «посыльные», которые тоже...— осмелился вставить я от себя.

— Ну да, мы, наши прародители и «посыльные» — все это пользуется первоначальными способами передвижения. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мне нужно высказать мою мысль вполне. Итак, я сказал, что первоначальный способ передвижения заключался в пешково̀й ходьбе. Но по мере того, как человек порабощает природу и укрощает зверей, способы передвижения усложняются; на смену пешково̀й ходьбы является езда верхом, на четвероногих. Выступает понятие о собственности, которая, на основании правила: omnià meà mecùm portò[3], навьючивается, вместе с всадником, на одно и то же животное. Это уже шаг вперед, но, согласись со мной, что шаг очень ограниченный (я сделал знак головой и несколько подкатил глаза, как будто хотел сказать: oh! comme je vous comprends, mon général![4])... Собственность ничтожна, перевозочные средства тоже — вот ключ для объяснения существования народов пастушеских, кочевых. Они бродят, кочуют, не могут усидеть на месте... enfin, tout s'explique![5] Наконец появляется телега — этот неудобный и тряский экипаж! — но посмотри, какую он революцию произведет! Своею неудобностью он заставит обывателя остеречься излишних передвижений, и тем самым привяжет его к земле. Эта привязанность, с своей стороны, породит понятие о навозе. Видя постепенное накопление этого удобрительного материала, простодушный пастух спросит себя: что̀ такое навоз? и в первый раз задумается, в первый раз осенится мыслью, что навоз, как и все в природе, существует не без цели. Он начинает дорожить навозом, он видит в нем ses pénates et ses lares[6] — и вот

---

[1] слово за слово.
[2] «вопрос о русской телеге».
[3] все свое ношу с собою.
[4] о! как я вас понимаю, генерал!
[5] словом, все ясно.
[6] своих пенатов и ларов.

устраивает около него свое жилище и, незаметно для самого себя, вступает в период оседлости (oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon général!). Понимаешь? Человек заводит телегу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходит перед нашими глазами незамеченным, совершенно достаточно, чтоб он приобрел элементарные понятия о навозе и навсегда оставил кочевые привычки! Но этого мало: имея телегу, он полагает основание прочной цивилизации (oh, comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можем сразу произвести в быте этих несчастных бродяг, ничем не рискуя, ничего даже с собою не принося... кроме телеги! кроме простой русской телеги! Aussi, je leur en donnerai... du télègue! [1] Га!

Он кончил, а я стоял и все слушал. Я удивлялся только тому: как это мне самому сто раз не пришли в голову мысли столь простые и естественные. Каждый день я вижу сотни телег, а никогда-таки не приходило на мысль, что тут-то именно и сидит вся суть цивилизующего русского дела. По-видимому, и Пьер убедился, что я понял его намерения, потому что прервал свои объяснения и ласково сказал мне:

— Ну, на первый раз довольно! Я сегодня же доложу о тебе нашему генералу, и мы запишем тебя в гвардию. Да, mon cher, и у нас, ташкентцев, есть свои чернорабочие и свои гвардейцы! Que veux-tu! [2] Первые — это так называемые les pionniers de la civilisation [3], они идут вперед, прорубают просеки, пускают кровь и так далее. Все эти люди, которых ты сейчас у меня видел,— всё это кровопускатели. Если они погибают, то, в общем ходе дела, это почти остается незамеченным. Этих кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они так и лезут из всех щелей на смену друг другу. Совсем другое дело — наша цивилизационная гвардия. Люди гвардии не прорубают сами просек, а только указывают и дирижируют работами. Им не позволяется погибать, потому что им ведется подробный счет. Сверх того, они получают двойные прогонные и порционные деньги!

Должно быть, впечатление, произведенное на меня последними словами, было особенно сильно, потому что Накатников благосклонно улыбнулся и сказал:

— Понимаю! соловья баснями не кормят! C'est juste! [4] Желание скорей разрешить вопрос «о получении» с твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во вни-

---

[1] Так вот я дам им... телегу!
[2] Ничего не поделаешь!
[3] пионеры цивилизации.
[4] Правильно!

мание, что «старый друг», которого ты так добросовестно хранишь на плечах, должен как можно скорее уступить место новому другу, более приличной наружности. Завтра это дело будет покончено, а покамест...

Он дал мне некрупную ассигнацию и отпустил от себя, потому что новые толпы просителей ожидали его. Я не шел домой, а летел, точно у меня выросли сзади крылья. По дороге я забежал в Палкин трактир и разом съел две порции бифштекса.

Целый день я получал деньги.

Когда я пришел в главное казначейство и явился к тамошнему генералу (*на всяком месте есть свой генерал*), то даже этот, по-видимому, нечувствительный человек изумился разнообразию параграфов и статей, которые я сразу предъявил! А что всего важнее, денег потребовалась куча неслыханная, ибо я, в качестве ташкентского гвардейца, кроме собственных подъемных, порционных и проч., получал еще и другие суммы, потребные преимущественно на заведение цивилизующих средств...

§ 15. Цивилизующие средства.

Ст. 20. Заготовление телег.

§ 26. Береговое довольствие.

Ст. 14. Призрение шлющихся и сточих людей. И т. д. и т. д.

Я считал деньги с утра и до пяти часов. Сеня Броненосный, который получал при этом свои тощие *ординарные* порционы и прогоны, только облизывался.

Я помню, что в этот день я все помнил.

Я помню, что на другой день я отправился на железную дорогу и взял место в спальном вагоне второго класса.

Я помню, что был одет в *хорошее* платье, что ел *хорошее* кушанье, что старая ополченка была спрятана в чемодан. Через плечо у меня висела дорожная сумка, в которой хранились казенные деньги.

Все это я помню...

Но каким образом я очутился в Ростове-на-Дону?!! И не в хорошем платье, а в моей старой ополченской поддевке?!! Где моя сумка?!!

Ужели я приехал сюда единственно для того, чтоб познакомиться с градским головою Байковым, которого я, впрочем, не видал?!!

Не может быть!

Я помню: я ехал...

Я ехал, я ехал, я ехал...

Я ехал.

Вероятно, по дороге я засмотрелся на какую-нибудь посторонюю губернию и...

Господи!

Тут есть какое-то волшебство. Злой волшебник превратил в Ташкент Рязанскую губернию... Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пил...

В Таганроге меня арестовали.

— Откуда? куда? — спрашивали меня.

— Я помню: я ехал...

— Где казенная сумка?

— Я помню: я пил...

Что случилось? где я нахожусь?

Кругом меня ходят какие-то тени и говорят: «стòя на рубеже»... Потом приходят другие тени и говорят: «le principe du télègue russe»...

§ 15. Ст. 20. Заготовленне телег!!

Но ведь надобны же средства, mon cher! Телега... конечно, это не бог знает драгоценность какая, но ведь надо построить ее! Где средства? Где ж средства... коли я их все пропил... mon cher!

ОНИ ЖЕ

Ах! как я тогда себя вел!

Ташкент еще завоеван не был; на Западе дело было покончено; мы были свободны, но страсть к завоеваниям не умирала.

Ничего другого не оставалось, как обратиться внутрь...

Я помню, это было летом. Петербург погибал, стихии смешались. Наводнение следовало за наводнением; Адмиралтейство уже уплыло; с часу на час ожидали, что поплывет Петропавловская крепость. Публицисты гремели, общественное

мнение требовало быстрой и действительной немезиды. Образовались, как водится, под предводительством отставных генералов, несколько частных компаний «для искоренения зла»; акции разбирались нарасхват, тем более что цена им была назначена копейка серебром. Как в 1612 году, общество пыталось спасти себя само, без разрешения начальства. Объявлен был поход против неблагонадежных элементов; крестоносцев потребовалось множество. К одной из таких компаний, под названием «Робкое усилие благонамеренности», приступил и я.

Как только кто-нибудь кликнет клич — я тут. Не успеет еще генерал (не знаю почему, но мне всегда представляется, что кличет клич всегда генерал) рот разинуть, как уже я вырастаю из-под земли и трепещу пред его превосходительством. Где бы я ни был, в каком бы углу ни скитался — я чувствую. Сначала меня мутит, потом начинают вытягиваться ноги, вытягиваются, вытягиваются, бегут, бегут, и едва успеет вылететь звук: «Ребята! с нами бог!» — я тут.

— Куда прикажете, вашество?

— А! ты опять здесь!

— Точно так, вашество!

— Благодарю, мне люди нужны!

Так именно было и тогда. Не помню, в какой губернии я скитался, но помню, в кармане не было ни гроша. И еще помню: мера беззаконий исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушаком, подкрепиться тремя-четырьмя рюмками очищенной, сесть в телегу, перекреститься — все это было делом одной минуты. Затем скакать, скакать и скакать... И действительно, я прискакал в тот момент, когда генерал произносил возмутительную речь. Эта речь произвела на меня такое глубокое впечатление, что я и теперь помню ее от слова до слова. «Господа! — сказал он,— не посрамимся, но ляжем костьми. Так, милостивые государи, говорил блаженной памяти его высочество великий князь Святослав Игоревич, намереваясь вступить в сокрушительный бой с Иоанном Цимисхием»... Генерал остановился, покраснел и прибавил: «Господа! я не оратор, но, как человек русский, могу сказать: ребята, наша взяла!..»

В это самое время я вошел. К удивлению, приемная зала была уже полна соискателей всех возрастов, состояний и наций. Очевидно, мутило не меня одного. Фонды компании в одну минуту возвысились с копейки до ломаного гроша. Сочувствующие, желающие поживиться, теснились, толкали друг друга, бросали кругом завистливые взгляды, так что генерал, чтобы предотвратить несчастие, должен был сказать: «Госпо-

да! не торопитесь! всем будет место! мне люди нужны!» И затём, обращаясь к одному из приближенных, продолжал: «Какой, однако, прекрасный наплыв чувств!»

Нас тут же всех поголовно переписали и велели немедленно явиться в правление для окончательного распределения по отрядам (par èscouades). Я помню, в числе соискателей меня в особенности поразил один инородец: при трехаршинном росте и соразмерной тучности он выражал такую угрюмую решительность, что самые невинные люди немедленно во всем сознавались при одном его приближении.

Генерал наш долго любовался им, но, заметив, что это предпочтение во многих начинает возбуждать чувство патриотической ревности, тотчас же поспешил разуверить нас. «Господа! — сказал он,— не думайте, прошу вас, чтобы у нас требовались исключительно люди сверхъестественного роста! Нет! — в нашем предприятии найдется место для людей всякого роста, всякой комплекции. Одно *непременное* условие — это русская душа!» Слово «непременное» генерал произнес с особым ударением.

— А немцу можно? — раздался в толпе чей-то голос...

Небесная улыбка озарила лицо генерала.

— Немцу — можно! немцу всегда можно! потому что у немца всегда русская душа! — сказал он с энтузиазмом и, обращаясь вновь к своему приближенному, прибавил: — О, если бы все русские обладали такими русскими душами, какие обыкновенно бывают у немцев!

Генерал на минуту задумался и пожевал губами.

— Наполеон Третий сказал правду,— произнес он, как бы в раздумье,— что такое истинный француз? спросил он себя в одну из трудных минут, и отвечал: истинный француз есть тот, который исполняет приказания генерала Пьетри! И с тех пор, как он сказал себе это, все у него пошло хорошо!

— Так точно, ваше пр-ство! — прогремели мы хором.

Инородец шевелил глазами и простирал руки. Наконец перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей; из них 400 (все-таки большинство!) русских, 200 немцев с русскими душами, тридцать три инородца без души, но с развитыми мускулами, и 33 поляка. Последних генерал тотчас же вычеркнул из списка. Но едва он успел отдать соответствующее приказание, как «безмозглые» обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся нации.

— Мы тоже русские! — с наглостию говорили они.— У нас тоже русские души!

— Но вы католики, господа! — усовещивал генерал,— а этого я ни в каком случае потерпеть не могу!

— Какие мы католики — мы и в церкви никогда не бываем!

— А! если так — это другое дело! но, предваряю, худо будет тому, кто солгал...

И затем, приказав восстановить поляков в правах и обращаясь к нам, прибавил:

— Ну, теперь с богом, господа!

С этими словами председатель компании «Робкое усилие благонамеренности» удалился в кабинет, оставив всех очарованными...

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили от него и весело разговаривали.

— Ангел! — говорили одни.

— Какое знание человеческого сердца! — рассуждали другие.

Я лично был в таком энтузиазме, что, подходя к Палкину трактиру и встретивши «стриженую», которая шла по Невскому, притоптывая каблучками и держа под мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

— Тише! Ммерзавка!

Почему я это сказал, я до сих пор объяснить себе не могу. Но оказалось, что я попал метко, потому что негодная побледнела, как полотно, и поскорей села на извозчика, чтоб избежать народной немезиды. Есть какой-то инстинкт, который в важных случаях подсказывает человеку его действия, и я никогда не раскаивался, повинуясь этому инстинкту. Так, например, когда я цивилизовал на Западе, то не иначе входил в дом пана, как восклицая: «А ну-те вы, такие-сякие, «кши, пши, вши», рассказывайте! думаете ли вы, что «надзея» еще с вами?»

Я очень хорошо понимал, что остроумного тут нет ничего. «Надзея» — надежда, «сметанка» — сливки, «до зобачения» — до свидания,— конечно, все это слова очень обыкновенные, но — странное дело — мы, просветители, не могли выносить их. Нам казалось, ну как не бить людей, которые произносят такие слова? Но в то же время, я был убежден, что паны найдут мою шутку необыкновенно веселою. И действительно, они просто надрывали животы от смеха, когда я произносил свое приветствие. (Каюсь, этому смеху многие даже были обязаны своим спасением.)

— О! какой пан милий! — восклицали они хором... Милий! заметьте, «милий», а не «милый»! Ах, прах вас побери!

Точно так было и теперь.

По-видимому, я не сказал ничего, а вышло, что сказал очень многое. К несчастию, я был голоден, и к тому не имел свободного времени следить за негодяйкой. Однако я все-таки был доволен, что успел изубытчить ее на четвертак, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая же давка, как и в генеральской приемной, так как все мы, на первый случай, получили по нескольку монет и спешили вознаградить себя за дни недобровольного воздержания, которое каждый из нас перед тем вытерпел. Но замечательно, что никто не спрашивал себе горячего, а все насыщались как-то непоследовательно, урывками, большею частью солеными и копчеными закусками, заедая ими водку. Трехаршинный инородец был тоже здесь, но водки не пил, а выпил жбан кислых щей и съел четверть жеребенка. Проглотив последний кусок, он отяжелел и долгое время не мог даже моргнуть глазами. Многие пользовались этим и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всех пунктах шли оживленные разговоры.

— Нужно думать, что нам придется действовать по ночам,— догадывались одни.

— Еще бы! Днем-то «его» с собаками не сыщешь, а ночью — динь, динь! Коман ву порте ву?[1] Wieviel haben sie gewesen?[2] Сейчас его, ракалию, за волосное правление — не угодно ли прогуляться? Да не топыриться, сударь мой! Н-н-е то-ны-ри-ть-ся!

— А если же он уф спальни? — спросил тот самый немец, который сомневался, какая у него душа.

— А если же он уф спальни? — поддразнил его один из собеседников,— так что же, что уф спальни! Тебе же, немцу, лучше — прямо туда и при! Может, на стрижечку интересненькую набредешь!

Немчик покраснел.

— Что? Побагровел? Ах, немец, немец! чувствует мое сердце, что добра от тебя не будет. Ты пойми: тут каждая минута миллион триста тысяч червонцев стòит, а ты ломаешься: «уф спальни»!

— О, нет! я ничего! мне очень приятно!

— То-то «ничего»! Ты иди прямо, потому дòхнуть тут некогда!

— Это дело нужно умненько вести,— рассуждали в другом месте,— потому тут как раз наскочишь!

— Не может этого быть!

---

[1] Как поживаете?
[2] Сколько вас было?

— Что̀ вы говорите: «не может быть»! Я сам, сударь, на собственной своей персоне испытал! Видите это пятно? Вот это!.. Ну? Вы думаете, что это родимое! нет, государь мой, это...

— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника,— оратор-ствовали в третьем месте,— а когда он обробеет, то потребовать, чтоб указал путь... Когда же таким образом настоящая берлога будет приведена в известность, то изловить «его» не будет составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, с шумом, с треском, чтоб впечатление было полное...

— Но если, заслышав шум, «он» уйдет?

— Куда уйдет, под стол, что ли, спрячется? или в щель заползет? так за волосы оттуда вытащим, государь мой, за волосы!..

— Но если «он» вдруг лишит себя жизни?

— Те-те-те, это волосатый-то! он-то лишит себя жизни? Да вы, сударь, стало быть, не знаете их! Это благородный человек... ну, тот, конечно... для благородного человека жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатого!

Словом сказать, все шумели, все волновались. Один инородец был исключительно предан варению принятой им пищи. Вскоре, впрочем, и он получил способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда он повернулся всем корпусом к Невскому и, увидев на улице жалкую собачонку, которая на трех ногах жалась около тротуара, отпер окно, вынул из кармана небольшой камень и пустил им в собаку. Последовал визг, и на губах его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль должен был играть этот человек в предстоящем походе. Все на мгновение притихли.

Я вслушивался в эти разговоры, и желчь все сильнее и сильнее во мне кипела. Я не знаю, испытывал ли читатель это странное чувство самораздражения, когда в человеке первоначально зарождается ничтожнейшая точка, и вдруг эта точка начинает разрастаться, разрастаться, и наконец охватывает все помыслы, преследует, не дает ни минуты покоя. Однажды вспыхнув, страсть подстрекает себя сама и не удовлетворяется до тех пор, пока не исчерпает всего своего содержания.

Что до меня, то я ощущал это чувство неоднократно. Обстановка, совещания, ожидание предстоящих подвигов — все это действует опьяняющим образом. Так было и теперь. Чем более я слушал, тем более напрягались мои душевные силы, тем более я ненавидел. Ночь, робеющий дворник, бряцания о тротуары и черные лестницы, petite-ménage[1] в бумагах и

---

[1] кавардак.

письмах — таково начало! Потом: краткое мерцание утренней зари, медленный благовест к заутреням, дрожь на проникнутом ночною свежестью воздухе, рюмка водки в ближайшей харчевне, шум, смех, изумление ранних прохожих... стой! слушай! В ком не произведет опьянения подобная перспектива?

В таком-то возбужденном состоянии я вышел из Палкина трактира и уже хотел направить шаги в свою квартиру, как вдруг увидел идущего навстречу товарища по школе. Натурально, бросились друг к другу; излияния, воспоминания, вопросы... Радость была взаимная, потому что в школе мы были очень дружны, а после того потеряли друг друга из вида, и, следовательно, ни он обо мне, ни я об нем не имели решительно никаких сведений... И вдруг, после нескольких минут задушевной беседы, он говорит мне:

— Ах, какое время, мой друг! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянул на него, он уловил этот взгляд, и вдруг... все понял!

— То есть, ты понимаешь меня,— заспешил он, как-то странно смеясь мне в лицо,— не в том смысле ужасное... пожалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мне надо по одному делу!

И он удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я несколько минут, как статуя, стоял на одном месте и безмолвно кусал усы. Если бы в эту минуту возле меня развернулась пропасть, я, наверное, бросился бы в нее!..

Меррзавец!

Pardon! Ведь было, однако, время... когда я был либералом!

Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня с недоверием: да, было время, когда я не только был либералом, но был близок к некоторым знаменитым и уважаемым личностям (увы! теперь уже умершим!). Мы составляли тогда тесную, дружескую семью; у всех нас был один девиз: «добро, красота, истина».

Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма с классицизмом, движение, возбужденное Белинским, Луи Блан, Жорж Занд — все это увлекало нас и увлекало совершенно искренно. Нас трогали идеи 48 года; конечно, не сущность их, а женерозность, гуманность... «Alea jacta est la grandeur d'âme est à l'ordre du jour» [1] — восклицали мы вслух с Ламартином.

---

[1] Жребий брошен, время требует величия души!

Каким образом все это примирилось с уставом благоустройства и благочиния?

Это сделалось очень странно, но я помню, тут произошел какой-то сумбур.

Была одна минута, одна-единственная минута, когда вдруг все переменилось, когда выползли из нор какие-то волосатые люди и начали доказывать, что «добро», «красота», «истина» — все это только слова, которые непременно нужно наполнить содержанием, чтобы они получили значение.

— Что разумеете вы, например, под «добром»? — спрашивали нас эти люди, и спрашивали так дерзко, так самоуверенно, как будто и в самом деле возможность «распорядиться» исчезла навсегда из всех кодексов.

Однако мы были настолько любезны (заметьте: мы могли и не быть ими!), что отвечали.

Я помню, я в первый раз тогда покраснел. До тех пор все это было мне так ясно, так бесспорно — и вдруг... призывают к допросу!

— Добро! — говорили мы,— но разве каждому из нас не присуще это чувство? Разве каждый из нас не трепещет восторгом при одном его имени? Разве не странен самый вопрос: что такое добро?

Сказав это, мы сели, ибо были уверены, что ответили.

— Ну-с? — услышали мы вместо возражения.

— Наконец,— продолжали мы,— если в трудные минуты жизни мы жаждем утешения, то где же мы ищем его, как не в высоких идеях добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняет достаточно, какое значение, какую цену имеет добро?

Мы кончили и опять сели, ожидая, что «они» поймут. Но в ответ на наши слова послышался холодный, как бы беззвучный смех. Я понял, что этот смех называется «отрицанием», и впервые тогда произнес: Меррзавцы!

После этого пошло дальше и дальше: после «отрицания» пришло «неуважение авторитетов», потом «безверие», потом «посягательство на чужую собственность», затем еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришел, что я у пристани...

Иногда меня интересует вопрос: что было бы, если б был жив Грановский? Остался ли бы я его другом? Я понимаю, что сам по себе этот вопрос праздный; но сознаюсь, в первое время моего вступления на арену благочиния он волновал меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагал этот вопрос на разрешение компетентным людям. Многие из них уклонялись, многие не отвечали ни да, ни нет; но один просто-напросто сразил меня.

— Вы! — почти крикнул он на меня,— вы... друг Грановского? Вы!.. Да он бы на порог квартиры своей вас не пустил!..

Меррзавец!

Я уже сказал, что мы действовали отрядами, par éscouades.

Несмотря на позднее время, «он» сидел и читал книгу; подруга его беззаконий спала. Когда мы позвонили, он сам отворил нам дверь. «Он» не казался испуганным, ни даже изумленным, но как будто старался понять... Наконец он понял.

Первым моим движением было овладеть книгой.

Содержание ее было физиологическое.

— Вот эти-то книги и доводят вас, милостивый государь, до всего! — сказал я, и уж не помню, как это случилось, но бросил книгу на пол и начал топтать ее ногами.

«Он» с любопытством и даже как бы с жалостию следил за моими непроизвольными движениями, однако не протестовал.

Из другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

— Это кто? — спросил я, указывая на нее.

— Это... моя жена.

— Около ракитового куста венчаны?

— К сожалению, я не настолько знаком с отечественными былинами, чтобы отвечать на ваш вопрос.

Это была уже дерзость.

— Я заставлю вас понимать себя! — вспылил я.

— Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснее.

— Гражданским браком? проклятым гражданским браком? — говорил я, выходя из себя.

— Теперь понимаю... Да, гражданским браком!

— Так вот для нее... Сударыня... как вас... Извольте получить... билет!

«Она» наскоро оделась и вышла к нам.

По-видимому, она еще не понимала.

— Что же! возьми! — сказал «он».

Но она все еще не решалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всех — разъяснения этой загадки... Вдруг черты ее лица начали искажаться, искажаться... «Она» поняла... И что ж? Оказалось, что это была дочь почтенного действительного статского советника, увлеченная хитростью в сонмище неблагонамеренных...

Маррш!

Было еще позднее, и «он» уже спал. Сделавши несколько сильных ударов звонком, мы долго ждали на площадке, прислушиваясь, как за дверью возились и ходили взад и вперед. Возне этой, казалось, не будет конца.

— Да куда же, однако, девались мои носки? — долетал до нас «его» голос.

Наконец носки были отысканы и дверь отперта. «Он» узнал нас сразу и не только не показал никакого изумления, но даже принял гостей с некоторою развязностию.

Впоследствии открылось, что «он» уже «травленный».

— Ба! Гости! — сказал он довольно весело,— да уж нет ли тут старых знакомых? нет? Ну, и с новыми познакомимся? Marie! вставай: гости пришли!

Оказалось, что «он» был веселый малый и даже отчасти жуир. На столе, в кабинете, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыр, балык, куски холодного пирога... Несколько початых бутылок вина и наполовину выпитый графин с водкой довершали картину.

— Господа! не угодно ли? — сказал «он», указывая на закуски,— от меня, с час тому назад, ушли приятели, так вот кстати и закуска осталась. А я покамест оденусь: ведь мне придется сопровождать вас? или, лучше, вам придется сопровождать меня — так?

— Точно так-с! — отвечал я, увлеченный его добродушием, и вместе с тем не мог не подумать,— если бы все они были таковы! Гостеприимен, ласков, словоохотлив!

Это был единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начинал думать, что «они» не едят и не пьют, и вдруг... встречаюсь с картиной старинного дворянского хлебосольства! И где же встречаюсь?

Что привело этого человека в бездну вольномыслия? Непостижимо!!

Мы последовали приглашению радушного хозяина и, признаюсь, даже не заметили, как прошло время в любезной беседе.

Говорили обо всем, о социализме, о коммунизме, но без раздражения, без задора, и даже с видимым удовольствием. Один только раз я принужден был выразиться довольно строго, и именно по поводу той самой Marie, которую он уже вызывал в начале нашего прихода и которая теперь с самой изысканной любезностью потчевала нас пирогом и закуской.

— Эта особа... как вам приходится? — спросил я его.

— А! это... моя жена! Вам, может быть, нужно в спальную войти? Сделайте одолжение — не стесняйтесь! Я сам вам все покажу.

— Нет-с, покуда мы еще не имеем в этом нужды... Не жена... то есть как жена? — прибавил я, шутливо подмигнув одним глазом,— вокруг ракитового куста?

— Если вы под ракитовым кустом разумеете...

Но он не успел докончить.

— Довольно, государь мой! — сказал я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вежливое обращение еще не дает права на дерзость.

Затем, когда мы закусили и выпили, он сам нам показал все. В целой квартире не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, так что я даже изумился.

— Вас изумляет отсутствие книг и бумаг? — поспешил он объяснить, заметив на моем лице недовольное движение,— но поймите же, наконец, что, начиная с сорок восьмого года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность.

Признаюсь, во всяком другом случае подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этот раз она даже обрадовала: так мне приятно было за нашего доброго, радушного... и, вероятно, не по своей вине увлеченного хозяина!

Под влиянием этого чувства я совершенно раскис.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павел Иванович (так «его» звали),— сказал я,— но я считаю своим долгом вам выразить, что давно не проводил так приятно время, как в вашем милом, образованном семействе.

— За что же тут сердиться?

— Да-с! Но за всем тем... моя обязанность... мой, если можно так выразиться, священный долг...

— Повелевает вам пригласить меня с собою? Что ж, ведь я с первого же раза сказал вам, что на всяком месте и во всякое время готов!

— Да-с; но могу вас уверить, что с своей стороны... все, что зависит.

— Ну, от таких курицыных детей, как вы, тут, пожалуй, ровно ничего зависеть не может... Однако довольно разговаривать: идем!

Тут только я заметил, что ему все-таки не совсем приятно было наше посещение.

Маррш!

Петербург погибал! Петропавловская крепость уже уплыла... Последний оплот! Это было зрелище ужасное: куда ни оглянись — везде дыра... Публицисты гремели, благонамеренные.... радовались!

Все чувствовали, что надо вырвать «зло» с корнем, все издавали дикие вопли... В чем заключалось зло? Какое оно отношение имело к данной минуте? Об этом никто себя не спрашивал, не рассуждал, не говорил. Чувствовалось одно: что минута благоприятна, что это одна из тех минут, к которым можно приурочить какую угодно обиду, и никто в сумятохе ничего не разберет и не отличит. Если *теперь* упустить минуту, то кто может поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвост?

Нет зрелища более поразительного, как зрелище радости благонамеренных! это какой-то гул: у-у! а-а! го-го! По-видимому, тут нет даже необходимой, для вразумительности, членораздельности, а за всем тем нельзя не чувствовать, что это единственные «передовые» звуки, возможные в известные минуты.

Еще вчера благонамеренный жался к сторонке, ходил с понурою головой, с бледными щеками и потухшими взорами; еще вчера он клялся и божился, что отныне подло быть негодяем,— и вдруг какая метаморфоза! Сегодня он цветет; походка у него уверенная, авторитетная; глаза блещут молниями; уста извергают победный вопль. Вы не можете объяснить, как совершилась победа, но чувствуете, что она совершилась и что вчерашний день утонул навсегда. Vae victis![1] Горе тому, кто попадется в эту минуту на глаза «благонамеренному»! Он в одно мгновение будет с ног до головы обрызган ядовитою слюной ябеды и клеветы!

Сильные общественные пертурбации необходимы для «благонамеренного»: они дают ему возможность окрепнуть. Пожар поселяет в его сердце радостный трепет, наводнение, голод — приводят в восхищение!

В обыкновенное время, когда течение дел не представляет угроз, когда окрест царствует тишина, когда в обществе расцветает надежда на лучшее будущее — «благонамеренный» увядает, ибо сознает себя ненужным.

Самолюбие его страдает безмерно; он мечется и ищет исхода для своей деятельности и везде приходит не вовремя, везде видит себя лишним... Тишина тлетворным образом действует на его фонды, почти что исключает его из жизни. Притом, это явление до такой степени для него ново и необычно, что невольно возбуждает в нем подозрительность, населяет его воображение всевозможными страхами. «Тихо — стало быть, я пропал»,— говорит себе благонамеренный, и нет меры

---

[1] Горе побежденным!

его злополучию. Чтобы пищеварение совершалось в нем беспрепятственно, нужно, чтобы целые массы изнемогали под игом нравственных и физических истязаний, или, по крайней мере, чтобы кто-нибудь да стонал.

Если этого нет, он чувствует себя неловко и, чтобы смягчить свое горе, начинает предсказывать, накликать.

И вот, как бы в ответ на его предсказания, на горизонте появляется облако, в воздухе чувствуется удушливость, вдалеке слышатся раскаты грома...

Посмотрите, как постепенно он воскресает, как загорается румянец на его бледных щеках, какой страшной пастью разверзаются немотствовавшие дотоле уста!

«Я говорил, я предсказывал, я знал вперед, что это будет так!» — хохочет он на все стороны. И льется этот зловещий, перекатистый хохот из края в край, вызывая к жизни давно уснувшие ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипело и бессмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умея найти для себя ясного выражения...

Наступает минута какого-то адского откровения. «Либералы!» — раздается победный клич, и все, что чувствует себя бодрым,— все складывается в одну яму и немедленно отдается на поругание...

В таком положении дел очень естественно, что, как бы человек ни старался попасть в тон минуты, он всегда чувствует себя опереженным.

Так было и с нами, членами общества «Робкого усилия благонамеренности». Как мы ни бодрились, как ни старались сослужить службу общественную — возрастающий спрос на благонамеренность с каждым часом больше и больше затоплял нас. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты, мы оказывались слабыми и неумелыми; нас открыто называли колпаками!! В конце концов мы сделались страдательным орудием, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видеть, какие люди встали тогда из могил! Надо было слышать, что̀ тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!

Если вы имели с вашим соседом процесс; если вы дали взаймы денег и имели неосторожность напомнить об этом; если вы имели несчастие доказать дураку, что он дурак, подлецу — что он подлец, взяточнику — что он взяточник; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали из когтей хищника добычу — это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себе под ногами бездну. Вы припоминали об этих ваших преступлениях и с ужасом ожидали. Не было закоулка, куда бы ни проникла «благонамеренность»...

Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы...

От Перми до Тавриды,
От хладных финских скал
До пламенной Колхиды ..

Отовсюду устремлялись стада «благонамеренных», чтобы выместить накипевшие в сердцах обиды...

Они рыскали по стогнам, становились на распутьях и вопили. Обвинялся всякий: от коллежского регистратора до тайного советника включительно. Вся табель о рангах была заподозрена. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу... Делалось ясным, что, как бы ни тщился человек быть «благонамеренным», не было убежища, в котором бы не настигала его «благонамеренность» еще более благонамеренная.

Самые «благонамеренные», наконец, спутались и испугались — не за общество, а за самих себя и за детей своих.

Человек старался угадать не то, в чем он когда-нибудь преступил против ходячей политической морали, а то, существовали ли какие-нибудь пункты этой морали, в которых нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и как угодно и на котором из этих пунктов обрушится обвинение именно на него? Тот, кого в этом обвинительном омуте постигало забвение, мог считать себя счастливым. Тот, кого не обвиняли прямо, а кому только издали грозили пальцем, должен был спешить исчезнуть, чтобы не раздражать своим видом торжествующей «благонамеренности». Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытым — вот лучший удел, которого мог желать человек...

Читатель! ты, который, пробегая настоящее признание, быть может, обвиняешь меня в разврате, размысли над правдивой картиной, которую сейчас нарисовало перо мое; проверь ее с твоими воспоминаниями и скажи, по совести: где находятся действительные, крайние границы нравственной распущенности — во мне... или, может быть, в другом каком-нибудь месте?

На этот раз было почти утро... Целую ночь мы не смыкали глаз и уже начинали действовать нерешительно и вяло. Это был тот момент, когда на улицах начинает показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движение: дворники метут мостовую, открываются двери булочных, съезжаются возы с овощами и зеленью; но настоящая толпа, настоящее движение еще не показываются. В такие минуты

всего сильнее чувствуется цена теплой кровати. Самый бесприютный человек ищет себе уголка, к которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояние делается почти непереносимым и может быть поддержано лишь искусственным образом...

Мы спешили.

«Он» был уже, однако, одет. «Он» отворил нам дверь, держа в руках книгу, и, не отрывая от нее глаз, пошел перед нами, как будто наше появление не составляло для него ничего непредвиденного и, пожалуй, даже не относилось к нему.

Равнодушие уже перестало удивлять нас. Однако это было уже не равнодушие, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы всегда примечали, что как бы ни старался человек взглянуть в глаза беде, как бы ни примирялся он с неизбежностию и непоправимостью положения, в которое ставила его сила обстоятельств, но такое философское настроение никогда не оказывается вполне цельным. Всегда в него примешивалась хоть тень горечи, иронии или, по крайней мере, изумления. Человек не протестует, не жалуется, но восклицание: «Какие жалкие люди!» — так и светится во всех движениях, так и бьет всюду: и в интонации голоса, и в выражении глаз... всюду.

Читатель! как ни обидна подобная оценка, но даже и она может примирить! Чувствуется, что эту фразу говорит человек не совсем еще закоснелый, что вы не ничто в его глазах, что у него могут быть такие же уязвимые места, как и у вас, и у всякого; одним словом, что это слабый смертный, которому можно сделать больно, который имеет хоть какие-нибудь точки соприкосновения с вами. Как хотите, а это сознание успокаивает. Напротив того, тут, в этом рассеянном и сосредоточенном молодом человеке, не виделось ничего подобного. Как будто все давно им понято, решено и забыто.

Мы вошли в кабинет.

«Он» молча сел около окна и углубился в чтение. Натурально, это меня взорвало.

— Извольте стоять! — крикнул я на него.

Он встал и продолжал читать.

— Извольте оставить книгу!

Он положил книгу на стол.

— Меррзавец! — произнес я сквозь зубы, но так, что он, наверное, слышал мое восклицание; тем не менее ни малейшего движения не показалось на лице его.

— С вами живет какая-нибудь женщина?

— Смотрите! — сказал он, как будто отгоняя от себя что-то назойливое, прервавшее нить его мыслей.

Рассуждая хладнокровно, я должен сознаться, что при тогдашнем моем утомлении именно только такое адское равнодушие и могло обновить мои заснувшие силы. Я с яростию выбрасывал книги, швырял бумаги. Но он по-прежнему продолжал стоять у окна и без малейшего признака изумления смотрел на картину разрушения, которая быстро созидалась перед его глазами.

— Кто вы такой? — наконец бросился я к нему.

Он назвал себя. Он даже не сказал, что я сам должен знать, у кого я нахожусь. По-видимому, ему не приходило в голову, что можно иронизировать, удивляться, негодовать.

Это было до такой степени ново, что в голове у меня блеснула мысль: не подступиться ли к нему посредством великодушия?

— Общественное мнение указывает на вас как на причину зла,— сказал я,— опровергните это! Постарайтесь снять с себя столь ужасное обвинение! Я из участия к вам говорю это: мне жаль вас! Наконец, я прошу вас: спасите себя и дайте мне возможность участвовать в этом спасении!

— Идемте! — произнес он с таким видом, как будто ему бесконечно надоело мое кроткое излияние чувств...

Маррш!

Дальше! дальше!

«Он», очевидно, был философ и принял на себя труд убеждать нас.

— Мне кажется, господа,— говорил он,— что вы бьете совсем не туда, куда следует, и что, видя в занятиях умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете последнему упрек, которого оно даже не заслуживает!.. Ужели оно и в самом деле так расслаблено, что не может выдержать напора мысли, и первая вещь, от которой прежде всего необходимо остеречь его,— это преданность интересам мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимее невежество? Почему, когда в обществе возникает какое-нибудь замешательство, первые люди, которые делаются жертвами вашей подозрительности, суть именно люди мысли, люди исследования? Согласитесь, что такое странное явление нельзя даже объяснить иначе, как глубоким презрением, которое вы питаете не только к обществу, но и к самим себе?

Я слушал его с удовольствием, да и нельзя было иначе, потому что au fond il y a du vrai dans tout ceci!..[1] Иногда мы

---

[1] в сущности все это правильно!..

действительно пересаливаем и как будто чересчур охотно доказываем миру, что знаменитое хрестоматическое двустишие: «Науки юношей питают» и пр. улетучивается из нас немедленно, как только мы покидаем школьные скамьи.

Я невольно вздохнул при этом соображении.

Он продолжал:

— Допустим, однако же, что наука вредит; но ведь во всяком случае, это такой вред, который доступен только немногим, большинству же не может при этом угрожать ни малейшей опасностью. Вы говорите: общество лишь тогда может быть счастливо, когда оно невежественно,— прекрасно! Но с чего же вы берете, что эта невежественность так легко доступна для посягательства науки? И ежели общество действительно так невежественно, что считает состояние невежества лучшим залогом своего спокойствия, то как же допустить в нем ту легкомысленную жажду к знанию, которая будто бы до того сильна, что требует каких-то экстраординарных мер для предупреждения увлечения ею?

Удовольствие мое возрастало. Он продолжал:

— Одно что-нибудь: или общество желает знания и, следовательно, может безопасно выдержать его, или оно не терпит знания — и в таком случае, конечно, само постоит за свою святыню, само отобьется от нападений и защитит свое право на свободу от наук. Бояться за общество, столь крепко убежденное, предпринимать искусственные и не всегда ловкие меры для ограждения его,— не значит ли это без надобности волновать его и даже указывать такие просветы, которых оно никогда не увидало бы, не будь вашей бессознательной услуги?

Удовольствие возрастало с каждой минутой. Я думал: ах, если бы так все рассуждали! если бы все понимали, что вместо того, чтобы преследовать науку, лучше всего поступать так, как бы ее совсем не было... Наука! Что̀ такое наука? Parlez-moi de ça! Qu'est-ce que c'est que cette «наука», et où avez-vous été pêché cet animal-là! [1]

Вот, по моему мнению, единственный разговор, который может допустить, по этому поводу, истинно прозорливая внутренняя политика!

Но «он» продолжал:

— Но ведь придется же наконец понять — хоть в этом и тяжело сознаться,— что совсем без наук тоже обойтись нельзя; что народы, которые питают к наукам презрение...

---

[1] Скажите, пожалуйста! Что это такая за «наука» и где вы выловили это существо!

«Он» остановился, точно обрезал: очевидно, «он» понял, что я слушал «его» с удовольствием

— Идемте!— сказал он, надевая на голову картуз.

Маррш!

Замечательно, что женщины никогда не бывают так тверды в бедствиях, как мужчины: они непременно или в слезы ударятся, или слегкомысленничают. Обыкновенно они очень хвастливы и даже нагло отстаивают убеждения, им искусственно привитые; напротив того, становятся очень робки, когда дело коснется их убеждений настоящих, жизненных. Сейчас норовят шмыгнуть в сторону. Так, например, они выходят из себя, разговаривая о собственности, о семействе как основе государственного и гражданского союза, одним словом, обо всем, что ни прямо, ни косвенно не касается их, а заговорите-ка об «амурах»...

— Вы, душенька, либералка? — спрашивал я на днях одну «милушку», зачитывавшуюся Боклем до чертиков.

— А вы, душенька, негодяй? — отвечала она, вероятно, думая очень уколоть меня этим названием.

Вот один из тысячи примеров женского легкомыслия! Я обращаюсь с словом «либералка», а она отвечает мне: негодяй! и не понимает, что в этом наивном сопоставлении заключается все мое торжество; что она собственными своими милыми устами подтверждает, что «либерал» и «негодяй» понятия однозначащие...

Я охотно указал ей на этот естественный вывод, и хотя она пыталась объяснить свою фразу, но в этих объяснениях еще более запутывалась...

— Нет, я этого не говорила! — горячилась она,— «либерализм» — это само по себе, а «негодяй» — сам по себе: негодяй — это вы!

И она так уморительно сердилась, что я готов был расцеловать ее...

— Ну, а насчет браков как? — спросил я.

Она вышла из себя... Вообще я заметил, что «они» не любят этого вопроса и перестают быть любезными, когда им предлагают его.

— Ну-с, хорошо-с! Скажите, по крайней мере, что называется коммунизмом?

— Коммунизм,— заговорила она бойко,— это такая форма общежития, при которой ни один из членов общества не имеет отдельной собственности, в которую все члены приносят одинаковую долю труда, необходимого для производства ценно-

стей, и все же получают одинаковую долю в пользовании произведенными ценностями.

— Все: и ленивые и прилежные?

— Ленивых не должно быть. Ленивые — это изобретение вашего исторического общества.

— Прекрасно-с! Ну, а насчет браков — так-таки ничего не скажете?

— Я сказала уже, что вы негодяй!

Ужели это не легкомыслие? Готовы всем рисковать, страдать, перенести всякую невзгоду из-за каких-то заветных принципов, а как только начнешь сводить этот любезный принцип с маленького пьедестальчика, на который он взобрался, как только назовешь этот принцип по имени — сейчас или сердятся, или плачут!

Маррш!

В другой раз дело было еще горячее.

Я сидел с одной «душкой» (и как идут к ним эти распущенные волосы, эти короткие платьица, какой они имеют шикарный вид!) и, побрякивая саблей, доказывал ей, что занятие анатомией отнюдь не должно входить в круг воспитания благородных девиц.

— Почему так? — спросила она меня довольно нахально.

— А потому, душенька,— отвечал я,— что анатомия может волновать нежные, легко воспламеняющиеся чувства...

— Лучше скажите, что она может волновать чувства у тех, кто не помышляет ни о чем, кроме гадостей...

— Уж будто и «гадостей»? А небось, как дойдет до «амуров»...

Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержанием разговора, миловидностью пациентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла видеть прекраснейшую в мире ножку, я, может быть, уж слишком близко подсел к ней...

Я хотел уже взять ее за талию... Хлоп!.. Ужели и это не легкомыслие? Проповедуют свободу любви, а как только предлагают им запечатлеть эту свободу... Хлоп!

Маррш!

Ах, как я себч вел!

«Они» сидели и клеили картонки. Не знаю, почему мне это показалось возмутительным. Но этого мало! мне показалось, что следует их обыскать...

Ах, как я себя вел!

Читатель может спросить меня: кто допустил нас таким образом нахальничать? чего смотрело начальство?

На это я могу отвечать одно: медведь проснулся... Покуда медведь лежит в берлоге и сосет лапу, начальству легко. С помощию куска мяса его можно даже выманить из берлоги и заставить танцевать, но боже упаси, если он начнет рычать! Нет той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моих подвигах росла... Один, без всякого уполномочия, кроме частной инициативы... Это было изумительно! Это даже было не просто изумительно, но почти волшебно! Но таково могущество охранительной идеи! Она простого, слабого смертного, с железом в сердце, с кремнем в душе, вооружает когтями льва! Невольным образом голова моя закружилась. Я видел себя предметом восторженнейших оваций. В похвалу мне произносились спичи, во всех трактирах империи лилось шампанское с пожеланием новых и новых подвигов, со всех концов сыпались поздравительные телеграммы... Я пламенел, я жаждал, я устремлялся, я был готов! Я несколько дней сряду кутил; ночи проводил без сна и почти не ел ничего. Глаза воспалились, ненависть разгоралась все больше и больше, так что можно почти сказать, что она одна поддерживала мои силы... Но цемент был крепок! Я дошел почти до ясновидения и угадывал «негодяев» там, где другие усматривали только действительных статских советников. Но, с другой стороны, эта же возбужденность чувства мешала мне ясно понимать, что в числе множества прихотливых форм, которыми облекается либерализм, есть некоторые, прикасаться к которым не всегда безопасно... Особенные трудности в этом смысле представляют формы, называемые действительными статскими советниками.

Овации продолжались, шампанское лилось, шарманки в трактирах играли. Но были уже сферы, в которые проникала измена. Поговаривали кой-где que je suis trop entier [1], что у меня начинают обрисовываться слишком яркие убеждения, что это тоже нехорошо, потому что, становясь на почву убеждений (даже самых, что называется, пасквильных), человек, самый враждебный либерализму, постепенно совращается, совращается и наконец, ничего не подозревая, оказывается на самом дне оного...

Какие-то странные предчувствия тяготили меня. Я смутно подозревал, что эти слухи недаром, что откуда-то грозит опасность, долженствующая положить конец моей деятельно-

---

[1] что я слишком самобытен.

сти. Я старался исправиться, старался стать выше убеждений; но бессонница и искусственные средства для подкрепления слабеющего организма разрушали все усилия, делаемые в этом смысле. Едва я приступал к «работе», как мною овладевал всецело демон ненависти. Глаза наливаются кровью, в ушах шумит, руки беспокойно подергиваются, лицо искажается судорогою.

Вот инородец, так тем нахвалиться не могут. Ему что? — он пришел, ни слова не сказал, пошевелил глазами, забрал в охапку и ушел... Днем спит, ночью работает, и никогда ни капли! А я?!

Сегодня призывали меня к генералу, не к тому отставному, который вручил мне жезл просвещения, а к другому, настоящему, которого я, по несчастию, совсем упустил из вида. Генерал был сердит.

— Правда ли,— сказал он мне,— что вы дошли до такой степени гнусности, что позволили себе потерять всякое уважение даже к женской стыдливости?

Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.

Я хотел оправдываться; говорил, что это только так... немного... Я заикался, переминался с одной ноги на другую и был действительно жалок.

— Прошу отвечать на вопрос! — прервал генерал.

— Точно так, ваше пр-ство! — выпалил я словно из пушки.

— Меррзавец!

Странное дело! Сколько раз имел я случай испытывать на себе действие этого слова, сколько раз сам применял его к другим,— и все не могу привыкнуть к нему! Всегда оно кажется мне чем-то неожиданным, совсем новым.

Однако растолковать это все-таки довольно трудно. «Меррзавец!» — ну, прекрасно! Но отчего же один генерал говорит: «молодец», а другой, при тех же точно обстоятельствах, кричит: «меррзавец»?

Но каким образом я «его» высек?!

Дело было так.

Мы закусывали в «Старом Пекине». Выпито было изрядно,

потому что стечение патриотов было неслыханное. Я рассказывал о подвигах последней ночи; другие — также. Соревнование было общее. Не знаю, каким образом разговор принял такой странныї оборот, но помню, что я стал хвастаться. Я говорил, что и не так еще поступлю и что в будущую же ночь непременно «его» высеку.

Каналья немец (тот самый, который не мог сразу опредслить, какая у него душа) еще больше раззудил меня, выразивши сомнение насчет исполнимости моего намерения. Слово за слово, состоялось пари...

— Сто против одного! — бесновался я,— я ставлю сто рюмок, ты — одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У немцев,— я это заметил,— головы всегда несколько прозрачны на свет!)

— О, я с удовольствием! — зудил проклятый немец,— но ви можете сичас же начайть плятить, потому что это никак невозможно... ви дольшен «его» взять... вести... смотреть... но висечь! — это невозможно! О, нет... это другой, а не ви!

И словно бес-соблазнитель, он ежеминутно сновал мимо меня, мотал своей бараньей головой и повторял:

— Висечь — нет! не ви!

Наступила ночь. По обыкновению, я отправился в поход. Для крепости выпил. Как теперь помню, мы подошли к громадному дому, вызвали дворника и назвали фамилию. Он со двора указал нам квартиру в самом верху...

Сначала, когда мы были еще неопытны, мы всегда брали с собой дворника до самой двери квартиры. Но впоследствии стали неглижировать этой предосторожностью.

Мы что-то долго поднимались по лестнице, которая вдобавок была темна, черна и скользка. Наконец, порядочно утомившись, пришли к цели.

Едва успели мы один раз дернуть за ручку звонка, как «он» уже прибежал к двери и поспешно отворил ее...

По-видимому, это был человек не первой молодости. Лицо его было бледно и расстроено. Свеча дрожала в руке. Распахнувшиеся полы старого, истрепанного халата обнаруживали пару трясущихся ног. Никогда я не видал человека в такой степени виноватого...

— Всыпьте-ка ему десятка два детских! — сказал я с первого абцуга, обращаясь к своим товарищам.

Немец был тут же и только взмахнул на меня глазами.

«Он» был до того виноват, что даже не возражал. «Он» кротко лег и кротко же встал, не испустивши ни стона, ни жалобы.

— Ваша фамилия, ваши занятия? — сурово спросил я.

— Начальник отделения NN департамента, статский советник Перемолов! — отвечал он, упираясь глазами вниз (очевидно, ему было стыдно).

Представьте мое изумление! это был... не «он»!!

Я пытался как-нибудь выпутаться и запутался еще больше. Мне следовало просто-напросто уйти, показав вид, что общественная немезида удовлетворена. Вместо того я уперся, перерыл всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мне послужить оправданием. Разумеется, я ничего не нашел, кроме доказательств его душевной невинности... Тогда я стал придираться.

— Но как же осмелились вы, милостивый государь, вводить меня в заблуждение? — накинулся я на него.

Но он уже понял и, убедившись в своей невинности, начал обнаруживать твердость души.

— Нет, это вам так не пройдет! — говорил он, постепенно приходя в раздражение и как бы ободряя себя своим собственным криком.— Нет! это что же? Этак всякий с улицы пришел, распорядился и ушел!.. Нет, это не так!.. В этих делах надо глядеть, да и глядеть...

— Но поймите, что тут вашей вины гораздо больше, нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! Я слишком хорошо понимаю! Это черт знает что̀! Пришел, распорядился и ушел! Н-н-н-е-ет!

Он вдруг остервенился, начал скакать на меня, подставлять к моему лицу кулаки... Так что даже наконец я оскорбился.

— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете? — сказал я с достоинством.

— Я его оскорбляю! Милости просим! я! Он со мной, как с младенцем... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ах!

Словом сказать, загородил такую чепуху, что хоть святых вон выноси! Одно мгновение в моей голове мелькнуло: не попросить ли прощения? Но странное дело! я вдруг как-то понял, что это последний мой подвиг, и покорился...

Он не простил.

На другой день меня опять призвали к настоящему генералу.

— Правда ли, что вы статского советника Перемолова подвергли наказанию на теле? — спросил он у меня.

— Точно так, ваше превосходительство!
Он взглянул на меня с любопытством.
— Меррзавец! — произнес он тихо...
Опять это слово!!!

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

ПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВАЯ

Ольга Сергеевна Персианова не без основания считает себя еще очень интересной вдовой. Несмотря на тридцать три, тридцать четыре года, она так еще моложава и так хорошо сохранилась, что иногда, а особенно вечером, при свечах, ею можно даже залюбоваться. Это тип женщины, которая как бы создана исключительно для того, чтоб любить, нравиться, pour être bien mise [1] и ни в чем себе не отказывать.

Подобного сорта женщины встречаются в так называемом «свете» довольно часто. Их с малых лет сажают в специально устроенные садки и там выкармливают именно таким образом, чтобы они были bien mises, умели plaire [2] и приучались ни в чем себе не отказывать. По окончании выкормки целые выводки достаточно обученных молодочек выпархивают на вольный свет и немедленно начинают применять к делу результаты полученного воспитания. Разумеется, тут все зависит от того, красива ли выпорхнувшая на волю молодка или некрасива. Красивое личико гарантирует будущность блестящую и беспечальную; некрасивое — указывает в перспективе ряд слезных дней. Красивая молодка заранее может быть уверена, что жизнь ее потечет как в повести, то есть что она в свое время зацепится за шпору румяного кавалериста, который, после некоторых неизбежных во всех повестях перипетий, кончит тем, что приведет ее за собой в храм славы и утех. Там она будет показываться bien mise, будет ездить на рысаках, causer [3] с кавалерами и никогда ни в чем себе не отказывать. А дальше что бог даст. Может быть, отыщется другой кавалерист, может быть, дипломат, а может быть... и сам Александр Дюма-фис. Напротив того, некрасивая молодка так и останется с своими jolies manières [4] и с желанием ни в

---

[1] чтоб хорошо одеваться.
[2] нравиться.
[3] болтать.
[4] прекрасными манерами.

чем себе не отказывать. Она будет bien mise исключительно для самой себя, и ни один кавалерист не поведет ее ни в храм славы, ни в храм утех. А если и поведет, обольщенный блестящим приданым или связями, то так там и оставит в храме одну. Без занятий, без цели в жизни, без возможности causer, она постепенно накопит в себе такой запас желчи, что жизнь сделается для нее пыткою. Из действующего лица в повести утех, каким она воображала себя во времена счастливой выкормки в патентованном садке, она сделается простою, жалкою конфиденткою, будет выслушивать исповедь тайных амурных слов и трепетных рукопожатий, расточаемых кавалеристами и дипломатами счастливым молодкам-красоткам, и неизменно при этом думать все один и тот же припев: ах, кабы все это мне! И так как ни одной капли из всего этого ей не перепадет, то она станет сочинять целые фантастические романы, будет видеть волшебные сны и пробуждаться тем больше несчастною, оставленною, одинокою, чем больше преисполнен был света, суеты и лихорадочного оживления только что пережитый сон.

Ольга Сергеевна принадлежала к числу молодок красивых, а потому счастие преследовало ее с первых шагов ее вступления в свет. Вышедши из патентованного садка шестнадцати лет, в семнадцать она уже зацепилась за шпору краснощекого ротмистра Петра Николаича Персианова и затем навсегда поселилась в храме утех полновластной хозяйкою. Целый год беспримерного блаженства встретил молодую женщину на самом пороге семейной жизни. Это был непрерывный ряд балов, parties de plaisir [1], выездов, приемов, в которых принимали участие представители всех возможных родов оружия и дипломаты всех ведомств, «C'était un rêve» [2], как она сама выражалась об этом времени. По возвращении с бала начиналось, собственно, так называемое семейное счастие и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за туалет, предшествующий визитам или приему. От Ольги Сергеевны все были в восхищении: старики называли ее куколкой; молодые кавалеристы, говоря об ней, вращали зрачками. Она кружилась, танцевала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась верною своему Петьке до конца (voilà ce que c'est que d'avoir reçu une éducation morale et religieuse! [3] говорили об ней старушки). Наконец, осьмнадцати лет, она сделалась матерью, одною из тех матерей,

---

[1] увеселительных поездок.
[2] Это был сон.
[3] вот что значит получить моральное и религиозное воспитание!

о которых благовоспитанные сынки говорят: у меня maman такая миленькая, точно куколка! Это происшествие, в свою очередь, положило начало целому ряду новых подвигов, которые опять-таки дали Ольге Сергеевне возможность être bien mise, causer, plaire и ни в чем себе не отказывать. В течение шести недель после родов она неутомимо снаряжала своего маленького Nicolas и наконец достигла-таки того, что он в свою очередь сделался точно куколка.

— Он у меня совсем-совсем куколка! — говорила она, показывая Nicolas кавалеристам, товарищам ее мужа,— куколка! засмейся!

Кавалеристы хвалили «куколку» и в то же время искоса посматривали на другую куколку, на молодую мать.

По прошествии шести недель начались визиты. Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok [1], всех надо было обрадовать, всем сообщить, какой у нас родился «куколка».

— Ma tante, если б вы знали, какой он у меня куколка! C'est un petit charme! [2] И как все понимает! Представьте себе, на днях я одеваюсь, а он лежит у меня на коленях, и вдруг (следует несколько слов на ухо)... mais imaginez-vous cela! [3]

— Ты сама еще куколка! — улыбаясь, отвечает ma tante,— но чувство матери, мой друг,— священное чувство! Ты никогда не должна забывать этого!

— Ах, как я это понимаю, ma tante! С той минуты, как у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute une révélation [4]. Этого противного Петьку я даже не пускаю к себе... et vous savez si je l'aime! [5] Все думаю о том, как бы мне нарядить моего милого куколку! И если б вы знали, сколько я платьиц ему сшила... tout un trousseau! [6]

— Все это очень хорошо, мой друг, но не забудь, что для мальчика главное не в платьицах, а в религиозном чувстве и в твердых нравственных правилах.

— О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вот теперь, когда Петька вздумал в прошлый пост есть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у нас есть сын, которому мы должны подавать пример! si vous faites gras à table, vous

---

[1] Тетя, дядя, кузен, княгиня Симборская, графиня Романцова, баронесса Фок.

[2] Прелестный малютка!

[3] представьте себе!

[4] Это совершенное откровение.

[5] а вы знаете, как я его люблю!

[6] целое приданое!

fairez maigre ailleurs...[1] И при этом так ему погрозила, что он со стряху (vous savez, ma tante, comme c'est une grande privation pour lui![2]) съел целую тарелку супу *безо всего!!*

— Ну, Христос с тобой, куколка! Поезжай, поделись своей радостью с дядей Павлом Борисычем!

У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что и у ma tante, с тою разницей, что вместо нравоучений о религиозном чувстве и твердых правилах нравственности дядя сказал следующее наставление:

— Ты делаешь очень мило, мой друг, что заботишься о своем куколке. Que ton marmot soit bien lavé, bien vêtu, qu'il soit présentable, enfin[3],— все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанет время, когда он будет думать не об атласных одеяльцах и кружевных чепчиках, а о другом атласе, о других кружевах. Vous savez, ma chère, de quoi il s'agit[4]. Надобно, чтоб он встретил эту минуту с честью. Il faut que ce soit un galant homme[5]. Чтоб он не обращался с женщиной, как извозчик или как нынешние национальгарды, которые, отправляясь в общество порядочных женщин, предварительно ищут себе вдохновенья в манежах, кафешантанах и цирках! Чтоб женщина была для него святыня! Чтоб он любил покорять, но при этом умел всегда сохранять вид побежденного!

На что Ольга Сергеевна отвечала:

— Mon oncle![6] ужели вы во мне сомневаетесь! Mais le culte de la beauté... c'est tout ce qu'il y a de plus sacré![7] Я теперь совершенно переродилась! Я даже Петьку к себе не пускаю — et vous savez, comme c'est une grande privation pour lui![8] — только потому, что он резок немного!

— Ну, Христос с тобой, куколка! Я с своей стороны высказался, а теперь уж от тебя будет зависеть сделать из твоего «куколки» un homme bien élevé[9]. Поезжай и поделись твоею радостью с братом Никитой Кирилычем.

И так далее, то есть того же содержания и с теми же от-

---

[1] если вы будете много тратить на стол, вам придется экономить на другом..

[2] вы знаете, тетя, какое для него это большое лишение!

[3] Пусть твой мальчуган будет хорошо умыт, хорошо одет, словом, пусть будет презентабелен.

[4] Вы знаете, дорогая, что я имею в виду.

[5] Надо, чтобы это был благородный человек.

[6] Дядюшка!

[7] Но культ красоты. Это самое священное!

[8] а вы знаете, какое для него это большое лишение!

[9] прекрасно воспитанного человека.

тенками сцены у братца Никиты Кирилыча, у comtesse Romanzoff и проч. и проч.

Таким образом прошли два года, в продолжение которых судьба то покровительствовала «куколке», то изменяла ему. Maman относилась к нему как-то капризно: то запоем показывала его всякому приезжающему гостю, то запоем оставляла в детской на руках нянек и бонны. Мало-помалу последняя система превозмогла, так что только в званые обеды и вечера куколку на минуту вызывали в гостиную вместе с хорошенькой швейцаркой-бонной и раскладывали перед гостями, всего в батисте и кружевах, на атласной подушке. Гости подходили, щекотали у «куколки» под брюшком, произносили: «бряк-ишь!» или: «диковинное произведение природы!» и при этом так жадно посматривали на maman, что ей становилось жутко.

На двадцать первом году («куколке» тогда не было еще трех лет) Ольгу Сергеевну постигло горе: у ней скончался муж. В первые минуты она была как безумная. Просиживала по нескольку минут лицом к стене, потом подходила к рояли и рассеянно брала несколько аккордов, потом подбегала к гробу и утомленно-капризным голосом вскрикивала:

— Петька! глупый! ты как смеешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, никогда! — не смеешь бросить твою Ольку!

И слезы как перлы сыпались (именно сыпались, а не лились) из темно-синих глаз и, о диво! — не производили в них ни красноты, ни опухлости.

Но через шесть недель опять наступила пора визитов, и плакать стало некогда. Надо было ехать к ma tante, к mon oncle, к comtesse Romanzoff и со всеми поделиться своим горем. Вся в черном, немного бледная, с опущенными глазами, Ольга Сергеевна была так интересна, так скромно и плавно скользила по паркету гостиных, что все в почтительном безмолвии расступались перед нею, и в один голос решили: c'est une sainte! [1]

— Ma tante! — говорила между тем Ольга Сергеевна,— я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тем, что у меня осталось другое сокровище — мой «куколка»!

— Друг мой,— отвечала ma tante,— я знаю, потеря твоя велика. Но даже и в самом страшном горе у нас есть всегда верное пристанище — это религия!

— Ах, как я это понимаю, ma tante! как я это понимаю! С тех пор, как я лишилась моего сокровища, я вся преобрази-

---

[1] это святая!

лась! La religion! mais savez-vous, ma tante, qu'il y a des moments, où j'ai envie d'avoir des ailes! [1] И если б у меня не было моего другого сокровища, моего «куколки»...

— Ну, Христос с тобой, сама ты куколка!.. Поезжай и поделись твоим горем с дядей Павлом Борисычем. Ты знаешь, как старик тебя жалует.

У дяди Павла Борисыча те же жалобы и то же сочувствие.

— Я потеряла моего благодетеля, мое сокровище, mon oncle,— говорила Ольга Сергеевна,— вы знали, как *он* был добр ко мне! как он любил меня! как исполнял все мои прихоти! А я... я была глупенькая тогда! Я была недостойна его благодеяний! Я... я не понимала тогда, как дорого ему все это стоило!

— Мой друг, я очень понимаю всю важность твоей потери,— отвечал mon oncle,— mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant [2]. Вспомни, что ты женщина и что у тебя есть обязанности перед светом. Смотри же у меня, не худей, а не то я рассержусь и не буду любить мою куколку!

— Ах, mon oncle! вы один добрый, один великодушный! Vous pénétrez si bien dans le cœur d'une femme! [3] Нет, я не буду худеть, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!

— То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она там постным маслом да изречениями аббата Гетé кормит, а я этого не люблю! Ну, теперь Христос с тобой! Поезжай и поделись твоим горем с братом Никитой Кирилычем!

И т. д. и т. д.

Затем все впало в обычную колею. В течение целых четырех лет Ольга Сергеевна являла собой пример скромности и материнской нежности. «Куколка», временно пренебреженный, вновь выступил на первый план и сделался предметом всевозможных восхищений. Его одевали утром, одевали в полдень, одевали к обеду, одевали к вечеру. Утром к нему приезжал специальный детский доктор, осматривал, ощупывал, присутствовал при его купанье и всякий раз неизменно повторял одну и ту же фразу:

— О! этот молодой человек будет иметь успех!

На что Ольга Сергеевна столь же неизменно отвечала:

— Ah, mais savez-vous, docteur, qu'il devient déjà polisson! [4]

Перед обедом «куколку» прогуливали на рысаках по Нев-

---

[1] Религия! а знаете ли, тетя, бывают мгновения, когда мне хочется иметь крылья!

[2] но это не повод, чтобы худеть, дитя мое.

[3] Вы так хорошо понимаете сердце женщины!

[4] А знаете, доктор, он уже начинает шалить!

скому и по набережной; вечером его приводили в гостиную, всегда полную гостей, и заставляли расшаркиваться и говорить des amabilités [1]. У «куколки» были две бонны: англичанка и немка, и одна institutrice [2] — француженка. Сверх того, по распоряжению ma tante, его посещал отец Антоний, le père Antoine, молодой и благообразный священник, который отличался от своих собратий тем, что говорил по-французски без латинского акцента, ходил в муар-антиковой рясе и с такою непринужденностью сеял семена религии и нравственности, как будто ему это ровно ничего не стоило... Идет и сеет, и, по-видимому, даже не замечает, что семена так и сыплются из всех пор его существа. При такой обстановке относительно «куколки» разом достигались все цели хорошего воспитания: и телесная крепость, и привычка к обществу, и прекрасные манеры, и так называемые краткие начатки веры и нравственности.

Не один из лихих кавалеристов, посещавших по вечерам салон Ольги Сергеевны, заглядывался на нее и покушался нарушить мир ее души. Это казалось тем менее трудным, что два года счастливого супружества должны были порядком-таки избаловать хорошенькую молодку, и, следовательно, при такой набалованности ей не легко было разом покончить с утехами прошлого. Сама ma tante выражала по секрету свои опасения на этот счет, а mon oncle даже прямо выражался: pourvu que ça soit une bonne petite intrigue bien comme il faut — le reste ne me regarde pas! [3] Но, к общему удивлению, Ольга Сергеевна закалилась, как адамант. По временам она, конечно, вспыхивала, щеки ее слегка алели, глаза туманились, грудь поднималась и не умела сдержать затаенного вздоха; но как-то всегда, в эти тяжкие минуты, подоспевал к ней на выручку «куколка». Он бурей влетал в гостиную и так уморительно расшаркивался, что Ольга Сергеевна мгновенно отрезвлялась. Отец Антоний, которому были известны все перипетии этой борьбы слабой женщины с целым корпусом кавалерийских офицеров, сравнивал ее с египетскими пустынножителями и для приобретения большей крепости в брани советовал соблюдать посты. Но даже и с этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсем безопасною, потому что сам отец Антоний выслушивал ее «смущенный и очи опустя, как перед матерью виновное дитя», и Ольга Сергеевна так и ожидала, что он нет-нет да и начнет вращать зрачками,

---

[1] любезности.

[2] гувернантка.

[3] лишь бы это была милая вполне порядочная интрижка — остальное меня не касается!

как любой кавалерийский корнет. Ma tante была так поражена этой неслыханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, как ma sainte [1]. Один mon oncle все еще надеялся, что когда-нибудь cela viendra [2], и продолжал предостерегать Ольгу Сергеевну насчет национальгардов.

И вдруг, через четыре года, Ольга Сергеевна является к ma tante и объявляет, что ей скучно.

— Но что же с тобой, мой друг? — спросила ma tante, пораженная этой неожиданностью.

— Je ne sais, je sens quelque chose là [3],— отвечала Ольга Сергеевна, указывая на грудь,— одним словом, доктора в один голос приказывают мне ехать за границу!

— Но как же быть с «куколкой»?

— Я все обдумала, ma tante; я знаю, что я дурная... что, может быть, я даже преступная мать! — воскликнула Ольга Сергеевна и вдруг встала перед ma tante на колени,— ma tante! вы не оставите его! вы замените ему мать!

Жребий «куколки» был брошен. Ma tante согласилась заменить ему мать и взяла на себя насаждение в его сердце правил нравственности и религии. Mon oncle поручился за другую сторону воспитания, то есть за хорошие манеры и искусство побеждать, сохраняя вид побежденного. В результате этих соединенных усилий должен был выйти un jeune homme accompli [4], рыцарь вежливости и преданности, молодой человек, преисполненный всевозможных bons principes, preux chevalier [5], готовый во всякое время объявить крестовый поход против manants et mécréants [6]. Ольга Сергеевна уехала вполне успокоенная.

Годы шли, а интересная вдова как канула за границу, так и исчезла там. Слух был, что она короткое время блеснула на водах, в сопровождении какого-то национальгарда (от судьбы, видно, не убежишь!), но потом скоро уехала в Париж и там поселилась на житье. Потом прошел и еще слух: в Париже Ольга Сергеевна произвела фурор и имела несколько шикарных приключений, которые сделали имя ее очень громким. La belle princesse Persianoff [7] сделалась предметом газетных фельетонов и устных скандалёзных хроник. Называли двух-трех литераторов, одного министра (de l'Empire [8]), одного

---

[1] святая
[2] это придет.
[3] Не знаю, чувствую что-то здесь.
[4] безупречный молодой человек.
[5] хороших убеждений, доблестный рыцарь.
[6] мужиков и нехристей.
[7] Прекрасная княгиня Персианова.
[8] империи.

сенатора и даже одного акробата (неизбежное следствие чтения романа «L'homme qui rit»). Доходы с пензенских, тамбовских и воронежских имений проматывались с быстротою неимоверною. Система залогов и перезалогов, продажа лесных и других угодий, находившая при покойном Петьке лишь робкое себе применение, сделалась основанием всех финансовых операций Ольги Сергеевны. «Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'à charge!» [1] — беспрерывно писала она к одному из своих cousins [2], наблюдавшему «из прекрасного далека» за именiем ее и ее покойного мужа. И одна за другой полетели Тараканихи, Опалихи, Бычихи, Коняихи, все, что служило обременением, что вдруг оказалось лишним. Наконец репутация Ольги Сергеевны достигла тех пределов, далее которых идти было уж некуда. В газетах рассказывали подробности одной дуэли, в которой интересная вдова играла очень видную, хотя и не совсем лестную для нее роль. Повествовалось о каком-то butor [3] из молдаван, о каких-то mauvais traitements [4], жертвою которых была la belle princesse russe de P ***, и наконец о каком-то preux chevalier [5], который явился защитником мальтретированной красавицы. Тогда петербургские родные встревожились.

— Et dire que c'était une sainte! [6] — восклицала ma tante.

— Я предсказывал, что знакомство с национальгардами не доведет до добра! — зловеще каркал mon oncle.

На семейном совете решено было просить... Разрешение не замедлило, и в силу его Ольга Сергеевна вынуждена была оставить очаровательный Париж и поселиться в деревне для поправления расстроенных семейных дел. В это время ей минуло тридцать четыре года.

А «куколка» тем временем процветал в одном «высшем учебном заведении», куда был помещен стараниями ma tante. Это был юноша, в полном смысле слова многообещающий: красивый, свежий, краснощекий, вполне уверенный в своей дипломатической будущности и в то же время с завистью посматривающий на бряцающих палашами юнкеров. По части священной истории он знал, что «царь Давид на лире играет во псалтыре» и что у законоучителя их «лимонная борода».

---

[1] «Но продайте же эту проклятую Тараканиху, которая ничего не стоит и является для нас только обузой!»

[2] кузенов.

[3] грубияне.

[4] махинациях.

[5] о доблестном рыцаре.

[6] И подумать только, ведь это была святая!

По части всеобщей истории он был твердо убежден, что Рим пал жертвою своевольной черни. По части этнографии и статистики ему небезызвестно было, что человечество разделяется на две отдельных породы: chevaliers и manants, из коих первые храбры, великодушны, преданны и верны данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда данного слова не выполняют. Он знал также, что народы, которые не роптали, были счастливы, а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмирению посредством экзекуций. Сверх того, он курил табак, охотно пил шампанское и еще охотнее посещал театр Берга по воскресным и табельным дням. О maman своей он имел самое смутное понятие, то есть знал, que c'est une sainte, и что она живет за границей для поправления расстроенного здоровья. Ольга Сергеевна раза два в год писала к нему коротенькие, но чрезвычайно милые письма, в которых умоляла его воспитывать в себе семена религии и нравственности, запас которых всегда хранился в готовности у ma tante. Он с своей стороны писал к maman чаще и довольно пространно описывал свои занятия у профессоров, так что в одном письме даже подробно изобразил первый крестовый поход. «Представьте себе, милая maman, их гнали отвсюду, на них плевали, их травили собаками, однако ж они, предводимые пламенным Петром Пикардским, всё шли, всё шли». Но так как во время этого описания (он сам впоследствии признавался в этом maman) его тайно преследовал образ некоторой Альфонсинки и ее куплет:

A Provins
On récolte des roses
Et du jasmin,
Et beaucoup d'autres choses... [1] —

то весьма естественно, что реляция о крестовом походе заканчивалась следующими словами: «в особенности же с героической стороны выказал себя при этом небольшой французский городок Provins (allez-y, bonne maman! c'est si près de Paris) [2], который в настоящее время, как видно из географии, отличается изобилием жасминов и роз самых лучших сортов».

Таков был этот юноша, когда ему минуло шестнадцать лет и когда с Ольгой Сергеевной случилась катастрофа. Приехавши в Петербург, интересная вдова, разумеется, расплакалась и прикинулась до того наивною, что когда «куколка» в первое воскресенье явился в отпуск, то она, увидев его, при-

---

[1] В Провене собирают розы и жасмин и много кое-чего другого...
[2] Провен (поезжайте туда, милая мама! это так близко от Парижа),

творилась испуганною и с криком: «Ах! это не «куколка»! это какой-то большой!» — выбежала из комнаты. «Куколка», с своей стороны, услышав такое приветствие, приосанился и покрутил зачаток уса.

Тем не менее более близкое знакомство между матерью и сыном все-таки было неизбежно. Как ни дичилась на первых порах Ольга Сергеевна своего бывшего «куколки», но мало-помалу робость прошла, и началось сближение. Оказалось что Nicolas прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses [1], и даже совсем, совсем не сын, а просто брат. Он так мило брал свою конфетку-maman за талию, так нежно целовал ее в щечку, рукулировал ей на ухо de si jolies choses [2], что не было даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательного отъезда в деревню показалась для Ольги Сергеевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящие каникулы несколько смягчала ее горе.

— Надеюсь, что ты будешь откровенен со мною? — говорила она, трепля «куколку» по щеке.

— Maman!

— Нет, ты совсем, совсем будешь откровенен со мной! ты расскажешь мне все твои prouesses; tu me feras un récit détaillé sur ces dames qui ont fait battre ton jeune coeur... [3] Ну, одним словом, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать... ну, что̀ бы такое ты мог думать?.. ну, положим, что я твоя сестра!..

— И, черт возьми, прехорошенькая! — прокартавил Nicolas (в экстренных случаях он всегда для шика картавил), обнимая и целуя свою maman.

И maman уехала и стала считать дни, часы и минуты.

Село Перкали́ с каменным господским домом, с огромным, прекрасно содержимым господским садом, с многоводною рекою, прудами, тенистыми аллеями — вот место успокоения Ольги Сергеевны от парижских треволнений. Комната Nicolas убрана с тою рассчитанною простотою, которая на первом плане ставит комфорт и допускает изящество лишь как необходимое подспорье к нему. Ковры на полу и на стенах, простая, но чрезвычайно покойная постель, мебель, обитая сафьяном, массивный письменный стол, уставленный столь же

---

[1] что он уже обладает некоторым опытом.

[2] так мило ворковал ей на ухо.

[3] подвиги; ты подробно расскажешь мне о женщинах, которые привели в трепет твое молодое сердце...

массивными принадлежностями письма и куренья, небольшая библиотека, составленная из избраннейших романов Габорио, Монтепена, Фейдо, Понсон-дю-Терайля и проч., и, наконец, по стенам целая коллекция ружей, ятаганов и кинжалов — вот обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести целое лето.

Первая минута свидания была очень торжественна.

— Voici la demeure de vos ancêtres, mon fils! [1] — сказала Ольга Сергеевна,— может быть, в эту самую минуту они благословляют тебя là haut! [2]

Nicolas, как благовоспитанный юноша, поник на минуту головой, потом поднял глаза к небу и как-то порывисто поцеловал руку матери. При этом ему очень кстати вспомнились стихи из хрестоматии:

И из его суровых глаз
Слеза невольная скатилась...

И он вдруг вообразил себе, что он седой, что у него суровые глаза, и из них катится слеза.

— А вот и твоя комната, Nicolas,— продолжала maman,— я сама уставляла здесь всё до последней вещицы; надеюсь, что ты будешь доволен мною, мой друг!

Глаза Nicolas прежде всего впились в стену, увешанную оружием. Он ринулся вперед и стал один за другим вынимать из ножен кинжалы и ятаганы.

— Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman! merci! vous êtes la plus généreuse des mères! [3] — восклицал он, в ребяческом восторге разглядывая эти сокровища,— этот ятаган... черт возьми!..

— Этот ятаган — святыня, мой друг, его отнял твой дедушка Николай Ларионыч — c'était le bienfaiteur de toute la famille! — à je ne sais plus quel Turc [4], и с тех пор он переходит в нашем семействе из рода в род! Здесь все, что ты ни видишь, полно воспоминаний... de nobles souvenirs, mon fils! [5]

Nicolas вновь поник головой, подавленный благородством своего прошлого.

— Вот этот кинжал,— продолжала Ольга Сергеевна,— его вывезла из Турции твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque [6]. Она была пленная турчанка, но

---

[1] Вот жилище ваших предков, сын мой!

[2] там наверху!

[3] Но взгляните, взгляиите, какая красота! о, мама! спасибо! вы самая щедрая из матерей!

[4] это был благодетель всей семьи! — у какого-то турка.

[5] благородных воспоминаний, сын мой!

[6] прекрасная одалиска.

твой grand oncle Constantin так увлекся ее глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs![1]), что не только обратил ее в нашу святую, православную веру, notre sainte religion orthodoxe, но впоследствии даже женился на ней. И представь себе, mon ami, все, кто ни знал ее потом в Москве... никто не мог найти в ней даже тени турецкого! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски... mais tout à fait comme une femme bien élevée![2] По временам даже журила самого Светлейшего!

Nicolas поник опять.

— А вот это ружье — ты видишь, оно украшено серебряными насечками — его подарил твоему другому grand oncle, Ипполиту, сам светлейший князь Таврический — tu sais? l'homme du destin![3] Покойный Pierre рассказывал, что «баловень фортуны» очень любил твоего grand oncle и даже готовил ему блестящую карьеру, mais il parait que le cher homme était toujours d'une très petite santé[4] — и это место досталось Мамонову.

— Fichtre! c'est le grand oncle surnommé le Bourru bienfaisant?[5] Так вот он был каков!

— Он самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler[6]. Он поселился в деревне, здесь поблизости, и все жертвует, все строит монастыри. C'est un saint, и тебе непременно нужно у него погостить. Что он вытерпел — ты не можешь себе представить, мой друг! Десять лет он был под опекой по доносу своего дворецкого (un homme, dont il a fait la fortune![7]) за то, что будто бы засек его жену... lui! un saint![8] И это после того, как он был накануне такой блестящей карьеры! Но и затем он никогда не позволял себе роптать... напротив, и до сих пор благословляет то имя... mais tu me comprends, mon ami?[9]

Nicolas в четвертый раз поник головой.

— Но рассказывать историю всего, что ты здесь видишь, слишком долго, и потому мы возвратимся к ней в другой раз. Во всяком случае, ты видишь, что твои предки и твой отец — oui, et ton père aussi, quoiqu'il soit mort bien jeune![10] — всегда

---

[1] у нее были большие-большие черные глаза!
[2] как прекрасно воспитанная женщина!
[3] знаешь? баловень судьбы!
[4] но, кажется, милый человек отличался всегда очень плохим здоровьем.
[5] Черт возьми! так это дед, названный благодетельным букой?
[6] С тех пор он не мог утешиться.
[7] человека, которого он облагодетельствовал!
[8] он! святой!
[9] но понимаешь ли ты меня, мой друг?
[10] да, и твой отец, хотя он и умер очень молодым!

и прежде всего помнили, что они всем сердцем своим принадлежат нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!

— Oh, maman! la patrie! [1]

— Oui, mon ami, la patrie — vous devez la porter dans votre cœur! [2] А прежде всего — дворянский долг, а потом нашу прекрасную православную религию (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbé Guété [3]). Без этих трех вещей — что мы такое? Мы путники или, лучше сказать, пловцы...

— «Без кормила, без весла»,— вставил свое слово Nicolas, припомнив нечто подобное из хрестоматии.

— Ну да, c'est juste [4], ты прекрасно выразил мою мысль. Я сама была молода, душа моя, сама заблуждалась, ездила даже с визитом к Прудону, но, к счастью, все это прошло, как больной сон... et me voilà!

— Oh, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion! [5]

Ольга Сергеевна, в свою очередь, поникла головой и даже умилилась.

— Ты не поверишь, мой друг, как я счастлива! — сказала она,— я вижу в тебе это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc, comme mon cœur bondit et trépigne! [6] Нет, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувств матери! Mais c'est quelque chose d'ineffable, mon enfant, mon noble enfant adoré! [7]

Этим торжество приема кончилось. За обедом и мать и сын уже болтали, смеялись и весело чокались бокалами, причем Ольга Сергеевна не без лукавства говорила Nicolas:

— А помнишь, душа моя, ты писал мне об одном городке Provins, который изобилует жасминами и розами; признайся, откуда ты взял это сведение?

— Maman! я получил его в театре Берга! Parbleu! on enseigne très bien la géographie dans ce pays-là! [8]

Первое время мать и сын не могли насмотреться друг на друга. Ольга Сергеевна, как институтка, бегала по тенистым аллеям, прыгала на pas-de-géant; [9] Nicolas ловил ее и, поймавши, крепко-крепко целовал.

— Maman! расскажите, как вы познакомились с papa?

---

[1] О, мама! отечество!
[2] Да, мой друг, отечество — вы должны носить его в своем сердце!
[3] если хочешь, я тебе дам письмо к милейшему аббату Гете.
[4] верно.
[5] И вот я тут! О, мама! долг! отечество! и наша святая вера!
[6] Не знаю что! Посмотри, как сердце мое бьется и трепещет!
[7] Это что-то невыразимое, мое дитя, мое благородное обожаемое дитя!
[8] Право же! в этой стране хорошо преподают географию!
[9] гигантских шагах.

— Папа был немного груб... но тогда это как-то нравилось,— слегка заалевшись, отвечает Ольга Сергеевна.

— Еще бы! Sacré nom! vous autres femmes! c'est votre idéal d'être maltraitées![1] Ну-с! как же ты с ним познакомилась?

— Мы встретились в первый раз на бале, и он танцевал со мной сначала кадриль, потом мазурку... Тогда лифы носили очень короткие — c'était presqu'aussi ouvert qu'à présent[2] — и он все смотрел... это было очень смешно!

— Еще бы не смотреть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme.[3] Ну-с, дальше-с.

— Потом он сделал предложение, а через месяц нас обвенчали. Mais comme j'avais peur si tu savais![4]

— Еще бы! Кувырком!

— Колька! негодный! разве ты знаешь!

— Гм...

— Ведь тебе еще только шестнадцать лет!

— Семнадцатый-с... Я, maman, революций не делаю, заговоров не составляю, в тайные общества не вступаю... laissez-moi au moins les femmes, sapristi![5] Затем, продолжайте.

— Et puis!.. c'était comme une épopée! c'était tout un chant d'amour![6]

— Да-с, тут запоешь, как выражается мой друг, Сеня Бирюков!

— Et puis... il est mort![7] Я была как безумная. Я звала его, я не хотела верить...

— Еще бы! сразу на сухоядение!

— Ах, Nicolas, ты шутишь с самым священным чувством! Говорю тебе, что я была совершенно как в хаосе, и если бы у меня не остался мой «куколка»...

— «Куколка» — это я-с. Стало быть, вы мне одолжены, так сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дело на своем веку сделал! Но, затем, прошли целые двенадцать лет, maman... ужели же вы?.. Но это невероятно! si jeune, si fraîche, si pimpante, si jolie![8] Я сужу, наконец, по себе... Jamais on ne fera de moi un moine![9]

---

[1] Знаем мы вас, женщины! Вы любите, чтобы с вами грубо обращались.

[2] они были почти так же открыты, как теперь.

[3] что может быть прекраснее красивой груди женщины.

[4] Но как я боялась, если б ты знал!

[5] оставьте на мою долю хоть женщин, черт побери!

[6] А потом... это была сказка! Это была песня любви!

[7] А потом... он умер!

[8] такая молодая, такая свежая, такая нарядная, такая хорошенькая!

[9] Никогда не сделают из меня монаха!

Ольга Сергеевна алеет еще больше и как-то стыдливо поникает головой, но в это же время исподлобья взглядывает на Nicolas, как будто говорит: какой же ты, однако, простой: непременно хочешь mettre les points sur les *i!* [1]

— Trêve de fausse honte! [2] — картавит между тем Коля,— у нас условлено рассказать друг другу все наши prouesses! [3] Следовательно, извольте сейчас же исповедоваться передо мной, как перед духовником!

Ольга Сергеевна на мгновение заминается, но потом вдруг бросается к сыну и прячет у него на груди свое лицо.

— Nicolas! Я очень, очень виновата перед тобой, мой друг! — шепчет она.

— Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mère, que même à présent tu es jolie à croquer... parole! [4]

— Ah! tu viens de m'absoudre! mon généreux fils! [5]

— Не только абсудирую, но и хвалю! Итак...

— Ах, «он» так любил меня, а я была так молода... Ты знаешь, Pierre был очень груб, и хотя в то время это мне нравилось... mais «lui»! C'était tout un poème. Il avait de ces délicatesses! de ces attentions! [6]

— Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить целую главу! а этот кавалерист, который сопровождал вас за границу? Тот, который так пугал mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons?? [7]

— C'était un butor! [8]

— Passons [9]. Но кто же был этот «он», celui qui avait des délicatesses? [10]

— Он писал сначала в «Journal pour rire», потом в «Charivari», потом в «Figaro»... Ах, если б ты знал, как он смешно писал! И все так мило! И мило и смешно! И как он умел оскорблять! Et avec cela brave, maniant à merveille l'épée, le sabre et le pistolet! [11] Все журналисты его боялись, потому что он мог всех их убить!

---

[1] поставить точки над i.

[2] Прочь ложный стыд!

[3] подвиги!

[4] А знаешь ли ты, мамочка, даже сейчас ты прелестна, как херувим... клянусь!

[5] Ах! ты меня простил! Мой великодушный сын!

[6] зато «он»! Это была настоящая поэма. Он был так нежен, так внимателен!

[7] грубостями??

[8] Это был грубиян!

[9] Дальше.

[10] тот, который был так нежен?

[11] И вместе с тем бравый, чудесно владеющий шпагой, саблей и пистолетом!

— Et joli garçon? [1]

— Beau... mais d'une beauté! [2] Повторяю тебе, это была целая поэма! Et avec ça, adorant le trône, la patrie et la sainte église catholique! [3]

Ольга Сергеевна вздыхает и как-то сосредоточенно мнет в своей руке ветку цветущей сирени. Мысли ее витают там, на далеком Западе, au coin du boulevard des Capucines [4], № 1, там, где она однажды позабыла свой bonnet de nuit [5], где Anatole, который тогда писал в «Figaro», на ее глазах сочинял свои милейшие blagues (oh! comme il savait blaguer, celui-là! [6]) и откуда ее навсегда вырвал семейный деспотизм! В эту минуту она забывает и о сыне и о его prouesses, да и хорошо делает, потому что вспомни она об нем, кто знает, не возненавидела ли бы она его как первую, хотя и невольную, причину своего заточения?

— Ну, а насчет Прудона как? — пробуждает ее голос Nicolas.

— N'en parlons pas! [7]

Ольга Сергеевна говорит это уже с оттенком гнева и начинает быстро ходить взад и вперед по кругу, обрамленному густыми липами.

— Вообще, будет обо всем этом! — продолжает она с волнением,— все это прошло, умерло и забыто! Que la volonté de Dieu soit faite! [8] А теперь, мой друг, ты должен мне рассказать о себе!

Ольга Сергеевна садится, Nicolas с невозмутимой важностью покачивается на скамейке, обнявши обеими руками приподнятую коленку.

— Et bien, maman,— говорит он,— nous aimons, nous folichonnons, nous buvons sec! [9]

Maman как-то сладко смеется; в ее голове мелькает далекое воспоминание, в котором когда-то слышались такие же слова.

— Raconte-moi comment *cela* t'est venu? [10] — спрашивает она.

---

[1] И красивый малый?

[2] Красив... изумительно красив!

[3] И вместе с тем он обожал трон, отечество и святую католическую церковь!

[4] на углу бульвара Капуцинок.

[5] ночной чепчик.

[6] фантазии, шутки (о, как забавно фантазировал!).

[7] Не будем говорить об этом!

[8] Да исполнится воля божия!

[9] Что ж, мама, мы любим, шалим, выпиваем!

[10] Расскажи мне, как *это* с тобой случилось?

— Mais... c'est simple comme bonjour! [1] — картавит Nicolas,— однажды мы были в цирке... перед цирком мы много пили... et après la représentation... ma foi! le sacrifice était consommé! [2]

Ольга Сергеевна, ожидавшая пикантных подробностей и перипетий, смотрит на него с насмешливым удивлением. Как будто она думает про себя: странно! точь-в-точь такое же животное, как покойный Петька!

— И ты?..— спрашивает она.

Но Nicolas подмечает насмешливый тон этого вопроса и спешит поправиться.

— Maman! — говорит он восторженно.— C'était, comme vous l'avez si bien dit, tout un poème! [3]

Эта фраза словно пробуждает Ольгу Сергеевну; она снова вскакивает с скамейки и снова начинает ходить взад и вперед по кругу. Прошедшее воскресает перед ней с какою-то подавляющею, непреоборимою силою; воспоминания так и плывут, так и плывут. Она не ходит, а почти бегает; губы ее улыбаются и потихоньку напевают какую-то песенку.

«C'était tout un poème!» — мелькает у ней в голове.

Проходит несколько дней; рассказы о прошедших prouesses исчерпываются, но их заменяет сюжет столько же, если не больше, животрепещущий. Дело в том, что Ольга Сергеевна еще за границей слышала, что в Петербурге народились какие-то нигилисты, род особенного сословия, которого не коснулись краткие начатки нравственности и религии и которое, вследствие того, ничем не занимается, ни науками, ни художествами, а только делает революции. Когда же она, сверх того, узнала, что в члены этого сословия преимущественно попадают молодые люди, то материнским опасениям ее не стало пределов. Она тотчас же собралась писать к «куколке», чтоб предостеречь и вразумить его, и, конечно, выполнила бы свое намерение, если б в эту самую минуту к ней не пришел Anatole с какою-то только что измышленною им bonne petite blague. Эта blague была так мила, так остроумна и весела, что Ольга Сергеевна целый день хохотала до слез и к вечеру не только утратила ясное представление о нигилистах, но даже

---

[1] Но... это просто, как день!

[2] И после представления... черт возьми! жертвоприношение было совершено!

[3] Это была, как вы прекрасно сказали, настоящая поэма!

почему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная национальность (les polonais, les italiens... les nihilistes! [1]), которая, в этом качестве, имеет право на собственную свою конституцию и на собственные свои законы. Хотя же впоследствии события не один раз напоминали ей об ужасных делах этих «ужасных людей» и она опять собиралась писать по этому поводу к «куколке», но Anatole с своей стороны тоже не дремал и был так неистощим на blagues, что все усилия думать о чем-нибудь другом, кроме этих прелестных blagues, остались тщетными. Так продолжалось все время до самого переселения в Перкали́. Тут она окончательно припомнила все слышанное о нигилистах и решилась немедленно испытать политические убеждения «куколки».

Завтрак кончился; Nicolas только что рассказал свою последнюю prouesse и, покачиваясь на стуле, мурлыкает: «Mon pére est à Paris»; [2] Ольга Сергеевна ходит взад и вперед по столовой и некоторое время не знает, как приступить к делу.

— Надеюсь, мой друг, что ты не нигилист! — наконец отрезывает она,— нигилисты — это те самые, которые гражданский брак выдумали!

— Maman! вы очень хорошо знаете, что я консерватор! — обижается Nicolas.

— Je sais bien que vous êtes un noble enfant! [3] но знай, Nicolas, что если б когда-нибудь тебе зашла в голову мысль о революции... vous ne serez plus mon fils... vous m'entendez?.. [4]

— Maman! вы странная! вы лучшая из матерей, но вы не понимаете меня.

— Ah! les hommes sont bien méchants! [5] они так искусно расставляют свои сети, что я не могу... нет, нет, не могу не дрожать за тебя. И потому, если б когда-нибудь, по какому-нибудь случаю, тебя постигло искушение...

— Parbleu! je voudrais bien voir! [6]

— Не шути этим, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты — это даже не люди... это... это злые духи,— et tu sais d'après la Bible ce que peut un esprit malfaisant [7]. А потому, если они будут тебя искушать, вспомни обо мне... вспомни, мой друг!.. и помолись! La prière — c'est tout [8]. Она даст тебе

---

[1] поляки, итальянцы... нигилисты!
[2] «Мой отец в Париже».
[3] Я хорошо знаю, что вы благородный мальчик!
[4] вы больше не будете мне сыном... вы меня понимаете?..
[5] Ах! люди очень злы!
[6] Черт возьми! желал бы я посмотреть!
[7] а ты знаешь по Библии, что может злой дух.
[8] молитва — это всё.

крылья и мигом прогонит весь этот cauchemar de moujik [1]. Дай мне слово, что ты исполнишь это!

— Maman! вы странная!

— Нет, дай мне слово! успокой меня!

— Даю вам миллион триста тысяч слов, что каждый из этих злых духов, при первом свидании, получит от меня такую taloche [2], что забудет в другой раз являться с предложениями! О! я эти революции из них выбью! Я их подтяну!

Nicolas надувается и вскакивает; глаза его искрятся; лицо принимает торжественное выражение. Он таким орлом прохаживается по зале, как будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и он, во исполнение, напал на свежий и совершенно несомненный след.

— Maman! — произносит он важно,— желаете ли вы, чтоб я открыл перед вами мою profession de foi? [3]

— Mon fils! [4]

— Alors écoutez bien ceci [5]. Я консерватор; я человек порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe — voici mon programme à moi [6]. Что касается до нигилистов, то я думаю об них так: это люди самые пустые и даже — passez-moi le mot [7] — негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-là! ils tournent dans un cercle vicieux! [8] Надеюсь, что теперь вы меня понимаете?

— Какой ты, однако ж...

«Умный», хотела сказать Ольга Сергеевна, но вдруг остановилась. Она совсем некстати вспомнила, что даже ее покойный Пьер («le pauvre ami! [9] он никогда ничего не знал, кроме телесных упражнений!») — и тот однажды вдруг заговорил, когда зашла речь о нигилистах. «И, право, говорил не очень глупо!» — рассказывала она потом об этом диковинном случае его товарищам-кавалеристам.

А Nicolas между тем надувается все больше и больше.

— Благодаря моему воспитанию,— ораторствует он,— благодаря вам, ma noble et sainte mère, la ligne de conduite

---

[1] мужицкий кошмар.

[2] взбучку.

[3] свои убеждения?

[4] Мой сын!

[5] В таком случае слушайте.

[6] И кроме того, я легитимист! Порядок, отечество и наша святая православная вера — вот моя программа.

[7] простите за выражение.

[8] У этих людей нет никаких основ! они вертятся в заколдованном кругу!

[9] бедный друг!

que j'ai à suivre est toute tracée. Cette ligne — la voici: [1] желай в пределах возможного, беспрекословно исполняй приказания начальства, будь готов, et ne te mêle pas de politique [2]. Один из наших гувернеров сказал святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiète!! [3] А в переводе это значит: не возносись, не пари в облаках — и никто тебя не тронет. Но если ты желаешь парить — что ж, милости просим! Только уж не прогневайся, mon cher, если с облаков ты упадешь где-нибудь... où cela ne sent pas la rose! [4]

— Merci! merci, mon fils! — страстно произносит Ольга Сергеевна.

Но Nicolas не слушает и, постепенно разгорячаясь, несколько раз сряду повторяет:

— Oui, dans cet endroit-là cela ne sentira pas la rose... je le garantie! [5]

Мало-помалу, раздражаясь собственною фантазией, он вступает в тот фазис, когда человеком вдруг овладевает какая-то нестерпимая потребность лгать. Он останавливается против maman, несколько времени смотрит на нее в упор, как будто приготовляет к чему-то необычайному.

— Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народ! — восклицает он,— они требуют миллион четыреста тысяч голов! Je vous demande, si c'est pratique! [6]

С минуту и мать и сын оба молчат, подавленные.

— Они говорят, что наука вздор... la science! [7] что искусство — напрасная потеря времени... les arts! [8] что всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина... Pouschkinn!

Новая минута молчания.

— Они отвергают брак, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! [9] Они не признают таинств, религии, церкви... notre sainte église orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste!! [10]

---

[1] моя благородная и святая мать, линия поведения, которой я следую, вполне ясна. Эта линия — следующая.

[2] и не вмешивайся в политику.

[3] нигде так спокойно не живется, сказал он, как в России! лишь бы ничего не делать, никто тебя не тронет!!

[4] где не пахнет розами!

[5] Да, там розами пахнуть не будет... за это я ручаюсь!

[6] Я спрашиваю вас, целесообразно ли это!

[7] наука!

[8] искусства!

[9] они живут, как кобели со своими суками!

[10] нашей святой православной церкви! И вы спрашиваете меня, не нигилист ли я!

Ольга Сергеевна не может больше владеть собой и бросается к Nicolas.

— Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et saint enfant! [1] но скажи, ты знал? ты знал кого-нибудь из этих страшных людей? — с каким-то ужасом спрашивает она.

— Maman! Я видел одного из них на Невском: il était mal peigné, pas du tout lavé... [2] и от него пахло!

— L'horreur! [3]

Политическая программа Nicolas не только успокоивает Ольгу Сергеевну, но даже внушает ей уважение к сыну.

— До сих пор я только любила тебя,— говорит она,— теперь я тебя уважаю!

На что Nicolas со всем энтузиазмом пламенной души отвечает:

— Oh! ma noble et sainte mère! mais sentez donc! sentez, comme mon cœur bondit et trépigne [4].

Вообще «куколка» доволен собой выше всякой меры. Во-первых, благодаря maman, он узнаёт, что он консерватор (до сих пор все его политические убеждения заключались в том, чтобы не пропустить ни одного праздничного дня, не посетивши театра Берга) и что ему предстоит в будущем какая-то роль; во-вторых, слова Ольги Сергеевны об уважении окончательно возносят его на недосягаемую высоту. Он целые дни ходит в забытьи, целые дни строит планы за планами и, наконец, делается до того подозрительным, что впадает почти в ясновидение.

— Aujourd'hui j'ai rêvé! [5] — говорит он однажды.— Мне снилось, что я сделался невидимкой и присутствую при их совещаниях! Можете себе представить, maman, какие я при этом сделал открытия!

В другой раз он обращает внимание maman на вредное направление умов, замеченное им между поселянами.

— Как хотите, maman,— ораторствует он,— а чувство уважения к священному принципу собственности так мало в них развито, что я почти прихожу в отчаяние. Вчера из парка выгнали крестьянскую корову; сегодня, на господском овсе,

---

[1] Ты благородный и святой мальчик!
[2] плохо причесан, неумыт.
[3] Ужас!
[4] О! моя добрая святая мать! попробуйте! попробуйте, как бьется и трепещет мое сердце.
[5] Сегодня я видел сон!

застали целое стадо гусей. Я думаю, что система штрафов была бы в этом случае очень-очень действительна!

Наконец, в третий раз, он объявляет, что видел на селе настоящего нигилиста.

— Но кого же, мой друг? — изумленно спрашивает Ольга Сергеевна.

— Tu sais... ce séminariste...[1] сын нашего священника. Представь себе, встречается давеча со мной и пренагло-нагло подает мне руку... canaille![2]

Открытие это несколько смущает Ольгу Сергеевну. Она, с своей стороны, уже заметила Аргентова (фамилия заподозренного семинариста), и ей даже показалось, что он не только не нигилист, но даже «благонамеренный». Именно «благонамеренный», не «консерватор» — «консерваторами» могут быть только les gens comme il faut[3],— а «благонамеренный», то есть смирный, послушный, преданный. Аргентов был высокий и плотный молодой человек; голова у него была большая и кудрявая; черты лица несколько крупны, но не без привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергеевна заметила. «Il est du peuple, c'est vrai[4],— думала она про себя,— mais quelquefois ces gens-là ont du bon»[5]. И она до такой степени прониклась убеждением, что Аргентов «благонамеренный», что однажды, выходя из церкви, даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его.

— После,— прибавила она,— теперь дайте мне насмотреться на моего «куколку»! Он у меня такой серьезный, непременно хочет оставаться со мной один! Ведь вы еще не скоро уезжаете отсюда, мсьё Аргентов?

— Все зависит от местов-с,— отвечал молодой человек,— как скоро откроется вакансия, тогда уж будет не до знакомств-с, а надо будет думать о приискании невесты-с!

— Ну, будет время, еще познакомимся! — сказала Ольга Сергеевна, садясь в экипаж, между тем как Аргентов удалялся восвояси, напевая звучным басом: «Телесного озлобления терпети не могу».

С тех пор мысль об Аргентове посещала ее довольно настойчиво. В голове ее даже завязывались по этому случаю целые романы с длинными зимними вечерами, с таинственным мерцаньем лунного луча, и с этою страстною, курчавою голо-

---

[1] Знаешь... этот семинарист...
[2] каналья!
[3] порядочные люди.
[4] Он из простого народа, это верно.
[5] Но иногда у этих людей есть кое-что хорошее.

вой, si pleine de sève et de vigueur! [1] Она полулежит на диване, глаза ее зажмурены, а его голос гремит и дрожит, и в ушах ее бессвязно раздаются какие-то страстные, пламенные слова. Ей сладко мечтать под эти страстные звуки, она не сознает даже содержания их, а только тихо-тихо поддается им, побежденная их страстностью... И как он мило брюзжит, когда она, в самом разгаре его диатриб, вдруг выйдя из забытья, «совсем-совсем некстати» обращается к нему с вопросом:

— А вы читали Оссиана, Аргентов?

— Не об Оссиане идет теперь речь,— кричит он на нее, вскакивая как ужаленный,— а о народных страданиях-с! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?

«Странное дело! — думается ей,— сколько раз я предлагала этот вопрос... там... à Paris... и все «они» отвечали мне таким же образом! Все, все сердились».

И вдруг «куколка» разрушает весь этот rêve, объявляя, что Аргентов — нигилист! Un homme qui n'a pas de religion!! [2] человек, который выдумал гражданский брак!!

— Но не ошибаешься ли ты, мой друг? — говорит она как-то робко.— Мне кажется... он благонамеренный!

— Нет, нет, у меня это уж инстинкт, и он меня никогда-никогда не обманывал! Все эти fils de pope [3] нарочно говорят глупые слова, чтоб скрыть, что они делают революции! А что у них на уме одни революции — c'est un fait avéré! [4] И не меня они обманут своим смирением!

Одним словом, восторженность Nicolas растет до того, что он начинает вскакивать по ночам, кричать, кого-то требовать к ответу, что причиняет Ольге Сергеевне не мало тревоги.

— Maman! — восклицает он однажды,— je sens que je mourrai, mais au moins je mourrai à mon poste! Touchez ma tête — elle est tout en feu! [5]

— Но ты бы чем-нибудь рассеял себя,— испуганно говорит она,— посмотрел бы на наше хозяйство, позвал бы управляющего!

— Oh, maman! все это кажется мне теперь так ничтожным... si petit, si mesquin! [6]

— Но подумай, мой друг, у тебя будут дети; это твой долг,

---

[1] так полной сока и силы!
[2] Безбожник!
[3] поповичи.
[4] это факт доказанный!
[5] я чувствую, что умру, но, по крайней мере, умру на своем посту! Троньте мою голову — она вся в огне!
[6] таким мелким, таким жалким!

c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom [1].

— Encore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose, que la vie, maman! [2]

Но Ольга Сергеевна уже не слушает и посылает к Nicolas управляющего. Nicolas, с свойственною ему стремительностью, излагает пред управляющим целый ряд проектов, от которых тот только таращит глаза. Так, например, он предлагает устроить на селе кафе-ресторан, в котором крестьяне могли бы иметь чисто приготовленный, дешевый и притом сытный обед (и богу бы за меня молили! мелькает при этом у него в голове).

— Понимаешь? понимаешь? — толкует он,— я не того требую, чтоб были у них голландские скатерти, а чтоб было все чисто, мило, просто! — понимаешь?

Потом, не давши этой идее дальнейшего развития, он переходит к пчеловодству и доказывает, что при современном состоянии науки («la science!» [3]) можно заставить пчел делать какой угодно мед — липовый, розовый, резедовый и т. д.

— Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый мед, ты — резедовый... и мы оба... понимаешь?

Наконец бросает и эту материю, грозит управляющему пальцем и с восклицанием «я вас подтяну!» — убегает к maman.

— Maman! да тут у вас какие-то Каракозовы завелись! — разражается он.

С этих пор кличка «Каракозов» остается за управляющим навсегда.

———

Наконец Ольга Сергеевна вспоминает, что в соседстве с ними живет молодой человек, Павел Денисыч Мангушев, и предлагает Nicolas познакомиться с ним.

— Опять какой-нибудь Каракозов? — острит Nicolas.

— Нет, мой друг, это молодой человек — совсем-совсем одних мыслей с тобою. Он консерватор, il est connu comme tel [4], хотя всего только два года тому назад вышел из своего заведения. Вы понравитесь друг другу.

— Гм... можно!

Павел Денисыч Мангушев живет всего в десяти верстах от Персиановых, в прекраснейшей усадьбе, ни в чем не уступающей Перкалям. В ней все тенисто, прохладно, изобильно и

---

[1] твой долг — передать им неприкосновенными твои права, твое имущество, твое доброе имя.

[2] Еще долг! какое бремя! и какая печальная вещь жизнь, мама!

[3] «наука!»

[4] известен как таковой.

привольно. Обширный каменный дом, густой, старинный сад, спускающийся террасой к реке, оранжереи, каменные службы, большой конный завод, и кругом — поля, поля и поля. Сам Мангушев — совершенно исковерканный молодой человек, какого только возможно представить себе в наше исковерканное всякими bons и mauvais principes [1] время. Воспитание он получил то же самое, что и Nicolas, то есть те же «краткие начатки» нравственности и религии и то же бессознательно сложившееся убеждение, что человеческая раса разделяется на chevaliers и manants [2]. Хотя между ними шесть лет разницы, но мысли у Мангушева такие же детские, как у Nicolas, и так же подернуты легким слоем разврата. Ни тот, ни другой не подозревают, что оба они — шалопаи; ни тот, ни другой не видят ничего вне того круга, которого содержание исчерпывается чищением ногтей, анализом покроя галстухов, пиджаков и брюк, оценкою кокоток, рысаков и т. д. Единственная разница между ними заключалась в том, что Nicolas готовил себя к дипломатической карьере, а Мангушев, par principe, [3] всему на свете предпочитал la vie de château [4]. В последнее время у нас это уже не редкость. Прежде помещики поселялись в деревнях, потому что там дешевле и привольнее жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смеют ни в чем отказать, потому что в поле есть заяц, в лесу — медведь, и т. д. Теперь поселяются в деревнях par principe, для того, чтоб сеять какие-то семена и поддерживать какие-то якобы права... Таким образом, если для Nicolas предстояло проводить в жизни шалопайство дипломатическое, то Мангушев уже два года сряду проводил шалопайство de la vie de château.

— Vous autres, gens de l'épée et de robe [5],— обыкновенно выражался Мангушев,— вы должны администрировать, заботиться о казне, защищать государство от внешних врагов... que sais-je! Nous autres, châtelains, nous devons rester à notre poste! [6] Мы должны наблюдать, чтоб здесь, на местах, взошли эти семена... Одним словом, чтоб эти краеугольные камни... vous concevez? [7]

Выражение «краеугольные камни» он как-то особенно подчеркивал и всегда останавливался на нем. Он покручивал свои усики, пристально поглядывал на своего собеседника и

---

[1] хорошими и дурными принципами.
[2] рыцарей и мужиков.
[3] из принципа.
[4] жизнь в поместье.
[5] Вы, люди военные и чиновники.
[6] и прочее! Мы, помещики, должны оставаться на нашем посту!
[7] понимаете?

умолкал, вполне уверенный, что все, что надлежало сказать, уже высказано. В сущности же, «краеугольные камни», о которых здесь упоминалось, состояли в том, что Мангушев по утрам *чистил себе ногти и примеривал галстухи, потом* — ездил по соседям или принимал таковых у себя и, наконец, на ночь, зевая, выслушивал рапорты своих: chef de l'administration [1] и chef du haras [2].

— Я, messieurs, не знаю, что такое скука! — выражался он, рассказывая об употреблении своего дня,— моя жизнь — это жизнь труда, забот и распоряжений. Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons à nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms [3] (Ольга Сергеевна от него заразилась этой фразой, когда рекомендовала «куколке» заняться хозяйством). Поэтому наше место — на нашем посту. Вы, господа военные и господа дипломаты,— вы защищайте отечество и ведите переговоры. A nous — le rôle modeste des civilisateurs [4]. Мы сеем и способствуем прозябению посеянного. Я с утра уж принимаю рапорты, делаю распоряжения, осматриваю постройки, mes bâtisses, хожу на работы... И таким образом проходит целый *трудовой день! У меня даже свой суд... Я здесь верховный* судья! Все эти люди, которым нечего есть,— все они приходят *ко мне* и *у меня* просят работы. Я могу дать, могу и отказать,— стало быть, я прав, говоря, что суд принадлежит *мне*. У меня нет ни одного безнравственного человека в услужении... parce que la morale, mon cher,— c'est mon cheval de bataille [5]. Я каждому приходящему ко мне наниматься говорю: хорошо, но ты должен быть почтителен! И они почтительны. .Все эти краеугольные камни... вы меня понимаете?

Дошедши до «краеугольных камней», Мангушев опять умолкал, считая свою миссию совершенно исполненною.

Nicolas и Мангушев сразу поняли друг друга, хотя последний принял первого с оттенком некоторого покровительства.

— Soyez le bienvenu! [6] — сказал он ему,— le descendant des Persianoff [7] всегда будет желанным гостем в доме Мангушевых. Мы, сельские дворяне, конечно, не можем доставить вам тех высоких наслаждений, к которым привыкли люди столиц,

---

[1] управляющего.
[2] заведующего конным заводом
[3] Мы, скромные работники на ниве цивилизации, должны передать нашим потомкам неприкосновенными наши владения, наши права и наши имена.
[4] наш удел — скромная роль цивилизаторов.
[5] ибо мораль, мой милый,— мой боевой конь.
[6] Добро пожаловать!
[7] потомок Персиановых.

но и у нас найдется для Персианова и чарка доброго старого вина, и хороший кусок дымящегося ростбифа. Entrez, je vous prie [1].

Мангушев высказал это так серьезно, что Nicolas сразу почувствовал беспредельное благоговение к нему. Он был так щегольски и в то же время так просто одет, что Nicolas в своем мундирчике почувствовал себя как-то неловко (он в первый раз упрекнул себя, зачем надел мундир, и не послушался maman, которая советовала надеть легкий палевый костюм). В его воображении вставал совсем не тот золотушный, вертлявый и исковерканный Мангушев, который действительно ломался перед его глазами, а подлинный представитель той vie de château [2], о которой он вычитал когда-то dans ces bons petits romans [3], воспитывавших его юность. Целая картина быстро пронеслась в его воображении. Молодой лорд, рассеваюший семена консерватизма, религии и нравственности; семейный очаг; длинные зимние вечера в старом, величественном за́мке; подъемные мосты; поля, занесенные снегом; охота на кабанов и серн; триктрак с сельским кюре; беседа за ужином с обильными возлияниями; общие молитвы с преданными седыми слугами, и затем крепкий, здоровый и безмятежный сон до утра... Одним словом, он совершенно позабыл, что находится в *Глуповской губернии*, где *нет ни шатò, ни кюрè*, играющих в триктрак, ни кабанов, ни консерватизма, ни религии, ни нравственности, а есть только высь да ширь, да бесконечно праздные и беспредельно болтающие Мангушевы.

— Et la santé de madame? [4] — осведомился между тем Мангушев.

— Merci. Maman se porte très bien.

— Oh! votre mère est une noble et sainte femme! [5]

Молодые люди вошли в кабинет и уселись на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.

— Et maintenant, causons. Charles! vite un déjeuner et une bouteille de notre meilleur! [6] — обратился Мангушев к расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаний,— мсьё Персианов! вы какое вино предпочитаете?

Nicolas вспыхнул, потому что до сих пор он сам еще не давал себе отчета относительно вина. Он неизменно душил

---

[1] Войдите, прошу вас.
[2] жизни в поместье.
[3] в милых романах.
[4] Как здоровье мадам?
[5] Благодарю. Мама чувствует себя превосходно.— Ваша мать благородная и святая женщина!
[6] А теперь поболтаем. Шарль! скорее завтрак и бутылку лучшего вина!

шампанское, полагая, что дорогая его цена вполне достаточна, чтоб оправдать это предпочтение.

— Mais... le champagne! [1] — смущенно пролепетал он, все больше и больше краснея.

— Pardon! Мы будем пить шампанское en son temps et lieu [2] — надеюсь, что вы у меня обедаете? — а теперь... Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux... «Retour des Indes»... C'est tout ce qu'il nous faut pour le moment... n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff? [3]

Nicolas промычал в знак согласия.

— У меня в услужении всё французы,— продолжал Мангушев, когда Шарль удалился,— и вам рекомендую то же сделать. Il n'y a rien comme un français, pour servir [4]. Наши русские более к полевым работам склонность чувствуют. Ils sont sales [5]. Но зато, в поле за сохой... c'est un charme! [6]

Затем, уже начинается собственно causerie [7].

— Ну-с, что нового в Петербурге?

— Mais... nous folichonnons, nous aimons, nous buvons sec! [8]

— Oh! cette bonne, brave jeunesse! [9] Мы, сельские дворяне, любуемся вами из нашего далека и шлем вам отсюда наши скромные пожелания. Вам трудно в настоящую минуту, messieurs, и мы понимаем это очень хорошо; но поверьте, что и наша задача тоже нелегка!

Мангушев останавливается, как будто собирается с мыслями.

— У нас нет поддержки! — наконец говорит он и опять умолкает.

Nicolas делает вид, что умеет, так сказать, читать между строк.

— On est trop bon là-bas! [10] — продолжает Мангушев,— нет спора, намерения прекрасны, но нет этой пылкости, этого натиска, чтобы разом покончить с гидрою! А мы... что же мы можем сделать с нашими маленькими, разрозненными усилиями? Мы можем только помогать по мере наших слабых сил... и сожалеть!

---

[1] Но... шампанское!

[2] в свое время и на своем месте.

[3] Шарль! принесите нам бордо... «Возвращение из Индии»... Ничего другого нам сейчас не надо... не правда ли, дорогой господин Персианов?

[4] Лучше француза слуги не найдешь.

[5] Они грязные.

[6] это восторг!

[7] болтовня.

[8] Да что ж, шалим, любим, выпиваем!

[9] Милая, славная молодежь!

[10] Там слишком мягкосердечны!

— N'est-ce pas? mais n'est-ce pas? — радуется Nicolas,— je le dis mille fois par jour, qu'on est trop bon pour cette canaille-là [1].

— Et vous avez raison [2]. Я день и ночь борюсь с этим злом... je ne fais que cela... [3] И что ж! Я должен сознаться, что до сих пор все мои усилия были совершенно напрасны. *Они* проникают всюду! и в наши школы, и в наши молодые земские учреждения.

— Я уверен, что еще на днях видел здесь одного нигилиста,— восклицает Nicolas,— и если б не maman...

— Ah! nos dames! ce sont des anges de bonté et de douceur! [4] Но надо сознаться, что они нам много портят в нашей святой миссии!

— Но я был неумолим,— лжет Nicolas,— я прямо сказал maman, что не желаю, чтоб в нашем селе процветали Каракозовы! И его уж нет!

— И хорошо сделали. Votre mère est une sainte [5], но потому-то именно она и не может судить этих людей, как они того заслуживают! Но даст бог, классическое образование превозможет, и тогда... Надеюсь, monsieur de Persianoff, что вы за классическое образование?

Nicolas надувается, как бы нечто соображая.

— Классицизм — этим все сказано,— продолжает между тем Мангушев,— это utile dulce, l'utile et le doux [6] нашего доброго старого Горация. Скажу вам откровенно, monsieur de Persianoff, я никогда-никогда не скучаю. Как только я замечаю, что мне грустно, я сейчас же беру моего старика Гомера, и забываю все... С этой точки зрения иногда у меня даже нет сил ненавидеть этих нигилистов: я просто сожалею об них. У них нет этого наслаждения, которым пользуемся, например, мы с вами: ils ne comprennent pas la poésie du cœur! [7]

Nicolas глядит на Мангушева во все глаза и все больше и больше проникается благоговением к нему. А вместе с благоговением он проникается и потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытия, ни возможности для отступления.

— Я сам... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочем, предпочитаю ему Виргилия. «Les Bucoliques» — tout est

---

[1] Не правда ли? не правда ли? я говорю тысячу раз на день, что правительство слишком мягко по отношению к этим негодяям!

[2] И вы правы.

[3] я только это и делаю...

[4] Ах! наши дамы! это ангелы доброты и милосердия!

[5] Ваша мать святая.

[6] полезное с приятным.

[7] они не понимают поэзии сердца!

là![1] Этим все сказано! — картавит он, самодовольно поворачиваясь в кресле и покручивая зачаток уса.

— Vraiment?[2] вы любитель? Очень рад! очень рад! потому что в таком случае мы наверное сойдемся!

— Я еще в младшем курсе прочитал всего Корнелия Непота... Fichtre, quel style![3]

— Oh, quant au style — c'est Eutrope qu'il faut lire![4] Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность... и наконец, эта возвышенность... Надо прочесть самому, чтоб убедиться, что̀ это такое!

Беседуя таким образом, новые друзья доврались наконец до того, что вытаращили глаза и стали в тупик. «Et Esope donc!»[5] — начал было Nicolas, но остановился, потому что решительно позабыл, кто такой был Езоп и к какой он принадлежал нации.

— Ну-с, теперь мы позавтракаем! А после завтрака я вам покажу мой haras[6]. Заранее предупреждаю, что ежели вы любитель, то увидите нечто весьма замечательное.

За завтраком Мангушев пытался было продолжать «серьезный» разговор, и стал развивать свои идеи насчет «прав» вообще и в особенности насчет тех из них, которые он называл «священными»; но когда дошла очередь до знаменитого «Retour des Indes», серьезность изменила характер и сосредоточилась исключительно на достоинстве вина. Мангушев вел себя в этом случае как совершеннейший знаток, с отличием прошедший весь курс наук у Дюссо, Бореля и Донона. Он следил глазами за движениями Шарля, разливавшего вино в стаканы, вертел свой стакан в обеих руках, как бы слегка согревая его, пил благородный напиток небольшими глотками и т. п. Nicolas, с своей стороны, старался ни в чем не отставать от своего друга: нюхал, смаковал губами, поднимал стакан к свету и проч.

— Mais savez-vous que c'est parfait! on sent le goût du raisin à un tel point, que c'est inconcevable![7] — наконец произнес он восторженно.

— N'est-ce pas?[8] — не менее восторженно отозвался Ман-

---

[1] «Буколики» — в них все!
[2] В самом деле?
[3] Черт возьми, какой стиль!
[4] Ну, что касается стиля — Евтропий — вот кого следует читать!
[5] А Езоп?
[6] конный завод.
[7] Но знаете ли. это совершенство! аромат винограда силен до такой степени, что просто непостижимо!
[8] Не правда ли?

гушев,— ah! attendez! à dîner je vais vous régaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles! [1]

Затем разговор полился уж рекой.

— Я только раз в жизни пил подобное вино,— повествовал Мангушев,— c'était à Bordeaux, chez un nommé comte de Rubempré — un comte de l'Empire, s'il vous plait [2] — га! это было винцо! И хоть я не очень-то долюбливаю этих comtes de l'Empire [3], но это вино! Ah! ce vin! [4]

Мангушев развел руками, как бы давая понять, что дальше объяснять бесполезно. Nicolas сидел против него и завидовал.

— Я должен вам сказать, что судьба вообще баловала меня на этот счет. В другой раз, это было в Италии... в Сорренто, в Сполето — je ne sais plus lequel!.. [5] Приходим мы в какую-то остерию. Ну, просто, в грязную остерию, вроде нашей харчевни... vous pouvez vous imaginer ce que c'est! [6] Жарко, устали, хочется пить. Разумеется, сейчас: una fiasca dal vino! — «Si, signor» [7] и т. д. И что ж бы вы думали! Мне, именно мне, подают бутылку d'un certain lacrima Christi... ah! mais c'était quelque chose! [8] Представьте себе, что это была *одна* бутылка, хранившаяся у хозяина в погребе несколько десятков лет! Et puis, c'était fini [9]. Ни прежде, ни после я подобного вина не пивал!

Nicolas завидует еще больше, но в то же время чувствует, что и ему следует вставить свое слово в разговор.

— On dit que ce sont les oranges qui sont excellents en Italie? [10] — картавит он с важностью.

— Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger à Messine [11]. Это все равно что груши, которые можно есть только на севере Франции. Везде это — груши, там — это божество!

— Et Naples! frutti di mare! [12] — восклицает Nicolas.

— Я ел их с утра до вечера и никогда не мог довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idée de ce

---

[1] ах! подождите! за обедом я вас угощу одним вином, и посмотрим, что вы о нем скажете!

[2] это было в Бордо, у некоего графа де Рюбампре — графа эпохи Империи, изволите ли видеть.

[3] графов эпохи Империи.

[4] Ах! какое вино!

[5] не помню, где именно!..

[6] вы можете себе представить, что это такое!

[7] бутылку вина! — Хорошо, синьор.

[8] знаменитые «слезы Христа»... ах! это было действительно нечто необыкновенное!

[9] А потом — конец!

[10] Говорят, апельсины в Италии превосходны?

[11] Что касается апельсинов, нужно их есть в Мессине.

[12] А Неаполь! устрицы, креветки!

qu'on trouve à l'etranger en fait de vins et de comestibles! On y devient glouton sans y penser — parole d'honneur! [1] Перигор, Бордо, Марсель — все это усеяно! Тюрбо, тон, pâté de foie gras — c'est à n'y pas croire! Et puis les huîtres [2], и эта беспо-добная, ни с чем не сравнимая bouillie-abaisse! [3]

— Et les femmes donc! [4]

— A qui le dites-vous! Ah, il y avait une certaine doña Innés... [5] Впоследствии она была в Петербурге у одного адво-ката... les gueux! ils nous arrachent nos meilleurs morceaux! [6] Но я... я встретился с нею в Севилье. Представьте себе теплую южную ночь... над нами темное синее небо... кругом все благо-ухает... и там вдали, comme dit Pouschkinne:

Бежит, шумит
Гвадалквивир...

Мы идем, впиваем в себя этот волшебный воздух и чувст-вуем — mais à la lettre [7] чувствуем! — как вся кровь прили-вает к сердцу! И вдруг... ОНА! в легкой мантилье... на голове черный кружевной капюшон, и из-под него... два черных, как уголь, глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour à Séville, vous m'en direz des nouvelles! [8]

У Nicolas захватывает дыхание. Потребность лгать саднит ему грудь, катится по всем его жилам и, наконец, захлесты-вает все его существо.

— Je vous dirai qu'une fois il m'est arrivé à Pétersbourg... [9] — начинает он, но Мангушев, с своей стороны, так уж разо-лгался, что не хочет дать ему кончить.

— О! наши северные женщины! c'est pauvre, c'est mesquin, cela n'a pas de sève! [10] Надобно видеть их *там*! Там — это зной, это ад, это что-то такое, что мы, люди севера, даже по-нять не можем, не испытавши лично там, на месте! Но зато, раз на месте, мы одни только и можем оценить южную жен-щину! Знаете ли вы, что только южная женщина умеет цело-вать как следует?

---

[1] Этим все сказано. Но вы не можете себе представить, что можно найти за границей по части вин и кушаний! Там становишься обжорой, не замечая этого,— честное слово!

[2] паштет из гусиной печенки — трудно поверить! А потом устрицы.

[3] рыбный суп!

[4] Ну, а женщины!

[5] Кому вы это говорите! Ах, там была одна донья Инесса...

[6] Прощелыги! они вырывают у нас лучшие куски!

[7] буквально

[8] Если вы когда-нибудь будете в Севилье, вы сможете порассказать!

[9] Скажу вам, что однажды со мной в Петербурге случилось...

[10] они бедны, жалки, в них нет остроты!

Nicolas окончательно багровеет.

— Вы не верите? — и между тем нет ничего святее этой истины. Она не целует — она пьет... elle boit! вот поцелуй южной женщины! Я помню, это было однажды в Венеции, la bella Venezia... [1] Мы плыли в гондоле... вдоль берегов дворцы... в окнах огни... вдали звучат баркаролы... над нами ночь... mais de ces nuits qu'on ne trouve qu'en Italie! [2] И вдруг она меня поцеловала... oh! mais ce baiser!.. c'était quelque chose d'ineffable! c'était tout un poème! [3] Увы! это был последний ее поцелуй!

Мангушев потупился, Nicolas впился в него глазами.

— Elle est morte le lendemain [4]. Она, женщина юга, не могла выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпом всю чашу — и умерла! Вы можете себе представить мое положение! J'ai été comme fou... Parole d'honneur! [5]

Nicolas хочет сказать un compliment de condoléance [6], но, благодаря «Retour des Indes», слова как-то путаются у него на языке.

— Certainement... si la personne est jolie... c'est bien désagréable! [7] — бормочет он.

— Parbleu! si la personne est jolie! allez-y — et vous m'en direz des nouvelles! [8] — восклицает Мангушев, и так как завтрак кончен и лгать больше нечего, то предлагает своему новому другу отправиться вместе на конный завод.

— Vous verrez mon royaume! [9] — говорил он,— там я отдыхаю и чувствую себя джентльменом!

Начинается выводка; у Мангушева в руках бич, которым он изредка пощелкивает в воздухе. Жеребцы и кобылы выводятся одни за другими, одни других красивее и породистее. Но Мангушев уже не довольствуется тем, что его «производители» действительно бесподобны, и начинает лгать. Все они взяли ему по нескольку призов, опередили «Чародея», «Бычка» и т. д.

— Вот,— говорит он,— этот самый «Зяблик» (c'est le doyen du haras) двадцать два приза взял — parole! [10]

---

[1] прекрасной Венеции...

[2] из тех ночей, которые бывают только в Италии!

[3] о! этот поцелуй!.. это было нечто несказанное! это была настоящая поэма!

[4] На следующий день она умерла.

[5] Я был как безумный... Честное слово!

[6] слово соболезнования.

[7] конечно... если особа хорошенькая... это очень неприятно!

[8] Черт побери! если особа хорошенькая! поезжайте туда, и вы заговорите об этом по-иному!

[9] Вы увидите мое царство!

[10] он — главный на конном заводе .. Честное слово!

— Quel producteur! [1] — восторженно восклицает Nicolas.

За «Зябликом» следует кобыла «Эмансипация», за «Эмансипацией» — жеребец «Консерватор» и проч. У Nicolas искрятся глаза и захватывает дух, тем более что Мангушев каждую выводку непременно сопровождает историей, которая неизменно начинается словами: «Представьте себе, с этою лошадью какой случай у меня был». «Куколка» выражает свой восторг уж не восклицаниями, а взвизгиваньем и захлебываньем. Мало того: он чувствует себя жалким и ничтожным, сравнивая этих благородных животных с скромными «Васьками» и «Горностаями», украшающими конюшню села Перкалей.

«Et dire que cet homme a tout cela!» [2] — думает он, поглядывая с завистью на торжествующего Мангушева.

За обедом «куколка» словно в чаду. Он слабо пьет и почти совсем не притрогивается к кушаньям.

— Этот «Зяблик» не выходит у меня из головы. А «Консерватор»! А эта «Ласточка»... quelles hanches! [3] — взвизгивает он поминутно.

Мангушев видит восторженность пламенного молодого человека и удостоверяется, что в нем будет прок. На этом основании он предлагает Nicolas выпить *на ты* и берет с него слово видеться как можно чаще. Новые восторги, новые восклицания, новое лганье, сопровождаемое заклинаниями.

— Слушай! когда ты поедешь в Париж,— говорит Мангушев,— ты меня предупреди. Я тебе дам письмо к некоторой Florence — et vous m'en direz des nouvelles, mon cher monsieur! [4]

От Florence разговор переходит к Emilie, от Emilie — к Ernestine, и так как в продолжение его следует бутылка за бутылкой, то лганье кончается только за полночь.

А в Перкалях еще не спят. Ольга Сергеевна стоит на террасе, вглядывается в темноту ночи и ждет своего «куколку» («Oh! les sentiments d'une mère!» [5] — говорит она себе мысленно).

— Maman! quel homme! quel homme! [6] — восклицает Nicolas, выскакивая из коляски и бросаясь в объятия матери.

---

[1] Какой производитель!
[2] И подумать, что этот человек владеет всем этим!
[3] какие задние ноги!
[4] Флоранс — и ты порасскажешь мне потом, милейший!
[5] О! чувства матери!
[6] Мама! какой человек! какой человек!

Каникулы кончились; Nicolas возвращается в «заведение». Он скучает, потому что чад только что пережитых воспоминаний еще туманит его голову. Да и все вообще воспитанники глядят как-то вяло. Они рука об руку лениво бродят по залам заведения, передают друг другу вынесенные впечатления, и не то иронически, не то с нетерпением относятся к ожидающей их завтра науке.

— Ты что-нибудь знаешь из «свинства» (под этим именем между воспитанниками слывет одна из «наук»)?

— Ты прочитал «Черты»?

— Messieurs! на завтра «Чучело» задал сочинение на тему: сравнить романтизм «Бедной Лизы» Карамзина с романтизмом «Марьиной рощи» Жуковского — каков «Чучело»!

В таком роде идет перекрестный разговор, относящийся до наук. В залах и классах неприютно, голо и даже как будто холодно; лампы горят, по обыкновению, светло, но кажется, что в этом свете чего-то недостает, что он какой-то казенный; хочется спать и между тем рано. Раздается звонок, призывающий к ужину, но воспитанники не глядят ни на крутоны с чечевицей, ни на «суконные» пироги. Менее благовоспитанные (плебеи) с негодованием отодвигают от себя «cette mangeaille de pourceau»[1] и грозятся сделать «историю»; более благовоспитанные (аристократы) ограничиваются тем, что не прикасаются к кушанью и презрительно пожимают плечами, слушая нетерпеливые возгласы плебеев. Увы! в «заведении» уже есть «свои» аристократы и «свои» плебеи, и эта демаркационная черта не исчезнет в стенах его, но отзовется и дальше, когда и те и другие выступят на широкую арену жизни. И те и другие выйдут на нее с убеждением, что человеческая раса разделяется на chevaliers и manants[2], но одни выйдут с правом поддерживать это убеждение путем практики, другие — лишь с правом облизываться на него и поддерживать его только в теории. Первые будут стараться не замечать последних, будут называть их «amis-cochons»; вторые будут ненавидеть первых, будут сгорать завистью к ним, и за всем тем полезут в грязь, чтоб попасться им на глаза и заслужить их улыбку!

— Simon! — с каким я познакомился консерватором! — сообщает «куколка» другу своему Сене Бирюкову,— quel homme![3]

— Шут!

Этот Сеня отличается тем, что настоящего разговора вести

---

[1] еду для свиней
[2] рыцарей и мужиков.
[3] какой человек!

не может и выражает свои мысли, по возможности, короткими словами. Только в минуты сильного душевного потрясения он позволяет себе проговориться какою-нибудь пословицей вроде: «На том стоим-с!» или: «Бей сороку и ворону!» Тем не менее между товарищами он слывет типом истинного chevalier.

— Сам ты шут! Слушай! Мы виделись с ним чуть не каждый день и, наконец, так сошлись в убеждениях, что поклялись друг другу составить общество «избавителей».

— J'en suis! [1]

— Ты понимаешь, что это никак не будет «тайное» общество... напротив того, совсем-совсем явное! Il s'agit des nihilistes, vois-tu! [2]

— Topez-là, monseigneur! [3]

— Каким он угощал меня вином... «Retour des Indes»... га! это было винцо!

— Jus divin! du raisin! [4] — мурлыкает Сеня.— На минералках я познакомился с Joyeux!

— Ты глуп, Сеня. Надобно было с Альфонсинкой познакомиться, а ты все к мужчинам лезешь!

— A bas! ça viendra! [5]

— А еще я у него пил другое вино... Представь себе, эту бутылку подарил его дедушке Потемкин... Tu sais, l'homme du destin! [6]

Сеня, вместо ответа, облизывает свои усики.

— Она лежала сто лет в каком-то углу, в подвале... и я первый, первый открыл это чудо! Однажды, мы сидим вдвоем и пьем... oh! nous avons joliment trinqué ce soir-là! [7] И вдруг я ему говорю: Мангушев! я уверен, что у тебя в подвале хранится какое-нибудь чудо! Натурально, он тотчас же дал мне pleins pouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier, celui-là) [8], и не прошло минуты, как уж она была в моих руках!

— Выпили?

— Еще бы! Потом он рассказывал мне свое путешествие за границей. Oh! maintenant, je suis au courant de tout! [9] Я знаю, где найти лучшее вино, лучший обед, устрицы, одним

---

[1] Присоединяюсь к нему!
[2] Видишь ли, дело идет о нигилистах!
[3] По рукам, сударь!
[4] Божественный сок! винограда!
[5] К черту! это придет со временем!
[6] Помнишь, тот баловень судьбы!
[7] мы чудесно выпили в тот вечер!
[8] полномочия (о! это истинный рыцарь).
[9] О! теперь я в курсе всего!

словом, все! Ensuite, il m'a donné des détails sur une certaine signora italienne... oh! quels détails! [1]

— Sapristi! [2]

— Представь себе, они, эти южные женщины, не целуют, а пьют!

— A bas! [3]

— А в довершение всего, он дал мне письмо к здешней Берте... en attendant le moment où je pourrai aller en Italie [4]. Но ты понимаешь, как это с его стороны мило!

— Был?

— Еще бы! Сейчас с машины заехал к Огюсту, pour me faire décrotter [5], и оттуда прямо к ней. Mais quelle adorable créature! [6] Все следующее воскресенье я с нею. C'est convenu [7].

В этом роде разговор ведется за полночь. На другое утро Nicolas встает с головною болью и употребляет тщетные усилия, чтоб сравнить романтизм «Бедной Лизы» с романтизмом «Марьиной рощи». Он подбегает к Сене и спрашивает его:

— Ты сравнил?

Сеня молча показывает лист бумаги, на котором размашистым почерком изображено:

«Романтизм «Бедной Лизы» настолько же выше романтизма «Марьиной рощи», насколько седая и мудрая старость выше резвой и неопытной юности. Но должно сказать, что оба автора находились долгое время при дворе и пользовались милостями монархов.

С. Бирюков».

— Шут!

Так проходит неделя «наук». В воскресенье Nicolas бежит к Берте и там отдыхает от всей абракадабры, которую принято называть ученьем.

— Vous n'avez pas l'idée, ma chère, comme ils nous bourrent de sciences, ces bourreaux!

— Les barbares! [8]

---

[1] Тут же он мне рассказал подробности об одной итальянской синьоре... да еще какие подробности!

[2] Черт возьми!

[3] Дьявол!

[4] в ожидании, когда я смогу отправиться в Италию.

[5] чтобы почиститься.

[6] что за очаровательное создание!

[7] Решено.

[8] Вы себе представить не можете, моя милая, как они пичкают нас науками, палачи! — Варвары!

Дни проходят за днями; воспитание идет своим чередом между будничными «науками» и праздничною Бертой. Но вот истекают и последние два года, и здание окончательно увенчивается. За два месяца до выпуска Nicolas находится как в чаду. Он осведомляется о лучшем портном, лучшем bottier [1], лучшем confectionneur de linge [2] и допускает по этим предметам une analyse détaillée et raisonnée [3]. Наконец останавливается на Жоржѐ, Лепретре и Léon. По воскресеньям он разрывается между ними, тогда как maman, приехавшая нарочно по этому случаю из Перкалей, покупает экипажи, мебель, устраивает квартиру — un vrai nid d'oiseau! [4]

— Mais regarde donc, comme ce sera joli! [5] — говорит она ему, водя по комнатам их будущего жилища,— tu seras là comme dans un petit nid! [6]

— Maman! vous êtes la meilleure des mères. Jamais! non, jamais je ne saurai... [7]

Nicolas закусывает губу и умолкает, потому что наплыв чувств мешает ему говорить. Как бы после некоторого колебания, он бросается к maman и крепко-крепко обнимает ее. Ma tante, свидетельница этой сцены, приходит в умиление.

— Nicolas! tu es un noble enfant! [8] — говорит она со слезами на глазах.

— Ma tante, c'est à vous que je dois ce que je suis! [9] — восклицает Nicolas и от maman с тою же стремительностью бросается к ma tante и также обнимает ее.

Наступают экзамены, на которых «куколка» отвечает довольно рассеянно. Но начальство знает причину этой рассеянности и снисходит к ней. Сверх того, оно знает, что все эти благородные молодые люди, la fleur de notre jeunesse [10], завтра же начнут свое служение обществу и никогда не изменят ни долгу, ни именам, которые они носят. Следовательно, если они и не вполне твердо знают, в котором году произошло падение Западной Римской империи, то это еще небольшая беда.

---

[1] сапожнике.
[2] продавце белья.
[3] подробный систематический анализ.
[4] настоящее гнездышко!
[5] Но посмотри же, как это будет красиво!
[6] ты будешь здесь, как в гнездышке!
[7] Мама! вы лучшая из матерей. Никогда! нет, никогда мне не удастся...
[8] Николя! ты благородный мальчик!
[9] Тетя, это вам я обязан тем, что я вышел таким!
[10] цвет нашей молодежи.

Наконец бьет и минута освобождения. Nicolas выходит из стен заведения, восторженно простирает вперед правую руку и, как бы обращаясь к невидимому врагу, торжественно произносит:

— А теперь, messieurs... поборемся!

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ

Просим читателя последовать за нами в одно из закрытых заведений конца тридцатых годов, в которых воспитывались дети дворян преимущественно небогатого состояния. Там воспитывается «палач», герой настоящего рассказа.

«Палач» уж шестой год выживает в «заведении»; четыре года провел он в первом классе, и теперь доживает второй год во втором. Настоящая его фамилия Хмылов, но товарищи называют его «палачом», и эта кличка, по-видимому, утвердилась за ним навсегда.

Хмылов принадлежит к числу тех легендарных юношей, о которых в школах складываются рассказы самого чудесного свойства. Так, например, рассказывали, будто бы он, узнав однажды, что начальство решилось исключить его за леность из заведения, подавал в губернское правление просьбу об определении его в палачи, «куда угодно, по усмотрению вышнего начальства». Еще говорили, будто на душе его лежит сто одно убийство и что мать его — та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впоследствии сделалась героиней романа того же имени. Один ученик даже уверял, что видел у «палача» разрыв-траву и какую-то «мертвую воду», с помощью которой он будто бы мог весь класс сначала повергнуть в сон, а потом всех дочиста обобрать. И как ни фантастичны были эти рассказы, но «палач» отчасти оправдывал их своим хищным видом и какою-то таинственною отчужденностью, с которою он держался в кругу товарищей и которая, быть может, зависела не столько от него самого, сколько от случайно сложившихся, при поступлении его в заведение, обстоятельств.

«Палачу» было невступно осьмнадцать лет; роста он был не громадного, но внушительного, сухощав, но сложен крепко и мускулист; брил бороду и обладал необычайною физическою силою. Среди прочей мелюзги-товарищей он казался Голиафом. В минуты доброго расположения духа он сажал на каждую руку по ученику, а третьего ученика помещал у себя верхом на плечах, и с такою ношей делал два-три конца бегом по огромной рекреационной зале. Но подобные добрые

минуты были редкими проблесками в его школьной жизни; вообще же «палач» был угрюм и наводил своей силой панический страх на товарищей. Особенность наружного вида породила взаимную отчужденность; отчужденность, в свою очередь, привела к озлоблению, с одной стороны, и к беспрерывным приставаньям — с другой. «Палач» *любил бить,* и притом бил почти всегда без причины, то есть подстерегал первого попавшегося мальчугана и с наслаждением тузил его, допуская при этом пытку и калеченье.

Но в то же время он был трус, и в особенности боялся начальства, о котором, по-видимому, с детства составил себе понятие как о чем-то неотразимом. Товарищи знали это и, ненавидя «палача», устроивали, от времени до времени, на него облавы и травли, с таким расчетом, чтобы в решительную минуту можно было прибегнуть к защите начальства. В коридоре, в рекреационной зале, в саду, всегда невдалеке от дремлющего надзирателя, мелюзга собиралась толпой, и с криком: «палач! палач!» приближалась к нему. Заслышав этот крик, «палач» вздрагивал и бежал вперед, сложив руки крестом на груди, выгнув шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но навстречу ему бежала другая толпа такой же мелюзги и с тем же криком: «палач! палач!» Тогда он останавливался, с проворством кошки оборачивался назад и выхватывал из толпы первого попавшегося под руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями, «палач» выворачивал своему пациенту руку и, шипя, произносил:

— Забью!

И бог знает чем могли бы оканчиваться эти пароксизмы бешенства, если б обезумевшего от ужаса мальчугана не выручал надзиратель.

— A genoux, Khmiloff! à genoux, tête remplie d'immondices! [1] — гремел голос надзирателя, и «палач» с какой-то горькой усмешкой отрывался от своей жертвы и угрюмо, но беспрекословно, становился на колени.

Невежественность «палача» была изумительная; леность — выше всего, что можно представить себе в этом роде. И ко всему этому какое-то неизреченное презрение к чему бы то ни было, что упоминало об ученье, о книге. Вообразить себе этого атлета-юношу, с его запасом решимости и свирепости, встречающегося где-нибудь в глухом переулке один на один с «наукою», значило заранее определить участь последней. Наверное, он обратит в пепел бумажные фабрики, взорвет на воздух университеты и гимназии и подвергнет человеческую

---

[1] На колени, Хмылов! на колени, голова, полная гадостей!

мысль расстрелянию. Он сам удивлялся, каким образом он мог научиться грамоте. «Сама пришла»,— говорил он, тщетно пытаясь разрешить этот вопрос сколько-нибудь удовлетворительным образом. И действительно, правильнее этого решения нельзя было придумать. Никто не видал, чтобы он что-нибудь учил или читал, и вся деятельность его в смысле образования ума и сердца ограничивалась перепискою переводов и сочинений на заданную тему, с черняков, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задал, например, переложение в прозу басни «Дуб и Трость», он, незадолго до класса, подходил к кому-нибудь из товарищей, клал перед ним чистый лист бумаги, на котором, в виде заголовка, собственной его рукой было написано: «Дуб и Трость, переложение в прозе, которое «такой-то» обязан составить для Максима Хмылова», и спокойно при этом произносил:

— Через полчаса!

И через полчаса его действительно уже видели сидящим на задней скамейке и переписывающим готовое переложение. Вся фигура его как-то неестественно при этом натуживалась и скашивалась в одну сторону; язык высовывался из угла рта, и крупные капли пота выступали на лбу.

Родись этот юноша несколько позже, то есть в то время, когда вред, от наук происходящий, был приведен российскими романистами и публицистами в достаточную ясность, ему не было бы цены. Но, к несчастию для него, он начал учебное поприще в то наивное время, когда «наука» (быть может, по новости ее) казалась еще чем-то ценным, когда никто не понимал ясно, что́ значит это слово, но всякий был убежден, что «науки юношей питают» и что человеку, не знающему арифметики, грозит в жизни какая-то беда. Поэтому, не менее товарищей, не любили «палача» и учителя и надзиратели. У каждого из них Хмылов имел свое прозвище. Француз-учитель называл его «animal» и «tête remplie de foin»;[1] учитель-немец обращался к нему не иначе, как «o du, ungeschickter, unnützer Khmiloff»;[2] латинский учитель именовал его «canis rabiosus»[3] и «pecus campi»[4]. С каким-то злорадством заставляли они его позировать, на потеху целому классу. Входит, например, на кафедру monsieur Menuet, маленький поджарый французик, скорее похожий на извозчика, нежели на учителя, и первым долгом считает немедленно заполучить Хмылова.

---

[1] скотиной и головой, набитой сеном.
[2] неловкий, бесполезный Хмылов.
[3] бешеная собака.
[4] скот.

— Eh bien, animal de Khmiloff! lisons! Paragraphe 44. Imparfait de l'indicatif! [1]

Хмылов читает:

«Лорске жетѐ петит, ме метр етѐ контант де моа» [2].

— Etre content de toi, crétin! de toi, qui es le bourreau de tes maîtres! Animal, va! [3]

— Господин Менует! не извольте ругаться!

— Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbécile, continuons: Paragraphe 49. Imparfait et passé défini! [4]

Хмылов читает:

«Пьер легранд дежené а сенк ер дю матен, иль диné а миди е не супé па»... Е иль бувé [5],— вставляет он неожиданно.

— Où as-tu lu cela! réponds, triple animal! où as-tu lu, que Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait? [6]

— Сѐ листоар [7], господин Менует.

— «Се листоар»? — передразнивает monsieur Menuet,— et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ça serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien, voyons! cite-moi les exemples du paragraphe 52! «Que prenez vous le matin?» [8]

«Палач» оживляется; он почти не смотрит в книгу и довольно правильно рапортует:

«Же пран юн тасс де тѐ у де кафе авек дю пен блян; ле суар же манж юн транш де вò у де беф у де мутон»... [9]

— Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais achève donc, achève, imbécile infect et vénimeux! Dis: «je vous remercie, madame, j'ai tant mangé que je n'ai plus faim!» [10]

---

[1] Итак, скотина Хмылов! Читаем! Параграф 44. Прошедшее время изъявительного наклонения!

[2] Когда я был маленьким, учителя были довольны мною.

[3] Быть довольным тобою, кретин! тобой, палачом твоих учителей! скотина!

[4] Ах! ты еще рассуждаешь! Ну, архиглупец, продолжаем: параграф 49. Времена прошедшее несовершенное и прошедшее!

[5] Петр Великий завтракал в пять часов утра, обедал в полдень и не ужинал... И выпивал.

[6] Где ты прочитал это?! отвечай, трижды скотина! где ты прочитал, что Петр Великий, этот монарх из монархов, выпивал?

[7] В истории.

[8] В истории .. А если бы в виде исключения тебе всыпали розог сегодня, вместо субботы, это была бы вторая история, идиот! Ладно, посмотрим! приведи мне примеры из параграфа 52! «Что едите вы утром?»

[9] Я выпиваю чашку чаю или кофея с белым хлебом, вечером съедаю кусок телятины, или говядины, или баранины...

[10] Как он тут разошелся! Он прекрасно понимает, когда дело идет о еде, скотина! Но кончай же, кончай, заразный, ядовитый дурак! Скажи: «благодарю вас, мадам, я столько съел, что больше не хочу!»

— Же фен [1].

— Ah, tu as faim, vieux tonneau fêlé, impossible à emplir! tu as faim, hippopotame plein d'âge! Va donc te mettre à genoux, exécrable ganache. Nous verrons, si de cette manière-là tu parviendras à te rassasier! [2]

«Палач», не торопясь, встает с места, проходит мимо скамей при общем смехе товарищей и становится на колени, ворча сквозь зубы:

— Вы всегда меня, господин Менует, притесняете!

Даже законоучитель-батюшка и тот считал своим долгом слегка поковырять в Хмылове, или, как он выражался, «измерить глубины сего океана празднолюбия». А потому, обладая особливым даром прозорливства, он всегда огорошивал «палача» следующим вопросом:

— А нуте, кто из вас здесь дубиной прозывается? Вставаї, дуб младый, сказывай, что̀ есть ад?

Хмылов вставал и без запинки отчеканивал:

— Карцер есть слово греческое, и означает место темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлет сторож Мазилка!

— Так, младый дуб, так. Спасибо, хоть сам себе резолюцию прочитал...

Иди ж, душа, во ад и буди вечно пленна...

сиречь, изволь идти в карцер...

И «палач», нимало не прекословя, складывал тетрадки, дабы благополучно проследовать в карцер.

Только однажды, когда учитель-немец, по обыкновению, обратился к нему:

— Also doch, unnützer palatsch Khmiloff... [3]

«Палач» вдруг пустил ему в упор:

— Колбаса!

Но и тут сейчас же струсил и безусловно сдался в плен надзирателю, заточившему его на неделю в карцер.

Даже дядьки — и те терпеть не могли «палача», так что, когда он, после обеда или ужина, приходил в буфетную, чтобы поживиться остатками от общей трапезы, то они всегда гнали его от себя, говоря: «Видно, мало награбил у учеников? к дядькам грабить пришел!»

Родом «палач» был из Орловской губернии, и не без гор-

---

[1] Я голоден.

[2] Ах, ты голоден, старая лопнувшая бочка, которую невозможно наполнить! Ты голоден. древний гиппопотам! иди, стань на колени, мерзкий тупица! Посмотрим, не насытишься ли ты таким способом!

[3] Ну-с, бесполезный палач Хмылов...

дости говаривал: «Мы, орловцы,— проломленные головы», или: «Орел да Кромы — первые воры!» Отец его считался в числе лиц, «почтенных доверием господ дворян», то есть служил исправником и, вследствие непреоборимой горячности своего нрава, почти никогда не выходил из-под суда. Но даже и для этого закаленного в суровой школе уголовной палаты человека Максимка представлял что-то феноменальное. Поэтому, когда он привез «палача» в заведение, то следующим образом отрекомендовал его инспектору классов:

— Откровенно вам доложу, Василий Ипатыч, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, каких днем с огнем поискать! Бился я с ним, хотел отдать в пудретное заведение, да по дворянству стыдно! Дворянин-с. А потому, ежели желаете оказать ему благодеяние,— дерите! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите две. А в удостоверение, представлю при сем в презент сто рублей.

— Я учиться не стану! воля ваша! — угрюмо проговорил «палач», стоявший тут же в сторонке и вслушавшийся в рекомендацию отца.

— Слышали-с? Изволили слышать, какое это золото! Дерите-с! сделайте милость, дерите-с! — убеждал отец инспектора, и затем, обращаясь к сыну, присовокупил: — А тебе, балбес, повторяю: если ты сто лет в первом классе просидишь — я и тогда не возьму тебя из заведения! Сто лет буду за тебя деньги платить, а домой — ни-ни! Так тут и околевай!

Хмылов был принят и, быть может, благодаря сторублевой рекомендации и ежегодным присылкам живностью и домашними припасами, не был изгоняем из заведения (в то время еще не существовало правила, в силу которого больше двух лет в одном и том же классе оставаться нельзя). Но с тех пор, как «палач» поступил в заведение, никто из родных никогда не посетил его, так что он казался совсем забытым. Денег ему тоже никогда не присылали, а так как казенная пища была совершенно недостаточна для питания его мощного организма, то он всегда был голоден.

Чтобы наполнить желудок, он прибегал или к обложению товарищей произвольными данями, или к грабежу. Система даней заключалась в том, что он заказывал трем-четырем ученикам (обыкновенно выбирая самых робких): кому полбулки, кому бутерброд с мясом.

— Слыхал я,— говорил он,— что бутерброды делаются таким образом: взяв два куска хлеба, положить их один на другой, а посредине поместить кусок жареной говядины...

Или:

— Другие за булку дают два листа бумаги, а я беру только полбулки, и не даю ничего...

И был уверен, что у него будет столько полбулок и бутербродов, сколько он пожелает.

Система грабежа заключалась в том, что в приемные дни, когда воспитанников посещали родные, «палач» становился у дверей приемной комнаты и с волнением прислушивался и приглядывался в замочную скважину. По форме передаваемых пакетов он угадывал об их содержании и затем, как хищный зверь в клетке, начинал беспокойно метаться по коридору, ведущему из приемной в класс. Ученики знали этот обычай и без прекословия вынимали кто пирог, кто яблоко, кто горсть орехов и отдавали «палачу». В эти минуты он был почти ласков. Он обирал дани в громадный бумажный тюрик, и по окончании грабежа отправлялся в класс на заднюю скамейку, где он имел постоянное пребывание и которая поэтому называлась «палачевскою». Там он раскладывал награбленное добро, рассортировывал его, и затем начинал истреблять.

— Господа! «Палач» жрет! — раздавалось по классу.

Это был самый ненавистный для него крик, потому что, вслед за тем, мальчишки, как бесенята, вскарабкивались на скамейки, подбегали к «палачевской», бросали в «палача» песком и книгами и вообще старались всячески портить «палачов корм». «Палач» огрызался и рычал, но не решался оставить место, потому что по опыту знал, что если он хоть на минуту погонится за кем-нибудь из своих мучителей, то корм его будет мгновенно расхищен. Поэтому он старался как можно скорее уничтожить награбленное и, когда процесс истребления приходил к концу, отяжелевал. В таких случаях он боком садился на лавке и посоловелыми глазами смотрел в упор на рассеявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабаня пальцами по конторке и как бы говоря: а нуте, не угодно ли будет пристать ко мне теперь!

По субботам «палача» секли. В заведении, где он воспитывался, существовало насчет этого очень своеобразное обыкновение. Каждую субботу, после всенощной, учеников строили в два ряда по бокам рекреационной залы, и затем, по воцарении гробовой тишины, инспектор классов громким и ясным голосом вызывал на середину тех, которые получили, в течение недели, известное число нулей.

— Господин Хмылов! — обыкновенно начинал инспектор.

Хмылов выходил и исподлобья высматривал, какой урядник будет сечь, Кочурин или Купцов, так как Кочурин сек больно, а Купцов — нестерпимо. Сообразно с этим он возвы-

шал или понижал температуру своего духа и затем, молча перекрестясь, ложился на скамейку.

— Шестьдесят! — командовал инспектор.

— Василий Ипатыч, не приказывайте держать! — уже лежа, обращался к нему Хмылов.

— Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

— Ж-ж-ж-и-и! — раздавалось в воздухе.

Хмылов лежал вольно и не испускал ни единого стона. Иногда он закусывал губу и с ожесточением царапал себе грудь, чтобы нейтрализировать одну боль посредством другой. Когда отсчитывали последний, шестидесятый удар, он проворно соскакивал со скамейки и как ни в чем не бывало принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто «Танька, ростокинская разбойница», еще в детстве выкупала «палача» в каком-то болоте, в мертвой воде, и с тех пор палачово тело сделалось твердо, как чугун.

Но в одну из суббот совершилось нечто совсем непредвиденное. Инспектор классов, сделав обычный парад, вдруг, сверх всякого чаяния, объявил:

— В течение целой недели господин Хмылов получил только один нуль, и потому сечен сегодня не будет. Во внимание к столь очевидному знаку милосердия божия, всем ленятям, с разрешения господина директора, объявляется на сей раз прощение! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

«Палач» вдруг сделался героем дня. Его окружили и поздравляли со всех сторон, но он казался скорее сконфуженным, нежели обрадованным. Удивленно озирался он по сторонам и очевидно недоумевал, серьезно ли его поздравляют или нет. И сомнения его были далеко не безосновательны, потому что поздравления с каждой минутой делались шумнее и шумнее и наконец превратились в явное приставанье.

— Палач! палач! — раздавалось со всех сторон.

И через минуту Хмылов, с налитыми кровью глазами, уже бежал без памяти по коридору, преследуемый криками беспощадной мелюзги.

У «палача» был только один друг — «Агашка».

Судя по кличке, можно бы предположить в этом юноше что-нибудь женственное, но в действительности было совершенно противное. «Агашка» был рослый детина, столь же сильный, как и «палач», и в то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широким ртом и мясистым носом, с раздувающимися ноздрями и почти без переносицы, было до такой степе-

ни оригинально, что сразу вызывало потребность окрестить обладателя этих сокровищ каким-нибудь прозвищем. И вот, когда он в первый раз вошел новичком в класс, один из учеников, взглянув на него, крикнул: «Господа! Агашка пришла!» И, должно быть, прозвище попало метко, потому что с тех пор новичок так и пошел гулять с ним по заведению.

Настоящая фамилия «Агашки» была Голопятов, а родом он был из мелкопоместных дворян той же Орловской губернии, откуда происходил и «палач». Это было первым поводом для сближения между ними.

Однажды, по окончании классов, встретившись с Голопятовым в коридоре, «палач» первый подошел к нему.

— Вы откуда? — спросил он его.

— Орловской губернии Мценского уезда.

— Значит, Амченина к нам на двор... так?

— Пожалуй.

— Ну, а я Кромской. Орел да Кромы — первые воры. Будем знакомы.

Вторым поводом к дружбе была физическая сила, которою несомненно обладал «Агашка». До поступления его, «палач» чувствовал себя одиноким; теперь он получил возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческие эксперименты силы. Как только звонок возвещал рекреацию, оба спешили в зал и вступали в единоборство. «Агашка» был прост и потому бился чисто, так сказать, первобытно; «палач» был лукав и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибегал к подножкам. Поэтому первый был почти всегда побеждаем, но второй все-таки понимал, что, не ровён случай, и «Агашка» может искалечить его. Уставши бороться, они ходили взад и вперед по коридору, разговаривая о силе, приводя примеры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу силы.

— У меня дядя телегу за колесо на всем скаку останавливает! — хвастался «Агашка».

— А у меня был прадедушка, так тот однажды у черкасского быка рог изо лба вывернул! — отзывался «палач».— Да он и фальшивую монету делал! — прибавлял он совсем неожиданно.

Когда и этот разговор истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тот и другой выставит кулак, и меряются.

— Только у меня, брат, костистее,— молвит «палач»,— мой кулак настоящий... сухой!

— Ну, брат, и моим можно душу из оглоблей вышибить! — возразит «Агашка».

И опять начнут молча ходить, покуда опять придет охота мерить кулаки.

Иногда разговор разнообразился.

— Ты как полагаешь, Хмылов? — спросит «Агашка»,— кто шибче дерет, Кочурин или Купцов?

— Кочурин шибче, Купцов больней. У Кочурина рука вольная, и сердце играет; у Купцова рука словно как не своя, да и дерет он словно как не сам. Кочурин до тридцати ударов рубцы только кладет, а Купцов с первого удара кожу просекает. Купцова я боюсь.

— Да, это так; Купцов — это, я тебе скажу...

— Нет, прошлого года, как-то раз оба урядника больны или в отлучке были, так меня, вместо них, ламповщик драл... вот, я тебе скажу, драл!

— Больно?

— Шкуру спустил! Довольно тебе сказать, что даже я обезумел! Как только это шестьдесят сосчитали, так я, сам уж не помню как, при всех и при инспекторе, сейчас ему в зубы!

Молчание.

— Гм... Нет, вот на площади, должно быть, дерут! — задумчиво молвит «Агашка».

Опять молчание.

— Слыхал я, что средство есть,— опять молвит «Агашка».

— Это маслом натираться? Пробовал я.

— Лучше?

— Оно, конечно... как не лучше! Скользит! Да только инспектор-шельма сейчас же рассмотрел — так и сыграл я вничью. Нет, да это что! хорошо бы вот в юнкера поступить!

— Да, дранья-то бы не было!

— В юнкерах-то? Что ты! опомнись! да там так дерут... так дерут! А уж как бы начальство осталось довольно! То есть, скажи только: жги! рви!.. ну, то есть, так бы...

По временам друзья подходили к уряднику Кочурину, который через день дежурил в коридоре.

— А что, Кочурин, твоя, что ли, очередь драть в следующую субботу? — интересовался «палач».

— Моя.

— То-то; ты, брат, не очень!

— Распишу — ничего!

— Нет, брат, я тебе говорю, ты не очень! потому, брат, я и сам... я, брат, и в зубы...

По воскресеньям друзья чувствовали какую-то особливую, бешеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда

не выходили из стен заведения. Наборовшись досыта, пересказавши друг другу всевозможные анекдоты о силе, они начинали придумывать, как бы уразнообразить день.

— Косушку надо,— решал «палач».

— Можно бы и полштоф, только деньги как? Слимонить нынче трудно: начали, подлецы, запирать.

— Вот я намеднись грамматику Цумпта нашел,— разве ее в мытье снести?

— Ладно. Валяй, Хмылов, к Кольчугину! А коли еще Евтропия на придачу захватишь — два двугривенных... это как свят бог!

«Палач» перелезает через ограду сада и, в одной куртке, без шапки, бежит вон из заведения. Через час друзья уже приютились где-нибудь в темном углу, распивают сивуху и заедают ее колбасой.

— Ты больше ешь, Голопятов,— уговаривает «палач»,— потому ежели теперича пить да не есть — беда!

— Да, это так, при вине без еды нельзя! — отвечает «Агашка».— У меня тоже дядя был, так тот ничего не ел, только разве маленький кусочек хлеба с солью, а все пил, все пил; так поверишь ли, под конец он словно ртутью налитой сделался! Руки дрожат, голова мотается... страсть!

Через два часа оба спят как убитые, растянувшись на лавке.

Однажды в год, перед каникулами, за «палачом» приезжал рассыльный из земского суда, в кибитке, запряженной парою тощих обывательских лошадей. Ученики чутьем угадывали этот приезд, и через минуту рассыльного уже со всех сторон обступала мелюзга.

— За «палачом» приехал?

— Танька, ростокинская разбойница, жива?

— В каком лесу вы нынче на промысел выходите?

Рассыльный таращил глаза, не понимая сыплющихся на него вопросов.

— За кем ты приехал? — переспрашивал его кто-нибудь вновь.

— За барчонком, за Максимом Петровичем.

— Ну, он самый — «палач» и есть. А отец у него тоже палач? И мать палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова в неописанное волнение. Он за несколько недель начинал готовиться к ним и старался устроить как-нибудь так, чтобы выскользнуть из заведения незамеченным. Но это никогда ему не удавалось благодаря неповоротливости рассыльного и прозорливости учеников. Сконфуженный, выходил он в швейцарскую и, бросая

направо и налево тревожные взоры, спешил как можно скорее юркнуть на улицу.

— Палач! — кричали ему вслед.

Кибитка, покачиваясь и подскакивая по мостовой, трусом удаляется от стен заведения и, наконец, совсем выезжает из Москвы. Очутившись за городом, Хмылов поспешно снимает с себя куртку, с наслаждением вдыхает зараженный воздух заставы, и жадно вглядывается в бесконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

— Ишь ты, дорога-то! — говорит он.

— Да... большая! — отзывается с облучка рассыльный,— а позволь, Максим Петрович, узнать, за что они тебя палачом обзывают?

— Так... подлецы... не знают сами... жрать хочу... денег нет... грабить должен! — бессвязно бормочет «палач», и в голосе его слышится несвойственное ему дрожание.

«Палач» отворачивается и глядит в сторону. В эту минуту его ненавистное прозвище жжет его.

— Какой я палач, Сергеич! — наконец произносит он,— я волк — вот что!

— Уж будто и волк?

— Да, волк. Голоден... всегда... вот как волк... ну, и травят!

Сергеич задумчиво покачивает головой.

— А ты бы, сударь, не все грабежом,— говорит он,— а иногда и лаской. Вот папеньку-то за грабеж ноне под суд отдали!

— Врешь?

— Всех отдали под суд: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвеича. Софрон-то Матвеич, сказывают, таких делов наделал, что и каторги-то ему, слышь, мало.

— Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживляется и светлеет. Выражение этого лица как будто говорит: ай-да молодцы... Хмыловские!

— Верно говорю,— продолжает Сергеич.— Теперича из губернии целый кагал приехал Софрона-то Матвеича судить. Так он перед ними, перед чиновниками-то, словно вьюн на сковороде,— так и пляшет!

— Врешь! не станет дядя подличать! На каторгу, так на каторгу — разве на каторге не те же люди живут? Вот я хоть сейчас... что же!

«Палач» задумывается; в воображении его рисуется «Нижегородка», этапная тюрьма, конвой, угрюмые лица арестантов, и среди их он, звенящий кандалами и наручниками...

— Ну что, а Маришка как? — спрашивает он, выходя из задумчивости.

— Маришку бросить надо — вот что. Она нынче и легла и встала — все с Федькой-поваром!

— Ишь подлая!.. А Микешка-фалетур?

— Микешке барин намеднись сказал, что только ему и озоровать что до первого набора!

— Вре-ешь?

Через шесть часов обывательские лошаденки кой-как дотаскивают путешественников до Подольска, где назначен первый растаг. Сергеич суетится около кибитки, вытаскивая из-под сена кулек с залежавшеюся домашней провизией. «Палач» усматривает между тем висящий на гвоздике у облучка Сергеичев кисет с махоркой и потихоньку высыпает из него трубки на две табаку.

— Что ж ты не спросишь, здоровы ли папенька с маменькой? — укоризненно говорит ему Сергеич на постоялом дворе, где Хмылов успел уж расположиться под образами и с жадностью оплетает жареную курицу.

— А ну их! денег не дают!

Через четверть часа он стоит под навесом постоялого двора и целится камнем в курицу, копающуюся в навозе.

Курица испускает неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая крыльями, убегает.

В прежние времена небогатые помещики, при выборе усадебной оседлости, руководствовались следующими соображениями: во-первых, чтобы церковь стояла перед глазами, а во-вторых, чтобы мужик всегда под руками был. Отгородит помещик попросторнее местечко в ряду с крестьянскими избами (большей частью в низинке, чтоб зимой теплее было) и складет там дом не дом, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заносит снегом, а летом чуть-чуть виднеется из-за тына. Потом, спереди разведет палисадник, в котором не то что гулять, а повернуться негде, а сзади и по бокам настроит людских, да застольных, да амбарушек, да клетушек — и пойдет этот нескладный сброд строений чернеть и ветшать под влиянием времени и непогод, да наполняться грязью, навозом и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали перед глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налево ряд покосившихся крестьянских изб, разделяемых улицей, на которой от навоза и грязи проезда нет. Зато барин знает, что̀ в какой избе делается, что́ говорится, какой мужик действительно по болезни не выходит на барщину, какой только отлынивает; у кого отелилась корова, что принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвеича Хмылова, стоявшая на самой середине небольшого села Вавилова. Тут все было пригнано к общему типу помещичьих усадьб средней руки: и почерневший одноэтажный дом с подслеповатыми окнами и ветхою крышей, и классический палисадник, и великое множество клетушек, в которых десятками лет скоплялся и сберегался никому не нужный хлам. Внутри дома — дрожащие половицы, стены, оклеенные побеленной газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидеть, и великое изобилие бутылей с настойками и наливками, расставленных по окнам. Вне дома — отсутствие воды, тени, всего, на чем мог бы отдохнуть глаз. Куда ни взглянешь — везде навоз и грязь. Даже пруд, выкопанный в стороне на площади,— и тот покрыт плесенью и пухом домашней птицы, а по берегам до безобразия изрыт и загажен.

В усадьбе Петра Матвеича живут три поколения. Он сам с женою Ариной Тимофеевной, два сына-подростка (независимо от «палача», с которым мы уже познакомились) и старый дедушка Матвей Никанорыч. Братец Софрон Матвеич владеет собственной усадьбой, стоящей на той же площади, в нескольких десятках саженей от главной усадьбы.

Дедушке за восемьдесят лет; он совсем выжил из ума и помнит одно слово: рви! Лет двадцать назад (в конце двадцатых годов) он сотворил какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторге, если б добрые люди не надоумили его сказаться умершим. Вздумано — сделано; добыли форменное свидетельство, что такого-то числа и года болярин Матвей Никаноров Хмылов волею божией помре, представили документ в уголовную палату — и живет с тех пор старик, в виде контрабанды, на усадьбе у старшего сына Петра Матвеича.

Дедушка, несмотря на преклонные лета, старик бодрый и блажной. Взамен потухшего ума в нем развилась назойливая проказливость, которая никому не дает покоя. С утра до вечера он неутомимо шнырит из комнаты в комнату, тут отдерет от стены кусок обоев, там — обмажет мебель грязью или жеваным хлебом. И все время неумолкаемо бормочет и свистит. «Согрешили мы!» — говорит, глядя на него, Арина Тимофеевна, и с какою-то безнадежностью ждет, что вот-вот он или дом подожжет, или битого стекла в наливку насыплет, или девке Маришке глаза песком засорит. Но домашние не решаются поступать с ним круто, потому что подозревают, что у него есть значительный куш, который он припрятал в то время, когда решился сказаться умершим. Куда он спрятал свое имущество — этого, несмотря на все старания, никто до-

искаться не может, но загадочность некоторых поступков полупомешанного старика дает полный повод предполагать, что действительно старик что-то скрывает. По временам он исчезает куда-то, словно сквозь землю проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризом. Едва успеют хватиться старика, а он уж опять тут как тут, откуда-то возвращается и знай себе бормочет да посвистывает. Все это, разумеется, интриговало и даже мучило домашних, и Петр Матвеич, который даже в пьяном виде не переставал быть почтительным сыном, не раз приступал к отцу с объяснениями по этому предмету.

— Откройтесь! — говорил он,— откройтесь, добрый друг папенька! снимите с души вашей тяжкий грех!

Но старик бессмысленно смотрел на него и бормотал:

— Рви... сам... сам... сам рви!

Пробовал заводить речь об этой материи и Софрон Матвеич: этот старался подействовать на воображение старика не столько почтительностью, сколько угрозою.

— Папенька! — говорил он,— ведь ежели теперича допросить вас как следует — ведь вы скажете-с! как свят бог скажете-с!

Но на это увещание старик даже не произносил своего любимого слова «рви», а только слегка вздрагивал и изменялся в лице. Быть может, он смутно догадывался, что Софрон Матвеич принадлежит к числу тех людей, которые, раз решив в уме своем предприятие, ни над чем не задумаются, чтоб достигнуть его осуществления.

Наконец, прибегали и к третьему способу: заставляли детей следить за стариком. И действительно, младшему сыну, Ване, чуть-чуть не удалось напасть на след. Однажды он подсмотрел, как дедушка вышел из дома, как он перешел через двор, и потом, согнувшись и подобравши полы халата, стал куда-то прокрадываться позади скотных изб. Но покуда маленький шпион раздумывал, не лечь ли ему на брюхо, чтоб ловчее подползти к старику, последний точно чутьем догадался, что за ним следят. Он внезапно выпрямился во весь рост, как ни в чем не бывало повернул назад, и, поравнявшись с внуком, поднял его за плечи на воздух...

С тех пор дедушку оставили в покое и с каким-то тупым недоумением ожидали, что вот-вот или умрет старик, или переменят форму ассигнаций — и тогда пиши пропало. Софрон Матвеич с особенной настойчивостью указывал брату на эти случайности.

— Покаетесь, братец, да поздно будет! — говорил он своим хнычущим, вкрадчивым голосом, звук которого был до такой степени мучителен, что Арина Тимофеевна, несмотря на два-

дцать пять лет жизни в семействе Хмыловых, не могла его слышать без того, чтоб в ней не упало сердце.

Петр Матвеич, вместо ответа, как-то алчно вздрагивал и дико вращал глазами.

— Я сам родителя моего чту,— продолжал между тем Софрон Матвеич,— и каждый день, утром и вечером, возношу сердце об их долголетии. Однако, и за всем тем, с своеи стороны мнением полагал бы, что ежели теперича, без ущерба для их здравия, на время их в чулан запереть, или, например, в пище сокращение допустить...

Петр Матвеич, не дослушав до конца, вскакивал как ужаленный и с простертыми дланями устремлялся вперед, сам не зная куда.

— Куда ты? куда? на убивство собрался? — кричала ему вслед Арина Тимофеевна,— ишь тебя «зуда»-то раззудил! И глаза, как у быка, кровью налились!

Но старик и сам предупреждал возможность «убивства». Почуяв, что об нем идет речь, он скрывался в чулан, или на сеновал, или в другое неприступное место, и оставался там до тех пор, пока наступившая в доме тишина не удостоверяла, что Софрон Матвеич ушел восвояси, а Петр Матвеич, окончательно ошалелый от водки, заснул где-нибудь богатырским сном.

Так шли дни за днями, и старик продолжал жить, оставаясь загадкой для целого семейства. Никто не мог сказать наверное, в уме ли он или не в разуме, а также при чем он состоит: при настоящем ли капитале, заключающемся в ассигнациях, или при кипе старой газетной бумаги, которую он, быть может, и сам принимал за кипу ассигнаций.

Петра Матвеича многие разумели злым человеком, но, говоря по правде, он был ни добр, ни зол, а только чрез меру лих. Рассудка он не имел, но, несмотря на свои с лишком пятьдесят лет, обладал замечательно горячим темпераментом, которым и руководствовался во всех своих действиях. Это была, так сказать, талантливая скотина, готовая бежать, лететь в огонь, в воду, в преисподнюю, бить, сокрушать, везде, всегда, во всякое время, на всяком месте. Только на небо влезть он не мог, да и то потому, что, читая каждый день «иже еси на небеси», полагал, что там живет какое-то особенное, уж совсем высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Местные помещики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова и, говоря об нем, выражались так: у нас исправник лихой! он подтянет! И он действительно с такою любовью предавался подтягиванию, что даже постоянного местожительства нигде, кроме тарантаса, указать не мог. Подоб-

но буйному вихрю, рыскал он день и ночь по углам и закоулкам уезда, издалека грозясь нагайкою и собственноручно творя суд и расправу. Он налетал как орел из-за сизых туч и сек. Затем летел дальше, опять сек и опять летел дальше. Что̀ такое сечение? Какое ощущение вызывает оно в истязуемом субъекте? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сечение было, в его глазах, только обрядом, входящим в круг его обязанностей как исправника. Он знал, что в одних случаях нужно надеть мундир, в других — сечь, и согласно с этим располагал своими поступками. «Запорю!», «в гроб заколочу!», «в бараний рог согну!» — таков был обычный способ его собеседования, и он произносил эти слова без сознательной злобы, хотя голос его гремел как труба, глаза таращились и у рта показывалась пена. Он не понимал, чтоб исправник мог говорить, не обрывая, не простирая рук и не сквернословя. В сквернословии видел он почти обязательную формальность, соблюдение которой влекло за собой для него названия: «молодец» и «лихой», несоблюдение — названия: «мямля», «тряпка» и «баба».

— Уж это, батюшка, должность такая,— объяснял он,— повесь-ка я на стену вот этот инструмент (он указывал на нагайку) — голову на отсечение отдаю, что через два дня весь уезд вверх ногами пойдет!

И действительно, никогда, даже дома, не выпускал нагайки из рук.

Взятку он любил, но никогда не подбирался к ней, как тать в нощи, не сочинял предварительных проектов насчет ее обретения, не каверзничал, а брал с маху. И притом брал исключительно с имущих, а неимущих только сек. Сечение представляло, в его глазах, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамоне, делаемой нередко даже в ущерб прерогативе. Поэтому он и взятку старался облечь в форму грабежа. Нужно денег — летит на гуртовщика, потом летит на лесопромышленника, потом на содержателя крупчатной мельницы, и всегда берет без дела, без повода, здорово-живешь. Нет нужды в деньгах — оставляет толстосумов в покое, а неимущих продолжает сечь. Иногда он выказывал даже замечательное бескорыстие и делал в назначенных к получению кушах значительные и ничем не мотивируемые сбавки. Но это допускалось лишь в тех случаях, когда пациенты льстили его самолюбию, то есть говорили ему в глаза, что он лихой, что он в одном своем кулаке держит целый уезд, и что не будь его — им пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

— А я, сударь, был намеднись в Латышове,— говорит, на-

пример, промышленник, на которого наложена сторублевая дань,— ну, и подивился-таки!

— А что?

— Шелковые стали, с тех пор как ручки-то вашей отведали!

— То-то; вас не подтяни, вы все разбойниками будете!

— Что говорить! по нашем брате палка плачет — это верно!

— Ну, черт с тобой, давай пятидесятную... живо!

Благодаря этому обстоятельству у него никогда не было лишних денег, да и те, которые были, он любил пропить, прогулять и вообще рассорить более или менее непроизводительным образом.

— Я,— говорил он,— не то, что́ другие; я с народа беру, да в народ же и пущаю.

Водку он пил не запоем, но во всякое время и столь же много, как бы запоем. Поэтому, хотя он никогда не бывал окончательно и безобразно пьян, но постоянно находился в тумане и никогда отчетливо не понимал, куда тычет руками. Там, где он «раскидывал свой шатер», происходило одно из двух: либо сеченье, либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что он проживает свои доходы как благородный человек, а толстосумы даже называли его душевным человеком.

— У нас исправник — душа человек! — говорили они,— он с тебя возьмет, да он же и за стол рядом с собою посадит!

Перед начальством Петр Матвеич трепетал. Но не просто трепетал, а *любил* трепетать, трепетал не только за страх, но и за совесть. Он страстно любил встречать, провожать, устремляться, застывать на месте, рапортовать, а потому всякий проезд начальства, хотя бы и не совсем того ведомства, к которому он принадлежал, был для него торжеством. Познав о предстоящем «проследовании» через его уезд, он заго́дя приходил в волнение, скакал по дорогам, свидетельствовал ямских лошадей, заготовлял квартиры, сеял направо и налево мужицкие зубы, и даже прекращал на время употребление водки, так что самое лицо делалось у него белое. Подстерегши начальство, под дождем и морозом, на границе уезда, он вытягивался в струну, замирал и рапортовал; потом кидался в телегу и как бешеный скакал вперед, оглашая воздух гиканьем.

— Мы, батюшка, перед начальством — все одно что борзые-с,— говорил он,— прикажут: разорви! — и разорвем-с!

И точно, слушая, как он говорил это, видя, как он вращал при этом глазами и как лицо его становилось из красного

фиолетовым и даже синеватым, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорвет.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

— Хмылов,— выражалось оно,— это лихой! этот подтянет!

Даже крестьянские мальчики и те, наслушавшись расточаемых со всех сторон Хмылову похвальных аттестаций, говорили:

— Вот погоди! ужо проедет исправник — он те подтянет!

Дома Петр Матвеич бывал только наездами, на сутки, на двое, не больше. Налетит, перевернет все и всех вверх дном — и опять исчезнет недели на две. Он сам охотно сознавался, что ничего не смыслит в деревенском хозяйстве, и ставил это себе не в порок, а в достоинство.

— Какой я деревенский хозяин! — выражался он,— я хозяин уезда — вот я кто!

Поэтому, как бразды хозяйственного управления, так и воспитание детей он вполне предоставил жене, требуя только, чтобы в случаях телесной расправы с детьми она не сама распоряжалась, а доводила о том до его сведения.

— Вы, бабы,— говорил он,— не сечете, а только мажете. А их, разбойников, надо таким манером допросить, чтоб они всю жизнь памятовали.

И так как дети действительно росли разбойниками, то каждый налет Петра Матвеича в деревню неизменно сопровождался экзекуцией. «В гроб ракалий заколочу!», «Запорю мерзавцев!» — вот единственные проявления родственных отношений, которые были обычными в этой семье. Но опять-таки и здесь на первом плане стояла не сознательная жестокость, а обряд. Петр Матвеич помнил, что он и сам рос разбойником, что его самого и запарывали, и в гроб заколачивали, и что все это, однако ж, не помешало ему сделаться «молодцом». А следовательно, и детям те же пути не заказаны. Растут, растут разбойниками, а потом, глядишь, и сделаются вдруг «молодцами».

К отцу Петр Матвеич относился довольно равнодушно. Хотя предположение о таинственном капитале и волновало его, но волновало лишь потому, что этим капиталом все домашние мозолили ему глаза. Но старик был к нему почти ласков и, по-видимому, даже искал у него защиты против ехидства Софрона Матвеича. В присутствии старшего сына дедушка прекращал свои проказы, переставал бормотать, свистать и наполнять дом гамом. По временам он даже останавливался перед Петром Матвеичем и с какою-то непривычною ему задушевностью в голосе произносил:

— Рви!

— Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю! — возражал на это Петр Матвеич.

Но старик оставался непреклонен и повторял:

— Рви! рви! рви!

Петр Матвеич на минуту задумывался, потом внезапно приказывал запрягать тарантас и летел навстречу гурту.

В эти дни исправник был неумолим и грабил все, что положено, не поддаваясь ни резонам, ни лести.

Арина Тимофеевна была женщина смирная, но отличалась тем, что даже в домашнем обиходе никогда не могла с точностью определить, чего ей хочется. Может быть, поесть, может быть, испить, а может быть, и просто по двору побродить. Случилось это с нею с тех пор, как Петр Матвеич (молодые еще они тогда были) однажды ударил ее под пьяную руку по темени.

— Как ударил он, это, меня по темю,— рассказывала она всегдашней своей собеседнице, попадье,— так с тех пор и нет у меня понятия. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется — не разберу.

Уже смолоду она была рохлей, а с годами свойство это возросло в ней до геркулесовых столпов. День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревне, там подберет, тут погрозит, и все как-то без толку, словно впросонье. Идет неведомо куда и так безнадежно смотрит, как будто говорит: да уйдите вы, распостылые, с моих глаз долой! Потом на минуту встрепенется и примется «настоящим манером» хозяйничать. Старосту назовет кровопивцем, повара — вором, девку Маришку — паскудою. Совершивши этот подвиг, опять притихнет, сядет у окна, расстегнет у блузы ворот и высматривает, не прошмыгнет ли через двор Маришка-поганка на кухню к подлецу Федьке.

— И то бежит! бежит! — вдруг восклицает она, стремительно вскакивая с места и с каким-то жадным любопытством приглядываясь, как Маришка с быстротою ящерицы скользит по двору, скользит, скользит и наконец проскальзывает в отворенную дверь кухни.

Или вдруг встревожится, отчего детей долго не видать, а они уж тут как тут. Одного ведут за ухо, потому что у петуха крыло камнем перешиб; другой сам бежит с расквашенным носом.

— Смерти на вас нет! — криком крикнет Арина Тимофеевна и тотчас же распорядится: одному даст щелчок в лоб, другому вихор надерет.

Такого рода хозяйственные и воспитательные распоряжения исчерпывали собой весь день. Затем, вечера Арина Тимо-

феевна проводила в обществе попадьи и жаловалась ей на судьбу.

— Нет моей жизни каторжнее,— говорила она,— всем-то я припаси! всем-то я приготовь! И курочку-то подай! и супцу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругом суровые взгляды, как бы выражая ими неодобрение домашним, причиняющим столько тревоги Арине Тимофеевне.

— Сколько старик один слопает, так это бог только видит! бог только видит! — продолжала хозяйка, ударяя себя кулаком в грудь,— словно у него не брюхо, а прорва! Так и кладет! так и кладет! Набегается это день-деньской по углам-то, да пуще, да пуще!

— Слыхала я, сударыня, насчет крестов, которые каждому человеку при рождении назначаются...— вставляла свое слово попадья. Но Арина Тимофеевна не слушала ее и продолжала:

— И все-то мне тошно! все-то мне постыло! Вот хоть бы Маришка-поганка. Так хвостом и вертит, так и вертит! Каково мне это видеть-то!

Жалобы лились, как река, до тех пор, пока сам собою не истощался несложный репертуар их. Тогда Арина Тимофеевна прощалась с попадьей, удалялась в спальню и приносила Маришке окончательную жалобу.

— Измучилась я с вами, словно день-то кули ворочала. Теперь бы вот богу помолиться — ан у меня и слов никаких на языке нет. А завтра опять вставай! опять на муку мученскую выходи!

Если б у Арины Тимофеевны спросили, любит ли она мужа, она наверное ответила бы: как не любить! ведь он муж! Если б спросили, любит ли она детей, она ответила бы: как не любить! ведь они дети!

— Щемит мое сердце по них! — говорила она,— так-то щемит! так-то ноет!

Но в чем именно проявлялось это материнское щемление сердца — этого, конечно, не мог бы определить мудрейший из мудрецов. Иной раз щемит сердце оттого, что севрюжинки солененькой захотелось; иной раз оттого, что кваску хорошо бы испить; иной раз оттого, что вдруг об детях дума в голову западет.

— Это у тебя все от праздности да от жиру! — молвит ей в укор Петр Матвеич, когда она чересчур разохается.

— Как же, с жиру! дети-то, чай, мои! — огрызнется она. Потом на минуту смолкнет, и опять начнет у ней сердце щемить.

— Вот,— скажет,— хорошо, кабы у нас дом полная чаша был!

— Это еще что?

— Да так... все, чего ни потребуй, все бы сейчас... яичка бы захотелось — яичко бы на столе! Говядинки... супцу... все бы сейчас, в секунд!

— Вот дуру-то бог послал!

— По-твоему, я дура, а по-моему, ты дурак. Чем ругаться-то, лучше бы отца допросил, куда он миллион свой спрятал?

Среди фантазий, беспорядочно бродивших в голове Арины Тимофеевны, мысль о том, что у дедушки есть какой-то куш, который он неизвестно куда запрятал, в особенности угнетала ее. Она носилась с этой мыслью с утра до вечера, ложилась с нею спать и, наконец, даже бредила ею во сне. Начав с одной тысячи, воображение постепенно увеличивало и увеличивало вожделенную сумму и, наконец, остановилось на миллионном размере. Дальше Арина Тимофеевна не умела считать.

— А ты верно знаешь, что миллион? — спрашивал ее Петр Матвеич.

— Как же не верно! Сколько лет жил! сколько грабил!

— Ах, дура, дура!

— Ты умен! Другие на таких местах поди какие капиталы наживают, а он, блаженный, все двугривенничками да пятиалтынничками, да и те деревенским девкам просорит!

Разговоры эти обыкновенно кончались тем, что Петр Матвеич выскакивал из-за стола и приказывал закладывать тарантас.

Что̀ могло сделаться из детей в подобном семействе — это понятно само собой. Уже в силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были «пащенки», «выродки», «балбесы» — и ничего больше. Росли они по-спартански, то есть кувыркались по двору, лазали по деревьям, разоряли птичьи гнезда, дразнили козла, науськивали собак на кошку и по временам даже воровали. С малых лет их головы задумывались над тем, что хорошо бы в кучера или в рассыльные идти да иметь в руках нагайку ременную и хлестать ею направо и налево, «вот как папенька хлещет».

— Какого им дьявола воспитания! — говорила Арина Тимофеевна,— и так, балбесы, по̀ходя жуют!

— Я их воспитаю... а-р-р-р-апником! — прибавлял с своей стороны Петр Матвеич.

На десятом году старшего сына, Максимку (он же и «палач»), засадили за грамоту. Призвали сельского попа, дали

мальчугану в руки указку и положили перед ним азбуку с громаднейшими азами.

— Ты его, отец Василий, дери! — рекомендовал при этом Петр Матвеич,— ведь он у нас идол!

И действительно, Максимка оправдывал это прозвище. Исподлобья смотрел он на классный стол, словно упирающийся бык, которого ведут под обух.

— Ишь ведь как смотрит! чует, пащенок, чем пахнет! Я тебя... воспитаю!

И началась для Максимки та ежедневная мука, которая называется грамотою.

— Аз-буки-веди, бря, вря, гря, дря, жря,— мрачно твердил он по целым часам, ковыряя в носу и бесцельно озираясь по сторонам.

— Ты в книгу-то нос уткни! по сторонам-то не глазей! — внушал отец Василий.

Максимка с каким-то бесконечно-скорбным выражением в лице устремлял глаза в книгу, как будто говорил: вот вещь, постылее которой нет ничего на свете!

— Я, отец Василий, в кучера хочу! — вдруг произносил он.

— Вот вырастешь — может, и в пастухи определят!

— А по мне, хоть и в пастухи! у меня тогда большой-большой кнут будет!

— Ладно. Это когда-то еще будет. А теперь тверди: лря, мря, нря... ну, что еще в носу нашел!

— Лря, мря, нря,— угрюмо повторял Максимка,— а ежели я буду пастухом, зачем же мне грамота?

— И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутом с пониманием хлещет.

— Врете вы всё. Вон Антипка, у него болона на лбу, а как он кнутом щелкает! Его все коровы знают.

По временам в «ученье» вмешивалась Арина Тимофеевна.

— Каков у нас идол-то? — спрашивала она, зайдя в классную комнату.

— Башка! — ответствовал обыкновенно отец Василий, гладя Максимку по голове.

— Ну, и слава те господи! Может, хоть один с разумом выйдет!

В два года Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и первые четыре правила арифметики. Это так ободрило Арину Тимофеевну, что она начала даже заявлять желания несколько прихотливые.

— Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучил! — говорила она отцу Василью.

— Какому же, сударыня, языку?

— А вот тому-то, что не говорит-то! ну, вот, что мертвый-то!

— Латинскому? что ж... никак, я его еще помню?

Но Петр Матвеич прямо назвал эти затеи преувеличенными и объявил, что везет Максимку в «заведение». Будущий «палач», услышав об этом решении, даже повеселел.

— Да ты, никак, балбес, обрадовался? — укоризненно заметила ему Арина Тимофеевна.

— Что ж дома-то! дома тиранят, и там будут тиранить! так лучше уж там! Я в кучера убегу.

Максимка был сдан в «заведение» и забыт. Через четыре года очередь «ученья» стояла уж за Федькой-разбойником, а там, гляди, поспевал и Ванька-воряга.

— Всех-то всему научи! всем-то всего припаси! — жаловалась Арина Тимофеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловых. Но чтобы сделать ее вполне ясною, необходимо сказать хоть несколько слов о другом представителе этой фамилии, о братце Софроне Матвеиче.

Софрон Матвеич был младший брат и представлял совершенную противоположность Петру Матвеичу. Если в основании всех поступков последнего лежала необузданность темперамента, то в характере первого преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петр Матвеич буянил, дрался и шел напролом; Софрон Матвеич каверзничал, извивался и зудил. Петр Матвеич имел голос резкий, не уступавший протодиаконскому, и способный разбудить самую сонную окрестность; Софрон Матвеич говорил тихо, вкрадчиво, словно хныкал. Когда Петр Матвеич говорил: «Папенька! как почтительный сын убеждаю вас...», то исход его речи был неизвестен: может быть, разорвет папеньку на части, а может быть, плюнет и отойдет; когда же Софрон Матвеич начинал: «Позвольте мне, добрый друг, папенька...», то исход этой речи был известен заранее, ибо всякому было понятно, что «зуда когда-нибудь непременно вызудит старика». По внешнему виду Петр Матвеич был высок, коренаст и постоянно грозил испытать на себе действие паралича; напротив того, Софрон Матвеич походил фигурой на отца, то есть был мужчина среднего роста, юркий, сухой и несомненно живучий, ходил неслышными шагами, крадучись, и несколько пригибал голову, как будто уклонялся от угрожавшего ему откуда-то удара. Петр Матвеич относился к церкви легкомысленно и редко бывал у службы; напротив того, Софрон Матвеич был к церкви усерден, молился всегда на коленях и притом со слезами. В довершение всего, Петр Матвеич

имел должность видную и блестящую, а иногда даже позволял себе мечтать о возможном преуспеянии на поприще администрации; напротив того, Софрон Матвеич занимал не блестящее, но солидное место уездного стряпчего, и никогда ни о каком преуспеянии не мечтал.

Несмотря на тихий, приниженный вид, все боялись Софрона Матвеича. При взгляде на его задумчивое и как-то сомнительно улыбающееся лицо, всякому сейчас же невольно приходило на мысль: вот человек, который наверное обдумывает какое-нибудь злодейство. С просителями Софрон Матвеич был вежлив необыкновенно, даже мужикам говорил не иначе, как «голубчик» и «дружок».

— У тебя, дружок, дельце в суде? — спрашивал он таким голосом, что у просителя непременно сердце екнет в груди.

И затем, заручившись «дельцем», он начинал играть с ним. То дополняет, то запросцы делает, то просто скажет: а ну, не трог, маленько поокруглится!

— Тебе чего, миленький? об дельце небось справиться пришел? Идет оно у нас, дружок, живым манером бежит! Подмазочки бы вот надо.

И, получивши подмазочку, кланялся, жал просителю руку и чувствительнейше благодарил.

Вообще, он облюбовывал и смаковал просителя, как артист, и потому не сразу обдирал его, а любил постепенно вызудить у него жизнь. Ежели читатель видал когда-нибудь, как ручная лисица поступает с подстреленной вороной, предназначенной ей на обед, то он может иметь приблизительное понятие о том, что происходило между Софроном Матвеичем и просителем. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рвет ее на куски, а долгое время полегоньку то там, то тут покусывает. Куснет — и отскочит в сторону, даже задумается, словно забудет. Потом опять изогнется и со всех ног кинется к вороне, но, не тронув ее, отпрянет назад. Даже ворона смотрит на эти маневры с изумлением, как будто говорит: Христос с тобой! ведь я было испугалась! Потом опять скачок, и опять, и опять,— до тех пор, пока не вызудит у вороны жизнь. Тогда потихоньку ощиплет и съест. Точно так поступал и Софрон Матвеич: он разорял полегоньку, со вздохами, с перемежками, но разорял дотла, до тех пор, пока последний грош не вызудит. Тогда уж съест окончательно.

В усадьбу Софрон Матвеич наезжал редко. Человек он был холостой и хозяйством не занимался. Но всякий раз, как приедет в Вавиловку, непременно кому-нибудь что-нибудь да прокусит.

— Ты, Палаша, никак, опять с прибылью? — обращался он

к судомойке Палаше, которая, по своему девичеству, каждый год носила ребят,— ах, дружок, как это грешно! знаешь, как бог-то за это наказывает? что̀ блудницам в аду-то приуготовано? Ах, друг мой! друг мой! Ну, нечего делать, посадите ее, миленькие, в холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!

Скажет и сотворит при этом крестное знамение.

Старик-дедушка при одном упоминании о Софроне Матвеиче дрожал и изменялся в лице. Арина Тимофеевна тоже ненавидела его и уверяла, что Максимка весь в него уродился.

— Телом-то в отца, а нравом в Софронку. Софронка меня в те поры испугал, как я тяжела была, ну и вышел Максимка в него.

Даже Петр Матвеич крестился и вздрагивал, когда Софрон Матвеич, по обыкновению своему, неслышно подкрадывался к нему.

Один «палач» *любил* дядю и говорил про него:

— Вот дядя — это человек! Этот не сробеет, даром что с виду тихеньким кажется!

«Палача» ждут дома без нетерпения; едва ли даже не позабыли, что за ним послано.

Да и не до него теперь. Весь дом в унынии; Арина Тимофеевна ходит из угла в угол как потерянная и вздыхает; разбойники дети благонравно сидят по местам; дворовые суетятся; на дворе то впрягают, то распрягают лошадей; мужики нагружают у барского крыльца подводы. Один дедушка свеж и бодр и пуще прежнего щелкает, свистит и горланит какую-то нескладицу. Сам Петр Матвеич каждую ночь приезжает в Вавилово вместе с Софроном Матвеичем. Приехавши, оба брата о чем-то шушукаются, потом делают распоряжения, вследствие которых на другой день опять нагружаются подводы, а к утру обоих и след простыл.

Рассыльный говорил правду: в город одновременно наехали две комиссии, из которых одна занималась исследованием действий исправника, а другая выворачивала наизнанку уездный суд. И так как члены комиссии нуждались в пище и питии, то вавиловские запасы видимо истощались. И вдруг, в такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, так сказать, на счету, наезжает откуда-то совсем забытый сын.

— Вот уж правду-то говорят: гость не вовремя хуже татарина! — встречает Арина Тимофеевна «палача».

— Вы, маменька, только рот разинете, так уж и сморозите! — отвечает «палач», целуя у матери руки.

— Бесчувственный ты балбес! Слышал ли, по крайности, что̀ с отцом-то делается?

— Как не слыхать! об нем по всей дороге, от самой Москвы в рога трубят!

«Палач» отворачивается от матери и идет в залу. Но там дедушка, подкравшись на цыпочках к двери, уже сторожит внучка и в одно мгновение ока мажет его по губам какою-то дрянью.

— Убью! — пускает «палач» вдогонку старику, который, учинив проказу и подобрав халат, бежит во все лопатки в другие комнаты.

— А папеньку-то судить будут! — докладывает «палачу» Федька-разбойник.

— И дяденьку тоже! — присовокупляет Ванька-воряга.

— Цыц, бесенята... жрать хочу! живо! — командует «палач» и, в ожидании еды, направляет стопы в девичью.

Там стоит девка Маришка, нагнувшись к сундуку, наполненному полотнами, и отбирает из них те, которые потоньше.

— Маришка! жрать... смерть моя! — говорит он, придавая своему голосу почти мягкий оттенок.

— Не до вас теперь, барин! видите, дело делаю! — отвечает Маришка, и еще ниже нагибается к сундуку, чтобы не встретиться взорами с «палачом».

— Ты, подлая, с Федькой связалась?

— Еще с кем?

— Тебе говорят: с Федькой! Да ты не верти хвостом, а гляди на меня!

— Не образ!

— Говорят, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись к сундуку, неохотно поворачивает к нему голову и, взглянувши, восклицает:

— Ах, да какие вы, барин, большие!

— То-то большой! ты смей только!

— Что сметь-то! сами-то, чай, давным-давно меня на какую-нибудь кузнечиху [1] сменяли!

— Ну, там на кого бы ни сменял! То я, а то ты! Тебе и по закону так следует. Да брось ты полотна-то! гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится перед ним.

— Что̀ тут у вас делается? взбесились, что ли, даже поесть не допросишься?

---

[1] Магазинная девушка с Кузнецкого моста, в Москве В сороковых годах девицы эти не отличались особенной строгостью поведения. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Ах, барин, столько у нас здесь напастей! столько напастей! Целая орава папеньку-то судить наехала, и все-то жрут, все-то пьют! кажется, что̀ только добра папенька нажили — все туда, в эту прорву пойдет!

— А ты... с Федькой?

«Палач» рычит, но рычит не опасно. Маришка понимает это.

— Вы, барин, всегда...— говорит она,— и что только вам этот Федька поперек встал — диковина!

— Верти хвостом-то! Отец зол?

— И не подступайся! Намеднись Никешку чуть-чуть под красную шапку не отдали.

«Палач» крутит зачаток уса и сурово произносит:

— Ну, и черт с ним! я сам в солдаты уйду!

В эту минуту Арина Тимофеевна, как буря, влетает в девичью и расстраивает интересный tête-à-tête [1].

— Вырос, батюшка! — язвит она,— ума не вынес, а не хуже стоялого жеребца ржет! Смотри, как бы Федька-подлец не приревновал!

— Да и у вас, маменька, ума немного! — огрызается «палач»,— вот покормить небось не догадаетесь!

— Надоело! — вдруг прибавляет он, зевая и потягиваясь, как будто и в самом деле он бог весть сколько времени толчется в этом доме, и все ему безмерно в нем опостылело.

В зале, на столе, «палача» ждут холодные объедки.

— Ишь ведь! куска живого нет! — озлобленно произносит он, жадно обгладывая кость,— Федька! нельзя ли, братец, цопнуть! спроворь!

Федька устремляется со всех ног в пространство; минуты через три он возвращается назад, бережно неся что-то под полой халата.

— Где бог послал? — спрашивает «палач», принимая из рук брата пузырек с водкой.

— У Михея кучера из полштофа вылил.

— Ну, это, брат, не порядки. Кучер — он человек дорожный, ему без водки нельзя. Ты бы по окнам у родительницы пошарил.

— Смотрит... нельзя!

— Смотрит! а ты так воруй, чтоб смотрела, да не видала. А на будущее время, чтоб не были вы без дела, вот вам урок: каждый день мне чтобы косушка была.

Насытившись и в пропорцию выпивши, «палач» отправляется на конный двор и встречается там с форейтором Никешкою.

---

[1] разговор наедине.

— Здорово, Никешка! — кричит он ему.

Никешка вытягивается во фронт и на солдатский манер произносит:

— Здравия желаю, ваше благородие-е-е!

— В солдаты?

— Точно так, ваше благородие-е-е!

— И я в солдаты уйду! надоело!

— Это точно, ваше благородие... прискучило!

— Хорошо, Никешка, в солдатах! Встал утром... лошадь вычистил... ранец... Щи, каша... ходи! вытягивайся! Ну, да ведь солдат работы не боится!

— Зачем, ваше благородие, работы бояться! Я теперича так себе сердце настроил, что заставь меня сейчас целому полку амуницию вычистить — так вот сейчас и-и!

— Солдат человек привышный! Солдат, ежели начальство прикажет: жги! рви! — он и сожжет и разорвет, все как следует! Потому, он человек подначалыный!

«Палач» входит в конюшню и осматривает стойла.

— Трезорка жив?

— Точно так, ваше благородие!

— И Полканка жив?

— Жив, ваше благородие!

— Как бы, братец, их на кошку науськать!

На зов Никешки, держа хвост по ветру, как бешеные, прискакивают два пса. «Палач» и Никешка становятся в углу конного двора и замирают в ожидании; псы, раскрыв пасти, нетерпеливо стоят около них, вертят хвостами и потихоньку взвизгивают. Наконец на заборе появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинке, поползет и остановится; потом почешет задней лапой за ухом, зевнет, оглянется, нет ли кого, и опять поползет. Наконец, не видя ниоткуда опасности, соскакивает на землю внутрь двора.

— Ату! ату его! — вдруг как безумные подхватывают «палач» и Никешка.

Псы летят; кошка сначала замнпается, но через мгновение тоже летит, задеря хвост, к забору, цепляется когтями за столб, с быстротою молнии вспалзывает наверх, и как окаменелая становится там, ощетинившись и выгнувши спину. Псы стоят у подошвы забора и, не сводя с кошки глаз, виляют хвостами и жалобно взвизгивают.

— Стиксовали, подлецы! — гремит «палач»,— Никешка! учить их!

Начинается учение: собак дерут за уши, бьют чем попало; воздух наполняется тем особенным собачым визгом, которому в целом мире звуков нет ничего подобного. На шум прибегают

братишки и старый дедушка. Последний стоит в воротах, подобрав полы халата, и сам, в каком-то ребяческом экстазе, визжит и лает.

— Ты чего прибежал? — обращается «палач» к старику,— стары годы вспомнил?

— Он так-то людей в стары годы собаками травил! — вставляет свое слово Никешка.

— Рви! — огрызается дедушка и видимо сконфуженный удаляется восвояси, при общем грохоте веселящихся.

— Маришку-то, ваше благородие, оставить надо! — докладывает Никешка, когда гвалт унялся.

«Палач» злобно фыркает.

— Она теперича у Федьки-повара и легла и встала! А я вам, ваше благородие, другую ягоду припас!.. такая-то ягода! вот так уж ягода!

— Потрафляй, Никешка, потрафляй!

День кончился; «палач» окончательно вступил в свою домашнюю колею, то есть побывал и на конном, и на скотном, и на огороде. В десять часов вечера он ужинает вместе со всем семейством и на все вопросы матери угрюмо отмалчивается.

— Да отвечай, идол, произвели ли тебя в классы-то? — чуть ли не в десятый раз спрашивает его Арина Тимофеевна.

— Завтра отцу все скажу! — отвечает «палач», выходя из-за стола, и, ни с кем не простясь, удаляется в боковушку, где ему постлали постель.

Около полуночи он слышит впросонках звон колокольцев, стук подъезжающего экипажа, хлопанье ворот и дверей и, наконец, шаги отца в передней.

— Балбес приехал? — раздается голос Петра Матвеича.

«Ну, пошла пильня в ход!» — мысленно произносит «палач», переворачиваясь на другой бок.

Отцу, однако ж, не до Максимки. На другой день, часов в шесть утра, он уже собрался в город и только мимоходом успел взглянуть на сына.

— Ну что̀, олух царя небесного, экзамена не выдержал? — поздоровался он с ним.

— Не выдержал-с.

— Повесить тебя мало, ракалия!

— Я, папенька, в юнкера желаю-с.

— Сказал: сгною подлеца в заведении! и сгною!

— Воля ваша-с.

Присутствовавший при этом Софрон Матвеич тоже счел долгом вступиться в разговор.

— Что ж ты, душенька, у папеньки-то ручки не целуешь? а-а-ах, милый друг! у родителя-то! да ты знаешь ли, миленький, как родителей-то утешать надобно?

— Я, дяденька, в военную службу желаю-с!

— И что это у вас, други милые, за болезнь такая: всё в военную да в военную! всё бы вам убивать! всё бы убивать! А знаешь ли ты, голубчик, что штатский-то слово иногда пустит, так словом-то этим убьет вернее, чем из ружья! Вот она, гражданская-то часть, какова!

— Что с ним, с оболтусом, разговаривать! — прерывает Петр Матвеич медоточивую речь брата,— вот ужо свалим с рук губернскую саранчу — я с тобой разделаюсь!

Дни идут за днями во всем их суровом однообразии, закаляя характер «палача». Он совсем не видит отца и, пользуясь этим обстоятельством, дает полный простор своим вкусам и наклонностям. С раннего утра он уже на конюшне, травит собаками кошку или козла, хлопает арапником, рассекает кнутом лубья, курит махорку, сплевывает в сторону и по временам устраивает, с целью грабежа, экспедиции на погреб, в кладовую и даже на крестьянские огороды.

— Скучно у вас, Никешка! — говорит он своему наперснику.

— Супротив Москвы как же можно!

— Я, брат, в Москве такие штуки удирал! такие удирал! с Голопятовым через забор в питейный бегали. Голопятова знаешь?

— Нет, таких не слыхали.

— Амченина-то Голопятова не знаешь? Ведь он тут, поблизости, в Амченске живет!

— Слыхали, что барин хороший,— лжет Никешка.

— Уж такой, брат, это человек! Мы с ним однажды Кубарихин дом вдвоем разнесли!

— Ишь ты! да уж где нам супротив Москвы!

— У вас даже питейного нет. Я со скуки хочу научиться табак нюхать.

— И от табаку тоже большого способья нет. Тошнит от него спервоначалу. А мы, барин, вот что: давайте в церкву ходить, да на крылосе петь.

— Чудесно. Вот это, брат, отлично ты вздумал!

«Палачу» так скучно, что он с жаром хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводит ее в исполнение. Он вербует в певчие младших братьев, дворовых и деревен-

ских мальчишек, собирает их на задворках и производит спевки.

— Эк, Голопятова нет! вот бы рявкнул! — жалуется он.

Мало-помалу, вместо лая и визга собак, воздух оглашается стихирами и прокимнами. Две недели кряду продолжается это новое столпотворение, и «палач» до того предается своей забаве, что делается почти неузнаваем. Только встанет утром — уже бежит на спевку; пообедает, напьется чаю на скорую руку — и опять на спевку. Он похудел, сделался богомолен и богобоязнен, а мальчишек совсем смучил. По временам он даже помышляет, не пойти ли ему в монахи.

— Жрут эти монахи... страсть! — решает он, и тотчас сообщает о своем решении Никешке.

— Что ж, в монахи так в монахи! я к вам служкой пойду! — отвечает Никешка.

— Заживем мы с тобой... лихо!

Однако и эта затея недолго гнездится в уме его, потому что Арина Тимофеевна, узнав стороной об его планах, считает долгом объяснить ему, что монахам не дают мяса.

— Что̀ лопать-то будешь? — спрашивает она его.

«Палач» смущается, ибо совершенно определенно сознаёт, что без мяса ему жить невозможно.

— Знаешь ли ты, балбес, как настоящие-то угодники живут? Одну просвирку на целую неделю запасет, голубчик, да и кушает! А в светло христово воскресенье яичко-то облупит, поцелует, да и опять на блюдо положит! А ведь тебе, олуху, мясища надобно!

— Врете вы всё! не может человек без мяса жить!

— Еще как живет-то! живет да еще работает! Ты спроси вот у мужичка, когда он мясо-то видит! И как только бог его поддерживает! все-то он без мяса! Ни у него говядинки! ни у него курочки! Ничего.

Арина Тимофеевна впадает в чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть целый день, готова даже погоревать и поплакать, но «палач» сразу осаживает ее.

— Ну, распустили нюни! — восклицает он и, не дожидаясь дальнейших разглагольствований, уходит из дома.

Как ни огорчительно открытие, сделанное Ариной Тимофеевной, но оно западает в душу «палача» и производит перелом в его образе мыслей.

— Ну их к шуту! — говорит он Никешке,— мать говорит, что монахам мяса не дают!

— Что ж, можно и оставить!

Идея о монашестве предается забвению, спевки прекра-

щаются, и на место их лай и визг собак опять вступают в права свои.

Среди этого содома Арина Тимофеевна ходит как потерянная и без перемежки вздыхает.

«И отчего он такой кровопивец? — думается ей,— нет чтобы книжку почитать или в уголку тихонько посидеть, как другие дети! Все бы ему разорвать да перервать, да разбить да проломить!»

Бродит Арина Тимофеевна по комнатам и все думает, все думает. А на дворе гвалт, гиканье, свист, рев.

— Лаской, что ли, с ним как-нибудь! — наконец додумывается она и немедленно решается воспользоваться этою мыслью.

— Хоть бы ты, Макся, поговорил с матерью-то! — обращается она к сыну.

— Об чем мне с вами говорить!

— Ну все же, хоть бы утешил!

— Горе, что ли, у вас?

— Как не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нет моему горю скончанья! вот хоть бы об вас, об деточках... ну, щемит у меня сердце, щемит, да и вся недолга!

— Ну, и пущай щемит!

— Или вот теперича кровопивцы из губернии налетели! что они пропили! что проели! Что было добра нажито — все повытаскали!

— И опять это дело не мое.

— Как же не твое, Макся... Ты хоть бы пожалел, мой друг!

— Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимофеевна на минуту умолкает, видимо обиженная равнодушием сына.

— И что это за народ такой нынче растет... бесчувственный! — наконец произносит она, посматривая в окошко.

— Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерут — и то стараюсь не чувствовать. У нас урядник Купцов, прямо скажу, шкуру с живого спущает, так если бы тут еще чувствовать...

«Палач» постепенно одушевляется; он ощущает твердую почву под ногами.

— Один раз,— говорит он,— я товарища искалечил, так меня сам инспектор бил. Бьет это, с маху, словно у него бревно под руками, бьет, да тоже вот, как вы, приговаривает: бесчувственный! Так я ему прямо так-таки в лицо и сказал: ежели, говорю, Василий Ипатыч, так бьют, да еще чувствовать...

«Палач» от волнения задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхивает, ноздри раздуваются, и сам он от времени до времени вздрагивает.

— Меня вот товарищи словно волка травят,— продолжает он,— соберутся всей ватагой, да и травят. Так если б я чувствовал, что̀ бы я должен был с ними сделать?

Он смотрит на мать в упор; глаза его сверкают таким диким блеском, что Арина Тимофеевна, не понявшая ни одного слова из всего, что говорил сын, пугается.

— Да ты обалдел, что ли, как на мать-то смотришь! — начинает она, но «палач» уже ничего не слышит.

— Теперича, к примеру, я хочу в юнкера поступить,— гремит он,— так ежели начальство мне скажет: «Хмылов! разорви!» — как, по-вашему? Я и в то время должен какие-нибудь чувства иметь? Извините-с!

«Палач» быстро поворачивается, и через минуту сугубый гвалт возвещает о благополучном прибытии его на конный двор.

Арина Тимофеевна опять задумывается, или, лучше сказать, в голову ее опять начинают заглядывать какие-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдруг заглянет слово «убьет!», то вдруг мелькнет: «Это он с матерью-то! с матерью-то так разговаривает!» Наконец она вскакивает с места и разражается.

— Желала бы я! — восклицает она иронически,— ну, вот хоть бы глазком посмотрела бы, что́ из этого ирода выйдет!

Но вот и губернская саранча уехала восвояси; Петр Матвеич свободен и приезжает в Вавиловку отдохнуть.

— Теперь я с тобой, мерзавец, разделаюсь! — говорит он сыну, располагаясь в кресле с таким спокойным видом, как будто собрался приятно провести время.

— Вся ваша воля-с.

— Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?

— Я, папенька, в полк желаю-с.

— Будешь ли учиться?

— Я, папенька, ежели вы меня в полк не отдадите, убегу-с!

— К-к-кан-налллья!

Петр Матвеич вытягивается во весь рост, простирает руки, и до такой степени таращит глаза, что кажется, вот-вот они выскочат. «Палач» закусывает губу и ждет.

— Нагаек! — кричит Петр Матвеич задавленным голосом.

Экзекуция начинается: удар сыплется за ударом. Петр

Матвеич бледен; в глазах его блуждает огонь, горло пересохло, губы горят.

— Убью! в гроб заколочу! — уже не кричит, а шипит он тем же задавленным голосом.

«Палач» словно замер: ни стона, ни звука.

— Убить, что ли, сына-то хочешь! — вдруг раздается испуганный голос Арины Тимофеевны.

Она бледна и дрожит. Как кошка, вцепляется она в полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

— Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьет... ах, убьет!

Петра Матвеича с трудом оттаскивают. Он шатается словно пьяный и смотрит на всех потухшими глазами, как будто не сознает, где он и что тут случилось. «Палач» страдает, но, видно, перемогает себя. Он встряхивает волосами, на губах его блуждает вызывающая и вместе с тем исполненная инстинктивного страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могут выдерживать долее. Не проходит минуты, как лицо его начинает искажаться, искажаться, и, наконец, какое-то ужасное рычание вылетает из его груди, рычание, сопровождаемое целым ливнем слез.

— Плачь, батюшка, плачь! — увещевает его Арина Тимофеевна,— плачь! легче будет!

Но он ничего не слышит и стремглав убегает из комнаты.

Сцена сечения произвела на весь дом подавляющее действие. Все как будто опомнились и в то же время были до того поражены, что боялись словом или даже неосторожным движением напомнить о происшедшем. Прислуга ходит на цыпочках, словно чувствует за собою вину; Арина Тимофеевна потихоньку плачет, но, заслышав шаги мужа, поспешно утирает слезы и старается казаться веселою; дедушка мелькает там и сям, но бесшумно и испуганно, как будто тоже понимает, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшие дети сидят смирно и рассматривают книжку с картинками. В самом Петре Матвеиче заметна перемена: он похудел, осунулся, мало ест и совсем не пьет. «Палач» примечает это общее уныние и всячески старается эксплуатировать его в свою пользу. Он целые дни где-то скрывается; приходит домой только обедать, молча ест, выбирая самые лучшие куски, после обеда целует у родителей ручки, и тотчас же опять уходит вплоть до ужина.

— Здоров? — как-то не удержался однажды спросить его Петр Матвеич.

— Слава богу-с; гной теперича в ранах показался-с,— ответил «палач», но с такою язвительною почтительностью, что Петр Матвеич весь вспыхнул и чуть было опять не потребовал нагаек.

На самом же деле «палач» уже почти позабыл об экзекуции и проводит время на обычной арене своих подвигов, то есть на конном дворе. Но он сделался как-то солиднее в своих поступках, не бурлит, не хлопает арапником, не дразнит козла, а или заваливается спать на сеновал, или беседует с кучерами. Станет где-нибудь в углу, курит махорку, сплевывает и ведет разумную речь о коренниках, об иноходцах, о том, какие должны быть у «настоящей» лошади копыта, какой зад и т. д.

— У «настоящей» лошади зад должен быть широкий... как печка! потому у «ей» вся сила в заду! — утвердительно говорит «палач».

— Нет, вот я у одного троечника коренника знал, так у того был зад... страсть! — рассказывает кучер Михей,— это под гору полтораста пудов спустить — нипочем!

— По «саше»? — вопрошает «палач», подделываясь под тон своей аудитории.

— По саше и по простой дороге — как хошь! И сколько раз у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

— Не продал?

— Ни в жисть! «Дай ты мне сто пудов золота, говорит, умру, а лошади не отдам!»

— И что за житье, ваше благородие, этим извозчикам — умирать не надо! — вступается Никешка.

— На что лучше! — восклицает Михей,— еда одна что стоит! Щи подадут — не продуешь! Иному барину в праздник таких не есть!

«Палач» задумывается и полегоньку посасывает трубочку. Воображение его играет; он видит перед собой большую дорогу, коренника, переступающего с ноги на ногу и упирающегося широким задом в громадный воз; офицеров, скачущих мимо; постоялый двор, и на столе щи, подернутые толстым слоем растопившегося свиного сала...

— Папушник с медом есть будете? — слышится ему словно впросонках.

— Вы бы вот что, ваше благородие,— прерывает его мечты Никешка,— поклонились бы вы папеньке-то: наградите, мол, папенька, меня тройкой лошадей... А я бы вам, ваше благородие, в работниках послужил!

— Что ж, Никешка — парень ловкий! Он это дело управит! — подтверждает Михей.

— А уж какую бы мы тройку подобрали — на удивление! — продолжает Никешка,— ну, просто, то есть, и в гору и под гору — как хошь!

— А ты это видел? — осаживает его «палач», снимая куртку и показывая спину, усеянную подживающими рубцами,— так вот ты пойди да и поклонись папеньке-то, а он тебе еще вдвое засыплет!

Или:

— Кучер, коли ежели он настоящий ездок, непременно должен особенное такое «слово» знать! — повествует Михей.

— Да, без этого нельзя! — подтверждает и «палач».

— Теперича, ежели ты в грязи завяз или в гору встал — только скажи это самое «слово»,— хоть из какой хошь трущобы тебя лошадь вывезет! а не скажешь «слова» — хоть до завтрева бейся, на вершок не подвинешься!

И т. д. и т. д.

Одним словом, «палач» благодушествует и, зная, что отцу до поры до времени совестно смотреть ему в глаза, пользуется своим положением самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренниках, о том, как однажды Никешка на ровном месте пять часов бился, «хочь ты что хошь», о том, как один ямщик в одну пряжку сто верст сделал и только на половине дороги лошадей попоил,— «палач» отправляется к дяденьке Софрону Матвеичу, который тоже отдыхал в Вавиловке после ревизорского погрома, и слушает рассказы этого нового Одиссея.

— Я, дяденька, в полк уйду! — обыкновенно начинает «палач».

— И что ты это заладил одно: в полк да в полк! На войну хочешь? так на войне-то, брат, бабушка еще надвое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьют!

И затем начинался бесконечный ряд рассказов о преимуществах гражданской службы.

— Гражданская-то служба разве не то же стражение? — повествует дяденька,— только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части один стражается, а другой претерпевает стражение. И сколько я этих гражданских стражений в своей жизни выиграл, так ежели бы всё счесть, кажется, и фельдмаршалом-то меня сделать мало!

«Палач» оглядывает мизерную, словно объеденную фигуру дяденьки и улыбается.

— А ты не гляди, миленький, что я ростом не вышел; я, душа моя, такие дела делывал, что другому даже в генеральских чинах во сне не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь рост и, тыкая себя перстом в грудь, продолжает:

— Я только говорить о себе не люблю, а многим, даже очень многим в жизни своей такие права предоставил, что ежели они после того рук на себя не наложили, так именно только по христианству, как христианский закон вообще запрещает роптать! Насекина, например, Павла Ивановича знаешь?

— Это пьяненького-то?

— Это теперь он пьяненький, а прежде был он у нас предводителем, туз козырный был! Гордый человек был, тиранил, жег, сек. Дворянин ли, мужик ли — все, говорит, передо мной равны! Вот он каков, «пьяненький»-то, в старые годы был! А кто гордыню-то эту из него извлек? Я, Софрон Матвеев Хмылов, ее извлек! Походил около него, распланировал все как следует, потом дал стражение — и извлек!

— Да я, дяденька, помилуйте...

— Погоди, мой друг, дай сказать! Или возьмем теперича хоть палагинское дело. Убили рабы своего господина, именнием его воспользовались — одними деньгами, душа моя, сто тысяч было! — бежали, пойманы, уличены! По-твоему, как надлежит в этом случае поступить? Отдуть душегубов кнутом, сослать куда Макар телят не гонял — и дело с концом? Ну, нет, не будет ли этак-то очень уж просто! С имением-то, скажи ты мне, как поступить? Да опять же и где это имение взять? Потому эти самые душегубы во всем прочем чистосердечно повинились, а насчет имения такую аллегорию, такую аллегорию поют, что и боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать, придется стражение вам дать. И как бы ты полагал? — не успел я это стражение до половины довести, как они уж всё до полушки отдали!

— Да ведь я, дяденька, не об вас. Вы, известно...

— Нет, да ты слушай, что̀ потом будет! Отдавши, это, всё до полушки, сидят они в остроге год, сидят другой — и вдруг возгордились! Мы-ста! да вы-ста! из нас, говорят, жилы вытянули, а резону нам не дают! И даже очень громко этак-то побалтывают. Что ж, делать нечего, пришлось и в другой раз стражение дать... только уж после этого другого-то стражения...

Софрон Матвеич внезапно останавливается и вместо продолжения прерванного рассказа присовокупляет:

— Так вот они каковы, гражданские-то стражения! Коли ежели да с умением, да с сноровочкой — большую можно пользу для себя получить!

«Палач» смотрит на дядю с благоговением, почти с алчностью. Глаза его так и бегают.

— Я десять губернаторов претерпел! — продолжает Софрон Матвеич хныкающим голосом,— я пятнадцати ревизорам очки вставил! И всякой-то на меня с наскоку наезжал: «Я, дескать, этого разбойника Хмылова в бараний рог согну!» Ан дашь ему стражение — он и притих! Статский советник Ноздрев у нас был, так тот, как приехал в город, так и рычит: подайте мне его! разорву! Каково мне это слушать-то? каково? Однако я выслушал, доложил, опять выслушал, опять доложил — и стал он у меня после того шелковый... Даже поноску носить выучился, и так, это, привык, что в глаза, бывало, мне смотрит, когда же, мол, ты скажешь: пиль!

— Да ведь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!

— Не то чтобы слишком умен, а человеческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотрит на человека, и ничего в нем не видит, а я проникаю. Я даже когда не нужно — и тогда проникаю. Идешь это по улице, видишь человека и все думаешь: а кто знает, может быть, этому человеку со временем придется стражение дать!

Но как ни привлекательны рисуемые дядей картины гражданских сражений, «палач» не поддается соблазну. Он понимает, что ему тут делать нечего. В нем, если хотите, имеется достаточный запас той одервенелой жестокости, которая на самые большие мучения позволяет смотреть хладнокровно, но нет ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни к каким комбинациям он неспособен, и потому даже в шашки порядком не мог научиться играть.

— Нет, дяденька,— говорит он,— я уж в полк!

— Что ж, в полк так в полк! Коли нет призвания, так и соваться нечего. А ведь и я, душа моя, не сразу тоже в чувство пришел. С мужика с простого начал, а потом, постепенно, и губернаторов постиг. Бывало, папенька приведет мужика-то и скажет: «Софрон, учись!» Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякий суставчик попытаешь, все ищешь, где у него струна-то играет. Нашел струну — и ликуй, потому тут он уж и сам перед собой, словно клубок, развертываться начнет. Ты только дергай, дергай его за нитку-то, а он, что больше дергаешь, то ходчей да ходчей все развертывается. И такой вдруг понятный сделается, что даже вчуже удивительно, как это сразу ты его не постиг!

. . . . . .

И живет таким родом «палач» под сенью родительского крова, живет изо дня в день и не видит исхода своему страстному желанию оставить науку и поступить в полк. Эта

мысль преследует его день и ночь. Ни рассказы дяди, ни беседы на конном дворе не могут заставить ее позабыть. Вот и каникулы подходят к концу, а он все при том же, при чем был и в начале своего приезда в деревню.

Порой он решается бежать, но куда? с чем? При всей неразвитости, он понимает непрактичность этой мысли, и потому не без удовольствия ожидает момента, когда его опять повезут в Москву, и опять очутится он в стенах «заведения». Там он, по крайней мере, увидится с «Агашкой», а это свидание возбуждает в нем какие-то смутные надежды. Что будет? — он сам еще не может определить, но что нечто, наверное, будет — в этом он не сомневается.

— Голопятов выручит! — говорит он себе и с этою сладкою мыслью засыпает в последний раз под кровлей скромного вавиловского дома.

И действительно, «Агашка» — первое лицо, с которым «палач» встречается в «заведении».

— Хмылов! меня опекун в полк отдает! — объявляет он сразу.

«Палач» бледнеет.

— Так это... верно? — спрашивает он потухшим голосом.

— Через месяц, как дважды два. А ты как?

«Палач», вместо ответа, снимает с себя куртку и показывает следы рубцов, оставшиеся на спине.

— Это... за полк! — говорит он.

«Агашка» вдруг проникается великодушием.

— Уйдем вместе! — говорит он,— вместе горе тяпали, вместе и уйдем!

— Да ведь ты... сам собою... и без того...— заикается «палач».

— Не хочу просто выходить... уйду! Или вот что: удерем, Хмылов, какую-нибудь такую штуку, чтоб нас обоих разом выгнали!

«Палач» с какою-то робкою радостью смотрит на своего друга.

— Да ты что, подлец? не веришь мне? — великодушествует «Агашка»,— да я теперь ни за что без тебя из заведения не уйду!

Приятели целуются и заключают наступательный союз. Начинается целый ряд подвигов, слава которых, постепенно возрастая, наполняет наконец Москву. Родители с недоумением вопрошают друг друга, правда ли, что какие-то ученики «заведения» взяты будочником в кабаке; правда ли, что еще

какие-то ученики того же «заведения» пойманы в ту минуту, как хотели взломать церковную кружку; правда ли, что еще какие-то ученики забрались ночью в квартиру женатого надзирателя Сен-Романа... В течение двух-трех недель «палач» и «Агашка» вдвоем совершили столько, что, казалось, будто в их подвигах участвовало не меньше ста человек.

Через месяц оба друга сидят уже в карцере; еще неделя — и за обоими приехали посланные от родных.

Друзья веселы и всецело поглощены ощущением испытываемого ими счастия. Они бодро проходят через рекреационную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этот раз даже не пускают вдогонку Хмылову «палача». Смутный говор удивления провожает их до самой швейцарской.

Вот они на пороге, вот уже и стены заведения остаются позади их. «Палач» останавливается и в каком-то неописанном волнении сжимает руку «Агашки».

— Не про-па-дем! — восторженно восклицает он, отчетливо разделяя каждый слог своей краткой речи.

— Не пропадем! — словно эхо, повторяет за ним «Агашка».

ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ

У начальника отделения, статского советника Семена Прокофьича Нагорнова, родился сын. Это был плод пятнадцатилетней бездетной супружеской жизни, и потому естественно, что появление его на свет произвело на родителей впечатление не совсем обыкновенное. Миша был еще во чреве матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему карьере и ни одной минуты не сомневались, что у них родится именно сын, а не дочь. Анна Михайловна, с легкомыслием женщины, пророчила, что сын у нее будет военный; напротив того, Семен Прокофьич изъявлял надежду, что Мише суждено со временем сделаться «министерским пером».

— Ему, матушка, карьеру надобно делать, а не мостовую гранить,— говорил будущий отец,— а потому мы отдадим его в такое заведение, где больше чинов дают.

Затем, рассчитавши, что Миша, пойдя по этой дороге, осьмнадцати лет уже может быть титулярным советником и что производство из коллежских регистраторов в титулярные советники, за выслугу лет, потребует не менее десяти лет, Нагорнов прибавлял:

— Даже теперь можно уже сказать, что наш Михайло Семенович состоит на службе на правах канцелярского чиновника, кончившего курс в уездном училище!

Нагорновы были люди простые и добрые и, как муж, так и жена, принадлежали к очень почтенному чиновничьему роду. «Мы искони крапивные!» — шутя говаривал Семен Прокофьич и отнюдь не скорбел о том, что в ряду его предков не было ни князя Тарелкина, который был знаменит тем, что целовал крест царю Борису, потом целовал крест Лжедмитрию, потом целовал крест Василию Ивановичу Шуйскому, и которому за все эти поцелуи наконец выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шассе-Круазе, который был знаменит тем, что в одном нижнем белье прибежал из Парижа в Россию и потом, в 1814 году, вполне экипированный, брал Париж вместе с союзниками. Отец Семена Прокофьевича, уже умерший, служил советником в управе благочиния; отец Анны Михайловны, по фамилии Рыбников, находился еще в живых и служил архивариусом в одном из министерств, но так как имел генеральский чин, то назывался не архивариусом, а управляющим архивом.

Обе семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресеньям обыкновенно собирались за обедом у Нагорновых, а так как у Анны Михайловны было еще три сестры-девицы, то в небольшой квартире начальника отделения бывало довольно людно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорнов весь отдавался отдохновению, не скреб с утра до ночи пером и даже позволял себе партикулярные разговоры. Скромный обед разнообразился праздничной кулебякой с сигом, которую все ели с тем аппетитом, с каким обыкновенно едят люди очень редкое и лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала повод для одного и того же неизменного разговора.

— Я пятьдесят лет на свете живу, и, благодарение моему богу, никогда из Петербурга не выезжал (и батюшка и дедушка безвыездно в Петербурге жили!), и за всем тем все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки да еще нашей корюшки нигде, кроме здешней столицы, достать нельзя! Вот в Ревеле, говорят, какую-то вкусную кильку ловят — ну, той, в свежем виде, никогда не видал, а чего не видал, о том и спорить не стану! — беседовал Семен Прокофьич, тщательно выскребывая ножом с тарелки соринки рыбы и капусты и отправляя их в рот.

— В Шлюшине, сказывают, этого сига множество! — возражал Михайло Семеныч Рыбников.

— Помилуйте, батюшка! какой же в Шлюшине сиг! Ладожский ли сиг или наш невский!

— Ну, да и кусается же этот невский сижок! — вставляла свое слово Анна Михайловна,— Зина! Евлаша! Лёля! сестрицы! что ж вы! с сижком! — обращалась она к сестрам, кото-

рые, в качестве сущих девиц, не были свободны от некоторого жеманства.

— Они у меня скромницы! — шутил старик Рыбников,— при людях не едят, а вот после обеда на кухню заберутся, так уж там и с сижком, и с кашкой, и с рисцем... пожалуй, и платья-то расстегнут!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующие заливались добродушным хохотом.

Затем разговор переходил к жареному гусю, по поводу которого тоже высказывалось мнение, что против петербургского гуся никакому другому не устоять.

— Слыхал я,— говорил Нагорнов,— будто в Москве, в Новотроицком трактире каких-то необыкновенных гусей подают, да ведь это славны бубны за горами, а мы поедим нашего, петербургского!

— У нас гуси лапчатые! — замечал, в свою очередь, старик Рыбников, вновь возбуждая во всей компании веселый смех.

После обеда старцы уединялись в кабинете и попыхивали копеечные сигары, прислушиваясь к женскому стрекотанию, немолчно раздававшемуся в спальной, и изредка перебрасываясь замечаниями.

— Так та́к-то, батюшка, ваше превосходительство! — говорил Семен Прокофьич.

— Да, есть тово... немного! — ответствовал, позевывая, Михайло Семеныч.

И таким порядком проходило воскресенье за воскресеньем, без всякой надежды, чтоб в эту жизнь когда-нибудь проникнул свежий, живой элемент.

Только в средине пятидесятых годов, когда русская жизнь как будто тронулась, воскресные обеды Нагорновых несколько оживились, ибо каждую неделю являлась какая-нибудь новость, которая задевала за живое и о которой трудно было не потолковать.

— Вот и марки почтовые проявились! и инспекторский департамент упразднен! — сообщал Семен Прокофьич, относившийся, впрочем, к реформам с большою благосклонностью,— а что, ведь ежели теперича все сообразить, сколько в течение одной прошлой недели переформировано, так я думаю, что даже самого обширного ума на такую работу недостанет!

— Это вам, молодым людям, в диковинку эти реформы-то! — возражал старик Рыбников,— а у меня, брат, в архиве все эти реформы как на ладони видны — во как! За какую связку ни возьмись, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!

— Ну, нет, батюшка! Это не так! прежде на бумаге-то города брали, а теперь настоящее дело пошло! Я сам в комиссии о распространении единомыслия двадцать лет членом состоял — и что ж! сто один том трудов выдали, и все-таки ни к какому заключению прийти не могли! Потому — рано было! А теперича разом весь этот материал и двинули! Возьмем хоть бы почтовые ящики — какое это для всех удобство! Написал письмо, пошел в департамент, опустил мимоходом в ящик — и покоен! Нет, как же можно! Только бы, с божьею помощью, потихоньку да полегоньку, да без революций!

— Давай бог! давай бог!

Но скоро и о почтовых ящиках разговоры исчерпались, или, лучше сказать, они сделались такими же скучными и вялыми, как и разговоры о пироге с сигом. И вдруг, в это серенькое затишье, в эту со всех сторон запертую и ничем не смущаемую среду ворвалось что-то новое, быть может когда-то составлявшее предмет заветнейших мечтаний, но давным-давно уже, за давностию лет, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вот, в одно из воскресений, Семен Прокофьич следующею речью встретил своего тестя:

— Подобно тому как древле Захария, священник Авиевой чреды, на склоне дней своих...

— Ну, брат, исполать! — не дал докончить ему обрадованный Рыбников,— молодец! где же она? где же Анюта?

— А вот и самая оная Елизавет! — как-то блаженно улыбаясь, ответил Семен Прокофьич, указывая на выходящую из спальной Анну Михайловну, которой щеки на сей раз алели уже не от одних хлопот по приготовлению пирога, но и от той сладкой застенчивости, которую ощущает всякая женщина, готовящаяся в первый раз подарить своей стране гражданина,— сего числа особа эта утвердительно может сказать: взыграла младенец во чреве моем!

— Ну, брат, не ждал! Молодец! молодец, Анюта! и ежели теперича внук... вы непременно Михайлом его назовите!

— Что будет мне сын, а вам внук — в этом я никакого сомненья не имею, потому что в моей фамилии никогда женского пола не было, да и вообще, по всему оно так видимо! Ну, и Михайлом мы его тоже назовем: пускай будет такой же достойный Михайло Семеныч, как и тезоименитый его дед!

В этот день обед был как-то особенно торжествен и оживлен. Радость прокралась в эту скромную, тесную столовую и осветила ее лучом своим. Лица расцвели и покрылись словно глянцем; груди вздымались под наплывом наполнявшего их блаженства; глаза застилались туманом счастья и неизречен-

ной веры в какое-то сладкое, светлое, полное всевозможных благ будущее.

— Батюшка! откушайте-ка пирожка! Сегодня мы и поедим и попьем! У меня, батюшка, сегодня праздникам праздник, торжество из торжеств! — говорил Семен Прокофьич,— на склоне дней моих... Анюта! друг мой! не тревожься!

— Да, брат, теперь надо вам подумать... и крепко подумать! Потому что ежели ему теперича хорошее начало положить, так это, брат, на всю жизнь пойдет!

— Я, батюшка, уж все обдумал. Анюта сначала предлагала в конную гвардию его определить, но теперь, благодарение богу, мы так общими силами порешили: отдать нашего младенца в такое заведение, где больше чинов дают!

— Это, брат, правильно, потому что без чинов тоже нельзя. Хоть и поговаривают об уничтожении, а я так полагаю, что никогда им скончанья не будет!

— И мы проживем, и дети наши, с божьею помощью, проживут, и никто чинам конца не увидит! А вы, сестрицы, как полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайлу Семеныча?

Сестрицы, в качестве сущих девиц, вместо ответа конфузливо катали из хлеба шарики.

— Они, брат, у меня штатские! в архиве воспитание получили! — шутил Рыбников.

— Ну, и слава богу! Я, батюшка, так думаю, что первее всего следует достигать, чтоб перо у *него* хорошее было и чтоб на начальство *он* правильный взгляд имел. Потому что, ежели при нынешнем стремительном направлении да еще хорошее перо... можно заранее поручиться, что он каждого начальника уловить будет в состоянии!

— Да; перо... хоть оно и гусиное...

— Я по себе, батюшка, знаю, что̀ значит «перо». Теперича, у меня начальник всего только одно слово и может говорить, да и то не для всех вразумительно, однако я это слово понимаю, а потому он мною и дорожит. Мало того: иное время он даже слово-то, которое знает, высказать тяготится, только лоб морщит, а я все-таки понимаю!

— Все равно что иероглиф!

— Иероглиф — это так точно. Только надобно к этому иероглифу ключ иметь, а как скоро его имеешь, то прочая вся приложатся. А что̀ бы я сделал, кабы пером не владел!

С этих пор воскресные беседы получили иной характер. Несмотря на то что героем являлся все один и тот же нетерпеливо ожидаемый Михайло Семеныч, в разговорах явилось какое-то неистощимое разнообразие. Старики были рады не-

сказанно и строили предположения за предположениями. Конечно, проскакивали между ними и не совсем радостные. Припоминалась, например, тяжелая, трудная молодость, припоминались характеры начальников и как трудно было ладить с ними. Но эти мгновенные тени тотчас же рассеивались перед твердой уверенностью, что Миша непременно будет скромный, работящий и в то же время талантливый малый, который легко овладеет тайнами «пера», а следовательно, сумеет поработить всякого начальника.

— С начальником, батюшка, только ладить надо уметь,— говорил Семен Прокофьич,— а как скоро его обладил, то поезжай на нем без опасности!

— Я, брат, таких начальников видал, что даже поноску носить были готовы! — подтверждал Рыбников.

— И даже с удовольствием-с. Потому что начальник — он в себе помощи не находит, ну, и обращается к подчиненному! и уж рад-рад, коли его кто выручить может!

Одним словом, ввиду ожидаемого нового человека, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желанным образом его судьбу без того, чтобы как-нибудь не потеснить других. Что Миша во что бы ни стало должен создать себе карьеру — это стояло вне всякого сомнения; а может ли он достигнуть этого иначе, как сделавшись необходимым кому-нибудь из сильных мира сего? Очевидно, не может, потому что у него нет ни блестящих связей, ни знатной родни, ни денег. Стало быть, он должен понравиться, а понравиться он может лишь в том случае, когда сильный мира настолько беспомощен, что не может без Миши ни шагу ступить. Тогда только этот сильный, но беспомощный найдется в необходимости, в отплату за избавление его от беспомощности, поделиться с своим избавителем хотя одним куском того бесконечного пирога, около которого неотступно кишат мириады закусывателей, и как ни стараются, а всё не могут окончательно доконать его. И Миша несомненно додерется до этого куска и будет, как и все прочие, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людям, которые могут только «морщить лоб», и лишать его человека, которому известны все тайны «пера»...

Под шумок этих мечтаний и предположений Анна Михайловна, с своей стороны, деятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бегали в квартиру Нагорновых, где, кроме них, появилась еще новая гостья, в лице повивальной бабки, Христины Карловны Либефрау. Женщины не выходили из спальной и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старые рубашки Семена Прокофьича и рвали их. Резуль-

татом этой суеты было то, что еще за месяц до родов в квартире начальника отделения появилась детская кроватка и везде лежали вороха всякого белья.

Наконец, в один морозный декабрьский день, предчувствия заботливых родителей насчет того, что у них непременно будет сын, а не дочь, осуществились самым буквальным и блистательным образом: в этот день Михайло Семеныч Нагорнов увидел свет.

Нет надобности рассказывать, как шло первоначальное воспитание Миши. За ним ухаживали, его мыли и пичкали все, начиная от Анны Михайловны с сестрицами и кончая Семеном Прокофьичем и стариком Рыбниковым. В доме его называли не иначе, как Михайлом Семенычем, и все до единого глядели ему в глаза, хотя Семен Прокофьич, по временам, и высказывал какую-то особенную воспитательную теорию, которая явно клонилась к ущербу Миши. Теория эта была, впрочем, не новая и заключалась в том, что всякого младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредством лозы.

— Да, это так! — говорил он тоном непреложного убеждения,— исстари уж так оно повелось, да и по себе я знаю, что человеку без розги даже человеком сделаться невозможно.

— Это ангела-то божья! Это радость-то нашу! — накидывалась на него Анна Михайловна,— так тебе и дали! да ты ошалел, в департаменте-то сидючи!

— Я не об Михайле Семеныче речь веду, а вообще, с теоретической точки зрения дела обсуждаю! Вы, женщины, серьезного разговора вести не можете, потому что с вами даже об создании мира если заговоришь, так вы и тут свои тряпки и шиньоны сумеете приплести! Об Михайле Семеныче — не знаю, а *вообще* — оно так! Даже государственные люди — и те это средство на себе испытывали!

Но Миша, как бы подозревая коварные подходы отца, рос так тихо и благонравно, что решительно не давал ни малейшего повода к применению мер строгости. Едва начал он лепетать, как обнаружил необыкновенную понятливость и ласковость. Он так трогательно повторял утром и вечером: «Спаси, господи, папеньку, маменьку, дедушку, тетенек, начальников, покровителей и всех православных христиан», и так мило при этом картавил и сюсюкал, что сердца родителей таяли от удовольствия. Четырех лет он знал наизусть «Отче наш» и «Все упование мое», аккуратно после обеда и чаю целовал ручки

у папаши и мамаши и каждое воскресенье непременно сопровождал Семена Прокофьича к обедне. Трудно было не радоваться на этого милого ребенка, когда он, совершенно готовый в путь, вбегал в кабинет отца и торопил его в церковь.

— Папа! скорее! звонят! — кричал он своим звонким детским голосом.

— Сейчас, душенька! трезвонить еще будут!

— Мне, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

С каким-то особенным чувством гордости и блаженства шел Семен Прокофьич по Малой Подьяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступал за ним своими маленькими ножками.

— Ваш-с? — спрашивали его встречавшиеся по дороге другие начальники отделений, которыми особенно изобилует эта местность.

— Сам делал! — шутил Семен Прокофьич,— вот какого пузыря вырастил!

— По гражданской части пустить намерены?

— В департамент, батюшка, в департамент! Сначала в заведение отдадим (без этого нынче нельзя), а потом и на большую дорогу поставим!

И затем, в течение целого обеда, непременно шла речь о Мише, о его необыкновенном благонравии и набожности.

— Даже затормошил меня! — повествовал Семен Прокофьич,— «часы», говорит, слушать хочу!

— А намеднись,— хвасталась Анна Михайловна,— просто даже удивил! «Мама, говорит, купи мне ризу!» Я спрашиваю: зачем тебе, душенька? — «А я, говорит, дома каждый день обедню служить буду!»

— Что ж! Это недорого стоит! — вступался старик Рыбников,— погоди, Михайло Семеныч, я тебе ужо ризу подарю, да уж и камилавку кстати состряпаем — служи себе да послуживай!

И действительно, к величайшей радости Миши, у него вскоре явились и риза, и камилавка, и вырезанное из бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, он целые дни расхаживал по комнатам, размахивая кадилом и во весь свой детский голос выкрикивая: аллилуйя!

Чем более вырастал Миша, тем благонравнее и понятливее он становился. Когда на восьмом году его усадили за грамоту, то оказалось, что он ловит азы и склады на лету. И что всего важнее, не только с быстротою усвоивает себе грамоту, но в то же время смотрит учителю в глаза и в рот. Словом сказать, и в этом случае он обнаружил такую ласковость, что даже учитель (дешевенький из кантонистов) был уязвлен ею до глу-

бины души и никогда не отзывался родителям об Мише иначе, как с волнением.

— Это такой,— восклицал он,— такой, доложу вам... ну, просто такой-с...

— Ну, и слава богу! — говорила Анна Михайловна с блаженной улыбкой.

— Нет-с, вы себе представить не можете! Это такой-с... это, можно сказать, гордость-с... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя в воскресенье отведать кулебяки с сигом.

Природа дала Мише понятливость; благонравие дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, в которой он воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, так сказать, не самостоятельная, а служившая продолжением департамента. Обстановка, в которой жило семейство Нагорновых, вовсе не говорила о том, что тут живут люди, которые бьются со дня на день и думают только о том, как бы спастись от нищеты. Напротив, здесь виделась даже известная степень изобилия и запасливости. Но за всем тем на всем лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свежий человек, без всяких посторонних внушений, понимал, что позволь себе хозяин хотя на пядь отступить от самой строгой аккуратности — и вся эта запасливость разлетится в прах. Все было пригнано и урезано так, чтобы жизнь вращалась только около необходимого, не дозволяя себе никакого уклонения в сторону, а тем менее баловства. Если на мебели можно сидеть — ну, и слава богу; если в подсвечник можно вставить свечу — вот все, что̀ требуется. Вся роскошь заключалась в чистоте и в той казенной симметрии, с которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмеблировали, засадили туда каких-то людей, не совсем арестантов, но и не совсем неарестантов, и потом закупорили со всех сторон, с тем чтобы туда никогда не проникала струя свежего воздуха. Затем постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, к которой живущие в ней так принюхались, что уже не обнаруживали ни малейшего поползновения освежиться. Эти люди отмеривали время с такою же безучастною объективностью, с какою аршинник меряет материю: вот отмерено двадцать четыре аршина, потом предстоит отмеривать еще двадцать четыре аршина, потом еще, а там гроб — и конец отмериванию. Вне стен квартиры — все было неизвестность и мрак. Внешний мир наполнен подводных камней, опасностей и обид. Попробуй-ка сунься выйти на улицу — как раз наскочишь на сорванца, который или язык тебе покажет, или архивной крысой обзовет, или просто до смерти замести-

фирует. А дома, между тем, тепло и уютно; знаешь, где какая вещь лежит, ни на что не наткнешься и уж, конечно, не поскользнешься на пространстве каких-нибудь пяти-шести сажен. Стало быть, жить следует таким образом: как можно больше прижиматься к стороне, никого не затрогивать и твердо знать, в какие часы какая обязанность предстоит, не смешивая и тем более не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть может, этот безрадостный склад жизни возбуждал когда-то в сердце смутный ропот, но с течением времени он так всосался в плоть и кровь, что сделался второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только в гости или в театр, но просто прогуляться. Они выходили из квартиры только по нужде: он — в департамент, она — на рынок, и забыли даже о возможности каких-либо других отлучек. За все последнее время Семен Прокофьич только два раза вышел прогуляться, да и тут не обошлось без неприятностей. В первый раз налетел на него какой-то сорванец, объявил себя старым знакомым, очень искусно выпытал, что у Семена Прокофьича была приятельница, какая-то Катерина Прохоровна, уверил, что она умерла, и в ту самую минуту, когда старик Нагорнов вошел во вкус, стал охать и ахать,— показал ему язык и убежал. В другой раз налетел другой сорванец, снял шляпу, перекрестился и поцеловал его прямо в орден Святыя Анны, который Семен Прокофьич очень тщательно и не без некоторого хвастовства расстилал у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убеждало сидеть дома и как можно реже переступать за порог его.

В такой атмосфере Миша невольно складывался благонравным, аккуратным, усидчивым и почтительным ребенком. С самой ранней юности слух его все чаще поражали два слова: служба и департамент. С утра до вечера он слышал разговоры о департаменте, в которых сосредоточивалось все: и сетования, и радости, и надежды, и предвидения будущего. Спрашивал ли он утром, куда папаша сбирается,— ему отвечали: в департамент. Кто в передней дожидается с портфелем? — курьер привез бумаги от директора департамента. Чему папаша радуется? — ему привезли орден из департамента. Отчего папаша встревожен? — он боится, чтоб его не обошли в департаменте наградой. Начинал ли он резвиться шумливее обыкновенного — его останавливали фразой: не шуми, не мешай папаше, у него завтра доклад в департаменте. В скрипе пера, в щелканье косточками счетов, раздававшемся по вечерам в тиши отцовского кабинета, в той торопливости, с которою подавался обед по приходе отца,— везде слышался департамент.

Даже когда Семен Прокофьич заваливался после обеда всхрапнуть на диване, и тогда невольно приходило на ум: так может храпеть только человек, намаявшийся утром в департаменте! Одним словом, было очевидно, что папаша был прикреплен к департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдет кровью, а за ним следом изойдет кровью и все то, что раз навсегда заперто в этой квартире.

Правда, что представления Миши о департаменте еще были довольно фантастичны. Он не понимал действительной департаментской организации, а скорее представлял ее себе в виде какого-то загадочного царства теней. Войдя в это царство, папаша перестает быть папашей, сохраняет только крест на шее и, окруженный Васильем Прохорычем, Авдеем Дмитричем, Алексеем Иванычем и Владимиром Николаичем (так назывались столоначальники Нагорнова), витает в пространстве, созерцая лицо директора и непрестанно славословя пред ним. Но вот пробило четыре часа — и видения исчезают. Папаша снова делается папашей, надевает пальто и вместе с прочими воплотившимися тенями, словно из темной трубы, выползает из-под арки Главного штаба. Через минуту все пространство от Малой Миллионной до Подьяческих наполняется бледными, изнуренными лицами, на которых читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!

Но как ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что в мозгу Миши уже внедрилась идея департамента. Департамент — это целое будущее; департамент — это глухой переулок, из которого можно выйти только назад по Большой Морской в Подьяческую. Департамент — это сама неизбежность, это шхера, около которой как ни лавируй, все-таки никак не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

— И благодетельная шхера-с! тут не разобьешься, а слаще, чем в наилучшей гавани отдохнешь! — объяснял Семен Прокофьич, когда кто-нибудь позволял себе выразить в его присутствии хоть какое-нибудь сомнение насчет живительных свойств департамента.

Или:

— Ты попробуй-ка сунься в другом месте поискать — ан тут оступился, в другом месте промах дал, а в третьем и вовсе оказался негодным! А в департаменте-то, как у Христа за пазушкой! дело у тебя постоянное, верное... как калач! Не только никаких выдумок от тебя не требуют, но даже если бы ты и горазд был на выдумки, так запрет тебе на них положат! Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгам да проходимцам. Так-то-с!

Благодаря такой обстановке Миша незаметно научился смотреть на родительскую квартиру как на продолжение департамента, на отца — как на ходячий осколок департамента, и даже на самого себя как на дитя департамента.

— А скоро, папаша, я в службу пойду? — часто приставал он к Семену Прокофычу.

— Вот, душенька, выучишься, а там с богом и на службу! Вместе будем лямку тянуть!

— И мундир мне, папаша, дадут?

— И мундир дадут, и крест дадут... все как у папаши! Будь только прилежен да благонравен, а начальство уж наградит!

Слушая такие речи, Миша усугублял рвение и, никогда не теряя из вида департамента, с какою-то восторженностью зубрил: «Города, стоящие на Волге, суть: Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Корчева и т. д.».

— А чем замечателен город Лаишев? — по временам испытывал его отец.

— Лаишев, уездный город Казанской губернии, стоит при реке Волге, имеет собор и рыбные ловли.

— Ну, а город Свияжск, например?

— Свияжск, уездный город Казанской губернии, стоит при слиянии реки Волги и Свияги, имеет собор и рыбные ловли.

— Ну, а город Чебоксары?

— Чебоксары, уездный город Казанской губернии, стоит на реке Волге, имеет собор и рыбные ловли.

— Да так ли, полно? что-то ты уж очень сходственно говоришь!

— Это так точно-с, Семен Прокофыч! — вступался учитель,— Михайло Семеныч наш не слукавит-с! Это такой ребенок... такой, доложу вам, ребенок-с...

И шли дни за днями, укрепляя в Мише веру в ожидающее его департаментское будущее и обогащая его ум познаниями. Наконец, Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились в его памяти. Мише минуло двенадцать лет. Это был срок, в который заранее назначено было отдать его в «заведение».

«Заведение», в которое поступил Миша Нагорнов, имело специальностью воспитывать государственных младенцев. Поступит в «заведение» партикулярный ребенок, сейчас начнут его со всех сторон обшлифовывать и обгосударствливать,— глядишь, через шесть-семь лет уж выходит настоящий, заправский государственный младенец.

Государственный младенец тем отличается от прочих людей вообще и от людей государственных в особенности, что даже в преклонных летах не может вырасти в меру человека. Вглядитесь в его жизнь и действия — и вам сразу будет ясно, что он совсем не живет и не действует, в реальном значении этих слов, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствует. Или около человека, или около теории, вообще около чего-то такого, что̀ с ним, государственным младенцем, не имеет ничего общего. В низменных слоях общества это свойство обнаруживается с особенною наглядностью. Очень часто вы встречаете малого лет сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорят:

— Федя! возьми, брат, там на столе рублевую и беги в лавку за икрой!

Или:

— Федя! слетай, брат, к Ивану Иванычу, скажи ему, что нам без него жить невозможно!

Федя берет рублевую, бежит в лавку, приносит фунт икры и без утайки двадцать копеек сдачи. И вы чувствуете, что никому из зде предстоящих подобного приказания отдать нельзя, а Феде можно. Быть может, у Феди седина в бороде пробивается, быть может, у него есть жена и дети, а его все-таки посылают в лавочку за икрой, и ему не приходит даже в голову протестовать против подобного помыкания. Почему? — а потому просто, что он не вырос и никогда не вырастет в меру человеческого роста, потому что он не живет, не поступает, а вертится и гоношит.

В высших сферах это состояние вечного младенчества выступает не так рельефно, во-первых, потому, что человек-планета, около которого вертится человек-спутник, не всегда бывает для простого глаза видим, а во-вторых, потому, что если человек-планета и видим, то он заявляет о своем присутствии в более мягких формах. Сколько спутников имели и имеют, например, такие планеты, как Меттерних, Наполеон, Бисмарк и другие? Сколько спутников имели и имеют другие, еще более таинственные планеты, как, например: неуклонное исполнение обязанностей, строгость, натиск, нелицеприятное применение правосудия и так далее? — На эти вопросы ни один мудрец даже приблизительно не ответит. Стоит начертить круг, дать ему название системы или принципа, чтобы в этом круге появились мириады вечных недорослей, которые, по первому манию, и в лавочку за икрой побегут, и подслушать не прочь, а в случае крайности даже из ружья выпалить готовы.

— Федя! подслушай!

— Опасно!

— Да ты не толкуй, а пойми, что тебе говорят: надо подслушать!

А у Феди тем временем уж и морду перекосило от усердия и натуги; он только для острастки, для вида протестовал, а на самом деле уж даже смекнул, как эту штуку устроить.

— Надо это дельце умненько сделать,— говорит он,— вот разве...

И начинает развивать целый план, один из тех планов, которые всегда как-то разом рождаются в головах недорослей, не богатых инициативой, но изобилующих всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и в то же время он сознает, что не подслушать для него никак невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вечный недоросль к взведенном курку ружья, дрожа всем телом, хватается зубами за веревочку, спускает курок... и прежде чем ружье успеет выпалить, падает в обморок. Кажется, тут есть все: и отвращение к огнестрельному оружию, и страх и даже обморок, а все-таки он спустит курок и в этот, и в другой, и в миллионный раз, потому что этого требует от него система, это предписывает человек-планета: Меттерних, Наполеон III, Бисмарк...

Миша Нагорнов с самых ранних лет обнаруживал готовность вертеться и быть вечным недорослем. Уже дома он умел смотреть старшим в рот и в глаза и знал, когда следует поцеловать в ручку и когда — в плечо. В «заведении» этим благонадежным зародышам было суждено распуститься в пышный цвет. Он не просто слушался, а слушался с удовольствием, с радостью Глаза его при этом блестели, рот улыбался, сердце билось; одним словом все его существо принимало благодарное участие в подвиге послушания. Это был даже не подвиг для него — это было требование его натуры. Он понимал надзирателя с одного слова и всегда шел дальше этого слова, то есть отгадывал сокровенную его мысль, доканчивал ее и комментировал в ущерб себе и на пользу послушанию. Несмотря на общий довольно высокий уровень благонравия в заведении, Миша даже между благонравными был благонравнейшим. Он вовсе не был смирен в банальном значении этого слова; нет, он был даже резов, но это была та милая, откровенная резвость, которая так по сердцу воспитателям и которая свидегельствует о всегда открытом сердце воспитываемого.

«Нагорнов ведет себя и учится хорошо не потому, что этого требуют уставы заведения, а потому, что ему *приятно* учиться и вести себя хорошо»,— говорили об нем начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомненную проницатель-

ность и знание человеческого сердца, не всегда начальству свойственное.

— Я, мамаша, не понимаю, как можно быть последним в классе! — на первых же порах сообщил он Анне Михайловне,— нас в классе тридцать три человека, а всегда как-то так случается, что я и по наукам, и по поведению первый!

— Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

— Я, мамаша, не то чтобы боялся чего-нибудь, а так... приятно! Вот у нас один ученик Погорелов есть, так тот тоже все уроки знает, а все-таки никогда *первым* не будет! Во-первых, он сидит на задней лавке, а у нас, мамаша, кто хочет *первым* быть, должен сидеть на передней лавке, чтоб его всегда видели... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, например, сидел на задней лавке, мог ли бы учитель видеть, что я всегда готов отвечать?

— Само собой, мой друг.

— Или вот тот же Погорелов: ведет-ведет себя хорошо — да вдруг и нагрубит!

— Ты, душенька, с мерзавцами-то не связывайся!

— Я, мамаша, ни с кем не связываюсь, у кого баллы дурные. Потому я не знаю... мне кажется, что с ними мне не об чем говорить!

И действительно, ему не об чем было говорить с теми непослушными, вечно глядящими в лес детьми, экземпляры которых, несмотря на обшлифование, все-таки нередки в заведениях. Не то чтобы он преднамеренно обегал их, но природе его был положительно противен протест, которого они были вместилищем. «Послушание» нашло в нем себе полнейшее осуществление. Он был резв без угловатости, смирен без уныния, и притом резв и смирен именно тогда, когда это как раз сходилось с уставами заведения. Он вовсе не был произведением дрессировки, насильственным образом заставляющей пригибаться под гнетом известных требований; он представлял собой непосредственное олицетворение самого устава. Он инстинктом угадывал, когда следует быть резвым и когда следует быть смирным. В часы резвости он был даже резвее и шумливее других, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень приятно. Что́ означает резвость ребенка? — она означает, что ребенок доволен собою, своими воспитателями, «заведением», всею обстановкой. Она означает, что в ребенке играет благодарное сердце, что он с спокойной совестью обращается к своему невинному вчерашнему дню и с светлым доверием взирает на свой невинный завтрашний день. Такая подкладка резвости восхитительна даже в том случае, если она выражается несколько шумно. Миша знал это и потому в назначенные

для резвости часы бегал рысью, скакал галопом, кувыркался, оглашал рекреационную залу криком, и при этом никогда не приходило ему в голову скрыться из района гувернерского наблюдения. С своей стороны, и воспитатели любовались его резвостью, ибо видели, что дитя не повесничает, а резвится, и резвится — потому что оно довольно и исполнено доверия.

— Nagornoff, mon ami! vous êtes tout en nage! allons, reposons-nous, mon enfant! [1] — говорил ему мсьё Петанлер, и говорил таким голосом, в котором явственно звучала нота бесконечного благожелательства к милому ребенку.

Нагорнов хватал эту ноту на лету и, прекратив кувырканье, садился невдалеке от мсьё Петанлера и делался смирным. Но не принужденье виделось в его глазах, а удовольствие, внушаемое сознанием, что его усадили именно в ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что следует сесть. Пройдет десять минут, он простынет, и мсьё Петанлер, конечно, скажет ему:

— Allons, mon ami! amuser-vous donc! Que diable! à votre âge il ne faut pas rester toujours sérieux! [2]

И Миша опять начнет играть в веревочку, прыгать, скакать — и все от души.

Так шло «поведение» этого мальчика; так же шли и «науки». Он понимал, когда следует учиться и когда следует слушать. В часы репетиции он весь уходил в учебник, зажимал себе уши, мерно качался всем корпусом и, изредка выпрямляясь, с каким-то гордо-довольным видом произносил фразу из учебника, вроде: «раздался звук вечевого колокола — и дрогнули сердца новгородцев», или: «les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberté» [3].

— Филимонов! — обращался он к своему товарищу по лавке,— почему Карамзин сказал: «*раздался* звук вечевого колокола» и «*дрогнули* сердца новгородцев», а не «звук вечевого колокола *раздался*» и «сердца новгородцев *дрогнули*»?

— А почем я знаю! я у него в голове не был!

— Чудак! потому что так сильнее! «Раздался!», «Дрогнули» — тут натиск есть. Надо, чтобы именно эти, а не другие слова сразу поразили читателя!

И затем он опять весь уходил в учебник, зажимал себе уши и мерно покачивался всем корпусом.

Но во время классов тетрадки и книги всегда лежали перед ним закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты

---

[1] Нагорнов, мой друг, вы весь в поту! пойдем отдохнем, дитя мое!

[2] Порезвитесь же, друг мой! В вашем возрасте не следует быть всегда серьезным!

[3] Новгородцы такали, такали и лишились свободы.

магии на ничем не покрытом столе, он, казалось, говорил учителю: смотри! я беспомощен! ни под лавкой, ни на лавке у меня ничего нет, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понимал это и как бы магнитом влекся к Нагорнову.

Вызывает, например, русский учитель:

— Господин Осликов! «Осел и Соловей» — какая это часть речи?

— Глагол-с.

Миша Нагорнов мгновенно весь просветляется и ест учителя глазами.

— Извольте спрягать!

— Я осел и соловей, ты осел и соловей, он...

Осликов умолкает, замечая, что учитель подставил ему ножку. Нагорнов просветляется больше и больше.

— Господин Нагорнов! объясните господину Осликову, какая часть речи «Осел и Соловей»?

— «Осел и Соловей» — это заглавие одной из самых нравоучительных басен дедушки Крылова. Это не часть речи, а соединение трех слов, из которых два: «осел», «соловей» — суть имена существительные, а третье «и» — союз.

— Садитесь, господин Нагорнов, а вы, господин Осликов...

И так далее.

Одним словом, между воспитателями и учителями, с одной стороны, и Нагорновым — с другой, образовалась непрерывная симпатия, и что́ всего важнее, образовалась совершенно естественно. Но за всем тем, Миша не подольщался и не шиионствовал,— качества, которые особенно не нравятся товарищам. Он и в этом смысле мог бы считаться образцом, потому что угадывал сущность устава не только по отношению к начальству, но и по отношению к товариществу. Он сразу поставил себя таким образом, что никто ни в чем не мог его обвинить. Всякий видел, что Миша чист, как хрусталь, что он не предумышленно хорошо ведет себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не может. Часто он даже помогал ленивым и тупым,— объясняя перед классом урок, переводя заданный отрывок из «De viris illustribus» [1], решая математические задачи и проч., но ни подсказывать, ни иным образом фальшивить не соглашался ни за что. Он даже лавку выбрал такую, на которой сидели юноши разумные, не нуждавшиеся в подсказыванье, и был бесконечно счастлив, что может без помехи всецело предаваться почтительному и радостному усле-живанию за выражением глаз и рта учителя.

— Подлец ты, Нагорнов! — брякнет от времени до времени

---

[1] «О знаменитых мужах»

Осликов, в устах которого слово «подлец» не имело, впрочем, никакого сознательно ругательного значения,— «Солитер» (так звали в «заведении» учителя русской грамматики по причине неимоверно длинного его роста) капкан в некотором роде человеку ставит, а тебе и горя мало. Еще радуется, выскакивает!

— Послушай, душа моя! — ответит Нагорнов,— не могу же я, наконец! Чем же я виноват, что Амплий Васильевич ко мне обращается?

И Осликов удовлетворяется этим объяснением, ибо, в сущности, сам сознает, что Нагорнову нельзя иначе и что, с другой стороны, и «Солитеру» тоже ничего иного не остается, как обратиться за разрешением вопроса не к кому другому, а к Нагорнову, у которого от природы все разрешения на лице написаны.

Когда в заведении происходили так называемые «истории», никто из товарищей никогда не мог наверное определить, участвовал ли в них Нагорнов или уклонился от участия. Скорее всего, что в такие торжественные минуты об нем совсем переставали думать. Как-то само собой разумелось, что Нагорнову тут быть не для чего, что это совсем не его дело. Тем не менее, приготовляясь к «истории», от него не скрывались и свободно развивали перед ним проекты классных возмущений, не опасаясь, что он сошпионит. И действительно, он не только не шпионил, но, заодно с другими, выносил на себе последствия «историй».

— Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez dons sincère, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passé! [1] — уговаривал его мсьё Петанлер, залучив куда-нибудь в уединенную комнату.

— Pardonnez-moi, monsieur, j'ai été coupable comme les autres! [2] — отвечал Миша, то краснея, то бледнея под гнетом насилия, которое он должен был сделать над собой, чтобы наклеветать самому на себя.

— Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a déjà gâté la carrière de maint jeune homme! [3]

---

[1] Ну-с, Нагорнов, мой друг! мы превосходно знаем, что вы не принимали участия в этой нехорошей истории! Будьте же искренним, дитя мое! Расскажите нам, как это произошло!

[2] Извините, мсьё, я виновен, как и другие!

[3] Вы лжете, мой друг, вы, который никогда не лжет! Берегитесь, дорогое дитя! Не вступайте на этот гибельный путь, который испортил карьеру многих молодых людей!

— Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas![1]

Нагорнова отпускали, но он явственно слышал, как мсьё Петанлер, хотя и ничего от него не добившись, все-таки вслед ему говорил: va, généreux jeune homme![2]

Таким образом, даже самые «преступления» не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, в понятиях начальства, оттенок чего-то рыцарского.

— Так как я не могу верить, чтобы воспитанник Нагорнов участвовал в вашей недостойной шалости, то, лишая весь класс отпуска в следующее воскресенье, я для господина Нагорнова делаю исключение! — сказал однажды инспектор, после одной из подобных историй.

Но Нагорнов твердою стопой вышел из рядов и решительно произнес:

— Позвольте и мне разделить участь моих товарищей!

Инспектор ласково взглянул на него, потрепал по щеке и, прошептав: «Toujours le même! toujours bon et généreux!»[3] — проследовал в свои апартаменты.

Просьба *первого* ученика была удовлетворена, и он разделил участь своих товарищей.

Анну Михайловну такие истории всегда приводили в волнение. Во-первых, они лишали ее случая видеть Мишу в воскресенье дома, и во-вторых, она, как женщина, постоянно трепетала, как бы Миша как-нибудь в солдаты не угодил.

— Какие-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварят,— жаловалась она,— а наш терпи! Их домой не пускают — и нашего не пускают! их в солдаты — и нашего в солдаты!

Но защитником Миши в этих случаях являлся сам Семен Прокофыч.

— Что касается до солдатов, то ты это чересчур хватила,— говорил он,— а относительно товарищества вот что̀ скажу: товарищей тоже выдавать не следует. Почем знать, кто чем в будущем сделается? Может, прохвостом, а может, и с неба звезды хватать станет! Ты его теперь выдашь, а он в свое время тебе припомнит: а помнишь ли, скажет, любезный друг, как я перед учителем дубина дубиной стоял, а ты в ту пору надо мной фривольничал? Так-то вот.

— Все же таки...

— И все-таки ничего. Без ума головорезничать наш Михайло Семеныч не станет — не таков он у нас,— а держаться около товарищей полезно и нужно,— это я всегда скажу. Нынче

---

[1] Уверяю вас, мсьё, что я не лгу!
[2] иди, благородный молодой человек!
[3] Все такой же! все такой же добрый и благородный!

такое время, что не знаешь, с кем говоришь и к кому завтра под начало попадешь. Уж я на что старик — и то берегусь. Сегодня *он* по тротуару гремит, а завтра *он* начальником над тобой будет. Ты *ему* сегодня, покуда он по тротуару гремит, сгрубил, а завтра *он* тебя в бараний рог согнет... Вот тут и угадывай!

Соображения эти несколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успевали отобедать, как она уже летела в «заведение», завернув в салфетку пирог с сигом, до которого в эти дни, разумеется, никто не дотрогивался. И умиление ее возрастало до крайних пределов, когда сам Петанлер, узнав о ее приезде, подходил к ней и говорил:

— Ваш сын, сударыня,— это утешение родителей, слава заведения и гордость товарищей!

Судебная реформа произвела в «заведении» необыкновенное, почти отуманивающее действие, особливо с той минуты, когда на деле последовало открытие новых судов, и ученики увидели их лицом к лицу. Витии гремели, присяжные заседатели глядели беспомощно и метались словно в предсмертной агонии; судьи старались казаться бесстрастными. В публике ходили слухи о каких-то баснословных кушах, о каких-то компаниях, составляющихся с целью наиноспешнейшего ободрания клиентов. Говорили, что из Москвы нарочно приезжал какой-то грек и предлагал разостлать по всей России такую паутину, чтобы ни один клиент не мог миновать ее, а раз попавшись, не мог бы из нее выпутаться.

— Позвольте, однако ж,— спорили в публике,— ежели всех клиентов сразу умертвить,— что ж останется в будущем?! Ведь это значит подрывать будущее!

— Какое там еще будущее! — отвечали спорщикам,— во-первых, клиент бессмертен: сегодня умерщвлен один, завтра народится другой; во-вторых, ежели переведется клиент, разве нельзя фабрикацией гороховой колбасы заняться или по железнодорожной части куски рвать? Тут, батюшка, каждая минута дорога!

Повествовали, что такой-то взял с клиента тридцать процентов, такой-то уготовал себе место председателя конкурса с фельдмаршальским жалованьем, так что все доходы с имения несостоятельного должника должны будут пойти на удовлетворение расходов по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что «людей не было»; адвокатские ряды пополнялись тоже медленно, тоже

потому, что «людей не было». До тех пор были только звери, а теперь понадобились *люди*. Но для *людей,* если таковые находились, ворота были отворены настежь; будь только *человеком* — и можешь быть обнадежен,

Что под каждым здесь листом
Ты найдешь и стол и дом

Карьера! Это слово спирало в зобу дыхание. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для некоторых, «особливою знатностью отличающихся людей». Худородный человек должен был употребить неимоверные усилия, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съесть грязи! сколько перецеловать плечиков! сколько поста-вить банок к пояснице, наболевшей и словно помертвевшей под гнетом ожиданий в приемных, передних и канцеляриях! Алчущий пирога, предварительно допущения к нему, должен был проглотить шпагу, съесть раскаленный железный орех, запить стаканом дегтя и т. д. Теперь — пирог стоял ничем не защищенный, при открытых дверях, и всех приглашал насладиться. «Вси приидите! вси насладитесь! Всякий да яст!» И тот, кто пришел в шестом часу, и тот, кто пришел в девятом часу! Лишь бы был *человек!* Жри!

Человек! Но где же клеймо, с помощью которого можно было бы отличить человека от тысячеглавого змия? На первых порах многие затруднялись этим вопросом и вследствие того робели рекомендоваться в качестве *людей.* Но вскоре одумались и начали действовать вольным духом. В самом деле, кто же тот юродивый простец, который, облизываясь на пирог, скажет о себе: хотелось бы мне отведать сего пирога, но, к сожалению, я *не человек!* Не правильнее ли предположить, что даже тот, кто воистину *не человек,* скорее скроет это печальное обстоятельство, нежели публично поведает об нем, добровольно воздерживаясь от пирога? В древние времена юродивым было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили с лампадами: погаснет лампада, наводняет — значит, нет тебе царства небесного. Нынче и тут облегчение: юродивый без лампады ходит и, следовательно, имеет возможность напакостить с гору, прежде нежели наполнит вселенную зловонием...

Таким образом, *люди* нашлись...

И что за карьера предстояла им! С одной стороны — лестная обязанность защищать общество от поползновений преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснейшим содержанием и надеждами на блестящее будущее, в случае

оправдания начальственного доверия. С другой — лестная обязанность ограждать невинного, защищать попранное право собственности,— обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пением, танцами, увеселительными прогулками с Деверией, Шнейдершей, а, пожалуй, хоть и с целым персоналом любого кафешантана...

— Ты что получил за такое-то дело?

— Да что! всего пять тысяч! не стоило руки марать!

— А я через год думаю лавочку закрыть! Наработаю тысяч двести — триста — и на боковую!

Такого рода разговоры слышались везде, да других (по крайней мере, в течение первого, горячего времени) и не было... Рестораны переполнены; шампанское льется рекой; облитые потом татары бегают, не слыша под собою ног; ассигнации мелькают в воздухе, как мухи в жаркий летний день... Кто сии ликующие, стремящиеся затмить своим ликованием ликование железнодорожных деятелей? Это они, это вчерашние рыбари, это сегодняшние ловкачи-ташкентцы, отведывающие отечественного пирога!

Специалисты по части убийств, специалисты по части личных оскорблений и купеческих самодурств, специалисты по части скопчества, специалисты по части бракоразводных дел — все посыпалось словно из рога изобилия. Пальты, сапоги, саквояжи, ситцы, люстрины... пожалуйте, господин! к нам пожалуйте!

Жрать!!!

Рубль, выглядывающий из кармана ближнего-простеца, мешает спать. «Зачем тебе, простофиля, рубль? зачем ты зажал его в руке? — разожми! Я возьму этот рубль, зажгу его на свечке и закурю им сигару!»

Дальше рубля взор ничего не видит. Ни общего смысла жизни, ни смысла общечеловеческих поступков, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось в одном слове: жрать!

Естественно, что этот неистовый клич, немолчно раздававшийся по стогнам города, не мог не взволновать воображения птенцов «заведения». В этом кличе открывалась своего рода система, новый круг, в котором им суждено было вертеться, и они ринулись туда с головой. Птенец, у которого вчера другой мысли не было, кроме: «раздался звук вечевого колокола», сегодня, пользуясь праздничным днем, уже намечает на Невском чистокровный рыжий экземпляр, и не без уверенности говорит себе: «моя!» Слыша, что происходит в мире больших, каждый птенец сознаёт себя *человеком,* ибо каждый понимает, что в нем имеется достаточный запас юркости и способности, чтобы вмес-

те с другими кричать: лови! не задерживай талии! следующий! следующий!

Но если «птенцы» были взбудоражены, то родители, в свою очередь, от полноты чувств могли только произносить: ах! Они смотрели на своих подростков, представляли себе, что̀ ждет их в будущем, и говорили: ах! Они шли по Невскому, встречались с камелией, и их осеняла мысль, что, может быть, через год эта самая камелия (увы! нынче родители уже и об этих детских удобствах пекутся!)... ах! Проходя мимо Елисеева, Дюссо, Бореля, они восклицали: ах! Даже на художественную выставку смотрели какими-то плотоядными, завидущими глазами... Только бы поскорее, только бы курс кончить, а что все эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будут *в наших* руках — в этом нет сомнения! За это ручается врожденная юркость «птенцов», их способность кричать всегда и при всяком случае: лови! не задерживай!

Подобно другим, Миша Нагорнов ходит как отуманенный. Он ропщет на бога и на людей за то, что ему еще два года предстоит маяться в «заведении». Он чувствует себя уже готовым, то есть настолько же юрким, как X. или Z., давно уже приобревшие себе титул «ловкачей». Он даже пробовал однажды свои силы: переоделся в штатское платье и под именем «аблаката» Иванова явился в камеру мирового судьи защищать дело «о излишне затребованном за котлету четвертаке».

— И защитил! — говорил он, весь пылая, собравшимся вокруг него товарищам,— ах, господа! вы представить себе не можете, какое это чувство!

В «заведении», вместо баров, игры в веревочку и пятнашки, завелась игра в суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты. Присяжные заседатели избирались из учеников младшего класса на том основании, что они, как дети, должны были сохранить совесть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно ленивейший из учеников, Осликов, на том основании, что ему, как неспособному и притом сыну очень бедных родителей, не предстоит в будущем никакой блестящей карьеры, а следовательно, и готовиться не к чему, кроме скамьи обвиняемых. Обвиняли его в самых разнообразных преступлениях, так что если б сложить их все вместе и показать ему эту массу злодейств в яркой картине, то даже он, несмотря на свою непонятливость, понял бы и пришел бы в ужас от неключимости содеянного им.

Едва пробил звонок, возвещающий рекреацию, как уже ученики бегут в зал и торопливо садятся по местам. Слышится сдержанный говор; Осликов уже засел на скамью подсудимых и окидывает товарищей безучастным взглядом; защитник Тон-

качев вбегает запыхавшись, как будто сейчас только перехватил в буфетной, и наскоро перелистовывает бумаги. Он изредка обращается к Осликову и шепчет ему, настолько, однако ж, громко, что передние ряды публики слышат: смотри же, болван, показывай, как я учил. Я тут за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй, сдуру брякнешь!.. По другую сторону залы сидит обвинитель Нагорнов, которого открытая физиономия блещет сладкою уверенностью, что вот-вот сейчас этого самого Осликова он без масла проглотит. Суд намеренно мешкает. Присяжные заседатели вздыхают и рассуждают о том, нельзя ли как-нибудь отпроситься. Наконец влетает судебный пристав (тоже из ленивых) и возглашает: суд идет! Все встают и молча ожидают, покуда судьи усядутся.

Некоторое время судьи шепчутся. Они понимают, что судьям необходимо совещаться, хотя бы они сейчас только вышли из совещательной комнаты. Судья потому и судья, что он никогда не может всего предвидеть, и потому всегда должен совещаться. Наконец шептанье оканчивается; председатель, ученик старшего класса Кнабенвурст, вынимает бумажки с именами присяжных. Он делает это так опрятно, как будто показывает фокусы. «Смотрите, господа! — так, кажется, и говорит он,— вот полтинник, но вы можете быть уверены, что, покуда он находится в этих руках, он никогда не превратится ни в полуимпериал, ни даже в целковый!» Присяжные заседатели выбраны и начинают отлынивать.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу в мелочной лавочке — кто же геперича за меня сидеть будет! — отговаривается один.

— Я даже не понимаю, каким образом позволили себе привлечь меня... я в государственной службе состою! — удивляется другой.

— Я и по домашности-то моей даже самого простого обстоятельства рассудить не могу! — оправдывается третий.

Суд шепчется и оставляет все отговорки без последствий. Заседатели вздыхают и, понурив головы, садятся на лавке вблизи прокурора. Один из них немедленно пригворяется спящим.

На сей раз Осликов является в роли отставного солдата Дорофеева и обвиняется в краже со взломом. Но он ни в чем не сознается.

— Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человек слабый, пьяный! — говорит он.

— Расскажите же нам, как все это было! — настаивает тем не менее председатель.

Защитник Тонкачев вскакивает как ужаленный.

— Ввиду такоїй-то статьи такого-то тома и такой-то статьи таких-то правил, запрещающих домогаться от обвиняемого признания,— говорит он,— я требую, чтобы мое заявление было записано в протокол.

Суд снова шепчется.

— Ввиду сейчас приведенных защитником законов,— говорит наконец председатель,— подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитник! настаиваете ли вы на том, чтобы ваше заявление было записано в протокол?

Защитник расшаркивается и говорит, что данным подсудимому правом не сознаваться он удовлетворен даже превыше своих желаний. Он видит теперь, что перед ним действительно суд скорый, милостивый и правый...

— Приступим же к выслушанию свидетелей.

Показания свидетелей отличаются сбивчивостью и неопределенностью. Потерпевшая сторона, содержатель ночлежной, Савелий Потапов, не может утвердительно сказать, точно ли найденный у Дорофеева грош принадлежал ему, Потапову.

— Мой будто зубом покусан был, а этот новый,— говорит он.

Прокурор вскакивает и пронизывает Потапова взором.

— Так вы точно помните, что у вас накануне грош был?

— Да, это точно... был! Был грош — это верно.

— Этого для меня достаточно-с!

Прокурор что-то отмечает карандашом на бумаге; защитник, в свою очередь, нечто записывает.

Другой свидетель показывает:

— Это точно, что он возле меня на нарах лежал...

— Так вы точно помните, что он лежал? Это не показалось вам? вы подтверждаете это и теперь? — допекает прокурор.

— Лежал — это верно! Рядом легли — рядом и встали!

— Этого для меня совершенно достаточно!

— Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...— встает с своего места защитник, но председатель прерывает его, говоря, что он в свое время может сказать все, что находит нужным в защиту подсудимого.

— Я прошу занести в протокол мое заявление, что защита не свободна! — настаивает Тонкачев.

Председатель шепчется и объявляет, что защита может, если желает, сделать нужное, по ее мнению, замечание.

Тонкачев встает, расшаркивается и заявляет, что он отлагает замечание до произнесения защитительной речи. Тем не менее он считает своим долгом с гордостью заявить, что видит перед собой суд скорый, милостивый и правый, который навер-

ное отнесется к его несчастному клиенту с тою же гуманностью, с какою относился и к его собственным заявлениям...

Наконец перекрестный допрос кончился. Слово за прокурором. Миша Нагорнов несколько бледен, но глаза его так и пронизывают. Голос его сначала дрожит, но потом постепенно делается тверже и тверже, и под конец начинает словно отчеканивать.

«Господа судьи! господа присяжные заседатели! — говорит он.— Пятнадцатого июня, на Сенной площади, совершилось преступление, не яркое по своему внешнему выражению, но яркое по своей сущности; преступление, доказывающее с очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы в нашем обществе понятия о праве собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вам, как необходимо, чтобы в обществе существовали твердые понятия о собственности; вы сами принадлежите к почетному сословию собственников и лучше меня можете понять, какие важные последствия сопряжены для общества и для вас с сохранением этой твердыни, на которой зиждется благополучие государств и народов. Криминалисты на счет этот единогласны: общество, не признающее собственности,— говорят они,— подобно стаду диких зверей, из которых каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вам встать на ту высоту, на которой следует стоять при обсуждении предстоящего нам дела Итак, в июне 18** года, на Сенной площади, здесь в Санкт-Петербурге, так сказать, в центре промышленного движения, почти под глазами полицейского надзора, совершено дерзкое преступление. В ночь этого числа, в одну из ночлежных квартир, которыми изобилует эта мрачная местность, пришел ночевать отставной солдат Дорофеев, а на другой день утром, когда хозяин квартиры, Савелий Потапов, проснулся и, по своему обыкновению, пошел в сундук, то сундук этот оказался роспертым, замок у сундука сломанным, пробой сорванным. При этом считаю долгом обратить ваше внимание, господа присяжные, на следующее обстоятельство, к которому я впоследствии обращусь. Обстоятельство это заключается в том, что до того времени Дорофеев почти каждый день посещал ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился с хозяином и до пятнадцатого числа ночевать к нему не ходил.

Такова, милостивые государи, фабула преступления. Спустимся же с факелом правосудия в дебри преступления и постараемся осветить их. Но прежде чем идти далее, я должен объяснить вам, господа присяжные, значение так называемых косвенных улик.

Что такое косвенная улика? Это такой признак престу-

пления, который хотя сам по себе не имеет никакого значения, но, будучи сопоставлен с другими, тоже не имеющими собственного значения, признаками, будучи рассматриваем, так сказать, в связи с целым рядом такого же рода признаков, составляет совершеннейшее доказательство. Предположим, например, что в городе совершено убийство. Убит Z., которого видели, как он вчера в таком-то часу вечера выходил из кабака вместе с X., и о котором с тех пор никто ничего не слыхал. Вот это-то обстоятельство, что X. вышел из кабака вместе с Z., и есть первое звено в цепи косвенных улик, которыми впоследствии поражен будет X. Взятое отдельно, оно, конечно, ничего не значит. X. мог выйти вместе с Z. из дверей кабака, но, пройдя по улице несколько шагов, они могли разойтись в разные стороны — совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тут начинается ряд последующих улик. Во-первых, у X. найдена на руке царапина. И эта улика, конечно, сама по себе недостаточна, ибо X. мог оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и так далее. Но вот является вторая улика: на ногах у X. найдены сапоги убитого, которые были на последнем в то время, когда его видели в кабаке; это уже значительная прибавка к сумме улик, хотя сама по себе и она все-таки ничего не значит. Мало ли каким образом мог приобрести X. сапоги Z.? Он мог купить их, мог поменяться с ним, мог, наконец, выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здесь на помощь является третья улика: X. не может объяснить употребление своего времени между моментом выхода вместе с Z. из кабака и моментом, когда Z. найден мертвым на улице. Вы скажете, что и этот факт не имеет решительного значения; вы скажете, что X., под влиянием винных паров, мог забыть, где он был, что он мог забыть это по рассеянности, что он, может быть, провел это время в предосудительном месте и ему не хочется в том сознаться? Я первый со всем этим согласен, господа присяжные, но потому-то и убеждаю вас: обращайте внимание не на каждую косвенную улику в отдельности, а на их совокупность. Совокупность — это уже не отдельная какая-нибудь улика, но целая, так сказать, совокупность, или, другими словами, ряд улик, взаимно друг друга проверяющих и подтверждающих!

Совокупность — это единственное орудие, которое имеет правосудие для борьбы с злом! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершает свои деяния в темноте ночи; оно окутывает их мраком, составляет для них искусственную обстановку, обманывает, заметает следы! Но здесь-то именно и настигает его недремлющее око правосудия! Ежели ты *там* не был, то где же ты был? ежели ты не помнишь, где был, то

почему у тебя на руке царапина? Каким образом очутились на твоих ногах чужие сапоги? И так далее, и так далее — покуда, наконец, из всех этих мелких и, по-видимому, ничтожных признаков не образуется *совершеннейшее* доказательство!

Вот этою-то «совокупностью улик» и намерен воспользоваться я относительно лица, сидящего пред вами на скамье обвиненных.

Первая косвенная улика — это самый сундук, который был вам предъявлен. Он носит на себе все признаки взлома, и, конечно, сам подсудимый не будет столь смел, чтоб утверждать, что он в таком виде вышел из рук творца.

Взлом существует — это факт!!

Но взлом сделан не просто для взлома, а с преступною целью воспользоваться чужою собственностью — это тоже факт!! Еще вечером пятнадцатого июня 18** года Потапов считал себя обладателем двоих старых пестрядинных портов, одной почти новой рубашки и монеты, называемой в простонародье семишником. Утром, шестнадцатого числа, этих вещей у него не стало. Они исчезли, испарились, улетучились — все, что угодно, но только исчезли со взломом, с помощью сломанного висячего замка и сорванного пробоя! Это вторая косвенная улика!

Зачем Дорофеев пришел к Потапову? Защита, быть может, скажет, что таково было обыкновение Дорофеева, что квартира Потапова была ночлежным домом, в котором каждую ночь ночевало множество лиц! Но, во-первых, господа присяжные, к словам защиты вообще следует относиться с некоторым недоверием. Защита *заинтересована* в оправдании своего клиента *(сильное движение со стороны Тонкачева (ого!)*; *председатель с беспокойством смотрит на Мишу, но последний, не смущаясь, продолжает);* скажу более: от этого оправдания зависит самое материальное обеспечение защиты *(Тонкачев вскакивает)*... Но прекратим, однако же, этот разговор, который — я сознаю — не всем может здесь нравиться... Итак, продолжаю. Во-вторых, говорю я, почему же Дорофеев пришел ночевать к Потапову именно в ту самую ночь, когда у последнего совершена кража... кража со взломом, господа присяжные! Или тут есть игра природы? или чудесное какое-нибудь стечение обстоятельств? Мы охотно согласились бы с этим предположением, если бы не жили в просвещенном девятнадцатом веке, когда вера в чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тут нет ни игры природы, ни чуда, а просто-напросто есть третья косвенная улика!

Чтоб доказать, что тут нет никакого чуда, нам не нужно даже ссылаться на просвещенное время, среди которого мы

живем. Мы так легко, самыми обыкновенными средствами, можем распутать эту кажущуюся случайность, что она даже в ваших глазах, господа присяжные, утратит всякое право претендовать на название случайности. И действительно, следствие с полною ясностью раскрывает нам, что перед этим Дорофеев кряду пять дней не ночевал у Потапова, а имел приют у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему так? — на этот вопрос следствие отвечает прямо: Дорофеев был во вражде с Потаповым, и именно поссорился с ним за пять дней перед кражею, и именно из-за той почти новой рубахи, которая, как я сказал выше, вместе с прочим имуществом исчезла в ночи пятнадцатого июня 18** года. За пять дней перед тем Дорофеев просил Потапова продать ему означенную выше рубашку; Потапов соглашался, но просил пятьдесят копеек; Дорофеев давал только сорок. Торг не состоялся, но злоба запала глубоко в сердце Дорофеева. Он уже тогда не мог сдержать ее, и при посторонних людях сказал Потапову: погоди ж ты! Во сколько же раз должна была возрасти эта злоба в течение последующих пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Дорофеев человек неразвитый, человек нрава грубого, человек, которого ежеминутно должна была точить мысль об этой почти новой рубашке, на которую он, по-видимому, давно уже смотрел завистливыми глазами! В виду этого соображения, ссора Дорофеева с Потаповым является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломом, но и уликой *преднамеренного* ее совершения!

Но идем дальше. Свидетель Онуфриев утверждает, что сам слышал, как Дорофеев чиркал спичкою, чтоб добыть огня, а свидетель Прохоров прямо показал, что, лежа подле Дорофеева, он очень отчетливо слышал, как последний ворочался с боку на бок. Свидетельства подавляющие! Тем не менее Дорофеев возражает против них и, смею так выразиться, с невозмутимою наглостью утверждает, что он добывал себе огня и ворочался на нарах, потому что хотел идти за естественной надобностью! Позволяю себе, однако ж, думать, господа присяжные, что вы оцените это объяснение, как оно того заслуживает. Как! и здесь является эта всегдашняя бесчестная уловка людей, промышляющих темным и опасным ремеслом незаконного стяжания! И вы поверите ей! Вещь неслыханная («chose inouïe»)! Этих людей как-то всегда обуревают естественные надобности именно в те минуты, когда им предстоит привести в исполнение их темные глубоко обдуманные замыслы! Естественная надобность! что̀ может быть законнее этой причины!! Но, спрашиваю я вас, разве Дорофеев был в первый раз в этом доме, чтоб не иметь полной возможности удовлетворить своей надоб-

ности без помощи огня? Разве он не знает всех входов и выходов? не знает, как расположена всякая нара, как нужно пройти, чтоб достигнуть желаемого? Нет, он знает все это; он не знает определительно только одного: где стоит хозяйский сундук, тот сундук, который ему предстоит взломать. И вот, пользуясь темнотою ночи, уверенный, что ночлежники, после тяжкого трудового дня, заснули сном, который позволяю себе назвать непробудным, он зажигает спичку и идет. Куда идет? что хочет совершить? — он не сказывает нам об этом. Но мы... мы уже угадываем его преступные намерения! Мы следили шаг за шагом за его действиями, и позволяем себе думать, что у нас прибавилась еще пятая косвенная улика, и притом такая, которая, кроме кражи со взломом, свидетельствует еще и о нераскаянности обвиняемого.

Наконец, и еще улика — шестая: у Дорофеева на другой день, утром, при обыске, найден был за голенищем сапога семишник. Конечно, Дорофеев утверждает, что эти две копейки составляют его собственность,— но где ж доказательства справедливости этого показания? Кто видел, что у Дорофеева вечером пятнадцатого числа 18** года были эти две копейки? И почему у него оказалось именно две, а не три, не пять, не десять, не двадцать копеек? Опять игра случая! Странная это игра, господа присяжные! выгодная для подсудимого, но которую, благодаря вашему просвещенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что сам Потапов показывает, что бывший у него семишник *будто бы* покусан зубом, между тем как монета, найденная у Дорофеева, имеет вид совершенно новый. Но можно ли верить Потапову, потерпевшему от преступления? Почему не предположить, что им овладело сострадание к своему старинному квартиранту? что он, давая сбивчивые показания, действовал под влиянием угроз, внушений, мольбы? Но вас, господа присяжные, подобные колебания в показаниях потерпевшей стороны не должны останавливать; или лучше сказать, на вас они должны иметь силу совершенно в обратном смысле. Вы должны сказать себе: эти колебания не больше, как колебания; а за ними стоит неоспоримая, неопровержимая и со всех сторон непререкаемая истина, которую я позволяю себе формулировать следующим образом: вчера пропало две копейки, сегодня — найдено тоже две копейки. Ни больше, ни меньше.

Вы спросите, может быть: где же другие вещественные доказательства, исчезнувшие из сундука вместе с семишником? где двое старых пестрядинных портов? где почти новая рубашка? где носовой платок, о котором, по незаявлению претензии со стороны потерпевшего лица, обвинение может толь-

ко догадываться? На это я могу отвечать одно: не знаю. Но в то же время позволяю себе предложить следующую догадку. Ежели означенного имущества не оказалось у Дорофеева, то не значит ли это, что он его спрятал? Отсутствие вещественных доказательств разве всегда равносильно несуществованию их? Нет, в большей части случаев, тут не только нет тождества, но есть даже доказательство совершенно противного. Поймите меня, господа присяжные! Когда человек боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, как спрятать ее,— это аксиома. Следовательно, ежели мы не находим искомого, даже после самого тщательного обыска, произведенного у преступника, то это еще не значит, что искомого у него нет, а означает только, что он имел основания *тщательно* от нас его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убеждение.

Я кончил, господа присяжные. Вы знаете изречение: да будет суд правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись к предстоящему вам подвигу. Пусть будет ваш суд правым и *милостивым,* но в то же время, пусть будет он милостивым и *правым.* Пусть над преступником простреется ваше милосердие, но в то же время пусть кара, достойная преступления, настигнет его! Тогда, и только тогда вы будете на высоте вашего призвания, и докажете враждебным элементам, неустанно подтачивающим священнейшие основы общества, что милосердное око правосудия не дремлет. Оно не дремлет, милостивые государи, хотя оно *око,* а не *глаза!* Единственное око — но и тому вы не дадите сомкнуть вежды! Какое величественное зрелище, милостивые государи!»

В зале проносится смутный говор: речь обвинителя произвела эффект. Нагорнов, красный и запыхавшийся, опускается на стул. Однако, несмотря на изнеможение, он еще находит в себе достаточно силы, чтоб послать через зал вызывающий взгляд Тонкачеву. В публике слышится вопрос: вывернется или провалится Тонкачев?

Тонкачев, очень чистенький мальчик, с виду похожий на jeune premier (он уже в старшем классе и заранее усвоивает себе все замашки заправских адвокатов из породы jeunes premiers). Он очень развязно помахивает pince-nez и без малейшего смущения, даже с некоторою дерзостью, начинает защитительную речь. Ядовитость и ирония так и брызжут в каждом его слове.

«Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвинению. Старательность и усердие, с которым оно составлено, заслуживает величайшей похвалы. Скажу более: я совершенно уверен,

что никогда, ни перед одним судом не было сказано столь усердной обвинительной речи, как та, которую вы сейчас слышали. Господин прокурор знает, что ежели материальное обеспечение адвоката зависит от оправдания клиента, то, с другой стороны, почести, которые ждут впереди каждого члена прокуратуры, отчасти обусловливаются успехом...»

Миша, весь бледный, вскакивает с своего места и дрожащим голосом произносит:

— Господа судьи! я протестую! я всеми силами моей души («de toutes les forces de mon âme»,— мелькает у него в голове) протестую против инсинуации, которую дозволяет себе защита!

Судьи шепчутся; в зале обнаруживается сдержанное волнение.

— Защитник! приглашаю вас оставаться в пределах защиты! — произносит, наконец, председатель.

«Господа судьи! я вовсе не имел намерения оскорблять кого бы то ни было; я хотел только сказать, что для защиты иметь дело с противником, который так старательно оправдывает доверие своего начальства,— очень приятно.

Затем продолжаю, и ежели обвинение, как выразился господин прокурор, попыталось «спуститься с факелом правосудия в дебри преступления», то я, с своей стороны, постараюсь с тем же факелом спуститься в дебри обвинения и водрузить знамя освобождения в развалинах невинности.

Вещь замечательная, господа («chose remarquable, messieurs!» — мелькает у него в голове)! Перед вами сейчас говорил один из лучших представителей нашего обвинительного искусства; вы слышали речь, продолжавшуюся более получаса, речь, старавшуюся быть убедительною, и, по-видимому, построенную очень искусно...»

Миша судорожно подскакивает на стуле; глаза его бегают от председателя к защитнику. Наконец председатель вновь выходит из бездействия.

— Приглашаю защитника,— говорит он,— воздержаться от оценки талантов господина прокурора. Оценивать эти таланты имеет право лишь непосредственное его начальство.

«Но что же осталось в вашем сознании, господа присяжные, теперь, когда речь прокурора уже произнесена? Разберите внимательнее вынесенные вами сейчас впечатления, и, наверное, вы найдетесь вынужденными ответить на мой вопрос только одним словом: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это очень прискорбно, но это так. Я первый отдаю справедливость ораторским средствам моего противника, его непреоборимому усердию, и за всем тем очень рад за моего клиента,

что единственный ясный результат, который вытекает из речи прокурора,— это «ничего»!»

Нагорнов хочет вновь обидеться, председатель, видя это, начинает есть защитника глазами; еще одно лишнее слово — и Тонкачеву угрожает прекращение защиты.

«Вам говорят, милостивые государи, что никаких прямых улик, которые доказывали бы, что преступление, о котором идет речь, совершено обвиняемым Дорофеевым, в виду обвинительной власти не имеется. Я охотно этому верю. Так как мой клиент невинен, то было бы даже странно, если бы против него были какие-нибудь действительные, а не мнимые доказательства. Что же, однако, привело его сюда, на скамью обвиненных? А вот, говорят вам: против него существуют улики косвенные. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенные улики? К величайшему удовольствию нашему, ответ на этот вопрос дает само обвинение. Косвенные улики, говорит оно, это те самые, которые ничего не стоят. Это обрывки чего-то неясного, неизвестно откуда идущего, это подслушанные сплетни досужих кумушек, это беспорядочная сорная куча, из которой торчат обглоданные арбузные корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки,— одним словом, все, что никому не нужно, чем всякий гнушается, между чем ни под каким видом нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

Господа присяжные! Во всем этом скрывается целое искусство, и искусство не очень важное, но, во всяком случае, очень замечательное. Искусство играть ничего не значащими объедками, чтобы воспользоваться ими в интересах обвинения Чтобы показать вам, что игра подобного рода не только возможна, но и легка, я сейчас приведу вам несколько образчиков.

Следствие показывает, например, что обвиняемый не был *тут;* обвинение хватается за этот факт и уже формулирует его так: обвиняемый не был *тут,* следовательно, он был *где-нибудь,* следовательно, и *конечно,* он был там, *где совершено преступление.* Вот один образчик игры в косвенные улики. Каким образом очутилось здесь «конечно» — этого, *конечно,* не объяснят даже знаменитые духи, советовавшие господину Корбе в такую-то ночь посильнее взволновать госпожу Алымову. *(В публике раздается: браво! Председатель грозит очистить залу заседания.)* Другой образчик: накануне пропало *две* копейки, сегодня найдено тоже *две* копейки; *следовательно,* это те самые *две* копейки, которые пропали вчера. Откуда взялось это *следовательно?* разве мало находится в обращении двухкопеечников? Пусть прокурор заглянет в свой собственный кошелек! Пусть поищет в нем! Быть может, он найдет там такой же се-

мишник, этот salaire[1] бедного, к которому он с таким презрением относился. *(Миша вскакивает, безмолвно протестуя против приписываемой ему аристократической гадливости!)* Почему же *этот* двухкопеечник, который в сию минуту находится в кошельке господина прокурора,— не тот двухкопеечник, который в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июня 18** года пропал у Потапова?

Но я не хочу идти далее и не стану продолжать вопросов по каждой из указанных обвинением улик. Это бесполезно. Ведь это дело решенное: само обвинение заранее объявило, что каждая из этих пресловутых улик, взятая сама по себе, не стоит ломаного гроша...

Но вам говорят: важность заключается не в каждом признаке преступления, взятом в отдельности, а в их совокупности! Совокупность! Какое страшное, подавляющее слово! Что же, однако, означает оно? Увы! Я сейчас буду иметь честь объяснить вам, господа присяжные, что оно означает.

Возьмите арбузное зерно, прибавьте к нему несколько хлебных крох, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте несколько обрезков бумаги — и спросите себя, что из этого может выйти? Обвинение утверждает, что из этого выйдет арбуз *(в публике смех)*, но я... я позволяю себе усомниться в этом! Я прямо думаю, что это будет смесь предметов, которые, не имея никакой ценности, взятые порознь, еще менее имеют таковой, взятые вместе! Это совсем не «совокупность», а именно смесь, жалкая, никому не надобная смесь...

Тем не менее изобретенный господином прокурором арбуз *(новый взрыв смеха в публике; Миша делается красен, как раскаленное железо)*, при известных условиях, делается настолько опасным, что равнодушно относиться к нему невозможно. Так, например, в настоящем случае, это уже не арбуз, а разрывной снаряд, который мог бы убить моего клиента, если бы судьба его зависела от суда менее просвещенного и гуманного, нежели ваш. Но ведь он мог бы убить не одного моего клиента, а и каждого из вас, господа присяжные. Каждый из вас наверное где-нибудь находился во время совершения преступления; каждый из вас может найтись в невозможности объяснить употребление своего времени; у каждого из вас (даже у господина прокурора!) могут найтись две копейки; стало быть, каждого из вас, вследствие этих ничтожных, ничего не объясняющих признаков, можно привлечь к суду? Подумайте, господа, что будет с обществом, в котором господину прокурору будет дана возможность во всякое время

---

[1] заработок.

по своему усмотрению и в кого попало пускать изобретенным им арбузом!

Нам говорят: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачивают священнейшие основы общества! Осуждайте! ибо если преступление останется ненаказанным, то общество превратится в скопище диких зверей, которые будут хватать друг друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преследуйте, будьте беспощадны, но не забудьте, что стрелы ваши должны попадать в действительного преступника, а не в прохожего, который случайно очутился на пути пущенного прокурором разрывного снаряда! Если кража, совершенная у Потапова, взывает к небу о мщении, то почему же непременно казнить Дорофеева, а не каждого из нас, по усмотрению господина прокурора? Почему, наконец, не казнить первую попавшуюся под руку куклу, чтобы на ней показать пример наказуемости? Я сам не утопист, милостивые государи! Я далеко не принадлежу к числу жалких последователей жалкой теории абсолютной невменяемости, которою гнусные исчадия современного нигилизма думают отвести глаза правосудию! Нет, я не нигилист! Напротив того, я глубоко убежден, что преступная воля должна быть наказана, что преступник, как говорит бессмертный Гегель, не только имеет право на наказание, но может даже требовать его; однако, согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требование исходило от человека чистого, совсем непричастного содеянному! Дорофеев невинен— зачем же он будет требовать, чтобы его наказали!..

Затем, обращаясь к случаю, по поводу которого доверие начальства призвало вас, господа присяжные, произнести приговор, я просто нахожу излишним говорить что-либо в оправдание моего клиента. Да, он ночевал у Потапова, он чиркал спичкою, он приторговывал у потерпевшей стороны «почти новую» рубаху — я охотно допускаю все это, но ни в чем, решительно ни в чем не вижу преступления! Я не проникал в тайники души Дорофеева — эти тайники, господа, открыты только богу! — но, оставаясь на почве фактов, я могу быть совершенно покойным. Господа присяжные заседатели! вы не захотите обмануть доверие начальства! вы объявите подсудимого Дорофеева невинным!»

Эта речь производит эффект потрясающий. Осликов будет оправдан — это несомненно. Тонкачев с какою-то неизреченною самоуверенностью качается на стуле. Как будто хочет сказать: и зачем вы меня из пустяков тревожили! Зачем отняли понапрасну столько драгоценных минут! Нагорнов понимает это; он догадывается, что, как обвинитель, он хватил не-

сколько через край, и потому отказывается от возражения. В публике слышится сдержанный смех; слово: арбуз! нагорновский арбуз! — летает по рядам, и можно предвидеть, что слово это не скоро забудется в заведении. Но у Нагорнова есть звезда, и она выручает его в ту самую минуту, когда противники считают его уже погибшим.

— Подсудимый Дорофеев! что̀ имеете вы прибавить в свою защиту? — обращается председатель к Осликову.

Осликов лениво встает и, ковыряя в носу, озирает присутствующих. Тонкачев с ужасом начинает подозревать, что клиент его позабыл все внушения, которые были ему даны перед заседанием.

— Да что говорить, ваше высокородие! — произносит наконец Осликов,— мой грех! я украл!

Тонкачев кидается к Осликову; Нагорнов поднимает голову и, сложив на груди руки, бросает своему противнику взгляд, исполненный неизреченного торжества. Общий взрыв хохота, под шум которого никто не слышит речи, которую председатель, в виде бесконечно тянущейся канители, обращает к присяжным заседателям, вручая им лист с вопросными пунктами и убеждая их оправдать доверие начальства.

— Если вы найдете, что подсудимый виноват,— взывает председатель,— то скажете: *виновен;* если же найдете, что подсудимый *не* виноват, то скажете: *невиновен.* Идите же, и пусть бог просветит сердца ваши!

Присяжные заседатели уходят, и через минуту выносят приговор: *виновен* — по всем вопросам. Суд присуждает Осликова к лишению всех прав состояния и к заключению в арестантских ротах в течение пяти лет.

Ученики спешат в классы. Мсьё Петанлер ловит на дороге Тонкачева.

— Ecoutez, Tonkatschoff! — говорит он,— vous avez été brillant, même éblouissant de verve et d'esprit! mais la vérité a été, comme toujours, du côté de Nagornoff! Comment ne comprenez-vous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne soit pas coupable! Mais... au nom de Dieu! [1]

По воскресеньям Миша рассказывает о своих подвигах родителям.

Со времени открытия новых судов между родителями посе-

---

[1] Послушайте, Тонкачев! — вы были блестящи, даже ослепительны по вдохновению и уму! Но истина была, как всегда, на стороне Нагорнова! Как вы не понимаете, что такой балбес, как Осликов, не может не быть виновен!.. Побойтесь бога!

лилось некоторое разногласие относительно будущности сына. Анна Михайловна придерживается адвокатуры; Семен Прокофьич склоняется на сторону прокурорского надзора.

— Да ты слышал ли, в департаменте-то сидя, какие *они* куски рвут! — убеждает Анна Михайловна мужа.

— Всех денег, матушка, не ограбишь. Да ведь если очень-то шибко по чужим карманам лазить начнешь, так и в Сибирь, пожалуй, угодишь! Лавров-то ведь не далеко. Ну, и Бельмесов тоже. Гуляет он до поры до времени, а я все-таки надеюсь, что Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то под глазами, он у нас все равно что у Христа за пазушкой будет! А может быть, еще политический процесс — так ты вот и понимай тут!

Сам Миша тоже не мог определительно сказать, куда ему хочется: в адвокаты или в прокуроры. Иногда, идет он мимо Милютиных лавок и думает: непременно в адвокаты пойду! ведь все, все, что тут ни есть,— все мое будет! Каждый день по четыре коробки сардинок съедать буду!

В другой раз его пленяет прокурорский мундир и сопряженная с ним неуклонность. Да это и не мудрено, потому что ведь тут все-таки не то, что жулика защитить — тут, с позволения сказать, *общество* в опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствие! попранное право собственности! низринутые в прах авторитеты! — какие величественные, повергающие в трепет задачи! И какая дорога впереди! сколько поводов для волнений на этом пути, в начале которого стоит какой-нибудь жалкий судебный следователь или секретарь суда [1], а в конце — министр! А тут еще, чего доброго, политический процесс наклюнется... будущее-то, будущее-то какое впереди!

— Ведь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задеря хвост, по управам благочиния летает, а в некотором роде... гард де ссò! [2]

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представление о четырех коробках сардинок почти всегда одерживало верх над честолюбивыми мечтами. Миша не мог пройти мимо человека, чтобы не видеть в нем «клиента», а раз усмотревши клиента, он уже невольно ел его глазами.

---

[1] Автор оговаривается: что должности судебного следователя и секретаря суда очень почтенные должности — в этом нет сомнения; следовательно, ежели они представляются жалкими, то не с точки зрения автора, а с точки зрения Миши Нагорнова. Для обвинения в диффамации тут нет повода, разве что кто-нибудь вздумает преследовать Мишу Нагорнова. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

[2] министр юстиции.

— Я, маменька, Плотицына сегодня во сне видел! — открывался он Анне Михайловне в минуту, когда аппетит уж очень сильно начинал тревожить его.

— Уж как бы хорошо! уж так бы хорошо! ах, как бы хорошо! — вместо ответа восклицала Анна Михайловна, и даже вся краснела от волнения.

— Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

— Кто с ним, с упрямым, сговорит! А какие куски-то они рвут! ах, мой друг, как рвут!

— Да это само собой! Неужто ж потачку давать! Тридцать процентиков, батюшка! тридцать процентиков, милости просим-с!

— Ведь нынче шагу без него, мой друг, ступить нельзя! Дыхнуть без него, без кровопивца, возможности нет! Ты шаг вперед — он два! И все-то забегает, все-то вперед бежит, все-то норовит подножку тебе подставить!

— Однако ж какое это, маменька, величественное зданне!

— Ведь уж коли попал ты *ему* в лапы — так там и держись! И не шевелись! Все равно что в капкане! Уж *он* тебя лущит-лущит! Он тебя чистит-чистит! Путает-путает! И до тех пор он тебя на́ волю не выпустит, покуда, что называется, как стельку не обстрижет!

— Ну, маменька, не все так! Вот у нас Благолепов адвокат есть, так тот даже сам с удовольствием, по силе-возможности, клиенту подарит! Намеднись выиграл дело одной клиентки, ну, клиентка и приезжает к нему. Что̀, говорит, Василий Васильич, вы с меня за труды положите? А он, знаете, покраснел этак, да так прямо и брякнул: «Я, говорит, сударыня, за добрые дела деньгами не беру, а вот кабы вы просвирку за меня вынули!»

— Ну, уж это какой-то... необнакновенный какой-то! Однако ж, как бы ты думал! хоть просвиркой, а все-таки взял! Иной раз, душа моя, и просвирка... ах, как это иногда важно, мой друг! Молитва-то! ведь она, кажется... и ничего в ней нет... ан смотришь, и долетела! Ан он в другом месте уйму денег урвал, или вот в лотарею двести тысяч выиграл! за молитву-то!

— Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!

— Не говори этого, мой друг! ах, не говори! как знать, чего не знаешь!

— А как бы, маменька, хорошо-то! Вот, говорят, Отпетый такую «деверию» завел, что вся кавалерия смотрит да зубами щелкает!

— Ну, это, мой друг, тоже опасно. По-моему, лучше копить. Ведь эти прорвы, душа моя... много, ах, много деньжищ нужно, чтобы до сытости их довести! У нас, мой друг, у директора та-

кая-то была, так он не то что все состояние свое в нее ухлопал, а и казну-то, кажется, по миру бы пустил, кабы вовремя его за руку не ухватили! Вот он теперича и живет да поживает в Архангельской губернии, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысаках гарцует!

— А хорошо бы, маменька!

— Уж как бы не хорошо, кабы не эта их жадность! Опрятны они очень — вот чем берут! Нашей русской против них — и ни боже мой! Только и дерут же они за эту чистоту! Годиков этак пять-шесть пофорсила — глядишь, либо домину в четыре этажа вывела, или в ламбарт целую уйму деньжищ спрятала! А брильянтов-то сколько! а кружев-то!

— Им, маменька, без брильянтов нельзя. А что касается до богатства, так я от одного адвоката за верное слышал, что у иной, кроме брильянтов да кружев, ничего и нет. Да и те, как получит, сейчас же у закладчика заложит, да у него же опять и берет напрокат!

— Уж будто бы бедность такая! все, чай, сколько-нибудь накопит!

— Ей-богу, маменька, так. Ведь они до сих пор всё больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь в ход пошли, а прежде всё с офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денег истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дело — квартира, ковры, белье, второе — экипаж, третье — туалет, чтобы новый каждый день был...

— И за все-то, мой друг, с нее вдвое! за все-то вдвое против других дерут! Потому, всякий знает, что она нечестная — ну, и берут! Она и торговаться-то даже, мой друг, не смеет, а так прямо и отдает!

— Вот видите! Платье-то, может быть, на ней пятьсот рублей стоит, а офицер-то возьмет да за обедом его шампанским обольет!

— И обольет! Ты думаешь, не обольет! Да и как еще обольет-то! Офицер — ведь он горд! На, скажет, подлянка! понимай, каков я есть!

— Так вот то-то и есть! Тут, маменька, уж не об четырехэтажных домах приходится думать, а об том, как бы самой-то лет пяток-другой продышать!

— Где уж об домах думать! да еще то ли с ними делают! Еще нынче все-таки потише стало, а прежде, бывало, как порасскажет папенька!..

— Уж будто и папенька!!

— А ты как бы об отце-то своем полагал! Тоже, батюшка, сахар медович был! Это чтобы «деверию» встретить, да, высуня язык, целые сутки за ней не пробегать — да упаси бог,

чтобы он случай такой пропустил! Пытала я первое-то время плакать от него! Бывало, он рыскает там, по Мещанским-то, а я лежу одна-одинешенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни одним, то есть, словом никогда я его не попрекнула, чтобы там взгляд какой-нибудь или жест недовольный... Никогда! Всегда — милости просим!

Анна Михайловна лжет, и Миша тоже очень хорошо знает, что Семен Прокофьич имеет об «девериях» самые первоначальные, так сказать, детские понятия. Но им обоим приятно лгать, потому что предмет-то лганья очень уж занятен. Они ходят обнявшись по комнате и мечтают. Анна Михайловна мечтает о том, сколько бы у нее было изюму, чернослива, вермишели, макарон, одним словом, всего, чего только душа спросит. Мечтания Миши обращены больше в сторону «кокотки»

— Еще бы не хорошо! уж так-то бы хорошо! — восклицает Анна Михайловна.

— Ах, маменька! — стонущим голосом вторит ей Миша и ни с того ни с сего целует ее.

Но вот является Семен Прокофьич, только что совершивший утреннее воскресное поклонение директору. Беседа разом принимает другой характер.

— Ну, что, молодец, опять кого-нибудь в каторжные работы сослал? — спрашивает счастливый отец.

— Нет, только на пять лет в арестантские роты! Да и то, папенька, преступник уж сам сознался! Чуть-чуть было Тонкачев не загонял меня!

— Как же это ты, брат, маху дал! Ай, ай, ай!

— Да ведь трудно, папенька!

— А ты напирай, братец! Он от тебя, а ты за ним! Он в сторону, а ты обеги кругом — да встречу! Вот, братец, как дела-то обделывать нужно!

— Да я, папенька, и так...

— Ну, да ведь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и в арестантские роты на пять лет! Ну, и пущай его посидит! За дело! Вперед не блуди!

— А у нас, папаша, на будущей неделе, в «заведении» политический процесс приготовляется!

— Ну, вот и дело! Вот этих лохматых да стриженых — это так! Катай их!

— А я бы, право, Мишеньку в адвокаты отдала! — как-то нерешительно заговаривает Анна Михайловна.

Этого робкого заявления достаточно, чтобы в одно мгновение прогнать хорошее расположение духа Семена Прокофьича.

— И что тебе, матушка, за охота мне перед обедом аппетит портить! — брюзжит он.— Вот дай срок умру, тогда хоть в черти-дьяволы, хоть в публичный дом его отдавай!

Высказав это, Семен Прокофьич, огорченный и раздраженный, уходит к себе в кабинет и вплоть до самого обеда не показывается оттуда.

Ничто не изменилось в течение шестнадцати лет в воскресных обедах Нагорновых, только посетители их как будто повыцвели. Дедушка Михайло Семеныч уж не управляет архивом и с тех пор, как находится в отставке, как-то опустился, перестал шутить и, словно мхом, весь оброс волосами. Он худо слышит, глядит как-то тускло и беспомощно и плохо ест. Сестрицы-девицы по-прежнему остаются сущими девицами, но уже не краснеют и не стыдятся при слове «мужчина», но сами охотно заговаривают о самопомощи, самовоспитании и вообще обо всем, что̀ имеет какое-нибудь прикосновение к женскому вопросу. Сам Семен Прокофьич, с тех пор как его сделали генералом, постоянно задумывается и что-то шепчет про себя, как будто рассчитывает, к какому же, наконец, празднику дадут ему звезду. Пирог с сигом подается по-прежнему, но невский сижок до такой степени поднялся в цене, что вынуждены были заменить его ладожским и волховским. Одним словом, жизнь видимо угасает в этом семействе и, может быть, даже давно угасла бы, если б от времени до времени не пробуждал ее Миша прикосновением своего скромного, но все-таки молодого задора.

— Нынче, батюшка, у нас кулебяка не прежняя! — начинает беседу Семен Прокофьич, обращаясь к старику Рыбникову,— нынче невскими-то сижками князья да графы... да вот аблакаты лакомятся, а с нас, действительных статских, и ладожского предовольно! Да ведь и то сказать, чем же ладожский сиг — не сиг!

Рыбников мычит что-то в ответ, но, очевидно, только из учтивости, потому что ничего не слышит, хотя Нагорнов и старается говорить как можно отчетливее.

— Прежде, батюшка, ваше превосходительство, говядина-то восемь копеечек за фунт была, а нынче бог так привел, что и за бульонную по двадцати копеечек платим. Дорог понастроили, думали, что хоть икра дешевле будет, ан и тут легости нет. Вот я за самую эту квартиру прежде пятьсот на ассигнации платил, а нынче она уж пятьсот-то серебрецом из кармана стоит-с! Так-то вот!

Общее молчание. Все понимают, что Семен Прокофьич к чему-то ведет свою речь, и ждут понурившись. И действительно, по тем подергиваньям, с которыми он режет пирог

и посылает в рот куски его, видно, что на сей раз дело не обойдется без нравоучения.

— А сыночек вот в аблакаты устремляется! — разражается наконец Семен Прокофьич,— а от этих, прости господи, сорванцов и бедствия-то все на нас пошли!

Молчание делается еще глубже и тягостнее.

— У отца за душой гроша нет, а у сынка уж актрисы на уме... да как эти... камелиями, что ли, они у вас прозываются?

— Камелиями, папенька.

— Камелия, батюшка,— это цветок такой. Цветками назвали! настоящим-то манером стыдно назвать, так по цветку название выдумали!

— Помилуйте, папенька, разве я...

— Я не об тебе, мой друг, а вообще про молодежь про нынешнюю... Зависть, батюшка, ваше превосходительство, у них какая-то появляется, коли они у которого человека в кармане рубль видят! Мысли другой никакой нет! Так вот и говорит тебе в самые глаза: не твой рубль, а мой! И так это на тебя взглянет, что даже сконфузит всего! Точно ты и в самом деле виноват перед ним! точно и в самом деле у тебя не свой, а его рубль-то в кармане!

Миша слушает, уткнувшись в тарелку. Очевидно, он недоволен. Как представитель молодого поколения, он считает своим долгом хотя пассивно, но достойно протестовать против клеветы на него.

— Иду я это, батюшка, намеднись по Катериновке,— продолжает обличать Семен Прокофьич,— а передо мной два школяра идут. «Вот бы,— говорит один,— кабы в этой канаве разом всю рыбу выловить — вот бы денег-то много забрать можно!» Так вот у них жадность-то какова! А того и не понимает, малец, что в нашей Катериновке, кроме нечистот из Зондерманландии, и рыбы-то никакой нет!

При слове «Зондерманландия» старик Рыбников обнаруживает некоторое оживление.

— Да, брат, бывали! бывали мы там! — шамкает он.

— Вот он, аблакат-то этот, как нахватает чужих-то денег, ему и не жалко! В лавку придет — всю лавку подавай! На садок придет — весь садок подавай! А мы терпи! Он чужой двугривенчик-то за говядину отдает, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

— Бывали! бывали! — прерывает старик Рыбников, думая, что речь все идет об Зондерманландии.

— Нет, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послушали бы, какой у них аукцион насчет этих деверий-камелий идет! Офицер говорит: полторы, говорит! Он: две, говорит!

Офицер опять: две с половиной! Он: три, говорит! Откуда он деньги-то берет! Вы вот что мне, батюшка, объясните!

— Да... да... в Зондерманландии... это точно!

— И ведь ничего-то у него на уме, кроме стяжанья этого, нет! Не то чтобы государству или там отечеству... послужить бы там, что ли... Нет, только одну мысль и держит в голове: как бы мамон себе набить!

Семен Прокофьич постепенно приходит в такой азарт, что даже бросает на тарелку нож и вилку.

— А нас взяточниками обзывают! — гремит он,— мы обре-зочки да обкусочки подбирали — мы взяточники! А он целого человека зараз проглотить готов — он ничего! он благородный! Зачем, мол, сей человек праздно по свету мыкается! Пускай, мол, он у меня в животе отлежится!

Гусь стоит посреди стола нетронутым. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагивают губы; даже старик Рыбников начинает понимать, что происходит нечто неладное.

— И вот тебе мой отцовский завет, Михайло Семеныч! — в упор обращается к сыну старик Нагорнов.— В аблакаты — ни-ни! Просвирками-то, брат, не проживешь, да ты и теперь уж над просвирками-то посмеиваешься! Ты, брат, может, на заграницу засматриваешься, что там аблакат-то в почете! Так ведь там он человек вольный: сегодня он аблакат, а завтра министр — вот оно что! А ты здесь что! и сегодня мразь, и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

Миша убеждается, что, благодаря отцовскому предупреждению, двери в адвокатуру для него закрыты. Он решается идти в прокуроры, и в согласность этому решению приучает себя слегка голодать. «У прокурора,— говорит он себе,— живот должен иметь форму вогнутого зеркала, чтобы служил не к обременению, а чтобы всегда... везде... ваше превосходительство!.. готов-с!»

Тип надорванного, с вогнутым животом, и всегда готового исполнителя — тип еще нарастающий, будущий... но он будет. Или, лучше сказать, он существовал искони, но временно как бы поколебался и утратил свою ясность. Это все тот же русский Митрофан, готовый и просвещаться и просвещать, и сражаться и быть сражаемым. В последнее время он несколько замутился благодаря новизне некоторых положений и неумению с желательною скоростью освоиться с ними; но несо-

менно, что он воспрянет, что он вновь сделается чистым, как скло, и овладеет браздами...

Миша уже и ведет себя так, как будто он заправский прокурор. Строго, сдержанно, немножко сурово. Из уст его так и сыплются: «по уложению о наказаниях», «по смыслу такого-то решения кассационного департамента», «на основании правил о судопроизводстве», «в Своде законов гражданских, статья такая-то, раздел такой-то, изображено» и т. д. Даже в дружеской беседе с товарищами он все как будто обвиняет и убеждает кого-то сослать в каторгу.

— Тебя, брат, за такие дела, по статье такой-то, следовало бы, по малой мере, в исправительный дом на три года запрятать! — говорит он,— да моли еще бога, что смягчающие обстоятельства натянуть можно!

В большой зале, в ресторане Бореля, светло и людно. Говор, смех, остроты и шутки не умолкают. Татары бесшумно мелькают взад и вперед, переменяя тарелки, принимая опорожненные бутылки и устанавливая стол новыми. Это пируют за субботним товарищеским ужином будущие прокуроры, будущие судьи, будущие адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то в том, то в другом ресторане и за бокалом вина обсуждают ожидающие их впереди карьеры. Начальство знает об этом, но, ввиду скорого выпуска, смотрит на запрещенные сходки сквозь пальцы.

Разговор дробится по группам. На одном конце стола ведут речь о том, что̀ выгоднее: в столице быть адвокатом или в провинции?

— Ловкачев! ты куда?

— Странный вопрос! разумеется, в адвокаты! не в судьях же пять лет на одном стуле сидеть!

— Я, брат, тоже в адвокаты, да только думаю в провинцию. Здесь уж очень много нашего брата развелось!

— Что ж! это мысль!

— Я, брат, на днях одного провинциального адвоката встретил, так очень хвалит! Такое, говорит, житье, что даже поверить трудно!

— А как, однако?

— Да тысяч пятнадцать, двадцать в год! Только, говорит, у нас деликатесы-то бросить надо!

— То есть, в каком же это смысле?

— А так. говорит, какая сторона больше даст — ту и защищай!

— Это само собой! да там дела-то всё мозглявые!

— Это нужды нет! Мне, говорит, хоть по зернышку, да почаще! Ведь он там один как перст — ну, всё и захватил! А ежели приедет, говорит, еще адвокат — сейчас, говорит, в другой город переберусь!

— Да; двоим — это точно... пожáлуй, и делать там нечего!

— А теперь, представь себе, как ему хорошо! Что ни дело, то верный выигрыш, потому что у него и противников-то настоящих нет. Народ бессловесный всё, стало быть, истец ли, ответчик ли, как только не успел заручиться им, так уж и знает заранее, что дело его пропало. Для меня, говорит, любое дело защитить — все одно что в вист с тремя болванами партию сыграть!

— Да! это мысль! об этом стоит подумать!

В другой группе, средоточием которой служит Миша Нагорнов, идет тот же разговор, но с другими вариациями.

— Нет, Проходимцев, я с тобой не согласен! — ораторствует Миша,— в существовании прокурора есть тоже свои хорошие стороны!

— Еще бы не было! даже египетские аскеты, когда жевали акрид,— и те находили, что существование их имеет свои хорошие стороны!

— Ну, нет-с; тут не акридами пахнет. Это не совсем так. Я заранее приглашаю тебя на прокурорский обед, и будь уверен, что ты всегда найдешь у меня кусок сочного «бульи», и стакан доброго вина!

— «Бульи»!

— Что ж! и «бульи» не у всякого адвоката бывает! Конечно, есть между ними такие, которые из трюфлей не выходят — я заранее уступаю тебе, что в прокуратуре я этого не найду! — ну, да ведь это из десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не будет в твоей адвокатуре — это возможности восходить по лестнице должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать со временем на ту высоту, с которой человеческие интересы кажутся каким-то жалким миражем, мгновенно разлетающимся при первом появлении из-за туч величественного светила государственности!

— Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

— Нет, отчего ж! Я понимаю, что препятствия будут, и даже препятствия очень серьезные! Но мне кажется, что ежели я сумею заслужить доверие моего начальства, то самые препятствия обратятся мне же на пользу! Они только закалят меня и в то же время утратят характер непреодолимости!

— Вот закал-то этот...

— Да ты пойми, душа моя, два-три хороших убийства — и у меня дело в шляпе... Я уж на виду! А если тут не повезет,

можно по части проектцев пройтись! Проектец, например, по части изменения судебных уставов... какие тут виды-то предстявиться могут!

— Так, значит, будем резаться друг против друга?

— Значит, будем резаться!

В других пунктах стола идут разговоры более отрывочные.

— Да с этого дела,— выкрикивает кто-то,— не то что тридцать, сто тысяч взять мало! Это уж глупо! Это просто-напросто значит дело портить!

— Ну, брат, сто тысяч — дудки! Кабы нашего брата поменьше было — это так! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысяч заполучить! А теперь... откажись-ка от тридцати-то тысяч — десятки на твое место явятся! Нет, брат, нынче и за тридцать тысяч в ножки поклонишься!

— Я наверное это знаю,— выкрикивает другой,— что ежели ты ему вперед тысячи рублей не выложишь, он пальцем об палец для тебя не ударит! Намеднись в Пензу по делу о растлении малолетней его приглашали, так он прямо наотрез потребовал: первое — восемь тысяч на стол — это уж без возврата, значит! — второе, ежели вместо каторги только на поселение — еще восемь тысяч; третье — ежели совсем оправлю — двадцать тысяч!

— Ну, это, брат, молодец!

— Господа! — выкрикивает третий,— я предлагаю составить компанию для отравления этой немки!

— Какой немки? какой немки? — сыплются со всех сторон вопросы.

— Да вот той, которая двадцать миллионов долларов в наследство получила! Боковая линия пятидесяти процентов не пожалеет, чтоб ее извести!

— Этот-то вопрос не важный! — выкрикивает четвертый,— вопрос-то об единоутробии! Да ежели его как следует разработать, какой свет-то на всю судебную практику прольется! Ведь мы впотьмах, господа, бродим! Ведь это что ж, наконец!

И вдруг, среди этого хаоса восклицаний, вопросов и пререканий, влетает в зал цвет, слава и гордость адвокатуры, сам господин Тонкачев.

Тонкачев уже два года, как вышел из «заведения», и с тех пор с честью подвизается на поприще адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человек; на нем черная бархатная визитка и тончайшее, ослепительной белизны белье. Претензий на щегольство — никаких; но все так прилично и умненько пригнано, что всякий при взгляде на него невольно думает: какой, должно быть, способный и основательный молодой че-

ловек! Стулья с шумом раздвигаются, чтобы дать место новому и, очевидно, дорогому гостю.

— Тонкачев! вот это мило! вот это сюрприз! — восклицают молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

— Извините, господа, я попросту! Я здесь в соседней комнате ужинал — вдруг, слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего старых приятелей не навестить!

— И прекрасно! выпьем вместе! Человек! шампанского! Господа! за здоровье Владимира Васильевича Тонкачева!

— Принимаю и благодарю. И, в свою очередь, пью за вас, господа. Пью за эту блестящую плеяду будущих молодых деятелей, которым через два месяца суждено испробовать свои силы! Приветствую в вас то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное прошлое, когда и я, полный молодых надежд, выступал из стен заведения! Приветствую в вас то прекрасное будущее, которое, впрочем, прекрасно не для одних вас, но с вами и, так сказать, по случаю вас — и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убеждение: вы призваны совершить перерождение горячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высоте этого призвания! С такими бодрыми, сильными, смелыми деятелями можно смотреть вперед с доверием. Можно смело поднимать завесу будущего — и не опасаться! Пускай подкапывается под нас злоба, пускай обращает она на нас свой змеиный шип — мы останемся твердыми, как скала! Волны клеветы будут лизать ноги наши, но никогда не досягнут до головы. Мы не утописты, господа, не политики, не идеологи — следовательно, у нас даже мест таких не имеется, в которые клевета могла бы без труда запустить свое жало! У нас нет даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляем в дело свой труд, свои познания, и получаем за это посильное вознаграждение: вот наша роль, господа; роль в высшей степени скромная, но и в высшей степени плодотворная. Итак, господа, повторяю: я счастлив, поднимая за вас этот бокал! За вас я пью, за эту блестящую плеяду будущих молодых деятелей, которым суждено довершить то, что так счастливо начали их предшественники!

Тонкачев произнес эту речь совсем невзначай и с такою легкостью, что, казалось, как будто вошел человек и плюнул. Тем неописаннее был произведенный ею в молодежи фурор.

— Браво, Тонкачев! вот так спасибо! Это, что называется, по-товарищески! Человек! шампанского! — раздавалось со всех сторон.

Но вот, среди поцелуев и обниманий, к Тонкачеву приближается Миша с бокалом в руках.

— Позвольте мне,— начинает он взволнованным голосом,— позвольте мне, вашему бывшему противнику по состязательному процессу, приветствовать в вас славу, надежду и гордость нашего молодого, только что нарождающегося сословия адвокатов! Из-за скромных стен нашего заведения мы следили за вашими успехами и радовались им. Мы, смею так выразиться, гордились ими. На долю нашего заведения выпал счастливый жребий, господа. Сколько дало оно стране высокопоставленных лиц, сколько людей, отмеченных печатью гения! Следовательно, выходя из стен школы, мы прямо уже видим перед собою примеры, которых вполне достаточно, чтоб ободрить молодой дух и вдохнуть в молодое сердце решимость следовать по стопам предшественников. Что может быть величественнее, поучительнее, благотворнее, как зрелище людей, неуклонно шествующих по стезе долга! А мы, мы видим это зрелище постоянно, и постоянно имеем возможность вдохновляться им! Чтоб быть твердыми, нам не нужно особенных усилий: нам стоит только взглянуть вперед. Там, в этом блестящем сонмище людей, посвятивших себя служению истине, мы встретим не только полезный пример, но и действительную помощь, совет и ободрение. Нам ли не преуспевать? нам ли не подвигаться быстрым и твердым шагом по лестнице должностей! Через два месяца мы выходим, господа. Через два месяца мы предстанем перед вами, Владимир Васильевич! перед вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь от нас, вы подадите нам руку помощи, которая так необходима для нашей неопытности! Я убежден в этом, и в этой сладкой уверенности, с чувством заранее несущейся от сердца признательности, поднимаю за вас бокал мой! За Владимира Васильевича Тонкачева, господа! За красу и гордость нашего заведения! За славу нашего молодого, только что нарождающегося сословия адвокатов!

Восторг школяров не знает пределов. Тонкачева качают, Нагорнова качают, потом поочередно качают Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

— Ты, Осликов, как? — спрашивает его Тонкачев.

— А я, брат, кажется, на скамье подсудимых сидеть буду! — отвечает Осликов, залпом выпивая громадную рюмку коньяку и заедая ее булкой с икрой.

— Ну, в таком случае бери меня в защитники! — любезно предлагает Тонкачев,— только, чур, не виниться, как, помнишь, в тот раз!

— Я, брат, нонче тверд. Невиновен — кончено дело!

Общий взрыв хохота.

Тонкачев усаживается в центре стола и начинает беседовать.

— В нашем деле, господа, больше всего смелость нужна! — ораторствует он,— смелость и находчивость; это средство на судей без ошибки действует!

— Да, удивительно, как вы зининское дело выиграли! — восклицает Ловкачев.

— А почему я его выиграл? Потому что нашелся! А не найдись я, не пусти в ход того блестящего парадокса... помните?.. противная сторона откатала бы меня!

— Ну, с вами-то не так легко справиться!

— Я, господа, вот как рассуждаю: адвокат должен не просто говорить, а говорить, так сказать, с картинками. Вот как книжки: и с картинками и без картинок издают, так и адвокатская речь: может быть и с картинками и без картинок. Чуть только суд задумываться стал — ну, тут уж не плошай! Все картинки, какие есть,— все на стол разом выкладывай!

— Но ведь для этого талант особенный нужно иметь!

— Без таланта, батюшка, ничего нельзя. За талант-то, собственно, и деньги нам платят. За талант, за смелость, за уменье найтись. Наше дело такое, что тут все в соображение принимать следует: и характер судей, и домашнюю их обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вот-вот проиграл дело, ан подвернется под руку случай — и поправился! Я даже в запасе всегда какую-нибудь случайность имею. Анекдот там, что ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дам противнику выговориться, да тут его и накрою: в некотором, мол, царстве, в некотором государстве жил-был истец... И пошел! и пошел!

— Удивительно! бесподобно!

Тонкачев окончательно входит в роль и начинает, так сказать, прорицать...

— Мне стоит только взглянуть на состав суда,— говорит он,— чтоб сейчас же определить, выиграю я дело или проиграю. Вот тут-то именно и нужна мне сноровка. Ежели состав суда благоприятный, я все силы употреблю, чтоб дело было рассмотрено именно в этом заседании; ежели состав суда неблагоприятный — я из кожи лезу, чтоб мое дело было отложено. Вы думаете, как я кондыревское дело выиграл? — именно этот фортель в ход пустил! Вижу, Левушка Сибаритов в числе судей сидит — ну, думаю, плохо дело. И подвел, знаете, кулеврину! И до тех пор откладывал да откладывал, покуда Левушку в Чернолесск председателем не перевели. Тогда и покончил.

В публике слышится ропот удивления.

— Я не такие еще штуки выделывал! Один раз я перед присяжными показывал, как через веревочку прыгают. Встал посередке зала и начал прыгать. Оправдали. Другой раз стал доказывать, что один человек может целый папушник съесть — и съел. Я к одному из будущих заседаний такую штуку приготовляю, такую штуку! Вот увидите!

— Расскажите, Тонкачев! Ну, пожалуйста!

— Нет, господа, покуда это секрет. Я должен поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто пять дел в производстве было — сколько отчаянных между ними, ну самых, то есть, таких, что даже издали взглянуть на него противно! — и девяносто семь из них выиграл! Заметьте: из ста пяти дел только восемь проигранных! Такого tour de force даже Отпетый не совершал!

— Тонкачев! шампанского! servez-vous! [1]

— Нет, господа, вы уж позвольте мне самому фетировать вас! человек! двенадцать бутылок! вы, господа, какое предпочитаете?

— Редерер! Редерер!

— А я, грешный человек, предпочитаю Heidzick-cabinet! Суше. А впрочем, можно от времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно надлежит по коньячкам пройтись, чтобы приличное *осаже* сделать после всего этого изобилия плодов земных!

Попойка возобновляет течение свое и принимает более и более шумный характер. Через час пирующие уже перестают понимать друг друга. Один Тонкачев, что называется, ни в одном глазе, и только хвастает в несколько более усиленных размерах, чем обыкновенно.

— Вот когда вы выйдете из заведения, все ко мне приходите! — говорит он,— так прямо и приходите! Я всех в помощники приму! Мы целую фабрику заведем! Мы такое судоговоренье устроим, что небу жарко будет! Истец ли, ответчик ли — всё будет одно, всё в наших руках. Сам истец, сам и ответчик! Вот мы какую штуку удерем! Я, ты, он — всё одно! всё один черт!

Наконец дело доходит до того, что некоторые из беседующих начинают плакать, другие смеяться, третьи призывать небо и землю в свидетели. Один из школьников подходит к зеркалу и, завидев там свое изображение, начинает к нему придираться. Опьянел наконец и Тонкачев.

— А ведь по правде-то,— говорит он коснеющим языком,— как ежели по совести... свиньи мы, господа! Ничего-

---

[1] пожалуйста!

то ведь у нас за душой. Ну просто, так сказать, в душе кабак... ей-богу, так!

Далеко за полночь молодых людей не без труда развозят по домам татары.

Наконец сдан и последний экзамен. Будущие прокуроры и адвокаты рассыпаются по стогнам Петербурга.

Миша вышел первым. В щегольском фраке, с капитанским чином на плечах, он с выпускного обеда является в отчий дом. Но так как он навеселе, то ему кажется, что перед ним не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова в Подьяческой, а величественное здание суда.

— Принимая во внимание,— говорит он, останавливаясь в дверях передней и указывая на отца,— принимая во вниманье, что этот человек совершил преступление с полным сознанием содеянного, и притом без всяких уменьшающих вину его обстоятельств, а потому полагаем...

— Друг ты мой! — восклицает Анна Михайловна в каком-то неописанном волнении.

— Ну, Христос с ним! выпил... Христос с ним! — с нежностью говорит Семен Прокофьич, крестя сына.

— И за что они меня в прокуроры отдали! Я в адвокаты хочу! — всхлипывает Миша каким-то наболевшим голосом, и слезы градом катятся из глаз его.

Будущего прокурора укладывают спать.

ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Никто не мог сказать определительно, каким образом Порфирий Велентьев сделался финансистом. Правда, что еще в 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, он уже написал проект под названием:

Дешевейший способ продовольствия армии и флотов!!
или
Колбаса из еловых шишек с примесью никуда негодных мясных обрезков!!

в котором, описывая питательность и долгосохраняемость изобретенного им продукта, требовал, чтобы ему отвели до ста тысяч десятин земли в плодороднейшей полосе России для устройства громадных размеров колбасной фабрики, взамен же того предлагал снабжать армию и флот изумительнейшею колбасою по баснословно дешевым ценам. Но, увы! тогда время для проектов было тугое, и хотя некоторые помощники

столоначальников того ведомства, в котором служил Велентьев, соглашались, что «хорошо бы, брат, разом этакой кус урвать», однако в высших сферах никто Порфирия за финансиста не признал и проектом его не соблазнился. Напротив того, ему было даже внушено, чтобы он «несвойственными дворянскому званию вымыслами впредь не занимался, под опасением высылки за пределы цивилизации». На том это дело и покончилось. Порфирий года четыре прожил смирно, состоя на службе в одном из департаментов министерства финансов.

Но молчание его было вынужденное, и втайне Велентьев все-таки давал себе слово во что бы ни стало возвратиться к проекту о колбасе. Перечитывая стекающиеся отовсюду ведомости о положении в казначействах сумм и капиталов всевозможных наименований, он пускался в вычисления, доказывал недостаточность употреблявшихся в то время способов для извлечения доходов, требовал учреждения особого министерства под названием «министерства дивидендов и раздач», и, указывая на неисчерпаемые богатства России, лежащие как на поверхности земли, так и в недрах оной, восклицал:

— Столько богатств — и втуне! Ведь это, наконец, свинство!

Но никто уже не верил ему. Даже помощники столоначальников — и те сомневались, хотя каждому из них, конечно, было бы лестно заполучить местечко в «министерстве дивидендов и раздач». Все считали Велентьева полупомешанною и преисполненною финансового бреда головой, никак не подозревая, что близится время, когда самый горячечный бред не только сравняется с действительностью, но даже будет оттеснен последнею далеко на задний план...

Наконец наступил 1857 год, который всем открыл глаза. Это был год, в который впервые покачнулось пресловутое русское единомыслие и уступило место не менее пресловутому русскому галдению. Это был год, когда выпорхнули целые рои либералов-пенкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чем пахнет. Это был год, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять в недрах русской земли, добродушно смешивая последнюю с русской казною.

Промышленная и акционерная горячка, после всеобщего затишья, вдруг очутилась на самом зените. Проекты сыпались за проектами; акционерные компании нарождались одна за другою, как грибы в мочливое время. Люди, которым дотоле присвоивались презрительные наименования «соломенных голов», «гороховых шутов», «проходимцев» и даже «подлецов», вдруг оказались гениями, перед грандиозностию соображений

которых слепли глаза у всех не посвященных в тайны жульничества. Всех русских быков предполагалось посолить и в соленом виде отправить за границу. Все русские болота представлялось необходимым разработать, и извлеченные из торфа продукты отправить за границу. X. указывал на изобилие грибов и требовал «устройства грибной промышленности на более рациональных основаниях». Z. указывал на массы тряпья, скопляющиеся по деревням, и доказывал, что если бы эти массы употребить на выделку бумаги, то бумажные фабрики всех стран должны были бы объявить себя несостоятельными. Y. заявлял скромное желание, чтобы в его руки отданы были все русские кабаки, и взамен того обещал сделать сивуху общедоступным напитком. Хмель, лен, пенька, сало, кожи — на все завистливым оком взглянули домашние ловкачи-реформаторы и из всего изъявляли твердое намерение выжать сок до последней капли. Повсюду, даже на улицах, слышались возгласы:

— Ванька-то! курицын сын! скажите, какую штуку выдумал!

Одним словом, русский гений воспрянул...

Но как ни грандиозны были проекты об организации грибной промышленности, об открытии рынков для сбыта русского тряпья и проч.— они представлялись ребяческим лепетом в сравнении с проектом, который созрел в голове Велентьева. Те проекты были простые более или менее увесистые булыжники; Велентьев же вдруг извлек целую глыбу и поднес ее изумленной публике. Проект его был озаглавлен так: «О предоставлении коллежскому советнику Порфирию Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом Василием Вонифатьевым Поротоуховым в беспошлинную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для непременного оных, в течение двадцати лет, истребления»... Перед величием этой концессии все сомнения относительно финансовых способностей Порфирия немедленно рассеялись. Все те, которые дотоле смотрели на Велентьева как на исполненную финансового бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отделений, встречаясь на Подьяческой, в восторге поздравляли друг друга с обретением истинного финансового человека минуты. Директоры департаментов задумывались; но в этой задумчивости проглядывал не скептицизм, а опасение, сумеют ли они встать на высоту положения, созданного Велентьевым. Словом сказать, репутация Велентьева как финансиста установилась на прочных основаниях, и ежели не навсегда, то, по крайней мере, до тех пор, пока не явится новый Велентьев, с новым, еще

более грандиозным проектом «о повсеместном опустошении», и не свергнет своего созию с пьедестала, на который тот вскарабкался.

Само собой разумеется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандском купце Поротоухове. О Поротоухове еще менее можно было сказать, каким образом он сделался финансистом. Большинство помнило его еще под именем Васьки Поротое Ухо, сидельцем кабака в одной из великорусских губерний; хотя же он в этом положении и успел заслужить себе репутацию балагура, но так как в те малопросвещенные времена никто не подозревал, что от балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращал на него особенного внимания. Тем не менее должно полагать, что Васька занимался не одним балагурством, но умел кое-что и утаить. И вот, в одно прекрасное утро, он явился в одно из присутственных мест, где производились значительные торги на отдачу различных поставок и подрядов, и под торговым листом совершенно отчетливо подписался: «Вильмерстанский первастатейшай купец Василей Велифантьяф Портаухаф сим пат Писуюсь». Присутствующие так и ахнули. Поротоухов — первостатейный купец? Не может быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоухов смотрел так светло и ясно, как будто он так и родился «вильмерстанским купцом». По-видимому, он расцвел в одну ночь, расцвел тайно от всех глаз, с тем чтобы разом явить миру все благоухания, которыми он был преисполнен. И расцвел не затем, чтобы вмале завянуть, а затем, чтобы явиться финансистом-практиком, правою рукой того плодотворного дела, душою которого суждено было сделаться Велентьеву.

Таким образом, на нашем общественном горизонте одновременно появилось два финансовых светила. Другое, более слабонервное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьев и Поротоухов пошли в ход. Железными когтями вцепились они в недра русской земли и копаются в них доднесь, волнуя воображение россиян перспективами неслыханных барышей и обещанием каких-то сокровищ, до которых нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнение, справедливо угадав в Велентьеве и Поротоухове людей, отвечавших потребностям минуты, все-таки не совсем правильно взглянуло на те условия, в силу которых они появились на арене общественной деятельности не в качестве прохвостов, какими бы им надлежало быть, но окруженные ореолом авторитетности. Оно увидело в них баловней фортуны, гениальных самоучек, в которых идея о всеобщем ограблении явилась как плод внезапного откровения. Это бы-

ло заблуждение. Не с неба свалилась к этим людям почетная роль финансовых воротил русской земли, а пришла издалека. Над ними прошло целое воспитание, вследствие которого они так же естественно развились в финансистов самоновейшего фасона, как Миша Нагорнов — в неусыпного служителя Фемиды, а Коля Персианов — в администратора высшей школы.

На этот раз займемся собственно Порфишей Велентьевым, предоставляя себе поговорить о Василье Поротоухове при случае.

Отец Порфиши, Менандр Велентьев, происходил из духовного звания. Даже и теперь, в одной из подмосковных губерний, имеется село Велентьево, в котором Порфишин дед был, в течение сорока лет, священником. Благодаря существовавшему в двадцатых годах спросу на молодых людей из духовного звания Менандру посчастливилось, да к тому же и способности у него были прекрасные. Еще будучи в семинарии, он с такою легкостью усвоивал себе всю книжную мудрость, от патристики до догматического богословия включительно, что отец ректор не раз решался переименовать его в Быстроумова, но, к счастию для Менандра, а еще более для Порфиши, почему-то не успел наложить на род Велентьевых неизгладимое клеймо племени Левитова. Впоследствии, как отличный, Менандр был переведен в Духовную академию, в Петербург, где тоже блистательно кончил курс, но, при выходе из академии, духовной карьеры не пожелал, а предпочел ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагоприятствовали ему и тут. В это самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур искал для своего сына воспитателя, и, по совету жены, обратился к единственному в то время надежному источнику истинного просвещения — к Духовной академии. Отец ректор порекомендовал князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур был первый из русских Ферлакуров. Княжна Оболдуй-Щетина была последнею представительницей знаменитого рода князей Оболдуев-Щетич. Дабы не дать угаснуть воспоминанию об этом роде, княжна, вышедши замуж за французского эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы к фамилии последнего была присоединена и ее собственная. Таким образом устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур. Новоиспеченный князь Российской империи оказался вполне достоїным внезапно постигшего его счастия. Он сразу понял, что настоящее отечество для праздношатающегося — там, где представляется возмож-

ность кататься как сыр в масле, и затем, нимало не колеблясь, принял православие, и с этой минуты не иначе говорил о себе, как «мы, русские». Долгих усилий ему стоило, чтобы *полюбить севрюжину* с хреном, но так как он понял, что без этого быть истинно русским нельзя, то не только полюбил севрюжину, но даже охотно пил квас, а о каше выражался не иначе как: «Каша есть матерь наша». Он щеголял тем, что он русский, хотя и Ферлакур, и предсказывал, что недалеко время, когда все французские Ферлакуры будут русскими. В разговоре он любил вклеивать малоупотребительные слова, вроде «токмо», «вящий», «вмале», «книжица», «иждивение» и т. д. Но когда он, наконец, написал книжицу, в которой изобразил, какими неисповедимыми путями он дошел до сознания истин святой православной веры, то все признали, что более благонадежного русского, чем этот русский Ферлакур,— и желать не надо. Пользуясь этим благоприятным поворотом мнения высших административных сфер, князь достиг того, что неторопливыми, но верными шагами шел себе да шел по лествице должностей и, наконец, получил совершенно обеспеченное положение в ведомстве Святейшего синода.

Таким образом, когда Менандр Велентьев поступил, в качестве домашнего воспитателя, в дом князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, последний был уже наверху почестей и славы.

Менандр скоро и ловко освоился с своим новым положением. Он понял, что ему следует быть почтительным без низкопоклонства, откровенным без фамильярности и, наконец, по крайней мере, в такой же степени русским, как и князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур. Последнее было для него, конечно, довольно легко, потому что он не только ел севрюжину с хреном, но и гороховицу употреблял довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонством, отыскать ту ноту, которая не дозволяла бы откровенности перейти в фамильярность, было несколько труднее. Как и все семинаристы, Менандр был до крайности угловат, и потому решительно не владел своим телом. Он не знал, что делать с руками (по временам он порывался их прятать, как бы под гнетом ощущения рясы на плечах), и вообще всею фигурой напоминал танцующего медведя. Желание попасть в тон и показать знание светских приличий убивало его и заставляло делать тысячи несообразностей. Он то спешил и устремлялся, то вдруг останавливался и упирался, как бык; то чрезмерно улыбался, стараясь сложить губы наподобие сердечка, то вдруг насупливал брови и по целым часам глядел исподлобья. По-французски он понимал отлично, но разговор его был не-

решительный, как будто его постоянно преследовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверх того, он был ширококост и говорил таким открытым басом и с такою невозмутимою рассудительностью, как будто непрерывно проповедовал или вразумлял. Но что в особенности вредило ему, так это тогдашний модный костюм, которым он поспешил обзавестись. Вообразите вишневого цвета с искрой фрак, совершенно облизанный спереди и с узенькими фалдочками назади, штаны в обтяжку, высокий галстух, до того туго повязанный, что всякий франт того времени казался всегда живущим под угрозой паралича, и наконец прическу, состоящую из кока посреди лба, гладко выстриженного затылка и волос, зачесанных на виски в виде толстых запятых,— и вы будете иметь возможность представить, как должен был казаться смешным в таком виде этот плотный семинарист, только что перешедший с академической парты в великолепные салоны первого русского Ферлакура.

Но Менандру, что называется, везло, и потому даже нелепая внешность послужила ему в пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и набожная. В обществе ее уважали за то, что она умела умно вести теологические споры, но так как даже и в то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическим, то княгиня постоянно видела себя окруженною людьми, имевшими не менее статского советника на плечах. Но статские и действительные статские советники говорили так резонно, что даже на нее наводили тоску. С одной стороны — старый Ферлакур с своими «книжицами» и «иждивениями», с другой — какой-нибудь генерал-майор Толоконников, читающий на soirée causante[1] проект «немедленного воссоединения унии, буде нужно, даже с помощью оружия»,— вот убивающая обстановка, в которой ей суждено было влачить изо дня в день свое существование. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себе, что отсутствие в ее салонах молодого элемента раздражало ее, но по временам сами статские советники замечали, что на нее находят порывы какой-то странной теологической резвости. То вдруг начнет цитировать Вольтера и энциклопедистов, то возбудит вопрос о папской непогрешимости и окажет явную наклонность к поддержанию ее (подивимся, читатель! где-то, на отдаленном севере, слабая женщина еще в двадцатых годах провидела вопрос, повергающий в смущение современную католическую Европу!). Статские советники слушали, хлопали

---

[1] вечере.

глазами и расходились по домам «смущенные и очи опустя». А княгиня, оставшись наедине с самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологические диссертации на пол, садилась к окну и с каким-то безнадежным томлением устремляла вдаль глаза свои. Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждет? — на' эти вопросы я отвечать не берусь. Я знаю только, что когда маленькому князенку стукнуло десять лет, она с каким-то лихорадочным нетерпением начала торопить старого Ферлакура, чтоб он как можно скорее приискивал сыну воспитателя.

Княгине понравилась и неловкость Велентьева, и даже его необыкновенный французский язык. Тут было много пикантного, много такого, над чем можно было поработать. Она прямо взяла Менандра под свое покровительство и, надо сказать правду, повела дело приручнения дикаря с большим тактом. Прежде всего, она внушила ему полное доверие к себе своим ровным, мягким и открытым обращением. Из своих отношений к нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву, что она выдерживает школу, а не свободно относится к нему. Потом, она предприняла внушить ему, что она «святая» (une sainte), и в этом качестве имеет некоторое право снисходительно указывать людям на их недостатки, без всякого намерения оскорбить их самолюбие. Пользуясь тем, что Менандр занимал должность воспитателя ее сына, она часто и подолгу беседовала с ним, но никогда не давала заметить, что его открытый бас по временам уже слишком переходит в порывистый вой или глубокомысленное урчание, а только нюхала спирт и противопоставляла этим странным голосовым тонам мягкие и ровные тоны своего собственного голоса.

Вслушиваясь в ее свободно льющуюся, хотя и несколько бесцветную речь, Велентьев невольным образом сравнивал ее с своими захлебываниями и начинал догадываться, почему княгиня ощущает потребность нюхать спирт, когда он говорит. И вследствие этих сравнений, его собственная речь невольным образом, хотя и не без некоторой с его стороны работы, становилась все более и более спокойною. Та же самая тактика была с успехом применена и относительно прочих внешних манер. Княгиня начала с того, что, идя к обеду, потребовала, чтоб Велентьев подавал ей руку, но когда она сделала это в первый раз, то Менандр, во-первых, бросился к ней со всех ног и чуть не обрушился на нее всем корпусом, и, во-вторых, изогнулся таким образом, что сам князь удивился и сказал: «Нет необходимости, друг мой, столь вяще изломиться». С тех пор княгиня всегда сама подходила к Ме-

нандру, брала его за руку и в качестве «святой» позволяла себе незаметно сообщать его корпусу надлежащее направление. В результате оказалось, что через какой-нибудь месяц Велентьев говорил очень приятным и изъятым от всякой натуги басом и имел походку настолько непринужденную, что княгиня без всякого риска могла даже при гостях призывать его к себе с другого конца комнаты.

По вечерам княгиня читала с Велентьевым Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потом, под предлогом утомления, передавала книгу Менандру. Велентьев, путаясь и краснея, выводил латинские фразы и употреблял неимоверные усилия, чтобы произносить их как можно более в нос. Княгиня с ангельским терпением выносила эту тарабарщину, и только тогда, когда можно было сделать это без неприличия, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

— Вы читаете с большим одушевлением,— дружески говорила она,— я редко слышала чтение до такой степени ясное, как ваше; но произношение у вас еще недостаточно выработано. При ваших блестящих способностях, вы, конечно, в самое короткое время успеете преодолеть небольшие трудности языка.

И действительно, постепенно Менандр до того навострился, что даже сам старый Ферлакур, выслушав, в одно прекрасное утро, его рапорт о вчерашних воспитательных занятиях юного князька, в изумлении воскликнул:

— Ah ça! ah mais! mais il est tout à fait comme il faut, ce coquin de séminariste![1] Еще одно вящее усилие, мой юный друг, и днесь все будет к наилучшему концу!

По временам княгиня посвящала его и в тайны светского разговора. Обыкновенно это случалось вечером, когда в доме не было гостей, когда старый князь уезжал в клуб, а маленький князек уже спал. Начитавшись Массильона, перебрав все доводы pro и contra[2] воссоединения церквей, княгиня в задумчивости полулежала на кушетке, а Менандр, сложив губы сердечком (от этой скверной привычки даже она не могла его отучить), сидел против нее.

— Ах, что-то будет за гробом? — произносила княгиня, закрывая глаза.

— Я полагаю, будет жизнь бесконечная,— отвечал Велентьев.

Княгиня некоторое время молча вздыхала. Не особенно вы-

---

[1] Вот так так! ну-ну! но он вполне порядочный, этот плут семинарист.
[2] «за» и «против».

сокая грудь ее слегка колебалась, голова закидывалась назад; складки темной шелковой блузы мягко вздрагивали.

— Нет, я не об том,— начинала она вновь,— я хотела бы знать, что̀ такое ангелы?

— Ангелы-с — это бесплотные духи. По крайней мере, так учит наша святая православная церковь.

— Однако многие праведные люди их видели. Согласитесь, что если б они были совсем-совсем бесплотными, разве можно было бы видеть их?

— Нетленным очам, ваше сиятельство, я полагаю...

— Ах нет, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотела быть ангелом! Только тогда, быть может, я убедилась бы, что̀ такое значит «бесплотная», и в то же время плоть есть.

— Ваше сиятельство! Ежели судить по сердцу, то и в настоящее время едва ли впадет в ошибку тот, кто будет утверждать, что вы ангел!!!

— Вы думаете?.. Однако... я не бесплотная...

Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьев краснел как рак и начинал тяжело дышать.

— Я не бесплотная,— тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая в мечтательность.

Через несколько времени Менандру было объявлено, что он причислен с чином коллежского секретаря к одной из канцелярий. Но так как на его руках лежало более важное дело воспитания молодого Ферлакура, то само собой разумеется, что все его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться получением за отличие чинов. Это было время его перевоспитания, то время, когда он должен был совлечь с себя ветхого семинариста и облечься в ризу серьезного молодого человека, до тонкости понимающего приличия света. Княгиня продолжала заниматься его перевоспитанием со всем увлечением экзальтированной женщины. Она переговорила с ним все разговоры того времени, но под конец как-то всегда сводила речь к ангелам и старалась допытаться, в чем заключаются особенности ангельского жития. Он же, с своей стороны, осмелился до того, что мало-помалу стал заводить речь о «телесном озлоблении» и, по зрелом рассмотрении этого предмета, приходил к заключению, что «сколь сие ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнее воспарить».

— Какой вы, однако ж, материалист, Менандр! — с легким укором выговаривала ему княгиня.

— Невозможно, ваше сиятельство! — возражал он,— извольте рассудить сами; естественное ли дело, чтобы душа че-

ловеческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающие ее узы не находят себе надлежащего разрешения?..

Княгиня на минуту задумывалась и потом, как бы про себя, произносила:

— Au fond, peut-être, vous êtes dans le vrai![1]

А молодой Ферлакур между тем подрастал, приятнейшим образом проводя время в девичьей, в обществе нянек и горничных, и лишь по временам ощущая на себе воспитательное влияние Велентьева.

Года через три Менандр, однако ж, сообразил, что, предаваясь разговорам об ангельском житии и телесном озлоблении, он не только не уйдет далеко, но даже может скомпрометировать свое будущее. Он понял, что как ни ангелоподобна княгиня, но к этой ангелоподобности уже начинает примешиваться некоторое количество «телесного озлобления». Затем представился вопрос: что̀ такое княгиня и что̀ такое он сам? Вопрос этот Велентьев, нимало не обольщаясь, разъяснил себе таким образом: княгиня — женщина избалованная, капризная и притом властная; он же — червь, в самом реальном значении этого слова. Поэтому он решился оставаться, в отношениях своих к княгине, на почве исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазиями, как бы ни легко казалось их осуществление...

В это время молодой Ферлакур поступил в университет. Затем, хотя обязанности воспитателя и продолжали по-прежнему лежать на Велентьеве, но он был уже настолько свободен, что мог, без ущерба для этих обязанностей, искать для себя и других занятий. Вследствие этого, он начал порываться на действительную службу, и устроил это дело так ловко, что сама княгиня убедилась, что действительно государственному механизму чего-то недостает и что этот пропуск может быть лучше всего восполнен Велентьевым, у которого кстати была наготове целая законодательная система, ждавшая только удобного случая для своего осуществления.

— Законы, ваше сиятельство, к тому должны быть направлены, чтобы всех людей добродетельными сделать! — так формулировал Менандр свой взгляд на законодательство.

— Странный вы человек, Велентьев! разве кто-нибудь сомневался, что люди обязаны быть добродетельными! Но как этого достигнуть? — возражала княгиня.

— Достигнуть, ваше сиятельство, всего возможно, если правительством будут допущены необходимые в сем случае приспособления.

---

[1] В сущности, быть может, вы правы!

— Я понимаю: вы хотите сказать, что в основание законодательства следует положить систему наказаний и наград?

— Точно так, ваше сиятельство. Ежели для добродетели будут ассигнуемы от правительства поощрения и награды, а пороку будут указаны в перспективе арестантские роты и смирительные дома, и ежели указания эти будут выполнены неупустительно, то всякому вразумительно будет, по какой стезе ему надлежит идти.

— Да, но вы забываете, что смирительные дома уже существуют, а что касается до наград, то вряд ли казна будет в состоянии...

— Ваше сиятельство! Я так об этом предмете думаю, что истинно добродетельный человек, и не обременяя казны, сам себя сумеет вознаградить, если ему будут преподаны надлежащие к тому средства!

Одним словом, при содействии княгини, Менандр в скором времени очутился в самом центре той кипучей деятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разработывается общественное прокрустово ложе...

Двадцатые года были уже на исходе, и прежний пиетизм заменился страстью к законодательству. Канцелярия, в которой приютился Велентьев, занималась преимущественно законами. Там писались новые законы, изменялись, согласовались и редижировались старые. Целые полчища семинаристов окунали перья в сокровищницу первозданного, неиспорченного человеческого мышления и, «замаравши их тамо», предавались «изобретению неослабных и для всеобщего употребления пригодных правил и узаконений». Целые вороха подготовительных работ валялись в шкафах и по столам; тут были и предварительные объяснительные записки, и сравнительные таблицы, и какие-то громадные листы, с наклеенными на них печатными вырезками. Слонообразные юноши-семинаристы без устали копались в этих ворохах, и начальство, взирая на них, с удовольствием помышляло, что существуют же на свете телеса, которых даже подобная работа сломить не может.

Здесь Велентьев встретил товарищей по академии, с которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тут были они все: и Гиероглифов, и Мудров, и Быстроумов, и Словущенский. На них лежали тогдашние упования России, и, как известно, лежали не напрасно. Товарищи встретили Менандра не только без зависти, но даже с сердечностью и радушием. Вскоре они ввели его в свой интимный кружок, который, по-видимому, преследовал какие-то особые

цели и потому имел внешние признаки недозволенного правительством общества.

Кружок этот назывался «Дружеским союзом для изыскания средств и достижения целей». Цель союза формулировалась так: произвести повсеместное парение духа, имея притом в виду достижение высших блаженств. В тридцатых годах — это уже не дозволялось. Ближайшим средством к этой цели предлагалось следующее: опутать Россию целою сетью семинаристов-администраторов и семинаристов-законодателей, так как им одним, «яко видевшим процветший в единую от нощей жезл Ааронов», вполне доступно истинное представление о высших блаженствах. Будучи введен в это общество, Велентьев немедленно и с полною ясностью определил себе тот путь, по которому ему надлежит идти, то есть предпринял изгнать от него все относящееся к парению духа, яко противоправительственное.

Как и во всяком обществе людей, соединившихся с известными целями, в «союзе» были две партии: радикалы и умеренные. Во главе радикалов стояли: Гиероглифов и Мудров, во главе умеренных (иначе «суетных») находились: Быстроумов и Словущенский. Как составители законов, эти молодые люди руководили всем движением; за ними уже стояли целые полчища Рождественских, Спасских, Неглигентовых и проч., имевших более скромные должности в различных департаментах.

Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились к «парению духа»; они небрегли внешностью, были чрезмерно худы и длинны, одевались плохо, причесывались по принуждению и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинств ее. Словом сказать, они охотно отдали бы на поругание тела свои, лишь бы достигнуть «высших блаженств».

«Я желал бы, чтобы псы терзали меня!» — вдохновенно говорил Гиероглифов. Напротив того, «суетные» были люди слегка тронутые материализмом, и хотя признавали «парение духа» лучшею формою человеческого счастия, но признавали это под условием укрощения телесного озлобления при посредстве «незазорных и дозволенных правительством лакомств». Им улыбался суровый с виду, но в сущности очень покладистый правительственный материализм, в виде приношений, взяток, акциденций и проч. По наружному виду, это были люди кругленькие и сытенькие; одевались они не без семинарской щеголеватости, причесывались каждый день, и не только не признавали правила «предлагаемое да ядим», но, напротив того, всегда выбирали, по возможности, лучшие куски. Тел своих на поругание они не отдавали, а, напротив, желали

«в полном спокойствии и мире душевном сквозь горнило испытаний пройти, дабы впоследствии от трапезы блаженств благочинно и непрепятственно вкушать».

Менандр Велентьев сразу встал на сторону «суетных» и даже скоро сделался руководителем и главой этой партии. Случайно высказанное им княгине убеждение, относительно средств для укрощения телесного озлобления, глубоко запало ему в душу. Сначала укротить, а потом — воспарить. Немедленно по вступлении в союз он напечатал за подписью Z. в одном из журналов того времени статью под названием «Что означает истинное умерщвление человеческой плоти?», в которой доказывал, что истинное умерщвление плоти есть «благопотребное и в дозволенных законом размерах оной удовлетворение». «Неспорно,— писал он,— что плоть человеческая имеет естество в достаточной степени гнусное, но так как мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во внимание». Статья эта наделала большого шума; Гиероглифов и Мудров написали каждый по ответной статье, в которых изъяснили, что хотя г. Z. им и неизвестен, но, должно быть, имеет душу низкую, так как даже имени своего под статьей подписать не дерзнул. Тогда Велентьев написал другую статью под названием «Что сим достигается?» — победоносным образом доказав, что сим достигается именно то самое свободное парение духа, о котором хлопочут и Гиероглифов с Мудровым. «Когда дух наш свободно и бодро парит?» — вопрошал он себя, и тут же ответствовал на вопрос: «Тогда, когда плоть молчит; молчит же она не тогда, когда чувствует себя угнетенною, но тогда, когда требования ее вполне и на законном основании удовлетворены».

Полемика эта, как и все полемики, никакой пользы для науки духознания не принесла, но для самого Велентьева имела результат очень существенный. Вопрос о телесном озлоблении выяснился для него настолько ясно, что его неотступно начало преследовать страстное представление о месте советника в одной из казенных палат. Получить место советника питейного отделения и потом воспарить — такова была отныне заветная мечта Велентьева, мечта, осуществление которой сделало его равнодушным даже к «изобретению пригодных законов». Только в звании советника он надеялся найти для себя ту награду, которую, по его же словам, истинно добродетельный человек, не обременяя казны, сам для себя получить может. Получить место по питейной части и затем приличным образом пристроиться, избрать себе в подруги девицу не весьма знатную, но и не низкого рода, не весьма богатую,

но и не бесприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую,— таков был план, на котором остановилась мысль Менандра.

К счастию для Велентьева, привести в исполнение оба эти предположения оказалось нетрудным.

Если в синодальном ведомстве играл видную роль князь Оболдуй-Ферлакур, то в финансовом ведомстве такую же роль играл эйзенахский уроженец фон Юнгфершафт, в то время уже возведенный в графское Российской империи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопрос о национальностях дремал под сенью венских трактатов, а потому все выходцы поддерживали друг друга без различия национальностей. Ферлакур шепнет словечко Юнгфершафту насчет местечка по питейной части; Юнгфершафт, в свою очередь, порекомендует Ферлакуру какого-нибудь архимандрита — и, благодаря взаимным услугам, дела об определениях и увольнениях шли как по маслу. Архимандриты, советники, исправники — все видели себя агентами одной и той же короны, только по разным предметам, распределение которых хранилось в высшей регистратуре. Велентьеву пришлось дожидаться не долго. Княгиня так усердно хлопотала, что чрез месяц после того, как зародилась идея о месте, Менандр уже являлся к самому Юнгфершафту и получал от него наставления, каким образом следует обращаться с российскими финансами. Граф был сухой и бесстрастный старик, говоривший глухим и однообразным басом. Молва считала его бескорыстным, и, по-видимому, он оправдывал это мнение; но, к сожалению, из долговременной административной практики он вынес какое-то глубоко безнадежное убеждение о России.

— Сей страна от природы таков,— говаривал он,— что в нем без грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева граф принял с тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

— Ви отправляетесь в одну из наивыгоднейших губерний Российской империи,— сказал он ему,— но прошу вас — я не приказываю, но прошу — имейте рот не столько широкий, как многие из сослуживцев ваших!

— Помилуйте, ваше сиятельство! — заикнулся было Менандр, у которого от этих слов душа уже начала полегоньку парить.

— Я знаю, что ви хотите сказать,— невозмутимо продолжал старик,— ви хотите сказать, что ви не таков. Я должен вам верить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вам: сожалейте ваш родной страна! Это очень добрый и хороший страна, но нужно немного его менажировать!

Велентьев продолжал раскрывать рот, видимо порываясь разуверить графа, но старик был невозмутим.

— И еще прошу вас,— говорил он,— не будьте нетерпелив! Мы для всех предлагаем очень хороший обед, но много людей имеют так мало терпенья, что бросаются кушать, когда еще стол не накрыт. И за то попадают под суд.

На губах графа играла чуть-чуть заметная улыбка; глаза смотрели ясно, как будто читали насквозь в душе этого вскормленника гороховицы, все фибры которого в эту минуту светились вожделением. Под лучом этого взгляда Велентьеву сделалось жутко, почти стыдно.

— И еще скажу,— продолжал напутствовать граф,— не всё грабить! Очень большой человек грабить не надо. Ибо ежели закон говорит: действовать не взирая на особ, то практика говорит не так. Прощайте, господин Велентий!

Велентьев вышел от графа словно из бани. С одной стороны, уста по привычке шептали: ангел, а не человек! — с другой стороны, он чувствовал, что ему неловко, что граф угадал в нем нечто такое, в чем даже он сам не решался дать себе отчет. И притом угадал с такою чуткою проницательностью, что, говоря по совести, не было возможности что-либо возразить.

Как бы то ни было, но предположение относительно места осуществилось; оставалось осуществить другое предположение — относительно вступления в законный брак. Фортуна и на этот раз не оставила Менандра своим покровительством.

У княгини жила в доме троюродная племянница, одна из многочисленных представительниц захудалого грузино-осетинского рода князей Крикулидзевых. Княжне Нине Ираклиевне было под тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, с большим грузинским носом и быстрыми черными глазами, она незаметно копошилась в одном из темных углов обширного синодального дома, не обращая на себя ничьего внимания и, по-видимому, отказавшись от всякой надежды на вступление в брачный союз. В постоянном одиночестве, она приобрела одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшие подачки, которые давала ей по праздникам княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сделать в Гостином дворе или в Милютиных лавках закупки: тогда она уэкономливала несколько рублей и присовокупляла их к прочим. Сверх того, у нее было в Пензенской губернии небольшое имение (не более тридцати душ), доходы с которого она тоже прятала. Никто не знал, в чем заключается это имение и приносит ли оно что-нибудь, но она знала это от-

лично и, пользуясь в доме тетки полной свободой, неслышно и незримо для всех делала очень выгодные финансовые операции. Операции эти заключались в отдаче крестьян в солдаты «за дурное поведение», в продаже рекрутских квитанций, в покупке на своз душ, в продаже девок и проч. Операции не блестящие, почти незаметные, но верные и прочные. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Ионки-подлеца, которого казенная палата не соглашалась принять в рекруты по случаю искривления позвоночного столба, в доме над нею смеялись и говорили: cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon! [1] — и затем, конечно, обхлопатывали дело так, что Ионку-подлеца принимали, несмотря на искривление позвоночного столба. А она прикидывалась казанской сиротой, а через месяц или через два снова возбуждала вопрос об отдаче в солдаты подлеца Ипатки, у которого на правой руке не оказывалось указательного перста.

— Calmez-vous, chère enfant! — успокоивал ее старый князь,— j'intercéderai! cela s'arrangera! [2]

И Прошки, Ипатки, Ионки исчезали бесследно в качестве кашеваров, лазаретных служителей и прочих фурштатских чинов великой российской армии.

Но под конец и в доме стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно в то время, когда ей исполнилось тридцать лет и она, постепенно чернея, сделалась уже совсем черною. Догадался и Велентьев, но, прежде чем на что-нибудь окончательно решиться, он стал исподволь похаживать по коридору, в который выходила комната княжны. Княжна, с своей стороны, заметила эти прогулки и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая забитостью, одиночеством и страстью к деньгам, вдруг вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться в зеркало и незаметно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сделались томные, голос зазвучал резче, нос еще более заострился и вытянулся. Наконец, в одно послеобеда, встретившись с Велентьевым в коридоре, она пригласила его в свою комнату и угостила прекраснейшим вареньем.

— Вы, может быть, думаете, что у меня денег нет? — сказала она, вдруг приступая к самому существу дела,— нет, у меня есть деньги!

Велентьева бросило в жар при этом признании.

— Я недавно купила сто мужиков на своз,— продолжала

---

[1] бедная Нина! как ей не везет!

[2] Успокойтесь, милое дитя! я вмешаюсь, все устроится!

княжна,— и ежели эта операция удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сиятельство! — захлебнулся Велентьев.

— А когда я буду выходить замуж, то ma tante даст мне еще десять тысяч. Эти деньги я думаю отдавать в рост.

— Ваше сиятельство! осмелюсь доложить...

— Вы думаете, может быть, что отдавать деньги в рост — дело рискованное, но я могу сказать наверное, что тут никакого риску нет. Почти все заложенные вещи остаются невыкупленными и достаются мне за бесценок. Посмотрите, сколько у меня прекраснейших вещей!

И она выложила перед ним целый ворох табакерок, булавок и т. п.

— Все эти вещи теперь мои,— сказала она,— потому что все они просрочены. Когда вы будете нюхать табак, то я вам подарю одну из этих табакерок. Скажите, вы в каких отношениях к ma tante?

— Помилуйте, ваше сиятельство. Княгиня — ангел-с! смею ли я подумать!

— Гм... ангел! А Федосея Семеныча вы знаете?

— Нет-с, не имею чести...

— Ну, так вот он мог бы сказать вам, какой она ангел. Теперь он секретарем в вятской духовной консистории служит.

Это был единственный амурный разговор между Велентьевым и княжною. Тем не менее он заключал в себе настолько содержательности, что участь обоих действующих лиц была решена. Через месяц княжна Нина Ираклиевна Крикулидзева уже носила фамилию Велентьевой, и молодые в великолепном нохимовском дормезе (подарок ma tante) отправлялись в губернский город Семиозерск. Через год у них родился сын Порфирий.

Таким образом, уже с колыбели Порфиша очутился, так сказать, на самом лоне финансовых операций.

Менандр Семенович взглянул на свою должность с тем невозмутимым практическим смыслом, которым он всегда отличался. Конечно, в качестве бывшего семинариста, не отвыкшего еще во всяком деле прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, он увлекся было разъяснением вопроса о правах и обязанностях, сопряженных с званием советника казенной палаты, но к чести его должно сказать, что увлечение это было непродолжительно. Он быстро понял современную ему действительность и с свойственною ему проницательностью угадал, что отыскивать в ней что-либо, отвечающее понятию,

выражаемому словами: права и обязанности,— было бы совершенно напрасным трудом. Нельзя же, в самом деле, признать за нечто существенное такое право, как, например, право носить мундир с шитьем шестого класса или такую обязанность, как обязанность являться в собор и по начальству в табельные дни. Все это не больше, как принадлежность чиновничьего этикета, который, в общем своем составе, хотя и подразделялся на рубрики, носившие наименование «прав и обязанностей», но очевидно, что это произошло лишь вследствие недоразумения. В сущности, всякий, как чиновник, так и простой обыватель, жил как мог, то есть не знал ни прав, ни обязанностей, а просто-напросто занимался приобретением в свою пользу материальных удобств настолько, насколько это позволяла личная возможность приобретать. И уж конечно, никто не стеснялся мыслью, что существует на свете какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имеют название прав и обязанностей.

Итак, ни прав, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кроме того, опасение не попасть под суд. Но желание есть такая вещь, которая присуща природе человека, даже независимо от степени нравственного и умственного его развития. И дикарь нечто желает, несмотря на то что он не имеет понятия ни о правде, ни о добре, ни об общественном интересе. Поэтому, если существует общество, в котором все высшие интересы сосредоточиваются исключительно около мундирного шитья и других внешних проявлений чиновничьего этикета, то ясно, что в этом обществе единственным регулятором человеческих действий может служить только личная жадность каждого отдельного индивидуума, и притом жадность эгоистичная, уровень которой немногим превышает уровень жадности дикаря. Может человек унести и спрятать или не может? может заглотать облюбованный кус или не может? — вот круг, в котором вращается человеческая жизнь, вот вся ее философия.

Несмотря на свою грубость, эта теория улыбалась Веленьтеву. Во-первых, она не только совпадала с его теорией угобжения плоти (дабы дух мог беспрепятственнее воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполнение второй половины задачи (парение духа) естественному ходу обстоятельств. Возможет дух воспарить — прекрасно; не возможет — стало быть, обстоятельства тому не благоприятствуют. И дешево и сердито.

Во-вторых, ежели другой, лучшей теории нет, то делать нечего, надобно мириться и с тою, какая есть. Только безумцы могут отыскивать жемчужное зерно в навозе, мудрый же до-

вольствуется и овсяным зерном. Притом же, и правительство одобряет, дабы никто жемчужного зерна не искал. Мудрый прежде всего ищет, чтоб у него была почва под ногами, и ежели эту почву составляет навоз, то он и на навозе не погнушается строить здание своего благосостояния. В-третьих, наконец,— и это самое главное,— теория личной жадности встречала на практике такие приспособления, которые примиряли с нею самого взыскательного и щепетильного моралиста.

Взятая сама по себе, она была безнравственна — Велентьев охотно допускал это. Если б всем людям без различия была предоставлена возможность свободно проявлять стремления своего аппетита, то последствия этой свободы были бы самые пагубные. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеобщее обеднение. По крайней мере, так гласит наука не только тогдашнего, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандр Семенович не одобрял. В качестве вскормленника семинарии он ненавидел военные упражнения и любил сосать свой кус не токмо нетревожно и несмущенно, но так, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила подателя всех благ. С другой стороны, как патриот, он понимал, что ежели все куски сделать равными, то человеческая деятельность утратит главнейший свой стимул: соревнование. Каждый будет доволен (или вынужден казаться таковым) своей долей и не станет порываться урвать долю, сосомую соседом. Люди одичают, сделаются ленивыми и беспечными, утратят инстинкт предусмотрительности и запасливости — на что похоже! Фабрики и заводы прекратят свое действие; промышленность придет в упадок; торги запустеют, земледелию будет нанесен удар, от которого оно никогда не оправится. Что станется с отечеством? — Велентьева подирал мороз по коже от этого вопроса. Но, к счастию, ему не представлялось даже надобности разрешать этот вопрос, ибо само отечество позаботилось о его разрешении.

Русское общество, с самого начала XVIII века, порывалось создать теорию такой регламентации аппетитов, которая приличествовала бы обществу вполне цивилизованному, оберегающему себя и от анархии, и от всеобщего обеднения. Попытки эти выразились в форме очень незамысловатой, но в то же время очень действительной, а именно — в форме табели о рангах. Общество не лукавило; оно не прибегало для оправдания своих теорий к помощи сложных и извилистых политико-экономических афоризмов, которые, впрочем, не столько разрешают вопрос об уравновешении человеческих аппетитов, сколько описывают, каким образом в действительности происходит ограничение одних частных аппетитов в пользу других

таковых же. Оно поступило проще, то есть разделило аппетиты на ранги, и затем сказало, что только действительно сильный и вполне сознающий себя аппетит может выйти из того ранга, в который его поместила судьба. Это была своего рода цельная и оригинальная экономическая наука, которая, в главных чертах, разделяла обывателей на следующие четыре разряда. Одним предоставлялось желать, но не получать желаемого; другим — желать и получать, но не сполна; третьим — желать и получать сполна; четвертым — желать и получать в излишестве.

Таким образом, вопрос о безнравственности теории индивидуальных аппетитов был устранен, и это тем более утешило Велентьева, что, в большинстве случаев, с табелью о рангах уходил на задний план и вопрос о силе аппетита, или, лучше сказать, вопрос этот ставился в полнейшую зависимость от разрядов. Конечно, исключения допускались (сам он, Менандр Велентьев, был одним из таких исключений), но исключения, как известно, только подтверждают и узаконяют правило. По общему же правилу, будь человек хоть семи пядей во лбу, имей он хоть волчий аппетит, но ежели, по щучьему велению, он засел в разряд неполучающих, то и не выкарабкаться ему оттуда ни под каким видом.

«— Да-с, и сиди да посиживай там! вот и хотелось бы тебе, курицыну сыну, что-нибудь стибрить — ан врешь, руки коротки! Припасено, милый человек, да не про тебя!» — мысленно говорил себе Велентьев, потирая руки.

Столь прекрасные практические приспособления совершенно успокоили Менандра Семеновича. Он чувствовал, что аппетит у него сильный, что сам он, по мере возможности, готов пожрать все, что угодно, и что обстоятельства благоприятствуют не только содержанию этого аппетита в исправности, но даже и развитию его в будущем. Тем не менее он был настолько благоразумен, что на первый раз, по собственному движению, причислил себя не к четвертому, а лишь к третьему разряду обывателей. Четвертый разряд — это идеал, это светозарный пункт, к которому надлежит стремиться и по возможности достигать. Третий разряд — это «следуемое», это то, что, во всяком случае, должно быть. Велентьев понял, что, прежде, нежели требовать от судьбы излишков, человек должен достигать «счастия», то есть такого душевного равновесия, при котором он имеет право сказать: я мало имею, но и за сие малое восхвалю господа моего в тимпанах и гуслях! Достигнуть же этого блаженного состояния можно лишь тогда, когда желания человеческие строго согласованы с средствами их осуществления, и когда, вследствие этого согласо-

вания, произойдет получение желаемого сполна. Разумеется, неприятно видеть, как сосед держит во рту кусок (иной и держать-то путем не умеет!), но на первых порах и эту неприятность следует перенести стоически. Пускай цари живут в позлащенных дворцах — он, Велентьев, поживет и на Козьей улице, в собственном домике с садом и палисадником. Всякому свое — вот правило мудрого; тот же мудрейший, который пожелает возвести это правило на ту высоту, где уже теряется различие между твоим и моим,— все-таки должен хотя на время притвориться лишь просто мудрым. Поэтому: советнику ревизского отделения — свое; губернскому контролеру — свое, поменее; губернскому казначею — свое, еще поменее; ему, Велентьеву, яко советнику питейного отделения,— свое, против других сугубо. Но, до поры до времени, ни ему нет дела до чужих кусков, ни другим — до его куска. Всякий да сосет свой кус под смоковницею своей.

«Прибыл я в патриархальный наш Семиозерск,— писал Велентьев к другу своему Словущенскому,— и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинциалы все сие устроили. Представь себе немалое здание, множеством камер исполненное. Одному дана камера посветлее и пообширнее, другому — не столько светлая и обширная; однако ж никто, начиная с презуса и кончая последним канцелярским служителем, не забыт. И скажу тебе откровенно, мой друг! Мнится, что не тот счастлив, кто имеет самую светлую и обширную камеру, но тот, кто и в своей посредственной камере умеет с чистым сердцем прожить!»

В те времена места советников казенных палат (в особенности же питейных отделений) считались самыми завидными. Хотя грабеж шел неусыпающий, но так как он был негромкий, то со стороны казалось, что это не грабеж, а только получение желаемого. Поэтому, кроме хороших доходов, тут был и почет. Какой-нибудь совстник губернского правления, чтобы поставить себя, в материальном отношении, на одну высоту с советником казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти в пай с убийцами, или скрасть сенатский указ, или сделать подлог. То есть, говоря выражением того времени, должен был «замараться», ибо лишь за дела, сопряженные с «замаранием», он получал мзду настолько существенную, что «не совестно было ее взять». Напротив того, советник казенной палаты мог не только гнушаться убийцами, но просто имел право сидеть сложа руки и, как говорится, ждать у моря погоды — и ни десница, ни шуйца его от того не оскудевали. Ему нужно было только состоять в звании советника — и взятка притекала к нему сама, и притом взятка

самая «благородная», такая, которую и «не стыдно было взять» (в количественном смысле) и для получения которой не нужно было ни «мараться», ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что места эти ценились высоко и достигались лишь с помощью сильной протекции или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и в казенных палатах питейные отделения казались чем-то исключительным, вроде рая земного. Прочие советники хоть по временам, но должны были красть и вымогать;[1] советник питейного отделения — никогда! Он мог, никого не угнетая, а напротив, всех радуя, прожить свой век — и, во всяком случае, получить желаемое сполна и в определенные сроки. В его заведовании было самое тучное, благонравное и сговорчивое из всех стад, какие когда-либо вверялись человеческому пасенью. То было стадо откупщиков и винокуренных заводчиков. Тучное и покладистое, оно привлекало к себе все сердца еще тем, что было немногочисленно и неразнообразно, а следовательно, не представляло опасностей и относительно болтовни. В этом маленьком, однородном и по природе податливом мире между пасущими и пасомыми истари завязались такие крепкие отношения, которые образовали собой целое «положение», имевшее, пожалуй, более силы и обязательности, нежели положения, освященные законом. Это добровольное, выработанное самою жизнью, «положение» выполнялось с точностью вернейшего часового механизма и притом самым «благородным» образом. Одним словом, благодаря ему советник питейного отделения мог, нимало «не марая́сь», получать все то, что и он и сам взяткодатель считали бесспорно ему принадлежащим.

Каждогодно, в сентябре, производились в палате торги на поставку вина, и каждый заводчик безропотно вносил «на братию» от шести до осьми копеек ассигнациями с ведра, смотря по тому, какое существовало в губернии «положение». Откупщик, с своей стороны, тоже руководился «положением», внося свою дачу по третям года или помесячно, и притом всегда вперед, так что даже в случае смерти получателя деньги эти

---

[1] Так, например: советник ревизского отделения обязан был щупать рекрутские тела, выслушивать плач, стоны и проклятия, кривить душой при приеме охотников, входить в пререкания с лекарями и военными приемщиками и т. д.; губернский контролер, чтобы получить мзду, нередко оставлял без утверждения даже самые правильные отчеты, так что ему давали взятку только затем, чтоб развязаться с ним; на места губернских казначеев попадали древние старики, которые жили подачками при подписании указов о выдаче денег, а также подарками, получаемыми от уездных казначеев. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

не возвращались. Наконец, являлись по временам и отдельные случаи: взятие откупа в казенное управление, корчемство, пререкания между откупщиками двух соседних уездов и т. д. Но и эти случаи были предвидены «положением», и ежели не математически верно, то приблизительно были им разрешены. Следовательно, в виду всегда имелась живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споров, ни пререканий. Приедет заводчик, скажет: «по «положению» имею честь вручить»; советник пожмет ему руку и ответит: «напрасно беспокоились, а впрочем...» Только всего и разговоров.

Затем, замок щелкал, и «следующее по положению» скромно присовокуплялось к прочим таковым.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава — все приносили от избытков своих, а тот, кто терпел,— не жаловался, да вряд ли и понимал, что он терпит.

Столь превосходные качества мест требовали и строгого выбора лиц для занятия их. Лица эти были люди солидные, обладавшие вполне благонадежными качествами ума и сердца. Многие из советников питейных отделений были тайные поборники масонства, многие числились членами библейского общества и все без исключения отличались набожностью, склонностью к созерцательности и любовью к благолепию службы церковной. Эпархиальные архиереи видели в них опору благочестия, доблестнейших сынов церкви, составлявших украшение воскресных архиерейских пирогов. Центральная власть понимала их как людей, существенно заинтересованных в сохранении существующих порядков, а следовательно, благонамеренных и нестроптивых. Директоры училищ отводили душу, беседуя с ними о боге и его величии. Полицмейстеры указывали на них как на идеал доблестного содержания мостовых и неуклонной вывозки нечистот. В заключение же всего, общество, убежденное, что из всего чиновничьего сословия они одни не имеют надобности «мараться», а только получают следующее «по положению», дарило их своим доверием и выбирало старшинами в местные клубы.

Живя скромно, окруженные общей любовью, никем не огорчаемые, эти люди незаметно становились городскими старожилами, принимали к сердцу местные интересы, делались членами холерных, оспенных и других комитетов и умирали в глубокой старости, оставляя после себя вдов и сирот, которые были бы неутешными, если б хлопоты по утверждению в правах наследства давали им время для продолжительного оплакиванья. И когда печальная колесница увозила к последнему жилищу гроб, на крыше которого красовалась трехугольная шляпа, а внутри покоились бренные останки того, кто еще так

недавно был добрым пастырем откупщиков и винокуренных заводчиков, никто не говорил вслед этому гробу: вот умер один из грабителей русской земли! — но всякий, сотворив крестное знамение, произносил: вот умер человек, который никогда в своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тем, что следовало ему «по положению».

Вот краткий, но правдивый очерк того положения, в котором очутился Велентьев в Семиозерске.

Менандр Семенович инстинктом угадал все, что в его новой роли заключалось существенного, и потому, вступив в должность, почувствовал себя в ней точно так же свободно, как будто он двадцать лет сряду разрешал вопросы об утечке и усышке. Еще перед выездом из Петербурга он понял, что главное в этом деле — это бюджет доходов, и потому прежде всего приобрел себе отлично переплетенную и разлинованную тетрадь с вытисненною на переплете надписью «Разное». На внутреннем же заглавном листе тетради он надписал: «Смета ожидаемых получений» с эпиграфом: *благословиши венец лета благости твоея, господи!* Затем, с свойственною ему проницательностью, он разделил смету на пять следующих параграфов: § 1-й «Содержание, от казны присвоенное *(лепта вдовицы)»*; § 2-й «Положение от откупа *(всякое даяние благо)»*; § 3-й «Положение от господ винокуренных заводчиков *(и всяк дар совершен)»*; § 4-й «Следуемое от винных приставов *(ему же дань — дань, ему же честь — честь, ему же оброк — оброк)»*; § 5-й «Разные поступления *(ищите и обрящете)»*. Сделав это распределение, Менандр Семенович сказал себе, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающие кругообращение советника питейного отделения, найдены, и затем остается только наблюдать, чтоб они своевременно и неукоснительно наполнялись.

По соображениям его, все пять параграфов сметы должны были доставить никак не менее тридцати тысяч рублей на ассигнации в год, без лажа. А так как, при тогдашней дешевизне всех жизненных потребностей и при собственной его умеренной жизни, ему и пять тысяч прожить за глаза, то должен получиться ежегодный остаток в двадцать пять тысяч рублей, который и представляет собой «получение желаемого», или чистый доход. Этот чистый доход предполагалось употреблять на финансовые операции.

В те времена финансовые операции были еще в младенчестве. Никто еще не думал ни о железных дорогах, ни о водопроводах, а тем менее об учреждении компаний для получения от казны пособий. Приращение капитала шло медленно, но зато верно. Большинство чиновников клало свои лепты в ком-

бард на имя неизвестного и предпочитало этот способ приращения всем другим, потому что он не был сопряжен с риском и не допускал огласки.

— Ломбард — святое дело! — говорили чиновники.— Положил, и концы в воду.

Другой способ приращения заключался в одолжении деньгами «верного человека» за хорошие проценты. Тут приращение шло несколько быстрее, но и возможность огласки была настолько значительна, что только мелкие и очень жадные чиновники решались на эту операцию. Третий способ состоял в помещении денег в торговые предприятия, которые обыкновенно велись под чужим именем; но эта операция требовала такого сложного и бдительного контроля, что чиновники, увлекавшиеся выгодами торговых барышей, нередко становились в положение человека, погнавшегося разом за двумя зайцами и ни одного не поймавшего. Наконец, существовала и еще четвертая операция — это покупка и продажа мужиков. Операция эта была совершенно верная и выгодная, но тут огласка была уже полная.

Менандр Семенович, как человек солидный, и операцию выбрал солидную, то есть решился класть свой чистый доход в ломбард. Нельзя сказать, чтобы мысль о более быстром обогащении не улыбалась ему, но он понял, что благосостояние его зависит не столько от тех выгод, которые может доставить ему быстрое обращение благоприобретенных капиталов, сколько от ежегодных и совершенно верных присовокуплений, которые сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не иссякающую операцию, которую он мог предпринять без риска, а потому он дал себе слово оберегать ее от всяких случайностей и содержать этот источник столь чистым и прозрачным, как ему в том перед начальством и на Страшном суде ответ дать надлежит.

Только два раза, в продолжение своей служебной карьеры, Велентьев отступил от этого мудрого правила; оба раза по настоянию Нины Ираклиевны, и оба раза с ущербом. Один раз он «одолжил» за хороший процент довольно значительную сумму совершенно «верному» человеку, которому притом нужно было «перехватить» двадцать тысяч на самый короткий срок для самой надежной операции. И что же оказалось? Едва получил «верный человек» деньги, как тотчас же словно в воду канул. Только через год он вынырнул, но вынырнул там, где уже не существует ни возвратов занятых сумм, ни надежд на выгодные операции,— в семиозерском остроге. Менандр Семенович поскорбел, упрекнул Нину Ираклиевну в легкомыслии, но давать делу огласку и «мараться» не пожелал. Подобно

древнему Иову, он сказал себе: бог дал, бог и взял,— и затем купил два калача и поехал в тюремный замок.

— Ты у меня двадцать тысяч украл,— сказал он своему должнику,— но я тебе не мщу, потому что мстят только низкие души. Вот, привез тебе два калача: возьми и ешь.

В другой раз он задумал открыть мучной лабаз и торговать под чужим именем хлебом, но и эта операция убедила его, что одному человеку заграбить все деньги никак невозможно. Во-первых, контроль над мещанином, от имени которого производилась торговля, оказался до крайности сложным и даже унизительным. Каждое утро Велентьев запирался с своим агентом в кабинете, проверял счеты, прокладывал выручку, но и за всем тем никогда не мог освободиться от мысли, что агент нечто украл. Как плод этих сомнений, в кабинете раздавались покрякивания и еще какие-то звуки, выражавшие не то недоверие, не то недоумение.

— «Со вчерашними ежели считать, то двести пятьдесят рублей и три четверти копейки, а без оных сто один рубль двадцать две копейки, итого девяносто рублей»,— читал Менандр Семенович отчет,— черт тебя знает, братец, какую ты тут чушь напорол!

Затем счеты складывались, и Велентьев уже без дальнейших околичностей обращался к своему агенту с вопросом:

— Верно?

— Помилуйте, ваше высокородие! осмелюсь ли я?

— Я тебя спрашиваю: верно?

— Вот как перед истинным-с!

— Повтори, какое ты слово сказал?

— Как перед истинным, так и перед вашим высокородием: ни копейки не утаил-с!

— Смотри же помни это! Знаешь что̀ в Писании сказано: не человеком солгал еси, но богу!

Во-вторых, несмотря на клятвы, дело кончилось все-таки тем, что мещанин однажды совсем не явился с отчетом, а вслед за тем объявил себя от собственного имени невинно падшим и исчез. Вторично Велентьев, подобно Иову, воскликнул: бог дал, бог и взял, но с тех пор уже дал себе слово никогда не сворачивать с пути, который указывал ему на ломбард как на единственно верное хранилище чиновнических лепт.

Когда Порфиша начал понимать себя, репутация Менандра Семеновича в Семиозерске уже установилась. Он пользовался общественным уважением, состоял в звании старшины местного клуба, имел на шее орден Св. Анны и в довершение всего обладал дружеским расположением губернатора. Губернатор когда-то принадлежал к секте скакунов, был пойман на

радении в инженерном замке, затем, в виде опалы, сослан в Семиозерск на губернаторство, и вследствие всего этого считал себя философом. Поэтому беседа с Менандром была для него настоящею усладою. Но и среди этих благоприятных условий Велентьев нимало не возгордился, но, напротив того, готов был всякому подать благой совет и даже оказать помощь, разумеется, если она была не денежная.

Порфиша от природы был любознателен, но это качество развилось в нем еще более вследствие таинственности, которою папаша облекал некоторые свои действия. Ежедневно утром Менандр Семенович запирался у себя в кабинете и по истечении некоторого времени выходил оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтриговать Порфишу, и вот однажды, оторвавшись от резвых игр юности, он подстерег момент, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался к ней неслышными шагами, приложил к замочной скважине глаз и увидел следующую картину.

Отец сидел у письменного стола, задом к нему, следил по толстой разграфленной книге и щелкал на счетах. Потом начал перебирать какие-то бумажки, смотрел некоторые из них на свет, щелкнул на счетах, достал новую пачку бумажек, пересчитал и опять щелкнул. Сосчитавши все, как следует, он приступил к сортированию тех бумажек, которые еще не были сложены в пачки, подобрал серенькие к сереньким, красные к красным и т. д. Подобрав полную пачку, он клал ее на стол, причем каждый раз хлопал рукою и боязливо обертывался назад, как бы опасаясь, не наблюдает ли кто за ним. Затем он выдвинул другой ящик, вынул оттуда мешок с полуимпериалами и разложил на столе порядочное количество блестящих столбиков. Наконец, сосчитавши ассигнации и полуимпериалы, он подвел на счетах общий итог, потянулся, крякнул и призвал имя господне. Финансовая операция кончилась; ассигнации и полуимпериалы отправлены в подлежащие ящики; замки защелкнулись. Порфиша отпрянул от двери и поспешил в столовую играть.

Как ни однообразно было это зрелище, но оно полюбилось Порфише. Ему понравился и звон полуимпериалов, и шелест бумажек, тем более что папаша, в качестве члена палаты, постоянно имел ассигнации новенькие. Каждое утро он с лихорадочным нетерпением выжидал начала сеанса и, притаив дыхание, выдерживал его до конца. Он научился различать интонации папашиных покрякиваний, угадывал, когда папаша доволен результатами своего сеанса и когда недоволен. Мало того: никем не наставляемый, он в скором времени стал отличать серенькие бумажки от красненьких и синеньких, и, как

ребенок живой и острый, угадал, что первым надлежит отдать предпочтение перед последними. Словом сказать, инстинкт финансиста в нем заговорил.

Но в особенности интересовали его два месяца в году, а именно: сентябрь, когда производились торги на вино, в просторечии называемые сенокосом, и ноябрь, когда присяжные отправлялись в Петербург за гербовой бумагой и когда папаша отсылал свой чистый доход для вклада в ломбард. В обоих случаях Менандр Семенович заметно волновался, но в первом волновался сладостно и видел веселые сны, а во втором был мрачен и видел во сне воров, мошенников и грабителей. Это волнение длилось до тех пор, пока вино не было окончательно заподряжено и пока доверенный присяжный не вручал Велентьеву нового ломбардного билета на имя неизвестного. Тогда все снова приходило в обычный порядок. Вместе с отцом оживал и падал духом и Порфиша. Не имея никаких положительных сведений ни о заподряде вина, ни о ломбарде, он понимал, однако ж, что названные выше эпохи составляют венец того процесса созидания, которому так неутомимо, в продолжение целого года, предавался его отец. Он смутно чувствовал, что в родительском доме происходит нечто очень важное и решительное, и если бы проницательный человек заглянул в эти минуты в его душу, то убедился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнес слова «капитал», но что слово это уже созрело, и недалеко то время, когда оно слетит с его языка так свободно, как будто именно на этом языке, а не в другом месте, его подлинное месторождение.

Но чем более Порфиша выказывал наклонности к меркантилизму и к счетной части, тем менее поощрял в нем эту наклонность Менандр Семенович. Подобно всем людям, занимающимся накоплением, а не распределением богатств, он как бы несколько стыдился своего ремесла.

Одаренный от природы домовитыми инстинктами евангельской Марфы, он прикидывался беспечною Марией и ни о чем так охотно не беседовал, как о масле, мирре и благовониях. Поэтому он твердил Порфише о добродетели и старался внушить ему чувства невинные и в то же время возвышенные. Но, к величайшему сожалению, у него было так мало свободного времени, что он мог делать эти внушения лишь в самом кратком виде. Утро было занято службой, вечер — клубом; вполне свободным оказывался только небольшой послеобеденный промежуток, который и посвящался вкоренению в ребенке благородных чувств. Отдохнувши и напившись чаю, Менандр Семенович ходил с Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который был разведен им сзади дома, очищал

яблони от червей и гусениц и собирал паданцы. Если яблоко упало вследствие зрелости, то Менандр Семенович, поднимая его, говорил:

— Вот, мой друг, образ жизни человеческой! Едва созрел — и уже упал!

Если же яблоко упало, подточенное червем, то он говорил:

— И тут жизнь человеческая прообразуется! Но не зрелостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потом, указывая на небо, присовокуплял:

— Смотри на небо, мой друг! и оттоле жди себе утешения в коловратностях жизни! Там живет общий отец наш! Люби его, друг мой!

И затем, повернувшись на каблуках, отправлялся в клуб.

Несмотря на краткость этих поучений, Порфиша не любил их. Быть может, он не мог согласить их с теми утренними сеансами, которых он был ежедневным свидетелем, или же вообще в нем мало развита была склонность к риторическим уподоблениям — как бы то ни было, но образ отца представлялся ему двойственным: во-первых, в виде солидного человека, занимающегося процессом созидания, и, во-вторых, в виде сытого празднолюбца, предающегося, в ожидании партии виста, разглагольствиям о каких-то совсем ненужных сравнениях человека с яблоком. За действиями первого он следил с тревогою и любовью; предиками последнего скучал и тяготился. Он не раз даже пытался объяснить себе, отчего папаша утром такой, а после обеда другой, но так как для детского ума разрешение этого вопроса не представляло существенного интереса, то вопрос так и канул в общей бездне мгновенно вспыхивающих и мгновенно же потухающих вопросов, которыми так богато детское существование. Впоследствии, в летах более зрелых, образ отца разглагольствующего окончательно стушевался, и тем рельефнее выступил образ отца, щелкающего на счетах и каждодневного созидающего.

Гораздо цельнее и рельефнее представлялся Порфише образ матери.

Нина Ираклиевна, вышедши замуж и поселившись в Семиозерске, значительно изменилась. И прежде у нее было не много княжеских привычек, теперь же она предала забвению и то немногое княжеское, которое сохраняла в доме ma tante. Фигура ее из тоненькой сделалась круглою и плотною; лицо, утратив желчное выражение, приобрело оттенок довольства и даже добродушия. Вообще, устройство ее судьбы подействовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни приобретать исподтишка, как в доме ma tante. Та страсть, которая была двигателем всей ее жизни,— страсть к приобре-

тению — получила себе вполне свободный выход. Она могла покупать, продавать, выменивать — Менандр Семенович не только не препятствовал ей, но даже радовался, взирая на ее деятельность. У Менандра Семеновича было свое дело, у ней — свое. Она тоже создала себе своего рода палату, в которой и копошилась с утра до вечера.

На половине у мамаши также шел процесс созидания, но шел не потаенно, а в виде непрерывной и совершенно открытой сутолоки, так что Порфиша имел полную возможность следить за всеми его подробностями. Нина Ираклиевна вела операцию очень сложную и замысловатую: она торговала мужиком. Выменивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала в солдаты и проч. Отказавшись лично от этой операции, Менандр Семенович предоставил ведение ее жене тем охотнее, что последняя, как было всем известно, имела свой приданый капитал и свою приданую деревню. Следовательно, ни огласка, ни опасение клеветы — ничто не препятствовало ей производить все свойственные благородному званию и дозволенные законом операции. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьев уделяет своей жене на этот предмет довольно значительные куши, которые в расходной его книге и записываются под рубрикой «воспособления», но так как никто этого собственными глазами не видал и сам Велентьев в том не сознавался, то и выходил один пустой разговор. И Нина Ираклиевна, не смущаясь разговорами, продолжала действовать неутомимо и ловко. Она изучила мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только с точки зрения выжимания так называемого мужицкого сока. Не обращая внимания на этнографические и бытовые стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изучение стороны экономической, и так наметалась в этой науке, что с первого взгляда угадывала, где и что̀ у мужика лежит и какую денежную ценность он собой представляет. Не брезгая мужиком барщинным, она преимущественно любила мужика оброчного, как более избалованного свободой передвижений и, следовательно, более чувствительного ко всяким ограничениям этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю — вот что стояло у нее на первом плане; затем уже следовали другие меры: заставить откупиться от солдатчины, от барщины, от службы в качестве бурмистра и проч. На все это оброчный мужик шел гораздо ходчее барщинного. К тому же, и доход в виде денег представлялся ее уму яснее, нежели доход в виде произведений мужицкого труда. Последние она допускала лишь между прочим, в виде талек, сушеных грибов, полотна, овчин и проч.

Этого добра скоплялись у нее полные кладовые, и она охотно снабжала им мелких семиозерских торгашей.

Комната мамаши представляла целый хаос, в котором только она одна могла разобраться. Тут были сложены вороха талек, полотен, кож и другого крестьянского хлама, и все это с утра до вечера перевешивалось, перемеривалось, записывалось в особые материальные книги и затем отправлялось в кладовые, чтобы на другой день дать место другим ворохам. Тут же, к великому удовольствию Порфиши, лежали и незатейливые сласти: пряники, орехи, леденцы и проч., приносимые мужиками на поклон. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Ираклиевна каждодневно поверяла себя, и в это время, точно так же, как и муж, запиралась в своей комнате, но от Порфиши она не скрывалась и даже делала его соучастником тех наслаждений, которые доставляла ей поверка. Ставши коленами на стул и навалившись всем корпусом на стол, Порфиша, в каком-то очарованном забытьи, всматривался в ряды разложенных пачек и следил за движениями рук мамаши. В комнате делалось тихо; слышался только шелест бумажек, сопровождаемый чуть слышным бормотанием, да изредка раздавалось щелканье косточек на счетах, от которого Порфиша каждый раз вздрагивал, как будто в этом щелканье слышалась ему какая-то сухая, безапелляционная резолюция. Бумажки, в противоположность папашиным, были замасленные, рваные, вделанные в писаную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя внимание Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваные, а у папаши новенькие? — спрашивал он.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мешай, мой друг! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивал руку и дотрогивался пальцем до одной из пачек.

— Отчего же у мужичков рваные бумажки? — спрашивал он опять.

— Оттого, что у них руки потные... не трогай, мой друг! не сдвигай пачек с места! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкал и сидел смирно; но детская подвижность понемногу брала-таки свое, и он снова протягивал руку.

— Мамаша! у Авдея-старосты руки черные-пречерные! — говорил он, пытаясь отвлечь внимание Нины Ираклиевны.

— У Авдея-старосты... да не тронь же, душенька, пачку! в другой раз запрусь и не оставлю тебя с собой!

— Я, мамаша, только пальчиком!

Но вот и мамаша оканчивала поверку. «Слава богу, все

верно!» — говорила она и, уложив пачки в ящик, запирала последний ключом. Затем она на некоторое время предавалась не то что отдохновению, а как бы сладкому сознанию, что все до сих пор шло и идет хорошо, а завтра, быть может, будет идти и еще лучше! Но отдохновение Нины Ираклиевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужные дела, в виде переговоров с сводчиками, конференций с мужиками и старостами, приема оброка, талек, яиц и т. п.

Все сводчики ее знали и наперерыв предлагали имения. Всегда находились люди, которые, постепенно проворовываясь, в одно прекрасное утро усматривали себя в положении, о котором говорится: «хоть в петлю полезай». Поэтому имений, которые нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Ираклиевна зорко следила за такими оказиями, имела на этот случай «руку» в опекунском совете и находилась в постоянных сношениях с сводчиками, которые являлись у ней чуть не каждый божий день.

— Дорого! — обыкновенно отрезывала она, выслушав предложение сводчика и зная, что последний всегда запрашивает если не вдвое, то в полтора раза.

— Сударыня! строениев одних сколько! Избы новые, крытые тесом, скот-с... Опять-таки мельница, лес-с...

— Не люблю я с мельницами возиться... ну их! мне мужика дай!

— И мужики исправные; у одного в Москве на Таганке заведение, у некоторых смолокурни, дехтярные заводцы-с!

— Сколько душ-то, ты говоришь?

— Триста.

— По четыреста за душу... сколько это денег-то выйдет?

— Не по четыреста, а по двести, сударыня, в двухстах они в совете заложены!

— Ну, ин по двести! Сто по двести — это двадцать тысяч... шестьдесят-то тысяч! да ты, сударь, никак, с ума спятил!

Нина Ираклиевна с негодованием отбрасывала счеты и отворачивалась от сводчика к окну.

— За пятьдесят, может быть, отдадут! — заговаривал сводчик.

Молчание.

— Хоть сорок-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нет, за тридцать нельзя! Одних строениев сколько! опять же скот!

— Да ты скажи мне, с каких ты-то радостей торгуешься? Или уж начал и нашим и вашим служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня просит! Вы попрòсите — вам послужу; другой попрòсит — другому готов!

— То-то «готов»! Обе стороны продать готов! Вас за такие дела знаешь как надо! Сказывай, народ-то смирен ли?

— Самый покорный-с! Чтобы это возмущение или бунт — и в заведении никогда не бывало!

— Сорок — и ни копейки больше!

Сказавши это, Нина Ираклиевна уже окончательно упиралась, и результатом этого упорства почти всегда оказывалась купчая крепость, вследствие которой, через месяц или через два, владелец «заведения» на Таганке продавал его, а сам, с отпускной в руках, поступал в то же «заведение» половым.

Еще чаще заставал Порфиша у мамаши мужиков. Из комнаты несся запах дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: «Где же взять-то, сударыня?» — и неизбежный ответ на них: «А мне хоть роди да подай!» В большей части случаев мужики винились, становились на колени и просили прощения, из чего Порфиша заключил, что все они обманщики и что мамаша напрасно теряет время, разговаривая с такими негодяями. Но изредка бывали и такие случаи, что мужик спорил и доказывал.

— Ведь еще об рождестве я деньги-то отдал! — горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никаких я денег от тебя не получивала! — запиралась Нина Ираклиевна.

— Вот владычица видела, как я на самом этом месте все деньги отдал! — упорствовал Еремка, указывая на висевший в углу приданый образ богоматери, перед которым всегда теплилась лампадка.

— Может, и видела владычица, как ты отдавал, только кому-нибудь другому, а не мне!

— Оборотню, что ли, я отдавал?

— Пошел вон, подлец!

Мужик уходил; Нина Ираклиевна задумывалась, болтала ногами и некоторое время избегала смотреть на владычицу. В ней просыпалось что-то вроде упрека; являлось колебание, не отдать ли?

— Никак, и в самом деле он заплатил? — шептали уста ее.

Но Порфишу во всей этой сцене поражали лишь грубость Еремки и дерзость, с которою он осмеливался обличать мамашу свидетельством владычицы. Заключение, которое он выводил из этого случая, было то же самое, как и тогда, когда мужик винился и просил прощения. И в первом случае мужик был обманщик, и во втором обманщик. «Стало быть, он обманывал, если прощенья запросил!» «Обманщик — и еще смеет грубить!» — так говорил он себе, все более и более убеж-

даясь, что формула «как ты смеешь?» есть самая удобная в сношениях с мужиком.

— Мамаша! как он смеет тебе грубить! — восклицал он, с воплем бросаясь в объятия Нины Ираклиевны.

Этот вопль окончательно улаживал все сомнения. Нина Ираклиевна успокоивалась, и Еремка уходил домой, унося с собой эпитеты нераскаянного и закоснелого, которые не обещали ему ничего хорошего в будущем.

Но верхом торжества Нины Ираклиевны были хозяйственные распоряжения, выражавшиеся в приказаниях, отдаваемых старостам и приказчикам.

— У Васьки Косого лошадь хороша, так ее на барский двор взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой.

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть в людях живет. А если хочет избу за собой оставить, пусть пятьдесят рублей отдаст.

— Где ей эко место денег взять, сударыня!

— А негде взять, так пусть не прогневается! И в людях поживет!

— Слушаю, сударыня!

— То-то «слушаю». Ты слушай, а не разговаривай, что негде ей денег взять. Все вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Все вы стараетесь! Ты мне вот что скажи: за Федькой-то Долговязым до сих пор овца в недоимке числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говорит: пущай прежде объягнится!

— А знаешь ли ты, что за такие слова вашего брата в солдаты отдают! Мне чтоб была овца! У тебя со двора сведу, если через неделю Федька не приведет!

И так далее и так далее.

Вслушиваясь в эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякого рода получений, Порфиша невольным образом и сам получил вкус к финансам. Я не думаю, конечно, чтобы он относился к процессу созидания сознательно и чтобы в нем уже зародилась та доза канальства, которая в этом случае потребна, но едва ли ошибусь, сказав, что, как бы ни было поверхностно действие получаемых в детстве впечатлений на человеческое сознание, все-таки они не пропадают бесследно. Сначала эти впечатления втесняются в виде разрозненных фактов, но потом, мало-помалу, одни отдельные факты начинают цепляться за другие и дают повод для сравнений и сопо-

ставлений. Память хранит целый запас фактов, которые, казалось, прошли в свое время мимо, не возбудив даже внимания, но на деле оказывается, что они не только не исчезли, но выступают во всей своей свежести и ясности, и выступают именно в ту самую минуту, когда всего более чувствуется их пригодность. Порфиша уже освоился с формою денежных знаков, он слышал щелканье счетов, видел мужика, и хоть поверхностно, но все-таки поражен был энергическим выражением «хоть роди да подай», к которому любила прибегать Нина Ираклиевна. Этого достаточно было, чтобы в свое время память выдвинула все эти факты, и жизненный опыт нашел для них надлежащее место в общей экономии миросозерцания.

Ни Менандр Семенович, ни Нина Ираклиевна не думали сделать из сына своего финансиста, которому впоследствии суждено будет возвыситься до идеи о всеобщем ограблении. Да вряд ли в воспитательной практике того времени и можно было найти примеры подобной специальной подготовки. В то время люди воспитывались без всяких заданных тем; требовалось только, чтоб они были понятливы, шустры и готовы на все. Что̀ выйдет из этого впоследствии, то есть в каком именно видоизменении «свободы телодвижений» найдет себе выход эта готовность на все,— об этом никто не задумывался. Всякий отец и всякая мать имели только одну заботу: чтоб ребенку хорошо было жить на свете. А это представлялось возможным лишь тогда, когда ребенок твердо усвоивал себе все условия окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону божию, арифметике, грамматике, чистописанию, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не в ней, а в той домашней обстановке, которая, независимо от азбучных прописей, сама по себе отчеканивала и натуральных юристов, и натуральных администраторов, и натуральных финансистов.

Тем не менее, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно под влиянием отца и матери, из него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансист, на манер финансистов доброго старого времени. Он копил бы деньги без дерзости, считал бы их, крепко-накрепко замыкал бы замки в денежных помещениях и затем умер бы, приобретя на полученный в наследство миллион еще какой-нибудь такой же миллион. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозор и помогло ему сойти с рутинной дороги. Этим возбуждающим стимулом, пролившим живоносный свет на дальнейшие судьбы Порфиши, были отыскивающие княжеского достоинства братья Тамерланцевы.

Георгий и Иван Мастрюковичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нине Ираклиевне и были чистокровные осетинцы. Специальность их заключалась в том, что они не имели постоянного места жительства и переезжали с одной ярмарки на другую. Сверх того, они были прекрасно обучены на биллиарде, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а в карты играли так чисто, что ярмарочные шулера называли их не иначе, как «благородными людьми».

Отец их, Мастрюк Булатович, был неизвестного происхождения осетин, перебежавший некогда к русским, поступивший в породческий эскадрон в чине корнета и тотчас же начавший отыскивать княжеское достоинство. Многие высокопоставленные лица помогали ему в этих домогательствах, но безуспешно. Доказательств у него не было никаких, кроме собственных рассказов, из которых явствовало, что на родине, в Осетии, у него была сакля и две козы.

— Саклем владал, пара коза кормил, ружьем ходил, свинья убивал! — наивно объяснял он средства своего существования в состоянии дикости, но достоверности даже этих бедных показаний ничем подтвердить не мог.

Осетия в то время еще не состояла во власти русских, следовательно, не существовало ни губернского правления, ни даже земского суда, через которые можно было бы доподлинно узнать, действительно ли обладание двумя козами составляет, по местным законам, признак княжеского достоинства. Поэтому герольдия медлила, затруднялась и требовала каких-то поколенных росписей, а Мастрюк, ничему не внимая и ничего не понимая, твердил одно:

— Саклем владал, ружьем ходил, свинья убивал!

В таком положении находилось это дело в то время, когда Мастрюк, дослужившийся до ротмистра и принявший фамилию Тамерланцева, умер, оставив после себя двух сыновей: Амалата и Азамата. Умер он верным мусульманином, хотя сам Ферлакур неоднократно убеждал его, как дальнего родственника по жене (в это время мелкопоместный князь Крикулидзев женился на Мастрюковой сестре, Магуль-Мегери, во святом крещении Марье Булатовне), оставить заблуждения и познать свет истинной веры. Но Мастрюк, выслушав убеждения, постоянно задавал Ферлакуру один и тот же вопрос:

— У тебя, бачка, много жена?

— Одна.

— Ну, а минѐ двадцать один жон довольна!

Но когда Мастрюк умер, сыновей живо окрестили и отдали в кадетский корпус, переименовав старшего из Амалата в

Георгия, а младшего — из Азамата в Ивана. В корпусе оба брата отличались необыкновенною ненавистью к наукам и особенной страстью к восточной магии и к телесным упражнениям, требовавшим ловкости и силы. Когда они вышли в офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусов и потому смотрели в глаза будущему совершенно спокойно, почти светло. Это были необыкновенно развитые в телесном отношении молодые люди, с смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, наподобие масок. У обоих братьев были широкие сильные скулы, черные как смоль волосы и глаза и на правой щеке по большому родимому пятну, увенчанному волосами. Амалат пел очень приятным басом, Азамат — тенором; оба — плясали лезгинку, как истые горцы. Женщины вольного обращения были от них без ума; старушки, занимавшиеся покровительством скромным молодым людям, заметив их в театре, интересовались узнать их фамилию. В полку, куда они поступили, их тоже полюбили, потому что они охотно принимали участие в так называемых историях, и, кроме того, никто не мог выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словом сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лиц, помнивших еще незабвенные услуги, оказанные покойным Мастрюком, им предстояла, конечно, довольно видная военная карьера в будущем. Быть может, им суждено было даже принять когда-нибудь деятельное участие в воссоединении Осетии, но они сами испортили все дело. Однажды Амалат запрег в телегу тройку жидов и одного из них загнал, а Азамат в то же время поймал трех жидовок, вымазал их дегтем, обвалял в перьях и пустил по городу (это происходило в одной из западных губерний). К несчастию, и жиды и жидовки принадлежали к числу упорных, не шедших ни на какие соглашения, так что дело нельзя было «замять», и братья вынуждены были оставить полк.

Тогда братья обратились к проворству рук и к покровительству чувствительных старушек. У них появились рысаки, экипажи и на всех пальцах бриллиантовые перстни, которые они, поносив немного, заменяли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, продавали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всех городах, где существовали мало-мальски значительные ярмарки, они являлись непременными посетителями, устраивались на постоялых дворах, как у себя дома, расстилали на полу и на голых скамьях персидские ковры и на все время ярмарки заводили, как говорится, дым коромыслом. Кончится ярмарка — исчезнут и они, исчезнет и дым, которым они наполняли

свои временные пристанища. Не успеют оглянуться — они уже на другой ярмарке; опять расстилают ковры, покупают, продают, мечут и понтируют.

Иногда, впрочем, они основывались и в одном и том же городе на довольно продолжительное время. Это бывало в тех случаях, когда верхнее чутье докладывало им, что в таком-то месте есть некто, около которого можно поцечиться. Тогда они знакомились с помещиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и не прочь были занять денег под залог осетинских виноградников. В провинциальных обществах их принимали очень радушно, во-первых, потому, что они носили крупные стразовые запонки, а во-вторых, потому, что были малые на все руки. Перекинуть ли направо-налево, устроить ли для девиц petits jeux [1], рекомендовать ли лошадку, спеть ли модный тогда романс «Черную шаль», причем с особенным чувством проскрежетать:

Ко мне постучался презренный еврей...—

на все это они так охотно соглашались, что, где бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Об Осетии они рассказывали чудеса. Как злой дядя, за два абаза, продал их в Кахетию, и как отец ночью обратно их оттуда украл; какая у отца их была неприступная крепость, из которой он делал на русских набеги; какой удивительный рос у них виноград, какие вкусные чуреки делала их мать, как прекрасен Казбек при восходе солнца и проч. и проч. Словом сказать, объясняли все, что̀ можно было почерпнуть из производивших тогда фурор повестей Марлинского. И в доказательство своего подлинно осетинского происхождения затягивали песню, в которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла их заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще, Тамерланцевы имели то свойство, что коль скоро проникали в какой-нибудь дом, то незаметно делались в нем своими людьми. Они умели побалагурить с лакеями, переми-гнуться с горничными, привлечь на свою сторону детей и так убедительно просили хозяев не церемониться с ними и не беспокоиться их присутствием, что тем оставалось только махнуть рукою. В самое короткое время, хотели или не хотели хозяева, они утверждались в доме самым прочным образом. Лакеи, чутьем заслышав приближающийся экипаж, бросались к подъезду и наперерыв провозглашали: «Пожалуйте-с! го-

---

[1] игры.

спода только что за стол сели-с», или: «Пожалуйте-с! господ дома нет, да они сейчас будут-с!» И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самых близких родных. Горничные просовывали в дверь головы, в ожидании щипка или поцелуя. Дети с гиком и гамом устремлялись навстречу, вооруженные свистульками, гремушками и трещотками. Даже повар — и тот говорил: «Сегодня у нас молодые господа будут обедать» — и требовал от экономки усиленной пропорции сахару, яиц и масла. Хозяева, обольщенные приятными манерами и услужливостью братьев, сначала тоже были вне себя, когда же потом начинали изыскивать способы, каким бы образом избавиться от их вездесущия, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крепко держались на всех пунктах, и едва появлялись перед ними недоумевающие лица хозяев, как они самым любезным образом восклицали:

— Евдоким Григорьич! Анна Павловна! не церемоньтесь с нами! пожалуйста, занимайтесь вашими делами! Мы здесь с детьми. Кирюша! Параша! Ведь мы поедем сегодня в Москву? А? Вот так: туру-ту-ту... га! в Москву поехали!

И Евдоким Григорьич отправлялся в кабинет, плюнув и говоря Анне Павловне:

— Нет уж, матушка, ты сама! Сама приучила этих эфиопов, сама, как хочешь, и разделывайся с ними!

Нельзя сказать, чтоб это было с их стороны предумышленно. Скорее всего, они бессознательно стремились всюду, где можно было что-нибудь урвать или урезать, и вообще имели так называемый чертов инстинкт. Всякий очень скоро убеждался, что братья глупы и что, следовательно, искать в их действиях какого-нибудь злого умысла — нет повода; но всякий, в то же время, ощущал, что десятки самых злых озорников не в состоянии были бы привести человека в такое беззащитное положение, в какое приводили эти два бессознательных и бесконечно покладистых шалопая.

Нина Ираклиевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желают видеть князья Тамерланцевы.

— Тети Машины дети! — воскликнула она в недоумении, но тут же, не потеряв присутствия духа, обратилась к Менандру Семеновичу и прибавила: — Ради Христа, не давай ты им денег!

Свидание произошло; Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нежны.

— В государственной службе, господа, состоите? — спрашивал Менандр Семенович.

— Нет, братец, способностей не имеем,— скромно отвечали братья.

— Ну, способности тут не бог знает какие требуются!

Братья посидели, раскланялись и уехали; затем в течение недели они еще два раза навестили Велентьевых и каждый раз называли Нину Ираклиевну belle cousine[1], уверяли, что она вполне сохранила тамерланцевский тип, и так крепко и часто целовали у нее ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфише (ему минуло в то время одиннадцать лет) они, на другой же раз, подарили книжку с картинками, так что не пригласить их обедать было уже совестно. Затем, хотя после обеда Тамерланцевы и попросили у Менандра Семеновича денег взаймы, но, получив отказ, не только не обиделись, но очень любезно воскликнули:

— Братец, забудьте! пусть денежные расчеты не расстраивают наших родственных отношений! Забудьте! нам не нужно денег! мы не просили их!

Словом сказать, с Велентьевыми повторилась та же история, что и с другими. Как ни чутко держали они себя относительно братцев, но устоять против естественного течения обстоятельств не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый раз умели чем-нибудь подслужиться: Нине Ираклиевне подарили настоящий персидский ковер, Порфише навезли целый ворох игрушек, наконец у Менандра Семеновича попросили позволения осмотреть его лошадей, нашли у одной из них подсед и дали такой мази, от которой в два дня подседа как не бывало.

— Совсем было думал продать лошадь! — говорил Велентьев,— а теперь опять хоть куда! Благодарю!

— Вы, братец, насчет лошадей, пожалуйста, ни к кому не обращайтесь! — упрашивали Тамерланцевы,— у нас теперь на примете одна пара есть... ах, какая это пара!

И действительно, почти за бесценок, сосватали Велентьеву такую пару, что сам инспектор врачебной управы, вкупе с отставным кавалерийским полковником, как ни осматривали животных, не могли найти в них ни одного порока.

Но сомнение уже мучило Менандра Семеновича, и по временам он выражал его довольно энергично.

— И черт их знает, что за народ такой! — рассуждал он сам с собою,— цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какие-то!

И он на всякий случай пробовал, достаточно ли крепко заперты ящики его письменного стола, и, удостоверившись, что крепко, отправлялся на половину к Нине Ираклиевне.

— Да полно, братцы ли они тебе? — спрашивал он ее.

[1] прекрасной кузиной.

— Тети Машины дети-то! неужто ж я не знаю!

— И все-таки, ты бы запирала! Эти братцы... право, уж и не знаю!

Мало-помалу Тамерланцевы приобрели дружбу лакеев и горничных, а в особенности полное доверие Порфиши. Тогда они уж без церемонии стали таскаться и завтракать и обедать. Сидит Менандр Семенович в кабинете и деньги считает — глядь, братцы приехали! В зале беготня, пение, стук, треск; Азамат учит Порфишу лезгинку танцевать, Амалат аккомпанирует на фортепьяно и выкрикивает: га-го-ги! Лакей бегает из столовой в буфетную и обратно, стучит тарелками, ножами и готовит закуску. Менандр Семенович некоторое время терпит и старается разрешить себе задачу: два да пять, сколько будет? но сколько он ни прикладывает на счетах — все выходит или одним рублем больше, или одним рублем меньше. Наконец он, как ужаленный, выбегает в буфетную.

— Тебе кто велел? — накидывается он на лакея, поспешающего с подносом в руках в столовую.

— Как же-с, ведь братцы-с! — отвечает лакей, очевидно даже изумленный, что ему мог быть предложен такой странный вопрос.

Менандр Семенович краснеет, покрякивает и уже не настаивает больше. Он с грустной покорностью снимает с себя халат, надевает домашний казинетовый казакин и отправляется в столовую, предварительно удостоверившись, что все ящики заперты и все в кабинете цело.

А братцы уже спешат к нему навстречу и в один голос восклицают:

— Братец, напрасно беспокоитесь! Мы здесь с Порфишей!

Но Менандр Семенович уже чувствует, что утро у него отравлено и что, где бы он ни был, в столовой ли, в кабинете ли, мысль о «братцах» везде будет его преследовать. Поэтому он усаживается за стол и принимает геройское решение занимать братцев.

— Я говорю: вы бы, господа, в государственную службу шли! — начинает он, краснея и сам не зная, о чем, собственно, он ведет речь.

— Способности, братец, не имеем.

— А вы бы принудили себя!

— Старались, братец, да ничего не вышло.

— Гм... странно это!

Молчание.

— Да вы, братец, напрасно себя беспокоите! Мы здесь вот с Порфишей, а не то, немного погодя, к кузине Ниночке пройдем! — опять начинают братцы.

— Нина Ираклиевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, как можно без занятий жить! — говорит Менандр Семенович, уже не скрывая своих недоумений.

Но братцы как бы забавляются этими недоумениями.

— Мы, братец, тоже занимаемся,— отвечают они,— только занятия у нас кратковременные. Вот и сегодня утром пару лошадей присмотрели... ах, какая это пара!

— Какое уж это занятие — лошади!

Тщетно все. Как ни старался Велентьев выжить братцев — они словно приросли. В доме все цело; денег в другой раз не просят — а между тем, как ни посмотришь, все тут. Иногда он даже желал, чтоб они что-нибудь украли (разумеется, не весьма ценное), лишь бы без шума отделаться от них.

— Я, сударыня, с ума скоро сойду! — жаловался он жене.— Выйти из кабинета нельзя: один в зале с Порфишей, другой в коридоре с Агашкой шушукается. Сведет он ее у нас!

— А коли сведет, так и купит. По мне, ежели хорошую цену даст... и бог с ними!

А братцы между тем забрали уже себе в голову, что Порфиша года через четыре будет гусарским юнкером и что, следовательно, имеются в перспективе векселя под верное обеспечение смерти любезнейших родителей. Как ни отдаленны были эти надежды, но как другого дела покамест у них не было, то приручение Порфиши представлялось целью очень привлекательною и даже практическою...

С своей стороны, Порфиша очень хорошо понял дяденек. Он угадал в них присутствие именно того элемента легкомыслия, перемешанного с жульничеством, которого ему недоставало и без которого истинный финансист все равно что тело без души. Он видел, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничем не занимаются, а между тем бросают деньгами, как щепками; что у них во всякое время — неистощимый запас игр, выдумок и фокусов. Все это, вместе взятое, произвело на него подавляющее впечатление, и в самое короткое время он до такой степени страстно прилепился к дяденькам, что даже перестал следить за финансовыми операциями родителей.

Первый сделанный перед ним фокус особенно его поразил. Дядя Амалат вынул из кармана золотой и показал его Порфише

— Видел? — спросил он его.

— Видел.

Амалат положил золотой на ладонь и зажал его в кулак.

— Видел? тут золотой? — спросил он опять, разжимая кулак и вновь сжимая его.

— Тут.

— Ну, теперь смотри!

Амалат сделал рукой движение, но до такой степени быстрое, что Порфиша мог только заметить, что у него что-то мелькнуло в глазах. Потом Амалат разжал кулак и показал Порфише пустую ладонь.

— Клац! где золотой?

Порфиша вытаращил глаза и машинально повторил:

— Где золотой?

— Ну, теперь обыскивай меня; если сыщешь — твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искал — золотого нигде не оказалось. Тогда Амалат повторил свой фокус наоборот, то есть показал, как в пустых руках — клац! — вдруг оказалось по два золотых.

— Дяденька! — захлебывающимся голосом простонал Порфиша.

В другой раз на сцену выступил Азамат и изобразил штуку еще почище, а именно: взял колоду карт и показал ее Порфише.

— Видел? Вся колода карт тут?

— Вся.

— Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

— Двойку пик.

Клац! — Азамат выбросил двойку пик.

— Может, ты еще двойку пик хочешь?

— Еще двойку пик хочу.

— Держись!

Клац! — Азамат опять выбросил двойку пик.

— Может быть, ты и еще двойку пик хочешь?

Но Порфиша уже не отвечал, а только взглядывал на дяденьку с разинутым ртом.

— Ты, может быть, хочешь, чтоб вся колода была из двоек пик? смотри!

И Азамат одну за другой стал кидать двойки пик. Это до того поразило Порфишу, что он заплакал, как бы обидевшись, что дяденьки смеются над ним.

— Погоди, мы еще не то тебе покажем! — утешали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взял в руки грош и старался произвести с ним ту же эволюцию, какую Амалат производил с золотым, но ничего из этого не вышло. Потом он попробовал то же самое сделать наоборот, то есть сжал пустые кулаки, махнул ими крест-накрест в воздухе, сказал: «клац!» — но и тут ничего не вышло.

— Дяденька! — приставал он,— покажите, как вы делаете?

— Погоди! вот будешь большой — до всего дойдешь!

Слова эти глубоко запали в душу Порфиши. Он повторял их и старался угадать, что такое это «все», до чего он со временем дойдет. Постепенно он стал задумываться и сделался рассеянным. Процесс созидания, царствовавший в доме родителей, уже не удовлетворял его, тем более что дяденьки, по мере ближайшего знакомства, начали открыто смеяться над скопидомством Менандра Семеновича.

— У твоего отца много денег? — спрашивал его Амалат.

— Много.

— А знаешь ли ты, как он деньги копит?

— Как?

— А вот как, смотри!

И Амалат клал на стол золотой, накладывал на него другой, третий и т. д., причем пыхтел, покрякивал, пожимался и озирался кругом.

— Так?

Порфиша не отвечал, но ему и самому уже начинало казаться, что «так».

— Ну, а мы вот как: сколько ты хочешь, чтоб у меня было в горсти золотых?

— Двадцать!

— Эка хватил! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька делал вид, как будто ловил что-то руками в воздухе, и затем отчеканивал монету за монетой до двадцати.

Нина Ираклиевна первая заметила, что Порфиша задумывается, начинает любить уединение, шевелит губами, как бы разговаривая сам с собой, делает какие-то странные движения руками, то сжимает кулаки, то разжимает их.

— Не болен ли ты, мой друг? — спросила она однажды сына.

— Нет, здоров.

— Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился и показал мамаше руки.

— Вы это видели?

Нина Ираклиевна с изумлением смотрела, как он растянул руки наподобие фокусника, потом быстро махнул ими крест-накрест и сказал:

— Видели, что ничего не было? Теперь смотрите! Клац! Видите?

— Что́ видеть-то! Разжал пустые кулаки — только и всего!

— Ничего вы не понимаете! Вы только и умеете, что копейку к копейке прижимать, а я вот — клац! — сколько захочу денег, столько и будет!

Нина Ираклиевна беспокойно взглянула ему в глаза.

— Это все Амалатка с Азаматкой! — прошептала она.

В этот же день, после обеда, Порфиша был призван на аудиенцию к отцу.

— Какое ты давеча слово мамаше сказал? — спросил Менандр Семенович.

Но Порфиша не только не струсил, но отвечал даже дерзко:

— Какое слово? Клац! вот какое слово!

— Что же оно означает?

— А вот что!

Порфиша вытянул обе руки, сжал кулаки, встряхнул ими и сказал отцу:

— Клац! видели? Сколько захочу денег, столько и будет!

— Да-с, это они! это Мастрюковичи! — обратился Велентьев к жене,— это они его фокусам обучают!

Но какие ни принимали Велентьевы меры, чтоб устранить влияние дяденек, все было напрасно. Тамерланцевым было отказано от дому, но домашние так полюбили их, что нисколько не мешали Порфише бегать к дяденькам после обеда, когда папаша и мамаша опочивали от трудов. Однажды, прибежав к ним, он застал в их квартире что-то не совсем обыкновенное.

Единственная приемная комната была полна народом; на столе, около печки, красовалась закуска и несколько наполовину опорожненных бутылок и штофов; облака дыма выедали глаза. Дядя Азамат сидел за большим зеленым столом и метал; дядя Амалат помещался сбоку и распоряжался кассой. Кругом стола сидели неизвестные личности в мундирных сюртуках, венгерках и казакинах; перед каждым лежали игранные колоды карт, из которых они с нервным движением вытаскивали то одну, то другую карту и клали на стол. Там и сям виднелись столбики золота, которое не считали, а передавали из рук в руки кучками, как бы на глазомер. На пальцах рук обоих братьев сверкали перстни. Порфиша, не ожидавший такого зрелища, оторопел.

— Ва-банк! — крикнул кто-то в ту самую минуту, как он вошел.

Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалат так ясно сверкнул в его сторону глазами, что банкомет тотчас же овладел собой и передернул столь чисто, что известный шулер, майор Белокопытов, присутствовавший тут же и понтировавший только для виду, крякнул от наслаждения.

Игра кончилась. Порфиша видел, как груда золота пере-

шла в руки дяденек, и посмотрел на них почти с благоговением.

— Видишь! — сказал ему Азамат, когда разошлись гости,— а твой отец еще говорит, что мы только граним мостовую. Может ли он в целый век столько денег добыть, сколько мы в один час добыли!

— Дяденька! как вы это делаете?

— Нет, брат, тебе еще рано. Вырастешь — сам до всего дойдешь. Главное, чтоб охота была, а уменье придет само собою!

Так длилось до тех пор, пока Амалат не получил наконец так называемую неприятность, вследствие которой братья вынуждены были оставить Семиозерск и искать убежища в другом городе.

Расчеты Тамерланцевых на Порфишу не оправдались Он не сделался ни игроком, ни фокусником, ни гусаром. Тем не менее общество дяденек оказало на его будущее действие гораздо более решительное, нежели даже пример родителей. Если последние познакомили его с наружным видом денежных знаков и заронили в его душу первую мысль о созидании, то первые доказали воочию, что перл созидания — это созидание из ничего. Тамерланцевы исчезли бесследно, но уроки их неизгладимыми чертами врезались в чуткой душе Порфиши. В той сумме впечатлений, которые даются человеку детством, примеры внешней ловкости и быстроты всегда представляют очень компактный и характерный слой. По удалении дяденек Порфиша сделался скучен и долгое время машинально делал быстрые движения руками, сжимал и разжимал пустые кулаки и тщательно рассматривал, не окажется ли там червонца. По-видимому, это были движения бессмысленные и ненужные, но будущее доказало, что они были необходимы и вполне уместны, ибо служили как бы смутным прообразованием тех приемов, которые должны были впоследствии составить его славу как финансиста.

Червонцев не оказалось, но вместо них — клац! — неслышно и незримо уже зрел в его душе проект об изготовлении дешевой и долгосохраняемой колбасы.

Формальное воспитание между тем шло своим чередом. Хотя нельзя было сказать, чтоб Порфиша питал особенную страсть к наукам, тем не менее, до знакомства с дяденьками, дело образования ума и сердца кое-как шло. Некоторыми предметами он более или менее интересовался, а математику

даже полюбил настолько, что с самозабвением принялся извлекать квадратные корни, как только этот математический прием был ему показан. Но с тех пор, как явились дяденьки и на первый раз объяснили ему задачу «летело стадо гусей», он постепенно делался все рассеяннее и рассеяннее. Все простое, все, что могло быть решено наглядным образом, опротивело ему. Мысль его неудержимо влеклась к неизвестному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, вроде щучьего веления, могло освободить его от сетей, в которых путалось его воображение. Если б в то время кто-нибудь шепнул ему о квадратуре круга или о непрерывном движении, он наверное со всем пылом юношеской горячности увлекся бы этими задачами и стал бы с утра до вечера вертеться около них, как белка в колесе. Но, увы! у него даже этого ограничения не было, а было только одно магическое слово «клац!», за которым открывалась пустая и бездонная пропасть. В этой бездне, среди целого мира чудес, свободно парило воображение, питая само себя и гадливо отвращаясь от всего, что напоминало о действительности. Понятно, что при таком болезненном настроении умственных сил Порфише было уже не до квадратных корней, которыми пичкал его Менандр Семенович.

На четырнадцатом году Порфишу отдали в одно из аристократических заведений Петербурга, едва ли не в то же самое, в котором воспитывался и Коля Персианов. Выбор этого заведения Менандр Семенович следующим образом формулировал в письме к княгине Ферлакур: «Вы знаете, добрейшая моя благодетельница.— писал он ей,— что я не аристократ по происхождению. Хотя и отец мой и деды, в течение, может быть, многих столетий, возносили подателю всех благ молитву *о принесенных честных дарех,* но ведь молитва в заслугу у нас не принимается, следовательно, если б я даже мог доказать, что происхожу по прямой линии от Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счел. Но аристократия любезна моему сердцу потому, что назначение ее — вливать в государственный организм возвышенный дух. Аристократия полезна даже и в том случае, если она ничего действительно полезного не совершает. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, *чем* я был до поступления в ваш почтеннейший дом, и *что̀* сделали из меня *вы!* Вот почему я желал бы, чтоб мой Порфирий был с детских лет окружен юношами благородных фамилий. Через сношение с ними он получит возвышенные чувства, которые, притом же, будучи по матери потомком древнего рода князей Крикулидзевых, он и от природы весьма склонен иметь. В особенности было бы хорошо, если б

он сии чувства мог приобретать на казенный счет, к устройству чего вы, моя незабвенная благодетельница, всеконечно, имеете все пути».

Порфиша был принят, но в заведении участь его была не из самых завидных. Во-первых, товарищи скоро узнали, что отец его происходит из духовного звания и, к довершению всего, служит советником питейного отделения, тогда как их отцы были не только сами егермейстеры, но и дети детей егермейстерских. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое было тем тягостнее, что сопровождалось приставаниями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него в саду, снимали фуражки и крестились; другие делали вид, что кадят; третьи — показывали рукой хапанца, как эмблему питейного отделения; четвертые, наконец, рисовали хапанца на бумаге и утверждали, что это герб рода Велентьевых. Во-вторых, княгиня Ферлакур, выхлопотавши помещение Порфиши в заведение на казенный счет, этим и ограничила свои попечения об нем. В это время ей было не до Велентьевых, потому что ее занимал вопрос о воссоединении латышей, с которыми была тесно связана личность генерала Толоконникова.

Таким образом, Порфиша рос в заведении одинокий и забытый. По праздникам товарищи разъезжались по домам, ездили на лихачах, лакомились в кондитерских и ресторанах, а он сидел в заведении, ел говядину под красным соусом, давился суконными пирогами и выслушивал сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылели стены заведения и который охотно променял бы их на стены ресторана Доминика, где есть биллиард, домино и т. д.

— Mais, malheureux jeune homme! [1] — укорял его мсьё Петанлер.— Vous n'avez donc ni père, ni mère, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier! [2]

— Personne, monsieur [3],— угрюмо ответствовал Порфиша и с каким-то нервным нетерпением выслушивал вечером рассказы товарищей о том, сколько они съели, в течение дня, пирожков и порций мороженого, в какой кондитерской делаются лучшие конфекты и у какого извозчика лучше бежит рысак.

Это одиночество еще сильнее развило в Порфише ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено

---

[1] несчастный молодой человек!

[2] У вас, значит, нет ни отца, ни матери, ни родственников, никого, кто мог бы вас приютить! Удивительно!

[3] Никого.

еще дома педагогическими откровениями дяденек. С нетерпением ждал он рекреационных часов, которые позволяли ему быть в стороне от товарищеской сутолоки, и как только звонок возвещал окончание класса, удалялся в сад, бродил по аллеям или садился на дерновую скамейку и мечтал. Перед ним проносился весь процесс созидания, виденный в детстве: столбики золота, бумажки новые (папашины), бумажки старые (мамашины), мужики, запах дегтя, талькн, овчины, сушеные грибы... И вдруг — клац! — вся эта обстановка исчезала, но исчезала лишь на минуту, для того, чтобы — клац! — появиться вновь, но уже не в руках папаши с мамашей, а в руках дяденек, которые он сейчас только видел пустыми. Вообще, как только появлялись на сцену дяденьки, видения шли за видениями, целыми вереницами, и принимали самый фантастический характер...

Не успел совсем стихнуть звонок, как уже воображение Порфиши работает. Он видит себя заблудившимся в лесу. Он бродит, выбивается из сил, молится, плачет — все тщетно! Вдруг, словно из земли, вырастает перед ним старик и подает червонец. Вручая червонец, старик говорит: ты можешь разменивать его сколько угодно, он всегда будет у тебя цел. Вот тема, за которую хватается фантазия и по поводу которой тотчас же начинает рисовать самые разнообразные практические применения. И лес и старик — исчезают; остается только волшебный червонец. Порфиша мысленно отправляется с ним в кондитерскую, покупает пять пирожков и получает два рубля семьдесят пять копеек сдачи. А червонец тут как тут. Потом он отправляется в овощную лавку, покупает пяток яблок и получает сдачи два рубля девяносто копеек. Червонец опять тут как тут. Потом он идет в гостиницу, съедает бифштекс, оттуда опять в кондитерскую, где ест порцию мороженого, везде получает сдачу и везде удостоверяется, что драгоценный червонец неприкосновен. В этих мысленных экскурсиях застает Порфишу звонок; он медленно идет в класс, но и там, за уроком, начатая работа мысли не прекращается. Он складывает, умножает, поверяет и получает проценты...

Тогда фантазия начинает другой сон, другую сказочную легенду.

Перед Порфишей — прыгающая лягушка, за которую он гонится и которую тщетно старается убить. Вот он уже настигает ее, вот настиг, как вдруг — клац! — перед ним уж не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говорит ему: «Тут, под этой старой липой, лежит несметный клад; разбойник Кудеяр зарыл котел с золотыми деньгами и посадил эту

самую липу». Сказавши это, старуха исчезает, а фантазия Порфиши цепко хватается за новую тему и начинает, по ее поводу, новый процесс созидания. Что клад будет в руках Порфиши — это не может подлежать сомнению. С этою целью он встает по ночам, неслышными шагами пробирается мимо дремлющего дядьки, отпирает наружную дверь и, вооруженный заступом, выходит в сад. Аллеи длинны и темны; кругом — тишина и загадочность; издали, в форме неопределенного шороха, то возрастающего, то смолкающего, доносится шум неусыпающего города. Но Порфиша не останавливается ни перед таинственностью ночи, ни перед приливами и отливами городского шума. Он спешит к цели и начинает рыть. Он один выполнит эту трудную задачу, потому что ни с кем не хочет разделить свою добычу. Не то чтобы он был безгранично жаден, но ему улыбается мысль, что вдруг — клац! — и он обладатель миллионов. Однако что-то уж звякнуло... это он! это котел с империалами! Порфиша судорожно вскрывает крышу, черпает, черпает; но более пуда золота зараз унести не может. Сколько золотых в пуде? Сколько составит это в переводе на кредитные рубли? Опять звонок, опять класс. Учитель латинского языка тщетно допрашивает Порфишу об исключениях на *is*. «Amnis, anguis, axis»,— бормочет Порфиша, и окончательно становится в тупик. Коли хотите, он знает и дальше: calis, canalis и проч., но он не о том думает. Он видит перед собою другую безлунную ночь, потом третью, четвертую и так далее, пока воображение вновь не запутывается в собственных тенетах.

Ученье шло туго, несмотря на то что Порфиша уже дома знал гораздо больше того, что́ требовалось в том классе заведения, в который он поступил. Постоянно живя в обществе призраков, он сделался рассеян, впал в полудремотное состояние. Это повлияло и на его поведение, или, лучше сказать, на те отметки, которыми в заведении выражалась степень внешнего благочиния воспитанников. Он был тих и смирен, никогда не повесничал, не приставал, не грубил, но начальствующим почему-то казалось, что в сердце этого мальчика свил гнездо порок. Француз-гувернер называл его не иначе как «malheureux jeune homme» [1], гувернер-немец утверждал, что спасти злосчастного юношу может только один педагогический прием, а именно прием, носящий специальное наименование «внезапно данной пощечины».

С родителями Порфиша виделся только летом, во время каникул. Но и к ним он поставил себя в какие-то странные,

---

[1] несчастный молодой человек.

натянутые отношения. Приезжая в Семиозерск, он заставал в родительском доме тот же процесс простого созидания, которому он был свидетелем и до поступления в заведение. По-старому отец запирался каждое утро в кабинете, щелкал на счетах и по истечении урочного времени выходил из своего заключения весь красный, как бы стыдящийся. По-прежнему мать спекулировала мужиком, спорила, торговалась и в конце трудового дня укладывала в пачки замасленные кредитные билеты. Но после тех снов наяву, которые постоянно проносились перед Порфишей, снов с кладами, неразменными червонцами, разрыв-травами и проч.,— это кропотливое копеечное созидание не могло не показаться ему просто жалким.

— А вы по-прежнему копеечку к копеечке прижимаете-с? — спросил он мать в первый же раз, как увиделся с ней после годовой разлуки.

В первую минуту Нина Ираклиевна приняла эти слова за шутку; но тон, которым они были сказаны, дышал такой несомненной язвительностью, что она вдруг догадалась и словно замерла с пачкой кредитных билетов в руках.

— Курочки-с! талечки-с! грибки-с! — продолжал между тем Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Ираклиевна переполошилась не на шутку.

— Да ты что́ это, щенок, говоришь? — крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже перед этим восклицанием. Некоторое время он исподлобья, с идиотскою иронией, взглядывал на мать, шевелил губами и делал вид, что едва удерживается от смеха. Наконец встал и, удаляясь из комнаты, произнес:

— Продолжайте-с! Что же-с! Талечки-с! грибочки-с! овчинки-с! Похвально-с!

Вслед за тем подобное же недоразумение произошло у Порфиши и с отцом. Однажды Менандр Семенович стоял в передней и провожал дорогого гостя, то есть откупщика, который только что вручил «следуемое по положению».

— Напрасно беспокоились! — говорил Менандр Семенович.

— Помилуйте-с! Не я, а положение-с... святое дело! — расшаркивался откупщик.

— Положение — это так; а все-таки...— настаивал Менандр Семенович.

— Совсем не «все-таки», а просто положение — и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, бог весть откуда, нагрянул Порфиша. Но вместо того чтоб расшаркаться перед откупщиком и пожать ему руку, он пробежал мимо, как-то странно при этом хихикнул и вполголоса, но так, что все слышали, произнес:

— Взяточки-с!

Словом сказать, и в школе и дома, благодаря педагогическому влиянию дяденек, Порфиша поставил себя особняком. И бог знает, куда привел бы его этот финансовый идеализм, если б не случилось обстоятельство, которое разом возвратило его к чувству действительности.

С переходом в старший курс умственные силы Порфиши вдруг пробудились снова. Совершилось нечто чудесное, но чудо было вполне достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась «политической экономией» и преподавалась воспитанникам заведения как венец тех знаний, с которыми они должны были явиться в свет. После первых же лекций Порфиша вдруг почувствовал себя свежим и бодрым. Ему показалось, что на него пахнуло чем-то знакомым, что то, о чем он когда-то мечтал, уединившись в саду, снова проходит перед ним, но под другими, более ясными формами; что он вновь находится в обществе дяденек Амалата и Азамата и что таинственное слово «клац!» постепенно утрачивает свою таинственность. Мир чудес, к которому он так страстно стремился, но который до сих пор представлялся его мысли смутно и беспорядочно, вдруг приобрел необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастические видения в форме волшебниц, волшебников, кладов, неразменных червонцев — теперь ему подавала руку сама наука; прежде процесс созидания зависел от случайностей, которые могли прийти и не прийти на помощь, смотря по тем ресурсам, которые представляла бо́льшая или меньшая напряженность воображения, теперь — перед ним были всегда готовые и вполне солидные куншткюки, которые, вдобавок, носили название политико-экономических законов. Бред наяву продолжался, но это был уже бред серьезный, могущий, пожалуй, послужить материалом для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

В заведении, о котором идет речь, преподавалась политическая экономия коротенькая. Законы, управляющие миром промышленности и труда, излагались в виде отдельных разбросанных групп, из которых каждая, в свою очередь, представлялась уму в форме детской игры, эластичностью своей напоминающей песню: «коли любишь — прикажи, а не любишь — откажи». Вот, милостивые государи, «спрос»; вот — «предложение»; вот — «кредит» и т. д. Той подкладки, сквозь которую

слышался бы трепет действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными — не было и в помине. Откуда явились и утвердились в жизни все эти хитросплетения, которым присвоивалось название законов? правильно ли присвоено это название или неправильно? насколько они могут удовлетворять требованиям справедливости, присущей природе человека? — все это оставалось без разъяснения. Наука — пустой пузырь с наклеенными на нем бессмысленными этикетками; жизнь — арена, в которой регулятором человеческих действий является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездельничество.

Порфише эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была как бы продолжением его детских снов, осуществлением таинственного «клац!», которое так долго смущало его воображение. Слова: «спрос», «предложение», «кредит», «ажиотаж», «акционерные компании» — не сходили у него с языка. Он скоро сделался любимейшим учеником профессора и отвечал на все вопросы так быстро и несмущенно, как будто ответы давно уже таились в нем, а теперь он отыскал лишь приличную форму для них. Он понял науку не только в ее общих законах и выводах, а в самом действии. Он чувствовал себя участником этого действия и лично на самом себе испытывал последствия каждого экономического закона. Игра в «спрос и предложение» представляла целую повесть, исполненную разнообразнейших эпизодов; игра в «кредит» разрасталась в роман; игра в «ажиотаж» превращалась, по мере своего развития, в бесконечную поэму...

— Кредит,— толковал он Коле Персианову,— это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть!

— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля

— Чудак! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — еще кредит! Нынче все государства так живут!

Коля удовлетворялся этим объяснением, во-первых, потому, что оно согласовалось с практикой, которой следовали его предки, а во-вторых, и потому, что оно отвечало его собственным видам и пожеланиям. Что предстояло Коле в будущем? — ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На «производство богатств» он не рассчитывал, на «накопление» их — и того менее. Из всех экономических законов, о которых гласила школа, на нем отражался только закон «распределения богатств» — в виде оброков, присылаемых из деревень, да еще

закон «потребления» — в форме приобретения рысаков и производства всевозможных кутежей. Но, увы! действие закона потребления давало себя знать всегда как-то сильнее, нежели действие закона распределения, и потому он очень был рад, когда в форме «кредита» ему явился совершенно готовый исход из этого затруднения.

И чем дальше шла вперед наука, тем чудодейственнее и чудодейственнее становился открываемый ею мир. Хороша была игра, в силу которой «спрос» с завязанными глазами бегал за «предложением», а «предложение», в свою очередь, нащупывало, нет ли где «спроса»; но она уже представлялась простыми гулючками по сравнению с игрой в «ажиотаж» и в «акционерные компании», которая ждала Порфишу впереди. То был волшебный, жгучий бред, в котором лились золотые реки, обрамленные сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша в каком-то экстатическом упоении утопал в этой светящейся бездне. Он был властелином биржи; перед ним преклонялись языцы в виде армян, греков и жидов. С недетскою проницательностью угадывал он момент, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывал, а сам устраивал этот момент. Он продавал, и за ним бросались продавать все. Происходила паника, вследствие которой на сцену являлось «предложение», а «спрос» был в отсутствии. Тогда он начинал покупать, и за ним бросались покупать все. Новая паника, вследствие которой на сцену являлся «спрос», а «предложение» было в отсутствии. И все эти перевороты совершались с быстротой изумительной, ибо он понимал, что главное достоинство капитала — это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, он придумывал новые экономические комбинации: отыскивал неслыханные дотоле источники богатств, устраивал акционерные общества и т. д. Мысленный взор его устремлялся всюду: и на Ледовитый океан, в котором мирно плавали стада китов, тюленей, морских коров и т. д., и на Скопинский уезд, в недрах которого без вести пропадали залежи каменного угля, и на Печорский край, реки которого кишели семгою, нельмою и максуном. Открывши новый источник богатств, он немедленно устраивал акционерную компанию, но, выпустив акции и продав их с премией, не останавливался подолгу на одном и том же предприятии, а спешил к другим источникам и другим акционерным обществам.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая деятельность, тем более достойная удивления, что она носила чисто отвлеченный характер. Процесс накопления доставлял Пор-

фише неисчерпаемый источник наслаждений, независимо от всяких личных практических применений, одними перипетиями, которые его сопровождали. Если Коле Персианову был необходим «кредит» для того, чтоб позавтракать устрицами, отобедать с шампанским и окончить день в доме терпимости, то Порфише он нужен был совсем для других целей. Он видел в «кредите» известную экономическую функцию, без которой нельзя было обойтись в ряду прочих экономических функций. Экономическая наука представлялась ему в виде шкафа с множеством ящиков, и чем быстрее выдвигались и задвигались эти ящики, тем более умилялась его душа.

Но что̀ всего замечательнее, на глазах у Порфиши не было даже практических примеров, с помощью которых его мысль могла бы ориентироваться. Время тогда было самое глухое; из значительных железных дорог существовала только одна; об акционерных обществах и биржевой игре не было и помину. Никому не приходила в голову ни неистощимая печорская семга, ни беспримерные в летописях мира скопинские залежи каменного угля. Ничем не руководимый, с помощью одного инстинкта, Порфиша проникал и в недра земли, и в глубины морских хлябей — и везде находил что-нибудь полезное. Его не смущало то, что все финансовые построения, которым он так неутомимо предавался, были построениями бесплотными, разлетавшимися при первом прикосновении действительности. Он ничего лично для себя не желал, а только выполнял свою провиденциальную задачу. Быть может, он уже чувствовал, что тот момент недалек, когда он явится с зажатыми горстями, торжественно разожмет их, и — клац! — покажет изумленной России пустые ладони.

Был, однако ж, один очень важный практический результат, который Порфиша извлек лично для себя из своих финансовых снов: к нему с уважением стали относиться товарищи.

— Il est par trop théoricien, ce cher Vélentieff [1],— выражался о нем Коля Персианов,— mais c'est égal, c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser [2].

Сам директор был изумлен, когда однажды при нем Порфиша, бойко и без запинки, в каких-нибудь четверть часа, объяснил краткие правила к познанию биржевой игры.

— Ну, Велентьев, не ожидал! — сказал он.— Судя по началу, я думал, что ты так и вырастешь дураком, а ты вон как развернулся!

---

[1] Он слишком теоретичен, этот милый Велентьев.

[2] но все равно, это хорошая голова, и со временем его можно будет использовать.

Но Порфиша не увлекался похвалами и, по-видимому, даже не понимал их. Он рассеянно выслушивал сравнения, которые проводились между его прошлым и настоящим, и очень может быть, что в голове его в это время мелькала мысль:

«Чудаки! как будто что-нибудь изменилось! Как будто я не тот же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразменные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятские леса и скопинские каменноугольные залежи!»

Один Менандр Семенович с прежним недоверием относился к сыну и, выслушивая его рассказы о самоновейших способах накопления богатств, невольно припоминал о Амалатке и Азаматке. Очевидно, он уже подозревал в Порфише реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА
В ПЕТЕРБУРГЕ

I

Я в Петербурге.

Зачем я в Петербурге? по какому случаю? — этого вопроса, по врожденной провинциалам неосмотрительности, я ни разу не задал себе, покидая наш постылый губернский город. Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим — и вдруг тронемся. Губернатор сидит и вдруг надумается: толкнусь, мол, нет ли чего подходящего! Прокурор сидит — и тоже надумается: толкнусь-ка, нет ли чего подходящего! Партикулярный человек сидит — и вдруг, словно озаренный, начинает укладываться... «Вы в Петербург едете?» — «В Петербург!» — этим все сказано. Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что̀ разрешить? на что пролить свет? — этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто, с бессознательною уверенностью твердит себе: вот ужо̀, съезжу в Петербург, и тогда... Что тогда?

Как бы то ни было, вопрос: зачем я еду в Петербург? возник для меня совершенно неожиданно, возник спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги.

В этом вагоне сидела *губерния,* сидело все то, от чего я бежал, от лицезрения чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иваныч, и Тертий Семеныч, и сам представитель «высшего в империи сословия», Александр Прокофьич (он же «Прокоп Ляпунов») с супругой, на лице которой читается только одна мысль: «Alexandre! у тебя опять галстух набок съехал!» Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клино-

образными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кармане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове. По-видимому, это последнее обстоятельство для них самих составляло дело решенное, потому что смотреть на мир такими осовелыми глазами, какими смотрели они, могут только люди или совершенно эманципированные от давления мысли, или люди совсем наглые. А так как моих спутников нельзя же назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежат к числу вполне свободных. На меня эти красные околыши произвели какое-то болезненное впечатление. Мне показалось, что я опять в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе, окруженный сеятелями, деятелями и всех сортов шлющимися и не помнящими родства людьми...

Разумеется, обрадовались. Но в этих приветственных возгласах мне слышалось что-то обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встреча до такой степени уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не сознавал, что ведь я и сам такой же шлющийся и не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они? Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Быть может, на первых порах, оно так и было; но впоследствии, когда интерес новизны исчез, эти встречи должны были возбуждать не смех, а взаимное озлобление. Скажите, можно ли без злобы ежеминутно встречаться с человеком, которого видишь насквозь, со всем его нутром! Помилуйте! да от этого человека за тридевять земель бежать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать, бежать! Вы бежите — а он за вами! Он, этот земский авгур, населяет теперь все вагоны, все гостиницы! Он ораторствует в клубах и ресторанах! он проникает в педагогические, экономические, сельскохозяйственные и иные собрания и даже защищает там какие-то рефераты. Он желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова, он смотрит Патти, Паску, Лукку, Шнейдер. Словом, он везде. Это какой-то неугомонный дух, от вездесущия которого не упастись нигде...

По обыкновению, как только разместились в вагонах, так тотчас же начался обмен мыслей.

— В Петербург? — спрашивает Прокоп Петра Иваныча.

— В Петербург.

— Зачем, смею спросить?

— Да так... насчет концессии одной... А вы?

— Я, признаться, тоже... от земства... А вы, Тертий Семеныч?

— Да я... как бы вам сказать... ведь и я тоже насчет концессии!

Наконец вопрос обращается и ко мне:

— В Петербург-с?

Тут-то вот именно и представился мне вопрос: зачем я, в самом деле, еду в Петербург? и каким образом сделалось, что я, убегая из губернии и находясь несомненно за пределами ее, в вагоне, все-таки очутился в самом сердце оной? И мне сделалось так совестно и конфузно, что я совершенно неосновательно ответил Прокопу:

— Да там... тоже маленькая концессия...

Тогда начались проекты самых фантастических концессий. Из Пензы в Наровчат, захватив на дороге Мокшан и Инсар; из Рязани в Михайлов, а там в Каширу, в Алексин, в Белев, в Медынь и т. д. Слышались фразы: вот бы! вот кабы! ну, уж тогда бы! и проч. Но меня так всецело поглотила мысль, зачем я-то, собственно, собрался в Петербург,— я, который не имел в виду ни получить концессию, ни защитить педагогический или сельскохозяйственный реферат,— что даже не заметил, как мы проехали Тверь, Бологово, Любань. С этою же мыслью я очутился утром на дебаркадере Николаевской железной дороги.

Но здесь случилось что-то неслыханное Оказалось, что все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hôtel... Уклониться от совместного жительства не было возможности. Еще в Колпине начались возгласы: «Да остановимтесь, господа, все вместе!», «Вместе, господа, веселее!», «Стыдно землякам в разных местах останавливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муция Сцеволы, чтобы устоять против таких зазываний. Разумеется, я не устоял.

Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!

Вот буквально те впечатления, которые в течение первых двух недель я испытывал в Петербурге изо дня в день.

Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего нумера. Раньше всех стучит Прокоп.

— Ну, что! как концессия? заполучили? — обращается он ко мне своим обычным лающим голосом.

— Нет еще... да и не знаю...

— Тут, батюшка, зевать некогда! Как раз из-под носа стибрят!

Через полчаса опять стук: стучит Тертий Семеныч.

— Ну, что! заполучили?

— Не знаю, как бы сказать...

- - Что ж вы мямлите-то! что мямлите! ведь этак как раз из-под носа утащат!

Проходит четверть часа: стук, стук! Идет мимо Петр Иваныч.

— Что! как концессия?

Мне делается уже весело. Я сам начинаю верить, что приехал за концессией и что есть какая-то линия между Сапожком и Касимовым, которую мне совершенно необходимо заполучить.

— Да что̀, батюшка! — говорю я,— эта концессия... шут ее знает!

— Что̀ вы зеваете-то! что зеваете! Прокоп вот все передние уж объездил, а вы! Хотите, я вам скажу одну вещь!

— Ах! сделайте милость!

— Там полковник один есть... Просто даже и ведомство-то совсем не того, отставной... Так вот покуда мы стоим этак в приемной, проходит мимо нас этот полковник прямо в кабинет... Потом, через четверть часа, опять этот полковник из кабинета проходит и только глазом мигнет!

— Ну, и что̀ ж?

— Ну, тут его и лови!

Затем «губерния» часа на два, на три исчезает. Но не успел я одеться (бьет два часа), как опять стук в дверь! Влетает Прокоп.

— Разве так делают дела? — накидывается он на меня.— Вы вот потягиваетесь тут, а я уж во всех трех министерствах был!

— Александр Прокофьич! Неужто?

— Да-с, был-с. Только уж и ходьба!

— А что̀?

— Да вот, посчитайте-ка сами ступеньки от первого этажа до четвертого, тогда увидите!

— А результат?

— Да как сказать? — покуда еще никакого! Ведь здесь, батюшка, не губерния! чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазком-то его увидеть, надо с месяц места побегать! Здесь ведь все дела делаются так!

— Однако, это неприятно!

— А вам все чтоб было «приятно»! Вам бы вот чтоб Фаддей и носки вам на ноги надел, и сапоги бы натянул, а из этого чтоб концессия вышла! Нет, сударь, приятности-то эти тогда пойдут, когда вот линийку заполучим, а теперь не до приятностей! Здесь, батюшка, и все так живут!

Прокоп подходит к окну, видит бегущего по улице мазурика, и воображение рисует перед ним целую картину.

— Смотрите! — восклицает он,— вон он высуня язык бегает! Вы думаете, он дело делает! Пустяки, сударь! пустяки он делает! День-то деньской он пробегает, вечером прибежит домой: что я сделал? — Иной даже заплачет! Ничего, ну просто-напросто ничего! А там пройдет и еще день, и еще, и еще... И всё-то так! и всякий-то день ничего! А через месяц, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Как сформируется? почему сформируется? — ничего не известно! Там бросил словечко, там глазком глянул, туда забежал, там с швейцаром покалякал — на вид оно пустяки, ан смотришь, в результате оно самое и есть!

Снова стук. Петр Иваныч влетает прямо в соболях. Щеки у него горят, кадык застыл от мороза, усы влажны.

— Ну, кажется, идет дело на лад! — говорит он весело.

— Решена? — спрашивает Прокоп, и в глазах его появляется какой-то блудящий огонь, которого я прежде не примечал.

— Решена!

— Ну, а моя еще нет!

— Теперь только бы в самую середку-то угодить!

— Да, это тоже штука. Одно средство: к тузу какому-нибудь примазаться! Уж черт его душу дери... ешь половину!

Еще стук. Влетает Тертий Семеныч и падает в изнеможении в кресло.

— Устал,— говорит он,— был везде! И у Бубновина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!

— Ну, и что же!

— Все в один голос: полезнейшее предприятие!

— Смотри, как бы тебя с «полезнейшим-то предприятием» не продернули! ведь это тоже народ теплый!

— Меня-то! у меня линия верная! От Корочи через Тим, Щигры да так-таки прямо в Ливны. А там у меня кстати и имение есть.

— Да ты что̀ возить-то по этой линии будешь?

— Уж это наше дело!

— Нет, ты скажи!

— А позвольте узнать, Александр Прокофьич, что вы-то *по вашей линии возить будете?*

— Это от Изюма-то, через Купянку, Валуйки да в Острогожск! Да тут, батюшка, хлеба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скот, кожи! Да ты пойми: ведь в Изюме-то окружный суд! Члены суда будут ездить! су-

дебные следователи! судебные пристава! Твое же острогожское имение описывать поедут!

Между тем Петр Иваныч беспокойно поглядывает на часы и вдруг вскакивает:

— Однако пора бежать!

И все трое, обращаясь ко мне, разом восклицают:

— Вы разве не пойдете устрицы есть?

— Не знаю... Я как-то еще не думал об этом.

— Ну, каким же образом после того вы концессию получить хотите! Где же вы с настоящими дельцами встретитесь, как не у Елисеева или у Эрбера? Ведь там все! Всех там увидите!

— Да ведь я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну, что я, в самом деле, возить по ней буду!

— А вам-то что̀? Это что еще за тандрессы такие! Вон Петр Иваныч снеток белозерский хочет возить... а сооружения-то, батюшка, затевает какие! Через Чегодощу мост в две версты — раз; через Тихвинку мост в три версты (тут грузы захватит) — два! Через Волхов мост — три! По горам, по долам, по болотам, по лесам! В болотах морошку захватит, в лесу — рябчика! Зато в Питере настоящий снеток будет! Не псковский какой-нибудь, а настоящий белозерский! Вкус-то в нем какой — ха! ха!

— Смейтесь! смейтесь! а вот как заполучу дорожку, тогда будет... хи! хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла разузнали! Где что̀ родится, где какое производство идет! Где мамура-ягода, где княженика-ягода! Где сырть-рыба, где сельдь, где снеток! Где мыло варят, где кожи дубят! Разносчик кричит: сельди переславские! — а мы примечаем!

Делать нечего, отправляемся вчетвером на биржу к Елисееву.

Устричная зала полна. Губерния преобладает. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки, затылки. На столах валяются фуражки с красными околышами и кокардами. Там и сям мелькают какие-то оливковые личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словом, какие-то иконописные люди, которым удалось сбежать с кипарисной доски и отгуляться на воле у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скот, откормленный бардою. Личности эти составляют центры, около которых образуются группы кадыков. Но самый главный центр представляет какой-то необыкновенно жирный и, по-видимому, не очень умный человек, который сидит на диване у средней стены и на груди у которого отдыхает тяжелая золотая цепь, обремененная драгоценными железнодорожными же-

тонами. Он уж поел и, сложа на груди руки и зажмурив глаза, предается пищеварению. По временам пройдет мимо него кадык, скажет: Анемподисту Тимофеичу! тогда он отделит от туловища одну из рук и вложит ее в протянутую руку кадыка. Хотя этот человек сидит за своим столом одиноко, но что не кто другой, а именно он составляет настоящий центр компании — в этом нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту не теряют его из вида. Они и сидят за своими столами как-то не прямо, а вполоборота к нему, и говорят друг с другом, словно не друг с другом, а обращаясь к третьему лицу, *которое нельзя беспокоить прямо, но без мнения которого* обойтись немыслимо.

Проходя мимо него, Прокоп толкает меня в бок и шепчет каким-то испуганным голосом:

— Бубновин!

В зале сыро, наслякощено, накурено. Словно туман стоит Но кадыки не гогочут, по своему обычаю, а как-то сдержанно беседуют, словно заискивают.

— Аристиду Фемистоклычу! — восклицает Прокоп, расцветая при виде одного из византийских изображений, которого наружность напоминает паука, только что проглотившего муху,— как поживаете? каково прижимаете?

— Ницево! зивем!

— Девочки как?

— И девоцки!.. у нас девоцек завсегда бывает оцень достатоцно!

— Ну, и слава богу!

Мы садимся за особый стол; приносят громадное блюдо, усеянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозревают в будущем и усматривают там потребность в новом таком же блюде.

— Вели еще десятка четыре вскрыть! — командует он,— да надо бы и насчет вина распорядиться... Аристид Фемистоклыч! вы какое вино при устрицах потребляете?

— Саблй... а впроцем, я могу всякое!

— Ну, и нам подавай шабли, а потом и до «всякого» добе-ремся!

Начинается истребление устриц под гвалт общего говора.

— Я вам докладываю: простой армейский штабс-капитан был! — ораторствует какой-то «кадык»,— в нашем городе в квартальные просился — не дали.

— А теперь третью дорогу строит! — отзывается другой «кадык»,— вот оно что̀ значит ум-то!

— Да; если целовек с умом... это тоцно!..— замечает *Аристид Фемистоклыч.*

Он пропустил уж полсотни устриц и развалился на диване, попыхивая какую-то неслыханной красоты сигару.

— Товарищами были! в одно время в полку служили! — повествует в другом углу третий «кадык»,— вчерась встречаемся на Невском: Ты что? говорит. Так и так, говорю, дорожку бы заполучить! Приходи, говорит!

Я вглядываюсь в говорящего и вижу, что он лжет. Быть может, он и от природы не может не лгать, но в эту минуту к его хвастовству, видимо, примешивается расчет, что оно подействует на Бубновина. Последний, однако ж, поддается туго: он окончательно зажмурил глаза, даже слегка похрапывает.

— А какая доброта-то! — продолжает хвастаться кадык,— так-таки просто и говорит: приезжай, говорит, я тебя с женой познакомлю, а потом и об дорожке потолкуем! Я, говорит, знаю, что твое дело верное!

Бубновин продолжает похрапывать.

— Шнейдершу бы вот попросить, чтобы словечко замолвила! — вдруг предлагает кто-то.

Бубновин открывает один глаз, как будто хочет сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложению не дается дальнейшего развития, потому что оно, как и все другие восклицания, вроде: вот бы! тогда бы! — явилось точно так же случайно, как те мухи, которые неизвестно откуда берутся, прилетают и потом опять неизвестно куда исчезают.

Съедаются первые четыре десятка устриц, потом съедаются еще четыре десятка устриц, в промежутках съедаются два фунта свежей икры, фунт сыру, фунт семги. Выпивается по бутылке шабли на брата, потом по бутылке шампанского; в промежутках пробуются разные сорта водок. Дым синими волнами ходит по комнате, так что, несмотря на зажженный газ, почти ничего не видно. И чем больше выпивается, тем гуще делается шум. Приходят новые деятели; слышатся вопросы: «решена?», «аудиенции-то добился ли, по крайней мере?» и ответы: «а черт их разберет!», «семь дней хожу, и дальше передней ни-ни!» В пять часов мы выходим наконец на воздух.

— Где же дельцы-то? — спрашиваю я у Прокопа.

— А Бубновин!

— Да ведь вы с ним даже не говорили!

— Какой вы, батюшка, однако ж, чудно̀й! разве этакого человека можно сразу! Его надобно еще приучить к себе, чтобы он, значит, к физиономии-то сначала присмотрелся! Раз скажешь ему: Анемподисту Тимофеичу! в другой: Анем-

подисту Тимофеичу! — ну, он и прислушивается помаленьку. Успел ты ему понравиться — дело в шляпе! Не успел — домой поезжай! и проедаться тут нечего! Вот этот барин, что̀ про Шнейдершу-то давеча молвил,— вы видели, как он на него посмотрел! Да барин-то плох! Другой бы на его месте так бы этой Шнейдершей Бубновина раззудил, что завтра и по рукам бы хлопнули!

— За чем же дело? воспользуйтесь!

— Я, батюшка, и то уж подумываю! Кончено дело! завтра же чем свет — к Бубновину! Я ему этот прожектец во всех статьях разверну!

Я возвращаюсь в свой нумер усталый, ошеломленный, полупьяный, нераздетый бросаюсь в постель и засыпаю тяжелым сном. Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несется в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко, в непроглядный мрак На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, на̀скоро закусывают, бегут, спешат, как будто и невесть какие приятства ожидают их на устье Печоры. А с устья Печоры, в свою очередь, тоже мчится поезд, и несется на нем господин Латкин с свежею печорскою семгою и кедровой шишкой в руках, как доказательство крайней необходимости дороги в этот кишащий естественными богатствами край. И вдруг в Усть-Сысольске ужасное столкновение... Раздается треск, гром; я в ужасе мечусь на постеле и наконец вскакиваю.

В комнате темно; в дверь моего нумера действительно кто-то сильнейшим образом стучит.

Отпираю; влетает Прокоп.

— Спите, батюшка, спите! — говорит он мне укоризненно,— а я, покуда вы тут спите, у Дюссо с таким человечком знакомство свел!

— С каким еще человечком? — спрашиваю я, насилу продирая глаза.

— Да уж с таким человечком, что, ежели через неделю мое дело не будет слажено и покончено, назовите меня в глаза подлецом!

Не успеваю я ответить, как влетают разом Тертий Семеныч и Петр Иваныч.

— Ну, батюшка, слава богу! кажется, мое дело в шляпе! — говорит Тертий Семеныч.

— И меня, я полагаю, через недельку поздравить будет можно! — перебивает его Петр Иваныч.

— Ну, а теперь пора и отдохнуть! — возглашает Прокоп,— да что, впрочем, не выпить ли на ночь прощёную!

Но я решительно отказываюсь, и гости, после долгих упрашиваний, расходятся наконец по нумерам.

Я остаюсь один (бьет уж два часа) и вновь ложусь спать.

Таким образом продолжается пятнадцать дней. Кроме своего нумера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообедал как следует. Кроме устриц, икры, семги — ничего. Горячего ни-ни! Наконец, я чувствую, что ежели это времяпрепровождение продолжится, то я сделаюсь пьяницей. Каждый день, по малой мере, три бутылки вина, не считая водки! И это, так сказать, натощак. Перестаю наконец понимать, кто я и где я. В одно прекрасное утро просыпаюсь и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? как? зачем? Наконец, когда уж мне вылили на голову целое ведро холодной воды (я помню, я все кричал: лей! лей!) — только тогда я понял, что я — я. Подбежал к зеркалу, смотрю — глаза налитые, совсем круглые. Значит, дошел до точки.

Нет, надо бежать. Но как же уехать из Петербурга, не видав ничего, кроме нумера гостиницы и устричной залы Елисеева? Ведь есть, вероятно, что-нибудь и поинтереснее. Есть умственное движение, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконец, найдутся старые знакомые, товарищи, которых хотелось бы повидать...

Конечно. Я предпринимаю героическое решение. В одно прекрасное утро, покуда «губерния» шныряет по разным концам города, я уплачиваю мой счет в Grand Hôtel и тайком перебираюсь в скромные chambres garnies [1], на Гороховой.

Прежде всего я отправляюсь в воронинские бани, где парюсь до тех пор, покамест не сознаю себя вполне трезвым. Затем приступаю вновь к практическому разрешению вопроса: зачем я приехал в Петербург?

Сознаюсь откровенно: из всех названных выше соблазнов (умственное движение, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего более привлекает последний, то есть «жизнь». Мы, провинциалы,— да впрочем одни ли мы? — имеем о «жизни» представление несколько двойственное. Хазовый конец этого представления составляют интересы умственные и общественные, действительной же его сущности отвечает все то, что льстит интересам личным и непосредствен-

[1] меблированные комнаты.

ным, то есть вкусу и чувственности. На этот конец у нас и слово такое выдумано: жуировать. А жуировать совсем не значит ходить в публичную библиотеку, посещать лекции профессора Сеченова, защищать в педагогических и иных собраниях рефераты и проч., а просто, в переводе на французский язык, означает: buvons, chantons, dansons et aimons![1] Поэтому, если мы встречаем человека, который, говоря о жизни, драпируется в мантию научных, умственных и общественных интересов и уверяет, что никогда не бывает так счастлив и не живет такою полною жизнью, как исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского, то можно сказать наверное, что этот человек или преднамеренно, или бессознательно скрывает свои настоящие чувства. Говорит он о пользе классического образования, а на уме у него: buvons, chantons, dansons et aimons! Говорит о податной реформе, а на уме: buvons, chantons, dansons et aimons! Все эти вопросы, системы, нововведения и проч. представляют лишь неизбежную, но сухую и горькую приправу жизни. Без них нельзя обойтись, потому что они дают одним — прекраснейшие должности с прекраснейшим содержанием; другим, не нуждающимся в содержаниях,— прекраснейшие общественные положения. Но конечный результат всех этих содержаний и положений все-таки резюмируется так: buvons, chantons, dansons et aimons. Никакое полезное предприятие немыслимо, если оно, время от времени, не освежается обедом с шампанским и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна реторика, если их не оплодотворяет струя редерера. Даже археолог, защищая реферат о «Ярославле-сребре» — и тот думает: вот ужò выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия! Вот где настоящая русская подоплека, а совсем не там, где бесплодно ищут ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это в совершенстве; оттого-то в ней и едят, так сказать, пòходя.

Следуя общему примеру, и я отправился на поиски «жизни» и с этою целию посетил товарищей моих по школе.

Прихожу к одному — статский советник!!

— Статский советник! — восклицаю я,— поздравляю, поздравляю!

А сам между тем чувствую, что в голосе у меня что-то оборвалось, а внутри как будто закипает. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярным советником в отставку, то мог бы... мог бы... Ах, черт побери да и совсем!

— Да, душа моя,— с невозмутимою важностью отвечает

[1] будем пить, петь, танцевать и любить!

мой бывший товарищ,— не могу пожаловаться, начальство ценит-таки труды мои!

«Труды твои! шиш твои труды — вот что!» — со злобою помышляю я, но вслух говорю следующее:

— Ну, а дальше... есть виды?

— Насчет видов — это покамест еще секрет. Но, конечно, с божьею помощью...

Сказав это, он устремил такой пронзительный взгляд в даль, что я сразу понял, что сей человек ни перед какими видами несостоятельным себя не окажет.

— Ну, а в настоящем как?

— А в настоящем... жуируем! Гандон, Ловатò, Шнейдер... да ты Шнейдер-то видел?

— Нет еще... я так недавно в Петербурге...

— Ты не видал Шнейдер! чудак! Чего же ты ждешь! Желал бы я знать, зачем ты приехал! Boulotte... да ведь это перл! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... sapristi! [1] И он не видел!

В эту минуту в комнату входит другой товарищ, еще только коллежский советник.

— Смельский! ужасайся! он не видал Шнейдер!

— Ты не видал Шнейдер!

— Он не слыхал «Dites-lui»! [2]

— Eh Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... cette fille! Barbare... va! [3]

Я слушаю и краснею. В самом деле, чтò делал я в течение целых двух недель? Я беседовал с Прокопом, я наслаждался лицезрением иконописного Аристида Фемистоклыча — и чего не видел! не видел Шнейдер!

— Ради бога... нельзя ли! — лепечу я в смущении.

— Ah, mon cher, c'est grave! C'est très grave, ce que tu nous demande-là [4]. Однако вот что. У нас ложа на все пятнадцать представлений, и хотя нас четверо, но для тебя, pour te désinfecter de ta chère ville natale... [5] мы потеснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обедать, но за обедом, чур, много вина не пить! Помните, что сегодня идет «Barbe bleue» [6], а чтоб эту пьесу просмаковать, нужно, чтоб голова была светла да и светла!

---

[1] Как она чешет себе бедра и ноги .. черт побери!

[2] «Скажите ему»!

[3] Ах, черт побери! Как эта девушка чешет себе бедра и ноги... Варвар!

[4] Дорогой мой, это дело нешуточное. Нешуточное дело то, о чем ты у нас просишь.

[5] Чтобы тебя дезинфицировать от запаха твоего милого родного города.

[6] «Синяя борода».

И точно, за обедом мы пьем сравнительно довольно мало, так что, когда я, руководясь бывшими примерами, налил себе перед закуской большую (железнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись с некоторым беспокойством. Затем: по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека — и только.

На свежую голову Шнейдер действует изумительно. Она производит то, что должна была бы произвести вторая бутылка шампанского. Влетая на сцену, через какое-нибудь мгновение она уж поднимает ногу... так поднимает! ну, так поднимает!

— Adorable! [1] — шепчет мой друг статский советник.

— И заметь, что у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже! — комментирует другой мой друг, коллежский советник.

И вдруг она начинает петь. Но это не пение, а какой-то опьяняющий, звенящий хохот. Поет и в то же время чешет себя во всех местах, как это, впрочем, и следует делать наивной поселянке, которую она изображает.

— Mais comme elle se gratte! comme elle se gratte!.. parlez-moi de ça! [2] — захлебывается статский советник.

— Je vous demande un peu, si ce n'est pas là une grande actrice! [3] — вторит коллежский советник и с какою-то ненавистью озирается по сторонам, как будто вызывает дерзновенного, который осмелился бы выразить противоположное мнение.

Но зала составлена слишком хорошо; никто и не думает усомниться в гениальности m-lle Шнейдер. Во время пения все благоговейно слушают; после пения все неистово хлопают. Мы, с своей стороны, хлопаем и вызываем до тех пор, покуда зала окончательно пустеет.

После спектакля ужин (уже без воздержания), и за ужином разговор.

— Mais comme elle se gratte!

— En voilà une fille!

— Et remarquez, comme elle a fait ceci... [4]

Статский советник пробует пройтись церемониальным маршем, как это делает Шнейдер, то есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

---

[1] Восхитительно!

[2] Но как она почесывается! как почесывается!.. невозможно передать!

[3] Скажите, разве это не великая актриса!

[4] Но как она почесывается! — Вот так девушка! — И заметьте, как она сделала вот это..

Я сам взволнован до глубины души и желаю выразить свои чувства.

— Признаюсь, господа,— говорю я,— это... это... заметили ли вы, например, какой у нее отлёт?

Я изгибаюсь головой и грудью вперед, а остальною частью корпуса силюсь изобразить «отлёт».

— Именно отлёт! C'est le vrai mot! Otliott magnifique! [1]

— Ай да деревня! сидит, сидит в захолустье, да и выдумает!

— Messieurs! не говорите так легко об нашем захолустье! У нас там одна помпадурша есть, так у нее отлёт! Je ne vous dis que ça! [2]

Я собираю пальцы в кучку и целую кончики.

— Ну, все-таки, против Шнейдер...— сомневается статский советник.

— Да разве я об Шнейдерше!.. Schneider! mais elle est unique! [3] Шнейдер... это... это... Но я вам скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte pas les hanches,— c'est vrai! mais si elle se les grattait! [4] я не ручаюсь, что и вы... Человек! четыре бутылки шампанского!

Потом следуют еще четыре бутылки, потом еще четыре бутылки... желудок отказывается вмещать, в груди чувствуется стеснение. Я возвращаюсь домой в пять часов ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успеваю лечь в постель, как тотчас же засыпаю. Но я не без гордости сознаю, что сего числа я был истинно пьян не с пяти часов пополудни, а только с пяти часов пополуночи.

На другой день, к другому товарищу,— этот уже не просто статский, а действительный статский советник.

— Уж действительный статский!

— Да, душа моя, действительный. Благодарение богу, начальство видит мои труды и ценит их.

— Да ведь таким образом ты, пожалуй...

— И очень не мудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько известны... Enfin qui vivra — verra [5].

Сказавши это, он поднял ногу, как будто инстинктивно куда-то ее заносил. Потом, как бы сообразив, что серьезных разговоров со мной, провинциалом, вести не приходится, спросил меня:

— Надеюсь, что ты видел Шнейдер?

---

[1] Вот именно! Отлет! Великолепно!
[2] О прочем умалчиваю!
[3] Но она несравненна!
[4] Она, правда, не чешет себе бедер,— но если бы она их чесала!
[5] Словом, поживем — увидим.

— Вчера, с старыми товарищами были.

— Это в «Barbe bleue»? Délicieuse![1] не правда ли?

— Comme elle se gratte les hanches et les jambes![2]

— N'est-ce pas! quelle fille! quelle diable de fille! Et en même temps, actrice! mais une actrice... ce qui s'appelle — consommée![3]

— А ты заметил, как она церемониальным маршем к венцу-то прошла!

Я пробую напомнить Шнейдершу в лицах, но при первой же попытке вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

— Ну вот! ну вот! — смеется мой друг,— это хорошо, что ты так твердо запомнил, но зачем подражать неподражаемому! En imitant l'inimitable, on finit par se casser le cou.

— Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme elle se gratte!

— Ah! mais c'est encore un trait de génie... ça![4] Заметь: кого она представляет? Она предсгавляет простую, наивную поселянку! Une villageoise! une paysanne! une fille des champs! Ergo...

— Mais c'est simple comme bonjour![5]

— Вот сегодня, например, ты увидишь ее в «Le sabre de mon père»[6] — здесь она не только не чешется, но даже поразит тебя своим величием! А почему? потому что этого требует роль!

— Увы! у меня нет на сегодня билета!

— Вздор! Надо, чтобы ты видел эту пьесу. Вы — люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность — это сграться, чтоб вы всё видели, всё знали. Вот что: у нас есть ложа, и хотя мы там вчетвером, но для тебя погеснимся. Я хочу, непременно хочу, чтобы ты видел, как *она* поет «Dites-lui»![7] Я с намерением говорю: «чтоб ты видел», потому чю это мало слышать, это именно *видеть* надо! А теперь идем обедать, mais soyons sobres, mon cher! parce que c'est très sérieux, ce que tu vas voir ce soir![8]

---

[1] «Синей бороде»? Восхитительно!

[2] Как она чешет себе бедра и ноги!

[3] Не правда ли? какая девушка! какая чертовская девушка! И в то же время актриса! и актриса... что называется — безупречная!

[4] Подражая неподражаемому, кончают тем, что ломают себе шею.— Но как она почесывается! бог богов! как почесывается! — Тут опять-таки гениальная черта ..

[5] Поселянку! крестьянку! дочь полей! Следовательно...— Но это просто, как день!

[6] «Сабле моего отца».

[7] «Скажите ему».

[8] но будем воздержными, дорогой, ибо то, что ты увидишь вечером, дело нешуточное!

Мы обедаем впятером. Выпиваем по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека — и только.

Я не стану описывать впечатления этого чудного вечера. *Она* изнемогала, таяла, извивалась и так потрясала «отлётом», что товарищи мои, несмотря на то что все четверо были действительные статские советники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно так же, как и *она*.

— Из театра — к Борелю.

— Ну-с, что̀ скажете, любезный провинциал?

— Да, messieurs, это... Это, я вам скажу... Это... искусство!

— C'est le mot. On cherche l'art, on se lamente sur son dépérissement! Eh bien! je vous demande un peu, si ce n'est pas la personification même de l'art! «Dites-lui» — parlez-moi de ça! [1]

— И заметьте, messieurs, какой у нее «отлёт»!

— Otliott! c'est le mot! mais il est unique, ce cher provincial! [2]

Как и накануне, я изогнулся головой и корпусом вперед.

— Именно! именно! c'est ça! c'est bien ça! [3] — кричали действительные статские советники, хлопая в ладоши.

Даже борелевские татары — и те смеялись.

— А теперь, господа, в благодарность за высокое наслаждение, доставленное мне вами, позвольте... человек! шесть бутылок шампанского!

Затем еще шесть бутылок, еще шесть бутылок и еще... Я вновь возвращаюсь домой в пять часов ночи, но на сей раз уже с мѐньшею гордостью сознаю, что хотя и не с пяти часов пополудни, но все-таки другой день сряду ложусь в постель усталый и с отягченной винными парами головой.

Таким образом проходит десять дней. Утром вставанье и потягиванье до трех часов; потом посещение старых товарищей и обед с умеренной выпивкой; потом Шнейдерша и ужин с выпивкой неумеренной. На одиннадцатый день я подхожу к зеркалу и удостоверяюсь, что глаза у меня налитые и совсем круглые. Значит, опять в самую точку попал.

«Уж не убраться ли подобру-поздорову под сень рязанско-козловско-тамбовско-воронежско-саратовского клуба?» — мелькает у меня в голове. Но мысль, что я почти месяц живу

---

[1] Вот именно. Ищут искусства, сетуют на его упадок! Так вот я спрашиваю, разве это не само олицетворение искусства? «Скажите ему» — найдите что-нибудь подобное!

[2] Отлёт! вот настоящее слово! наш дорогой провинциал прямо-таки неподражаем!

[3] так, так!

в Петербурге, и ничего не видал, кроме Елисеева, Дюссо, Бореля и Шнейдер, угрызает меня.

«Нет, думаю, попробую еще! По крайней мере, узнаю, что́ такое современная петербургская жизнь!»

Приняв это решение, отправляюсь в воронинские бани, где парюсь до тех пор, пока сознаю себя вполне трезвым.

Затем на целый день остаюсь дома и занимаюсь приведением в порядок желудка. И только на другой день, свежий и встрепанный, начинаю новый ряд похождений.

II

Что же такое, однако, «жизнь»?

В течение более трех недель я проделал все, что, по ходячему кодексу о «жизни», надлежит проделать, чтобы иметь право сказать: я жуировал и, следовательно, жил. Я исполнил «buvons» — ибо ни одного дня не ложился спать трезвым; я исполнил «chantons et dansons» — ибо стоически выдержал целых десять представлений «avec le concours de m-lle Schneider»[1], наконец, я не могу сказать, чтобы не было в продолжение этого времени кое-чего и по части «aimons»... А в результате все-таки должен сознаться, что не только «жизни», но даже и жуировки тут не было никакой. Мало того: по окончании всего этого жизненного процесса я испытываю какое-то удивительно странное чувство. Мне сдается, что все это время я провел в одиночном заключении!

И действительно, это было не более как одиночное заключение, только в особенной, своеобразной форме. Провести, в продолжение двух недель, все сознательные часы в устричной зале Елисеева, среди кадыков и иконописных людей — разве это не одиночное заключение? Провести остальные десять дней в обществе действительных статских кокодессов, лицом к лицу с несомненнейшею чепухой, в виде «Le Sabre de mon père», с чепухой без начала, без конца, без середки,— разве это не одиночное заключение? Ежели первый признак, по которому мы сознаем себя живущими в человеческом обществе, есть живая человеческая речь, то разве я ощущал на себе ее действие? Говоря по совести, все, что̀ я испытывал в этом смысле, ограничивалось следующим: я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связки, и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связки. «Вот кабы», «ну, уж

---

[1] с участием м-ль Шнейдер.

тогда бы» — ведь это такого рода словопрения, которые я мог бы совершенно удобно производить и в одиночном заключении. Ужели же я без натяжки могу утверждать, что меня окружало действительно людское общество, когда в моем времяпрепровождении не было даже внешних признаков общественности? Нет, это были не более как люди стеноподобные, обладающие точно такими же собеседовательными средствами, какими обладают и стены одиночного заключения. Это было не общество в действительном значении этого слова, а именно одиночное заключение, в которое, вследствие упущения начальства, ворвалось шампанское с устрицами, с пением и танцами.

А между тем кодекс, формулирующий жизнь словами: buvons, dansons, chantons et aimons — сочинен не нами. Он существует издревле, и целые поколения довольствовались им, не думая ни о чем другом и не желая ничего больше. От чего же он опротивел мне в двадцать четыре дня, а достославным моим предкам казался лучше всякого эдема? Отчего мои пращуры могли всю жизнь, без всякого ущерба, предаваться культу «buvons», а я не могу выдержать месяца, чтобы у меня не затрещала голова, чтобы глаза мои явно не изобличили меня в нетрезвом поведении, чтобы мне самому, наконец, моя собственная персона не сделалась до некоторой степени противною? Отчего дедушка Матвей Иваныч, перед которым девка Палашка каждый вечер, изо дня в день, потрясала плечами и бедрами, не только не скучал ее скудным репертуаром, но так и умер, не насладившись им досыта, а я, несмотря на то что передо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, в каких-нибудь десять дней ощутил такую сытость, что хоть повеситься?

Я живо помню дедушку Матвея Иваныча. Это был старик высокий, широкоплечий, бодрый, сильный, румяный. Он вставал рано, никогда не нежился и не потягивался, но сразу одевался, выливал на голову кувшин холодной воды, выпивал красоулю и отправлялся в отъезжее поле. Там, в промежутках полевания, выпивалось до пропасти, и основанием выпивки всегда служил спирт. Очевидно, тут было от чего ошалеть самому крепкому организму, но старик возвращался домой не только без всяких признаков пресыщения, но с явным намерением выпить до пропасти и за обедом. После обеда он задавал выхрапку, продолжавшуюся часа три, потом выпивал «десертную», выслушивал старосту и отправлялся в зал. Там его ожидали сенные девушки, с девкой Палашкой во главе, и начиналось неперестающее потрясание бедрами, все в одном и том же тоне, с одними и теми же прибаутками, нынче как

вчера. Как страстный любитель потрясаний, дедушка, разумеется, не мог ни устоять, ни усидеть, и потому притопывал, приплясывал, жаловал по рюмке, сам выпивал по две, и проводил таким образом время до ужина. За ужином он вел пристойный разговор с гостями, если таковые наезжали, или с домашними, если гостей не было, и выпивал с таким расчетом, чтобы иметь возможность сейчас же заснуть и отнюдь не видеть никаких снов. И расчет никогда не обманывал его: он безмятежно засыпал вплоть до утра, с наступлением которого вновь повторялся вчерашний день с тою же выпивкой, с тем же отъезжим полем и теми же потрясаниями.

А дяденька у меня был, так у него во всякой комнате было по шкапику, и во всяком шкапике по графинчику, так что все времяпровождение его заключалось в том: в одной комнате походит и выпьет, потом в другой походит и выпьет, покуда не обойдет весь дом. И ни малейшей скуки, ни малейшего недовольства жизнью!

Десятки лет проходили в этом однообразии, и никто не замечал, что это — однообразие, никто не жаловался ни на пресыщение, ни на головную боль! В баню, конечно, ходили и прежде, но не для вытрезвления, а для того, чтобы испытать, какой вкус имеет вино, когда его пьет человек совершенно нагой и окруженный целым облаком горячего пара.

Положим, что в былое время, как говорят, на Руси рождались богатыри, которым нипочем было выпить штоф водки, согнуть подкову, переломить целковый; но ведь дело не в том, что человек имел возможность совершать подобные подвиги и не лопнуть, а в том, как он мог не лопнуть от скуки?

А мне вот скучно. Я пью у Елисеева вино первый сорт, а мне кажется, что есть и еще какое-то вино, которое представляет собою уже самый первый сорт, и мне его не дают; я смотрю на Шнейдершу, а мне кажется, что есть еще какая-то обер-Шнейдерша и что вот если бы эту обер-Шнейдершу посмотреть, так это точно... Где бы я ни находился, везде меня угнетает мысль, что есть еще нечто, что̀ необходимо бы заполучить, но в чем состоит это нечто — вот этого-то именно я формулировать и не могу. Я процветал под сению рязанско-козловско-тамбовско-саратовского клуба — и изнемогал от скуки; я наслаждался речами земских авгуров — и изнемогал от скуки; наконец, я приехал в Петербург — и опять изнемогаю от скуки. Везде чего-то недостает, как будто вся жизнь не настоящая. И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и песни не настоящие, и любовь не настоящая, и авгуры не настоящие, и их речи не настоящие. Словом сказать, жизнь идет словно плохое театральное представление. Как будто вот

наняли актеров из Александринки и сказали им: представляйте комедию. Ну, они и вьют во сне веревки за приличное вознаграждение.

Отчего дедушка Матвей Иваныч мог жуировать так, что эта жуировка не приводила его к мизантропии, а я, его потомок, не могу вкусить ни от какого плода без того, чтоб этот плод тотчас же не показался мне пресным до отвращения? Оттого ли, что в развеселое житье Матвея Иваныча входил какой-нибудь особый, нам неизвестный элемент, которого теперь не существует и который даже однообразию сообщал известного рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, лучше и развитее нашего пращура, что наш кругозор несколько шире и что, вследствие этого, мы не можем удовлетворяться теми дешевыми наслаждениями, которые тешили наших предков?

Вопросы эти как-то невольно пришли мне на мысль во время моего вытрезвления от похождений с действительными статскими кокодессами. А так как, впредь до окончательного приведения в порядок желудка, делать мне решительно было нечего, то они заняли меня до такой степени, что я целый вечер лежал на диване и все думал, все думал. И должен сознаться, что результаты этих дум были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли оттенять внешнее однообразие жизни дедушки Матвея Иваныча, были следующие: во-первых, дворянский интерес, во-вторых, сознание властности, в-третьих, интерес сельскохозяйственный, в-четвертых, моцион. Постараюсь разъяснить здесь, какую роль играли эти элементы в том общем тоне жизни, который на принятом тогда языке назывался жуированием.

Что́ ни говорите о дворянском интересе, но он существовал. Содержание этого явления было несложное и фальшивое (потому-то оно и улетучилось так легко), но что самое явление имело очень реальное существование — в этом не может быть сомнения. Еще на нашей памяти дворянские собрания были шумны и многолюдны, и хотя предметом их было охранение только одного-единственного права, но это единственное право обладало такою способностью проникать и окрашивать все, что́ к нему ни прикасалось, что само по себе представляло, так сказать, целый пантеон прав. Говорят, что это было дурное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать против этого. Но я веду речь не о достоинствах права, а о том, в какой мере оно могло служить подспорьем для жизни. Дедушка Матвей Иваныч недаром не пропускал ни одного собрания, недаром, периодически через каждые три

года, бушевал в губернском городе. Бушевание было для него не целью, а символом. Он сознавал себя представителем *своего* права, и по случаю этого права предавался всякого рода необузданностям, с полною уверенностью, что они пройдут для него безнаказанно. Необузданность и безнаказанность были два понятия, которые шли рядом и взаимно друг друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себе, а безнаказанность усложняла получаемое от необузданности удовольствие и придавала ему некоторую пикантность. Посмотрите: все люди ходят опасно и жмутся к стороне, а дедушка Матвей Иваныч один во всякое время мчится вихрем по улицам, разбивает наголову полицию и бьет в трактирах посуду! Как хотите, а такое обладание монополией необузданности не могло не льстить чувству человека, не обладавшего особенно утонченным развитием...

Сами по себе взятые, такого рода удовольствия, даже в глазах очень грубых людей, не могли казаться ни особенно разнообразными, ни особенно умными. Я думаю, что непрерывное их повторение повергло бы даже дедушку в такое же уныние, как и меня, если бы тут не было подстрекающей мысли о каких-то якобы правах. Но в том-то и дело, что эта подстрекающая мысль сказывалась на каждом шагу, напоминала о себе ежеминутно. Известно, что наши предводители дворянства считали своим долгом пикироваться с губернаторами и даже, по временам, подставлять им ножки. Если б кто-нибудь взял на себя труд обстоятельно написать историю этих пикировок, вышла бы очень интересная история, из которой всякий увидел бы, что это был просто глупый обычай, по поводу которого можно только развести руками. Обе стороны лаяли в буквальном смысле этого слова, лаяли бессознательно, беспричинно, просто потому, что исстари так уж заведено. Но ведь дело не в том, глупо или умно было содержание пикировки, а в том, что вот ни один курицын сын не смеет ее производить, а я, имярек, произвожу — и горя мне мало. Конечно, и это опять-таки вносило в жизнь наших пращуров глупость сугубую, но так как это была глупость предвзятая, то она невольным образом получала все свойства убеждения. Что̀ может быть глупее, как сдернуть скатерть с вполне сервированного стола, и, тем не менее, для человека, занимающегося подобными делами, это не просто глупость, а молодечество и даже, в некотором роде, рыцарский подвиг, в основе которого лежит убеждение: *другие* мимо этого самого стола пробираются боком, а *я* подхожу и прямо сдергиваю с него скатерть! Таким образом, натешившись вдоволь в губернии, то есть огласивши неслыханным криком собрание и неслыханным

пьянством гостиницы, напикировавшись с губернатором и кинувши подачку прочим чинам, наши пращуры возвращались в свои дворянские гнезда и предавались там дворянским удовольствиям. Удовольствия эти подробно указаны выше, при описании дня дедушки Матвея Иваныча, и несложность их очевидна для всякого. Но, несмотря на эту несложность, мысль, что они дворянские, играла роль масла, питающего огонь. Человек вращался в заколдованном круге, изо дня в день, на один и тот же манер, но не падал духом и не роптал на судьбу, потому что был убежден, что вращаться таким образом *его право* и, в то же время, его долг. Да и одних ли пращуров наших поддерживала подобная мысль при отбывании скучного процесса жизни? Подите дальше, припомните всевозможные приемы, церемонии и приседания, которыми кишит мир, и вы убедитесь, что причина, вследствие которой они так упорно поддерживаются, не делаясь постылыми для самих участвующих в них, заключается именно в том, что в основе их непременно лежит хоть подобие какого-то представления о праве и долге.

К тому же наши пращуры в упомянутом выше *своем праве* видели твердыню, и видели ее не без основания. Дедушка Матвей Иваныч понимал очень отчетливо, что ежели он тверд в вере, то никто не только не тронет его, но и *не может* тронуть. Он сам сознавал себя твердыней, и кратковременные капризы его с губернатором были не больше как обоюдное развлечение двух твердынь. А так как последнему это было так же хорошо известно, как и дедушке, то он, конечно, остерегся бы сказать, как это делается в странах, где особых твердынь по штату не полагается: я вас, милостивый государь, туда турну, где Макар телят не гонял! — потому что дедушка на такой реприманд, нимало не сумнясь, ответил бы: вы не осмелитесь это сделать, ибо я сам государя моего отставной подпоручик! И губернатор, наверное, прикусил бы язык, потому что дедушкина твердость в вере была такова, что вошла даже в пословицу. Припомним, что в ту пору не было ни эмансипаций, ни вольного труда, ни вольной продажи вина, и вообще ничего такого, что̀ поселяет в человеческой совести разлад и зарождает в человеке печальные думы о коловратности счастия. А коль скоро нет в жизни разлада, то человек, даже без всякого давления фанатизма, имеет веру сильную и стремительную. Он смотрит в одну точку, около которой располагает и все прочие подробности жизни. А так как эта точка не только существовала для наших пращуров, но и составляла совершеннейший пантеон, то человеку, убежденному, что он находится в самом центре храма славы, весьма есте-

ственно было примиряться с некоторыми его недостатками, заключавшимися в однообразии предоставляемых им наслаждений. И отъезжее поле, и потрясающая бедрами девка Палашка, и даже хождение по комнатам, украшенными шкапиками с графинчиками,— все это выносилось безропотно, потому что во всем этом виделся символ, за которым пряталась идея о *праве и долге.*

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, никаких подобного рода интересов не имеем. Мы как-то вдруг опешили и убедились, что у нас от *нашего* права не осталось ни капельки. Собрания наши малолюдны; мы не пикируемся, потому что пикироваться на манер пращуров не имеем уже повода, а каким образом пикироваться на новый манер — еще не придумали. С другой стороны, мы не срываем скатертей с сервированных столов, не услаждаемся потрясаниями доморощенных Палашек, потому что это слишком дорого стоит. Для того чтобы иметь хоть призрак тех удовольствий, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ехать в Петербург и там, в складчину, по два рубля с рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но ведь Шнейдерша — достояние общее, а при общедоступности доставляемого ею удовольствия кто же из нас может сказать: это *моя* Шнейдерша! как, бывало, говаривал дедушка Матвей Иваныч: это моя Палашка! А в возможности подобных-то восклицаний и заключается тайна живучести тех несложных удовольствий, которые составляют удел наш. Вникните в смысл этого восклицания, вслушайтесь в тон, которым оно сказано,— и вы убедитесь, что тут звучит нечто больше нежели просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, что Палашка была для дедушки не просто Палашкой, а олицетворением *его права;* что он, услаждая свой взор ее потрясаниями, приобретал не на два рубля с рыла удовольствия, а сознавал удовлетворенным свое чувство дворянина. А мы что? Мы даже m-lle Филиппо не можем заставить спеть «L'amour — ce n'est que cela»[1], ежели этой песенки не значится в афишах. Да если бы и имели возможность заставить — что же потом? Или, быть может, есть у нас, кроме m-lle Филиппо и ее песенок, и другие какие-нибудь интересы, как, например: ужин с шампанским у Дюссо, устрицы с шампанским у Елисеева и нумер в гостинице для отдохновения от пьяно проведенной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигде не можем найти себе места. Мы не выработали ни новых интересов, ни новых

---

[1] «Любовь — это вот что».

способов жуировать жизнью, ни того, ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности. Очевидно, что, при таком положении вещей, не помогут нам никакие кривляния, хотя бы они производились даже с талантливостью m-lle Schneider.

Вторым оттеняющим жизнь элементом было сознание властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, представьте себе бессребреника квартального надзирателя, обяжите его с утра до вечера распоряжаться на базаре и оставьте при нем только сладкое сознание исполненных обязанностей. Наверное, он в самый короткий срок выйдет в отставку. Помилуйте,— скажет,— из-за чего тут биться! и грошей не сбирать, да еще какие-то обязанности наблюдать! разве с ними, чертями, так можно! Но скажите тому же квартальному: друг мой! на тебя возложены важные и скучные обязанности, но для того, чтобы исполнение их не было слишком противно, дается тебе в руки власть — и вы увидите, как он воспрянет духом и каких наделает чудес! Увы! как ни малоплодотворно занятие, формулируемое выражением «гнуть в бараний рог», но при отсутствии других занятий, при отчаянном однообразии общего тона жизни, и оно освежает. Дедушка Матвей Иваныч говаривал: когда я иду, то земля подо мной дрожит,— и радовался этому обстоятельству. Конечно, это была радость неразвитого человека, но это была настоящая, заправская радость, и отвергать возможность ее нет ни малейшего основания.

Есть наслажденье и в дикости лесов,—

сказал поэт, а дедушка мой, с своей стороны, мог прибавить: есть наслаждение и в сечении, разумея под этим, впрочем, не самый процесс сечения, а принцип его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаем такого рода наслаждения, но так как они существовали на нашей памяти, то понимать их все-таки можем. Если мы в настоящее время и сознаем, что желание властвовать над ближними есть признак умственной и нравственной грубости, то кажется, что сознание это пришло к нам путем только теоретическим, а подоплека наша и теперь вряд ли далеко ушла от этой грубости. Всякий вслух глумится над позывами властности, но всякий же про себя держит такую речь: а ведь если б только пустили, какого бы я звону задал! Я думаю даже, что бо́льшая часть наших горестей от того происходит, что нам не над кем и не над чем повластвовать. А дедушке Матвею Иванычу было над чем и над кем повластвовать, и он понимал себя в этом отношении

не пятым колесом в колеснице и не отставным козы барабанщиком. Смотрит он, например, на девку Палашку, как она коверкается, и в то же время, если не формулирует, то всем существом сознает: я с этой Палашкой что̀ хочу, то сделаю: захочу — косу обстригу, захочу — за Антипку-пастуха замуж выдам!

— Палашка! хочешь за пастуха Антипку замуж!

— Помилуйте, барин! чем же я провинилась! кажется, стараюсь!

— А ну, Христос с тобой! пляши!

И Палашка ожесточеннее прежнего упирала руки в боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дедушка посматривал на ее плясательные пароксизмы и думал про себя: однако важно я ее, поганку, напугал!

И таким образом, в общее однообразие жизни прокрадывалась новая стихия, которая ее оживляла и скрашивала.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, лишены даже такого сорта оживляющих эпизодов.

— *Мы курице не можем сделать зла!* — ma parole![1] — говорил мне на днях мой друг Сеня Бирюков,— объясни же мне, ради Христа, какого рода роль мы играем в природе?

И я ничего не мог ни возразить, ни объяснить, ибо знаю, что, по утвердившемуся на улице понятию, обладание властью действительно равносильно возможности гнуть в бараний рог и что в этом смысле мы, точно, никакой власти не имеем. Или, быть может, мы имеем ее в каком-нибудь другом смысле?.. Risum teneatis, amici!

Но если такое убеждение об утраченной властности уже укоренилось в нас, то, очевидно, нам остается нести иго жизни без всякого сознания, что мы что-нибудь можем, и, напротив того, с полным и горьким сознанием, что с нами все совершить можно. Мы так и поступаем. Конечно, с нашей стороны это очень большая добродетель, и мы имеем-таки право утешать себя мыслью, что дальше от властности — дальше от зла; но ведь вопрос не о тех добродетелях, которые отрицательным путем очень легко достаются, а о той скуке, о тех жизненных неудобствах, которые составляют естественное последствие всякой страдательной добродетели. У меня был очень добродетельный дяденька, который служил заседателем в суде и которому, именно за добродетель его, было велено подать в отставку. Я живо помню, что когда это случилось, то не только сам дяденька, но и все родные были в неописанном волнении.

---

[1] честное слово!

— Мухи не обидел! — говорил дяденька.
— Мухи не обидел! — восклицали родные.
— Мухи не обидел! — шептались между собой дворовые.
— Мухи не обидел! — рассуждали дяденькины сослуживцы.

Это было действительно сладкое сознание; но кончилось дело все-таки тем, что дяденька же должен был всех приходивших к нему с выражениями сочувствия угощать водкой и пирогом. Так он и умер с сладкою уверенностью, что не обидел мухи и что за это, именно за это, должен был выйти в отставку.

Не то же ли явление повторяется теперь надо мною? Дедушка Матвей Иваныч обидел многих — и жил! Я, его внук, клянусь честью, именно мухи не обидел — и чувствую себя находящимся от жизни в отставке! За что?

За что? вникните в этот вопрос; вспомните, что его повторяют многие тысячи людей, и рассудите, каковы должны быть люди, у которых не выработалось никаких других вопросов, кроме: за что?

Третье подспорье — интерес сельскохозяйственный. Надобно сознаться, что интерес этот, во времена дедушки, был обставлен очень рутинно и сам по себе занимал наших предков весьма умеренно. Но они самими условиями жизни были поставлены в центре хозяйственной сутолоки и потому, волею-неволею, не могли оставаться ей чуждыми. Не было речи ни об улучшениях, ни о преимуществах той или другой системы, ни о замене человеческого труда машинным (об исключениях, разумеется, я не говорю), но была бесконечная ходьба, неумолкаемое галдение, понукание и помыкание во всех видах и, наконец, та надоедливая придирчивость, которая положила основание пословице: свой глазок-смотрок. Этот «глазок-смотрок» очень мало видел, но смотрел, действительно, много, и этого было достаточно, чтоб наполнить время всевозможными распорядительными подробностями. Наши пращуры не хозяйничали в собственном смысле этого слова, а «спрашивали». Дедушка Матвей Иваныч так рассуждал: распорядиться работами — дело приказчика и старосты, а мое дело — с них «спросить». И действительно, «спрашивал» много, хотя в этом «спрашиванье» первое место, конечно, занимала случайность. Поедет, бывало, дедушка в беговых дрожках на пашню, наедет на пропашку или на ком не тронутой бороной земли — и «спросит». Пойдет на гумно, захватит в горсть мякины, усмотрит в ней невывеянные зерна — и опять «спросит». Все в этом *хозяйничанье* основывалось на случайности, на том, что дедушка захватывал ту, а не другую горсть

мякины; но эта случайность составляла один из тех жизненных эпизодов, совокупность которых заставляла говорить: в сельском хозяйстве вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое дело, что только на минутку ты от него отвернись, так оно тебя рублем по карману наказало. Допустим, что это было самообольщение, но ведь вопрос не в том, правильно или неправильно смотрит человек на дело своей жизни, а в том, есть ли у него хоть какое-нибудь дело, около которого он может держаться. Дедушка, например, слыл одним из лучших хозяев в губернии, а между тем я положительно знаю, что он ни бельмеса не смыслил в хозяйстве, то есть пахал и сеял там (земли, дескать, вдоволь, рабочие руки даром — а все же хоть полтора зерна да уродится!), где нынче ни один человек со смыслом пахать и сеять не станет. Но он умел «спрашивать», и в этом заключалась вся тайна его репутации. И эта потребность «спрашивать» не сосредоточивалась на одном хозяйстве, но преследовала его всюду, окрашивала всю остальную его деятельность, сообщая ей характер неумолкающей суеты. Он везде «спрашивал», везде являл себя энциклопедистом. И хотя эта суета в конце концов не созидала и сотой доли того, что она могла бы создать, если бы была применена более осмысленным образом, но она помогала жить и до известной степени оттеняла ту вещь, которая известна под именем жуировки и которую, без этих вспомогательных средств, следовало бы назвать смертельною тоской.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, решительно никаких хозяйственных интересов не имеем. Зачем, спрашиваю я вас, пойду я на пашню или на гумно? С кого я «спрошу»? А ведь и у меня, точно так же как и у дедушки, кроме «спрашиванья», никаких других распорядительных средств по части сельского хозяйства не имеется. Поэтому, если мне и случается как-нибудь заблудиться на гумне, то я отнюдь не позволяю себе прикоснуться ни к мякине, ни к провеянному зерну. К чему? ведь это любопытство только растравит мои раны! И заочно я совершенно уверен, что провеянное зерно содержит в себе наполовину мякины, а напротив, мякина содержит наполовину невывеянного зерна,— зачем же я буду удостоверяться в этом? Лучше я буду сидеть и вздыхать. Вздыхать — это мое право, и я тем с бо́льшим увлечением пользуюсь им, что это единственное право, которое я сам выработал и которого никто у меня не отнимет. В самом деле, не обидно ли: я не только не меньше дедушки знаю толк в сельском хозяйстве, но даже несколько больше, а между тем дедушка ежегодно ставил целый город скирдов, а у меня на гумне всего два скирдочка стоят, да и те какие-то растрепан-

ные и накренившиеся набок. А все отчего? А оттого, милостивые государи, что как у меня, так и у дедушки, главное основание сельскохозяйственных распоряжений все-таки не что иное, как система «спрашивания», с тою лишь разницей, что дедушка мог «спрашивать», а я не могу. Следовательно, мне и хозяйничать нечего, а надлежит все бросить и как можно скорее ехать в столичный город Петербург и там наслаждаться пением девицы Филиппо, проглатыванием у Елисеева устриц и истреблением шампанских вин у Дюссо до тех пор, пока глаза не сделаются налитыми и вполне круглыми.

Затем, четвертый оттеняющий жизнь элемент — моцион... Но права на моцион, по-видимому, еще мы не утратили, а потому я и оставляю этот вопрос без рассмотрения. Не могу, однако ж, не заметить, что и этим правом мы пользуемся до крайности умеренно, потому что, собственно говоря, и ходить нам некуда и незачем, просто же идти куда глаза глядят — все еще как-то совестно.

Таким образом, вопрос, отчего нас так скоро утомляют те несложные удовольствия, которые нимало не пресыщали наших предков, отчасти разъясняется. Но, написавши изложенное выше, я невольным образом спрашиваю себя: ужели перо мое начертало апологию доброго старого времени — апологию тех патриархальных отношений, которые так картинно выражались в крепостном праве?

Не пугайся, однако ж, о слишком либеральный читатель! Речь идет вовсе не о том. Жаль не крепостного права, а жаль того, что право это, несмотря на его упразднение, еще живет в сердцах наших. Отрешившись от него внешним образом, мы не выработали себе ни бодрости, составляющей первый признак освобожденного от пут человека, ни новых взглядов на жизнь, ни более притязательных требований к ней, ни нового права, а просто-напросто успокоились на одном формальном признании факта упразднения. Разве этим все сказано? Разве это конец, а не начало?

Затем, я предоставляю каждому, по собственному усмотрению, разрешить второй из поставленных выше вопросов: насколько мы лучше наших пращуров и насколько сумели расширить наш кругозор? Я же, с своей стороны, могу разрешить этот вопрос лишь следующим образом:

Да, мы лучше наших пращуров. Но лучше не сами по себе, а потому, что мы отцы детей наших, которые несомненно будут лучше и наших пращуров, и нас.

Совершенно свежий и трезвый, я вышел на улицу с твердым намерением идти на все четыре стороны, как при самом выходе, на крыльце, меня застиг Прокоп.

— Так вот он где! — загремел он своим лающим голосом,— ну, батюшка, задали вы нам задачу!

Признаюсь, при звуке этого голоса я струсил. Вот, думаю, сейчас схватит он меня в охапку и опять потащит к Елисееву.

— Мы думали, что он тихим манером концессию выслежи-вает, а он, прошу покорно, Шнейдершу изучает! Видели, батюшка, видели!

— Да, кстати... а ваши дела по концессии?

— Ну их!

Прокоп вдруг заволновался, и несколько секунд я думал, что у него от гнева сперло в зобу дыхание.

— Нет, вы представьте себе, какая со мной штука случилась,— воскликнул он наконец,— все дело уж было на мази, и денег я с три пропасти рассорил, вдруг — хлоп решение: вести от Изюма дорогу несвоевременно! Это от Изюма-то!

— Гм... да... Изюм... это...

— Одно слово: Изюм! Только назови, всякий поймет! Да ведь кому у нас понимать-то! вы вот что мне скажите! Кому понимать-то!

Я чувствовал, что вот-вот Прокоп сейчас ударится в либереализм, и как-то инстинктивно пролепетал: — prenez garde... on peut nous entendre...[1]

— Ну их! боюсь я их, что ли! По мне, хоть сколько хочешь подслушивай! Так вот, сударь, какие дела у нас делаются!

— Ну, и что ж теперь!

— Теперь я другую линию повел. Железнодорожную-то часть бросил. Я свое дело сделал, указал на Изюм — нельзя? — стало быть, куда хочешь, хоть к черту-дьяволу дороги веди — мое дело теперь сторона! А я нынче по административной части гусара запустил. Хочу в губернаторы. С такими, скажу вам, людьми знакомство свел — отдай всё, да и мало!

— А что?

— Да уж шабаш! Одно скверно — скучно очень, да и водки не подают. Не хотите ли, я вас сегодня вечером представлю? Сегодня в одном месте проект «об уничтожении» читать будут.

— Об уничтожении чего же?

— Ну... чего? разумеется, всего. И мировые суды чтоб

---

[1] остерегайтесь .. нас могут слышать...

уничтожить, и окружные суды чтобы побоку, и земство по шапке. Словом сказать, чтобы ширь да высь — и больше ничего!

— Что вы! да ведь это целая революция!

— А вы как об этом полагали! Мы ведь не немцы, помаленьку не любим! Вон головорезы-то, слышали, чай? — миллион триста тысяч голов требуют, ну, а мы, им в пику, сорок миллионов поясниц заполучить желаем!

Прокоп, сказав это, залился добродушнейшим смехом. Этот смех — именно драгоценнейшее качество, за которое решительно нет возможности не примириться с нашими кадыками. Не могут они злокознствовать серьезно, сейчас же сами свои козни на смех поднимут. А если который и начнет серьезничать, то, наверное, такую глупость сморозит, что тут же его в шуты произведут, и пойдет он ходить всю жизнь с надписью «гороховый шут».

— Однако это любопытно!

— Еще как любопытно-то, умора! Нынче прожекты-то эти в моде: все пишут! Один пишет о сокращении, другой — о расширении. Недавно один из наших даже прожект о расстрелянии прислал — право!

— И что ж?

— На виду! Говорят. горяченько немного, однако кой-чем позаимствоваться можно.

— Стало быть, и вы...

— Еще бы. И я прожект о расточении написал. Ведь и мне, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось в одном месте — пробую в другом. Там побываю, в другом месте прислушаюсь — смотришь, ан помаленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждодневно в семи домах бываю и везде только и дела делаю, что прожекты об уничтожении выслушиваю.

Говоря таким образом, мы вышли на Невский проспект и поравнялись с Домиником.

— Зайти разве? — пригласил Прокоп,— ведь я с тех пор, как изюмскую-то линию порешили, к Елисееву — ни-ни! Ну его! А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь да огня на гривенник же проглотишь — и прав! Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут — это уж скверно!

— Признаюсь, не хотелось бы заходить. Все пьешь да пьешь... Голова как-то..

— Да разве возможно не пить! Вот хоть бы то место, куда мы сегодня поедем, разве наш брат может там хоть один час пробыть. не подкрепившись заранее? Скучища адская, а развлечение — один чай. Кабы, кажется, не надежды мои на

получение — ни одной минуты в этом постылом месте не остался бы!

Согласился. Съели по два куска кулебяки; выпили по две рюмки водки.

— Да обедаем вместе! Тут же, не выходя, и исполним все, что долг повелевает! Скверно здесь кормят — это так. И масло горькое, и салфетки какие-то... особливо вон та, в углу, что ножи обтирают... Ну, батюшка, да ведь за рублик — не прогневайтесь!

Одним словом, день пошел своим чередом.

Вечером Прокоп заставил меня надеть фрак и белый галстух, а в десять часов мы уже были в салонах князя Оболдуй-Тараканова.

Раут был в полном разгаре; в гостиной стоял говор; лакеи бесшумно разносили чай и печенье. Нас встретил хозяин, который, после первых же рекомендательных слов Прокопа, произнес:

— Рад-с. Нам, консерваторам, не мешает как можно теснее стоять друг около друга. Мы страдали изолированностью — и это нас погубило. Наши противники сходились между собою, обменивались мыслями — и в этом обмене нашли свою силу. Воспользуемся же этою силой и мы. Я теперь принимаю *всех,* лишь бы эти *все* гармонировали с моим образом мыслей; *всех*... vous concevez?[1] Я, впрочем, надеюсь, что вы консерватор?

Признаюсь, я так мало до сих пор думал о том, консерватор я или прогрессист, что чуть было не опешил перед этим вопросом. Притом же фраза: «Я теперь принимаю *всех*» както странно покоробила меня. «Вот,— мелькнуло у меня в голове,— скотина! заискивает, принимает и тут же считает долгом дать почувствовать, что ты, в его глазах, не больше как — *все!*» Вот это-то, собственно, и называется у нас «сближением». Один принимает у себя другого и думает: «С каким бы я наслаждением вышвырнул тебя, курицына сына, за окно, кабы...», а другой сидит и тоже думает: «С каким бы я наслаждением плюнул тебе, гнусному пыжику, в лицо, кабы...» Представьте себе, что этого «кабы» не существует — какой обмен мыслей вдруг произошел бы между собеседниками! Быть может, соображения мои пошли бы и дальше по этому направлению, но, к счастью для меня, я встретил строгий взор Прокопа и поспешил на скорую руку сказать:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement![2]

---

[1] понимаете?

[2] Ну разумеется, ну как же! конечно!

Затем последовало представление княгине и какому-то крошечному старичку (дяде хозяина), который сидел отдельно на длинном кресле и имел вид черемисского божка, которому вымазали красною глиной щеки и, вместо глаз, вставили можжевеловые ягодки.

Картина, представлявшаяся моим глазам, была следующего рода. Хозяин постоянно был на ногах и переходил от одной группы беседующих к другой. Это был человек довольно высокий, тощий и совершенно прямой; но возраста его я и теперь определить не могу. Скорее всего, это был один из тех людей без возраста, каких в настоящее время встречается довольно много и которые, едва покинув школьную скамью, уже смотрят государственными младенцами. Физиономия его имела что-то кисло-надменное; речь и движения были сдержанны и как бы брезгливы. Очевидно, тут все держалось очень усиленною внешнею выправкой, скрывавшей то внутреннее недоумение, которое обыкновенно отличает людей раздраженных и в то же время не умеющих себе ясно представить причину этого раздражения. Подобного рода выправка очень многими принимается за серьезность и представляет весьма значительное вспомогательное средство при составлении карьеры. Княгиня, женщина видная, очень красивая, сидела за особым établissement [1], около которого ютились какие-то поношенные люди, имевшие вид государственных семинаристов. Один из них объяснял на французском диалекте вопрос о соединении церквей, причем слегка касался и того, в каком отношении должна находиться Россия к догмату о папской непогрешимости. Тут же сидел французский attaché, из породы брюнетов, который ел княгиню глазами и ждал только конца объяснений по церковным вопросам, чтобы, в свою очередь, объяснить княгине мотивы, побудившие императора Наполеона III начать мексиканскую войну. Гости сидели и стояли группами в три-четыре человека, и между ними я заприметил несколько кадыков, которых видел у Елисеева и которые вели себя теперь необыкновенно солидно. В следующей комнате мелькали женские фигуры (то были сестры хозяина и их подруги) вперемежку с безбородыми молодыми людьми, имевшими вид ососов. По временам оттуда долетал сдержанный смех, обыкновенно сопровождающий так называемые невинные игры. Я встал около дверей и увидел странное зрелище. Посредине комнаты стоял старик-француз, который с полупомешанным видом декламировал:

---

[1] столом.

Petit oiseau! qui es-tu? [1]

И затем, от лица птички, отвечал, что она — l'envoyé du ciel [2], родилась dans les airs [3] и т. д. Затем предлагал опять вопрос:

Petit oiseau! où vas-tu? [4]

И опять объяснял, что она летит, чтобы утешить молодую мать, отереть слезы невинному младенцу, наполнить радостью сердце поэта, пропеть узнику весть о его возлюбленной и т. д.

Petit oiseau! que veux-tu? [5]

— Charmant! — восклицала молодая особа,— monsieur Connot! mais récitez-nous donc quelque chose de «Zaïre»!

— «Zaïre»! mesdames,— начал мсье Конно, становясь в позу,— c'est comme vous le savez, une des meilleures tragédies de Voltaire... [6]

Но я уже не слушал далее. Увы! не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

Тем не менее я переломил себя и поспешил примкнуть к группе, в которой находился хозяин.

— Ваше мнение, messieurs,— говорил он,— вот насущная потребность нашего времени; вы — люди земства; вы — действительная консервативная сила России. Вы, наконец, стоите лицом к лицу с народом. Мы без вас, selon l'aimable expression russe [7] — ни взад, ни вперед. Только теперь начинает разъясняться, сколько бедствий могло бы быть устранено, если бы были выслушаны *лучшие люди* России!

— «Излюбленные», ваше сиятельство! — осклабился какой-то государственный семинарист.

— Именно «излюбленные»! — c'est le mot! Vous savez, messieurs, que du temps de Jean le Terrible il y avait de ces gens qu'on qualifiait d' «izlioublenny», et qui, ma foi, ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar! [8]

— А что там у нас делается, князь, кабы вы изволили ви-

---

[1] Птичка! кто ты?

[2] вестница неба.

[3] в воздушном пространстве.

[4] Птичка! куда ты летишь?

[5] Птичка! чего ты хочешь?

[6] Прелестно! мсьё Конно! прочитайте же нам что-нибудь из «Заиры»! — «Заира», сударыни, как вам известно, одна из лучших трагедий Вольтера...

[7] по милому русскому выражению.

[8] вот именно! Вы знаете, господа, что во времена Ивана Грозного существовали люди, которых именовали «излюбленными» и которые, право же, неплохо вели дела покойного царя!

деть,— чудеса! — доложил почтительным басом Прокоп,— народ споили, рабочих взять негде, хозяйство побросали... смотреть, ваше сиятельство, больно!

— Не отчаивайтесь... ne perdez pas courage![1] Русский народ добр... au fond, notre peuple est excellent![2] Впрочем, я уже давно все предвидел и изложил в моей записке об «устранении»... Теперь я кончаю мой другой труд — «об уничтожении», который, я надеюсь... К сожалению, я не могу сегодня представить его на ваш суд, потому что недостает несколько штрихов. Но у меня есть другой небольшой труд, который я немного погодя, lorsque nous serons au complet[3], буду иметь честь прочесть вам.

— Нет, вы скажите, ваше сиятельство, куда это нас приведет?

— Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую нам всем: мы быстрыми, но твердыми шагами приближаемся... en un mot, nous dansons sur un volcan![4]

— Да еще на каком волкане-то, князь! Ведь это точь-в-точь лихорадка: то посредники, то акцизные, то судьи, а теперь даже все вместе! Конечно, вам отсюда этого не видно...

— Но поэтому-то мы и просим вас, messieurs: выскажитесь! дайте услышать ваш голос! Expliquez-nous le fin mot de la chose — et alors nous verrons...[5] По крайней мере, я убежден, что если б каждый помещик прислал свой проект... mais un tout petit projet!..[6] согласитесь, что это не трудно! Вы какого об этом мнения? — внезапно обратился князь ко мне...

— Mais oui! mais comment donc! un tout petit projet! Mais avec plaisir![7] — на скорую руку выговорил я, и вслед за тем употребил очень ловкий маневр, чтобы незаметным образом отделиться от этой группы и примкнуть к другой.

— Куда мы идем! — слышалось в этой другой группе,— к чему приближаемся!

— И это та самая Россия, которая, двадцать лет тому назад, цвела! Pauvre chère patrie![8]

— Тогда каждый крестьянин по праздникам щи с говядиной ел! пироги! А нынче! попробуйте-ка спросить, на сколько дворов одна корова приходится?

---

[1] не теряйте бодрости!
[2] в сущности, наш народ превосходен!
[3] когда мы будем в полном составе.
[4] одним словом, мы пляшем на вулкане!
[5] Разъясните нам суть дела — и тогда мы посмотрим...
[6] совсем маленький проект!..
[7] Да! конечно! совсем маленький проект! С удовольствием!
[8] Бедная дорогая родина!

— Comment? Comment dites-vous? [1] — послышался голос хозяина,— прежде мужики ели щи с говядиной?.. vous en êtes bien sûr? [2]

— Точно так, ваше сиятельство. В моем собственном имении так было. А в храмовые праздники даже уток резали!

— Ссс... А теперь, вы говорите, одна корова на несколько дворов!

— Это верно-с. Да что же тут мудреного, ваше сиятельство! Сначала посредники, потом акцизные, потом судьи. Ведь это почти лихорадка-с! Вот вы недавно оттуда; как вы об этом думаете?

— Я... что̀ ж... я, конечно... Mais oui! mais comment donc! mais certainement! [3] — пробормотал я опять на скорую руку и тут же предпринял маневр, чтобы как-нибудь примкнуть к третьей группе.

— Народ без религии — все равно что тело без души,— шамкал какой-то седовласый младенец,— отнимите у человека душу, и тело перестает фонксионировать, делается бездушным трупом; точно так же, отнимите у народа религию — и он внезапно погрязает в пучине апатии. Он перестает возделывать поля, становится непочтителен к старшим, и в своем высокомерии возвышает заработную плату до таких размеров, что и предпринимателю ничего больше не остается, как оставить свои плодотворные прожекты и идти искать счастья ailleurs! [4]

— Куда мы идем! вот что вы объясните нам!

— Без религии, без авторитетов, без истинного знания куда же можно прийти, кроме... Но я не произношу этого страшного слова; я просто зажмуриваю глаза, и говорю: Dieu, qui mène toutes choses à bien, ne laissera pas périr notre chère et sainte Russie... [5] нашу святую, православную Русь, messieurs!

Тут уж я сам не выдержал и произнес:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement! [6]

При этом перерыве седовласый младенец посмотрел на меня так изумленно, как будто я оскорбил его. Взор его совершенно явственно говорил: qu'est-ce qu'il veut, cet intrus, avec son «comment donc»! [7] Я вспомнил недавние слова хозяина

---

[1] Как? Как вы говорите?
[2] вы в этом уверены?
[3] Ну разумеется, ну как же, конечно!
[4] в другом месте!
[5] Бог, который направляет все к благу, не допустит гибели нашей дорогой святой Руси...
[6] Ну разумеется, ну как же! конечно!
[7] чего хочет этот пришелец со своим «как же»!

«теперь мы принимаем *всех*», и в уме моем опять мелькнуло: скотина! Нечего и говорить, что я сейчас же поспешил осчастливить своим присутствием четвертую группу.

— Земледелие уничтожено, промышленность чуть-чуть дышит (прошедшим летом, в мою бытность в уездном городе, мне понадобилось пришить пуговицу к пальто, и я буквально — à la lettre! — не нашел человека, который взял бы на себя эту операцию!), в торговле застой... скажите, куда мы идем!

В ответ слышатся вздохи.

— Я, впрочем, десять лет тому назад предвидел это. Я уже тогда всем и каждому говорил: messieurs! мы стоим у подошвы волкана! Остерегитесь, ибо еще шаг — и мы будем на вершине оного!

— Mais oui! mais certainement! mais comment donc! — отвечает кто-то за меня, покуда я маневрирую к пятой группе.

— И чего церемонятся с этою паскудною литературой! — слышится в этой группе,— ведь это, наконец, неслыханно!

— А суд, ваше превосходительство, между тем оправдывает-с!

— Ах! этот суд! вот он где у меня сидит! Этот суд!!

— Я, ваше превосходительство, записку составил, где именно доказываю, что в литературе нашей, со смерти Булгарина, ничего, кроме тлетворного направления, не существует-с.

— Тлетворное — c'est le mot! C'est un malfaiteur qui tue par sa puanteur nauséabonde![1] Я со времени покойного Николая Михайловича (c'était le bon temps![2]) ничего не читаю, но на днях мне, для курьеза, прочитали пять строк... всего пять строк! И клянусь вам богом, что я увидел тут все: и дискредитирование власти, и презрение к обществу, и насмешку над религией, и космополитизм, и выхваление социализма... Ma parole! c'était tout un petit cosmos d'immondices de tout genre![3]

— Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль в моей записке провожу-с!

— И прекрасно делаете, друг мой! Надобно, непременно надобно, чтобы люди бодрые, сильные спасали общество от растлевающих людей! И каких там еще идей нужно, когда

---

[1] вот именно! Это злодей, который убивает своим вредоносным зловонием!

[2] то было доброе время!

[3] Даю слово! это был целый мирок всевозможных гадостей!

вокруг нас все, с божьею помощью, цветет и благоухает! N'est-ce pas, mon jeune ami? [1]

Увы! вопрос этот относился опять ко мне, и я опять не нашел никакого ответа, кроме:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

К счастию, в это время в гостиной раздалось довольно громогласное «шш». Я обернулся и увидел, что хозяин сидит около одного из столов и держит в руках исписанный лист бумаги.

— Messieurs,— говорил он,— по желанию некоторых уважаемых лиц, я решаюсь передать на ваш суд отрывок из предпринятого мною обширного труда «об уничтожении». Отрывок этот носит название «Как мы относимся к прогрессу?», и я помещу его в передовом нумере одной газеты, которая имеет на днях появиться в свет...

— Mesdemoiselles! voulez-vous bien venir écouter ce que va lire le prince! [2] — обратилась княгиня в другую комнату.

Смех и шум прекратились; молодежь высыпала в гостиную.

— Надо вам объяснить, messieurs, что мы, то есть люди консервативной партии, давно чувствовали потребность в печатном органе. У нас была одно время газета, но, отчасти по недостатку энергии, отчасти вследствие некоторой шаткости понятий, она должна была прекратить свое плодотворное существование. Теперь мы решились издавать новую газету под юмористическим названием «Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибежище для молодцов, не знающих, куда приклонить голову». Мы выбрали это название, потому что оно совершенно в русском, немножко насмешливом тоне... N'est-ce pas, messieurs! [3]

— Из-за одного заглавия, ваше сиятельство, сколько будет пренумерантов! вот увидите! — вставил свое слово господин, который хвастался запиской о тлетворном направлении современной русской литературы.

— Итак, messieurs, приступим.

Как мы относимся к прогрессу?

«Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию. Факт совершился — следовательно, не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что он факт, и притом

---

[1] Не правда ли, мой юный друг?
[2] Барышни, не хотите ли послушать, что будет читать князь!
[3] Не правда ли, господа?

не просто факт, но факт совершившийся (в публике говор: *quelle lucidité!* [1]). Это, так сказать, фундамент, или, лучше сказать, азбука, или, еще лучше, отправный пункт.

Итак, факт совершился!!

И мы не отрицаем его, но принимаем с благодарностью. Мы с благоговейною благодарностью принимаем все совершившиеся факты, хотя бы появление некоторых из них казалось нам прискорбным и даже легкомысленным (в публике: *avalez-moi cela, messeigneurs!* [2]). Факт совершился — и мы благодарим. Мы благодарим, потому что мы благодарны по самой природе, потому что наши предания, заветы наших отцов, наше воспитание, правила, внушенные нам с детства,— все, en un mot [3], создало нас благодарными...»

— Pardon! — раздается голос старого дяди,— vous avez fourré là une expression française! Mettez plutôt [4],— «одним словом...».

— C'est juste, mon oncle! [5] Итак, messieurs:

«...Все, *одним словом,* создало нас благодарными. Мы не можем не благодарить, точно так же как не можем не принести наши сердца на алтарь отечества в минуту опасности. Отечество, находящееся в опасности,— это мы сами, находящиеся в опасности! И мы не принесем ему в дар сердцà наши! мы поспешим приветствовать его врагов! Нет, мы не сделаем ни того, ни этого, потому что отечество и мы — это что-то совершенно нераздельное. Это до такой степени не подлежит отделению, в смысле умственности, как и в смысле материальности, что как отечество не может существовать без нас, так и мы не можем существовать без него. А потому, возвращаясь к первичной моей мысли, повторяю: мы благодарим, ибо это есть наша натура.

Теперь рассмотрим несколько близким образом, что̀ такое есть это священное право благодарить?

Благодарить — это фимиам. Это возносящийся фимиам сердца. Точно так же, как для того, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком и памятниками грамотности, точно так же, повторяем мы, для того, чтобы благодарить, надобно иметь доброе и преданнейшее сердце. Но преданнейшее сердце не только благодарит, но и преимущественнейше предостерегает. Или, лучше сказать, не предостерегает, в грубом

---

[1] какая ясность ума!
[2] извольте и это проглотить, господа!
[3] одним словом.
[4] вы ввели тут французское выражение! Скажите лучше.
[5] Правильно, дядюшка!

значении этого слова, но от благодарных чувств заявляет. Мы не отрицаем совершившихся фактов, мы благодарим, но в то же время заявляем! Мы заявляем, потому что имеем преданнейшее сердце, и потому заявление является на устах наших не в печальном образе горькой улыбки, но в прекрасном виде улыбки, исполненной доверия. Мы не осмеливаемся изречь из наших уст: довольно! ибо не можем даже знать, действительно ли есть то довольно, что нам кажется таковым. Но мы говорим: примите благоговейный фимиам, который испускают наши сердца, и ежели мы ошибаемся, то дайте нашей мыслительности другое направление!»

— Encore une fois pardon![1] — вновь откликается дядя,— мне кажется, это не совсем точно! Не лучше ли сказать: «дайте другое и, конечно, *столь же благоговейное* направление нашей мыслительности»? А еще бы лучше: *нашим мыслительным благожелательностям?* N'oubliez pas, mon cher, que vous protestez (ты мягко постилаешь, но спать на твоей постели весьма будет жестко! comme dit un charmant proverbe russe), et tu sais que dans ces choses-là rien n'est à négliger![2] (Присутствующие переглядываются между собой, как бы говоря: какой тонкий старик!)

— Merci, mon oncle, vous avez touché juste![3] Итак, messieurs, будем продолжать в измененной редакции:

«другое, и, конечно, столь же благоговейное направление нашим мыслительным благожелательностям.

Итак, факт совершился. Мы все видели его совершение, и сердца наши благожелательно, можно сказать, благоговейно содрогались. Теперь, мы спрашиваем себя только, должен ли повторяться этот едва совершившийся факт безгранично? и на вопрос этот позволяем себе думать, что ежели бы рядом с совершившимся фактом было поставлено благодетельное *тире,* то от сего наши сердца преисполнились бы не менее благоговейною признательностью, каковою был фимиам, наполнявший их по поводу совершившегося факта. Мы были благодарны за факт, но мы, конечно, будем не меньше благодарить и за *тире,* ибо, как я сказал уже выше, право благодарить есть, так сказать, лучшее и преимущественнейшее право, которое мы за собой признаем!

Совершившийся факт — это есть мудрость. *Тире* — это есть более нежели мудрость: это мудрость в мудрости (*quelle pro-*

---

[1] Еще раз извините!

[2] Не забывайте, дорогой мой, что вы протестуете.. (как гласит превосходная русская пословица), а ты знаешь, что в этих вещах нельзя ничем пренебрегать!

[3] Благодарю, дядюшка, вы правильно подметили!

fondeur! [1]). Вспомним по сему случаю Наполеона III, а в настоящую минуту князя Бисмарка. Они сие должны со временем познать, что мы теперь от себя скромным образом утверждаем. Вспомним еще великого преобразователя экономических законов Англии, Роберта Пиля, но не забудем и величайшего Вашингтона! Везде и повсюду — закон один, который есть таков: прогресс — это мудрость стремительная, уносящая за собой историю; *tupé* — это мудрость, оглядывающаяся назад, скующая историю, а не низвергающая ее в прах!

Стало быть, если мы благоговейно просим поставить *tupé,* то не только не грешим против мудрости действительної, но даже споспешествующим образом доказываем, какая от того есть приносимая польза.

Мы объяснились с нашими читателями с открытым сердцем; надеемся, что они с таковым же отнесутся и к нам. Быть может, нас будут бранить ретроградами, но мы того не боимся. Мы не имеем ничего бояться, ибо мы не ретрограды. Мы только не хотим бежать вперед сломя голову, потому что ежели все побегут и от того сломают головы, что̀ может из сего произойти, кроме несвоевременной гибели? Вот этого именно вопроса никогда не задают себе господа слишком пламенные прогрессисты, но не мешало бы от времени до времени все оное себе припоминать. Мы говорим: не мешало бы, потому что никогда не мешает то, что̀ есть само по себе полезно. А что припоминание такого рода полезно, то это несомненно доказывается приносимою им везде и повсюду бесчисленною пользої.

Затем, прощаясь с читателями до следующего нумера, в коем постараемся обстоятельнейше объяснить нашу profession de foi [2], воскликнем: с нами наше право, а затем, да пребудет над нами божие благословение!»

Хозяин умолк. В публике раздавались сдержанные восклицания: «Прекрасно!», «Мастерски!», «Bien écrit et surtout bien pensé!» [3]

Но я почти обезумел от скуки. Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту минуту. Прокоп, очевидно, следил за выражением моего лица, потому что подошел ко мне, как только кончилось чтение.

— Уйдем! на тебе лица нет! тошнит тебя, что ли! (Он вдруг начал говорить мне «ты».)

Мы вышли; нас охватила лунная, морозная петербургская ночь.

---

[1] какая глубина!
[2] символ веры.
[3] прекрасно написано и в особенности прекрасно задумано!

— Айда к Палкину! — скомандовал Прокоп извозчику,— я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки. Есть устрицы у Елисеева, да ужинать у Дюссо̀ тогда хорошо, когда на сердце легко. Концессию там выхлопотываешь или Шнейдершу облюбовываешь — ну, и тянет тебя к легкому напитку. А как наслушаешься прожектов «об уничтожении» да «о расстрелянии», так на сердце-то сделается так моркотно, так моркотно, что рад целую четверть выпить, чтобы его опять в прежнее положение привести! А какова статейка-то?

— Гм... да... статья... это...

Вспомнив про статью, я так обозлился, что не своим голосом закричал на извозчика: пошел!

— Да, брат, за такие статейки в уездных училищах штанишки снимают, а он еще вон как кочевряжится: «Для того, говорит, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком...» Вот и поди ты с ним!

Мы пробеседовали у Палкина до двух часов. Съели только по одному бифштексу, но выпили...

Одним словом, мы вышли на улицу, держась под руки. Кажется, даже мы пели песни.

На другой день утром, вероятно в видах скорейшего вытрезвления, Прокоп принес мне знаменитый проект «о расстреляниии и благих оного последствиях», составленный ветлужским помещиком Поскудниковым. Проекту предпослано вступление, в котором автор объясняет, что хотя он, *со времени известного происшествия,* живет в деревне не у дел, но здоровье его настолько еще крепко, что он и на другом поприще мог бы довольно многое «всеусерднейше и не к стыду» совершить. А коль скоро человек в чем-нибудь убежден, то весьма естественно, что в нем является желание в том же убедить и других. Отсюда попытка разъяснить вопрос: *отчего все сие происходит?* а затем и осуществление этой попытки в форме предлагаемого проекта.

«Отчего все сие происходит?» — конечно, от недостатка спасительной строгости. Если бы, например, своевременно было прибегнуто к расстрелянию, то и общество было бы спасено, и молодое поколение ограждено от заразы заблуждений. Конечно, не легко лишить человека жизни, «сего первейшего дара милосердого творца», но автор и не требует, чтобы расстреливали всех поголовно, а предлагает только: «расстреливать, по

внимательном всех вин рассмотрении, но неукоснительно». И тогда «все сие» исчезнет, «лицо же добродетели, ныне потускневшее, воссияет вновь, как десять лет тому назад».

Некоторые мотивы, которыми автор обусловливает необходимость предлагаемой меры, не изъяты даже чувствительности. Так, например, в одном месте он выражается так: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворным влияниям, целыми толпами устремляются в бездну, а так как подобное устремление законами нашего отечества не допускается, то и видят сии несчастные младые свои существования подсеченными в самом начале (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотрим на сие странное позорище, видим гибель самой цветущей и, быть может, самой способной нашей молодежи, и не хотим пальцем об палец ударить, чтобы спасти ее. Устремим же наши спасительные ладьи для спасения сих утопающих! подадим руку помощи этим несчастным увлекающимся юношам! Сделаем все сие — и тогда с спокойною совестью скажем себе: мы совершили все для ограждения детей наших!»

Но всего замечательнее то, что и вступление, и самый проект умещаются на одном листе, написанном очень разгонистою рукой! Как мало нужно, чтоб заставить воссиять лицо добродетели! В особенности же кратки заключения, к которым приходит автор. Вот они:

«А потому полагается небесполезным подвергнуть расстрелянию нижеследующих лиц:

Первое, всех несогласно мыслящих.

Второе, всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия.

Третье, всех, кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей.

Четвертое, зубоскалов и газетчиков».

И только.

Вечером мы были на рауте у председателя общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы. Присутствовали почти всё старики, и потому в комнатах господствовал какой-то особенный, старческий запах. Подавали чай и читали статью, в которой современная русская литература сравнивалась с вавилонскою блудницей. В промежутках, между чаем и чтением, происходил обмен вздохов (то были именно не мысли, а вздохи).

— Где те времена, когда пел сладкогласный Жуковский? когда Карамзин пленял своею прозой? — вздыхал один.

— «Как лебедь на брегах Меандра...» — зажмурив глаза, вздыхал другой.

— Увы! из всей этой плеяды остался только господин Страхов! — вздыхаючи вторил третий.

— Куда мы идем? куда мы идем! — вздыхал четвертый.

Старцы задумывались и в такт покачивали головами. Очень возможное дело, что они так и заснули бы в этой позе, если бы от времени до времени не пробуждал их возглас:

— И это литература! Куда мы идем?

Я пробыл у действительного статского советника Стрекозы с девяти до одиннадцати часов и насчитал, что в течение этого времени, по крайней мере, двадцать раз был повторен вопрос: «куда мы идем?» Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатление, что, когда мы вышли с Прокопом на улицу, я сам безотчетно воскликнул:

— Куда же мы в самом деле идем?

— Сегодня я сведу тебя к Шухардину,— ответил Прокоп,— а завтра, если бог грехам потерпит, направим стопы в «Старый Пекин».

Опять два бифштекса и, что̀ всего неприятнее — опять возвращение домой с песнями. И с чего я вдруг так распелся? Я начинаю опасаться, что если дело пойдет таким образом дальше, то меня непременно когда-нибудь посадят в часть.

На третий день раут у председателя общества благих начинаний, отставного генерала Проходимцева. Приходим и застаем компанию человек в двенадцать. Всё отставные провиантские чиновники, заявившие о необыкновенном усердии во время Севастопольской кампании. У всех на лице написано: я по суду не изобличен, а потому надеюсь еще послужить! Общество сидит вокруг чайного стола; хозяин читает: [1]

— А он: моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад засеять надо
За то, что он цветочный!

---

[1] Отрывки, приводимые ниже, взяты из стихотворения графа А. К. Толстого «Баллада с тенденцией». Любопытствующие могут отыскать эту балладу в «Русском вестнике» 1871 года за октябрь. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Прекрасно! не в бровь, а прямо в глаз!
— Куда мы идем? скажите, куда мы идем?
— Позвольте, господа! послушайте, что дальше будет!

— Ее (рощу) порубят, лада
На здание такое,
Где б жирные говяда
Кормились на жаркое!

— Но какой стих! Вот, наконец, настоящая-то сатира!
— Шш... шш... слушайте! слушайте!

— О, друг ты мой единый! —
Воскликнула невеста,—
Ужель для той скотины
Иного нету места?
— Есть много места, лада,
Но тот приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!

— Именно! именно! — рукоплескали отставные провиантские чиновники, и затем поднялся хохот, который и не прерывался уже до самого конца пьесы. Особенный фурор произвело следующее определение современного материалиста.

Они ж, матерьялисты,
От имени прогресса,
Кричат, что трубочисты
Суть выше Апеллеса...

— «Суть выше Апеллеса»! Каков, господа, пошиб! Вот это я называю сатирой! Это отпор! Это настоящий, заправский отпор!

Затем все на минуту смолкли и погрузились в думы. Как вдруг кто-то завыл:

— Куда мы идем? объясните, куда мы идем?

И все, словно ужаленные, вскочили с мест и подняли такой неизреченный лай, что я поскорее схватил шляпу и увлек Прокопа в «Старый Пекин».

Бифштекс и возвращение домой с песнями.

И еще два вечера провел я в обществе испуганных людей и ничего другого не слышал, кроме возгласа: куда мы идем? Но после пятого вечера со мной случилось нечто совсем необыкновенное.

Я проснулся утром с головною болью и долгое время ничего не понимал, а только смотрел в потолок. Вдруг слышу голос Прокопа: «Господи Иисусе Христе! да где же мы?»

Вскакиваю, оглядываюсь и вижу, что мы в какой-то совершенно неизвестной квартире; что я лежу на диване, а на другом диване лежит Прокоп. Мною овладел страх.

Я вспомнил слышанную в детстве историю о каком-то пустынножителе, который сначала напился пьян, потом совершил прелюбодеяние, потом украл, убил — одним словом, в самое короткое время исполнил всю серию смертных грехов.

— Где мы вчера были? — обратился я к Прокопу.

Но Прокоп стоял как бы в остолбенении и только пялил на меня свои опухшие глаза.

Я стал припоминать и с помощью неимоверных усилий успел составить нечто целое из уцелевших в моем мозгу обрывков. Да, мы отправились сначала к Балабину, потом к Палкину, оттуда к Шухардину и, наконец, в «Пекин». Но тут нить воспоминаний оборвалась. Не украли ли мы в «Пекине» серебряную ложку? не убили ли мы на скорую руку полового? не вели ли нас на веревочке? — вот этого-то именно я и не мог восстановить в своей памяти.

Я припоминал, что со мною уже был почти такой же случай в молодости. В то время я был студентом Московского университета и охотно беседовал об искусстве (святое искусство!) в трактире «Британия». Однажды, находясь в хорошей компании, я выпил, рюмку за рюмкой, рублей на двадцать ассигнациями водки и, совершивши этот подвиг, исчез. Где я был? этого я совершенно не помню, но дело в том, что через какие-нибудь полчаса я опять воротился в «Британию», но воротился... без штанов! Можно себе представить, как изумило меня это обстоятельство, когда я, переночевав в «Британии» на бильярде, на другой день проснулся! И что ж оказалось? — что штаны мои преспокойно лежат у меня дома! Что я нарочно приходил домой, чтобы их снять, и, совершивши этот подвиг, отправился назад в «Британию»!

— Да каким же образом это случилось? Я говорил что-нибудь? Приказывал? — допрашивал я своего слугу.

— Ничего не изволили приказывать. Изволили прийти, сняли и опять ушли-с.

— Да что же я еще-то делал?

— Изволили прийти-с, сняли и опять ушли-с.

Так вот на какие подвиги я способен...

И вдруг, в ту самую минуту, когда мне все это припоминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и перед нами очутился расторопный малый в мундире помощника участкового надзирателя. Оказалось, что мы находимся у него на квартире, что мы ничего не украли, никого не убили, а просто-напросто в безобразном виде шатались ночью по улице.

— Каким же образом у вас-то мы очутились? — полюбопытствовал Прокоп.

— Да просто шел я, по должности, дозором-с; ну, вижу, благородные люди... не могут объяснить место жительства-с...

Никогда не бывало мне до такой степени стыдно...

III

Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокоп завалил меня проектами, чтение которых чуть-чуть не навело меня на мысль о самоубийстве. Истинно, только бог спас мою душу от конечной погибели... Но буду рассказывать по порядку.

Прежде всего, при одном воспоминании о моем последнем приключении мне было так совестно, что я некоторое время не мог подумать о себе, не покрасневши при этом. Посудите сами: приехать в Петербург, в этот, так сказать, центр российской интеллигенции, и дебютировать тем, что, по истечении четырех недель, очутиться, неведомо каким образом, в квартире помощника участкового надзирателя Хватова! Я взглянул на себя в зеркало — и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже потеряли способность делаться круглыми. С каким-то щемящим чувством безнадежности бродил я в халате из угла в угол по моему номеру и совершенно явственно чувствовал, как меня сосет. Именно «сосет» — и ничего больше. Если б кто-нибудь спросил меня, что со мною делается, я положительно ничего другого не нашелся бы ответить, кроме этого странного слова «сосет». Не то тоска, не то смутное напоминание об адмиральском часе. К довершению позора, в течение целой недели, аккуратно изо дня в день, меня посещал расторопный поручик Хватов и с самою любезною улыбкой напоминал мне о моем грехопадении. Придет, сядет, закурит папироску и начнет:

— Иду, знаете, дозором, и вдруг вижу — благородные люди! И можно сказать, даже в очень веселом виде-с! Время, знаете, ночное-с... местожительства объявить не могут... Ну-с, конечно, как сам благородный человек... по силе возможности-с... Сейчас к себе на квартиру-с... Диван-с, подушки-с...

— То есть так я вам благодарен! так благодарен! — заверял я, в свою очередь, весь пунцовый от стыда,— кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду!

— Помилуйте! что же-с! благородные люди... время ночное-с... местожительства объявить не могут... диван, подушки-с...

И таким образом целых семь дней сряду. Придет, выкурит

три-четыре папиросы, выпьет рюмку водки, закусит и уйдет. Под конец даже так меня полюбил, что начал говорить мне *ты*.

«Дедушка Матвей Иваныч! — думалось мне в эти минуты,— воображал ли ты когда-нибудь, чтоб твой потомок мог покрыть себя подобным позором! Ты, который, выходя грузным из рязанско-козловско-тамбовского клуба, не торопясь влезал в экипаж, подсаживаемый верными слугами, и затем благополучно следовал до постоялого двора, где ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одеяло! Ты, который о самом имени полиции знал только потому, что от времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть! Мог ли ты представить себе, что твой родной внук, как какой-нибудь беспаспортный мещанин, проведет целую ночь в самом сердце той самой полиции, о которой ты знал только понаслышке, как о вместилище *клопов, блох и розог*! Что *этот внук будет поднят на* улице (позор! у него нет ни экипажа, ни верных слуг, ни цуга лошадей!) и призрен, буквально призрен расторопным полицейским поручиком Хватовым! Что этот самый Хватов будет заявлять претензию на вечную признательность сердца со стороны твоего внука! что он будет прохаживаться с ним по водочке, и наконец, в минуту откровенности, скажет ему «ты»!

Позор!!

И вот, о реформы, горькие ваши плоды!

Каким же образом, после всего этого, утишить негодующее сердце? каким образом сдержать благородные порывы? Реформы!!

Вот Прокоп — так тот мигом поправился. Очевидно, на него даже реформы не действуют. Голова у него трещала всего один день, а на другой день он уже прибежал ко мне как ни в чем не бывало и навалил на стол целую кипу проектов.

— Читать ли? — молвил я робко,— как бы опять не запить!

— Как не читать! надо читать! зачем же ты приехал сюда! Ведь если ты хочешь знать, в чем последняя суть состоит, так где же ты об этом узнаешь, как не тут! Вот, например, прожект о децентрализации — уж так он мне понравился! так понравился! И слов-то, кажется, не приберешь, как хорошо!

— А что̀?

— Да чтобы, значит, везде, по всему лицу земли... по зубам чтоб бить свободно было... вот это и есть самая децентрализация!

Прокоп, по обыкновению своему, залился смехом.

И черт его знает, что̀ это за смех у Прокопа — никак понять не могу! Действительно ли звучит в нем ирония, или это

только так, избыток веселонравия, который сам собой просится наружу? Вот, кажется, и хохочет человек над децентрализацией с точки зрения беспрепятственного и повсеместного битья по зубам, а загляните-ка ему в нутро — ан окажется, что ведь он и впрямь ничего, кроме этой беспрепятственности, не вожделеет! Вот и поди разбери, как это в нем разом укладывается: и тоска по мордобитию, и несомненнейшая язвительнейшая насмешка над этою самою тоской!

— А уж ежели,— продолжал между тем Прокоп,— ты от этих прожектов запьешь, так, значит, линия такая тебе вышла. Оно, по правде сказать, трудно и не запить. Все бить да сечь, да стрелять... коли у кого чувствительное сердце — ну просто невозможно не запить! Ну, а ежели кто закалился — вот как я, например,— так ничего. Большую даже пользу нахожу. Светлые мысли есть — ей-богу!

Опять хохот, этот загадочный, расстраивающий нервы хохот!

Но так как у меня голова все еще была несвежа, то я два дня сряду просто-напросто пробродил из угла в угол и только искоса поглядывал на кипу писаной бумаги. А в груди между тем сосало, и бог знает каких усилий мне стоило, чтоб не крикнуть: водки и закусить! Воздержаться от этого клича было тем труднее, что у лакеев chambres garnies[1] есть привычка, и притом препоганая: поминутно просовывает, каналья, голову в дверь и спрашивает: что прикажете? Ну, что я могу приказать? Что могу я ответить на его вызывающий вопрос, кроме: водки и закусить! Вот дедушка Матвей Иваныч — тот точно мог разные приказания отдавать, а я — что я могу?!

Однако, повторяю, бог спас, и, может быть, я провел бы время даже не совсем дурно, если б не раздражали меня, во-первых, периодические визиты поручика Хватова и, во-вторых, назойливость Прокопа. Помимо этих двух неприятностей, право, все было хорошо.

Я находился в том состоянии, когда голова, за несколько времени перед тем трещавшая, начинает мало-помалу разгуливаться. Настоящим образом еще ничего не понимаешь, но кое-какие мысли уж бродят. Подойдешь к печке — и остановишься; к окну подойдешь — и посмотришь. Что в это время бродит в голове — этого ни под каким видом не соберешь, а что бродит нечто — в том нет ни малейшего сомнения. По временам даже удается иное схватить. Вот сейчас мелькнуло: хорошо бы двести тысяч выиграть — и ушло. Потом: какое это

---

[1] меблированные комнаты.

в самом деле благодеяние, что откупа уничтожены,— и опять ушло. Вообще, все приходит и уходит до такой степени как-то смутно, что ни встречать, ни провожать нет надобности. И вдруг канальская мысль: не приказать ли водки?

— Ну, нет, брат, шалишь! водка — это, брат, яд! Вспомни, как ты в «Старом Пекине» чуть-чуть полового не ушиб и как потом в квартире у поручика Хватова розоперстую аврору встречал!

Ушло.

И проходят таким образом часы за часами спокойно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходил да мечтал, а о чем бы мечтал — и сам не знаешь! Вот, кажется, сейчас чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелил губами, а через мгновенье — смотришь, забыл! Да и кто знает? может быть, оно и хорошо, что забыл...

Вот что совсем уж нехорошо — это Прокоп, который самым наглым образом врывается в жизнь и отравляет лучшие, блаженнейшие минуты ее. Каждый день, утром и вечером, он влетает ко мне и начинает приставать и даже ругаться.

— Ну что, прочел?

— Да, право, душа моя, боюсь я...

— Что же ты после этого за патриот, коли не хочешь знать, в чем нынешняя суть состоит!

— Да запью я! чувствует мое сердце, что запью!

— Так ты помаленьку, не вдруг! Сперва «о децентрализации», потом «о необходимости оглушения, в смысле временного усыпления чувств», потом «о переформировании де сиянс академии». Есть даже прожект «о наижелательнейшем для всех сторон упразднении женского вопроса». Честью тебе ручаюсь: начни только! Пригубь! Не успеешь и оглянуться, как сам собой, без масла, всю груду проглотишь!

И я начал.

Но я приступил не вдруг. Сначала произвел наружный осмотр, причем оказалось, что все прожекты были коротенькие, на одном, много на двух листах. Потом перечитал заглавия и убедился, что везде говорилось об упразднении и уничтожении, и только один прожект трактовал о расширении, но и то — о расширении области действия квартальных надзирателей. Затем мною овладела моя обычная привычка резонировать по поводу выеденного яйца, и я уже на целые сутки сделался неспособным ни к каким дальнейшим исследованиям. Одни названия навели на меня какие-то необыкновенно тоскливые мысли, от которых я не мог отделаться ни насвистыванием арий из «Герцогини Герольштейнской», ни припо-

минанием особенно характерных эпизодов из последних наших трактирных похождений, ни даже закусыванием соленого огурца, каковое закусывание, как известно, представляет, во время загула, одно из самых дивных, восстановляющих средств (увы! даже и это средство отыскано не мною, непризнанным Гамлетом сороковых годов, а все тем же дедушкой Матвеем Иванычем!).

Во имя чего, думалось мне, волнуются и усердствуют из глубины своих усадьб отставные прапорщики, ротмистры, полковники? из-за чего напрягают мозги выгнанные из службы подьячие? что породило это ужаснейшее творчество, которым заражены российские грады и веси и печальный плод которого — вот эта груда прожектов, которую мне предстоит перечитать?

Вникните пристальнее в процесс этого творчества, и вы убедитесь, что первоначальный источник его заключается в неугасшем еще чувстве жизни, той самой «жизни», с тем же содержанием и теми же поползновениями, о которых я говорил в предыдущих моих дневниках. Все мы: поручики, ротмистры, подьячие, одним словом, все, причисляющие себя к сонму представителей отечественной интеллигенции,— все мы были свидетелями этой «жизни», все воспитывались в ее преданиях, и как бы мы ни открещивались от нее, но не можем, ни под каким видом не можем представить себе что-либо иное, что не находилось бы в прямой и неразрывной связи с тем содержанием, которое выработано нашим прошедшим. Все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иваныч, то есть жить хоть безобразно (увы! до других идеалов редкие из нас додумались), но властно, а не слоняться по белу свету, выпуча глаза.

Эта перспектива «слонявия» раздражает нас. Был момент, когда мы искренно поверили, что в раскладывании гран-пасьянса заключается единственно возможная, так сказать, провиденциальная роль наша в будущем. Был момент, когда мы не шутя ощутили, что почва ушла из-под ног наших и что нам остается только бежать, бежать и бежать. И теперь, при одном воспоминании об этом ужасном времени, скверно делается во рту. Но инстинкт самосохранения спас нас. Он заставил нас оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали — видим: мы те же, да и кругом нас все то же. И мы «dansons, chantons et buvons», и кругом нас «chantons, dansons et buvons». Конечно, некоторые подробности изменились, но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня они имеют один вид, завтра — будут иметь другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нет ничего

легче, как дать подробностям ту или другую форму — какую хочешь. Сегодня у нас — la grandeur d'âme est à l'ordre du jour [1], а завтра — alea jacta est! [2] — на очереди будут: натиск и быстрота! Стало быть, ежели нам, отставным корнетам, ротмистрам и подьячим, показалось на минуту, что почва ускользает из-под наших ног, то это именно только показалось, а на самом деле ничего нового не произошло, кроме кавардака, умопомрачения, труса и т. д. Стало быть, надо только разъяснить, рассеять и затем — настоять. Мы струсили, как дети, сами не зная чего; мы призрачную жизнь, простую взбалмошную накипь, признали за нечто реальное и устойчивое. Нет! шалишь! Мы докажем миру, что все эти призраки можно рассеять совершенно просто и легко: тем же манием руки, каким и в прежние времена достославные наши предки рассевали и расточали всякого рода дурные призраки!

Отсюда — понятное раздражение против тех, которые продолжают напоминать нам о «слонянии». Как не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не поверили этой провиденциальной роли и не обрекли себя на перспективу вечного слоняния? Надо же, наконец, дать почувствовать заблуждающимся всю тщету их надежд! И вот, как плод этого раздражения — являются прожекты об уничтожении и упразднении.

Сидят корнеты-землевладельцы в своих логовищах и немолчно скребут перьями. А так как для них связать две мысли — труд совершенно анафемский, то очень понятно, что творчество их, лишь после неимоверных потуг, находит себе какое-нибудь выражение. Мысли, зарождающиеся в усадьбах, вдали от всяких учебных пособий, вдали от возможности обмена мыслей — ведь это все равно что мухи, бродящие в летнее время по столу. Поди собери их в одну кучу. Поэтому проводится множество бессонных ночей, портится громада бумаги, для того только, чтобы в конце концов вышло: на последнем я листочке напишу четыре строчки. Но чем малограмотнее человек, тем упорнее он в своих начинаниях и, однажды задумав какой-нибудь подвиг, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделенные «четыре строчки» несомненно будут написаны, и смысл их несомненно будет таков: уничтожить, вычеркнуть, воспретить...

В одно прекрасное утро корнет выходит к утреннему чаю и объявляет жене:

— А я, душа моя, сегодня проект свой кончил!

— Ну, и слава богу! Я знаю, ты ведь у меня умный!

---

[1] величие души поставлено в порядок дня.

[2] жребий брошен!

— Однако и помучился-таки я над ним! Странно это: мы, русские, кажется, на все способны, а вот проекты писать — смерть!

Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрешить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается в слишком страстном желании «жить», в представлении, которое с этим словом соединено, и в неимении других средств удовлетворить этому представлению, кроме тех, которые завещаны нам преданием. И в счастии и в несчастии мы как-то равно нерассудительны и опрометчивы. Немного лет тому назад (это были дни нашего несчастия), когда мы находились под игом недоразумений, томительно замутивших нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали себя, а только унывали и испускали жалобные стоны. Откуда? что? как нужно поступить? — мы ни о чем не спрашивали себя, а только чувствовали, что нас придавило какое-то горе. Теперь, когда случайные недоразумения случайно рассеялись, когда жажда жизни (*наша* жажда жизни!) получила возможность вновь вступить в свои права, мы опять-таки не хотим подумать ни о каком внутреннем перерабатывающем процессе, не спрашиваем себя: куда? как? что из этого выйдет? — а только чувствуем себя радостными и вследствие этого весело гогочем. Нас опять придавило, но на этот раз — придавила радость. Наша не выгорела — мы приникли; наша взяла — мы подняли голову. Мы инстинктом чувствуем, что *наша взяла* — и потому хотим начать жить как можно скорее, сейчас.

Но, спрашивается, возможно ли достигнуть *нашего* идеала жизни в такой обстановке, где не только мы, но и всякий другой имеет право заявлять о своем желании жить?

Дедушка Матвей Иваныч на этот счет совершенно искренно говорил: жить там, где все другие имеют право, подобно мне, жить,— я не могу! Не могу, сударь, я стерпеть, когда вижу, что хам идет мимо меня и кочевряжится! И будь этот хам хоть размиллионер, хоть разоткупщик, все-таки я ему напомню (действием, государь мой, напомню, действием!), что телесное наказание есть удел его в этом мире! Хоть тысячу рублей штрафу заплачу, а напомню.

Такова была дедушкина мораль, и я, с своей стороны, становясь на его точку зрения, нахожу эту мораль совершенно естественною. Нельзя жить так, *как желал жить дедушка,* иначе, как под условием полного исчезновения жизни в других. Дедушка это чувствовал всем нутром своим, он знал и понимал, что если мир, по малой мере верст на десять кругом, перестанет быть пустыней, то он погиб. А мы?!

Что дедушкина мораль удержалась в нас всецело — в этом нет никакого сомнения. Но — увы! — мы уже не знаем, как устраивается та пустыня, без которой дедушкина мораль падает сама собою. Секрет этот потерян для нас навсегда — вот почему мы колеблемся, путаемся и виляем. Прямо признать за «хамами» право на жизнь — не хочется, а устроить таким образом, чтобы и волки были сыты и овцы целы,— нет умения. Нет выдержки, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы «хамы» на самом деле не жили, а только думали бы, что живут; да ведь для этого надобно, во-первых, кой-что знать, а во-вторых, придумывать, взвешивать, соображать. А у нас первый разговор: «знать ничего не хочу!» да «ни о чем думать не желаю!» Скажите, возможно ли с таким разговором даже простодушнейшего из хамов надуть?

Естественно, что при такой простоте нравов остается только одно средство оградить свою жизнь от вторжения неприятных элементов — это, откинув все сомнения, начать снова бить по зубам. Но как бить! Бить — без ясного права на битье; бить — и в то же время бояться, что каждую минуту может последовать приглашение к мировому по делу о самовольном избитии!..

До какой степени для нас всякое думанье — нож вострый, это всего лучше доказал мне Прокоп.

— Послушай, мой друг,— говорю я ему на днях,— отчего это тебе так претит, что и другой рядом с тобой жить хочет?

— А по-твоему, как? по-твоему, стало быть, другой у меня изо рту куски станет рвать, а я молчи!

— Да ведь кусков много, мой друг! И для тебя куски, и для других тоже; ведь всех кусков один не заглотаешь!

— Ну, нет-с, это аттанде. Я свои куски очень хорошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотронется — прошу не взыскать!

— Ах, все не то! Пойми же ты наконец, что можно, при некотором умении, таким образом устроить, что другие-то будут на самом деле только облизываться, глядя, как ты куски заглатываешь, а между тем будут думать, что и они куски глотают!

— Это как?

— То-то, душа моя, надобно сообразить, как это умеючи сделать! Я и сам, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разом, не все рассекать: иной раз следует и развязать потрудиться!

— Ну, это уж ты трудись, а я — слуга покорный! Думать там! соображать! Какая же это будет жизнь, коли меня на

каждом шагу думать заставлять будут? Нет, брат, ты прост-прост, а тоже у тебя в голове прожекты... тово! Да ты знаешь ли, что как только мы начнем думать — тут нам и смерть?!

Так мы и расстались на том, что свобода от обязанности думать есть та любезнейшая приправа, без которой вся жизнь человеческая есть не что иное, как юдоль скорбей. Быть может, в настоящем случае, то есть как ограждающее средство против возможности систематического и ловкого надувания (не ее ли собственно я и разумел, когда говорил Прокопу о необходимости «соображать»?), эта боязнь мысли даже полезна, но как хотите, а теория, видящая красоту жизни в свободе от мысли, все-таки ужасна!

Кто вникнет ближе в цикл понятий, наивным выразителем которых явился Прокоп, тот поймет, почему единственным надежным выходом из всех жизненных затруднений прежде всего представляется действие, обозначаемое словом «вычеркнуть». Вычеркнуть легко, создать трудно — в этом разгадка той бесцеремонности, с которою мы приступаем к рассечению всевозможных жизненных задач.

Предположите, что в голове у вас завелась затея, что вы возлюбили эту затею и с жаром принялись за ее осуществление. Прибавьте к этому, пожалуй, что затея ваша в высшей степени женерозна, что она захватывает очень широко и что с осуществлением ее легко осчастливить целый мир. В деле затей, зарождающихся на нашей почве, такого рода предположения совсем не шаржа, потому что у нас исстари так заведено: затевать так уж затевать. Но затем все-таки следует вопрос: откуда эта затея явилась? составляет ли она плод предварительной жизненной подготовки или, по крайней мере, хотя теоретически сложившегося убеждения? Или, быть может, она пришла с ветру, затем, что у прочих так водится, так чтобы и нам не стыдно было в людях глаза показать? Как ни придирчив кажется этот вопрос (когда дело идет о женерозных начинаниях, у нас даже вопросов никаких допускать не принято), но он далеко не праздный. Разрешите себе его, и вы разом получите возможность не только оценить по достоинству самую затею и исходный пункт, из которого она возникла, но и провидеть дальнейший процесс ее осуществления, со всеми ожидающими ее впереди колебаниями и неизбежным в конце концов фиаско.

Потребность в выработке новых форм жизни всегда и везде являлась как следствие не одного теоретического признания неудовлетворительности старых форм, но и реального недовольства ими. Имели ли мы, интеллигенция, повод быть недовольными этими старыми формами? — нет, говоря по сове-

сти, у нас даже повода к недовольству не существовало. Повторяю: наш кодекс жизни вполне исчерпывался формулой «chantons, dansons et buvons» — а этой формуле не только не мешали старые порядки, но даже вполне ее обеспечивали. Но, может быть, нас заставляло задумываться соседство множества людей, которым старые порядки ни в каком случае не могли быть по нутру? Бесспорно, такое соседство существовало, но мы до такой степени мало думали о нем, что даже и теперь, когда несомненность соседства уже гораздо более выяснилась, мы все-таки продолжаем столь же мало принимать его в расчет, как и прежде. Если б это было иначе, разве мы обращались бы столь легкомысленно с словами: вычеркнуть, похерить, воспретить? Разве мы позволили бы себе считать их палладиумом всевозможных мероприятий? Ясно, стало быть, что соседство тут ни при чем, или, по крайней мере, что представление о нем никогда нас сознательно не тревожило. Наконец, еще третье предположение: быть может, в нас проснулось сознание абсолютной несправедливости старых порядков, и вследствие того потребность новых форм жизни явилась уже делом, необходимым для удовлетворения человеческой совести вообще? — но в таком случае, почему же это сознание не напоминает о себе и теперь с тою же предполагаемою страстною настойчивостью, с какою оно напоминало о себе в первые минуты своего возникновения? почему оно улетучилось в глазах наших, и притом улетучилось, не подвергаясь никаким серьезным испытаниям? Да, впрочем, в таких ли мы условиях воспитывались, которые могли бы серьезно породить в нас подобное сознание, составляющее, так сказать, венец нравственного и умственного развития человека?

Все эти соображения приводят к заключению очень печальному, но которое едва ли можно назвать неверным, а именно что наша женерозность пришла к нам без особенно деятельного участия сознания. Это не женерозность, а просто желание куда-нибудь приткнуться от скуки и однообразия жизни и в то же время развлечь себя новым фасоном одежды. Мы сказали себе: пусть будет новый фасон, а что касается до результатов и применений, то мысль о них никогда с особенною ясностью не представлялась нам. Мы до такой степени не думали ни о каких результатах и применениях, что даже не задались при этом никакою преднамеренно-злостною мыслью, вроде, например, того, что новые фасоны должны только отводить глаза от прикрываемого ими старого содержания. Не было органической, кровной надобности в новых фасонах, следовательно, не было мысли и о том, что они могут чему-нибудь угрожать. А следовательно, не было надобности остерегаться

или надувать. Самое негодование наше было ретроспективное, и явилось уже post factum, то есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполне согласные с общим тоном жизни и с нашими интимными пожеланиями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться к системе заушения.

При таком легком отношении к исходному пункту новой жизненной деятельности возможно ли ожидать устойчивости и во всем дальнейшем ее развитии? Увы! если тут и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслия. Сколько бы ни твердили нам, что разумный выход из известного положения, созданного хотя бы и внезапно, но тем не менее несомненно приобретшего право гражданственности — это признать его со всеми естественными результатами, которые оно может дать,— разве мы, отставные прапорщики и подьячие, способны на такое признание?

Разве мы что-нибудь предвидели, что-нибудь призывали сознательно? Нет, мы только сию минуту узнали (да и то не можем разобрать, врут это или правду говорят), что наша затея, кроме нового фасона, заключает в себе и еще нечто, а до сих пор мы думали, что это положительным образом только фасон. Да это фасон и есть; мы это дело так разумели, когда увлекались им и аплодировали ему; так хотим разуметь его и теперь. Все эти колебания и движения, на которые нам указывают как на следствие новых фасонов,— все это вздор, мираж, и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебания, существуют, то из этого следует только, что новые фасоны надо отменить и возвратиться к старым. А то еще развивать! Что развивать? Фасоны-то развивать!

Рассуждая таким образом, отставные корнеты даже выходят из себя при мысли, что кто-нибудь может не понять их. В их глазах все так просто, так ясно. Новая форма жизни — фасон; затем следует естественное заключение: та же случайность, которая вызвала новый фасон, может и прекратить его действие. Вот тут-то именно и является как нельзя кстати на помощь слово «вычеркнуть», которое в немногих буквах, его составляющих, резюмирует все их жизненные воззрения.

И зато, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всех этих плодах деревенского досуга! Лист, много два — и делу конец. Да и тут еще всякий беспристрастный читатель непременно почувствует не краткость, а прискорбное многословие. Всякий читатель совершенно ясно видит, что автор ничего другого не желает, кроме трех вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Следовательно, взял бы лист

бумаги, написал бы на нем эти три слова — и дело с концом. Зачем же он примешивает тут какого-то господина Токевиля (удерживаю фамилию этого писателя в том виде, как она является в плодах деревенских досугов[1]) и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов: академика Безобразова и кн. Мещерского? Очевидно, он делает это в обременение читателю, думая, что так будет фасонистее.

Эта многословная краткость приводила меня в отчаяние еще в то время, когда я процветал под сенью рязанско-козловско-саратовского клуба. Видеть человека, который напружинивается, у которого на лбу жилы лопнуть готовы и из уст которого вылетает бессвязное бормотание с примесью Токевиля, Наполеона и кн. Мещерского,— может ли быть зрелище более прискорбное для сердца человека, сознающего себя патриотом! С каким-то ужасом думаешь: да неужели же мы и в самом деле не можем двух мыслей порядком переварить? И отчего не можем? оттого ли, что природа обошла нас своею благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены, и вследствие того подешевела водка? В каждой, в каждой-таки деревне кабак — как хотите, а тут хоть кого свалит! Разве «Токевиль» в таких условиях писал свои прожекты? Разве Наполеон III заглядывал через каждые полчаса в буфет, когда диктовал свои мероприятия относительно расстреляния? А мы что делаем! Уж не потому ли у нас из всех реформ наиболее прочным образом привилась одна — это буфеты при земских собраниях?

Именно от этой многословной краткости, от этих раздражающих Токевилей и Бисмарков я бежал из провинции, и именно ее-то я и обрел опять в Петербурге. Все, что в силах что-нибудь деятельно напакостить, все, что не чуждо азбуке,— все это устремилось в Петербург, оставив на местах лишь гарнизон в тесном смысле этого слова, то есть людей, буквально могущих только хлопать глазами и таращить их...

Но Прокоп говорит, что и эти невдолге приедут.

— Вот погоди немного,— предсказывает он,— зашевелятся и они! и Хлобыстовские приедут, и Дракины приедут — все прибегут!

Жутко, но должно сознаться, что пророчество Прокопа

---

[1] Токквиль положительно сделался популярнейшим из публицистов в наших усадьбах Без него корнеты шагу ступить не могут, хотя знают его только по слухам и устным рассказам других корнетов. Думал ли когда-нибудь знаменитый автор «L'ancien régime et la Révolution» («Старый режим и революция».— *Ред.*), что сочинение его может послужить опорною точкой при составлении «прожекта об оглушении»? *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

имеет некоторое основание. Я сам собственными ушами слышал, как на дебаркадере железной дороги один из Хлобыстовских коснеющим языком сказал:

— Гм... в Петербург... скоро... сейчас... фью!

Теперь для меня смысл этого бормотания совершенно ясен.

Ужели, однако ж, и сего не довольно? ужели на смену нынешней уничтожательно-консервативной партии грядет из мрака партия, которую придется уже назвать наиуничтожательнейше-консервативнейшею? А эта последняя партия, вследствие окончательной безграмотности и незнакомства с именем господина «Токевиля», даже не даст себе труда писать проекты об уничтожении, а просто будет зря махать руками направо и налево?

Привожу здесь на выдержку несколько проектов, придерживаясь в этом случае указаний Прокопа.

О необходимости децентрализации

«Избегая вредного многословия, приступаю прямо. Известно, какие неудобства всегда и везде представляла излишняя централизация. Токевиль выражается о сем прямо: «Централизация есть зло». Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: «Зло, с трудом поправимое даже деспотизмом». Наконец, английский писатель Джон Стуарт выражается так: «Централизация есть остаток варварства». Хотя же преосвященнейший Георгий Конисский, в приветственной речи покойной императрице Екатерине II, и говорит: «Солнце наше вкруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем», но сие отнюдь не следует относить к централизации, но к свойственному всякому верноподданному радостному чувству.

И действительно, не токмо во Франции, сей классической стране централизации, но и у нас на каждом шагу мы видим плоды сего горького порядка вещей. Благодаря оному, каких хлопот и издержек, например, стоило, дабы выиграть тяжбу в правительствующем сенате? сколько изнурений даже и доднесь нужно перенести, дабы получить в государственном банке какое-либо удовлетворение?

В первом случае необходимо было: во-первых, ехать в уездный город и нанимать подьячего, который был бы искусен в написании просьб; во-вторых, идти в суд, подать просьбу и там одарить всех, начиная с судьи и кончая сторожем, так как, в противном случае, просьба может быть возвращена с надписанием; в-третьих, от времени до времени посылать секретарю деревенских запасов и писать ему льстивые письма;

в-четвертых, в терпении стяжать душу свою. И вот, по истечении двух-трех лет, уездный суд дает наконец резолюцию, вроде той знаменитой, которая разрешила истцу «ловить в озере рыбу *удою*». Тогда надо ехать в губернский город и подавать просьбу в гражданскую палату. И здесь нанимать искусного подьячего, и здесь поголовно всех одарить, и здесь посылать деревенский запас (при расстоянии уже значительно большем) и писать льстивые письма секретарям. Наконец, года через три, издает палата резолюцию, которою тоже разрешается «ловить в оном озере рыбу *удою*». Тогда надобно направлять стопы в сенат, где, по дальности расстояний, подьячие деревенскими запасами уже не берут, а берут чистыми деньгами.

Во втором случае, ежели вы, например, имеете в банке вклад, то забудьте о своих человеческих немощах и думайте об одном: что вам предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у вас есть, и все в порядке, что следует, там обозначено, но, клянусь, раньше двух-трех дней процентов не получите! И объявления писать вам придется, и расписываться, и с сторожем разговаривать, и любоваться, как чиновник спичку зажечь не может, как он папироску закуривает, и наконец стоять, стоять и стоять!

Таковы плоды централизации! Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав пол-имения своего извозчикам!

Наши заатлантические друзья давно уже сие поняли, и Токевиль справедливо говорит: «В Америке,— говорит он,— даже самый простой мужик — и тот давно смеется над централизацией, называя ее никуда не годным продуктом гнилой цивилизации». Но зачем ходить так далеко? Сказывают, даже Наполеон III нередко в последнее время о сем поговаривал в секретных беседах с господином Пиетри.

И для чего таковое непосильное изнурение обывателей? для того ли, чтобы власть от того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодетельные свои для управляемых насильства?

Нет! власть немотствует, а государственный банк, тиранствуя над своими клиентами, нисколько сим не возвеличивается!

Токевиль говорит: «Бесполезное тиранство никогда пользы принести не может».

Обыватель не может своевременно процентов получить, а зло накопляется, распространяет крыле свои, поднимает голову и в конце концов образует гидру! Обыватель тщетно расточает льстивые уверения перед сонмищем секретарей, стараясь

убедить их в правоте имущественного своего иска, а зло между тем рыщет и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! Зло счастливо и беспечно: оно не получает процентов и не имеет имущественных процессов!

Примеров такого расслабленного состояния власти множество. Приведу два или три.

В селе проживает поповский сын и открыто проповедует безначалие. По правилам централизации, надлежит в сем случае поступить так: начать следствие, потом представить оное на рассмотрение, потом, буде найдены будут достаточные поводы для суждения, то нарядить суд. Затем, суд немедленно оправдывает бунтовщика, и поповский сын, как ни в чем не бывало, продолжает распространять свой яд!

Другой пример: крестьянские гуси потравили помещичий овес. По правилам централизации, помещик, для восстановления нарушенного права собственности, поступает так: во-первых, по незнанию законов, обращается в волостной суд. Там ему отказывают на том основании, что волостные суды ведают лишь дела крестьян между собою. Делать нечего, велит помещик закладывать лошадей и, по незнанию законов, отправляется за двадцать, за тридцать верст искать правосудия к мировому посреднику. Сей, тоже по незнанию законов, принимает просьбу, но через две недели, посоветовавшись с своим письмоводителем, объявляет просителю, что ныне уже порядки не те, и направляет его к мировому судье. Тем временем овес вырос вновь, а свидетели преступления, не будучи обязаны подпиской о невыезде, разбрелись по сторонам. Руководясь сими данными и к тому же будучи филантропом, судья пишет отказ и взыскивает с просителя издержки!

Какое сердце не обольется кровью при виде сего!

Тогда как при децентрализации и поповский сын, распространяющий безначалие, и крестьяне, попустившие своим гусям наносить ущерб помещичьему хозяйству, давно были бы наказаны, и самое свидетельство о содеянных ими преступлениях соделалось бы достоянием истории!

Известный криминалист Сергий Баршев говорит: «Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность» [1]. Святая истина!

Но что же необходимо учинить, дабы ввести сию многожелаемую и спасительную децентрализацию?

---

[1] Напрасно мы стали бы искать этой цитаты в сочинениях бывшего ректора Московского университета. Эта цитата, равно как и ссылки на Токевиля, Монтескье и проч., сделаны отставным корнетом Толстолобовым, очевидно, со слов других отставных же корнетов, наслышавшихся о том, в свою очередь, в земских собраниях. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

На сие отвечу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть.

Можно ли назвать власть вооруженною, если, для достижения ее, необходимо ехать за тридцать, за сорок верст, но и тут трепетать, что попадешь не туда, куда надлежит, или же что власть взглянет на все сие иронически, или отзовется неимением средств и указаний?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже при искреннем желании помочь ближнему, она на каждом шагу стеснена всякого рода сомнительностями и пагубным формализмом?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для того чтобы быть безнаказанным, стоит только поселиться подальше от становой квартиры?

Токевиль справедливо отвечает на сие: невозможно.

А между тем, при нынешней централизации, власть именно находится в сем беспомощном и, так сказать, ироническом состоянии.

Губернаторы стеснены судами, палатами, общими присутствиями. Ищут преданности и находят одно противоречие.

Исправники лишены права поступать по обстоятельствам и, не имея прочной руководящей нити, совсем никак не поступают.

Становые пристава до такой степени опутаны сетями начальственных предписаний, что вскоре самую жизнь за тягость себе почитать будут.

О дворянах-землевладельцах — умолчу.

Все жалуются и вопиют; везде говорят о власти, везде ищут сего надежного убежища и, за всем тем, не гокмо не приближаются к оному, но, в похвальном стремлении всех осчастливить, постепенно все больше и больше от здравого смысла отдаляются!

И сие все при наших обширных, можно сказать, даже непреоборимых пространствах!!

А между тем, как говорит бессмертный наш баснописец Крылов: ведь ларчик просто открывался!!!

Будучи одарен многолетнею опытностью и двадцать пять лет лично управляя моими имениями, я много о сем предмете имел случай рассуждать, а некоторое даже и в имениях моих применил. Конечно, по малому моему чину, я не мог своих знаний на широком поприще государственности оказать, но так как ныне уже, так сказать, принято о чинах произносить с усмешкой, то думаю, что и я не худо сделаю, ежели здесь мои результаты вкратце попытаюсь изложить. Посему соображаю так:

Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть.

Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать.

Затем, уже руководствуясь такими соображениями, предлагаю:

1) Губернаторов назначать везде из местных помещиков, яко знающих обстоятельства. Чинами при сем не стесняться, хотя бы был и корнет, но надежного здоровья и опытен.

2) По избрании губернатора, немедленно оного вооружить, освободив от всяких репортов, донесений, а тем более от советов с палатами и какими-либо присутствиями.

3) Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящие законы, то предоставить издавать *правила* и отнюдь не стеснять его в мероприятиях к искоренению зла.

4) На каждых пяти верстах поставить особенного дистанционного начальника из знающих обстоятельства местных землевладельцев, которого также вооружить, с предоставлением искоренять зло по обстоятельствам.

5) Дистанционному начальнику поставить в обязанность быть праздным, дабы он, ничем не стесняясь, всегда был готов принимать нужные меры [1].

6) Уезды разделить на округа (по четыре на уезд), и в каждом округе учредить из благонадежных и знающих обстоятельства помещиков особливую комиссию, под наименованием: «комиссия для исследования благонадежности».

7) Членам сих комиссий предоставить: а) определять степень благонадежности обывателей; б) делать обыски, выемки и облавы, и вообще испытывать; в) удалять вредных и неблагонадежных людей, преимущественно избирая для поселения места необитаемые и ближайшие к Ледовитому океану;

и 8) В вознаграждение трудов положить всем сим лицам приличное и вполне обеспечивающее их содержание.

Излагая все сие, не ищу для себя почестей, но буду доволен, ежели за все подъятые мною труды предоставлено мне будет хотя единое утешение — утешение сказать: *«И моего тут капля меду есть».*

Отставной корнет Петр Толстолобов.

---

[1] Пользу от сего я испытал собственным опытом Двадцать пять лет я проводил время в праздности, а имения мои были так устроены, как дай бог всякому Не оттого ли, что я всегда имел нужный досуг? [*Прим. автора проекта.*]

— Ну, что? каково? — пристал ко мне в тот же вечер Прокоп.

— Да что ж... хорошо-то хорошо... только вот насчет Америки как-то сомнительно...

— А ну ее, Америку! Главное дело — децентрализация чтоб была... Согласен ты, что централизация — вред?

— Вред-то вред... что и говорить!

— Ну, а ежели вред, стало быть, как следует, по-твоему, поступить?

— А черт его знает, как оно там...

— То-то же вот и есть!

— Вот тоже: какой-то «английский писатель Стуарт»... черт его знает, кто он таков! Ну, да и Токевиль... воля твоя, а вряд ли он так говорил!

— Что? Токевиль-то? Да я от Петра Иваныча Дракина сам своими ушами слышал, что именно это самое у него в книжке написано! А уж если Петру Иванычу не поверить — кому же и верить?

— Н-нда... а все-таки как-то... На каждых пяти верстах по помещику, и все такое... Черт знает что!

— А я про что же говорю! Именно: черт не разберет! Ты сообрази только, какое мордобитие-то пойдет — любо!

И Прокоп залился таким раздражающим смехом, что я несколько секунд стоял как ошеломленный. Передо мной вдруг совершенно отчетливо встала вся картина децентрализации по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова...

Это было ужасное зрелище...

Не было ни судов, ни палат, ни присутствий — словом сказать, ничего, чем красна современная русская жизнь. Была пустыня, в которой реяли децентрализованные квартальные надзиратели из знающих обстоятельства помещиков.

Бьют, испытывают и ссылают. Потом наскоро подкрепляют силы холодными закусками и водкой и опять бьют, испытывают и ссылают.

Нет ни сапожников, ни портных, ни музыкантов, ни литераторов, ни ученых, ибо всех испытывают. Все кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всеми есть какой-нибудь счетец, и потому все подлежат исследованию.

Объятый ужасом, я инстинктивно схватился за графин и сразу выпил десять рюмок очищенной.

Другой проект.

О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств

«Новоявленный публицист, кн. В. Мещерский, говорит справедливо: реформы необходимы, но не менее того необходимы и знаки препинания. Или, говоря иными словами: выпустил реформу — довольно, ставь точку; потом, спустя время, опять выпустил реформу и опять точку ставь. И так далее, до тех пор, пока не исполнятся неисповедимые божии пути.

С своей стороны, скажу более: не одну, а несколько точек всякий раз ставить не мешало бы. И не непременно после реформы, но и в другое, свободное от реформ, время.

Одно не вполне ясно: каким образом все сие исполнить? В теоретичной принципияльности сия мысль совершенно верна, но в практичной удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобоприменимою.

Что такое реформа? Реформа есть такое действие, которое человеческим страстям сообщает новый полет. А коль скоро страсти получили полет, то они летят — это ясно. Не успев оставить гавань одной реформы, они уже видят открывающуюся вдали гавань другой реформы и стремятся к ней. Вот здесь-то именно, то есть на этом-то пути стремления от одной реформы к другой, и следует, по мысли кн. Мещерского, употреблять тот знак препинания, о котором идет речь. Возможно ли это?

Возможно; но дабы получить в сем случае успех, необходимо предварительно привести страсти в некоторое особливое состояние, которое поставило бы их в невозможность препятствовать постановке точек. Ибо, в противном случае, они всенепременно тому воспрепятствуют.

Страсти почувствовали силу и получили полет — возможно ли, чтоб они, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, как небольшое количество благонамеренных людей будут ставить им точки? И опять, какие это точки? Ежели те точки, кои обыкновенно публицисты в сочинениях своих ставят, то разве великого труда стоит превратить оные в запятые, а в крайнем случае и совсем выскоблить?

Стало быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потом уже начать ставить точки, и притом не такие, которые можно бы выскоблить, а настоящие, действительные.

Удобнее всего это достигается посредством так называемого *оглушения.*

Многие восстают против этой системы, находя ее недостаточно человеколюбивою и прогрессивною. Но это говорят люди, которые, очевидно, знакомы с системой поверхностно

или по слухам. Я же, напротив того, утверждаю: оглушение не токмо не противно либерализму, но и составляет необходимейшее от оного отдохновение.

Токевиль говорит: «Так называемое оглушение не только не противно человеческой природе, но в весьма многих случаях даже способствует восстановлению человеческих сил». А за Токевилем эту истину уже повторяют ныне все английские публицисты.

С физической стороны, оглушение причиняет боль — это правда. Но с нравственной оно успокоивает и сберегает слишком легко издерживающиеся силы. Да разве необходимо, чтоб оглушение имело характер непременно физический? разве невозможно оглушение умственное и нравственное?

Что зло повсюду распространяет свои корни — это ни для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинают с того, что с усмешкой отзываются о сотворении мира, а кончают тем, что не признают начальства. Все это делается публично, у всех на глазах, и притом с такою самоуверенностью, как будто устав о пресечении и предупреждении давно уже совершил течение свое. Что могут в этом случае сделать простые знаки препинания?

Опасность так велика, что не только запятые, даже точки не упразднят ее. Наполеон I на острове Св. Елены говорил: «Чем сильнее опасности, тем сильнейшие должны быть употреблены средства для их уврачевания». Под именем сих «сильнейших средств» что разумел великий человек? Очевидно, он разумел то же, что разумею и я, то есть: сперва оглуши страсти, а потом уже ставь точку, хоть целую страницу точек.

Но дабы оглушение не противоречило идеям современного человеколюбия, необходимо, чтобы оно имело характер преимущественно нравственный.

Ежели я человека, посредством искусно комбинированной системы воспрещений и сокрытий, отвлеку от предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полет, то этим я уже довольно много сделаю. Но «довольно много» еще не значит «все». Человек, лишенный средств питать свой ум, впадет в дремотное состояние — но и только. Самая дремота его будет ненадежная и, при первом нечаянном послаблении системы сокрытий, превратится в бдение тем более опасное, что, благодаря временному оглушению, последовало сбережение и накопление умственных сил.

Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний.

Если, например, приучить молодых людей к чтению сон-

ников, или к ежедневному рассмотрению девицы Гандон (сам не видел, но из газет очень довольно знаю), или же, наконец, занять их исключительно вытверживанием азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут, то умы их будут дремотствовать, но дремотствовать деятельно.

Предавшись чтению сонников, молодые люди будут ожидать от сего исполнения желаний. Одолев Таутову азбуку, они преисполнятся сладкой уверенности, что назначение человеческой жизни ими совершено сполна. О девице Гандон — уже не говорю. Во всех сих упражнениях, очевидно, будет участвовать страсть, но страсть спасительная, имеющая в предмете отличаться в изучении сюжетов безопасных и малополезных, как, например, эфиопского языка. И таким образом получится поколение дремотствующее, но бодрое и не только не препятствующее знакам препинания, но *деятельно* на постановку их согласное.

При таковом согласии реформы примут течение постепенное и вполне правильное. При наступлении благоприятного времени, начальство, конечно, и без сторонних побуждений, издаст потребную по обстоятельствам реформу, но оная уже будет встречена без сомнения, ибо всякому будет известно, что вслед за тем последуют года, кои имеют быть употреблены на то, чтобы ставить той реформе знаки препинания. Что, кроме системы нравственного оглушения, может дать такой, превышающий всякие ожидания, результат?

Будучи вынужден, по неприятностям, оставить службу и проживая в своей чухломской усадьбе, я имел возможность много о сем предмете рассуждать и даже меняться мыслями с некоторыми уважаемыми соседями, и все мы пришли к заключению: Токевиль прав.

Законов издавать — права не имею; но преподать нечто к изданию таковых — могу.

С горестью покинул службу; с радостью вновь возвратился бы в лоно оной; но удостоюсь ли сего по трудным и превратным нынешним обстоятельствам — настоящим образом предсказать не могу.

Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным — могу написать другой, более удобный».

Бывший штатный смотритель чухломских училищ титулярный советник Иван Филоверитов.

«P. S. Многие из сверстников моих давно уже архиереями; я же вынужден взяться за плуг. А у нас, в Чухломе, и овес никогда более как сам-третей не родится!!»

Я был унижен, оскорблен, раздражен...

Вот, думалось мне, ни образования, ни привычки мыслить, ни даже уменья обращаться с человеческою речью — ничего у этого человека нет, а между тем какую ужасную, ехидную мерзость он соорудил! И как свободно, естественно созрела она в его голове! Ни разу не почувствовал он потребности проверить себя, или посоветоваться с своею совестью, или, наконец, хоть из чувства приличия, сослаться на какие-нибудь факты. Нет; он имел в виду только одно: что ему предстоит сочинить пакость и что измышление его, яко пакостное, непременно найдет себе прозелитов.

Выскажи он мысль сколько-нибудь человеческую — его засмеют, назовут блаженненьким, не дадут проходу. Но он явился не с проектом о признании в человеке человеческого образа (это был бы не проект, а опасное мечтание), а с проектом о превращении человеческих голов в стенобитные машины — и нет хвалы, которою не считалось бы возможным наградить эту гнилую отрыжку старой канцелярской каверзы, не нашедшей себе ограничения ни в совести, ни в знании.

Филоверитов стоял передо мной, как живой. Длинный, змееобразный, он взвивался, складывался пополам, ползал. Голос у него был детский, плачущий, на глазах дрожали слезы крокодила. И он так вкрадчиво смотрел на меня этими глазами, как будто говорил: а хочешь, мой друг, я засажу тебя за эфиопские спряжения?

А что, если в самом деле мне ничего отныне не дадут читать, кроме сонников? Что, если ко мне приставят педагога, который неупустительно начнет оболванивать меня по части памятников эфиопской письменности?

Нет! надобно все это забыть!

Но как забыть — вот вопрос! Куда бежать, где скрыться от *его* вездесущия! На улице, в трактире, в клубе, в гостиной — *оно* везде или предшествует вам, или бежит по пятам. Везде *оно* гласит: уничтожить, вычеркнуть, запретить!

Корнет Толстолобов скользнул по поверхности; чухломец Филоверитов — прямо пронизал взором вглубь. В проекте Толстолобова чересчур много блеску; он обращает слишком мало внимания на человеческую жизнь, он слишком охотно ею жертвует. Шутка сказать! населить поморье Ледовитого океана людьми, оказавшимися, по испытании, неблагонадежными! Это, наконец, даже непрактично! Напротив того, Филоверитов прост и скромен до крайности; он смотрит на человеческую жизнь как на драгоценнейший дар творца и потому говорит: живи, но пребудь навсегда дураком! Не блестяще... но как практично!

Но ежели нельзя забыть об этих прожектах, то, во всяком случае, надобно их сжечь!

Я схватил всю кипу и с каким-то диким ожесточением бросил ее в камин. С наслаждением следил я, как сначала повалил из-под кипы густой, черный дым; как отдельные листы постепенно свертывались, коробились и бурели; как огонь, долгое время не будучи в состоянии осилить брошенную в него массу бумаги, только лизал ее края; как, наконец, он вдруг прорвался сквозь самый центр массы и разом обхватил ее.

О, ужас! все проекты, один за другим, горели и уничтожались, но один оставался нетленным!

Напрасно огонь напрягал свои усилия, напрасно я сам, вооружившись щипцами, пихал бумагу в самую глубь камина; лист лежал чистый, невредимый, безмятежный, точь-в-точь как лежал он за пять минут перед тем у меня на письменном столе!

Очевидно, тут было какое-то указание, которому я, скрепя сердце, должен был повиноваться...

Я прочитал следующее:

О переформировании де сиянс академии

«С юных лет получил я сомнение в пользе наук, а затем, постепенно произрастая, все более и более в том сомнении утверждался, так что ныне, находясь в чине подполковника и с 1807 года в отставке, даже не за сомнение, а уже за верное для себя оное почитаю.

Вращаясь между людьми всякого звания, я всегда примечал, что лишь те из них вполне благополучны, кои держат себя в довольном от наук расстоянии. Беспечная веселость лица, любезная простота нравов и игройство в телесных упражнениях — вот качества, отличающие истинного сына природы. Обладая сим неоцененным сокровищем, простодушный поселянин смело может считать свой жребий более счастливым, нежели даже вельможа, отягченный добычей и преступлениями. Причина же сему явная та: не зная наук, поселянин о многом не догадывается, а многого и совсем не разумеет. Напротив того, вельможа всего допытывается, но, не всегда будучи рассудительным, зачастую попадает совсем не в тот пункт, куда метить надлежит. И, вследствие того, приходит в меланхолию, а со временем и в истощение сил.

Посему, самым лучшим средством достигнуть благополучия почиталось бы совсем покинуть науки, но как, по настоящему развращению нравов, уже повсеместно за истину принято, что без наук прожить невозможно, то и нам приходится с сею мыслию примириться, дабы, в противном случае, в военных наших предприятиях какого ущерба не претерпеть. Как ни велико, впрочем, сие горе, но и оное можно малым сделать, ежели при сем, смотря по обширности и величию нашего отечества, соблюдено будет:

Первое, чтобы науки наши против всех прочих были превосходнее;

и *второе,* чтобы оные подлинно распространяли свет, а не тьму.

Но здесь представляется весьма щекотливый вопрос: как сего достигнуть?

На сие отвечаю кратко: посредством заведения таких учреждений, которые имели бы в предмете не распространение наук, но тщательное оных рассмотрение.

Казалось бы, что с сею именно целью учреждена в С.-Петербурге известная де сиянс академия, но ежели и была такова цель ее учреждения, то сколь много она от оной отдалилась!

Вместо того чтобы рассматривать науки, академия де сиянс отчасти распространяла их, отчасти же пребывала к ним равнодушною!

Причина такового упущения двоякая:

Во-первых, члены де сиянс академии, будучи в большей части из немцев, почитают для себя рассмотрение наук за нестерпимое и несносное.

Во-вторых, при обширных пространствах, занимаемых нашим отечеством, члены де сиянс академии не в силах уследить за возникающими в уездах и волостях науками, а равным образом, не имея никаких начальственных отношений к капитан-исправникам, не могут и сих последних уполномочить на то.

Очевидно, что пока сии две причины не будут устранены, дело останется все в прежнем положении!

А что положение сие нестерпимо, в том свидетельствуют три вещи:

1) В каждом селении заведен кабак, а в некоторых по два и по три.

2) На днях в Хвалынской губернии, как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила одного отца, дабы беспрепятственнее предаться наукам.

и 3) На днях, при моих глазах, дочь одного почтенного генерала резала лягушку и надеялась получить от сего результат.

Все таковые факты внушили мне особливую некоторую мысль, развитие которой яснее выражается из следующих пунктов.

§ 1. *Цель учреждения академий*

В столичном городе С.-Петербурге учреждается особливая центральная де сиянс академия, назначением которой будет рассмотрение наук, но отнюдь не распространение оных [1].

С тою же целью, повсеместно, по мере возникновения наук, учреждаются отделения центральной де сиянс академии, а так как ныне едва ли можно встретить даже один уезд, где бы хотя о причинах частых градобитий не рассуждали, то надо прямо сказать, что отделения сии или, лучше сказать, малые сии де сиянс академии разом во всех уездах без исключения объявятся.

Академиям сим, для большего удобства в предстоящих им действиях, прежде всего поставлено будет в обязанность определить:

§ 2. *Что такое в науках свет?*

Мнения по сему предмету разделяются на правильные и неправильные, а в числе последних есть даже много таких, кои, по всей справедливости, могут считаться дерзкими.

Дабы предотвратить в столь важном предмете всякие разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Во-первых, правило сие вполне согласуется с показаниями сведущих людей и, во-вторых, установляет в жизни вполне твердый и надежный опорный пункт, с опубликованием которого всякий, кто, по малодушию или из хвастовства, вздумал бы против оного преступить, не может уже сослаться на то, что он не был о том предупрежден.

§ 3. *Какие люди для рассмотрения наук наиболее пригодны суть?*

Люди свежие и притом опытные.

Как сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду,— есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть исправным надлежит. Таков фундамент. Но дабы в совершенстве таковой постигнуть, нет надобности в обременительных или прихотливых познаниях, а требуется лишь свежее сердце и не

---

[1] О составе и занятиях сей центральной академии умалчиваю, предоставляя устройство сего вышнему начальству. Скажу только, что заведение сие должно быть обширное. [*Примечание составителя проекта.*]

вполне поврежденный ум. Все сие, в свежем человеке, не токмо налицо имеется, но даже и преизбыточествует.

Посему, как в президенты де сиянс академий, так и в члены оных надлежит избирать благонадежных и вполне свежих людей из местных помещиков, кои в юности в кадетских корпусах образование получили, но от времени все позабыли.

Примечание. Президентом следует избирать человека, хотя и преклонных лет, но лишь бы здравый ум был.

§ 4. *Что от сего произойти может?*

Следующее:

Прежде нежели свежий человек приступит к рассмотрению наук, он постарается припомнить, в каком виде преподавались оные ему в кадетском корпусе. Убедившись затем, что в его время науки имели вид краткий, он, конечно, оком несколько изумленным взглянет на бесчисленные томы, кои после того произошли. Во-первых, увидит он, что хрестоматии появились новые и притом такие, в коих заключаются зачатки революции. Во-вторых, что появилось множество наук, о коих в кадетских корпусах даже в упоминовении не бывало (в особенности одна из них вредная и, как распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая «Психологией»). Третие, наконец, что партикулярные люди о таких материях явно размышляют, о которых в прежнее время даже генералам не всегда размышлять дозволялось.

В виду сего, как он поступит?

Не знаю, как другие, но я поступил бы прямо и откровенно, то есть сказал бы: все сие навсегда прекратить!

А кто же, кроме вполне свежего человека, может таким образом поступить?

§ 5. *О пределах власти де сиянс академий*

Пределы власти де сиянс академий надлежит сколь возможно распространить.

Везде, где присутствуют науки, должны оказывать свою власть и де сиянс академии. А как в науках главнейшую важность составляют не столько самые науки, сколько действие, ими на партикулярных людей производимое, то из сего прямо явствует, что ни один обыватель не должен мнить себя от ведомства де сиянс академии свободным. Следственно, чем менее ясны будут границы сего ведомства, тем лучше, ибо нет ничего для начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы.

§ 6. *О правах и обязанностях президентов де сиянс академий*

Президенты де сиянс академий имеют следующие права:

1) Некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда.

2) В остальных науках вредное направление переменять на полезное.

3) Призывать сочинителей наук и требовать, чтобы давали ответы по сущей совести.

4) Ежели даны будут ответы сомнительные, то приступать к испытанию.

5) Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и в случае открытия таковых, отсылать, для продолжения наук, в отдаленные и малонаселенные города.

и 6) Вообще распоряжаться так, как бы в комнате заседаний де сиянс академии никого, кроме их, президентов, не было.

Обязанности же президентов таковы:

1) Действовать без послабления.

и 2) От времени до времени требовать от обывателей представления сочинений на тему: «О средствах к совершенному наук упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло и чтобы оное, и по упразднении наук, соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее».

§ 7. *Об орудиях власти президента*

Ближайшие орудия президента суть члены де сиянс академии.

Права их следующие:

1) Они с почтительностью выслушивают приказания президента, хотя бы оные и не ответствовали их желаниям.

2) По требованию президента являются к нему в мундирах во всякое время дня и ночи.

3) При входе президента встают с мест стремительно и шумно и стоят до тех пор, пока не будет разрешено принять сидячее положение. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать рассмотрение.

4) Ссор меж собой не имеют.

5) В домашних своих делах действуют по личному усмотрению, причем не возбраняется, однако ж, в щекотливых случаях обращаться к президенту за разъяснениями.

6) Наружность имеют приличную, а в одежде соблюдают опрятность.

7) Науки рассматривают не ослабляючи, но не чиня по за-

меченным упущениям исполнения, обо всем доносят президенту.

8) Впрочем, голоса не имеют.

После того, в качестве орудий же, следуют чины канцелярии, кои пребывают в непрерывном писании. Права сих чинов таковы:

1) Они являются к президенту по звонку.

2) Рассматривать науки обязанности не имеют, но, услышав нечто от посторонних людей, секретно доводят о том до сведения президента.

3) Бумаги пишут по очереди; написав одну, записывают оную в регистр, кладут в пакет и, запечатав, отдают курьеру для вручения; после того зачинают писать следующую бумагу и так далее, до тех пор, пока не испишут всего.

4) Голоса не токмо не имеют, но даже рта разинуть не смеют.

и 5) Относительно почтительности, одежды и прочего поступают с такою же пунктуальностию, как и члены.

Кроме сего, в распоряжении президента должна быть исправная команда курьеров.

§ 8. *О прочем*

Что касается прочего, то оное объявится тогда, когда десиянс академии, в новом своем виде, по всему лицу российския державы действие возымеют. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется от меня мнение насчет мундиров или столовых денег, то я во всякое время дать оное готов».

Отставной подполковник Дементий Сдаточный.

Я прочитал до конца, но что после этого было — не помню. Знаю, что сначала я ехал на тройке, потом сидел где-то на вышке (кажется, в трактире, в Третьем Парголове), и угощал проезжих маймистов водкой. Сколько времени продолжалась эта история: день, месяц или год,— ничего неизвестно. Известно только то, что *забыть* я все-таки не мог.

IV

Не знаю, как долго я после того спал, но, должно быть, времени прошло не мало, потому что я видел во сне целый роман.

Но, прежде всего, я должен сказать несколько слов о сновидениях вообще.

В этом отношении жизнь моя резко разделяется на две совершенно отличные друг от друга половины: до упразднения крепостного права и после упразднения оного.

Клянусь, я не крепостник; клянусь, что еще в молодости, предаваясь беседам о святом искусстве в трактире «Британия», я никогда не мог без угрызения совести вспомнить, что все эти пунши, глинтвейны и лампопо̀, которыми мы, питомцы нашей alma mater [1], услаждали себя,— все это приготовлено руками рабов; что сапоги мои вычищены рабом и что когда я, веселый, возвращаюсь из «Британии» домой, то и спать меня укладывает — раб!.. Я уж тогда сознавал, насколько было бы лучше, чище, благороднее и целесообразнее, если б лампопо̀ для меня приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такие же свободные люди, как я сам. А многие ли в то время сознавали это?! Я даже написал одну повесть (я помню, она называлась «Маланьей»), в которой самыми негодующими красками изобразил безвыходное положение русского крепостного человека, и хотя, по тогдашнему строгому времени, цензура не пропустила этой повести, *но я до сих пор не могу позабыть* (*многие даже* называют меня за это злопамятным), что я автор ненапечатанной повести «Маланья». И когда Прокоп или кто-нибудь другой из «наших» начинают хвастаться передо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать им, что теперь, когда все вообще хвастаются без труда, ничего не сто̀ит, конечно, прикинуть два-три словечка себе в похвалу, но было время...

— Вот когда я свою «Маланью» писал, вот тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

Так говорю я в упор хвастуну Прокопу, и этого напоминания совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тон. Ибо как он ни мало развит, но все-таки понимает, что написать «Маланью» в такое время, когда даже в альбомы девицам ничего другого не писали, кроме:

О Росс! о род непобедимый!
О твердокаменная грудь! —

дело далеко не шуточное...

Тем не менее я должен сознаться, что, при всей моей ненависти к крепостному праву, сны у меня в то время были самые веселые. Либо едешь в гости, либо сидишь в гостях, либо из гостей едешь с сладкою надеждой, что в непродолжитель-

---

[1] матери-кормилицы.

ном времени опять в гости ехать надо. Ничего огорчительного, ничего такого, что имело бы прямое отношение к «Маланье» или к бунтовским разговорам в «Британии». Я помню, что в «Маланье» я очень живо изобразил, как некоторый Силантий томится в темной вонючей конуре. И за что томится! — за то только, что не хочет «с великим своим удовольствием» предоставить свою дочь Маланью любострастию помещика Пеночкина! Но во сне тот же самый Силантий представлялся мне уж совсем в ином виде: тут он не только не изнывает и не томится, но, напротив того, или песни поет, или бога за меня молит. «Добрый я, добрый!» — грезилось мне во сне, и на эту сладкую грёзу не оказывал влияния даже тяжкий бред моего камердинера и раба Гришки, который в это самое время, разметавшись в соседней комнате на войлоке, изнемогал под игом иного рода сонной фантазии. Ему представлялся миллион сапогов, которые он обязывался вычистить, миллион печей, которые ему предстояло вытопить, миллион наполненных помоями лоханок, мимо которых он не мог пройти, чтобы не терзала его мысль, что он, а не кто другой, должен все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на место для дальнейшего наполнения помоями... С искаженным от ужаса лицом он вскакивал с одра своего, схватывал в руки кочергу и начинал мешать ею в холодной печке, а я между тем перевертывался на другой бок и продолжал себе потихоньку грезить: «Добрый я! добрый!»

Теперь все это изменилось, и сновидения мои приняли характер печальный, почти трагический. Правда, что я все еще продолжаю ездить в гости, но возвращаться вечером из гостей уж не совсем безопасно. Всегда как-то так случается, что едешь лесом, а уж коль скоро снится человеку лес, то непременно приснятся и волки. Они выбегают на дорогу, скалят зубы, стучат ими, прыгают около коляски, визжат, воют и, наконец, бросаются. Я чувствую, как железные когти вонзаются в мою грудь, я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ее шумное дыхание — и просыпаюсь... Конечно, осмотревшись кругом, я успокоиваюсь и благодарю моего создателя за то, что я не в лесу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успеваю перевернуться на другой бок, как опять сон. Я гуляю в своем парке (известно, как опасно помещику ходить одному в своем парке с тех пор, как нет крепостных садовников!), и вдруг из-за куста — волк! Опять железные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыхание...

Положим, что все эти страхи мнимые, но если уж они забрались в область сновидений, то ясно, что и в реальной

жизни имеется какая-нибудь отрава. Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему худо,— сны его будут веселые и легкие. Если жить человеку худо, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность — сны у него будут тяжелые и печальные. Нет сомнения, что в сороковых годах я написал «Маланью» и, следовательно, в некотором роде протестовал, но так как, говоря по совести, жить мне было отлично, то протесты мои шли своим чередом, а сны — своим. Теперь же, хотя я и говорю: ну, слава богу! свершились лучшие упования моей молодости! — но так как на душе у меня при этом скребет, то осуществившиеся упования моей юности идут своим чередом, а сны — своим. Скажу более: сны едва ли в этом случае не вернее выражают действительное настроение моей души, нежели протесты и осуществившиеся упования. Поэтому, когда я встречаю на улице человека, который с лучезарною улыбкой на лице объявляет мне, что в пошехонском земстве совершился новый отрадный факт: крестьянин Семен Никифоров, увлеченный артельными сыроварнями, приобрел две новые коровы! — мне как-то невольно приходит на мысль: мой друг! и Семен Никифоров, и артельные сыроварни — все это «осуществившиеся упования твоей юности»; а вот рассказал бы ты лучше, какие ты истории во сне видишь!

Печальные сны стали мне видеться с тех пор, как я был выбран членом нашего местного комитета по улучшению быта крестьян. В то время, как ни придешь, бывало, в заседание, так и сыплются на тебя со всех сторон самые трагические новости.

— Представьте себе! у соседа моего ребенка свинья съела! — говорит один член.

— Представьте себе! компаньонку моей жены волк искусал! — объясняет другой.

— А я вам доложу вот что-с,— присовокупляет третий,— с тех пор как эта эмансипация у нас завелась, жена моя нарочно по деревне гулять ходит — и что ж бы вы думали? ни одна шельма даже шапки не думает перед нею ломать!

И таким образом мы жили в чаду самых разнообразных страхов. С одной стороны — опасения, что детей наших переедят свиньи, с другой — грустное предвидение относительно неломания шапок... Возможно ли же, чтобы при такой перспективе мы, беззащитные, так сказать, временно лишенные покровительства законов, могли иметь какие-нибудь другие сны, кроме страшных!

Но этого мало. В одно прекрасное утро нам объявляют, что наш собственный председатель исчез неведомо куда,

но «в сопровождении»... Признаюсь, это уж окончательно сразило меня! Господи боже мой! Что́ ж это будет, если уж начали пропадать председатели! И бог знает, чего-чего не припомнилось мне по этому случаю. И анекдот о помещике, которого, за продерзость, приказано было всю жизнь возить по большим дорогам, нигде не останавливаясь. И слышанный в детстве рассказ о младенце, которого проездом родители выронили из саней в снег, и только через сутки потом из-под снегу вырыли. «И что ж бы вы думали! спит мой младенчик самым, то есть, крепким сном, и как теперича его из-под снегу вырыли, так он сейчас: «мама»!» — Так оканчивала обыкновенно моя няня рассказ свой об этом происшествии.

В следующую за пропажей председателя ночь я видел свой первый страшный сон. Сначала мне представлялось, что нашего председателя возят со станции на станцию и, не выпуская из кибитки, командуют: лошадей! Потом, виделось, что его обронили в снег... «Любопытно бы знать,— думалось мне,— отроют ли его и скажет ли он: мама! как тот почтительный младенец, о котором некогда повествовала моя няня?»

И, таким образом, получив для страшных снов прочную реальную основу, я с горестью убеждаюсь, что прежние веселые сны не возвратятся ко мне, по малой мере, до тех пор, пока не возвратится порождавшее их крепостное право.

Но возвратится ли оно?

Итак, я видел сон.

Мне снилось, что я был когда-то откупщиком, нажил миллион и умираю одинокий в chambres garnies.

Около меня стоит Прокоп и с какою-то хищническою тревогой следит за последними, предсмертными искажениями моего лица. Он то на меня посмотрит, то бросит ядовитый взгляд на мою шкатулку. По временам он обращается ко мне с словами: «Ну, ну! не бойсь! бог не без милости!» Но я, с свойственною умирающим проницательностью, слышу в его словах нечто совсем другое. Мне чуется, что Прокоп говорит: уж как ты ни отпрашивайся, а от смерти не отвертишься! так умирай же, ради Христа, поскорее, не задерживай меня понапрасну! Одно мгновение мне показалось, что на губах его мелькнула какая-то подлейшая улыбка, словно он уж заранее меня смаковал,— и ах! как не понравилась мне эта улыбка!

Наконец я испускаю последний вздох, но не успеваю еще

окончательно потерять сознание, как вижу: шкатулка моя в одно мгновение ока отперта, и Прокоп торопливо, задыхаясь, вытаскивает из нее мои капиталы...

Я умер.

Читатель! не воображай, что я человек жадный до денег, что я думаю только о стяжании и что, поэтому, сребролюбивые мечтания даже во сне не дают мне покоя. Нет; я никогда не принадлежал к числу капиталистов, а тем менее откупщиков; никогда не задавался мыслью о стяжаниях и присовокуплениях, а, напротив того, с таким постоянным легкомыслием относился к вопросу «о производстве и накоплении богатств», что в настоящее время буквально проедаю последнее свое выкупное свидетельство. Я с гордостью могу сказать, что при составлении уставной грамоты пожертвовал крестьянам четыре десятины лугу по мокрому месту и все безнадежные недоимки простил. Когда я покончу с последним выкупным свидетельством, у меня останется в виду лишь несколько сот десятин худородной и отчасти болотистой земли при деревне Проплёванной [1], да еще какие-то надежды... На что̀ надежды — этого я и сам хорошенько не объясню, но что надежды, никогда и ни в каком случае не оставят меня — это несомненно. Все сдается, что вот-вот совершится какое-то чудо и спасет меня. Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене. Или еще: вдруг Волга изменит течение, повернет левей-левей, и прямо в мое имение! Деревню Проплё-

---

[1] Название «Проплёванной» — историческое. Однажды дедушка Матвей Иванович, будучи еще корнетом, ехал походом с своим однополчанином, тоже корнетом, Семеном Петровичем Сердюковым. Последний, надо сказать правду, был довольно-таки прост, и дедушка хорошо знал это обстоятельство И так как походом делать было нечего, то хитрый старик, тогда еще, впрочем, полный надежд юноша, воспользовался простотой своего друга и предложил играть в плевки (игра, в которой дедушка поистине не знал себе победителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюков проиграл столь значительную сумму, что должен был предоставить в полную собственность дедушки свою деревню Сердюковку. Дедушка же, в память о финансовой операции, с помощью которой он эту Сердюковку приобрел, переименовал ее в «Проплёванную». Замечательно, что мужики долгое время сердились, когда их называли «проплёванными», а два раза даже затевали бунт. Но, благодарение богу, с помощью экзекуций, все улаживалось благополучно. Впрочем, с объявлением мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню в Сердюковку, но я, в пику, продолжаю называть их «проплёванными». Я делаю это в ущерб самому себе, потому что в отмщение за мое название они ни за какие деньги не хотят ни косить мои луга, ни жать мой хлеб; но что же делать? Пусть лучше хлеб мой остается несжатым и луга нескошенными, но зато я всегда буду высоко держать мое знамя! *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ванную при этом, разумеется, разрушит до основания, а мои болота обратит в богатейшие заливные луга.

Но ежели не личная корысть дала основание моему сну, тем не менее основание это, до известной степени, все-таки не было чуждо реальности. Дело в том, что я много лет сряду безвыездно живу в провинции, а мы, провинциалы, обделываем свои денежные дела просто, а относимся к ним еще проще. Это совсем не то, что, например, в Петербурге, где ежели кто и ограбит умирающего родственника, то тотчас же начинает рассчитывать, сколько теперь у него шансов за получение бубнового туза на спину и сколько против такового получения. Мы грабим — не стыдясь, а ежели что-нибудь и огорчает нас в подобных финансовых операциях, то это только неудача. Удалась операция — исполать тебе, добру молодцу! не удалась — разиня! — Достаточно посетить наши клубы в дни общих обедов, чтобы получить любопытнейшие по сему предмету сведения, особливо ежели соседи по бокам люди знающие и словоохотливые.

— Вот этого видите, вон того, черноволосого, что перед обедом так усердно богу молился,— он у своего собственного сына материнское имение оттягал! — скажет сосед с правой руки.

— Вот этого видите, вон того, что салфеткой брюхо себе застелил,— он родной тетке конфект из Москвы привез, а она, поевши их, через два часа богу душу отдала! — шепчет сосед с левой руки.

— А вон того видите — вон, что рот-то разинул,— он, батюшка, перед самою эмансипацией всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил. Сколько деньжищ от купца получил, да мужицкие дома продал, да скотину, а земля-то вся при нем осталась... Вот ты и смотри, что он рот разевает, а он операцию-то эту в лучшем виде устроил! — снова нашептывает сосед с правой руки.

И вдруг — о, удивление! — человек, застилавший брюхо салфеткой, шлет моему левому соседу стакан шампанского. Разумеется, обмен мыслей.

— Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково прижимаете!

— Вы как!

— Вашими молитвами. После обеда пульку составить надо.

— Не вредно.

И действительно, тотчас же после обеда брюхан и мой левый сосед сидят уже за ералашем и дружелюбнейшим образом козыряют до глубокой ночи. И кто же знает? если за

брюханом есть конфета, то не считается ли за моим левым соседом целого пирога?

Каким образом создалась эта круговая порука снисходительности — я объяснить не берусь, но что порука эта была некогда очень крепка — это подтвердит каждый провинциал. Однажды я был свидетелем оригинальнейшей сцены, в которой роль героя играл Прокоп. Он обличал (вовсе не думая, впрочем, ни о каких обличениях) друга своего, Анемподиста Пыркова, в присвоении не принадлежащего ему имущества.

— Ну, брат, уж нечего тут очки-то вставлять! — оратор-ствовал Прокоп,— уж всякому ведь известно, как ты дядю-то мертвого под постель спрятал, а на место его другого в колпаке под одеяло положил! Чтобы свидетели, значит, под завещанием подписались, что покойник, дескать, в здравом уме и твердой памяти... Штукарь ведь ты!

— Ме... «финиссè...» [1] — умолял Пырков, простирая руки.

— Нечего «финиссè»... или уж по-французски заговорил! Уж что было, то было... Вон он и на кровати-то за покойника лежал! — вдруг указал Прокоп на добродушнейшего старичка, который, проходя мимо и увидев, что собралась порядочная кучка беседующих, остановился и с наивнейшим видом прислушивался к разговору.

— Пожалуйста, финиссè... прошу! — продолжал умолять Пырков.

— Чего финиссè! Вот выпить с тобой — я готов, да и то чтоб бутылка за семью печатями была! А других делов иметь не согласен! Потому, ты сейчас: либо конфект от Эйнема подаришь, либо пирогом с начинкой угостишь! Уж это верно!

И что ж? через какие-нибудь полчаса и Прокоп и Пырков сидели за одним столом и дружелюбнейшим образом чокались, что, впрочем, не мешало Прокопу, от времени до времени, язвить:

— А уж что ты тогда покойника под постель спрятал — это, брат, верно!

В другой раз, за обедом у одного из почетнейших лиц города, я услышал от соседа следующий наивный рассказ о двоеженстве нашего амфитриона.

— Служили они, знаете, в Польше-с... ну, молоды-с... полечки там, паненочки... сейчас руку и сердце-с. Вот только, женившись, и спохватились они, что дурно это сделали. Приданого за паненочкой — обтрепанный хвост-с, а родители у них престрогие-с. Вот и говорят они своей коханой-с: я, говорит, душенька, к старикам съезжу, а ты, говорит, после

---

[1] Но... прекратите...

приедешь, как я подготовлю их. Сказано — сделано-с. Приезжают это в наши палестины, а тем временем родители-то уж вдову для них приготовили. Двенадцать тысяч душ-с. Задумались-с. Однако, как увидели, что от ихней теперича решительности все будущее счастие в зависимости состоит, довольно-таки твердо выговорили: согласен-с. А потом, не говоря худого слова, веселым пирком да за свадебку-с. Пошли тут пиры да банкеты; они было в Варшаву, для устроїства служебных дел,— куда тебе! Наша вдовушка так во вкус вошла, что и слышать ничего не хочет-с! Только проходит три месяца, четыре-с, получают наш Петр Иваныч из Варшавы письмо за письмом-с! А, наконец, и решительное-с. «Не знаю, говорит, чтò и подумать, коханый мой Петрусь (это она по-польски его Петрусем называла), я же без тебя не могу жить, а потому и выезжаю завтрашнего числа к тебе». Ну-с, и в другое время неприятно, знаете, этакую конфету получить, а у них, кроме того, еще бал на другой день в подгородном имении на всю губернию назначен-с. Вот и открылись они Кузьме Тихонычу — вон они, с большими-то усами, по правую руку от них сидят,— так и так, говорят, устрой! И чтò же-с! на другой день идет это бал, кадрели, вальсы, все как следует,— вдруг входит Кузьма Тихоныч, подходит к хозяину и только, знаете, шепнул на ушко: аллё! И представьте себе, никто даже не заметил, как они с Кузьмой Тихонычем в Незнамовку съездили (почтовая станция так называется, верстах в четырех от их имения), как там свое дело сделали и обратно оттуда приехали. И такой это приятный бал был, что долгое время вся губерния о нем говорила! А паненочки с тех пор и след простыл. Сказывали, будто в Незнамовке стакан воды выпила-с. Так вот, сударь, какие в старину люди-то живали! Этакое, можно сказать, особливой важности дело сделалось, а они хоть бы вид подали!

. . . . . .

Таким образом, реальность моих сновидений не может подлежать сомнению. Если я сам лично и никого не обокрал, а тем менее лишил жизни, то, во всяком случае, имею полное основание сказать: я там был, мед-пиво пил, по усам текло... а черт его знает, может быть, и в рот попало!

Итак, продолжаю.

Я умер, но так как смерть моя произошла только во сне, то само собою разумеется, что я мог продолжать видеть и все то, что случилось после смерти моей.

Прокоп мигом очистил мою шкатулку. Там было пропасть всякого рода ценных бумаг на предъявителя, но он оставил только две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, да

и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной с ним губернии (очень он на этот счет щекотлив!) не на что было похоронить. Все остальное запихал он в свои карманы и даже за голенищи сапогов.

Потом Прокоп посетил мой чемодан, и так как нельзя было взять вещей очень громоздких, то украл (кажется, я вправе употребить это выражение?) два батистовых носовых платка. Затем он вскрыл мой дорожный несессер и украл оттуда чайную серебряную ложку.

Исполнивши все это, Прокоп остановился посреди комнаты и некоторое время осовелыми глазами озирался кругом, как бы нечто обдумывая. Но я — я совершенно ясно видел, что у него в голове уже зреет защитительная речь. «Я не украл,— говорил он себе,— я только устранил билеты из места их прежнего нахождения!» Очевидно, он уже заразился петербургским воздухом; он воровал без провинциальной непосредственности, а рассчитывая наперед, какие могут быть у него шансы для оправдания.

Затем он отер украденным платком лицо, позвал номерного... и заплакал!!

Это были до такой степени настоящие слезы, что мне сделалось жутко. Видя, как они текут по его лоснящимся щекам, я чувствовал, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь в какую-то бездонную тьму, в которой не может быть речи ни об улике, ни об отмщении. Здесь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать след какого бы то ни было действия. Забвение — и далее ничего...

Но я ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, мститель моих законных наследников был налицо.

То был номерной Гаврило. Очевидно, он наблюдал в какую-нибудь щель и имел настолько верное понятие насчет ценности Прокоповых слез, что, когда Прокоп, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тело, сказал: «Вот, брат Гаврилушко (прежде он никогда не называл его иначе, как Гаврюшкой), единственный друг был на земле — и тот помер!» — то Гаврило до такой степени иронически взглянул на него, что Прокоп сразу все понял.

Тогда произошел между ними разговор, который неизгладимо напечатлелся в бессмертной душе моей.

— Видел?

— Смотрел-с.

— Однако, брат, ты шельма!

— По нашей части, сударь, без того нельзя-с.

— Вот тебе три серебра!

Прокоп протянул зеленую кредитку; но Гаврило стоял с заложенными за спину руками и не прикасался к подачке.

— Что ж не берешь?

— Как возможно-с!

— Рожна, что ли, тебе нужно? Ну, сказывай!

— А вот как-с. Тысячу рублей деньгами, да из платья, да из белья — это чтобы сейчас. А впоследствии, по смерть мою, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей в месяц... вина ведро-с.

— Да ты очумел?

— Это как вам угодно-с. Угодно — сейчас можно людей скричать-с!

— Стой! мы вот как сделаем. Денег тебе сейчас — сто рублей ..

— Никак невозможно-с.

— Да ты слушай! Денег сейчас тебе сто... ну, двести рублей. Да слушай же, братец, не торопись. Денег сейчас тебе . ну, триста рублей. Потом увезу я тебя к себе в деревню и сделаю над всеми моими имениями вроде как обер-мажордомом... понимаешь?

— А какое будет в деревне положение?

— Жалованья — пятнадцать рублей в месяц. Одежда, пища, вино — это само собой.

Гаврило, однако ж, мялся.

— Сумнительно, сударь,— наконец произнес он,— как бы после обиды от вас не было Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить норовят.

Но я уже видел, что колебания Гаврилы не могут быть продолжительны. Действительно, Прокоп набавил всего полтину в месяц — и торг был заключен Тут же Прокоп вынул из кармана триста рублей, затем вытащил из чемодана две рубашки, все носовые платки, новый сюртук (я только что сделал его у Тедески) и вручил добычу Гаврюшке.

Никогда я так ясно не ощущал, что душа моя бессмертна, и в то же время никогда с такою определенностью не сознавал, до какой степени может быть беспомощною, бессильною моя бессмертная душа!

Я мог реять в эмпиреях, мог с быстротой молнии перелетать через громаднейшие пространства, мог все видеть, все слышать, мог страдать и негодовать, но не мог одного: не мог воспрепятствовать грабежу моих наследственных и благоприобретенных капиталов.

Через час в моем номере уже ходили взад и вперед какие-то неизвестные личности (из них только одна была мне знакома — это поручик Хватов), которые описывали, опечаты-

вали, составляли протоколы, одним словом, принимали так называемые охранительные меры. И никто из них не удивился, что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги да старинная копеечка, которою когда-то благословила дедушку Матвея Иваныча какая-то нищенка. Никому не показалось странным, что у меня нет *ни одного* носового платка. Никому не пришло в голову поинтересоваться, отчего у Прокопа так безобразно оттопырились карманы пиджака. Пришли, понюхали — и ушли. Один Хватов на мгновение как бы удивился.

— Скажите на милость! — воскликнул он, обращаясь к Прокопу,— я ведь, признаться, воображал, что они миллионщики!

— Ну да, держи карман — миллионщики! В прежнее время — это точно: и из помещиков миллионщики бывали! а с тех пор как прошла над нами эта сипация — всем нам одна цена: грош! Конечно, вот кабы дали на концессии разжиться — ну тогда слова нет; да и тут подлец Мерзавский надул!

— Сс...

— Уж так были бедны! так бедны! — лгал, в свою очередь, и Гаврюшка,— как только дотянули! Третьего дня подходят, это, ко мне: Гаврилушка, говорят, дай на два дня три целковых!

Издержки по погребению моего тела принял Прокоп на свой счет и, надо отдать ему справедливость, устроил похороны очень прилично. Прекраснейшие дроги, шесть попов, хор певчих и целый взвод факельщиков, а сзади громаднейший кортеж, в котором приняли участие все находящиеся в Петербурге налицо кадыки. На могиле моей один из кадыков начал говорить, что душа бессмертна, но зарыдал и не кончил. Видя это, отец протоиерей поспешил на выручку.

— Достославный болярин! — произнес он, обращаясь к моему гробу,— не будем много глаголати, но скажем кратко. Что означает сие торжество? сие торжество прискорбное, ибо оно означает, что душа твоя оставила нас, друзей и присных твоих! но сие торжество и радостное, ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила! Она бежала от прогорькия сей юдоли и воспарила в высоты! Днесь вкушает она от трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душе! вкушай пищу благопотребную, вкушай вечно! Мы же, воспоминая о тебе, друже наш, да не постыдимся!

Эти слова были сигналом к отъезду кортежа в ближайшую кухмистерскую, где Прокоп заказал погребальный обед. Ели: щи, приготовленные кухаркой Карнеевой, московских поросят с кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледник

(мороженое). И я имел удовольствие видеть, как во щи капали Прокоповы слезы и нимало не портили их.

По-настоящему на этом месте мне следовало проснуться. Умер, ограблен, погребен — чего ждать еще более? Но после продолжительного пьянственного бдения организм мой требовал не менее же продолжительного освежения сном, а потому сновидения следовали за сновидениями, не прерываясь. И при этом с замечательным упорством продолжали разработывать раз начатую тему ограбления.

Душа моя не могла долее выдерживать зрелища Прокоповой безнаказанности и воспарила. А однажды воспаривши, мой дух совершенно естественно очутился в господской усадьбе при деревне Проплёванной.

На этот раз, впрочем, сонная фантазия не представила мне никаких преувеличений. Перед умственным взором моим действительно стояла моя собственная усадьба, с потемневшими от дождя стенами, с составленными из кусочков стекла окнами, с проржавевшею крышей, с завалившеюся оранжереей, с занесенными снегом в саду дорожками, одним словом, со всеми признаками несомненной опальности, в которую ввергла ее так называемая «катастрофа».

Зимний вечер близится к концу; в окнах усадьбы там и сям мелькает свет. Я незримо пробираюсь в дом и застаю моих присных в гостиной. Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лёлечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да как бы оно сделалось, если бы...

При жизни сестрицы меня ненавидели и в то же время любили. Как было им не ненавидеть меня! Я был богат, они — бедны! И чем быстрее я обогащался, тем быстрее росла моя холодность к ним. Сколько раз они умоляли меня (разумеется, каждая с глазу на глаз и по секрету от другой) дозволить им «походить» за мной, а ежели не им, то вот хоть Фофочке или Лёлечке. И я всякий раз с беспримерною в семейных летописях черствостью отказывался. Мало того: я не просто отказывался, но и язвил при этом. Еще недавно, перед самым отъездом моим в последний раз в Петербург, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мне из Ветлуги и уговаривала довериться ей.

— Не ровён час, братец,— говорила она,— и занеможется вам, и другое что случится — все лучше, как родной человек подле! Принять, подать...

— Вот, сестра Марья тоже просится...

Я сказал это нарочно, ибо знал, что одно упоминовение

имени сестрицы Машеньки выведет сестрицу Дашеньку из себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всех парусах. Уж лучше первого встречного наемника, чем Марью Ивановну. Разбойник с большой дороги — и у того сердце мягче, добрее, нежели у Марьи Ивановны. Марья Ивановна! да разве не ясно, как дважды два — четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором!

— Разве примеры-то эти, братец, не бывали?!

Тем не менее я остался глух ко всем просьбам и предложениям и зато имел удовольствие видеть, какая глубокая ненависть блестела в глазах обеих сестриц, когда они прощались со мной, отправляясь обратно в Ветлугу.

Но в то же время они не могли и не любить меня. Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать, как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его. Но, увы! мотив этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидит, а судьбу, разлучающую ее с ним. Напрасно старается она забыть о сале, напрасно отворачивается от него, начинает замывать лапкой мордочку, ловить зубами блох и проч. Сало такая вещь, не любить которую невозможно. И вот она принимается любить его. Любить — и в то же время ненавидеть...

А разве я не был именно таким куском сала для моих сестриц?

Они до того любили меня, что ради меня даже друг друга возненавидели. Не существовало на свете той клеветы, того подозрения, о которых не было бы заявлено в наших интимных семейных беседах. И Фофочка и Лёлечка — все переплелось, перепуталось в этой бесконечной сети любвей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. «И лег и встал», «по́ходя ворует», «грабит», «добро из дому тащит» — таков был созданный временем семейный наш лексикон, и ежели этот бессмысленный винегрет всевозможных противоречий, уверток и оговорок мог казаться для постороннего человека забавным, то жить в нем, играть в нем деятельную роль — было просто нестерпимо.

— И что вы грызетесь! — говорил я им иногда под добрую руку,— каждой из вас по двугривенному дать — за глаза довольно, а вы вот думаете миллион после меня найти и добром поделить не хотите: все как бы одной захапать!

— Это не я, братец, это сестрица Даша! Это она завистлива; а мне что! Я и своим предовольна-довольна! — оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

— Это не я, братец, это сестрица Маша! мне что! Это она

завистлива, а я и своим предовольна-довольна! — в свою очередь, оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.

И таким образом, в взаимных поклёпах шло время, покуда мои миллионы не очутились в руках Прокопа.

Итак, сестрицы сидели в гостиной усадьбы Проплёванной и толковали. Взаимное горе соединило их, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живее. Для каждой каждая представлялась единственною причиной обманутых надежд и случившегося разорения. Если бы не Машенькины интриги — братец наверное отказал бы свой миллион Дашеньке, и наоборот. Хотя же усадьба Проплёванная и принадлежала им несомненно, но большого утешения в этом они не видели. Во-первых, трудно поделить землю: кому отдать просто худородную землю, кому — болота и пески? Во-вторых, дом: неминучее дело продать его за бесценок на слом. Отдать Машеньке — будет протестовать Дашенька; отдать Дашеньке — будет протестовать Машенька. Кончится тем, что придется выписать из Петербурга адвоката, который и присудит себе Проплёванную за труды. Следовательно, в будущем виделись только ссоры, утучнение адвоката и бесконечное, безвыходное галдение. И куда делся этот миллион! Вот кабы он был налицо, так тогда, точно, поделить было бы не трудно! Вот вам, Марья Ивановна, пятьсот тысяч, а вот вам, Дарья Ивановна, пятьсот тысяч. Это была такая светлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабывали даже о взаимной вражде своей.

— Сам! сам перед отъездом в Петербург говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! — восклицает сестрица Марья Ивановна и от волнения даже вскакивает с места и грозится куда-то в пространство кулаком.

— Сама собственными ушами слышала, как говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! — вторит с невольным увлечением сестрица Дарья Ивановна.

Фофочка, Лёлечка, Нисочка, Аннинька пожимают плечиками и, шепелявя на институтский манер, произносят:

— Это ужасно! Это уж бог знает что!

— И куда этот миллион девался!

— Точно в прорву какую этот миллион провалился!

— То есть руку на отсеченье отдаю, что Прокопка-мерзавец его украл!

— Он, он, он! Кому другому украсть, как не ему, мерзавцу!

— Сказывают, наш-то пьяница так и не расставался с ним в последнее время! Куда наш пропоец идет — глядишь, и подлец за ним следом!

— А я так слышала: еще где до свету, добрые люди от за-

утрени возвращаются, а они уж в трактир пьянствовать бегут! Вот и допьянствовался, голубчик!

— У нашего-то, говорят, даже глаза напоследок от пьянства остановились!

— Как не остановиться! с утра до вечера водку жрал! Тут хоть железный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мне делается так жаль, так жаль моих бедных сестриц! Правда, что они не совсем-то вежливо обо мне отзываются, но ведь и я с ними поступил... ах, как я поступил! Шутка сказать — миллион! Чье сердце не содрогнется при этом слове! И как удачно этот Прокоп дело обделал! Ни малейшего усложнения! Ни взлома, ни слово-охотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, как на подложном завещании, и потом стала бы этим завещанием его же, Прокопа, всю жизнь шпиговать! Ничего! Взял, украл — и был таков!

Но часы бьют одиннадцать, и сестрицы расходятся по углам. Тем не менее сон долгое время не смежает их глаз; как тени, бродят они, каждая в своем углу, и всё мечтают, всё мечтают.

— Уж кабы я на месте Прокопки-подлеца была,— мечтает сестрица Марья Ивановна,— уж, кажется, так бы... так бы! Ну, вот ни с эстолько этой Дашке-паскуде не оставила бы!

Сестрица отмеривает на мизинце самую крохотную частицу и как-то так загадочно улыбается, что нельзя даже определить, что в этой улыбке играет главную роль: блаженство или злорадство.

— Уж кабы я на месте подлеца Прокопки была,— с своей стороны, мечтает сестрица Дарья Ивановна,— уж, кажется, так бы... так бы! Ну, вот ни с эстолько эта Машка-паскуда от меня бы не увидела!

И тоже отмеривает крохотную частицу на мизинце, и тоже улыбается загадочною блаженно-злорадною улыбкой...

Минутное сожаление, которое я только что почувствовал было к сестрицам, сменяется негодованием. Мне думается: если несомненно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Разве кража, совершенная «кровными», имеет какой-нибудь особенный вкус против кражи, совершенной посторонними?

И в уме моем невольно возникает вопрос: что могло бы случиться, если б мой миллион был устранен из своего первоначального помещения не Прокопом, а, например, сестрицей Машей?

Во-первых, для меня или, лучше сказать, для моего тела — последствия были бы самые скверные.

Хотя я и знаю, что Прокоп проедает свое последнее выкупное свидетельство, но покуда он еще не проел его, он сохраняет все внешние признаки человека достаточного, живущего в свое удовольствие. Следовательно, обокравши меня, он, по крайней мере, имел полную возможность дать полный простор чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Он *мог* нанять прекраснейшие дроги для моего гроба, *мог* устроить для меня погребение с шестью попами и обедом у кухмистера. И если б выискался вольнодумец, который сказал: вот как свободно может человек распоряжаться награбленными деньгами! — Прокоп мог бы, в виде опровержения, вынуть из кармана *свое собственное* выкупное свидетельство и сунуть его вольнодумцу под нос: вот оно!

Напротив того, ограбь меня сестрица Маша — о великолепии, сопровождавшем мое погребение, не могло бы быть и помину. Будучи состояния бедного и погребая брата, оставившего после себя только старинную копеечку да две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, она, для того только, *чтобы не обличить саму себя,* обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребению до последней крайности. Прощай попы, прощай факельщики, прощай великолепный кортеж кадыков! Кто знает, не было ли бы мое тело в таком случае погребено где-нибудь на острове Голодае? И имела ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякого рода ощущения, как она делает это теперь, когда тело мое, по милости Прокопа, погребено в 1-м классе Волковского кладбища?

Стало быть, с точки зрения моего тела, еще бабушка надвое сказала, выгоднее ли было бы, если б меня обокрала сестрица Маша, а не Прокоп.

Во-вторых, *для моего капитала* — последствия были бы едва ли менее невыгодны. Обладая *своим собственным* выкупным свидетельством, Прокоп, под его эгидой, имеет полную возможность пустить в ход мои деньги. Он может и у Бореля кредит себе открыть, и около Шнейдерши походить, а пожалуй, чего доброго, и концессию получить. И никто не имеет юридического основания сказать: вот как человек на награбленные деньги кутит! А так как я и сам при жизни любил, чтоб мой капитал имел обращение постоянное и быстрое, то душа моя может только радоваться, что в руках Прокопа он не прекращает своего течения, не делается мертвым.

Напротив того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты от всех взоров, потому что всякому слишком хорошо известно, что собственно у нее нет

даже медного гроша за душой. Но скрыть — этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешние свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши, с бдительностью аргуса, следили бы за каждым ее шагом. Купила Маша фунт икры — сейчас Даша: а Машка-воровка нынче уж икру походя ест! Сшила Маша Нисочке ситцевое платьице — сейчас Даша: а видели вы, как воровка-то наша принцессу свою вырядила?! Чем могло бы кончиться это ужасное преследование? А вот чем: в одно прекрасное утро, убедясь, что украденный капитал принес ей только терзания, Маша с отчаянья бросила бы его в отхожее место... Каково было бы смотреть на это душе моей!

Стало быть, как ни кинь, а выходит, что даже лучше, что меня обокрал Прокоп, а не сестрицы.

Но в ту минуту, когда я пришел к этому заключению, должно быть, я вновь перевернулся на другой бок, потому что сонная моя фантазия вдруг оставила родные сени и перенесла меня, по малой мере, верст за пятьсот от деревни Проплёванной.

Я очутился в усадьбе Прокопа. Он сидел у себя в кабинете; перед ним, в позе более нежели развязной, стоял Гаврюшка.

Прокоп постарел, поседел и осунулся. Он глядел исподлобья, но когда, по временам, вскидывал глаза, то от них исходил какой-то хищный, фальшивый блеск. Что-то среднее между «убью!» и «боюсь!» — виделось в этих глазах.

Очевидно было, что устранение моих денег из первоначального их помещения не прошло ему даром и что в его жизнь проникло новое начало, дотоле совершенно ей чуждое. Это начало — всегдашнее, никогда не оставляющее человека, совершившего рискованное предприятие по присвоению чужой собственности, опасение, что вот-вот сейчас все кончится, соединенное с чувством унизительнейшей зависимости вот от этого самого Гаврюшки, который в эту минуту в такой нахальной позе стоял перед ним.

И действительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтоб понять всю горечь Прокопова существования. Правда, Гаврюшка еще не сидел, а стоял перед Прокопом, но по отставленной вперед ноге, по развязно заложенным между петлями сюртука пальцам руки, по осовелым глазам, которыми он с наглейшею самоуверенностью озирался кругом, можно было догадываться, что вот-вот он сейчас возьмет да и сядет.

— На что ж это теперича похоже-с! — докладывал Гаврюшка,— я ему говорю: предоставь мне Аннушку, а он, вместо того чтоб угождение сделать...

— Да пойми ты, ради Христа! разве могу я его заставить? такие ли теперь порядки у нас? Вот кабы лет пятнадцать долой — ну, тогда точно! Разве жалко мне Аннушки-то?

— Это как вам угодно-с. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите... А только доложу вам, что ежели, паче чаянья, и дальше у нас так пойдет — большие у нас будут с вами нелады!

— Да опомнись ты! чего тебе от меня еще нужно! Сколько ты денег высосал! сколько винища одного вылакал! На-тко с чем еще пристал: Аннушку ему предоставь! Ну, ты умный человек! ну, скажи же ты мне, как я могу его принудить уступить тебе Аннушку? Умный ли ты человек или нет?

— Опять-таки, это как вам угодно. А я, с своей стороны, полагаю так: вместе похищение сделали — вместе, значит, и отвечать будем.

— Вот видишь ли, как ты со мной говоришь! Ну, как ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящий человек был — ну, смел ли бы ты со мной так говорить! Где у тебя рука?

— Где же рука-с! при мне-с!

— То-то вот «при мне-с»! Разве так отвечают? Разве смел бы ты мне таким родом ответить, кабы ты человек был! «При мне-с»! А я вот тебе, свинье, снисхожу! Зачем снисхожу? Оказал ты мне услугу — я помню это и снисхожу! Вот и ты, кабы ты был человек, а не свинья, тоже бы понимал!

— А я, напротив того, так понимаю, что с моей стороны к вам снисхождениев не в пример больше было. И коли ежели из нас кто свинья, так скорее всего вы против меня свиньей себя показали!

Я ожидал, что Прокоп раздерет на себе ризы и, во всяком случае, хоть одну скулу, да своротит Гаврюшке на сторону. Но он только зарычал, и притом так деликатно, что лишь бессмертная душа моя могла слышать это рычание.

— Для тебя ли, подлец, мало делается! — говорил он, делая неимоверные усилия, чтоб сообщить своему голосу возможно мягкие тоны,— мало ли тебе в прорву-то пихали! Вспомни... искариот ты этакий! Заставил ли я тебя, каналья ты эдакая, когда-нибудь хоть пальцем об палец ударить? И за что только тиранишь ты меня, бесчувственный ты скот?

— Это как вам угодно-с. Только я так полагаю, что, ежели мы вместе похищение делали, так вместе, значит, следует нам и линию эту вести. А то какой же мне теперича, значит, расчет! Вот вы, сударь, на диване теперича сидите — а я стою-с! Или опять: вы за столом кушаете, а я, как какой-нибудь холоп,— в застольной-с... На что похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что начал даже кричать.

А так как он с утра был пьян (очевидно, с самого дня моего погребения он ни одной минуты не был трезв), то к крику присоединились слезы.

Прокоп некоторое время смотрел на него с выпученными глазами, но наконец-таки обнял всю необъятность Гаврюшкиных претензий и не выдержал, то есть с поднятыми дланями устремился к негодяю.

— Вон... курицын сын! — гремел он, не помня себя.

— Это как вам угодно-с. Только какое вы слово теперича мне сказали... ах, какое это слово! Ну, да и ответите же вы передо мной за это ваше слово!

Гаврюшка с шиком повернулся на каблуках и не торопясь вышел из кабинета. А Прокоп продолжал стоять на месте, ошеломленный и уничтоженный. Наконец он, однако ж, очнулся и быстро зашагал по комнате.

— Каждый день так! каждый день! — слышалось мне его невнятное бормотание.

Прокоп был несчастлив. Он украл миллион и не только не получил от того утешения, но убедился самым наглядным образом, что совершил кражу исключительно в пользу Гаврюшки. Он не мог ни одной копейки из этого капитала употребить производительно, потому что Гаврюшка был всегда тут и, при первой попытке Прокопа что-нибудь приобрести, замечал: а ведь мы вместе деньги-то воровали. Стало быть, положение Прокопа было приблизительно такое же, как и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, если б не Прокоп, а она украла мои деньги. Везде и всегда Гаврюшка! Он болтал без умолку, и если еще не выболтал тайны во всем ее составе, то о многом уже дал подозревать. Самое присутствие Гаврюшки в имении, льготы, которыми он пользовался, нахальное его поведение — все это уже представляло богатую пищу для догадок. Дворовые уже шепчутся между собою, а шепот этих людей — первый знак, что нечто должно случиться. Прокоп видел это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что из его положения только два выхода: или самоубийство, или...

И Прокоп все шагал и шагал, как будто усиливаясь прогнать ехидную мысль.

— И кто же бы на моем месте не сделал этого! — бормотал он,— кто бы свое упустил! Хоть бы эта самая Машка или Дашка — ну, разве они не воспользовались бы? А ведь они, по настоящему-то, даже и сказать не могут, зачем им деньги нужны! Вот мне, например... ну, я... что бы, например... ну, пятьдесят бы стипендий пожертвовал... Театр там «Буфф», что ли... тьфу! А им на что? Так, жадность одна!

Но ехидная мысль: или самоубийство, или..., раз забравшись в голову, наступает все больше и больше. Напрасно он хочет освободиться от нее при помощи рассуждений о том, какое можно бы сделать полезное употребление из украденного капитала: она тут, она жжет и преследует его.

— Позвать Андрея! — наконец кричит он в переднюю.

Андрей — старый дядька Прокопа, в настоящее время исправляющий у него должность мажордома. Это старик добрейший, неспособный муху обидеть, но за всем тем Прокоп очень хорошо знает, что ради его и его интересов Андрей готов даже на злодеяние.

— Надо нам от этого Гаврюшки освободиться! — обращается Прокоп к старому дядьке.

— И что за причина такая! — вздыхает на это Андрей.

— Ну, брат, причина там или не причина, а надо нам от него освободиться!

— В шею бы его, сударь!

— Кабы можно было в шею, разве стал бы я с тобой, дураком, разговаривать!

Наступает несколько минут молчания. Прокоп ходит по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхает.

— Надо его вот так! — наконец произносит Прокоп, делая правою рукой жест, как будто прищелкивает большим пальцем блоху.

— Да ведь и то, сударь, с утра до вечера винище трескает, а все лопнуть не может! — объясняет Андрей и, по обыкновению своему, прибавляет: — И что за причина такая — понять нельзя!

Опять молчание.

— Дурману бы...— произносит Прокоп, и какими-то такими бесстрастными глазами смотрит на Андрея, что мне становится страшно.

Я вижу, что преступление, совершенное в минуту моей смерти, не должно остаться бесследным. Теперь уже идет дело о другом, более тяжелом преступлении, и кто знает, быть может, невдолге этот самый Андрей... Не потребуется ли устранить и его, как свидетеля и участника совершенных злодеяний? А там Кузьму, Ивана, Петра? Душа моя с негодованием отвращается от этого зрелища и спешит оставить кабинет Прокопа, чтобы направить полет свой в людскую.

Там идет говор и гомон. Дворовые хлебают щи; Гаврюшка, совсем уже пьяный, сидит между ними и безобразничает.

— Мне бы, по-настоящему, совсем не с вами, свиньями, сидеть надо! — говорит он.

— Что говорить! И то тебя барин ужо за стол с собой посадит! — поддразнивает его кто-то из дворовых.

— А то не посадит! Посадит, коли прикажу! Барин! велик твой барин! Он барин, а я против него слово имею — вот что!

— Какое же такое слово, Гаврилушка? И что такое ты против барина можешь, коли он тебя сию минуту и всячески наказать, и даже в Сибирь сослать может?

— А такое слово... вор!!

Речь эта несколько озадачивает дворовых, но так как крепостное право уж уничтожено, то смущение, произведенное словом «вор», проходит довольно быстро. К Гаврюшке начинают приставать, требовать объяснений. Дальше, дальше...

И вот, в тот самый вечер, камердинер Семен, получивши от Прокопа затрещину за то, что, снимая с него на ночь сапоги, нечаянно тронул баринову мозоль, не только не стерпел, по обыкновению, нанесенного ему оскорбления, но прямо так-таки и выпалил Прокопу в лицо:

— От вора да еще плюхи получать — это уж не порядки!

При такой неожиданной апострофе Прокоп до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова в ответ.

Вся его жизнь прошла перед ним в эту ночь. Вспомнилось и детство, и служба в гусарском полку, и сватовство, и рождение первого ребенка... Но все это проходило перед его умственным взором как-то смутно, как бы для того только, чтобы составить горький контраст тому безвыходному положению, ужас которого он в настоящую минуту испытывал на себе. Одна только мысль была совершенно ясна: зачем я это сделал? но и она была до того очевидно бесплодна, что останавливаться на ней значило только бесполезно мучить себя. Но бывают в жизни минуты, когда только такие мысли и преследуют, которые имеют привилегию вгонять человека в пот. Другая мысль, составлявшая неизбежное продолжение первой: вот сейчас.. сейчас, сию минуту... вот! — была до того мучительна, что Прокоп стремительно вскакивал с постели и начинал бродить взад и вперед по спальной.

— Всех! — бормотал он,— всех!

Однако ж нелепость этой угрозы была до того очевидна, что он едва успевал вымолвить ее, как тут же начинал скрипеть зубами и с каким-то бессильным отчаянием сучить руками.

— Всем! — продолжал он, вдруг изменяя направление своих мыслей, — всем с завтрашнего же дня двойное жалованье положу! А уж Гаврюшку-подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкий ты, неблагодарный ты человек!

Прокоп шагал и скрипел зубами. Он злобствовал тем бо-

лее, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположений. «Разве Гаврюшка один! — подсказывала эта мысль.— Нет, он был один только до тех пор, пока немотствовали его уста. Теперь, куда ни оглянись,— везде Гаврюшки! Сегодня их двадцать; завтра — будет сто, тысяча. Да опять и то: за что им платить? за что? Разве они что-нибудь заслужили? Разве они видели, помогли, скрыли? Ну, Гаврюшка... это так! Он видел, и все такое... Он был вправе требовать, чтоб ему платили! А то, на-тко сбоку припеку, нашлась целая орава охотников — и всем плати!»

— Да будь я анафема проклят, если хоть копейку вы от меня увидите... м-м-мерзавцы! — задыхается Прокоп.

И он шагает, шагает без сна до тех пор, пока розоперстая аврора не освещает спальни лучами своими.

Утром он узнает, что Гаврюшка исчез неизвестно куда...

А сестрица Марья Ивановна уж успела тем временем кой-что пронюхать, и вот, в одно прекрасное утро, Прокопу докладывают, что из города приехал к нему в усадьбу адвокат.

Адвокат — молодой человек самой изящной наружности. Он одет в щегольскую коротенькую визитку; волосы аккуратно расчесаны à la Jésus; [1] лицо чистое, белое, слегка лоснящееся; от каждой части тела пахнет особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная; жест мягкий, изысканный; произношение такое, что вот так и слышится: а хочешь, сейчас по-французски заговорю! Прокоп в первую минуту думает, что это жених, приехавший свататься к старшей его дочери.

— Я приехал к вам,— начинает адвокат,— по одному делу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но... vous savez... [2] вы знаете... наше ремесло... впрочем, au fond [3], что же в этом ремесле постыдного?

Сердце Прокопа болезненно сжимается, но он перемогает себя и прерывает речь своего собеседника вопросом:

— Позвольте... в чем дело-с!

— Итак, приступим к делу. В сущности, это безделица — une misère! И ежели вы будете настолько любезны, чтоб пойти на некоторые уступочки, то безделица эта уладится сама собой... et ma foi! il n'en sera plus question! [4] Итак, приступим. Несколько времени назад, в chambres garnies, содержимых некоторою ревельскою гражданкою Либкнехт, умер один госпо-

[1] как у Христа.
[2] вы знаете.
[3] в сущности.
[4] и, право же, об этом не будет больше речи!

дин, которого молва называла миллионером. Я вам сознаюсь по совести: существование этих миллионов еще не доказано, но в то же время, entre nous soit dit [1], оно *может* быть доказано, и доказано без труда. Итак, в видах упрощения наших переговоров, допустим, что это уж дело доказанное, что миллионы были, что, во всяком случае, они *могли* быть, что, наконец...

— Позвольте-с... умер... миллионы... Не понимаю, при чем же тут я? — все еще храбрится Прокоп.

— Я понимаю, что вам понять не легко, но, в то же время, надеюсь, что если вы будете так добры подарить мне несколько минут внимания, то дело, о котором идет речь, для вас самих будет ясно, как день. Итак, продолжаю. В нумерах некоей Либкнехт умер некоторый миллионер, при котором, в минуту смерти, не было ни родных, ни знакомых — словом, никого из тех близких и дорогих сердцу людей, присутствие которых облегчает человеку переход в лучшую жизнь. Здесь был только один человек, и этот-то один человек, который называл себя другом умиравшего, и закрыл ему глаза...

— Прекрасно-с! это прекрасно-с! Называл себя другом! закрыл глаза! Скажите, какое важное преступление! — все еще бодрил себя Прокоп.

— Покуда преступления, действительно, еще нет. Закрыть глаза другу — это даже похвально. Да и вообще я должен предупредить вас, что я и в дальнейших действиях этого друга не вижу ничего такого... одним словом, непохвального. Я не ригорист, Dieu merci [2]. Я понимаю, что только богу приличествует судить тайные побуждения человеческого сердца, сам же лично смотрю на человеческие действия лишь с точки зрения наносимых ими потерь и ущербов. Конечно, быть может, на суде, когда наступит приличная обстоятельствам минута — я от всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда! — я тоже буду вынужден квалифицировать известные действия известного «друга» присвоенным им в законе именем; но теперь, когда мы говорим с вами, как порядочный человек с порядочным человеком, когда мы находимся в такой обстановке, в которой ничто не говорит о преступлении, когда, наконец, надежда на соглашение еще не покинула меня...

— Ну да! это значит, что вам хочется что-нибудь с меня стянуть — так, что ли?

— «Стянуть» — ce n'est pas le vrai mot [3], но сознаюсь откровенно, что если бы вы пошли на соглашение, я услышал бы

---

[1] между нами говоря.
[2] благодарение богу.
[3] это не то слово.

об этом с большим, с величайшим, можно сказать, удовольствием!

— С кем же на соглашение? с Машкой? с Дашкой?

— В настоящую минуту я еще не нахожу удобным открыть вам, кто в этом деле истец. Вообще, с потерпевшею стороной... Я полагаю, что покамест это и для вас совершенно безразлично.

— Однако, брат, ты фификус! — вдруг произносит Прокоп с какою-то горькою иронией.

Но видно, что краткое введение молодого адвоката уже привело его в то раздраженное состояние, когда человеку, как говорится, ни усидеть, ни устоять нельзя. С судорожным подергиванием во всем организме, с рычанием в груди вскакивает он со стула и начинает обычное маятное движение взад и вперед по комнате. По временам из уст его вылетают легкие ругательства. А молодой человек между тем так ясно, так безмятежно смотрит на него, как будто хочет сказать: а согласись, однако, что в настоящую минуту нет ни одного сустава в целом твоем организме, который бы не болел!

— А знаете ли вы, сударь, русскую пословицу: «С сильным не борись, с богатым не тянись»? — вопрошает наконец Прокоп, останавливаясь перед молодым человеком.

— Помилуйте! я затем и адвокат, чтобы знать все прекраснейшие наши пословицы!

— Ну-с, и что же!

— И за всем тем намерений своих изменить не могу-с. Я отнюдь не скрываю от себя трудностей предстоящей мне задачи; я знаю, что мне придется упорно бороться и многое преодолевать; но — ma foi![1] — я надеюсь! И поверите ли, прежде всего, я надеюсь на вас! Вы сами придете мне на помощь, вы сами снимете с меня часть того бремени, которое я так неохотно взял на себя нести!

— Ну, уж это, кажется... дудки!

— Нет-с, это совсем не так странно, как может показаться с первого взгляда. Во-первых, вам предстоит публичный и — не могу скрыть — очень и очень скандальный процесс. При открытых дверях-с. Во-вторых, вы, конечно, без труда согласитесь понять, что пожертвовать десятками тысяч для вас все-таки выгоднее, нежели рисковать сотнями, а быть может — кто будет так смел, чтобы прозреть в будущее! — и потерей всего вашего состояния!

— «Десятками тысяч!» однако это штука! Ни дай, ни вынеси за что — плати десятки тысяч!

---

[1] клянусь!

— Позвольте, мы, кажется, продолжаем не понимать друг друга. Вы изволите говорить, что платить тут не за что, а я, напротив того, придерживаюсь об этом предмете совершенно противоположного мнения. Поэтому я постараюсь вновь разъяснить вам обстоятельства настоящего дела. Итак, приступим. Несколько времени тому назад, в Петербурге, в Гороховой улице, в chambres garnies, содержимых ревельской гражданкою Либкнехт...

— Да ты видел, что ли, как я украл?

— Pardon!.. Я констатирую, что выражение «украл» никогда не было мною употреблено. Конечно, быть может, в суде... печальная обязанность... но здесь, в этой комнате, я сказал только: несколько времени тому назад, в Петербурге, в Гороховой улице, в chambres garnies...

Любопытно было видеть, с какою милою непринужденностью этот молодой и, по-видимому, даже тщедушный мышонок играл с таким старым и матерым котом, как Прокоп, и заставлял его жаться и дрожать от боли. Наконец Прокоп не выдержал.

— Стой! — зарычал он в неистовстве,— срыву? сколько надобно?

— Помилуйте... срыву! разве я дал повод предполагать?

— Да ты не мямли; сказывай, сколько?

— Ежели так, то, конечно, я буду откровенен. Прежде всего, я охотно допускаю, что исход процесса неизвестен и что, следовательно, надежды на обратное получение миллиона не могут быть названы вполне верными. Поэтому потерпевшая сторона *может* и даже *должна* удовлетвориться возмещением лишь части понесенного ею ущерба. В этих видах, а равно и в видах округления цифр, я полагал бы справедливым и достаточным... ограничить наши требования суммой в сто тысяч рублей.

— На-тко! выкуси!

Прокоп сделал при этом такой малоупотребительный жест, что даже молодой человек, несмотря на врожденную ему готовность, утратил на минуту ясность души и стал готовиться к отъезду.

— Стой! пять тысяч на бедность! Довольно?

Молодой человек обиделся.

— Я решительно замечаю,— сказал он,— что мы не понимаем друг друга. Я допускаю, конечно, что вы можете желать сбавки пяти... ну, десяти процентов с рубля... Но предлагать вознаграждение до того ничтожное, и притом в такой странной форме..,

— Ну, сядем... будем разговаривать. За что же я, по-вашему, вознаграждение-то должен дать?

— Я полагаю, что этот предмет нами уже исчерпан и что насчет его не может быть даже недоразумений. Дело идет вовсе не о *праве* на вознаграждение — это право вне всякого спора,— а лишь о размере его. Я надеюсь, что это наконец ясно.

— Ну, хорошо. Положим. Поддели вы меня — это так. Ходите вы, шатуны, по улицам и примечаете, не сблудил ли кто,— это уж хлеб такой нынче у вас завелся. Я вот тебя в глаза никогда не видал, а ты мной здесь орудуешь. Так дери же, братец, ты с меня по-божески, а не так, как разбойники на больших дорогах грабят! Не все же по семи шкур драть, а ты пожалей! Ну, согласен на десяти тысячах помириться? Сказывай! сейчас и деньги на стол выложу!

Молодого человека слегка передергивает. С минуту он колеблется, но колебание это длится именно не больше одной минуты, и твердость духа окончательно торжествует.

— Извольте,— говорит он,— для вас девяносто тысяч Менее — ей-богу — не в состоянии!

— Да ты говори по совести! Ведь десять тысяч — это какие деньги! Сколько делов на десять тысяч сделать можно? Ведь и Дашке твоей, и Машке — обеим им вместе красная цена грош! Им десяти-то тысяч и не прожить! Куда им! пойми ты меня, ради Христа!

— Я все очень хорошо понимаю-с, но позвольте вам доложить: тут дело идет совсем не о каких-то неизвестных мне Машках или Дашках, а о восстановлении нарушенного права! Вот на что я хотел бы обратить ваше внимание!

— Ну да, и восстановления и упразднения — все это мы знаем! Слыхали. Сами прожекты об упразднениях писывали!

Я не стану описывать дальнейшего разговора. Это был уж не разговор, а какой-то ни с чем не сообразный сумбур, в котором ничего невозможно было разобрать, кроме: «пойми же ты!», да «слыхано ли?», да «держи карман, нашел дурака!» Я должен, впрочем, сознаться, что требования адвоката были довольно умеренны и что под конец он даже уменьшил их до восьмидесяти тысяч. Но Прокоп, как говорится, осатанел: не идет далее десяти тысяч — и баста. И при этом так неосторожно выражается, что так-таки напрямки и говорит:

— Миллион просужу, а тебе, прохвосту, копейки не дам!

С тем адвокат и ушел.

Дальнейшие подробности этого замечательного сновидения представляются мне довольно смутно. Помню, что было

следствие и был суд. Помню, что Прокоп то и дело таскал из копилки деньги. Помню, что сестрица Машенька и сестрица Дашенька, внимая рассказам о безумных затратах Прокопа, вздыхали и облизывались. Наконец, помню и залу суда.

Речи, то пламенные, то язвительные, неслись потоком; присяжные заседатели обливались потом; с Прокоповой женой случилась истерика; Гаврюшка, против всякого чаяния, косneющим языком показывал:

— Ничего этого не было, и никому я этого не говорил. Я человек пьяный, слабый, а что жил я у их благородия в обермажордомах — это конечно, и отказу мне в вине не было — это завсегда могу сказать!

Наконец, формулированы и вопросы для присяжных...

Но какие это были странные вопросы! Именно только во сне могло представиться что-нибудь подобное!

Вопрос первый. Согласно ли с обстоятельствами дела поступил Прокоп, воспользовавшись единоличным своим присутствием при смертных минутах такого-то (имярек), дабы устранить из первоначального помещения принадлежавшие последнему ценности на сумму, приблизительно, в миллион рублей серебром?

Вопрос второй. Не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, являющиеся в настоящем деле в качестве истиц, если бы были в таких же обстоятельствах, то есть единолично присутствовали при смертных минутах миллионовладельца и имели легкую возможность секретно устранить из первоначального помещения принадлежавший ему миллион?

Душа моя так и ахнула.

Через минуту ответы уж были готовы (до такой степени присяжные заседатели были тверды в вере!).

На *первый вопрос:* да; строго согласно с обстоятельствами дела.

На *второй вопрос:* да, поступили бы, и притом не оставя даже двух акций Рыбинско-Бологовской железной дороги.

Один из заседателей простер свое усердие до того, что, не удовольствовавшись сим кратким исповеданием своих убеждений, зычным голосом воскликнул:

— Свое — да упускать! этак и по миру скоро пойдешь!

Прокоп сиял; со всех сторон его обнимали, нюхали и осыпали поцелуями.

Один молодой адвокат глядел как-то томно и был как бы обескуражен; хотя же я и слышал, как он сквозь зубы процедил:

— Ну, нет, messieurs, еще роббер не весь сыгран! О, нет! сыграна еще только первая партия!

Но внутренно он, конечно, скорбел, что не примирился с Прокопом на десяти тысячах.

Я проснулся с отяжелевшею, почти разбитою головой. Тем не менее хитросплетения недавнего сна представлялись мне с такою ясностью, как будто это была самая яркая, самая несомненная действительность. Я даже бросился искать мой миллион и, нашедши в шкатулке последнее мое выкупное свидетельство, обрадовался ему, как родному отцу.

— Однако-таки оставил! — вырвалось у меня из груди.

Но через минуту я опять вспомнил о миллионе и, продолжая бредить, так сказать, наяву, предался размышлениям самого горького свойства.

«Как жить? — думалось мне,— как оградить свою собственность? как обеспечить права присных и кровных? «Согласно с обстоятельствами дела»! — шутка сказать! Разве можно украсть не согласно с обстоятельствами дела? Нет, надо бежать! Непременно, куда-нибудь скрыться, затеряться, забыть! Не денег жалко — нет! Деньги — дело наживное! Вот выйду из номера, стану играть оставшимися двумя акциями Рыбинско-Бологовской железной дороги — и доиграюсь опять до миллиона! Не денег — нет! — жаль этого дорогого принципа собственности, этого, так сказать, палладиума... Но куда бежать? в провинцию? Но там Петр Иваныч Дракин, Сергей Васильич Хлобыстовский... Ведь они уже притаились... они уже стерегут! Я вижу отсюда, как они стерегут!!»

И я готов был окончательно расчувствоваться, как в комнату мою, словно буря, влетел Прокоп.

— Обложили! — кричал он неистово,— обложили!

— Кого? когда? каким образом?

— Сами себя! на этих днях! кругом... Ну, то есть, просто вплотную!

Но об этом в следующей главе.

V

Очевидно, речь шла или о подоходном налоге, или о всесословной рекрутской повинности. А может быть, и о том и о другом разом.

Прокоп был вне себя; он, как говорится, и рвал и метал. Я всегда знал, что он ругатель по природе, но и за всем тем

был изумлен. Таких ругательств, какие в эту минуту расточали уста его, я, признаюсь, даже в соединенном рязанско-тамбовско-саратовско-воронежском клубе не слыхивал.

— Успокойся, душа моя! — умолял я его,— в чем дело?

— Да ты, с маймистами-то пьянствуя, видно, не слыхал, что на свете делается! Сами себя, любезный друг, обкладываем! Сами в петлю лезем! Солдатчину на детей своих накликаем! новые налоги выдумываем! Нет, ты мне скажи — глупость-то какая!

— Напротив того, я вижу тут прекраснейший порыв чувств!

— Фофан ты — вот что! Везде-то у вас порыв чувств, все-то вы свысока невежничаете, а коли поближе на вас посмотреть — именно только глупость одна! Ну, где же это видано, чтобы человек тосковал о том, что с него денег не берут или в солдаты его не отдают!

— Однако, согласись, что нельзя же допускать такую неравномерность! ведь берут же деньги с *других!* отдают же *других* в солдаты!

— Да ведь *других*-то и порют! Порют ведь, милый ты человек! Так отчего же у тебя не явится порыва чувств попросить, чтобы и тебя заодно пороли?!

Признаюсь откровенно, вопрос этот был для меня не нов; но я как-то всегда уклонялся от его разрешения. И деньги, покуда их еще не требуют, я готов отдать с удовольствием, и в солдаты, покуда еще не зовут на службу, идти готов; но как только зайдет вопрос о всесословных поронцах (хотя бы даже только в теории), инстинктивно как-то стараешься замять его. Не лежит сердце к этому вопросу — да и полно! «Ну, там как-нибудь», или: «Будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации» — вот фразы, которые обыкновенно произносят уста мои в подобных случаях, и хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не разъясняют, но, может быть, именно потому-то и говорю их, что действительное разъяснение этого предмета только завело бы меня в безвыходный лабиринт.

Эта боязнь взглянуть вопросу прямо в лицо всегда угнетала меня. И я тем более не могу простить ее себе, что в душе и даже на бумаге я один из самых горячих поклонников равенства. Уж если драть, так драть всех поголовно и неупустительно — нельзя сказать, чтоб я не понимал этого. Но я не имею настолько твердости в характере, чтоб быть совершенно последовательным, то есть просить и даже требовать для самого себя права быть поротым. Иногда я иду даже далее идеи простого равенства перед драньем и формулирую свою мысль так: уж если не драть одного, то не будет ли еще подходящее не драть никого? Кажется, что̀ может быть радикальнее! Но

и тут опять овладевает мною малодушие... Да как это никого не драть? Да ведь эдак, пожалуй, мы и бога-то позабудем! И кончается дело тем, что я порешаю с моими сомнениями при помощи заранее проштудированных фраз: ну, там как-нибудь... будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации... с одной стороны, оно, конечно, и т. д.

Так точно поступил я и теперь.

— Послушай, душа моя,— сказал я Прокопу,— какая у тебя, однако ж, странная манера! Ты всегда поставишь вопрос на такую почву, на которой просто всякий обмен мыслей делается невозможным! Ведь это нельзя!

И, говоря таким образом, я постепенно так разгорячился, что даже возвысил голос и несколько раз сряду в упор Прокопу повторил:

— Это нельзя! нет, это нельзя!

— Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай прямо: отчего ты не просишь, чтобы тебя, по примеру «других», пороли? Ну, говори! не виляй!

— Послушай, если я еще в сороковых годах написал «Маланью», то, мне кажется, этого достаточно... Наконец, я безвозмездно отдал крестьянам четыре десятины очень хорошей земли... Понимаешь ли — *безвозмездно!!*

— Ну, а я «Маланьи» не писал и никакой земли безвозмездно не отдавал, а потому, как оно там — не знаю. И поронцы похулить не хочу, потому что без этого тоже нельзя Сечь — как не сечь; сечь нужно! Да сам-то я, друг ты мой любезный, поротым быть не желаю!

— Но я не понимаю, какое же может быть отношение между поронцами, как ты их называешь, и, например, всесословною рекрутскою повинностью?

— Где тебе понять! У тебя ведь порыв чувств! А вот как у меня два сына растут, так я понимаю!

Прокоп был в таком волнении, в каком я никогда не видал его. Он был бледен и, по-видимому, совершенно искренно расстроен.

— Я это дело так понимаю,— продолжал он,— вот как! Я сам, брат, два года взводом командовал — меня порывами-то не удивишь! Бывало, подойдешь к солдатику: ты что, такой-сякой, рот-то разинул!.. Это сыну-то моему! А! хорош сюрприз!

— Но позволь... ведь успехи цивилизации...

— Какие тут успехи цивилизации, тут убивства будут — вот что! «Что ты рот-то разинул!» — ах, черт подери! Ты понимаешь ли, как в наше время на это благородные люди отвечали!

Действительно, я вспомнил, что когда я еще был в школе, то какой-то генерал обозвал меня «щенком» за то только, что я зазевался, идя по улице, и не вытянулся перед ним во фронт. И должен сознаться, что при одном воспоминании об этом эпизоде моей жизни мне сделалось крайне неловко.

— Или опять этот подоходный налог! — продолжал Прокоп,— с чего только бесятся! с жиру, что ли? Держи карман — жирны!

При этих словах я вдруг вспомнил о своем миллионе и невольным образом начал рассчитывать, сколько должно сойти с меня налогу, если восторжествует система просто подоходная, и сколько — ежели восторжествует система подоходно-поразрядная.

— А ведь знаешь ли,— сказал я,— я сегодня во сне видел, что у меня миллион!

— Ну, разве что во сне...

— А если бы, однако ж, у тебя был миллион — что бы тогда?

— Ну, тогда, пожалуй, и подоходный и поразрядный — катай на все!

— Однако непоследователен же ты, душа моя!

— Да пойми же, ради Христа, ведь тогда...

Прокоп, по-видимому, хотел объяснить, что из дарового миллиона, конечно, ничего не стоит уступить сотню-другую тысяч; но вдруг опомнился и уставился на меня глазами.

— Фу, черт! — воскликнул он,— да, никак, ты еще не очнулся! о каких это ты миллионах разговариваешь?

— Нет, ты не виляй! ты ответь прямо: ежели бы...

— «Ежели бы»! Мало чего, ежели бы! Вот я каждую ночь в конце июня да в конце декабря во сне вижу, что двести тысяч выиграл, только толку-то из этих снов нет!

— А ну, как выиграешь?

— Кабы выиграть! Уж таких бы мы делов с тобою наделали!

— Я бы сейчас у Донона текущий счет открыл!

— Донон — это само собой. Я бы и в Париж скатал — это тоже само собой. Ну, а и кроме того... Вот у меня молотилка уж другой год не молотит... а там, говорят, еще жнеи да сеноворошилки какие-то есть! Это, брат, посерьезнее, чем у Донона текущий счет открыть.

— Винокуренный завод хорошо бы устроить. Про костяное удобрение тоже пишут...

— Уж как бы не хорошо! Ты пойми, ведь теперь хоть бы у меня земля... ну, какая это земля? Ведь она холодная! Ну,

может ли холодная земля какой-нибудь урожай давать? Ну, а тогда бы...

Разговор как-то вдруг смяк, и мы некоторое время молча похаживали по комнате, сладко вздыхая и еще того слаще соображая и вычисляя.

— И отчего это у нас ничего не идет! — вдруг как-то нечаянно сорвалось у меня с языка,— машин накупим — не действуют; удобрения накопим видимо-невидимо — не родит земля, да и баста! Знаешь что? Я так думаю, чем машины-то покупать, лучше прямо у Донона текущий счет открыть — да и покончить на этом!

— А что ты думаешь, ведь оно, пожалуй...

Сказавши это, Прокоп опять взглянул на меня изумленными глазами, словно сейчас пробудился от сна.

— Слушай! не мути ты меня, Христа ради! — сказал он,— ведь мы уж и так наяву бредим.

— Отчего же и не побредить, душа моя! ведь прежнего не воротишь, а если не воротишь, так надо же что-нибудь на место его вообразить!

— Тоска! Тоски мы своей избыть не можем — вот что!

Я знал, что когда Прокоп заводит разговор о тоске, то, в переводе на рязанско-тамбовско-саратовский жаргон, это значит: водки и закусить! — и потому поспешил распорядиться. Через минуту мы дружелюбнейшим образом расхаживали по комнате и постепенно закусывали.

— Не понимаю я одного,— говорил я,— как ты не признаёшь возможности внезапного порыва чувств!

— Кто? я-то не признаю? я, брат, даже очень хорошо понимаю, что с самой этой эмансипации мы ничем другим и не занимаемся, кроме как внезапными порывами чувств!

— Ну видишь ли! Сидим мы себе да помалчиваем; другой со стороны посмотрит: «Вот, скажет, бесчувственные!» А мы вдруг возьмем да и вскочим: бери всё!

— Нам, значит, чтоб ничего!

— А зачем нам? Жить бы только припеваючи да не знать горя-заботушки — чего еще нужно?

Начался разговор о сладостях беспечального жития, без крепостного права, но с подоходными и поразрядными налогами, с всесословною рекрутскою повинностью и т. д. Малопомалу перспективы, которые при этом представились, до того развеселили нас, что мы долгое время стояли друг против друга и хохотали. Однако ж, постепенно, серьезное направление мыслей вновь одержало верх над смешливостью.

— А знаешь ли, что мне пришло в голову,— вдруг сказал я,— ведь, может быть, это они неспроста?

— Что такое неспроста?

— А наши-то обкладывают себя. Вот теперь они себя обкладывают, а потом и начнут... и начнут забирать!

— Да что забирать-то?

— Как что! чудак ты! Да просто возьмут да и скажут: мы, скажут, сделали удовольствие, обложили себя, что называется, сплотную, а теперь, дескать, и вы удовольствие сделайте!

— Держи карман!

— Нет, да ты вникни! ведь это дело очень и очень статочное! Возьми хоть Петра Иваныча Дракина — ну, станет ли он себя обкладывать, коли нет у него про запас загвоздки какой-нибудь?!

— Та и есть загвоздка, что будет твой Петр Иваныч денежки платить, а сыну его будут «что ты рот-то разинул?» говорить.

— Однако ж деньги-то ведь не свой брат! Коли серьезно-то отдавать их придется... ведь это ой-ой-ой!

— Ничего! обойдемся! А коли тошно придется — пардону попросим!

— Нет! как хочешь, а что-нибудь тут есть! Петр Иваныч — он прозорлив!

Но Прокоп, который только что перед тем запихал себе в рот огромный кусок колбасы, сомнительно покачивал головой.

— Вот разве что,— наконец произнес он,— может, новых местов по этому случаю много откроется. Вот это — так! против этого — не спорю!

— Зачем же тут места?

— А как же. Наверное, пойдут счеты да отчеты, складки да раскладки, наблюдения, изыскания... Одних доносов сколько будет!

— Гм... а что ты думаешь! ведь, пожалуй, это и так!

— Верно говорю. Сначала вот земство тоже бранили, а теперича сколько через это самое земство людей счастливыми себя почитают!

— Что же! если даже только места — ведь и это, брат, штука не плохая!

— Что говорить. И я в раскладчики пойду, коли доброе жалованье положат!

— А я доносы буду разбирать, коли тысячи две в год дадут! Стало быть, черт-то и не так страшен, как его малюют! Вот ты сюда прибежал — чуть посуду сгоряча не перебил, а посмотрел да поглядел — ан даже выгоду для себя заприметил!

Прокоп молча перебирал пальцами, как будто нечто рассчитывал.

— С тебя что возьмут? — продолжал я,— ну, триста, четы-

реста рублей, а жалованья-то две-три тысячи положат! А *им* ведь никогда никакого жалованья не положат, а всё будут брать! всё брать!

— И так-то, брат, будут брать, что только держись! Это верно.

— Ну, вот видишь ли!

Беседуя таким образом, мы совершенно шутя выпили графинчик и, настроив себя на чувствительный тон, пустились в разговоры о меньшей братии.

— Меньшая братия — это, брат, первое дело! — говорил я.

— Меньшая братия — это, брат, штука! — вторил Прокоп.

И — странное дело! — ни мне, ни Прокопу не было совестно. Напротив того, я чувствовал, как постепенно проходила моя головная боль и как мысли мои всё больше и больше яснели. Что же касается до Прокопа, то лицо его, под конец беседы, дышало таким доверием, что он решился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, совсем неожиданно продекламировал:

В надежде славы и добра
Иду вперед я без боязни!

— Так-то, брат! — завершил он,— надо теперь бежать домой да письма писать. А то ведь и место наметишь, а его у тебя из-под носа выхватят!

Несмотря на будничный исход, разговор этот произвел на меня возбуждающее действие. Что̀, в самом деле, кроется в этом самообкладывании? подкоп ли какой-нибудь или только внезапный наплыв чувств?

«Или, быть может,— мелькало у меня в голове,— дело объясняется и еще проще. Пришло какому-нибудь либералу-гласному в голову сказать, что налоги, равномерно распределяемые, суть единственные, которые, по справедливости, следует назвать равномерно распределенными! — другим эта мысль понравилась, а там и пошла пильня в ход».

Прежде всего, я, разумеется, обратился за разрешением этих вопросов к истории нашей общественности.

Имели ли наши предки какое-нибудь понятие о подкопах? Конечно, имели, ибо фрондерство исстари составляло характеристическую черту наших дедушек и бабушек. Они фрондировали в дворянских собраниях, фрондировали в клубах, фрондировали, устраивая в пику предержащим властям благородные спектакли и пикники. Но им никогда не приходило на мысль (по крайней мере, история не дает ни одного примера в этом роде), что самообкладывание есть тоже вид фрондерства,

из которого могут выйти для них какие-то якобы права. Как люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться правами вполне реальными (не весьма нравственными, но все-таки реальными), нежели заглядываться на какие-то якобы права, сущность которых до того темна, что может быть выражена только словами: «кабы», да «если бы», да «паче чаяния, чего боже сохрани». Поэтому они обкладывали не себя, а других, обкладывали всякого, кого им было под силу обложить, обкладывали без энтузиазма и без праздной политико-экономической игры слов. И если бы, например, дедушке Матвею Иванычу кто-нибудь предложил поступиться своим правом обкладывать других и, взамен того, воспользоваться правом обложить самого себя, он наверное сказал бы: помилуй бог! какая же это мена!

И что всего страннее, даже мужик, в качестве искони обкладываемого лица, долженствовавший знать до тонкости все последствия обложения,— и тот никогда не возвышался до мысли, что, чем более его обложат, тем больше выйдет из этого для него якобы прав. Как человек, стоящий на реальной почве, он знал, что двойное, например, обложение приведет за собой для него только одно право: право быть обложенным вдвое — и больше ничего. Поэтому он нес тяготы, доколе возможно, то есть до тех пор, пока у него в сусеке водилась «пушнина». Как скоро иссякала и пушнина, он или просил пощады, или бунтовал на коленях; но ни в мольбе о пощаде, ни в бунте на коленях все-таки никакого подкопа не видел и видеть не мог.

Одним словом, и обкладывающие и обкладываемые — все стояли на реальной почве. Одни говорили: мы обкладываем, другие — нас обкладывают, и никто из этого простейшего акта внутренней политики никаких для себя якобы прав не ожидал. Напротив того, всякий молчаливо сознавал, что самое нестерпимое реальное положение все-таки лучше, нежели какие-то «якобы права».

Затем, были ли наши предки доступны так называемому наплыву чувств? — Я полагаю, что и на этот вопрос никто не решится отвечать отрицательно. Деды наши не были скопидомы и не тряслись над каждою копейкой, из чего можно было бы заключить, что они не были способны к самообложению из энтузиазма. Напротив того, по большей части это были широкие русские натуры, из числа тех, которым, при известной степени возбуждения, самое море по колена. Бабушка Дарья Андреевна отказала цирюльнику Прошке каменный дом в Москве за то только, что он каким-то особенным образом умел взбивать ей букли. Дяденька Петр Петрович пода-

рил заезжему человеку, маркизу де Безе, пятьдесят дворов (замечательно, что дяденька и тут не удержался, чтобы не пошутить: подарил все дворы через двор, так что вышла неслыханнейшая чересполосица, расхлебывать которую пришлось его же наследникам) за то, что он его утешил.

— Дарю тебе, голоштаннику, пятьдесят дворов,— сказал он при этом,— чтобы не ездил ты на будущее время по помещикам на штаны собирать!

— Oh, monseigneur! — захлебнулся в ответ растерявшийся француз, воздевая руки.

Стало быть, ни в энтузиазме, ни в презрении к металлу недостатка не было, только применение их было несколько иное, нежели в настоящее время. «Бей в мою голову!», «За все один в ответе!» — такого рода восторженные восклицания были до того общеупотребительны, что ни в ком даже не возбуждали удивления. Взирая на эти подвиги человеческой самоотверженности (я совершенно вправе назвать их таковыми, потому что большинство их все-таки оканчивалось в уголовной палате), никто не восклицал: какое великодушие! — но всякий считал их делом вполне обыкновенным, нимало не выходящим из общего репертуара привилегированных занятий. Но и за всем тем, повторяю, никому из наших предков и на мысль не приходило обкладывать самих себя, хотя в некоторых случаях подобное самообкладывание, в смысле удовлетворения внезапному наплыву чувств, могло обойтись даже дешевле, нежели, например, подарок пятидесяти мужицких дворов заезжему маркизу де Безе.

Но ежели ни фрондерство, ни наплыв чувств не могли произвести самообкладывания, то нужно ли доказывать, что экономические вицы, вроде того, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна,— были тут ни при чем? Нет, об этом нет надобности даже говорить. Как люди интересов вполне реальных, наши деды не понимали никаких вицев, а, напротив того, очень хорошо понимали, что равномерность именно потому и называется равномерностью, что она никогда не бывает равномерною.

Очевидно, стало быть, что мысль о самообкладывании принадлежит всецело нам, потомкам наших предков, и должна быть рассматриваема как результат. во-первых, способности выдерживать наплыв чувств, несколько большей против той, которою обладали наши предки, во-вторых, вечно присущей нам мысли о якобы правах и, в-третьих, нашей страсти к политико-экономическим вицам.

Что наплыв чувств, и притом с подкладкой более или менее либеральною, составляет главную основу нашей теперешней

жизни — против этого я никаких возражений не имею. Всякая либеральная восторженность есть плод той привычки к обобщениям, которою предки наши, как люди неразвитые, обладать не могли. Им жилось, по-своему, хорошо, но у них был очень важный недостаток: они не понимали, что другие тоже имеют основание желать, чтобы и им жилось хорошо. Они смотрели на вещи исключительно с точки зрения их конкретности и никогда не примечали тех невидимых нитей, которые идут от одного предмета к другому, взаимно уменьшают пропорции явлений и делают их солидарными. Поэтому они были, так сказать, поставлены даже вне возможности обобщать.

Мы, в этом отношении, стоим неизмеримо выше наших предков. Мы не только фактически констатируем, что между жизненными явлениями существуют соединительные нити, но и понимаем, что, в каких бы благоприятных условиях ни стоял человек, он не может быть вполне счастливым, если его окружают несчастливцы. И что же? — странное дело! даже этот несомненный шаг вперед на пути развития мы каким-то образом сумели свести на нет! Мы обобщаем, но приступаем к обобщению не прямо, а, так сказать, сбоку, или, еще точнее, с задней стороны. Мы не говорим: выгоды, которыми я пользуюсь, справедливо распространить и на других, но говорим: невыгоды, которые стесняют жизнь других, я нахожу справедливым распространить и на меня! Допустим, что когда мы формулируем подобные положения, то нами руководит самый чистый и искренний либерализм, но спрашивается: не примешивается ли к этому либерализму и известная доля легкомыслия? нет ли тут чего-то похожего на распущенность, на недостаток мужества, на совершенную неспособность взглянуть на вопрос с деятельной стороны?..

Затем, перехожу к третьему предположению: к предположению о каких-то задних мыслях.

Есть убеждение, что жизненные приобретения никогда не достигаются иначе, как окольными путями. Поэтому благоразумные люди постоянно вопиют к людям менее благоразумным: остерегитесь! подождите! придет время, когда и наш грош сделается двугривенным!

Я ничего не имею ни против подобных полезных предостережений вообще, ни в особенности против самочинного превращения гроша в двугривенный. Пускай себе превращается — это для меня все равно, тем более что я и на двугривенный смотрю не как на особенно ценную монету. Но я совершенно вправе утверждать, что в обобщении невыгод, неудобств и стеснений не только нет окольного пути, но есть даже отсутствие всякого пути. Если бы кто, посредством самоубийства,

вздумал доказывать свое право на жизнь — многое ли бы он доказал? Он доказал бы только, что существовал на свете несчастливец, который не нашел другого выхода из жизненных запутанностей, кроме самого простого: смерти. В самом крайнем случае, это личный протест — и ничего больше. Общее значение (впрочем, все-таки весьма маленькое) этот личный протест мог бы иметь только тогда, если б он имел возможность отыскать для себя вполне яркое и образное выражение, то есть когда бы все подготовлявшие самоубийство причины могли быть выслежены и констатированы. Но представьте себе, что в бо́льшей части случаев такого рода протесты сводятся к «найденному на берегу реки Пряжки телу неизвестного человека»! Какое странное фиаско! «Тело неизвестного человека»! — и это протест! Что же в нем, однако ж, есть поучительного? И какой практический результат может быть достигнут *подобным* окольным путем?

Но сторонники мысли о подкопах и задних мыслях идут еще далее и утверждают, что тут дело идет не об одних окольных путях, но и о сближениях. Отказ от привилегий, говорят они, знаменует величие души, а величие души, в свою очередь, способствует забвению старых распрей и счетов и приводит к сближениям. И вот, дескать, когда мы сблизимся... Но, к сожалению, и это не более, как окольный путь, и притом до того уже окольный, что можно ходить по нем до скончания веков, все только ходить, а никак не приходить.

Я отнюдь не хочу сказать, что человечество, на какой бы низкой степени развития оно ни стояло, не способно оценивать приносимые жертвы. Нет, оно относится к ним сочувственно, но все-таки лишь к таким жертвам, которые имеют характер положительный, а не отрицательный. Такие *положительные* жертвы вовсе не невидаль и не утопия: это жертвы, приносимые, во-первых, знанием, охотно делящимся своими сокровищами с незнанием, и, во-вторых, деятельным сочувствием к интересам, не находящим себе, вследствие несчастно сложившихся обстоятельств, ограждения и защиты. Если я сижу в деревне, умно веду свое хозяйство и не отказываю в добром совете нуждающемуся — я, очевидно, приношу жертву *положительную*. Если я выслушиваю жалобу человека, попавшегося впросак, угнетенного, обиженного, принимаю эту жалобу к сердцу, предпринимаю ходатайства, хлопоты — я тоже приношу жертву *положительную*. Такие жертвы *всегда* оцениваются по достоинству, и человек, который приносит их, будет почтен даже в том случае, если он несомненно платит налогов на три копейки меньше против сущей справедливости. Но представьте себе, что я умею только раскладывать граннась-

янс и этот недостаток умственных сокровищ предполагаю заменить гривенником! Представьте себе, что к одному несчастливцу приходит другой несчастливец и начинает утешать его, говоря: посмотри! я столько же несчастлив, как и ты! Ужели тут есть какая-нибудь жертва? а если и есть жертва, то какое же она может принести за собой утешение?

Увы! это будет утешение самое микроскопическое, а быть может, даже и не совсем хорошего качества. Утешаться общим равенством перед несчастием можно лишь сгоряча; те же люди, которые в подобных утешениях видят нечто удовлетворяющее, суть люди несомненно злые и испорченные и, во всяком случае, не настолько умные, чтобы отличать облегчения мнимые от облегчений реальных...

Но в том случае, о котором идет речь в настоящее время, даже и такого поистине злого утешения не может быть. Тщетно будем мы ожидать забвений и сближений при помощи самообкладывания: зоркий глаз несчастливца действительного очень тонко сумеет угадать несчастливца мнимого. Он различит тут все до последней мелочи, до последней утаенной копейки, и в этой работе расследования дойдет до обличения таких подробностей, которых на деле, быть может, и нет. Обыкновенное простодушие он возведет на степень преднамеренного поддразнивания; в так называемом внезапном наплыве чувств увидит систему, задуманную издалека. А коль скоро люди вступают на темный путь подозрений, то ничего хорошего от них ждать уж нельзя. Вместо прежней, исторической распри, которую желали устранить, но к которой так или иначе успели уже приглядеться, явится распря новая, которая тем менее доступна будет соглашениям, что в основание ее, положим, неправильно, но *непременно,* лягут слова: преднамеренность и обман.

Таким образом, достаточных оснований, которые оправдывали бы надежды на сближения, нет. А ежели нет даже этого, то о каких же задних мыслях может идти речь?!

Следовательно, и предположение о наплыве чувств, и предположение о неизвестных, но крайне хитрых и либеральных целях,— оказываются равно несостоятельными.

Остается, стало быть, предположение о наклонности к политико-экономическим вицам. Но одна мысль о возможности чего-либо подобного была так странна, что я вскочил как ужаленный.

Ужели?!

Ужели афоризм, утверждающий, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна, до того обольстителен, что может кого-нибудь увлекать?

Я гнал от себя эту ужасную мысль, но в то же время чувствовал, что сколько я ни размышляю, а ни к каким положительным результатам все-таки прийти не могу. И то невозможно, и другое немыслимо, а третье даже и совсем не годится. А между тем факт существует! Что же, наконец, такое?

Мучимый сомнениями, я почувствовал потребность проверить мои мысли, и притом проверить в такой среде, которая была бы в этом случае вполне компетентною.

Я вспомнил, что у меня был товарищ, очень прыткий мальчик, по фамилии Менандр Прелестнов, который еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, человек и гражданин», потом перевел какой-то учебник или даже одну страницу из какого-то учебника и наконец теперь, за оскудением, сделался либералом и публицистом при ежедневном литературно-научно-политическом издании «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница». Открытие это освежило и ободрило меня. Наконец-то, думалось мне, я буду в самом сердце всероссийской интеллигенции! И, не откладывая дела в долгий ящик, я побежал к Прелестнову.

Я уж не раз порывался к Прелестнову с тех пор, как приехал в Петербург, но меня удерживала свойственная всем провинциалам застенчивость перед печатным словом и его служителями. Нам и до сих пор еще кажется, что в области печатного слова происходит что-то вроде священнодействия, и мы были бы до крайности огорчены, если бы узнали за достоверное, что в настоящее время это дело упрощено до того, что стòит только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнейшая передовая статья.

Лично же для меня трепет перед печатным словом усложняется еще воспоминанием о том, что я и сам когда-то собирался сослужить ему службу. Экземпляр «Маланьи», отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у меня, и по временам — надо ли в том сознаться? — я втихомолку кой-что из него почитываю. Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведения, что в голове моей вдруг мелькнет дерзкая мысль: а не махнуть ли в типографию? Но не успеет эта мысль зародиться, как мне уже делается вполне ясною вся ее несостоятельность. Увы! время «Маланий» прошло безвозвратно! Никто теперь так не пишет, никто так не мыслит, и уж, конечно, никто не переписывает своих «Маланий» набело и не переплетает их! Очевидно, что вход в литературу закрыт для меня навсегда и что мне остается

только скитаться по берегу вечно кипящего моря печатного слова и лишь издали любоваться, как более счастливые пловцы борются с волнами его!

«Маланья» написана неуклюже и формой своей напоминает старинные топорной работы помещичьи экипажи. В ней записано множество подробностей и отступлений, которые положительно загромождают архитектуру повести. И кузов выпятился безобразно назад, и козлы построены такие, что ни влезть, ни слезть, и мешочков понавешено множество, а подножек чуть не четыре этажа. С первого взгляда трудно даже определить, что это такое: дом, корабль или экипаж. Что-то тут и звенит, и громыхает, что-то грозит перекувырнуться вверх дном, но что именно — хоть целый день ломай голову, не отыщешь. Все это я сознаю совершенно ясно, но тем не менее утверждаю, что ежели сравнение с экипажем тут уместно, то это был все-таки *свой собственный* экипаж, а не извозчичий.

Нынче, даже в литературе, пошли на Руси в ход экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подержанные экипажи с графскими гербами, завели приобретенных по случаю, после отъезжающих кокоток, кровных рысаков: ваше сиятельство! прокачу! И вот вы мчитесь, мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец-лихач ни обо что не зацепится, держит в руках вожжи бодро и самоуверенно, и примчит к вожделенной цели так легко, что вы и не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие: даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. Слышно: пади! поберегись! — и ничего больше. Через две-три минуты — приехали.

Ну, куда же тут соваться с «Маланьей»!

Взирая на этих людей, с такою легкостью мчащихся по улице мостовой, я ощущаю невольную робость. Вот люди, мнится мне, которые не зарыли своих талантов в землю, но, имея за душой грош, сумели, с помощью одних быстрых оборотцев, преобразить его в двугривенный! Правда, что это все-таки только двугривенный, но ведь и двугривенный... воля ваша, а для гроша и это неслыханный успех! И кто же может предвидеть, что станется с этим двугривенным в будущем! Вглядитесь в него хорошенько: ведь он и теперь чуть ли не выглядит уж рублем!

И когда я подумаю, что если бы меня в свое время не обескуражили цензора, то и я, постепенно оборачиваясь, мог бы в настоящую минуту быть обладателем целого литературного

двугривенного,— мной овладевает какая-то положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь неведомо куда, мчался бы на подержанных графских дрожках, блестя почищенною сбруей на купленном по случаю кокоткином рысаке! Но мне на первом же шагу закричали: стой! и тем, так сказать, навсегда прекратили мое теченье. Оскорбленный, я изнемогал с тех пор или в деревне, или под сению рязанско-тамбовско-саратовского клуба, и все упивался воспоминаниями о «Маланье». О, «Маланья!» о, юнейшее из юнейших, о, горячейшее из горячейших произведений, одно воспоминание о котором может извлечь токи слез из глаз его автора! А время между тем шло, не внося в мои взгляды никаких усовершенствований. Появились коротенькие фразы, изобретены коротенькие мысли, а я все упорно оставался при четырехэтажных периодах и хитросплетенных силлогизмах. Собственные экипажи давно заброшены, проданы в лом... а я и до сего дня ношусь с своею «Маланьей» да с воспоминаниями о неизмеримом пьянстве и бесконечных спорах в трактире «Британия»!

Понятно, стало быть, почему я, литератор неудавшийся, литератор с длинными, запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее, робею и стушевываюсь перед краткословными и краткомысленными представителями новейшей русской литературы. Мысль, что любой из этих господ может кого угодно, с помощью самой коротенькой фразы, и осчастливить и сконфузить,— преследует меня. А так как коротенькие фразы, в сущности, даже усилий никаких не требуют, то представьте себе, сколько тут можно разбросать двугривенных, нимало не трогая самого капитала, который так и останется навсегда неразменным двугривенным! О Бутков! о Достоевский! о Аполлон Григорьев! О вы, немазано-колесснейшие, о вы, скрипяще-мыслящие прорицатели сороковых годов! как бы стушевались, сконфузились вы перед лобанчиками [1] современной русской литературы!

От Прелестнова пахло публицистикой, просонками и головною болью. Так как он редижировал отдел «Нам пишут» и, следовательно, постоянно находился под угрозой мысли: а что, если и завтра опять сообщат, что в Шемахе произошло землетрясение? — то лицо его приняло какое-то уныло-озабоченное

---

[1] «Лобанчиком» в сороковых годах называлась в русской торговле французская монета с изображением одного из Бурбонов, как известно, обладавших большими открытыми лбами. Монета эта была почти всегда стертая и ходила несколько ниже, нежели двадцатифранковики позднейших чеканов. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

выражение. Две фразы были совершенно ясно написаны на этом лице: первая «о чем бишь я хотел сказать?» и вторая «ах, не забыть бы, что̀ из Иркутска пишут!» Тем не менее, когда Прелестнов увидел меня входящего, то лицо его на мгновение просветлело.

— «Британия»! — воскликнул он, простирая ко мне руки.

— Санковская! Мочалов! «Башмаков еще не износила»! — отозвался я с не меньшим увлечением.

— Давно ли? И не побывать? не грех ли? Помнишь «Маланью»?

Мы долгое время стояли рука в руку и смотрели друг на друга светящимися глазами. Наконец рукам нашим стало тепло, и мы бросились обнимать друг друга и целоваться.

— Хорошее было это время! — говорил он, сжимая меня в объятиях.

— Еще бы! Ты писал диссертацию «Гомер, как поэт, человек и гражданин», я...

— А ты... ты вдохновлялся «Маланьей»! Ты был поэт! О! это было время святого искусства!.. А впрочем, ведь и теперь... ведь не оскудела же русская земля деятелями! не правда ли? ведь не оскудела?

— Где же, голубчик, оскудеть! возьми: ведь больше семидесяти миллионов жителей, и ежели на каждый миллион хоть по одному Ломоносову...

— Не правда ли? вот и я постоянно твержу: не оскудеет она, говорю! Так ли?

— Помилуй! как оскудеть!

— Полководцев, говорят, нет,— будут, говорю!

— Будут!

— Администраторов, говорят, подлинных нет,— будут, говорю!

— Будут!

— Денег, говорят, нет,— будут, говорю!

— Еще бы! и пословица говорит: нет денег — перед деньгами!

— Перед нами времени-то сколько?

— Мало ли перед нами времени!

Мы поцеловались опять.

— Только вот голова болит! — продолжал он,— постоянно болит! Корреспонденции эти, что ли... а впрочем, какой это бодрый, крепкий народ — корреспонденты!

— Коренники!

— У нас есть один екатеринославский корреспондент — ну, просто можно зачитаться его корреспонденциями!

— Что и говорить! екатеринославцы — они молодцы!

В наше время ярославцы молодцами слыли... помнишь, половые? — ведь все были ярославцы! И все один к одному! Мяса какие у них были — не уколупнешь!

— Ну, екатеринославцы... те по части публицистики!

— Да, брат, везде прогресс! не прежнее нынче время! Поди-ка ты нынче в половые — кто на тебя как на деятеля взглянет! Нет! нынче вот земство, суды, свобода книгопечатания... вон оно куда пошло!

Под влиянием воспоминаний я так разгулялся, что даже совсем позабыл, что еще час тому назад меня волновали жестокие сомнения насчет тех самых предметов, которые теперь возбуждали во мне такой безграничный энтузиазм. Я ходил рядом с Прелестновым по комнате, потрясал руками и, как-то нелепо захлебываясь, восклицал: «Вон оно куда пошло! вон мы куда метнули!»

— Не правда ли? — вторил, в свою очередь, Прелестнов,— не правда ли, как легко дышится!

— Уж чего легче надо!

— И как светло живется!

— Уж чего же...

— Банки, ссудо-сберегательные кассы, артельные сыроварни... а сколько в одном Ледовитом океане богатств скрыто... о, черт побери!

Мы поцеловались еще раз.

— Только, брат, расплываться не надо — вот что! — прибавил он с некоторою таинственностью,— не надо лезть в задор! Тише! Тише!

— То есть как же это: не расплываться?

— Ну да; вот, например, ежели взялся писать о ссудо-сберегательных кассах — об них и пиши! Чтоб ни о социализме, ни об интернационалке... упаси бог!

— Это вследствие свободы печати, что ли?

— Ну да, и свобода печати, да и вообще... расплываться не следует!

Лицо Прелестнова приняло строгое выражение, как будто он вдруг получил из Екатеринославля совершенно верное известие, что я имею намерение расплываться. Мне, с своей стороны, показалось это до крайности обидным.

— Да я разве... расплываюсь? — спросил я, смотря на него изумленными глазами.

— То-то! то-то! время «Маланий», брат, нынче прошло! Ну да, впрочем, не в том дело. Я очень рад тебя видеть, но теперь некогда: надо корреспонденцию разбирать. Кстати: из Кишинева пишут, что там в продолжение целого часа было видимо северное сияние... каков фактец!

— Да... фактец — ничего!

— Ну-с, так вот что: приходи ты ко мне завтра вечером, и тогда...

Лицо Прелестнова из строгого вдруг сделалось таинственным. Видно было, что он хотел нечто сообщить мне, но некоторое время не решался.

— Впрочем, от тебя скрываться нечего,— наконец сказал он,— с некоторого времени здесь образовалось общество, под названием «Союз Пенкоснимателей»... но ради бога, чтоб это осталось между нами!

Он произнес это так тихо, что я даже побледнел.

— И это общество... запрещенное? — спросил я.

— То есть как тебе сказать... оно, конечно... Цели нашего общества самые благонамеренные... Ведем мы себя, даже можно сказать, примернейшим образом... Но — странное дело! — для правительства все как будто неясно, что от пенкоснимателей никакого вреда не может быть!

— Гм... и завтра у тебя сборище?

— Ну да, ты увидишь тут всех.

— Отлично. А у меня кстати несколько вопросов есть.

— Прекрасно. Стало быть, до завтра. Завтра мы все порешим. Только, чур, не расплываться! Помни, что время «Маланий» прошло! А покуда вот тебе писаный устав нашего общества.

Мы опять обнялись, поцеловались и, смотря друг на друга светящимися глазами, простояли рука в руку до тех пор, пока нам не сделалось тепло.

Наконец, однако ж, я вышел. Но когда я уже был внизу лестницы, Прелестнов, должно быть, не выдержал, выбежал на площадку и сверху закричал мне:

— Смотри же! не расплываться! «Маланью» нужно оставить! Оставить «Маланью» нужно!

Я не шел домой, а бежал.

«Тайное общество! — думалось мне,— и какое еще тайное общество! Общество, цель которого формулируется словами: «не расплываться» и «снимать пенки»! Великий боже! в какие мы времена, однако ж, живем!»

А ведь какой был прекраснейший малый, этот Прелестнов, в то незабвенное время, когда он писал свою диссертацию «Гомер, как поэт, как человек и как гражданин»! Совсем даже и не похож был на заговорщика! А теперь вот заговорщик, хитрец, почти даже государственный преступник! Какое горь-

кое сплетение обстоятельств нужно было, чтоб произвести эту метаморфозу!

Я как сейчас помню некоторые выдержки из его достопамятной диссертации.

«Гомер! кто не испытывал высокого наслаждения, читая бессмертную «Илиаду»? Гомер — это море, или, лучше сказать, целый океан, как он же безбрежный, как он же глубокий, а быть может, даже бездонный!»

Далее:

«Но Гомер безбрежен не только как поэт, но и как человек. Ежели мы хотим представить себе идеал человека, то, конечно, не найдем ничего лучшего, как остановиться на величественном образе благодушного старца, в котором, как в море, отразилась седая древность времен».

И еще далее:

«Но Гомер был в то же время и гражданин. Он не скрывает своего сочувствия к оскорбленному Менелаю, что же касается до его патриотизма, то это вопрос настолько решенный, что всякое сомнение в нем может возбудить лишь *гомерический* хохот».

И проч. и проч.

И этот человек — заговорщик! Этот человек не настолько свободен, чтобы ясно сказать, что в городе имярек исправник ездит на *казенных* лошадях! Этот человек, защитник Гомера, как человека, поэта и гражданина,— один из деятельных членов разбойнической банды «Пенкоснимателей»!

И что это за банда такая?! настоящая ли разбойничья, или так, вроде оффенбаховской, при которой Менандр разыгрывает роль Фальзакаппы?!

О, Менандр! что же таится в душе твоей? что кроется в этом тихо дремлющем заливе, в котором так весело смотрится «наш екатеринославский корреспондент»? Снятся ли ей сны о подкопах, или просто закипает неясный наплыв неясных чувств? О, Менандр!!

Прибежав домой, я с лихорадочною поспешностью вынул из кармана данную мне Прелестновым рукописную тетрадку и на заглавном листе ее прочитал:

Устав Вольного Союза Пенкоснимателей

Но в глазах у меня рябило, дух занимало, и я некоторое время не мог прийти в себя. Однако ж две-три рюмки водки — и я был уже в состоянии продолжать.

«Устав» разделен на семь параграфов, в свою очередь под-

разделенных на статьи. Каждая статья снабжена объяснением, в котором подробно указываются мотивы, послужившие для статьи основанием.

«Устав» гласил следующее:

§ 1. *Цель учреждения Союза и его организация*

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учено-литературное общество под названием «Вольного Союза Пенкоснимателей».

Объяснение. В журнале «Вестник Пенкоснимания», в статье «Вольный Союз Пенкоснимателей перед судом общественной совести», сказано: «В сих печальных обстоятельствах какой исход предстоял для русской литературы? — По нашему посильному убеждению, таких исходов было два: во-первых, принять добровольную смерть, и во-вторых, развиться в «Вольный Союз Пенкоснимателей». Она предпочла последнее решение, и, смеем думать, поступила в этом случае не только разумно, но и вполне согласно с чувством собственного достоинства. Зачем умирать, когда в виду еще имеется обширное и плодотворное поприще пенкоснимания?»

Ст. 2. Никакой организации Союз не имеет. Нет в нем ни президентов, ни секретарей, ни даже совокупного обсуждения общих всем пенкоснимателям интересов, по той простой причине, что из столь невинного занятия, каково пенкоснимание, никаких интересов проистечь не может.

Союз сей — вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пенки с чего угодно и как угодно, и эта уступка делается тем охотнее, что в подобном занятии никаких твердых правил установить невозможно.

Объяснение. В той же статье далее говорится: «Что же такое этот «Вольный Союз Пенкоснимателей», который, едва явившись на свет, уже задал такую работу близнецам «Московских ведомостей»? Имеет ли он в виду проведение каких-либо разрушительных начал? Или же представляет собой, как уверяют некоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки недозволенное законом тайное общество? Мы смело можем ответить на эти вопросы: ни того, ни другого предположить нельзя. Пенкоснимательство составляет в настоящее время единственный живой общественный элемент; а ежели оно господствует в обществе, то весьма естественно его господство и в литературе. Пенкоснимати всюду играют видную роль, и литература *обязана была* раскрыть им

свои двери сколь возможно шире. И она сделала это тем бестрепетнее, что пенкосниматели суть вполне вольные люди, приходящие в литературный вертоград с одним чистым сердцем и вполне свободные от какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организации, о каких-то тайных намерениях — просто смешно. Этим чистым людям самая мысль об организации должна быть противна».

§ 2. *О членах Союза*

Ст. 1-я. В члены Союза Пенкоснимателей имеет право вступить всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, как извозчик истязует лошадь, почел бы за нужное, рядом фактов, взятых из древности или из истории развития современных государств, доказать вред такого обычая, то сие не токмо не возбраняется, но именно и составляет тот высший вид пенкоснимательства, который в современной литературе известен под именем «науки».

Объяснение. Там же: «Чувство, одушевляющее пенкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А так как чувство это доступно всякому, то можно себе представить, как громадно должно быть число пенкоснимателей! Но само собою разумеется, что в тех случаях, когда это чувство является во всеоружии знания и ищет применений в науке, оно приобретает еще бо̀льшую цену. Хорош пенкосниматель-простец, но ученый пенкосниматель — еще того лучше. Появление сих последних на арене нашей литературы есть признак утешительный и, смеем думать, даже здоровый. Пора наконец убедиться, что наше время — не время широких задач и что тот, кто, подобно автору почтенного рассуждения: «Русский романс: Чижик! чижик! где ты был? — перед судом здравой критики», сумел прийти к разрешению своей скромной задачи — тот сделал гораздо более, нежели все совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой «широких» задач самонадеянно волнуют мир, не удовлетворяя оного».

Ст. 2-я. Отметчики и газетные репортеры, то есть все те, кои наблюдают, дабы полуда на посуде в трактирных заведениях всегда находилась в исправности, могут вступать в Союз даже в том случае, если не имеют вполне твердых познаний в грамматике.

Объяснение. В передовой статье, напечатанной об этом предмете в газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», сказано: «Газетный репортер есть, так сказать,

первообраз истинного литературного пенкоснимателя, от которого все прочие (ученые, публицисты, беллетристы и проч.) заимствуют свои главные типические особенности. Вся разница (оговариваемся, впрочем: разница очень значительная) заключается лишь в большем или меньшем объеме произведений тех и других. Какою бы эрудицией ни изумлял, например, автор «Исследования о Чурилке», но ежели читатель возьмет на себя труд проникнуть в самые глубины собранного им драгоценного матерьяла, то на дне оных он, несомненно, увидит отметчика-пенкоснимателя. Поэтому нам кажется, что ограничить, относительно отметчиков, возможность вступать в Союз Пенкоснимателей было бы несправедливо даже в том случае, если бы люди сии и не вполне безукоризненно расставляли знаки препинания. Скажем более: это значило бы подрывать самые основы Союза, лишая его содействия таких лиц, от которых он получил свои главнейшие типические особенности». По этому же поводу в газете «Истинный Российский Пенкоснимать» говорится следующее: «В литературе нашей много наделал шуму вопрос: следует ли отметчиков и газетных репортеров считать членами «Вольного Союза Пенкоснимателей»? И, по-видимому, весь сыр-бор загорелся из того, что много-де встречается таких репортеров, которые даже грамотно писать не умеют. Мы позволяем себе думать, однако ж, что даже возбуждение подобных вопросов представляет нечто в высшей степени странное. В чем заключается истинная цель пенкоснимательства? — Она заключается в облегчении литератора, в освобождении его от некоторых стеснительных уз. А в чем же мы можем найти облегчение более действительное, как не в свободе от грамматики, этого старого, изжившего свой век пугала, которого в наш просвещенный век не страшатся даже вороны и воробьи?»

§ 3. *О приличнейшей для пенкоснимательства арене*

Ст. 1. Рассеянные по лицу земли, лишенные организации, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность — да послужат российские пенкоснимати на славном поприще российской литературы, которая издревле всем без пороху палящим приют давала!

Объяснение. Об этом предмете газета «Зеркало Пенкоснимателя» выразилась так: «Где самое сподручное поприще для пенкоснимателя? — очевидно, в литературе. Всякая отрасль человеческой деятельности требует и специальной подготовки, и специальных приемов. Сапожник обязуется шить *непременно* сапоги, а не подобие сапогов, и, чтобы достигнуть этого,

непременно должен знать, как взять в руки шило и дратву. Напротив того, публицист очень свободно может написать не передовую статью, а лишь подобие оной, и нимало не потерять своей репутации. Отсюда ясно, что одна литература может считать себя свободною от обязательства изготовлять работы вполне определенные и логически последовательные. Составленная из элементов самых разнообразных и никаким правилам не подчиненных, она представляет для пенкоснимательства арену тем более приличную, что на оную, в большинстве случаев, являются люди, неискушенные в науках, но одушевляемые единственно жаждой как можно более собрать пенок и продать их по 1 к. за строчку».

§ 4. *Об обязанностях членов Союза*

Ст. 1. Обязанности сии суть:

Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило.

Объяснение. В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Странный вы человек, читатель! Как хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, с одной стороны, нам угрожает за это административная кара, а с другой стороны, мы и сами вполне ясных представлений о вещах не имеем?!» Об этом же предмете, в еженедельном издании «Обыватель Пенкоснимающий», в статье «Отповедь „Старейшей Всероссийской Пенкоснимательнице“» (служащей ответом на предыдущую статью), сказано: «С одной половиной этой мысли мы имеем полную готовность согласиться весьма безусловно. Что ж делать! Старейшая наша Пенкоснимательница всегда имеет такие мысли, что лишь половина оных надлежащую здравость имеет, другая же половина или отсутствует, или идет навстречу первой, как два столкнувшиеся в лоб поезда железной дороги, нечаянно встречущиеся. Итак, если мы положим руку на сердце, то оно скажет нам, что мы действительно истинно здравых понятий о вещах в своем яснопостижении обладать не можем. Это так. Но чтобы за сие нас ожидала какая-то административная кара — это никогда!! Это не есть в пределах возможности!!»

Второе. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренно же трепетать.

Объяснение. В газете «Зеркало Пенкоснимателя» говорится: «Одно из величайших затруднений для успехов пенкоснимательства в будущем заключается в следующем. Чита-

тель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый; цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? — в этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково: смелый вид иметь лишь по наружности, а внутренно трепетать. Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы, с своей стороны, полагали бы нелишним, для большей смелости, прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предсказывали», «мы предвидели» и т. д. Примененные к делу пенкоснимательства, эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проницательный».

Третье. Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения. Так, например, по вопросу о неношении некоторыми городовыми на виду блях надлежит действовать с такою настоятельностью, как бы имелось в виду получить за сие третье предостережение.

Объяснение. Газета «Истинный Российский Пенкоснимателъ» выражается по этому поводу так: «В сих затруднительных обстоятельствах литературе ничего не остается более, как обличать городовых. Но пусть она помнит, что и эта обязанность не легкая, и пусть станет на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не вправе идти ни на какие сделки и, напротив того, должна выказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести в действие по другим вопросам».

Четвертое. Рассуждая о современных вопросах, стараться, по возможности, сокращать их размеры.

Объяснение. В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Наклонность расплываться и захватывать вширь исстари была самым важным, так сказать, органическим нашим недостатком. Рассматривая, например, поступок городового бляха № 000, мы никак не упустим, чтобы не зацепить по дороге и весь почтенный институт городовых. Понятно, какое раздражение должен породить подобный неосновательный образ действий не только в гг. городовых, но и в гг. участковых и околоточных надзирателях, их непосредственных начальниках. Поэтому, в виду благодетельного по-

ворота нашей литературы в смысле пенкоснимательства, мы не обинуясь и во всеуслышание говорим: не раздражайте! Говорите сколько угодно о бляхе № 000, но не касайтесь института. Silenzio! Prudenzia![1] — как поют хористы в итальянской опере. Не раздражайте».

Пятое. Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь. Но так как при сем легко впасть в ошибку, то есть выдать славное за неславное и наоборот, то наблюдать скромность и осмотрительность.

Объяснение. «Обыватель Пенкоснимающий» выражается так: «С тех высот, на коих мы находимся, полезно, хотя бы и с головокружением, взглядывать на путь, который уже пройден нами. Оглянемся — и что ж увидим? Увидим бездну, в которой многое и прекрасно и своевременно, многое же только прекрасно, хотя, быть может, и не столь своевременно. Но назовем ли мы прекрасное безусловно прекрасным, а несвоевременное безусловно несвоевременным? Нет, мы остережемся от такого опрометчивого поступка, омрачущего нашу совесть! Ибо мы не знаем, действительно ли прекрасно для читателя то, что мы считаем прекрасным для себя. Мы опасаемся, как бы не назвать прекрасным то, что для читателя совсем не есть потребно, и непотребным то, что для него всегда было прекрасно, и теперь оставалось бы таковым, если бы не внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему (см. соч. Токквиля: «L'ancien régime et la Révolution»). И если бы кто-нибудь взял на себя труд заверять нас, что все сие есть бессмыслица, то мы на сие ответствовали бы: «судите сами! Мы же, с божьею помощью, и впредь таковое намерены говорить!» На эту заметку «Зеркало Пенкоснимателя» возражало: «Из целого леса бессмыслиц, которыми переполнена заметка почтенной газеты, выделяется только одна светлая мысль: нужно обращать внимание русского общества на пройденный им славный путь, но не следует делать никакой критической оценки этому пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не все вкусы одинаковы, а следовательно, трудно угадать, кому из подписчиков нравится арбуз, а кому — свиной хрящик».

Шестое. Обнадеживать, что в будущем ожидает читателей еще того лучше.

Объяснение. В фельетоне газеты «Пенкоснимаатель нараспашку» сказано: «Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью. Фи!

---

[1] Молчание! Благоразумие!

какой это скучный и необтесанный народ! Напротив того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленные богатства, скрывающиеся в недрах земли, и бесконечными караванами потянутся во все стороны. Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы — почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданиям общества распространения полезных книг? То-то порадуется русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын туманного Альбиона облечется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России — в Москве — золотые маковки! Москва! чье сердце не трепещет при твоем имени!»

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку, и высказывать надежду, что «новое слово» когда-нибудь будет сказано.

Объяснение. Журнал «Пенкоснимательная Подоплёка», в статье «Корреспонденция из Вильно», выражается так: «Обрусение — вот наша задача в этом крае, но обрусение действительное, сопровождаемое инкюлькированием настоящего русского духа. Мы не верим более Петербургу, ибо какой же там русский дух?! Петербург указывает нам на Запад и предлагает нашу общественность перестроить на манер тамошней. Странное дело! Не все ли это равно, что предложить человеку надеть заношенное исподнее белье его соседа!» На это газета «Зеркало Пенкоснимателя» возражала следующее: «Стремление создать *свою* мысль, *свою* науку — весьма похвально. Мы не имеем права успокоиться до тех пор, пока у нас не будет *своей* арифметики, *своей* химии, *своей* астрономии и проч. Но сравнение западной цивилизации с чужим поношенным бельем все-таки не выдерживает критики. Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могут возразить нам, что на Западе белье никогда не доводится до степени полной заношенности, и что ежели за кем есть грешок в некоторой неопрятности, то это именно за нами. Итак, не станем напрашиваться на ненужные возражения и останемся при основной и несомненно верной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлеющему миру новое, обновляющее слово! Не будем заимствоваться от соседей их заношенным исподним бельем, но не станем дорожить и собственным таковым же! «Новое слово» — вот все, что от нас требуется в настоящий момент. Чем скорее оно будет сказано, тем лучше!»

Осьмое. Всемерно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось.

Объяснение. В газете «Стареїшая Всероссиїская Пенкоснимательница» читаем: «Мы так молоды и неопытны, что не жалеть об нас было бы совершенно бесполезною жестокостью. Скажем более: мы от души сожалеем о тех, которые не находят в себе достаточно гражданского мужества, чтоб пожалеть об нас, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкие. Представьте себе ребенка, который едва собрался встать на ноги и которого вдруг ткнут пальцем в грудь,— естественно, что он упадет и ушибется. Не то ли же самое может случиться и с нашим молодым обществом, если мы будем обращаться с ним без надлежащей осторожности? Мы приглашаем наших противников подумать об этом серьезно, и делаем это тем с бо́льшим основанием, что и помимо литературы найдется довольно охотников тыкать в бедного новорожденного, называющегося русским обществом».

Девятое. Опасаться вообще.

Объяснение. В той же газете говорится: «Как ни величественно зрелище бури, уничтожающей все встречающееся ей на дороге, но от этой величественности нимало не выигрывает положение того, кто испытывает на себе ее действие. Вот почему благоразумные люди не вызывают бурь, а опасаются их: они знают, что стоит подуть жестокому аквилону — и их уж нет! Мы советуем нашим противникам подумать об этом, и ежели они последуют нашему совету, то, быть может, поймут, что роль пенкоснимателя (то есть человека опасающегося по преимуществу) далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда. В этой роли есть даже много трагического».

§ 5. *О правах членов Союза*

Ст. 1. Права членов «Вольного Союза Пенкоснимателей» прямо вытекают из обязанностей их. Посему и распространяться об них нет надобности.

Объяснение. В газете «Истинный Российский Пенкоснимательь» читаем: «Нам говорят о правах; но разве может быть какое-нибудь сомнение относительно права, коль скоро обязанность несомненна? Очевидно, тут есть недоразумение, и люди, возбуждающие вопрос о правах, не понимают или не хотят понять, что, принимая на себя бремя обязанностей, мы с тем вместе принимаем и бремя истекающих из них прав. Это подразумевается само собой, и напоминать о сем — значит лишь подливать масла в огонь. Не будем же придираться к словам, но постараемся добропорядочным поведением доказать, что мы одинаково созрели и для обязанностей, и для прав».

§ 6. *Что сие означает?*

Ст. 1. Вопрос этот ближе всего разрешается «Старейшею Всероссийскою Пенкоснимательницею», которая, задавшись вопросом: «во всех ли случаях необходимо приходить к каким-либо заключениям?» — отвечает так: «Нет, не во всех. Жизнь не мертвый силлогизм, который во что бы ни стало требует логического вывода. Заключения, даваемые жизнью, не зависят ни от посылок, ни от общих положений, но являются ex abrupto и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нередко ведем с читателем беседу на шести столбцах и не приходим при этом ни к каким заключениям, то никто не вправе поставить нам это в укор. Укорителям нашим мы совершенно резонно ответим: каких вы требуете от нас заключений, коль скоро мы с тем и начали нашу речь, чтобы ни к каким заключениям не приходить?»

§ 7. *Цель учреждения Союза и его организация*[1]

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учено-литературное общество под названием «Вольный Союз Пенкоснимателей».

. . . . . .

Я кончил. Не знаю, как это случилось, но едва я успел дочитать последнее слово «Устава», как мной овладел глубочайший сон.

В этом сне я пробыл до тех пор, когда пробил час ехать к Прелестнову.

Что происходило потом — до следующей главы.

VI

«Так вот вы каковы! — думалось мне, покуда я шел к Прелестнову,— заговорщики! почти что революционеры!»

Вот к чему привело классическое образование! вот что значит положить в основание дальнейшей деятельности диссертацию «Гомер как человек, как поэт и как гражданин»! Ум,

---

[1] Этот параграф составляет дословную перепечатку § 1-го и существует только в первом издании «Устава», где он, очевидно, напечатан по недосмотру корректора. Во втором издании он исключен; но помещаю его как потому, что у меня в руках было первое издание, так и потому, что напоминание о цели учреждения Союза в конце «Устава» как нельзя более уместно. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

вскую шатающийся, ум, оторванный от действительности, воспитанный в преданиях Греции и Рима, может ли такой ум иметь что-нибудь другое в виду, кроме систематического, подрывающего основы общественности, пенкоснимательства?

А что, ежели они... да с оружием в руках! Страшно подумать!

А мы-то сидим в провинции и думаем, что это просто невинные люди, которые увидят забор — поют: забор! забор! увидят реку — поют: река! река! Как бы не так — «забор»! Нет, это люди себе на уме; это люди, которые в совершенстве усвоили суворовскую тактику. «Заманивай! заманивай!» — кричат они друг другу, и все бегут, все бегут куда глаза глядят, затылком к опасности!

И как хитро все это придумано! По наружности, вы видите как будто отдельные издания: тут и «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», и «Истинный Российский Пенкоснимать», и «Зеркало Пенкоснимателя», а на поверку выходит, что все это одна и та же сказка о белом бычке, что это лишь рубрики одного и того же ежедневно-еженедельно-ежемесячного издания «Общероссийская Пенкоснимательная Срамница»! Каков сюрприз!

Но этого мало. Мало того что родные братья притворяются, будто они друг другу только седьмая вода на киселе,— посмотрите, как они враждуют друг с другом! «Мы,— говорит один,— и только одни мы имеем совершенно правильные и здравые понятия насчет института городовых, а вам об этом важном предмете и заикаться не следует!» — «Нет,— огрызается другой,— истинная компетентность в этом деле не на вашей, а на нашей стороне. Мы первые подали мысль о снабжении городовых свистками — а вы, где были вы, когда мы предлагали эту спасительную меру? И после этого вы осмеливаетесь утверждать, что мы не имеем сказать ничего плодотворного по вопросу о городовых! Но мы отдаем наш спор на суд публики и ей предоставляем решить, какого названия заслуживает взводимая на нас нахальная ложь!»

Читая эти вдохновенные речи, мы, провинциалы, задумываемся. Конечно, говорим мы себе, эти люди невинны, но вместе с тем как они непреклонны! посмотрите, как они козыряют друг друга! Как они способны замучить друг друга по вопросу о выеденном яйце!

Обман двойной! во-первых, они не невинны; во-вторых, совсем не непреклонны, и ежели затеяли между собой полемику, то единственно, как говорится, для оживления своих столбцов и страниц.

Невинны! на чем основано это мнение? На том ли, что все

они славословят и поют хвалу? На том ли, что все в одно слово прорицают: тише! не расплывайтесь! не заезжайте! не раздражайте?! Прекрасно. Я первый бы согласился, что нет никакой опасности, если бы они кричали «тише!» — каждый сам по себе. Но ведь они кричат все вдруг, кричат единогласно — поймите это, ради Христа! Ведь это уж скоп! Ведь этак можно с часу на час ожидать, что они не задумаются кричать «тише!» — с оружием в руках! Ужели же это не анархия?!

Да; это люди опасные, и нечего удивляться тому, что даже сами они убедились, что с ними нужно держать ухо востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже на людей, кричащих: тише! — взглянуть оком подозрительности?! чтобы даже в них усмотреть наклонности к каким-то темным замыслам, в них, которые до сих пор выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться друг в друга по поводу выеденного яйца!

Что же касается до непреклонности, то мне невольно припомнилось, как в былое время мой друг, Никодим Крошечкин, тоже прибегал к полемике «в видах оживления столбцов издаваемой им газеты».

То было время господства «Британии» и эстетических споров. Никодим редижировал какую-то казенную газету, при которой, для увеселения публики, имелся и литературный отдел. На приобретение материала для этого отдела Никодиму выдавалась какая-то неизмеримо малая сумма, с помощью которой он и обязывался три дня в неделю «оживлять столбцы газеты». Приятелей у Крошечкина было множество, но, во-первых, все это были люди необыкновенно глубокие, а потому «как следует писать об этом предмете, братец, времени нет, а коротенько писать — не стоит руки марать»; а во-вторых, все они проводили время по большей части в «Британии» и потому не всегда бывали трезвы. Таким образом, Никодим и остался один, как рак на мели. Бился он, бился — и вдруг нашелся. К величайшему удивлению, мы стали замечать, что Никодим ведет газету на славу, что «столбцы ее оживлены», что в ней появилась целая стая совершенно новых сотрудников, которые неустанно ведут между собой живую и даже ожесточенную полемику по поводу содержания московских бульваров, по поводу ненужности посыпания песком тротуаров в летнее время и т. д. Заинтригованные в высшей степени, мы всем хором приступили к Никодиму с вопросом: что сей сон значит? — И что ж оказалось! — Что он, Никодим, просто-напросто полемизирует сам с собою! Что он в одном своем лице соединяет и Корытникова, и Иванова, и Федула Долгомостьева, и Прохожего, и Проезжего и т. д. Что сначала он

напишет статью о необходимости держать бульвары в чистоте и уязвит при этом Московскую городскую думу, а в следующем нумере накинется сам на себя и совершенно убедительно докажет, что все это пустяки и что бульвары прежде всего должны служить в качестве неисчерпаемого вместилища человечьего гуано!

И вот теперь, когда я ближе ознакомился с «Уставом Вольного Союза Пенкоснимателей» и сопоставил начертанные в нем правила с современною литературною и журнальною действительностью, я не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: да это Никодим! это он, под разными псевдонимами полемизирующий сам с собою!

Признаюсь, мне даже сделалось как будто неловко. Ведь это, наконец, бездельничество! — думалось мне, и ежели в этом бездельничестве нет ни организации, ни предумышленности — тем хуже для него. Значит, оно проникло в глубину сердец, проело наших пенкоснимателей до мозга костей! Значит, они бездельничают от полноты чувств, бездельничают всласть, бездельничают потому, что действительно ничего другого перед собой не видят!

Но как они, от нечего делать, едят друг друга — это даже ужасно. Загляните, например, в «Старейшую Всероссийскую Пенкоснимательницу», и первое, что вас поразит,— это смотр, который она периодически делает всем прочим органам пенкоснимательства. Что побуждает ее к тому? то ли, что ее разделяет бездна от прочих пенкоснимателей? — нет, этой бездны нет, да и она сама, в минуты откровенности, коснеющим языком проговаривается, что, в сущности, каждый пенкоснимателъ равен каждому пенкоснимателю. Очевидно, стало быть, ей хочется только отличиться, отвести глаза, оживить свои столбцы, даже рискуя собственными боками. Ей хочется, чтобы публика, благодаря общему затишью, слышала, как она жует во сне собственные рукава.

Теперь этот наглый обман выяснился для меня с какою-то безнадежною выпуклостью... Но, признаюсь, и прежде, когда я был еще в провинции, меня уже смущали некоторые неясные сомнения на этот счет. Едва ли не десять лет сряду, каждое утро, как мне подают вновь полученные с почты органы русской мысли, я ощущаю, что мною начинает овладевать тоскливое чувство. Иногда мне кажется, что вот-вот я сейчас услышу какое-то невнятное и ненужное бормотание о том, о сем, а больше ни о чем; иногда сдается, что мне подают детскую пеленку, в которой новорожденный младенец начертал свою первую передовую статью; иногда же просто-напросто я воочию вижу, что в мой кабинет вошел дурак. Пришел, сел и

забормотал. И я не могу указать ему на дверь, я должен беседовать с ним, потому что это дурак привилегированный: у него за пазухой есть две-три новости, которых я еще не знаю!

И эти-то люди обозревают друг друга! эти люди, ради оживления каких-то столбцов, язвят и чернят друг друга! Они, которым следовало бы целовать друг друга взасос! Проказники!

У каждого из этих апостолов самоедства сидит в голове маковое зернышко, которое он хочет во что бы то ни стало поместить; каждый из них имеет за душой материала настолько, чтобы изобразить: на последнем я листочке напишу четыре строчки! — зато уж и набрызжет же он в этих четырех строчках! И посмотрите, с какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натан воробьиного царства произносит свои: «Позволительно думать, что возбуждение подобных вопросов едва ли своевременно», или: «По нашему мнению, это не совсем так»! Мудрейший из воробьев! кто тебя? не все ли равно, кто, как и с чего снимает пенки?

Какая громадная разница с Никодимом! Когда Никодим полемизировал сам с собою, уличал самого себя в неправде и доказывал свою собственную несостоятельность,— он не вставал на дыбы, не артачился и не похвалялся, что идет на рать. Он откровенно говорил: мне дают мелкую монету и требуют, чтобы я действовал так, как бы имел в распоряжении своем монету крупную,— понятное дело, что я не могу удовлетворить этому требованию иначе, как истязуя самого себя. Так объяснялся Никодим, и мы очень хорошо понимали его объяснения. Мы понимали, что он относится к своему занятию вполне объективно, что он резко отделяет свое внутреннее «я» от того горького дела, к которому прицепила его судьба, отделяет настолько же, насколько отделял себя в те времена каждый молодой либерал-чиновник от службы в департаментах и канцеляриях, которые он всякое утро посещал. Внутренно Никодиму было решительно все равно, стоят ли будочники при будках, или же они расставлены по перекресткам улиц; поэтому он мог смело и не расходуя своих убеждений доказывать, раз, что полезно, чтобы будочники находились при будках, и два, что еще полезнее, если они расставлены по перекресткам. Следовательно, ежели современные российские пенкосниматели и заимствовали у Никодима внешние приемы «оживления столбцов», то они совершенно забыли о той объективности, которая скрывалась за этими приемами. Подобно Никодиму, они самоедствуют, но при этом горячатся, встают на дыбы, и — о, верх самохвальства! — изо всех сил доказы-

вают, что у них даже в помышлении ничего другого не имеется, кроме мысли о необходимости снабжения городовых свистками. О, заговорщики! кто же поверит вам?

«Тише! не расплывайся! не раздражай!» — это ли не карбонарство? Этого ли мало для возбуждения в самом кротком начальнике подозрительности?

Таковы были вопросы, которые застали меня на подъезде дома, в котором жил Прелестнов. Я обернулся: сзади меня расстилалось зеркало Невы, все облитое тихим мерцанием белой майской ночи. Воздух был недвижим; деревья в соседнем саду словно застыли; на поверхности реки — ни малейшей зыби; с другой стороны реки доносился смутный городской гомон и стук; здесь, на Выборгской,— царствовала тишина и благорастворение воздухов. А не удрать ли на тоню или на острова? — мелькнуло у меня в голове. Но пенкоснимательная мысль: я должен исполнить свой долг! — уже безвозвратно отравила мое существование. Я позвонил.

В кабинете у Менандра было довольно много народа и страшно накурено. Тут были люди всякого роста и всяких комплекций, но на всех лицах было написано присутствие головной боли. У всех цвет лица был тусклый, серый, а выражение озабоченное, как бы скорбящее о гресех; все страдали геморроем, следствием слишком усидчивого пенкоснимательства. Все великие наши пенкосниматели были тут налицо, все те, которые даже одну минуту опасаются провести праздно: так велика вереница пустяков, которые им предстоит разрешить. В тот момент, когда я вошел, Менандр рассказывал собравшейся около него кучке о своем путешествии по Италии.

— Представьте себе,— говорил он,— небо там синее, море синее, по морю корабли плывут, а над кораблями реют какие-то неизвестные птицы... но буквально неизвестные! à la lettre!

— Позвольте! не об этих ли птицах писал Страбон? — пустил кто-то догадку.

— Нет, это не те. Кювье же хотя и догадывался, что это простые вороны, однако Гумбольдт разбил его доводы в прах... Но что всего удивительнее — в Италии и вообще на юге совсем нет сумерек! Идете по улице — светло; и вдруг — темно!

— И апельсины на воздухе растут? — полюбопытствовал некто.

— Еще бы. Я сам видел дерево, буквально обремененное

плодами. Ну, все равно, что у нас яблоки, или, вернее, даже не яблоки, а рябина.

В эту минуту хозяин заметил мое присутствие.

— А! старый друг! господа! бывший товарищ по университету! написал когда-то повесть, на которую обратил внимание Белинский! — рекомендовал он меня, и, в свою очередь, представил мне присутствующих: — Иван Николаевич Неуважай-Корыто, автор «Исследования о Чурилке»! Семен Петрович Нескладин, автор брошюры «Новые суды и легкомысленное отношение к ним публики»! Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня: Чижик! чижик! где ты был? — перед судом критики»! Вячеслав Семеныч Размазов, автор статьи «Куда несет наш крестьянин свои сбережения?»...

Но тут со мной случилось что-то совершенно неловкое. Раскланиваясь и пожимая руки во все стороны, я до того замотался, что принял последнюю рекомендацию за вопрос, обращенный ко мне. И потому совершенно невпопад отвечал:

— Да в казначейство, я полагаю...

На этот раз, однако ж, мой легкомысленный ответ не повлек за собой никакого реприманда. Напротив того, насупленные лица пенкоснимателей как-то снисходительно осклабились, и все они очень радушно пожали мне руку.

Прерванный на минуту разговор возобновился; но едва успел Менандр сообщить, что ладзарони лежат целый день на солнце и питаются макаронами, как стали разносить чай, и гости разделились на группы. Я горел нетерпением улучить минуту, чтобы пристать к одной из них и предложить на обсуждение волновавшие меня сомнения. Но это положительно не удавалось мне, потому что у каждой группы был свой вопрос, поглощавший все ее внимание.

— Так вы полагаете, что Чурилка?..— шла речь в одной группе.

Центром этой группы был Неуважай-Корыто. Это был сухой и длинный человек, с длинными руками и длинным же носом. Мне показалось, что передо мною стоит громадных размеров дятел, который долбит носом в дерево и постепенно приходит в деревянный экстаз от звуков собственного долбления. «Да, этот человек, если примется снимать пенки, он сделает это... чисто!» — думалось мне, покуда я разглядывал его.

— Не только полагаю, но совершенно определительно утверждаю,— объяснял между тем Неуважай-Корыто,— что Чуриль, а не Чурилка, был не кто иной, как швабский дворянин седьмого столетия. Я, батюшка, пол-Европы изъездил, по-

куда, наконец, в королевской мюнхенской библиотеке нашел рукопись, относящуюся к седьмому столетию, под названием: «Похождения знаменитого и доблестного швабского дворянина Чуриля»... Ба! да это наш Чурилка! — сейчас же блеснула у меня мысль... И поверите ли, я целую ночь после этого был в бреду!

— Понятное дело. Но Добрыня... Илья Муромец... ведь они *наши?*

Собеседник, произнося: «они *наши?*» — очевидно, страдал. Он и опасался и надеялся; ему почему-то ужасно хотелось, чтобы *они* были *нашими,* и в то же время в душу уже запалзывали какие-то скверные сомнения. Но Неуважай-Корыто с суровою непреклонностью положил конец колебаниям, «ни в каком случае не достойным науки».

— Напротив того,— отдолбил он совершенно ясно,— я положительно утверждаю, что и Добрыня, и Илья Муромец — все это были не более как сподвижники датчанина Канута!

— Но Владимир Красное Солнышко?

— Он-то самый Канут и есть!

В группе раздался общий вздох. Совопросник вытаращил на минуту глаза.

— Однако ж какой свет это проливает на нашу древность! — произнес он тихим, но все еще не успокоившимся голосом.

— Я говорю вам: камня на камне не останется! Я с болью в сердце это говорю, но что же делать — это так! Мне больно, потому что все эти Чурилки, Алеши Поповичи, Ильи Муромцы — все они с детства волновали мое воображение! Я жил ими... понимаете, жил?! Но против науки я бессилен. И я с болью в сердце повторяю: да! ничего этого нет!

Собеседники стояли с раскрытыми ртами, смотря на обличителя Чурилки, как будто ждали, что вот-вот придет новый Моисей и извлечет из этого кремня огонь. Но тут Неуважай-Корыто с такою силой задолбил носом, что я понял, что мне нечего соваться с моими сомнениями, и поспешил ретироваться к другой группе.

В другой группе ораторствовал Болиголова, маленький, юркенький человечек, который с трудом мог устоять на месте и судорожно подергивался всем своим корпусом. Голос у него был тоненький, детский.

— Ужели же, наконец, и «Чижик, чижик! где ты был»?! — изумлялись окружающие пенкоснимателя.

— Подлог-с!

— Позвольте-с! Но каким же образом вы объясните стих «на Фонтанке воду пил»? Фонтанка — ведь это, наконец... На-

конец, я вам должен сказать, что наш почтеннейший Иван Семенович живет на Фонтанке!

— И пьет оттуда воду! — сострил кто-то.

— Подлог! подлог! и подлог-с! В мавританском подлиннике именно сказано: «на Гвадалквивире воду пил». Всю Европу, батюшка, изъездил, чтобы убедиться в этом!

— Это удивительно! Но как вам пришло на мысль усомниться в подлинности «Чижика»!

— Ну, уж это, батюшка, специальность моя такова!

— Однако какой странный свет это проливает на нашу народность! Все чужое! даже «Чижика» мы не сами сочинили, а позаимствовали!

— Говорю вам: камня на камне не останется! С болью в сердце это говорю, но против указаний науки ничего не поделаешь!

И т. д. и т. д.

В третьей группе шел разговор таинственного свойства. Сообщались по секрету сведения о каких-то кознях, предпринимаемых против каких-то учреждений; слышались соболезнования, жалобы, вздохи.

— Я сам сейчас оттуда,— полушепотом объяснял Нескладин, автор брошюры «Новые суда и легкомысленное отношение к ним публики».

— И что ж?

— Дело очень простое. Существуют два проекта: один об уничтожении, другой об упразднении. Теперь весь вопрос в том, который из этих проектов пройдет.

Все в немом негодовании оглянулись друг на друга. И вдруг кому-то пришло на мысль:

— Но тайный советник Кузьма Прутков!! ужели он допустит до этого?!

— Я именно сейчас от него!

— И говорили с ним?

— Да; и он мне сказал прямо: любезный друг! о том, чтобы устранить *оба* проекта,— не может быть и речи; но, вероятно, с божьею помощью, мне удастся провести проект об упразднении, а «уничтожение» прокатить!

— Но ведь и это уже будет значительный успех!

— Конечно. Но он прибавил к этому еще следующее: во всяком случае, мой друг, я тогда только могу ручаться за успех, если пресса наша будет вести себя с *особенною* сдержанностью. Слово «особенною» старик даже подчеркнул.

Известие это производит в группе общее впечатление.

— И я полагаю,— продолжает все тот же Нескладин,—

что нам ничего более не остается, как последовать этому благоразумному совету!

Собеседники несколько минут мнутся, и в комнате слышится какое-то неясное жужжание. Как будто влетел комар и затянул свою неистово-назойливую проповедь о том, о сем, а больше ни о чем. Наконец один из собеседников, более решительный, выступает вперед и говорит:

— Я, с своей стороны, полагаю, что нам следует молчать, молчать и молчать!

— Молчать! — восклицают хором прочие.

— Не следует забывать, господа,— вставляет свое слово вдруг появившийся Менандр,— что в нас воплощается либеральное начало в России! Следовательно, нам прежде всего надо поберечь самих себя, а потом позаботиться и о том, чтоб у нашего бедного, едва встающего на ноги общества не отняли и того, что у него уже есть!

— Молчать! молчать! и молчать!

— Надобно, наконец, иметь настолько гражданского мужества, чтобы взглянуть действительности прямо в глаза,— продолжает Менандр,— надо понять, что ежели мы будем разбрасываться, как это, к сожалению, до сих пор было, то сам тайный советник Кузьма Прутков окажется вне возможности поддержать нас.

— И тогда у нас отнимут и то, что мы в настоящее время имеем.

— И будут совершенно правы, потому что люди легкомысленные, не умеющие терпеть, ничего другого и не заслуживают. А между тем это будет потеря очень большая, потому что если соединить в один фокус все то, что мы имеем, то окажется, что нам дано очень и очень многое! Вот о чем не следует забывать, господа!

— Очень и очень многое! — восклицают хором все пенкосниматели и, как бы после принятого важного решения, вдруг все рассыпаются по комнате. У всех светлые лица, все с беспечною доверчивостью глядят в глаза будущему; некоторые бьют себя по ляжкам и повторяют: очень и очень многое!

Я смотрел во все глаза и, конечно, старался стать на один уровень со всеми. И, может быть, это удалось бы мне (я очень хорошо помню, что и сам раз или два уж ударил себя по ляжке с восклицанием: очень и очень многое!), но меня пугал Неуважай-Корыто. Этот загадочный человек, очевидно, олицетворял собою принцип радикализма в пенкоснимательстве. Объездить Европу для того, чтобы доказать швабское происхождение Чурилки,— согласитесь, что в этом есть что-то не-

преклонное! И если бы, вместо Чурилки, этому человеку поместить в голову какую-нибудь подлинную мысль, то из него мог бы выйти своего рода... Робеспьер! Уж он не отступит! он не отстанет до тех пор, пока не высосет из Чурилки всю кровь до последней капли!

Тем не менее я сделал попытку сблизиться с этим человеком. Заметив, что Неуважай-Корыто и Болиголова отделились от публики в угол, я направил в их сторону шаги свои. Я застал их именно в ту минуту, когда они взаимно слагали друг другу славословия.

— Однако задали вы, Иван Николаич, задачу московским буквоедам! — приветствовал Болиголова.

— Да и вы, Петр Сергеич, кажется, поусердствовали! — отвечал Неуважай-Корыто.

— Я думаю, что теперь, когда Чурилке нанесен такой решительный удар, немного останется от прежних трудов по части изучения российских древностей!

— Ну-с, я вам доложу, что и «Чижик»... ведь это своего рода coup de massue...[1] Ведь до сих пор никто и не подозревал, что Испания была покорена при звуках песни «Чижик, чижик! где ты был?»!

Я счел этот момент удобным, чтоб вступить в разговор.

— Итак,— сказал я,— и Чурилка и Чижик погребены?

Оба посмотрели на меня такими веселыми глазами, какими смотрят на ученика, совершенно неожиданно обнаружившего понятливость.

— Погребены — это так,— продолжал я,— но, признаюсь, меня смущает одно: каким же образом мы вдруг остаемся без Чурилки и без Чижика? Ведь это же, наконец, пустота, которую необходимо заместить?

Неуважай-Корыто насупил брови.

— Ну-с, на этот счет наша наука никаких утешений преподать вам не может,— сказал он сухо.

— Позвольте-с; я не смею не верить показаниям науки. Я ничего не имею сказать против швабского происхождения Чурилки; но за всем тем сердце мое совершенно явственно подсказывает мне: не может быть, чтоб у нас не было *своего* Чурилки!

Болиголова и Неуважай-Корыто удивленно переглянулись между собою. Моя дерзость, очевидно, начинала пугать их.

— И все-таки я не могу вас утешить,— сказал последний

---

[1] ошеломляющий удар.

и, как бы желая дать мне почувствовать, что аудиенция кончилась, запел:

Парис преле-е-стный,
Судья изве-е-стный!

Но сейчас же вспомнил, что оффенбаховская музыка не к лицу такой серьезной птице, как дятел, и затянул из «Каменного Гостя»:

Ведь я не го!
Сударственный преступник!

Пропев это, он обдал меня надменно-ледяным взором и отошел.

Я очутился в самом неловком положении. Я только однажды в жизни был в подобном положении, и именно когда меня представляли одному сановнику, который *мог* (буде заблагорассудил бы) подать мне руку, но которому я *ни в каком случае не имел права* протягивать свою руку. Но я не знал этого правила — и протянул. И вдруг я почувствовал, что рука моя так и остается на весу, в тщетном ожидании взаимного пожатия. Ах. как мне было тогда стыдно! За кого стыдно, за себя или за сановника,— не знаю, но, во всяком случае, чувство, которое я испытывал, было самого неприятного свойства.

Точно то же ощущал я теперь. Зачем я говорил с этим гордым, непреклонным пенкоснимателем? — думалось мне. За что он меня сразил? Что̀ обидного или неприличного нашел он в том, что я высказал сомнения моего сердца по поводу Чурилки? Неужели «наука» так неприступна в своей непогрешимости, что не может взглянуть снисходительно даже на тревоги простецов?

Увы! покуда я рассуждал таким образом, молва, что в среду пенкоснимателей затесался свистун, который позволил себе неуважительно отнестись к «науке», уже успела облететь все сборище. Как все люди, дышащие зараженным воздухом замкнутого кружка, пенкоснимати с удивительною зоркостью угадывали человека, который почему-либо был им несочувствен. И, раз усмотревши такового, немедленно уставляли против него свои рога. Я должен был убедиться, что не только Болиголова и Неуважай-Корыто недоумевают, каким образом я очутился в их обществе, но что и прочие пенкоснимати перешептываются между собой и покачивают головами, взглядывая на меня. Тем не менее я решился исполнить свой долг до конца, и потому, желая сделать новую попытку к общению, подошел с этою целью к Нескладину.

— Если я не ошибаюсь,— сказал я,— вы изволили давеча выразить опасение, что у нас с часу на час могут отнять даже и то, что мы имеем?

— Выразился-с. А вы изволите сомневаться в этом?

— Нет, я не сомневаюсь. О! я далеко не сомневаюсь! Я готов написать не шесть, а шестьсот шесть столбцов передовых статей, в которых надеюсь главнейшим образом развивать мысль, что все на свете сем превратно, все на свете коловратно...

— Ну-с, в чем же затруднение?

— Но я не понимаю одного: почему вы предпочитаете проект упразднения проекту уничтожения?

— Д-д-да-с! так вот в чем дело! А почему вы, смею вас спросить, утверждаете, что дважды два — четыре, а не пять?

На одно мгновение вопрос этот изумил меня; но Нескладин глядел на меня с такою ясною самоуверенностью, что мне даже на мысль не пришло, что эта самоуверенность есть не что иное, как продукт известного рода выработки, которая дозволяет человеку барахтаться и городить вздор даже тогда, когда он чувствует себя окончательно уличенным и припертым к стене. Выдержавшие подобного рода дрессировку люди никогда не отвечают прямо, и даже не увертываются от вопросов: они просто, в свою очередь, ошеломляют вас вопросами, не имеющими ничего общего с делом, о котором идет речь. Признаюсь, я в эту минуту испытывал именно подобное ошеломление.

— Извините,— бормотал я,— я не знал... Действительно, дважды два — это так... Я хотел только сказать, что сердце мое как-то отказывается верить, что упразднение...

— А так как я имею дело с фактами, а не с тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вам в утешение!

Произнося эти слова, Нескладин совершенно бесцеремонно обратился к одному из единомышленников, взял его под руку и отошел прочь.

— Стало быть, это условлено: мы будем поддерживать «упразднение»? — слышался мне его удаляющийся голос.

Нет сомнения, я потерпел решительное фиаско. Я дошел до того, что не понимал, где я нахожусь и с кем имею дело. Что это за люди? — спрашивал я себя: просто ли глупцы, давшие друг другу слово ни под каким видом не сознаваться в этом? или это переодетые принцы, которым правила этикета не позволяют ни улыбаться не вовремя, ни поговорить по душе с человеком, не посвященным в тайны пенкоснимательской абракадабры? или, наконец, это банда оффенбаховских

разбойников, давшая клятву накидываться и скалить зубы на всех, кто к ней не принадлежит?

Вероятно, лицо мое выражало очень большое недоумение, потому что Менандр поспешил ко мне на выручку.

— А ведь я, брат, проврался! — сказал я ему уныло.

— А я еще предупреждал тебя! — укорял он меня,— говорил я тебе, что расплываться не следует! Да забудь же ты хоть на несколько часов о «Маланье»!

— Но мог ли я думать, что у вас на этот счет так строго!

— Еще бы! Такое серьезное дело затеяли — да чтобы без дисциплины! Мы, брат, только и дела делаем, что друг за другом присматриваем! Впрочем, это еще может уладиться. Только, ради же бога, душа моя! не расплывайся! Признай, наконец, авторитет «науки»!

И Менандр от полноты души засуетился.

— Господа! — сказал он,— вот мой приятель! он провинциал и, следовательно, как человек дикий, не знает наших обычаев. Но это не мешает ему интересоваться некоторыми вопросами, и между прочим вопросом о распределении налогов. Он владелец деревни Проплёванной — так, кажется? — и потому, как член рязанско-тамбовско-саратовского клуба... то бишь земства... естественным образом желает стать на ту точку зрения, с которой всего удобнее взглянуть на этот вопрос. Поэтому я попросил бы Ивана Петровича Нескладина прочитать статью, которую он приготовил по этому предмету для нашей газеты. Господа! прошу присесть!

Кресла шумно задвигались, и когда все более или менее удобно расселись вокруг большого круглого стола, Нескладин прочитал:

Санкт-Петербург. 30-го мая.

«Что налоги, равномерно распределенные, суть те, которые, по преимуществу, заслуживают наименования равномерно распределенных,— в этом, при настоящем положении экономической науки, никто не сомневается, кроме разве каких-нибудь бешабашных свистунов, которые даже в этой простой и для всех вразумительной истине готовы заподозрить экономическое празднословие. Но мы и не обращаемся к свистунам; мы с гомерическим хохотом встречаем нахальные выходки этих отпетых людей, а ежели не клеймим их презрением, то только потому, что слишком хорошо знаем литературные приличия. Только те могут сомневаться, что равномерность равномерна, кто в состоянии усомниться даже в том, что белое бело и черное черно. С такими людьми не стоит тратить слов. Прикрываясь и даже гордясь незнанием литературных приличий

(которые в их глазах, выражаясь их же литературным сло-гом, не стоят выеденного яйца), они способны предать дерз-кому, бессодержательному глумлению все, что представляет собой несомненную победу цивилизации над варварством. *(Превосходно! Очень хорошо! Браво!)*

Итак, говорим мы, аксиома, утверждающая, что равномер-ность равномерна, находится вне спора, и не о ней намерены мы повести речь с почтенною газетою «Зеркало Пенкосни-мательности», которая делает нам честь считать нас в числе ее противников почти по всем вопросам нашей общественной жизни.

Мы намерены говорить о следующем: «Зеркало Пенкосни-мательности» утверждает, что лучшие крайние сроки для взноса налогов суть сроки, определенные ныне действующими по сему предмету узаконениями, то есть: 15-го января и 15-го марта; мы же, напротив того, утверждали, что сроки эти надлежит на две недели отдалить, то есть назначить их 1-го февраля и 1-го апреля. Вот в чем спор. Конечно, «Зеркало Пенкоснимательности», быть может, имеет очень полновесные причины называть себя более компетентным судьей в этом деле. Быть может, оно черпает свои сведения из таких источ-ников, о которых мы даже понятия не имеем. Но все это тайны, углубляться в которые нам не позволяют литератур-ные приличия...»

— Позвольте! — не вытерпел я,— но ведь вы сами чер-паете сведения от тайного советника Кузьмы Пруткова!

— Ах, душа моя, как ты, однако ж, горяч! Ведь это, нако-нец, невозможно! — укорил меня Менандр.— Тайный совет-ник Прутков! да знаешь ли ты, что это один из либеральней-ших людей нашего времени! что, быть может, он сам на днях получит разом три предостережения!

Я должен был поникнуть головой; Нескладин продолжал:

«Все это тайны, углубляться в которые нам не позволяют литературные приличия. Но мы находим в себе настолько гра-жданского мужества, чтобы сказать нашему противнику: ваше превосходительство! вы введены в заблуждение! *(Об-щий смех, в котором участвую и я.)* И мы делаем это тем с бо́льшим удовольствием, что искренно уважаем этого бод-рого и смелого противника, который даже при слове «субси-дия» не смущается духом. Мы даже убеждены, что наши бес-шабашные свистуны поставят нам это в укор, что они воспольз́уются нашею почтительностью, чтоб поднять нас на смех, подобно тому как уже и поступили они на днях с одним из наших уважаемых сотрудников, столь доблестно отличив-шимся в защите четырех негодяев, сознавшихся в умерщвле-

нии одного почтенного земледельца [1]. Но это не помешает нам следовать по избранному раз пути, не смущаясь ни наглостью смеха, ни нахальством инсинуаций...

Итак (да простят читатели некоторые повторения в нашей статье: они необходимы), «Зеркало Пенкоснимательности» утверждает, что лучшие сроки для платежа налогов суть те, которые издавна установлены законом. В подкрепление этой мысли почтенная газета приводит следующее: 1) привычку платить и 2) сравнительное благосостояние, которое, будто бы, постигает плательщика именно в сроки пятнадцатого января и пятнадцатого марта. Разберем эти доводы с тем вниманием, которого они заслуживают. Но напомним при этом читателю, что нас постигло уже два предостережения, тогда как другие журналы, быть может менее благонамеренные по направлению (литературные приличия не позволяют нам назвать их), еще не получили ни одного. *(Браво! Браво! Ядовито и в то же время вполне согласно с литературными приличиями!)*

Итак — приступим к первому доводу.

Нам говорят: обыватели привыкли платить именно в январе и в марте — и мы охотно соглашаемся, что в этом возражении есть известная доза справедливости. Но что же такое, однако ж, привычка? С одной стороны — это начало всепроникающее и до такой степени подчиняющее себе *всего* человека, что субъект, находящийся под игом привычки, готов не только платить налоги, но и совершать преступления. «Человек есть животное привычки»,— сказал великий Бюффон, и сказал святую истину. С этой стороны, конечно, полезно и даже необходимо принимать во внимание народные обычаи и даже суеверия, и не мы будем утверждать что-нибудь противное этой святой истине. Но, с другой стороны, если взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что привычка платить налоги, по самому свойству своему, никогда не укореняется настолько, чтобы нельзя было отстать от нее. Положим, что здесь идет речь не о том, чтобы навсегда отстать от привычки платить (только бесшабашные наши свистуны могут остановиться на подобной дикой мысли), но и за всем тем. положа

---

[1] В следующем затем нумере «Старейшей Российской Пенкоснимательницы» было напечатано: «В городе разнеслись слухи, что автор передовой статьи, появившейся вчера в нашей газете, есть г. Нескладин, то есть сам знаменитый защитник четырех знаменитых негодяев. Считаем долгом заявить здесь, что это наглая и гнусная клевета. Мы не имеем надобности отстаивать г. Нескладина против набегов наших литературных башибузуков, но говорим откровенно: мы перервем горло всякому (если позволят наши зубы), кто осмелится быть не одного с нами мнения о наших сотрудниках». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

руку на сердце, мы смеем утверждать: отдалите, по мере возможности, сроки платежа податей — и вы увидите, как расцветут сердца земледельцев!

Но нам говорят: привычка — вторая натура. Назначьте для плательщика другие сроки, он все-таки понесет в казначейство свои сбережения в январе и в марте. На это мы можем ответить одно: тем лучше! Как не догадываются наши почтенные противники, что, чем раньше несут плательщики в казначейство свои избытки, тем лучше для них и для казны. Пускай несут — милости просим! Это хорошо для плательщиков — потому что через это они избавляются от опасений военной экзекуции; это хорошо и для казны, потому что издержки экзекуции хотя и падают, главным образом, на обывателей, но косвенно задевают и государственное казначейство. Но ведь истинный государственный взгляд на вещи должен иметь в виду не только тех бодрых и смелых людей, которые привыкли серьезно смотреть на свои обязанности к государственному казначейству, но и тех, которые, не столько вследствие преступности воли, сколько под влиянием слабохарактерности, утратили этот здоровый инстинкт. И так как последние, несмотря на принимаемые против них меры, все-таки составляют довольно значительное меньшинство, то мы не понимаем, зачем идти навстречу экзекуциям, когда еще остается неиспытанным одно совершенно безвредное и ни для кого не обидное средство, а именно отдаление на две недели последних сроков для взноса налогов? Две недели! понимаете ли, только две недели! И ни одной минуты больше! *(Совершенно справедливо! прекрасно! браво!)*

Приступим теперь ко второму доводу. Во-первых, нам указывают на какие-то климатические условия; но это доказательство до того уже несостоятельно, что нет даже надобности и распространяться о нем. В самом деле, что значит выражение: «платить налоги»? Для тех, до кого оно относится, это выражение означает: перенести деньги из того помещения, в котором они дотоле находились, в другое, более для них подходящее. Спрашиваем по совести: могут ли и в какой мере действовать тут климатические условия? Во-вторых — и это возражение очень серьезное,— нам говорят, что благоденствие постигает плательщика преимущественно в январе и в марте. Но на чем основано такое внезапное заключение? — поистине мы не понимаем этого. По нашему мнению, если плательщик постигнут благоденствием в январе, то нет резона не быть ему постигнутым и в декабре, и в июле, и во все прочие месяцы. Но нам возражают: вы сами знаете, что в июле плательщик благоденствием не постигнут,— тогда мы спраши-

ваем: отчего? что же это за благоденствие, которое постигает плательщика только в ту минуту, когда ему надлежит нести в казначейство деньги?

Вот тут-то мы и настигаем вас, наши уважаемые противники. Мы недаром предлагаем вам вопрос. отчего? потому что разрешение его лежит на вашей ответственности. Вы находитесь слишком в исключительном положении относительно известных сфер, чтобы уклониться от солидарности с ними. Поэтому мы имеем полное право требовать именно от вас ответа на наш вопрос, или, лучше сказать, не ответа, а оправдания. *(Браво! Отлично!)* Мы требуем этого во имя великих пенкоснимательных начал, которых мы служим представителями, и не перестанем требовать, хотя бы нам угрожали за это бесчисленными предостережениями! Мы примем эту кару закона без ропота, но и без удовольствия, и позволим себе только спросить, почему предостережения постигают именно нас, а не «Истинного Пенкоснимателя», например? Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая без цензуры, тем не менее пользуется услугами таковой; ни для кого не тайна, что она всячески избегает вопросов, волнующих весь пенкоснимательный мир; ни для кого, наконец, не тайна, что лучшие статьи по части пенкоснимательства (как, например, замечательнейшая статья «О необходимости содержания в конюшнях козлов») были помещены не в ней, а у нас или в дружеских нам литературных органах! Что же за причина того предпочтения, которым пользуется эта уважаемая газета? *(Прекрасно! Отлично! Браво!)*

Но мы отвлеклись от главного предмета нашей статьи, и должны сознаться, что две причины побудили нас к такому уклонению. Прежде всего — принципы справедливости. По-видимому, нам нет дела до того, кто и сколько получил предостережений, а равно и до того, кто и каким образом снимает пенки. Но это только по-видимому. Нам было бы несравненно приятнее быть самим на месте счастливцев, снимающих пенки в веселии сердца своего, нежели снимать таковые, посыпав главу пеплом, как мы это делаем. Во-вторых, к величайшему нашему удивлению, нас упрекают в каком-то простодушии и даже утверждают, что за простодушието мы и подвергаемся каре закона. Но этот упрек во всех отношениях несправедлив. Мы не только не простодушны, но, напротив того, обделываем свои дела, как дай бог всякому. *(Отлично! отлично!)* Мы и журналы издаем, и на суде защищаем, а быть может, участвуем и в акционерных компаниях. На нашей стороне все образованное русское чиновничество — и кто же знает? — быть может, не далеко то время, когда мы

будем снимать пенки в размерах не только обширных, но и неожиданных... И ужели, наконец, правительство настолько непроницательно, чтобы стеснять нас в проявлении такого совершенно неопасного для него качества, как простодушие? Вот в том-то и дело, милостивые государи, что мы далеко не так просты, как это может показаться, судя по некоторым из наших передовых статей!

Но мы отвлеклись опять, и потому постараемся сдержать себя. Не станем бродить с пером в руках по газетному листу, как отравленные мухи, но выскажем кратко наши надежды и упования. По нашему мнению, от которого мы никогда ни на одну йоту не отступим, самые лучшие сроки для платежа налогов — это первое февраля и первое апреля. Эти же сроки наиболее подходящие и для экзекуций. И мы докажем это таким множеством фактов, которые заставят замолчать наших слишком словоохотливых противников.

Факты эти мы надеемся изложить в целом ряде статей, которые и будут постепенно появляться в нашей газете».

Нескладин кончил и необыкновенно чистыми, ясными глазами смотрел на всех. Пенкосниматели были в восторге и поздравляли счастливого передовика, предвкушая заранее тот ряд статей, который он обещал им. Но я, признаюсь, был несколько смущен. Я испытывал то самое ощущение, которое испытывает человек, задумавший высморкаться, но которому вдруг помешали выполнить это предприятие. Я, так сказать, уж распустил уши: я ожидал, что вот-вот услышу ссылки на «Статистический временник» министерства внутренних дел, на примеры Англии, Франции, Италии, Пруссии, Соединенных Штатов; я был убежден, что будет навеки нерушимо доказано, что в апреле и феврале происходят самые выгодные для плательщиков сделки, что никогда базары не бывают так людны, и что, наконец, только нахалы, не знающие литературных приличий, могут утверждать, и т. д.,— и вдруг пауза, сопровождаемая лишь угрозой целого ряда статей! Каково жить в ожидании выполнения этой угрозы!

Казалось, и Менандр отчасти разделял мое чувство. По крайней мере, физиономия его в эту минуту не выражала особенной восторженности.

— Статья превосходна,— сказал он,— но жаль, что вы прервали вашу речь на самом интересном месте!

— А я, напротив того, сделал это даже с умыслом! — отвечал Нескладин, улыбаясь язвительно.

— Именно, именно! — подхватили прочие пенкосниматели.

— Статья, которая обещает другую статью,— объяснил Нескладин,— из которой, в свою очередь, должна выйти

третья статья, и так далее,— всегда производит особенное впечатление на тех, до кого она касается.

— Совершенно справедливо!

— Она держит противников в тревоге, а для публики составляет своего рода загадку. Ведь мне ничего бы не стоило разом написать столбцов десять или двенадцать, но я именно хотел сначала несколько заинтересовать публику, а потом уж и зарядить дней на двадцать!

— Да; очень может быть, что вы и правы! — как-то уныло отозвался Менандр.

— Вторая статья у меня уж почти готова, то есть готовы рамки. «В прошедший раз мы обещали нашим читателям», «таким образом, из сравнения статистических данных оказывается», «об этом интересном предмете мы побеседуем с читателем в следующий раз» — все это уж сложилось в моей голове. Затем остается только наполнить эти рамки — и дело с концом.

После этого вечер, видимо, начинал приходить к концу, так что некоторые пенкоснимателн уже дремали. Я, впрочем, понимал эту дремоту и даже сознавал, что, влачи я свое существование среди подобных статей, кто знает — быть может, и я давно бы заснул непробудным сном. Ни водки, ни закуски — ничего, все равно как в пустыне. Огорчение, которое ощутил я по этому случаю, должно быть, сильно отразилось на моем лице, потому что Менандр отвел меня в сторону и шепнул:

— Пусть уйдут! Мы с тобой выпьем и закусим.

И действительно, едва скрылся в переднюю последний гость, как Менандр повел меня в столовую, где была накрыта роскошная закуска, украшенная несколькими бутылками вина.

— Помянем, брат, доброе старое время! — воскликнул Менандр, наливая рюмку водки,— хорошо тогда было!

— А теперь разве...

— Да как тебе сказать! Уважаю я этих господ, очень уважаю, а коли правду сказать, прескучно с ними! Не едят, не пьют, всё передовые статьи пишут!

— А мы с тобой и до сих пор помним старую пословицу: «Потехе время и делу час»!.. Так, что ли, душа моя?

— Да, голубчик, этак-то лучше. Право, иногда зло меня берет! Брошу, думаю, всех этих анафем! Хоть в лес, что ли, от них уйти!

— Ну, брат, это такие молодцы, что и в лесу сыщут!

— Отыщут, дружище! отыщут! (Менандр как-то безнадежно вздохнул.) Кстати: как тебе понравилась статья Нескладина?

— Да как бы тебе сказать? Странно как-то. В заголовке, во-первых, *Санктпетербург,* во-вторых, *30-го мая,*— зачем это? Ведь, коли говорить правду, статья нимало не проиграла бы, если б в заголовке поставить: *Остров Голодай, 31-го мартобря.*

— Именно, брат, *мартобря.* Жилы они из меня этим мартобрем вытянули. Как ни возьмешь в руки газету — так от нее мартобрем и разит!

— А я ведь вчера подумал, что ты один из искреннейших пенкоснимателей! А ты, брат, как видно, тово...

— Ах, жизнь они мою отравили! Самого себя я проклял с тех пор, как они меня сетями своими опутали... Ты еще не знаешь, какой ужасный человек этот Неуважай-Корыто!

Эта исповедь поразила меня, но сомневаться в искренности ее было невозможно.

Менандр действительно страдал; на глазах у него были слезы, а когда он произнес фамилию Неуважай-Корыто, то даже затрясся весь.

— Ну, скажи на милость,— продолжал Менандр с возрастающею горечью,— разве Белинский, Грановский... ну, Добролюбов, Писарев, что ли... разве писали они что-нибудь подобное той слюноточивой канители, которая в настоящее время носит название передовых статей?

— Знаешь, оно не то чтобы что... а действительно глуповато как-то!

— Глуповато! нет, ты заметил ли, что этот Нескладин нагородил? Это, брат, уж не глуповато, а глуповатище! Выпьем, брат, вот что!

Выпили.

— Ты не знаешь, как они меня истязают! Что они меня про себя писать и печатать заставляют! Ну, вот хоть бы самая статья «О необходимости содержания козла при конюшнях» — ну, что в ней публицистического! А ведь я должен был объявить, что автор ее, все тот же Нескладин, один из самых замечательных публицистов нашего времени! Попался я, брат,— вот что!

Выпили вновь.

— Ты не знаешь,— продолжал Менандр,— есть у меня вещица. Я написал ее давно, когда был еще в университете. Она коротенькая. Я хотел тогда поместить ее в «Московском наблюдателе»; но Белинский сказал, что это бред куриной души... Обидел он меня в ту пору... Хочешь, я прочту ее тебе?

— Сделай милость, голубчик!

Менандр вскочил и устремился в кабинет.

— Вот она,— сказал он, возвращаясь ко мне с листочком

почтовой бумаги,— и называется «История маленького погибшего дитяти». Одну минуту внимания — и ты узнаешь исповедь моей души.

Вслед за тем он всхлипывающим от волнения голосом прочитал:

История маленького погибшего дитяти

Новелла

«Жило на свете маленькое дитя. И оно задолжало. Оно любило леденцы, грецкие орехи и пастилу в палочках. И когда продавец сластей приступил к нему с требованием уплаты, дитя, опасаясь тюрьмы, обратилось к могущественным людям, указывая на свое рубище и на свои способности. И что оно без пастилы жить не может. Тогда могущественные люди сказали ему: хорошо! мы поможем тебе! Но ты должно поступить в шайку пенкоснимателей и отнимать жизнь у всякого, кто явится противником пенкоснимательству! И оно поступило в шайку пенкоснимателей и поклялось отнимать жизнь; но таковой до сих пор ни у кого отнять не могло. Такова история маленького погибшего дитяти».

Конец

— Теперь ты меня понял, надеюсь? Вот еще когда я провидел это гнусное пенкоснимательство! — воскликнул Менандр, грузно приникая головой к столу.

Я сжал его руку, и так как горе его было неподдельно, то постарался утешить его.

— Послушай, друг мой! — сказал я,— обстоятельства привели тебя в лагерь пенкоснимателей — это очень прискорбно, но делать нечего, от судьбы, видно, не уйдешь. Но зачем ты непременно хочешь быть разбойником? Снимал бы себе да снимал пенки в тиши уединения — никто бы и не подумал препятствовать тебе! Но ты хочешь во что бы то ни стало отнимать жизнь!! Воля твоя, а это несправедливо.

— Кто? я-то хочу отнимать жизнь? Господи! да кабы не клятва моя! Ты не поверишь, как они меня мучают! На днях — тут у нас обозреватель один есть — принес он мне свое обозрение... Прочитал я его — ну, точно в отхожем месте часа два просидел! Гроша у него за душой нет, а он так и лезет, так и скачет! Помилуйте, говорю, зачем? по какому случаю? Недели две я его уговаривал, так нет же, он все свое: нет, говорит, вы клятву дали! Так и заставил меня напечатать!

— Странно мне во всем этом одно: если вы, как ты уве-

ряешь, выступаете прямо с намерением отнимать жизнь у всякого, кто не занимается пенкоснимательством, то отчего же и у вас не отнимут жизни? ведь это, кажется, очень нетрудно!

— Нет, брат, теперь это очень и очень даже трудно. Если бы прихлопнули нас в то время, когда мы только что начинали разводить нашу канитель,— ну, тогда, точно, это было бы нетрудно. Тогда и публике оно было бы понятнее, да и у нас кое-какая совесть еще была. А теперь, когда мы и сами вошли во вкус, да и публику отуманило наше пенкоснимательство,— ничего ты с нами не поделаешь! Как ты ни прижимай меня к стене — во-первых, с меня нечего взять... гол, братец, я как сокòл! а во-вторых, я все-таки до последнего издыхания буду барахтаться и высовывать тебе язык! Я, брат, отлично эту штуку понял, что покуда я барахтаюсь — какие бы я пошлости ни говорил, публика все-таки скажет: эге! да этот человек барахтается, стало быть, что-нибудь да есть у него за душой! Впрочем, что толковать об этом! выпьем!

Менандр несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, потер себе лоб и сказал:

— Да; нет мне от них спасения! Эй! Кто тут! отнести статью господина Нескладина в типографию! Теперь газета наша обеспечена. Он, по крайней мере, нумеров пятнадцать будет закатывать по семи столбцов!

Менандр посмотрел на меня и разразился хохотом.

— А я еще тебя хотел завербовать в нашу газету! — воскликнул он,— нет, уж лучше ты не ходи... не ходи ты ко мне, ради Христа! Не раздражай меня! Белинский! Грановский! Добролюбов... и вдруг Неуважай-Корыто! Черт знает что такое!

Менандр вытянул руку во всю величину и повторил: Неуважай-Корыто! Я, в свою очередь, взглянул на него: он был пьян.

Между тем розоперстая аврора уже смотрела во все окна и напоминала о благодеяниях сна.

— Прощай, брат!.. Пожалуйста! прошу тебя, ты ко мне не приходи! Покойной тебе ночи, а я пойду екатеринославскую корреспонденцию разбирать. Там, брат, нынче сурки все поля изрыли — вон оно куда пошло!

Мы вошли в переднюю, и, о ужас! — застали там самого Неуважай-Корыто, который спал на лавке или притворялся спящим.

— Он нас подслушивал! — шепнул мне Менандр.

Неуважай-Корыто между тем протирал глаза и бормотал:

— А я калоши искал, да, кажется, и заснул. Боже! четвертый час! А мне еще нужно дописать статью «О типе древ-

ней русской солоницы»! Менандр Семеныч! а когда же вы напечатаете мою статью: «К вопросу о том: макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножей»?

Но Менандр смотрел на него осовелыми глазами и мычал что-то совсем несообразное...

— Закусывали?! — язвительно заметил Неуважай-Корыто и стал отыскивать калоши.

В углу, действительно, стояли огромные зимние боты, в которые Неуважай-Корыто и обул свои ноги, к величайшему изумлению «веселого мая», выглядывавшего в окна.

Мы очутились на улице вдвоем с Неуважай-Корыто. Воздух был влажен и еще более неподвижен, нежели с вечера. Нева казалась окончательно погруженною в сон; городской шум стих, и лишь внезапный и быстро улетучивавшийся стук какого-нибудь запоздавшего экипажа напоминал, что город не совсем вымер. Солнце едва показывалось из-за домовых крыш и разрисовывало причудливыми тенями лицо Неуважай-Корыто. Верхняя половина этого лица была ярко освещена, тогда как нижняя часть утопала в тени.

Несколько минут мы шли молча.

— Нет, вы решительно не понимаете меня! — вдруг воскликнул Неуважай-Корыто, круто останавливаясь. И, видя, что лицо мое выражает недоумение, продолжал: — Не зная пенкоснимательства, вы, конечно, не можете постичь те наслаждения, которые сопряжены с этим занятием!

— Да; я почти незнаком с этим делом...

— Вот почему оно и кажется вам легкомысленным. Вы не знаете восторгов, которые охватывают все существо человека, когда он вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, открывает, что Чурилка — совсем не Чурилка.

Он снял с себя картуз; волоса на голове у него растрепались; глаза горели диким блеском.

— Вы думаете, что тут дело идет только о Чурилке? — продолжал он,— нет, тут захватываются авторитеты... эти презренные, ненавистные кумиры, которым мы, к стыду нашему, до сих пор еще поклоняемся. Нет, я не просто пенкоснимательство, я радикал пенкоснимательства! Погодин! Карамзин! Бодянский! Забелин! вы все, которые с помощью Чурилок нашли себе доступ в храм истории,— я проклинаю вас! А меня даже мальчишки на улицах дразнят, что я занимаюсь Чурилками! И никто не хочет понять, что Чурилка — только предлог, который позволяет мне удовлетворить моей страсти разрушения! Погодин! проклинаю! проклинаю! проклинаю!

Последнее заклинание он выкрикнул так громко, что дремавший вблизи городовой проснулся и сделал под козырек.

— Знаете ли вы,— продолжал он,— что я боготворю Оффенбаха! Оффенбах — да ведь это само отрицание! А между тем я вынужден защищать Даргомыжского и Кюи — не горько ли это?

— Позвольте! но ежели вы нашли в себе достаточно силы, чтобы отставить Чурилку, то почему бы вам не поступить точно таким же образом и относительно Кюи?

— Не могу! тут есть одно недоразумение!

Неуважай-Корыто повертелся несколько секунд на месте, как бы желая нечто объяснить, потом поспешно надел картуз на голову, махнул рукой и стал быстро удаляться от меня. Через минуту, однако ж, он остановился.

— Но эта минута настанет! — крикнул он мне,— я уничтожу их! Я утоплю в ложке воды и Даргомыжского, и Цезаря Кюи! Я сниму с них маску!! Сниму!!

VII

Некомпетентность «пенкоснимателей» в вопросах жизни не подлежала сомнению. Ясно, что это люди унылые, безнадежно ограниченные и притом злые и упорные. Они способны бесконечно ходить вокруг живого дела, ни разу не взглянув ему в лицо. В литературе, сколько-нибудь одаренной жизнью и сознающей свое воспитательное значение, существование подобных деятелей было бы немыслимо; в литературе, находящейся в состоянии умертвия, они имеют возможность не только играть роль, но даже импонировать и детские пеленки, детский разрозненный лепет «ба-ля-ма-а» выдавать за ответы на запросы жизни.

Среди этой груды мертвых тел Неуважай-Корыто — единственная личность, к которой можно чувствовать симпатию. По крайней мере, это человек убежденный и чего-нибудь достигающий. Он, не переставая долбить в одну точку, рано или поздно непременно что-нибудь выдолбит. Его специальность — царство мертвых. В этом царстве, сражаясь с Чурилками и исследуя вопрос о том, макали ли русские цари в соль пальцами, он может совершить тьму подвигов, не особенно славных и полезных, но, в применении к царству теней, весьма приличных. Но зачем понадобилось его участие в деле, имеющем претензию на жизнь? Или Менандру во что бы то ни стало необходимо было, чтоб в этом сонмище мертвых тел, притворяющихся живыми, было хоть одно подлинно мертвое тело?

Я уверен, что Неуважай-Корыто глубоко презирает и Менандра, и Нескладина, и всех остальных притворщиков. Притворство не в его характере. Зачем притворяться живыми, когда мы мертвы и когда нет положения более почтенного, как положение мертвого человека? — так убеждает он своих сопенкоснимателей. И ежели он, за всем тем, якшается с ними, то потому только, что как ни изловчаются они казаться живыми, все-таки не могут не быть мертвыми.

Разочаровавшись в Менандре, я решился не обращаться более к литературе. К чему? — литература умерла или убита; она отказалась от поисков в области мысли и всецело обратилась к пенкоснимательству. Пенкоснимательство — не какое-нибудь частное явление; это болезнь данной минуты. Это общее понижение мыслительного уровня до той неслыханной степени, которая сама себе отыскала название пенкоснимательства. Очевидно, что литературная мысль утратила ясность и сделалась неспособною не только давать практические решения по вопросам жизни, но даже определять характер и значение последних. Литература уныло бредет по заглохшей колее и бессвязно лепечет о том, что̀ первое попадется под руку. Творчество заменено словосочинением; потребность страстной руководящей мысли заменена хладным пережевыванием азбучных истин. Каким горьким процессом дошла литература до современного несносного пенкоснимательного бормотания? Было ли тут насильство, или же измельчание произошло вследствие непростительного самопроизвольного неряшества?

Что внешний гнет играл здесь немалую роль — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но, признаюсь, в моих глазах едва ли не важнее вопрос: сопровождалось ли это вынужденное измельчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность от случайностей, или, по малой мере, обеспечить писателя на случай вынужденного бездействия? Вот на эти-то вопросы я и не берусь отвечать. Я могу только догадываться, что ежели литература, даже по вопросам самосохранения, неспособна прийти к единомыслию, а способна только предаваться взаимным заушениям по поводу выеденного яйца, то ее вынужденное измельчание равняется измельчанию самопроизвольному.

Мы со всех сторон слышим жалобы на ненадежность литературной профессии, и между тем ни один из ожиревших каплунов, занимающихся антрепренерством пенкоснимательства, пальца о палец не ударит, чтоб прийти на помощь или, по малой мере, возбудить вопрос об устранении этой ненадежности. Литературное дело идет заведенным издревле порядком к

наибыстрейшему наполнению антрепренерских карманов, а писатель-труженик, писатель, полагающий свою жизнь в литературное дело, рискует, оставаясь при убеждении, что печать свободна, в одно прекрасное утро очутиться на мостовой...

Но как бы там ни было, а в результате оказывается какое-то безнадежное утомление. Писателю не хочется писать, читателю — противно читать. Взял бы бросил все и ушел — только куда бы ушел? Необходимость что-нибудь высказать является результатом не внутренней подстрекающей потребности духа, а известным образом сложившихся внешних обстоятельств. Нужно к известному сроку дать известное количество печатного материала — в этом одном вся задача. Это бремя, не имеющее в себе ничего привлекательного, а в большинстве случаев даже небезопасное. Понятно, что выходит бессвязный детский лепет, с тою разницею, что последний естествен и свободен, тогда как так называемые капитальные произведения литературы имеют характер жалкой вымученности. Понятно также, что и читатель пропускает мимо все эти так называемые капитальные произведения русской журналистики и обрушивается на мелкие известия и стенографические отчеты. Тут, по крайней мере, он имеет дело с фактом, не отравленным пенкоснимательными рассуждениями о том, что все на свете сем превратно, все в сем свете коловратно.

Но для пенкоснимателей это время все-таки самое льготное.

Повторяю: в литературе, сколько-нибудь одаренной жизнью, они не могли бы существовать совсем, тогда как теперь они имеют возможность дать полный ход невнятному бормотанию, которым преисполнены сердца их. Наверное, никто их не прочитает, а следовательно, никто и не обеспокоит вопросом: что сей сон значит? Стало быть, *для них* выгода очевидная.

Прежде всего положение пенкоснимателей относительно так называемых «карательных мер» самое благонадежное, и ежели они за всем тем жалуются, что им дано мало свободы, то это происходит отчасти вследствие дурной привычки клянчить, а отчасти вследствие того, что они все-таки забывают, что при большей свободе *они совсем не могли бы существовать*. В самом деле, что такое «пенкоснимати»? — Это недоконченный, лишенный самостоятельной жизни организм, который может водиться только в запертом наглухо и никогда не проветриваемом помещении. Откройте окна и двери, пустите струю свежего воздуха — и паразиты мгновенно исчезнут. Ужели же пенкоснимати навеки осуждены не понимать, что

ежели современное их существование не вполне совершенно, то все-таки оно лучше, нежели то *не*существование, на которое они были бы обречены при более благоприятных для печатного слова условиях?

Что бы ни говорили пенкоснимателн, никто не поверит, чтобы относительно свободы тянуть канитель когда-нибудь и где бы то ни было возможны были препятствия. Если же таковые, к удивлению, и встречаются, то это не больше как плод минутного недоразумения, рассеять которое не составляет никакого труда. И пенкоснимателн, и их случайные карателн стоят так близко друг к другу, что серьезной вражды между ними невозможно предположить. Иногда они не понимают друг друга — это, конечно, дело возможное; но причина этого явления заключается не в чем-либо существенном, а просто в том озорстве, которому, по временам и притом всегда без надобности, предаются пенкоснимателн. Им хочется казаться самостоятельными, не быв оными,— и вот они начинают критиковать, придираться и дразнить. Так, например, если действительность в известных случаях гласит: за такое-то деяние — семь лет каторги, то пенкоснимателн непременно сочтет за долг доказывать, что было бы и справедливее и целесообразнее уменьшить этот срок до шести лет одиннадцати месяцев двадцати девяти дней двадцати трех часов пятидесяти пяти минут. Но мало того, что он будет утверждать это, он станет упрекать действительность в бесчеловечии, начнет дразниться своим открытием, будет без конца приставать с ним и оттачивать об него свое гражданское мужество. И действительно, в конце концов, по недоразумению, так раздразнит, что сейчас ему — в лоб камнем. Ясно, однако ж, что этот камень повредит ему лоб совсем не за сбавку пяти минут каторги, а за то: не дразнись! не проедайся! не приставай!

Следовательно, нужно только перестать дразнить — и дело будет в шляпе. Не пенкоснимательство пугает, а претит лишь случайный вкус того или другого вида его. Один вид на вкус сладковат, другой кисловат, третий горьковат; но и тот, и другой, и третий — все-таки представляют собой видоизменения одного и того же пенкоснимательства — и ничего больше.

Вторая выгода, которою пользуются пенкоснимателн, заключается в том, что их ни под каким видом ни уследить, ни уличить невозможно. Нет у них ничего, а потому и ухватить их не за что.

Одна из характеристических черт пенкоснимательства — это враждебное отношение к так называемым утопиям. Не то чтобы пенкоснимателн прямо враждовали, а так, галдят. Всякий пенкоснимателъ есть человек не только ограниченный, но

и совершенно лишенный воображения; человек, который самой природой осужден на хладное пережевывание первоначальных, так сказать, обнаженных истин. Наделите самого ограниченного человека некоторым количеством фантазии, он непременно устроит себе уголок, в котором будет лелеять какую-нибудь заветную мечту. Мечты эти будут, конечно, не важные: он будет мечтать или о возможности выиграть двести тысяч, или о том, что хорошо было бы завоевать Византию, или о том, наконец, в Москве или в Киеве надлежит быть сердцу России. Но, во всяком случае, у него будет нечто свое, заветное, к чему можно отнестись критически, чем можно разбередить его умственные силы. Пенкосниматель не только свободен от всех мечтаний, но даже горд этой свободой. Он не понимает, что утопия точно так же служит цивилизации, как и самое конкретное научное открытие. Он уткнулся в забор и ни о чем другом, кроме забора, не хочет знать. Не хочет знать даже, существуют ли на свете иные заборы, и в каком отношении находятся они к забору, им созерцаемому. И всех, кто напоминает ему об этих *иных* заборах, он называет утопистами, оговариваясь при этом, что только литературные приличия не дозволяют ему применить здесь название жуликов. «Ковыряй тут, а не в ином месте, ибо только тут обретешь искомый навоз!» — вещает он глубокомысленно и забрызжет с ног до головы всякого, кто позволит себе не последовать его вещаниям.

Таким образом, с точки зрения фантазии, пенкосниматель неуязвим. Нет у него ее, а следовательно, и доказывать ему необходимость этого элемента в литературе и жизни — значит только возбуждать в нем смех, в котором простодушие до такой степени перемешано с нахальством, что трудно отличить, на которой стороне перевес.

Бог с ними, однако ж, с утопиями, если уж этому выражению суждено наводить страх на всех, кому нужны страшные слова, чтобы замаскировать ими духовную нищету. Но ведь и помимо утопий есть почва, на которой можно критически отнестись к действительности, а именно та почва, на которой стоит сама действительность. Ограничьте конкретность факта до самой последней степени, доведите ее до самой нищенской наготы,— вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пенкоснимательными усилиями факт имеет и свою историю, и свою современную обстановку, и свои ближайшие последствия, не касаясь уже отдаленного будущего. Разъяснить эту обстановку факта, определить путь, которому он должен следовать, не извращая своего внутреннего смысла,— все это уже совсем не утопия, а именно та самая почва факта, на которой

он стоит в действительности. Но пенкоснимателъ, постоянно твердя о конкретности фактов, даже и здесь выказывает лишь бессилие. Твердя о конкретности, он разумеет совсем не конкретность, а разрозненность, а потому все, что имеет вид обобщения, что напоминает об отношении и связи,— все это уже не подходит под *его* понятие о конкретности и сваливается в одну кучу, которой дается название «утопия». Наше время — не время широких задач! — гласит он без всякого стыда: не расплывайся! не заезжай! не раздражай! Взирай прилежно на то, что у тебя лежит под носом, и далее не дерзай!

Как ни противна эта мутная пена слов, но она представляет своего рода твердыню, за которою, с полною безопасностью, укрывается бесчисленное пенкоснимательное воинство. Благодаря этой твердыне, пенкоснимателъ выскальзывает из рук своего исследователя, как вьюн, и уследить за случайными эволюциями его бродячей мысли все равно что уследить неуследимое. Конечно, коли хотите, и тут должна же существовать известная логическая последовательность, как была таковая и у тех харьковских юношей, которые от хорошего житья задумали убить ямщика; но для того, чтобы открыть эту последовательность и вынести для нее оправдательный вердикт, необходимо быть или всеоправдывающим присяжным будущего, или, по малой мере, присяжным харьковского окружного суда.

Возьмитесь за любое литературное издание пенкоснимательного пошиба, и вы убедитесь, как трудно отнестись критически к тому, что̀ никогда не знало никакого идеала, никогда не сознавало своих намерений. Это болото, в котором там и сям мелькают блудящие огоньки. Вот как будто брезжит нечто похожее на мысль; вот кажется, что пенкоснимателъ карабкается, хочет встать на какую-то точку. А ну-ко еще! еще, милый, еще! — восклицаете вы, мысленно натуживаясь вслед за пенкоснимателем. И вдруг, хвать-похвать,— туман, то есть бесконечное и лишенное всякого содержания бормотание! И заметьте, что пенкоснимателъ никогда не обескуражится своим бессилием, никогда не замолчит. Нет, он будет судить и рядить без конца; не может прямо идти — заедет в сторону; тут ползолотника скинет, там ползолотника накинет, и при этом будет взирать с такою ясностью, что вы ни на минуту не усомнитесь, что он и еще четверть золотника накинуть может, если захочет. Или вдруг на кого-нибудь накинется и начнет полемизировать, полемизировать точь-в-точь, как полемизируют между собой обыватели рязанско-тамбовско-саратовского клуба.

— Почему же вы так полагаете, Сидор Кондратьевич?

— Да уж так!

— Однако, Сидор Кондратьевич, нельзя же утверждать или отрицать, приводя в доказательство «да уж так»!

— Да уж помяните вы мое слово!

И он не выйдет из своего «да уж так!» до последнего издыхания, и дотоле не сочтет себя побежденным, доколе будет сознавать себя способным разевать рот и произносить «помяните мое слово!».

Поэтому, и с точки зрения конкретного факта, пенкоснимателъ точно так же обнажен, как и на почве утопий. От утопий он отворачивается, к конкретному же факту хотя и имеет приверженность, но приверженность слепую, чуждую сознательности. В обоих случаях он неуязвим, как и любой из уличных обывателей. Факт, представленный не одиноко, а в известной обстановке, для него такая же смешная абстракция, как Фаланстер или Икария. Требуйте от него отчета, доказывайте, прижимайте к стене — он все будет барахтаться и произносить свое «да уж так!». И над вами же, в заключение, вдосталь нахохочется. Нет, скажет, ты меня не поймаешь! Ловок ты, а я вот тебе каждый день язык показывать буду — и хоть ты что хочешь, а ничего со мной не поделаешь!

Но есть и еще почва, на которой пенкоснимателъ неуязвим,— это почва либерализма. Либерализм — это своего рода дойная корова, за которою, при некоторой сноровке и при недостатке бдительного надзора, можно жить припеваючи, как живали некогда целые поколения людей с хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исакиевского собора. Пенкоснимателъ выражается не особенно ясно, но всегда с таким расчетом, чтобы загадочность его была истолкована в либеральном смысле. Он умеет кстати подпустить: «мы говорим с прискорбием», или «ничто так не огорчает нас, как нападки на наши молодые, еще не окрепшие учреждения», и, разумеется, никогда не промолвится, что крепостной труд лучше труда свободного или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытых дверях. Нет, никогда; ибо склады либерализма известны ему в точности. Конечно, он все-таки ничего не смыслит ни в действительной свободе, ни в действительной гласности, но так как он произносит свои афоризмы совершенно так, как бы находился в здравом уме и твердой памяти, то со стороны может казаться, что он, пожалуй, что-нибудь и смыслит. И таким образом, в результате оказывается бесконечный обман, имеющий подкладкой одно самоуверенное нахальство. Вам говорят о благодеяниях свободного труда, но в то же время приурочивают его действие к такой бесконечно малой сфере, что,

в сущности, выходит лишь замаскированный крепостной труд. Вам повествуют о выгодах гласного суда, а на поверку выходит, что речь сводится к рекламам в пользу такого-то адвоката или судьи. И вся эта обнаженная канитель тянется с такою солидностью, что делается жутко за человеческую мысль. Дважды два — четыре, проповедует пенкосниматель и совершенно искренно верит, что дальше этой истины ничего уж нет, и что доискиваться каких-либо дальнейших комбинаций есть дело прихоти и продерзостного мальчишества.

Все эти три неуязвимости достойно прикрываются четвертою: солидностью. Способность говорить солидно и уверенно самые неизреченные пошлости есть именно та драгоценная способность, которою в совершенстве обладает всякий пенкосниматель. Это василиск празднословия, при встрече с которым надобно выбирать одно из двух: или плюнуть и бежать от него прочь, или обречь себя на выслушивание его. Никогда ни по какому вопросу он не придет к ясному выводу, но в то же время никогда ни по какому вопросу не спасует. Он будет плавно и мерно выпускать фразу за фразой и ожиданием вывода или заведет в ловушку, или доведет до исступления. Поэтому полезнее всего — это избегать всяких встреч с пенкоснимателями, ибо только этим способом можно оградить себя от дьявольского наваждения. Но существуют люди слабые (увы! вселенная кишит ими!), которые не могут устоять перед взорами этих василисков и потому ввергаются в бездну празднословия. Вот в этих-то слабохарактерных личностях пенкоснимателя и черпают ту силу, которая так изумляет исследователей современности. И будут черпать ее до тех пор, пока литература не почувствует себя свободною от кошмара, который давит ее, или пока совсем не потонет в океане бессмысленного бормотания...

Я долго блуждал по Выборгской, заглянул в Лесной, но вспомнил, что здесь главный очаг наших революций, и отправился на Охту, где отяжелелыми от сна глазами оглядел здания пороховых заводов.

Проведенный вечер не выходил из головы моей. Впрочем, из всех индивидуумов, которые играли в нем роль, я оплакивал лишь двоих: русскую литературу и Менандра. Все прочие были так счастливы и довольны собой, казались до того на своем месте, что и жалеть об них не было ни малейшего повода. Они кружились и играли, как мошки на солнце, и, кружась и играя, конечно, довлели сами себе, как выражалась критика сороковых годов. Пенкоснимательство было их назна-

чением, их провиденциальною ролью. Они родились именно тогда, когда началось пенкоснимательство, и умрут тогда, когда пенкоснимательство кончится. Но литература, но Менандр... воля ваша, а я и до сих пор не могу примириться с мыслью, что они самопроизвольно заразились этою язвою. Мне все кажется, что это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке.

Сравните литературу сороковых годов, не делавшую шага без общих принципов, с литературой нынешнею, занимающеюся вытаскиванием бирюлек; сравните Менандра прежнего, оглашавшего стены «Британии» восторженными кликами о служении высшим интересам искусства и правды, и Менандра нынешнего, с тою же восторженностью возвещающего миру о виденном в Екатеринославле северном сиянии... Какая непроглядная пропасть лежит между этими сопоставлениями!

Я не говорю, чтоб полезно и желательно было всецело воскресить сороковые года с их исключительным служением всякого рода абстрактностям, но не те или другие абстрактности дороги мне, а темперамент и направление литературы того времени. Никто не посмел бы крикнуть тогда: «наше время не время широких задач!» Напротив того, всякий рвался захватить как можно шире и глубже. Говорят, что расплывчивость сороковых годов породила множество монстров, которые и дают себя знать теперь в качестве неумолимых гонителей всякого живого развития. Я и не отрицаю, что такие монстры действительно существуют, но отрицаю, чтоб их можно было считать представителями сороковых годов. Это схоластики, увлекавшиеся буквою и никогда не понимавшие ее смысла. Они только поддакивали, когда глубоко убежденные люди утверждали, что дело литературы заключается в разработке общих руководящих идей, а не подробностей. Но, увы! убежденные люди безвременно сошли в могилу, а схоластики остались, да еще остались старые болтуны, которые, как давно заброшенные часы, показывают всё тот же час, на котором застал их конец пятидесятых годов.

Правда, что тогда же был и Булгарин, но ведь и Булгарины бывают разные. Бывают Булгарины злобствующие и инсинуирующие, но бывают и добродушные, в простоте сердца переливающие из пустого в порожнее на тему, что все на свете коловратно и что даже привоз свежих устриц к Елисееву и Смурову ничего не может изменить в этой истине. Кто же может утверждать наверное, что современная русская литература не кишит как злобствующими, так и простосердечными Булгариными?

Среди этих горьких размышлений я очутился на Невском уже тогда, когда часы на Публичной библиотеке показывали одиннадцать. К довершению всего, у Петропавловской лютеранской церкви я неожиданно наткнулся на Прокопа, о котором думал, что он уже несколько дней тому назад отправился восвояси хлопотать о месте по части новых налогов.

— Ба! какими судьбами! а я думал, что ты уж уехал домой! — воскликнули мы оба в один голос.

А между тем из церкви выезжал довольно людный печальный кортеж. Невский в этом месте был запружен войсками, которые, при появлении траурных дрог, выстроились и под звуки похоронного марша двинулись по направлению к Смоленскому кладбищу.

— Что же ты здесь делаешь? ведь я думал, что ты уж давно дома и об месте хлопочешь,— обратился я к Прокопу.

— Нельзя, братец, делов много. Видишь, вот генерала хороню.

— Какого еще генерала?

— Фон Керль прозывался, из немцев. Признаться сказать, я только с неделю тому назад с ним в департаментской приемной познакомился, а четвертого дня, слышу, он холостым выстрелом застрелился.

— Ты врешь, душа моя!

— Истинным богом. Пистон разорвало, а он с испугу подумал, что его убило, да и умер.

— А вот еще сомневаются в существовании души! Ну, могли бы случиться такой факт, если б души не было? Но что за причина, что он покусился на самоубийство?

— Да года три сряду все по кавалерии числился; ну, натурально, местов искал, докладные записки во все министерства подавал. В губернаторы уж очень хотелось попасть! Мне бы, говорит, ваше превосходительство, какую-нибудь немудрящую губернию, в Петрозаводск или в Уфу... право!

— Скажите на милость! и не дали!

— Не дали. А он между тем, в ожидании, все до нитки спустил. Еще накануне происшествия я водил его на свой счет в греческую кухмистерскую обедать — смотреть жалость! Обносился весь! говорит. А теперь, гляди, с какой помпой хоронят!

— В самом деле, какая несправедливость! Отчего бы не дать? Ведь нынче, говорят, от губернаторов все отошло!

— Вот и он тоже говорил. Нынче, говорит, все от губернаторов отошло. Нужно только такт иметь да хорошего вице-губернатора. А на другой день, слышу, застрелился!

— И хороший, ты говоришь, генерал был?

— Одно слово, через Валдайские горы однажды перешел!

— Не через Балканские ли, душа моя?

— Верно говорю: через Валдайские. Через Балканские — это прежде бывало, а нынче и через Валдайские — спасибо скажи!

Кортеж между тем удалялся, и звуки похоронного марша уж довольно смутно доносились до нас.

— Ну, брат, я бегу! — спохватился Прокоп,— да ты что, свободен, что ли?

— Спать хочется, а то какие же у меня дела!

— Ну его, сон! успеем выспаться, как в деревню вернемся. Айда со мной на Смоленское! Там, брат, в кухмистерской на казенный счет поминки устроены, так кстати закусим и выпьем.

Я с минуту колебался, но времени впереди было так много, времени ничем не занятого, вполне пустопорожнего... Оказывалось решительно все равно, чем ни наполнить его: отданием ли последнего долга застрелившемуся холостым выстрелом генералу или бесцельным шаганием по петербургским тротуарам, захаживанием в кондитерские, чтением пенкоснимательных передовых статей, рассматриванием проектов об упразднении и посещением различного рода публицистических раутов. В самом деле, не рискнуть ли на Смоленское?

— Мы вот как сделаем,— продолжал между тем искушать Прокоп,— сперва генералу честь отдадим и в кухмистерской закусим, потом отправимся обедать к Дороту, а там уж и на Минералы рукой подать! Каких, брат, там штучек с последними кораблями привезли! Наперед говорю: пальчики оближешь!

Но согласие и без того уже виделось в глазах моих...

Похороны были, так сказать, выморочные. По-видимому, и сам покойный генерал был выморочный, ни в каком ведомстве не нужный генерал. Переход через Валдайские горы, в свое время составивший славу Фон Керля, был давно забыт; только немногие из сослуживцев, да и то большею частью из состоящих по кавалерии, почтили память усопшего. Ни родственников, ни хозяев печального торжества не было; распоряжался казначей того ведомства, на счет которого хоронили Фон Керля, но и его действия заключались единственно в уплате издержек по церемонии. Впрочем, на закуске, в ближайшей к кладбищу кухмистерской, было довольно оживленно. Собрались большею частью люди ни мне, ни Прокопу неизве-

стные, но нас так усердно потчевали, как будто мы были ближайшие родные покойного. Прокоп, по обыкновению, лгал, то есть утверждал, что сам присутствовал при том, как Фон Керль застрелился, и собственными ушами слышал, как последний, в предсмертной агонии, сказал: «Отнесите господину министру внутренних дел последний мой вздох и доложите его превосходительству, что хотя я и не удостоился, но и умирая остаюсь при убеждении, что для Петрозаводска... лучше не надо!»

Некоторые из сослуживцев-генералов облизнулись при этом, а один из них сказал:

— Вы обязаны исполнить волю покойного! Быть может, его высокопревосходительство тронется этим и хотя в отношении к другим будет не столь взыскателен!

— Непременно-с! непременно-с! — уверял Прокоп,— помилуйте! какого еще к черту губернатора надо!

По сцеплению идей, зашел разговор о губернаторстве, о том, что нынче от губернаторов все отошло и что, следовательно, им нужно только иметь такт. Прокоп стал было утверждать, что и совсем их не нужно, но потом сам убедился, что, во-первых, некому будет взыскивать недоимки, а во-вторых, что без хозяина, во всяком случае, как-то неловко. От губернаторства разговор опять возвратился к покойному и к славнейшему подвигу его жизни: к переходу через Валдайские горы.

— Скажите, пожалуйста! вы были свидетелем этого перехода? — обратился к Прокопу один из генералов.

— Еще бы! Я тогда юнкером в Белобородовском полку состоял; но так как покойный всегда особенно меня жаловал, то я у него почти за адъютанта служил. Только вот стоим мы, как сейчас помню, в Яжелбицах...

— Так, так! Это было при Яжелбицах! — воскликнули в один голос все генералы, словно чем-то обрадованные.

— Ну-с, стоим мы этак в Яжелбицах, а в это время, надо вам сказать, рахинские крестьяне подняли бунт за то, что инженеры на их село шоссе хотели вести [1]. Ну-с, хорошо. Только смотритель Яжелбицкой станции и говорит покойному: не угодно ли, говорит, вашему высокоблагородию — он тогда еще полковником был — ухи из форелей откушать? у нас, говорит, преотменные в озере ловятся! Разумеется, сейчас за мной: так и так, как ты думаешь, успеем ли мы уху съесть? «И думать, говорю, об ухе нечего!» Ну, поморщился мой полковник — са-

---

[1] Яжелбицы и Рахино — станции на Петербургско-Московском шоссе. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ми вы знаете, господа, какой он охотник покушать был,— однако видит, что моя правда, воздержался! Было это дело у нас, доложу вам, пятого июля, немного спустя после полдён...

— Так, так! Пятого июля! Так и в истории этого похода сказано!

— Ну, вот видите! Не лгу же я! Да и зачем лгать, коли сам собственными глазами все видел! Только вот, смотрю я, солнышко-то уж книзу идет, а нам в тот же день надо было покончить с Рахиным, чтобы разом, знаете, раздавить гидру — да и шабаш!

— Совершенно справедливо! Бунты — тут первое дело натиск и быстрота! А потом — вольным шагом, и по домам! — воскликнули генералы.

— Ну-с, только вот и говорит мой полковник смотрителю: нет, говорит, старик! мне, говорит, надо к двум часам вот эту гору взять, а к пяти часам чтобы в Рахино! Когда там покончим, тогда и уху к вам есть прибудем. А вы, господа, изволите ли знать Яжелбицкую-то гору?

— Как же, как же! ужаснейшая гора! — воскликнули генералы, из которых некоторые даже отмеривали руками.

— Ответивши таким манером смотрителю, покойный улыбнулся этак и говорит солдатикам: «А что, ребята, к пяти часам будем в Рахине?» Ну, разумеется: ради стараться! Сейчас — барабаны! Песенники вперед! на приступ! гора к черту! — и к пяти часам у нас уж кипел горячий бой под Рахиным! К шести часам гидра была при последнем издыхании, а в девять полковник уж был в Яжелбицах и говорил мне: ну, теперь я надеюсь, что и ты не скажешь, что я ухи не заслужил? И скушал разом целых три тарелки!

— Браво! браво! ну и нам теперь самое время выпить за покойного!

Быть может, время так и прошло бы в мирном веселии, если б Прокоп не выпил несколько лишних рюмок хересу и под их наитием не вздумал вступить в религиозный спор.

— Одно жаль,— сказал он,— не в нашей русской вере помер! Говорил я ему еще накануне смерти: окрестись, говорю, Карл Иваныч! Вспомни, куда ты идешь! По крайности, в царство небесное попадешь! с людьми будешь!

Генералы, из которых большинство были немцы, обиженно переглянулись между собой.

— Но позвольте узнать,— спросил один из них,— какие основания вы имеете, чтобы так низко ставить нашу святую евангелическую религию?

— Да такие основания, что она и не религия совсем!

— Однако имеете ли вы доказательства в пользу вашего мнения?

— Каких там еще доказательств! Не религия — и все тут! Ну, первое доказательство: ваша вера таинства погребения не признает — на что похоже!

— Но позвольте вам доложить, что такого таинства и в вашей русской религии не находится!

— Ну, уж это дудки!

— Однако ж это ужасно! — воскликнули хором генералы.

— У нас над покойником-то поют! — упорствовал Прокоп,— и дьякон и поп — честь честью в могилу кладут! А у вас что! пришел ваш пастòр, полопотал что-то, даже закусить с нами не захотел! На что похоже!

— Позволь, душа моя,— вступился я,— ведь действительно и у нас таинства погребения нет!

— Ну, нет так нет — не в том штука! А вот мы в святого духа верим, а вы, немцы, не верите!

— Позвольте же вам доложить...

— Нечего тут докладывать! Этак вы скажете, что и чухна белоглазая — и та в бога верит!

— Но это ужасно!

— Ужасно-то оно ужасно, только не нам! Вам будет ужасно — это так!

— Но позвольте вам сказать, милостивый государь, что мы так точно верим в святого духа, как бы он сейчас между нами был!

— Ну, между нами-то, пожалуй, сейчас его и нет! Это, брат, враки! А вот, что вы в Николая Чудотворца не верите — это верно!

— Но Николай — это совсем другое дело! Николай — это был очень великий человек!

— Боговдухновенный, сударь! Не «великий человек», а боговдухновенный муж! «Правило веры, образ кротости, воздержания учителю!» — вот что-с! — произнес Прокоп строго.— А по-вашему, по-немецки, все одно: Бисмарк великий человек, и Николай Чудотворец великий человек! На-тко выкуси!

Глаза у генералов постепенно расширялись; чиновники похоронного ведомства потихоньку посмеивались, а Прокоп разгорячался все больше и больше.

— Скажи это я, русский,— ораторствовал он,— давно бы у меня язык отнялся! А с вас, с немцев, все как с гуся вода!

Слово за слово, генералы так обиделись, что прицепили палаши, взяли каски и ушли. Прокоп остался победителем, но поминовенная закуска расстроилась. Как ни упрашивал казначей-распорядитель еще и еще раз помянуть покойного, строп-

тивость Прокопа произвела свое действие. Чиновники боялись, что он начнет придираться и, пожалуй, даже не отступит перед словом «прохвосты». Мало-помалу зала пустела, и не более как через полчаса мы остались с Прокопом вдвоем.

— Ну, скажи, пожалуйста, какая тебе была охота поднимать всю эту историю? — укорял я Прокопа.

— А по-твоему, в рот им смотреть?

— Как ты странно, душа моя, рассуждаешь! совсем с тобой правильного разговора вести нельзя!

— Нет, ты мне ответь: в рот, что ли, им смотреть! А я тебе вот что говорю: надоела мне эта немчура белоглазая! Я, брат, патриот — вот что!

— Но ведь здесь...

— И здесь, и там, и везде... везде я им нос утру! Поди-тка что выдумали: двести лет сряду в плену у себя нас держат!

Спорить было бесполезно, ибо в Прокопе все чувства и мысли прорывались как-то случайно. Сегодня он негодует на немцев и пропагандирует мысль о необходимости свергнуть немецкое иго; завтра он же будет говорить: чудесный генерал! одно слово, немец! и даже станет советовать: хоть бы у немцев министра финансов на подержание взяли — по крайности, тот аккуратно бы нас обремизил!

Когда мы вышли, солнце еще не думало склоняться к западу. Я взглянул на часы — нет двух. Вдали шагали провиантские и другие чиновники из присутствовавших на обеде и, очевидно, еще имели надежду до пяти часов сослужить службу отечеству. Но куда деваться мне и Прокопу? где приютиться в такой час, когда одна еда отбыта, а для другой еды еще не наступил момент?

— К Дороту, что ли? — раздумывал Прокоп,— да там, поди, и татары еще дрыхнут! А надо где-нибудь до пяти часов провести время! Ишь чиновники-то! ишь, ишь, ишь, как улепетывают! Счастливый народ!

Делать нечего, я должен был пригласить его ко мне.

— Ну, вот, и спасибо! Вздремнем часок, другой, а там и опять марш!

Но надежде на восстановляющий сон не суждено было осуществиться с желаемою скоростью. Прокоп имеет глупую привычку слоняться по комнате, садиться на кровать к своему товарищу, разговаривать и вообще ахать и охать, прежде нежели заснет. Так было и теперь. Похороны генерала, очевидно, настроили Прокопа на минорный тон, и он начал мне сообщать новость за новостью, одна печальнее другой.

— Да ты знаешь ли,— сказал он,— что на этих днях в Калуге семнадцать гимназистов повесились?

— Что ты! Христос с тобой!

— Верно говорю, что повесились. Не хотят по-латыни учиться — и баста!

— Да врешь ты! Если б что-нибудь подобное случилось, неужто в газетах не напечатали бы!

— Так тебе и позволили печатать — держи карман! А что повесились — это так. Вчера знакомый из Калуги на Невском встретился: все экзамены, говорит, выдержали, а как дошло до латыни — и на экзамен не пошли: прямо взяли и повесились!

— Однако, брат, это черт знает что!

— И я то же говорю. Такое, брат, это дело, такое дело, что я вот и не дурак, а ума не приложу.

Прокоп потупился, и некоторое время, сложив в раздумье руки, обводил одним указательным пальцем около другого.

— Нынче и дети-то словно не на радость,— продолжал он,— сперва латынь, потом солдатчина. Не там, так тут, а уж ремиза не миновать. А у меня Петька смерть как этой латыни боится.

— Ну, принудил бы себя! что за важность!

— И я ему то же говорил, да ничего не поделаешь. Помилуйте, говорит, папенька, это такой проклятый язык, что там что ни слово, то исключение. Совсем, говорит, правил никаких нет!

— Да нельзя ли попросить, чтоб простили его?

— Просил, братец! ничем не проймешь! Одно ладят: нынче, говорят, и свиней пасти, так и то Корнелия Непота читать надо. Ну, как мне после этого немцев-канальев не ругать!

Прокоп опять задумался, и некоторое время в комнате царствовало глубокое молчание, прерываемое лишь вздохами моего друга.

— А то слышал еще, Дракин, Петр Иванович, помешался? — вновь начал Прокоп.

— Господи! да откуда у тебя всё такие новости?

— Вчера из губернии письмо получил. Читал, вишь, постоянно «Московские ведомости», а там всё опасности какие-то предрекают: то нигилизм, то сепаратизм... Ну, он и порешил. Не стоит, говорит, после этого на свете жить!

— Скажите на милость! А какой здоровый был!

— Умница-то какая — вот ты что скажи! С губернатором ли сцепиться, на земском ли собрании кулеврину подвести — на все первый человек! Да что Петр Иванович — этому, по крайней мере, было с чего сходить — а вот ты что скажи:

с чего Хлобыстовский, Петр Лаврентьевич, задумываться стал?

— Неужто и он?

— Да, и от чего стал задумываться... от «Петербургских ведомостей»! С реформами там нынче всё поздравляют, ну вот он читал-читал, да и вообрази себе, что идет он по длинному-длинному коридору, а там, по обеим сторонам, всё пеленки... то бишь всё реформы развешены! Эхма! чья-то теперь очередь с ума сходить!

Новое молчание, новые вздохи.

— И что, братец, нынче за время такое! Где ни послышишь — везде либо запил, либо с ума сошел, либо повесился, либо застрелился. И ведь никогда мы этой водки проклятой столько не жрали, как теперь!

— От скуки, любезный друг!

— Именно, брат, от скуки. Скажу теперича хоть про себя. Ну, встанешь это утром, начнешь думать, как нынче день провести. Ну, хоть ты меня зарежь, нет у меня делов, да и баста!

— Да и у меня, душа моя, их немного.

— Вот, говорят, от губернаторов все отошло: посмотрели бы на нас — у нас-то что осталось! Право, позавидуешь иногда чиновникам. Был я намеднись в департаменте — грешный человек, все еще поглядываю, не сорвется ли где-нибудь дорожка,— только сидит их там, как мух в стакане. Вот сидит он за столом, папироску покурит, ногами поболтает, потом возьмет перо, обмакнет, и чего-то поваракает; потом опять за папироску возьмется, и опять поваракает — ан времени-то, гляди, сколько ушло!

— А нам с тобой деваться некуда!

— Пристанищев у нас нет никаких — оттого и времени праздного много. А и дело навернется — тоска на него глядеть! Отвыкли. Все тоска! все тоска! а от тоски, известно, одно лекарство: водка. Вот мы и жрем ее, чтобы, значит, время у нас свободнее летело.

— Да, душа моя, видно, остались мы с тобой за штатом!

— Не за штатом, а просто ни при чем. Ну, скажи на милость, кабы у тебя *свое* дело было, ну, пошел ли бы ты генерала хоронить? Или опять эти Минералы,— ну, поехал ли бы ты за семь верст киселя есть, кабы у тебя *свой* интерес под руками был?

— Так за чем же дело стало? Возьмем да и не поедем сегодня на Минералы!

— Ну, стало быть, в Шато-де-Флёр поедем, а уж туда либо сюда — не минешь ехать.

— Да отчего же! Посидим дома, пошлем за обедом в кух-

мистерскую, напьемся чаю, потолкуем... Может быть, что-нибудь да и найдется!

— Ничего не найдется. О том, что ли, толковать, что все мы под богом ходим, так оно уж и надоело маленько. А об другом — не об чем. Кончится тем, что посидим часок да и уйдем к Палкину, либо в Малоярославский трактир. Нет уж, брат, от судьбы не уйдешь! Выспимся, да и на острова!

Увы! Я должен был согласиться, что план Прокопа все-таки был самый подходящий. О чем толковать, когда никаких своих дел нет? А если не о чем толковать, то, значит, и дома сидеть незачем. Надо бежать к Палкину, или на Минерашки, или в Шато-де-Флёр, одним словом, куда глаза глядят и где есть возможность забыть, что есть где-то какие-то дела, которых у меня нет. Прибежишь — никак не можешь разделаться с вопросом: зачем прибежал? Убежишь — опять-таки не разделаешься с вопросом: зачем убежал? И всё-то так.

Наконец я заснул.

Чертог снял...

В саду, однако ж, было почти темно. Отблеск огней, которыми горело здание минеральных вод, превращал полумрак майской ночи в настоящую мглу. Публика с какою-то безнадежною апатией колотилась взад и вперед, не рискуя пускаться в аллеи более отдаленные и кружась в районе света, выходящего из окон здания. Тут же, на площадке, волочили свои шлейфы современные Клеопатры из Гамбурга. По бокам площадки, около столиков, ютились обоего пола посетители и истребляли всякого рода влагу. В разных местах, на покрытых эстрадах, мерцали огни, и раздавались звуки музыки, которые, благодаря влажности воздуха, даже в небольшом расстоянии доходили до слуха в виде треска. Несмотря на то что толпа была довольно компактная, говор стоял до такой степени умеренный, что мы, войдя в сад, после шума и стука съезда, были как бы охвачены молчанием. По временам слышалось бряцание палаша и раздавался крик: человек! похожий на крик иволги в глухом лесу. Сырость была несносная, пронизывающая.

Странное дело! я и прежде нередко посещал это заведение, и довольно коротко знаю его публику, но и до сих пор, входя в сад, не могу избавиться от чувства некоторой неловкости. Посмотришь кругом — публика ведет себя не только благонравно, но даже тоскливо, а между тем так и кажется, что вот-вот кто-нибудь закричит «караул», или пролетит мимо развязный кавалер и выдернет из-под тебя стул, или, наконец, просто

налетит бряцающий ташкентец и предложит вопрос: «А позвольте, милостивый государь, узнать, на каком основании вы осмеливаетесь обладать столь наводящей уныние физиономией?» А там сейчас протокол, а назавтра заседание у мирового судьи, а там апелляция в съезд мировых судей, жалоба в кассационный департамент, опять суд, опять жалоба,— и пошла писать. Положим, что подобные происшествия случаются редко, тем не менее тревожное чувство, подсказывающее возможность чего-нибудь в этом роде, несомненно существует, и я уверен, существует не у меня одного.

В этот вечер тревожное чувство давало себя знать как-то сильнее обыкновенного. Очевидно, я одичал, одичал в Петербурге, в самом разгаре всякого рода утех. В течение полугода я испытал все разнообразие петербургской жизни: я был в воронинских банях, слушал Шнейдершу, Патти, Бланш Вилэн, ходил в заседания суда, посетил всевозможные трактиры, бывал на публицистических и других раутах, присутствовал при защите педагогических рефератов, видел в «Птичках певчих» Монахова и в «Fanny Lear» Паску, заседал в Публичной библиотеке и осмотрел монументы столицы, побывал во всех клубах, а в Артистическом был даже свидетелем скандала; словом сказать, только в парламенте не был, но и то не потому, чтобы не желал там быть, а потому, что его нет. И несмотря на все это, я одичал. Может быть, это от вина, а может быть, и от того, что разговоры постоянно слышу какие-то пенкоснимательно-несообразные,— как бы то ни было, но куда бы я ни пришел, везде мне кажется, что все глаза устремлены на меня, и во всех глазах я читаю: а ты зачем сюда пожаловал? И вот, как только мелькнет этот вопрос в моей голове, мне делается совестно. И я начинаю робеть и смущаться, и воображать, что вот этот, например, усатый господин, который, гремя палашом, мчится в мою сторону, мчится не иначе как с злостным намерением выдернуть из-под меня стул.

Напрасно напрягал я взоры в темноту — я никого не мог различить. Даже кокотки были как будто все на одно лицо, и только по большей или меньшей смелости жаргона можно было различить большую или меньшую знаменитость. Были такие, около которых раздавалось непрерывное бряцание,— это, конечно, самые счастливые, имевшие в перспективе ужин у Бореля и радужную бумажку; но были и такие, которые кружились совсем-совсем одни и, быть может, осуждены были на последние два двугривенных нанять ваньку, чтоб вернуться на Вознесенский проспект или в Подьяческую. Прокоп был счастливее меня; он как-то и в тьму ухитрялся проникнуть, и беспрестанно толкал меня в бок, спрашивая: «Это кто?.. вон,

высокий в плаще?» или: «А этот вон, в белом жилете. с закрученными усиками... это директор департамента, кажется? Ну да, он! он и есть!»

Мы с полчаса самым отчаянным образом бременили землю, и в течение всего этого времени я не имел никакой иной мысли, кроме: «А что бы такое съесть или выпить?» Не то чтобы я был голоден,— нет, желудок мой был даже переполнен,— а просто не идет в голову ничего, кроме глупой мысли о еде. Вот долетел до ушей треск контрабаса, и вдруг опять все стихло, хотя и видно, что на эстраде какой-то мужчина не переставая махает палочкой, а другие мужчины то поднимают, то опускают смычки. А мы всё ходим и ходим, как будто чего-то ждем. Наконец, несмотря на то что прошло с приезда не более двадцати минут, начинаем ощущать адскую усталость. И вот в ту самую минуту, когда я уже порешил, что самое подходящее в настоящем случае: выпить коньяку,— раздался звонок, призывающий в залу представлений. Господи! как же обрадовались мы этому звонку! с каким импетом рванулись в залу театра! и как рванулись вместе с нами все эти бесприютные, чающие движения воды, которые ни к чему в жизни не могли приладиться, кроме бряцания, кокоток и шампанского!

Вдруг, при входе в зал, среди толпы, я встречаю того самого товарища, который, если читатель помнит, водил меня смотреть Шнейдершу. Он был окружен еще двумя-тремя старыми товарищами, которые, по обыкновению, юлили около него.

— А! провинциал! А я ведь думал, что ты давно в своей классической Проплёванной! Пришел смотреть Claudia? Quelle verve! Sapristi! [1]

Затем Нагибин (фамилия моего товарища) нагнулся к моему уху и таинственно шепнул:

— А ведь я к вам, в губернию... mais chut! [2]

— Как? уже помпадуром?! Поздравляю!!

— Да, душа моя. Я решился принять. Ce n'est pas le bout du monde, j'en conviens, mais en attendant, c'est assez joli... [3] Я на тебя надеюсь! Ты будешь содействовать мне! C'est convenu! [4] Впрочем, отсюда мы отправляемся ужинать к Донону, и, разумеется, ты с нами!

Сказав это, Нагибин пожал мне руку и проследовал с своими спутниками в первые ряды.

---

[1] Какое вдохновение! Черт побери!

[2] но тсс!

[3] Это не бог весть что, согласен, но в ожидании лучшего это недурно...

[4] По рукам!

Признаюсь, это известие взволновало меня. Откровенно говоря, первое чувство, заговорившее во мне, было дрянное чувство зависти. Ну, за что? — думалось мне: за что? Вот он теперь «Le sire de Porc-Epic» [1] будет слушать, с кокотками переглядываться —ну, и сидел бы тут, и переглядывался бы! И самое место тебе, молокососу (я даже забыл, что, называя Нагибина молокососом, я, как сверстник его, и себя причисляю к сонму таковых), здесь сидеть! А ты, вместо того, помпадурш будешь разводить, будешь содрогаться при виде царствующего в Тетюшах и Наровчате вольномыслия и повсюду станешь внедрять руководящие догматы Porc-Epic'a. Но через короткое время зависть улеглась, и взволнованное чувство обратилось исключительно к моей собственной личности. А что, думалось мне, ведь ежели бы я не закоснел в чине титулярного советника, ведь и я бы... Конечно, живя в провинции, я и пообносился, и одичал, и во французском диалекте не без изъянцев; но ежели бы меня приодеть, пообчистить, я бы и теперь... О, черт побери! именно я мог бы, даже очень мог бы и помпадурш разводить, и содрогаться от вольномыслия Чебоксар, и кричать «фюить!». Затем, переходя от смягчения к смягчению, я дошел наконец до того, что даже ощутил радость по случаю назначения Нагибина. По крайней мере, говорил я себе, у меня друг будет! Он будет поверять мне свои тайны: по утрам мы будем вместе содрогаться и изыскивать меры, а вечером к помпадуршам станем ездить!

А между тем Прокоп все время ел меня глазами. По странной игре природы, любопытство выражалось в его лице в виде испуга, и выражение это сохранялось до тех пор, пока не полагался конец мучившей его неизвестности.

— Кто это? — спросил он меня, блуждая глазами.

— Мой друг, Нагибин. Он, брат, к нам в помпадуры...

Лицо Прокопа совсем перекосило от испуга.

— Чудак! что же ты меня не представил? — упрекнул он меня.

Мы уселись где-то в шестом или седьмом ряду, и Прокоп никогда не роптал на себя так, как теперь, за то, что пожалел полтора рубля и не взял места во втором ряду, где сидели мои друзья.

— Ну, что мы здесь увидим! — бормотал он,— эти вещи надо непременно из первых рядов смотреть!

Зала была почти полна, но Прокоп как-то ухитрился сквозь массу голов устроить себе coup d'oeil [2] в сторону Нагибина.

---

[1] «Повелителя Дикобраза».

[2] подсматривание.

Он приподнимался всем корпусом, чтоб досыта наглядеться хоть на затылок будущего обладателя сердец рязанско-тамбовско-саратовского клуба.

— Да, этот подтянет! — говорил он.

Да, душа моя, Нагибин шутить не любит!

— Этот маху не даст! Ну, а эти... которые с ним... кто такие?

— Это тоже старые товарищи, и, вероятно, все по очереди у нас перебывают.

— Перебывают — это верно. Однако завтра, чуть свет, напялю мундир и явлюсь. Нельзя.

Шел общий, густой говор; передвигали стульями; слышалось бряцание палашей и картавый французский говор; румяные молодые люди, облокотясь на борты лож, громко хохотали и перебрасывались фразами с партером; кокотки представляли собой целую выставку, но поражали не столько изяществом, сколько изобилием форм и какою-то тупою сытостью; некоторые из них ощипывали букеты и довольно метко бросали цветами в знакомых кавалеров.

Но вот занавес поднялся. Относительно нелепости содержания «Le sire de Porc-Epic» может быть сравнен разве с «Fanny Lear», с тою лишь разницею, что последняя имеет претензию на серьезность, а «Porc-Epic» с тем и писан, чтоб украсить сцену колоссальною глупостью. Разобрать что-нибудь в этом сумбуре — нет возможности, кроме того, что г. Теофиль дает г. Ру пощечину ягодицами, что совсем даже неправдоподобно. Claudia звенела, сыпала пощечинами, и с какою-то исступленною восторженностью поднимала ноги. Но вот «Porc-Epic» посрамлен; гремят трещотки, бубны, тазы, барабаны, занавес опускается.

Зачем я приехал?!

Но несмотря на то, что этот вопрос представлялся мне чуть не в сотый раз, я все-таки и к Донону поехал, и с кокотками ужинал, и даже увлек за собой Прокопа, предварительно представив его Нагибину как одного из представителей нашего образованного сословия.

Нагибин принял Прокопа с тою дружескою любезностью, которою отличаются вообще помпадуры новейшего закала, а во время нашего переезда к Донону (мы ехали в четвероместной коляске) был даже очарователен. Он не переставал делать Прокопу вопросы, явно свидетельствовавшие, что он очень серьезно смотрит на предстоящую ему задачу.

— Ваша губерния плодородная? — любопытствовал он.

— Была, вашество, прежде, а теперь... Нынче, вашество, не плодородие, а вольные мысли в ходу-с. Вот ежели вы изво-

лите нас подтянуть, так оно, может быть, и воротится, плодородие-то...

— Постараюсь-с. Но не скрываю от себя, что задача будет грудная, потому что зло слишком глубоко пустило корни... Ну-с, а скажите, и лес в вашей губернии растет?

— Рос, вашество, прежде... богатые леса были! а теперь и лесок как-то тугонько идет. У меня, однако ж, в парке еще не все липки мужики вырубили.

— Гм... однако и липа растет?!

Потом пошли расспросы: можно ли иметь на месте порядочную говядину (un roastbeef, par exemple! [1]), как следует поступить относительно вина, а также представляется ли возможность приобрести такого повара, который мог бы удовлетворить требованиям вкуса более или менее изысканного.

— Не скрою от вас,— говорил Нагибин,— я смотрю на свою роль несколько иначе, нежели рутинеры прежнего времени. Я миротворец, медиатор, благосклонный посредник — и больше ничего. Смягчать раздраженные страсти, примирять враждующие стороны, наконец, показывать блестящие перспективы — вот как я понимаю мое назначение! Or, je vous demande un peu, s'il y a quelque chose comme un bon dîner pour apaiser les passions! [2]

С своей стороны, Прокоп рисовал картины самого мрачного свойства.

— Все прежде бывало, вашество! — ораторствовал он,— и говядина была, и повара были, и погреба с винами у каждого были, кто мало-мальски не свиньей жил! Прежде, бывало, ростбиф-то вот какой подадут (Прокоп расставил руки во всю ширину), а нынче, ежели повар тебе бёф-брезе изготовит — и то спасибо скажи! Батюшка-покойник без стерляжьей-то ухи за стол не саживался, а мне и с окуньком подадут — нахвалиться не могу!

— Скажите пожалуйста! стало быть, задача моя труднее, нежели я предполагал?

— Чего же, вашество, хуже! У меня до эмансипации-то пять поваров на кухне готовило, да народ-то всё какой! Две тысячи целковых за одного Кузьму губернатор Толстолобов давал — не продал! Да и губернатор-то какой был: один целый окорок ветчины съедал! И куда они все подевались!

— Однако ведь вы кушаете же? — с некоторым беспокойством спросил Нагибин.

---

[1] ростбиф, например!

[2] А, скажите, есть ли что-либо лучше, чем добрый обед, чтобы утишить страсти!

— Кушаем-то кушаем. У меня и нынче повар,— что ж! ничего повар. Да страху-то у него, вашество, нет!

Как только Прокоп произнес слово «страх», разговор оживился еще более и сделался общим. Все почувствовали себя в своей тарелке. Начались рассуждения о том, какую роль играет страх в общей экономии народной жизни, может ли страх, однажды исчезнув, возродиться вновь, и наконец, что было бы, если бы реформы развивались своим чередом, а страх — своим, взаимно, так сказать, оплодотворяя друг друга.

— Реформы, вашество, ничего! — либеральничал Прокоп,— и не такие бы реформы можно вытерпеть, кабы страх был!

На эту речь Нагибин ответил крепким пожатием руки.

— Я с вами согласен,— сказал он,— без страха нельзя. Но я постараюсь!

— Трудненько будет, вашество!

— Трудно — я это знаю. Но я привык. Я привык к борьбе, и даже жажду борьбы! Но скажу прямо: не хотел бы я быть на месте того, кто меня вызовет на борьбу! Sapristi, messieurs! Nous verrons! nous verrons qui de vous ou de moi aura le panache! [1]

И Нагибин так свирепо погрозил кому-то в воздухе, что в воображении моем вдруг совершенно отчетливо нарисовалась целая картина: почтовая дорога с березовой аллеей, бегущей по сторонам, тройка, увлекающая двоих пассажиров (одного — везущего, другого — везомого) в безвестную даль, и наконец тихое пристанище, в виде уединенного городка, в котором нет ни настоящего приюта, ни настоящей еды, а есть сырость, угар, слякоть и вонь...

— Фюить!!

На Конюшенном мосту мои мечты были снова прерваны жалобами, которые изливал Прокоп.

— Даже климат,— говорил он,— и тот против прежнего хуже стал! Помещиков обидели — ну, они, натурально, все леса и повырубили! Дождей-то и нет. Месяц нет дождя, другой нет дождя — хоть ты тресни! А не то такой вдруг зарядит, что два месяца зги не видать! Вот тебе и эмансипация!

Нагибин слушал эти ламентации и улыбался. Ему приятно было думать, что устранение всех этих бедствий: и недостатка

---

[1] Черт побери, господа! Еще посмотрим, посмотрим, на чьей стороне будет победа!

поваров, и бездождия, и излишества дождя — все это лежало на нем одном.

— Да-с, тяжело ваше положение, messieurs,— произнес он задумчиво,— но я надеюсь, что с божьей помощью, и сильный общим доверием...

Конца фразы я не расслышал, потому что в эту самую минуту мы въехали в ворота ресторана.

Было около часу ночи, и дононовский сад был погружен в тьму. Но киоски ярко светились, и в них громко картавили молодые служители Марса и звенели женские голоса. Лакеи-татары, как тени, бесшумно сновали взад и вперед по дорожкам. Нагибин остановился на минуту на балконе ресторана и, взглянув вперед, сказал:

— Совершенно как в «Тысяче одной ночи»! не правда ли?

А Прокоп тем временем шептал мне на ухо:

— У тебя деньги есть?

— Есть, а что?

— Чудак! надо же честь оказать!

Я пошел побродить по дорожкам и потому не присутствовал при процессе заказывания ужина. До слуха моего долетали: «écrevisses à la bordelaise» [1], «да перчику, перчику чтобы в меру», «дупеля есть?», «земляники, братец, оглох, что ли?», «на первый раз три крюшона...» Но на меня нашел какой-то необыкновенный стих: я вдруг вздумал рассчитывать. Припомнил, сколько я в таком-то случае денег даром бросил, сколько в таком-то месте посеял, сколько у меня еще остается, и наконец достанет ли... При этом вопросе я почувствовал легкий озноб... Достанет ли? В каком смысле достанет ли? Ежели в обширном... о, черт побери! и зачем это я начал рассчитывать! Но, раз начавшись, работа мысли уже не могла скоро прерваться. Не сладив с расчетами, я обратился к будущему и должен был сознаться, что отныне нигде: ни в рязанско-тамбовско-саратовском клубе, ни даже в Проплёванной — нигде не избежать мне ни Минерашек, ни Донона, ни Шато-де-Флёра. Нагибин непреклонен, он не положит оружия, доколе останется хотя один медвежий угол, в котором не восторжествовали бы «les grands principes du Porc-Epic» [2]. А так как я его друг, то, очевидно, было бы даже «подло», если бы я не содействовал этому торжеству. Вопрос, значит, не в том, чтобы избежать торжеств, а в том, во что они обойдутся мне в остальное время живота моего? Опять расчеты, и опять озноб... И в заключение — вопрос: да сколько же мне жить остается? А ну, как я Мафусаилов век проживу?

---

[1] раки по-бордоски.

[2] великие принципы Дикобраза.

Озноб, озноб и озноб...

Я в самом грустном расположении духа вернулся к моим товарищам и нашел компанию в значительно увеличенном составе. Новыми лицами оказались: адвокат Ненаедов, усть-сысольский купеческий сын Беспортошный и знаменитая девица Сюзетта. Сюзетта председательствовала на банкете и была пьяна. Купеческий сын, в качестве временного нанимателя, сидел возле нее и говорил:

— Мамзель Сузетта! покажите господам ручку! Какова ручка-то, господа! Почтенный! Крушончик еще! Да земляницы-то не жалейте!

В эту самую минуту я вошел.

— Где ты пропадал? — набросился на меня Прокоп.

— Monsieur a eu mal au ventre! [1] — решила Сюзетта для первого знакомства.

— Bravo, Suzette! — воскликнули собеседники.

— Госпожа Сузетта! сделайте ваше одолжение! скажите самые эти слова по-русски-с! — убеждал купеческий сын.

— У гаспадин живот болел!

— И превосходно-с. Значит, первое дело — померанцевки. Пожалуйте! А как мы уж по крушончику на брата сокрушили, так и вы, господин, нас догнать должны. Почтенный! крушончик для господина... Да земляницы-то не жалейте!

Начался обычный кутеж наших дней, кутеж без веселости и без увлечения, кутеж, сопровождающийся лишь непрерывным наполнением желудков, и без того уже переполненных. Сюзетта окончательно опьянела. Сначала она пропела «L'amour — ce n'est que cela» [2], потом, постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до «F..... nous». Наконец, по просьбе Беспортошного, разом выплюнула весь лексикон ругательных русских слов. Купеческий сын таращил на нее глаза и говорил:

— Ишь, шельма, как чисто по-русски выговаривает!

В таких занятиях прошло добрых три часа. Наконец купеческий сын стал придираться и окончательно набросился на Ненаедова.

— Для чего я тебя нанял? — приставал он,— нет, ты ответь, для чего я тебя нанял? А хочешь, я сейчас скажу, какие такие договоры промеж нас были, когда я тебя в услужение брал?

Ненаедов краснел и бледнел. Одну минуту я даже думал, что он обидится.

---

[1] У господина заболел живот!

[2] «Любовь — это вот что».

Когда мы разъезжались, по улицам уже шло то смутное движение, которое предшествует пробуждению большого города.

— А! какова Сюзетта! как, шельма, ругается! — воскликнул Прокоп, садясь со мной на извозчика.

Но на этот раз я не выдержал.

— Послушай, душа моя,— сказал я,— завтра я позову вот этого самого извозчика и велю ему все ругательства, которые мы слышали, при тебе повторить. А ты отдай ему те сто рублей, которые ты взял у меня, чтоб заплатить за ужин.

VIII

Я целый месяц не вел дневника своим похождениям и, признаюсь, даже теперь не могу с ясностью выразуметь, что̀ происходило со мной за это время.

Я был жертвой двух мистификаций сряду. Целый месяц я волновался, хлопотал и думал, что живу в самом реальном значении этого слова. Сначала я был членом VIII международного статистического конгресса (в качестве делегата от рязанско-тамбовско-саратовского клуба), участвовал во всех его трудах, доказывал негодность употребляемых ныне приемов для исследования трактирной промышленности, беседовал с Левассёром, Кеттлѐ, Фарром и проч. Потом вдруг, каким-то чудом, декорации переменились. Оказалось, что вместо статистического конгресса я чуть было не сделался членом опаснейшего тайного общества, имевшего целию ниспровержение общественного порядка, и что только по особенной божьей милости я явился пред лицом суда не в качестве главного обвиняемого, а лишь в качестве пособника и попустителя. Что Кеттлѐ совсем не Кеттлѐ, а пензенский помещик Капканчиков, что Левассёр — отставной корнет Шалопутов, Корренти — шарманщик Корподибакко и т. д. И что все эти господа — эмиссары от интернационалки... Но этого мало: в самый разгар процесса, в ту минуту, когда я уже начинал питать уверенность, что невинность моя доказана, декорации опять внезапно переменяются, и являются новые, среди которых я вижу себя... дураком! Ни конгресса, ни процесса — ничего этого не было. Был неслыханнейший, возмутительнейший фарс, самым грубым образом разыгранный шайкою досужих русских людей над ватагой простодушных провинциальных кадыков, в числе которых, к величайшей обиде, оказался и я...

Только в обществе, где положительно никто не знает, куда деваться от праздности, может существовать подобное время-

провождение! Только там, где нет другого дела, кроме изнурительного пенкоснимательства, где нет другого общественного мнения, кроме беспорядочного уличного говора, можно находить удовольствие в том, чтобы держать людей, в продолжение целого месяца, в смущении и тревоге! И в какой тревоге! В самой дурацкой из всех! В такой, при одном воспоминании о которой бросается в голову кровь!

Представьте себе такое положение: вы приходите по делу к одному из досужих русских людей, вам предлагают стул, и в то время, как вы садитесь — трах! — задние ножки у стула подгибаются! Вы падаете с размаху на пол, расшибаете затылок, а хозяин с любезнейшею улыбкой говорит:

— Скажите, какой случай! Человек! скотина! Сколько раз было говорено, чтоб этот стул убрать! Извините, пожалуйста!

Вы усаживаетесь на другой стул, и любезный хозяин предлагает вам чаю. Не подозревая коварства, вы глотаете из стоящего пред вами стакана — о ужас! — это не чай, а помои! А хозяин с тою же любезностью утешает вас:

— Ах, извините, пожалуйста! Это стакан с водой, в который я обыкновенно сбрасываю пепел от папирос! Человек! Скотина! Сколько раз было говорено, чтоб стакан этот убирать!

И так далее, и так далее.

Ежели мистификаторы упорны и пользуются здоровьем, они могут свести человека с ума. По крайней мере, я испытал это отчасти на себе. Теперь, после двух сыгранных со мной фарсов, я не могу сесть, чтоб не подумать: а ну, как этот стул вдруг подломится подо мной! Я не могу ступить по половице, чтоб меня не смущала мысль: а что, если эта половица совсем не половица, а только подобие ее, устроенное с исключительной целью, чтоб я провалился и расквасил себе нос!

Есмь я или не есмь? в нумерах я живу или не в нумерах? Стены окружают меня или какое-нибудь обманчивое подобие стен? Как ни просты эти вопросы, но ни на один из них я положительного ответа дать не берусь. Я знаю только одно: что передо мною бездна, называемая «русским досужеством», бездна, которая всегда готова меня поглотить, потому что я сам, наравне с другими, участвовал в ее устройстве.

Куда деваться от шалунов? как оградить себя от них? Жаловаться? — но представьте же себе процесс, в котором десяток молодых шалопаев, при открытых дверях, будут, в самых художественных образах, изъяснять, каким вы оказали себя дураком! И представьте себе, кроме того, что вы даже ничего не имеете сказать против этого! Потому что вы действительно вели себя как дурак, и нет в деле ни одного обстоятельства,

которое бы не уличало вас в этом! Это сознаёт и председатель суда, и прокурор, и даже собственный ваш защитник, выступающий в роли частного обвинителя. На всех лицах только одно слово и написано: дурак! Нет нужды, что вы были жертвой дураков еще более бесспорных — это обстоятельство еще более отягчает вашу вину. Зачем связывался с дураками — дурак! Как не рассмотрел, что тебя окружают дураки,— дурак! Как не понял, когда даже шухардинские половые — и те догадались, что русские досужие люди над тобой шутки шутят,— дурак! Дурак — и больше ничего.

Словом сказать, вы выигрываете процесс, вы сознаёте себя вполне удовлетворенным перед лицом юстиции и в то же время, выходя из залы заседания, несомненно чувствуете себя... дураком! И даже не простым дураком, а, так сказать, штемпелеванным. Потому что вы утверждены в этом звании приговором суда. Потому что не было ни обвиненного, ни свидетеля, ни даже жалобщика, которого показание не резюмировалось бы в одном слове: дурак! Потому что вся аудитория хохотом выхохатывала это слово, и ввиду святости места вам даже нельзя было сказать этой хохочущей братии: чему хохочете! над собой хохочете!

Но буду рассказывать по порядку.

Когда разнесся слух, что в Петербурге имеет быть VIII международный статистический конгресс, мной прежде всего овладело естественное чувство гордости. Стало быть, и мы не лыком шиты, коль скоро к нам то и дело наезжают то «братья» то «друзья», то «гости». Положим, что для братьев славян и для заатлантических друзей мы могли служить орудием демонстрации, но жрецы статистики — какую демонстрацию могли они иметь в виду, выбирая себе местопребыванием Петербург? Очевидно, они ни о чем другом не думали, кроме роскошного пира науки, который нигде не мог быть устроен с таким удобством, как в Петербурге. Стало быть, если отныне кто-нибудь назовет нас кадетами цивилизации, то мы можем смело сказать тому в глаза: нет, мы не кадеты! к нам обращали взоры братья славяне! с нами братались заатлантические друзья! у нас, наконец, без всякой задней мысли отдыхали современные гиганты статистики!

Конечно, было тут и не без опасений — как бы не осрамиться перед иностранными гостями,— но когда мы стали с Прокопом считать по пальцам, сколько у нас статистиков, то просто даже остолбенели от удивления. Сколько рассеяно ста-

тистиков по министерствам и губерниям, статистиков, получающих определенное содержание, и следовательно, вполне достоверных! Сколько, сверх того, статистиков не вполне достоверных, а вольнопрактикующих, которые по собственной охоте ведут счет питейным заведениям и потом печатают в газетах свои труды в форме корреспонденций из Острогожска, Калязина, Ветлуги и проч.? Наконец, сколько «Прохожих», «Проезжих», «Иксов», «Зетов» и других трудолюбцев, при трепетном свете лампады разработывающих достопримечательности Лаишева, Кадникова, Обояни и иных?

— Если всех-то счесть, так, пожалуй, и пальцев на руках не хватит! — воскликнул Прокоп, когда мы кончили обозрение наших статистических сил,— да и народ-то, брат, всё какой — уж эти не выдадут!

Таким образом, оставалось только гордиться и торжествовать. Но, увы! опасения — такая вещь, которая, однажды закравшись в душу, уже не легко покидает ее. Опровергнутые в одной форме, они отыщут себе другую, третью и т. д. и будут смущать человека до тех пор, пока действительно не доведут его до сознания эфемерности его торжества. Нечто подобное случилось и со мной.

Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что ежели конгресс соберется в Петербурге, то предметом его может быть только *коротенькая* статистика, то есть такая, в которой несколько глав окажутся оторванными. Ведь статистика, думалось мне, наука почти всеобъемлющая; следовательно, предметом ее может быть не одно движение народонаселения, не одно сухое перечисление фабрик и заводов, но и другие, более деликатного свойства, общественные явления. Положим, что и явление самое деликатное можно обесцветить, запрятав его в графу и выразив в виде голой цифры, но ведь и цифры порою бывают так красноречивы, что прямо ведут к аттестациям, вроде «хорошо», «дурно», «благоприятно», «неблагоприятно» и т. д. Ловко ли будет нам признать нормальность и полезность подобных аттестаций? И, раз признавши их нормальность, можно ли будет впоследствии (когда он надоест) счесть для себя необязательным этот контроль, идущий бог весть откуда и руководящийся бог весть какими предписаниями?

Возьмем для примера хоть научно-литературное развитие страны. Как ни трудно подчиняется этот предмет цифирным определениям, но несомненно, что такие определения существуют, а следовательно, статистика, даже самая скромная, не имеет ни малейшего права игнорировать их. С одной стороны, во всякой стране издается известное число газет и журналов,

печатается известное число книг. С другой стороны, во всякой же стране, за немногими исключениями, существуют учреждения, обязанность которых главнейшим образом заключается в наблюдении, чтобы в литературе не было допускаемо случаев так называемого превышения власти. Статистика не может пройти молчанием эти явления; они слишком крупны и ярки, чтоб их игнорировать. Но как же поступит она по их поводу? Конечно, она прежде всего констатирует число наблюдающих за литературой чиновников, сумму получаемого ими содержания, классы занимаемых ими должностей и мундиры, тем должностям присвоенные. Разумеется, я ничего не сказал бы противу статистики, если б она ограничилась исключительно одними этими фактами; но в том-то и дело, что статистика, да вдобавок «международная», всегда идет далее тех границ, которые предписываются благоразумием. Описавши мундиры чиновников, она перейдет к их деятельности, а вступивши на эту почву, найдет, что деятельность эта выразилась в стольких-то предостережениях, стольких-то закрытиях, и т. д. Вот тогда-то, собственно, и начнется так называемое «красноречие цифр». Хорошо, если цифры останутся только цифрами, то есть будут себе сидеть в подлежащих графах да поджидать очереди, когда их, наравне с прочими, включат в учебники; но ловко ли будет, если какой-нибудь «иностранный гость», отведавши нашего хлеба-соли, вдруг вздумает из цифр вывести и для нас какую-то аттестацию? Я уступаю заранее, что аттестация эта будет формулирована словами: «похвально» и «благоприятно», но приятен ли будет самый факт *возможности аттестации?* — вот в чем вопрос, и вопрос настолько важный, что над ним стоит очень и очень крепко призадуматься. Я, по крайней мере, думаю, что эта возможность обоюдуострая и что мы в равной мере рискуем получить и благоприятные и неблагоприятные отметки. Тут все зависит от того, сохранил ли иностранный гость благодарное воспоминание о нашем гостеприимстве или не сохранил. Нет, лучше уж совсем изъять главу о духовном развитии из программы занятий международного конгресса, нежели подвергаться риску выслушиванья каких-то аттестаций от людей, которые, быть может, и мундира-то порядком носить не умеют!

Другой пример подобной же скабрёзности представляет вопрос о неприкосновенности или общедоступности домашнего очага. В некоторых странах вопрос этот разрешается в пользу неприкосновенности, в других — в пользу общедоступности, но, во всяком случае, то или другое решение имеет известные практические последствия, которые отражаются на народной жизни и выражаются в форме фактов и цифр. Статистика бы-

ла бы недостойна имени науки, если б она не занялась этими цифрами и фактами и не занесла их в графы свои. И вот опять выступает на сцену красноречие цифр, опять является возможность аттестации и соединенных с нею опасений, сохранил ли иностранный гость благодарное воспоминание о нашем гостеприимстве или не сохранил? Ужели же, из-за какой-нибудь статистики, единственно ради ее полноты, мы станем мучиться сомнениями? Risum teneatis, amici?[1] Гораздо проще и эту главу изъять из программы занятий конгресса — и дело с концом.

Третий, еще более скабрёзный вопрос представляют публичные сборища, митинги и т. д., которые также известным образом отражаются на народной жизни и, конечно, не меньше питейных домов имеют право на внимание статистики. Не изъять ли, однако ж, и его? Потому что ведь эти статистики — бог их знает! — пожалуй, таких сравнительных таблиц наиздают, что и жить совсем будет нельзя!

Словом сказать, вопрос за вопросом, их набралось такое множество, что когда поступил на очередь вопрос о том, насколько счастлив или несчастлив человек, который, не показывая кукиша в кармане, может свободно излагать мнения о мероприятиях становых приставов (по моему мнению, и это явление имеет право на внимание статистики), то Прокоп всплеснул руками и так испугался, что даже заговорил по-французски.

— Финисѐ! — усовещевал он меня,— пожалуйста финисѐ! ну, что там! чего там? Еще услышат,— что хорошего!

И вдруг я получаю через Прокопа печатное приглашение лично участвовать на VIII международном статистическом конгрессе, в качестве делегата от рязанско-тамбовско-саратовского клуба! Разумеется, что при одном виде этого приглашения у меня «в зобу дыханье сперло»; сомнения исчезли, и осталось лишь сладкое сознание, что, стало быть, и я не лыком шит, коль скоро иностранные гости вспомнили обо мне!

Ослепление мое было так велико, что я не обратил внимания ни на странность помещения конгресса, ни на несообразность его состава, ни на загадочные поступки некоторых конгрессистов, напоминавшие скорее ярмарочных героев, нежели жрецов науки. Я ничего не видел, ничего не помнил. Я помнил только одно: что я не лыком шит и, следовательно, не плоше всякого другого вольнопрактикующего статистика могу иметь суждение о вреде, производимом вольною продажей вина и проистекающем отсюда накоплении недоимок.

---

[1] Не смешно ли?

Конгресс помещался в саду гостиницы Шухардина — это была первая странность. В самом деле, мы, которые так славимся гостеприимством, ужели мы не могли найти более приличного помещения, хотя бы, например, в залах у Марцинкевича, которые, кстати, летом совершенно пусты?

Вторая странность заключалась в том, что, кроме Кеттлѐ, Левассёра, Фарра, Энгеля и Корренти, которым меня тотчас же представил Прокоп, все остальные члены конгресса были в фуражках с красными околышами. То были делегаты от Лаишева, Чухломы, Кадникова и проч. Судите, какой же мог быть международный конгресс, в котором главная масса делегатов явно тяготела к Ливнам, Карачеву, Обояни и т. д.?

Третья странность: Кеттлѐ кстати и некстати восклицал: fichtre sapristi! и ventre de biche! [1] Фарр выказывал явную наклонность к очищенной; Энгель не переставал тянуть пиво, а Левассёр, едва явился на конгресс, как тотчас же взял в руки кий и сделал клапштосом желтого в среднюю лузу!..

Четвертая странность: шухардинские половые не только не обнаруживали никакого благоговения, но даже шепнули мне на ухо, не пожелают ли иностранные гости послушать арфистов...

Но, повторяю, ничто в то время не поразило меня: до такой степени я был весь проникнут мыслью, что я не лыком шит.

Я пришел на конгресс первый, но едва успел углубиться в чтение «Полицейских ведомостей», как услышал прямо у своего уха жужжание мухи. Отмахнулся рукой один раз, отмахнулся в другой; наконец, поднял голову... о, чудо! передо мной стоял Веретьев! Веретьев, с которым я провел столько приятных минут в «Затишье»!

— Веретьев! боже! какими судьбами! — воскликнул я, простирая руки.

— Делегат от Амченского уезда, рекомендуюсь! — отвечал он, бросая искоса взгляд на накрытый в стороне стол, обремененный всевозможными сортами закусок и водок.

— Как? статистик? Браво!

Вместо ответа Веретьев зажужжал по-комариному, но так живо, так натурально, что передо мной разом воскресло все наше прошлое.

— А Маша?.. помнишь? — спросил я в неописанном волнении.

— Теперь, брат, она уж не Маша, а целая Марьища...

— Позволь, но ведь Маша утопилась!

— Это все Тургенев выдумал. Топилась, да вытащили. По-

---

[1] черт возьми! черт побери! ко всем чертям!

сле вышла замуж за Чертопханова, вывела восемь человек детей, овдовела и теперь так сильно штрафует крестьян за потраву, что даже Фет — и тот от нее бегать стал![1]

— Скажите пожалуйста! Но что же мы стоим! Человек! рюмку водки! большую!

Веретьев потупился.

— Не надо! — произнес он угрюмо,— зарок дал!

— Как! ты! не может быть!

Не успел я докончить своего восклицания, как в сад вошли... молодой Кирсанов и Берсенев! Кирсанов был одет в чистенький вицмундир; из-под жилета виднелась ослепительной белизны рубашка; галстух на шее был аккуратно повязан; под мышкой он крепко стискивал щегольской портфёль. За ним, своей мечтательной, милой походкой с перевальцем, плелся Берсенев, и тоже держал под мышкой довольно поношенный портфёль, который, вдобавок, постоянно у него выползал. Как ни неожиданна была для меня эта встреча, но, взглянувши на Кирсанова поближе, я без труда понял, что, при скромности и аккуратности этого молодого человека, ему самое место — в статистике. Несколько более смутило меня появление Берсенева. Это человек мечтательный и рыхлый, думалось мне,— у которого только одно в мысли: идти по стопам Грановского. Но идти не самому, а чтоб извозчик вез. Вот и теперь на нем и рубашка криво сидит, и портфёль из-под мышки ползет... ну, где ему усидеть в статистике!

— Делегат от Ефремовского уезда,— рекомендовался между тем Кирсанов, подавая мне руку, как старому знакомому.

— Очень рад! очень рад! Уже статистик! Давно ли?

— Месяца два тому назад. Я должен, впрочем, сознаться, что в нашем уезде статистика еще не совсем в порядке, но надеюсь, что, при содействии начальника губернии, успею, в непродолжительном времени, двинуть это дело значительно вперед.

— Ваш батюшка? Дяденька?

— Благодарю вас. Батюшка, слава богу, здоров и по-прежнему играет на виолончели свои любимые романсы. Дядя скончался, и мы с папашей ходим в хорошую погоду на его могилу. Феничку мы пристроили: она теперь замужем за одним чиновником в Ефремове, имеет свой дом, хозяйство и, по-видимому, очень счастлива.

— Да... но скажите же что-нибудь о себе!

---

[1] По последним известиям, факт этот оказался неверным. По крайней мере, И С. Тургенев совершенно иначе рассказал конец Чертопханова в «Вестнике Европы» за ноябрь 1872 г. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Благодарю вас, я совершенно счастлив. Полтора года тому назад женился на Кате Одинцовой и уже имею сына. Поэтому получение места было для меня как нельзя более кстати. Знаете: хотя у нас и довольно обеспеченное состояние, но когда имеешь сына, то лишних тысяча рублей весьма не вредит.

— Базаров... помните?

Кирсанова передернуло при этом вопросе, и он довольно сухо ответил мне:

— Мы с папашей и Катей каждый день молимся, чтобы бог простил его заблуждения!

— Ну... а вы, Берсенев! — обратился я к Берсеневу, заметив, что оборот, который принял наш разговор, не нравится Кирсанову.

— Я... вот с ним...— лениво пробормотал он, как бы не отдавая даже себе отчета, от кого или от чего он является делегатом.

«Ну, брат, не усидеть тебе в статистике!» — мысленно повторил я и вскинул глазами вперед. О, ужас! передо мной стоял Рудин, а за ним, в некотором отдалении, улыбался своею мягкою, несколько грустной улыбкою Лаврецкий.

— Рудин! да вы с ума сошли! ведь вы в Дрездене на баррикадах убиты! — воскликнул я вне себя.

— Толкуйте! Это все Тургенев сказки рассказывает! Он, батюшка, четыре эпизода обо мне написал, а эпизод у меня самый простой: имею честь рекомендоваться — путивльский делегат. Да-с, батюшка, орудуем! Возбуждаем народ-с! пропагандируем «права человека-с»! воюем с губернатором-с!

— И очень дурно делаете-с,— заметил наставительно Кирсанов,— потому что, строго говоря, и ваши цели, и цели губернатора — одни и те же.

— Толкуй по праздникам! Ведь ты, брат, либерал! Я знаю, ты над передовыми статьями «Санкт-Петербургских ведомостей» слезы проливаешь! А по-моему, такими либералами только заборы подпирать можно!

— Лаврецкого... не забыли? — прозвучал около меня задумчивый, как бы вуалированный голос.

Но, не знаю почему, от Лаврецкого, этого истого представителя «Дворянского гнезда», у меня осталось только одно воспоминание: что он женат.

— Лаврецкий! вы?! как здоровье супруги вашей?

— Благодарю вас. Она здорова и здесь со мною в Петербурге. Знаете, здесь и Изомбар и Андриѐ... ну, а в нашем Малоархангельске... Милости просим к нам; мы в «Hôtel d'Angleterre»; жена будет очень рада вас видеть.

— Ах, боже мой! Лаврецкий... вы! Лиза... помните?

— Лизавета Михайловна скончалась. Признаюсь вам, это была большая ошибка с моей стороны. Увлечь молодую девицу, не будучи вполне уверенным в своей свободе,— как хотите, а это нехорошо! Теперь, однако ж, эти увлечения прошли, и в занятиях статистикой...

Но этому дню суждено было сделаться для меня днем сюрпризов. Не успел я выслушать исповедь Лаврецкого, как завидел входящего Марка Волохова. Он был непричесан, и ногти его были не чищены.

— Волохов!! и вы здесь!

— А вы как об нас полагали?

— Да... но вы... делегат!..

— Ну да, делегат от Балашовского уезда... что ж дальше! А вы, небось, думали, что я испугаюсь! Я, батюшка, ничего не испугаюсь! Мне, батюшка, черт с ними — вот что!

Сказав это, он отвернулся от меня и, заметив Рудина, процедил сквозь зубы:

— Балалайка бесструнная!

В сад хлынула вдруг целая толпа кадыков в фуражках с красными околышами и заслонила собой моих знакомцев. Мне показалось, что в этой толпе мелькнула даже фигура Собакевича. Через полчаса явился Прокоп в сопровождении иностранных гостей, и заседание началось.

Первое заседание прошло шумно и весело. Члены живо разобрали между собой подлежащие разработке предметы и организовались в отделения; затем определен был порядок заседаний (число последних ограничено семью). В заключение, Энгель очень приятно изумил, выпив бутылку пива и сказав по-русски:

— Ишò одна бутилк!

На что Фарр очень метко и любезно рипостировал:

— И мене ишò один румк!

Организовавшись как следует, мы заключили наш avant-congrès [1], съевши по порции ботвиньи и по порции поросенка. При этом Прокоп очень любезно извинился, что на сей раз, по множеству других организаторских занятий, еда ограничивается только двумя блюдами, а Левассёр чрезвычайно польстил нашему национальному самолюбию, сказав:

— Mais non! mais pas du tout! mais donnez-moi tous les jours du parasseune — et vous ne m'entendrez jamais dire: assez! [2]

---

[1] предсъездовское собрание.

[2] Что вы, что вы! давайте мне каждый день поросенка — и вы никогда не услышите от меня: довольно!

Мы встали из-за стола сытые и довольно пьяные, постановив на прощание:

1) Ни к каким издержкам по устройству закусок и обедов иностранных гостей не привлекать.

2) Интернировать иностранных гостей в chambres garnies на Мещанской, с предоставлением им ежедневно по полпорции чаю или кофею утром и по стольку же вечером, а издержки на этот предмет отнести на счет делегатов от градов, весей и клубов.

3) Завтрашний день начать осмотром Казанского собора, затем вновь собраться к Шухардину, где, после заседания, имеет быть обеденный стол (menu: селянка московская, подовые пироги, осетрина по-русски, грибы в сметане, жареный поросенок с кашей и малина со сливками). После обеда — катанье на извозчиках.

Дорогой, пока мы шли с Прокопом домой, он был в таком энтузиазме, что мне большого труда стоило усовестить его.

— Да, брат, эти будут почище братьев славян! — говорил он,— заметил ли ты, как этот бестия Левассёр: la république, говорит, il n'y a que ça![1] Я так и остолбенел!

— А знаешь ли, какая мне мысль пришла в голову: как только все дела здесь прикончим, покажем-ка мы иностранным гостям Москву!

— А что ты думаешь! ведь следует!

— Еще бы! Ну, разумеется, экстренный train[2] на наш счет; в Москве каждому гостю нумер в гостинице и извозчик; первый день — к Иверской, оттуда на политехническую выставку, а обедать к Гурину; второй день — обедня у Василия Блаженного и обед у Тестова; третий день — осмотр Грановитой палаты и обед в Новотроицком. А потом экстренный train к Троице, в Хотьков... Пение-то какое, мой друг! Покойница тетенька недаром говаривала: уж и не знаю, говорит, на земле ли я или на небесах! Надо им все это показать!

— Бесподобно! То-то я давеча сижу и думаю, что чего-то недостает! Ан вон оно что: в Москву!

— Ты одно то подумай: здешние ли поросята или московские!

— Где уж здешним!

— Или опять осетрина! Ну, где ж ты здесь такой осетрины достанешь, чтобы целое звено — сплошь все жир!

— Сказано, в Москву,— и дело с концом!

На другой день мы все, кроме Марка Волохова, собрались

---

[1] республика — и только!

[2] поезд.

в Казанский собор. Причем я не без удивления заметил, что Левассёр очень отчетливо положил три земных поклона и приложился к иконе.

— Смотри-ка! Левассёр-то! по-нашему молится! — толкнул меня в бок Прокоп,— et vous... comme nous? [1] — прибавил он, обращаясь к гостю.

Но удивлению нашему уже совсем не стало пределов, когда Левассёр (вероятно, застигнутый врасплох) совершенно чисто по-русски ответил:

— Да-с, моя маменька от этой иконы в молодости исцеление получила...

Но вслед за тем он вдруг спохватился, хлопнул себя по ляжке и залопотал:

— Ah! sapristi! je crois qu'à force d'entendre parler russe, je commence moi-même à parler cette langue comme ma langue maternelle! Mais oui, messieurs! Mais comment donc! Ah! fichtre.. prosternons-nous! Adorons, ventre de biche! la tolérance en matièr. de religion... tolerantia et prudentia... je ne vous dis que ça! [2]

И представьте себе, как ни груб был этот факт самоуличения, но даже он не открыл наших глаз: до такой степени мы были полны сознанием, что и мы не лыком шиты!

Второе заседание началось с объявления Кеттлè, что он пятьдесят лет занимается статистикой и нигде не встречал такого горячего сочувствия к этой науке, как в России. «По-этому,— присовокупил он любезно,— я просто прихожу к заключению, что Россия есть настоящее месторождение статистики...»

— Messieurs, un verre de champagne! [3] Милости просим! Человек! шампанского! Господин Кеттлè! ваше здоровье! Votre santé! Vous acceptez, n'est-ce-pas? Du champagne!! [4]

— Mais... j'en prendrai avec plaisir [5] — скромно отвечал маститый старец, но скромность эта была так полна чувства собственного достоинства, что мы сразу поняли, что не мы почтили старца, но старец почтил нас.

Когда бокалы были осушены, встал Фарр и вынул из бокового кармана лист разграфленной бумаги. Этот лист он показал всем делегатам и объяснил, что такова форма для произ-

---

[1] и вы... как мы?

[2] Ах! черт побери! я так много слышу русской речи, что, кажется, я сам начинаю говорить на этом языке, как на своем родном. Клянусь, господа! Уверяю вас! Ах! черт возьми .. преклонимся! Воздадим поклонение, черт побери! терпимость в деле религии... терпимость и благоразумие... Вот что я вам скажу.

[3] Господа! бокал шампанского!

[4] Ваше здоровье! Вы выпьете, не правда ли? Шампанского!

[5] С удовольствием.

водства народной переписи, доставшаяся VIII международному конгрессу в наследие от такового ж, имевшего свое местопребывание в Гааге. Но в форме этой он, Фарр, замечает, однако ж, один очень важный недостаток, заключающийся в том, что, при исчислении народонаселения по занятиям и ремеслам, в ней опущен довольно многочисленный класс людей, известный под именем «шпионов».

Я взглянул на Прокопа: он совершенно посоловел и дико озирался. К счастию, половые куда-то разошлись, так что он скоро оправился и довольно спокойно произнес:

— С своей стороны, я полагал бы этот неприятный разговор оставить. Неужто, господа, у вас за границей и разговоров других нет!

И он уже предложил приступить к следующему, по порядку, предмету суждений, как встал Левассёр и, по существу, решил дело в пользу Прокопа.

— Messieurs, — сказал он, — l'espionnage a été reconnu de tous temps comme l'un des plus vifs stimulants de la vie politique. Déjà l'antique Jéroboam promettait des scorpions à ses peuples, ce qui, traduit en langue vulgaire, ne saurait signifier autre chose qu'espions. Ensuite, nous trouvons dans Aristophane des preuves irrécusables que les Grecs ne connaissaient que trop ce moyen gouvernemental et qu'ils donnèrent aux espions le surnom sonore des sycophantes. Mais c'est aux césars de l'antique Rome que la science de l'espionnage est redevable de son plus grand développement. Au dire de Tacite, du temps de Néron, de Caligula et autres il n'y avait presque pas un seul homme dans tout l'Empire qui ne fût espion ou ne désirât de l'être. Ces majestueux romains, qui ne commençaient pas autrement leurs blagues qu'en disant: «civis Romanus sum», se sont fait au métier de l'espionnage comme s'ils étaient les plus majestueux des chenapans. Enfin, notre belle France est là pour attester que l'espionnage n'est jamais de trop dans un pays dont la vie politique est à son apogée. Chez nous, messieurs, presque tout le monde s'entreespionne, ce qui n'empêche pas la vie sociale d'aller son train. La solidarité de l'espionnage fait qu'on n'en ressent presque pas l'inconvénient. Voici l'historique de ce phénomène social qui porte le nom malsonnant de l'espionnage. Mais si nous constatons ici les résultats pratiques du métier, nous devons en même temps constater que jamais ces résultats ne pourraient être ni si grands, ni si accomplis, si les espions s'avisaient d'agir ouvertement... là, le coeur sur la main! Oui, messieurs, c'est une occupation qui ne saurait être pratiquée que sous le voile du plus grand mystère! Otez le mystère — et adieu l'espionnage. Il n'est plus — et avec lui tombe tout le prestige de la vie politique. Point d'espionnage — point d'accusations, point de pro-

cès, point de proscriptions! La vie politique reste, pour ainsi dire, en suspens. Tout passe, tout tombe, tout s'évanouit. Voilà pourquoi je ne partage pas l'opinion, exprimée par mon honorable collègue, M-r Farr. Je comprends très bien sa pensée: il est par trop champion de la statistique pour ne pas gémir en voyant que cette science conserve encore des points inexpliqués et obscurs. Mais Dieu, dans sa divine sagesse, en a jugé autrement. Il a voulu que la statistique conserve à jamais quelques points inachevés pour que nous autres, humbles travailleurs de la science, ayons toujours quelque chose à eclaircir ou à achever. Aussi je conclus, en disant: messieurs! nous avons toute une rubrique, où se classent les chenapans et autres gens sans foi ni loi! Cette rubrique n'est-elle pas assez large pour que les espions y trouvent leur place naturelle? Oh, messieurs, classons les y hardiment, et puis disons leurs: allez, gens sans aveu et faites votre vil métier! la statistique ne veut pas vous connaitre! [1]

---

[1] Шпионаж был признан во все времена одним из самых живых стимулов политической жизни. Уже древний Иеробоам обещал скорпионы своим народам, что в переводе на обыкновенный язык не могло значить ничего другого, как шпионов. Далее мы находим у Аристофана неопровержимые доказательства, что греки очень признавали это средство управления и что они дали шпионам звучное прозвище сикофантов. Но лишь в эпоху цезарей античного Рима наука шпионажа достигла наибольшего своего расцвета. По словам Тацита, со времен Нерона, Калигулы и других не было почти ни одного человека во всей империи, который не был бы шпионом или не желал бы им быть. Эти величественные римляне, которые не начинали своей хвастливой болтовни иначе, как говоря: «Я, римский гражданин», достигли в шпионаже такой высоты, как если бы они были величайшими из мошенников. Наконец, наша прекрасная Франция свидетельствует, что шпионаж никогда не бывает чрезмерным в стране, политическая жизнь которой достигает своего апогея. У нас, господа, почти все шпионят друг за другом, что не мешает общественной жизни идти своим путем. Так как шпионят все, то в этом занятии почти не чувствуют ничего неприличного. Приведу историческую справку о том социальном явлении, которое носит неблагозвучное имя шпионажа. Но если мы говорим о практических результатах этого ремесла, мы должны в то же время констатировать, что никогда бы эти результаты не могли быть ни такими большими, ни такими исчерпывающими, если бы шпионы начали действовать откры-то.. на виду, не маскируясь. Да, господа, это деятельность, которой можно заниматься только под покровом величайшей тайны! Отнимите тайну — и прощай шпионаж. Его более нет — а вместе с ним падает весь престиж политической жизни. Нет шпионажа — нет обвинений, нет процессов, нет преследований! Политическая жизнь, так сказать, замирает. Все проходит, все падает, все бездействует. Вот почему я не разделяю мнения, выраженного моим почтенным коллегой, господином Фарром. Я очень хорошо понимаю его мысль: он слишком большой приверженец статистики, чтобы не горевать, что эта наука содержит еще необъяснимые и темные места. Но бог, в своей божественной мудрости, судил об этом иначе. Он захотел, чтобы статистика всегда имела некоторые необработанные данные для того, чтобы мы, смиренные работники науки, всегда имели возможность что-либо

Речь эта произвела эффект необычайный. Крики: bravo! vive la France! [1] (Прокоп, по обыкновению, ошибся и крикнул: vive Henri IV! [2]) неслись со всех сторон. Сейчас же все побежали к закусочному столу и буквально осадили его.

— Je crois que ça s'appelle lassassine? Lassassine et parasseune — il faut que je me souvienne de ça! [3] — сказал Левассёр, держа на вилке кусок маринованной лососины.

— Oh, mangez, messieurs! [4] — упрашивал какой-то делегат (кажется, ветлужский),— человек! лососины принесите! пожалуйста, mangez!

Заседание кончилось; начался обед.

Никогда я не едал таких роскошных подовых пирогов, как в этот достопамятный день. Они были с говядиной, с яйцами и еще с какой-то дрянью, в которой, впрочем, и заключалась вся суть. Румяные, пухлые, они таяли во рту и совершенно незаметно проходили в желудок. Фарр съел разом два пирога, а третий завернул в бумажку, сказав, что отошлет с попутчиком в Лондон к жене.

— La Russie — voilà où est la véritable patrie de la statistique! [5] — в экстазе повторил Кеттлè.

После обеда — езда на извозчиках, а окончание дня в «Эльдорадо».

— C'est ici que le sort du malheureux von-Zonn a été décidé! ah, soyons sur nos gardes! [6] — вздохнул Левассёр, что́ не помешало ему сделать честь двум девицам, предложив им по рюмке коньяку.

На третий день — осмотр Исакиевского собора, заседание у Шухардина и обед там же (menu: суп с потрохами, бараний бок с кашей, жареные каплуны и малиновый дутик со сливками); после обеда катанье на яликах по Неве.

Исакиевский собор произвел на гостей самое приятное впечатление.

разъяснить или закончить. Итак, я заключаю, говоря: господа! у нас есть целая графа, в которую мы относим мошенников и прочих людей без религии и нравственности. Разве эта графа не столь обширна, чтобы в ней не нашли себе естественного места шпионы? О господа, поместим их смело туда, и потом скажем: «Идите, бесчестные люди, и творите ваше низкое ремесло! статистика не хочет вас знать!»

[1] браво! да здравствует Франция!

[2] да здравствует Генрих IV!

[3] Кажется, это называется лососиной? Лососина и поросенок — нужно это запомнить!

[4] Кушайте, господа!

[5] Россия — вот истинная родина статистики!

[6] Здесь была решена участь несчастного фон Зона! ах, будем осторожны!

— C'est fort, c'est solide, c'est riche, c'est ébouriffant! [1] — беспрестанно повторял Левассёр,— et ça doit coûter un argent fou! [2]

Кеттлѐ же до того умилился духом, что произнес:

— Ah! si je n'étais pas catholique romain, je voudrais être catholique grec! [3]

На что Прокоп, который с некоторого времени получил настоящую манию приглашать иноверцев к познанию света истинной веры, поспешил заметить:

— А что же, ваше превосходительство! с легкой бы руки!

Заседание началось чтением доклада делегата от тульско-курско-ростовского клуба, по отделению нравственной статистики, о том, чтобы в ведомость, утвержденную собиравшимся в Гааге конгрессом, о числе и роде преступлений была прибавлена новая графа для включения в нее так называемых «жуликов» (jouliks).

— Jouliks! je ne comprends pas ce mot [4],— с свойственною ему меридиональною живостью протестует Левассёр.

— Ce n'est précisement ni un voleur, ni un escroc; c'est un individu qui tient de l'un et l'autre. A Moscou vous verrez cela, messieurs [5] — объясняет докладчик.

Встает Фарр и опять делает скандал. Он утверждает, что заметил на континенте особенный вид проступков, заключающийся в вскрытии чужих писем. «Не далее как неделю тому назад, будучи в Париже,— присовокупляет он,— я получил письмо от жены, видимо подпечатанное». Поэтому он требует прибавки еще новой графы.

Тетюшский делегат поднимается с своего места и возражает, что это неудобно.

— Why? [6] — вопрошает Фарр.

— Неудобно — и все тут! и разговаривать нечего! За такие вопросы нашего брата в кутузку сажают!

— Shocking! [7] — восклицает Фарр.

Тогда требует слова Левассёр.

— Pardon! si je comprends la pensée de monsieur [8], — начинает он, указывая на тетюшского делегата, — elle peut être formulée

---

[1] Он огромный, внушительный, роскошный, поразительный!

[2] он, вероятно, обошелся чудовищно дорого!

[3] Ах, не будь я католиком, я хотел бы быть православным!

[4] Жулик! я не понимаю этого слова!

[5] В точности, это не вор и не мошенник; это индивид, в котором содержится и то и другое. В Москве вы увидите их, господа.

[6] Почему?

[7] Невоспитанность!

[8] Извините! если я правильно понимаю мысль господина.

ainsi: oui, le secret des lettres particulières est inviolable (bravo! bravo! oui! oui! inviolable!)— c'est la règle générale; mais il est des raisons de bonne politique, qui nous forcent quelquefois la main et nous obligent d'admettre des exceptions même aux règles que nous reconnaissons tous pour justes et irréprochables. C'est triste, messieurs, mais c'est vrai. Envisagée sous ce point de vue, la violation du secret des lettres particulières se présente à nous comme un fait de haute convenance, qui n'a rien de commun avec le crime ou la contravention. L'Angleterre, grâce à sa position insulaire, ignore beaucoup de phénomènes sociaux, qui sont non seulement tolérés par le droit coutumier du continent, mais qui en font pour ainsi dire partie. Ce qui est crime ou contravention en Angleterre, peut devenir une excellente mesure de salut public sur je continent. Aussi, je vote avec m-r de Tétiousch pour l'ordre du jour pur et simple[1].

— Bravo! Ура! Человек! шампанского! Мосье Левассёр! Votre santé![2]

Не успели выпить за здоровье Левассёра, как Прокоп вновь потребовал шампанского и провозгласил здоровье Фарра.

— Сознайтесь, господин Фарр, что вы согрешили немножко! — приветствовал он английского делегата с бокалом в руках, — потому что ведь ежели Англия, благодаря инсулярному положению, имеет многие инсулярные добродетели, так ведь и инсулярных пороков у ней не мало! Жадность-то ваша к деньгам в пословицу ведь вошла! А? так, что ли? Господа! выпьем за здоровье нашего сотоварища, почтеннейшего делегата Англии!

Разумеется, суровый англичанин успокоился и выпил разом два стакана.

Но за обедом случился скандал почище: бараний бок до такой степени вонял салом, что ни у кого не хватило смелости

---

[1] она может быть формулирована следующим образом: да, тайна частной корреспонденции неприкосновенна (браво! браво! да! да! неприкосновенна!) — это общее правило; но существуют соображения здравой политики, которые в отдельных случаях принуждают нас и заставляют допускать исключения даже для правил, которые мы все признаем справедливыми и нерушимыми. Это печально, господа, но это так. Рассматриваемое с этой точки зрения нарушение тайны частной корреспонденции представляется нам требованием высшего порядка, которое не имеет ничего общего с преступлением или с нарушением закона. Англия, благодаря своему островному положению, не знает многих социальных явлений, которые не только терпимы по обычному праву континента, но которые составляют, так сказать, часть этого права. То, что является преступлением или нарушением закона в Англии, может стать превосходной мерой общественной защиты на континенте. Итак, я голосую вместе с господином из Тетюш за простой переход к порядку дня.

[2] Ваше здоровье!

объяснить это даже особенностями национальной кухни. Хотя же поданные затем каплуны были зажарены божественно, тем не менее конгресс единогласно порешил: с завтрашнего дня перенести заседания в Малоярославский трактир.

Четвертый день — осмотр Петропавловского собора, заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: ботвинья с малосольной севрюжиной, поросенок под хреном и сметаной, жареные утки и гурьевская каша); после обеда прогулка пешком по Марсову полю.

Петропавловским собором иностранные гости остались довольны, но, видимо, спешили кончить осмотр его, так как Фарр, указывая на крепостные стены, сказал:

— В сей местности воздух есть нездоров!

На что, впрочем, Прокоп тут же нашелся возразить:

— Для тех, господин Фарр, у кого чисто сердце, — воздух везде здоров!

В четвертом заседании я докладывал свою карту, над которой работал две ночи сряду (бог помог мне совершить этот труд без всяких пособий!) и по которой наглядным образом можно было ознакомиться с положением трактирной и кабацкой промышленности в России. Сердце России, Москва, было, comme de raison [1], покрыто самым густым слоем ярко-красной краски; от этого центра, в виде радиусов, шли другие губернии, постепенно бледнея и бледнея по мере приближения к окраинам. Так что Новая Земля только от острова Колгуева заимствовала слабый бледно-розовый отблеск. В заключение я потребовал, чтобы подобные же карты были изданы и для других стран, так чтобы можно было сразу видеть, где всего удобнее напиться.

— Ah! mais savez-vous que c'est bigrement sérieux, le travail que vous nous présentez lá! [2] — воскликнул Левассёр, рассматривая мою карту.

— Prachtvoll! [3] — одобрил Энгель.

— Beautiful! [4] — присовокупил Фарр.

— Benissime! [5] — проурчал Корренти.

— Et remarquez bien que monsieur n'a employé que deux nuits pour commencer et achever ce beau travail [6],— отозвался Кеттлé, который перед тем пошептался с Прокопом.

---

[1] разумеется.

[2] Ах! ведь вы представляете нам здесь чертовски серьезный труд!

[3] Великолепно!

[4] Прекрасно!

[5] Превосходно!

[6] И заметьте, что господин затратил на этот прекрасный труд только две ночи.

— Две ночи — это верно! — подтвердил Прокоп, — и без всякого руководства! Просто взял лист бумаги и с божьею помощью начертил!

Тогда все бросились меня обнимать и целовать, что под конец сделалось для меня даже обременительным, потому что делегаты вздумали качать меня на руках и чуть-чуть не уронили на пол. Тем временем наступил адмиральский час, Прокоп наскоро произнес: господа, милости просим хлеба-соли откушать! — и повел нас в столовую, где прежде всего нашим взорам представилась севрюжина... но какая это была севрюжина!

— Вот так севрюжина! — совершенно чисто произнес по-русски Кеттлé.

Но, увы! нас и на этот раз не вразумило это более нежели странное восклицание иностранного гостя. До того наши сердца были переполнены ликованием, что мы не лыком шиты!

После обеда, во время прогулки по Марсову полю, Левассёр ни с того ни с сего вступил со мной в очень неловкий дружеский разговор. Во-первых, он напрямик объявил, что ненавидит войну по принципу и что самый вид Марсова поля действует на него неприятно.

— А мы,— ответил я довольно сухо,— мы гордимся этим полем.

— Oui, je comprends ça! la fierté nationale — nous autres, Français, nous en savons quelque chose! Mais, quant à moi — je vous avoue que ça me porte sur les nerfs! [1]

Во-вторых, постепенно раскрывая передо мной свою душу, он признался, что всегда был сторонником Парижской коммуны и даже участвовал в разграблении дома Тьера.

— Ma femme est une *pétroleuse* — je ne vous dis que ça! [2] — прибавил он грустно.

В-третьих, он изъявил опасение, что за ним следят; что клевета и зависть преследуют его даже в снегах России; что вот этот самый Фарр, который так искусно притворяется англичанином, есть не что иное, как агент Тьера, которому нарочно поручено гласно возбуждать вопросы о шпионах, а между тем под рукой требовать выдачи его, Левассёра. В заключение он просил меня посмотреть по сторонам и удостовериться, нет ли поблизости полицейского.

Я в смущении исполнил его просьбу, но так как мы стояли на самой средине поля, и притом начало уже смеркаться, то полицейские представлялись рассеянными по окраинам в виде

---

[1] Да, понимаю! национальная гордость,— мы, французы, тоже не чужды ей. Но, что касается меня,— признаюсь, это действует мне на нервы!

[2] Моя жена — поджигательница, этим все сказано.

блудящих огоньков. Тем не менее я поспешил успокоить моего нового друга и заверить его, что я и Прокоп сделаем все зависящее...

— Ah! quant à vous — vous avez l'âme sensible, je le vois, je le sens, j'en suis sûr! Mais quant à monsieur votre ami — permettez-moi d'en douter! [1]— воскликнул он, с жаром сжимая мою руку.

К сожалению, я должен был умолкнуть перед замечанием Левассёра, потому что, говоря по совести, и сам в точности не знал, есть ли у Прокопа какая-нибудь душа. Черт его знает! может быть, у него только фуражка с красным околышем — вот и душа!

Во всяком случае, признания Левассёра произвели на меня самое тяжелое впечатление. Коммуналист! жена петрольщица! И черт его за язык дергал соваться ко мне с своими признаниями! Поэтому первым моим движением было убедить его познать свои заблуждения, и я бойко и горячо принялся за выполнение этой задачи, как вдруг, среди самого разгара моего красноречия, он зашатался-зашатался и разом рухнулся на песок! Тут только я догадался, что он пьян в последнем градусе и что, следовательно, все его признания были не что иное, как следствие привычки блягировать, столь свойственной его соотечественникам! Признаюсь, даже открытие Америки не подействовало бы на меня так благотворно, как эта неожиданная развязка, разом выведшая меня из затруднительнейшего положения!

Пятый день — осмотр домика Петра Великого; заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: суточные щи и к ним няня, свиные котлеты, жаркое — теленок, поенный одними сливками, вместо пирожного — калужское тесто). После обеда каждый удаляется восвояси и ложится спать. Я нарочно настоял, чтоб в ordre du jour [2] было включено спанье, потому что опасался новых признаний со стороны Левассёра. Шут его разберет, врет он или не врет! А вдруг спьяна ляпнет, что из Тьерова дома табакерку унес!

Осмотр домика великого преобразователя России удался великолепно. Левассёр о вчерашнем разговоре на Марсовом поле ни полслова. Напротив того, пришел как встрепанный и сейчас же воскликнул:

— C'en était un de tzar! fichtre! quel genre!

— Das war ein Tzar! [3] — глубокомысленно отозвался Энгель.

---

[1] О! что касается вас — у вас чувствительная душа, я это вижу, я это чувствую, я в этом уверен! Но что касается вашего друга — позвольте мне усомниться в этом!

[2] порядок дня.

[3] Вот это был царь! черт побери! какой человек! — Вот это был царь!

— It was a tzar![1] — процедил Фарр, щупая постель, на которой отдыхал великий преобразователь.

— Tzarissimo, magnissimo![2] — черт знает на каком языке формулировал свое удивление Корренти.

Старичок Кеттлé некоторое время стоял, задумчиво опершись на трость. Наконец он взволнованным голосом заметил, что и душе Петра была не чужда статистика.

Тогда выступил вперед мой друг Берсенев (из «Накануне») и сказал:

— Позвольте мне напомнить вам, милостивые государи, слова о Петре Великом, сказанные одним из незабвенных учителей моей юности, которые будут здесь как нельзя более у места. Вот эти слова: «Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества!» Я сказал, господа![3]

Этим осмотр кончился при громком одобрении присутствующих.

Пятое заседание было посвящено вредным зверям и насекомым. Делегат от Миргородского уезда, Иван Иванович Перерепенко, прочитал доклад о тушканчиках и, ввиду *особенного,* производимого ими, вреда, требовал, чтоб этим животным была отведена в статистике отдельная графа.

Давно я не слыхал такой блестящей импровизации. Тушканчик стоял передо мной как живой. Я видел его в норе, окруженного бесчисленным и вредным семейством; я видел его выползающим из норы, стоящим некоторое время на задних лапках и *вредно* озирающимся; наконец, я видел его наносящим *особенный* вред нашим полям и поучающим тому же вредных членов своего семейства. Это было нечто поразительное.

Но чему я был рад несказанно — это случаю видеть маститого Перерепенко, о котором я так много слышал от Гоголя. О, боже! как он постарел, осунулся, побелел, хотя, по-видимому, все еще был бодр и всегда готов спросить: «А может, тебе и мяса, небога, хочется?»

— Ну, что, как ваше дело с Иваном Никифоровичем? — спросил я его.

Старик грустно махнул рукой.

— Ужели не кончено?

---

[1] Вот это был царь!

[2] Царейший, величайший!

[3] Речь, сказанная профессором Морошкиным на акте Московского университета «Об Уложении и его дальнейшем развитии». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— На днях будет в третий раз слушаться в кассационном департаменте! — ответил он угрюмо.

— Великий боже!

— Сначала слушали в полтавском окружном суде — кассацию подал я; потом перенесли в черниговский суд — кассировал Довгочхун. Потом дело перенесли в Харьков — опять кассирую я...

Он на минуту поник головой.

— Я уже не говорю о беспокойствах,— произнес он со слезами в голосе,— но все мое состояние... все состояние пошло... туда! Вы знаете, какие у меня были дыни?

— И что ж?

— Ни в прошлом году, ни в нынешнем я не съел ни одной! Всё съели адвокаты, хотя урожай был отличнейший! Чтобы не умереть с голоду, я вынужден писать газетные корреспонденции по полторы копейки за строчку. Но и там урезывают!

— Ба! так это ваша корреспонденция, которая начинается словами: «хотя наш Миргород в сравнении с Гадячем или Конотопом может быть назван столицею, но ежели кто видел Пирятин...»

Иван Иванович с чувством пожал мне руку.

— Что ж вы, однако, предполагаете делать с вашим процессом?

— Вероятно, его переведут теперь в Изюм, но ежели и изюмский суд откажет мне в удовлетворении, тогда надобно будет опять подавать на кассацию и просить о переводе дела в Сумы... Но я не отступлю!

Иван Иванович так сверкнул глазами, что я совершенно ясно понял, что он не отступит. Он и Неуважай-Корыто. Они не отступят. Они пойдут и в Сумы, и в Острогожск, а когда-нибудь да упекут Довгочхуна — это верно!

Между тем как мы дружески беседовали, на конгрессе поднялся дым коромыслом. Виновником скандала был все тот же несносный англичанин Фарр, внесший одно из самых эксцентричных предложений, какого можно было только ожидать. Предложение это приблизительно можно было формулировать следующим образом: «Тушканчики — это прекрасно, и так как вред, ими производимый, действительно имеет свойства вреда *особенного,* то нет нічего справедливее, как отвести им и графу *особенную.* Надо, чтоб каждый знал силу врага, с которым имеет дело, а кому же, как не статистике, оказать человечеству услугу приведением в ясность всех зол, его удручающих? Но не одни тушканчики производят *особенный* вред; он, Фарр, знает иной *особенный* вред, гораздо более сильный, о котором статистика не упоминает вовсе, а

именно: вред, наносимый неправильными административными распоряжениями. Ввиду несомненной важности и особенности этого вреда, не следует ли и для него отвести особенную графу, которая следовала бы непосредственно за графой о тушканчиках?»

Едва произнес Фарр свою речь, как Левассёр не выдержал. Весь бледный, он вскочил с своего места и сказал:

— Те, которые так упорно инсинуируют [1] здесь против правительств, гораздо лучше сделали бы, если бы внесли предложение о вреде, наносимом переодетыми членами интернационалки!

— А еще полезнее было бы,— хладнокровно возразил Фарр,— привести в ясность вред, производимый переодетыми петролейщиками!

Я до сих пор не могу себе объяснить тайны соперничества, постоянно выказывавшегося между Фарром и Левассёром. Быть может, оба они когда-нибудь служили агентами сыскной полиции, и поэтому между ними существовала застарелая вражда. Смятение, которое произвел этот «разговор», было несказанно. Все делегаты заговорили разом. Старик Кеттлè встал с места и простер руки в знак мира и любви. Энгель язвительно посматривал на «разговаривающих» и шептал: also nun [2], как бы ожидая, что вот сейчас подадут шампанского. Корренти равнодушно напевал из «Pifferaro»: [3]

Evviva la Francia!
Evviva la libertà! [4]

Но настоящим миротворцем явился Прокоп.

— Господа! — обратился он к спорящим,— прекратите! Пожалуйста, хоть для меня прекратите! Право, мы здесь не для пререканий! Мы всегда рады иностранным гостям и повезем вас в Москву, и даже в Нижний, только уж и вы, господа, эти ссоры оставьте! Мы делаем вам удовольствие — и вы нас почтите. Вы, господин Фарр, постоянно задираете. Характер у вас самый несносный. Вы поднимаете такие вопросы, что если б не уважение к иностранным гостям, то вас давно уж следовало бы отправить к мировому. Скажите, разве это приятно? Вы, может быть, думаете, что вы в Англии,— ан нет, вы ошибаетесь, вы в России! У нас нет никакого инсулярного положения, а потому мы ведем свою статистику на свой обра-

---

[1] клевещут.
[2] итак.
[3] «Свирельщика».
[4] Да здравствует Франция! Да здравствует свобода!

зец, как бог пошлет. Вот он *(указывает на меня)* сочинил карту питейных домов — чего еще больше! Стыдитесь, сударь! Да и вы, господин Левассёр! вы тоже! добрый вы малый, а ведь ах! как и в вас эта французская жилка играет! Вот господин Энгель: сидит и молчит — чего лучше! Оттого-то немцы вас и побивают! А вы — чуть что̀ не по вас — сейчас и вспыхнули! Порох! Подайте же друг другу руки и не ссорьтесь больше. Стыдно! Мы не маленькие. Нам еще трудов по горло, завтра уж шестое заседание, а вы словно петухи какие! Человек! шампанского.

Левассёр первый и с удивительнейшею развязностью протянул руку; но Фарр упирался. Тогда мы начали толкать его вперед и кончили, разумеется, тем, что враги столкнулись. Произошло примирение, начались заздравные тосты, поднялся говор, смех,— как будто никаких прискорбных столкновений и в помине не было. Среди этой суматохи я вдруг вспомнил, что на нашем пире науки нет японцев.

— Господа! — сказал я,— из газет достоверно известно, что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтоб не сказать более, что этих иностранных гостей нет между нами. Я положительно требую ответа: отчего нет японцев на роскошном пире статистики?

Но, увы! упущение было уже сделано, а потому конгресс положил: по поводу отсутствия господ японцев выразить искреннее (искреннейшее! искреннейшее! вопили со всех сторон делегаты) сожаление, поручив гг. Веретьеву и Кирсанову добыть японских гостей и доставить их к следующему заседанию.

Затем пробил адмиральский час, мы бросились к накрытым столам, и — клянусь честью! — никогда калужское тесто не казалось мне столь вкусным, как в этот достопамятный день!

Шестой день: осмотр сфинксов, заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: стерляжья уха с подовыми пирогами; солонина под хреном; гусь с капустой; клюковный кисель с сыгою). После обеда — мытье в воронинских банях.

Осмотр сфинксов прошел довольно холодно, быть может, потому, что предстоявшее заседание слишком живо затрогивало личные интересы конгрессистов. В этом заседании предстояло окончательно решить вопрос об учреждении постоянной комиссии, то есть определить, какие откроются по этому случаю новые места и на кого падет жребий заместить их. Но естественно, что коль скоро выступают на сцену подобные жгучие вопросы, то прений по поводу их следует ожидать оживленных и даже бурных.

Но Прокоп предусмотрел это, и потому еще не успели при-

ступить к прениям, как он уже распорядился поднести всем членам конгресса по большой рюмке водки. По-видимому, одна, хоть и большая рюмка, едва ли могла бы достигнуть желаемых результатов, но Прокоп очень основательно рассчитал, что эта *одна* рюмка послужит только введением, за которым значительное число конгрессистов, уже motu proprio [1], потребуют по второй и по третьей. И расчет его оказался верным. Едва заседание было провозглашено открытым, как уже бо́льшая часть бойцов очутилась вне боя. На арене остались только самые упорные статистики или те из конгрессистов, которые положили на водку зарок.

Заседание открылось заявлением Веретьева и Кирсанова, что принятые ими меры к отысканию японцев были безуспешны. Японцы действительно прибыли, и они даже напали на их след, но, как ни старались, ни разу не застали их дома. Сколько могли они понять из объяснений прислуги, японские делегаты сами с утра до вечера находятся в тщетных поисках за конгрессом; стало быть, остается только констатировать эту бесплодную игру в жмурки, производимую во имя науки, и присовокупить, что она представляет один из прискорбнейших фактов нашей современности.

Определено: записать о сем в журнал и еще раз выразить искреннейшее сожаление, что страна столь могущественная, дружественная и притом неуклонно стремящаяся к возрождению не имела на конгрессе своего представителя.

Затем, не теряя времени, мы приступили к голосованию параграфов «Положения о постоянной статистической комиссии», редактированного Прокопом, по соглашению с Кеттлѐ.

— Mais il me semble, messieurs, que nous ne sommes pas en nombre! [2] — заметил Левассёр, указывая на простертые по диванам тела наших соконгрессистов.

— Ну, чего еще тут «en nombre!» [3]. Пожалуйста, Карл Иваныч, не вмешивайся ты, ради Христа!

Откуда узнал Прокоп имя и отечество Левассёра! каким образом и когда сошелся он с ним на «ты»! Изумительно!

— Господа! терять времени нечего! а то наши проспятся и загалдят! Парагра̀ф премьѐ. «Для наблюдения за работами гг. статистиков, в отношении к их успешности и правильности, учреждается постоянная статистическая комиссия, с теми же правами, которые присвоены международному статистическому конгрессу на время его собраний...» Ладно, что ли?

---

[1] по собственному почину.
[2] Но мне кажется, господа, что мы не в полном составе!
[3] «в полном составе»!

— Прекрасно! — раздалось со всех сторон.

— Параграѣф сегон. «Постоянная сия комиссия имеет местопребывание в столичном городе С.-Петербурге, в Малоярославском оного трактире...»

— Против этого параграфа я имею сделать возражение! — заявил Кирсанов.

— Покороче, сделай милость!

— Я буду краток: кушанье в Малоярославском трактире обходится так дорого...

— Да где же ты в другом месте таких поросят найдешь?

— Я не говорю, что поросята дурны; но я утверждаю, что в случае необходимости можно удовольствоваться и не столь жирными поросятами. Вспомните, господа, что членами комиссии могут быть люди семейные, для которых далеко не безразлично, платить ли за порцию восемь гривен или тридцать копеек. А между тем я знаю на углу Садовой и Вознесенского трактирчик госпожи Васильевой, где, во-первых, помещение очень приличное, во-вторых, кушанье подается недорогое и вкусное, и в-третьих, прислуге строго воспрещено произносить при гостях ругательные слова! Поэтому я полагал бы...

— Ну, к Васильевой так к Васильевой — не мне придется дохлятину-то есть! Я, брат, завтра взял шапку, да и был таков! Параграѣф троазиѣм, господа: «В состав комиссии входят по одному представителю от каждой из пяти первостепенных держав с жалованьем по шести тысяч рублей в год; второстепенные державы посылают в складчину по одному представителю от каждых двух государств, с жалованьем по мере средств. На канцелярские расходы ассигнуется по десяти тысяч рублей в год, каковой расход относится на счет патентного сбора с вольнопрактикующих статистиков...»

Корренти встал и довольно нагло потребовал принять Италию в число первостепенных государств. «С тех пор,— говорил он,— как Рим сделался нашей столицей, непростительно даже сомневаться, что Италия призвана быть решительницей судеб мира». Но Прокоп сразу осадил дерзкого пришельца.

— Ну, брат, это еще «Улита едет, когда-то будет»! — сказал он ему, и этим метким замечанием увлек за собой все собрание. Параграф 3-й был принят огромным большинством.

— Параграѣф катриѣм е дерньѣ: «Постоянная комиссия имеет главный надзор за статистикой во всех странах мира. Она поощряет прилежных и исправных статистиков, нерадивых же подвергает надлежащим взысканиям. Сверх того, высшим местам и учреждениям она пишет доношения и рапорты, с равными местами сносится посредством отношений; статистикам, получающим от казны содержание, дает предложения;

статистикам вольнопрактикующим посылает указы и предписания».

Но не успели мы приступить к голосованию последнего параграфа, как случилось нечто поразительное. На лестнице послышался сильный шум, и в залу заседаний вбежал совершенно бледный и растерявшийся половой. Увидев его, Кеттлѐ с быстротою молнии ухватил первую попавшуюся под руки шапку и улизнул. Его примеру хотели последовать и прочие иностранные гости (как после оказалось — притворно), но было уже поздно: в комнате заседаний стоял господин в полицейском мундире, а из-за дверей выглядывали головы городовых. Левассёр с какою-то отчаянною решимостью отвернулся к окну и произнес: «Alea jacta est!» [1]

— Господин отставной корнет Шалопутов! — провозгласил между тем господин в полицейском мундире.

— Здесь! — отозвался Левассёр, отдаваясь в руки правосудия.

Мы так и ахнули.

IX

Итак, этот статистический конгресс, на который мы возлагали столько надежд, оказался лишь фальшивою декорацией, за которою скрывалась самая низкая подпольная интрига! Он был лишь средством для занесения наших имен в списки сочувствующих, а оттуда — кто знает! — быть может, и в книгу живота!

Можно себе представить, каково было удивление мое и Прокопа, когда мы узнали, что чуть-чуть не сделались членами интернационалки!

Вечер этого дня я провел у Менандра, и мы оба долго и горько плакали. Чтоб утешить меня, он начал читать корреспонденцию из Екатеринославля, в которой чертами, можно сказать, огненными описывались производимые сусликами опустошения, но чтение это еще более расстроило нас.

— Неужели же нет никаких мер против этих негодяев? — воскликнул я, сам, впрочем, хорошенько не сознавая, о чем я говорю.

— К сожалению, должно признаться, что таких мер не существует, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться, что если б земские управы взялись за дело энергически, то суслики давно были бы уничтожены! Я намерен посвятить этой мысли не менее десяти передовых статей.

---

[1] Жребий брошен!

Сказав это, он так глубокомысленно взглянул на меня, что я поскорее взял шапку и побежал куда глаза глядят.

Всю дорогу я бежал без всякой мысли. То есть, коли хотите, и была мысль, которая неотступно стучала мне в голову, но мысль самая странная, а именно: к сожалению, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться — и больше ничего. Это был своего рода дурацкий итальянский мотив, который иногда по целым часам преследует человека без всякого участия со стороны его сознания. Идет ли человек по тротуару, сидит ли в обществе пенкоснимателей, читает ли корреспонденцию из Пирятина — вдруг гаркнет: odiarti! [1] — и сам не может дать себе отчета, зачем и почему. Даже когда я лег в постель, то и тут последнею мыслью моею было: к сожалению, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться...

Ночь я провел беспокойно, почти бурно. Во сне я припомнил, что программа этого дня осталась невыполненною и что нам следовало еще ехать с иностранными гостями в воронинские бани. Поэтому я тотчас же перенесся фантазией в бани и, увидев себя и иностранных гостей обнаженными, почему-то сконфузился. Но в то самое время, как я обдумывал, кàк бы устроить, чтоб нагота моя была как можно меньше заметна, Левассёр благим матом и на чистейшем российском диалекте завопил: пару! ради Христа, еще пару! Тут только я понял гнусный обман, которого были жертвою мы, простодушные провинциальные кадыки, и уже бросился с веником, чтоб наказать наглого интригана, как вдруг передо мной словно из-под земли вырос Менандр. Он был тоже совершенно голый, но в руках его, вместо веника, торчала кипа корреспонденций, из которых на каждой огненными буквами были начертаны слова: «к сожалению, должно признаться...» Меня бросило в пот, и чтò было после того — я ничего не помню...

Утром, едва успел я опомниться от страшного сна, как Прокоп уже стоял передо мной.

— Ты пойми,— сказал он мне,— ведь мы должны будем фигурировать в этом деле в качестве дураков... то бишь свидетелей!

— Надеюсь, однако, что мы не виноваты? — рискнул я возразить, сам, впрочем, не вполне уверенный, виноват я или не виноват.

— Дожидайся, будут тебя спрашивать, виноват ты или не виноват! Был с ними — и дело с концом!

Тут я вспомнил мой разговор с Левассёром на Марсовом по-

---

[1] ненавидеть тебя!

ле и чуть не поседел от ужаса. Припомнит он или не припомнит? Ах, дай-то господи, чтоб не припомнил! Потому что ежели он припомнит... Господи! ежели он припомнит! Это нужды нет, что я ничего не говорил и даже убеждал его оставить заблуждения, но ведь, пожалуй, он припомнит, что̀ *он* говорил, и тогда...

— Да ты не наболтал ли чего-нибудь? — спросил Прокоп, заметив мое смущение.

— Ей-богу, я ничего не говорил! Но я... но мне...

— Ну, брат, плохое твое дело, коли так. *Он* припомнит. Я, брат, сам однажды Энгеля пьяного домой на извозчике подвозил, так и то вчера целый вечер в законах рылся: какому за сие наказанию подлежу! Потому, припомнит — это верно!

— Но позволь, душа моя, ведь ты же всю эту историю затеял! Ты с ними меня свел! Ты приглашение мне принес! Ты заседания устраивал! За что же я должен терпеть?

— Мало чего нет! А ты вспомни, что̀ ты еще прежде про статистику-то говорил! Вспомни, как ты перебирал: и того у нас нельзя, и то невозможно, и за это в кутузку... Нет, брат, шалишь! Коли уж припоминать, так все припоминать! Пущай начальство видит!

— Позволь... но ведь не в этом дело!

— Нет, брат, уж припоминать так припоминать! Карту-то насчет трактирных заведений кто составлял? а? Ан карта-то, брат,— вот она! (Прокоп хлопнул рукой по боковому карману сюртука.)

— Но карта... что̀ же она означает!

— Там, брат, уж разберут. Там всему место найдут. Нет, это уж не резон. Это, брат, не по-товарищески!

— Но, пожалуйста, ты не думай, чтоб я...

— Нечего тут «не думай»! Я и то не думаю. А по-моему: вместе блудили, вместе и отвечать следует, а не отлынивать! Я виноват! скажите на милость! А кто меня на эти дела натравливал! Кто меня на дорогу-то на эту поставил! Нет, брат, я сам с усам! Карта-то — вот она!

Словом сказать, гонимые страхами, мы вдруг уподобились тем рыцарям современной русской журналистики, которые, не имея возможности проникнуть в «храм удовлетворения», накидываются друг на друга и начинают грызться: «нет, ты!», «ан ты!»

Раз вступивши на скользкий путь сплетен и припоминаний, бог знает до чего бы мы могли дойти, но, к счастью, мы не успели еще пустить друг другу в лицо ни «хамами», ни «клопами», ни одним из тех эпитетов, которыми так богата «мно-

гоуважаемая» редакция «Старейшей Русской Пенкоснимательницы», как в мой нумер влетел Веретьев.

— Берут! — ревел он, весело потирая руки.

Я побледнел; Прокоп положительно упал духом.

— Кого?!

— Волохова, Рудина и Берсенева уж взяли... Кирсанов на волоске!

— Но чему же вы радуетесь, Веретьев?

— Я чему радуюсь? Я? чему я радуюсь? «Затишье»! Астахов! Маша! «Человек он был» — а теперь что! Что я такое, спрашиваю я вас! Утонула! Черта с два... вышла замуж за Чертопханова! За Чертопханова — понимаете! «Башмаков еще не износила»... Зачем жить! Зачем мне жить, спрашиваю я вас! Сибирь... каторга... по холодку! Вот тут! — закончил он, ударяя себя в грудь,— тут!

Я знал, что Веретьев получил воспитание в Белобородовском полку, и потому паясничества его никогда не удивляли меня. Иногда, вследствие общего неприхотливого уровня вкуса, они казались почти забавными, а в глазах очень многих служили даже признаком несомненной талантливости. Но в эту минуту, признаюсь, мне было досадно глядеть на его кривлянья.

— Неужели вы хоть один раз в жизни не можете быть серьезным, Веретьев? — укорил я его.

— Тебе, Веретьев, когда ты в компании,— цены нет! — присовокупил с своей стороны Прокоп,— мухой ли прожужжать, сверчком ли прокричать — на все ты молодец! Ну, а теперь, брат, извини! теперь, брат, следовало бы и остепениться крошечку!

— Что ж! можно и остепениться! Ну, спрашивайте! глазом не моргну!

Сказавши это, Веретьев вдруг зажужжал на манер пчелы, но зажужжал так натурально, что мы с Прокопом инстинктивно начали отмахиваться.

— Ах, черт подери! Это все ты, шут гороховый! — обозлился Прокоп,— и охота нам с отчаянным связываться! Да говори толком, оглашенный, что такое случилось?

Быть может, Веретьев и еще откинул бы несколько фарсов, прежде нежели объяснить, в чем дело, но, к счастью для нас, в эту минуту пришел Кирсанов. Он был видимо расстроен; чистенькое и бледное лицо его приняло желтоватые тоны, тонкие губы сжались; новенький вицмундирчик вздрагивал на его плечах.

— Господа! вы видите меня в величайшем недоумении,— начал он раздраженным голосом,— не говоря уже о том, что

я целую неделю, неизвестно по чьей милости, был действующим лицом в какой-то странной комедии, но — что̀ важнее всего — в настоящую минуту заподозрена даже моя политическая благонадежность.

Аркаша остановился и окинул нас взглядом, которому он, по мере сил своих, старался придать олимпический характер. Но Прокопа этот взгляд, по-видимому, нимало не смутил, так как он ответил в упор:

— Твоя благонадежность! Велика штука — твоя благонадежность! И мы заподозрены, и все заподозрены! Его благонадежность! Есть об чем толковать!

— Да... но ведь я...— заикнулся Кирсанов.

— И я... и ты... ну да! Ну, и ты! Ты вспомни-ка, что̀ ты с Базаровым, лежа на траве, разговаривал!

Бледное лицо Кирсанова моментально вспыхнуло.

— Конечно,— сказал он,— и я был молод, и я заблуждался, но кто же из нас не был молод, кто не заблуждался! Мне кажется, что в смысле политической благонадежности те люди даже полезнее, которые когда-нибудь заблуждались, но потом оставили свои заблуждения! Эти люди, во-первых, понимают, в чем заключаются так называемые заблуждения; и, во-вторых, знают сладость раскаянья. Поэтому мне более нежели странно, что меня упрекают прошлым, от которого я сам отвернулся с тех пор, как произошла эта история с Феничкой!

Но Прокоп был неумолим.

— Толкуй, брат, по пятницам! — отрезал он,— уж коли в ком раз эта проказа засела, так никакими раскаяньями оттоле ее не выкуришь! Ты на конгрессе-то нашем что̀ проповедовал?

— Я всего один раз говорил, и то лишь для того, чтобы указать на трактир госпожи Васильевой как на самое удобное место для заседаний постоянной комиссии!

— Ну, хорошо! ну, положим! Действительно, на конгрессе ты вел себя скромно! А как ты во время эмансипации себя вел?! Ты посредником был — скажи, как ты себя вел? а?

— Но мне кажется, что в видах общих интересов...

— Нет, ты не отлынивай, а отвечай прямо: как ты себя вел! Вот они (Прокоп указал на Веретьева и на меня) — никогда ничего об них не скажу! Вели себя, как дворяне,— а потому и благодарность им от всех (Прокоп прикоснулся рукою к земле)! Ну, а ты, брат... нет, ты с душком! Как ты к дворянину-то выходил? в каком виде? а? Как ты дворян-то на очные ставки с хамами ставил? а? «Вы, говорит, не имели права, на основании... а он, говорит, имеет право, на основании...» — а? Ан вот оно и отозвалось! вон оно когда отозвалось-то!

— Но позвольте! ежели я и увлекался, то цели, которые при этом одушевляли меня...

— Не говори ты мне, ради Христа! Я ведь помню! я все помню! Помню я, как ты меня с Прошкой-то кучером судил! Ведь я со стыда за тебя сгорел! Вот ты как судил!

Кирсанов слегка поник головой, как бы сознавая, что перед трибуналом Прокопа для него нет оправданий. Тогда я выступил вперед, в качестве миротворца.

— Позвольте, господа, позволь, мой друг! — сказал я, мягко устраняя рукой Прокопа, который начинал уже подпрыгивать по направлению к Кирсанову,— дело не в пререкáниях и не в том, чтобы воскрешать прошлое. Аркадий Павлыч увлекался — он сам сознает это. Но это сознание и соединенное с ним раскаяние он подтвердил целым рядом действий, характер которых не может подлежать никакому сомнению. Если б не быстрота, с которою он вызвал воинскую команду в деревню Проплёванную, то бог знает, имел ли бы я удовольствие беседовать теперь с вами. Стало быть, оставим речь о прошлом. В прошлом, конечно, были грешки, но были и достославные действия. Обратимтесь, господа, к настоящему! В чем дело, Аркадий Павлыч?

— А вот, не угодно ли посмотреть!

И Кирсанов подал бумагу, в которой мы прочли: «комиссия по делу об эмиссарах: отставном корнете Шалопутове, пензенском помещике Капканчикове с товарищи, вызывает титулярного советника Аркадия Павлова Кирсанова для дачи ответов против показаний неслужàщего дворянина Берсенева»

— Ну, попался! — воскликнул Прокоп, и как-то особенно при этом свистнул.

— Ну что же я сделал? И что мог, наконец, Берсенев...

— Там, брат, разберут... а что попался — так это верно!

— Но почему же вы так тревожитесь, Аркадий Павлыч? Ведь вы сознаете себя невинным?

— Клянусь, что я...

— Охотно вам верю. Но, может быть, вы что-нибудь говорили? Может быть, вы говорили... ну, что бы такое?.. ну, хоть бы, например, что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство?

Кирсанов задумался на минуту, как бы припоминая.

— Да... об этом, кажется, была речь,— наконец произнес он тихо.

— Ну, и пропал! Пиши письма к родным!

— Но позвольте, господа! Положим, что я говорил глупости, но неужели же нельзя... даже в частном разговоре... даже глупости...

Но оправдание это было так слабо, что Прокоп опроверг его моментально.

— Говорить глупости ты можешь,— сказал он,— да не такие. Вы заберетесь куда-нибудь в Фонарный переулок да будете отечество раздроблять, а на вас смотри! Один Семипалатинскую область оторвет, другой в Полтавскую губернию лапу засунет... нельзя, сударь, нельзя!

Тогда Кирсанов, в свою очередь, озлился.

— Позвольте, однако ж-с! — сказал он,— если я не имею права говорить глупости, так и вы-с... Помните ли, как вы однажды изволили говорить: вот как бы вместо Москвы да наш Амченск столицею сделать...

— Ну, это ты врешь! Этого я не говорил! Ишь ведь что вспомнил! ах ты, сделай милость! Да не то что одна комиссия, а десять комиссий меня позови — передо всеми один ответ: знать не знаю, ведать не ведаю! Нет, брат, я ведь травленный! Меня тоже нескоро на кривой-то объедешь!

— Но я не к тому веду речь...

— Понимаю, к чему ты ведешь речь, только напрасно. Ты, коли хочешь, винись, а я не повинюсь! Хоть сто комиссий меня к ответу позови — не говорил, и баста!

Распря эта не успела, однако ж, разыграться, потому что в комнату вошел совершенно растерянный Перерепенко.

— Представьте себе, меня обвиняют в намерении отделить Миргородский уезд от Полтавской губернии! — сказал он упавшим голосом.

— Что такое? как?

— Да-с! вы видите перед собой изменника-с! сепаратиста-с! Я, который всем сердцем-с! — говорил он язвительно,— и добро бы еще речь шла об Золотоноше! Ну, тут действительно еще был бы резон, потому что Золотоноша от Канева — рукой подать! Но Миргород! но Хороль! но Пирятин! но Кобеляки!

— Откуда же такая напраслина, Иван Иваныч? Ужели Довгочхун...

— Признаюсь, у меня у самого первое подозрение пало на Довгочхуна, но, к сожалению, Довгочхунов много и здесь. Не Довгочхун, а неслужащий дворянин Марк Волохов!

— Но разве вы имели неосторожность открыть ему ваши намерения?

— Нечего мне было открывать-с, потому что я как родился без намерений, так и всю жизнь без намерений надеюсь прожить-с. А просто однажды господин Волохов попросил у меня взаймы три целковых, и я ему в просьбе отказал! Он и тогда откровенно мне высказал: вспомню я когда-нибудь об вас, Иван Иваныч! И вспомнил-с.

— Донес, что ли?

— Нет, не донес-с. Книжечка у него такая была, в которую он все записывал, что̀ на ум взбредет. Вот он и записал там: «Перерепенко, Иван Иваныч, иметь в виду, на случай отделения Миргородского уезда»... Ан книжечку-то эту у него нашли!

— Однако это, черт возьми, штука скверная! — всполошился Прокоп,— третьего дня этот шут гороховый Левассёр говорит мне: «Votre pays, monsieur, est un fichu pays!» [1]— а я, чтобы не обидеть иностранного гостя: да, говорю, Карл Иваныч! есть-таки того... попахивает! А ну, как он это в книжку записал?

— И записал-с! — вздохнул Перерепенко.

Мы все вдруг сосредоточились, как отправляющиеся в дальный путь. Даже Веретьев уныло свистнул, вспомнив, как он когда-то нагрубил Астахову, который занимал в настоящее время довольно видный пост. Каждый старался перебрать в уме всю жизнь свою... даже такую вполне чистую и безупречную жизнь, как жизнь Перерепенки и Прокопа!

Я был скомпрометирован больше всех. Не говоря уже о признаниях Шалопутова на Марсовом поле, о том, что я неоднократно подвозил его на извозчике и ссудил в разное время по мелочи суммою до десяти рублей, в моем прошедшем был факт, относительно которого я и сам ничего возразить не мог. Этот факт — «Маланья», повесть из крестьянского быта, которую я когда-то написал. Конечно, это было заблуждение молодости, но нельзя себе представить, до какой степени живучи эти заблуждения! Вот, кажется, все забыто; прошедшее стерлось и как бы заплыло в темной пучине времени — ан нет, оно не стерлось и не заплыло! Достаточно самого ничтожного факта, случайного столкновения, нечаянной встречи — и опять все воскресло, задвигалось, засуетилось! забытые образы выступают наружу; полинявшие краски оживают; одна подробность вызывает другую — и канувший в вечность момент преступления становится перед вами во всей ослепительной ясности!

— Эге! да ведь это тот самый, который «Маланью» написал?

— «Маланью»! Что такое «Маланья»? Это не то ли, что Вергина на театре представляет: «Маланья, русская сирота»... так, кажется?

— Нет, «русская сирота» — это «Ольга». А «Маланья» — это... это... да это ужас что такое «Маланья»!

— И он написал «Маланью»!

---

[1] Ваша страна, мсьё, скверная страна!

— Он самый. И еще имеет смелость оправдываться... excusez du peu! [1]

Одним словом, «Маланья» — это род первородного моего греха...

Эти горькие размышления были прерваны стуком в дверь моего нумера. Как ни были мы приготовлены ко всяким случайностям, но стук этот всех нас заставил вздрогнуть. В комнату развязно вошел очень изящный молодой человек, в сюртуке военного покроя, вручил мне, Прокопу и Веретьеву по пакету и, сказав, что в восемь часов, как только стемнеет, за нами приедет карета, удалился.

Это был не сон, но нечто фантастичнее самого сна. Нас было тут пять человек, не лишенных божьей искры,— и никому даже в голову не пришло спросить, кто этот молодой человек, от кого он прислан, в силу чего призывают нас к ответу, почему, наконец, он не принимает так называемых мер к пресечению способов уклонения от суда и следствия, а самым патриархальным образом объявляет, что заедет за нами вечером в карете, до тех же пор мы обязываемся его ждать! Ни один из этих вполне естественных вопросов не пришел нам на мысль — до такой степени было сильно убеждение, что мы виноваты и что «там разберут»!

Это была уже вторая руководящая мысль, которая привела нас к путанице. Во время статистического конгресса нас преследовало гордое убеждение, что мы не лыком шиты; теперь оно сменилось другим, более смиренномудреным, убеждением: мы виноваты, а там разберут. В обоих случаях основу представляло то чувство неизвестности, которое всякие сюрпризы делает возможными и удобоисполнимыми.

И мы ждали, ни разу даже не вспомнив о происшествии, когда-то случившемся на Рогожском кладбище, где тоже приехали неизвестные мужчины, взяли кассу и уехали... Мы терпеливо просидели у меня в нумере до вечера. В восемь часов ровно, когда зажглись на улице фонари, за нами явилась четвероместная карета, нам завязали глаза и повезли.

Мы ехали что-то очень долго (шутники, очевидно, колесили с намерением). Несмотря на то что мы сидели в карете одни — провожатый наш сел на козлы рядом с извозчиком,— никто из нас и не думал снять повязку с глаз. Только Прокоп, однажды приподняв украдкой краешек, сказал: «Кажется, через Троицкий мост сейчас переезжать станем»,— и опять привел все в порядок. Наконец карета остановилась, нас куда-то ввели и развязали глаза.

---

[1] как вам это нравится!

Клянусь честью, мне сейчас же пришло на мысль, что мы в трактире (и действительно мы были в Hôtel du Nord на Офицерской): до такой степени комната, в которой мы очутились, всей обстановкой напоминала трактир средней руки, до того она была переполнена всевозможными трактирными испарениями! Я обонял запах жареного лука, смешанный с запахом помоев; я видел лампу с захватанным пальцами шаром, лампу, которая, казалось, сама говорила: нигде, кроме трактира, я висеть не могу! я ощущал под собой стул с прорванною клеенкой, стул, на котором сменилось столько поколений... но и за всем тем мысль, что я виноват и что «там разберут», пересилила все соображения.

Мы были тут все. Все, участвовавшие в злосчастном статистическом конгрессе! Большинство было свободно, но «иностранные гости», а также и Рудин и Волохов были в кандалах. Но как легко и даже весело они переносили свое положение! Они смеялись, шутили, а одну минуту мне даже показалось, что они перемигиваются с нашими судьями. Но, увы! тогда я приписал эту веселость гражданскому мужеству, и только когда Прокоп, толкнув меня под бок, шепнул: ну, брат, ау! Надеются, подлецы,— стало быть, важные показания дали! — я несколько дрогнул и изменился в лице.

Судьи сидели за столом, накрытым белою скатертью. Их было шесть человек, и все шестеро молодые люди; перед каждым лежал лист чистой бумаги. Опять-таки клянусь, что и молодость судей не осталась не замеченною мной, и я, конечно, сумел бы вывести из этого замечания надлежащее заключение, если б Прокоп, по своему обыкновению, вновь не спутал меня.

— Молодые! — шепнул он мне,— где едят, там и судят! Ну, эти, брат, не простят! эти засудят! Это не то, что старики! Те, бывало, оборвут— и отпустят; ну, а эти — шалишь! «Comment allez-vous! [1] Садитесь, не хотите ли чаю?» — и сейчас тебя в кутузку!

Нам сделали перекличку; все оказались налицо. Затем кандальных куда-то увели, а один из судей (увы! он разыгрывал презуса!) встал и обратился к нам с речью:

— Господа! вы обвиняетесь в весьма тяжком преступлении, и только вполне чистосердечное раскаянье может облегчить вашу участь. Наши обязанности относительно вас очень неприятны, но нас подкрепляет чувство долга — и мы останемся верны ему. Вы, господа, не усомнившиеся вступить в самый гнусный из всех заговоров, вы, конечно, не можете понять это

---

[1] Как поживаете!

святое чувство, но мы... мы понимаем его! Тем не менее мы очень хорошо сознаём, что ваше положение не из приятных, и потому постараемся, по возможности, облегчить его. Покуда вы не осуждены законом — вы наши гости, messieurs! Об одном только мы просим вас: будьте чистосердечны. Будьте уверены, что мы уже *все* знаем, и ежели настоящее следствие имеет место, то для того только, чтобы дать вам случай раскаяться и быть чистосердечными. Я сказал, господа. Теперь господин производитель дел отведет вас, за исключением господина Кирсанова, в особенную комнату, и велит подать вам по стакану чаю. Прощайте, господа. Господин Кирсанов! вы останетесь здесь для допроса!

Нас заперли в соседней комнате и подали чаю. Клянусь, что я где-то видел человека, который в эту минуту разносил нам чай (потом оказалось, что он служил недавно половым в «Старом Пекине»!).

Допрашивали до крайности быстро. Не прошло пяти-шести минут, как потребовали Веретьева, потом Лаврецкого, Перерепенку, Прокопа и, наконец, меня. Признаюсь откровенно, я чувствовал себя очень неловко! ах, как неловко!

— Вы писали «Маланью»? — спросил меня лжепрезус.

— Я-с.

— И сознаете себя виновным?

— То есть... изволите видеть... я не желал... в строгом смысле, я даже хотел воспрепятствовать..

— Без околичностей-с. Отвечайте прямо и откровенно: виноваты?

— Виноват-с.

— Ah! c'est grave! [1]— произнес сбоку один из лжесудей, рисовавший на белом листе домик, из трубы которого вьется дымок.

Я, в полном смысле этого слова, растерялся.

— Теперь извольте говорить откровенно: ездили ли вы второго августа на извозчике с шарманщиком Корподибакко, присвоившим себе фамилию почтенного члена международного статистического конгресса Корренти? не завозили ли вы его в дом номер тридцатый на Канонерской улице?

— Не... не помню...

— Извольте говорить откровенно. Вспомните, что только полное чистосердечие может смягчить вашу участь.

— Кажется... нет... кажется... ездил-с!

— Без «кажется»-с. Извольте говорить откровенно.

— Ездил-с.

---

[1] Это серьезно!

— Знали ли вы, что в этом доме живет преступник Рудин? что Корренти ехал именно к нему, чтоб условиться насчет плана всесветной революции?

— Нет-с, не знал.

— Говорите откровенно! не опасайтесь!

— Ей-богу, ваше превосходительство, не знал.

— Пригласите сюда господина Корподибакко!

Загремели кандалы. Корподибакко, тяжело дыша, встал рядом со мною.

— Уличайте его!

— И ви может мине сказаль, что ви не зналь! — обратился ко мне Корподибакко,— oh, maledetto russo! [1] Я, бедна, нешастна итальяниц — и я так не скажу, ишто ви сичас говориль!

— Что можете вы сказать против этой улики?

— Решительно ничего. Я даже в первый раз слышу о всесветной революции!

— Хорошо-с. Ваше упорство будет принято во внимание. Корподибакко, вы можете уйти. Прикажите дать стакан чаю господину Корподибакко!

Корподибакко вдруг грохнулся на колена, воздел руки и воскликнул: pietà, signori! [2]

— Вот, сударь, пример раскаянья теплого, невынужденного! стыдитесь! — обратился ко мне один из лжесудей, указывая на Корподибакко.

— Ну-с, теперь извольте говорить откровенно: какого рода разговор имели вы на Марсовом поле с отставным корнетом Шалопутовым?

Я окончательно смутился. «Вот оно! — мелькнуло у меня в голове.— оно самое!»

— Мне кажется,— пробормотал я,— он говорил, что не любит войны...

— Еще-с!

— Еще-с... нет... кажется... гм, да... именно, он, кажется, говорил, что у него была неприятность с Тьером...

— Еще-с!

— Что господин Фарр — переодетый агент-с...

— К делу-с. Извольте приступить к делу-с.

— Что он служил в Коммуне...

— Ah! c'est grave! — произнес опять лжесудья, рисовавший домик.

— Ну-с, а вы что ему говорили?

— Я-с... ничего-с... он был так пьян...

---

[1] о, проклятый русский!

[2] сжальтесь, синьоры!

— Ну, в таком случае я сам припомню вам, что́ вы говорили. Вы говорили, что вместо того, чтобы разрушить дом Тьера, следовало бы разрушить дом Вяземского на Сенной площади-с! Вы говорили, что вместо того, чтобы изгонять «этих дам» из Парижа, следовало бы очистить от них бельэтаж Михайловского театра-с! Еще что вы говорили?

— Не... *не... не помню...*

— Вы говорили, что постараетесь скрыть его от преследований! Вы обещали ему покровительство и поддержку! Вы, наконец, объявили, что полагаете положить в России начало революции введением обязательного оспопрививания! Что вы можете на это сказать?

— Решительно... нет... то есть... нет, решительно не припомню!

— Позвать сюда Шалопутова!

Опять загремели кандалы; но Шалопутов не вошел, а вбежал и с такою яростью напустился на меня, что я даже изумился.

— Вы не говорили? вы?! — кричал он,— вы лжец, позвольте вам сказать! Когда я вам сказал, что моя жена петролейщица,— что́ вы ответили мне? Вы ответили: вот к нам бы этаких штучек пяток — побольше! Когда я изложил перед вами мои планы — что вы сказали мне? Вы сказали: все эти планы хороши за границей, а для нас, русских, совершенно достаточно, если мы добьемся обязательного оспопрививания! Вот что вы ответили мне!

— Но мне кажется, что обязательное оспопрививание...— заикнулся я.

— Не о том речь, что́ вам «кажется», государь мой! — строго прервал меня лжепрезус,— а о том, говорили ли вы или не говорили?

Говорил я или не говорил? Говорил ли я, что следует очистить бельэтаж Михайловского театра от *этих дам?* Говорил ли я о пользе оспопрививания? Кто ж это знает? Может быть, и действительно говорил! Все это как-то странно перемешалось в моей голове, так что я решительно перестал различать ту грань, на которой кончается *простой* разговор и начинается разговор *опасный.* Поэтому я решился на все махнуть рукой и сознаться.

— Говорил! — произнес я совершенно твердо.

— A la bonne heure![1] Можете идти, господин Шалопутов! Дайте стакан чаю господину Шалопутову!

Шалопутов гремя удалился.

---

[1] Наконец-то!

— Ну-с, допрос кончен,— обратился ко мне лжепрезус,— и если бы вы не запятнали себя запирательством по показанию Корподибакко...

— Помилуйте, ваше превосходительство! но ведь он, наконец, свинья! — воскликнул я дрожащим от волнения голосом, в котором звучала такая нота искренности, что сами лжесудьи — и те были тронуты.

— Гм, свинья... это конечно... это даже весьма может быть! — сказал лжепрезус,— но скажите, вы разве не употребляете свинины?

— Употребляю-с.

— Ну, и мы употребляем. К сожалению, свиньи покамест еще необходимы. C'est triste, mais c'est vrai! [1] Не знаете ли вы за собой еще каких-нибудь преступлений?

Услышав этот вопрос, я вдруг словно в раж впал.

— Один из моих товарищей,— сказал я,— предлагал Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск. И я разделял это заблуждение!

— Дальше-с!

— Другой мой товарищ предлагал отделить от России Семипалатинскую область. И я одобрял это предложение.

— Дальше-с!

— Еще-с... более, ваше превосходительство, ничего за собой не имею!

— Довольно для вас.

Лжепрезус встал, направился к двери направо и спросил: «Готово?» Изнутри послышался ответ: «Готово».

— Потрудитесь войти в эту комнату.

. . . . . .

Я и до сих пор не могу опомниться от стыда!

. . . . . .

Из *этой* комнаты я перешел в следующую, где нашел Прокопа, Кирсанова и прочих, уже прошедших сквозь искус. Все были унылы и как бы стыдились. Лаврецкий попробовал было начать разговор о том, как дороги в Петербурге ces petits colifichets [2], которые в Париже приобретаются почти задаром, но из этого ничего не вышло.

Дальнейшие допросы пошли еще живее. В нашу комнату поминутно прибывали тетюшские, новооскольские и другие депутаты, которых, очевидно, спрашивали только для проформы. По-видимому, они даже через комнату «искуса» проходили безостановочно, потому что являлись к нам совершенно бод-

---

[1] Жаль, но это так!

[2] безделушки.

рые и веселые. Мало-помалу общество наше до того оживилось, что Прокоп при всех обратился к Кирсанову:

— А ведь ты, поросенок, не утерпел, чтоб про Амченск-то не сказать!

Кирсанов слегка покраснел, но ответить не решился.

Наконец, в половине одиннадцатого, двери отворились, и нас пригласили в залу, где уже был накрыт стол на сорок кувертов, по числу судей и обвиненных.

— Ну-с, господа! — сказал лжепрезус,— мы исполнили свой долг, вы — свой. Но мы не забываем, что вы такие же люди, как и мы. Скажу более: вы наши гости, и мы обязаны позаботиться, чтоб вам было не совсем скучно. Теперь, за куском сочного ростбифа и за стаканом доброго вина, мы можем вполне беззаботно предаться беседе о тех самых проектах, за которые вы находитесь под судом. Человек! ужинать! и вдоволь шампанского!

И действительно, лжесудьи, враз сбросивши декорум, оказались добрейшими малыми. Они так блягировали, что даже Шалопутова — и того заткнули за пояс. В довершение всего дозволили снять с кандальных кандалы, что, разумеется, произвело фурор и сразу приобрело им с нашей стороны популярность. Шампанское лилось рекою; Шалопутов рассказывал, как он ездил в Ирландию и готовился, вместе с фениями, сделать вылазку в Англию; Корподибакко уверял, что он был другом Мадзини и разошелся с ним только потому, что Мадзини до конца жизни оставался упорным католиком. Тосты следовали один за другим.

— За Гарибальди! — провозгласил лжесудья, рисовавший домики.

— За Гамбетту! — ответил ему лжепрезус.

— За нашего губернатора! — скромно поднял бокал Кирсанов.

Словом сказать, все одушевились и совершенно позабыли, что час тому назад... Но едва било двенадцать (впоследствии оказалось, что Hôtel du Nord в этот час запирается), как на кандальников вновь надели кандалы и увезли. С нас же, прочих подсудимых, взыскали издержки судопроизводства (по пятнадцати рублей с человека) и, завязав нам глаза, развезли по домам.

— Господа! завтра опять допрос в те же часы! — весело сказал нам лжепрезус,— мы не арестуем вас и вполне полагаемся на ваше честное слово, что вы не выйдете из ваших квартир!

— Позвольте мне вот с ним! — попросил Прокоп, указывая на меня.

— Можете-с.

Затем было дано еще несколько разрешений совместного жительства, что̀ возбудило новый фурор и новую популярность.

На другой день опять допрос и ужин — с тою же обстановкой. На третий, на четвертый день и так далее — то же. Наконец, на седьмой день, мы так вклепались друг в друга и того сами на себя наболтали, что хоть всех на каторгу, так впору. В тот же день нам было объявлено, что хотя мы по-прежнему остаемся заарестованными на честном слове в своих квартирах, но совместное жительство уже не допускается.

Когда я брался за шляпу, производитель дел таинственно отвел меня в сторону и до крайности благожелательно сказал:

— Знаете, а ведь ваше дело очень плохо!

— Неужели?

— Так плохо, что самое малое, что вас ожидает,— это семь лет каторги. Разве уж очень искусный адвокат выхлопочет снисхожденья минут на пятнадцать!

— Это ужасно!

— Что делать! Уж я старался — ничего не поделаешь! То есть, коли хотите, оно можно...

— Ах, сделайте милость!

— Можно-то можно, только вот видите ли... подмазочка тут нужна!

— Но сколько? скажите!

Производитель дел с минуту подумал, пошевелил пальцами, как бы рассчитывая, сколько кому нужно, и наконец произнес:

— Вы стами тысяч можете располагать?

Я даже затрясся весь.

— Сто тысяч! да у меня и всего-то пять билетов второго внутреннего с выигрышами займа... на всю жизнь, понимаете? Сто тысяч! да ежели я в сентябре не выиграю, по малой мере, сорок тысяч — я пропал!

— Ну, в таком случае дайте хоть два билета!

— Два — с удовольствием! С велличайшим удовольствием! Два билета — и я буду совершенно чист?!

— Чисты как алмаз — ручаюсь. Так завтра утром я буду у вас.

— О! с удовольствием! с велличайшим удовольствием!

Мы крепко пожали друг другу руки и расстались.

Это была первая ночь, которую я спал спокойно. Я не видел никаких снов, и ничего не чувствовал, кроме благодарности к этому скромному молодому человеку, который, вместо ста тысяч, удовольствовался двумя билетами и даже не отнял у меня всех пяти, хотя я сам сознался в обладании ими. На другой

день утром все было кончено. Я отдал билеты и получил обещание, что еще два, три допроса — и меня не будут больше тревожить.

Но вот наступил вечер — кареты нет. Пришел и другой вечер — опять нет кареты. Я начинаю беспокоиться и даже скучать. На третий вечер — опять нет кареты. Это делается уже невыносимым.

Бродя в тоске по комнате, я припоминаю, что меня, между прочим, обвиняли в пропаганде идеи оспопрививания,— и вдруг обуреваюсь желанием высказать гласно мои убеждения по этому предмету.

«Напишу статью,— думал я,— Менандр тиснет, а при нынешней свободе книгопечатания, чего доброго, она даже и пройдет. Тогда сейчас оттиск в карман — и в суд. Вы меня обвиняете в пропаганде оспопрививания — вот мои убеждения по этому предмету! они напечатаны! я не скрываю их!»

Задумано — сделано. Посыльный летит к Менандру с письмом: «Любезный друг! ты знаешь, как горячо я всегда принимал к сердцу интересы оспопрививания, а потому не желаешь ли, чтоб я написал для тебя об этом предмете статью?» Через час ответ: «Ты знаешь, мой друг, что наша газета затем, собственно, и издается, чтобы распространять в обществе здравые понятия об оспопрививании! Пиши! сделай милость, пиши! Статья твоя будет украшением столбцов» — и т. д.

Стало быть, за перо! Но тут, на первых же порах — затруднение. Некоторые полагают, что оспопрививание было известно задолго до рождества Христова, другие утверждают, что *не* задолго, третьи, наконец, полагают, что открытие это сделано лишь после рождества Христова. Кто прав,— до сих пор неизвестно. Опять мчится посыльный к Менандру: следует ли упоминать об этом в статье? *Через* час ответ: следует говорить обо всем. И о том, что было до рождества Христова, и о том, что̀ было по рождестве Христове, и о том, что̀ неизвестно. Потому что статья будет выглядеть солиднее. «Да загляни, сделай милость, в Китай: мне сказывал Нескладин, что тамошняя цивилизация — это прелесть что такое!» Ну, что ж! в Китай так в Китай! Сейчас посыльного к Мелье — и через полчаса на столе лежит уже книжица, в которой самым обстоятельным образом доказывается, что в Китае и оспопрививание и порох были известны гораздо ранее, нежели в Европе, но только они прививали оспу совсем не туда, куда следует. Припоминаю по этому случаю пословицу: заставь дурака богу молиться — он лоб расшибет, надписываю ее в виде эпиграфа к статье, сажусь и с божьею помощью пишу.

Но для меня написать статью об оспопрививании — все

равно что плюнуть в порожнее место. К трем часам моя работа была уж готова и отослана к Менандру с запросом такого содержания: «Не написать ли для тебя статью: кто была Тибуллова Делия? Кажется, теперь самое время для подобных статей!» Через час ответ: «Сделай милость! Твое сотрудничество драгоценно, потому что ты один знаешь, когда, что и как сказать. Все пенкоснимателн в эту минуту в сборе в моей квартире и все в восторге от твоей статьи. Завтра, рано утром, «Старейшая Русская Пенкоснимательница» будет у тебя на столе с *привитою оспою*».

Опять в руки перо — и к вечеру статья готова. Рано утром на другой день она была уже у Менандра с новым запросом: «Не написать ли еще статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?» Кажется, теперь самое время!» К полудню — ответ: «Сделай милость! присылай скорее!»

Таким образом в течение семи дней, кроме поименованных выше статей, я сочинил еще четыре, а именно: «Геморрой — русская ли болезнь?», «Нравы и обычаи летучих мышей», «Единокровные и единоутробные пред лицом римского законодательства» и «Несколько слов о значении и происхождении выражения: гомерический смех». На восьмой день я занялся собиранием материалов для двух других обширных статей, а именно: «Церемониал при погребении великого князя Трувора» и «Как следует понимать легенду о сожжении великою княгинею Ольгою древлянского города Коростеня?» Статьи эти я полагал поместить в «Вестнике Пенкоснимательства», снабдив их некоторыми намеками на текущую современность.

Во всех семи напечатанных статьях моих оказалось четыре тысячи строк, за которые я получил, считая по пятиалтынному за строку, шестьсот рублей серебрецом-с! Да ежели еще «Вестник Пенкоснимательства» рублей по двести за лист отвалит (в обеих статьях будет не менее десяти листов) — ан сколько денег-то у меня будет?

Я упивался моей новой деятельностью, и до того всецело предался ей, что даже забыл и о своем заключении, и о том, что вот уж десятый день, а никто меня никуда не требует и никакой резолюции по моему делу не объявляет. Есть нечто опьяняющее в положении публициста, исследующего вопрос о происхождении Делии. И хочется «пролить новый свет», и жутко. Хочется сказать: нет, г. Сури (автор статьи «La Délia de Tibulle» [1], помещенной в «Revue des deux Mondes» 1872 года), вы ошибаетесь! — и в то же время боишься: а ну, ежели я

---

[1] «Тибуллова Делия».

сам соврал? А соврать не мудрено, ибо что̀ такое, в сущности, русский публицист? — это не что иное, как простодушный обыватель, которому попалась под руку «книжка» (всего лучше, если маленькая) и у которого есть твердое намерение получить по пятиалтынному за строчку. Нет ли на свете других таких же книжек — он этого не знает, да и знать ему, собственно говоря, не нужно, потому что, попадись под руку «другие» книжки, они только собьют его с толку, загромоздят память материалом, с которым он никогда не справится,— и статьи не выйдет никакой. То ли дело — «одна книжка»! Тут остается только прочесть, «смекнуть» — и ничего больше. И вот он смекает, смекает — и чем больше смекает, тем шире становятся его горизонты. Наконец статья, с божьею помощью, готова, и в ней оказывается двенадцать столбцов, по пятидесяти строчек в каждом. Положите-ка по пятиалтынному-то за строчку — сколько тут денег выйдет!

Одно опасно: наврешь. Но и тут есть фортель. Не знаешь — ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговоркой. «Некоторые полагают», «другие утверждают», «существует мнение, едва ли, впрочем, правильное» — или «по-видимому, довольно правильное» — да мало ли еще какие обороты речи можно изыскать! Кому охота справляться, точно ли «существует мнение», что оспопрививание было известно задолго до рождества Христова? Ну, было известно — и Христос с ним!

Или еще фортель. Если стал в тупик, если чувствуешь, что язык у тебя начинает коснеть, пиши смело: об этом поговорим в другой раз — и затем молчок! Ведь читатель не злопамятен; не скажет же он: а ну-ко, поговори! поговори-ка в другой-то раз — я тебя послушаю! Та́к это дело измором и кончится...

Итак, работа у меня кипела. Ложась на ночь, я представлял себе двух столоначальников, встречающихся на Невском.

— А читали ли вы, батюшка, статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?»? — спрашивает один столоначальник.

— Еще бы! — восклицает другой.

— Вот это статья! какой свет-то проливает! Директор у нас от нее без ума. «Дочери! говорит, дочери прикажу прочитать!»

Сердце мое начинает играть, живот колышется, и все мое существо наполняется сладким ликованием...

Но на одиннадцатый день чувство действительности все-таки заявило о правах своих. Нельзя безнаказанно, в течение семи дней сряду, не выходя из нумера, предаваться изнурительным исследованиям о церемонияле при погребении великого князя Трувора. Поэтому вопрос: отчего столько дней за мной нет кареты? — вдруг встал передо мной со всею ясностью.

Я помнил, что я арестован, и нарушить данного слова отнюдь не хотел. Но ведь могу же я в коридоре погулять? Могу или не могу?.. Борьба, которую возбудил этот вопрос, была тяжела и продолжительна, но наконец инстинкт свободы восторжествовал. Да, я могу выйти в коридор, потому что мне этого никто даже не воспрещал. Но едва я высунул нос за дверь, как увидел Прокопа, несущегося по коридору на всех парусах.

— Вот так штука! — кричал он мне издали,— вот это — штука!

— Что такое случилось?

— А то и случилось, что никакой комиссии нет и не бывало!

— Ты врешь, душа моя!

— Нет и не бывало. Ни конгресса, ни комиссии — ничего!

— Да говори толком, что случилось?

— Случилось вот что. Сижу я сегодня у себя в нумере и думаю: странное дело, однако ж! одиннадцатый день кареты нет! Скука! Читать — привычки нет; ходить да думать — боюсь, с ума сойдешь! Вот и пришло мне в голову: не сходить ли келейным образом к Доминику,— по крайности, около людей потрусь! Сказано — сделано. Надвинул, это, фуражку на глаза, прихожу, иду в дальнюю комнату — и что ж бы ты думал, вижу! Сидят это за столом: судья, который нас судил, Шалопутов, Капканчиков и Волохов — и вчетвером в домино играют. Ну, я сначала не понял, обрадовался. «Что, говорю, Карл Иваныч, выпустили?» Это Шалопутову-то. Молчит. Я его по плечу: выпустили, мол, Карл Иваныч? Он этак взглянул на меня, да как прыснет: «Вы, говорит, за кого-нибудь другого меня принимаете!» — «Чего, говорю, за другого! вот и они налицо!» Дальше — больше. «Я, говорю, из-за вас восьмнадцатый день из-под ареста не выхожу».— «Да это, говорят, сумасшедший! Гарсон! пожалуйста, пошлите за городовым!» Собралась около нас публика; кто в бильярд играл, кто в шахматы — всё бросили. Гогочут. Пришел хозяин. «Позвольте попросить вас оставить мое заведение». Это мне-то! «Нет, говорю, шалишь! коли ты меня не уважаешь, так уважишь вот это!» И показываю ему фуражку с околышем! А кругом хохот, гвалт — хоть святых вон понеси! Сумасшедший! Сумасшедший! — только и слов. «Да объясни ты мне, ради Христа,— говорю я судье,— должен ли, по крайней мере, я под арестом-то сидеть?» — «Сиди, говорит, сделай милость!» Гогочут. И ведь как бы ты полагал? вывели-таки меня, раба божия, из заведения!

Обман был ясен. Тут только припомнились мне все аномалии, которыми,— к сожалению, лишь на мгновение,— был поражен мой ум во время процесса. И захватанная лампа,

и продырявленные стулья, и запах жареного лука и помой...

— Слушай! ведь нас с тобой опять надули! и, главное, надула все та же компания! — воскликнул я в неописанном испуге,— ведь этак нам, пожалуй, в Сибирь подорожную дадут, и мы поедем!

— И поедем — ничего не поделаешь!

— Как хочешь, а надо бежать отсюда!

— И я говорю: бежать!

— Стало быть, едем!

Но богу угодно было еще на неопределенное время продлить наше пребывание в Петербурге...

X

Нервы мои, возбужденные тревогой последних дней, наконец не выдержали. Вынести сряду два таких испытания, как статистический конгресс и политическое судоговорение,— как хотите, а это сломит хоть кого! Чего я не передумал в это время! К чему не приготовился! Перебирая в уме кары, которым я подлежу за то, что подвозил Шалопутова на извозчике домой, я с ужасом помышлял: ужели жестокость скорого суда дойдет до того, что меня засадят в уединенную комнату и под наблюдением квартального надзирателя заставят читать передовые статьи «Старейшей Русской Пенкоснимательницы»? Или, быть может, пойдут еще далее, то есть заставят выучить наизусть «Бормотание вслух» «Честолюбивой Просвирни»? Каким образом я выполню это! Господи! укрепи меня! просвети мой ум глупопониманием! Сердце бесчувственно и закоснело созижди во мне! Очи мои порази невидением, уши — неслышанием, уста научи слагати несмысленная! Всевидяще! спаси мя! спаси мя! спаси мя!

Даже тогда, когда я вполне убедился, что все происшедшее со мной не больше как несносный и глупый фарс, когда я с ожесточением затискивал мои вещи в чемоданы, с тем чтоб завтра же бежать из Петербурга,— даже и тогда мне казалось, что сзади кто-то стоит с нумером «Честолюбивой Просвирни» в руках и иронически предлагает: а вот не угодно ли что-нибудь понять из моего «Бормотания»? И я со страхом опять принимался за работу укладывания, стараясь не поднимать головы и не оглядываться назад. Но вот наконец все уложено; я вздыхаю свободнее, зажмуриваясь бегу к постели и ложусь спать, с сладкою надеждой, что завтра, в эту пору, Петербург, с его шумом и наваждениями, останется далеко позади меня...

Надежда тщетная. Хотя я заснул довольно скоро, но этот сон был томителен и тревожен. Сначала передо мной проходит поодиночке целая вереница вялых, бесцельно глядящих и изнемогающих под игом апатии лиц; постепенно эта вереница скучивается и образует довольно плотную, темную массу, которая полубезумно мечется из стороны в сторону, стараясь подражать движениям настоящих, живых людей; наконец я глубже и глубже погружаюсь в область сновидений, и воображение мое, как бы утомившись призрачностью пережитых мною ощущений, останавливается на единственном связном эпизоде, которым ознаменовалось мое пребывание в Петербурге. Эпизод этот — тот самый сон, который я видел месяцев шесть тому назад (см. выше: глава IV) и в котором фангазия представила меня сначала миллионером, потом умершим и, наконец, ограбленным.

Молодой человек, взявший на себя защиту интересов сестриц, оказался прав: роббер не весь был сыгран — сыграна была только первая партия. Месяца через три приговор присяжных был кассирован, и бессмертная душа моя с трепетом ожидала новых волнений и тревог. Эти тревоги были тем естественнее, что дело мое, совсем неожиданным для меня образом, вступило в новый фазис, в котором сестрицы, законные наследницы моих миллионов, были оттеснены далеко на задний план, а на место их, в качестве гражданских истцов, явились лица, так сказать, абстрактные и, во всяком случае, для меня посторонние. Характер дела окончательно изменился: вместо гражданского процесса на сцену выступило простое, не гарантированное правительством предприятие, в котором на первом плане стояло не то или другое решение дела по существу, а биржевая игра на повышение или понижение. Основной капитал — миллион в тумане; акций выпущено десять тысяч по семидесяти рублей за сто; в ожидании кассационного решения биржа в волнении: «покупатели» $71^{3}/_{4}$, «продавцы» $72^{1}/_{8}$, «сделано» $71^{7}/_{8}$. Затем: разносится слух, что кассационная жалоба уважена — «покупатели» $78^{7}/_{8}$, «продавцы» $79^{7}/_{8}$, «сделано» $79^{1}/_{2}$; разносится новый слух, что гражданские истцы нашли каких-то неслыханных и притом совершенно достоверных лжесвидетелей — «покупатели» $82^{3}/_{4}$, *без продавцов;* еще разносится слух: лжесвидетели, отысканные гражданскими истцами, оказываются недостоверными — «продавцы» $62^{3}/_{8}$, «покупатели» $58^{3}/_{4}$, «сделано» $59^{1}/_{2}$. И так далее. Можно себе представить, с каким лихорадочным любопытством должна была следить за этими изменениями бессмертная душа моя!

Я не помню подлинных выражений кассации, но приблизительно смысл ее был следующий. Прежде всего постановка

вопросов, сделанных на первом суде, признана совершенно правильною. «Хотя невозможно не согласиться,— говорилось в решении,— что в столь запутанном, имеющем чисто бытовой характер деле, каково настоящее, постановка вопроса о том, *согласно ли с обстоятельствами дела похищены подсудимым деньги,* представляется не только уместною, но даже почти неизбежною, тем не менее в судебной практике подобное откровенное обращение к присяжным заседателям представляет нововведение довольно смелое и, во всяком случае, не имеющее прецедентов. То же самое следует сказать и о другом вопросе, предложенном присяжным заседателям: *не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, если б были в таких же обстоятельствах, в каких находился подсудимый?* Он правилен, но чересчур уже нов. Оба вопроса грешат не столько со стороны уместности, сколько со стороны необычности и несоответственности тем правилам, которые предписываются издавна заведенными порядками канцелярского производства. Чтобы подобная постановка возымела надлежащую силу, необходимо, чтобы последовательно несколько составов присяжных заседателей не усомнилось в ее правильности и ответило на предложенные вопросы с тою же простосердечною ясностью, с какою ответил состав присяжных, решавших дело на первом суде. Только этим путем может быть достигнуто убеждение, что в самом обществе существует *вкус* к подобным вопросам и что, следовательно, встречается настоятельная надобность и в судебной практике допустить некоторые полезные, соответствующие этому вкусу, изменения. А потому и дабы избежать затруднений, коими изобилует рассматриваемое дело, представляется один практический выход: судить обвиняемого Прокопа во всех городах Российской империи по очереди, начав таковую с города Срединного, в коем, во всей неприкосновенности, сохранилась истина древнего изречения: «не надуешь — не наживешь». Если и засим невинность подсудимого восторжествует (что, впрочем, представляется почти несомненным), то признать вопросы поставленными правильно, самую же невинность счесть патентованною и навсегда огражденною от знака отличия бубнового туза».

Итак, душе моей предстояло продолжительное путешествие, последствия которого, впрочем, могли иметь даже некоторую назидательность. Увидеть Белебей, Тетюши, Спасск Тамбовский, Спасск Рязанский, Спасск Казанский — разве это не высокое наслаждение? Быть свидетелем, как добродетель торжествует в Острогожске, Конотопе, Наровчате и т. д.— разве это не высшая награда для чувствительного сердца? Но и помимо личных соображений разве не существуют еще общие, кото-

рые делают последствия предстоящего судебного странствия еще более поучительными и бесценными? Во-первых, какая грандиозная задача для наших провинциальных, проселочных судов! Начните хоть с белозерского суда, которому до сих пор были подсудны только снетки! Какие — спрашивается — преступления могут быть совершены снетками? Ну, соберутся снетки, подымут дым коромыслом, устроят против щуки стачку и даже бунт; потом та же щука стрелой налетит на них из-за тростников и проглотит всех бунтовщиков без остатка — на чем тут практиковаться суду! И вдруг, вместо снетков, на скамье обвиненных — *миллион!!* Миллион! ваше сиятельство! Невинность непреоборимая! У нас! в Белозерске! Нет, как хотите, а при виде этого зрелища самые ленивые мозги — и те невольно зашевелятся, а раз зашевелившись, уже не перестанут работать до тех пор, пока добродетель окончательно не восторжествует! Во-вторых, какой единственный в своем роде случай для общества, чтобы проверить свои нравственные идеалы, и устами присяжных заседателей разгадать загадку современности! И наконец, в-третьих, какая будущность для самого подсудимого миллиона! Во всяком городе нечто оплодотворить, кого-нибудь осчастливить, и в заключение прибыть в Феодосию (последний по алфавиту город) в виде копейки серебром!

Но, признаюсь, меня всего больше интересовало, как выскажется в этом деле город Срединный. Хороши Тетюши, прекрасен Белебей, но Срединный — ведь это почти столица! Было время, когда Срединный чуть-чуть не сделался русскими Афинами; хотя же впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство, но и теперь это, во всяком случае, первый в России город по числу трактиров и кабаков. В Срединном я родился и воспитывался; здесь получил я первые понятия о «ташкентстве»; здесь сделал первые, робкие шаги в откупной карьере и от откупов непосредственно перешел к либерализму. Под неумолкаемый, отовсюду несущийся звон колоколов как-то легко пишутся проекты, в которых реформаторские затеи счастливым образом сочетаются с запахом сивухи и с тем благосклонным отношением к жульничеству, которое доказывает, что жульничество — сила и что с этой силой необходимо считаться. Я помню счастливое детство и первые годы ученья с массой гувернеров и гувернанток, обучавших лганью утонченному, и с стадом домашней челяди, обучавших лганью грубому и закоснелому. Я помню наш дом, в одном из бесчисленных переулков, с палисадником впереди и с обширным двором, застроенным амбарами, кладовыми и погребами, ломившимися под тяжестью «даровых» деревенских запасов. Я помню мужиков

в рваных понитках, которые привозили эти запасы за двести верст из Проплёванной. Я помню, как папенька враждовал с дяденькой из-за того, что последний умел «сыскать» в слепенькой бабеньке, и как мы, дети, ложась на ночь в свои кроватки, долго рассуждали: скоро ли умрет слепенькая бабенька и успеет ли она оставить духовную в пользу дяденьки? Я помню мои путешествия с папенькой по присутственным местам, где у нас постоянно производились какие-то дела и где из-за решеток выглядывали какие-то воспаленные, изуродованные оспой и фистулой физиономии, которые, казалось, говорили: ко мне! сюда пожалуйте, здесь можно отца родного купить и обратно его с барышом продать! Я помню путешествия с маменькой по гостиному двору, где купцы, с замечательной искренностью, говорили: в нашем деле, сударыня, не обвесить или не обмерить — все одно что по миру пойти!

Ничего не забыла злопамятная душа моя ..

В Срединном исстари существует инстинктивное вожделение ко всему, что носит на себе печать капитала или силы. Самый озлобленный на свою «незадачу» мещанин, такой мещанин, который с утра до вечера колотится, чтоб в результате получить грош, — и тот мгновенно расцветает, как только чувствует, что к нему или к его к платью прикоснулся «капитал». Физиономия его светлеет, сердце учащенно бьется, тело сладостно вздрагивает. Спросите у этого жалкого, забитого нуждой человека, что̀ так внезапно преобразило его,— и он непременно ответит вам: помилуйте-с! да ведь они теперича первые по нашему городу люди! И ежели для вас, собственно, это объяснение ничего не объясняет, то для него, забитого мещанина, оно исчерпывает весь смысл его бытия и заключает в себе разгадку всех его поступков. Быть может, думаете вы, в нем колышется мысль: вот пойду поклонюсь этому человеку в ноги, и он даст мне рубль серебра! Но, увы! даже и этой мысли у него нет! Он расцветает вполне бескорыстно, расцветает потому только, что мошна есть единственный идеал, до постижения которого он успел возвыситься в продолжение многотрудной своей жизни, посвященной продаже и купле. Продаже и купле всего, начиная с гнилых яблоков и подержанных штанов и кончая подержанною и гнилою совестью...

В таком городе мой миллион должен произвести громадное, потрясающее впечатление. Нынче люди так слабы, что даже при виде сторублевой кредитки теряют нить своих поступков, — что же будет, когда они увидят... целый миллион в тумане! Поэтому будущее процесса сразу выяснилось предо мной во всех его подробностях, и я очень хорошо понял ту наглую радость, которую ощутил Прокоп, когда ему объявили, что

Срединному суждено положить начало торжеству его добродетели!

Прежде всего, однако ж, мне хотелось выяснить себе взаимное положение враждующих сторон, и потому душа моя немедленно воспарила в Проплёванную. Увы! мое старое дворянское гнездо как будто еще более почернело и вросло в землю. Сад опустел и обнажился; на дорожках лежала толстая стлань желтых, мокрых от дождя листьев; плетневый частокол местами совсем повалился, местами еще держался кой-как на весу, как будто силился изобразить собой современное европейское равновесие; за садом виднелась бесконечная, безнадежная равнина; берега пруда были размыты и почернели; обок с усадьбой темнели два ряда жалких крестьянских изб, уныло глядевших друг на друга через дорогу, по которой ни проехать, ни пройти невозможно. На дворе изморозь, ветер и грязь; все лица красны и опухли от сиверки, все одежды мокры от дождя. Над этой печальной картиной висело не менее печальное хмурое небо, как бы суля безнадежность, неприютность и тоску на бесконечное время...

Сестрицы обе налицо и в ожидании исхода кассационной жалобы делят между собой мою движимость. На стульях развешаны мои дворянские мундиры, старые сюртуки, фраки, панталоны, совершенно так, как во время просушки летом на солнце от моли; на столе стоят банки с вареньем и соленьем, бутылки с наливкой и бутыль листовки, которую я охотнее других водок пивал при жизни. Ключница Авдотья (старая! думала ли ты когда-нибудь, что будешь свидетельницей этого разорения!), гремя ключами, беспрерывно приносит с погреба новые банки и, наследив в зале мокрыми сапогами, опять отправляется на погреб за ношей. Мой дом всегда смотрел полною чашей, но сестрицы, по-видимому, изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. Фофочка и Лёлечка присутствуют при инвентаре моего имущества, в качестве депутатов: первая — со стороны сестрицы Дарьи Ивановны, вторая — со стороны сестрицы Марьи Ивановны.

Сестрицы находятся в самом дружелюбном настроении духа. Мысль, что в будущем им придется поделить миллион, навеяла мир в сердца их и сделала их сговорчивее относительно банок варенья и старых панталон, дележом которых они в настоящую минуту заняты.

— Уж вы, сестрица, хоть одну банку с клубникой мне уступите! — говорит Марья Ивановна,— глядите-ка! мне почти все банки с малиной достались.

— Извольте, сестрица!.. Фофочка! отставь от нас банку с клубникой, а банку с малиной получи.

— Вот и мундирчик мне тоже достался! Шитьецо-то только с виду золотенькое, а посмотреть на него — все-то оно выгорело!

— Зато на вашем суконце хорошее, сестрица! Мой-то ведь вывороченный! А я вот что, сестрица, думаю: куда это поленшевка у братца девалась! Ведь как он ее, покойник, любил! Неужто Дунька-воровка все вылакала?

Но не успела сестрица Дарья Ивановна наклеветать на Авдотью, как последняя является с целым грузом поленшевки. Бутылки торчат у нее и в руках, и под мышками, и за пазухой, и в черном переднике, концы которого она закусила зубами.

— Огурцы-то после, что ли, делить будете? — спрашивает Авдотья.

— Завтра, Дуняша-голубушка! теперь у нас других делов много!

Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются в гостиную и усаживаются на софу.

— Ну-с, сестрица, стало быть, вся земля от Матрешкинова оврага до Кривой Ели — моя? — начинает Дарья Ивановна.

— А от Кривой Ели до Софронова луга — моя, — отвечает Марья Ивановна.

— Главное, сестрица, чтоб разговору у нас не было! чтоб братца, голубчика, наши споры не потревожили! Пожил братец, царство небесное, не прожил, а нажил... надо и успокоить его, сестрица!

— Надо! ах, как надо! как ему молитва-то наша нужна! Ведь он, сестрица, царство ему небесное, как деньги-то наживал?! И с живого, и с мертвого... с самого, можно сказать, убогого... все-то он драл! все-то драл! Бедный-то придет, бывало, а он, вместо того чтоб милостыньку сотворить, его же нагишом и отпустит!

— Что говорить! не без греха! Ну, да наше дело сторона! Наше дело молиться, сестрица! Молиться да еще благодарить!

— И как еще, сестрица, благодарить! Вот я каждый день Лёлечке говорю: благодари, говорю, дура! Если б не скончался братец, жила бы я теперь с вами, оболтусихами, в Ветлуге! А у нас, сестрица, на Ветлуге и мужчин-то всего один, да и тот землемер!

Сестрицы на короткое время умолкают, чтоб перевести дух.

— И как это, сестрица-сударыня, хорошо нынче заведено! — начинает опять Дарья Ивановна,— сидим мы теперича здесь в тепле да в холе: ни-то на вас ветром венет, ни-то дождем спрыснет, а он-то, аблокат-то наш, то-то, чай, высуня язык по Петербургу рыскает!

— Что ж, сестрица! взял денежки — и держись! Это уж зва-

ние их такое, чтоб за других, задеря хвосты, бегать! Иной человек ни за что по передним нюхать не пойдет, а он, по своему званию, и это занятие перенести должен!

— Слышала я, сестрица, что нынче над ними начальники в судах поставлены. Прежде не было, а теперь есть. Наш-то так-таки прямо и объявил: трудно, говорит, нынче, сударыня! Уж на что, говорит, я бесстрашен: и бурю, и слякоть, и холод, и жар — все стерплю! А начальства боюсь!

— Долго ли до греха! Вот тоже сказывают про одного: врал да врал, а начальник-то ему: вы, говорит, забыли, в каком государстве находитесь! В таком, говорит, государстве, где врать не дозволено! Так-таки прямо и выпалил!

Бог знает, куда бы завел сестриц этот простодушный разговор, если б в эту минуту не послышался звон колокольчика. Еще минута — и в гостиной совершенно неожиданно появился тот самый молодой адвокат, с которым я уже познакомил читателя в одной из предыдущих глав моего «Дневника» (я забыл тогда сказать, что фамилия его была Хлестаков, что он был сын того самого Ивана Александровича Хлестакова, с которым я еще в детстве познакомился у Гоголя, и в честь своего дедушки был назван Александром). Но, увы! в нем уже не было и тени той заискивающей предупредительности, которая так очаровала меня в то время, когда он вел переговоры с Прокопом!

Напротив, он был строг. Сам приказал зажарить цыпленка, сам выбрал бутылку поленишевки и, распорядившись, чтоб завтрак был подан немедленно, разлегся на диване и прямо приступил к делу. Сообщив сестрицам об успехе кассации, он объявил, что тем не менее торжество Прокопа в будущем вполне обеспечено. И нравы, и обычаи, и история, и статистика — всё на его стороне. И он, адвокат, конечно, не потащился бы в эту «проклятую дыру» (так назвал он Проплёванную!), он даже плюнул бы на это поганое дело, если б не было надежды, что Прокоп со временем сам изнеможет под бременем торжества своей добродетели. Торжествовать по два, по три раза ежегодно, и притом торжествовать до самой смерти — с первого взгляда это кажется легко, но в сущности оно довольно обременительно. Что Прокоп *должен* пойти на сделку — это ясно; но вопрос в том, сколько потребуется времени для того, чтобы созрела в нем эта решимость. Быть может, год, а быть может, и двадцать лет.

— Согласитесь сами, старушки, что двадцать лет сряду таскаться к вам в Проплёванную — совсем для меня не лестно! — заключил он, все непринужденнее и непринужденнее разваливаясь на диване и укладываясь, наконец, на нем с ногами.

Сестрицы, словно ошпаренные, молча стояли перед ним, покуда он поигрывал с pince-nez, насвистывал «l'amour ce n'est que ça» и смотрел в потолок.

— Да-с, не лестно-с и не расчет-с! — начал он вновь, закидывая руки под голову,— я в Петербурге от ста до тысячи рублей в день получаю — сколько это в год-то составит? — да-с! А вы тут с своею Проплёванною в глаза лезете!.. Я за квартиру в год пять тысяч плачу! У меня мебель во всех комнатах золоченая — да-с!

Сестрицы из учтивости раскрывали рты, как бы желая сказать нечто, но слова, очевидно, замирали у них на устах. Я ждал одного из двух: или он ляжет брюхом вниз, или встанет и начнет раздеваться. Но он не сделал ни того, ни другого. Напротив того, он зажмурил глаза и продолжал как бы в бреду:

— У меня строго. Я двадцать помощников нанимаю, да тридцать человек рассыльных на свой счет содержу! И всем с с утра до вечера работа. Свистнул — и разом во все стороны прыснули, только пятки сверкают! опять свистнул — и опять все тут как тут! Мне каждый день до тысячи справок нужно, и всё по делам — да-с! Я в прошлом году на два миллиона дел выиграл: по десяти процентов с рубля — сколько это денег-то будет! А многие даже половину отдают. только, братец, выиграй — да-с! А шельмецов сколько я защитил! Ну, то есть, такого однажды мерзавца оправдал, что даже прикоснуться к нему скверно! — да-с! Другие все отказались... а я — нет! Нет, говорю, господа! Это не так! Мерзавцу адвокат нужен! Коли, говорю, от мерзавцев отказываться, так нам и зубы, пожалуй, на полку придется положить!.. да-с! У меня и сегодня в судебной палате разбирательство назначено... Миллион!! а я вот в Проплёванной с вами наливки распиваю... да-с!

Сказавши это, он как-то усиленно засучил ногами, как делает человек, которому хочется одной ногой снять сапог с другой ноги.

— У меня каждое утро с одиннадцати до двух прием, и каждое утро не меньше ста карет у подъезда стоит — да-с! Но как только пробило два часа — прием кончился! Нет приема — и дело с концом. И тут мне хоть сто тысяч давай — дудки! ни одной минуты больше! Один раз князь Слабомыслов — только минуту опоздал! одну только минуту! «Александр Иваныч, говорит, секундочку!» — «Ни терции», говорю! «Но почему ж так?» — «А потому, говорю, что ежели вашего брата, клиента, баловать, так вы и совсем потом оседлаете!» Да-с! Может быть, и теперь, в эту минуту, сто человек меня дожидается, а я... фью!.. где бы вы думали!.. в Прррроплёванной!!

Сапог с одной ноги летит на пол.

— Меня однажды князь Серебряный (вот тот, что граф Толстой еще целый роман об нем написал!) к себе сманивал... да-с! «Если, говорит, сделают меня министром, пойдешь ты ко мне?» — «Нет, говорю, откровенно тебе скажу, князь, не пойду».— «Почему ж так! Я, говорит, только для виду министром буду, а всем прочим будешь распоряжаться ты!» — «И все-таки не пойду».— «Но почему же?» — «А дашь ты мне, говорю, в год сто тысяч?» — «Но это, говорит, невозможно!» — «А невозможно, говорю, так и разговаривать нечего!..» — да-с! А теперь он скажет: ко мне идти не хотел, а в Проплёванную, небось, есть расчет ездить!

Другой сапог снят и летит на пол. При этом виде сестрица Дарья Ивановна решается наконец быть откровенною.

— Александр Иваныч! батюшка! да будьте вы с нами по-родственному! — восклицает она, простирая руки и как-то глупо оттопыривая губы.

Восклицание это, по-видимому, возвращает молодого человека к действительности. Он не торопясь поднимается с дивана, протирает глаза и позевывает.

— Гм... я, кажется, сапоги с себя снял,— говорит он,— а вы уж и раскисли, старушки! По-родственному! Это значит: в Проплёванной с вами жить, да наливки распивать... недурно сказано!

И он так нагло захохотал им в лицо, что я вдруг совершенно ясно понял, какая подлая печать проклятия должна тяготеть на всем этом паскудном роде Хлестаковых, которые готовы вертеться колесом перед всем, что носит название капитала и силы, и в то же время не прочь плюнуть в глаза всякому, кто хоть на волос стоит ниже их на общественной лестнице.

— Ну-с,— продолжал он, вновь принимая строгий и деловой вид,— разговаривать с вами мне некогда. Я приехал затем, чтоб предложить вам ультиматум. Примете его — прекрасно; не примете — только вы меня и видели!

Затем он вынул из бумажника пачку кредиток и поднес ее к носу сестрицы Дарьи Ивановны...

Дело кончилось в каких-нибудь полчаса. Сестрицы продали и меня, и мой миллион за десять тысяч рублей, или, вернее, за пять тысяч, потому что только эта сумма была немедленно отсчитана, а остальные пять тысяч они имели право получить лишь тогда, когда феодосийские присяжные окончательно произнесут: да, Прокоп устранил миллион из прежнего помещения вполне согласно с обстоятельствами дела. Сверх того сестрицы обязывались: 1) являться на всех судах в бедной и

даже рваной одежде, лгать, как будет указано, а в случае надобности и плакать; 2) дозволить магазину голландских и билефельдских полотен Гершки Зальцфиша (он же и антрепренер моего процесса, обязывавшийся действовать от имени сестриц) напечатать во всех газетах следующее объявление:

НЕДАВНО!!!

в нашем магазине купили полдюжины голландских носовых платков несчастные наследницы автора «Дневника»,

ОБЕЩАЯСЬ!!!

в случае выигрыша процесса купить целый ассортимент рубашек, кальсонов, носовых платков, скатертей, салфеток и других полотняных товаров, продающихся у нас по баснословно дешевым ценам, в чем почтеннейшая публика удостоверится, посетивши наш магазин.

Alea jacta est!.. Где же принцип собственности? где святость семейных уз? Если сестрицы сознавали свое право на обладание моим миллионом и если при этом им было присуще чувство собственности, то они были обязаны идти до конца, влечься к *своему* миллиону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что бы из того ни произошло! С другой стороны, ежели они чувствовали себя членами семьи, то точно так же фаталистически и до последней крайности обязывались мстить моему обидчику. И в чувстве собственности, и в чувстве союза семейного не может быть сделок, ибо это даже не принципы, а естественное влечение человеческой природы. Принципы можно сочинить, а следовательно, и отказаться от них или видоизменить; но каким образом устранить чувство, которое говорит само собой, независимо от каких-либо посторонних, искусственных влияний? Как заставить себя вожделеть только десять тысяч, когда предмет вожделений совершенно конкретен и составляет миллион? Не все ли это равно, что сознавать себя сытым, когда все нутро вопиет о голоде?

Но в наше развращенное время все возможно. Мы до того исковеркали себя, что даже самые естественные наши побуждения подчинили искусственным примесям. Мы суживаем и расширяем их по своему усмотрению, мы отдаем их в жертву всевозможным жизненным компромиссам, забыв совершенно, что самое свойство естественных чувств таково, что они не подчиняются ни человеческому произволу, ни тем менее каким-то компромиссам. Мать взыскивает по векселю с сына, подчиняясь естественному чувству собственности и в то же

время попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, взыскав деньги с одного сына, передает их другому, подчиняясь естественному чувству семейственности и отворачиваясь от естественного чувства собственности. Какой многознаменательный факт! Ужели это не повторение древнего мифа о Харибде и Сцилле? И каким образом усидеть между этих двух стульев и не провалиться в конце концов? Газета «Честолюбивая Просвирня», еженедельный орган русских праздношатающихся людей, давно уже, впрочем, заметила этот разлад, и ежели до сих пор не сумела ясно формулировать его, то единственно по незнанию русской грамматики. Знай она русскую грамматику, она доказала бы, как дважды два — четыре, что вредный коммунизм, и под землей и по земле, и под водой и по воде, как червь или, лучше сказать, как голодный немец, ползет, прокладывая себе дорогу в сердца простодушных обывателей российских весей и градов!

Я чувствовал этот разлад вдвойне: и как консерватор, и как бывший откупщик. Не за себя мне было обидно, а за те святыни, которые с детства составляли животворящее начало моей жизни! Как мелки и даже нравственно испорчены показались мне сестрицы, и как был велик, непосредствен и целен, по сравнению с ними, Прокоп! Правда, и у него была минута слабости — минута, когда он предложил молодому Хлестакову десять тысяч рублей срыву, но затем он уже, как говорится, осатанел и вел себя как человек, в котором естественное чувство собственности совершенно заглушило все другие, наплывные соображения...

Даже молодой Хлестаков — и тот, с точки зрения философской, являл себя более надежным хранителем основных человеческих влечений, нежели те малодушные женщины, которые имели наглость называть себя моими сестрами и наследницами! Однажды завожделев, он тотчас же воплотил свое право и отдал себя ему весь до конца! И как блестяще он покончил с сестрицами! Как ловко он поднес пачку ассигнаций к самому носу сестрицы Дарьи Ивановны в такую минуту, когда она, ошеломленная кассационным решением, не могла даже понять, где кончается копейка и где начинается миллион! Бедная! она даже чихнула от наслаждения: до такой степени живо заговорило в ней чувство собственности! Да, это было чувство собственности, хотя чувство не полное, чисто женское, чувство, не умеющее отличить гривенник от рубля и, быть может, по этой причине не способное ни на какие самопожертвования ради великих общих принципов!

Да; надо, ах как надо написать об этом статью и послать ее к Менандру. Вместо того чтоб бормотать на тему, пра-

вильно или неправильно поступает огородник, разводя при огороде козлов (ведь это даже за насмешку принять можно! можно подумать, что и «огороды» и «козлы» тут только для прилику, настоящее же заглавие статьи таково: «правильно ли поступает администратор, разводя в своем ведомстве либералов?») — не лучше ли прямо обсудить вопрос: отчего стремления, вполне естественные в теории, на практике оказываются далеко не столь естественными? что̀ тут составляет мираж: самые ли стремления или та практика, которая извращает их?..

Но какая, однако ж, это странная штука! Теперь моими родственниками и наследниками оказываются не сестрицы, а Хлестаков с целою шайкой совершенно неизвестных жидов, производящих распродажу полотен! О, пархатые! каким чудом могло заползти в ваши сердца чувство родственной любви к человеку, вполне для вас неизвестному! Или я не человек, а только «рубль», на котором ничего не написано, кроме того, что это res nullius, которая, в этом качестве, caedet primo occupanti [1], то есть еврею Зальцфишу, продающему настоящие голландские платки на углу Большой Мещанской и Гороховой!

Как бы го ни было, но симпатии мои к Прокопу возрастали все больше и больше. Не говоря уже об его верности принципам, меня подкупали еще воспоминания. Он любил меня, он делил со мной радость и горе. Вместе с ним я изучал петербургские трактирные заведения, наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, заседал в шухардинском международном статистическом конгрессе и вытерпел в «Отель дю-Норд» опаснейший политический процесс. Наконец, какие превосходные устроил он мне похороны! Ввиду всего этого мог ли я винить его? Ведь деньги мои не были заперты! ведь он был один в момент моей смерти, или, по крайней мере, мнил себя быть одним! Ну, мог ли же он? Ради самого бога, мог ли он воздержаться, мог ли не дать воли чувству стяжания, которое делается в особенности жгучим, почти нестерпимым, при виде того, что плохо лежит! И не забудьте, что ведь плохо-то лежал... миллион!!!

Где были в это время сестрицы? Бодрствовали ли они? Следили ли за тем, как я, постепенно спиваясь с кругу, погружаюсь на самое дно петербургских наслаждений! Нет, они унывали в Ветлуге! Они роптали на судьбу, которая послала на Ветлугу *только* одного мужчину, да и то землемера... О, маловеры!

---

[1] вещь ничья и поэтому принадлежит тому, кто первый ее захватит.

Но, дойдя до этих злоключений, я сам испугался. Оказывалось, что и во мне естественное чувство семейственности настолько ослабло, что и я не усомнился узы случайной приязни предпочесть узам кровного родства! Если б я не был развращен современными веяниями, я должен был бы любить сестриц во что бы то ни стало. Любить, хотя бы они ненавидели меня и делали мне на каждом шагу всякие мерзости! Братцы! сестрицы! грабьте! — вы всегда будете милы мне! Почему вы *должны* быть мне милыми — это «тайна». Это неисповедимейшая из всех тайн современности, в которых ненависти и любви так хитро переплелись между собой, что сам Менандр, со всем собором пенкоснимателей, конечно, не разрешил бы, любовь ли тут породила ненависть, или ненависть породила любовь!

Сгорая нетерпением познакомиться с моими новыми родственниками, душа моя воспарила в Петербург. Но тут, я должен сознаться, воспоминания мои уже теряют свою последовательность и представляются в форме отрывков, лишенных строгой органической связи.

Сначала, я перенесся как бы на сцену Большого театра. Давали «Жидовку». Все пархатые были налицо и производили тайное жидовское моление. За большим столом, покрытым белою скатертью, посредине, лицом к зрителям, сидел Гершка Зальцфиш и разбитым тенором произносил возгласы. Он был одет в длинную одежду и препоясан, как бы собираясь в длинный путь. На столе лежали опресноки и зажаренная на собственном сале каширная овца, приправленная чесноком. Мошка Гиршфельд, Иосель Зальцман, Иерухим Хайкл, Ицко Праведный и множество других жидов-акционеров (в числе их я узнал некоторых зубных врачей) расположились кругом стола и подтягивали. Они молились за успех *моего* дела и взывали к Иегове об отмщении. На одном конце стола приютился Александр Иваныч Хлестаков и, умильно посматривая на Рифку Зальцфиш, поместившуюся на другом конце, обдумывал, что выгоднее: перейти ли в жидовскую веру или потурчиться? Затем, когда каширная овца была доедена, Хлестаков встал из-за стола и доложил общему собранию господ акционеров, что он успел отыскать двоих новых и притом совершенно достоверных лжесвидетелей. Один из них — известный нумерной Гаврюшка, который согласен за сто целковых и подтвердить и переменить свое прежнее показание — как угодно; другой, елабужский мещанин Иуда Стрельников, который, ехавши на пароходе от Казани до Елабуги, собственными ушами слышал, как бывший камердинер Прокопа, Семен, хвастался, что получил однажды от барина

глюху за то, что назвал его вором. Показание это Стрельников соглашается подтвердить и на суде, если ему будет дано двести рублей.

— Но пусть лжесвидетели сами изложат перед собранием свои показания! — восклицает легкомысленный Хлестаков.

Входит Гаврюшка, с заложенными, по привычке, назад руками. Он в оборванном сюртучишке, лицо безобразно опухло; глаза устремлены в пол; ноги дрожат. От всей его фигуры разит водкой, распутством и тем нестерпимым запахом, который можно обонять только в отвратительных конурах, где ютится на ночь трактирная прислуга. Он вздыхает как бы под бременем раскаяния и в то же время блуждает глазами по столу, разыскивая, нет ли где водки. Из-за него выглядывает маленькая, юркая фигура расторопного елабужского мещанина Стрельникова.

Оба по очереди излагают свои показания. Гаврюшка поет свою арию пьяным басом, Стрельников — дребезжащим, слабосильным тенором. По временам голоса их сливаются и образуют дуэт.

Затем их заставляют сесть на стулья и положить руки под стегно в знак того, что они будут лжесвидетельствовать по самой сущей истине и так точно, как научил их господин Хлестаков.

Лжесвидетелей увели; Гершка встал с своего места и как ошпаренный забегал по сцене. Глаза его горели, пейсы тряслись, на губах сочилась пена.

— Сами зе видели! сами зе теперь видели! — кричал он в исступлении.

— Видели! Видели! — отвечал ему хор.

— Иерухим! теперь безите! безите теперь нах бирза... гешвинд! И всем сказите: насли лзесвидетелей! Гёрсту! не лозных, а настояссих, самых лущих лзесвидетелей! И продайте тысяцу акций!

Иерухим убежал, а Гершка вдруг закружился, начал подпрыгивать, колотить себя в грудь и выкрикивать какие-то нечленораздельные звуки. Примеру его последовали и прочие, а между ними и Хлестаков. Таким образом продолжалось около получаса. Наконец все повалились, кто куда попал, и Гершка потухшим голосом произнес:

— О, вей мир! и какое зе ты великий мосенник, Иерухим! И сто зе он там говорит! И мозно ли так говорить... и где зе?.. на бирза! И никаких зе лзесвидетелей совсем нет! О, Иосель! о, друг мой Иосель! Безите теперь ви! Безите нах бирза и всем говорите! Всем сказите, сто Иерухим говорит...

ах, пфуй! сто зе он говорит! И ницего зе этого нет! И никакой лзесвидетель не приходил! И купите тысяцу акций!

Это было так любопытно, что душа моя сейчас же воспарила на биржу, чтоб удостовериться, что из этого выйдет.

Иерухима еще не было. Настроение биржи было *вялое.* Цена акций представлялась в следующем виде: продавцы 71, покупатели $70^1/_2$ без сделок. Вдруг прибежал Иерухим и, воздевши руки, воскликнул:

— О, вей! насли двух самых луцших, самых настояссих лзесвидетелей!

Тогда произошло смятение. Все бросились покупать, и Иерухим в какие-нибудь полчаса времени спустил тысячу акций: покупатели $78^3/_4$, продавцы $80^1/_2$, сделано $79^7/_8$. Но в тот самый момент, когда Иерухим продал последнюю акцию, прибежал весь бледный Иосель и, растерзав на себе ризы, воскликнул:

— О, Иерухим! ты великий мосенник и вор! Не верьте зе ему! не верьте! Никаких зе лзесвидетелей нет!

Целая толпа бросилась на Иерухима и принялась бить его. Но Гершка достиг своей цели: акции упали немедленно, и были скуплены Иоселем обратно: продавцы $62^1/_2$, покупатели 62, сделано $62^1/_8$.

Итак, на моем деле Гершка, так сказать, моментально выиграл с лишком шестнадцать тысяч рублей! Этого мало: едва появилось в газетах объявление, что мои наследницы купили в магазине Зальцфиша полдюжины носовых платков, как публика валом повалила на угол Гороховой и Большой Мещанской и с десяти часов утра до десяти вечера держала в осаде лавку, дотоле никем не посещаемую. В этот день было продано 100 дюжин рубашек, 1000 пар мужских и женских кальсонов, 500 дюжин носовых платков и, по соразмерности, прочих товаров. Вечером Гершка телеграфировал в Ярославль с требованием скупить у тамошних баб все билефельдское полотно, какое окажется в наличности...

Однако факт существования лжесвидетелей был налицо, и я бросился к Прокопу, чтобы предупредить его насчет предательства Гаврюшки.

Но как же я был приятно изумлен!!

Оказалось, что все это не больше как подпольная интрига, в которой деятельными лицами являлись агенты Прокопа и жертвою которой должен был пасть молодой Хлестаков! Что и Гаврюшка, и Иуда Стрельников — не только не лжесвиде-

тели, но просто благонамереннейшие люди, изъявившие согласие, за известную плату, надуть моих новых пархатых родственников!

Я отсюда представляю себе эту изумительную сцену. Хлестаков горячится и требует призыва Гаврюшки и Стрельникова; напротив того, адвокат Прокопа с чувством и даже настойчиво отклоняет это требование. Но правда, однако ж, превозмогает, свидетели вызваны; Хлестаков потирает руки, настораживает уши, старается уловить *каждое слово,* каждый звук драгоценного свидетельства — и что же слышит?!

— Ничего этого я не знаю,— говорит Гаврюшка,— человек я слабый, пьяный! Служил я у них — это точно... Только уж оченно строги они были... ах, как были строги!

— Правда ли, что подсудимый неоднократно бил вас? — спрашивает Гаврюшку защитник Прокопа.

— И бивали... страсть, как бивали! Бывало, чуть что — сейчас в ухо или по зубам!

— Прошу господ присяжных обратить на это показание особенное внимание! — обращается защитник Прокопа к присяжным,— оно уничтожает в прах все эти гнусные клеветы насчет подкупов и угроз, которые злонамеренно распускаются в обществе. Вот свидетель, который прямо показывает, что подсудимый не только не подкупал, но и бил его... и за всем тем, в благодарной своей памяти, не находит ни единого факта, который мог бы очернить моего клиента! Еще раз прошу вас обратить на это внимание!

— Было у нас это дело таким манером,— показывает, в свою очередь, Иуда Стрельников,— призывают они меня, вот этот самый господин Хлестаков, и говорят: «Вот тебе, говорят, к примеру два золотых; покажи, значит, что Семен Петров при тебе на пароходе хвастался!» А я, ваше превосходительство, совесть имею. «Как же, мол, говорю, Александр Иваныч, я теперича об этом самом деле показывать буду, коли ежели я ничего про него не знаю?» Однако они меня не послушали: «Ничего, говорят, показывай! я тебя вызову».— «Как угодно, говорю, а только мы против совести показывать не согласны!» Только у нас и разговору, ваше превосходительство, с ними было!

Хлестаков краснеет и бледнеет; он чувствует, как сознание собственного легкомыслия начинает угрызать его. Конечно, впоследствии, он поймет ту теорию «встречного подкупа», которую всесторонне разработал Прокоп, но когда он поймет ее,— будет уже поздно...

Каков сюрприз!!

Но возвращаюсь к рассказу.

Я застал Прокопа в той самой гостинице, в которой он остановился по приезде в Петербург. Он, по обыкновению своему, шагал из угла в угол, но, по временам, останавливался и меланхолически рассматривал щегольской серый казакин с бубновым тузом на спине, который сгоряча заказал для себя и в котором теперь не предстояло никакой надобности. Перед ним, как бес перед заутреней, вертелся маленький человек не то армянин, не то грек, одним словом, существо, которое Прокоп, под веселую руку, называл «православным жидом». Это был секретный агент Прокопа, агент, на обязанности которого лежало отыскиванье лжесвидетелей, устройство различных судебных сюрпризов и другая черная работа. У дверей, прислонясь к притолоке, стояли: ополоумевший от водки Гаврюшка и расторопный елабужский мещанин Иуда Стрельников.

— Боюсь, не поверили они! Не пойдут, брат, они на эту штуку! — как-то лениво резонировал Прокоп, выслушав доклад своего агента.

Гаврюшка только хлопал в ответ глазами. За него выступил вперед с ответом Стрельников.

— Ваше высокородие! позвольте слово сказать-с!

— Говори, братец!

— Возможное ли теперича дело, чтоб они не поверили, коли мы, значит, даже руку, с позволения сказать, под себя клали! По-ихнему, теперича, какой это разговор? «Верное слово» — и больше ничего!

Прокоп вопросительно взглянул на «православного жида».

— Это так точно, ваше высокородие! — засуетился последний,— это у них... Это ежели кто руку под себя положил...

— Позвольте, Экономид Мурзаханыч! — вступился Стрельников,— я их высокородию все объясню. Ваше высокородие! возможно ли мне этих делов не знать, коли я этого самого жида... другой, значит, козла своего столько не знает, сколько я этих жидов наскрозь проник!

— Ой ли? Очень уж, погляжу я, ты хвастаться ловок! А ты знаешь ли, что̀ значит елабужский мещанин? [1]

— И это знаю-с! Я все знаю-с. Потому я, ваше высокородие, не токма что в Елабуге, а даже в самом Париже проживание имел-с!

— Ври, дурак!

— Верное слово, ваше высокородие! Потому тятенька у меня человек строгий, можно сказать, даже ровно истукан простой... Жили мы, теперича, в этой самой Елабуге, и сдела-

---

[1] «Елабужскими мещанами» в Вятской губернии называют известных, особенно надоедливых паразитов. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

лось мне вдруг ужасти как непросторно! Тоись, так не просторно! так не просторно! Ну, и стал я, значит, пропадать: день меня нет, два дня нет — натурально, от родителев гнев. Вот и говорят мне тятенька: ступай, говорит, сукин сын, куда глаза глядят!

— Да в Париж-то тебя как нелегкая занесла?

— Постепенно-с. С господами приехал-с. Я, ваше высокородие, при каммуне сторожем состоял!

— Ну?!

— Точно так, ваше высокородие. Только я, конечно, по чувствам своим больше до господина Тьера касательство имел... Утром, известно, в каммуне служишь, а вечером — касательство в Версали-с...

Стрельников смотрел так ясно и даже интеллигентно, что Прокоп, несколько раз, во время разговора, подмигивавший «православному жиду», окончательно повеселел.

— Выжига, значит!

— По нашему званию, ваше высокородие, никак без этого невозможно-с! Теперича, например, хоть бы вы-с. Призываете вы меня: предоставь мне, Стрельников, то али, положим, хочь и другое! Должен ли я вашему высокородию удовольствие сделать?

— Только ты смотри у меня, держись в *струне, не сбренди!* Я, брат, ведь зол! Я тебя — ежели что — в треисподней достану! Как только он тебя свидетелем вызовет,— сейчас ты его удиви!

— Ваше высокородие! Довольно вам сказать: как перед истинным, так и перед вами-с! Наплюйте вы мне в лицо! В самые, тоись, глаза мне плюньте, ежели я хоть на волосок сфальшу! Сами посудить извольте: они мне теперича двести рублей посулили, а от вас я четыреста в надежде получить! Не низкий ли же я против вас человек буду, ежели я этих пархатых в лучшем виде вашему высокородию не предоставлю! Тоись, так их удивлю! так удивлю! Тоись... и боже ты мой!

. . . . . .

Далее я не слушал: я понял.

Но тут нить моего сновидения прерывается окончательно. Я чувствую, что лечу стрелой через необозримое пространство, лечу, лечу... и, наконец, упадаю на самое дно пропасти.

Прошло двадцать пять лет; девятнадцатый век на исходе, а Прокоп все еще судится. Из похищенного миллиона у него осталось всего-навсе двести пятьдесят тысяч, а он в течение

двадцати пяти лет, несмотря на всю быстроту судопроизводства, едва-едва успел дотянуть до половины буквы *В*. Сто двадцать пять городов, местечек, посадов и крепостей были свидетелями торжества его добродетели, но сколько еще тысяч городов предстоит впереди — это невозможно даже приблизительно определить. К несчастию для Прокопа, благодаря чрезмерному развитию промышленности, каждый год, как на смех, возникает множество новых городов и местечек, так что ему беспрестанно приходится возвращаться назад, к букве *А*. А тут еще и другое неудобство: порядок переезда из одного города в другой, вследствие канцелярского недоразумения, принят алфавитный, и Прокоп, по этой причине, обязывается переезжать из Белева в Белозерск, из Белозерска в Белополье и т. д.

В настоящую минуту он в Верхотурье (Пермской губернии) и деятельно готовится к переезду в Верхоянск (Якутской области)...

Европа давно уже изменила лицо свое; одни мы, русские, остаемся по-прежнему незыблемы, счастливы и непреоборимы... В Европе, вследствие безначалия, давно есть нечего, а у нас, по-прежнему, всего в изобилии. Идя постепенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье увидело гласный суд в стенах своих. Благо, Уральский хребет перейден, а там до Восточного океана — уж рукой подать!

Благодаря этой постепенности, успехи, которые сделала русская жизнь в продолжение последних двадцати пяти лет, поистине изумительны. В каждом городе существует клуб, в котором за 75 копеек можно получить неприхотливый, но сытный обед, состоящий из трех блюд. Исправники не называются больше исправниками, а носят титул «излюбленных губернаторами людей» и в этом качестве занимают в клубах должности «главных старшин». Вредный административный антагонизм исчез совершенно; земские управы, изнемогши в борьбе с мостами и перевозами, оставили за собой лишь уездную и губернскую статистику, но зато довели эту науку до такого совершенства, что старик Кеттлѐ, приехав однажды в Балахну («Балахня — стоит рот распахня»,— говорит народная пословица), воскликнул: nunc dimittis[1] — и тут же испустил многомятежный дух свой. Городские головы оставили за собой одну специальность: угощать по воскресеньям «излюбленных губернаторами людей» пирогами. В судах безначалие устранено окончательно, благодаря тому что независимость судей была счастливым образом уравновешена перспективою повы-

[1] ныне отпущаеши.

шений и наград. Самые судьи собирались только по субботам единственно для того, чтобы закончить дела, начавшиеся еще в «эпоху независимости», и затем, условившись, куда идти вечером в баню, и явив миру пример судопроизводства гласного и невредного, расходились по домам. Хотя же рядом с «новыми» существовали еще «новейшие», но и им делать было нечего, за отсутствием преступлений и процессов. Воровать и грабить было воспрещено строго-настрого, а в 1891 году, по инициативе белебеевского «излюбленного губернатором человека», всем ворам было поставлено в обязанность подать о себе особые ревизские сказки, по исполнении чего они немедленно были посажены на цепь, и тем сразу прекращены были способы для производства дальнейших с их стороны беззаконий. Гражданские процессы тоже прекратились, так как общество убедилось, что оттягать, например, дом у соседа вовсе не значит получить этот дом в свою собственность, но значит отдать его адвокату в вознаграждение за ходатайство. Образование проникло всюду, так что даже пастухи, охраняя вверенные им стада, очень удовлетворительно склоняют *mensa*[1]. Паспортов нет; на место их введены маленькие-маленькие карточки, которые, занимая в кармане втрое менее места против прежних неуклюжих листов, доставляют населению удобства неисчислимые. Разделения на военных и статских не существует; все одновременно — и статские и военные; сперва займутся статскими делами, то есть взысканием недоимок; потом сейчас же, вслед за тем, примутся за военные дела, выйдут на площадь, зачнут шагать, кружиться, потом опять шагать.

В колонну!
Соберись бегом!
Трезвону!
Зададим штыком!
Скорей, скорей! скорей!

Нет также и разделения на платящих и не платящих. Податная комиссия, выдав 501-й том своих трудов, выработала, наконец, устав, которым все остались довольны. Все платят, и притом с удовольствием, и притом против прежнего втрое. Затем, так как все необходимое уже выполнено и поводов для огорчений не существует, то политические и литературные партии, раздиравшие наше общество двадцать пять лет тому назад, исчезли сами собой. Ругательства, составлявшие красоту полемики семидесятых годов, упразднены, хотя литература совершенно свободна. Совет книгопечатания, однако ж,

[1] стол.

еще существует, но лишь для проформы, как нелишняя архитектурная подробность. Один Менандр не изменил традициям и, дерзче нежели когда-нибудь, выражает свой восторг по поводу переименования исправников в «излюбленных губернаторами людей». Внешняя политика тоже в порядке: по смерти Тьера, мы успели усадить в президентском кресле действительного статского советника Петра Толстолобова, который, еще в бытность губернатором, выказал замечательный такт в борьбе с губернским предводителем дворянства. Австрию мы предоставили ее собственной судьбе, от Игалии получили верное слово, что ежели Пий IX будет упорствовать в своих заблуждениях, то все итальянцы, как один человек, обратятся в Св. синод с просьбой о воссоединении, и т. д. Остается один только неясный пункт: Византия еще не покорена. Но так как в газетах от времени до времени помещалась официозная заметка, извещавшая, что на днях последовало в законодательном порядке утверждение штатов византийской контрольной палаты, то даже сам И. С. Аксаков согласился до поры до времени молчать об этом предмете, дабы, с одной стороны, не волновать бесплодным лиризмом общественного мнения, а с другой стороны — развязать правительству руки, буде оно, в самом деле, намерено распространить на весь юго-восток Европы действие единства касс...

Вместе со всем окружающим изменился и Прокоп. Он одряхлел, обрюзг и ничего не может есть, кроме манной каши. Но дух его все еще бодр, так что даже теперь, прибыв в Верхотурье, он прежде всего спрашивает, каков клубный повар в Верхоянске и чего больше в тамошней гостинице: блох или клопов. Одним словом, намерения остались прежние, только средства к их выполнению ослабели.

Да и не мудрено было Прокопу сохранить бодрость духа. В течение прошедших двадцати пяти лет он не только не понес никакого нравственного ущерба, но, благодаря процессу, успел сделаться одним из самых популярных людей в целой России. Везде, где он ни судился, остались благодетельные следы его пребывания. В Арзамасе он пожертвовал сто рублей на соединение каналом реки Теши и Сережи; в Ардатове Симбирском на свой счет очистил от навоза базарную площадь; в Богучаре устроил народный праздник и кинул на драку сто рублей; в Алексине выписал из Голландии мастера, который научил обывателей мариновать знаменитых алексинских пискарей; в Болхове подал мысль о проведении железнодорожной ветви к Мценску, в видах успешнейшего сбыта несравненных болховских котёлок, и т. д. Поэтому местные начальства принимали его с почтительным радушием и с твердой надеждой

на более светлое для себя будущее. Во всяком городе существовали: или грязь по колена, или навоз по уши, следовательно, всякому городу лестно было обратить внимание сильного человека на эти язвы, хотя бы и достоверно было известно, что капиталы этого сильного человека приобретены не совсем чистым путем. Везде Прокопа чествовали на славу; везде сажали на первое место и угощали кашей на всевозможных бульонах.

Столь почтительно-благосклонное отношение начальствующих не могло не оказать влияния и на умы присяжных заседателей. Сначала в среде их, конечно, случалось нечто похожее на разномыслие, так что твердые в вере не иначе как с бою брали каждый свой шаг. Но это, очевидно, было только недоразумение, обязанное своим происхождением лишь новости дела. Я сам было испугался этому явлению и, сознаюсь, употребил даже военную хитрость, чтоб побороть его. А именно: однажды, заметив, что силы «борцов за миллион» ослабевают, я незримо пролетел между присяжными и сразу убедился, что этого вполне достаточно, чтоб добродетель Прокопа восторжествовала. Как только появилась моя тень, так тотчас же комната присяжных наполнилась тем острым «запахом миллиона», который в наши дни решает судьбу не гарантированных правительством предприятий... Но, начиная с Ардатова, где Прокоп в одну ночь освободил базарную площадь от веками копившегося на ней навоза, и к этой уловке прибегать не предстояло уже надобности. Присяжные словно ссовели. Им, по-видимому, казалось даже странным, что на обсуждение их предлагается вопрос о каких-то родственниках, тогда как всем известно, что никаких заинтересованных в этом деле родственников нет, а есть просто шайка пархатых жидов, которые, по старинной ненависти к христианству, нанимают легкомысленного Хлестакова, чтобы терзать человека за то, что он не пропускает ни одной обедни! Ведь жиды уж наверное ограбили бы! наверное они не оставили бы даже той старинной копеечки, которою благословила дедушку Матвея Ивановича неизвестная нищенка и к которой Прокоп, из уважения к семейной святыне, даже не прикоснулся! А если бы *они* ограбили, то почему же... об чем же тут толковать, скажите на милость?!

По всем этим соображениям, начиная с Ардатова, даже судоговорения по моему делу почти никакого не было. Соберется суд; Прокопа усадят между двумя жандармами на скамью обвиняемых (постепенно он так обтерпелся, что бесстрашно пробовал пальцами, тупые или острые у жандармских сабель клинки), прочтут на почтовых с пятого на десятое обвинительный акт (Прокоп во всеуслышание при этом восклицает:

и зачем эти «часы» в сотый раз читают!) и в одну минуту окрутят лжесвидетелей. Потом выйдет на сцену прокурор, скажет для проформы: «Ах, какое негодование возбуждает в душе моей этот ужасный преступник, который даже не понимает, что сознайся он — давно бы его сослали на поселение в Сибирь, в места не столь отдаленные!» — и сядет. Потом, на смену прокурору, выступит защитник Прокопа, скажет: «Ах, какое негодование возбуждает во мне прокурор, который до сих пор не может понять, что в Сибирь идти никому не хочется!» — и тоже сядет. Наконец, встанет Хлестаков, и только что пригласит присяжных заседателей перенестись вместе с ним мыслью в Древний Рим, как председатель с твердостью, не допускающею возражений, заметит ему, что всякие разговоры в деле столь ясном неуместны, и затем объявит прения заключенными. Присяжные выйдут в свою комнату, произнесут: наплевать! — и возвратятся в залу заседаний суда с приговором, признающим действия Прокопа не только удовлетворительными, но и должными.

При таком упрощении обрядов судопроизводства Прокопу нечего было страшиться. Не суд был обременителен для него, а переезды. Сначала он довольно охотно знакомился с городами Российской империи, но когда, в один и тот же год, ему пришлось посетить Баргузин, Барнаул, Бар, Бауск и Бахмут, он почувствовал некоторое утомление. Изумительное разнообразие климатов, флоры, фауны и проч. подействовало на него. Дух остался бодр, но тело... тело восчувствовало. Так что, при переезде из Архангельска в Астрахань, он разом потерял все зубы и сделался неспособным принимать какую-либо иную пищу, кроме каши.

Совсем в другом виде представлялось положение противной стороны, то есть гражданских истцов. Гершка Зальцфиш вышел из этого дела с честью. Нажив биржевою игрою значительный капитал, он предусмотрительно сбыл свои акции, когда они были еще в хорошем требовании: продавцы $76^{3}/_{4}$, покупатели $76^{1}/_{4}$, сделано $76^{1}/_{2}$. Но впоследствии, однако ж, и Гершка возгордился, а следовательно, и проворовался. Заняв во всех банках (вся Россия в то время была, как тенетами, покрыта банками, так что ни одному зайцу не было надежды проскочить, не попав головой в одну из петель) более миллиона рублей, он бежал за границу, но в Гамбурге был пойман в ту самую минуту, как садился на отправлявшийся в Америку пароход, и теперь томится в остроге (присяжные заседатели видели в этом происшествии перст божий). Затем все акции, по дешевой цене, скупил расторопный Иерухим, в надежде поправить свои обстоятельства, но когда Азов, Аккер-

ман, Акмолинск и Алапаевск последовательно выразились в пользу Прокопа, повязка вдруг спала с его глаз. Он бросился на биржу с предложениями, но было уже поздно; акции упали с быстротою молнии и в настоящее время стояли: продавцы $2^1/_4$ *без покупателей!* К довершению всего, Иерухима поразил и еще один удар: в 1881 году обе мои сестрицы померли (и в этом обстоятельстве для присяжных заседателей был ясен перст божий!), а с их смертью сошли со сцены последние достоверные лжесвидетели, которые дотоле фигурировали в процессе...

Если Прокоп одряхлел телом, то Иерухим одряхлел духом. Он как-то беспокойно вертел головой, словно к чему-то принюхивался и приглядывался. Но ни приглядываться, ни принюхиваться было уже не к чему. На *моем* деле иудейство всецело исчерпало самого себя и не возрождалось больше. На Иерухиме был замасленный, дырявый кафтанишка, а ермолка на голове до того лоснилась и побелела, что издали можно было принять ее за только что навощенный паркет. Прокоп из милости кормил и поил его и даже возил на свой счет за собою (разумеется, в третьем классе), но издержки на наем Хлестакова взять на себя не соглашался. А между тем эти-то издержки и составляли больное место бедного Иерухима. Хлестаков всецело отдал себя моему делу (ради принципа он отказался и от удобств золоченой мебели, и от своей пятитысячной петербургской квартиры!), и потребовал от Иерухима не менее ста рублей в месяц жалованья. Сверх того, он был необыкновенно прожорлив, да и переезды его стоили не мало (менее II класса вагона он не соглашался ехать). Так что взятые в совокупности издержки на этот предмет требовали не меньше двух тысяч рублей с половиною в год.

— А тебе зе и вся цена — грос! — язвительно попрекал Иерухим своего защитника.

И сколько раз Иерухим слезно молил Прокопа! Сколько раз валялся у него в ногах!

— Васе высокородие! — вопиял он,— конците! Вам зе ничего не стоит дать бедному, цестному еврею тысяцу рублей! Нехай его, собака, подавится! А вам зе, ай-ай, как хоросо будет! И вам хоросо, и мине... ай-ай-ай, как уфсем будет спокойно!

Но Прокоп оставался непреклонен.

— Нет, пархатый! — говорил он,— теперь я тебя не выпущу! Окрестись, обрежь кудри, оставь свою жидовскую веру — тогда кончу! Сам восприемником буду, дам тебе тысячу рублей в зубы — и ступай на все четыре стороны!

И Прокоп имел полное основание медлить. Независимо от

почестей, с которыми его всюду встречали, он и в домашнем быту был окружен самыми заботливыми попечениями. «Православный жид» в каждом городе отыскивал для него достоверных лжесвидетелей; Гаврюшка служил у него в лакеях и, женившись на старой Прокоповой метрессе, остепенился и перестал пить; Иуда Стрельников тоже всюду сопровождал его и оказывал существенные услуги по части отыскивания новых метресок. В Ачинске ли, в Борзне ли — где бы ни был Прокоп — везде Иуда Стрельников отыщет именно то, что, по современному настроению Прокоповой души, ему требуется...

Одно только терзает Прокопа — это чувствительная убыль в капитале. Но в этом он должен винить исключительно самого себя, потому что с самого начала стал действовать уже слишком неосторожно, чересчур на широкую руку. Так, например, в Срединном выстроил разом сто киосков для проходящих — но к чему такая бесполезная трата капитала в городе, где исстари заведены совсем другие по сему предмету обычаи! Сверх того, он условился платить своему официальному адвокату по десяти тысяч рублей за каждую поездку (он совершенно свободно мог ограничить этот размер тысячью рублями) и должен был смотреть сквозь пальцы, как «православный жид», не довольствуясь присвоенным ему содержанием, совершенно открыто запускал руку в его, Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты с капитала легко покрыли бы все издержки по процессу; но, к сожалению, на первых порах, сгоряча, Прокопу показалось, что украденному миллиону не будет и конца. Поэтому, увлекшись однажды, он очень скоро почал первую сотню тысяч, потом вторую, третью и т. д.; когда же, наконец, спохватился — было уже поздно: процентами с оставшихся двухсот пятидесяти тысяч ни под каким видом издержек процесса удовлетворить было невозможно... Напрасно старался он ввести благоразумную экономию в обиход свой: и официальный защитник, и «православный жид» уже приобрели известные привычки, от которых отстать было довольно трудно. Первый отзывался, что ему нужны деньги, ибо он только что приторговал дом у своего соседа с правой стороны, а затем намерен приторговать дом у соседа с левой стороны; а второй даже отзывов никаких не давал, а просто-напросто продолжал лазить в шкатулку. Да и Гаврюшка с Стрельниковым (уж на что верные люди!) не клали охулки на руку, особливо с тех пор, как Гаврюшка женился на Прокоповой мамзели, а Иуда Стрельников вступил с нею в секретную любовную связь.

Видя эти расхищения, Прокоп, конечно, скорбел; но тем не менее мысль о том, что он рязанско-тамбовско-сараговско-

воронежскиї дворянин, ни на минуту не покидала его. Как дворянин четырех губерний, он обязывался отстаивать свою честь до последней капли крови или, по крайней мере, до тех пор, пока из похищенного миллиона не останется только сто тысяч. Эту последнюю сотню тысяч он решился сохранить для детей, из которых старшиї сын, преодолев ненависть к латинскому языку, занимал в настоящее время кафедру римских древностей в пошехонском университете. Только тогда, когда месячная расходная ведомость покажет, что налицо состоит лишь сто одна тысяча рублей,— только тогда он сочтет свою рязанско-тамбовско-саратовскую честь отомщенною. Вероятно, это случится лет через пять, в Гавриловском посаде Владимирскоїї губернии. Тогда он призовет Иерухима, кинет ему в лицо тысячу рублеї и скажет: жри, собака! Потом он собственноручно изобьет «православного жида» и спустит его с лестницы. Затем у него останется ровно сто тысяч, на которые он, за бесценок и в память обо мне, купит Проплёванную и учредит там гласную кассу ссуд... то бишь ссудо-сберегательный банк для крестьян...

Но возвращаюсь к рассказу.

Благодаря великому онего-устьсысольско-верхотурскому железному пути, Прокоп очень комфортабельно совершил свое путешествие и теперь, совершенно как дома, расположился в верхотурскоїї гостинице для приезжающих под фирмою «Удовлетворенныї обыватель», из которої, стараниями местного «излюбленного человека», навсегда были изгнаны блохи и клопы. Но не успел моїї друг умыться и причесаться с дороги, как уже Гаврюшка доложил, что к нему явилась депутация от студентов верхотурского университета. Университет был основан в недавнее время иждивением действительного статского советника (в военное же время корнета) и всех железнодорожных жетонов кавалера Губошлепова, с специальною целью образования домашних Невтонов и быстрых разумом Платонов из соседних вогульцев и остяков. Но, несмотря на недавнее учреждение университета, студенты уже жаловались. Во-первых, с самого основания университета ни одна из учрежденных в нем кафедр до сих пор не была замещена; во-вторых, самое помещение университета в бывшеї швальне инвалидноїї команды представляло очень значительные неудобства. Хотя же они, студенты, неоднократно приносили на действия г. Губошлепова жалобы действительному статскому советнику и всех жетонов кавалеру, г. Мордухаю Проходимцеву, но получили ответ, в котором г. Проходимцев, ссылаясь на недавнее свое дело с ташкентским земством, выражал мысль, что в настоящее непостоянное время вступать в какие-

либо обязательства по предмету распространения в России просвещения — дело довольно щекотливое: пожалуй, не поймут шутки, да и взаправду деньги вытребуют!

— Ваше высокородие! на вас одна надежда! Вам шайтан поможет! — взывали бедные вогульцы и остяки к Прокопу.

И надежда не тщетная, ибо Прокоп тут же вынул из кармана десятирублевую ассигнацию, подал ее студентам и сказал:

— На первый раз... вот вам! Только смотрите у меня: чур не шуметь! Ведь вы, студенты... тоже народец! А вы лучше вот что сделайте: наймите-ка латинского учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то твердите — ан хмель-то из головы и вышибет! А Губошлепову я напишу: стыдно, братец! Сам людей в соблазн ввел, да сам же и бросил... на что похоже!

Студенты ушли, благословляя имя своего благодетеля. «Не так дороги нам эти десять рублей,— рассуждали они между собой в передней,— как дорог благой совет!» Вслед за студентами явился градской голова с выборными от общества и поднес Прокопу большой горшок каши на рябчиковом бульоне.

— Клянчить пришли? — развязно спросил пришедших Прокоп.

— Как нам не клянчить! В нужде рождаемся, в нужде в возраст приходим, в нужде же и смертный час встретить должны! — ответил голова, понуривая голову, как бы под бременем благочестивых размышлений, на которые навело его упоминовение смертного часа.

— Говорите скорее! что нужно? Черт с вами! что могу...

— Знаем, ваше высокородие! знаем мы твою добродетель! Слышали мы, как ты в Ардатове в одну ночь площадь от навоза ослобонил! Может, не одну тысячу лет та площадь всякий кал на себя принимала, а ты, гляди-кось, прилетел, да в одни сутки ее, словно девицу непорочную, под венец убрал!

— А разве и у вас площадь... тово?

— Нет, у нас площадь слава те господи! Храни ее царица небесная! С тех пор как Губошлепов университет этот у нас завел, каждый божий день студентов с метлами наряжаем. Метут да пометывают на гулянках! Одно только: монумента на площади нет! А уж как гражданам это желательно! как желательно! Просто, то есть, брюхом хочется, чтоб на нашей площади конный статуй стоял!

И тут Прокоп не сказал слова. Он даже не стал расспрашивать, кому намерены верхотурцы воздвигнуть монумент, ему ли, Прокопу, Губошлепову ли, Проходимцеву ли или, на-

конец, тому «неизвестному богу», которому некогда воздвигали алтари древние нежинские греки. Он вынул из кармана двадцатипятирублевый билет и так просто вручил его голове, что присутствующие были растроганы до слез и тут же взяли с Прокопа слово, что он не уедет в Верхоянск, не отведав у головы хлеба-соли.

После представителей городского общества явились председатель и члены земской управы, из которых первый поднес Прокопу богато переплетенный «Сборник статистических сведений по Верхотурскому уезду». Прокоп дал ему пять рублей, сказав:

— Дал бы, брат, и больше, да уж очень много вас нынче развелось! На каждом шагу словно западни расставлены! Одному десять, другому двадцать, третьему целых сто... Это и на здоровые зубы оскомину набьет!

Члены верхотурского суда, дабы не подать повода к неосновательным обвинениям в пристрастии, не решились представиться явно, но устроили секретную процессию, которая церемониальным маршем прошла мимо окон занимаемого Прокопом нумера. Причем подсудимый вышел на балкон и одарял проходящих мелкою монетой.

Наконец, пришел и сам верхотурский «излюбленный губернатором человек» и поднес Прокопу диплом на звание вечного члена верхотурского клуба. Узнав в «излюбленном человеке» бывшего сослуживца по белобородовскому полку (во сне мне даже показалось, что он как две капли воды похож на корнета Шалопутова), Прокоп до того обрадовался, что разом отвалил ему полсотенную. Но «излюбленный человек» не сейчас положил ее в карман, а посмотрел сначала на свет, не фальшивая ли.

— Ну, теперь айда в суд! — весело сказал Прокоп, когда представления кончились.

Но в суде случилось нечто чересчур уж необыкновенное, нечто такое, что даже и во сне не всегда допускается...

Едва вошел Прокоп, в сопровождении двоих жандармов, как присяжные повскакали с своих мест и хором возгласили:

— Согласно с обстоятельствами дела! Согласно! Поступили бы! Хуже бы сделали! Хуже!

Напрасно протестовал Хлестаков, напрасно поднимал он свой голос, взывая к присяжным:

— Прежде нежели приступлю к изложению обстоятельств настоящего дела, милостивые государи, считаю долгом кратко изложить перед вами, какие взгляды имело древнее римское законодательство на воровство вообще...

— Знаем, знаем! что ты нам очки-то вгирать хочешь? —

кричали присяжные,— сами дошлые! ишь малолетков нашел!

Иерухима едва не разнесли на куски, и только благодаря Прокопову заступничеству ограничились тем, что вырвали у него пейсы.

— Благодарю вас, дети мои! — говорил Прокоп, рыдая,— благодарю! Гаврюшка! Стрельников! Вот четвертная! Четыре ведра... бегите... живо! Кушайте, голубчики! Веселитесь!

Увидев это, Хлестаков вдруг изменил тактику и изъявил Прокопу готовность из обвинителя сделаться его защитником в Верхоянске. Но Прокоп кратко и строго обезоружил его:

— На-тко, выкуси!

Избитый и полумертвый, Иерухим наконец восчувствовал. Он понял, что до сих пор блуждал во тьме, и потому изъявил желание немедленно принять христианство. Тогда Прокоп простил его, выдал, по условию, тысячу рублей и даже пожелал быть его восприемником.

Процесс кончился; у Прокопа осталось двести пятьдесят тысяч, из которых он тут же роздал около десяти. Сознавая, что это уже последняя раздача денег, он был щедр. Затем, прожив еще с неделю в Верхотурье, среди целого вихря удовольствий, мы отправились уже не в Верхоянск, а прямо под сень рязанско-тамбовско-саратовского клуба...

К сожалению, однако ж, все это было только во сне; в действительности же мне было суждено проснуться самым трагическим образом.

XI

Я проснулся в больнице для умалишенных. Как попал я в эго жилище скорби — я не помню. Быть может, находясь в припадках лунатизма, я буйствовал, бросался из окна, угрожал жизни другим. Но может быть также, что я обязан моим перемещением квартальному поручику Хватову, который узнав о привлечении меня к опаснейшему политическому процессу, вспомнил о взаимном нашем хлебосольстве и воспользовался моим забытьем, чтоб выдать меня за сумасшедшего и тем спасти от справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозил мнимого Левассёра на извозчике... Как бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась в моих глазах. Некоторое время я все еще жил впечатлениями сна и даже восстановлял себе наяву некоторые эпизоды, которые или совсем улетучились, или очень неясно промелькнули в моем сновидении.

Так, например, в сновидении я совсем не встречался с лич-

ностью официального Прокопова адвоката (Прокоп имел двоих адвокатов: одного секретного, «православного жида», который, олицетворяя собоїї всегда омерзительный порок, должен был вносить смуту в сердца свидетелей и присяжных заседателей, и другого — открытого, который, олицетворяя собою добродетель, должен был убедить, что последняя даже в том случае привлекательна, когда устраняет капиталы из первоначального их помещения) — теперь же эта личность представилась мне с такою ясностью, что я даже изумился, как мог до сих пор просмотреть ее. Припомнились мне также некоторые подробности из деятельности «православного жида»: как он за сутки до судоговорения залез в секретное место, предназначенное исключительно для присяжных заседателей (кажется, это было в Ахалцихе Кутаисском), как сначала пришел туда один заседатель и через минуту вышел вон, изумленный, утешенный и убежденный, забыв даже, зачем отлучался из комнаты заседателей; как он вошел обратно в эту комнату и мигнул; как, вслед за тем, все прочие заседатели по очереди направлялись, под конвоем, в секретную, и все выходили оттуда изумленные, утешенные и убежденные... Такова сила убеждения, которую умеет усвоивать себе даже омерзительный порок, в тех случаях, когда идет речь о добродетели, занимающейся устранением чужих капиталов из первоначальных помещений!

Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки, Бендеры, Бельцы, Валуйки! В Буинске судят уже не Прокопа, а мирового судью Травина (надоел он, должно быть, местным Прокопам!) за то, что не по чину весело время проводит; в Белозерске по-прежнему позорят заблудших снетков! Из всех лиц, с которыми мне пришлось иметь дело во время годичного пребывания в Петербурге, придется встретиться, быть может, только с тремя (разве еще кого-нибудь неожиданно притащат в больницу!), а именно: с обоими адвокатами Прокопа да еще с Менандром. Увы! и они, подобно мне, находятся в больнице умалишенных, и я в эту самую минуту вижу из окна, как добродетельный адвокат прогуливается под руку с Менандром в саду больницы, а «православный жид» притаился где-то под кустом в той самої позе, в которой он, в Ахалцихе, изумил присяжных. Все они помешались. «Православный жид» помешался на том, чтобы устроить в Петербурге такую же «comptoir de confiance»[1], образчик которой он недавно видел в водевиле «Tricoche et Cacolet». Добродетельный адвокат однажды как-то слышал анекдот о девице,

---

[1] кредитная контора.

которая и невинность сохранила, и капитал приобрела,— и помешался на том, что он столько лет прожил на свете и не знал этого средства. Что же касается до Менандра, то он, как и следовало ожидать, помешался на тушканчиках.

— Преследуют, братец, меня эти мерзавцы! — открылся он мне при первом же свидании,— забрались в мою газету, и ничем их оттуда не вытравишь! Зато, брат, как я узнал теперь этих тушканчиков! Клянусь, не хуже самого Перерепенки! Да что пользы в этом! Одного ухватишь — смотришь, ан другой уж роется где-то и что-то грызет!

Обо всем этом, однако же, речь впереди; теперь же я чувствую себя обязанным подвести итоги тому, что̀ видел в Петербурге в течение годичного пребывания в этом городе.

Прежде всего я должен оговориться. Я заносил в свой «Дневник» далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня. Во-первых, меня стесняли самые пределы «Дневника», а во-вторых, стесняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всем можно, но не обо всем и удобно говорить, особенно в той чисто беллетристической форме, которую, по издавна вкоренившейся привычке, я усвоил своему труду.

Говорю прямо: я совершенно оставил без упоминовения некоторые категории людей и явлений, воспроизведение которых было бы далеко не лишним для характеристики нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и «православными жидами» наполнен мир; есть в этом мире и иные люди, с иными физиономиями и иному делу посвящающие свою жизнь. Составляя почти незаметное меньшинство, эти люди тем не менее слишком часто служат темой для общественного говора, чтобы можно было их игнорировать. Почему же я ни одним словом не упомянул об них?

Оправдание мое, однако же, проще, нежели можно ожидать с первого взгляда. Прежде всего, не эти люди и не эти явления сообщают общий тон жизни; а потом — это не люди, а жертвы, правдивая оценка которых, вследствие известных условий, не принадлежит настоящему.

Существуют два вида подобных людей и явлений: один, к которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критически; другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически. Каким образом и откуда произошло это сидение между двух стульев, делающее немыслимою спокойную оценку явлений и фактов, совершающихся у всех на глазах,— я не знаю

(то есть, быть может, и знаю, но скромность так уже въелась в мою природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно существует — этого даже клейменый лжец не отвергнет. Зачем же я буду садиться между двух стульев? зачем я буду стремиться занять позицию, на которой — я знаю это наверно — рано или поздно, тем или другим способом, но провалюсь?

Чтоб сделать это более ясным для читателя, я приведу здесь пример, который, впрочем, в строгом смысле, очень мало относится к настоящему делу. (Я знаю, что «относится», и притом самым близким образом, и все-таки пишу: *не* относится. О, читатель! если б ты знал, как совестно иногда литератору сознавать, что он литератор!)

Возьмем так называемых «новых людей». Я, разумеется, знаю достоверно — как знает, впрочем, это и вся публика,— что существуют люди, которые называют себя «новыми людьми», но не менее достоверно знаю и то, что это не манекены с наклеенными этикетами, а живые люди, которые, в этом качестве, имеют свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродетели. Как должен был бы я поступать, если б повел речь об этих людях?

Начну с пороков. Я мог бы, конечно, не хуже любого из современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов, указать на темные (я должен был бы сказать «слабые», но смело пишу: темные) стороны, которые встречаются в этой немнолюдной и, во всяком случае, не пользующейся материальною силой корпорации. Эти темные стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мне ничего не стоило бы, с помощью одних готовых материалов, возбуждать в читателе, по поводу «новых людей», то смех, то ненависть, то спасительный страх. Но меня останавливает одно обстоятельство: не будет ли это слишком легкомысленно с моей стороны? не докажу ли я своим бесконечным веселонравием или своей бесконечной пугливостью, что я не совсем умен, и ничего больше? Ведь ежели я стану смеяться или пугать просто: как, дескать, оно смешно или омерзительно! — это, быть может, покажется несколько глупым; а ежели я захочу смеяться или пугать вплотную, то не найдусь ли я вынужденным прежде всего подвергнуть осмеянию самые причины, породившие те факты, которые возбуждают во мне смех или ужас? Вот эти-то причины и приводят меня в смущение.

Кто знает, быть может, известные порочные явления сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке, в которой они находятся? Быть может, если дать человеку возможность выговориться вполне, то ультиматум, который вертится у него на языке, окажется далеко не столь ужасным, как это

представляется с первого взгляда? Как знать, что было бы, если бы, и что могло бы случиться, кабы?.. И хотя я отнюдь не утверждаю, что основания для подобных предположений существуют в действительности — я даже думаю, что на деле никаких неблагоприятных обстановок и в помине не имеется,— но ведь возможны же подобные предположения, а если они возможны, то, стало быть, и самый иск, направленный против порочных явлений, становится до крайности рискованным и шатким. Для чего буду я ставить себя в ложное положение? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы к такому месту, которое, быть может, скрывает мед, а быть может — деготь? Допустим, что, при известных усилиях, я действительно найду наконец эти темные стороны, сумею в ясных и художественных образах воспроизвести их, и даже отыщу для них лекарство в форме афоризма, что преувеличения опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановке, никаким лекарством пользоваться не может? И не вправе ли будет этот больной, в ответ на мою предупредительность, воскликнуть: помилуйте! да прежде нежели остерегать меня от преувеличений, устраните то положение, которое делает их единственною основой моей жизни, дайте *возможность* того спокойного и естественного развития, о котором вы так благонамеренно хлопочете!

Вот какая беда может случиться при описании пороков «новых людей». А с добродетелями — и того хуже. Известно, что «новый человек» принадлежит к тому виду млекопитающих, у которого по штату никаких добродетелей не полагается. Значит, самое упоминовение имени добродетелей становится в этом случае продерзостным и может быть прямо принято за апологию. Но писать апологию подобных явлений — разве это не значит прямо идти вразрез мнениям большинства? И притом не просто в разрез, а в такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаний о недавних торжествах, готово всякого апологиста разорвать на куски и самым веским и убедительным доказательствам противопоставить лишь голое fin de non-recevoir? [1]

Таким образом, «новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения, или, говоря скромнее, из области беллетристики. Указывать на его пороки — легко, но жутко; указывать же на его

---

[1] отказ дать судебному делу законный ход.

добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно.

Точно такие же трудности представляются (только, разумеется, в обратном смысле) и относительно другой категории людей — людей, почему-либо выдающихся из тьмы тем легионов, составляющих противоположный лагерь, людей, мнящих себя руководителями, но, в сущности, стоящих в обществе столь же изолированно, как и «новые люди», и столь же мало, как и они, сообщающих общий тон жизни (в действительности, не они подчиняют себе толпу, а она подчиняет их себе, они же извлекают из этого подчинения лишь некоторые личные выгоды, в награду за верную службу бессознательности).

Существует мнение, что эти люди уже по тому одному порочны, что находятся в лагере духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не разделяю этого мнения. Напротив того, я убежден, что многие из этих людей обладают очень крупными достоинствами и даже оказывали несомненные услуги делу человечества. Описание добродетелей их не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, каким образом я приступлю к воспроизведению типов этих людей, когда в моем распоряжении находятся *только* добродетели их и когда я буквально не имею в своем свободном распоряжении ни одного материала, на основании которого мог бы хотя одним словом заикнуться об их слабостях, а тем менее о пороках? Ведь в художественном смысле это будет уж не картина, а светлое пятно, точно так же как будет не картина, а темное пятно в том случае, когда я приступлю к воспроизведению типов «новых людей», придерживаясь лишь безапелляционных суждений, которые сложились об них в обществе!

Я знаю многих очень достойных людей из разряда «торжествующих». Эти люди в свое время были носителями очень почтенных идеалов и стремились к осуществлению их со всем пылом самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальнические места, которые они в то время занимали. Само собой разумеется, теперь, когда карьера их уже сделана, мне ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведению их добродетелей. Но вот — в то самое время, как перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестат такому-то «орденов кавалеру»,— является, словно на смех, художественное чутье и подсказывает мне: а ведь «кавалер-то» твой не без изъянцев! А следом за тем встревоженное воображение начинает рисовать и целый ряд этих изъянов. Изъян первый: как ни самоотверженно вели себя «ка-

валеры», но они всегда как-то ухитрялись, что приурочивали свою самоотверженность к «новым местам», или, учтивее сказать, всегда случалось, что из их самоотверженности вытекали новые места. Изъян второй: хотя период самоотверженности для них несомненно миновался, но они настолько злопамятны, что и доселе не могут об нем позабыть. А потому не понимают: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно изменилась; 2) что речи, которыми они призывали к движению, сделались общим местом; 3) что цели, осуществление которых они считали заветной мечтой жизни, остались позади и заменены другими, хотя и составляющими естественное их продолжение, но все-таки имеющими некоторую от них отличку. Изъян третий: постоянно находясь под игом воспоминаний о периоде самоотверженности, они чувствуют себя до того задавленными и оскорбленными при виде чего-либо нового, не по их инициативе измышленного, что нет, кажется, во всем их нравственном существе живого места, которое не ныло бы от уязвленного самолюбия. Изъян четвертый: чувствуя себя уязвленными, они уже не могут спокойно смотреть на проходящие перед их глазами новые явления и нередко руководствуются в отношении к последним не совсем хорошим чувством мести.

Конечно, я гоню прочь все эти непрошеные подсказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь всю мою решимость, чтоб как-нибудь обойти их, но что же мне делать с художественным чутьем, которое не хочет знать ни сплошь добродетельных, ни сплошь порочных людей? Как заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказывает, что всякая картина, чтоб быть правдоподобною, должна допустить сочетание света и теней? Что буду я делать с этими «кавалерами», которых фигуры производят на человеческий ум то же удручающее впечатление, которое производит на зрение ослепительный солнечный луч?

Таким образом, оказывается, что все стоящее до известной степени выше ординарного уровня жизни, все представляющее собой выражение идеала в каком бы то ни было смысле: в смысле ли будущего или в смысле прошедшего — все это становится заповедною областью, недоступною ни для воздействия публицистики, ни для художественного воспроизведения.

Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы,— вот достояние современной беллетристики. Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и не интересен, но он представляет интерес в том

отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей. Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ее насущный хлеб. Кроме этой похлебки, она ничего не знает, и, уж конечно, тот потратил бы даром время, кто предпринял бы труд вразумить ее, что между правом первородства и чечевичною похлебкой существует известная связь, которая скорее последнюю ставит в зависимость от первого, нежели первое от последней.

Как выразители общей физиономии жизни, эти люди неоцененны, и человек, желающий уяснить себе эту физиономию, должен обращать взоры вовсе не на тех всуе труждающихся, которые идут напролом, и не на тех ловких людей, которые из жизни делают сложную каверзу, с тем, чтобы, в видах личных интересов, запутывать и распутывать ее узлы, а именно на тех «стадных» людей, которые своими массами гнетут всякое самостоятельное проявление человеческой мысли. В этом случае самая «стадность» не производит ущерба художественному воспроизведению; нет нужды, что эти люди чересчур похожи друг на друга, что они руководятся одними и теми же побуждениями, а потому имеют одну или почти одну и ту же складку, и что все это, вместе взятое, устраняет всякую идею о разнообразии типов: ведь здесь идет речь собственно не о типах, а о положении минуты, которое выступает тем ярче, чем единодушнее высказывается относительно его лагерь, видящий в чечевичной похлебке осуществление своих идеалов.

Я не думаю, чтоб читатель мог индифферентно относиться к общему тону жизни, хотя бы уровень ее стоял и не весьма высоко. Я согласен, что действительность, которая содержанием своим напоминает сказку о белом и буром бычке, способна возбуждать скорее скуку, нежели желание познакомиться с нею; но знать ее все-таки необходимо, потому что без этого знания невозможна самая жизнь. Возьмите самого самоотверженного человека, такого, идеалы которого прямо идут вразрез с содержанием настоящего,— и об нем нельзя сказать, чтоб он был *властен* расположить свою жизнь вполне согласно с своими идеалами. И его мы знаем не в состоянии спокойного обладания идеалами, а в состоянии борьбы, в которой начало возбуждающее, полемическое очень часто принимает преобладающую роль перед началом положительным, догматическим. Против кого предпринимается эта полемиче-

ская борьба в ущерб прозелитизму, имеющему в виду достижение положительных результатов? Против того ли «ветхого человека», который, ради своих личных интересов, стремится остановить развитие жизни? — Да, с первого взгляда, конечно, кажется, что все стрелы борьбы направлены исключительно в эту сторону. Но борьба была бы слишком легка и равнялась бы единоборству, если б это было так в действительности. На деле, между двумя борющимися сторонами, есть третий член, играющий роль проводника. Через этот проводник проходят все стрелы, и смотря по его свойствам, а равно и смотря по умению пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими. Прокопы, Нескладины и проч. именно и составляют этот проводник, и с ним-то я и желал познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтоб он любовался их физиономиями, а для того, чтобы, познав их, он получил возможность сделать для себя более ясным положение минуты.

С такой точки зрения смотрел я на свою задачу, и этот же самый взгляд позволяю себе рекомендовать и моему читателю. Я чужд был всяких претензий возводить в тип кого-либо из моих героев; я знаю, что в каждом из них найдется довольно много противоречий, которые, быть может, дадут место некоторым недоразумениям. Но я прошу читателя видеть в действующих в моем «Дневнике» лицах нечто второстепенное, несущественное, около чего лепится главное и существенное: рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни.

Какого же рода итоги можно вывести из сделанного мною беглого обзора положения минуты? Не знаю, согласится ли со мною читатель, но желал бы, чтоб он, вместе со мной, пришел к нижеследующему:

Первый итог — это живучесть идеалов недавно упраздненного прошлого.

Уничтожение крепостного права, сделавшись совершившимся фактом, открыло перед нами новые перспективы, и была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть один член русской интеллигенции, который не сознавал бы для себя ясными (или, по крайней мере, не притворился бы ясно сознающим) все логические последствия этого факта. Либерализм был в ходу и давал тон жизни. Большинство выражало этот либерализм тем, что стыдилось и каялось, меньшинство — тем, что прощало и забывало прошлое (оставляя,

впрочем, за собоїй право,— по временам поддразнивать покаявшихся). То было время образцовых мировых посредников, которые прежде всего указывали на возвышенный характер лежащих на них обязанностеї и только вскользь упоминали о присвоенном этоїй должности содержании. То было время, когда и покаявшиеся и простившие слились в одних общих объятиях, причем первые, в знак возвращения к лучшим чувствам, сделали на двугривенныї уступок и, очистив себя этим путем от скверны прошлого, получили даровые билеты на вход в святилище нового дела. То было время, когда одиноко раздававшиеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка вызывали улыбку сожаления и когда сомнения в живучести русского либерализма встречались с ожесточением и ненавистью.

Но сомнения прорывались уже и тогда. И тогда были люди, которые подозревали, что столь порывистыї переход от беззаветного людоедства к не менее беззаветному либерализму представляется не совсем естественным. «Посмотрите! — говорили эти сомневающиеся,— Петр Иваныч Дракин-то! еще вчера стриг девкам косы и присутствовал на конюшне при исправлении людеї на теле, а сегодня, словно в баню сходил,— всю старую шкуру с себя смыл! Только и слов на языке: «Слава богу, и мы наконец освободились от этого постыдного, ненавистного права стричь девкам косы и наказывать на конюшне людей!» И точно: стоило только вглядеться в Дракина, чтоб убедиться, что тут есть что-то неладное. Весь он вчерашнии, и сам вчерашнии, и халат у него вчерашнии, и вчерашняя у него невежественность, соединенная с вчерашнею же непредусмотрительностью,— только язык он себе новыї привесил, и болтает этот язык какую-то новую фразу, одну только фразу, из котороїї нельзя видеть ни того, что̀ еї предшествовало, ни того, что будет дальше. Самая изолированность этой фразы, ее частое, буквальное, автоматическое повторение уже должны были навести на мысль, что либеральничать так отчетливо и притом так одноформенно может только такой человек, который, несомненно, находится под гнетом временного ошеломления.

Но многие примечали, сверх того, что Петра Иваныча по временам как будто передергивает. Что он, хотя и повторит раз десяток кряду: «Наконец мы освободились!» — но вдруг ни с того ни с сего возьмет да и завертится на одном месте, словно ему душно сделается. Что он под шумок что-то подстраивает и округляет: там переселеньице на вертячие пески устроит, в другом месте конопляннчки или капустнички оттянет, будто как испокон веку так владел. И затем, покружив-

шись на месте, устроив переселенье и оттягав конопляннчки, опять начинает: «Наконец освободились и мы!»

Указывая на эти признаки, маловеры говорили: смотрите! прошедшее этих людей слишком свежо, чтоб они могли разом от него отказаться! Настоящее пришло к ним внезапно; они отмахивались от него, сколько могли, и ежели не в силах были вполне отмахаться, то потому только, что история не дала им устойчивости, а школа приготовила не к серьезному воззрению на жизнь, а к дешевому пользованию ею. Эти люди не только не в состоянии видеть естественные последствия какого бы то ни было факта, но могут лишь скомкать самый конкретный факт и намеренно или ненамеренно довести его до бесплодия...

Признаюсь, однако ж, я не принадлежал к числу этих маловеров. Я помню, я все кричал: шибче! накаливай! Ну, миленькие, еще! еще! еще чуточку! Подобно большинству тогдашних новоявленных либералов, я простирал Петру Иванычу Дракину объятия и говорил: Петр Иваныч! еще вчера ты был весь в навозе, а нынче, смотри, какой ты стал чистенький! Да и мудрено было поступать иначе. В то время и жилось светло, и дышалось легко. Стоило сходить в мировой съезд, чтоб почувствовать, как в груди начинает саднить и по жилам катится какая-то горячая, совсем новая кровь. И я не только сердился на маловеров, но даже с полною откровенностью предлагал им вопрос: что вам еще надобно! Даже и теперь, вспоминая об этом времени, я чувствую, как меня саднит и теплота разливается во всем моем существе, и мне кажется, что если б можно было — о, если б было можно! — остановить часовую стрелку на той самой минуте, когда Петр Иваныч впервые сказал: «Наконец и мы освободились!» — как было бы это хорошо!

Да; это было бы хорошо даже в том случае, если б Петр Иваныч сказал эту фразу не своим, а чужим языком. Что нам за дело до его внутреннего чувства, если он не может применить его на практике! Пусть чувствует себе, как хочет и что хочет, а мы, несмотря на его чувства, будем идти далее полегоньку вперед. Было, положим, без пяти минут восемь, когда он в первый раз произнес: «Наконец-то освободились и мы» — и пусть бы остались эти без пяти минут восемь неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себе, а Петр Иваныч пусть поглядывал бы на часы и все бы думал: успею еще напакостить! ведь всего без пяти минут восемь! Но в том-то и дело, что мы впопыхах забыли остановить маятник, а он, покачиваясь да покачиваясь, и навел Петра Иваныча на мысль: а ведь времени-то, однако ж, довольно ушло!

Благодаря нашей оплошности, эта мысль была для него целым откровением. И он ухватился за нее цепко и горячо, да, пожалуй, и не мог не ухватиться, потому что, говоря по совести, ведь в крепостном праве Петр Иваныч потерял свою Эвридику. Он потерял ее в ту самую пору, когда чувствовал себя в полном соку, когда ни один физикат в целом мире не нашел бы в нем ни малейшей погрешности, которая бы свидетельствовала о его несостоятельности. Мог ли он позабыть это! И вот, как только он убедился, что время не остановило течения своего, он тотчас же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и в преисподнюю, и на Олимп. И долгое время пел он свои чарующие песни, пел их и посреди истопников аида, и в передних небожителей, покуда наконец допелся-таки своего...

Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойне виноваты в успехе Петра Иваныча. Вместо того чтоб кричать: шибче! наяривай! и неистовым криком своим приводить в ужас вселенную, нам надлежало: во-первых, как сказано выше, остановить часы и, во-вторых, припасти для Петра Иваныча новую Эвридику. Он малый покладистый, и художественные его гребования в этом смысле очень умеренны. Была бы Эвридика, а там, вышла ли она рылом или не вышла,— это для него несущественно. Надобно было, стало быть, приискав для него новую и не очень дорогую Эвридику, поместить их обоих в безопасном месте, а затем, смотря по обстоятельствам, прикидывать кой-какие безделушки, чтоб не разогорчить старика вконец. И зажил бы себе наш Петр Иваныч на славу, в полном удовольствии от новой Эвридики и позабыв о старой, и жил бы таким образом до той минуты, когда, одряхлев и обессилев, сам пришел бы к заключению, что ему не об Эвридиках думать надлежит, а о спасении души.

Но мы предоставили Дракина самому себе и потому не должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, он пошел не новым путем (сами-то мы, либералы, знаем ли, какой этот новый путь?), а тем, который искони топтали его ноги. Нельзя отказать человеку в праве отстаивать себя; напротив того, должно всегда ожидать, что если он, в минуту внезапного нападения, и не сумел выдержать напор, то впоследствии все-таки не упустит ни одного случая, чтоб занять утраченные позиции. Нельзя внезапно оголить человека от всех утешений жизни, не припасши, взамен их, других утешений, или, по крайней мере, не разрешив обстоятельно вопрос о Дракиных вообще и об утешении их в особенности. А мы не только ничего этого не сделали, но бессмысленно

простирали Дракину объятия и в то же время еще бессмысленнее подшучивали над его тогдашним бессилием.

Сам Петр Иваныч неоднократно жаловался мне на непростительную опрометчивость тогдашних либералов.

— Помилуйте,— говорил он,— смешно даже смотреть! Я к ним с полною моей откровенностью: пристройте, говорю, старика, господа! А они в ответ: бог подаст. Петр Иваныч! И ведь еще смеются, молодые люди... ах, молодые люди! Обижают молодые люди старика, да еще язык высовывают! Только и я, знаете, не промах: зачем, говорю, мне Христа ради кусок себе выпрашивать! Я и сам, коли захочу, свой кусок найду!

— Найдете ли, Петр Иваныч?!

— Найду, сударь, это, как свят бог, найду! Потому неестественное это дело. Если я чем ни на есть помешал, если, с позволенья сказать, занятия мои такого рода, что другим смотреть на меня зазорно,— ну, развлеки меня, пристрой, дай другое занятие! А нет у тебя другого занятия — ну, отстрани совсем. В прежнее время мы всегда так делали. чуть видишь, который человек шатается,— сейчас его в солдаты или на поселение! По крайности, нет его на глазах! А то — на-тко! «Бог подаст!» Нет, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у вас, но и у господа бога моего объедком быть не хочу!

И Петр Иваныч был прав. Теперь Дракин везде: и на улице, и в театрах, и в ресторанах, и в столице, и в провинции, и в деревне — и не только не ежится, но везде распоряжается как у себя дома. Чуть кто зашумаркает — он сейчас: в солдаты! в Сибирь! Словом сказать, поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того, еще расширилась арена для его похождений.

Я искренно желал бы, чтоб кто-нибудь доказал мне, что Дракины и Хлобыстовские переродились и что не только содержание употребляемых ими приемов, но даже наружный вид этих приемов подверглись какому-нибудь изменению против того содержания и вида, который знаком нам с детских лет. Но полагаю, что сам Менандр, этот твердейший в бедствиях человек, который и доднесь с неслыханною дерзостью вопрошает: чего еще нужно? — и тот едва ли найдется возразить что-нибудь основательное против моего предположения. А покуда этого возражения не существует, я считаю себя вправе утверждать, что хотя крепостное право фактически упразднено, но оно еще живо в душах наших и Петр Иваныч даже на волосок не утратил той энергии, которою он отличался в былые времена. И в прежнее время он завывал,

как ветер в пустыне, и теперь завывает. Изменение чувствуется только одно: пустыня утратила прежние границы и сделалась как бы беспредельною. От того звуки дракинских голосов распределяются не с прежнею равномерностью. В одном конце слышно, в другом — нет. Но упаси бог очутиться в том районе, куда Петр Иванович полюбопытствовал заглянуть...

Другой итог неясность целей, к которым могли бы быть применены сохранившиеся идеалы.

Правда, что Петр Иванович Дракин добился своего, но для чего добился — он и сам этого объяснить не может. Единственный ясный результат его скитаний по преисподним и райским обителям заключается в том, что он поставил на своем и доказал «молодым людям» (увы! как обрюзгли и постарели с тех пор эти «молодые люди»!), что выражение «бог подаст!» в применении к нему, по малой мере, опрометчиво. Что он пристроится, ежели на то пошло, пристроится сам своими средствами, и у них, «молодых людей», не попросит помощи...

Но к чему пристроится? — вот тут-то именно и начинается для Петра Иваныча целый ряд запутанностей и колебаний.

— А ведь я, брат, прогадал! — признавался он мне на днях,— думал, что штука-то в том только и состоит, что руками направо и налево тыкать, а выходит, что я тычу-то в пусто!

— Как в пусто! все же, чай, разорите кого-нибудь, Петр Иваныч! — скромно возразил я.

— Чудак! да ты пойми! Разорить-то я, разумеется, разорю! Я, братец, нынче такое засилие взял, что кого хочешь... вон он! вон он по улице в пальтишке бежит... хочешь, разорю?! Да ведь не сумасшедший я, брат, чтоб зря разорять! Вот ты что сообрази! Ведь оно хорошо руками-то вперед тыкать, когда знаешь, что из этого толк выходит. Прежде вот я знал... Знал я, мой друг, зачем я тыкаю... «предмет» я перед собой видел! Ну, а нынче предмет-то этот... где он? Ты вот день-то деньской бегаешь, из себя выходишь, тычешь и направо и налево, а предмет-то он... фью!

— Да; без предмета... оно точно... тяжеленько как будто...

— И как еще тяжело-то! Целый день кровь в тебе так ходуном и ходит! Ату его! лови! догоняй! — только и слов! А вечером, как начнешь себя усчитывать... грош!! Сколько крови себе испортил, сколько здоровья убавил, а кого удивил! Вон он! вон он! ишь улепетывает... ккканалья! Ну, и поймаю я его; ну, и посажу на одну ладонку, а другой — прихлопну;

ну, и мокренько будет... Кого я этим удивлю, скажи ты мне, сделай милость!!

Петр Иваныч умолк на минуту и затужил.

— Грош! — повторил он в раздумье,— один только грош! Сколько раз я об этом и сам с собой загадывал, и с Михайлом Никифорычем советовался: отчего, мол, у нас прежде благорастворение воздухов было, а нынче, как ни бьемся,— грош! «Да и у меня, брат, не густо!» — говорит. Так-то вот!

— Но в таком случае, не лучше ли, Петр Иваныч, это дело оставить? — почтительно доложил я.

— Как! мне оставить! — Петр Иваныч вскочил с места и взвился во весь рост, словно получил электрический удар в поясницу,— мне оставить! Да я тысячу раз на дню издохну, а уж *его* доймy! Я его доконаю! Я его усмирю! Я нынче вот каков: не мне, так никому. Пусть лучше собаки съедят! Да ты знаешь ли, как он меня позорил! Сам целоваться лезет, а исподтишка облавы устраивает! Уж на что я... коренник! — а и тут думал, что конец мой пришел! Трубит, это, в трубу, словно в день Судный! Всех, братец, зовет! Смотрите, говорит, как я с Петра Иваныча Дракина маску снимать буду!.. Снял ты — черта с два!

— Да ведь сами же вы говорите, что пользы от этого *для вас* никакой нет!

— И говорю, и буду говорить — а руками тыкать все-таки буду. Потому, я так уж нынче пристроился. Деваться мне больше некуда. С чего они на меня наскочили? Мешал я, что ли, им? Сидел я у себя в усадьбе и ни в какие ихние политики не вмешивался. По мне, хоть дери, хоть милуй — мое дело сторона! Вот так я, сударь, тогда себя вел! Даже из ихнего брата придет, бывало, который: несчастлив? — На, братец! Садись за стол, ешь, пей, разговаривай по-французски с женой, с детьми играй! В баню хочешь — в баню иди, экипаж занадобился — экипаж бери! Я дворянин, сударь! Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву! Учись! критикуй! доходи! На то ты и дворянин, чтоб до всего доходить! А они! — на-тко! Про то забыли, как я их, курицыных детей, за свой стол сажал, а вспомнили, как я Кузьку да Фомку на конюшне наказывал!

— Да ведь вы и теперь дворянин, Петр Иваныч! И вы дворянин, и они дворяне — ну, что бы вам стоило эти дрязги оставить!

— Нет, сударь, теперь я уж не дворянин, а мститель-с! Мститель я-с — и ничего больше. Только эта гордость во мне и осталась-с. А по прочему по всему, я даже так тебе скажу:

жрать иногда нечего! вот они меня на какую линию поставили!

Слушая эти рассуждения, я не могу не признать одного: что Петр Иванович, по крайней мере, настолько умен, что нимало не обольщает себя насчет своей задачи. Он прямо говорит, что предмет этой задачи... фью! Прав он также и в своих упреках тем «молодым людям», которые когда-то обнимали его и в то же время напутствовали словами «бог подаст!». Что он в свое время относился к «молодым людям» благосклонно, когда они попадали в беду, что он не тиранил их, а сажал за свой стол и предоставлял разговаривать по-французски с своей женой — это я испытал на себе, когда я написал «Маланью» и попался по этому случаю впросак. Тогда я впервые и познакомился с Петром Ивановичем (с тех-то пор он и говорит мне «ты», на которое я отвечаю почтительным «вы»). Я помню, я явился к нему сконфуженный и думал, что он вот-вот сейчас вцепится в меня (увы! *теперь* он так бы и поступил; он не только бы вцепился в меня, но запер бы меня в вонючую конуру, лишил бы огня и воды и проч.); но он не только не вскинулся на меня, но даже погладил меня по голове.

— Ну-ну! — сказал он мне,— сшалил! проштрафился! ничего! там — свои счеты, а здесь — свои. Бог милостив! Дворянину — без того невозможно. Я сам, брат, молод был! сам при целом полку командиру нагрубил! Знаю!

И вслед за тем действительно велел накрывать на стол, представил меня жене и предоставил мне разговоривать с нею по-французски ..

Зачем же я впоследствии обругал его (каюсь, и я принадлежал к числу тех «молодых людей», которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что он никогда уже не очнется)? И обругал притом бесплодно, бессмысленно, точь-в-точь так, как он поступает теперь сам по отношению к бывшим своим ругателям. И как мы его в то время допрашивали! Господи! как мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили следы зубов, которыми мы вцеплялись в них! И никогда ведь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, Петр Иваныч, прошло — умирай, старик! но старались прежде всего в чувство его привести, а потом и уязвить. И где уязвить? на собственной его почве, на той почве крепостного права, которую он, и в геологическом, и в статистическом, и в этнографическом отношениях, знал как свои пять пальцев!

— Тогда-то ты девке Маришке косу стриг, а этого тебе *предоставлено не было!* — ласково обличал один.

— Тогда-то ты у Кузьки жену себе в любовницы взял, а этого тебе *предоставлено не было!* — еще ласковее донимал другой.

— Тогда-то ты все шесть дней сряду народ на барщину гонял, а этого тебе *предоставлено не было!* — совсем уже по-родительски вразумлял третий.

— Помилуйте, господа! — оправдывался Дракин,— на все ваши вразумления могу ответить четырьмя словами: *тогда существовало крепостное право!*

Но мы ничему не внимали, и я очень живо помню, как однажды мой друг Кирсанов самым учтивым образом закоченел, впившись зубами в одну из икр Петра Иваныча!

В одном только Петр Иваныч не прав: он сознает, что предмета для тыканья руками уже не существует, и все-таки продолжает тыкать (и притом тыкает совсем не в то место, куда следует тыкать, как это сейчас будет объяснено). Но и тут неправота его только кажущаяся. Если нет предмета, которого благополучие оправдывало бы совершение подвигов, то есть воспоминание о подвигах, есть привычка к ним; есть, наконец, сознание, что ему, Дракину, ни при чем больше и состоять невозможно, кроме как при подвигах. Лишившись предмета, тыканье руками хотя и утрачивает свою ясность, но с точки зрения энергии и силы никакого ущерба не терпит. Беспредметное, абсолютное, трансцендентальное, оно питает само себя, так, как питал и питает сам себя тот распивочный и раскурочный либерализм, который можно на золотники получать из лавочек современных пенкоснимателей. Худо, конечно, делает Петр Иваныч, что себя беспокоит, но куда же он денется с своим темпераментом? Как уничтожит свои воспоминания? как вычеркнет из прошлого кровную обиду свою?

Но все эти оправдания Петра Иваныча для меня дело второстепенное. Пусть даже он будет тысячу раз неправ — для меня важно уже то, что сам сознаёт свою деятельность беспредметною. Этим признанием сказано все: и то, что у него уже нет ясной цели, и то, что единственное побуждение, которое руководит им, есть побуждение гнева, и то, наконец, что он не может продолжать своей деятельности иначе, как под условием поддерживания своей нервной системы в постоянно напряженном состоянии. Как хотите, а он несчастлив. В самых разнообразных формах и видах является он перед нами всюду: и на улице, и в кафешантанах, и в ресторанах, и даже в бесчисленных канцеляриях, и, по-видимому, улыбка никогда не сходит с лица его. Но не верьте этой улыбке, ибо я знаю наверное, что на сердце у него скребут мыши. Он

уже понимает, что предмет его раздражений — фью! и что сколько бы он ни разорял, ни расточал, собственное его благополучие не увеличится от того ни на волос!

Но, сверх того, не следует забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай иметь, надо быть поставленными в такие условия, при которых подлинно разорять можно. Но разве большинство Дракиных находится в таких условиях? — Нет, громадная масса их может относиться к разорению лишь платонически. Она может только облизываться, поощрять, кричать: браво! — но ничего более...

Я представляю себе Дракина деятельного, который, ложась на ночь, сводит концы с концами, и вдруг приходит к убеждению, что в результате получил — грош! Какое горькое чувство должно овладеть им! Какой стыд! какое раскаянье!

Но представьте же себе то множество Дракиных, которым даже концы с концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предмет их вожделений — фью! Что должны ощущать *эти* Дракины? К какому должны они прийти заключению относительно своего настоящего и будущего?

По моему мнению, они должны прийти к тому заключению, которое я назову третьим итогом моего «Дневника»: к сознанию жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль.

Один *может* тыкать вперед руками, но, по довольном упражнении, приходит к убеждению, что пользы от того не приобретается никакой. Другому и хотелось бы пристроиться к этому ремеслу, но для него уже нет места на жизненном пире. Как ни велика разница в положении обоих «ветхих людей», но и для того и для другого конец одинаков. Этот конец формулируется словами: сознавать, что Эвридика найдена только по наружности, в действительности же она потеряна безвозвратно,— и затем тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться в даль...

Я положительно утверждаю, что Петр Иваныч понимает бесплодность своего нынешнего ремесла и что он потому только упорствует в нем, что ему, вне этого ремесла, нечего делать, некуда приткнуться. Несмотря на то что мы, русские, никогда особенно деятельно не заявляли себя с политической стороны, никто не способен с таким упорством оставаться на исключительно политической почве деятельности, как мы. Понятие, сопряженное с словом «делать», как бы не существует для нас; мы знаем только одно слово: распоряжаться. «Распоряжаться», то есть смещать, увольнять, замещать, повышать, понижать и т. д. А это-то именно и есть

«политика», в том смысле, как мы ее понимаем. Еще недавно Петр Иваныч жаловался мне:

— Плохо, братец! Такой кавардак в имении идет, что просто хоть все бросай!

— Да вы бы распорядились, душа моя! (Иногда я позволяю себе называть его ласкательными именами, и он — вот как он прост! — нисколько не обижается этим!)

— И то, братец, распоряжался! В один год двоих управляющих сменил — чего еще!

— А вы бы сами съездили, посмотрели, указали бы что следует!

Говоря это, я чувствовал, что лицо мое горит от стыда, ибо я сам очень хорошо сознавал, что слова мои — кимвал бряцающий, а советы — не больше, как подбор пустых и праздных слов. Увы! я и сам не делатель, а только политик! К счастью, однако ж, Петр Иваныч не заметил моего смущения: он сам в это время поник головой и горькую думу думал.

— Нет,— сказал он наконец,— незачем! Раз сменил управляющего — не помогло, другой раз сменил — не помогло, приходится сменять в третий раз!

И только. В этом вся наша панацея, в этом перспектива нашего будущего. Если мы не можем ясно формулировать, чего мы требуем, что же мы можем? Если у нас нет даже рутины, а тем менее знания, то какое занятие может приличествовать нам, кроме «политики»? Если же и «политика» ускользает от наших рук, то чем мы можем ее заменить, кроме слоняния из одного угла в другой? Какие надежды могут нас оживлять, кроме надежд на выигрыш двухсот тысяч?

С упразднением крепостного права от нас отошел труд. Не только тот даровой труд, который приносило с собой это право, но труд вообще. Мы сделались свободными от труда вообще и остались при одной так называемой политической задаче. Но спрашивается, какая такая политика, которую может преследовать Петр Иваныч, оголенный от крепостного права?

Поймите, читатель, весь ужас этого положения! Быть осужденным на жизнь и в то же время никакого дела перед собою не видеть! К земству примкнуть — но мы не знаем, как гать построить, и где канаву прорыть; не знаем, да и не хотим знать, ибо наше дело не указать, а приказать. В мировые судьи выбираться — но мы не только законов не знаем, а просто двух фраз толково связать не можем — только смех один! Вот, кажется, и политические занятия, такие, которые всего более нам по нутру,— а выходит, что и они к рукам не идут! А тоска-то какая! Сидеть и думать о том, как скорбные листы в больницах в исправности содержать или каким образом та-

кую канаву посереди дороги провести, чтоб и пеший и конный — всякий бы в ней шею себе сломал!

Тем не менее мы не сразу пришли в уныние, а тоже попробовали: и в земские собрания ездили, стараясь, по возможности, сообщить полемико-политический оттенок вопросу о содержании лошадей для чинов земской полиции, и в качестве мировых судей действовали, стараясь извлечь из кражи мотка ниток на фабрике какой-нибудь политический принцип. Всё мы испробовали, но нигде не обрели «политики», а взамен того везде наткнулись на слово: тоска! тоска! и тоска!

Вот почему мы, провинциальная интеллигенция, в настоящее время валом валим в Петербург. Все думается: не полегче ли будет? не совершится ли чудо какое-нибудь? не удастся ли примазаться хоть к краешку какой-нибудь концессии, потом сбыть свое учредительское право, и в сторону. А там — за границу, на минеральные воды...

Je m'en fiche, contrefiche... [1]

Не спорю, если б это удалось, оно было бы во многих отношениях недурно, но тут настигает нас другой вопрос — финансовый. Откупà уничтожены, а концессию получить положительно трудно. Нынче это дело так округлено, в такие границы поставлено, что не с Прокоповым носом соваться туда. Это своего рода укрепленное место, в которое даже сам Петр Иваныч Дракин (он, по всей справедливости, считается коноводом кадыков, и действительно держит высоко свое знамя) — и тот не мог проникнуть, как ни старался. А жаль. Потому что, если б предоставили Дракину вести на общественный счет железные пути, во-первых, он, конечно, не оставил бы ни одного живого места в целой России, а во-вторых, наверное, он опять почувствовал бы себя в обладании «предмета», и вследствие этого сердце его сделалось бы доступным милосердию и прощению. По крайней мере, он сам удостоверял меня в этом.

— Если бы хоть одну дорогу дали,— открывался он мне,— уж как бы, кажется, на душе легко было. Ну вот, ей-богу... ну, ей-же-ей, простил бы! А то ведь как на смех: жид придет — бери! Бери! владай! что угодно делай! А свой брат, дворянин, явится — «да ты знаешь ли, из чего рельсы-то делаются?!». Каково это слушать-то!

— А ведь коли по правде сказать, оно и точно. Вот я, например, хоть и знаю, что рельс — он железный, а какой он там, кроме того что железный,— вот хоть убей меня, сказать не могу!

---

[1] Мне — наплевать, наплевать.

— И я, братец, не знаю, да кто же знает нынче! Вот приступлю — и буду знать. И зачем мне знать, коли мне незачем! Жид-то пархатый — ты думаешь, он лучше меня знает! Нет, он тоже, брат, швах по этой части! Вот подходцы он знает — это так! На это он мастер! В такую, брат, помойную яму с головой окунется, какая нам с тобой и во сне не приснится!

Не приснится! Так говорит Петр Иваныч, но не слишком ли самонадеянно он утверждает это? Не знаю почему, но мне кажется, что не только приснилось бы, а даже... Но мы даже в этом смысле получили такое поверхностное образование, что и сны-то у нас недостаточные выходят...

Как бы то ни было, но финансовый вопрос есть в настоящую минуту самый жгучий вопрос для нашей интеллигенции. Умея только распоряжаться и не умея «делать», мы оказываемся совершенно бессильными относительно созидания новых ценностей, и какие предприятия мы ни затевали в этом смысле — всегда и везде, за очень малыми исключениями, оказывался, по выражению Дракина, «кавардак». Но этого мало: мы не умеем обращаться даже с теми ценностями, которые дошли до наших рук независимо от наших усилий...

— В ту пору, как застигла нас эта катастрофа,— рассказывал мне Петр Иваныч,— душно мне стало! так душно! Идите, говорю, с моих глаз долой! Всех на выкуп! в казну! И зачал, брат, я спешить! Горит у меня под ногами — да и только. Получу, думаю, выкупную ссуду, землю, которая получше, себе отрежу — и начну, благословясь, вольным трудом работать. То есть и сплю и вижу, как этот вольный труд начнет у меня действовать! Ну-с, хорошо. Окрутили меня живым манером: опекунскому совету долг вычли (я, братец, на тридцать семь лет занимал, а с меня *вдруг* всё вычли), кой-какие частные долги удовлетворили, остальное выдали на руки. Ну, слава богу, думаю, хоть и не бог знает сколько суммы осталось, зато вольный труд теперь у меня сам собой пойдет! Поехал к Бутенопу, накупил машин — то есть, какая сеноворошилка у меня была: ну, просто конфетка! — нанял рабочих и сижу, жду у моря погоды. Месяц у меня идет, другой идет — я все молчу, все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберет меня зло, что все как будто не так; вспомнишь это, как прежде распоряжался, и выбежишь в поле. Ни души, сударь! Тишина, братец, мертвая; ни голосу, ни шелесту; солнце сверху так и льет! «Где вы, черти!» — ни звука. Словно все умерли! А сердце так и кипит. Побегаешь, покружишься, наткнешься на борозду, упадешь — домой! Ах, какое это чувство, мой друг! какое это ужасное чувство, когда в тебе кипит, и вдруг — никого! Натурально, сейчас за управляющим:

Разбойник! дармоед! — И что ж! первое слово в ответ: не извольте ругаться! — Не в ругательстве дело, курицын ты сын! не ругаюсь я, а чего ты, мерзавец, смотришь! отчего в поле никого нет! — Оттого, что рабочие отдыхать пошли.— Отдыхаете, бестии! всё-то вы отдыхаете! — Помилуйте, Петр Иваныч, вы вот только что чай откушали, а мы еще где до свету встали!.. Ну, успокоишься, то есть не успокоишься, а скажешь себе: «Ну вас к чертям! распинайте!» Сядешь, это, за книжку, потом позавтракаешь, жена «варьяции на русские темы» сыграет, дети придут: папа! пойдем в парк либо на пруд рыбу ловить! Таким манером пройдет еще часа три-четыре — опять не утерпишь и побежишь в поле. Ни души, сударь! «Да надо же отдохнуть народу!» — уж огрызается тебе в лицо управляющий. Потом обедать, потом послеобеденный сон, потом чай, потом гулянье. Нагулявшись, опять в поле.. ни души! Все уж пошабашили и собираются ужинать. Так я *его* и не видал, как он там вольным трудом работает! Возьмешь с собой в сумерки управляющего и пойдешь с ним по полям. «Так, что ли, разбойник, пашут?» — «А то как же еще!» — «Так, что ли, мошенник, жнут?» — «Да вы, сударь, сами изволили бы показать, что от нас требуется!» Мерзавец! Знает ведь, анафема, что я показать не могу! Бился я, бился таким манером, наконец бросил. Жду. Осенью живо обмолотили, вывеяли, ссыпали. Рожь уродилась сам-четверт, овес — сам-третий, гречиха — не собрали семян. «Подлецы! разве так вольный труд должен давать! ведь он сам-десят должен давать — да и тогда только концы с концами свести можно!» Молчат. «Да что вы молчите, анафемы! говорите, по крайней мере, отчего это?» — «С землею у нас, Петр Иваныч, ничего не поделаешь! Холодная!» — «Как холодная? все была теплая, а теперь холодная сделалась!» — «И прежде была холодная, только прежде потому теплее казалась, что мужички подневольные были!» Сел я тогда за хозяйственные книги, стал приход и расход сводить — вижу, в одно лето из кармана шесть тысяч вылетело, кроме того что на машины да на усовершенствование пошло. Нет, думаю, шалишь! Таким образом никакой выкупной ссуды недостанет! Надо это дело бросить! А тут кстати хороший человек нашелся, надоумил меня. «Зачем, говорит, вам, Петр Иваныч, беспокоиться! сдали бы вы мне землю по рублю серебром за десятинку на круг, а сами бы в Москву или на теплые воды!» Что ж, думаю, чем по пяти тысяч в год убытку терпеть, лучше хоть тысячу чистоганчиком получить! Взял да в одну минуту и порешил дело! Подмахнул контракт на двенадцать лет; машины, скот, семена и другое имущество сдал арендатору и

велел укладываться в Москву. «Лес чтобы не рубить, Иван Парамоныч!» — «Зачем, ваше превосходительство, лес рубить!» — «Ведь ты, Иван Парамоныч, меня не обманешь? аренду выстоишь?» — «Зачем, ваше превосходительство, обманывать! креста, что ли, на мне нет!» — «Ну, то-то же! теперь с богом! Трогай! В Москву!»

— Ну-с, дальше-с!

— А дальше, брат, даже вспоминать стыдно. Осталось у меня в то время тысяч шестьдесят выкупными свидетельствами (у меня, брат, ведь полторы тысячи душ было!). Деньги хорошие, и будь они у меня теперь, я бы знал, как мне поступить. Я понял бы, что мне ничего другого не остается, как получать на мой капитал проценты, устроиться в Москве где-нибудь под Донским, лишнюю прислугу распустить, самому ходить к Калужским воротам за провизией и нанять учителя, чтоб учил детей латинскому языку. По крайности, хоть из них деятели бы вышли. Но тогда чад из головы-то еще не весь вышел. Приехал в Москву, а там деньги страсть как нужны. Стал я, брат, деньги под залог раздавать, и роздал, нечего сказать, выгодно: процентов по двенадцати в год. Думаю: как это я до сих пор не догадался! а про то и забыл, что для этой операции нужно законы тоже знать, а зачем мне их было знать, коли мне незачем? Ничего, однако ж; осмотрелся, получил проценты вперед и вижу: неминучее дело свой дом купить. И дом, по-нашему, по-дракински, чтобы такой: во-первых, зало в четыре окна; во-вторых, гостиную в три окна; в-третьих, диванная, потом спальня, детские, кофишенная, столовая, для меня конурка, два флигеля: в одном кухня, в другом людские. Словом сказать, комнат с двадцать. Многонько это, а меньше, как ни гадали, никак невозможно. Потому, в Москве — все наши налицо. И Хлобыстовские, и Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецкие, и Райские, всё свои, родные, все в Москву понаехали, все живут и в баклуши бьют. Купил, двадцать тысяч отдал. Потом трех жеребцов купил: двух бурых в масле в дышло — для жены, одного, серого в яблоках, одиночку,— для себя. Денег-то сколько осталось? Прожил я таким манером с год — не могу пожаловаться: хоть бы век так жить! Живу, братец, да и полно! И даже надежды имею. На что надежды — вот хоть убей, объяснить не могу, а только чувствую, всем нутром чувствую, что придет что-то... Ну, сбудется *оно,* да и все тут! Только тогда меня осадило, когда срок закладным пришел. Все до одной оказались незаконными. То есть не то чтоб было какое-нибудь сомнение, что я деньги взаймы дал, а так как-то вышло, что денег-то этих возвращать мне не следует. Иду, сударь, в

суд, а в суде вижу: сидят всё те «молодые люди», которые, помнишь, мне в ту пору «бог подаст!» сказали. Не вытерпел: «Разбойники!» говорю.— Сейчас это в протокол, и зачали они меня судить. Про то-то, что кровные мои денежки гулять пошли, и думать перестали, а всё судят «поступок» мой. «Какой, говорю, это «поступок», молодые люди? ну, будем говорить без азартности, ну, разве вы не разбойники!» Опять — в протокол, и всё, знаешь, тихим манером: «Успокойтесь, Петр Иваныч! мы уж не те! мы прежние заблуждения-то уже оставили! а вы бы лучше адвоката себе хорошего наняли!» — «Адвоката! ни за что! — говорю.— Сам от вас отгрызусь!» И можешь ты себе представить, мой друг, ведь я по сю пору под судом состою! Вот я с тобой теперь говорю, а *там,* может быть, меня в Сибирь на поселение ссылают! Только нет, брат, шалишь! Петр Иваныч Дракин докажет! Он докажет! Он сумеет доказать!

Это воспоминание так взволновало Петра Иваныча, что он некоторое время не говорил, а только испускал глухое рычание. Лицо у него сначала побагровело, потом посинело, так что я не на шутку начал опасаться за окончание рассказа о его похождениях. Но, слава богу, выпив стакан воды, он успокоился.

— Вот, мой друг,— сказал он мне,— ты мне *в то время* тоже разные эти колкости говорил... помнишь?

— Виноват, Петр Иваныч, был тот грех!

— Ну, так попомни ты мое слово: эти — пенкоснимателями, что ли, ты их называешь? — они вдвое против нас, стариков, язвительнее будут. Ума у него с горошину, благородных чувств никаких, вот и сидит он и ехидствует, как бы ему эту горошину в оборот пустить. И пущает. Там, где мы руками зря вперед тыкали, они на законном основании тебя изведут. Мы — фюить! — и дело с концом! а они зудом жизнь твою вызудят. Я, брат, простить могу; он — не простит. Не человек, брат, он, а шкап с выдвижными ящиками. На всяком ящике у него ярлык наклеен, а потому ему сразу видно, который ящик выдвинуть следует. И ежели ты, например, калач украл, *я* тебе скажу: ты это что, курицын сын, наделал? — а *он* тебя призовет: вы, скажет, калач вам не принадлежащий себе присвоили, так за это вы подлежите, по такой-то статье, такому-то истязанию. И не проси его! не разговаривай! Ничего, скажет, я не могу, потому что воровство, во-первых, строго воспрещено законом, а во-вторых, обществу может угрожать гибель, если воров не преследовать! И ведь достигнут они! превознесутся! произойдут! Ты вот шутишь, говоришь, что я разоряю, а кого разоряю-то я? Вон он... вон го-

лоштанник-то по улице фалдочками трясет... *его* я разоряю! вот кого! А того «молодого человека», пенкоснимателя-то... нет, брат, его уж не разоришь! Мы как в наше время достигали? Мы достигали врассыпную, вразброд! Стало быть, если ты не матушкин сынок или не тетка тебе графиня Татьяна Борисовна — хоть ты за двадцать человек аппетит имей, а все ничего не поделаешь! Разве что из сотни одному счастье порутирует. А *эти* переплелись! Они не разбирают промеж себя, кто матушкин, кто курицын сын, а прут вперед — и все тут. Уж и теперь они, не хуже любого попа, на нас, стариков, засматриваются. Ты еще похолодеть-то не успел, а он уж тут как тут. Шнырит около кого ему следует, объясняет свои поступки, благородно распинается — и достигнет! Достигнет, потому что, по правде сказать, везде он один кандидат. Сунь ты рукой в щучий садок — все равно, как ни шарь, щурёнка вытащишь! Так-то, душа моя. На чем бишь я, однако, остановился, рассказывая о похождениях-то своих?

— На закладных, Петр Иваныч. Закладные ваши признаны были не подлежащими удовлетворению.

— Ну да. Поехал я тогда опять в деревню, а жене велел московский дом продавать. Приезжаю — и что вижу? Машины мои проданы, скот — тоже, лес вырублен... «Иван Парамонов! мошенник! вор ты! говорю».— «Никак нет, ваше превосходительство»,— говорит. «Как же ты не мошенник! где лес-то? где машины? где скот?» — «Лес, говорит, на топливо срублен, потому не околевать же мне на морозе; машины со временем испортились, скот тоже со временем весь выпал!..» Поверишь ли, мой друг, я даже глаза выпучил. В суд, думаю, идти — так, верно, я сам в контракте что-нибудь напутал! Значит, придешь туда, только выругаешься — что толку? Бросил все — и айда в Петербург! Спасибо, генерал Мудров меня еще по полку знал — ну, приютил. А сколько есть таких, о которых генерал Мудров даже понаслышке понятия не имеет!

Да, сколько таких?!! — повторю вместе с Петром Иванычем и я.

А на них-то именно и отразился преимущественно финансовый вопрос. Пошли они сначала бойко, потом тише, тише и наконец сели. По временам фортуна как бы благоприятствовала им: тот в земскую управу попал, тот, в качестве мирового судьи, ребятишкам на молочишко доставал, но когда оказалось необходимым и там делиться жалованьем с секретарями да письмоводителями — тогда... тогда в перспективе осталось уныние — и больше ничего. А вместе с унынием появилось какое-то страстное, жгучее стремление в Петербург, с целью попытать, не будет ли тут чего...

Но ничего уже не оказалось, потому что «молодые люди», о которых Петр Иваныч говорил, что они переплелись между собой, все пенки сняли. Кадыки, обескураженные, полинявшие, слоняются по стогнам столицы, и до того оробели, что не могут даже объяснить, чего им хочется. Те, которые еще *могут* тыкать руками вперед, начинают догадываться, что этим, кроме удовлетворения чувству мести, все-таки ничего не достигнешь; а те, которые *не могут* давать рукам волю, только взывают: откуду мне сие — и в тщетном ожидании ответа утрачивают всякую бодрость.

На первых порах эти люди и в Петербурге начинают бойко. Сознание, что в кармане еще есть выкупное свидетельство и что оно в то же время последнее, заставляет их рисковать. Либо пан, либо пропал — и вот наш кадык бежит к Елисееву, кутит у Донона и Дюссо, платит 25 р. за кресло на Патти, беснуется в театре Буфф и так далее. И везде нюхает, везде ищет, как бы нужного человека подцепить. Там прослышит: дорогу новую придумывают, в другом месте — банк облюбовывают, в третьем — такое предприятие, ну, такое предприятие... ах, прах побери да и совсем! Господи, да неужели же нельзя как-нибудь примазаться! Хоть чуточку! Я, ваше превосходительство, только за кончик подержусь — а там и в сторонку-с! Но «нужный человек» охотно пьет с кадыком шампанское, когда же речь заходит о предприятии,— смотрит так ясно и даже строго, что просто душа в пятки уходит! «Зайдите-с», «наведайтесь-с», «может быть, что-нибудь и окажется полезное» — вот ответы, которые получает бедный кадык, и, весь полный надежд, начинает изнурительную ходьбу по передним и приемным, покуда наконец самым очевидным образом не убедится, что даже швейцар «нужного человека» — и тот тяготится им.

Тогда кадык вступает во второй период своего земного странствия: он выцвел, перестал гарцевать и ходит обедать не к Дюссо, а к Палкину и Доминику, а вечером направляется в Орфеум. Но он еще не окончательно утратил надежду, ибо если настоящий, заправский предприниматель уже ускользнул из его рук, то у него все-таки остался предприниматель второстепенный. И чем ниже спускается кадык по лестнице предприятий, тем фантастичнее и фантастичнее становятся эти последние. Что тут не предлагается? о чем не ведутся оживленные споры? А результат один: конец выкупному свидетельству. И конец этот тем неизбежнее, что предприниматель второстепенный только к тому и направляет свои усилия, чтобы ускорить обращение капитала, который недаром же и название носит «оборотного»...

И вот наступает третий период: оборотный капитал съеден и пропит. Ежели в два предшествующих периода человек не имел никаких надежд, кроме: «вот кабы» да «уж тогда бы», если он и тогда, в сущности, только слонялся, сам не понимая, зачем ел и пил больше, чем надо, и восхищался Патти, в душе припоминая девку Палашку, то теперь, когда все уже «совершилось», когда весь круг пройден и даже нет в виду ни «кабы», ни «если бы» — какой удел может предстоять ему, кроме уныния?

Тогда он отправляется в греческую кухмистерскую, заигрывает с потомком Перикла и Аспазии, и даже льстит ему, с тем чтобы устроить себе кредит...

Но в первом ли, во втором ли, в третьем ли периоде,— шлющийся человек все шлющийся человек. Одумается ли он, наконец? Решится ли покончить с столицею и удалиться в свою «Проплёванную»? Как-то встретит его там Иван Парамонов? Дозволит ли ему поселиться в собственном его разваливающемся доме и жить смирно, пока не придет смерть, и не сметет с лица земли этого «лишнего человека», которого жизнь, со времени «катастрофы», сама сделалась постоянною, неперемежающеюся катастрофой!

Таков этот «ветхий», отходящий в вечность человек. Порою он еще огрызается и вскидывается, как озаренный, но, в сущности, он уже понимает, что время его прошло и что даже огрызания ни на волос не увеличат его благополучия.

На место его народился тип новый, деятельный. Но не с новыми идеалами, а с старыми же, в которые, взамен «нраву моему не препятствуй», пущена легкая струя бездельничества и хищности. Это люди, насквозь проникнутые убеждением, что бессовестность и тупоумие призваны обновить мир. Они представляют собой четвертый итог, о котором я и поведу теперь речь.

Среди потока противоречивых вздохов, укоров и негодований, которыми по временам обдает меня Петр Иваныч, у него вырвалось одно очень правдивое и меткое замечание: он разорил не того, против кого устремлял свой натиск, а совсем постороннего человека, до которого, собственно говоря, ему никакого дела не было.

Что сделал ему сей юноша, который так прилежно исследует, кто были прародители человека? что сделала ему сия юница, которую волнует женский вопрос и которая хочет во что бы ни стало доказать, что женщина, в умственной сфере, *может* все то, что *может* и мужчина? Разумеется, Петр Иваныч ответит на эти вопросы: они, канальи, *утопии* там выдумывают! — но ответ этот едва ли будет искренен. Кто в два-

дцать лет не желал и не стремился к общему возрождению, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что истина эта небезызвестна и Петру Иванычу — это доказывается тем, что он сам когда-то при целом полку командиру нагрубил. Он сам неоднократно при мне говаривал: учись, критикуй, доходи — дворянину без этого нельзя! Почему же теперь, когда он видит, что дворянин доходит, учится, критикует,— сердце у него кипит, и он задыхается от негодования! Как хотите, а это факт, по малой мере, загадочный.

Да, тут есть какое-то горькое недоразумение. Я догадываюсь даже, что и доходящий молодой человек, и анализирующая девица — все это не более как эффигия, которую Дракин расстреливает, думая сразить *того, другого,* «молодого человека», который некогда сказал ему: бог подаст! Только этот другой-то «молодой человек» был настолько проницателен, что заблаговременно встал вне выстрела; когда же увидел, что Петр Иваныч и затем остается при своем намерении «палить», то был настолько предупредителен, что указал ему, где скрывается *истинный* мерзавец и либерал. «Я действовал неблагоразумно,— сказал он,— но я находился под гнетом целой армии негодяев,— и в этом заключается мое оправдание. Я сам всей душой ненавижу их, и вы весьма меня одолжите, если выпалите по ним».

Я воображаю себе физиономию Петра Иваныча, когда он увидел, что дело принимает такой оборот. Его личный враг, его заведомый оскорбитель стоит перед ним — а оказывается, что Петр Иваныч не только не может достать его, но что этот же враг ему же указывает, в кого в настоящую минуту палить следует. Разве не трагическое это положение!

— Теперь я уж привык,— жаловался мне Петр Иваныч,— а первое время, как стал он обходы-то эти кругом меня делать,— веришь ли, я чуть с ума не сошел! «Как, говорю: разве не ты... помнишь?» — «Точно так, говорит, я-с. Только я совсем не против вас действовал. Видел я тогда, что и *они* горячатся, да и вы горячитесь... Ну, вот, чтоб отвести *им* глаза, я и сделал диверсию-с...»

Я полагаю, однако ж, что тут не было никакой «диверсии». Сначала это было легкомыслие, соединенное с надеждой, что Петр Иваныч не очнется; потом — страх при виде Петра Иваныча, показывающего несомненные признаки жизни, и наконец, соображение, что не существует такого положения, в котором не было бы возможно в мутной воде рыбу ловить.

Как бы то ни было, новый тип народился. Это тип, продолжающий дело ветхого человека, но старающийся организо-

вать его, приводящий к одному знаменателю яичницу, которую наделал его предшественник. Старый «ветхий человек» умирает или в тоске влачит свои дни, сознавая и в теории, и в особенности на практике, что предмет его жизни... фью! Новый «ветхий человек» выступает на сцену и, сохраняя смысл традиций, набрасывается на подробности и выказывает неслыханную, лихорадочную деятельность...

Но жизнь не делается краше вследствие этой усиленной деятельности. Никакая лихорадка, никакое кипение не в состоянии дать жизни содержания, которого у нее нет. Напротив того, чем кипучее бессодержательная деятельность, тем более она утомляет и обессиливает. Старое содержание упразднилось, новое не вырабатывается, и не вырабатывается, быть может, потому, что интеллигенция, по-видимому, еще не вполне уверена в полном упразднении старого содержания. Отсюда — неприятное двоегласие, неестественное сидение между двумя стульями, которое разрешается скукой, апатией, равнодушием ко всем интересам, стоящим несколько выше «куска»; отсюда — крики: «не расплывайтесь!», «не забудьте, что наше время — не время широких задач!» и т. п.

«Хищник» — вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового ветхого человека. «Хищник» проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится... Но кроме того, что для общества, в целом его составе, подобная неперемежающаяся тревога жизни немыслима,— даже те отдельные индивидуумы, которые чувствуют себя затянутыми в водоворот ее, не могут отнестись к ней как к действительной цели жизни. «Хищник» несчастлив, потому что если он, вследствие своей испорченности, и не может отказаться от тревоги, то он все-таки не может не понимать, что тревога, в самом крайнем случае, только средство, а никак не цель. Допустим, что он неразвит, что связь, существующая между его личным интересом и интересом общим, ускользает от него; но ведь об этой связи напомнит ему сама жизнь, делая тревогу и озлобление непременным условием его существования. «Хищник» — это дикий в полном значении этого слова; это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола «отнять». Но так как кусков разбросано много, и это заставляет глаза разбегаться; так как, с другой стороны, и хищников развелось не мало, и строгого распределения занятий между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы должна накипеть в этих вечно алчущих сердцах. Самое торжество «хищника» является озлобленным. Он достиг, он удовлетворен, но у него, во-

первых, есть еще нечто впереди и, во-вторых, есть счеты сзади...

Но масса тем не менее считает «хищников» счастливыми людьми и завидует им! Завидует, потому что это тот сорт людей, который, в настоящую минуту, пользуется наибольшею суммой внешних признаков благополучия. Благополучие это выражается в известной роскоши обстановки, в обладании более или менее значительными суммами денег, в легкости удовлетворения прихотям, в кутежах, в разврате... Массы видят это и сгорают завистью. Но стоит только пристальнее вглядеться в эти так называемые «удовольствия» хищников, чтоб убедиться, что они лишены всякого увлечения, всякой искренности. Это тяжелые и мрачные оргии, в которых распутство служит временным, заглушающим противовесом той грызущей тоске, той гнетущей пустоте, которая необходимо окрашивает жизнь, не видящую ни оправдания, ни конца для своих тревог.

За хищником смиренно выступает чистенький, весь поддернутый «пенкосниматель». Это тоже «хищник», но в более скромных размерах. Это почтительный пролаз, в котором «сладкая привычка жить» заслонила все прочие мотивы существования. Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нем единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачки. Это бессовестный человек, не потому, чтобы он сознательно совершал бессовестные дела, а потому, что не имеет ясного понятия о человеческой совести.

«Хищник» проводит принцип хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества.

«Хищник», оставаясь ограниченным относительно понимания общих интересов, очень часто является грандиозным, когда идет речь о его личных интересах. Пенкосниматель даже и в этом смысле представляет лишь карикатуру «хищника»: он не любит «отнять», но любит «выпросить» и «выждать».

«Хищник» почти всегда действует в одиночку; пенкосниматель, напротив того, всегда устраивает скоп, шайку, которая, по временам, принимает размеры разбойнической.

«Хищник», свежуя своего ближнего, делает это потому, что уж такая ему вышла линия; но он все-таки знает, что ближнему его больно. Пенкосниматель свежует своего ближнего и не задается даже мыслью, больно ли ему или не больно.

«Хищник» рискует; пенкосниматель идет наверное.

«Хищник» не дорожит приобретенными благами; пенкосниматель — любит спрятать и капитализировать.

«Хищник» говорит коротко, отрывисто: он чувствует себя настолько сильным, чтоб пренебречь пустыми разговорами; пенкоснимателъ не говорит, а излагает; он любит угнести своего слушателя и в многоглаголании надеется стяжать свою душу!

«Хищник» мстителен и зол, но в проявлении этих качеств не опирается ни на какие законы; пенкоснимателъ мстителен и зол, но при этом всегда оговаривается, что имеет право быть мстительным на основании такой-то статьи и злым — на основании такого-то параграфа.

Наконец, «хищник», несмотря на весь разгул деятельности, скучает; пенкоснимателъ — никогда не скучает, но зато сам представляет олицетворение скуки и тошноты.

Итак, скучает старый ветхий человек, скучает и новый ветхий человек. Что̀ делает другой — «новый человек»,— пока неизвестно, да не он и дает тон жизни.

А тон этот — или уныние, или мираж, вследствие которого мнимые интересы поневоле принимаются за интересы действительные...

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ И НАБРОСКИ

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

<ДВЕ РЕДАКЦИИ ОЧЕРКА «ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ» ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ»>

<I>

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

НУМЕР ВТОРОЙ

Я принадлежу к очень хорошей фамилии. Один из моих предков ездил в Тушино (кажется, он был не прочь поволочиться за хорошенькою Маринкою); другой кому-то целовал крест, потом еще кому-то целовал крест и наконец и еще кому-то целовал крест. За все эти поцелуи ему выщипали бороду и сослали в Чердынский острог, где он и скончался. Третий предок одно время соперничал с Бироном в грасах, но как-то оплошал и был вследствие того обвинен в измене и бит кнутом.

Стало быть, с этой стороны я обеспечен достаточно.

С материальной стороны обстановка моя далеко не столь привлекательна.

Предки мои жили весело. Нимало не стесняясь, они наказывали на теле и даже травили собаками живых людей, но так как и в то отдаленное время насчет этого существовали довольно строгие законы, то весьма естественно, что от ответственности приходилось откупаться очень дорогою ценою. Мой прадедушка просудил свое саратовское имение (около 800 душ) за то, что в бочке скатил с горы попа. Моя прабабушка просудила свое пензенское имение (около 600 душ) за то, что высекла капитан-исправника и потом, вымазав его медом, держала в этом виде несколько дней на солнечном припеке. Но всех проказ и не перескажешь. Очевидно, что между общественным мнением и законами существовал разлад. Что первое называло только проявлением веселонравия, то вторые признавали чуть не злодейством. Жертвою этого разлада сде-

лались чуть-чуть не все наши имения, так что когда мне пришлось вступать во владение, то передо мною предстало почти неуловимое село Прахово, при котором значились какие-то странные земли: по болоту покос, да по мокрому месту покос, да камню с песчаным местом часть, да лесу ненастоящего часть. Даже мужики были какие-то странные, ненастоящие. Или совсем дряхлые, или подростки с огромными, выпяченными вперед животами.

— Как же вы живете, любезные, коли у вас даже настоящей земли нет? — удивился я, когда они пересказали мне свои обстоятельства.

— А так и живем, что настоящей жизни не имеем,— отвечали мне они, и казалось, что животы у них при этом не то чтобы колыхались, а словно плескались, как будто они созданы были из студня.

Разумеется, я сейчас же всю эту чушь побоку, и, получив куш (последний куш!), отправился с ним в Петербург. Но будем продолжать по порядку.

Воспитание я получил очень изящное, но должен сознаться откровенно: сведениями похвалиться не могу. В том закрытом заведении, где протекли годы моей юности, науки нам преподавались коротенькие: тетрадки в две, в три — не больше. Приводились примеры рыцарских чувств и утонченной вежливости, но примеров чувств не рыцарских, равно как и примеров невежливости мы не знали. Говорят, что это пропуск значительный и что мы довольно много потеряли, утратив возможность проводить сравнения и параллели. Я, собственно, не знаю, право, как и сказать об этом. Кажется, впрочем, что и самое знание, если оно известным образом сервировано, может способствовать невежеству, укрепляя в детях антитезы рыцарства, объяснив им, о чем тут, собственно, идет речь. А то некоторые из нас и тогда уже сомневались, действительно ли следует видеть утонченную вежливость в том обдирании различных manants [1], которому предавались рыцари. Вот если бы нам рассказали, что эти manants были люди гнусные, завистливые и беспокойные, что они были заражены язвой социализма, коммунизма (как я узнал это впоследствии), тогда, конечно, мы поняли бы, что даже в обдирании может заключаться своего рода — положим, не то чтобы вежливость — а мероприятие...

По субботам, а очень часто и в простые дни (нынче начальство очень либерально насчет праздников: оно понимает, что истинное воспитание делается не в школе, а за стенами

---

[1] мужланов

ее) нас отпускали к родителям. Но родители у нас были милые и, точно так же как и мы, воспитывались в чувствах рыцарства и в правилах утонченной вежливости. Ничего буржуазного, ничего такого, что напоминало бы скучный семейный очаг (à la Dickens[1]) не было и в помине. Когда мы являлись домой, нас очень любезно осматривали, давали целовать ручку (всегда со вложением), произносили: amusez-vous![2] — и уезжали в гости. Собственно у меня maman была настоящая конфетка или севрская куколка, и всякий раз, как я приезжал из школы (особливо когда я был уже в высшем курсе), то в каком-то детском страхе закрывала себе глаза и восклицала: «Ах! какой большой! ах! какой большой!» Казалось, она готова была расплакаться.

— Но нельзя же, ma chère,— утешал ее papa,— таков закон природы — молодое растет, старое старится (он отлично знал наши прекрасные русские поговорки)!

— Ах, нет! ах, нет! я хочу, чтоб он был маленький! всегда, всегда маленький! — повторяла maman, и затем бросала последний взгляд на свой туалет и уезжала в гости.

Милая maman! Как легко она огорчалась! с какою грациозною раздражительностью она принимала всякое противоречие, всякий отказ в ее маленьких, почти детских желаниях! Я не могу забыть, например, следующей сцены, происходившей между papa и maman.

— Я вам отдала все,— говорила maman,— все! и молодость, и красоту, и блестящее положение (вспомните, *кто* меня любил!), а вы не хотите сделать мне малинового бархатного платья!

Сверх своего обыкновения, papa в этот раз заупрямился и ушел в кабинет. Но через полчаса maman была уже там и говорила:

— Я вам отдала все: и молодость, и красоту, и блестящее положение (вспомните, *кто* меня любил!), а вы не хотите сделать мне малинового бархатного платья!

До трех или четырех раз повторялась эта сцена. Maman разделась и объявила, что никогда (au grand jamais![3]) не выйдет из своей комнаты и не поедет в гости. Наконец малиновое бархатное платье было принесено...

Я потому так живо помню эти подробности, что чуть-чуть было, благодаря упрямству papa, не остался в этот вечер дома наслаждаться прелестями семейного очага.

---

[1] по-диккенсовски.
[2] развлекайтесь!
[3] никогда в жизни!

Другой случай был тоже довольно оригинальный. Однажды папаша как-то расчувствовался (я в то время уж понимал это выражение), подсел к мамаше и назвал ее... бомбошкой!

Maman, которая тоже была готова расчувствоваться, услышав это странное слово, вдруг взглянула на него удивленными глазами.

— Где вы таким словам выучились? — спросила она papa.

Папа сконфузился и что-то такое пробормотал, вроде того, что он слышал это слово сначала в Александринском театре, потом — в том совете, где он по вторникам присутствует. Одним словом, совершенно спутался в своих показаниях.

Maman целый вечер плакала.

— Вы ходите в русский театр! в какие он места ходит! — говорила она, ломая в отчаянье руки.

— Ma chère! но теперь все русские литераторы так пишут! — оправдывался papa,— как член совета, должен же я следить за выражениями, которые нынче в ходу.

— В какие места он ходит! какие он книги читает! — упорствовала maman,— я отдала ему все: и молодость, и красоту, и блестящее положение (он знает, *кто* меня любил!), а он... он читает какие-то русские книги... русские! русские!

Это был единственный вечер, в который maman так-таки и не ездила в гости, и это было особенно памятно для меня, который должен был ухаживать за бедной больной, вместо того чтоб наслаждаться обществом очаровательной Леокади!

Леокади!

С этим именем связано воспоминание о моем грехопадении.

Мы, воспитанники закрытого заведения, жили тогда очень весело. У нас была особенная комната за кулисами в театре Берга, в которой разыгрывалось, так сказать, в сыром виде все то, что должно было затем происходить на сцене. Мы были мальчики лет по шестнадцати и по семнадцати и ничего не знали, кроме чувства рыцарства. Но здесь я позволю себе небольшое отступление...

Наконец maman примирилась с мыслью, что я «большой», и я так подружился с нею, что даже почти не считал ее своею матерью. Когда мы встречались дома, то обыкновенно ходили обнявшись по зале и рассказывали друг другу свои маленькие секреты. В числе этих секретов я рассказал однажды и о наших похождениях у Берга. Надо было видеть, как заискрились глазки у бедной maman!

— Возьми меня к Бергу! — говорила она.

— Но, chère maman, там происходят такие вещи...— отвечал я.

— Возьми меня к Бергу! — твердила она.

Наконец я вынужден был шепнуть ей на ухо одно словечко, после которого она только закрыла руками свое личико и убежала в свою комнату...

Милая maman! Но оставим этот эпизод и будем продолжать повесть о моем грехопадении.

В числе участников по найму и устройству комнаты был один гусар, Поль Беспалый, которого я полюбил без памяти. Это был именно беззаветнейший малый, который с рыцарской беззаботностью тратил состояние своих предков и в то же время с самою, если можно так выразиться, святою доверчивостью глядел на будущее.

— Mon cher! — говорил он мне,— будем жить, покуда живется! Потом, à trente ans [1], когда мы сделаемся губернаторами, еще достаточно найдется времени и для абракадабры, и для хиромантии (так называл он скучную, но полезную арену мероприятий), а теперь... buvons, chantons et dansons! [2]

Итак, Поль Беспалый познакомил меня с Леокади. Это была удивительная особа, казалось, у нее не существовало ни одного местечка, которое не представляло бы ресурса. Только француженка может *воспитать* в себе этот молочный бюст, эти волнующиеся бедра, эту очаровательную ножку, эти стальные икры! Посмотришь на наших российских женщин...

Как в лугу весной бычка
Пляшут девицы российски
Под свирелью пастушка ..

Кувалды — и больше ничего! Иная и хорошенькая, даже очень, очень хорошенькая, а все ничего из этого не выходит. Ничего не умеет показать в своем виде, ничем не умеет возбудить любопытство! Топчется на месте, ни нервов, ни мускулов у нее нет — так точно кисель трясется. Как будто говорит: кто захочет, тот на меня и наступит! То ли дело Леокади! Она не была даже красавицей, но именно *воспитала* в себе то, что неудержимо привлекает мужчину. Роста она была более среднего, не толста, но худощава настолько, чтоб дать возможность чувствовать тело и в то же время иметь смутное ощущение кости. Бюст она имела великолепный; не было ничего похожего на гималайские горы, а было нечто эфирное, напоминавшее самую легкую, чистую морскую пену. Les hanches [3] — приводили в изумление; она не шла, а плыла... нет, и

---

[1] в тридцать лет.
[2] Будем пить, петь и танцевать!
[3] Бедра.

не плыла, а как-то покачивалась, так что почти нельзя было заметить никакого движения. Ножка, икры...

Когда она меня в первый раз потрепала по щечке и сказала: oh, le joli garçon! [1] — я весь зарделся и в первый раз почувствовал себя юношей...

С тех пор я не раз присутствовал при ее туалете, вместе с Полем, и живо помню, как билось у меня сердце, как глупо я таращил глаза.

И вот в одну из суббот я забрался к ней, когда Поля еще не было: он должен был приехать через час, чтобы вместе отправиться к Бергу. Она только что начала одеваться, хотя была уже причесана. Как и всегда, я сел в угол, но, должно быть, таращил глаза более обыкновенного, так что даже она, привыкшая к пантомиме глаз, заметила это.

— Что вы так вертите глазами, Vassiа (Вася)? — спросила она меня, смотрясь в зеркало, в котором, по всей вероятности, отражались мои дурацкие взоры.

Я не отвечал, я буквально задыхался.

— Да отвечайте же! — сказала она, делая полуоборот ко мне.

Но я продолжал молчать. Я ощущал в себе какую-то дикую силу и в то же время не смел, буквально не смел двинуться с места.

— Вы очень меня любите, бедный мальчик?

Что было после этого, я не помню. Помню только, что я плакал (мне было всего шестнадцать лет!), что я с трудом удерживал крик, который вдруг созрел в моей груди. Казалось, она несколько изумилась этому.

— Будет,— сказала она,— не надо плакать. Если узнает Поль, нельзя будет...

И, говоря это, прижала меня к груди, целовала в лоб, гладила по голове и как-то так глядела на меня, что мне показалось, что и в ней в первый раз дрогнуло что-то такое, что дрожит только однажды в жизни, что только однажды наводняет грудь почти невместимым потоком счастья, а потом тихо-тихо разливается по всему организму. И теперь мне довольно часто приходится говорить: «Madame! permettez-moi de goûter de ce bonheur ineffable! [2]» — но я чувствую, что все это только фраза, и что собственно так называемый bonheur ineffable бывает только раз в жизни.

И этот момент, эта сладчайшая минута жизни дается нам... кокотками!

---

[1] какой хорошенький мальчуган!

[2] Мадам! позвольте мне вкусить этого несказанного счастья!

Какой урок!

Спрашивается, однако ж, лучше ли было бы, если б мы получали эту минуту от наших крепостных психей? вопрос этот я отдаю на разрешение господ московских публицистов, с такой неуклюжей горячностью защищающих наше национальное варварство.

Таким образом произошло мое первое грехопадение.

Теперь расскажу, как я в первый раз напился пьян.

Мне было тогда тринадцать лет; но в закрытом заведении мальчик всегда развивается быстрее, чем на воле. Мы собрались в числе нескольких человек и отправились в трактир. У нас была одна цель: напиться пьяными; мы даже хорошенько не знали, чем можно напиться приличнее. К несчастью, трактир, в который мы пришли, был русский, и половой на наше требование вина подал водки. Я помню, первая проглоченная рюмка как будто переломила меня надвое, мне показалось и горько и скверно, но я все-таки похвалил и сряду проглотил другую. Эта вторая рюмка хотя уже не была так отвратительна на вкус, однако после нее в голове моей поселился какой-то неясный шум или что-то вроде нашего родного петербургского тумана. Я стал нехорошо слышать, что говорили мои товарищи, и вынужден был по нескольку раз переспрашивать. Говорят, что я много смеялся, и притом без всякой причины. После третьей рюмки я был то, что называется пьян.

На другой день, проснувшись, я увидел у своего изголовья maman, которая примачивала мне голову уксусом. Никогда, ни прежде, ни после, не бывало мне так скверно. Мне казалось, что я совершил какое-то преступление, что я совсем-совсем погиб! Во рту было сухо, голова и все тело горели, глаза помутились...

— Maman! maman! как я нахлестался! — вскрикнул я в ужасе.

— Фи, мой друг! какие у тебя выражения! разве ты мужик, чтобы говорить о себе: нахлестался! — с упреком сказала мне maman.

И больше я не слыхал от нее ни одного упрека, ни одного слова. Мне показалось даже, что мое поведение не столько огорчило, сколько поразило ее. Странно было, что все это так рано и так быстро случилось,— но вот и все. Что оно должно было рано или поздно случиться — это подразумевалось само собою.

Но я сказал правду: я действительно *нахлестался*. Позднее я узнал, что когда люди напиваются водкой, то это называет-

ся *нахлестаться,* когда же напиваются шампанским и другими порядочными винами, то это называется *быть навеселе.*

Бедная maman! она и не воображала, что я именно в то время нахлестался!

Итак, мы были воспитаны в чувствах рыцарства и утонченной вежливости. Никто лучше нас не умел держать корпус несколько наклоненным вперед, никто изящнее нас не умел пробегать целые пространства на цыпочках, никто не угадывал быстрее мановения глаз, движения руки и т. д.

И вдруг понадобились какие-то «принципы». Зачем?

Я не могу обстоятельно рассказать историю этого нововведения, потому что не заметил ни момента его зарождения, ни процесса его развития. Кажется, впрочем, что тут не было ни зарождения, ни развития, а было просто что-то вроде внезапного помрачения. «Принципы» явились на сцену жизни, как являются не помнящие родства на сцену полицейского действия. Как? откуда? где ночевал? где днем шатался? кто был пристанодержателем? Никто ничего объяснить не может. Видят только факт — и ничего больше.

Годы летели мимо меня с такой быстротой, что я положительно не чувствовал их. Серые рысаки сменялись вороными, вороные — караковыми; Леокади уступила место Селине, Селина, в свою очередь, очистила вакансию для Жозефины (не француженка, а шведка). Даже Марья Петровна какая-то была (из русских). Все это плыло, плыло и плыло, и вслед за собой заставляло уплывать и тысячи, вырученные через продажу села Прахова с ненастоящей землей, ненастоящими мужиками и ненастоящей жизнью. Я возмужал, а в кармане оставалась только одна тысяча... на всю жизнь!

Очень натурально, что я не отчаивался. Смешно было бы думать, что при моем положении и с моим воспитанием... я не найду средств! Если у меня нет ни имений, ни капиталов, если предки мои проживали свое достояние, как они выражались, «для вящего Российской империи блеску и авантажа», то должен же я быть вознагражден за эти пожертвования!

Я не могу, однако ж, сказать, чтоб слово «принцип» было мне совершенно неизвестно. По временам оно проскальзывало и в мой слух, но я никогда не был об нем особенно хорошего мнения. Когда это слово произносилось, то в понятии моем возникало что-то лохматое, неумытое, тайнодействующее, лишенное перчаток, а пожалуй, и нижнего белья. Представьте же мое удивление, когда мои домогательства насчет места были встречены словами:

— Место получить вы можете, но прежде всего необходимо знать, имеете ли вы принципы.

Я смешался; я думал, что меня хотят испытать, и потому с негодованием отвечал:

— Никаких принципов я никогда не имел!

— Каким же образом вы предполагаете управлять тою частью, которой домогаетесь?

— Я буду подписывать бумаги! — отвечал я,— каждый день пишутся новые бумаги, и я каждый день буду подписывать их!

Увы! Оказалось, что бумаги подписывать, конечно, надо, но в то же время надо и нечто умышлять! Что бумага есть не просто бумага, но в то же время и каверза! Что люди, движущиеся перед нашими глазами, суть не просто Петры, Иваны, Сидоры и т. д., одинаково подлежащие воздействию, но имеют еще особенные клички, сообразно с которыми самое воздействие должно быть умеряемо или усиливаемо! Все это отлично растолковал мне Поль Беспалый (к счастью, мне с ним пришлось иметь дело).

— Mon cher! — сказал он мне,— я, конечно, могу оказать содействие к удовлетворению вашего справедливого желания, но прежде всего вы должны иметь принципы. Далеко уже то доброе старое время, когда всякий, кто жевал жвачку, имел право думать, что он живет, служит и вообще вносит лепту. Если жвачка не перестала быть жвачкой, то явилась необходимость ее осветить. Осветить принципами. Многие задумываются над этим словом и не знают, как его определить. Однако ж нет ничего легче, как выполнить эту задачу. Наш принцип — это то самое, что поэты называют признательностью сердца и что, по моему мнению, было бы гораздо прямее назвать сердечною субординацией. Тут, собственно, нет даже принципа, а есть энтузиазм, есть рыцарское чувство. Есть люди, которые рыцарское чувство чем-нибудь наполняют, то есть сперва придумают принцип, а потом привяжут к нему рыцарство. Мы действуем совершенно наоборот; для нас рыцарское чувство есть рыцарское чувство — и больше ничего. В этом наш принцип. Наши симпатии — не наши; наши ненависти — не наши, и наоборот. Процесс, посредством которого все «не наше» претворяется в «наше», так сложен, что снаружи кажется даже простым. Мы не анализируем, не размышляем, не критикуем — мы пламенеем! Кажется, просто, а сквозь какой сложный жизненный процесс должно было пройти, чтоб достичь этой чистоты, этой беззаветности рыцарства!

— Я не знаю, но мне кажется, я всегда... я тоже...— осмелился я прервать моего собеседника.

— Понимаю, что̀ вы хотите сказать, и вполне верю, что вы стоите на хорошей дороге, dans le bon chemin. Но дело в том, что вы стоите на ней слишком естественно. Вы хорошо чувствуете, хорошо мыслите, потому что у вас хорошая природа, потому что вы порядочный человек. Надо, чтоб это хорошее вышло из своего состояния естественности и сделалось — не то чтобы противоестественным,— а (тут Поль задумался, ища слова)... а... ну да, почти что противоестественным. Вы хорошо мыслите, но не относитесь критически к мыслям других, не требуете, чтоб и другие хорошо мыслили. В прежнее время это было очень возможно, потому что в прежнее время вообще мало мыслили; нынче, напротив, почти все стали мыслить, и мыслить по большей части вредно. Самое лучшее, конечно, было бы опять прийти к прежнему положению, но кажется, что такая задача не по силам. Поэтому нужно добиваться, чтоб люди мыслили хорошо. Можете ли вы сказать, что выполните эту задачу?

Я начинал понимать. Но все-таки задача казалась мне столь огромною, что я невольно терялся.

— Везде... куда... где... во всяком случае... до последней капли крови...— бормотал я бессвязно.

— Прекрасно; но будем развивать нашу мысль далее. Уверяют, будто бы, увлекаясь одним рыцарством, мы рискуем набрести на людей, не имеющих ни талантов, ни знаний, ни даже действительной честности. Mon cher! если уж на то пошло, то все эти громкие фразы о талантах, знании, честности и т. д.— все это только одно недоразумение. Рыцарское чувство — вот единственное твердое основание. Говорят, будто бы с этим твердым основанием можно дойти до всеобщего обессиления, до поголовного мютизма — опять-таки недоразумение, не более как недоразумение. Все зависит от того, что кому нужно. Мой идеал: внутренняя тишина и внешний блеск. Если эти два понятия оказываются несовместимыми, то я говорю себе: счастье живет не в одних золоченых палатах, но и в хижинах...

Шуми, Иртыш!..

et... et vogué la galère! [1]

Поль покраснел и стал быстро ходить по комнате, как бы обдумывая решительный шаг. Я был весь вниманье. Наконец он остановился.

— Дело в том,— продолжал он,— что я отстаиваю свое существование. На это дает мне permis [2] сам идол наших ни-

---

[1] И... и будь что будет!

[2] разрешение.

гилистов, Дарвин. Мне говорят, что я шалопай; я не желаю ни оспаривать это мнение, ни соглашаться с ним; я просто отвечаю: и шалопаи имеют право на существование. Пускай попробуют опровергнуть меня на этой почве! Дарвин... ха-ха! Connu, messieurs, connu! [1]

Опять последовала пауза, в продолжение которой Поль машинально насвистывал романс «На заре ты ее не буди».

— Вот этот-то самый романс и сгубил нас,— сказал он, смеясь,— если б мы тогда «ее не будили»,— кто знает, может быть, все оставалось бы на своих местах! Но я чувствую, что я слишком увлекся своею задачей и наговорил тебе с три короба таких околичностей, которые прямо к делу не относятся. Итак, постараюсь резюмироваться. Тебе надо знать: должен ли ты иметь принципы и какие именно? На это отвечаю: должен, а если тебя спросят, что̀ ты под этим разумеешь, то ты можешь смело отвечать тремя словами: les bons principes [2]. Этого вполне достаточно, потому что под этим разумеется все хорошее, все пригодное, все непостыдное. В обстоятельном разъяснении это значит: отрицание всяких принципов (тех самых, которых ты инстинктивно боялся), но отрицание твердое, неуклонное, или, как любят нынче выражаться, принципияльное. Да-с, messieurs, принципияльное! Смейтесь, смейтесь над этим каламбуром, но не забудьте, что в конце его есть одна штучка, от которой ой-ой как вам не поздоровится! Затем, мой друг, ты можешь дерзать всюду и даже бежать куда глаза глядят. Можешь махать руками направо и налево, можешь сегодня делать, а завтра переделывать, можешь внимать и не внимать, можешь действовать мерами кротости или палить... Я знаю: у тебя есть слабость — женщины! Можешь, мой друг, можешь и это! Пускай наши милые провинциялки узнают, какие произошли по сей части усовершенствования в столицах! Одним словом, можешь все; можешь даже... быть глупым, хотя я и не предполагаю в тебе возможности иметь такое желание...

Говоря последние слова, Поль взял меня за обе руки и, как мне показалось, взглянул мне в глаза несколько иронически. Но я не имел даже времени покраснеть, потому что он продолжал:

— Одного не можешь,— голос его сделался почти что торжественным,— одного не можешь: это изменить чувству рыцарства и дисциплине сердца, о которой мы сейчас беседовали!

---

[1] Известно, господа, известно!
[2] хорошие принципы.

Я вышел от Поля слегка отуманенный; но постепенно мне становилось все легче и легче, как будто тяжелое бремя скатывалось с души моей.

— Что ж! — говорил я себе,— все это я давно знал, только не мог хорошенько выразить — вот и все! Ведь если наш разговор пересказать своими словами, то выйдет так: принцип есть неимение никаких принципов... помилуйте! да разве я когда-нибудь думал противное! Стало быть, я не совсем глуп, и он напрасно посмотрел на меня иронически, когда утверждал, что, обладая принципом, я имею право быть даже... глупым! нет, это не так, mon cher!

И я чувствовал, как во мне зарождалось и с изумительной быстротой крепло сознание. Покуда я ехал по Невскому, покуда повернул в Большую Морскую, все уже было готово. Двери Дюссо распахнулись передо мною, но как-то нерешительно, как будто не узнали меня. Перед ними стоял старый Базиль, Васюк, Васька, все, что хотите, но под новым лаком.

— Принципы! — весело твердил я,— et dire que ce n'est que ça! [1]

Они все были в сборе. Появление мое произвело сенсацию.

— Вася! Васька! Васюк! как поживает последняя тысяча! — раздавалось со всех сторон.

— Messieurs! — сказал я,— отныне вы должны смотреть на меня серьезно! Вы видите перед собой... l'homme aux principes [2].

Сначала грянул взрыв хохота; потом последовал так называемый обмен мыслей.

— Уж не дал ли ему кто-нибудь взаймы денег!

— Нет, он открыл новый способ подделывать духовные завещания!

— Нет, он отыскал добрую старушку, которая соглашается за известное вознаграждение уделить ему часть своих капиталов.

— Он вступает в компанию с Бергом!

— Он основывает журнал!

— Он получает концессию!

И т. д. и т. д.

— Messieurs! — сказал я,— не шутите! «принципы» — это то, что каждый из вас носит в самом себе! Но вы не знаете, что вы носите, а я — знаю.

— Черт возьми! ты, кажется, сказал целый период!

---

[1] только и всего!

[2] человека с принципами.

— Да; я сказал период, и скажу еще два, три, бесконечное число периодов... потому что я человек принципа!

— Ну, говори! говори! внимание!

— Вы вот сидите у Дюссо, пьете вино, едите, болтаете вздор и не знаете, что вы делаете это по принципу. Вы ездите к Бергу, слушаете гривуазные песни, видите всякое подниманье — и не знаете, что делаете это по принципу. Вы целый день рыскаете по городу, не зная, куда приклонить голову, и думая, что все это не больше как шалопайство,— и не знаете, что вы делаете это по принципу! Вы занимаете деньги без отдачи, не платите вашему портному, обсчитываете вашу прачку, кормите завтраками вашего лакея — и не знаете, что все это делает в вас принцип! А я — знаю!

— Браво! продолжай! Васенька, продолжай!

— Принцип, messieurs, есть не что иное, как последовательно проведенный образ действия. Пусть каждый из вас сойдет в глубины своего сердца, пусть каждый подвергнет зрелому обсуждению свое прошлое! Если окажется, что он обманывал своего портного постоянно, то это значит, что в нем жив принцип; если окажется, что он обманывал только временно, то это будет значить, что принцип ослабевал! Но что же надобно сделать, чтобы принцип никогда, *никогда* не ослабевал! Для этого надобно, чтоб те, которые чувствуют в себе его присутствие, подали друг другу руки и тесно сдвинули ряды свои! Тогда, и только тогда, messieurs, мы образуем живую изгородь, сквозь которую не проскочит ни один неблагонамеренный заяц, или лучше сказать, заплетем такую сеть, которая опутает собой все пространства и перспективы!

Я кончил. Я чувствовал, что это был мой первый ораторский успех. По местам еще раздавалось хихиканье; но более серьезные из собутыльников задумались. Их поразила идея: сдвинуть ряды.

— Как? как ты это сказал? «сдвинуть ряды»? — переспрашивали меня.

— Подадим друг другу руки, messieurs, и сдвинем наши ряды! — повторил я, поднимая бокал.

— Браво! — раздался общий голос.

Один Simon (известный служитель в ресторане) не принимал участия в общем энтузиазме и, по-видимому, рассчитывал, сколько придется ему на водку.

— Нас называют проходимцами, говорят que nous sommes des hommes perdus de dettes [1], докажем же миру, что мы люди принципов, что в нас есть нечто такое, что составляет силу.

---

[1] что мы люди, погрязшие в долгах.

— Докажем! докажем!

— И начнем с того, **что отсюда поедем всей толпой к Бергу!**

— Отлично! délicieux! [1]

Через полчаса мы были уж *там.*

Комплот воспринял начало.

Через месяц я был уже в городе N.

Речь, которую я сказал на первый случай, была моим вторым ораторским успехом.

Затем, я приказал составить мне список людей, которые о чем-нибудь думают и выражают свои мысли, и в ожидании отправился осматривать N-ских дам. Alea jacta est. [2].

<2>

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

НУМЕР ТРЕТИЙ

Я принадлежу к хорошей фамилии. Один из моих предков ездил в Тушино; другой кому-то целовал крест, потом еще целовал крест и потом еще целовал крест. За все эти поцелуи ему выщипали по волоску бороду и заточили в Чердынский острог. Третий предок соперничал в грасах с Бироном, но оплошал и за измену был сослан в Березов.

С материальноїї стороны обстановка моя представляется далеко не столь блистательною.

Предки мои жили весело; но так как и в то время насчет этого существовали законы, то мои веселые дедушки и бабушки почти постоянно находились под судом. Мой прадедушка просудил свое саратовское имение (около 800 душ) за то, что скатил в бочке с горы попа; моя прабабушка просудила свое пензенское имение (около 600 душ) за то, что вымазала капитан-исправника медом и выдержала его в этом виде несколько часов на солнечном припеке.

Результатом всех этих веселостей было то, что когда мне пришлось вступить во владение наследственным имением, то предо мной предстало неуловимое село Прахово, при котором значились какие-то странные земли: по болоту покос, да

---

[1] восхитительно!

[2] Жребий брошен.

по мокрому месту покос, да лесу ненастоящего часть и т. д. Даже мужики явились какие-то ненастоящие: или совсем дряхлые, или подростки с огромными, выпяченными вперед животами.

Разумеется, я сейчас же всю эту чушь побоку и, получив куш (последний куш!), отправился с ним в Петербург.

Воспитание получил я очень изящное, но не могу скрыть, что знаний больших не имею. В том закрытом заведении, где протекли годы моей юности, науки преподавались коротенькие: тетрадки в две, в три, не больше. Приводились примеры рыцарских чувств и утонченной вежливости; излагалось кратко, что рыцари имели обыкновение сечь (rosser) и обдирать различных буржуа и manants, но за что собственно производилось это хроническое сечение — этого никто нам не объяснял. Только уже по выходе из школы я узнал, что это была целая величественная система, задуманная в видах предотвращения коммунизма и нигилизма...

По субботам нас отпускали к родителям. Но родители у нас были милые и, точно так же как и мы, воспитывались в чувствах рыцарства и утонченной вежливости. Ничего буржуазного, ничего такого, что напоминало бы унылый семейный очаг. Когда мы являлись домой, нас очень любезно осматривали, давали целовать ручку, произносили: amusez-vous! и уезжали в гости. После этого мы были свободны, как ветер в поле.

Собственно у меня maman была настоящая конфетка. Всякий раз, как я являлся домой (особенно когда я был на последнем курсе), она в каком-то детском страхе зажмуривала глаза и восклицала:

— Ах, какой большой! ах, какой большой!

— Но нельзя же, ma chère,— утешал ее papa,— таков закон природы! Молодое растет, старое старится! (Он отлично знал наши прекрасные русские поговорки.)

— Ах, нет! ах, нет! я хочу, чтоб он был маленький! всегда, всегда маленький! — повторяла maman и затем, бросив последний взгляд на свой туалет, уезжала в гости.

Затем из всех воспоминаний моего детства остались в моей памяти только два: воспоминание о том, как я в первый раз напился пьян (мне было тогда тринадцать лет, и, клянусь честью, я думал, что совершил бог весть какое преступление!) и воспоминание о моем первом грехопадении (мне было тогда пятнадцать лет... Леокади!).

Ни наук, ни искусств...

Ничего, кроме рыцарских чувств и утонченной вежливости.

Годы летели мимо меня с такой быстротой, что я даже не чувствовал их. Умер папà, скончалась maman; я поплакал. Серые рысаки сменились караковыми, караковые — вороными. Леокади уступила место Армансе, Арманса — Жозефине (не француженке, а шведке). Даже Марья Петровна какая-то была... из русских. Все это плыло и плыло и заставляло вместе за собой уплывать те тысячи, которые были выручены через продажу села Прахова с ненастоящей землею и ненастоящими мужиками. Я возмужал, а в кармане у меня оставалась только одна тысяча... на всю жизнь!

Когда я убедился в этом, то мне показалось, как будто я сейчас только родился. Я понял, что покуда у меня были деньги в кармане, я их расходовал; что теперь у меня нет денег в кармане, и я не могу расходовать. Что такое: нет денег? почему я не могу расходовать?.. Я думал, что я с ума сойду! Весь мир представлялся мне в каком-то новом свете; все эти портные, прачки, квартиры, лакеи, все, что прежде представлялось как во сне, вдруг приняло какие-то живые образы, заговорило, запротестовало... я положительно думал, что сойду с ума!

Но ежели у меня нет ни имений, ни капиталов, если предки мои проживали свое достояние, как они выражались, «ради вящего Российской империи блеску и авантажа»,— ужели я не должен быть за это вознагражден? Рыцарские чувства! утонченная вежливость! — tout ça est bel et bon, messieurs! [1] но мне нужен пирог, настоящий пирог, который я мог бы кусать à belles dents! [2] я желаю его! я требую его! я требую той доли, на которую мне дают право мои рыцарские чувства, мои правила утонченной вежливости!

И вот, в эту критическую минуту, в уме моем созрела мысль о месте в провинции.

Я рвался в провинцию, потому что жизнь уже поистрепала меня. Борьба с кокотками подорвала мои силы; опасение встретиться с портным (которому я много лет не платил) убило во мне всякую предприимчивость. В Петербурге я решительно не годился; Петербург требует, чтоб человек разглядывал свою добычу издалека и налетал на нее с уверенностью. Я никогда не мог достичь этой виртуозности. Я был хищник второго разряда; я не нападал, а просил и вследствие этого очень скоро поступил в разряд пик-ассьетов. С тех пор никто не хотел смотреть на меня серьезно. Самые, что называется, шалопаи из шалопаев — и те легкомысленно улыбались при упоминовении моего имени. В тех редких случаях, когда мне

---

[1] все это прекрасно, господа!
[2] в полное свое удовольствие!

поручалось какое-нибудь дело по службе,— это считалось анекдотом, который, с разными прибаутками, ходил по городу, услаждая всеобщие досуги. Когда у меня появлялись деньги, то говорили, что я придумал новый способ подделывать духовные завещания или что я вступил в компанию с некоей Адольфинкой и выписал, по ее поручению, женщину с усами... Каждый мой поступок истолковывался самым непозволительным образом, а некоторые утверждали, что у меня даже совсем нет поступков... Меня кормили обедами и поили шампанским и в то же время вымещали на мне каждый съеденный кусок, каждую выпитую бутылку. Иногда это оскорбляло меня. Ужели я в самом деле гороховый шут? — спрашивал я себя внутренно и давал слово проучить первого шалопая, который позволит себе назвать меня этим именем. Но самый гнев выходил у меня как-то странно, и вместо того чтоб устрашать, пробуждал еще больший взрыв веселости...

Несмотря на все это, я продолжал жить. Я чувствовал, что еще одна минута — и все будет кончено. Голова наполнялась каким-то туманом, в глазах мелькал хаос, в ушах звенело. Я вставал утром с постели и спрашивал себя: скоро ли? Я ложился спать на ночь и спрашивал себя: скоро ли? Я целый день куда-то спешил, сам не отдавая себе отчета, куда спешу, и только спрашивая себя — скоро ли?

Провинция! Не там ли тихая гавань, в которой должно навсегда погрузиться мое прошлое, в которой, в первый раз в жизни, сказанное мною слово не будет встречено ни хохотом, ни щелчками!

Но тут, на первых же порах, я был озадачен совершенно неожиданным образом.

— Ваши принципы? — спросили меня, едва я успел заикнуться о предмете моих вожделений.

Я смутился; я думал, что меня хотят испытать.

— Никаких принципов я никогда не имел! — отвечал я с негодованием.

— Подумайте и придите в другой раз.

Собеседник мой улыбнулся (он некогда видал меня у Леокади) и прошел далее.

— Ваши принципы? — вторично раздался в ушах моих вопрос, обращенный уже к следующему соискателю.

— Священное исполнение предписаний начальства... до последней капли крови... Ваше превосходительство! ежели!..

С говорившим сделалось дурно.

Я вышел словно ошеломленный. Принципы!

Я не могу сказать, чтоб это слово было мне совершенно неизвестно. Я знаю, что принципы существуют, но при этом сло-

ве в воображении моем всегда рисовалось что-то лохматое, неумытое, тайнодействующее. И вдруг я слышу это самое слово... где? когда? по какому случаю?

Как зародилось это нововведение? какой был процесс его развития? По-видимому, тут не было ни зарождения, ни развития, а было только внезапное помрачение. Принципы явились на сцену жизни, как являются не помнящие родства на сцену полицейского действия. Откуда? как? где ночевал? где днем шатался? кто был пристанодержателем? — никто ничего не знает, никто ничего объяснить не может. Приходит откуда-то нечто и требует, чтоб его взяли в острог. Острогом оказалась чья-то голова. Вот и все.

К счастию, у меня был приятель Поль Беспалый, который мог объяснить мне все это. Он служил сначала в гусарах, потом определился к штатским делам, потом прошел огонь и воду и имел один недостаток: терпеть не мог, когда его называли действительным статским кокодессом.

— Mon cher,— сказал я ему,— ты, который знаешь все, ты должен объяснить мне, что такое «принципы»!

Мне показалось, что на лице его выразилось моментальное изумление. По крайней мере, он не тотчас ответил, а ущипнул меня разом за обе щеки и сказал:

— Душка!

— Но, мой друг, мне предложен вопрос, имею ли я принципы, и я завтра же, в одиннадцать часов утра, должен дать ответ!

— И ты меня спрашиваешь об этом! ты, который снизу доверху преисполнен самыми лучшими принципами! нет, это какое-то недоразумение! — весело смеялся Поль.

— Да не смейся же, Поль! скажи, что должен я отвечать?

— Во-первых, ты ничего отвечать не должен; во-вторых, ты должен приложить руку к сердцу, в-третьих, слегка закатить глаза и, в-четвертых, что-нибудь пробормотать. «Смею уверить»... «безграничная преданность»... «святое исполнение долга»... что-нибудь в этом роде. Чем невнятнее, тем лучше, потому что это докажет, что в тебе говорит не ум, а чувство. Скажи, пожалуйста, ведь ты... не *очень* умен?

Вопрос этот был так неожидан, что я невольно сконфузился.

— Виноват, мой друг,— продолжал Поль,— но этот вопрос нам необходимо очистить, чтоб иметь под ногами совершенно твердую почву.

Как я ни привык к веселонравию моих друзей, но ответ был так щекотлив, что просто-напросто не срывался с моего языка.

— Хорошо; будем говорить яснее,— вновь начал Поль.— Возьмем для примера хоть наши теперешние взаимные отношения. Я тебя искренно люблю, и ты меня искренно любишь — это несомненно; но почему же мы любим друг друга? спрашиваю я тебя. А потому, душа моя, что мы оба: и ты, и я — оба *не очень* умны. Понимаешь: оба, не ты один! Ты расскажешь мне какой-нибудь проект, и я тебе расскажу какой-нибудь проект — и нам обоим... не стыдно! Тогда как, если б ты был *очень,* а я *не очень* умен, то мне было бы постоянно совестно, и я кончил бы тем, что возненавидел бы тебя... понял?

— Так, но ведь я могу, наконец, скрыть свой ум?

— Нет, это уж не то! Человек, который скрывает свой ум, хоть невзначай да обмолвится. Нет, если ты хочешь успеть, то лучше не скрывай, а прямо так, как есть. Итак, этот вопрос очищен...

— Позволь, тут могут встретиться еще некоторые подробности, которые тоже необходимо предусмотреть... Например, может понадобиться мой взгляд, мое мнение... que sais-je enfin! [1]

— Ну да, и взгляды, и мнения... все это ты обязан! Ах, да пойми же, душа моя, что ты сам весь состоишь из взглядов и мнений и только не подозреваешь, что все это называется взглядами и мнениями...

Поль сделал несколько туров по комнате, как бы желая наглядно объяснить, в чем заключаются взгляды и мнения.

— Все взгляды известны, все мнения составлены, — продолжал он, останавливаясь передо мною,— разумеется, *не очень* умные. И чем больше ты будешь высказывать таких взглядов и мнений, тем лучше. Ты не поверишь, мой друг, как это развязывает язык, когда знаешь наверное, что не скажешь ничего... *очень* умного! У нас в клубе случился на днях поразительный пример в этом роде. Сорок лет сряду прожил Пьер Накатников на белом свете, и сорок лет нельзя было разобрать, говорит он или молчит. Говорят, будто он боялся сказать что-нибудь *очень* умное. И вдруг этот человек убедился, что он хоть и умен, но не *очень*... и заговорил! И что ж! мы целый час его слушали, и, право, слушали не без удовольствия... Потому что он действительно говорил не *очень* умные вещи!

— Но Накатников ведь был басней целого города!

— А теперь он сделался чуть не гением. Ах! ты не поверишь, душа моя, как это освежает, когда вдруг заговорит пе-

---

[1] как знать, наконец!

ред тобой нечто такое, что десятки лет сряду сидело против тебя и молча предлагало тебе рюмку вина! Наплыв какой-то чувствуешь... радость какую-то! Так бы и вырядил его в одежды златотканые и пустил бы на все четыре стороны: лопай кого угодно!

По мере того как Поль говорил, я чувствовал, что мне делается легче и легче. «За что ж они меня называли шалопаем?» — спрашивал я себя.

— Понимаю,— сказал я после некоторого размышления,— но ведь это почти то же самое... ну да, это совсем то же самое, что я всегда...

— Вот то-то и есть, что мы часто создаем себе затруднения там, где их совсем не существует. Но резюмируем наши дебаты. Ты хочешь знать, в чем состоят наши принципы: вот они. Принцип первый: везде... всегда... куда угодно... Принцип второй: мыслей не имею, чувствовать — могу. Если ты усвоишь эти два принципа, то можешь дерзать совершенно свободно!

Поль обнял меня с нежностью. Очевидно, что роль ментора была для него еще внове, и я был чуть ли не первым учеником его в деле искусства приобретать успехи.

— Ах да — чуть не забыл,— спохватился он,— принцип третий: вот! — Он сжал правую руку в кулак, как будто держал вожжи. Глаза его сверкнули.— Это для тех, которые... ты понимаешь? ну, для тех... для умников!

Объяснение кончилось. Я вышел от Поля слегка отуманенным, но по мере того как я удалялся от его квартиры, туман постепенно рассеивался и уступал место лучам света.

— Что ж! — говорил я себе,— все это я давно знал, только не мог хорошо выразить — вот и все! Ведь если наш разговор пересказать своими словами, то выйдет так: принцип есть неимение никаких принципов... помилуйте! да разве я когда-нибудь думал противное!

И я чувствовал, как во мне зарождалось и с изумительной быстротой крепло сознание принципа. Покуда я ехал по Невскому, покуда повернул в Большую Морскую, все было готово. Двери Дюссо распахнулись передо мной и не узнали меня. Перед ними стоял все тот же Базиль, Васюк, Васька — но под новым лаком.

— Принципы! — весело твердил я,— et dire que ce n'est que cela! [1]

---

[1] только и всего!

Они были все в сборе.

— Вася! Васька! Васюк! последняя тысяча! — раздалось со всех сторон при моем появлении.

Но я не обращал внимания на эти крики и с достоинством составлял меню. Между тем в компании происходил так называемый обмен мыслей.

— Что с ним? Basile! ты, кажется, хочешь наслаждаться на собственный счет! — говорил один.

— Messieurs! у него деньги, следовательно, он участвовал в ограблении Зона! — говорил другой.

— Messieurs! он снял заведение Фюрста!

— Messieurs! Эстер, уезжая в Париж, позволила ему продать в свою пользу ее кровать!

Вдруг посреди этого ливня клевет (именно клевет, потому что Зона я даже совсем не знал и ни в какие сделки ни с Фюрстом, ни с Эстеркой не вступал) я обернулся, и все почуяли что-то новое. Как будто Васюк навсегда исчез, а явился Basile... и даже с перспективою сделаться в ближайшем будущем Василием Андреичем.

— Basile! да что с тобой? — тревожно спрашивали меня со всех сторон.

— Messieurs! — сказал я торжественно,— отныне вы должны смотреть на меня серьезно. Вы видите перед собой... l'homme aux prrrincipes! [1]

Все молча переглянулись, как бы ожидая разъяснения этой загадки.

— Принципы, messieurs,— продолжал я,— это то самое, что каждый из вас всегда носит в самом себе. Только вы не знаете, что носите, а я... я знаю!

Опять обмен мыслей:

— Charmant! [2]

— Показывай, что такое ты носишь!

— Он носит надежду попасть в долговое отделение!

— Он носит сладкую уверенность, что Дюссо простит ему долг!

— Васька! стань перед Дюссо на колени!

— Одну слезу, Basile! одну слезу — и он простит!

И т. д. и т. д.

— Позвольте, messieurs! — прервал я этот поток,— вы забываете, что компрометируете своего соотечественника... перед кем?.. Вспомните про Севастополь, messieurs!

— Браво, Васенька, браво!

---

[1] человека с принципами!

[2] Очаровательно!

— Но к черту национальности! — продолжал я,— дело идет о принципах. Messieurs! в эту самую минуту вы сидите у Дюссо, вы пьете, едите, болтаете вздор — и не подозреваете, что все это делается вами в силу принципа! Вы ездите к Бергу, вы целый день рыскаете, не зная куда приклонить голову,— и не понимаете, что вами руководит принцип! Вы занимаете деньги без отдачи, вы не платите портному, обсчитываете прачку, лакея — и не видите, что все это принцип, принцип и принцип! А я все это вижу, знаю и понимаю!

— Браво!

— Что такое принцип? — принцип, говорят нам, есть не что иное, как последовательный образ действий. Следовательно: ежели человек действует последовательно, хотя бы вопреки каким бы то ни было принципам, то это значит, что он все-таки действует по принципу. Сойдите в глубины ваших сердец, взвесьте ваше прошлое — и судите! Что нужно, чтоб из отсутствия принципов образовался принцип? — для этого нужно убедить себя, что отсутствие всяких принципов есть тоже своего рода принцип — и ничего больше! Что нужно, чтоб этот принцип восторжествовал? — для этого нужно, чтоб те, которые чувствуют в себе его присутствие, подали друг другу руки и сдвинули ряды свои!

Оглушительное «браво!» встретило эти слова.

— Messieurs! — продолжал я,— нам говорят, что мы шалопаи — пусть так! не будем ни подтверждать, ни опровергать этого мнения! Соединимся, «станем дòбре», comme dit quelqu'un dont le nom m'échappe pour le moment! [1] Станем против тех... ненавистных... гнусных... пошлых... которые выдумывают какие-то мрачные положения вещей... которые на все и всех смотрят в черном цвете, которые утверждают, что Деверия канканировала на краю бездны! Только тогда мы образуем живую изгородь, сквозь которую не проскочит ни один неблагонамеренный заяц! только тогда мы заплетем ту великую сеть, которая опутает собой все пространства и перспективы. Я кончил, messieurs.

Я чувствовал, что это был мой первый ораторский успех. Хотя по местам еще раздавалось хихиканье, но большинство собеседников уже задумалось. Их в особенности поразили слова: сдвинуть ряды.

— Как? как ты это сказал? «сдвинуть ряды»? — переспрашивали меня со всех сторон.

— Подадим друг другу руки и сдвинем наши ряды! — повторил я, поднимая бокал.

---

[1] как говорит некто, чье имя сейчас не могу припомнить!

— Браво! — раздался общий голос.

— И изыдем к Бергу, потому что там самое настоящее место, чтобы сдвигать ряды! — откликнулся чей-то отдельный скептический голос.

Один Simon (известный служитель в ресторане) не принимал участия в общем энтузиазме и, казалось, рассчитывал мысленно, сколько придется ему на водку.

— Нас называют проходимцами,— вновь начал я,— об нас говорят que nous sommes des hommes perdus de dettes...[1] Оставим! Оставим, messieurs, астрономам доказывать — кажется, так я это сказал? — и докажем, в свою очередь, что мы тоже люди принципов, что и в нас есть нечто такое, что составляет силу! Силу, messieurs, силу!

Гам, который поднялся в этот момент, был ужасен. Все эти милые, благовоспитанные люди до того наэлектризовались, что готовы были испепелить первого попавшегося прохожего, разбить окна в первой по пути женской бане!

— Докажем! докажем! — кричали они какими-то неестественными голосами.

Я не знаю, что со мной сталось. Я был красен, я пылал, я тоже был готов разбить что угодно... разумеется, с тем чтоб не узнала об этом полиция. Такова сила энтузиазма к принципу.

Через полчаса мы были *там*. Blanche, Eugénie, Finette — все уже знали, что во мне сидит l'homme aux principes. Сначала все жалели, но потом поздравляли.

Комплот воспринял начало.

Через месяц я был уже в N.

— Господа! — сказал я собравшимся,— человек, который имеет честь обращать к вам настоящее слово, с гордостью может засвидетельствовать, что он человек принципа. Если вам угодно будет спросить, что такое принцип? то я отвечу вкратце: принцип — это образ действия. Следовательно, в дальнейшем все будет зависеть от того, как вы поведете себя. Есть вещи, к которым я отнесусь благожелательно; есть вещи, на которые я посмотрю с снисходительностью, и есть вещи, которых я не потерплю. Пусть процветает торговля, пусть земледелие принимает неслыханные размеры, пусть воздвигаются монументы — на все это я буду смотреть сквозь

---

[1] что мы — люди, погрязшие в долгах...

пальцы. Пусть молодые люди предаются свойственным их [возрасту] играм и забавам — и на это я взгляну снисходительно, потому что не ученые нам нужны, господа, а доблестные. Но... мерзавцев... негодяев... возмутителей общественного спокойствия... я не потерплю!

Сказавши это, я погрозил пальцем, сверкнул глазами и удалился.

Сознаюсь откровенно, я сделал ошибку: не нужно было грозить пальцем. Пальцем грозить следует, когда знаешь наверное, что люди виноваты; но когда видишь людей в первый раз, то подобного рода жест легко может поставить их в недоумение. Так именно и случилось. Вечером того же дня я узнал от своего секретаря, что в обществе уже возникли превратные толкования.

— Что же рассказывают эти негодяи (и опять-таки я сделал ошибку, ибо негодяями следует называть только тех людей, о которых наверное знаешь, что они негодяи)? — спросил я, возмущенный до глубины души.

— Да говорят-с, что вы изволили кулаком пригрозить-с?

— Ну-с?

— Еще говорят, что изволили всех обозвать мерзавцами-с.

— Дальше-с?

— Обижаются-с.

— Понимаю. Это всё умники. Составьте мне к завтрашнему дню список этих молодцов. Я их уйму.

Я не мог скрыть своего волнения. Едва успел сделать первый шаг — и уж противодействие!

— Позвольте, однако ж, почтеннейший! — обратился я к секретарю,— разве прежде не бывало подобных примеров?

— Помилуйте-с, очень довольно бывало. И все слушали-с. Только вот с тех пор, как эта самая власть упразднилась...

— Какая власть? какая власть упразднилась?

— То есть не упразднилась-с, а так сказать...

Он взглянул на меня и вдруг присел.

— Извольте идти! — указал я ему на дверь.

Но этому вечеру суждено было остаться в моей памяти. Едва отпустил я секретаря, как явился мой помощник.

— Ну, что, любезный коллега, управим? — весело обратился я к нему.

— Коли власть, так, стало быть, надо управить-с! — отвечал он очень развязно,— только вот что осмелюсь вам доложить: с тех пор как упразднилась эта самая власть...

Я даже вскочил от негодования.

— Помилуйте! — воскликнул я,— об чем вы говорите! о ка ком упразднении власти! Mais ça n'a pas de nom [1].

И что ж? весь вечер толкались у меня разные провинцияльные тузы (что-то вроде начальников каких-то частей, которых обязанность состоит в том, чтобы противодействовать), и весь вечер я слышал один и тот же refrain: [2] с тех пор как эта власть упразднилась... Я просто был вне себя.

— Да это какая-то деморализация, господа! — говорил я,— как! вы, представители... mais au nom de Dieu [3], да какой же вы власти представители? упраздненной, что ли?

— И все-таки власть упразднилась,— ответил какой-то акцизный, пренахально смотря мне в глаза.

---

[1] Но это неслыханно.
[2] припев
[3] но ради бога.

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

ПАРАЛЛЕЛЬ ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Василий Поротоухов провел цветущие дни юности в кабаке. Там он узнал тайну обращения с сильными мира сего, там же получил и первоначальные понятия о науке финансов.

Отец его, Вонифатий Семенов Поротоухов, в просторечии Велифантий, проще Лифантий, а еще проще Лифашка, был целовальником в бедном уездном городишке Чернолесье, в одной из северо-восточных русских губерний. Кабак стоял на выезде из города и, за исключением базарных дней, был мало посещаем. Зато в базарные дни ни один мужик не проезжал мимо, чтоб не зайти в длинное одноэтажное здание, почерневшие стены которого имели в себе притягивающую силу магнита. В эти дни кабак бывал набит битком, пеннос лилось рекою, и пьяные песни с утра до поздней ночи оглашали окрестность.

Поротоухов-отец принадлежал к той породе расторопных мещан-кулаков, которые с утра до ночи бегают высуня язык, машут руками, торопятся, суетятся, проталкиваются вперед, пускают в ход локти — и все затем, чтобы к концу дня получить грош барыша. Как те «кулаки», которые с наступлением базарного дня чуть свет начинали шнырять около кабака, перехватывая за заставой мужиков, везших на базар сельский припас, и которые выбивались из сил, галдели, кряхтели и потели, чтобы в конце концов предоставить знатный барыш толстому купчине, а самим воротиться на ночь в холодный и голодный дом, Поротоухов каждое утро начинал изнурительную работу сколачиванья грошей и каждый вечер ложился спать с тем же грузом, с каким и утром встал. Встал — грош, и лег — все тот же грош. Посмотрит-посмотрит Лифашка на свой извечный, заколдованный грош, помнет его промеж пальцев, щелкнет языком и полезет спать на полати, с тем чтобы

завтра опять чуть свет пустить тот грош в оборот. Да чтобы не зевать — боже сохрани! — а то ведь, пожалуй, и последний грош прахом пойдет.

И нельзя сказать, чтобы Поротоухов не радел о себе. Напротив того, об нем даже сложилась пословица, что он «родного отца на кобеля променял», а такая аттестация, как известно, прилагается только к самым прожженным, а следовательно, очень радивым людям. Но у него не было той «задачи», в которую так верит русский человек и которая впоследствии действительно сослужила службу, только не ему, а его сыну. Эта «задача» есть нечто мистическое, не поддающееся никакому определению и тем не менее совершенно ясное для всякого истинно русского человека. Скажите ему «незадача» — и он ответит, что это та самая вещь, при которой, будь человек хоть семи пядей во лбу,— ничего не поделает. Скажите «задача» — и он ответит, что это такая вещь, благодаря которой самый мизерный человечишко со дня морского выплывает наверх, достигает берега и, не успев еще обсушиться, запускает лапу в карман первому встречному и благополучно вынимает оттоле сокровище. «Незадача» кладет сразу свое клеймо на человека, и что́ бы он впоследствии ни предпринимал, чтоб освободиться от этого клейма, оно навсегда преградит ему пути к будущему.

— Что̀, торопыга? маешься? — ласково спросит какой-нибудь жирный купчина, взирая, как у «торопыги» разгораются глаза на чужой грош.

— Маюсь, ваше степенство!

— Ну, майся, братец, трудись! Бог труды любит!

Только и слов в поощрение бедному торопыге. Как будто ему на роду написано: заниматься моционом, облизываться на чужой грош и никогда не заполучить его...

Вот эта-то самая «незадача» и взлюбила Поротоухова. Не то чтоб он был чересчур прост или имел какие-нибудь необычные взгляды на хозяйскую выручку или на достояние пьяного потребителя — отнюдь нет. Был он человек радетельный, как и все человеки, да только раденье-то, благодаря «незадаче», не на пользу служило ему. Другие и кабаки поджигали, и выручку похищали, и потребителя грабили — и все благополучно сходило им с рук. А Лифашка чуть задумает план пограндиознее — смотришь, ан тут же его и накрыли. Либо ревизор, либо поверенный, либо дистаношный, а не то так и сам откупщик. И сейчас разденут раба божьего до нитки: ступай и начинай маяться сызнова.

Может быть, Поротоухову оттого не везло, что он уж чересчур радетелен и даже талантлив был. У него был очень

верный и даже очень блестящий взгляд на воровство, но недоставало коммерческой выдержки. Каждое его действие, рассматриваемое само по себе, несомненно свидетельствовало, что он «родного отца на кобеля готов променять», но, взятые в совокупности, эти действия не представляли ни малейшей солидности. Это был какой-то коммерческий фельетонист, у которого нервная восприимчивость заменяла рассудок. При всяком случае у него разбегались во все стороны глаза, дрожали руки от волнения, стучало сердце и даже появлялась одышка. Он не понимал, что жадность следует ограничивать, что очень хорошо постигли те Парамонычи и Сидорычи, которые, пользуясь «задачей», благополучно похищали хозяйские выручки и на них заводили свои собственные хозяйства. Замотается-засуетится Лифашка, разом хочет во все места лапу запустить — запустит, вынет,— ан в лапе по-прежнему нет ничего. «Незадача!» — завопит он в огорчении и пойдет опять колотиться, бегать и махать руками... В городе на Поротоухова смотрели как на бахвала, который только другим руку портит. Взгляд этот одинаково разделяли все: и чиновники и собственно так называемые торговые люди. Торговцам он сбивал цены, на чиновников вчуже производил впечатление досады. Вот Иван Парамоныч, например, сиделец кабака на базарной площади,— тот и достаток имел, и в то же время пользовался репутацией мужика обстоятельного и даже богобоязненного. Между тем радения у него, против Лифашкиного, и на десятую долю не было. В чем же тут штука, однако ж? — а в том просто, что там, где Лифашка рад был душу свою за грош продать, Иван Парамоныч ценил свою отнюдь не меньше рубля серебром. Вот секрет, которого никак не хотел постичь Поротоухов, хотя Иван Парамоныч, по христианству, не раз принимался наставлять его.

— А ты не торопись, друг! — говорил он ему,— не во все стороны глазами кидай, а в одну точку гляди! За грош нашему брату христианский закон отменять тоже не приходится!

Но все тщетно. Уйдет Поротоухов от Ивана Парамоныча утешенный и как будто с твердой решимостью «глядеть в одну точку», но воротится домой, увидит в чьей-нибудь руке грош,— не утерпит и продаст душу.

Даже городничий, вообще благоволивший к откупу и ограждавший его интересы (в те времена это был единственный вопрос внутренней политики, считавшийся важным) — и тот не иначе называл Поротоухова, как мерзавцем. Несправедливость эта, конечно, до глубины души возмущала Лифашку. Он мерзавец! он, у которого грош в кармане да блоха на аркане! Он!

— Да вы, ваше высокородие, на одежу-то мою взгляните! — протестовал он,— так ли мерзавцы-то нынче ходят!

Но протест этот нимало не убеждал городничего, и потому, при всяком удобном случае, Лифашка испытывал на своих боках всю силу этого городнического убеждения. Случится ли в городе пропажа, сейчас квартальному приказ:

— Идите к мерзавцу Лифашке! У него! наверное, он, мерзавец, краденое за косушку принял!

Идут — и действительно находят у Лифашки не только искомое, но и множество другого хлама, которого хотя никто не искал, но происхождение которого он не умеет объяснить. Почему не умеет объяснить? — потому что ему некогда думать об объяснениях; потому что он впопыхах берет и впопыхах же сует куда попало. Затем ему надо опять спешить брать, и все брать и совать, покуда, наконец, рука квартального не ухватит его.

Окажется ли на выгоне мертвое тело — опять-таки первое слово:

— Это Лифашка! это его, мерзавцево, дело!

Идут — и действительно сразу убеждаются, что тут пахнет Поротоуховым. Тот видел, как Лифашка покойного за ноги из кабака тащил, другой — как он с покойного полушубок снимал... Раскошеливайся, Лифашка!

И не выходит таким манером Поротоухов из-под следствия и суда. Но и оставленный по десяти делам в подозрении, обруганный, обобранный, он не в силах изменить своей натуре. По-прежнему продолжает он торопиться и разом запускать во все места лапу и по-прежнему ничего не может ухватить, а если и ухватит он что-нибудь одною лапой, то другою немедленно вручит ухваченное квартальному надзирателю...

Ни бедность, ни «незадача», ни вечное нахождение под судом не могли угомонить Поротоухова. Бахвал по природе, он пронимался даже в таких случаях, когда бы другой на его месте давно бы света невзвидел. Беды соскальзывали с него, как вода с гуся, и, по-видимому, давали ему даже новые силы.

— Мы еще свой предел сыщем! — хвастался он в самые горькие минуты жизни,— поди-тко ужо что будет!

И когда он начинал хвастаться, ничто так не раздражало его, как напоминание о каком-нибудь Иване Парамоныче, который без блеску, но наверняка созидал свое благополучие.

— Баранов-то потрошить... важность! Нет, ты пойди волка выпотроши — вот тогда я тебе в ножки поклонюсь!

— Зачем тебе волки? Бараны-то, сказывают, смирнее! — урезонивала его жена.

— Я намеднись какого волка-то зарезал — видела? Иван

Парамонов — нашла с кем сравнить! Да Ивану Парамонову в семь лет того не сделать, что я сейчас... сею минутою... Деньги-то — вот они!

Одним словом, если б Лифашка не умел «валяться в ногах», давно бы он пропал. И откупу надоело следить за непрерывными проявлениями его «радения», да и полиции он значительно опротивел. Несколько раз было решаемо, чтоб его доконать совсем, но тут-то именно и пускалось в ход то «валянье в ногах», которое во многих случаях служит единственным ограждающим средством от верной погибели.

Русский человек вообще довольно охотно «валяется в ногах». Три причины способствовали укоренению и развитию этого прискорбного явления: во-первых, привычка, ведущая свое начало чуть ли не со времен Гостомысла, во-вторых, твердое убеждение в несокрушимости спинного хребта, и в-третьих, надежда, что человек, валяющийся в ногах сегодня, быть может, завтра сочтет себя вправе потребовать таких же знаков почитания от других. Все мы валялись, валяемся и будем валяться — это сознание не только смягчает процедуру факта, но и способствует установлению снисходительных отношений к нему. Но Поротоухов валялся в ногах, как никто. Он валялся и в то же время причитал и метался, как в предсмертной агонии. Только жиды умеют метаться таким образом, когда видят, что, по военным обстоятельствам, им предстоит повешение.

Нельзя было не тронуться при виде человека, который так искренно проклинал час своего рождения, который бодро призывал во свидетели сатану и всех его аггелов и, так сказать, живой умирал. Час тому назад этот человек гордо запускал руку в карман своему ближнему, теперь — он был ничтожнее той пыли, которую вздымает его простертое на земле тело. Чье начальственное сердце не забьется при виде столь поразительного перехода? Лифашка понимал это отлично и сообразно с этим устраивал план кампании. Был ли начальник налицо — он валялся в предсмертных корчах перед его глазами; уходил ли начальник в дальнюю комнату — он и там слышал, как корчится и клянет свою душу Лифашка; выводили ли, наконец, Лифашку на улицу — он и там отыскивал место где-нибудь под начальническим окном и корчился и вопил. Казалось, всем он говорил: «Видали вы, как расстается у человека душа с телом? не видали? — так смотрите!» И ежели были сердца черствые и безучастные, то, с другой стороны, находились и такие, которые не могли выносить зрелища страданий столь неслыханных. И Лифашка почти всегда выходил из беды сух. Его терпели с трудом, но терпели; его оставляли в подозрении, но не осуждали. Всякий чувствовал,

что только одно может освободить его от этого человека — это твердая решимость раздавить его. Но как сохранить эту решимость при виде человека, и без того уже находящегося в предсмертной агонии? И вот, навалявшись досыта, Лифашка весело возвращался домой и вновь гордо запускал руку в карман своему ближнему.

В такой-то обстановке рос сын Поротоухова, Василий. Покуда отец день-деньской бился около потребителя или на базаре, употребляя все силы-меры, чтоб затравить лишнюю копейку, Васька копался в навозе, полоскал ноги в лужах, валялся в грязи на улице и весь измокший, иззябший и словно высмоленный вбегал в «горницу», чтоб схватить корку хлеба, и опять убегал из дому. Жена Поротоухова была не из тех женщин, которые могут присмотреть за ребенком. Это была рыхлая, ленивая, заспанная баба, помнившая лучшие дни, когда она жила у родителей, содержавших почтовую станцию, и беспечно щелкала у ворот подсолнухи. На губах у нее словно застыла глупо-язвительная улыбка, появившаяся на них с тех самых пор, как к Лифашке с каким-то особенным ожесточением привязалась его «незадача». Эта не сходящая с лица улыбка выражала безмолвный протест, который, по временам, доводил Поротоухова до остервенения. Измученный неудачами, навалявшись досыта в ногах, он возвращался домой, и первое, что встречало его тут,— это бессмысленная улыбка, сопровождаемая каким-то беззвучным хихиканьем. Тогда он бросался на жену очертя голову и бил ее куда попало. И чем чаще сыпались побои, тем явственнее и явственнее рисовалась улыбка, а хихиканье постепенно обращалось в хохот.

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

В БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. «ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ»[1]

<I>

Итак, я опамятовался в больнице для умалишенных...

Когда я проснулся, в окна чуть-чуть брезжил белесоватый свет. В комнате было холодно, голо и неприютно; против кровати, у противоположной стены, стоял диван, покрытый потертою и во многих местах прорванною клеенкой; кроме него, стояло два-три стула и круглый стол. До слуха моего доходил шум голосов и топот беспорядочной беготни, из чего я заключил, что пробуждение больницы находится в полном разгаре. Я бросился к двери, но она была заперта. Напрасно стучал я, напрасно потрясал ручкой замка — никто из проходивших мимо не обращал на меня внимания. Наконец, часов около девяти, послышалось повертывание ключа в замке; дверь отворилась, и в комнату вошел неизвестный мужчина.

— Имею честь рекомендоваться: здешний доктор! — сказал он, подавая мне руку.

— Очень рад, но прежде всего позвольте узнать, где я нахожусь?

— Не считаю нужным скрывать от вас печальную истину: вы находитесь в больнице для умалишенных.

Я чувствовал, как кровь хлынула мне в голову и потом опять отхлынула. Это был «конец», тот таинственный «конец», которого я всегда смутно ожидал и к которому всегда относился с трепетом. Признаюсь, однако ж, я никогда не представлял его себе в этой форме. Я знал, что «конец» придет, что он придет не для меня одного, но и для Прокопа, для Дракиных, Хлобыстовских и других всуе чающих движения

---

[1] «Дневник провинциала в Петербурге» печатался в «Отечественных записках» за 1872 год *(Прим. М. Е Салтыкова-Щедрина.)*

воды, но почему-то мне представлялось, что он придет где-нибудь в «закусочном заведении», в Орфеуме, в Эльдорадо или в другом каком-нибудь увеселительном приюте,— то есть придет конец, вполне сообразный с характером всего моего прошлого. И вдруг — сумасшедший дом!

— Стало быть... я сумасшедший? — с ужасом вырвалось у меня.

— Да; и вы должны знать это. Современная метода лечения такова, что прежде всего сам больной должен энергически помогать врачу в его усилиях. А это может быть достигнуто лишь в том случае, когда больной вполне сознает, в чем заключается его болезнь, и сам всеми зависящими от него средствами устраняет то, что может содействовать ее развитию.

— Доктор! я не знаю, ни каким образом, ни по какому поводу я попал сюда, но, во всяком случае, считаю долгом протестовать. Я совершенно так же мало сознаю себя умственно поврежденным, как и вы себя. Я протестую-с.

— Да; я знаю, что вы считаете себя здоровым. Я практикую около двадцати лет и не встречал еще ни одного душевнобольного, который не был бы убежден, что он вполне здоров. Это общее правило, из которого составляют исключение только люди, пораженные общею парализией мозговых органов. Одни они не протестуют, и конечно, не протестуют только потому, что даже протеста никакого формулировать не в состоянии.

— Итак, я сумасшедший!.. Это невероятно, но я должен этому верить. Вы, психиатр, удостоверяете меня в том... Прекрасно-с. На чем же, однако, я помешан?

— Я имел только один день, вчерашний, для наблюдений над вами. Вы находитесь в первом периоде помешательства, и потому более или менее близкое выздоровление ваше весьма вероятно. К сожалению (это я говорю в скобках), вы не меланхолик, а маниак. Меланхоликам у нас не житье, а масленица, маниаков же, от времени до времени, приходится запирать в отдельное помещение. Что же касается до предмета вашего помешательства, то это миллион, который будто бы украден у вас после вашей смерти одним из ваших друзей.

— Но ведь это же правда, доктор, что мой миллион украден!

— Разумеется, правда, но правда лишь в том смысле, что в вас довольно твердо сложилось такое убеждение. В сущности, сообразите, однако, какая же это правда! Мы вот стоим здесь и разговариваем, а вы уверяете, что у вас, *после вашей смерти,* украли миллион!

Я широко раскрыл глаза. В самом деле, что я такое сейчас

сказал? Ведь я, так сказать, признал действительность моей смерти! Господи! да неужели же я и впрямь сумасшедший?

— Доктор! Я сказал глупость. Но я сознаю это, поверьте мне. Дело в том, что в последние дни я попался в руки шайки шалопаев, которая целый месяц самым постыдным образом издевалась надо мной. Затем последовало нервное расстройство, я видел сон, и...

— Ну да, ну да. Это всегда так начинается, и я очень рад, что вы довольно ясно сознаете причины, которые привели вас к помешательству. Всякое умопомешательство имеет источником какое-нибудь очень сильное внешнее впечатление, произведенное на мозг (во сне или наяву — это безразлично). Присоедините к этому малокровие, недостаточное действие пищеварительных органов — и в результате непременно получится умопомешательство.

— Но уверяю вас, доктор...

— Я верю вам. Я знаю, что вы убеждены в совершенно нормальном состоянии ваших умственных способностей. Но я желал бы, для вашей пользы, чтоб вы убедились в противном. Ибо, как я уже сказал, только тогда наше лечение может иметь надлежащий успех, когда вы сами будете помогать ему со всею энергией, какая находится в вашем распоряжении.

— Но скажите, по крайней мере, как я сюда попал?

— Вас привез квартальный поручик Хватов. Это прекраснейший молодой человек, вполне современный, и притом питающий к вам искреннейшую привязанность. Он говорил мне, что тут случилась какая-то неприятная политическая история, в которую вы, как человек благонамеренный, посещающий театр Берга, конечно, не могли бы попасть, если б не подверглись временному расстройству умственных способностей.

— Помилуйте! Какая же это «история»! Политический суд... в Отель дю-Нор! Ведь это, наконец, пасквиль! И какое право имеет этот Хватов совать свой нос, где его совсем не спрашивают!

— Как квартальный поручик, господин Хватов имеет право совать свой нос всюду. По крайней мере, так выходит по новейшему учению о децентрализации, которую, впрочем, между нами будь сказано, многие у нас смешивают с централизацией. Но успокойтесь, мой друг! В вашем положении главное — это избегать даже самомалейших волнений. И надеюсь, что вы сами постараетесь усвоить себе эту мысль и не вынудите нас прибегать к ваннам, рукавицам, к одиночному заключению, одним словом, ко всем тем неприятным средствам, которые предписываются нам врачебною наукой, в видах успокоения одержимых недугом, подобным вашему.

Последние слова доктор произнес с такою любезною улыбкой, что для меня сделалось совершенно ясным, что, позволь я себе самое крохотное волненье,— рукавицы и одиночное заключение уже готовы к услугам моим.

— Прекрасно. Это прекрасно. И долго я должен буду прожить у вас под страхом рукавиц и одиночного заключения?

— Не знаю. Тут все будет зависеть от собственных ваших усилий, от той суммы энергии, которую вы лично употребите, чтоб содействовать своему выздоровлению. Но могу сказать в утешение, что люди, находящиеся в первом периоде умопомешательства и строго следующие предписаниям врача, обыкновенно выздоравливают в течение трех — шести месяцев.

— И ни копейки дешевле?

— Примеры более быстрого выздоровления хотя и бывают, но редко. Во всяком случае, термин, который я сейчас назвал, есть средний.

— Так вы решительно не хотите верить, что я не помешанный?

— Никаких сомнений в этом смысле не имею.

— В таком случае объясните мне, по крайней мере, какой предстоит мне обязательный режим, покуда я нахожусь в этом приятном заведении?

— У нас три категории больных. Во-первых, паралитики, которые обыкновенно умирают очень скоро вслед за поступлением в «заведение». Во-вторых, хронические, которые никогда или почти никогда не вылечиваются (здесь есть субъект, который двадцать лет сряду находится в одном и том же положении). Наконец, в-третьих, одержимые острым помешательством, которые, будучи захвачены вовремя, почти всегда вылечиваются и к числу которых принадлежите и вы. Больные первых двух категорий пользуются полною свободой, не выходя лишь из пределов регламента заведения. Что касается до больных третьей категории, то они осуждены на безусловное спокойствие, и потому все, что может возмутить это последнее, абсолютно воспрещается. Вы, например, не имеете права ни читать, ни писать, ни иметь ни с кем сношений, кроме лиц, принадлежащих к заведению. Затем, в 7 часов утра вставание, в 8 — чай, в 11 — завтрак, в 2 — обед, в 7 — вечерний чай и в 9 — спать. В промежутках вы можете знакомиться с вашими товарищами по заключению, можете делать гимнастику, играть в шахматы, в карты, на биллиарде и прочее.

— Вы, кажется, сказали: ни читать, ни писать?

— Это запрещено в особенности строго.

— Доктор! вы меня без ножа режете! Я только что дал слово моему другу Прелестнову написать для его газеты

статью: «Десять лет счастливейшего пристанодержательства». Что скажет Менандр, если я завтра, ко дню его тезоименитства, не доставлю ее!

— Успокойтесь. В настоящее время господин Прелестнов, подобно вам, находится в «заведении». Вы увидитесь с ним, и я беру на себя сообщить ему о том крике истинной горести, который вырвался из вашей груди ввиду невозможности исполнить принятое вами обязательство.

— Вы говорите, что Прелестнов... о боже! Но «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница»! Но наши юные, еще столь нетвердо стоящие на ногах земские учреждения! Но наши гласные суды! Что будет со всем этим! Кто разберет по косточкам иск игуменьи Митрофании с наследниками скопца Солодовникова? Кто скажет: с одной стороны, игуменья Митрофания не права, хотя, с другой стороны, она несомненно права? Кто к сему присовокупит: с одной стороны, суду предстояло определить, хотя, с другой стороны, ему ничего определить не предстояло?

— К счастью для него, господин Прелестнов принадлежит к числу «хронических», а потому «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» ничего не потеряет от постигшего его несчастия. Как «хронический», господин Прелестнов может и читать и писать, сколько ему угодно, а следовательно, и редактировать какую угодно газету. Не далее как вчера я читал его передовую статью, где он доказывает, как глубоко заблуждаются те, которые утверждают, будто дважды два равняются стеариновой свечке. И право, для человека умственно поврежденного, логика господина Прелестнова довольно удовлетворительна. По крайней мере, он гораздо последовательнее, нежели, например, господин Нескладин в статье «О девяносто шести истинах (по числу золотников в фунте), которые должен иметь в виду искусный адвокат в каждом защищаемом им деле». Кстати: вы, конечно, не знаете, что и господин Нескладин находится в нашем заведении?

— Боже! и Нескладин! Но после этого, вероятно, и Неуважай-Корыто?!

— Очень может быть. Но покамест он находится еще на свободе. Есть, однако ж, повод думать, что ваше предчувствие сбудется скоро, потому что в настоящее время он пишет статью: «Какую роль в русской литературе играл бы воронежский литератор Де-Пуле, если б он писал в начале царствования императора Александра Благословенного?» Я слышал, что наш знаменитый историограф, господин Богданович, доставил ему громаднейший запас любопытнейших материалов для разъяснения этого вопроса.

— Ради бога, доктор! Нельзя ли отвратить его от этой работы! Пусть лучше доказывает неподлинность романса: «Не уезжай, голубчик мой!» Но Де-Пуле! Ведь это такой сюжет! такой сюжет! Тут и здоровый человек...

— Судьбы божии неисповедимы,— сентенциозно отвечает доктор.— Бог дает разум, бог же и отнимает его. Не будем вмешиваться в пути провидения.

Мы оба на минуту поникли головами, как бы подавленные мыслью о неисповедимости путей, которыми провидение, в своей благости, считает нужным вести нас.

— Но Прелестнов... какой же предмет его помешательства? — снова начал я.

— Он помешался на сусликах, «как известно, приносящих такой громадный вред нашим молодым, еще неустановившимся учреждениям». Вы знаете, что он и прежде охотно помещал в своей газете статьи о подвигах сусликов, и вот теперь оказывается, что публицистика эта не прошла для него без наказания. Чувствительность его возрастает каждодневно, и мне стоит больших усилий уверить его, что суслики далеко не все съели и что стараниями юного, еще нетвердо стоящего на ногах земства от их хищности спасены неистощимые запасы хлеба в зерне и муке, которые могут быть вывезены за границу без опасения, что внутренние рынки когда-нибудь оскудеют лебедой.

— Вот и я всегда ему говорил, что не оскудеют. Не правда ли? ведь не оскудеют? Ведь не останемся мы без лебеды?

— Не останемся никогда. По крайней мере, это искреннейшее мое убеждение.

— Бедный Менандр! Ну, а Нескладин — давно он здесь?

— Недели две. До вчерашнего дня помешательство его было двухпредметное. Во-первых, он был убежден, что во всяком деле имеется не одна истина, а столько, сколько в фунте золотников. Во-вторых, он слышал анекдот о какой-то просвирне, которая и невинность сохранила, и капитал приобрела, и хочет доискаться, какое она употребила для этого средство. Но со вчерашнего дня к этому прибавился третий пункт: он ропщет на игуменью Митрофанию, зачем она не пригласила его в защитники по делу с наследниками скопца Солодовникова.

— И могу я их видеть?

— В настоящую минуту нет, потому что оба уехали (разумеется, в сопровождении сторожа). Прелестнов отправился в редакцию, а Нескладин в суд, где у него назначена на сегодня какая-то защита.

— Странно! Помешан, а защищает дела!

— Да; но у них такой устав. Требуются нравственные га-

рантии, да еще чтоб курс юридических наук был пройден, а насчет умственных гарантий ничего не упомянуто. Так что окончившая курс юридических наук и ни в чем предосудительном не замеченная лошадь может действовать совершенно свободно, ежели клиент вверяет ей свои интересы.

— Так вы меня решительно отсюда не выпустите?

— Решительно. До тех пор, пока вы совершенно не выздоровеете. Ни слова больше об этом.

— Слушайте! Это интрига Прокопа!

— Опять Прокопа?

— Ну да, Прокопа!.. вот того самого, который украл мои деньги!

Доктор грустно покачал головой.

— И вы хотите уверить меня, что не помешаны!

— Доктор! вы правы! Это черт знает что такое. Прокоп... деньги... житье в Петербурге... Скажите, а был такой случай, что одного купца сыновья напоили пьяным и поместили в вашу больницу?

— Жертвы недоразумений могут случиться везде. Провидение, мой друг, даже науку не гарантировало от заблуждений! — сентенциозно ответил мне доктор, поднимая глаза к небу, как человек, твердо уповающий, что всеблагое провидение и впредь не оставит науку без заблуждений.

— И вы надевали на этого купца рукавицы?

— Я делал то, что предписывает наука. Наука, милостивый государь,— это такая вещь, которая не знает компромиссов. Так, по крайней мере, учит нас ваш друг, господин Прелестнов. Наука, говорил он мне не далее как вчера,— это храм, в котором во всеоружии стоит Неуважай-Корыто и долбит молебны! Но, впрочем, довольно об этом. Покуда больные прогуливаются в саду, не хотите ли осмотреть заведение? Кстати, я ознакомил бы вас и с нашими порядками.

Мы обошли довольно длинный ряд небольших комнат. В каждой стояла кровать, а в некоторых по три и по четыре. В последних помещались больные, платящие minimum за свое содержание. В стороне находилось несколько довольно обширных зал, служащих сборными пунктами для больных; здесь была устроена гимнастика и стоял биллиард.

— У нас больные пользуются полной свободой,— сказал мне доктор,— они могут оставаться в своих номерах, могут посещать друг друга, собираться в общих залах и т. д. Иногда между больными затеваются драки, но это бывает довольно редко, и мы их тотчас же разнимаем.

— Драки! но ведь это ужасно!

— Успокойтесь, мой друг. Наши больные все равно что ма-

лолетные. Чувство оскорбления им недоступно! Они так же легко мирятся, как и ссорятся.

— Позвольте! Больные, то есть помешанные,— это так. Для помешанных съесть плюху или две — действительно ничего не составляет. Но ежели между больными, по недоразумению, очутится здоровый человек... вот, например, как я...

— А! вы все о том же... Итак, продолжаю. Наши больные пользуются известными правами. Они имеют право играть в карты, гулять в определенные часы в саду, носить какую угодно одежду (хотя бы даже военную), кушать подаваемый им обед и прочее. В этом отношении у нас допускаются даже прихоти. Но, кроме прав, у больных имеются еще обязанности, из коих главнейшая заключается в том, чтобы не роптать на порядки, которые здесь приняты. Всякое нарушение в этом смысле сопровождается ванною, кожаными рукавицами и одиночным заключением.

— Ах! это ужасно! Есть-то, есть-то, по крайней мере, дают ли у вас?

— Пища у нас дается здоровая и достаточная. Вот, кстати, мы и до кухни дошли. Повар! что у нас нынче готовлено к обеду?

— Суп протоньер-с, корюшка-с, пирожное шпанские ветры-с.

— Шпанские ветры? Я целого гуся, доктор, могу съесть, а вы меня на шпанских ветрах держать будете! Ужели это *достаточная* пища!

— Повторяю: пища у нас дается здоровая и достаточная. Если б вы были «хронический», я позволил бы вам, разумеется на ваш счет, заказать и еще одно-два блюда. Но вы «острый». Острым в нашем заведении, сверх установленной пищи, предлагаются: свежий воздух, достаточный моцион и здоровый, укрепляющий сон. Затем, по окончательном излечении, каждый имеет право отправиться к Дюссо и спросить там, что ему угодно. Но не раньше, как по окончании лечения!

— По крайней мере, позвольте узнать, когда можно надеяться на это «окончательное излечение»? Вот, например, я. Я не понимаю даже, каким образом я здесь очутился. Кто в этом деле судья?

— Я,— ответил он с такою уверенностью, что меня подрал по коже мороз.— Конечно, вас будут свидетельствовать в губернском правлении, но так как данных, на основании которых можно было бы вывести правильное заключение насчет нормальности или ненормальности ваших умственных способностей, еще не имеется, то хотя бы вы и протестовали, вас все-таки оставят на испытании. Затем, вас месяца через два

вновь освидетельствуют и вновь оставят на испытании. И так далее. Тот купец, о котором вы меня спрашивали, тоже протестовал, даже очень-очень протестовал, но это не помешало ему полгода пробыть в нашей больнице. Вообще, прежде всего, в вашем выздоровлении должен убедиться *я*. Покуда *я* не убедился, у меня в руках будет всегда очень хорошее оружие против вас — это журнал ежедневных наблюдений над вами, который составляю я и опровергнуть который вы, как человек, считающийся умственно поврежденным, не в силах. Всякий больной убежден, что он здоров, но журнал ежедневных наблюдений говорит противное. Поэтому я советовал бы вам вполне положиться на меня. Если же вы не последуете этому совету, то едва ли можно даже приблизительно предсказать, как скоро господин Дюссо будет иметь честь сервировать вам languettes de bœuf, sauce tomates...[1]

— Доктор! Я вижу перед собой двери ада!

— Отнюдь. Мы просто стоим перед дверьми номера первого, в котором помещается мой лучший пациент, господин штабс-ротмистр Поцелуев.

— Ба! Поцелуев! не пензенский ли? не сын ли корнета Петра Ивановича Поцелуева?

— Он пензенский, и, вероятно, сын того Поцелуева, которого вы знаете, потому что его зовут Иваном Петровичем.

— Ваня! да ведь это мой троюродный племянник! Неужели и он сошел с ума?

— Да, он хронический. Помешательство его самое разнообразное, но главных мотивов три. Во-первых, он полагает, что ему, не в пример другим, одному в целой армии дозволено носить выпускные воротнички; во-вторых, что он венгерский гонвед и был командирован графом Бейстом в Мадрид, чтоб оттеснить господина Марфори и заменить его в милостях экс-королевы Изабеллы, и в-третьих, что ему разрешено устроить международный цирк. Остальные пункты помешательства, как, например, убеждение, что королева Изабелла подает своим подданным пример грациозного исполнения качучи, или еще, что он вынужден был выехать с своим цирком из Ташкента, потому что его кобылам начали делать слишком выгодные предложения,— все это не больше как детали, которые вертятся около трех главных пунктов. Вообще, это очень добрый малый, который вполне сохранил идеалы своей прошлой жизни, разумеется, преувеличив их. Ба! да вот, кажется, и он сам возвращается с прогулки!

Действительно, в эту минуту, внизу лестницы, послышалось

---

[1] бычьи языки в томатном соусе ..

пение моего племянника. Сначала он пел общекавалерийский романс «La donna è mobile» [1], но вдруг бросил его и запел:

A Provins
Trou-la-la .

— Mon oncle! [2] — заревел он, увидев меня.

— Ну вот, и прекрасно. Charmé de vous voir en pays de connaissance [3],— сказал доктор.— Мсьё Поцелуев! расскажите-ка вашему дядюшке, как вы ездили с поручением в Мадрид.

— Ah! mais c'est tout une histoire! [4]

— Ну да. Расскажите. Au revoir, messieurs! [5]

Сказав это, доктор удалился, оставив меня лицом к лицу с Ваней.

Передо мной стоял высокий, ширококостный, но худой и бледный юноша, в котором я с трудом узнал прежнего, столь памятного мне Ваню Поцелуева. Не более как полтора года тому назад я видел его — и какая с тех пор произошла разительная перемена! Тогда это был настоящий пензенский коренник, белый, румяный, выпеченный, с жирною, местами собравшеюся в складки грудью, с трепещущими от внутреннего ликования ляжками, с заплывшими глазами, имевшими исключительное назначение представлять собой орган зрения, с лицом, на котором, казалось, было написано. был, есть и всегда пребуду в здравом уме и твердой памяти. Вне пределов службы у него было только четыре претензии: 1) чтобы, при сгибании у локтя руки, мышцы верхней ее половины образовывали совершенно круглое и твердое, как железо, ядро, 2) чтобы за кулисами театров Буфф и Берга все кокотки понимали его как образованного молодого человека; 3) чтобы татары всех ресторанов, не беспокоя его расспросами, прямо сервировали ему тот самый ménu, который он имел обыкновение в данное время употреблять, и 4) чтобы не манкировать ни одного представления в цирке Гинне. Ко всему прочему он был равнодушен и даже не добивался чести называться «консерватором», к чему в настоящее время стремится всякая сколько-нибудь благовоспитанная лошадь. Он просто «жил» или, лучше сказать, не возбранял, чтоб жизненная сила в нем действовала...

---

[1] «Сердце красавицы склонно к измене».
[2] Дядюшка!
[3] рад видеть вас в обществе родственника.
[4] Ах! это целая история!
[5] До свидания, господа!

Таким, по крайней мере, он представлялся нам, его родным, видевшим в нем гордость и утешение рода Поцелуевых. Мы знали в нем телеса («не уколупнешь!» — невольно думал всякий из нас, взирая на него), но не знали души и вряд ли даже подозревали ее существование. И вот теперь оказывается, что мы ошибались, что и у него, где-то далеко за кокардою, помещалась душа, а в этой душе потихоньку копошилась тоненькая-тоненькая струйка того, что известно под именем сознательности. И он имел свои идеалы, и он мечтал. Мечтал об экс-королеве Изабелле, а может быть, и об экс-императрице Евгении. Мечтал о кобыле «Одалиске» и жеребце «Шамиле». Мечтал о том, что когда скончается дядя, корнет Поцелуев-второй (этот дядя без ума любил Ваню и назначил ему все свое сердобское имение), то он сейчас же обратит полученное наследство в деньги и выстроит на царицыном лугу обширнейший в мире цирк, в котором, в виде крохотных приделов, будут помещаться все прочие ныне существующие цирки. При неважности этих мечтаний, он мог бы прожить с ними всю жизнь, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, и никакое губернское правление, конечно, не уличило бы его в противном. Но наступило время реформ и разом доконало этот мощный организм, вызвав наружу всю чушь, которая дотоле таилась на дне души. Успехи, сделанные войсками всех стран и во всех родах оружия, усовершенствования в форме воинской одежды, уяснение значения воинской корпорации и ее отношений к массе так называемых pékins[1] — все это не могло не вызвать Ваню к деятельности, не взбудоражить его умственных сил. Но так как силы эти были сами по себе не велики и сверх того были заблаговременно подточены фантастическими вожделениями несомненно глупого свойства, то результаты умственного пробуждения Вани оказались самые жалкие. Он разом открыл шлюзы, которыми дотоле сдерживались его душевные движения, и, однажды открыв их, уже не мог воспрепятствовать свободному течению той дребедени, которая и прежде в скрытом виде угнетала его.

И вот теперь Ваня стоял передо мной, неузнаваемый, обновленный. Розы и лилии исчезли с его щек; грудь впала; ляжки не трепещут; голос получил резкие, болезненно-звенящие тоны; глаза беспокойно вспыхивают, и — о, удивление! — даже кажутся выразительными.

— Итак, cher oncle, вы желаете, чтоб я рассказал вам о моей campagne diplomatique à Madrid?[2] Так-с? — спросил он

---

[1] штафирок.
[2] дипломатической поездке в Мадрид?

меня не без некоторого фатовства, когда мы расположились в его нумере.

— Да, пожалуйста! Ты знаешь, как меня интересуют успехи всего вашего семейства!

— Eh bien, je vais vous satisfaire [1]. Но предупреждаю, что у меня очень-очень немного времени. Je suis en affaires ce matin, voyez-vous [2]. Во-первых, я заключаю внутренний заем; во-вторых, мне предстоит проездка в манеже; в-третьих, суд; в-четвертых, утренний визит к Одинцову; в-пятых, обыкновенная передобеденная прогулка, et cetera, et cetera. Sapristi! nous ne perdons pas notre temps, mon oncle! [3] Успехи оружия таковы, что мы буквально не успеваем следить за ними. Nous ne nous suffisons plus [4]. Все изменилось: рысь, галоп, марш-марш — все! Il n'y a que la bête qui reste intacte [5].

— Да, мой друг, реформа — это такая вещь, что ежели раз она завелась, то ничего уж не поделаешь. И рысь, и галоп, и марш-марш — она все подточит. Больно, душа моя! Не за себя больно, а за все эти, так сказать, краеугольные камни! Но, впрочем, что об этом толковать! Рассказывай-ка лучше об себе!

— Итак, к делу. В одно прекрасное утро меня призывает Бейст — vous savez? ce chenapan de Beist, qui a écrit ce livre... «Manuel»... «Manuel»... ah, oui! «Manuel du laquais cosmopolite»... c'est ça! Eh bien, il me fait venir chez lui, le chenapan, et me dit: mon cher! Vous pouvez nous rendre un très grand service, à moi et à Sa Majésté Très Dualistique!.. [6]

— Позволь, душа моя! Ты говоришь: Бейст! Но какое же отношение мог иметь Бейст к тебе, штабс-ротмистру русской службы?

— Во-первых, mon oncle, я прошу вас не прерывать меня, потому что сейчас должен явиться мой банкир — и тогда *n-i ni* c'est fini [7]. Во-вторых, tenez vous cela pour dit [8]: если я штабс-ротмистр, то это нимало не мешает мне быть в то же время венгерским гонведом, французским зуавом, прусским

---

[1] Хорошо, расскажу.

[2] Видите ли, я сегодня утром занят делами.

[3] и прочее и прочее Черт возьми! мы не теряем времени, дядюшка!

[4] Мы больше не довольствуемся сами собой.

[5] Только скотина остается нетронутой.

[6] представьте себе, негодяй Бейст, который написал книгу... «Руководство»... «Руководство»... ах, да! «Руководство космополитического лакея»... именно так! Он вызывает меня к себе, негодяй, и говорит: милый мой! Вы можете оказать нам большую услугу, мне и его весьма дуалистическому величеству...

[7] кончено

[8] запомните.

уланом — que sais-je? — pourvu que je serve la bonne cause![1] Следовательно, не только Бейст, но и Персиньи, и Бисмарк, и даже Садык-Паша — все имеют право возлагать на меня поручения. J'espère que c'est clair![2]

— Послушай, однако ж! Вот доктор говорит, что это, так сказать, твой пункт... понимаешь? Не лучше ли было бы тебе воздерживаться от такого рода разговоров?

— Доктор и мне говорил то же, но я его убедил. Ведь я, mon oncle, произведен в «хронические»! По-здешнему, это вроде... comme qui dirait:[3] от инфантерии... да-с!

— Ну если так, то продолжай!

— Итак, призывает меня Бейст и говорит: Vous avez un service signalé à nous rendre, à moi et à Sa Majésté Très Dualistique. Vous vous rendrez de ce pas à Madrid et vous tacherez de flanquer une jolie taloche dans le dos de ce gueux de Marfori, qui nous fait des embarras... ah! mais des embarras![4] — Рады стараться, ваше сиятельство! — Mon cher! вы должны проникнуться всею важностью вашей миссии, и потому должны знать всю истину, toute la vérité, rien que la vérité![5] Собственно говоря, Isabeau — далеко не обольстительна, но донесения наших тайных агентов удостоверяют qu'elle a des charmes secrets. C'est toujours une fiche de consolation, mon brave![6] — Рады стараться, ваше сиятельство! — Итак, поезжайте, и судьба да просветит сердце ваше! Помните старый девиз Австрии: tu, felix Austria, nube![7] — и действуйте неукоснительно! — Сказав это, он подал мне руку и отпустил. Дядя! Скажите! что сделали бы вы на моем месте?

— Разумеется, поехал бы! C'est grave, mon cher, vois tu! c'est très grave![8] Ведь это именно то самое, что в наших газетах известно под именем «иностранной политики»?

— То самое. И я именно так и поступил... Я велел Прокофью уложить мои чемоданы — et v'lan — me voilà à Madrid![9] Прежде всего, comme de raison[10], я спешу увидеть

---

[1] чем угодно — лишь бы я служил доброму делу!

[2] Надеюсь, ясно!

[3] как бы сказать.

[4] Вам предстоит оказать нам отменную услугу, мне и его весьма дуалистическому величеству. Сейчас же отправляйтесь в Мадрид и постарайтесь дать хорошего тумака в спину плуту Марфори, который строит нам каверзы.. да еще какие каверзы!

[5] всю истину, только истину!

[6] она обладает скрытыми прелестями. Это всегда служит утешением, дорогой мой.

[7] счастливая Австрия, вступай в браки!

[8] Это серьезно, мой милый, видишь ли, это очень серьезно!

[9] раз — и я в Мадриде!

[10] само собой разумеется.

Марфори. Отправляюсь на бой быков — это такой genre[1] у них: у австриаков развод с церемонией, а у них бой быков — и действительно встречаю его там. Смотрю — ничего особенного! Le museau d'un perruquier qui veut se faire respecter, la poitrine plate, la jambe... sans la moindre expression![2] Ну, думаю: гонведа, которого с малолетства откармливали желудями, этим не удивишь! Но что важнее всего, в этот же раз я увидел и ее...

— Не хороша?

— Представьте себе тетеньку Кирьяку Ивановну, когда она в домашнем неглиже от дворовых тальки принимает. Одним глазом на тальку смотрит, а другим косится на выездного лакея Микешку... voilà!

— Надеюсь, однако, ты не дрогнул?

— Ma foi, je me suis dit[3]: это моя первая дипломатическая кампания; il faut que je m'exécute. Je prends mon courage à deux mains, je viens chez le général Serrano et je lui dis:[4] генерал! так и так, сегодня вечером мне во что бы то ни стало надо видеть Isabeau.— Imposible![5] — отвечает Серрано,— Марфори ни на минуту от нее не отходит! — Генерал! — возражаю я,— мы братья по оружию, с тою лишь разницею, что вы служите незаконному правительству, а я — законному. Взгляните на меня: ведь во мне без вершка три аршина!.. Тогда он пристально осмотрел меня с головы до ног и сейчас же решился.— Вот вам ключ от Эскуриала, благородный молодой человек! — сказал он мне,— идите, я сам буду сопровождать вас. И если б вы встретили на пути препятствия, махните только из окна платком — мы тотчас же сделаем в вашу пользу pronunciamiento...[6] С этими словами он вручает мне ключ, и я отправлюсь в свою veranda или locanda — je ne sais plus le quel![7] — ожидать вожделенного часа.

— Но знаешь ли, душа моя, что ты ведь очень рисковал!

— A qui le dites-vous, mon oncle![8] Но я вспомнил слова maman: Jean! m'a-t-elle dit, si vous voulez avoir du succès auprès des femmes, vous n'avez qu'à être entreprenant[9]. И вот, в эту

[1] манера.

[2] Морда парикмахера, желающего внушить к себе уважение, грудь плоская, нога... без малейшего выражения!

[3] Клянусь, я сказал себе.

[4] надо покориться. Я набираюсь храбрости, отправляюсь к генералу Серрано и говорю ему.

[5] Невозможно!

[6] мятеж...

[7] гостиницу — не знаю как там.

[8] Кому вы это говорите, дядюшка!

[9] Жан! сказала она мне, если хочешь иметь успех у женщин, будь предприимчивым.

трудную минуту я сказал себе: soyons entreprenant, saperlotte![1] В полночь я был уже в полном гонведском мундире и, подвязав палаш, шел по уединенным аллеям Эскуриала. Сзади меня, в нескольких шагах, как тень, бесшумно следовал Серрано. Теперь я попрошу вас, mon oncle, представить себе теплую, темную, тихую испанскую ночь!

— Душа моя! это должно быть волшебно!

— Волшебно — c'est le mot[2]. Я иду по аллеям под сводом столетних лимонных деревьев; впереди ни зги не видать; le bruit de mes pas est amorti par le sable;[3] кругом мертвая тишина; вдали, словно мышь, шуршит в кустах сопровождающий меня генерал Серрано; во дворце огни давно потушены; воздух напоен запахом апельсинов, лимонов, грецких орехов, миндалю... parole d'honneur, on se croirait aux Milioutines![4] Я спешу, я чувствую, как дрожит моя рука, поворачивающая в замке ключ... Наконец я отпираю, вхожу... v'lan! je donne à plaines voiles dans le Marfori, en conversation criminelle avec la mère Patrocinia! Sensation générale. Le Marfori se trouve mal et commence à crier à tue-tête. La mère Patrocinia tombe évanouie et éteint le cierge qu'elle tenait en main et qui éclairait cette scène de crime et de parjure! Je vois accourir Isabeau en bonnet de nuit; je cours, je vole au devant d'elle, en n'oubliant pas toutefois de faire ressortir les avantages de mon uniforme...[5]

— Какое, однако, трудное и сложное положение!

— C'est ce que je me suis dit[6]. Но я решился выйти из него с честью. Я остановился перед нею и голосом, не допускающим возражений, произнес: Madame! des raison de haute politique éxigent que le Marfori me cède la place. C'est triste, mais c'est vrai[7]. На минуту, она, казалось, задумалась, но скоро я мог уже убедиться, что взор ее постепенно приковывается к моему мундиру. Еще мгновение — и поручение Бейста было

---

[1] будем предприимчивы, черт побери!

[2] вот именно.

[3] моих шагов не слышно на песке.

[4] честное слово, можно было подумать, что находишься в Милютиных рядах!

[5] раз! я застаю Марфори в преступном разговоре с матерью Патрочинией! Всеобщая сенсация. Марфори становится дурно, и он начинает кричать во всю глотку. Мать Патрочиния падает в обморок, свеча, которую она держала в руке и которая освещала эту сцену преступления и вероломства, тухнет. Я вижу Изабеллу, прибежавшую в ночном чепчике; я бегу, я лечу ей навстречу, не забывая при этом воспользоваться преимуществами моего мундира..

[6] Так я и сказал самому себе.

[7] Сударыня! соображения высокой политики требуют, чтобы Марфори уступил мне свое место. Это печально, но так нужно!

бы выполнено! Как вдруг нас оглушает целый залп ружейных выстрелов. Isabeau бледнеет и восклицает: это проказы изменника Серрано! Marfori se retrouve mal; la mère Patrocinia qui venait de rallumer son cierge, le laisse tomber à terre[1]. Один я, с палашом в руках, жду разъяснения этого беспорядка. В эту минуту входят: Серрано, Прим и Топете.— Madame! — говорит Прим,— карета готова! — Но позвольте, messieurs! — вступаюсь я,— по крайней мере, объясните мне, что такое здесь происходит? — Молодой гонвед! — отвечает Серрано,— то, чему вы сейчас были свидетелем, называется по-здешнему *гишпанскою революцией!*

— Тс... следовательно, ты был, так сказать, косвенной причиной, изменившей лицо Испании?

— C'est vous qui l'avez dit, mon oncle[2]. Но представьте себе мое изумление! Начинается суматоха невообразимая. Isabeau укладывается, Марфори, с зеркальцем в руках, фабрит себе усы на дорогу, la mère Patrocinia впопыхах куда-то засунула ящик, в котором была заключена египетская тьма... Я один все еще держусь и протестую; je risque même le nom du chenapan Beust — eh bien! pas le moindre effet! L'on s'en moque — et voilà tout. «Alloz nominos doz popoloz Espagnoloz! Vos povedoz filadoz!» — ce qui en bon français veut dire: au nom du peuple espagnol! Vous pouvez filer! — s'éxplique enfin Topeté en accentuant sur les *oz*. Alors je me dis: ah bas! si c'est au nom du peuple espagnol — c'est autre chose! Filons! je n'ai rien à objecter! Et v'lan! me voilá derechef à Vienne, faisant le pied de grue dans l'antichambre du comte Beust![3]

— Ну, Бейст-то, я думаю, пожурил-таки тебя!

— Совсем напротив. Принял с распростертыми объятиями. A votre insu,— сказал он мне,— vous avez fait une révolution, et pour le moment c'est tout ce qu'il nous faut! la candidature Hohenzollern va faire le reste! Jeune homme! Vous pouvez aller paître à Penza![4].

---

[1] Марфори снова дурно; мать Патрочиния, которая вновь зажгла свечу, роняет ее на пол.

[2] Это сказали вы, дядюшка.

[3] я рискую даже назвать имя негодяя Бейста — и что же? ни малейшего эффекта! Посмеиваются над этим — и все тут! «Во имя испанского народа!», что на добром французском языке должно означать: во имя испанского народа! Вы можете убираться! — говорит наконец Топете, налегая на *oz*. Тут я говорю себе: ну, если во имя испанского народа — это другое дело! Уберемся! не возражаю! И вот я снова в Вене, дожидаюсь в приемной графа Бейста!

[4] Сами того не зная, вы совершили революцию, а в настоящее время это все, что нам нужно! Кандидатура Гогенцоллерна сделает остальное! Молодой человек! Вы можете отправиться пастись в Пензу!

— Ну, а награды-то все-таки не дали?

— Награду, mon oncle, я получил уже здесь. Как только я явился сюда с письмом от Бейста, так меня сейчас же произвели в «хронические»!

Сказав это, Ваня вдруг поник головой. Возбужденное состояние, в котором он находился во время рассказа об испанской дипломатической кампании, внезапно оставило его, и он впал в полнейшую прострацию. Он беспрестанно тер себе лоб, как бы отгоняя несносную головную боль, боязливо дул по обе стороны на плечи и бормотал:

— Le titre d'aliéné chronique — c'est presque l'équivalent du titre de grand d'Espagne! Ah! C'est un bien grand fardeau à porter, mon oncle! [1]

Целый час он просидел в креслах с закрытыми глазами. Спал ли он в это время или только мечтал — я не могу сказать определительно. Но ежели он спал, я уверен, что во сне ему представлялся rendez-vous Марфори и Патрочинии, потому что на губах его, по временам, скользила блаженная улыбка. Я смотрел на него и припоминал мой недавний разговор с доктором. Да, сумасшествие есть не что иное, как продолжение обыденной человеческой жизни или, лучше сказать, это полнейшее ее откровение. Человек вовсе не сходит с ума в буквальном значении этого слова и ни на йоту не делается глупее против того, чем он был в здоровом состоянии. Вся разница между здоровым человеком и помешанным заключается в том, что первый полагает известную границу между идеалами и действительностью, а второй никакого различия в этом смысле не признает. Идеалы гурьбой вторгаются в действительную жизнь и перемешиваются с ее обыденными отправлениями, но это не новые, только родившиеся идеалы, а те же самые, которые человек лелеял и в здоровом состоянии и которые составляли лучшую, заветную часть его существования. Человек внезапно обнаруживается весь, является на суд публики, снабженный бесчисленным множеством комментариев, формулирование которых, при обыкновенном порядке вещей, потребовало бы от постороннего наблюдателя большого труда и далеко не ординарной проницательности. Вот он! вот та таинственная подоплека, которая некогда повергала в недоумение! Вот почему он тогда-то поступил так-то, а в другом случае так-то, и вот почему мы, удивлявшиеся кажущейся беспричинности этих поступков, оказывались лишь недальнозоркими и непроницательными. Теперь — все это

---

[1] Титул хронического сумасшедшего — это почти равно титулу испанского гранда! Ах! Очень тяжело носить такое бремя, дядюшка!

ясно как день: он сам, в живом и художественном образе, представил нам непререкаемое объяснение всего своего прошлого, всех тех невозможностей, которые нередко поселяли в нас изумление, смешанное с испугом.

На первый взгляд, сближение между Ваней и экс-королевой Изабеллой кажется фантастичным, но это кажется только до тех пор, покуда мы не знаем идеалов, которыми он питался тогда, когда и он сам, и все окружающие его считали его в полном обладании умственных сил. У каждого человека имеются свои идеалы, но в то время, как один, сообразно с своей жизненной обстановкой, мечтает о вечном движении, другой — о бесконечно великом и бесконечно малом, третий — о судьбах, ожидающих человечество в отдаленном будущем и т. д.— Ваня (тоже сообразно с *своей* жизненной обстановкой) мечтал об идеальной посадке на коне, об идеальных формах лошади и о том идеальном житье, когда, по щучьему веленью, по моему хотенью, к услугам человека является все, о чем тоскует его сердце, то есть рысаки, карты, вино и женщины. Этот мечтательный мир, в который уносилась фантазия Вани, сперва на сон грядущий, а потом и в другие свободные от обычных занятий часы, явился не произвольно, а имел корни в действительности, в наклонностях, первоначально данных воспитанием и потом консолидированных дальнейшею обстановкой жизни. Вся разница в том, что в реальной жизни факты принимали простую, несложную форму, а в жизни идеальной они подвергались более или менее запутанным комбинациям. В этом смысле Изабелла всегда составляла одну из главных реальных основ существования Вани, и приключения, вроде марфорневских, были тут как нельзя больше у места. Будь я сторонником теории прирожденных идей, я сказал бы, что такова была прирожденная идея Вани, но даже и не будучи последователем этой теории, я считаю себя вправе утверждать, что представление о марфориевских подвигах есть наиболее свойственное той обстановке и тому кругу условных понятий, среди которых он вращался. Бедный Ваня! быть может, еще не имея о Марфори ни малейшего понятия, он уже во всех деталях уяснил себе неотразимую привлекательность марфориевского промысла. Быть может, что он уже вопрошал с этою целью прошедшее, настоящее и будущее, что он мысленно перебывал поочередно фаворитом Семирамиды, Клеопатры, Мессалины, королевы Помаре и проч.? И вдруг, в то самое время, когда вся эта махинация была у него в полном ходу,— ему попадаются «Тайны мадридского двора», из которых он убеждается, что секретная основа его жизни уже осуществлена. И кем осуществлена! каким-то проходимцем

Марфори, у которого даже «посадки» порядочной нет, у которого — срам сказать! — грудь совсем не похожа на колесо, а ляжка скорее напоминает le bras de la vieille comtesse Romanzoff [1], нежели ляжку настоящего, сколько-нибудь уважающего себя мужчины-производителя!

Через час в двери номера осторожно постучались. Заслышав этот стук, Ваня мгновенно вскочил, и к нему столь же внезапно возвратилась его бодрость, как внезапно же, час тому назад, произошел упадок сил.

— Mon oncle! vous m'excuserez si je ne m'occupe plus de vous! Parole d'honneur, je suis en affaires! [2] Я должен сегодня во что бы то ни стало покончить с внутренним займом! — обратился он ко мне,— деньги до зарезу нужны, а пензенские корнеты и не думают высылать! Aussi, je conclue un emprunt à la manière austriaque: [3] живо, и с надеждой не заплатить! Mais vous allez voir cela vous-même, si rien ne vous presse de me quitter! [4] Эй, жид! полезай!

На этот возглас вошел прекраснейший и честнейший еврей, по фамилии Гольденшвейн, который, как я после узнал, тоже содержался в больнице умалишенных и был помешан на возрождении еврейской нации. Возрождение это, по мнению его, могло осуществиться лишь тогда: 1) когда евреи прекратят печатание объявлений о распродаже настоящих голландских и билефельдских полотен; 2) когда они перестанут взимать так называемые «жидовские» проценты, и 3) когда, захватив в свои руки все банкирские операции, сняв на аренду все кабаки, овладев всеми железнодорожными предприятиями и окончательно опутав мужика, они докажут изумленному миру, что может совершить скромная нация, которая находит небезвыгодным считать себя угнетенною [5].

---

[1] руку старой графини Романцовой.

[2] Дядюшка! извините, я больше не могу развлекать вас! Честное слово, у меня дела!

[3] Поэтому я заключаю заем по-австрийски.

[4] Но вы сами увидите это, если не спешите меня покинуть!

[5] Здесь я должен оговориться. В одном из органов еврейской журналистики достопочтенный г. Хволос напечатал письмо к г. Некрасову, в котором: 1) убеждает его оградить угнетенную еврейскую нацию от неприличных выходок автора «Дневника провинциала в Петербурге», и 2) высказывает догадку, что автор этих выходок, судя по «развязности приемов и тона», есть не кто иной, как Щедрин. Упрек этот несказанно огорчил меня. Я так высоко ценил литературную деятельность г. Хволоса, что даже был убежден, что ни одно объявление о распродаже полотен не принадлежит перу его. И вот этот-то высокочтимый деятель обвиняет меня в «развязности», то есть в таком качестве, к которому я сам всегда относился неодобрительно! Оказывается, однако ж, что г. Хволос, бросая в меня своим обвинением, сам поступает с развязностью поистине прискорб-

При входе ростовщика Ваня подмигнул мне одним глазом, как бы говоря: vous allez voir si je suis expeditif! [1]

— Ну, Ерошка (уменьшительное от Иерухима)! вексельная бумага при тебе?

Гольденшвейн только воздел руками в ответ, как бы безмолвно протестуя против самого предположения об отсутствии в его кармане вексельной бумаги.

— Пятьдесят?

— О вей мир! сорок! Как мозно пятдесят! И бумазка пятдесят рублей — нехоросая, фальсивая бумазка!

— Вот, mon oncle, судите сами! можно ли поступать с ними иначе, как à la manière austriaque! [2] Я ему в пятьдесят тысяч вексель пишу, а он из пятидесяти рублей десять отжилить хочет!

— Ваня! но это безумство! дать вексель в пятьдесят тысяч и получить за него сорок рублей! Mais vous compromettez ainsi la fortune, qu'en qualité du dernier des Potzéloueff, vous devez transmettre à vos enfants! [3] Остановись, душа моя!

— Не беспокойтесь, mon oncle! Он знает que c'est ma manière d'emprunter [4]. Я ему уж полтора миллиона таким образом должен. Ну, черт с тобой, жид! Давай деньги!

— А деньги зе в конторе! Иван Карлыц зе их отобрал!

Ваня позвонил; на зов явился сторож.

— Mon oncle! Это тот самый курьер, который ломал со мною походы в Мадрид! Прокофьев! помнишь, как мы с тобой из Гишпании улепетывали?

— Точно так, ваше превосходительство!

— А что, небось, брат, струсил, как из ружьев-то настоящим манером попаливать начали?

— Точно так, ваше превосходительство!

ною. Оказывается, что он, читая «Дневник», не понял самого главного: что я веду «Дневник» от третьего лица, которого мнения суть выражение мнений толпы, а отнюдь не моих личных Быть может, г. Хволос думает, что я и у поручика Хватова ночевал, и в международном статистическом конгрессе (в гостинице Шухардина) участвовал, и был судим в Отель дю-Нор по обвинению в политическом преступлении? Если это так, то мне остается только уверить его, что ничего подобного со мною не случилось и что все описываемое в «Дневнике» относится исключительно к тому вымышленному лицу, от имени которого он ведется. Затем, я могу дать г. Хволосу еще следующий полезный совет прежде нежели обвинять другого в развязности, нужно самому быть как можно менее развязным и ни в каком случае не выступать с обвинениями, не выяснив себе наперед их предмета. *Н. Щедрин.*

[1] сейчас увидите, ловок ли я!

[2] по-австрийски!

[3] Но вы компрометируете таким образом состояние, которое в качестве последнего Поцелуева должны передать своим детям!

[4] это моя манера занимать деньги

— А я так не струсил. Ну, хорошо; беги теперь к Карлу Ивановичу и скажи ему, чтоб списал сорок рублей со счета Ерошки и записал в мой! Et maintenant, l'affaire est bâclée! Je suis plus riche de quarante roubles, et le juif est plus pauvre de la même somme — là est tout le secret de l'opération! [1] — продолжал Ваня, *обращаясь ко мне.*

Затем он взял из рук почтенного еврея лист вексельной бумаги и совершенно отчетливо написал: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь уплатить христопродавцу Ерошке, или кому он прикажет, пятьдесят тысяч рублей, сроком от нижеписанного числа, когда мне то заблагорассудится. Fait à St.-Petersbourg, ce 19 Janvier [2], в год от разорения Иерусалима 50 001 К сему заемному письму Aliéné chronique Jean de Potzéloueff [3] руку приложил».

— Ce n'est pas plus long que ça! [4] — сказал он мне, показывая вексель.

— Ну, а теперь, Ерошка,— брысь! Бери вексель в зубы, и чтоб духу твоего не пахло! Ainsi, vous connaissez le secret de mes opérations financières, mon oncle! [5] — продолжал он, когда еврей вышел,— que voulez vous! Nous tous, tant que nous sommes, nous ne faisons pas autrement! [6] Не дают, подлецы, на других условиях! Да ведь и я тоже не промах. Да-с, любезный Ерошка, тут еще будет *судоговорение*! Вы заметили, mon oncle, какую я штуку выкинул! «Обязуюсь заплатить, когда мне то заблагорассудится!» Ха-ха! Когда заблагорассудится! Да-с, тут еще будет... су-до-го-во-ре-ние! — И он так блаженно улыбался, говоря это, что мне невольно пришло на мысль: Ваня! о, если б ты всегда был помешан!

— Однако мне уж время проездку делать! надеюсь, mon oncle, что вы не откажетесь присутствовать при этом?

Мы прошли в большую залу, где была устроена гимнастика Больные отчасти прогуливались в саду, а отчасти разбрелись по нумерам, и потому зала была пуста. Только один субъект, в куртке, в рейтузах, в кавалерийской фуражке без козырька и в грязновато-белых замшевых перчатках на руках, прохаживался взад и вперед по комнате, заложивши одну руку за спину. Это был меланхолик, юнкер Потапенко, добровольно принявший на себя роль ординарца при Ване. Он ожидал нас

---

[1] А теперь дело сделано! Я стал богаче на сорок рублей, а еврей беднее на такую же сумму — в этом весь секрет операции!

[2] Составлено в С.-Петербурге, 19 января

[3] Хронический сумасшедший Иван Поцелуев.

[4] Вот и все!

[5] Теперь вы знаете секрет моих финансовых операций, дядюшка!

[6] что поделаешь! Мы все, сколько нас ни есть, только так и поступаем!

и при нашем появлении вытянулся и сделал рукою под козырек.

— Тесноват немного у нас манеж,— сказал мне Ваня, указывая на залу,— серьезная проездка просто немыслима, а между тем требуют, чтоб солдат исполнял почти все то, что исполняется в цирке. Оттого-то все и идет у нас так себе, clopin-clopant [1]. Благих намерений пропасть, а исполнение — швах. Просто жалость смотреть на лошадей, как они путаются. On ne veut pas comprendre que la bête doit avoir de l'espace devant elle! [2] Грустно. Людей у нас нет, mon oncle! таких людей, которые могли бы понять! А впрочем, что же тут толковать! ведь мы с вами людей не сделаем! Позвольте-ка мне лучше рекомендовать моего коня — жеребец Исполнительный! А-с? каков круп?!

Он указал рукой на деревянную, обшитую кожей и утвержденную на двух треножниках кобылу, служившую для каких-то гимнастических целей. Но он очень серьезно принимал ее за настоящего коня, потому что потрепал ее рукою и даже слазил посмотреть, что у нее под брюхом.

— У лошади, mon oncle, голова должна быть сухая, нога как стальная, круп круглый, широкий, как печь, c'est l'essentiel! [3] Лошадь, которая имеет круп остроконечный...

Но вдруг речь его порвалась, и лицо, дышавшее приветливостью, потемнело. Он молча поманил указательным пальцем несчастного Потапенко, который ни жив ни мертв, словно неслышный зефир, подлетел к нему — и замер на месте, держа руки по швам.

— Это видишь? — с неизреченной непреклонностью во взоре и голосе спросил Ваня, указывая на какую-то неизмеримо малую величину, темневшуюся в виде пятнышка под воображаемым хвостом,— опять хвост не подмыт?

Потапенко, не переменяя положения, скосил глаза в указываемую сторону и проговорил:

— Виноват, ваше превосходительство! Вчера выпивши был!

— Пятнадцать! — твердо произнес Ваня, отпуская манием руки Потапенку, который, сделав направо кругом, зашагал к окошку и там опять замер руки по швам.— Ну вот хоть бы это! — продолжал Ваня, обращаясь ко мне,— телесные наказания уничтожены — mais au nom de Dieu! est-ce que cela a le sens commun! [4] Где гарантии, спрашиваю я вас! Могу ли я от-

---

[1] кое-как
[2] Не хотят понять, что лошадям нужно пространство!
[3] это самое главное!
[4] но ради бога! есть ли в этом здравый смысл!

вечать за красоту фронта, если я не вооружен достаточными для того средствами! Исполнима ли подобная реформа! — нет, не исполнима! И вот почему никто и не исполняет ее! Это все равно что вот с новыми судами: исполнимы ли решения новых судов? — Нет, не исполнимы, а потому никто и не исполняет их! Суд там себе как хочешь оправдывай, но если нельзя этого выполнить — в результате все-таки... фюить! Or, je vous demande un peu [1], для чего же писать законы, коль скоро их не исполнять?!

Ваня проговорил все это так резонно, что мне просто казалось, что он рассказывает сущность передовой статьи, только что вычитанной им в одной из современных либеральных русских газет.

С последним словом он молодцом вскочил на деревянную кобылу, стегнул ее хлыстом и разом осадил. В продолжение получаса он проделывал передо мной на этом подобии лошади все, что, в нормальном состоянии, мог бы проделать на настоящей, живой лошади. Подбоченившись одной рукой, он делал вид, что другою держит поводья, и затем привскакивал на галопе, слегка трясся на рысях, наклонно и как бы устремляясь всем корпусом вперед, держал себя на марш-марше и проч., так что в конце концов совсем измучился и вспотел. Но это не мешало ему ни на минуту не прекращать бессвязной болтовни, из которой я узнал его предположения об устройстве международного цирка, насчет чего меня, впрочем, уже предупреждал доктор.

— Вы знаете, mon oncle,— говорил он,— что мне разрешено устроить здесь в Петербурге международный цирк. После международного статистического конгресса это будет второй опыт в том же роде. Ça sera grandiose et fantastique en même temps [2], все мое сердобское имение пойдет туда. Ah! nous allons joliment festoyer, je vous en réponds! [3] Представьте себе громаднейшее здание в длину и ширину всего царицынского луга — вот мой цирк. Над зданием, вместо потолка, хрустальный свод; по бокам и углам, в виде приделов, теряющихся в неизмеримости пространства, найдут себе место частные цирки всех возможных национальностей; посередине будет расположена главная, интернациональная арена. Все, что можно найти в целом мире en fait de chiens et de chevaux [4],— всем этим мы будем обладать. Но, главное, мы будем

---

[1] Так скажите на милость.
[2] Это будет грандиозно и вместе с тем фантастично.
[3] Ах! мы прекрасно отпразднуем, ручаюсь за это!
[4] по части собак и лошадей.

иметь и то, чего совсем нет нигде,— c'est la le point essentiel [1]. При главной арене будет существовать целая комиссия скрещиваний (comme qui dirait, un ministère du progrès [2]), которая именно будет иметь предметом выработку совершенно новых лошадиных и собачьих пород и мастей. Nous aurons des chevaux-léopards, des chevaux-hippopotames, des chevaux-rhinocéros. Et si la science arrive à créer des chevaux-aigles ou des chevaux-requins — nous en aurons les premiers échantillons [3]. У нас будет свой главный доктор и свой адвокат. Против главного цирка, где теперь павловские казармы, мы поместим главное управление, которое будет заведовать всеми цирками и во главе которого я полагаю поставить Эмму Чинизелли с Эммой Браатц в должности товарища. Я думал было сделать главноуправляющим генерала Дитятина, но сообразил, что он не знает даже, что значит подмыть у лошади хвост. Во всякой губернии будет открыто один или два цирка — ça sera toute une réforme! [4] Разумеется, цирки будут открываться не вдруг, а постепенно, по мере средств, которыми будет располагать наше казначейство. Как быть! судьба всех реформ такова, и сибирским губерниям, быть может, совсем придется остаться без цирков! Посещение цирков будет обязательное, mais aussi nos cirques fonctionneront jour et nuit [5]. Мы обязываемся иметь лучших гимнастов, лучших жонглеров, лучших канатных плясунов и, как conditio sine qua non [6], летающего человека. Переход через Ниагару на слабо натянутом канате будет происходить каждый день. По вечерам будет даваться экстраординарное представление для избранных, в заключение которого имеет быть представлена борьба слона с носорогом. Cela coutera un argent fou [7], но я надеюсь иметь субсидию. Que diable, l'état peut bien se déranger pour une entreprise aussi grandiose! [8] Все открытия и усовершенствования в мире лошадей и собак будут усвоены нами немедленно. Mon oncle! вы не поверите, если вам перечислить все, что сделано в последнее время в этой сфере! Нынче лошадь уже *сидит* на задних ногах, но кто может поручиться, что через год или два она

---

[1] вот что существенно.

[2] как бы сказать, министерство прогресса.

[3] У нас будут лошади-леопарды, лошади-гиппопотамы, лошади-носороги. И если наука дойдет до создания лошадей-орлов и лошадей-акул,— у нас будут их первые образцы.

[4] это будет целый переворот!

[5] но в то же время наши цирки будут работать день и ночь.

[6] обязательное условие.

[7] Это будет стоить бешеных денег.

[8] Кой черт, может же государство немного раскошелиться ради такого грандиозного предприятия!

не будет ходить на голове — tout comme un homme![1] Вот что мы вправе ожидать от лошади — от одной лошади! Et les cochons de lait donc![2] Я уверен, что даже теперь между ними уж скрывается какой-нибудь газетный фельетонист! Подумайте, какие перспективы! Теперь вы видите какую-нибудь гусарскую кадриль: c'est triste, c'est mesquin, ça n'a ni verve, ni entrain![3] Тогда — вы увидите целые массы, целые сражения! Какая школа! сколько примеров доблести! Гусарские кадрили — parlez-moi de ça! Nous vous servirons des amazones! mille, dix mille, cent mille paires de hanches à la fois! — quel coup d'oeil! Et nous aurons des cabinets particuliers, s'il vous plait. Mon oncle! vous qui êtes un vieux libertin[4] (не говорите! знаю я, как вы в Проплеванной[5] целые полки амазонок формировали!) — вы знаете, что в этом отношении Петербург находится, так сказать, в младенчестве. Мы все это разом двинем. Tout s'enchaîne et se lie dans mon système, voyez-vous[6]. За особенную плату я покажу Венеру, выходящую из морской пены,— на днях я даже подписываю по этому случаю с Корой Пирль контракт. Ah bah! Je suis patriote, mon oncle![7] Я сказал себе: мы ездим в Париж, мы тратим там деньги — для чего! Не лучше ли будет, если мы устроим все это у себя и будем тратить наши деньги дома?! Mais n'est-ce pas, mon oncle?[8]

Выпустивши этот поток речей, он ловко соскочил с лошади, сплюнул в сторону, как подобает усталому кавалеристу, и с благосклоннейшею улыбкой продолжал:

— Я в этом отношении даже дальше иду. Я так думаю, что если б у нас были охотники до парламентов, то вместо того чтоб заставлять ездить смотреть на них за границу, я бы дома завел свой собственный парламент: нате! смотрите! Вы подумайте только, mon oncle, каких одна Пензенская губерния корнетов в этот парламент вышлет! хоть сейчас на выводку... parole d'honneur![9]

Признаюсь, заслышав слово «парламент», я несколько струсил и хотел замять разговор; но когда Ваня тут же при-

---

[1] совершенно как человек!

[2] Ну а поросята!

[3] это бедно, жалко, в этом нет ни жара, ни увлечения!

[4] да что толковать! Мы угостим вас амазонками! тысячу, десять тысяч, сто тысяч пар ляжек разом! — какое зрелище! А у нас будут и отдельные кабинеты, если вам угодно. Вы ведь старый распутник, дядюшка!

[5] Название деревни (см. «Дневник провинциала в Петербурге»). *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[6] Как видите, в моей системе все пригнано друг к другу.

[7] Да-с! Я патриот, дядюшка!

[8] Не правда ли, дядюшка?

[9] честное слово!

мешал пензенских корнетов, то идея эта мне самому так понравилась, что я невольно воскликнул:

— Ну да... ежели собрать пензенских корнетов в одну кучу... à la bonne heure![1] В этом смысле... то есть в смысле выводки... парламент... Это был бы даже очень и очень важный шаг в истории нашего коннозаводства!

— А какая перспектива для цирка! Предположите хоть по одному корнету с уезда — ведь это был бы одновременный наплыв более семисот корнетов... подумайте-ка, mon oncle, сколько тут дел можно сделать!

Быть может, он развил бы свою мысль и далее, если б в эту минуту не влетел в зал бледный молодой человек, в фантастическом сюртуке военного покроя, который, с необыкновенно озабоченным видом, доложил, что судьи уже собрались и ожидают только Ваню, чтоб открыть заседание.

— Ну-с, делать нечего, сегодня нам к Одинцову ехать уж не приходится. Но завтра я вас угощаю, mon oncle,— это решено. J'ai un crédit illimité![2] Правда, что я за каждый десяток устриц пишу вексель в восемь тысяч рублей, но так как я принял за правило вообще по векселям не платить, то выходит, что завтрак, во всяком случае, обходится мне несравненно дешевле, нежели какому-нибудь pékin[3], который платит за свой десяток полтора рубля и притом рискует, что ему кто-нибудь вымажет селедкой лицо.

— Неужели это случается? Не может быть!

— Не только может быть, но не может *не* быть. Самому мне еще не приходилось никому обмазать рожу селедкой, но ежели я не делал этого, то, признаюсь, потому только, что раз, знаете, усядешься — лень встать. Но как хотите, а иногда просто гадко смотреть на *него,* mon oncle! Мы, например: мы приходим, садимся и едим — rien de plus simple![4] Придет pékin и, во-первых, раз десять заглянет в прейскурант, во-вторых, начинает потирать себе руки и с каким-то идиотским наслаждением взвешивает, одной ли селедки ему спросить или побаловаться и кусочком сыру. Je vous demande un peu, si ce n'est pas révoltant![5] Ну, многие и не выдерживают, а вследствие этого, конечно, возникают печальные недоразумения. Но вы сами сейчас все это увидите, потому что одно из подобных недоразумений мы будем сейчас судить.

[1] в добрый час!
[2] У меня неограниченный кредит!
[3] штрафирке
[4] чего проще!
[5] Скажите на милость, разве не возмутительно ли это!

Нельзя себе представить ничего оригинальнее, как суд сумасшедших. Я не скажу, чтоб это был суд навыворот, или чтоб в приговорах его ощущались перерывы логики, но самое свойство поводов, из которых возникают судные дела, таково, что они нигде в другом месте не могут обнаружиться в такой конкретной, обнаженной форме, кроме сумасшедшего дома. Это будет, впрочем, совершенно понятно, если мы признаем, что сумасшествие само по себе есть, по преимуществу, обнажение тех идеалов человека, которые он, в нормальном состоянии, не решается выказать, иногда вследствие их детской незрелости, а иногда и вследствие того, что идеалы эти слишком явно идут вразрез с понятиями, имеющими ход на рынке. Здорового человека одинаково обуздывает и стыдливость, и боязнь прослыть опасным мечтателем. Ваня, например, даже лучшему приятелю ни за что не решился бы высказать, что мечты о марфориевской карьере составляют всю основу его существования; теперь — он свободно раскрывал эти мечты всем и каждому не только не стыдясь, но даже с некоторым пафосом. Точно так же, в здоровом состоянии, Ваня, хотя в душе, разумеется, вполне оправдывал уместность и даже необходимость обмазывания селедкой лиц скромно завтракающих pékins, но в то же время он едва ли решился бы высказать это во всеуслышание. Теперь — он высказывал эту теорию без всякого смущения, и даже изумился бы, если б кому-нибудь вздумалось ее не признавать.

Суд кончен[1]. Бьет около четырех часов; сумасшедшие устремляются в столовую.

— Теперь, mon oncle, я совершенно свободен,— говорит мне Ваня.— Сначала мы обедаем у Дюссо, потом отправляемся в цирк, а затем...

Он наклоняется к моему уху и шепчет мне несколько слов, которых я не могу расслышать, но которые его самого приводят в неистовый восторг.

— Вы только вообразите себе: с усами! — взвизгивает он в заключение.

Само собою разумеется, все предположенные экскурсии мы сделали тут же, в стенах заведения. Но это было ясно только для одного меня: Ваня был убежден, что он выполняет тот самый круг, который выполнялся им и на свободе. Обед, поданный нам (мы обедали в его нумере), был обыкновенный больничный, но он, поглощая жиденький «протоньер», был совершенно уверен, что это soupe à la reine, который нигде

---

[1] Содержание судоговорения будет предметом особенной статьи, имеющей войти в настоящий «Дневник». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

так не приготовляется, как у Дюссо. За обедом он выпил целую бутылку отвратительного ревенного настоя, наивно убеждая меня, что это самый лучший коньяк, подобного которому, по маслянистости и концентрированности, нет в целом Петербурге.

— Я, по совету докторов, нынче только коньяк пью,— сказал он мне,— шампанское и даже хереса — все предоставил детям. Бутылка коньяку за обедом — вот мой урок и затем, до вечера, *n-i-ni,* c'est fini [1]. Замечено из опыта, что шампанское бьет преимущественно в голову, et vous savez, при наших занятиях, c'est la dernière des choses si la tête n'est pas en ordre [2]. Напротив того, коньяк прямо ударяет в ноги, и таким образом голова всегда остается свежа.

— Но мне кажется, что целая бутылка коньяку...

— C'est trop, vous trouvez! [3] Но поверите ли, мне этого *почти* недостаточно. Я пробовал, впрочем, доходить до двух бутылок, но тут встретился с чрезвычайно любопытным явлением. Что для меня одной бутылки мало — это факт, но важно то, что когда я приступаю к второй бутылке, то никогда не могу определить ту рюмку, при которой я делаюсь пьян или, лучше сказать, тот совпадающий известной рюмке момент, когда коньяк ударяет прямо в язык. Что-то среднее между двенадцатой и двадцатой рюмкой. Поэтому я принял себе за правило, до поры до времени, держаться *одной* бутылки, которую я, во всяком случае, могу выпить с уверенностью.

— А знаешь ли, многие в этом случае предпочитают водку...

— Знаю, mon oncle, и даже не раз думал об этом. Au fond [4], тут нет ничего удивительного, потому что водка имеет за себя многие и очень-очень веские преимущества. Во-первых, на меня лично она производит то действие, что у меня только уши потеют. Во-вторых, водка гонит мокроту, тогда как коньяк ее сосредоточивает. В-третьих — et c'est l'essentiel [5],— ее *всякий* может выпить *втрое* более, нежели коньяку, и, следовательно, *всякий* получает возможность и *втрое* больше убить времени. Mon oncle! notre plus grande ennemie — c'est cette sacrée journée qui n'en finit pas! [6] А потому водка в этом смысле неоцененна. Но водка имеет *один* громадный недостаток: ее не принято пить столько, чтоб сделать из этого постоянное

---

[1] ни-ни, кончено

[2] последнее дело, если голова не в порядке.

[3] Вы находите, что это чересчур!

[4] В сущности.

[5] и это главное.

[6] Дядюшка! наш величайший враг — это проклятый день, которому нет конца!

времяпрепровождение. Ну, а я, mon oncle, все-таки понимаю, что сзади меня стоят десятки поколений корнетов, которые и из глубины могил кричат: noblesse oblige! [1]. И вот почему я пью коньяк.

— Vous êtes un noble enfant, Jean! touchez là! [2]

Мы обнялись и поцеловались. Я очень обрадовался, что наш разговор от водки незаметно перешел на политическую почву, потому что, признаюсь, мне было очень любопытно посондировать политические убеждения Вани. Что он консерватор — в этом я, конечно, не сомневался, но знает ли он сам, что он консерватор, и откуда пришло к нему его консерваторство, то есть сидело ли оно в нем от создания веков *или просто пришло, как говорится, с печки — вот что* особенно сильно интересовало меня и как родственника и как человека, лично заинтересованного в успехах русского консерватизма.

— Я очень рад, мой друг, встретить в тебе это благородство чувств,— сказал я ему,— оно доказывает, что ты консерватор по убеждению. Не так ли?

— Mon oncle! — отвечал он мне,— je vous demande bien pardon [3], но мне кажется, что ваш вопрос прежде всего вопрос праздный. Я гонвед — и ничего больше. Если завтра потребуется, чтоб я был зуавом или янычаром,— я ничего против этого не имею. C'est la plus profonde de mes convictions! [4] Затем, я пью коньяк — c'est encore une conviction [5]. Сверх того, если мне скажут: разорви! — я разорву. Si ce n'est pas là une conviction, je vous en félicite! Mon oncle! tel que vous me voyez [6] — я уже сделал однажды гишпанскую революцию. И ежели графу Бейсту, или князю Бисмарку, или даже Садык-Паше угодно будет, чтоб я сделал гишпанскую революцию дважды,— я сделаю ее дважды. Все зависит от того, своевременно ли будут выданы мне прогонные деньги. Но ежели Садык-Паша скажет: trève de révolution! [7] и на этот предмет тоже выдаст прогонные деньги — я пойду и прекращу! Потому что и делать революции, и прекращать их — à mon avis, c'est tout un! Voilà! [8]

---

[1] звание дворянина обязывает!
[2] Вы благородное дитя, Жан! вашу руку!
[3] прошу прощения
[4] Это глубочайшее из моих убеждений.
[5] это опять-таки убеждение
[6] Если это не убеждение, то что же это такое? Дядюшка! не кто иной, как я
[7] прекратить революцию!
[8] по моему мнению, одно и то же! Так-то!

— Но ведь это-то и есть истинный консерватизм, душа моя. Ты консерватор, ты глубочайший из консерваторов, только не отдаешь себе в этом отчета. Ты, по выражению Фета, никогда не знаешь, что̀ будешь петь, но не знаешь именно потому, что твоя песня всегда созрела. Ты не рассуждаешь, потому что чувствуешь, что рассуждение и консерватизм — это, как бы тебе сказать...

— Конечно, если консерватизм состоит в том, чтоб не рассуждать, то я консерватор. Je suis toujours pour la bonne cause...[1] понимаете ли вы меня? Ну, как бы вам это растолковать?.. Ну просто я всегда на той стороне, где начальство!

— Да, но вот ты указал разом три различных начальства: Бейст, Бисмарк и Садык-Паша. Неужели же для тебя безразлично быть по очереди консерватором в пользу каждого из них?

— Совершенно безразлично, mon oncle!

— Хорошо. Я знаю, что и такого рода консерватизм существует. Это консерватизм «de la bonne cause». Переезжают из страны в страну, в одной Дон-Карлосу услуги предлагают, в другой — Франческо, в третьей какому-нибудь Амураду. Но не чувствуешь ли ты, что таким образом ты впадаешь в опасный космополитизм и ставишь себя в ряды странствующих консерваторов, ни в чем не уступающих странствующим революционерам?

Ваня посмотрел на меня такими изумленными глазами, как будто хотел сказать: «Космополитизм! это еще что за зверь такой!»

— Космополитами, мой друг,— поспешил я растолковать ему,— называются такие люди, которые несколько равнодушно относятся к своему отечеству или, лучше сказать, недостаточно усердно следят за его границами по новейшим географическим учебникам...

— La patrie, mon oncle! mais je ne connais que cela! Et vous m'appelez cosmopolite! Oh! mon oncle![2]

— Не огорчайся, душа моя, я не называю тебя космополитом, я только опасаюсь, чтоб «la bonne cause» не увлекла тебя дальше, чем нужно. Космополиты — это самые ужасные люди, мой друг! Их девиз: ubi bene ibi patria[3], или, по-нашему: bene там, где больше дают подъемных и прогонных денег.

— Mais c'est encore très joli, ça![4]

---

[1] Я всегда на стороне правого дела.

[2] Отечество, дядюшка! я только это и признаю! А вы называете меня космополитом! О! дядюшка!

[3] где хорошо, там и отечество

[4] Но это опять-таки очень хорошо!

— Я и не говорю, что это худо. Я говорю только, что это не все. Иногда, мой друг, обстоятельства так складываются, что приходится выказывать свою талантливость и без прогонов. И это именно всего чаще случается, когда того требует любовь к отечеству. Понял?

— Parfaitement. Mais savez-vous, mon oncle, que c'est tout un nouveau monde que vous me découvrez! [1]

— И вот почему не худо следить за географическими учебниками. Лучше будешь знать, что́ именно предстоит любить. Вчера, например, отечество немцев кончалось у Страсбурга, а нынче вон оно уж Мец захватило. Ну, и надо любить по Мец включительно, а завтра, может быть, и по самый Париж любить придется!

Ваня задумался; по встряхиваньям его головы я мог заключать, что он старается привести там нечто в порядок. Однако это, по-видимому, не удалось ему, потому что он как-то странно обрубил наш разговор.

— Заметьте, однако, mon oncle! — воскликнул он вдруг,— вот я целую бутылку напитка выпил — и хоть бы в одном глазе!

Я понял, что отвлеченные разговоры еще тяжелы для него, и потому, как ни велико было мое желание посондировать его насчет видов на будущее градоначальничество, но я вынужден был отложить мое предприятие до более удобного времени. Был уже седьмой час вечера (следовательно, до спанья оставалось с небольшим два часа), и потому я заторопил его в цирк.

— Mais oui! mais dépêchons-nous! [2] — всполошился он,— à qui le dites-vous! [3] мне, который ни одного представления не манкировал! Ah! vous allez voir le «travail compliqué et sauts de planiglobe à cheval» par Virginie... exquis! Et quele fille! [4] Масло!

Мы поспешили в цирк, который оказался в той самой зале, в которой Ваня перед обедом делал проездку. Все общество помешанных было в сборе. Кувыркались, плясали, лазили по лестницам и веревкам, выкрикивали на разные голоса и проч. Меня взяла оторопь при виде этого содома, но на губах Вани все время играла блаженнейшая улыбка. Он видел перед собой настоящую Virginie, настоящую m-lle Aragon и, указывая

---

[1] Превосходно. Но знаете ли, дядюшка, вы открываете мне совершенно новый мир!

[2] Да! но поспешим!

[3] кому вы это говорите!

[4] Ах! вы увидите сложную работу Виргинии и ее прыжки сквозь обруч на лошади... совершенство! А какая девушка!

на них, шептал мне: quelles cuisses! ah sapristi! des hanches de déesse! [1]

Наконец пробило девять. Сторожа стали гнать больных по нумерам. Я почти обрадовался этому. Несмотря на праздно проведенный день, я был так измучен, что как ни убеждал меня Ваня (настоятельно повторяя: «с усами, mon oncle, с усами!») ехать с ним вместе *туда,* но я отказался наотрез.

Наконец он отпустил меня, сказав на прощанье:

— Eh bien! dans tous les cas vous connaissez maintenant comment se passe ma journée! [2] Каждый день так, mon oncle! без перемен!

II

Ночью мне все мерещилось: что̀ было бы, если б жизнь моя так устроилась, что мне приходилось бы проводить ее с глазу на глаз с Ваней? Сумел ли бы я покорить его себе, или же, напротив того, он, непреклонно вводя меня в круг своих наклонностей, привычек и вкусов, успел бы окончательно вышлифовать меня по своему образу и подобию?

Как ни больно это для моего самолюбия, но я не могу не сознаться, что последнее из этих предположений едва ли не правдоподобнее.

Говорят, что высшая цивилизация, высшее духовное развитие порабощают себе низших представителей цивилизации и развития. В конце концов это, конечно, так и должно быть, но, покуда придут эти «концы концов», покуда будет пройден тот бесконечно длинный промежуток, который образуется между началом и концом сложного процесса порабощения,— сколько трагических перипетий, свидетельствующих о совершенно противном? Примеров пропасть: монголы, гунны и, наконец, в позднейшее время, ташкентцы и так называемые «помпадуры»...

В деле подчинения одного человека другому главную роль играет, во-первых, бесповоротность идеалов, во имя которых предпринято подчинение, а во-вторых, личная энергия, с которою ведется процесс подчинения и сумма которой всегда находится в тесной зависимости от ясности и определенности идеалов. Какого рода эти идеалы, выспренние или низменные — это вопрос второстепенный, имеющий значение лишь в немногих случаях. Важно то, чтоб человек знал, чего он хочет, и чтоб он непреклонно стремился к предмету своих вож-

---

[1] что за ляжки! ах черт возьми! бедра богини!

[2] Ну что ж, во всяком случае, вы знаете теперь, как проходит мой день!

делений. Руководствуясь этим законом, англосакс беспощадно уничтожает целые племена дикарей-аборигенов, а монгол и гунн сметают с лица земли памятники вековой цивилизации. Какой-нибудь помпадур, не имеющий другого идеала, кроме калечения людей, но зато уяснивший себе это дело в совершенстве, в один миг раздробит самого глубокомысленного философа, и ему не придет даже на мысль, что если уж признать уместность раздробления голов, то явлению этому следовало бы произойти совершенно наоборот. Что нужды до того, как назовет история все эти поступки и действия,— лично для каждого из этих энергических людей совершенно ясным представляется лишь следующий результат: не их порабощают другие, а они порабощают других.

Я могу сказать без хвастовства, что уровень моего умственного развития несравненно выше, нежели уровень развития Вани. Мне не чужды некоторые идеалы, о которых Ваня и не слыхивал. Я, например, и собственность понимаю, и семейный союз чту, и в необходимости разных других союзов достаточно убежден. Я знаю, что все это краеугольные камни, и потому сам лично никогда не украду, никого не обсчитаю, не вступлю в новый брак при живой жене и тем меньше не сделаюсь ни беспочвенным космополитом, ни слишком почвенным сепаратистом. Но все эти идеалы не настолько для меня неотразимы, чтоб составлять такую потребность, без удовлетворения которой мне была бы жизнь не в жизнь. По нужде, я могу понимать и совершенно иные идеалы, и ежели не сочувствовать им, то, по крайней мере, признавать за ними право на существование. Вот это-то именно и губит меня. Это *понимание* чужих идеалов лишает меня той энергии, которая возможна лишь под условием полного и безусловного отрицания каких-либо других идеалов, кроме своих собственных. Спросите меня, готов ли я устремиться с мечом в руках на человека, который украл калач, то есть преступил против дорогого мне принципа собственности,— я усомнюсь. Я охотно буду вести разговор о том, как прекрасно, что на свете существует собственность и всякие союзы (чего хочешь, того просишь), но едва ли пойду утверждать эти принципы с огнем и мечом, ибо чувствую, что как только возьму в руки меч, так сейчас же и спасую. Растлевающая мысль, что меч никого не убеждает и что даже очень трудно диспутировать с человеком, у которого в руках меч, парализует все мои намерения, и я невольно краснею и вкладываю меч в ножны. Вложив в ножны меч, я начинаю разговаривать, и, покуда слова льются из моих уст целыми потоками, я совершенно не замечаю, как в моих глазах совершается некоторое чудо. А именно: не успеваю я вы-

сказать и десятой доли того, что у меня накопилось на душе (а на душе у меня целая передовая статья в шесть столбцов), как убеждаюсь, что меч, от которого я так великодушно отказался, уже очутился в руках моего противника! И вот, завладевши им, он уже сам беспощадно начинает лупить им меня по голове, лупить и приговаривать: «Дурак! фалелей! рохля! это тебе за то, что ты меня не лупил в то время, когда имел возможность и право лупить!» Да, и «право», ибо никогда право так не подтверждает само себя, как в то время, когда оно лупит.

Напротив того, Ваня имеет идеалы хотя скудные, вроде марфориевской карьеры или целодневного пребывания в фруктовой лавке Одинцова, но зато вполне определенные. Это идеалы неотразимые, вне которых он *ничего другого* не понимает, *ни к чему другому* не может стремиться. Эта исключительность значительно помогает ему. Потомок первобытных пензенских корнетов, он твердой ногой идет по наторенной ими колее, не смущаясь ни изменяющимися по сторонам видами, ни даже препятствиями, которые время и непогоды устраивают на самой колее. Он не слыхал ни о каких «союзах», и лишь понаслышке знает о «собственности», но зато знает меч и Одинцова. Выступив однажды на брань с мечом в руках, он имеет лишь одно ясное представление: что этим мечом следует действовать сверху вниз. И если б кто-нибудь ему сказал, что не произойдет особенного ущерба, если меч будет вложен в ножны прежде, нежели «все» враги Одинцова будут перебиты, он прямо назвал бы того человека лжецом. Никакой стон его не удивит, никакой резон не вразумит. Он допускает, конечно, возможность стонов и резонов, но допускает лишь как естественное последствие одностороннего махания мечом. Когда один разит, то понятно, что другой стонет или желает нагрубить,— вот и все. Он даже удивился бы, если б не услышал стона; он сказал бы: мерзавец! даже не пикнул! Повторяю: его идеалы скудны, низменны, но они срослись с ним, они составляют его вторую природу, а это-то именно и дает ему ту жестокую устойчивость, которою он удивляет мир. И потому, встреться с ним не только я, слабый провинциял, проведший всю свою жизнь под гнетом Прокопов, Дракиных, Хлобыстовских и проч., но и всякий другой, несколько попорченный более человечными идеалами, он, нимало не задумываясь, или поработит, или, в случае сопротивления, не оставит камня на камне.

Представьте себе, что я заточен вместе с Ваней в каком-нибудь чрезвычайно маленьком мире, где мы не можем ступить шагу, чтоб не столкнуться друг с другом и не вызвать

друг друга на борьбу. Ясно, что выход из этого положения может быть один: либо мы сотрем друг друга с лица земли, либо сделаемся сиамскими близнецами. Но стереть Ваню с лица земли мне не под силу: это до такой степени очевидно, что я даже и в мысли не держу подобного предприятия. Остается, стало быть, сделаться его сиамским близнецом. И вот, я покоряюсь этому, но, в то же время, по обычаю всех слабохарактерных людей, покоряюсь неискренно, а, так сказать, середка наполовину. В уме моем созревает целый план: нельзя ли как-нибудь обойти Ваню, то есть и ему кое-что из своих идеалов уступить, да и его заставить тоже кое-что уступить. План этот так нравится мне, что я, не откладывая дела в длинный ящик, начинаю усовещивать и убеждать моего друга, и делаю это тем охотнее, что самое умственное его убожество, казалось бы, должно облегчить выполнение моей задачи.

— Ваня! — говорю я ему,— ты хоть бы что-нибудь почитал!

— А! да! — отвечает он, смотря на меня с какою-то совершенно безумною рассеянностью,— почитать! да! почитать! А вы знаете, mon oncle, что я вчера с Сережей Подснежниковым побился об заклад, что сразу десять коробок висбаденских слив съем? Одну за другой... понимаете! Разом! sans désemparer![1] И съел-с!

— И съел! да?! Vous êtes un noble cœur, Jean![2] Но все-таки, душа моя, ты хоть бы легонькое что-нибудь... Взял бы, например, «Старейшую Российскую Пенкоснимательницу»... если передовые статьи трудны для тебя — ну, хоть бы фельетонцу попробовал!

— А! да! вы говорите: «фельетонцу»! Это хорошо... «фельетону»! Да! да! да! А какой нам сегодня Одинцов ликер посулил... et bien! je ne vous dis que ça![3] Нарочно выписал! Я, признаюсь, давно уж этот ликер угадывал! J'ai eu comme un pressentiment![4] Давно уж я ему говорил: все у тебя, Одинцов, хорошо; да вот нет этого ликера... ты понимаешь!.. нет этого ликера, который бы... и разом и исподволь... понимаешь! И вот, только теперь он отыскал именно то, что следует! Mais j'espère que vous êtes des nôtres, mon oncle![5] Мы пробуем... не правда ли?

И так далее, то есть на все мои просьбы «почитать» он не-

---

[1] не сходя с места.
[2] У вас благородное сердце, Жан!
[3] прекрасный, скажу я вам!
[4] У меня было как бы предчувствие!
[5] Но я надеюсь, что вы разделите с нами компанию, дядюшка!

пременно ответит каким-нибудь известием из мира овошенных товаров: либо о вновь привезенном и дотоле неведанном сыре, либо о балыке, имеющем совершеннейший вид янтаря...

Я не спорю, что и я мог бы покорить Ваню, если б на его приглашения с тою же первобытною непреклонностью отвечал: дотоле не пойду с тобой в «закусочную», доколе ты не расскажешь содержания хотя одного фельетона. Но в том-то и дело, что высшее развитие, которым я так горжусь, поселило в моей душе бесчисленное множество противоречий, отнимающих у меня всякую возможность действовать непреклонно. Мне все как-то кажется, что Ваня — человек, и в этом качестве не недоступен убеждению. Что вот я сегодня, для смягчения его, съем сотню устриц, завтра выпью залпом стакан коньяку, а послезавтра и он кое-чем меня порадует: сначала прочитает заглавие, потом пробежит строчку или две, потом улыбнется (бедный! ему так мало надобно, чтоб прийти в веселое настроение духа!), а затем — глядь! — и весь фельетон проглотил!

Но тут-то именно и кроется мое заблужденье. Поцелуевы никогда ни перед чем не отступали и никогда никому не уступали. Ласковое обхожденье только разжигает их упорство. Убедившись, что я, в угоду ему, выпил стакан коньяку, Ваня помышляет уже о том, как бы заставить меня выпить залпом целую бутылку. Он делается капризен, начинает предъявлять самые неподходящие требования. Он раздражается при одном напоминании о необходимости что-нибудь почитать, и в своем раздражении доходит до того, что, увидев однажды в моих руках маленькую тетрадку, под названием: «Полное собрание сочинений Менандра Прелестнова», бесцеремонно вырывает ее и швыряет в камин (вот почему я до сих пор не издал этих сочинений, несмотря на еженедельные приставания Менандра: издай да издай; но ежели приставания его не прекратятся, я издам; это будет для меня тем более легко, что я знаю их наизусть). Он преследует меня, зачем я глотаю устрицы с шабли, а не с портером, зачем я оканчиваю мой день шампанским, а не fine champagne, зачем я ем селедку с подливкой, а не «безо всего». Кто знает, не сочинит ли он под конец свою собственную теорию сотворения мира и не потребует ли, чтоб я сделался солидарен с его миросозерцанием...

Представьте себе такую картину. Ваня с ногами лежит на грязном обтрепанном диване, украшающем устричную конуру, и без перемежки мечет в меня, сидящего тут же, стрелами своего остроумия.

— Удивляюсь,— говорит он,— как «некоторые люди» находят время что-нибудь читать. Я, например, никогда такого желания не испытал. И полагаю, что никто не назовет меня за это скотом. Не правда ли, mon oncle? Да-с; полагаю-с. А если б такой откровенный человек нашелся, то я желал бы видеть, с какою бы он вышел отсюда рожею! Mais... n'est-ce pas? [1]

— Но, душа моя... отчего же, однако, не почитать?!

— Оттого, повторяю я, что у меня нет для этого времени... est-ce clair? [2] И я в свое время читал... я прочел всего Габорио, всего Поль де Кока, всего Феваля... que sais-je! [3] Но теперь, когда у меня явились серьезные занятия... je me soucie bien de vos Féval! [4] И я надеюсь, что никто не назовет меня за это ни скотом, ни ослом, ни даже невеждою. Да-с; надеюсь-с.

— Но послушай же, друг мой...

— Позвольте, mon oncle, дайте мне кончить. Возьмем хотя следующий пример. С некоторого времени я совсем никуда не хожу, кроме «закусочной» и цирка. Я даже не обедаю. Я посылаю отсюда в трактир за порцией котлет и съедаю их здесь, в этой комнате. Je ne dis pas que ça soit tout à fait confortable, mais... ça m'arrange! [5] Но есть люди — я вижу это! ah! j'ai plus de perspicacité qu'on ne le pense! [6] — у которых по этому случаю так и вертится на языке слово «шалопай»... N'est-ce pas, mon oncle? Конечно... я не знаю... быть может, с точки зрения философии (Ваня с какою-то неизреченною язвительностью произносит слово «философия», как будто надеется пристыдить им меня)... ну да, с точки зрения философии... быть может, оно... но клянусь, что как ни остроумно слово «шалопай», оно никогда не слетит у этих людей с языка... Vous m'entendez, mon oncle! [7] — никогда! Ибо в ту минуту, как это слово слетает с языка, я беру за хвост вот эту самую селедку и обмазываю ею лицо шутника!

И так далее.

И эта сцена не единственная. Вводя меня в круг своего миросозерцания, Ваня каждый день угощает меня чем-нибудь в этом роде. С истинно англосаксонскою беспощадностью он ставит меня на известную покатость, очутившись на которой

---

[1] Не правда ли?
[2] ясно?
[3] всех не упомнишь!
[4] очень мне нужны ваши Февали!
[5] Я не говорю, что это вполне комфортабельно, но... мне это удобно!
[6] я проницательнее, чем думают!
[7] Понимаете, дядюшка!

я уже ни о чем другом не могу мечтать, кроме безусловного поддакивания и изумления перед его остроумием, находчивостью и проницательностью. Ибо, в противном случае, он, не долго думая, возьмет с тарелки селедку и обмажет ею мне лицо!

Такова сила бесповоротности идеалов и таковы последствия ее для тех слабохарактерных, которых сталкивает судьба с людьми, обладающими этою силою.

Но представьте себе, что Ваня не одиночный какой-нибудь экземпляр, а представитель целой категории людей, которая говорит и мыслит как один человек и которая столь же беспощадна в деле махания мечом, как и недоступна внушениям резонности! Представьте себе, что в это единомысленное, почти замкнутое общество попадет, по недоразумению (ведь попал же я, *по недоразумению,* в сумасшедший дом!), человек, который совершенно лишен врожденной идеи, что селедку надобно есть «безо всего», что шампанское следует предоставить младенцам, а мужам совета приличествует тянуть коньяк, fine champagne и ликеры! Что должно произойти с ним, какие муки предстоит ему вытерпеть, если он не найдет в себе достаточной твердости духа, чтоб сразу взять шапку и бежать куда глаза глядят? Да и тут еще вопрос: как изловчиться взять шапку, чтоб этого не заметили и не пустили селедкой вдогонку? и куда убежать, где бы не настигла ненависть и месть этих новых Катонов, которые на каждого человека, имеющего на столе календарь, взирают с мыслью: delenda est Carthago! [1]

При одной мысли об этих Катонах мороз подирал меня по коже. Я метался в постеле, и перед умственным взором моим проходили целые вереницы людей, из которых каждый считал долгом уколоть меня. Я чувствовал все ничтожество этих уколов, я сознавал всю пошлую безобидность этих уязвлений — но и за всем тем невыносимо страдал. Не физическая боль была несносна, а унизительная обязанность терпеть. Наконец я, однако ж, спохватился. «Бежать! — вскрикнул я вдруг,— да, надо бежать!» Но я уже опоздал. Все как-то странно кругом меня перепуталось и переплелось. Я слишком долгое время мечтал, что как-нибудь да обойдется, да даст бог перемелется, позабудется и т. д.,— так что, когда я очнулся, я увидел себя на самом дне преисподней. Передо мною уже не один и не два укола, а целый ворох уколов. Я не могу указать, что̀ именно у меня болит, но чувствую, что весь организм мой в огне. И вот я напрасно стараюсь прорыться сквозь эти сорные кучи, напрасно хочу прорвать тенета,

---

[1] Карфаген должен быть разрушен!

опутавшие меня. Я затянут, я скомкан, я взят в плен. Я вижу: меня ждет какое-то бесконечно глупое мученичество... Это раздражает меня все глубже и глубже, так что под конец я даже начинаю чувствовать себя способным на что-то совершенно нелепое, почти чудовищное...

Да, думалось мне, как это ни обидно, но должно сознаться, что я способен на такое самопорабощение! Ведь подчинялся же я Прокопу, Дракиным, Хлобыстовским, всем этим Зенонам бессознательности, которые бесцеремонно берут человека за шиворот и ведут его куда вздумается! ведь ходил же я и упраздненного генерала хоронить, и концессию высматривать, не имея ни малейшего позыва ни к тому, ни к другому! Что, если сегодняшняя встреча даст Ване идею о порабощении меня! Ведь он наверное достигнет этого или же при первом моем сопротивлении поступит со мной так же строго, как поступил давешний суд с бедным, забитым сумасшедшим, который был обвинен — шутка сказать! — в «замарании» своего халата! Происшествие, послужившее поводом для суда, заключалось в следующем: какой-то счастливый наглец забавлялся, во время обеда, бросанием подсудимому в тарелку обглоданных косточек и сам же принес жалобу, что подсудимый не только не обуздал его, но совершенно спокойно перенес нанесенное ему оскорбление. И что же! вместо того чтоб наказать обидчика и вступиться за обиженного, все сословие умалишенных его же обвинило в «замарании халата», то есть в таком преступлении, ужаснее которого устав дома умалишенных ничего не признаёт!

Картина этого суда восставала передо мною в малейших подробностях. Все помешанные говорили разом, так что ничего нельзя было разобрать. Обвиняемого ни о чем не спрашивали, а выслушивали только обвинителей. По обыкновению, явилась целая толпа свидетелей, горевших нетерпением утопить обвиняемого в ложке воды.

— Признаюсь, я даже удивлен был! — говорил отставной штабс-капитан Тумаков,— ну, сделай он хоть что-нибудь... ну, обругай... смажь, что ли... все бы, знаете, благородный порыв виден был! А то — ничего-с! Только обдернулся-с!

И он был осужден. «Подсудимый! — сказал ему Ваня ясным и бесстрастным голосом,— отныне, вы навсегда лишены халата! В одном нижнем белье вы обязываетесь блуждать по свету, и общее презрение будет следовать по пятам вашим!»

Что, ежели и со мной будет поступлено точно таким же образом!

Где-то, в дальней комнате, пробило двенадцать, а я все еще не спал. Где-то, вблизи, простонал во сне сумасшедший, и опять все смолкло. Наконец, однако ж, утомление превозмогло, и я как-то разом забылся.

Но сон этот был продолжением тех же тревожных снов, которые я испытал в последнее время моего пребывания в Петербурге. Пьянство, концессии, статистический конгресс, политический процесс — все это соединилось вместе в продолжение каких-нибудь двух, трех месяцев! Недоставало только сумасшедшего дома, но вот и он. Ясно, что сон не мог дать мне ни успокоения, ни освежения, что он должен был служить воспроизведением тревожно проведенного дня, воспроизведением, фантастически перемешанным с воспоминаниями молодости и детства, которые как-то особенно живуче представляются человеку в минуты тревог.

Мне снится (очевидно, под впечатлением давешних рассказов о проекте международного цирка), что я мчусь по царицыну лугу на кобыле-тигрице (один из результатов скрещивания, добытых Ваней), мчусь и верхом, и стоя, и сидя боком на крупе у самой репицы... Я перескакиваю через ленты и обручи, я прорываю головой заклеенные бумагой «бочки», являюсь поочередно то «индейцем с томагауком в руках», то «матросом, утопающим в волнах океана», то «музыкантом, играющим на деревенской свадьбе»... Проходят часы, месяцы, годы, а я все мчусь, все переодеваюсь, все прорываю головой бумажные бочки... Посредине площади стоит Ваня с бичом в руках и старается достать им меня по ногам. Из одной ложи строго сверкают на меня черные глаза Эммы Чинизелли; из другой — одобрительно ласкают голубые глаза Эммы Братц. О! гоп! о! гоп! о! гоп! — раздается кругом меня. О! гоп! — восклицаю я и сам в каком-то неистовстве. Бока площади словно бисером унизаны зуавами, тюркосами, прусскими уланами, венгерскими гусарами, турецкими башибузуками. Это ценители и судьи. Каждый из них бесцеремонно что-нибудь замечает; один — что я задел ногою за обруч; другой — что я дрогнул, когда, стоя одной ногой, так сказать, на хвосте лошади, другую вытянул в воздухе в уровень с головой; третий — что я нечисто прорвал бумажную «бочку».

— У настоящего ездока поджилки должны быть стальные!

— Смотрите! он даже хвоста у кобылы не подмыл!

— Таким ездокам следует воду возить, а не за «sauts de planiglobes» [1] браться!

---

[1] прыжки сквозь обруч.

И я все это слышу и чувствую, как пронизывает меня взор Эммы Чинизелли, которая как будто говорит: погоди! вот ужо мы покажем тебе на конюшне, как следует ездить! «На конюшню! ведите его на конюшню!» — вдруг несется откуда-то издалека чей-то знакомый голос, и вслед за тем вдруг встает из могилы дедушка Матвей Иваныч, во главе целой вереницы пензенских корнетов. Все они чрезвычайно взволнованы, все кричат: «На конюшню его! он осрамил нас! какой это «индеец»! какой это «матрос, утопающий в волнах океана»! пусть издыхает он под бичом!» И я мчусь, мчусь, мчусь, словно легионы злых духов преследуют меня... Обручи, бочки, ленты, гирлянды — все это смешивается и кружится в моих глазах. И вдруг — пропасть, и я лечу стремглав вниз вместе с кобылой-тигрицей. Дыхание у меня захватывает, и я начинаю кричать...

Я вскакиваю и некоторое время сижу на постели с открытыми глазами. Но это не бдение, а продолжение того же сна, в котором мгновенный перерыв произвел лишь перемену декораций.

Мне снятся годы ранней юности, тяжелые годы, проведенные под сению «заведения». То было прекраснейшее, образцовое заведение, в котором почти исключительно воспитывались генеральские, шталмейстерские и егермейстерские дети, вполне сознававшие высокое положение, которое занимают в обществе их отцы. Все они, как две капли воды, были похожи на друга моего, Ваню Поцелуева. Как он, румяные и чистые лицом, как он же, с детства проникнутые страстью к телесным упражнениям и не признающие иного жизненного лозунга, кроме: «разорви!» Как ловко сидели на них «собственные» мундиры и курточки! как полны были их несессеры всякого рода туалетными принадлежностями! Как щедро платили они дядькам! с какою непринужденностью бросали деньги на пирожки и другие сласти! с какой грацией шаркали ножкой перед воспитателями и учителями!

Среди этой блестящей плеяды молодых ташкентцев я представлял собой какое-то прискорбное темное пятно. Мой отец не был даже камер-юнкером и в незавидном звании отставного корнета прозябал в каком-то медвежьем углу Вышневолоцкого уезда, сея хлеб на камени и скудно прокармливаясь насчет скудных лепт, вытягиваемых из сотни-другой крепостных крестьян. У меня не было ни *собственного* мундира, ни *собственной* шинели с бобровым воротником. В казенной куртке, в холодной казенной шинельке, влачил я жалкое существование, умываясь казенным мылом и причесываясь казенною гребенкою. Вид у меня был унылый, тусклый, не вы-

ражавший беспечного доверия к начальству, не обещавший в будущем ничего рыцарского. Я не умел ни шаркнуть ножкой, как юноша, в котором сидит уже в зародыше камер-юнкер, ни перелететь через зал, по вызову начальства, в той устремленной позе, которая служит первым признаком детской благовоспитанности и готовности. Я не давал дядькам на водку и не накупал пирожков. Я ел казенную говядину под красным соусом и казенные «суконные» пироги с черникой, от которых товарищи мои брезгливо отворачивались, оставляя их на съедение дядькам и сторожам. Первое время я даже оставался по праздникам в «заведении», тоскливо слоняясь по залам его и предаваясь загадочным думам о товарищах, которые в это время мчались на лихачах по Невскому и приучались в кофейнях пить коньяк.

Повторяю: я был пятном на светлом фоне общей воспитательной картины, и не только я сам, но, по-видимому, и начальство «заведения» сознавало это. Меня наказывали охотнее, нежели других; меня оставляли без обеда с полным сознанием достигнуть не мнимого, а действительного лишения. Даже при разборе так называемых «историй», случавшихся в «заведении», меня ставили как-то особняком. «Сознайтесь, благородные молодые люди!» — говорил директор товариществу; и затем, когда «благородные молодые люди» не сознавались, то, обращаясь ко мне, присовокуплял: «Ну, а тебя нечего и спрашивать!» Если же, по временам, воспитатели и относились с сожалением к моей заброшенности, то я совершенно ясно читал в этих жалеющих глазах: жаль его, а все-таки было бы лучше, если б в нашем прекрасном «заведении» не было этого «пятна»!

Товарищи не чуждались меня, но выказывали полное ко мне равнодушие. Я не имел повода видеть в этом факте ни тени преднамеренности, но для щекотливого детского чувства это отсутствие преднамеренности даже еще более усугубляло обиду. Никто не имел во мне нужды, и потому никому не приходило в голову, чтобы и я мог в ком-нибудь иметь нужду. Как-то само собой так случалось, что я всегда видел себя вне интересов моих однокашников. У них были общие воспоминания, общая почва для разговоров, не касавшаяся казенной сферы заведения; у меня ничего подобного не было, так как подробности, относящиеся до житья в Вышневолоцком уезде, решительно никого не могли интересовать. Обнявшись, разгуливали воспитанники попарно по аллеям, ведя между собой интересную беседу, и когда я пробовал вмешиваться в эту беседу, предлагая вопрос о том, будет или не будет такой-то учитель, или о том, правда ли, что эконому велено подать

в отставку,— мне хотя и отвечали, но до такой степени безучастно, как будто отгоняли рукой надоедливую муху. Видя это, я и сам невольно сторонился, вырабатывая в себе чувство злобы к замкнутому мирку, который так бесцеремонно смотрел на меня, как на прокаженного. Я уединялся где-нибудь в углу, с книжкой в руках, и втихомолку от воспитателей питал свое воображение нездоровою пищей романов февалевской школы.

Увы! — сказать ли правду? — в те годы детской незрелости, когда я должен был преимущественно думать об укреплении слабого организма... я уже писал стихи! Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого, скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». Смерть Пушкина была еще у всех в свежей памяти, и поэты того времени никак не могли поделить между собою наследства его. Во мне родилась самонадеянная мысль, вместе с Тимофеевым и Бернетом, завладеть хоть одним клочком этого наследства. Чтоб достигнуть этого, я писал стихи, так сказать, запоем, каждый день задавая себе новую тему и, во что бы то ни стало, выполняя ее. Воспитатели ловили меня в этих занятиях и безжалостно предавали поруганию, прочитывая во всеуслышание произведения моей музы. Товарищи, в свою очередь, загадочно переглядывались между собой и сначала шепотом, а потом громче и громче стали называть меня «умником».

Название «умник» далеко не пользовалось почетом в «заведении», отражавшем в себе, «как в малой капле вод», настроение тогдашнего, не любившего умников, общества. Начальство преследовало умников, воспитанники смотрели на них как на людей, занимавшихся несвойственными дворянскому званию занятиями. Именно так взглянули мои товарищи и на меня. Это были простодушные и совершенно неразвитые юноши, которым едва ли даже приходило когда-нибудь на мысль спросить себя: что такое ум и годен ли он на какое-нибудь употребление? «Мы не умники! — говорили они,— мы стихов не пишем! мы умных книг не читаем!» — и не только не скорбели, но даже как бы гордились таким упрощенным взглядом на деятельность человеческого ума. Для них гораздо интереснее было знать, кто лучше шьет штаны, Маркевич или Брунст (знаменитые в то время военные портные), нежели спорить о том, кто лучше пишет стихи, Подолинский или Бернет. Поэтому известие о том, что в их среду затесался умник, произвело на них совершенно то же впечатление, как если бы в «заведении», среди воспитанников, вдруг оказался

сын вольного художника или арфиста. Этот было впечатление изумления.

К сожалению, все это бесило меня и вызывало с моей стороны бессильный протест. Я совершенно серьезно принял кличку «умника» и, полный сознанием своего умственного превосходства, перестал вытверживать заданные уроки, сделался неряшливым, презирал выправку и грубил воспитателям. На холодность товарищей я ответил пренебрежением, которое, однако ж, далеко не было так искренне, как я хотел это показать. Чтоб уязвить их, я написал басню под названием: «Философ и стадо ослов», в которой выставил себя в выгодном свете «философа», а товарищам предоставил играть роль «ослов». Но даже и это не тронуло их, а только вызвало с их стороны довольно безвредные шутки, в которых напоминалось мне, что Тредьяковский был избит Волынским и что он же получил от императрицы Анны Ивановны всемилостивейшую оплеушину (это были единственные сведения о русской литературе, которые были в ходу в нашем «заведении»). Тогда я обиделся не на шутку и, оставив всякую сдержанность, обратился к ним в упор.

— Я умник,— сказал я,— а вы глупые. Да, глупые! глупые! глупые! Но вас, глупых, ласкают и балуют, а меня, умного, преследуют и наказывают! И когда вы, глупые, выйдете из «заведения», то вас сделают камер-юнкерами, а может быть, и помпадурами, а я, умный, буду изнывать в это время в регистратуре и облизываться при виде ваших расшитых золотом фалд! Скажите, справедливо ли это?

Это было с моей стороны и назойливо и непоследовательно. Назойливо — потому что хотя мои товарищи и не видели ничего дурного в глупости, но все-таки не желали, чтоб им слишком явно напоминали об ней. Непоследовательно — потому, что в упреке моем сказывалась зависть и тайное вожделение вышитых золотом фалд, которые я, в качестве «философа», должен бы был презирать. Поэтому меня сразу осадили, сказав:

— Вместо того чтоб завидовать и считаться, лучше бы ты на свои руки посмотрел! Ведь это срам — всегда все в чернилах! Ты не забудь, что ты воспитываешься в одном с нами «заведении» и что твой срам падает на всех нас! А сапоги-то! Messieurs! посмотрите, какие у него сапоги! Sapristi! Ça devient intolérable! [1]

Выслушивая эти отповеди, я бледнел и дрожал! Увы! как ни храбрился я, как ни хвастался своею изолированностью

---

[1] Черт возьми! Это становится несносным!

среди «глупеньких мальчиков», дух корпорации действовал и на меня. Незаметно въедался он в мою жизнь и подрывал мой напускной стоицизм. Я видел сны, в которых представлял себя прекрасным молодым человеком, разъезжающим на лихачах, ликующим с юнкерами в кофейных и расшаркивающимся с ловкостью опытнейшего камер-юнкера. Я прислушивался к рассказам о воскресных подвигах товарищей, и, к удивлению, они уже не казались мне глупыми, как прежде. В довершение метаморфозы, казенная куртка, казенная шинель, казенное мыло сделались мне положительно нестерпимыми и ненавистными.

В то время я уже ходил по праздникам к вдовствующей тетеньке Клеопатре Аггеевне, которая нанимала квартиру где-то на дворе в Канонерском переулке и на тысячу рублей в год содержала многочисленное семейство. Я скучал у нее и голодал, но, возвращаясь в «заведение», представлялся совершенно удовлетворенным и беспечно ковырял в зубах. При посредничестве тетеньки, всякими правдами и неправдами, я выгянул из Вышневолоцкого уезда небольшое число денег и справил себе на них «собственный» мундир и «собственную» шинель. Это была уж почти победа. Никогда не вздыхал я так сладко, как в ту минуту, когда увидел себя в новой одежде!

Однако ж это «переодевание» привело меня совсем не к тем результатам, каких я ожидал. Прежде, в казенной, подбитой ветром шинели, с испачканными в чернилах руками, с взъерошенными волосами, я хотя и не представлял образца изящного молодого кавалера, но был, как говорится, самим собой. Теперь, в «собственной» шинели, с вымытыми дочиста руками, с головой, обремененной помадой, я был похож на мещанина, собравшегося в праздник к обедне. Ничто не укрылось от проницательности знатоков-товарищей: ни то, что на мундире у меня было не семи-, а четырехрублевое сукно, ни то, что на воротник шинели был поставлен не настоящий, а польский бобер, ни то, наконец, что все это было шито не Маркевичем и даже не Брунстом, а каким-то маленьким портным с Офицерской улицы...

Но что всего важнее: вступление на путь франтовства было замечено и сделалось предметом самых язвительных комментарий. Стало быть, я совсем не «философ», если на скудные, вымученные из вышневолоцких мужиков деньги поспешил приобрести не хрестоматию Галахова, но шинель с польскими бобрами! стало быть, я только прикидывался умником, а в сущности был дрянной и завистливый мальчишка, втайне сгоравший теми же самыми вожделениями, которыми горели

и прочие егермейстерские и шталмейстерские дети! Подметив во мне эту черту, товарищи решились эксплуатировать ее и сделать из меня шута. И я должен сознаться, что эти невежественные дурачки, не знавшие хорошенько, кто разрубил гордиев узел, Александр Македонский или князь Александр Иванович Чернышев, принялись за дело моего вышучивания с тактом и талантливостью, которых я даже не подозревал в них.

Сдержанный смех встретил меня в моем новом наряде. Но я уже опьянел и не понял смысла этого смеха. Я серьезно вообразил себя франтом и охотно дозволил сделать из себя героя дня. Мой мундир рассматривали и хвалили доброту и атласистость сукна; мой воротник щупали и уверяли, что его никак нельзя отличить от настоящего бобрового; показывали друг другу мое мыло и, в порыве энтузиазма, зараз измылили весь кусок. Товарищи, наперерыв друг перед другом, приглашали меня по воскресеньям к себе, называли «поэтом», удивлялись, как до сих пор они не заметили, что я лихой малый, заставили меня вместе с ними курить в печку и очень мило смеялись, когда я, выкурив сряду две папиросы, почувствовал, с непривычки, тошноту.

В самое короткое время я совершенно очутился в их власти. Я катался на чужой счет на лихачах, кутил на чужой счет в кофейных, курил, как капрал, пил ром, коньяк и играл в карты, без надежды заплатить свой проигрыш. Я с самым дурацким видом рассуждал о рысаках и о сравнительных достоинствах той или другой камелии и при этом лгал и хвастал немилосердно. Я уверял, что по воскресеньям выпивал за обедом целую бутылку шампанского; что у тетеньки Клеопатры Аггеевны платье шелковое, а шлейф бархатный; что она фрейлина, занимает целый дом и платит сто рублей в месяц французу-повару. Не помню наверное, но, кажется, я прибавлял, что у ней на содержании два куафера. Не сознавая ни слов, ни поступков своих, я приглашал всех к себе, то есть к тетеньке, и совершенно бессовестно присовокуплял: si vous venez, messieurs, je vous ferai manger d'un certain gigot, dont vous me direz des ..ouvelles![1] Словом сказать, не будучи рожден шалопаем и не имея никакого права быть таковым, я лез из кожи, чтоб сравняться в этом отношении с моими товарищами. Это была уже столь явная дерзость с моей стороны, которая, конечно, не могла не возмущать их.

---

[1] если приедете, господа, я угощу вас такой бараниной, что вы ее долго помнить будете!

Дети жестоки, в особенности же те, которые начинают выходить из детского возраста и которым, быть может, никогда не суждено вырасти в меру человека. Вводя меня в свой круг и делая участником своих праздничных кутежей, товарищи ни на минуту не забывали, что я умник и что поэтому меня следует проучить. В сущности, впрочем, все мое тогдашнее существование было непрерывною цепью проучиваний, и только громадное самомнение не позволяло мне замечать те беспрерывные уколы и поддразнивания, которые преследовали меня на каждом шагу. Увы! я так искренно желал пленить моих мучителей, что сам первый поверил успеху моих усилий.

Чтоб отрезвить меня, мало было простых уколов: требовались удары более сильные, такие, после которых для меня не оставалось бы ни малейшей лазейки, чтоб обмануть самого себя. И эти удары не заставили ждать себя.

В одно из воскресений я был у тетеньки Клеопатры Аггеевны и обедал. Как сейчас помню: вслед за гороховым супом подали жареного гуся. Тетенька, по обыкновению, роптала на дороговизну провизии (причем искоса взглядывала на мою тарелку) и жаловалась на папеньку, что он обещал ей и индеек и уток и, вместо того, прислал одних гусей, да и то откормленных дурандой. Я, с своей стороны, тоже роптал, потому что, после тонких обедов у товарищей, гусь, отзывающийся льняной избоиной, казался мне кушаньем, могущим играть роль где-нибудь на постоялом дворе, а никак не в столовой благовоспитанных людей. И вдруг, среди этих ропотов, в передней раздается гвалт, звяканье шпаг, споры с кухаркой, и через минуту в нашу скромную столовую врывается целая гурьба веселых молодых людей.

Мгновенно перед моим умственным взором пронеслись все мои недавние хвастовства. И тетенькино фрейлинство, и куаферы, и француз-повар, и знаменитое «gigot, dont vous me direz des nouvelles»[1]. Тетенька испуганно вращала зрачками, дети ревели, не позволяя обтереть замазанные соусом личики. Я страдал невыносимо, но и среди страданий меня не оставляла мысль, что на лестнице у нас воняет, что в передней темно и что, наконец, на столе стоит... гусь!

— Тетенька! ради Христа... одну бутылку шампанского... одну! — сказал я, не помня сам, что́ говорю.

Громовый хохот веселой толпы был ответом на мою мольбу.

— Madame! ne vous dérangez pas![2] — выступил вперед Si-

---

[1] «баранина, которую вы долго помнить будете».
[2] Сударыня! не беспокойтесь!

mon Накатников, самый глупейший и в то же время самый злейший из моих преследователей,— mais... Dieu me pardonne! [1] — она, кажется, даже не понимает по-французски! Как же ты уверял, душа моя, что она фрейлина? Messieurs! regardez-moi cette demoiselle d'honneur, qui a tout l'air d'une maquerelle! [2] А! умник (сказав это, он потрепал меня по носу пальцем) так вот как! так у твоей тетеньки бархатный шлейф! так она платит повару сто рублей в месяц! Madame! Je vous demande pardon, mais vous comprenez bien, que ce n'est pas pour vos beaux yeux que nous nous trouvons dans ce taudis: [3] он сам звал нас; он сказал, что накормит нас d'un certain gigot... ce'tte blague! [4] А затем, госпожа фрейлина, наше вам-с! С пальцем девять, с огурцом пятнадцать! — закончил он, пародируя известную гостинодворскую поговорку автора Григорьева и уводя за собой веселую толпу.

Вечер этого дня я провел как в тумане. Я сидел за своей конторкой, уткнув глаза в книгу и ничего не понимая. Кругом меня шел шепот и сдержанный, наполнявший мое сердце болезненными предчувствиями, смех. На этот раз, однако ж, сверх моего ожидания, дело обошлось благополучно. На другой день Simon Накатников первый подошел ко мне и подал руку.

— Мир! — сказал он,— все это немножко глупо вышло, и я первый сознаюсь в этом. Но согласись, что и ты отчасти виноват. Tu as été présomptueux et blagueur, mon ange! [5] Блягировать можно, но в известных границах, а ты третировал нас, как глупцов! Ты уверял, что твоя тетенька, cette vénérable vieille, qui a l'air d'une maquerelle [6],— шутка сказать, фрейлина! Sais-tu, que c'est presqu'un crime, ça? [7] Потому что ведь фрейлина — это такой пост (c'est une charge d'état, mon cher, souvenez-vous en! [8]), о котором нам с тобой всуе разговаривать не приходится... N'est-ce pas, cher? [9] Ну, а затем, все-таки мир! Не так ли?

Увы! я не только подал руку, но даже проникся благоговением к великодушию прекрасных молодых людей, которые

---

[1] Но. . прости меня, боже!

[2] Господа! взгляните на эту фрейлину, которая похожа на сводню!

[3] Сударыня! Прошу извинения, но вы сами понимаете, что не ради ваших прекрасных глаз находимся мы в этой конуре.

[4] бараниной... что за бахвальство!

[5] Ты был тщеславен и хвастлив, мой ангел!

[6] почтенная старуха, похожая на сводню.

[7] Знаешь ли ты, что это почти преступление?

[8] это государственная должность, мой милый, помните!

[9] Не правда ли, дорогой?

прощали моему недостоинству. Я и не подозревал, что у них уже созрел план более обширный: план окончательно выжить меня из «заведения».

В следующее же воскресенье план этот был выполнен. Я не знаю, как это случилось; помню только, что мы кутили где-то в задней комнате какой-то фруктовой лавки и что я, чтобы загладить мое недавнее недостойное поведение, пил вдвое больше против обыкновенного. Со мной шутили, меня поощряли и затем, напоивши допьяна, предательски оставили одного. Вечером я был привезен в «заведение» в сопровождении квартального надзирателя в бесчувственном положении.

Через неделю я был в Вышневолоцком уезде, в деревне Проплеванной, и выслушивал выговоры раздраженного отца...

Новые декорации и новый сон. Происшествия едва прожитого дня вновь вытесняют отголоски детства и выступают на первый план. Я вижу давешний суд,— и подсудимым оказываюсь на этот раз я сам.

Долгое время сдерживали Ваню узы живых воспоминаний об общих предках-корнетах, но я, так сказать, воочию уже видел, как он постепенно эмансипируется от связей родства, как накопляется и зреет в нем идея о каком-то «долге», как идея эта мало-помалу выясняется и втягивает в себя все его существо и как, наконец, он вступает в тот жизненный фазис, когда человеку постылеет свет и ничего другого не остается, как разом разрубить гордиев узел и освободить душу от массы всяческих стеснений, накопившихся вследствие вторжения в жизнь совершенно новых элементов.

И он сделал это.

Процесс моего порабощения представляет одну из тех страдальческих историй, рассказ о которых надрывает сердце человека. В древности не знали усовершенствованных способов вымучивания — это плод современной цивилизации. В старину самые проницательные люди не шли дальше физических страданий, то есть рубили, жгли, топили, и лишь тогда, когда нужно было что-нибудь доподлинно вызнать или добиться раскаяния, прибегали к некоторым утонченностям, то есть: вытягивали жилы, мешали спать, заставляли ходить по спицам и т. п. Нынче даже самый глупый человек знает, что вымучивание физическое — не больше как шалость в сравнении с вымучиванием нравственным. Нынче даже самый сущий осел — и тот норовит забраться в сокровеннейшие тайники человеческого существования и там порыться своими копытами.

Утонченность нравов породила *наслаждение* вымучиванием, наслаждение чрезвычайно сложное и прихотливое и в то же время, по свойствам своим, доступное даже людям наименее развитым. Современный мучитель требует, во-первых, чтобы вымучиваемый субъект предъявлял известную гарантию чувствительности и, во-вторых, чтобы самый процесс вымучивания был не моментален, а занимал более или менее обширный период времени. Древние ослы нападали большею частью друг на друга и друг друга залягивали всмерть, но перед высшими организмами они ощущали страх. Современный осел не только не бросается на своего собрата, но приветствует его веселым мычанием и вступает с ним в союз именно в виду того сравнительно высшего организма, перед которым трепетал его пращур. Этот высший организм самым существованием своим напоминает ослу об его ушах и, следовательно, оскорбляет его. Отмстить за оскорбление, которого нет ни в намерениях, ни в поступках мнимого оскорбителя,— вот цель всех усилий осла. Чтоб достичь этой цели, он действует и в одиночку, и в союзе с себе подобными, и так как во всех этих действиях нет ни малейшего смысла, то нападение всегда застает свою жертву врасплох и, следовательно, *всегда* увенчивается успехом. Процесс порабощения совершается с помощью таких нехитрых средств, которые могут вызвать только изумление или улыбку сожаления. Но эти нехитрые средства обманчивы и напоминают собой басню о комаре, залезшем в нос к льву. Вот и силен лев, а дрянной комаришко победил его. Он забрался в укромное место и вызудил-таки из него жизнь...

В отношении ко мне случилось все точно так, как я угадывал в те минуты скорбного бодрствования, которые предшествовали моим снам (зри выше). Я предчувствовал, что Ваня поработит меня,— и он действительно поработил в самом реальном значении этого слова. Едва я пришел с ним в соприкосновение, как уже почувствовал себя на самом дне того особенного, овошенно-циркистского мира, в котором он процветал. Я сопротивлялся, сколько мог, но самое сопротивление только глубже и глубже увлекало меня вниз. Если б я не сопротивлялся, я прямо попал бы куда надлежит и наравне с другими чувствовал бы себя гражданином преисподней. Это, во всяком случае, избавило бы меня от излишних унижений. Но сопротивление сделало из меня парию. Меня стащили в преисподнюю с некоторыми усилиями, и когда наконец крышка надо мной хлопнула, то посадили меня на цепь и стали дразнить.

Ах! это был ужаснейший сон, который вдобавок до того

походил на действительность, что весь мой организм болезненно трепетал под гнетом его!

Встретившись с Ваней, я добровольно пошел за ним в «закусочную», в которой он состоял в качестве habitué [1]. Там он лег с ногами на дырявый диван, а я сел напротив него, через стол, на стуле. Я потому так живо помню эти подробности, что именно с этого момента и началось мое порабощение. Устроившись сам, он начал убеждать меня, что гораздо будет лучше, если и я, оставив стул, лягу с ногами на диване.

— Mais regardez donc, mon oncle, comme je suis bien comme cela! [2] — говорил он мне, принимая всевозможные позы, то есть держась на локте, перевертываясь на другой бок и ложась на спину,— советую и вам, право, советую последовать моему примеру. Таким образом, мы оба устроимся очень комфортабельно, не будем женировать друг друга и поведем разговор по душе. Mais permettez! je vais vous arranger cela moi-même! [3]

С этими словами он подошел к дивану, стоявшему у противоположной стены, отодвинул стол и собственноручно меня уложил.

Я помню, как мне противно было ложиться на эту мебель, в которой, казалось, не было ни одного непроплеванного места; но, за всем тем, я лег. Мгновенно родившееся чувство гадливости мгновенно же и прошло, уступив место какому-то нелепому желанию во что бы то ни стало показать себя добрым малым, даже в ущерб бокам и чистоплотности.

Затем мало-помалу «закусочная» начала наполняться другими Ванями, точь-в-точь такими же, как и мой друг. На всех диванах лежали распростертые люди; те же, которым недоставало диванов, составляли кресла и тоже укладывались с ногами. Задымились папиросы, началось закусыванье, глотанье устриц, откупоривание бутылок. Через полчаса в комнате стоял густой дым, в облаках которого едва мерцали газовые рожки и виднелись дебелые тела Ваней, снявших с себя сюртуки. А между тем обмен мыслей шел своим чередом.

— Il n'y a rien d'aussi efficace pour restaurer les forces, comme un bon petit verre de cognac pris à jeun! Après une nuit de bamboche — c'est presque miraculeux! [4] — ораторствовал один из Ваней в одном углу комнаты.

— А я так, признаюсь, всему на свете предпочитаю рюмку

---

[1] завсегдатая.

[2] Но посмотрите же, дядюшка, как я хорош!

[3] Но позвольте! Я сам вам устрою это!

[4] Нет ничего столь действительного для восстановления сил, как рюмочка коньяку натощак! После ночного кутежа это почти чудотворно!

доброго, забористого абсента! — возражал тут же другой Ваня.

— Что абсент имеет свои достоинства, и притом очень фундаментальные,— этого я никогда не отрицал и не буду отрицать. Но для того, чтобы реставрировать силы, и притом натощак,— je vous demande pardon, mon cher, mais il n'y a que le cognac pour opérer ce miracle [1]. Поэтому у меня так заведено: как только я просыпаюсь — чтобы коньяк был уж на столе! И при этом маленький кусочек сахару — непрррременно!

— Да, уж если коньяк, то маленький кусочек сахару — это conditio sine qua non! [2] И при этом немножко цедры... un soupçon! [3] Но я все-таки утверждаю, что натощак и абсент... parlez-moi de ça! [4]

В другом углу шел спор о кобыле «Джальма», недавно выведенной в цирке.

— Нет, ты меня извини, это не лошадь! Да ты взгляни на нее! всмотрись, ведь у нее зад шилом!

— Ну, нет! «Шилом» — c'est trop dire! [5] Что у нее зад не образцовый — это так; но зато ноги! c'est une divinité! [6] Ведь это сталь, mon cher! ведь тут каждая жилка говорит! Это копыто! эта щетка!

— Не спорю, копыто настоящее... ну, и нога... Есть огонек, есть игра... il n'y à rien à dire! [7] Но зад! этот зад! И притом... у кобылы? Mais je vous demande un peu si c'est permis! [8]

В третьем углу:

— Ну, хочешь пари — сто рублей! Хочешь пари, что я сейчас же туда еду — и за пятьдесят рублей получу!

— Меньше полутораста — ни-ни!

— Послушай! кому же ты, наконец, это говоришь! А я тебе повторяю: хочешь на пари сто рублей! Из них я пятьдесят отдаю по принадлежности и представляю ясные доказательства выигрыша, на остальные пятьдесят — дюжину! Подснежников! да уверь же хоть ты наконец этого наивного человека!

В четвертом углу:

— Покуда не будет ангажирована Эмма — я в цирк ни ногой! En voilà une femme — quelle croupe! [9] А то, помилуй, двух-

---

[1] прошу прощения, дорогой, но только коньяк может произвести это чудо!

[2] непременное условие.

[3] крошечку!

[4] прекрасно!

[5] это слишком!

[6] это божество!

[7] тут ничего не скажешь.

[8] Скажите на милость, допустимо ли это!

[9] Вот женщина — какой круп!

голового соловья выписывают! Ну, черта ли мне в нем, спрашиваю я вас!

— А я так, право, не знаю: как будто только и света в окне, что Эмма! По-моему, Пальмира была лучше... au moins, elle avait des cuisses, celle-là![1] А то что ж! круп да круп — и ничего больше!

— Ты потому так говоришь, что ты только любитель, а не знаток, mon cher! Настоящий знаток что́ ценит в женщине? — он ценит посадку и устой! Главное, чтоб устой был хорош: широкий, крепкий, как вылитый! А то нашел: «les cuisses»! Ну что такое твоя Пальмира? Разве это наездница! разве это настоящая наездница?

— Однако ж и в то время бывали знатоки, которые...

— Какие тогда были знатоки? Настоящий, заправский знаток народился только теперь, а тогда были amateurs de cuisses[2] — и больше ничего. Laissez-moi en paix avec vos «cuisses», mon cher! C'est pitoyable![3]

По временам Вани обращались ко мне, называя меня «cher intrus» или «aimable provincial»[4], я отшучивался, как мог, лежа в дыму, чувствуя, как немеют мои бока, но совершенно гордый сознанием, что столько добрых малых так добры, что и меня включают в число добрых малых...

Пролежав таким образом до семи часов, я выпил множество рюмок, наглотался всякого сырья и съел из настоящей пищи только отбивную котлетку, принесенную от кухмистера Саламатова, тут же, через двор. Котлетка лежала на захватанной пальцами, отпотевшей от холоду тарелке и плавала в бульоне, покрытом кружками застывшего жира. При этом я вытирал себе губы салфеткой, которою, наверно, вытиралось не меньше трех-четырех поколений корнетов.

В семь часов — в цирк.

Что было в цирке и после цирка — я не помню. Помню только, что я снимал шубу и опять надевал, потом вновь снимал и вновь надевал...

На другой день, едва успел я ощутить страстную потребность хватить рюмку коньяку, как уже в двери моего номера стучался «молодец» из лавки и от имени Вани извещал, что «господа» собрались.

На третий и на четвертый день то же. На пятый я спохватился и велел сказать, что не приду. На столе у меня лежали

---

[1] по крайней мере, у ней были такие ляжки!

[2] любители ляжек.

[3] Оставьте меня в покое с вашими «ляжками», мой милый! Вы достойны сожаления!

[4] «милый пролаза», «любезный провинциал».

газеты за четыре дня и письмо от Менандра. «Амедей отказался! Я еду в Испанию узнать, что и как. Мартос, Фигверас, Кастелляр — какое сцепление! Вопрос: что скажет Олоцага? Надеюсь, что в мое отсутствие ты твердо выскажешься за единую и нераздельную республику, если, впрочем, не предпочитаешь ей республику федеральную. Прощай; спешу в Мадрид!»

Амедей отказался! О, превратность судеб! О, тщета величия! И все это случилось в те четыре дня, которые я провел в закусочной!

Но всякое явление имеет и худую и хорошую сторону. Жаль Амедея — слова нет, но сколько передовых статей можно написать по его поводу — этого ни в сказках сказать, ни пером описать! Таков закон судеб: валится сильный мира — а бедному человеку, смотришь, что-нибудь да и выпало! Сейчас же бегу к Мельё, и завтра же, с божьею помощью, настрочу статью. В этой статье будет огненными чертами изображено: «с одной стороны, должно сознаться, что отказ Амедея был новою неожиданностью в ряду бесчисленных неожиданностей, которыми изобилует современная история; но с другой стороны, нельзя не признаться, что ежели взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что отказ этот подготовлялся издалека и мог казаться неожиданностью лишь для тех, которые слишком поверхностно смотрят на неизбежный ход исторических событий. Все связано в этом мире»...

Но в ту минуту, как я, надевая калоши, распланировывал мою будущую статью, вошел Ваня. Он был видимо взволнован и даже слегка рассержен.

— Вы, дядя, может быть, пренебрегаете нашим обществом? — сухо спросил он, глядя на меня в упор.— У вас, может быть, есть *более умные* занятия?.. ведь вы, кажется, *ученый,* mon oncle... n'est-ce pas? [1]

— Нисколько, мой друг! Я сейчас... я только вот хотел... можно ли так истолковывать мои действия! Кстати: ты знаешь, конечно, что Амедей отказался!

— Какой еще Амедей! Que me dites-vous là! [2]

— Амедей, испанский король, мой друг. Он отказался, и я хочу...

— То есть, вы хотите сказать, что теперь вас занимает Амедей... Согласитесь, однако ж, что это только отговорка, дядя! И притом, отговорка совсем неловкая, потому что кому же, наконец, не известно, что в Испании Isabeau, а совсем не Амедей!

---

[1] дядюшка... не правда ли?
[2] Что вы говорите!

— Христос с тобой, душа моя! Isabeau давным-давно...

— Trève de mistifications, mon oncle![1] Вы не с ребенком говорите. Я спрашиваю вас совершенно серьезно: хотите ли вы провести день с нами, как вчера и третьего дня? Ежели хотите, то надевайте шубу, и идем; ежели же не хотите, то я жду объяснения, что́ именно заставляет вас выказывать такое пренебрежение к нам?

— Но клянусь же, друг мой... право, я с удовольствием. Я хотел только узнать, как это Амедей... после двухлетнего, почти блестящего...

— En bien, vous nous raconterez tout cela chez nous[2], в нашей закусочной. Я знаю, что вы «ученый», mon oncle, и уже рассказал это всем. Послушайте! ведь если Амедей уж отказался — j'espère que c'est une raison de plus pour ne pas s'en inquiéter![3]

Затем он пошел вперед, а я последовал за ним.

В этот день я рассказывал Ваням об Амедее. Что он был добрый, что он полюбил новое отечество совершенно так, как будто оно было старое, и что теперь ему предстоит полюбить старое отечество совершенно так, как будто оно новое. Потом, я в кратких словах упомянул о Дон-Карлосе, об Изабелле и матери ее Христине, о непреоборимо преданном Марфори, о герцоге Монпансьерском и в заключение выразил надежду, что гидра будет подавлена и Марфори восторжествует.

— Ну-с, а теперь ложитесь, mon oncle! Подснежников уступает вам свой диван! Vous serez notre président![4]

Недоразумение на этот раз улеглось, но черная кошка уже пробежала между нами. Я сделал очень важную ошибку, высказав разом столько познаний по части испанской истории, потому что с тех пор меня уже не называли иначе как «профессором» и «ученым». И как мне показалось, названия эти были употребляемы не в прямом смысле, а в ироническом.

Дни проходили за днями, требуя новых и новых компромиссов. Я все посещал закусочную и с невероятною быстротой устремлялся в бездну. Я давно забыл об Амедее и помнил только одно: что мне предстоит выпить в день от двадцати до тридцати рюмок коньяку и заесть их котлеткой от Саламатова.

Наконец, в одно прекрасное утро, я имел удовольствие услышать, как меня в глаза назвали нигилистом.

---

[1] Бросьте мистификации, дядюшка!
[2] Хорошо, вы нам расскажете все это у нас.
[3] надеюсь, это еще одна причина, чтобы не беспокоиться о нем.
[4] Вы будете нашим председателем!

— Любезнейший нигилист! Правда ли, что вы статеечки пописываете? — бесцеремонно обратился ко мне Ваня Поскребышев.

Это было тем более обидно, что Поскребышев был простой фендрих, который просто-напросто думал, что «нигилист» значит «мормон» или что-нибудь в этом роде. На этот раз я счел долгом даже протестовать, но — о, ужас! — по мере того как я приводил это намерение в исполнение, мой протест, незаметно для меня самого, постепенно превращался в самое заискивающее ласкательство! Это до того поощрило моих новых друзей, что один из них тут же потихоньку насыпал мне в рюмку пеплу от сигары.

Так длился целый месяц. Я не раз порывался бежать, но с меня уже не спускали глаз, так что я, совершенно незаметно, очутился в положении арестанта. У меня отняли даже возможность протестовать, потому что эти люди обладали каким-то дьявольским тактом в деле пакостей. Они устраивали пакость таким образом, что она, будучи пакостью в самом обширном значении этого слова, не переставала в то же время иметь вид шутки в несколько размашистом русском тоне. Они выдергивали из-под меня стул и тут же обнимали меня; они щипали меня за обе щеки — и тут же целовали.

— Обиделся! — говорил Ваня Подснежников,— ну, поми-римся! Согласись сам, чем же я виноват, что у тебя такие пухлые щеки! Нигилист! душка! ну, позволь же! позволь еще раз ущипнуть! Не хочет! жестокий! Господа! нигилист обиделся! надо утешить его! возьмем его на руки и станем качать!

И меня брали на руки и высоко взбрасывали, рискуя разбить о потолок мою голову. Мне кажется, что, ежели бы они сразу меня искалечили, я был бы счастлив, потому что это избавило бы меня от них...

Наконец меня объял ужас. Но вместо того чтоб бежать от моих друзей на край света, я, как и все слабохарактерные, только усложнил свое положение. Я скрылся не на край света, а в безвестный ресторанчик на Вознесенской, куда по моим расчетам ни один из Ваней не имел основания заглянуть.

Я забирался туда с раннего утра, когда заспанные гарсоны еще не начинали уборки комнат, пропитанных промозглым табачным дымом, когда заплеванные и заслякощенные полы были буквально покрыты окурками папирос и сигар, когда в двери ресторана робко выглядывали нищие и выпрашивали вчерашних черствых пирогов. Я уходил в дальную комнату, пил кофе и читал газеты. Затем ресторан наполнялся завсегдатаями, я завтракал, смотрел, как играют в биллиард, обедал и оставался до той минуты, когда ресторан запирался окон-

чательно. Через неделю я сделался тут «своим»; игроки в биллиард спрашивали у меня советов, гарсоны — слегка заигрывали.

В одно прекрасное утро я углубился в созерцание биллиардных шаров и ничего не ждал. И вдруг чувствую, что кто-то тронул меня по плечу. Обертываюсь: передо мной Ваня, который, возвращаясь с ученья, заехал в ресторанчик выпить рюмку коньяку...

Он ничего не сказал мне, а только поманил пальцем...

Это было до того странно, что многие тут же выразили уверенность, что я «скрывался», что меня «накрыли» и повели теперь к судебному следователю.

Мы ехали молча; наконец сани остановились у знакомого подъезда «закусочной». Мы прошли мимо бочек с миндалем и орехами, сопровождаемые приветливыми улыбками «молодцов», и вступили в преисподнюю. Все Вани были в сборе.

— Décidément, mon oncle, vous nous méprisez?! [1] — не то вопросительно, не то утвердительно обратился ко мне Ваня.

— Какой вздор! можно ли предполагать...

— Trève de subterfuges, mon oncle! Je vous demande, si vous nous méprisez, oui ou non? [2]

. . . . . .

И он взял с первого попавшегося под руку блюда за хвост селедку и слегка потрепал ее по моему носу.

— Vous êtes un coeur d'or, Jean! [3] — раздалось где-то, но так как-то смутно, что я не мог даже разобрать, один ли голос выразил эту похвалу или много.

В глазах у меня завертелись зеленые круги, во рту вдруг высохло. Я не знал, на что мне решиться: броситься ли на моего обидчика или самому себе разбить голову. Но, должно быть, я бросился вперед, потому что в эту минуту раздался неистовый взрыв хохота.

— Le nihiliste! je crois, Dieu me pardonne, qu'il veut faire des façons! [4] — воскликнул Ваня Подснежников, — милейший! позвольте заметить вам, что вы совсем не так смотрите на это дело! Не мы, а вы оскорбили нас, и селедка есть только то должное, чего заслуживал ваш поступок. И вместо того чтоб смириться, вы лезете... Это уже новое оскорбление, и, конечно, мы не оставим его без возмездия. Trève de condescendances!

---

[1] В самом деле, дядюшка, вы нас презираете?!

[2] Бросьте увертки, дядюшка! Я спрашиваю, презираете вы нас? Да или нет?

[3] Вы золотое сердце, Жан!

[4] Нигилист! прости господи, он, кажется, хочет поломаться!

En place, messieurs! [1] Не угодно ли вам будет судить новый поступок господина нигилиста!

Через пять минут я был осужден. Я видел, как принесли громадную банку килек и как вся эта ватага, внезапно одичав и утратив человеческий образ, бросилась на меня...

Когда я проснулся, было уж позднее утро. Я стоял среди моего номера в одном нижнем белье и кричал во всю мочь. Меня окружали больничные сторожа; из дверей выглядывали испуганные лица помешанных. Тут же стоял главный доктор, одного мания которого было бы достаточно, чтоб заключить меня в горячечную рубашку.

— Весьма вероятно,— сказал он мне иронически,— что вы и теперь будете утверждать, что умственные ваши способности находятся в нормальном состоянии?!

III[2]

<I>[3]

Волей-неволей я должен был покориться...

Я заговаривался, я видел сны, которые, несмотря на свою нелепость, до такой степени тяготели надо мной, что почти сливались с моей обыденной жизнью. В глазах психиатра, требующего от человека лишь официального здравомыслия, но зато уже не допускающего ни малейших в этом смысле отступлений, этот факт представлял слишком достаточный повод, что[б] признать меня сумасшедшим.

Меня самого до крайности мучило это беспрерывно повторяющееся смешение кажущегося с действительным. В самом

---

[1] Бросьте снисходительность! По местам, господа!

[2] Печатаются три фрагмента из сохранившейся рукописи незаконченной главы III. См. текстологический комментарий.— *Ред.*

[3] См. «Отечественные записки» №№ 2 и 4 нынешнего года. Ввиду того что между появлением второй главы и настоящей прошло шесть месяцев, считаю долгом возобновить в памяти читателя некоторые факты. «В больнице для умалишенных» составляет продолжение «Дневника провинциала», печатавшегося в 1872 году. В конце «Дневника» провинциал вследствие «разнообразий петербургской жизни» попадает в больницу для умалишенных. Здесь он встречается со своим родственником, офицером Ваней Поцелуевым, который, будучи умалишенным, без всякого стыда изливает перед ним всю суть своего внутреннего. офицерского существа. Поцелуев играет очень видную роль в обществе сумасшедших, чем он обязан непреклон-

ли деле существует то, что̀ я сознаю существующим, или только мне кажется, что оно существует? — вот в чем весь вопрос. Может ли, например, существовать такой суд, по решению которого я был бы присужден к обмазанию кильками с головы до ног? — На этот вопрос, с точки зрения *официяльного* здравомыслия, я, конечно, должен был ответить отрицательно, но в то же время мне совершенно отчетливо представлялось (да и теперь еще представляется), что такой суд не только *может* существовать, но что он даже *несомненно* где-то существует и что календари, лишь по упущению или страха ради иудейска, не показывают его адреса. Или: может ли существовать такое общество молодых людей, для которых безразлично быть гонведами, папскими зуавами, тюркосами, башибузуками и которые, ничего не зная об отречении короля Амедея, все свои досуги употребляют на изучение игры лядвий Эммы Чинизелли, Пальмиры Анато и других? — И на этот вопрос, как человек *официяльно* здравомыслящий, я *не имею права* отвечать иначе как отрицательно, но, клянусь, я не только убежден, но могу, в случае надобности, даже доказать, что таких обществ существует бесчисленное множество, что я сам видел их, этих гонведо-зуаво-башибузуков не то в театре Берга, не то в овощеной лавке Одинцова, не то, в передобеденное время, на солнечной стороне Невского проспекта, и что календари не упоминают об этих обществах единственно потому, что, руководясь старой рутиной, они под рубрикой «общества» разумеют только те, которые носят официальное клеймо.

Но как бы я ни был прав с точки зрения психологических тонкостей, я все-таки вынужден был сознаться, что мое *офи-*

ности и цельности своих убеждений, и «провинциалу» невольно приходит на мысль: что было бы, если б судьба вынудила его вечно проводить жизнь среди Поцелуевых? Сумел ли бы он покорить этих людей, или, напротив того, сам был бы покорен ими? По некоторым соображениям, второй исход оказывается более вероятным, а отсюда — понятный ужас, который овладевает «провинциалом» К довершению всего, в больнице происходит суд, на котором один из умалишенных обвиняется в «замарании халата». Это еще более возбуждающим образом действует на нервную систему впечатлительного «провинциала» Он видит страшные сны. Встревоженная его мысль рисует перед ним все перипетии, через которые проходит история его подчинения Поцелуевым, и которая разрешается судом за уклонение от посещения фруктовой лавки Одинцова, служащей обычным местопребыванием Поцелуевых. По суду «провинциал» присуждается к обмазыванию кильками, наказанию очень странному, почти фантастическому, однако же не беспримерному в истории. Понятно, что сон этот заставляет его вскочить с постели в величайшем страхе. Происшествие это заставляет «провинциала», до сих пор упорно протестовавшего против своего помещения в больницу, сознаться, что он попал туда совершенно правильно. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

циальное, календарное здравомыслие представлялось очень сомнительным. Я захватывал несколь[ко] больше, нежели сколько нужно для обыденной жизненной практики. Если б я разделял общества на ученые, благотворительные, промышленные и т. д.— всякий сказал бы обо мне: вот человек, который если захочет плюнуть, то, наверное, плюнет на пол, а не в тарелку! Но я до такой степени расширил пределы общественной инициятивы, что даже прозрел общество для изучения лядвий девицы Чинизелли,— не ясно ли, что такого рода проницательность мог выказать только помешанный!

Ни одно губернское правление в целом мире, конечно, не согласилось бы признать меня здравомыслящим, если б я вздумал перечислять перед ним все судебные учреждения, которые, как мне это достоверно известно, ютятся в петербургских закусочных, вполне независимо от официяльных судебных учреждений, и в то же время вполне самостоятельно. Представьте себе следующего рода картину. Приводят меня в губернское правление и, по обыкновению, сначала обыскивают в сторожевской, потом в канцелярии и затем уже вводят в присутствие. В присутствии председательствует генерал, который одним своим видом устраняет всякую мысль о возможности какого-либо иного суда, кроме скорого. Пошептавшись предварительно с доктором и перелистовав наблюдательный журнал, председатель приступает к допросу.

— А нуте, не угодно ли вам перечислить судебные учреждения, находящиеся в столичном городе Санкт-Петербурге! — обращается он ко мне и в то же время подмигивает прочим присутствующим, как бы говоря: «J'espère, que nous allons rire!» [1]

— Судебных учреждений в столичном городе Санкт-Петербурге — бесчисленное множество,— отвечаю я, твердо и звонко отчеканивая каждое слово,— во-первых, суд по вопросам о замарании халата — имеет главное местопребывание в фруктовой лавке такой-то (имярек), и сверх того имеет постоянно действующие отделения и в других лавках, занимающихся продажею овощеных и колонияльных товаров; во-вторых, суд по вопросам, кто кого перепьет, имеющий главное местопребывание в ресторане Дюссо и отделения во всех других заведениях, производящих торговлю питьями распивочно и навынос; в-третьих, суд по вопросам о нормальных размерах женских устоев и лядвий — главное местопребывание: зимой в театре Берга, летом на Минерашках; отделения: в русском

---

[1] Надеюсь, мы посмеемся!

семейном саду, в Орфеуме, в Эльдорадо, Шато-де-флер и других; в-четвертых...

— Очень хорошо. По сущей ли справедливости вы говорите это? — прерывает председатель поток моего красноречия.

— Не токмо по сущей справедливости, но так точно, как бы мне в том...

— Достаточно, не трудитесь продолжать. Теперь не угодно ли вам будет объяснить присутствию, какие существуют в столичном городе Санкт-Петербурге общества, обязанные своим возникновением частной инициятиве!

— Таких обществ множество. Во-первых, общество карманной выгрузки, рассеянное по конторам акционерных и промышленных компаний; во-вторых, общество юных шалопаев космополитов, под фирмою «Разорву!», рассеянное во всех тех местах, где имеют местопребывание сейчас мною названные суды; в-третьих...

Но председатель уже не смеется и не подмигивает; напротив, он негодует, он весь бледен от гнева. В ответе моем он видит не результат моей житейской прозорливости, а почти что преступление. Он даже жалеет, что тут примешалось умственное расстройство, которое волей-неволей он должен принять во внимание в качестве смягчающего обстоятельства.

Весь в поту от охватившего его волнения он быстро вскакивает с места и громовым голосом возглашает:

— Признать этого негодяя сумасшедшим навсегда! Лечить его! Посадить его на цепь! Надеть на него горячешную рубашку! Лить ему на темя холодную воду! и никогда не представлять никуда для переосвидетельствования!

Вот приговор, которого я должен был ожидать за то, что не довольствовался календарным здравомыслием, но прозревал! Весьма естественно, что подобная перспектива не могла не умерить мою строптивость. Я весь был во власти главного доктора больницы Он мог написать обо мне что хотел в наблюдательном журнале, и он же как хотел руководил допросом при свидетельстве. Поэтому всякий протест против помещения моего в больницу не только был бесполезен, но даже мог рассердить его и косвенным образом послужить к отягощению моей участи. Сообразив все это, я решился смириться.

Как только стихло впечатление, произведенное моею утреннею выходкой [1], я подошел к доктору и, приняв на себя личину смирения, сказал ему:

---

[1] Выходка эта заключалась в страшном крике, который поднял «провинциял», вследствие виденного им сна. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Доктор! я вижу, что упорство, с которым я отрицал свое умопомешательство, принесло вам очень много огорчений, а для меня осталось без малейшей пользы. Теперь я решился больше не огорчать вас. Я болен и сознаюсь в этом.

Сознание это приятно изумило его. На минуту, однако ж, он как бы усумнился и пытливо взглянул мне в лицо. Но на лице моем было столько искреннего раскаяния, что самый придирчивый скептицизм счел бы себя обезоруженным.

— Очень рад! — отвечал он, — рад и за себя и за вас, потому что, как я уже имел честь однажды объяснить вам, успех нашего лечения во многом зависит от того, обладает ли пациент сознанием своей болезни или не обладает им. Вы сознаете себя помешанным — это уже признак! Да-с, это очень-очень хороший признак, с которым я от всей души поздравляю вас!

— Об одном только я попросил <бы> вас, доктор... Я публицист и... пенкоснимателъ! Я не могу обойтись без того, чтоб не написать хотя одну передовую статью в день! Если я буду лишен этого утешения — я непременно впаду в уныние!

— Вот это-то и есть именно та вещь, которой я ни под каким видом допустить не соглашусь. Ни читать, ни писать. Да и неужели вам не надоело это пенкоснимательство! Слушайте! когда вы выздоровеете, я дам вам сочинение доктора Тиссота по этому предмету — вы увидите, до чего может довести эта изнурительная страсть! Верьте мне, что это именно она погубила вас. На днях я прочитал в «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательнице» вашу статью... помните, ту, которая трактует об удлинении цепей мировых судей... скажите, пожалуйста, для чего вы начали ее словами: «Постараемся представить себе, какой ход приняла бы всемирная история, если б Западная Римская империя не пала под ударами варваров»?

— Помилуйте, доктор, ведь это эрудиция?

— Извините меня, а по-моему, это просто бездельничество. Но пусть это будет эрудиция: спрашиваю вас, какая масса умственного напряжения была необходима, чтоб от Западной Римской империи перейти к значкам мировых судей?

— Формально никакой. Повторяю: это эрудиция — и больше ничего.

— Гм... стало быть, у вас есть нечто вроде складочного магазина, из которого...

— Так точно, доктор. Я каждый день хожу в этот магазин, отыскиваю в нем факт или даже фразу и приурочиваю к ним современность. В тот самый день, когда я очутился здесь, у меня уже скомпоновалась в голове целая статья, которая должна была начаться так: «Постараемся представить себе, что Вашингтон действовал не в Америке, а где-нибудь у нас, напри-

мер, в качестве председателя Новосильской земской управы»... И поверьте, что я свел бы концы с концами без всякого умственного напряжения!

— Гм... если это так легко... но нет! все, кроме этого! Повторяю вам: нет вещи более изнурительной, как пенкоснимательство, и в вашем положении...

— Но что же я буду делать, доктор? ведь я пропаду со скуки!

— Не пропадете. Здесь всякий из ваших товарищей — такая живая книга, читая которую вы, незаметно для самого себя, забудете и про Западную Римскую империю в применении к значкам мировых судей, и про Вашингтона в применении к Новосильской земской управе. Вон видите, в углу сидит субъект в синем вицмундире, который делает рукою движение, как будто закупоривает? Это педагог. У него имеется целый педагогический план, ближайшая цель которого — истребление идей. Не одних только «вредных» идей, а идей вообще. Он пробовал даже применить этот план в одном из здешних воспитательных заведений, но задача оказалась до того грандиозною, что он первый пал под ее тяжестью и очутился в числе моих пациентов. Товарищи по больнице его недолюбливают и боятся: он слишком беспощаден, слишком логичен в своем помешательстве. Один только господин Поцелуев не только не боится его, но смеется над ним и называет не иначе, как старым, изъеденным молью треухом. И что всего замечательнее, педагог не только не обижается этим, но говорит, указывая на вашего племянника: вот мой идеал! вот чем, по моему плану, должно бы быть *все* молодое поколение!

Действительно, в углу комнаты сидел небольшой и до крайности мизерный человечек, который проворно делал руками загадочные движения, как будто закупоривал ими какой-то воображаемый сосуд. Закупорит один сосуд — и отбросит в сторону, потом примется закупоривать другой сосуд — и опять отбросит. И в то же время другою рукою шарит в воздухе около себя, как будто ищет, не спряталось ли где-нибудь еще что-нибудь, что можно было бы закупорить. По наружности этого субъекта нельзя было определить его лета. Лицо у него было старческое, дряблое, усталое, но глаза молодые, которые так и бегали по всему пространству комнаты.

— Господин Елеонский! потрудитесь пожаловать к нам! — обратился к нему доктор.

Человечек встал как встрепанный и, повиливая спиною, мелкими шажками подбежал к нам.

— Ну-с, много сегодня закупорили молодых людей!

— Понемножку, господин доктор! понемножку — хе-хе! по

мере слабых моих сил! — отвечал Елеонский необыкновенно мягким, почти женским голосом, от которого, несмотря на его мягкость, меня подрал по коже мороз.— Я-то свое дело делаю,— вот другие-то плохо содействуют! Один за всех-с!

— Ну, вы и без помощников выполните свою задачу! А покуда оставьте-ка на время ваши занятия да расскажите господину «провинциялу», в чем заключается ваш педагогический план.

— Хе-хе! это насчет мальчиков-с? Извольте, сударь, извольте!

И прежде нежели я мог произнести слово, доктор удалился, оставив меня в жертву этому странному существу.

III[1]

С раннего утра в больнице царствует загадочное движение. Сумасшедшие в агитации перебегают от одного к другому и о чем-то таинственно между собой шепчутся. В качестве новичка я остаюсь в стороне от общего движения, но, по долетающим до меня отрывочным фразам, довольно легко догадываюсь, что движение это имеет политический характер и что в больнице готовится что-то вроде бунта. По-видимому, самый бунт уже решен в принципе, но существуют подробности, которые производят в мире умалишенных раскол. Консерваторы требуют, чтоб о бунте был предупрежден доктор, либералы, напротив того, настаивают, чтоб затея была выполнена без дозволения. По обычаю всех политических партий противники горячатся, обмениваются ругательствами и упрекают друг друга в измене.

— Уж если бунтовать, так бунтовать без позволения! иначе, какой же это будет бунт! — говорят либералы.

— Бунтовать без позволения — значит показывать кукиш в кармане,— возражают консерваторы,— как вы ни вертитесь, а это единственная форма бунта без позволения, которая нам доступна. Но скажите по совести: разве это бунт?

— Позвольте-с. Что мы не можем бунтовать иначе, как показывая кукиш в кармане,— это так. Но это печальное требование времени — и ничего больше. Это скудная форма современного [русского] бунта, которая, однако ж, отнюдь не предрешает вопроса о форме и содержании бунтов в будущем. Тогда как, вводя элемент позволения, вы прямо уничтожаете самую сущность бунта, вы, так сказать, самое слово «бунт» вычеркиваете из лексикона!

---

[1] Вариант второй.— *Ред.*

— И прекрасно-с. Мы совсем не о полноте лексикона хлопочем, а о том, чтоб был бунт. Достигнуть же этого можно лишь в том случае, когда бунт будет поставлен нами, так сказать, на законную почву, то есть снабжен всеми необходимыми разрешениями. А как он там будет называться: бунтом или чрезвычайным собранием — до этого нам нет дела!

— Но это будет не бунт — поймите!

— В таком случае назовем его чрезвычайным собранием — и дело с концом!

Слыша эти загадочные речи, видя этих людей, которые озабоченно ходят взад и вперед, размахивая полами халатов и усиленно нюхая табак, я начинаю чувствовать невольную оторопь. Недавние заседания международного статистического конгресса и последовавший за ними политический процесс в Отель-дю-нор — все это слишком живо в моей памяти, чтоб навсегда не расхолодить во мне охоту к [новым] политическим [подвигам] треволнениям. И вдруг, впереди — еще целый бунт... и быть может, даже без позволения! Зачем, спрашивается, приехал я в Петербург? Затем ли, чтобы в конце концов быть взятым с оружием в руках... в сумасшедшем доме?!

С самых юных лет я представлял себе бунт не иначе как в форме вторжения чего-то совершенно непрошеного, ненужного в обычное спокойное течение человеческой жизни. Все учебники, изданные для руководства в военно-учебных заведениях, единогласно свидетельствуют в этом смысле, а известно, что ничто так прочно не залегает в человеческую память, как хорошо вытверженный в детстве учебник. Испокон веку во всех странах мира обыкновенно бунтовала только подлая чернь, и притом всегда без позволения. Из-за чего бунтовала — этого не знает ни один учебник, но бунтовала самым неблаговоспитанным и, можно даже сказать, почти нецелесообразным способом. Придет, перевернет вверх дном привычки, комфорт, сладкое far niente [1], а назавтра, смотришь, опять как ни в чем не бывало обратится к обычным занятиям. [Что тут хорошего!] Сидит, например, человек в халате, пьет чай, читает «Старейшую Всероссийскую Пенкоснимательницу» (в которой тоже все: и редакторы и сотрудники сидят в халате и пьют чай) — и вдруг бунт! Вбегают бунтовщики, чай проливают, булки топчут, над «Пенкоснимательницей» производят надругательство... И вот, надо снимать халат, надевать сапоги и идти бунтовать вместе с прочими! А на дворе слякоть, холод, тротуары, по случаю бунта, нигде не посыпаны песком... Не успел отбунтовать, сел за обед, не доел пирожного — опять бунт! И таким

---

[1] ничегонеделание.

образом целый день, пока самих бунтовщиков не сморит сон... Разумеется, сном бунтовской хмель пройдет, и к утру бунтовщики будут как встрепанные: и дворы мести, и лед на улицах скалывать, и тротуары песком посыпать — хоть куда! Как же тут не возражать! как не сказать: господа! ужели для того, чтобы завтра опять «обратиться к обычным занятиям», необходимо тревожить покой партикулярных людей!

Таково впечатление, производимое рассказами о бунтах, помещаемыми в учебниках, издающихся для военно-учебных заведений.

Тем не менее, ежели бы дело ограничивалось только временным нарушением комфорта — с этим можно было бы еще примириться. Ну, не дали допить чай, вырвали из рук «Пенкоснимательницу» — не драгоценность же, в самом деле! Но беда в том, что когда бунты оканчиваются, то вслед за тем обыкновенно начинается переборка, — а это уж такое сквернное препровождение времени, какого не дай бог никому. Вы сидели в халате и пили чай, а оказывается, что вы обязывались воспрепятствовать и не воспрепятствовали. Вы из учтивости сняли халат и надели сапоги, а оказывается, что вы не только не воспрепятствовали, но даже выразили готовность и содействие... И те же самые люди, которые не дали вам доесть пирожное, которые выгнали вас из теплой комнаты на слякоть и стыть, — они же и обличают вас в невоспрепятствовании! «Да,— говорят они,— он не воспрепятствовал! он ни одним словом, ни одним жестом не отклонил нас от наших преступных намерений, хотя — бог видит наши сердца! — мы ждали только доброго, прочувствованного слова, чтоб изумить мир обширностью нашего раскаяния!»

И вот, начинается переборка. Преступники разбиваются на категории, в числе которых есть одна под наименованием: «преступники, пившие во время бунта чай». Нет слова, само начальство относится к подобным преступникам как к наименее скомпрометированным, но ведь для того, чтобы доказать, что вы не бунтовали, не подстрекали, не укрывали, а просто только пили чай, — сколько времени надобно прошататься по следствиям и по судам! какую сумму выслушать сквернословия! сколько выразить чувств, которых в обыкновенное, мирное время, быть может, и сам в себе не подозревал! И все это не для того, чтоб совсем очиститься, а для того, чтоб быть по суду утвержденным в звании преступника, «пившего во время бунта чай»! Подите суньтесь куда-нибудь в этом звании! Вы желаете получить место на казенной службе, вам говорят: ба! да ведь вы тот самый, который в таком-то году не воспрепятствовал! Вы ходатайствуете насчет железнодорожной концес-

сии — вам объявляют: послушайте! разве вы не помните, что в таком-то году вы оказывали содействие! Заметьте: вы уж не «тот, который пил чай», а тот, который «не воспрепятствовал» и «оказывал содействие»! Оправдывайтесь! восстановляйте истину! Покуда вы доказываете да представляете факты — глядь, ан концессию-то уж подтибрил Губошлепов!

Ввиду этих последствий всякий поймет, что вопрос о том, в чью пользу решится возникший спор, то есть консерваторы или либералы возьмут верх, получал для меня первостепенную важность. Как ни странным кажется «дозволение», примененное к слову «бунт», но на практике подобные странности далеко не невозможны. Отчего бы начальству, в воспитательных или иных целях, не допустить эту новую методу бунтов в пределах своего ведомства, ведь и бунтуя можно выразить непреоборимую преданность, и бунтуя можно доказать, что только беспредельное начальстволюбие вынуждает нас ввергаться в бездны оппозиции! «Начальство слишком снисходительно!», «Начальство недостаточно строго разыскивает корни и нити!» — вот темы для бунтов, против которых, конечно, ни одно начальство в мире не найдет сказать ни одного слова! И это настолько известно опытным бунтовщикам, что они не только не избегают благонамеренных бунтов, но даже ожидают от них для себя повышений и наград...

Но покуда я рассуждал таким образом, опасения мои разрешились гораздо проще, нежели я мог ожидать. В самый разгар обличений и суеты в залу вошел доктор и сразу угадал, в чем дело.

— Вы, господа, вероятно, бунтовать желаете? — совершенно спокойно обратился он к обществу сумасшедших.

<III>[1]

— Да, Иван Карлыч, желательно бы! — с дерзостью выступила вперед одна из тех личностей, которых на воле обыкновенно называют коноводами и зачинщиками.

— Что ж... это можно! — разрешил доктор, даже нимало не подумав,— разумеется, однако ж, с условием, чтоб бунт происходил в порядке! Не правда ли, господа?

— Помилуйте, Иван Карлыч! Не в первый раз бунтовать! Кажется, знаем!

— Ну да, я вполне убежден, что вы не употребите во зло

---

[1] Вариант третий.— *Ред.*

моим доверием. Но, знаете, на всякий случай все-таки лучше, если кто-нибудь будет руководить бунтом. Господин Морковкин! вы так долго служили предводителем до поступления в наше заведение, что порядки эти должны быть вам известны в подробности. Я назначаю вас главным бунтовщиком!

Из толпы вышел простоватый детина со всеми внешними признаками дозволенного бунтовщика: с желудком, начинавшимся чуть не у подбородка, и с жирным затылком, на котором, казалось, вытерлась от долгого лежанья шерсть. Он осмотрелся исподлобья кругом, словно поднюхивал, нет ли где съестного.

— Отобедать бы прежде нужно! — сказал он угрюмо.

— Совершенно справедливо. Итак, мы сначала пообедаем, господа, а между тем вы постараетесь уяснить себе цель бунта и вероятные последствия его. До свидания, messieurs, и бог да просветит сердца ваши!

Сказав это, доктор приблизился ко мне и, взяв меня под руку, отвел в сторону.

— Вот вам и развлечение, — сказал он, — а вы еще жалуетесь! наверное, вы никогда не видали бунтов!

— Помилуйте! жить в провинции — и не видать бунтов! — обиделся я,— да у нас там такие бывают бунты! такие бунты! Одни помпадуры сколько, от нечего делать, набунтуют!

— Да, но это бунты казенные, а у нас бунт вольный!

— И вольные бунты бывают — помилуйте! У нас, доктор, в рязанско-тамбовско-саратовском клубе сойдутся двадцать человек — сейчас бунт! Одни бунтуют, другие содрогаются.

— Ну, стало быть, приятное воспоминание возобновите!

Мы сделали несколько шагов молча.

— А что, доктор, — начал я, несколько конфузясь, — позволю я себе вас спросить... последствий... никаких не будет?

Он остановился и изумленными глазами взглянул на меня.

— Объснитесь, пожалуйста, я не совсем понимаю вас.

— Да так... после бунтов обыкновенно переборка бывает... А между тем мои чувства... у меня, доктор, такие чувства, что если б вы могли заглянуть в мое сердце... Теплота-с! Да не простая теплота, а именно самая настоящая!

— Я вижу, вы опасаетесь ответственности... разуверьтесь же, друг мой! Наши бунты хорошие, доброкачественные бунты, и предмет их таков, против которого никогда бунтовать не запрещается. Но, впрочем, чтоб успокоить вас окончательно, я познакомлю вас с одним из ваших товарищей, который разъяснит вам и значение наших бунтов, и порядок их производства, и вероятные их последствия. Мсьё Соловейчиков! Позвольте

попросить вас уделить полчаса времени вашему новому товарищу!

По вызову доктора к нам приблизился необыкновенно унылого вида старец, белый как лунь, с потухшими глазами, с пепельным цветом лица и с глухим, словно могильным звуком голоса.

— Я старейшая развалина в этом мире развалин...— начал он карамзинским слогом, потрясая медленно головой.

— Вы расскажете это после. Рекомендую. Сергей Павлович Соловейчиков, самый старый из моих пансионеров. Он с лишком тринадцать лет (со времени рескриптов на имя виленского генерал-губернатора — помните?) находится в заведении и знает все наши порядки. Сергей Павлыч! — продолжал доктор, обращаясь к Соловейчикову, — наш новый друг несколько опасается предстоящего бунта. Вы постараетесь успокоить его, объяснив как значение этой игры, так и способ ее производства. Никто лучше вас не может сделать это. Итак, объяснитесь, господа, переговорите, и, вероятно, все недоразумения уладятся сами собой. Я бы и сам охотно зашел взглянуть на бунт, но у меня такое правило: предоставлять каждому бунтовать без малейших стеснений! Я практикую это правило очень давно и ни разу не имел случая раскаяться в том. До свидания, господа!

«Я старейшая развалина в этом мире развалин»,— начал Соловейчиков, когда мы расположились в моем номере. Я помню время, когда сословие сумасшедших освещало мир своими доблестями, когда [дворянские] наши собрания были людны и шумны, когда [помещичьи усадьбы] наши дома гремели весельем, когда [помещичьи] наши жены были белы, [помещичьи] наши дочери румяны, [помещичьи] наши стада тучны, [помещичьи] наши рабы верны и когда крепостной труд наполнял вселенную своими благоуханиями!

О! как много я помню, и сколько мук я терплю от того, что так много и так отчетливо помню! Я видел, как рушилось построенное веками здание, как люди лукавили и лгали, чтоб задержать уходившую от них жизнь, и как, назло всем усилиям, мир с ужасающей быстротой наполнялся могилами. На моих глазах нежданно упала загадочная завеса, которая разом закрыла и наше прошлое, и наше будущее. Застигнутые врасплох, мы тщетно обращали друг к другу вопрошающие взоры: увы! мы не нашли в этих взорах ничего, кроме изумления!

Те из нас, которые были сильны духом, поняли, что им ничего больше не остается, как умереть. Все, что составляло обаяние жизни, что заставляло дрожать в груди сердце — все разом перестало жить. Даже нити, привязывавшие к отечеству, — и те как бы порвались. Мы видели перед собой Россию, но не ту, которую привыкли любить. Любить эту *новую* Россию мы не могли принудить себя, ненавидеть ее — не имели решимости. Повторяю: лучше всего было умереть. Но — увы! смерть безжалостна даже в пощадах своих. Она щадит именно тех, которые всего более нуждаются в забвении могилы. Одного из таких несчастных, которых не тронула ее коса — вы видите перед собой...

ПРИМЕЧАНИЯ

Вводные статьи к «Господам ташкентцам» и «Дневнику провинциала в Петербурге» — *А. М. Туркова*

Подготовка текста, а также текстологические разделы статей и примечаний

В. Н. Баскакова — «Господа ташкентцы», «Ташкентцы приготовительного класса (параллель пятая и последняя)», *Д. М. Климовой* — «Дневник провинциала в Петербурге», «В больнице для умалишенных».

Комментарии — *Л. Р. Ланского*

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ТОМА

БВ — газета «Биржевые ведомости».

ВЕ — журнал «Вестник Европы».

Герцен — А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, Изд-во АН СССР, 1954—1966.

ГМ — журнал «Голос минувшего».

ИВ — журнал «Исторический вестник».

Изд 1873 — «Господа ташкентцы». Картины нравов. Сочинение М. Салтыкова (Щедрина)»; СПб. 1873; «Дневник провинциала в Петербурге». Сочинение М. Салтыкова (Щедрина), СПб. 1873.

Изд. 1881, 1885 — то же, издание второе, третье, СПб. 1881 и 1885.

Изд. 1933—1941 — Н Щедрин (М. Е. Салтыков). Собр. соч. в 20-ти томах. Гос. изд-во художественной литературы, М. 1933—1941.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

ЛН — непериодические сборники АН СССР «Литературное наследство»

МВ — газета «Московские ведомости».

Некрасов — Н. А Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах, Гослитиздат, 1948—1952

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

ПГ — «Петербургская газета».

Р. вед.— газета «Русские ведомости».

РВ — журнал «Русский вестник».

РМ — газета «Русский мир».

РС — журнал «Русская старина».

«Салтыков в воспоминаниях...» — сборник «М. Е. Салтыков в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарий С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957

СПб. вед.— газета «Санкт-Петербургские ведомости».

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

Одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы» — возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. За спадом в середине 60-х годов волны крестьянской революции Салтыков увидел не только «вставшую из гроба николаевщину», не только свору крепостников, пытавшихся залечить нанесенную им реформой 19 февраля 1861 года (при всем ее урезанном характере) рану, но и вступивший на арену истории российский капитализм.

Лелеянный писателем в конце 50-х и начале 60-х годов замысел «Книги об умирающих» (см. т. 3) претворился из плана сочинения, которое могло стать эпитафией крепостничеству, феодальному режиму, в объективно сложившуюся из многих его произведений летопись тех усилий и ухищрений, которыми продлевал свое историческое существование обреченный строй.

Капитализм оборачивался к Салтыкову отнюдь не теми своими сторонами, в которых заключалась его историческая прогрессивность, а иными — мрачными, цинически-деляческими, хищными.

Салтыков «подозревал» в российской буржуазии «реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет». Разница между этими и прежними хозяевами жизни — всего лишь в размахе и размере аппетитов, в степени хищнической прыти. Никаких задатков исторического творчества русская буржуазия, с его точки зрения, не имеет. Она всего лишь новый паразит на теле народа, усугубляющий его страдания. Опустошение и ограбление — вот единственные плоды, которые она приносит. С ее появлением на общественной арене пульс жизни стал лихорадочней, безудержная алчность открыто и нагло вторглась во все сферы человеческого существования.

Хищнический характер этой эпохи все более и более явственно определял для писателя своеобразие переживаемого исторического момента.

Уже в публицистике Салтыкова 60-х годов показано нарастание этого явления. Взгляд писателя обостряется, все более фиксируется на заинтересовавшем его общественном феномене, происходит, по выражению А. С. Бушмина, «последовательное усиление художественного элемента за счет публицистического» [1]. Художественное исследование современности, стремление классифицировать кишащую массу хищников порождает цикл «Господа ташкентцы», эту своего рода галерею «героев» наступившего времени.

Характер эпохи, когда, по толстовскому выражению, «все... переворотилось и только укладывается», изменение «направления жизни» и отсутствие в ней «цельности», на что Салтыков уже давно обратил внимание, заставляли его как художника напряженно размышлять о возможностях и способах отражения тогдашней действительности.

---

[1] А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, Изд-во АН СССР, М.— Л. 1959, стр. 111.

Является ли уделом писателя, да к тому же еще подцензурного, в эту пору простое собирание материалов, а наиболее эффективными — малые жанры? Таким вопросом задается Салтыков, готовя к печати отдельное издание «Господ ташкентцев».

И хотя для себя лично он отвечает на этот вопрос утвердительно, именуя себя «собирателем материалов», а всю книгу — «этюдами», но он все же предвидит появление «гениального писателя, имеющего создать новый роман», который выйдет из прежних рамок семейственности на широчайшую общественную арену.

В своем окончательном виде «Господа ташкентцы» представляют собой сатирический цикл, по жанру родственный скорее «Помпадурам и помпадуршам», чем «Дневнику провинциала в Петербурге».

Переходный, колеблющийся между уже привычным для Салтыкова жанром цикла и «искомым» типом общественного романа, характер замысла книги обусловил еще большую, чем обычно у писателя, «вольность» композиции. Так, в своем окончательном виде «Господа ташкентцы» вобрали в себя ранее отдельно существовавший очерк «Митрофаны», ставший «Введением» к книге, а главы, посвященные «ташкентскому делу» — и в его весьма расширительном, и в его более узком толковании («Что такое «ташкентцы»?», «Ташкентцы-цивилизаторы» и «Они же») — предшествовали тем, которые рисуют происхождение и истоки ташкентства и ташкентцев.

«Сцепление глав чисто внешнее,— справедливо указывает Е. Покусаев.— Литературная цельность отсутствует при наличии, однако, большой жизненной цельности» [1]. Последняя, разумеется, с лихвой искупает композиционное несовершенство книги.

В одной из рецензий Салтыков упрекал автора романа «Мандарин» Н. Д. Ахшарумова, рисовавшего фигуру современного «дельца», в «некоторой несмелости в изображении существенных черт главных действующих лиц» (см. т. 9). «Господа ташкентцы» отличаются как раз поразительной художественной смелостью, дерзновенностью, с которой сатирик исследует и обобщает явления новой действительности.

«Его типы сразу же становятся такими же популярными, как типы Островского и т. д.,— писал Н. Даниэльсон К. Марксу, посылая ему «Дневник провинциала»,— сатиры единственного, уцелевшего умного представителя литературного кружка Добролюбова — Щедрина.— Никто не умеет лучше его подмечать пошлые стороны нашей общественной жизни и высмеивать их с бо́льшим остроумием» [2].

Поводом для появления одного из самых блестящих сатирических обобщений Салтыкова — типа «ташкентца» — послужили события, происшедшие после овладения Россией обширными территориями Средней Азии.

Завоеванный в 1865 году Ташкент через два года стал центром нового

---

[1] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 168.

[2] Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, М. 1951, стр. 92.

Туркестанского генерал-губернаторства. Хлынувшая сюда орда чиновников быстро навела в присоединенном крае свои порядки, занялась откровенным грабежом местного населения, присвоением сумм, ассигнованных на казенные нужды.

Имя Ташкента перешло из победных военных реляций в рубрики уголовной хроники. Эпизод ташкентской службы становится довольно частой подробностью в биографиях уголовных преступников и скандалистов.

«Читали вы о том, как полупьяный капитан, из Ташкента, дрался с полицией, расквасил кой-кому носы, своротил рыла и жалел, что нет под рукой шашки, а то бы снес с плеч дурацкие головы дворников и полицейских»,— спрашивал в феврале 1873 года в одном из писем К. Д. Кавелин [1].

Либеральная пресса возмущалась лишь крайними формами произвола и «бесстыжества», с которыми действовали в Средней Азии царские чиновники, Салтыков же воспринял «ташкентство» как характерное, хотя и достигшее в благоприятных условиях особенно поразительных размеров, проявление аморальных, хищнических инстинктов правящих классов.

Поворот к политической реакции, обозначившийся в середине 60-х годов, позволил найти новое применение активности консервативного дворянства и чиновничества, с азартом и выгодой для себя участвовавших в различных карательно-репрессивных мероприятиях правительства, стремившихся еще более урезать проведенные реформы и беззастенчиво вторгавшихся в любую сферу общественной жизни.

События в Туркестанском генерал-губернаторстве как бы вовремя подоспели, чтобы Салтыков мог еще больше прояснить перед читателем тип, уже складывавшийся в его публицистике и первоначально называвшийся «шалунами» («Наша общественная жизнь» — т. 6, стр. 159), «легковесными» и «хищниками» («Признаки времени» — т. 7).

Существует мнение, что первый, по времени публикации в «Отечественных записках», очерк «Ташкентцы-цивилизаторы» еще не содержал полной художественной и публицистической характеристики нового типа.

Действительно, наиболее развернуто понятия «Ташкент» и «ташкентцы» раскрыты в следующем опубликованном очерке «Что такое «ташкентцы»?». Однако уже в «Ташкентцах-цивилизаторах» герой охарактеризован как человек, который «ничего не знает», но «ни перед какой профессией не задумывается», «как просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим», циничный по самой своей сути.

Сама биография героя первого же очерка Салтыкова не исчерпывается его «ташкентским» подвигом — растратой казенных денег, которую он совершил, так и не попав в Ташкент. Он уже обладает определенным политическим лицом: участвует в подавлении польского восстания 1863 года, и если не «цивилизовал» внутренних губерний России, то лишь потому, что «в этих благодатных краях все уже до такой степени процивилизовано»,

---

[1] *РС*, 1899, т. 97, стр. 156.

что ему «оставалось только преклониться ниц» перед тем, что уже было «создано» его бравыми предшественниками.

«Вероятно, по дороге я засмотрелся на какую-нибудь постороннюю губернию и... Господи! Тут есть какое-то волшебство. Злой волшебник превратил в Ташкент Рязанскую губернию... Рязанскую или Тульскую?!» — припоминает герой случившееся.

Тут уже заключен «магический кристалл», сквозь который будет показан и рассмотрен тип «ташкентца»: сам «Ташкент» — в узком смысле слова — на сцене так и не появится, но «волшебство» сатирика обнаружит Ташкент уже в широком смысле этого слова в различных аспектах внутренней и внешней политики самодержавия, в различных областях социальной и духовной жизни.

Салтыков поочередно «превращает в Ташкент» то находившуюся под управлением России часть Польши, то Петербург, делая его ареной разнузданных «подвигов» компании «Робкое усилие благонамеренности».

Тем не менее современная Салтыкову пресса, охотно подхватив изобретенную им кличку, ограничивалась самой узкой ее трактовкой, приурочивала ее исключительно к событиям и героям скандальной уголовной хроники Наиболее важные для сатирика аспекты «ташкентства», таким образом, скрадывались, оставались в тени [1].

В очерке «Что такое «ташкентцы»?» Салтыков публицистически развил свое понимание «ташкентства», обнажив от «покровов обыденности» целый ряд внутренне однородных явлений, которые обобщенно выражены этим названием.

Здесь были даны вышеприведенные характеристики ташкентца как просветителя, свободного от наук, и определение Ташкента, который, «как термин отвлеченный... есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где «имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем»

Салтыков вкратце обрисовывает и такие модификации ташкентства, которые способны пережить общество, породившее это явление: «Ташкент удобно мирится с железными дорогами, с устностью, гласностью, одним словом, со всеми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится так называемая цивилизация. Прибавьте только к этим выгодам самое маленькое слово. фюить! — и вы получите такой Ташкент, лучше которого желать не надо».

Но главным желанием писателя остается проделать такую разъяснительную работу, которая «может внести в общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный» для определенного понимания процессов современной ему жизни.

В очерке «Митрофаны», позднее ставшем «Введением» ко всей книге, он дорисовывает сатирический облик отечественного «ташкентца».

Крепостное право, когда «ташкентец» или его предки безапелляционно

---

[1] См. об этом: Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 154—155.

определяли судьбу подвластных им людей, не улетучилось из его памяти и «удостоверяет» его «право» относиться к окружающей жизни как к материалу для его размашистых действий. Идолопоклонник табели о рангах, закреплявшей за ним завидную долю жизненных благ, он ведет свой род от фонвизинского Митрофанушки и по-прежнему убежден, что все то вздор, чего он не знает.

Правда, времена изменились, и он лишился части «дедовских прав» Однако «ташкентец» видит в этом не исторический процесс «перемещения материальных и умственных богатств из одних рук в другие», а простую случайность, обидную оплошность или еще чаще вражьи козни.

Правда, он усвоил, что вслед за необходимостью сменить кафтан на фрак пришлось поступиться и некоторыми другими прежними формами, что, желая чего-нибудь достичь, ныне не в пример удобнее сослаться не на свою «господскую прихоть», а на интересы «просвещения и цивилизации».

А чтобы избежать действительной цивилизации, с ее «развращающими», гибельными для старых общественных форм, последствиями, можно заявить о том, что Запад разлагается и его наука поражена бесплодием, что нечего носить «чужое белье», а пора бы сказать собственное «новое слово» и т. д.

Возможно, что в этой части очерка Салтыков полемизировал с националистическими идеями, которые развивал в это время Н. Я. Данилевский в статьях на страницах журнала «Заря», составивших затем книгу «Россия и Европа», где, с некоторыми оговорками, высказывалось согласие со славянофильскими утверждениями о «гниении Запада».

Мнимая доступность для «ташкентцев» любой области жизни объясняется как раз их способностью «привести все к одному знаменателю», то есть устранить все им непонятное, чуждое, нежелательное, или даже просто не соответствующее их темпераменту.

«Право обуздывать, право свободно простирать руками вперед» — вот что дружно отстаивают ташкентцы — Митрофаны, вот их единственный «талант».

Их историческое бесплодие все более выступает наружу по мере того, как все «пополняется и усложняется материал», лежащий в основе жизни и приходящий в вопиющее противоречие с отжившими формами общественного устройства, за которые держатся ташкентцы

Их «историческое» зодчество сводится к формуле, пародирующей знаменитое цезаревское изречение и многократно варьирующейся на страницах «Господ ташкентцев»:

«Налетел, нагрянул, ушиб... а что ушиб? — он даже не интересуется и узнавать об этом...»

«Где ж элементы будущего?» — этим вопросом, который настойчиво повторяется в финале «Введения», Салтыков недвусмысленно отказывает Митрофанам в возможности «произнести новое слово».

В очерке «Что такое «ташкентцы»?», говоря о причине и характере предпринятого им исследования, писатель заявлял: «...ташкентство пленяет

меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается «человек, питающийся лебедою».

Именно с точки зрения интересов этого человека, на которого «окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов», и смотрит Салтыков на все «проказы» героев, занимающих авансцену его очерков.

«Безобразный муравейник», которым представляется постороннему взгляду скопище людей, «питающихся лебедою»,— для Салтыкова не только предмет живейшего гуманистического сочувствия, но и величайшая историческая загадка, которую он пытался разгадать всю свою жизнь.

Насколько тяжек причиненный народу веками всевозможного гнета ущерб, способен ли он к активному историческому зодчеству — действительному, а не «ташкентскому»! — вот что стремился постичь писатель, гневно опровергая априорные утверждения о «безличности» «человека, питающегося лебедою».

Констатируя, что в пореформенную эпоху народные массы стали доступнее для исследования, и надеясь, что впоследствии на этом пути «упадут и другие последние преграды», Салтыков заключал очерк «Что такое «ташкентцы»?» —взволнованными словами: «Что тогда откроется? вот в чем весь вопрос».

При всей вольности обращения писателя с композицией своей книги вряд ли можно счесть случайным совпадением то, что оба открывающих ее программных очерка завершаются этими однородными, полными тревоги и сомнений вопросами о будущем России и о его творцах.

В предисловии «От автора», появившемся в 1873 году в первом отдельном издании книги, Салтыков высказывал желание написать следующую ее часть «Ташкентцы в действии», где на сцену явится самое «ташкентское дело», но которая так и не была им написана.

Большинство же героев первой, оставшейся единственной части книги — это еще только «Ташкентцы приготовительного класса», описанные в четырех параллелях, пародийно напоминающих «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.

Плутарх построил свой знаменитый труд по преимуществу в виде парных параллельных жизнеописаний, заключая каждую пару «сопоставлением», где указывались сходные черты обоих героев.

В «Ташкентцах приготовительного класса» — четыре биографии. Это предыстория ташкентцев, генезис «ташкентства», которое еще не появилось на сцену, но уже заложено в любом из персонажей в силу его происхождения, воспитания, психологии, воздействия окружающей среды.

«Ташкентцы приготовительного класса» возникают перед нами словно бы из «воздуха» самой эпохи и пребывают в готовности к любым «подвигам» на стезе благонамеренности.

Отдельные «сопоставления» этих «сравнительных жизнеописаний» отсутствуют, но щедринские «параллели» многократно и разнообразно перекликаются между собою.

Великосветская родня Nicolas Персианова разительно отличается от

рыщущего по уезду отца Хмылова — исправника Петра Матвеевича и его брата Софрона, уездного стряпчего, который «разорял полегоньку... но разорял дотла, до тех пор, пока последний грош не вызудит». Столь же различна и обстановка, в которой оба героя получают образование

Но заветные «идеалы» той и другой среды, отношение к жизни, в ней процветающее, в сущности одни и те же.

Петр Матвеевич Хмылов заслужил добрую репутацию у окрестных помещиков: «У нас исправник лихой! он подтянет!» К восклицанию «я вас подтяну!» сводится, после ряда маниловски-бессодержательных прожектов, и хозяйственная деятельность Персианова в деревне. Впрочем, и сам венценосный «хозяин» всея Руси выражался в то время о печати, что ее надо «подтянуть»[1]. И простодушное убеждение Петра Матвеевича, что стоит ему повесить нагайку на стену, как через два дня весь уезд вверх ногами пойдет, нисколько не уступает призывам тогдашних государственных мужей к «спасительной строгости».

Да и воспоминания сподвижника Муравьева о «полечке», которую он «подцепил» среди «бранных трудов», ничем не хуже бесед на «амурные» темы, которые ведутся в семействах Персиановых и Нагорновых.

За исключением Хмылова, прирожденного «палача», как его прозвали еще в школе, «ташкентцы приготовительного класса» — это уже, пользуясь словами одного из салтыковских героев, отборная гвардия ташкентства, а не «чернорабочие» его элементы, которые непосредственно заняты «кровопусканием».

Однако писатель убедительно вскрывает присущее всем им духовное убожество, низкий нравственный уровень, полную свободу от убеждений и представлений о том, чем оборачивается их деятельность для народа и государства.

Герои двух последних «жизнеописаний» — Миша Нагорнов и Порфиша Велентьев — «ташкентцы» наиболее свежей формации, новой, фактически буржуазной складки. Оба с вожделением впитывают в себя атмосферу развернувшейся погони за рублем, стремительных обогащений, головокружительных карьер промышленников, акционеров, финансистов, адвокатов.

«А нас взяточниками обзывают! — негодует отец Нагорнова, поседевший в департаменте чиновник,— мы обрезочки да обкусочки подбирали — мы взяточники! А он целого человека зараз проглотить готов — он ничего! он благородный!»

По воле отца ставший прокурором, Миша Нагорнов завистливо заглядывался на доходы адвокатов, чья профессия кажется ему более выгодной.

Скрытый сарказм салтыковского очерка заключается в постоянно возникающем в нем сопоставлении этого адвокатского процветания с роскошью преуспевающих кокоток.

Мать и сын Нагорновы завидуют доходам и тех и других. А когда мать

---

[1] А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 181.

пробует уговорить мужа разрешить Мише пойти в адвокаты, он с досадой отвечает: «Вот дай срок умру, тогда хоть в черти-дьяволы, хоть в публичный дом его отдавай!»

Завершающий собой галерею «ташкентцев приготовительного класса» Порфирий Велентьев знаменует собой уже чисто буржуазное хищничество. С детства он возрастал «на самом лоне финансовых операций», производившихся, с одной стороны, отцом-чиновником, обкладывавшим своего рода налогом находившееся в его ведении «стадо откупщиков и винокуренных заводчиков», а с другой — матерью, которая «торговала мужиком».

Да и само появление будущего финансиста на свет происходит вроде бы в результате тяготения друг к другу не самих людей, а ...капиталов, ими «представляемых» «Единственный амурный разговор между Велентьевым (отцом Порфирия.— *А. Т.*) и княжною» похож скорее на щелканье счетов.

Шелестенье ассигнаций, таинственная суета в папашином кабинете и куда более откровенный процесс «прижимки» мужиков маменькой, энергическое выражение «хоть роди да подай», к которому любила прибегать Нина Ираклиевна,— все это уже создавало у ребенка своеобразный «вкус к финансам».

Мелькнувшие же в родном городе героя отдаленные родственники княжны — шулера и пройдохи братья Тамерланцевы — заронили в душу мальчика презрение к крохоборческому скопидомству родителей и мечту о фантастическом, внезапном, стремительном обогащении.

В детстве, присутствуя при материнских операциях, Порфиша от щелканья косточек на счетах «каждый раз вздрагивал, как будто в этом щелканье слышалась ему какая-то сухая, безапелляционная резолюция».

«Коротенькая» политэкономия, которой его обучали в том же заведении, где воспитывался и Персианов, устранила всякие докучные напоминания о «трепете действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными».

Вместо этого Порфиша познакомился с отвлеченными от реальной жизни манипуляциями «спроса и предложения» биржевой игры, при которых наяву совершался «перл созидания» — «созидание из ничего», напоминавшее фокусы братьев Тамерланцевых, когда при слове «клац» в пустой руке обнаруживались золотые монеты.

Из всех «ташкентцев приготовительного класса» Порфирий Велентьев — самый опасный, представляющий собою наиболее разрушительные, паразитические тенденции капитализма. Недаром именно для него делает сатирик исключение, хотя бы вкратце осведомляя читателя о «ташкентском» подвиге Велентьева — проекте «беспошлинной двадцатилетней эксплуатации всех принадлежащих казне лесов для непременного оных, в течение двадцати лет, истребления».

Велентьев открывает в творчестве Салтыкова галерею «дельцов» нового, буржуазного типа — Разуваевых, Колупаевых, Деруновых. Именно к нему относится пророчество сатирика, заключающее книгу «Господа ташкентцы», о «реформаторе, который придет, старый храм разрушит, нового не

возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...»

Придет, насорит и уйдет — таково, по мысли писателя, еще одно видоизменение формулы «исторического зодчества», которым, вслед за дворянством, занялась и буржуазия.

Отклики критики на цикл «Господа ташкентцы» немногочисленны и не глубоки по содержанию. Они представляют собой, главным образом, пересказы произведения в целом или отдельных его частей Из аналитических отзывов можно указать немногое.

Отмечая способность Салтыкова улавливать мельчайшие изменения в социальной структуре общества, критика подчеркивала злободневность явления, подмеченного и изображенного им под названием ташкентства. «Перед читателем проходит галерея живых и ярко очерченных сатириком-художником типов»,— писал С. Герцо-Виноградский [1]. Того же мнения придерживался анонимный критик «Недели»: «В этих очерках мы имеем мастерски изложенную историю развития типа, который мог только народиться на почве современности» [2].

Либеральная критика признавала, что ташкентец является «реальнейшим типом», «лучшим из всех щедринских типов», но эта оценка нередко сопровождалась рассуждениями относительно расплывчатости и отсутствия определенных границ ташкентства, в результате чего Салтыков будто бы стал «валить в ташкентскую кучу решительно все, что ему под руку попадется» [3]. С такого рода суждениями не согласился автор статьи «Настоящие ташкентцы», подписанной инициалами П. Б. Он выступил против тех, кто не понимал, насколько реален тип «ташкентца», и кто считал, что Салтыков «обыкновенно очень долго играет все на одной и той же струне» и «что-то уж много развелось ташкентцев под плодовитым пером Щедрина». «Никогда еще литература не клеветала на свое общество»,— доказывал этот критик, основываясь на книге Салтыкова [4].

Однако различные вариации упрека в беспредельном расширении границ ташкентского типа были довольно многочисленны и содержались как в статьях, посвященных отдельным главам журнальной публикации, так и в рецензиях на первое книжное издание «Господ ташкентцев» [5].

Полемизируя с критикой, стремившейся сузить идейно-художественный диапазон произведения и дискредитировать тип ташкентца, лишить его конкретного социального содержания, Салтыков в предисловии «От автора», предпосланном *изд. 1873,* изложил свою точку зрения на сущность изображаемого им явления, характеризующего русскую жизнь 70-х годов и широко распространенного («...ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении

---

[1] «Одесский вестник», 1873, № 80, 14 апреля.
[2] «Неделя», 1873, № 6, 11 февраля.
[3] *РМ,* 1872, № 259.
[4] «Неделя», 1872, № 31—32, 15 ноября.
[5] См. «Петербургский листок», 1871, № 206; *СПб, вед.*, 1872, № 206 и др.

различных типов «ташкентства», то работе моей, пожалуй, не было бы конца.. »).

Среди откликов, вызванных «Господами ташкентцами», должна быть названа статья «Г. Щедрин. побиваемый собственными друзьями», опубликованная без подписи и принадлежащая, как сейчас установлено, писателю Г. П. Данилевскому [1]. Газета «Русский мир» в это время находилась под сильным влиянием генерала Черняева, вскоре (с 1873 года) ставшего ее издателем. На ее страницах резкие, а подчас и бранные выступления против Салтыкова были не редкостью, и названная статья Г. П. Данилевского в этом отношении не составила исключения. Открытое нападение на Салтыкова, предпринятое ее автором, обусловлено не только реакционностью общественно-политической позиции газеты, но и враждебным отношением Г. П. Данилевского к сатирику, в 60-х годах неоднократно выступавшему с резкой критикой его литературной позиции (см. т. 5, стр. 334—337; 408—416). Поводом для статьи Г. П. Данилевского явилась вторая параллель «Ташкентцев приготовительного класса», в которой Салтыков на основе личных впечатлений дал сатирическую зарисовку быта и нравов московского дворянского института. Г. П. Данилевский, воспитанник этого же учебного заведения, выразив недовольство сатирическим его изображением и заверив читателя, что «ничего подобного рассказанному г. Щедриным ни в одной школе 40-х годов на Руси уже не было», основную часть своей статьи посвятил злобным нападкам на писателя, использовав для этой цели тщательно составленный монтаж из отзывов русской критики 60-х — начала 70-х годов, известных своей враждебностью и далекой от объективности оценкой творчества Салтыкова. Статья Данилевского по своему значению выходит за рамки обычного отклика на очередную главу щедринского цикла и представляет собою одно из наиболее враждебных Салтыкову выступлений о нем.

Выход в свет первого отдельного издания «Господ ташкентцев» не вызвал сколько-нибудь значительных отзывов. Лишь мимоходом касались его в своих статьях и монографиях К. К. Арсеньев, К. Ф. Головин, А. М. Скабичевский, Н. К. Михайловский [2].

В цикле статей «Русская общественная жизнь в сатире Щедрина», публиковавшихся в 1883 году в «Вестнике Европы», К. К. Арсеньев несколько страниц посвятил «Господам ташкентцам», особо подчеркнув мысль о широте понятия «ташкентец» и считая, что «разновидности типа настолько отличны друг от друга, что с гораздо большим успехом могли бы составить несколько отдельных типов». Одновременно он предпринял попытку выяснить связь «помпадуров» с «ташкентцами», подчеркнув, что «колебания в установке типа» отразились и на целом ряде созданных Салтыковым образов, среди которых ближе других к ташкентцам стоит Хмылов, несколько

---

[1] *РМ*, 1871, №№ 109, 110, 22, 23 декабря.

[2] Статьи перечисленных авторов собраны в кн.: «Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вып. 4 и 5. Сост. Н. Денисюк, М 1905.

далее Порфиша Велентьев и Тонкачев, а Nicolas Персианов и Миша Нагорнов подают надежды скорее стать помпадурами, чем ташкентцами. «Если слово «ташкентец» сделалось именем нарицательным, наравне с «помпадуром», то это объясняется необыкновенною рельефностью фигур, выведенных на сцену под кличкой «ташкентцев-цивилизаторов». *Вид,* ярко расцвеченный и полный жизни, затмил собою *род,* задуманный слишком широко и обрисованный недостаточно определенно».

Подчеркивая широту ташкентского типа и отмечая, что Салтыков «обобщил это прозвище, применив его ко всем культурным людям», А. М. Скабичевский в «Истории новейшей русской литературы» (СПб. 1891), сформулировал мысль относительно преемственной связи между «Господами ташкентцами» и «Дневником провинциала в Петербурге», который, по его мнению, является, в сущности, несколько видоизмененным по замыслу и оформлению вторым томом «Господ ташкентцев» («Ташкентцы в действии»). Это же положение, но в более широком понимании, высказано и К. Ф. Головиным в его книге «Русский роман и русское общество» (СПб. 1897), в которой он справедливо замечает, что щедринское творчество в значительной своей части посвящено изображению «действующих ташкентцев»: «Этот тип беззастенчивых тунеядцев, быть может, лучший из всех щедринских типов, получил у него собирательное название «господ ташкентцев», хотя он выступает не в одном только сборнике, озаглавленном этим именем. Ташкентцы разного рода, то есть дворянские недоросли, знающие, где раки зимуют, и рано научившиеся жизненной мудрости, так и остались до конца одним из любимых сюжетов его творчества».

Последующие отклики на «Господ ташкентцев», время от времени появлявшиеся в дореволюционной печати, либо посвящены частным вопросам, либо представляют собой поверхностную характеристику произведения.

«Господа ташкентцы» печатались в «Отечественных записках» в 1869—1872 годах. Воссоздание творческой истории произведения затруднительно ввиду почти полной утраты рукописей и незначительности сведений о работе над циклом в эпистолярном наследии писателя и в мемуарной литературе. Сохранившиеся шесть рукописей (*ИРЛИ*) представляют собой наброски двух очерков, предназначавшихся для ташкентского цикла, но позднее Салтыковым отброшенных и при жизни его не публиковавшихся (см. раздел «Незавершенные замыслы и наброски»).

«Господа ташкентцы» создавались, как это характерно для Салтыкова, одновременно с работой писателя над рядом других произведений: параллельно завершались «Помпадуры и помпадурши», печатались «Итоги» и «Дневник провинциала в Петербурге», писались первые главы «Благонамеренных речей», «Господ Молчалиных». Отсюда заметная идейно-тематическая близость, а порой и сюжетное сходство отдельных ташкентских глав и эпизодов с некоторыми мотивами названных произведений.

Очерки о «ташкентцах» печатались в «Отечественных записках» не в

том порядке и оформлении, в каком они потом были собраны в книгу. Состав и композиция «Господ ташкентцев» окончательно определились во втором отдельном издании — 1881 года. Третье отдельное издание 1885 года — последнее прижизненное — повторяет второе. В помещаемой ниже таблице отражены те изменения, которые были произведены Салтыковым в первоначальной (журнальной) последовательности глав ташкентского цикла и в заглавиях их при подготовке отдельных изданий (цифры в скобках, предшествующие названию журнальной публикации, обозначают последовательность, в какой очерки появлялись в «Отечественных записках»).

Название очерков в журнальной публикации	*Изд. 1873*	*Изд. 1881 и 1885*
(3) Митрофаны *ОЗ*, 1870, № 11	Введение	Введение
(2) Что такое «ташкентцы»? Отступление *ОЗ*, 1869, № 11	Что такое «ташкентцы»?	Что такое «ташкентцы»?
(1) Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя *ОЗ*, 1869, № 10	Господа ташкентцы. Тип объяснительный (из воспоминаний одного просветителя)	Ташкентцы-цивилизаторы
		Они же
(4) Ташкентцы приготовительного класса *ОЗ*, 1871, № 9	Ташкентцы приготовительного класса Параллель первая	Параллель первая
(5) Ташкентцы приготовительного класса (вторая параллель) *ОЗ*, 1871, № 11	Параллель вторая	Параллель вторая
(6) Ташкентцы приготовительного класса (третья параллель) *ОЗ*, 1872, № 1	Параллель третья	Параллель третья
(7) Ташкентцы приготовительного класса (параллель четвертая) *ОЗ*, 1872, № 9	Параллель четвертая	Параллель четвертая

Первый очерк журнальной публикации «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя» (*ОЗ*, 1869, № 10), представлявший собою злободневный отклик на события, развернувшиеся в Средней Азии, стал исходным пунктом будущего ташкентского цикла. Сопоставление его с незаконченным очерком «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Нумер второй» свидетельствует, что создавались они одновременно (см. стр. 797) и, следовательно, в это время Салтыков уже задумал написать несколько очерков или рассказов, относящихся к теме «ташкентского

просветительства». Это подтверждается и общим подзаголовком обоих очерков («Из воспоминаний одного просветителя»), и проставленным во втором из них «нумером». Однако после завершения первого очерка Салтыков, временно отложив работу над «нумером вторым», написал очерк «Что такое «ташкентцы»? Отступление», зафиксировав этим заглавием отклонение от первоначального сюжетного плана в сторону теоретического определения «ташкентства» и ташкентского типа. Такое теоретическое разъяснение должно было, по мысли автора, предшествовать задуманным им «нумерам» — главам с экспозицией новых образов «ташкентцев».

Напечатав очерк «Что такое «ташкентцы»? Отступление», Салтыков, по-видимому тогда же, в ноябре — декабре 1869 года, вновь обратился к начатой им серии «нумеров». Оставленный им «нумер второй» был заново переработан и дополнен. Если в первой редакции («нумер второй») преимущественное внимание уделялось обстоятельствам, связанным с воспитанием и формированием будущего ташкентца, то во второй («нумер третий») упор сделан на характеристике его практической деятельности. Однако новая редакция «нумера второго», ставшего теперь «нумером третьим» и доведенного или почти доведенного до конца, напечатана не была. Салтыков отложил работу над «нумерами», видимо предполагая в дальнейшем снова вернуться к «ташкентцу» и начать «исследование» с выяснения роли семьи и школы в его формировании.

Почти двухлетний перерыв в работе над «Господами ташкентцами», во время которого были закончены «Помпадуры и помпадурши» и «История одного города», был вызван как этими трудами, так, по-видимому, и творческими соображениями, потребовавшими значительного изменения в самом замысле. Высказывавшееся в литературе мнение, согласно которому в приостановке работы над циклом сыграл свою роль также цензурный инцидент с очерком «Они же» (см. стр. 691), едва ли обосновано. Салтыков вернулся к «Господам ташкентцам» лишь летом 1871 года, внеся в первоначальный план существенные коррективы. Теперь каждая из «параллелей», заменивших прежние «нумера», была посвящена исследованию «приготовительного» периода биографии «ташкентца», его воспитания в семье и в школе, то есть полностью направлена на выяснение причин и условий возникновения в русской жизни подобного типа. Вследствие этого произошел некоторый разрыв между опубликованными ранее двумя ташкентскими очерками, связанными с задуманными, но неосуществленными «нумерами» и значительно более далеко отстоящими от создаваемых вместо них параллелей: в напечатанных очерках характеризовалась сущность ташкентства, в «параллелях» же рассматриваются лишь источники и условия формирования «ташкентца». Поэтому, вероятно, Салтыков и не счел возможным при нумерации параллелей учесть опубликованные ранее ташкентские очерки, которые в 1869 году мыслились в единстве с задуманными «нумерами».

Написанные в 1871—1872 годах четыре параллели (пятая завершена не была и осталась в рукописи) явились осуществлением первой половины замысла — «Ташкентцы приготовительного класса». Вторая половина этого за-

мысла — «Ташкентцы в действии», в свою очередь подразделявшаяся на две части: «Ташкентцы на пути к славе» и «Ташкентцы на верху величия»,— осуществлена не была. Причины отказа писателя от продолжения ташкентского цикла следует искать, видимо, в характере ближайших его творческих замыслов («Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи»), в значительной степени ассимилировавших предполагавшиеся аспекты продолжения «Господ ташкентцев».

К концу 1872 года, когда Салтыков обратился к подготовке отдельного издания «Господ ташкентцев», цикл представлял собою разрозненные звенья разных вариантов одного и того же замысла. два очерка, служившие сначала введением к циклу, и четыре позднее написанные параллели, являющиеся первой частью задуманного «исследования» о ташкентцах, еще не составляли цикла и не выражали полностью авторского представления о ташкентстве как общественно-социальном явлении в целом.

В *изд. 1873* Салтыков включил четыре параллели, под общим заглавием «Ташкентцы приготовительного класса», впоследствии в текстовом и композиционном отношении не изменявшиеся. В качестве своеобразного введения к ним, сопровожденного авторским предисловием, помещены три ранних очерка, представляющие собою общественно-политическую и нравственную оценку ташкентства, а также его теоретико-идеологическое обоснование, среди них опубликованный в конце 1870 года очерк «Митрофаны», получивший в *изд. 1873* место и заглавие «Введение» Первоначально «Митрофаны» были опубликованы в качестве самостоятельной статьи, никакого отношения к «Господам ташкентцам» не имеющей. Возможность подключения их к ташкентскому циклу, да еще в качестве введения, занимающего ведущее место в структуре произведения, определяется близостью социально-политической и нравственной физиономии ташкентцев и митрофанов, а также широтой изложенных в нем суждений Салтыкова о судьбах России, о характере ее общественно-политического развития в пореформенные годы. «Эти Митрофаны-просветители,— писал Горький,— живейшим образом превращаются в ташкентцев»[1]. Таким образом, созданный независимо от ташкентского цикла образ Митрофана по характеру и содержанию обладал большим сходством с типом ташкентца, что дало Салтыкову все основания включить его в 1873 году в цикл.

За «Митрофанами», ставшими «Введением», в *изд. 1873* следовали с частичным изменением заглавий два опубликованных в 1869 году очерка ташкентской серии. Если во «Введении» понятие ташкентства отсутствует и общее представление о нем дается посредством широкой характеристики близкого ему «митрофанства», то два последующих очерка полностью посвящены конкретному рассмотрению именно ташкентцев. Однако формирование цикла «Господа ташкентцы» в 1873 году закончено не было.

При подготовке второго издания книги в 1881 году Салтыков ввел в состав цикла очерк «Они же», поместив его непосредственно перед «Таш-

---

[1] М. Горький. История русской литературы, М. 1933, стр. 272.

кентцами приготовительиого класса». Этот очерк представляет собою отклик на события, последовавшие за каракозовским выстрелом 1866 года. Написан он был, по-видимому, ранее всех произведений ташкентской серии и без очевидной связи с ними. Лишь в 1869 году, пытаясь провести очерк в печать, Салтыков подключил его к публиковавшемуся очерку «Что такое «ташкентцы»? Отступление», но из-за цензурных осложнений он не был напечатан в «Отечественных записках» (см. стр. 691).

Таким образом, и в окончательном своем виде, в *изд 1881,* «Господа ташкентцы» не приобрели полного структурно-композиционного единства и представляли собой объединение ряда произведений, связанных между собою общностью проблемно-тематической основы.

При жизни Салтыкова «Господа ташкентцы» издавались трижды: в 1873, 1881 и 1885 годах. При подготовке *изд. 1873* писатель провел серьезную работу: изменил названия глав, сократил ряд фрагментов и произвел большую стилистическую правку; следы авторской работы носит на себе и второе издание, в котором начатая в 1873 году стилистическая отделка была продолжена, а также сделаны сокращения в «Параллели четвертой». Последнее издание (1885) отличается от предыдущего лишь незначительными поправками.

В настоящем томе «Господа ташкентцы» печатаются по тексту *изд. 1885* с исправлением ошибок и опечаток, произведенным на основании изучения предшествующих изданий. В разделе «Незавершенные замыслы и наброски» печатаются не публиковавшиеся при жизни Салтыкова незавершенные очерки 1869 года «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Нумер второй» и его переработанный и расширенный вариант «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Нумер третий». Здесь же помещена и незаконченная «Параллель пятая и последняя», написанная в 1872 году.

ОТ АВТОРА

(Стр. 7)

Впервые — *изд. 1873* (вып. в свет между 14 и 20 января).

Первоначально авторское предисловие представляло собою подстрочное примечание к незавершеиному очерку «Ташкентцы приготовительного класса (параллель пятая и последняя)», написанному в сентябре — октябре 1872 года (см. стр. 582). Как и указанный очерк, примечание имеет две редакции, из которых первая, более ранняя, содержит ряд отвергнутых писателем вариантов и разночтений, позволяющих дополнить и уточнить отдельиые детали первоначального замысла. В частности, именно здесь содержались пояснения, касающиеся второй, неосуществленной, части ташкентского цикла, которая по мысли писателя должна была охватить два периода: «Ташкентцы на пути к славе» и «Ташкентцы на верху величия». Эти пояснения были вычеркнуты из второй редакции примечания при подготовке его к публикации в *изд. 1873.*

Впервые подстрочное примечание по второй, более поздней, но тоже черновой рукописи очерка «Ташкентцы приготовительного класса (параллель пятая и последняя)» напечатано М. К. Лемке в составе публикации «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова» (*ВЕ*, 1914, № 5, стр. 18—19). По той же рукописи, но более точно и полно опубликовано в статье Е. И. Покусаева «Господа ташкентцы» Салтыкова-Щедрина» [1].

ВВЕДЕНИЕ

(стр. 8)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 11, стр. 233—248 (вып. в свет 19 ноября), под заглавием «Митрофаны». Заглавие изменено в *изд. 1873*.

Очерк «Митрофаны» первоначально не имел отношения к ташкентскому циклу. В бумагах Салтыкова сохранился отрывок с начальными строками очерка «Митрофаны II», который позволяет предполагать, что он намеревался продолжить работу над темой «митрофанства» и создать цикл (или несколько взаимосвязанных произведений) с нумерованными главами, посвященными не только общей характеристике «митрофанства», но и его конкретных представителей. Вот текст этого отрывка: «Митрофаны (см. *ОЗ*, 1870, № 11). В полумраке залы помещичьего дома, освещенной одинокою стеариновой свечою, из угла в угол бродит Митрофан Зашибаев-Гвоздило и думает, отчего ему ни в чем удачи нет» [2].

Место, которое занимали «Митрофаны» в творческих планах Салтыкова 1870 года, и причины, по которым эти планы остались неосуществленными, определить сейчас трудно ввиду отсутствия относящихся к данному вопросу свидетельств.

Очерк «Митрофаны» — одно из выступлений Салтыкова с критикой русского служилого дворянства как общественно-политической силы, долгое время претендовавшей на руководящую роль в исторической жизни страны. Салтыков доказывал, что сила эта исчерпала себя и превратилась в тормоз развития (своего рода комментарием к очерку служит почти одновременно с ним написанная рецензия на книгу А. Романовича-Славатинского «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» — см. т. 9). Но в «выморочном пространстве» современной российской действительности Салтыков не видит пока и никаких других сил, способных в данный момент сказать «новое слово».

«Митрофанство» как общественное явление, характеризующее, главным образом, дворянскую бюрократию, по существу своему близко «ташкентству», в связи с чем Салтыков и решился в 1873 году поместить единствен-

---

[1] Русская литература. Труды Отдела новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, т. I, М.—Л. 1957, стр. 217.

[2] Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома. Вып. IX. М.—Л. 1961, стр. 34.

ный написанный им очерк о Митрофанах в качестве введения к ташкентскому циклу. Таким образом, в «исследовании» о ташкентцах Салтыков, по выражению Е. И. Покусаева, представил «митрофанство» как «идеологическое обоснование ташкентства, как идеологическую его опору» [1].

Очерк «Митрофаны» при своем появлении не вызвал сколько-нибудь содержательных отзывов в печати. Одна из причин — цензурная трудность обсуждения затрагиваемых писателем тем в печати.

Стр. 8 *«Прикажут — завтра же буду акушером».*— В подлиннике у М. И. Глинки: «Прикажет государь, завтра буду акушером» («Записки Михаила Ивановича Глинки. 1804—1854».— *РС*, 1870, № 10, стр. 384).

...ждут мания...— знака рукой (от *лат.* manus — рука).

...умника...— С этим словом в XIX веке нередко ассоциировалось понятие «вольнодумец».

Стр. 9. *...от нас ожидается какое-то «новое слово»...*— Полемический выпад против «почвенников» и близкой к ним националистической «русской партии», выдвигавшей тезис о провиденциальном назначении России — обновить «прогнивший западный мир». Термин «новое слово» был введен в литературный оборот Аполлоном Григорьевым О многолетней борьбе Салтыкова с идеологами «почвенничества» и «нового слова», важным звеном в которой явилось «Введение» к «Господам ташкентцам», а также главы «Что такое «ташкентцы»?» и «Ташкентцы-цивилизаторы», см. в книге С. Борщевского «Щедрин и Достоевский», М. 1956. См. также стр. 666 и т. 5, стр. 532.

Стр. 10. *Один знатный иностранец...*— Приводимый далее рассказ «знатного путешественника» по своему характеру и сатирической направленности очень близок к «Мнениям знатных иностранцев о помпадурах», приведенным Салтыковым в заключительной части «Помпадуров и помпадурш» — см. т. 8.

Стр. 11. *...мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье...*— Намек на реформы 60-х годов.

Стр. 13. *...погадка...*— «отрыжка ловчих птиц, коею они скидывают клуб остатков пищи, кости, перья и пр.» («Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, т. III, СПб.— М. 1882, стр. 152).

...вавилонскую башню проектировать...— замышлять нечто невыполнимое (выражение заимствовано из библейского мифа о неудачной попытке построить в Вавилоне башню «высотою до неба» — Бытие, 11, 1—9).

Стр. 14. *Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку.*— Иронические выражения об «открытии» и «закрытии» Америки по указанию вышестоящего начальства встречаются (в разных вариантах) в нескольких произведениях Салтыкова. См., например, т. 7, стр. 403.

Митрофаны не изменились.— Митрофан Простаков — персонаж «Не-

---

[1] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 159.

дорослял» Д. И. Фонвизина (1781) — фигурирует в ряде произведений Салтыкова: «Глуповское распутство» (1862), «Помпадуры и помпадурши» (1873), «Круглый год» (1880), «Пошехонские рассказы» (1883—1884). Об отношении Салтыкова к «митрофанству» см. стр. 675.

...презирают географию.. — кучер довезет их куда будет приказано... — Намек на реплику г-жи Простаковой: «Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда,— свезут, куда изволишь» (д. IV, явл. 8). Реплику Простаковой об арифметике — см. в д. III, явл. 7.

Стр. 15. *...из козней, крамол и измены.*— Терминология, употреблявшаяся М. Н. Катковым и реакционной печатью по отношению к польским повстанцам и к передовым силам русского общества.

Налетел, нагрянул, ушиб...— Ироническое переосмысление знаменитого изречения Юлия Цезаря: «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»).

Стр. 16. *...табель о рангах...*— О введенной Петром I иерархии военных, гражданских и придворных чинов см. т. 8, стр. 574.

Стр. 17. *...Запад разлагается...*— Отклик на высказывания идеологов позднего славянофильства, в частности Н. Я. Данилевского, с работой которого «Россия и Европа», опубликованной в «Заре» 1868 года, Салтыков, без сомнения, был знаком. Данилевский заявлял в ней, что «народу одряхлевшему, отжившему, свое дело сделавшему и которому пришла пора со сцены долой, ничто не поможет...». «Сама мысль, высказанная славянофилами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною,— добавлял он,— только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением» («Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» Н. Я. Данилевского, СПб. 1871, стр. 75 и 172).

Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века...— В ежемесячных журналах «Русский архив» и «Русская старина», редакторами которых были П. И. Бартенев и М. И. Семевский, публиковались исторические документы, письма и мемуары, относящиеся преимущественно к XVIII — первой половине XIX века. С этими изданиями Салтыков особенно внимательно знакомился во время работы над «Историей одного города» (см. т. 8, стр. 553). Оба редактора питали особое пристрастие ко всякого рода историческим курьезам и анекдотам. Характерным образцом подобных анекдотов о «просветительной деятельности» царизма в XVIII веке, которые Салтыков в данном случае имел в виду, является заметка «Исполнение указа Петра Великого о бритии бород в Соликамске 1705 г.»; в ней описывалось, как после оглашения указа царя солдаты, специально поставленные у церкви, «схватывают каждого взрослого мужчину: один из стражей держит бедняка за руки, другой остригает ему усы и бороду; третий, припавши вниз, обрезывает полы кафтана выше колен <...> При виде окорнанных отцов и мужей, дети и жены подняли страшный вой, словно над

покойниками: оттого возврат семейств в домы уподобился похоронному шествию» и т. п. (*РС*, 1870, № 6, стр. 594—595).

В «Русской старине» (1870, № 11) был напечатан именной указ Павла I генерал-прокурору кн. Куракину от 28 июля 1798 года — о строгом наказании бржетского городничего Пирха, который «противу узаконениев наших публично ходил в круглой шляпе, во фраке и сею неблагопристойною одеждою ясно изображал развратное свое поведение» (стр. 521—522).

В журнальной редакции «Введения» («Митрофаны») высказывание о Бартеневе и Семевском было напечатано в следующем виде:

«Благодаря гг Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века и пересказывает некоторые из них не без юмору. Он знает, например, что не за горами то время, когда, во имя цивилизации, вменялось в обязанность «носить немецкое платье с одинаким стоячим воротником, шириною не более, как в три четверти вершка» и «не увертывать шею безмерио платками, галстухами или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишней толстоты», и, заручившись этим фактом (одним этим фактом!), считает себя уже совершенно свободным от всяких церемонных отношений к цивилизации вообще». Цитируемые Салтыковым строки заимствованы из предписания санкт-петербургского военного губернатора Буксгевдена Управе благочиния от 20 января 1798 года (*РС*, 1870, № 11, стр. 517).

Стр. 18. *...пятую стихию...*— Четырьмя основными элементами природы древнегреческие философы-материалисты считали огонь, воздух, воду и землю.

Будет носить чужое, заношенное белье...— Схожее высказывание содержится в письме Салтыкова к С. А. Юрьеву от 8 февраля 1871 года, написанном в связи с выходом в свет первой книжки славянофильского журнала «Беседа». В качестве автора для статьи, определяющей основные позиции «Беседы», Салтыков иронически рекомендовал редактору привлечь его давнишнего приятеля И. В. Павлова (Оптухина), который мог бы доказать, что «пользоваться общечеловеческой цивилизацией значит носить чужие подштанники и сморкаться в чужой платок». В «Дневнике провинциала» (гл. V) Салтыков приписывает такого же рода мнения журналу «Пенкоснимательная подоплёка», под которым он мог иметь в виду ту же «Беседу». См. стр. 396.

Стр. 19. *...Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук...*— Аналогичная мысль неоднократно высказывалась в 40-х годах Герценом. Называя «способность развития», «возможность покидать старое и усвоивать новое» «одним из главных отличительных свойств европейского характера», Герцен писал: «Западные народы не коченеют в объятиях трупов, хотя бы это были трупы их отцов, не вянут в тоске; они с похорон возвращаются полными свежих сил; обновляются смертью и, вечно юные между могил, облитых горячими слезами, они строят из их развалин новые приюты жизни. Держаться за одни и те же формы как за единственный якорь спасения —

лучшее доказательство слабости и внутренней бедности; скучный Китай может служить примером» (*Герцен,* т. II, стр. 170).

Стр. 20. *...общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность...*— Мысль эга подробно развита Салтыковым в статье «Современные призраки» (т. 6, стр. 381—406).

Стр. 21. *...an sich und für sich...*— философский термин, введенный Иммануилом Кантом.

В течение последних пятнадцати лет...— то есть со смерти Николая I.

На недостаток приказаний мы пожаловаться не можем...— Здесь и далее — намек на насаждавшиеся сверху реформы 60-х годов.

Стр. 22. *...адвокаты превращаются в «аблакатов»...*— «Аблакатами» в народе именовались частные ходатаи по судам — бывшие чиновники, отставные офицеры, писаря и т. п. Их развелось особенно много после судебной реформы 1864 года, в связи с нехваткой квалифицированных юристов «Подобно саранче», они «усеяли собой присутственные места, камеры мировых судей, гостиницы, трактиры, кабаки, даже паперти церквей» (*ОЗ,* 1872, № 11, отд. II, стр. 133). Салтыков уподобляет им здесь присяжных поверенных, которые в погоне за крупными кушами пренебрегали корпоративной этикой и зачастую отличались от своих коллег-«аблакатов» только масштабом дел и размером гонорара.

...земские деятели — в устроителей пикников, закусок и обедов.— См об этом в очерке «Новый Нарцисс ..» («Признаки времени» — т. 7, стр. 25—39).

...получил грош, из оного копейку пропил...— Грош — старинная монета в две копейки (впоследствии — полкопейки).

ЧТО ТАКОЕ «ТАШКЕНТЦЫ»?

(стр. 22)

Впервые — *ОЗ,* 1869, № 11, стр 187—207 (вып. в свет 7 ноября), под заглавием «Что такое «ташкентцы»? Отступление». Подзаголовок «Отступление» снят в *изд. 1873.*

Очерк написан, по-видимому, непосредственно перед публикацией его в «Отечественных записках», то есть в сентябре — октябре 1869 года, и не мог быть создан ранее очерка «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя» (см. стр 673). Закончив первый ташкентский очерк, Салтыков решил несколько изменить сложившийся у него план портретной галереи ташкентцев, который начал осуществлять в рамках «воспоминаний одного просветителя», и предпослать ей «теоретическую» главу, посвященную общей характеристике явлений, обозначенных им словом «ташкентство».

Интересным для творческой истории «Господ ташкентцев» в целом является содержащийся в очерке перечень ташкентских типов, которые Салтыков предполагал изобразить в дальнейшем (в «нумерах»). Во всех изданиях этот перечень идентичен, за одним исключением: в журнальном тек-

сте в нем назван еще «ташкентец-литератор». Список ташкентских типов в очерке «Что такое «ташкентцы»?» можно рассматривать как первоначальный план будущего цикла, наметившийся у Салтыкова на первой стадии работы, впоследствии измененный. Если в 1869 году в журнальном тексте Салтыков сообщал: «Я нахожу возможным изобразить...», то в 1873 году он более осторожен и не обещает читателю скорого осуществления обещанного — «Я постепенно изображу...» В конечном итоге, замысел создания галереи действующих ташкентцев (в «нумерах») не был осуществлен, вместо этого появилась галерея ташкентцев, готовящихся к действию, но еще к нему не приступивших (в «параллелях»).

Поставив перед собой в «Господах ташкентцах» задачу «исследовать» ташкентство в его формировании и развитии, Салтыков вместе с тем искал художественные формы, соответствующие характеру замысла. В этой связи он предпринял в очерке «Что такое «ташкентцы»? Отступление» теоретико-литературный экскурс, в котором мотивирована необходимость создания нового общественного романа.

В формировании этого романа сатирик отводил себе скромное место «собирателя материала». В журнальном тексте (стр. 200) этот экскурс завершен таким пояснением проблемно-композиционных основ «Господ ташкентцев», вычеркнутым при подготовке *изд. 1873.*

«Я печатаю «Ташкентцы» в форме «записок одного просветителя». После всего сказанного выше нечего, кажется, и объяснять, что это только форма и что записки принадлежат не одному, а целому легиону просветителей. В конце каждого этюда, каждый из моих «ташкентцев» кончает весьма неудовлетворительно, а именно: пропивается, проворовывается и вообще впадает в забвение. По этому поводу мне тоже может быть сделан упрек. Скажут, например, что я слишком охотно прибегаю к вмешательству случайной силы; что в положениях, подобных тем, которые я описываю, зло чаще всего торжествует, а не наказывается; что вообще, если зло, по временам, наказывается, то это наказание приходит к нему не извне, а благодаря тому внутреннему бессилию, которое скрывается в нем самом. На это я могу ответить следующее. мой образ действия в этом случае имеет характер двоякий. во-первых, прообразовательный, во-вторых, характер хитрости

Относительно прообразования скажу, что я твердо верю, что зло наказывается, и наказывается неминуемо. Когда наступит минута, что наказание будет приходить к нему из собственного внутреннего бессилия — этого я, покамест, еще не знаю. Причины этого незнания я объяснил выше, сказав однажды навсегда, что я только собиратель материалов, а не созидатель той общественной драмы, формы которой, по моему мнению, не довольно еще определились. Что же касается до хитрости...»

Из всех произведений ташкентского цикла очерк «Что такое «ташкентцы»?» в *изд. 1873* претерпел наибольшие изменения, которые, впрочем, сводились не к доработке или переработке текста, а к его сокращению. Кроме приведенного фрагмента о художественной форме «Господ ташкентцев» и о своей роли в создании общественного романа, Салтыков при подготовке *изд 1873* вычеркнул последние весьма примечательные строки очерка, являющиеся ответом на заключительный вопрос «Что тогда откроется» (стр. 207).

«Существует мнение, что тогда скажется новое слово, споется новая песня и откроются новые формы общественности. Как ни загадочно такое

мнение, но согласиться с ним есть основание Один наплыв людей, питающихся лебедою, может составить такое явление, которое должно если не совсем уничтожить, то, по крайней мере, иным образом расположить некоторые складки общественного хитона. Когда сделана привычка готовить обед на двоих, то гостям или отказывают, или же вынуждаются заказывать пирог попространнее Я думаю, что будет принят этот последний путь, как наиболее рациональный. Он дает возможность принимать гостей, не обижая себя и не урезывая ни капли от собственных крох

Обедать в обществе многочисленном, веселом, шумном — ужели это не предпочтительнее, нежели обедать одному или сам-друг, насупивши брови и думая только о том, как бы набить себе желудок?

Но даже если все это и не совершится, то и тогда можно предположить, что открытий получится достаточно и они не будут лишены интереса. Например, мы наверное узнаем, что «человек, питающийся лебедою», может печалиться и радоваться; что он может чувствовать боль, ощущать страх, угадывать опасности. Мы удостоверимся, что он несет некоторые повинности и что на одной из них он останавливается просто со вниманием, а на других с особенным вниманием. Очень может быть даже, что самое слово «повинность» утратит для нас свой простой смысл и получит смысл сложный, привлекающий множество других понятий и представлений. И еще мы узнаем, что предмет наших наблюдений любит, ненавидит, сгорает честолюбием, пылает всевозможными страстями, верит, сомневается, утверждает, отрицает — все точно в такой же степени, хотя, быть может, и с несколько иным содержанием, как и прочие смертные.

— Господи! — скажем мы, рассмотревши все это,— да ведь это, кажется, человек!

Это открытие очень важное. Новые слова, новые песни, новые формы общественности — пускай остаются впереди. Забывать их не следует, потому что на идеалах зиждется вся жизнь духовно развитой личности; но не следует забывать и то, что первое предстоящее дело — это открыть «человека».

Подумайте, милостивые государи! Ведь «открыть человека» значит упразднить «Ташкент»!»

Соединяя в 1873 году в одной книге очерки «Митрофаны» и «Что такое ташкентцы»?», Салтыков убрал из последнего очерка оптимистическое высказывание о возможности «новых слов», «новых имен», «новых форм общественности» в ближайшем будущем потому, вероятно, что они противоречили скептическим рассуждениям на ту же тему, которые содержались во «Введении» и для которых в русской действительности 70-х годов Салтыков не видел реальных предпосылок.

Из других сокращений и изменений, внесенных Салтыковым в журнальный текст очерка «Что такое «ташкентцы»?» при подготовке *изд. 1873* и *1881*, наиболее существенны следующие:

1. Стр. 27. *«...богоугодных заведений нет, острог один...»* — после этих слов в *ОЗ* следовало: *«исправник один»* и т. д.

2. Слова: *«(оказалось, что это был генерал Флери)»* — введены в текст в *изд. 1881.*

3. Стр 30. *«...это приговоры простых охочих русских людей»* — после этих слов в *ОЗ* следовало: *«Это они взыграли при виде «куска».*

4. Стр. 31. *«...и, следовательно, все обстоит благополучно...»* — после этих слов в *ОЗ* следовало: *«Странно одно: отчего у борова нет таких ча-*

сов, когда он может быть львом? или у льва таких, когда он может быть боровом?!»

5. Стр. 32. В перечне ташкентцев после «ташкентца промышленного» — в *ОЗ* следовал *«ташкентец-литератор»*.

6. Стр. 33. *«...но семейство всегда играет в романе первую роль»* — после этих слов в *ОЗ* следовало заключавшее абзац продолжение рассуждения о романе:

«Будучи заключена в этом тесном пространстве, драма не могла разрешаться в области неизвестного, но должна была вытерпеть именно то разрешенне, которое, так сказать, было предназначено ей силою вещей. Общее иедовольство или общее благополучие; разлука или союз сердец; так или иначе, но роман должен был кончиться именно здесь, в среде семейства, которое вмещало в себе и прототип всей жизни, и единственную арену, на которой индивидуальные потребности могли находить себе удовлетворение».

Стр. 23. *...человеком, «который ест лебеду».*— На эзоповом языке Салтыкова — русский крестьянин.

Стр. 24. *Шагу без нас не сделают!* — При каждом повороте внутренней политнки самодержавия в сторону реакции правительство прибегало к содействию так называемого «общества», наиболее агрессивная часть которого — описываемые Салтыковым «ташкентцы» — терроризировала передовую интеллигенцию, революционную молодежь, «нигилистов» и «нигилисток», принимала участие в обысках, арестах, экзекуциях и т. п.

...управа благочиния,— не та, которая имеет местопребывание на Садовой улице, а та, которая издревле подстерегает рождение охочего русского человека...— На Садовой улице в Петербурге находилась столичная Управа благочиния, ведавшая полицейскими и частично судебными делами (она просуществовала до 1877 года). Салтыков иронически сопоставляет с этим административным учреждением весь общественно-политический быт России.

...вашему превосходительству имею честь явиться! — Имеется в виду М. Н. Муравьев («Вешатель»), «кликнувший клич» охранительным элементам на борьбу с революционными силами.

Стр. 27. *...баранов...*— В данном случае имеются в виду представители так называемых «податных сословий»

...это был генерал Флёри.— Один из ближайших сподвижников Наполеона III Эмиль Феликс Флёри представлял собой классический тип беспринципного авантюриста, готового на все ради наживы и личной карьеры. Оказав существенную помощь Наполеону III при государственном перевороте в декабре 1851 года, он занимал во время Второй империи весьма высокое положение. В конце 60-х годов Флёри получил назначение на пост французского посла в Петербурге. Эта «гадина», по выражению П. А. Кропоткина, завоевала симпатии Александра II и стала его «закадычным приятелем» (см П А. К р о п о т к и н. Записки революционера, М. 1966, стр. 227).

Стр. 28. . *Фюить!* — Салтыков обозначал этим междометием административную ссылку.

Стр. 29. ...*Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший* — то есть исторически сложившийся общественный строй, основанный на насилии и господстве одних людей над другими; здесь — в первую очередь царское самодержавие.

Стр. 30. *Меня нередко занимает вопрос: может ли палач обедать?..*— На этот вопрос Салтыков дал более широкий ответ в цикле «В среде умеренности и аккуратности», где изображен сотрудник политической полицни Молчалин, спокойно режущий хлеб руками, «обагренными бессознательным преступлением» (т. 12).

Стр. 31. ...*истории о Робинзоне Крузое́ <...>— это история вымышленная!* — Фамилия главного героя романа Д. Дефо передается здесь не в фонетической транскрипции, а в соответствии с английским написанием. Салтыкову, вероятно, осталось неизвестным, что в основу романа «Робинзон Крузо» лег подлинный факт пребывания на необитаемом острове в течение четырех с лишним лет английского боцмана Александра Селкирка.

Стр. 32 ...*in partibus*...— сокращенная форма латинского выражения «in partibus infidelium» («в стране неверных», то есть не исповедующих христианство). Обычно «in partibus» переводится словами «в чужих краях», «за границей», однако в данном случае Салтыков, возможно, подразумевал полную форму выражения, подчеркивавшую положение православных «ташкентцев» среди мусульман Туркестанского края и в Польше среди католиков.

...*роман утратил свою прежнюю почву*...— «У нас <...> установилось такое понятие о романе,— говорил Салтыков Л. Ф Пантелееву,— что он без любовной завязки быть не может; собственно, это идет со времени Бальзака; ранее любовная завязка не составляла необходимого условия романа, например «Дон-Кихота». Я считаю мои «Современная идиллия», «Головлевы», «Дневник провинциала» и другие настоящими романами; в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни» (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, М. 1958, стр. 452).

Стр. 33. ...*борьба за существование*...— термин, приобретший универсальную известность после появления книги Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствен-ных пород в борьбе за существование» (1857).

...*Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности.*— Возможно, Салтыков имеет в виду следующее место из «Театрального разъезда после представления новой комедии»: «Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?»

(Н. В. Гоголь Полн. собр. соч., т. V, М 1949, стр 142). Скорей же всего, Салтыков подразумевает направление творчества Гоголя в целом.

...драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где...— Аресты участников революционного движения и сочувствующих им, а также их административная ссылка и ссылка «по суду» — характернейшее явление политического быта Россини 60-х годов.

Стр. 34. *...эпохи, когда «злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя»..* — цитата из труда В.-Г. Нибура «Чтения о древней истории в Бонисском университете» (B. G. Niebuhr. Vorträge über alte Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten. Berlin, 1847—1851) — о персах и греках времен Александра Македонского — в переводе Т. Н. Грановского (см. Т. Н. Грановский. Соч., ч. II, изд. 2-е, М. 1866, стр. 96). Эту цитату из Нибура, как и ряд других, Салтыков привел в статье, над которой работал осенью 1869 года — «Один из деятелей русской мысли», посвященной книге: А. В. Станкевич. Тимофей Николаевич Грановский (биографический очерк), М. 1869 (см. т. 9, стр. 167).

Стр. 36 *...«Студенты»,— пишет он в одном из своих писем («Биографический очерк» А. Станкевича)...*— Салтыков цитирует далее письмо Т. Н. Грановского к Фроловым от 1 января 1840 года (А. Станкевич. Назв. соч., стр. 105—106). См также т. 9, стр. 163.

...по выражению Грановского, он должен быть и материалом и зодчим...— Имеется в виду высказывание Т. Н. Грановского в статье «Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году»: «Природа <...> есть только подножие истории, в которой совершается главный подвиг человека, где он сам является зодчим и материялом» (Т. Н. Грановский Соч., ч. II, М. 1866, стр. 191).— Цитата эта приведена в книге А. Станкевича о Грановском (назв. соч, стр. 157).

...смешивает Ликурга с Солоном, а Мильтиада дружески называет Марафоном.— «Ташкентец-классик» смешивает известного древнегреческого полководца Мильтиада с названием селения близ Афин — Марафоном, где в 490 году до н. э. произошла знаменитая битва греков с персидскими полчищами.

Стр. 37. *Я знаю, что я ничего не знаю!..*— афоризм Сократа (более точный перевод «Я знаю только то, что ничего не знаю»).

Стр. 38 *..ухватил, смял, поволок...*— Пародируется изречение Юлия Цезаря: «Пришел, увидел, победил». См. выше прим. к стр. 15.

...res nullius caedet primo occupanti! — Положение из римского частного права, зафиксированное в кодификации Юстиниана (VI в. н. э) — см. «Римское частное право», М. 1948, стр. 208.

..с малиновым звоном...— Малиновый звон — праздничный перезвон колоколов (от бельгийского города Малина, издавна славящегося своими колоколами).

Стр. 39. *...до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не в силах разложить ее?* — См. развитие этой мысли в т. 7, стр. 473, т. 9, стр. 147.

ТАШКЕНТЦЫ-ЦИВИЛИЗАТОРЫ

(Стр. 41)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 10, стр. 435—454 (вып. в свет 15 октября), под заглавием «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя». В *изд. 1873* заглавие изменено: «Господа ташкентцы. Тип объяснительный (Из воспоминаний одного просветителя)».

Очерк написан, по-видимому, в августе — сентябре 1869 года и является первым из задуманной Салтыковым галереи портретов ташкентцев, в которой каждому «портрету» предполагалось дать порядковый «нумер» (см. стр. 673). Опубликованный на страницах «Отечественных записок» без нумерации, этот очерк можно рассматривать как «нумер первый».

Стр. 41 *...я воспитывался в то время в одном из военно-учебных заведений ..*— Имеется в виду Александровский (бывший Царскосельский) лицей. Об отражении ряда автобиографических эпизодов лицейской жизни в творческом наследии сатирика см. в кн.: С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин Биография, т. I, изд 2-е, М. 1951, стр. 95—170.

...торжественного дня...— Вероятно, речь идет о праздновании «тезоименитства» Николая I.

Профессор...— Статистику в Александровском лицее в период пребывания там Салтыкова преподавал И. А Ивановский.

Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением...— В речи профессора Ивановского «О началах постепенного усовершенствования государства» (СПб. 1837) находятся и те высказывания, которые он, несомненно, повторял в своих лекциях в лицее: «..цветущая внутри, сильная и уважаемая извне Россия, кажется, призвана самим Провидением быть достойною представительницею славянского имени, держать в руках своих весы мира в Европе и сообщать племенам Азии образованность европейскую» (стр. 15). Вероятно, именно эта сентенция и пародируется здесь Салтыковым.

...принцип беспрепятственности иллюминаций...— то есть восхваления действия правительства.

...московским публицистам...— Салтыков подразумевает, в первую очередь, редакторов реакционной газеты «Московские ведомости» — М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

«Налево кру-гом!» — Этой воинской командой здесь характеризуется та казарменная дисциплина, которая представляла собой одно из наиболее характерных явлений воспитательной политики в царствование Николая I.

Стр. 42 *Была, например, одна минута <..> я устремился вперед.*— Намек на вооруженное вмешательство николаевской России в европейские дела,— в частности, на подавление краковской революции 1846 года и венгерской революции 1848—1849 годов.

Туков — удобрений.

Стр. 43. *...крикнув: ребята! с нами бог! ринулся..* — Сатирическая характеристика «цивилизаторской» деятельности провинциальной администрации, излюбленным средством которой являлось применение грубой силы и принуждения. Крестьянские волнения в разных областях России сплошь и рядом подавлялись воинскими командами.— Боевым призывом русских войск «с нами бог» («Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами бог»,— И с а й я, 8, 9) завершался манифест Николая I от 14 марта 1848 года, исполненный угроз по отношению к западноевропейским «крамольникам».

. .Удар-Ерыгина ..— Удар-Ерыгин — персонаж «Сатир в прозе» и «Помпадуров и помпадурш» (тт. 3 и 8).

...ради...— неоднократно употреблявшаяся Салтыковым старинная форма слова «рады».

...целую палестину! .— то есть всю страну.

Стр. 44. *...баранина < ..> это вещь очень почтенная...*— На характер этого сатирически заостренного эпизода, вероятно, оказала воздействие книга П. И. Пашино «Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки». В ней содержится немало характерных подробностей о «цивилизаторах», наехавших в этот «обетованный край повышений и отличий». «Нет ни одного киргизского семейства,— пишет Пашино,— которое не имело бы несколько десятков овец. У зажиточных они считаются сотнями, а у богатых тысячами <...> Вкус мяса здешнего барана вовсе не тот, как в великорусских губерниях, оно гораздо нежнее, не имеет никакого запаха и удобоваримее в желудке» (стр. 134). Одна из глав этой книги так и называется: «Баранье дело» (см. отзыв о книге Пашино в *ОЗ*, 1869, № 2, отд. II, стр. 339—343).

...Севастопольской брани...— Имеется в виду последний этап Крымской войны 1853—1856 годов, связанный с осадой Севастополя. Сформированное в 1855 году из крепостных крестьян «народное ополчение» находилось под командованием офицеров, избиравшихся в губерниях из дворян. Офицеры-ополченцы нередко использовали свое положение для личного обогащения, совершая всякого рода злоупотребления

...известие о мире...— Парижский мирный договор был подписан 18/30 марта 1856 года.

...усилий по водворению начал восточной цивилизации в северо-западных губерниях...— Речь идет о подавлении национально-освободительного движения в Литве, Белоруссии и Царстве Польском в 1863—1865 годах. В этих усмирительских акциях и особенно в русификаторской политике, беспощадно осуществлявшейся генерал-губернатором Северо-Западного края М. Н. Муравьевым («Вешателем»), принимали участие не только регулярные войска и кадровая администрация, но и многочисленные «добровольцы». «Целые компании искателей приключений отправляются из Петербурга русифицировать польские провинции. Люди эти получают деньги

в Петербурге и требуют полицейский конвой для водворения их на местах жительства и службы»,— отмечалось в 1864 году в «Колоколе» (см. *Герцен*, т. XVIII, стр 247).

Стр. 46. ...*в шестьдесят третьем году*.. — год польского восстания.

...*к покойному генералу!* — к М. Н. Муравьеву, который умер в 1866 году.

...*прогоны и прочее*...— П. И Пашино в цитированной выше книге отмечал, что «невероятные рационы», назначенные «цивилизаторам», были «чрезмерно высоки» (стр. 103—104).

Стр. 47. ...*из академии*...— из Военно-хирургической академии в Петербурге.

Стр 48. *Не помню, в какой именно из шекспировских комедий <...> — невинность есть пустая бутылка*...— Вероятно, Салтыков имеет в виду обмен репликами между хозяйкой трактира и потаскушкой Доль в пьесе Шекспнра «Генрих IV», где речь идет о «порожнем сосуде» (часть 2-я, д II, сц. 4).— См. Уильям Шекспир. Полн собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, М. 1959, стр. 161—162).

...*целые поколения пустых посудин*...— В черновой рукописи «Введения» Салтыков вместо «Митрофанов» употребляет термин «пустые бутылки». Это проясняет смысл настоящего места, метафорически характеризующего Митрофанов-ташкентцев.

Стр. 50. ...*разврат добросовестный*...— Выражение, вероятно связанное с «Думой» М. Ю. Лермонтова (1840), где упоминается «добросовестный рабский разврат» предшествующего дворянского поколения.

Стр. 51. ..*ces dames*...— Часто употребляемое Салтыковым по-французски и по-русски выражение «эти дамы», означает «кокотки»· оно встречается в известной опере-буфф Жака Оффенбаха «Елена прекрасная», либретто А. Мельяка и Л. Галеви («La belle Hélène», 1867, д. I, сц. 6).

Стр. 52. *Пьер Накатников*.. — См. о нем на стр. 699.

Le principe du stanovoy russe...— намек на «обуздательскую» политику и русификацию в Литве, Белоруссии и Царстве Польском, где царизм насаждал полицейские порядки.

Стр. 53. ...*le principe du télègue russe*.— Выражение, обличающее уровень «цивилизаторской миссии» царизма, маскировавшего свою экспансионистскую политику в Средней Азии просветительским лозунгом приобщения «отсталых народов» к благам современной культуры.

...*ему небезызвестна была моя цивилизующая деятельность в одной из западных губерний <...> ах, как я себя тогда вел!* — Имеются в виду «дикозверские подвиги» (по выражению Герцена) во время подавления польского восстания, памятником которых оставались «сожженные деревни, убитые женщины, разграбленные дома» (см *Герцен*, т. XVII, стр. 58).

Стр. 56. ...*Omnià meà mecùm portò*...— Невежественный ташкентец Накатников произносит известный афоризм древнегреческого мудреца Бианта, делая в латинском тексте ударения на французский лад.

...*ses pénates et ses lares*...— В римской мифологии пенаты — покрови-

тели семьи и домашнего очага; л а р ы — души умерших предков, покровительствующие домашнему очагу.

Стр. 57. *Га!* — междометие, встречающееся в трагедии Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» (1833), было осмеяно современной ему критикой.

...и у нас, ташкентцев, есть свои чернорабочие и свои гвардейцы! — Об этом делении активных и пассивных приверженцев хищничества и насилия 60-х годов на две четко очерченные группы см. подробно в работе С. А. Макашина «В борьбе с реакцией».— *ЛН*, т. 67, стр. 335—336.

Стр. 58. *..Палкин трактир* — популярный ресторан на углу Невского и Литейного проспектов.

...шлющихся <...> людей.— См. об этом выражении — т. 8, стр. 511.

О Н И Ж Е

(Стр. 59)

Впервые — «Общее дело» (Женева), 1880, июнь и июль, № 36, стр 12—15; август, № 37, стр. 10—14, под заглавием «Ташкентцы, обратившиеся виутрь». Без подписи. В России впервые — в *изд. 1881.*

В очерке «Они же» дана картина (едва ли не первая в русской литературе) репрессивной политики царского правительства и борьбы с революционным движением и его деятелями

Вследствие полного отсутствия документальных свидетельств время написания очерка устанавливается лишь предположительно на основании его содержания. Нарисованная в очерке картина похода властей против неблагонадежных элементов с приглашением добровольцев для участия в нем общим своим колоритом, многими деталями воспроизводит в сатирически-обобщенном виде разгул реакции и полицейских репрессий после каракозовского выстрела 4 апреля 1866 года, деятельность Верховной комиссии, возглавляемой М. Н. Муравьевым («Вешателем»). Таково мнение и младшего современника писателя, историка А. Корнилова. «Началась ужаснейшая травля, лучше всего описанная впоследствии Салтыковым в мастерском очерке «Ташкентцы, обратившиеся внутрь». Обыскивали и хватали кого попало» [1]. По предположению С. А. Макашина, очерк был написан еще до возникновения замысла ташкентского цикла, по горячим следам совершающихся событий, в 1866—1868 годах, и лишь на более поздних этапах включен в цикл [2]. Неизвестно, пытался ли Салтыков провести очерк «Они же» в печать ранее 1869 года, так как сохранившаяся цензурная документация ие содержнт упоминанний об этом.

---

[1] А. А. К о р н и л о в. Общественное движение при Александре II (1855—1881). Исторические очерки, М. 1909, стр. 176.

[2] Содержащееся в статье В. Кранихфельда «Среди ташкентцев» утверждение, что очерк написан в 1880 году (*ГМ*, 1914, № 5, стр. 13—16), давно опровергнуто (см. М Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Сочинения, т. 2, М.—Л. 1926, стр. 512—514; Е. П о к у с а е в. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 199, 200).

В одном из своих отзывов конца 1869 года наблюдающий за «Отечественными записками» Ф. Толстой, стремясь подчеркнуть уступчивость редакции требованиям цензурных властей, сообщал: «Так, например, она <редакция> исключила целую статью, приготовленную для № 11 (продолжение «Ташкентцев») [1]. Название очерка Ф. Толстым не указано, но вполне вероятно, что речь идет об очерке «Они же», ибо неизвестны другие произведения ташкентского цикла, запрещавшиеся цензурой. По-видимому, Салтыков предполагал напечатать этот очерк в ноябрьском номере «Отечественных записок» вместе с очерком «Что такое «ташкентцы»? Отступление». Использовав последний в качестве своеобразного введения к произведению, являющемуся непосредственным откликом на события современной общественно-политической действительности, Салтыков подключил очерк «Они же» к ташкентской проблематике, в это время им разрабатывающейся. Это оказалось нетрудно сделать, ибо образ главного героя, «цивилизующего» посредством полицейского насилия, вполне укладывался в рамки «ташкентства».

После 1869 года Салтыков, видимо, не предпринимал попыток провести в печать очерк «Они же». Лишь в 1881 году при подготовке второго издания «Господ ташкентцев», воспользовавшись некоторым ослаблением цензурного гнета, он включил его, несколько обновив и отредактировав, в состав цикла. Однако до публикации очерка в России он был дважды напечатан в зарубежной вольной русской прессе: в издававшемся в Женеве журнале «Общее дело» (1880, июнь и июль, № 36, стр. 12—15; август, № 37, стр. 10—14) и в том же году в издательстве М. К. Элпидина отдельной брошюрой. Обе публикации осуществлены под заглавием «Ташкентцы, обратившиеся внутрь» и без указания на принадлежность очерка Салтыкову. Публикация в «Общем деле» сопровождалась следующим примечанием: «Статью эту мы получили в числе нескольких экземпляров из разных пунктов Германии и Франции с предложением напечатать ее в «Общем деле», как произведение, которое, вследствие своей большой распространенности в публике, давно уже сделалось как бы общественным достоянием» («Общее дело», 1880, № 36, стр. 15).

Содержание примечания и отсутствие при публикации имени Салтыкова преследовали, несомненно, цели камуфляжа, чтобы скрыть пути получения текста из России. Из писем Н. А. Белоголового, одного из редакторов «Общего дела», к П. Л. Лаврову следует заключить, что сам Салтыков не участвовал в пересылке за границу запрещенной цензурой рукописи.

Между публикацией в «Общем деле» и *изд. 1881* имеются значительные разночтения, которые свидетельствуют, что в распоряжении редакции «Общего дела» был текст без последней авторской правки. В публикации «Общего дела», например, во всех случаях, где Салтыков в последней редакции пользовался терминами «неблагонадежные», «вольномыслие», «либералы»,

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 36.

везде фигурируют «нигилисты», «нигилистки», «нигилизм». Так, например, вместо «увлеченная хитростью в сонмище неблагонадежных» в «Общем деле» печаталось «увлеченная страстью в нигилизм», вместо «Либералы! раздается победный клич» — «Нигилизм! раздается победный клич». После слов «публицисты гремели» в «Общем деле» имелось следующее продолжение: «и доказывали, что наводнения производятся нигилистками». Вместо «Борьба романтизма с классицизмом, движение, возбужденное Белинским, Луи Бланом, Жорж Занд — все это увлекало иас совершенно искренно» в «Общем деле» печаталось: «Борьба романтизма с классицизмом, философское движение, возбужденное Гегелем, Гоголем, Жорж Занд» и т. д.

В публикации «Общего дела» имеются также абзацы, отсутствующие в *изд. 1881*. Так, за фразой «Но отчего же один генерал говорит: «молодец!», а другой при тех же точно обстоятельствах кричит. «мерзавец»?» следовало такое рассуждение:

«Ужели это то самое явление, которое в административной практике известно под именем «независимости власти»? или, быть может, это первые робкие опыты практического применения принципов «самоуправления» (Он же «децентрализация» или кто во что горазд?)... Во всяком случае, нужно было бы предварительно изъять подлежащий по сему предмету трактат...»

В дальнейшем очерк в редакции, опубликованной в «Общем деле», под заглавием «Как высекли действительного статского советника, или Ташкентцы, обратившиеся внутрь» и с указанием имени автора, перепечатывался М. Элпидиным в Женеве в 1891, 1896, 1901 годах и в Берлине в 1903 году, где он был выпущен Г. Штейницем в качестве 68-го выпуска в серии «Собрание лучших русских произведений».

Стр 59. *Ташкент еще завоеван не был...*— Город Ташкент был взят штурмом русским отрядом под командованием генерала М. Г. Черняева 15 июня 1865 года. Салтыков здесь, вероятно, сознательно смещает даты из цензурных соображений.

...на Западе дело было покончено...— то есть подавлено польское национально-освободительное восстаиие 1863—1864 годов

Я помню, это было летом. Петербург погибал, стихии смешались.— Салтыков рисует далее картину разгула реакции 60-х годов. Это время «пожаров, покушений, допросов, судбищ, высылок», когда появились «корни и нитн» и был «кликнут клич», на который первыми явились «обрусители, задешево получившие куски конфискованных земель», Салтыков подробно характеризует в «Пестрых письмах» (письмо 8-е, т. 16).

Стр. 59—60. *Публицисты гремели; общественное мнение требовало быстрой и действительной немезиды.*— «Дерзкая инициатива первого слова» в безудержной реакции 60-х годов принадлежала, как отмечал Герцен, газете «Московские ведомости» и ее редактору М. Н. Каткову. «Примеру Москвы тотчас последовали провинция и Петербург. Произошло нечто неслыханное в истории: дворянство, аристократия, купечество, словом, все *цивилизованное* общество империи с шестидесятимиллионным населением, без различия

национальности и пола, стало превозносить самые жестокие экзекуции, посылать хвалебные телеграммы, поздравительные адреса, иконы ужасным людям, которые не вышли на честный бой, а занялись умиротворением посредством виселиц» (*Герцен*, т. XVIII, стр. 208—210).

Стр. 60. *Как в 1612 году, общество пыталось спасти себя само, без разрешения начальства.*— Ироническое сопоставление стихийно начавшейся героической борьбы русского народа в начале XVII века за свое национальное существование с подогревавшейся реакционной печатью и правительством кампанией против «нигилистов» в 60-х годах.

...генерал произносил возмутительную речь <...> не посрамимся, ляжем костьми.— Салтыков пародирует здесь речь М. Н. Муравьева, произнесенную в Московском английском клубе 10 апреля 1866 года: «...я скорее лягу костьми,— сказал Муравьев,— чем оставлю неоткрытым это зло, зло не одного человека, но многих, действующих в совокупности. Господа, мы всеми силами должны стараться об открытии этого зла, и надеюсь, что вы, дворяне, поможете мне в этом» (*МВ*, 1866, № 78, 14 апреля).— Слово «возмутительную» Салтыков здесь употребляет в смысле «призывающую к мятежу».

Так <...> говорил... великий князь Святослав Игоревич, намереваясь вступить в сокрушительный бой с Иоанном Цимисхием...— Сражение между войсками, возглавлявшимися князем Святославом Игоревичем, и войсками византийского императора Цимисхия, произошло в 971 году и закончилось поражением русского князя.

...всех возрастов, состояний и наций.— Возможно, реминисценция из «Братьев-разбойников» Пушкина (1821).

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!

Ею подчеркивается разбойничий характер сборища ташкентцев.

Стр. 61. *...par escouades.*— Приведенным в скобках французским военным термином Салтыков подчеркивает тесную связь репрессивной политики самодержавия с приемами подавления революционной и национально-освободительной борьбы, выработанными правительством Третьей империи во Франции.

...у немца всегда русская душа!..— Немецкая (по происхождению) бюрократия занимала в XVIII—XIX веках многие значительные посты в русских правительственных учреждениях. В сущности, сами цари из династии Романовых, начиная с Петра III и Екатерины II, были чистокровными немцами. Салтыков иронически выделяет здесь те свойства «правительствующих немцев» в России, которые отмечал несколько ранее Герцен в статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859),— черствость, холодность, бесстрастие, точность и злость, беспощадность в исполнении «безумных приказов самовластья» (*Герцен*, т. XIV, стр. 149).

...истинный француз есть тот, который исполняет приказания генерала Пьетри! — В своей продолжительной борьбе с «крамолой», приведшей к деморализации французского народа, Наполеон III опирался на префектов парижской полиции — братьев Пьетри (Пьера-Мари и Жоакима). Пьер-Мари занимал эту должность в 1851—1858 годах. Жоаким — с 1867 года.

...666 соискателей... — Количество «крестоносцев», собравшихся в поход против «неблагонадежных» элементов, представлено здесь кабалистическим «звериным» числом, с которым в Апокалипсисе связано появление антихриста.

Стр. 62. *...встретивши «стриженую»* ..— К мнению издателя «Московских ведомостей» М. Н. Каткова, видевшего в «мерзавках-стрижках» «корни смуты», вскоре присоединилась полиция и широкие круги обывателей, для которых синие очки, короткие волосы, а также отсутствие кринолина у женщин интеллигентского круга стали своего рода признаком политической неблагонадежности — особенно после того, как комиссия для обсуждения мер по рескрипту царя кн. П. П. Гагарину предложила принять решение относительно ношения нигилистами «наружных признаков» их учения или «эмблем». Мужчинам запрещалось носить длинные волосы и синие очки, женщинам — короткие волосы, а также выходить без шиньонов и кринолинов. Нарушителей этого постановления предписывалось забирать в полицию (см. П. Гуревич. К характеристике реакции шестидесятых годов — Историч. сб. «О минувшем», СПб. 1909, стр. 108—109).

...народной немезиды — «народная немезида» — выражение Пушкина (из стихотворения «Наполеон», 1821 и «Бородинская годовщина», 1831).

...когда я цивилизовал на Западе... — то есть участвовал в кровавом подавлении польского восстания. См. прим. к стр. 53.

...«надзея» — польское слово «nadsieja» (надежда, чаяние), которое участники восстания 1863—1864 годов употребляли как синоним близкой победы.

Стр. 63. *...кислых щей...* — Кислые щи — популярный в то время напиток (шипучий квас).

Стр. 64. *Ночь, робеющий дворник...* — «Ночью с восьмого на девятое апреля начинается период поголовного хватания <...>,— сообщал Н. А. Вормс в л. 231—232 «Колокола» от 1 января 1867 года.— Брали всех и каждого, кто только был оговорен, чье имя было произнесено на допросе кем-нибудь из взятых или находилось в захваченной переписке <.. > Не спали ночей и не доедали куска Они рыскали целые ночи; они выходили на ловлю с захождением солнца и, как тати и разбойники, скрывались при его появлении». При арестах и обысках «ташкентцы» обращались с «нигилистами» «резко и грубо, по-солдатски, на ты, уснащая речь свою площадною бранью и дикими остротами казарменного изделья, с людьми, имевшими несчастье не принадлежать к дворянской касте».

Стр. 65. *...женерозность...* — великодушие (от *франц.* généreosité).

«Alea jacta est; la grandeur d'âme est à l'ordre du jour»,— восклицали мы вслух с Ламартином.— Знаменитую фразу, произнесенную, по преданию, Юлием Цезарем при переходе через реку Рубикон — «Жребий брошен»,— Ламартин процитировал 6 октября 1848 года в своей речи во французском Национальном собрании, посвященной вопросу о том, как должен быть избран президент республики — палатой депутатов или всеобщим голосованием: «Alea jacta est! Да выскажутся бог и народ! Что-нибудь должно быть предоставлено и Провидению!» (см. Louis Barthou. Lamartine orateur. Paris, 1916, p. 284). К этому «крылатому выражению» Салтыков присоединил высокопарную сентенцию о «величии души» из декрета об отмене смертной казни за политические преступления, провозглашенного 26 февраля 1848 года французским Временным правительством, членом которого был Ламартин: «Временное правительство, убежденное, что величие души — это высшая политика...» («Moniteur Universel», 1848, 27 февраля). Салтыков резко отрицательно относился к политической деятельности Ламартина, сыгравшего пагубную роль в февральской революции 1848 года.

Стр. 66. *Была одна минута...*— Период общественного подъема после смерти Николая I.

..выползли из нор какие-то волосатые люди и начали доказывать, что «добро», «красота», «истина» — все это только слова, которые непременно нужно наполнить содержанием ..— Имеется в виду появление на общественной арене в середине 50-х годов демократов-разночинцев — «новых людей», в частности, некоторые высказывания Чернышевского и Добролюбова в «Современнике» конца 50-х — начала 60-х годов в их полемике с либеральными публицистами и сторонниками «чистого искусства».

...*«распорядиться»* — то есть высечь (намек на известное выражение помещика Пеночкина в рассказе Тургенева «Бурмистр» — «Записки охотника», 1847).

Стр. 67. *...вы . друг Грановского? Вы!.. Да он бы на порог квартиры своей вас не пустил!..*— Изображая эволюцию некоторых либералов 40-х годов, ставших откровенными проводниками реакционно-охранительной идеологии, Салтыков имеет в виду и один частный, но широкоизвестный тогда факт, связанный с деятельностью бывшего приятеля Т Н Грановского, профессора-востоковеда В. В. Григорьева. Григорьев, писал Герцен в «Колоколе», «особенно прославился поручением в остзейские губернии, имевшим целью осмотр книжных лавск и частных библиотек в случае нужды Ему содействовали два жандармских офицера при отборе и запечатывании книг. При окончании этого поручения Григорьев был назначен в Оренбург. Проездом через Москву ему вздумалось навестить Грановского, может, и затем, чтоб заглянуть в его библиотеку. Грановский, знавший про подвиги Григорьева, велел своему слуге не впускать его на двор» (*Герцен,* т. XIII, стр. 30). Намек Салтыкова был особенно злободневен, так как В. В. Григорьев незадолго до того был назначен редактором «Правительственного вестника».

Стр. 67. *...«он» сидел и читал книгу...*— Чтобы убедиться, насколько точно Салтыков передает подробности обысков, в которых вместе с гвардейскими офицерами участвовали и «благонамеренные добровольцы», достаточно сопоставить нарисованные писателем сценки с воспоминаниями Г. З. Елисеева и его гражданской жены о произведенном «разнузданными ташкентцами» обыске в их доме при аресте Елисеева (см «Шестидесятые годы», М — Л 1933, стр. 330—343 и 417—419)

Содержание ее было физиологическое.— Вероятно, имеется в виду книга И. М. Сеченова «Физиология нервной системы» (СПб. 1866), пользовавшаяся популярностью в среде демократической молодежи

Гражданским браком? проклятым гражданским браком? .— Вопросы, которые предлагались при аресте, были, «между прочим, следующего сорта: скольких вы имели мужей? сколько раз вы были в гражданском браке? и т. п., только предлагались они в самой омерзительной и возмутительно-циничной форме, приправленные гнусными казарменно-бульварными шуточками. Сколько приходилось вытерпливать, выносить нравственных оскорблений и унижений этим беззащитным женщинам — и передать невозможно!» — писал Н. А. Вормс в «Колоколе» (цит. выше статья «Белый террор»).

...билет! — Так называемые «желтые билеты» выдавались в России профессиональным проституткам, которым они служили видом на жительство. Угроза выдачи «билета» служила для полиции одним из средств дискредитации одиноких или живших в гражданском браке женщин, подозреваемых в «нигилизме». См. об этом в воспоминаниях Е. П. Елисеевой («Шестидесятые годы», указ изд., стр. 425—427).

Стр. 68. *...«он» уже «травленый».*— В этом эпизоде отражена обстановка ареста А. И. Европеуса и его жены в 1866 году. Европеус уже дважды подвергался арестам и ссылке: как петрашевец — в 1849 году и за участие в тверской либеральной оппозиции. Как отмечал в своих воспоминаниях В. И. Танеев, когда к Европеусу «являлись с обыском, как к старому злоумышленнику, жандармы, то они каждый раз очень удивлялись, не находя ничего, кроме закуски. И закуску эту он любезно разделял с ними» Танеев сообщает, имея в виду именно очерк «Они же», что «Салтыков изложил все это в одном из своих рассказов» (*«Салтыков в воспоминаниях...»*, стр. 563).

Стр. 70. *Все чувствовали, что надо вырвать «зло» с корнем...*— «Все наши государственные и общественные интересы требуют, чтобы корень зла был обнажен вполне,— писал М. Н. Катков в одной из передовых статей в связи с выстрелом Каракозова.— Страшно подумать, если и теперь, когда зло выразилось таким ужасающим образом, оно не будет раскрыто в своих корнях..» (*МВ*, 1866, № 75, 10 апреля). Той же терминологией воспользовался председатель следственной комиссии по делу Каракозова М. Н. Муравьев в своем докладе Александру II («Былое»,1907, № 8/20, стр. 195—199), а вслед за ним и сам царь, заявивший в известном рескрипте кн. П. П. Гагарину от 13 мая 1866 года: «Исследования, производимые учреж-

денною по моему повелению особою следственною комиссиею, уже указывают на корень зла» (см. «Северная почта», 1866, № 102, 14 мая). Характерно, что в этом же документе Александр II обратился за содействием именно к «ташкентцам». «...для решительного успеха мер, принимаемых против пагубных учений, которые развились в общественной среде и стремятся поколебать в ней самые коренные основы веры, нравственного и общественного порядка, всем начальникам отдельных правительственных частей надлежит иметь в виду содействие тех других, здравых, охранительных и добронадежных сил, которыми Россия всегда была обильна и доселе, благодаря бога, преизобилует ..»

Vae victis! — афоризм, которым, по словам Тита Ливия, галльский царь Бренн на заседании римского сената подчеркнул унизительное положение римлян, побежденных галлами.

Стр. 72. *От Перми <...> до пламенной Колхиды ..*— Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 74. *«Он», очевидно, был философ...*— Возможно, в основу образа этого революционера-философа легли черты П. Л. Лаврова, арестованного и сосланного в связи с каракозовским делом.

Стр. 75. *«Науки юношей питают...»* — из оды М. В. Ломоносова (1747).

Стр. 76. *...зачитывавшуюся Боклем до чертиков.*— Труд Г.-Т. Бокля «История цивилизации в Англии» усердно изучался русской революционной молодежью 60-х годов (см. т. 7, стр. 548). Самый факт чтения его воспринимался реакционерами как одно из проявлений «нигилизма» *«Фогт, Дарвин, Молешотт, Бокль* — соучастники каракозовского дела,— саркастически замечал в «Колоколе» Герцен.— Их сочинения велено отобрать у книгопродавцев. Вот до какой тупости довели нас духовные министры и бездушные крикуны казенных журналов!» (*Герцен,* т. XIX, стр. 131).

Стр. 77. *«Они» сидели и клеили картонки* — Описывается обыск в одной из женских артелей, создававшихся в 60-х годах по образцу, изображенному в «Что делать?» Чернышевского. Первыми вопросами «ташкентцев» к рабочим и работницам мастерских при обысках были «Получаете ли вы жалованье? не читали ли вам «Что делать?»?» («Колокол», л. 231-232, 1867, 1 января).

Стр. 78. *В похвалу мне произносились спичи <...> со всех концов сыпались поздравительные телеграммы...*— Намек на многочисленные манифестации реакционных дворянских кругов, с восхвалением террористической деятельности председателя комиссии по делу Каракозова М. Н. Муравьева, направленной против «нигилистов».

Стр. 79. *...а к другому, настоящему...*— Вероятно, здесь содержится намек на начальника III Отделения генерал-адъютанта гр. П. А. Шувалова. Между гр. П. А. Шуваловым и М. Н. Муравьевым существовало в это время острое соперничество. «Шувалову было досадно, что не ему поручено следствие <над Каракозовым>, а Муравьеву было горько, что начальником III Отделения сделали не его, а человека тридцатью годами моложе»,— отмечал в

1867 году П. В. Долгоруков в корреспонденции, напечатанной в «Колоколе» (см. Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867, М. 1934, стр. 266).

В «Старом Пекине»...— «Старый Пекин» — ресторан (трактир) на Моховой улице в Петербурге.

Стр. 80. . *это другой, а не ви!* — Намек на телесные наказания, которым, по слухам, подвергали в это время арестованных в Петропавловской крепости и в III Отделении. См. прим. к стр. 487.

Стр. 81. *Пришел, распорядился и ушел!* — См. прим. к стр 15.

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

Параллель первая

(Стр. 82)

Впервые — *ОЗ*, 1871, № 9, стр. 173—207 (вып. в свет 20 сентября), под заглавием «Ташкентцы приготовительного класса».

При публикации в журнале очерк не имел подзаголовка «Параллель первая», который появился лишь в *изд. 1873*. Это свидетельствует, возможно, о том, что в августе 1871 года у Салтыкова еще не было намерения продолжить эту публикацию серией цикловых очерков и что такое решение возникло или окончательно оформилось лишь в сентябре — октябре 1871 года, когда он уже напечатал первую параллель и приступил к работе над второй (см. стр. 703).

Текст журнальной публикации очерка содержит немногочисленные, но в ряде случаев интересные разночтения по сравнению с текстом отдельных изданий. Так, перечень авторов «избраннейших романов», книги которых наполняли библиотеку господского дома в селе Перкали, в *ОЗ* и *изд. 1873* был такой: «Габорио, Флобер, Фейдо, Понсон-дю-Терайль и прочее» В *изд. 1881* Салтыков заменил Флобера бульварным романистом Монтепеном. По-видимому, эта замена характеризует изменение отношения Салтыкова к Флоберу, с которым он лично познакомился в 1876 году в Париже. Кроме того, рассуждения Nicolas о нигилистах завершались в «Отечественных записках» сатирическим откликом на одно из мест статьи о «нечаевском деле», помещенной в «С.-Петербургских ведомостях» (1871, № 180): «Как сказал один мой знакомый фельетонист,— это Хлестаковы, представители собственной разгоряченной фантазии!» В «С.-Петербургских ведомостях» Нечаев действительно сравнивался с Хлестаковым: «Это Хлестаков-агитатор, Хлестаков, сознательно бросившийся в обман и увлекшийся своей ролью, подобно бессмертному Ивану Александровичу». Эта фраза процитирована Салтыковым в статье «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики», помещенной в том же номере «Отечественных записок» (см. т. 9, стр. 204). В 1873 году этот намек потерял свою остроту и злободневность, а поэтому и был исключен из текста произведения.

Во всех прижизненных изданиях другом Nicolas значится Сеня Накатников. На самом деле им был Сеня Бирюков, подпись которого стоит под запиской о романтизме. (См. стр. 119.) Однако, исправляя указанную ошибку, К И. Халабаев и Б. М Эйхенбаум ввели в *изд. 1933—1941* в текст «Первой параллели» Пьера Накатникова, считая, что друг «куколки» и «главный двигатель ташкентской цивилизации» из очерка «Ташкентцы-цивилизаторы» — одно и то же лицо. Так была произведена необоснованная замена одного персонажа другим, никакого отношения не имеющим ни к «куколке», ни к «заведению». В настоящем издании на основе сопоставления комментируемого очерка с «Ташкентцами-цивилизаторами» выявлены и восстановлены подлинные имена персонажей.

В «Отечественных записках» к заглавию очерка было дано авторское примечание: «Что слово «ташкентцы» следует принимать здесь не в буквальном смысле, об этом подробно объяснено в статье «Что такое «ташкентцы»?», напечатанной в «Отеч. записках», 1869, № 1»; оно было снято в отдельном издании.

Стр 82. *...в специально устроенные садки...*— то есть в «институты для благородных девиц» — для дочерей лиц привилегированного сословия. В этих институтах изучались преимущественно французский язык, танцы и «хорошие манеры».

.. а может быть... и сам Александр Дюма-фис.— Александр Дюма-сын женился в 1860 году на русской аристократке Н. Л. Нарышкиной (Кнорринг), бывшей возлюбленной А. В. Сухово-Кобылина. До этого среди любовниц Дюма была другая великосветская русская дама — Л. А. Нессельроде (Закревская). См.: «Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов». М. 1929, стр. 106 и А. Моруа. Три Дюма. М. 1962, стр. 282—377.

Стр. 83. *...конфиденткою..* — наперсницей (*франц.* confidente).

Стр. 84. *Он у меня совсем-совсем куколка!..*— В февральском номере «Отечественных записок» 1870 года, то есть еще до написания «Параллели первой», было напечатано изложение книги Ипполита Тена «Notes sur Paris» («Заметки о Париже») с сатирически острой характеристикой светского молодого человека, пустоголового бонвивана. «Каково же было его воспитание? <...> — писал Тен.— Во-первых, домашнее воспитание, когда мать одевала его, как куколку, и любовалась его милой рожицей» и т. д. В школе «он хвастал своим товарищам, что по воскресеньям, возвращаясь в коллегию, он провожал хорошеньких женщин, что кутил с гризетками, и все это передавалось в выражениях, не особенно приличных» (отд. II, стр. 291—324). Возможно, характеристика эта привлекла к себе внимание Салтыкова, так как этот образ имеет ряд общих черт с образом Nicolas Персианова.

.. на другую куколку...— Ольга Сергеевна Персианова — первый по времени тип «куколок» в щедринской галерее пустых и аморальных светских

дам (см. «Благонамеренные речи», «Круглый год», «За рубежом», «Письма к тетеньке» и др.).

Стр. 85. ...*национальгарды* ..— французские национальные гвардейцы (*франц.* garde nationale). В данном случае, судя по контексту, речь идет о гвардейской офицерской молодежи Петербурга.

Стр. 88. *Адамант* — алмаз

Стр. 90. *«L'homme qui rit»* — «Человек, который смеется» — роман В. Гюго (1869). Главным героем его является акробат Гуинплен.

«Из прекрасного далека» — выражение из «Мертвых душ» Гоголя (1842).

...*мальтретированной*...— подвергавшейся дурному обращению (от *франц.* maltraiter).

На семейном совете решено было просить...— то есть решено было обратиться в правительственные инстанции или даже к самому царю с просьбой о наложении опеки на имущество Персиановой, во избежание окончательного разорения ее сына.

...*«царь Давид на лире, играет во псалтыре...»* — «Псалтырь» — одна из книг Ветхого завета (собрание псалмов) — обычно издавалась в России с изображением псалмопевца — пророка Давида, играющего на струнном инструменте, напоминающем лиру. На этом основывается, вероятно, эта семинарская присказка, неоднократно встречающаяся в произведениях Салтыкова.

Стр. 91. ...*театр Берга*...— частный театр на Екатерингофском проспекте; репертуар его состоял из «французских шансонет и интермедий. Сверх того, небольшие русские пьески, гимнастические упражнения, балетные сцены и проч.» (см. Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, Часть I, СПб. 1874, стр. 227—228).

...*табельным дням*.— Табельные дни — дни царских праздников, в которые не функционировали государственные учреждения и учебные заведения.

A Provins // On récolte des roses...— Этот «французский известный романс» из репертуара шансонетной певички Альфонсин («Альфонсинки») Салтыков упоминает в ряде произведений — «Письмах из провинции», «Испорченных детях», «В среде умеренности и аккуратности», «Современной идиллии» и др.

Стр. 92. ...*рукулировал*...— ворковал (от *франц.* roucouler).

Стр. 93. ...*слеза невольная скатилась*...— Из «Кавказского пленника» Пушкина (гл. II, стих 243).

Стр. 94. ...*Светлейшего!* — Светлейший князь Таврический — титул фаворита Екатерины II, генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина.

...*готовил ему блестящую карьеру*...— то есть собирался предложить его Екатерине II в качестве очередного фаворита, чтобы сохранить при ней «своего человечка» во время своих продолжительных отлучек из Петербурга. Салтыков намекает на реальный эпизод, относящийся к 1786 году, когда Потемкин представил Екатерине II все с той же целью своего двадцативосьмилетнего адъютанта А. М. Дмитриева-Мамонова.

...то имя...— то есть Екатерину II.

Стр. 95. *.. нашу прекрасную православную религию... (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbé Guété).*— Смысл этого выражения заключается в том, что аббат Рене Франсуа (Владимир) Гетэ (Guéttée) — католический священник и клерикальный публицист перешел в православие и стал его деятельным пропагандистом на Западе.

«Без кормила, без весла».. — Из стихотворения А. К. Толстого «Вздымаются волны...» (1866). В подлиннике «Без весла и кормила».

...ездила даже с визитом к Прудону...— Персианова принадлежала к числу тех представительниц «аристократического камелизма», преисполненных, по выражению Герцена, «избалованности и дурных привычек, каприза, распущеиности, кокетства, иногда несправедливости», которые зачастую, «закусив удила», испытывали желание все «делать назло» (*Герцен,* т. XI, стр. 463). Отсюда и демонстративный визит к Прудоиу, являвшемуся для русских официальных и светско-обывательских кругов живым воплощением социалистических и революционных идей.

Стр. 98. *Que la volonté de Dieu soit faite!* — выражение из молитвы «Отче наш».

Стр. 100. *«Mon père est à Paris»* — Очевидно, модная шансонетка.

..нигилисты <...> это злые духи...— Беседа Персиановой с сыном представляет собой пародию на суждения реакционных органов печати о нигилизме и «нечаевском деле» (см. т. 9, стр. 194—224). Уподобление нигилистов «злым духам», возможно, является полемическим выпадом против «Бесов» Достоевского.

Стр. 102 *..они требуют миллион четыреста тысяч голов!* — См. прим. к стр. 300.

Они говорят, что наука вздор <...> — что искусство — напрасная потеря времени <...> что всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина...— Ходячие обвинения по адресу революционных демократов-разночинцев 60-х годов, выдвигавшиеся их идейными противниками и «благонамеренными обывателями».

Стр. 103. *До сих пор я только любила тебя <...> теперь я тебя уважаю!* — Персианова дословно повторяет это «древнеримское изречение» из «Бесов» Достоевского (ч. I, гл. 1), пародирующее воззрения Чернышевского на отношения между супругами (в «Что делать?»). Об этом см. подробно. Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. 7, М. 1957, стр. 741.

Стр. 103—104. *...сегодня на господском овсе застали целое стадо гусей. Я думаю, что система штрафов была бы в этом случае очень-очень действительна!* — Полемический выпад против А. А. Фета. См. прим к стр. 455.

Стр. 104. *Как скоро откроется вакансия, тогда уж <...> надо будет думать о приискании невесты-с!* — Замещать должность священника в православной церкви имели право только женатые (или вдовые) представители «духовного сословия».

«Телесного озлобления..» — выражение из «Скрижали» Арсения Грека. Аргентов, вероятно, напевает семинарскую песенку.

Стр. 107. *...краеугольные камни...* — выражение из Библии (Исайя, 28, 16), означающее «основы».

Стр. 110. *«Retour des Indes»...* — бордоское вино. Для улучшения вкусовых качеств этого вина его отправляли на кораблях к Индии и привозили обратно.

..с гидрою! — Подразумевается «с гидрою революции». Этот фразеологический штамп реакционной публицистики часто высмеивался Салтыковым См., например, очерк «Самодовольная современность» (т. 7).

Стр. 111. *Но, даст бог, классическое образование превозможет, и тогда...* — После долгих колебаний, связанных с вопросом — «Какая система образования менее способна привести к революции», классическая ли, основанная на изучении двух мертвых языков, или реальная, базирующаяся на точных и естествоведческих дисциплинах (см. «Гражданин», 1872, № 1, 3 января), правительство остановилось на первой системе. 30 июля 1871 года был утвержден гимназический устав, выработанный гр. Д. А. Толстым, утверждавшим, что реформы народного образования 1849—1851 годов «если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения» (см. С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. 1802—1902, СПб. 1902, стр. 520—525). Новым уставом существенно ограничивались возможности получения законченного среднего и высшего образования разночинно-демократической молодежью.

...utile dulce... — этими словами заканчивается стих 343 «Науки поэзии» Горация.

Стр. 112. *...c'est Eutrope qu'il faut lire!* — Имеется в виду сочинение Евтропия «Breviam historiae Romanae» («Краткий курс римской истории»). Книга эта изучалась Салтыковым в Дворянском институте и в Лицее.

...у Дюссо, Бореля и Донона. — Рестораны Дюссо и Бореля на Б. Морской и Донона на набережной Мойки были в равной степени известны своей дороговизной и как излюбленное место кутежей столичной «золотой молодежи». В этих ресторанах, отмечал современник, «нередко проедаются и пропиваются в один присест такие деньги, которых хватило бы на продовольствие иной голодной деревни в течение целого года» (В. О. Михневич. Наши знакомые, СПб. 1884, стр. 22).

Стр. 113 *...un nommé comte de Rubempré — un comte de l'Empire...* — Фамилия де Рюбампре заимствована Салтыковым из романов Бальзака «Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок». Главный герой этих произведений — разночинец Люсьен Шардон взял себе фамилию дворянки-матери — де Рюбампре. Презрительный отзыв Мангушева о «comtes de l'Empire» вызван тем, что ряд французских графских и княжеских фамилий вел свое происхождение не от старинных феодально-аристокра-

тических родов, а от «выскочек», получивших титул только при Наполеоне I.

Сполето...— Салтыков называет не существующий в Италии город, чтобы подчеркнуть лживость рассказов Мангушева, его хлестаковство.

...*остерию*...— Остерия — трактир (*итал.* Osteria).

...*lacrima Christi*...— сорт мускатного вина. Изготавливается из винограда, выращиваемого у подошвы Везувия.

...*frutti di mare*!..— Мелкие морские животные, употребляемые в пищу жителями Италии.

Стр 114. *Бежит, шумит // Гвадалквивир*...— неточная цитата из стихотворения Пушкина «Ночной зефир // Струит эфир» (1824).

Стр. 117. ...*из «свинства»... (под этим именем между воспитанниками слывет одна из «наук»)*.— Н. А. Корф, учившийся, как и Салтыков, в Александровском лицее, упомнинает в своих мемуарах о профессоре русской словесности П. Е. Георгиевском, прозванном учениками «Пепка» и читавшем «какую-то невозможную пиитику по своей книге, прозванной нами «Пепкино свинство» (*РС*, 1884, № 5, стр. 377—378). Название этого учебника: «Руководство к изучению русской словесности, содержащее в себе основные начала Изящных Искусств, теорню Красноречия, Пиитику и краткую Историю Литературы, составленное профессором императорского Царскосельского лицея и императорского Училища правоведения Петром Георгиевским. В четырех частях. Издание второе, исправленное и дополненное», СПб. 1842 (первое издание вышло в 1835 году). Белинский в рецензии на этот учебник охарактеризовал его как «чудовище и чудище» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, М 1955, стр. 344—347). В девятом письме из цикла «Письма к тетеньке» Салтыков также упоминает о «Пепкином свинстве» (см. т. 14).

...*«Черты»* — Книга «Черты деятельного ученія веры..», законоучителя Царскосельского лицея Иоакима Кочетова. 3-е издание вышло в Петербурге в 1842 году.

«Чучело» — прозвище, данное лицеистами упомянутому выше профессору Георгиевскому.

Параллель вторая

(Стр. 121)

Впервые — *ОЗ*, 1871, № 11, стр. 247—290 (вып. в свет 19 ноября), под заглавием «Ташкентцы приготовительного класса (вторая параллель)».

К моменту публикации очерка в «Отечественных записках» у Салтыкова уже сложился план продолжения «Ташкентцев приготовительного класса», что и было обозначено им в примечании, сделанном к заглавию очерка в тексте «Отечественных записок» и снятом в отдельном изданин. «Автор предполагает представить читателям несколько параллелей «таш-

кентцев» и потом провести каждую параллель особо, начиная с приготовительного класса, через все фазисы приличной ей деятельности. В настоящем очерке изображается «ташкентец» низшего сорта, «ташкентец», который не пойдет далеко, а будет только слепым орудием. *Авт.*».

В отличие от «Параллели первой», в очерке изображена провинциальная помещичья семья, взрастившая «ташкентца», который, по мысли Салтыкова, в будущем должен быть «только слепым орудием». Важную и даже решающую роль в его духовном формировании сыграло учебное заведение, быт и нравы которого способствовали развитию у воспитанников «палаческих» способностей и задатков, являющихся неотъемлемым качеством ташкентца, не посягающего на занятие высоких постов и ограничивающегося исполнением вторых и третьих ролей.

Обращаясь в «Параллели первой» к изображению казенного учебного заведения, Салтыков использовал свои воспоминания, относящиеся к пребыванию в 1836–1838 годах в стенах Московского дворянского института. Подтверждением этому является, в частности, и выступление писателя Г. П. Данилевского, также учившегося в институте и пытавшегося в статье «Г. Щедрин, побиваемый собственными друзьями» обвинить Салтыкова в искажении общей картины школьного быта и духовной атмосферы в Московском дворянском институте 30-х годов (см. стр. 671).

Тексты отдельных изданий и журнала совпадают, за исключением мелких стилистических поправок, сделанных при подготовке *изд. 1873.*

Стр. 121. *Настоящая его фамилия Хмылов...* — Салтыков наделяет главного героя этой «параллели» фамилией пермского исправника, чудовищные злоупотребления которого приобрели в это время широкую огласку вследствие сенатской ревизии Пермской губернии (см. *ВЕ,* 1871, № 10, стр. 630—659. См. также «Итоги» — т. 7, стр. 441—444).

...Танька, ростокинская разбойница... — Героиня лубочного произведения «Танька, разбойница ростокинская, или Царские терема, историческая повесть XVIII столетия...», сочинения Сергея ...кого, в 3-х частях, М. 1834.

Стр. 123. *...«Дуб и Трость»...* — басня И. А. Крылова (1805).

...вред, от наук происходящий, был приведен российскими романистами и публицистами в достаточную ясность... — Салтыков имеет в виду А. Ф. Писемского, Н. С. Лескова, В. П. Клюшникова, В. П. Авенариуса, Вс. Крестовского и других авторов «антинигилистических» романов, в которых «нигилисты» изображались как «недовольные изверги, негодяи и чудовища-революционеры» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 87), а увлечение студенчества естественными дисциплинами рассматривалось как основная причина их «нигилистических» воззрений. С подобных же позиций обрушивалась на революционную молодежь, на «реальные науки» и реакционно-охранительная печать, в особенности «Московские ведомости» Каткова (см. статью «Уличная философия», т. 9). Об инспирировании правительством открытого похода на материалистические учения см. т. 7, стр. 666.

.. *monsieur Menuet, маленький поджарый француз* .— Как отмечает С. А. Макашин, «колоритнейший сатирический тип «господина Менуэта» из «Господ ташкентцев» находит свой прямой реальный прототип в лицейском французском гувернере monsieur Menuet — г. Менюе,— которого лицеисты звали не иначе как «Менуетом».— С. Макашин. Цит соч., стр. 498.

Стр. 125 *Иди ж, душа, во ад и буди вечно пленна...*— заключительная реплика Димитрия из трагедии А. П Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1771; д. V, явл. 5). Цитата приведена неточно. В подлиннике: «Ступай».

Стр. 126 *...пудретное заведение...*— фабрика, производящая сухие удобрения из человеческих экскрементов.

Стр. 127. *...какой урядник будет сечь, Кочурин или Купцов* ..— В восьмой главе цикла «Недоконченные беседы» (т. 14) Салтыков также упомянул о двух урядниках-экзекуторах, служивших в Московском дворянском институте,— Качурине и Купцове. «Качурин был солдат добрый и сек больно, но без вычур; Купцов сек и в то же время как бы мстил секомому» (см. также С. Макашин. Цит. соч., стр. 100).

Стр. 129. *Амченина...*— Амченин — житель Мценска или Мценского уезда (простореч.).

Стр. 131. .. *грамматику Цумпта...*— «Краткая латинская грамматика Цумпта» — сокращенный перевод немецкого учебника: «Auszug aus C. G. Zumpt's lateinischer Grammatik. Zum Gebrauch für untere und mittlere Klassen gelehrter Schulen» — одна из книг, по которым в детстве учился Салтыков. Первое издание русского перевода вышло в Москве в 1832 году

Стр 133. *...фалетур?* — искаженное «форейтор» — верховой, правивший передней парой лошадей при запряжке цугом.

. *рáстаг* — дневка на походе, день роздыха (нем. Rastag).

Стр. 136. *...«иже еси на небеси» (церковнослав.)* — из молитвы «Отче наш».

Стр. 137. *...как тать в нощи* — как вор ночью *(церковнослав.)* — выражение из Библии Перв. посл к фессалоникийцам (5, 2).

...уступкой маммоне.. — Маммоном у древних сирийцев и евреев назывался бог богатства. В переносном значении — само богатство. Употребляется также в значении «брюхо» и «утроба».

Стр. 138. *«Раскидывал свой шатер...»* — выражение из Библии (Бытие, 13, 12).

Стр 143. .. *болона* — шишка.

Стр. 144 .. *необходимо сказать <...> о братце Софроне Матвеевиче.*— Образ Софрона Матвеевича является своего рода «этюдом» к Иудушке Головлеву — герою романа «Господа Головлевы» (т. 13). «Палач» Хмылов представляет собой как бы первоначальный эскиз Степки-балбеса из того же романа.

Стр. 152. *...стихирами и прокимнами.*— Стихира — церковное песнопение на библейские сюжеты; прокимен — стих из псалтыри.

Стр. 159 *Статский советник Ноздрев у нас был...*— Этот персонаж «Мертвых душ» Гоголя встречается в качестве действующего лица во многих произведениях Салтыкова.

Параллель третья

(Стр. 161)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 1, стр. 243—296 (вып. в свет 16 января), под заглавием «Ташкентцы приготовительного класса (третья параллель)».

Текст отдельных изданий не имеет значительных отличий от журнальной редакции. При подготовке *изд. 1873* проведена мелкая стилистическая обработка текста.

Стр 162. *Князь Тарелкин* — сатирически обобщенный тип боярина — перебежчика и предателя в период т. н. Смутного времени. Возможно, что Салтыков заимствовал эту фамилию из нашумевшей пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», незадолго до того вышедшей в свет (1869).

..маркиза Шассе-Круазе, который <...> прибежал из Парижа в Россию...— то есть спасаясь от революционного террора 1793—1794 годов. О фамилии этого персонажа «Господ ташкентцев», «Скрежета зубовного» и «Писем к тетеньке» см. т. 3, стр. 617—618.

В Шлюшине.. — Шлюшино — в просторечии — Шлиссельбург.

Стр. 163 *Вот и марки почтовые проявились!* — В России почтовые марки были введены в 1857 году.

...инспекторский департамент упразднен! — Инспекторский департамент министерства внутренних дел был упразднен в 1858 году.

Стр. 164. *Я сам в комиссии о распространении единомыслия двадцать лет членом состоял...*—Одно из частых у Салтыкова переосмыслений названия правительственно-бюрократических комиссий, работа которых отличалась полнейшей бесплодностью. В данном случае варьируется заголовок известного сатирического «проекта» Козьмы Пруткова — «О введении единомыслия в России», впервые опубликованного в № 9 «Свистка» («Современник», 1863, № 4). Автором «проекта» Пруткова был В. М. Жемчужников.

..почтовые ящики ..— Первые почтовые ящики в Петербурге и Москве появились в 1848 году, однако повсеместное их распространение относится к последующим десятилетиям.

...древле Захария, священник Авиевой чреды, на склоне дней своих <...> оная Елизавет! — По евангельскому сказанию, у священника Захарии и жены его Елизаветы родился сын (будущий Иоанн Креститель), когда Захария был уже в весьма преклонном возрасте (Л у к а, 1, 5—25).

...взыгра младенец во чреве моем! (церковнослав.) — выражение из Евангелия (Л у к а, 1, 44).

... Стр 166. *Христины Карловны Либефрау* — Фамилия акушерки в переводе с немецкого означает «милая женщина».

Стр. 168. ...*«часы» слушать*...— Часы — богослужение в православной церкви

Стр. 171. ...*из-под арки Главного штаба*...— знаменитая арка архитектора Росси, соединяющая Дворцовую площадь с Большой Морской и Невским проспектом. К «неоглядной пустыне, обрамленной всякого рода присутственными местами», то есть через арку Главного штаба, обычно двигался «чиновничий ход» (см. «В среде умеренности и аккуратности», т 11).

Стр. 172. *Лашшев <...> стоит при реке Волге*...— Ошибка: город Лашшев расположен на берегу Камы.

«Заведение» <...> имело специальностью воспитывать государственных младенцев — В этой обобщенной характеристике привилегированного учебного заведения явственно проступают черты Петербургского императорского училища правоведения, учрежденного в 1835 году «для образования благороднейшего общества на службу по судебной части». Салтыкову были хорошо известны порядки, царившие в этом училище, так как в годы его пребывания в Александровском лицее правоведы и лицеисты находились в тесном общении друг с другом. Воспитание «государственных младенцев» подробно охарактеризовано в «Испорченных детях» (т. 7, стр. 361—397).

Стр. 176. .. *мсьё Петанлер*...— Фамилия эта в переводе с французского означает «ветрогон» (pet-en-l'air — очень короткий домашний пиджак).

«Les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberté».— Буквальный, почти бессмысленный перевод русской исторической поговорки «Новгородцы та́кали, та́кали да Новгород и прота́кали», вероятно, связанной с насильственным присоединением Новгорода и его владений к Московскому княжеству (1478). Перевод этот Салтыков приводит в нескольких своих произведениях (см., например, «Помпадуры и помпадурши» — т. 8, стр. 500). В «Письмах к тетеньке» (т. 14) он ссылается на какую-то «хрестоматию Тампе», в которой эта поговорка помещена.

«Раздался звук вечевого колокола — и дрогнули сердца новгородцев».— Неточно приведенные начальные строки исторической повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1803).

Стр. 177. *«De viris illustribus»* .— известное сочинение Плутарха (в латинском переводе) — «Сравнительные жизнеописания».

Стр. 180. *Судебная реформа*.. — 20 ноября 1864 года Александром II был утвержден новый судебный устав, которым сословные суды заменялись общими для всех сословий учреждениями и вводился институт присяжных заседателей.

...*о каких-то баснословных кушах*...— Речь идет о громадных гонора-

рах, получаемых некоторыми адвокатами за участие в защите обвиняемых, вопреки всем правилам и ограничениям. См. об этом в «Дневнике провинциала».

..*грек* ..— Этим словом (*франц.* le Grec) обозначался человек неблаговидного поведения — шулер, мошенник, шпион.

..*место председателя конкурса*...— В буржуазном торговом праве — удовлетворение требований нескольких кредиторов к «несостоятельному должнику» («конкурс») производится посредством «конкурсного управления», состоящего из коллегии кредиторов, в состав которой часто вводятся и юристы. После судебной реформы, в 1868 году, были выработаны особые правила для конкурсных дел, подсудных окружным судам; они оставляли, однако, простор для всякого рода злоупотреблений.

Стр. 181. *Что под каждым здесь листом // Ты найдешь и стол и дом* ..— Перефразировка известного двустишия из басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (1808).

...*спирало в зобу дыхание* — Из басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица» (1807). У Крылова «От радости в зобу дыханье сперло».

С одной стороны — лестная обязанность защищать общество .— Ироническая характеристика обязанностей прокурора в пореформенном суде.

Стр. 182 *С другой — лестная обязанность ограждать невинного*...— Столь же ироническая характеристика обязанностей адвоката.

.*татары бегают*.. — В самых модных ресторанах Петербурга того времени прислуга набиралась преимущественно из татар (см. А. Бахтиаров. Брюхо Петербурга, СПб. 1888, стр. 232—233).

Рыбари – продавцы рыбы.

Стр. 183. ...*талия* — круг карточной игры до срыва банка.

...*камелия* . — содержанка (так стали называть кокоток после сенсационного успеха романа и драмы А. Дюма «Дама с камелиями» («La Dame aux Camélias», 1848—1852), главной героиней которого являлась парижская кокотка Маргерит Готье.

...*завелась игра в суды*.— Историк училища правоведения отмечает, что в это учебное заведение доставлялись «решенные гражданские и уголовные дела из архивов разных присутственных мест низших и средних инстанций, которые разбирались воспитанниками под руководством профессоров; по ним воспитанниками составлялись доклады и решения как будущими секретарями и судьями» (Георгий Сюзор. Ко дню LXXV юбилея Императорского училища правоведения, 1835—1910 гг. (Исторический очерк), СПб. 1910, стр. 189). Эпизод «игры в суд» дал сатирику повод для пародирования процедуры нового суда и обличения беспринципности адвокатов и прокуроров, а также неподготовленности присяжных заседателей. Салтыков высмеивал при этом шаблонные приемы ораторского искусства, заимствованные из французской судебной практики, что подчеркивается приведением французских слов в скобках.

...*от неключимости* ..— Неключимость — бесполезность.

Стр 185. ..*суд скорый, милостивый и правый*...— Ирония по поводу указа Александра II от 20 ноября 1864 года о введении судебной реформы. Говоря о новых судебных уставах, Александр II заявлял: «Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они вполне соответствуют желанию Нашему водворить в России суд, скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших» (*СПб вед.*, 1864, № 271, 23 ноября).

Стр. 191. ..*заправских адвокатов из породы jeunes premiers.*— См. об адвокатах этого типа в «Дневнике провинциала» — на стр. 365, а также в «Благонамеренных речах» (т. 11). jeune premier — актерское амплуа; «первый любовник».

Стр. 193. ...*знаменитые духи, советовавшие господину Корбе в такую-то ночь посильнее взволновать г-жу Алымову.*— Скончавшийся 27 декабря 1870 года помещик К. Ф. Корбе оставил завещание, по которому предоставил все свое имущество в пожизненное безотчетное пользование своей любовнице, капитанше Е. М. Алымовой — спиритке, служившей ему в качестве «медиума» при сношениях с «духом» покойного брата ее деда — Василия Соколинского. Поскольку Корбе подробно записывал все высказывания своего загробного «собеседника», внушавшего ему, что он должен любить Алымову «супружеской любовью», написать в ее пользу завещание, систематически истязать своего малолетнего сына и т. п., суду удалось установить, что он служил объектом бесстыдной эксплуатации со стороны авантюристки. Нашумевший процесс Алымовой, проходивший в Екатеринославе с 30 сентября по 2 октября 1871 года, широко освещался в печати На суде зачитывались многочисленные выдержки из записей Корбе, в которых встречались следующие «повеления деда»: «Будь покровителем дочери моей! будь ее вожатым, будь ее опорою, люби ее, как Христос возлюбил церковь, делись с ней всем». «Соединяю союз ваш, но не раньше ночи»,— вещал «дед», требуя далее, чтобы «внук покрепче взволновал внучку» (*СПб. вед.*, 1871, № 314—315, 14—15 ноября).

Стр. 195. ..*жалкой теории абсолютной невменяемости*.. — По-видимому, имеются в виду воззрения Чернышевского, Добролюбова и их последователей, подчеркивавших социальную обусловленность преступности.

...*преступник, как говорит бессмертный Гегель, не только имеет право на наказание, но может даже требовать его*...— Имеется в виду § 100 «Философии права» Гегеля· «Поражение, постигающее преступника, не только справедливо в *себе*,— в качестве справедливого поражения оно представляет собою вместе с тем его *в себе* сущую волю, наличное бытие *его* свободы, его право,— а есть также *право, положенное в самом преступнике*, то есть оно положено в его налично сущей воле, в его поступке...» (Гегель. Соч., т. VII, М.—Л. 1934, стр. 117).

Стр. 197. *Для обвинения в диффамации тут нет повода*...— Согласно Уложению о наказаниях, лица, виновные в диффамации, то есть в «огла-

шении в печати о частном или должностном лице, или обществе, или установлении такого обстоятельства, которое может повредить их чести, достоинству или доброму имени», подвергались денежному штрафу и тюремному заключению (ст. 1039 и 1535).

...*гард де-ссо!* — министр юстиции (*франц.* garde de sceau).

Стр. 198. .. *Плотицына сегодня во сне видел!* — Намек на нашумевшее судебное дело, возбужденное в 1869 году против моршанского купца-миллионера М. Плотицына, обвиненного в распространении скопческой ереси и в попытке дать взятку полицейским властям. Огромное состояние Плотицына возбуждало в адвокатской среде самые неумеренные вожделения. Выступить в качестве его защитника значило получить огромный денежный куш и приобрести широкую известность. «Одно из больших развлечений адвокатуры составляют так называемые миллионные дела»,— отмечалось в «Судебном вестнике» (1869, № 179, 17 августа).

...*такую «деверию» завел.* .— Французская исполнительница главной партии в опере-буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», Деверия, во время пребывания в России совмещала сценические выступления с амплуа содержанки; ее скандальные похождения были широко известны в обществе, обсуждались столичными периодическими изданиями и т. п.

Стр. 202. ...*Катериновке*...— Катериновка — Екатерининский канал в Петербурге (ныне Канал Грибоедова), о сомнительной чистоте которого иронически отозвался еще Гоголь в «Невском проспекте». К 70-м годам загрязненность канала достигла такой степени, что его собирались совсем засыпать.

Стр. 205. *Акрид*...— Акриды — съедобные насекомые вроде саранчи. О них упоминается в евангельской легенде об Иоанне Крестителе, который в пустыне «ел акриды и дикий мед», то есть жил впроголодь (Марк, 1, 6).

«бульи».. — отварная говядина (от *франц.* bouilli).

Стр. 206 ...*которая двадцать миллионов долларов в наследство получила!* — См. об этом сенсационном сообщении, появившемся в петербургской печати и оказавшемся чистейшим блефом, в «Русском мире» (1872, № 94, 11 апреля). Наследницей мифического американского миллионера Л—е называлась «одна проживающая в Петербурге бедная старушка».

Стр. 207. ...*поднимать завесу будущего* .— Крылатое выражение, связанное с тем, что в египетском храме, посвященном богине Изиде (в Саисе), находилась статуя, которая была покрыта завесой со следующей надписью: «Я то, что было, что есть и что будет: завесы моей еще ни один смертный не поднимал». В данном случае Салтыков приводит это выражение как образец словесного штампа, характерного для судебных ораторов того времени; нередко он применял его в эзоповском смысле — как обозначение социалистических устремлений и идеалов.

Стр. 209. ...*кулеврина!* — старинная пушка (*франц.* coulevrine). В данном контексте: «подвести мину».

Стр. 210. ...*фетировать* — чествовать (от *франц.* fêter).

Стр. 211. *...с капитанским чином на плечах...*— По табели о рангах, гражданский чин VIII класса (коллежский асессор), который давался при успешном окончании училища, приравнивался к военному чину «капитан» (тоже VIII класса).

Параллель четвертая

(Стр. 211)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 9, стр. 1—60 (вып. в свет 18 сентября), под заглавием «Ташкентцы приготовительного класса (Параллель четвертая)».

Тексты отдельных изданий идентичны, за исключением ряда сокращений, произведенных в заключительной части очерка при подготовке *изд. 1881.*

Возможной причиной удаления из текста нескольких небольших фрагментов явилось появление в 1880 году первого отдельного издания «Господ Головлевых», так как некоторые характеристики Порфиши Велентьева были близки к соответствующим характеристикам Порфирия Головлева, что и могло побудить автора после завершения «Господ Головлевых» снять некоторые строки в «Параллели четвертой» и тем самым ослабить бросающуюся в глаза генетическую связь двух указанных персонажей.

Приводим текст сокращенных в 1881 году фрагментов:

1. Стр. 260. *«. и принимали самый фантастический характер.»* (в *ОЗ* и *изд. 1873:* характер!) — после этих слов в *ОЗ* и в *изд. 1873* следовала заключающая абзац фраза:

То были целые последовательные сны, в которых он чувствовал себя таким же реальным действующим лицом, как и в реальнейшей из действительностей.

2. Стр. 260. *«...умножает, поверяет и получает проценты...»* (в *ОЗ* и в *изд. 1873* вместо многоточия — точка).— После этих слов в *ОЗ* и в *изд. 1873* была следующая заключающая абзац фраза:

Словом сказать, процесс созидания, имеющий исходною точкой неразменный червонец, продолжается до тех пор, пока Порфиша окончательно не запутывается в громадности счетов.

3. Стр. 261. *«...запутывается в собственных тенетах».*— После этих слов в *ОЗ* и в *изд. 1873* следовало: *«в виде громадного ряда счетов и цифр».*

4. *«...наименование «внезапно данной пощечины».*— После этих слов в *ОЗ* и в *изд 1873* следовало:

Никто не подозревал, что Порфиша рассеян единственно потому, что его занимают высшие финансовые соображения.

5. Стр. 262. *«...вручил «следуемое по положению»* — После этих слов в *ОЗ* и в *изд 1873* следовало: *«Разговор шел оживленный и самый дружеский».*

6. Стр. 265. *«...она носила чисто отвлеченный характер».*— После этих слов в *ОЗ* и в *изд. 1873* следовало:

Порфиша неутомимо преследовал финансовую и экономическую сумятоху, но преследовал ее бескорыстно.

7 Стр. 266. *«...тем более умилялась его душа».*— После этих слов в *ОЗ* и в *изд. 1873* следовало:

Самое накопление привлекало его не столько как накопление, сколько как повод для приведения в действие тех самоновейших и усовершенствованных приемов, посредством которых оно достигается.

Стр. 212 *Наконец, наступил 1857 год, который всем открыл глаза.*— 20 ноября 1857 года в рескрипте Александра II виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову была впервые изложена правительственная программа крестьянских реформ.

...либералов-пенкоснимателей ..— Этот термин был известен читателям, так как пятая глава «Дневника провинциала» (см. ниже), где подробно говорится о «пенкоснимателях», уже была опубликована в «Отечественных записках» — см. прим. к стр. 388.

...акционерные компании нарождались одна за другою ..— Бурный рост акционерных компаний в России конца 50-х годов рельефно характеризуется следующими цифрами: в 1855 году их было основано 5, в 1856 — 8, в 1857 — 15, в 1858 — 43. См.: Л. Е. Шепелев. Акционерное учредительство в России (историко-статистический очерк). Сб. «Из истории империализма в России», М.— Л. 1959, стр. 136—139.

Стр. 214 *...созию...*— двойника (*франц.* sosie) — по имени персонажа комедии Мольера «Амфитрион».

Оно увидело в них баловней фортуны, гениальных самоучек...— К этим «баловням фортуны», появившимся на общественной арене во второй половине 50-х годов, Салтыков относил, в первую очередь, известного откупщика-публициста, «миллионщика» В. А. Кокорева, начавшего свою карьеру сидельцем в питейном доме. Характерен отзыв о нем поэта и переводчика Н. А. Струговщикова, видевшего в Кокореве «величайшего гения русской земли» (см А. В. Никитенко, Дневник, т. 2, М. 1955, стр. 118).

Стр. 215. *...поговорить о Васильe Порогоухове при случае.*— См. стр. 582.

Патристика — раздел богословия, посвященный разбору учения и «житиям» основоположников раннего христианства, так называемых «отцов церкви» (от *лат.* pater — отец).

...догматического богословия...— изложение системы и истории религиозных догматов.

...неизгладимое клеймо племени Левитова.— В духовных учебных заведениях конца XVIII — начала XIX века учащимся нередко присваивались своеобразные фамилии, переходившие затем к их потомкам. Вследствие этого легко угадывалось «духовное происхождение» носителя подобной фамилии (левиты — наследственный класс священнослужителей у евреев).

...Оболдуй Щетина-Ферлакур...— Последняя часть этой татарско-рус-

ско-французской фамилии в переводе с французского означает «ухаживать, ходить на поклон» (faire la cour).

Стр. 217. *...проект «немедленного воссоединения унии...»* — то есть воссоединения униатов с православием. В областях, находившихся под управлением Речи Посполитой, православные были в конце XVI века присоединены «унией» к римско-католической церкви, однако сохраняли в известной мере прежние религиозные обряды. На территории, отошедшей после раздела Польши к России, униаты стали постепенно переходить в православие. В данном случае говорится о мерах, принятых для насильственного массового перехода в православие униатов после Полоцкого собора 1839 года.

...вопрос о папской непогрешимости <...> повергающий в смущение современную католическую Европу! — Папа Пий IX провозгласил в 1867 году догмат о полной непогрешимости «наместника Христа» во всех вопросах. Передовые общественные круги Европы были в высшей степени возмущены этими средневековыми акциями, целью которых было усиление клерикализма; тем не менее в 1870 году этот догмат был утвержден Ватиканским собором.

Стр. 220. *...совлечь с себя ветхого семинариста и облечься в ризу серьезного молодого человека..* — Ироническая перефразировка выражения из Библии — о необходимости совлечь с себя «ветхого человека», «облечься в нового» (Посл. ап. Павла к римлянам (6, 6), ефесянам (4, 22) и колоссянам (3, 9).

О «телесном озлоблении» — См. прим. к стр. 104.

Стр. 222. *Двадцатые годы были уже на исходе, и прежний пиетизм заменился страстью к законодательству.*— Последние годы царствования Александра I характеризовались усилением религиозно-мистических настроений в дворянской и — особенно — придворной среде (см. т. 8, стр. 385). В начале царствования Николая I была предпринята обширная кодификационная работа, выполненная под руководством М. М. Сперанского в 1826—1835 годах.

...редижировались. .— Здесь: редактировались (от *франц.* rédiger).

Стр. 223. *...«яко видевшим процветший в единую от нощей жезл Ааронов»*...— По библейской легенде, бог избрал первосвященником еврейского народа патриарха Аарона. Предпочтение это выразилось в том, что «жезл Ааронов», положенный в скинию откровения вместе с одиннадцатью другими жезлами, внезапно «расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали» (Числа, 17, 5—8)

Стр. 225. *...эйзенахский уроженец фон Юнгферштафт, в то время уже возведенный в графское Российской империи достоинство.*— Возможно, здесь содержится намек на Егора Францевича Канкрина, уроженца гессенского города Ганау, с 1823 года — министра финансов Российской империи. В графское достоинство он был возведен в 1829 году. Фамилия «Юнгферштафт» в переводе с немецкого языка означает «свежеприобретенный».

Франко-германской распри еще не существовало...— Начало ухудшения франко-германских отношений обычно относят к 1866 году.

...вопрос о национальностях дремал под сению венских трактатов...— Решениями Венского конгресса 1814—1815 годов, созванного после победы коалиции европейских государств над Наполеоном I, карта Европы была перекроена без всякого учета национальных особенностей разделяемых и сливаемых государств. Венские трактаты — международные договоры, принятые на Венском конгрессе. Они направлены были против национально-освободительного движения в европейских странах.

Менажировать — щадить (от *франц.* ménager).

Стр. 228 *Дормез* — дорожная карета, приспособленная для сна в пути. Экипажи, изготовленные московским каретным мастером Иохимом, пользовались наилучшей репутацией.

...губернский город Семиозерск.—Одно из обычных в салтыковской топонимике названий губернского города, восходящее отдельными своими чертами к Рязани.

Казенная палата — губернское учреждение, подчиненное министерству финансов и ведавшее денежными делами губернии, сбором податей и пр. Салтыкову был особенно хорошо известен характер деятельности этого учреждения, так как в 1865—1868 годах он являлся председателем (управляющим) казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани.

Стр. 229. *..мундир с шитьем шестого класса...*— Каждому чину, в соответствии с табелью о рангах, был присвоен особый мундир с шитьем, пышность которого увеличивалась соразмерно со ступенью, занимаемой в чиновной иерархии. Шестой класс «коллежских» чинов принадлежал к числу «средних», и шитье на его мундире отличалось сравнительной скромностью.

...отыскивать жемчужное зерно в навозе...— Намек на басню Крылова «Петух и Жемчужное Зерно» (1809).

Стр. 232. *Всякому свое...*— Перевод латинского крылатого выражения «suum cuique», часто употреблявшегося Салтыковым на языке подлинника.

...с презуса...— Презус — здесь: председатель казенной палаты.

...губернского правления...— Губернское правление — высшее административное учреждение губернии.

Стр. 234. *...были тайные поборники масонства, многие числились членами библейского общества...*— Библейское общество, учрежденное в России в 1812 году, ставило своей задачей распространение Евангелия и прочих «священных» книг на русском языке и языках других национальностей. В 1826 году библейское общество было официально распущено.

Стр. 235. *...«благословиши венец лета благости твоея, господи!»* — «Венчаешь целый год благости твоей, господи» (Псалтырь, 64, 12).— Салтыков с поразительной смелостью иллюстрирует приводимое грабительское «кредо» советника питейного отделения рядом библейских текстов,

подчеркивая круговую поруку чиновных «столпов» самодержавия с официальной религией.

...лепта вдовицы...— евангельское выражение, означающее скромное приношение (Марк, 12, 42; Лука, 21, 1—4). Лепта — мелкая монета у древних евреев и у греков; *...всякое даяние благо...*— евангельское изречение (из Послания апостола Иакова — 1, 17); *...и всяк дар совершен...*— из того же Послания (1, 17); *...ему же дань — дань, ему же честь — честь, ему же оброк — оброк...*— Парафраз части стиха 7 гл. 13 «Послания апостола Павла к римлянам»: «Итак, отдавайте всякому должное: кому по́дать, по́дать; кому оброк, оброк; кому страх, страх»; *...Ищите и обрящете.* .— выражение из Евангелия (Матф. 7, 7; Лука, 11, 9); обрящете *(церковнослав.)* — найдете.

...без лажа ..— Лаж — приплата сверх номинальной цены денежных знаков.

Стр. 237. *...не человеком солгал еси, но богу!* — евангельское выражение (Деян., 5, 4).

Подобно Иову, воскликнул: бог дал, бог и взял...— выражение из Библии (Книга Иова, 1, 21).

...принадлежал к секте скакунов, был пойман на радении в инженерном замке...— В 1817 году в петербургском Михайловском замке (позже носившем название Инженерного) была обнаружена хлыстовская секта, собиравшаяся на частной квартире у подполковницы Татариновой. Хлысты эти, числом до сорока, принадлежавшие к разным слоям общества, преимущественно к великосветским, собирались по воскресеньям на «радения» и после совместных молитв и «пророчеств» принимались исступленно вертеться. Через несколько лет в Коломенской части Петербурга появилась сходная секта, члены которой, вместо верчения, прыгали на одной ноге, отчего прозваны были «скакунами». Салтыков называет здесь хлыстов Инженерного замка («адамистов») скакунами (см. Ф. В. Ливанов. Раскольники и острожники, СПб. 1868, стр. 68—80 и 111—112. Ср. т. 8, стр. 582).

Стр. 238. *Полуимпериалы...*— русские золотые монеты пятирублевого достоинства. *Серенькие... красненьких...*— ассигнации пятидесятирублевого и десятирублевого достоинства; и *синеньких...*— Пятирублевые ассигнации были синего цвета.

Стр. 239. *...присяжные* ..— здесь «доверенные служители при деньгах» (см. «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля», т. III, СПб.— М. 1882, стр. 450).

Одаренный от природы домовитыми инстинктами евангельской Марфы, он прикидывался беспечною Марией, и ни о чем так охотно не беседовал, как о масле, мирре и благовониях.— По евангельскому преданию, Христос посетил дом двух сестер — Марфы и Марии. Первая из них принялась тотчас же хлопотать по хозяйству, вторая же села у ног Христа, жадно вслушиваясь в его слова. Христос упрекнул Марфу за то, что она «заботится и суетится о многом», в то время как ее сестре «одно только и

нужно» и что она «избрала благую часть» (Л у к а, 10, 38—42). Называя «масло, мирру и благовония» излюбленным предметом бесед Велентьева, Салтыков подчеркивает его ханжество и лицемерие.

Стр. 243. ...*талек*...— т а л ь к и — мотки ниток.

Стр. 247. ...*отыскивали княжеское достоинство*...— то есть добивались признания их князьями.

Герольдия — ведомство по делам о титулах и дворянских привилегиях.

...*Амалата и Азамата*.— Салтыков присваивает этим двум своим персонажам имена героев кавказских произведений А. Бестужева-Марлинского и Лермонтова — «Аммалат-бек» (1832) и «Бэла» (1839).

Магуль-Мегери — красавица турчанка, героиня сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» (1837).

Стр. 248. ...*стразовыми* — из поддельных бриллиантов (страз — сорт стекла).

Стр. 249. ...*пощечиться* — поживиться.

...«*Черную шаль*»...— романс А. Н. Верстовского (1823) на слова Пушкина.

Стр. 258. ...*в одно из аристократических заведений Петербурга*...— Имеется в виду Александровский лицей.

Стр. 259. ...*егермейстеры*...— Егермейстер — придворный чин (начальник придворных егерей).

...*вопрос о воссоединении латышей*...— Латыши в основном принадлежали к лютеранскому вероисповеданию. В 40-х годах часть из них перешла в православие, рассчитывая на различные преимущества, вроде освобождения от рекрутской повинности, получения «работы и хлеба» и пр. Царское правительство вскоре постаралось избавить их от этих иллюзий. См. «Справку по делу о присоединении к православию крестьян Прибалтийских губерний» («Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1865, июль — сентябрь, книга третья, стр. 144—172).

Стр 261. ...*прием, носящий специальное наименование «внезапно данной пощечины»*.— Намек на «педагогическую» теорию Н. А. Миллера-Красовского, который в книге «Основные законы воспитания» (СПб. 1859), подвергшейся едкому разбору Н А. Добролюбова («Современник», 1859, № 6), рекомендовал воздействовать на ученика «сильным моментным потрясением», поясняя этот тезис следующим примером: «Петя с такой бы-
стротой получил <от учителя> три пощечины, что совсем растерялся, заплакал и давай просить у матери прощенья» (стр. 50—54). О педагогическом «методе» Миллера-Красовского Салтыков упоминает в «Испорченных детях» (1869) — см. т. 7, стр. 370.

Стр. 265 ...*Скопинский уезд, в недрах которого без вести пропадали залежи каменного угля*. .— Открытые в 60-х годах в Скопинском уезде Московской губернии богатые залежи каменного угля в течение продолжительного времени оставались без эксплуатации. К их разработке при-

ступили только в 70-х годах (см. И. А. Алексеев. Историческое, статистическое и современное значение города Скопина, отдел II, Скопин, 1868, стр. 31; В. Н. Ильинский. Скопинский уезд в прошлом (до 40-х годов XIX века), Скопин, 1928, стр. 6.

Стр. 266. *...из значительных железных дорог существовала только одна* .— Николаевская железная дорога, соединявшая Петербург с Москвой (сооружена в 1843—1851 годах).

...а ты вон как развернулся! — Как отмечает биограф Салтыкова, «в качестве живой натуры» для сатирического типа «буржуазного ученого дельца» писателю послужил его сотоварищ по Лицею — известный экономист В. П. Безобразов (см. С. Макашин. Цит соч., стр. 140. См. также *ЛН*, т. 11-12, стр 302).

Стр. 267. *...старый храм разрушит...*— Крылатое выражение о «разрушении храма» связано с известным Иерусалимским храмом, воздвигнутым при царе Соломоне и разрушенным халдеями в 588 году до н. э. Он был окончательно уничтожен римскими войсками в 70-х годах н. э.

...придет, насорит и уйдет.— См прим. к стр. 15.

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

В декабре 1871 года Салтыков напечатал в «Отечественных записках» рецензию на книгу С. Максимова «Лесная глушь». В это время он уже начал писать «Дневник провинциала в Петербурге», и замысел произведения «или что-то похожее на творческую заявку», отчетливо зафиксирован в названной рецензии [1].

Однако подспудное созревание подобного замысла, в той мере, в какой это можно проследить и по другим, более ранним суждениям и высказываниям писателя, началось несколько ранее, с конца 60-х годов. Так, например, в статье о романе П. Боборыкина «Жертва вечерняя» (1868) Салтыков, отмечая ничтожество выведенных там героев, упрекал автора в том, что он «взглянул на хлам совсем не так, как на признак известного общественного строя, а просто как на хлам...» (т. 9, стр. 38). Почти одновременно в рецензии на сборник стихов Д Минаева «В сумерках» писатель «порицает» современную русскую сатиру за то, что она, «прилепившись к Петербургу, ищет в нем совсем не того, что искать надлежит, а того, до чего никому нет никакого дела» (т. 9, стр 243)

Не «водевильно-беспутная жизнь» Петербурга сама по себе (то есть не просто «хлам»), а «мероизлиятельное значение» его как «складочного магазина тех шишек, от которых, по пословице, тошно приходится бедному Макару»,— таков, по мнению, Салтыкова, единственно плодотворный для сатиры угол зрения.

---

[1] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 218.

И хотя многое из фантасмагорической картины, развертывающейся в «Дневнике», на первый взгляд, не относится к народной жизни, но на самом деле и железнодорожные спекуляции, и зловещие проекты «уничтожения всего» (то есть даже тех половинчатых реформ, которые были осуществлены в начале 60-х годов), и даже гонение на «отвлеченное знание» — все это, когда прямо, когда более опосредованно, сказывалось — и сказывалось тяжело — на судьбе трудовых масс.

«Я в Петербурге» — такими словами начинается «Дневник». Кто же это «я», «провинциал»? Лишь на первый взгляд он может показаться персонажем, чья роль сводится к сюжетному объединению разнообразных тематических линий: железнодорожной горячки, разгула консервативного прожектерства, измельчания либерального лагеря, уголовного процесса, мошеннической аферы, кроющейся сначала под видом международного статистического конгресса, а потом — политического следствия. О характере рассказчика в этом и многих других произведениях Салтыкова долго шел спор.

Рассказчик у него — фигура далеко не однозначная, не поддающаяся педантической расшифровке. Произведения Салтыкова часто напоминают своеобразную по форме пьесу, где среди актеров действует сам автор, с поразительной непринужденностью переходящий от глубоко личного монолога к сатирическому «показу». Обычно предметом такого шаржированного изображения является выцветающий либерал, «играя» которого писатель одновременно как бы саркастически осмеивает своего героя.

«Изменчивость» образа рассказчика, провинциала, на которую давно обратили внимание исследователи, находится также в тесной связи с шаткостью позиции дворянского либерализма известной части так называемых «людей сороковых годов», обнаружившейся в эту пору.

Герой более раннего очерка Салтыкова «Они же» из книги «Господа ташкентцы» в прошлом тоже исповедовал весьма либеральную по тем временам веру в «добро, истину, красоту» и считал себя другом Грановского.

Столкнувшись с демократами-разночинцами, он быстро растерял свое либеральное словесное «оперение» и открыто перешел в ряды консерваторов-охранителей, став одним из «множества монстров... неумолимых гонителей всякого живого развития», подобно Каткову или Лонгинову.

Однако это самая крайняя точка, предел политического падения бывших (зачастую — мнимых) единомышленников Белинского и Грановского.

В целом же поколение «людей сороковых годов» представляло собою к тому времени картину пеструю и противоречивую. Не в силах отрешиться от своих взглядов, возникших в рамках дворянско-помещичьего общества, они враждебно относились к подымавшемуся освободительному движению и идеалам революционных демократов 60—70-х годов, они поддавались влиянию консерваторов, чтобы потом в ужасе отшатнуться от «крайностей» реакции и вздыхать по идеалам, которые сами же только что торопливо предавали забвению.

Дневники современников запечатлели поразительную картину подобных переходов от панического поддакивания реакции к трезвым высказываниям и либеральным оценкам, и наоборот.

Временами там можно найти самые горькие автохарактеристики, после которых самобичевания провинциала уже не должны казаться неестественными и неправдоподобными.

Метания, упования, разочарования, страхи, саморазоблачения провинциала своеобразно воспроизводят настроения дворянских либералов, не могущих преодолеть своих «родственных» — классовых — связей с крепостным прошлым и его защитниками.

Не случайно герой книги не может избавиться от компании откровенного ретрограда — помещика Прокопа с его прямолинейно-алчным и циничным складом характера. Провинциал и впрямь неотделим от него: бессильные и несколько мстительные упования на сказочное возвращение былой мощи, мечтания о чуде, которое поможет ему спастись от грозящего разорения, посещают и провинциала. «Все сдается, что вот-вот свершится какое-то чудо и спасет меня,— думается ему.— Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене».

Есть в фигуре провинциала и другие, более современные готовности (говоря позднейшим слогом Салтыкова) — сознание возможности заковать «освобожденный» народ «вместо цепей крепостных» в «иные цепи», по словам Некрасова.

Функции сатирической пары провинциал — Прокоп многообразны Порой их разговоры и споры служат прямому выражению авторских раздумий, его живой, горькой, едкой, бьющейся в противоречиях и ищущей из них выхода мысли. С другой стороны, дружба провинциала и Прокопа оказывается прообразом того парадоксального единомыслия, которое, как доказывает автор «Дневника», существует на деле между консерваторами и либералами.

Одним из характерных проявлений реакционности правительства была политика, которую проводил министр народного просвещения граф Д. А. Толстой.

Стремление предельно сузить число образованных выходцев из народа, ущемление профессорских прав, предпочтение, оказываемое чиновникам-карьеристам перед цветом русской интеллигенции, кабальное слушание лекций заведомых бездарностей, уродливая «классическая» реформа среднего образования, проведенная в 1871 году,— все это катастрофически затрудняло развитие страны. Недаром современники метко сравнивали эту «просветительную» политику с избиением вифлеемских младенцев новым Иродом, опасающимся, что из рядов образованной молодежи выйдет «собирательный антихрист».

Уже в публицистике конца 60-х годов Салтыков определил эту правительственную политику как «заговор против знания вообще» и не упускал ни малейшего повода, чтобы высмеять мракобесов от просвещения (см., на-

пример, оценку картины Мясоедова в статье «Первая русская передвижная художественная выставка», т. 9).

Показательно в этом смысле и письмо писателю А. М. Жемчужникову — одному из создателей знаменитого Козьмы Пруткова — от 22 июня 1870 года:

«Братец Ваш, Владимир, слился с гр. Бобринским и, кажется, в совокупности с ним и графом Алексеем Толстым намеревается издать трактат о пользе классического образования, как умеряющего вред, производимый знанием вообще, и взамен оного доставляющего *якобы* знание».

«Соль» этой шутки усугубляется тем, что еще в 1863 году в «Современнике» был опубликован «проект» Козьмы Пруткова о введении единомыслия в России. К концу 60-х годов атмосфера тем более благоприятствовала подобному реакционному прожектерству. И в «Дневнике провинциала» брошенное в частном письме зерно творческого замысла дало обильные всходы в изображении проектов, «нагноившихся» в головах озлобленных реформой помещиков, проворовавшихся чиновников и т. д. и т. п.

Суть разнообразных записок, с которыми вынужден знакомиться провинциал, сводится, говоря слогом Прокопа, к тому, «чтобы, значит, везде, по всему лицу земли... по зубам чтоб бить свободно было». Он же определяет эти проекты как «уничтожение всего», то есть даже того, что было достигнуто куцыми реформами, предпринятыми в начале царствования Александра II.

Откровенная кровожадность проекта «о всеобщем расстрелянии» соседствует с более «гуманной» формой проекта «переформирования де сиянс академии». Касаясь внешним образом лишь Академии наук (президентом которой, кстати, спустя десятилетие стал все тот же граф Д. А. Толстой), проект этот, по сути дела, предлагал превратить всю страну в некий грандиозный полицейский участок.

И даже самые невинные — на таком фоне — проекты, с которыми знакомится провинциал, клонятся к тому, чтобы вместо беспокойного поколения нигилистов и «мальчишек» воспитать «поколение дремотствующее, но бодрое» (проект «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств»).

Казалось бы, русская либеральная печать занимала по этим вопросам совсем иную, чем эти мракобесы, позицию. Более того, она нередко негодовала на «Отечественные записки» за их, так сказать, недостаточную активность в тех или иных конкретных вопросах.

«Журнал этот, по мнению весьма многих российских литераторов, есть не что иное, как некоторый сфинкс,— иронически формулировал эти претензии журнал «Сияние».— ...Место в ряду либеральных журналов отводится ему со скрежетом зубов. Причины следующие: об учебной реформе не сказал почти ничего; над прогрессистами ехидно смеется, говоря, что их восторженность не всегда находится в пределах опрятности; к сыроварению непочтителен» (1871, № 23, стр. 386).

Создав в «Дневнике» сатирический образ пенкоснимательства, наиболее ярко олицетворенного в Менандре Прелестнове, редакторе газеты «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», и его сотрудниках, Салтыков обнажил типичнейшие тенденции либерального мышления и поступков. С предельной остротой это сделано в «Уставе Вольного Союза Пенкоснимателей» с его двумя главнейшими положениями: «не расплываться» и «снимать пенки», то есть всячески ограничивать, суживать круг и значение обсуждаемых явлений.

По сути дела, устав либеральных пенкоснимателей не так уж далеко отстоит от требований консервативных прожектеров. Это, можно сказать, всего лишь грамотная редакция их косноязычных помышлений. И вечер, проведенный провинциалом среди сотрудников пенкоснимательского органа, заполнен такой же трескучей болтовней, какую он слышал, внимая ораторам «аристократического» салона.

— И чего церемонятся с этою паскудною литературой! — негодуют у князя Оболдуя-Тараканова.

— Я, со своей стороны, полагаю, что нам следует молчать, молчать и молчать! — с готовностью отзывается послушливый пенкоснимать ель.

Оценить всю убийственность этой щедринской характеристики помогает свидетельство современницы — Е. А. Штакеншнейдер:

«Существует особая комиссия, созванная для того, чтобы снова рассмотреть законы о печатном деле,— записывает она в дневнике 1 декабря 1869 года,— и потому находят, что литература лучше всего сделает, если будет себя держать как можно тише и как можно меньше внушать поводов к новым стеснительным законам» [1].

Однако «молчать» в устах пенкоснимателей совсем не значит буквально безмолвствовать. Напротив, с их перьев низвергаются целые водопады слов, фраз и статей, но все они начисто лишены сколько-нибудь значительного содержания. Чем мельче предмет разговора, тем более горячится пенкоснимать ель.

«Наступившая весна, испортив петербургские мостовые до крайних пределов безобразия, на этот раз, сильнее чем когда-нибудь, напомнила тем, кому о том ведать надлежит, что пора наконец подумать о скорейшем разрешении вопроса об единообразном, своевременном, усовершенствованном и сосредоточенном в одном управлении мощении города» — это не щедринская пародия, а вполне серьезное рассуждение, почерпнутое из «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 109, 22 апреля).

В данном случае нельзя не согласиться с той оценкой русской журналистики, которую дала, подводя итоги 1872 года, газета «Русский мир»: «...предметом газетных и журнальных суждений являлись по преимуществу вопросы второстепенного и частного значения, причем нельзя было не заметить, что большинство газет даже и об этих вопросах высказывалось весьма уклончиво и поверхностно, как бы опасаясь углубиться до той

---

[1] Е. А. Штакеншнейдер. Дневник, «Academia», 1934, стр. 411.

почвы, на которой суждение о частном явлении действительности переходит в спор о принципе» (1873, № 5, 6 января).

Щедринские пенкосниматели — Неуважай-Корыто и Болиголова, досконально исследующие, «макали ли русские цари в соль пальцами, или доставали оную посредством ножа», публицисты Нескладин и Размазов — все они хором издают какое-то непрерывное монотонное жужжанье убаюкивающего свойства и превосходно выполняют пожелание автора упомянутого консервативного прожекта «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств»: «Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний».

Ядовитое разоблачение пенкоснимательства сделано Салтыковым в той части «Дневника», где провинциал, думающий, будто он находится под арестом по политическому обвинению, решает скрасить свой досуг сочинением статей для газеты Менандра.

Кстати, в способности писать на любую тему (об оспопрививании, о совмещении огородничества с разведением козлов, о геморрое, о Тибулловой Делии, и т. д.) есть нечто от ташкентской готовности «устремиться куда глаза глядят» и повсюду чувствовать себя специалистом.

Но дело даже не в этом. «Я,— рассказывает провинциал,— упивался моей новой деятельностью, и до того всерьез предался ей, что *даже забыл и о своем заключении...*» (Курсив мой.— *А. Т.*)

Так пенкосниматель приходит к полнейшему согласию с действительностью, которая нисколько не препятствует разработке излюбленных им тем и сюжетов. Он создает как раз ту «литературу», о которой метко выразился в своем дневнике А. В. Никитенко: «Хотеть иметь литературу, какую нам хочется, то есть Управлению по делам печати, значит не иметь никакой» [1].

Однако щедринское пенкоснимательство не сводится к фотографически точному отображению тогдашнего российского либерализма (при всем разительном сходстве многих их проявлений) и, разумеется, не претендует на историческое осмысление всего этого направления в русской общественной мысли и движении.

Тридцать лет спустя В. И. Ленин призывал «поддерживать всякую оппозицию гнету самодержавия, по какому бы поводу и в каком бы общественном слое она ни проявлялась... Сумеют либералы сорганизоваться в нелегальную партию,— тем лучше, мы будем приветствовать рост политического самосознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга. Не сумеют — мы и в этом (более вероятном) случае не «махнем рукой» на либералов, мы постараемся укрепить связи с отдельными личностями, познакомить их с нашим движением, поддержать их посредством разоблачения в рабочей прессе всех и всяких гадостей пра-

---

[1] А. В. Никитенко Дневник в 3-х томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 293.

вительства и продержок местных властей, привлечь их к поддержке революционеров» [1].

Сатирический образ «пенкоснимателей» выявил наиболее вредные тенденции русского либерализма, его «готовности», послужил предупреждением о том, что они приведут его к откровенному прислужничеству «хищникам».

С этих пор особенно усиливается та ветвь щедринского творчества, которая посвящена прослеживанию эволюции либерализма.

Конечно, Салтыков больше, чем кто иной, знал тяжесть положения подцензурного русского публициста «с длинными, запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее». Поэтому, еще раз возвращаясь к судьбе Менандра, он высказал догадку, что «это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке».

Извиняющийся голос этого «индивидуума» слышится нам и теперь, когда мы перечитываем некоторые строки либеральной прессы того времени. Вот характерное место из передовой «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 109, 22 апреля).

«Общественная жизнь, подобно морю, имеет свои приливы и отливы... Факт тот, что начался период отлива; море... далеко отошло от берега, и, гуляя на этом берегу, мы можем только любоваться на то, что выброшено великой стихией, на все эти раковины, морские растения, креветки и бочком двигающихся раков.

Удел публицистики в период отлива, преимущественно, исследовать все эти frutti di mare [2]. Рыболовами, забирающими в свои сети то, что выбрасывается русским житейским морем, пришлось быть преимущественно органам нового нашего суда».

Положение Салтыкова было не лучше. Напротив, значительно труднее. Изображение многих драматических событий русской действительности было для него, подцензурного писателя революционно-демократического лагеря, недоступно, хотя и общественный темперамент и совесть диктовали необходимость выступления по этим животрепещущим вопросам.

Однако та «принципиальная почва», которую он никогда не покидал, давала ему возможность, обращаясь даже к «легальным» явлениям, так сопоставлять и творчески преображать их, чтобы из россыпи разрозненных фактов возникла трезвая картина жизни, содержащая в себе бескомпромиссный приговор самодержавному строю.

Так, скандальное «мясниковское дело», фигурировавшее во всех газетах, послужило сюжетной основой для «сна» провинциала.

Но Салтыков глубоко обобщил все происшедшее на процессе. Он не видел в этом деле «невинно пострадавших». Ни откупщик Беляев, ни Ка-

---

[1] В И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 71.
[2] дары моря.

раганов, ни Мясниковы не являлись для писателя каким-либо исключением: в них просто наиболее резким образом выявились черты беспринципной погони за наживой, и оправдание преступников выглядело в его глазах как солидарность хищников между собой.

Салтыков остроумно воспользовался прозвучавшей в речи прокурора апелляцией к «суду общественной совести» в противовес «суду общественного мнения». Он увидел в этом возможность показать истинное лицо тогдашнего общества, освобожденное от лицемерно соблюдаемых приличий. «Странные вопросы», которые предлагаются в сновидении провинциала на разрешение присяжных — «согласно ли с обстоятельствами дела» поступил Прокоп и не поступили бы точно так же истцы, родственники покойного,— предельно обнажают ту точку зрения, с которой взирает общество «хищников» и «ташкентцев» на происшедшее.

Перенос «дела Мясниковых» для нового рассмотрения в Московский окружной суд и очередное оправдание обвиняемых оборачиваются в книге Салтыкова фантастическим решением кассационного суда слушать дело Прокопа во всех городах России. Таким образом, происходит как бы своеобразный референдум, обнаруживающий аморальность общественных верхов.

Несмотря на внешнее положение подсудимого, Прокоп делается одним из самых популярных людей, и его путешествие по России выглядит как воцарение нового властителя — хищника, принимаемого обществом с раболепным восторгом.

Это путешествие длится годы, а положение России за это время фактически не меняется, благодаря черепашьей поступи «постепенного прогресса», ради сохранения которого либералы призывали не торопиться.

Таков очевидный результат той политической тактики, которую открыто осудил Салтыков в том же «Дневнике».

При всей беспощадности щедринской сатирической критики либерализма поучительно сопоставить ее с той, какую мы находим в романе Достоевского «Бесы», который появился почти одновременно с «Дневником провинциала».

В 1869 году Салтыков посвятил выходу в свет биографии Т. Н. Грановского статью «Один из деятелей русской мысли» (см. т. 9), рассматривая его судьбу почти как символ трагической участи русской мысли и ставя ее слабость и оторванность от жизни в вину не столько ей самой, сколько условиям, в которых она находилась.

Достоевский же видит в деятельности «наших Белинских и Грановских» корень будущей нечаевщины и всячески снижает, чтобы не сказать, начисто снимает, трагедию пленной, пусть подчас ошибочной и противоречивой мысли.

Придавая Степану Трофимовичу Верховенскому некоторые черты Грановского, автор «Бесов» изображает затем своего героя терзаемым страхом, что прежнее вольнодумство делает его в глазах властей сообщником радикально настроенной молодежи. Рассказчику у Достоевского «умилительно

и как-то противно» «полнейшее совершеннейшее незнание обыденной действительности», выражавшееся в том, что Верховенский считает достаточной причиной для ареста найденные у него сочинения Герцена и свою поэму отвлеченного содержания. Мрачная, угрожающая, фантасмагорическая атмосфера в «Бесах» целиком обязана своим происхождением деятельности авантюристов от революции; фантастически разросшиеся тени нечаевцев заслоняют всю остальную действительность, а градоначальник Лембке со своими безумствами выглядит всего лишь несчастной жертвой коварства «революционеров».

Салтыков же обращает внимание читателей на то, что остается в тени в «Бесах», но о чем знали или догадывались современники.

«Сочиняются заговоры по всем правилам полицейского искусства,— записывает в дневник А. В. Никитенко,— или ничтожным обстоятельствам придаются размеры и характер заговоров» [1].

Некоторые современники подозревали даже, что в нечаевском процессе не обошлось без вмешательства полицейской провокации

В «Дневнике провинциала» воссоздана та реальная общественная атмосфера, которая запугивает и оглушает людей настолько, что они готовы стать жертвой рокового недоразумения или чьей-либо злонамеренной мистификации.

В августе 1872 года в Петербурге происходил Международный конгресс статистиков. За месяц до этого события в «Отечественных записках» появилась статья Е. Карновича, где убедительно показывалось жалкое состояние этой науки в России.

«Статистика,— писал Карнович,— как известно, самым тесным образом связана с вопросами политико-экономического и социального быта, а между тем общий склад нашей государственной и общественной жизни не способствует пока широкой и самостоятельной разработке этих вопросов» [2].

Люди, помнившие «Современник», знали, что об этом в свое время говорил и Чернышевский: «.. люди, весь успех которых зависит от таинственности, не любят статистики» [3],— заметил он в одной из своих статей о Франции, проводя явственную параллель с положением дел в самой России.

Возмущение, вызванное ранней повестью Салтыкова «Запутанное дело» в 1848 году, избавило от крупных неприятностей статистика К. С. Веселовского, опубликовавшего одну из своих работ — о жилищах рабочего люда в Петербурге — в том же номере «Отечественных записок», где была и повесть Салтыкова. Ученый избежал опасности, но, по его собственному признанию, «разом повернул на такие исследования, в которых можно гово-

---

[1] А. В Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 191.

[2] *ОЗ*, 1872, № 7, «Современное обозрение», стр 1, 2.

[3] Н Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, Гослитиздат, стр. 410.

рить безопасно всю правду, а именно на исследование климата России и его влияния на человека и быт» [1].

Не пользовалась покровительством начальства статистика и в дальнейшем. Е. Карнович иронически сопоставлял сумму, ассигнованную на помпезный прием иностранных гостей, с другой, несравненно более скромной, которая крайне неохотно выделялась на ежегодное содержание Петербургского статистического комитета, и высказывал опасение, что русские делегаты на конгрессе будут выглядеть не столько статистиками, сколько статистами.

Герой «Дневника» тоже считает, что «ежели конгресс соберется в Петербурге, то предметом его может быть только *коротенькая* статистика, то есть такая, в которой несколько глав окажутся оторванными».

Однако в книге Салтыкова речь идет уже не о подтасовке тех или иных цифр или умолчании о неприглядных сторонах русской жизни: весь конгресс оказывается мистификацией, затеянной якобы какими-то досужими шутниками. Опутанные ложными показаниями и совершенно потерявшие голову, герои полны сознания своей виновности, впадают в какое-то истерическое самобичевание и взаимные оговоры.

«Шутники» разыграли свою мистификацию в полном соответствии с нравами тогдашней царской юстиции и точно так же неотличимо от «подлинника», как инсценируемое «ташкентцами приготовительного класса» судебное прение между будущим прокурором Нагорновым и будущей звездой адвокатуры Тонкачевым.

Почему же все-таки судебный процесс, описанный в «Дневнике», оказался мистификацией? Потому ли, что атмосфера общественной паники действительно достигла такой силы, что подобные истории были вполне возможны? (Об одной из них рассказала в своем дневнике Е. А. Штакеншнейдер, ужасаясь тому, «до чего возбуждена и неуверенна в своей безопасности наша мыслящая молодежь, если готова видеть руку правительства в подобном наглом мошенничестве».) [2] Или потому, что реальное, тем более выраженное в сатирическом тоне, описание действительного политического процесса выходило за пределы возможностей русского подцензурного писателя? (Так, Салтыков не мог откровенно высказаться по поводу нечаевского процесса, хотя, очевидно, это событие глубоко взволновало его)

В хронике «Наша общественная жизнь» (март 1864 года) Салтыков предсказывал, что «разумное и живое дело не изгибнет никогда, хотя легко может случиться, что ненужные задержки извратят на время его характер и вынудят пролагать себе дорогу волчьими тропинками» (т. 6, стр. 294).

Однако, говоря о «волчьих тропинках», Салтыков тогда скорей всего имел в виду принципиально допускавшийся им в те времена «воровской образ действий» по отношению к торжествующему злу, заключавшийся в не-

---

[1] И. И. Янжул. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг., вып 2. СПб 1911, стр. 75.

[2] Е. А. Штакеншнейдер, Дневник, «Academia», стр. 402.

которых наружных компромиссах с последним, мнимой поддержке его ради тайного преследования нужной цели.

Методы Нечаева и его последователей, раскрывшиеся на процессе об убийстве студента Иванова, неожиданно придали размышлениям о «волчьих тропинках» новый, зловещий смысл. Салтыков вообще колебался в вопросе о применении революционного насилия и высказал в «Господах ташкентцах» мрачное опасение насчет преемственности иасилия в истории: «Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентов поистине пугает меня. Везде шаткость, везде сюрприз. Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить» [1].

Салтыков внимательно следил за процессом нечаевцев, был постоянным посетителем процесса.

И если даже предубежденные против революционеров современники вынесли из посещений суда убеждение в моральной чистоте и силе обвиняемых, ставших жертвой веры в своего руководителя, то Салтыков по своему общественному темпераменту не мог не возмущаться попыткой печати отождествить всех революционеров с Нечаевым. «Почитайте суждение газет и «Вестника Европы» по Нечаевскому делу и судите, до чего дошла наша печать,— писал он А. М. Жемчужникову 31 августа 1871 года.— Это царство мерзавцев, готовых за полтинник продать душу».

В статье «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» (т. 9) Салтыков предпринял свод возмущавших его статей. В результате этого труда, который он, как и обещал Некрасову в письме от 17 июля 1871 года, сделал «совершенно скромно», вышла в высшей степени язвительная картина поистине холопского единомыслия большинства органов русской прессы.

Однако в словах «совершенно скромно» звучит не только предвкушение этой картины, но и горестное сознание невозможности как-либо иначе легально высказаться самому.

Мыслью о том, что из круга тем русского подцензурного литератора изъяты многие важнейшие явления, буквально пронизана салтыковская публицистика конца 60-х годов и начала 70-х годов. Почти прямую полемику с ходячей трактовкой «нечаевского дела» мы находим в «Дневнике провинциала». Говоря о «новых людях» и о крайней легкости осуждения их

---

[1] Интересно сопоставить это со следующими словами А. И. Герцена, написанными в том же 1869 году в «письмах» «К старому товарищу»: «Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?..» (*Герцен,* т. XX, кн. 2, стр. 585).

«темных» сторон (которые сам автор считает скорее «слабыми»), он задает вопрос о вероятных результатах честного их исследования:

«.. не найдусь ли я вынужденным прежде всего подвергнуть осмеянию самые причины, породившие те факты, которые возбуждают во мне смех или ужас? Вот эти-то причины и приводят меня в смущение.

Кто знает, быть может, известные порочные явления сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке, в которой они находятся? Быть может, если дать человеку возможность выговориться вполне, то ультиматум, который вертится у него на языке, окажется далеко не столь ужасным, как это представляется с первого взгляда?»

И, изображая обстановку, в которой происходят похождения провинциала, Салтыков объективно выводит на сцену «смущавшие» его причины — нестерпимое насилие над мыслью, полицейские преследования, вырождение либерализма, вынуждавшее молодежь искать других путей и других союзников.

В заключительной главе «Дневника провинциала» Салтыков находил, что нарисованная им картина неполна, поскольку в ней обойдены два вида людей и явлений — «один, к которому можно отнестись апологетически, но неудобно отнестись критически; другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически».

И если «неудобство» по отношению к первому виду, говоря словами Салтыкова — виду «торжествующих» или, как сказал Некрасов «ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови»,— сатирик все-таки в значительной мере преодолел, и его извинения перед читателем в данном случае носят характер некоторого лукавства, понятного им обоим, то о втором «неудобстве» он говорит со всей искренностью и горечью.

Но за вычетом этой вынужденной неполноты «рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни», как характеризует «Дневник провинциала» сам автор, обладает поразительной масштабностью и глубиной.

Подводя ему итоги, Салтыков вновь обращается, как во вступительных очерках к «Господам ташкентцам», к характеристике русского дворянства, олицетворяемого им теперь в образе Петра Ивановича Дракина.

Торжество Дракина в пору реакции, когда тот «поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того, еще расширилась арена для его похождений», не мешает писателю видеть в нем «ветхого», отходящего в вечность человека», который потерял прежнюю прочную почву крепостного права и не способен «куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль», совершенно бессилен «относительно созидания новых ценностей».

На место Дракина «народился тип новый, деятельный» — «хищник», еще более откровенно, нагло и «организованно» преследующий те же корыстные интересы, что и его предшественник, «сохраняя смысл традиций», то есть действуя в рамках прежнего государственного строя.

Исторические итоги деятельности этого «нового ветхого человека», по

мнению Салтыкова, обещают быть столь же безрадостными (и здесь звучит явная перекличка с финалом «Господ ташкентцев»).

Уже в «Господах ташкентцах» очерки, которые непосредственно отображают «ташкентское дело» («Ташкентцы-цивилизаторы» и «Они же»),— в некоторых отношениях кажутся эскизами отдельных линий «Дневника провинциала» и, в особенности, «Современной идиллии» (так же, как статья, вернее, очерк «Наши бури и непогоды»).

В «Дневнике провинциала» сатирическое обозрение жизни тогдашних петербургских верхов, политических интриг и коммерческих махинаций влечет за собою трагикомическую феерию похождений самого рассказчика, выдержанную целиком в духе наступившего «спутанного» времени, когда, по выражению из «Господ ташкентцев», «самый горячечный бред не только сравнялся с действительностью, но даже был оттеснен последнею далеко на задний план».

В еще более заостренной форме обнажить это «безумие» жизни, эту «спутанность времени» намеревался Салтыков в задуманном им продолжении «Дневника провинциала» с весьма выразительным названием «В больнице для умалишенных». Почти все события, происходящие в лечебнице для умалишенных, судя по сохранившимся начальным главам, по существу развиваются согласно реально существующим нормам и законам современного сатирику общества. Так, отношения провинциала с Ваней Поцелуевым складываются в духе осмеиваемых Салтыковым и в других произведениях попыток «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма». Суд сумасшедших, их поведение во время «бунтов» также имеют самые очевидные соответствия в тогдашней действительности.

Салтыкову описание сумасшедшего дома позволило еще раз воплотить свою излюбленную мысль о готовностях, кроющихся за «обыденною» действительностью: «...сумасшествие само по себе есть, по преимуществу, обнажение тех идеалов человека, которые он в нормальном состоянии не решается высказать...»

«В больнице для умалишенных» Салтыков следовал традиции Герцена, автора повести «Доктор Крупов», герой которой также занимался «сравнительной психиатрией», устанавливая сходство так называемых нормальных людей — военных, чиновников, офицеров и т. д.— с душевнобольными. Однако этот новый сатирический цикл не состоялся и работа над ним прекратилась в самом начале.

«Дневник провинциала» — произведение вполне завершенное, и оно явилось открытием такой формы сатирического романа, которая обладает значительной «емкостью» и полифонией изобразительных средств.

Диалоги провинциала с Прокопом, во многом предвещающие будущий сатирический дуэт «я» и Глумова, переосмысливание известных литературных персонажей (встреча провинциала на Международном статистическом конгрессе с Кирсановым, Рудиным, Берсеневым, Волоховым, Веретьевым), смелое введение литературной пародии (на статьи консервативных и либеральных публицистов) — таков далеко не полный перечень художественных

приемов, сделавших «Дневник» глубоко своеобразным произведением русской литературы.

Многие затронутые в нем мотивы и набросанные образы получили в дальнейшем блестящее развитие, в частности разоблачение выцветающего либерала, образ беспринципного служителя Фемиды. Будущий Балалайкин происходит по прямой линии от Хлестакова-сына из сна провинциала, а в знаменитой сцене приема Балалайкиным своих клиентов в бывшем помещении публичного дома («Современная идиллия») проросло то сюжетное зерно, которое было заложено в мимолетной сценке «Дневника», где «купеческий сын» Беспортошный обращается с адвокатом Ненаедовым точно так же, как с «знаменитой девицей» Сюзеттой.

В письме к А Ф Писемскому, посвященном доказательству того, что «современную текущую жизнь. . нельзя уложить в такой прочной и серьезной форме, как драма, даже трудно и в романе», И. А. Гончаров сделал характерную оговорку:

«Это возможно в простой хронике или, наконец, в таких блестящих, даровитых сатирах, как Салтыкова, не подчиняющихся никаким стеснениям формы и бьющих живым ключом злого, необыкновенного юмора и соответствующего ему сильного и оригинального языка» [1].

Сделанное вскоре после появления «Дневника провинциала» по поводу пьесы Писемского, затрагивавшей тему буржуазного хищничества, это высказывание, вероятней всего, имеет в виду именно «Дневник».

«Дневник провинциала в Петербурге» явился переходом в творчестве Салтыкова от публицистических и сатирических циклов к новой форме романа, принципы которого он сформулировал в «Господах ташкентцах» и принял в его собственном творчестве вид сатирического романа-обозрения.

О возникновении замысла и начале работы над «Дневником провинциала в Петербурге» точных сведений не имеется. Но, по-видимому, именно к замыслу «Дневника» относятся следующие строки из письма Салтыкова к А. Н. Энгельгардту от 18 октября 1871 года в Батищево: «Рекомендую Вам свою статью «Самодовольная современность», помещенную в октябрьской книжке «Отечественных записок»... Это только вступление; затем будет применение изложенного в первой статье к нашей современности и статьи будут появляться от времени до времени». Заключительная фраза журнальной публикации первой главы цикла, не вошедшая в окончательный текст: «Но об этих похождениях — в следующий раз» [2],— свидетельствует, что, публикуя первый очерк, Салтыков уже имел в виду его продолжение.

Главы «Дневника провинциала в Петербурге» появлялись в каждой книжке «Отечественных записок» за 1872 год, за исключением июльской и сентябрьской. Печатались они не в первом (художественном), а во втором

---

[1] И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, 1958, стр. 452.
[2] *ОЗ*, 1872, № 1, стр. 134.

(публицистическом) разделе «Современное обозрение» и были подписаны псевдонимом «М. М.». Салтыков в своей переписке называл эти главы «фельетонами».

Одновременно с последними журнальными публикациями в «Отечественных записках» готовилось первое отдельное издание произведения «Дневник провинциала в Петербурге». Сочинение М. Салтыкова (Щедрина), тип В. В. Пратц, СПб. 1873. Оно вышло в свет между 17 и 23 декабря 1872 года. В отдельном издании, как это видно из следующей таблицы, была уточнена порядковая нумерация очерков. В журнальной публикации их нумерация началась со второго фельетона, главы VIII и IX были напечатаны без нумерации как одно целое, глава X обозначена как IX, а последняя глава не имела номера; слово «глава» отсутствовало, оно появилось только в посмертном издании (1889 года).

В помещаемой ниже таблице отражены изменения, которые произошли в нумерации глав в отдельном издании по сравнению с журнальной публикацией:

Порядок глав в журнальной публикации	*изд. 1873*
Без нумерации (*ОЗ*, 1872, № 1)	I
II (*ОЗ*, № 2)	II
III (*ОЗ*, № 3)	III
IV (*ОЗ*, № 4)	IV
V (*ОЗ*, № 5)	V
VI (*ОЗ*, № 6)	VI
VII (*ОЗ*, № 8)	VII
Без нумерации (*ОЗ*, № 10)	VIII
Без нумерации (*ОЗ*, № 10)	IX
IX (*ОЗ*, № 11)	X
Окончание (*ОЗ*, № 12)	XI

Таким образом, нумерация глав в отдельном издании не совпадает с нумерацией журнальной публикации. Кроме нумерации глав, в первом отдельном издании было внесено наибольшее количество изменений в текст: сокращения, стилистическая правка, сделан ряд дополнений, которые по цензурным соображениям отсутствовали в журнальной публикации. При жизни Салтыкова вышли еще два издания: изд. 2-е, тип. А. С. Суворина, СПб. 1881; изд. 3-е, тип. И. Н. Скороходова, СПб. 1885. Текст этих изданий отличался от *изд. 1873* мелкими стилистическими разночтениями.

Немногочисленные сохранившиеся рукописи «Дневника провинциала» хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

В основу настоящего издания «Дневника провинциала в Петербурге» положен текст *изд. 1885*, сверенный со всеми прижизненными изданиями.

Глава I

(Стр. 271)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 1, «Совр. обозр.», стр. 120—134.

В журналах заседаний Совета Главного управления по делам печати сохранилось донесение цензора В. Я. Фукса от 7 марта 1872 года о второй книжке «Отечественных записок», в котором содержится благожелательный отзыв о статье «Ташкентцы приготовительного класса (третья параллель)», а также о первом фельетоне «Дневника провинциала»: «В предшествующей книжке были помещены весьма спокойные и совершенно трезвые сатиры против действительных недостатков некоторых современных общественных явлений (статья Щедрина и «Дневник провинциала в Петербурге»)» (*ЦГИАЛ*, ф 776, оп 2, № 10, л. 262—263).

Стр. 275. В журнальном тексте имя железнодорожного подрядчика Бубновина было Александр Тимофеевич (*ОЗ*, 1872, № 1, стр. 127). В *изд. 1873* оно изменено на Анемподист Тимофеевич

Стр. 271. *...Александр Прокофьич (он же «Прокоп Ляпунов»)* — Этот персонаж, занимающий одно из центральных мест в «Дневнике провинциала», далее называется просто Прокопом. Уподобление героя романа Прокопию Петровичу Ляпунову — политическому деятелю XVII века — подчеркивает преемственность традиций «высшего в империи сословия»; присущие салтыковскому крепостнику-фрондеру черты — беспринципность, наглость, лукавство, готовность к любому компромиссу и даже преступлению ради корыстных целей — приобретают благодаря этому сопоставлению характер обобщения. В «Культурных людях», где также фигурирует Прокоп, Салтыков дает ему развернутую характеристику и описывает его наружность, называя его Александром Лаврентьевичем Лизоблюдом (см. т. 12).

Стр. 272. *...в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком.*— Русскому дворянству в 1832 году была присвоена униформа министерства внутренних дел. Салтыков нередко употреблял выражение «красные околыши» метонимически, для обозначения дворян.

...в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе ..— Как Салтыков указывает ниже, этим многочленным названием он обозначал дворянско-помещичью часть земства. В ряде случаев этот термин трактовался им более расширительно — как дворянство вообще.

...сеятелями, деятелями...— См. очерк «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» из цикла «Признаки времени» (т. 7), где Салтыков обрисовал типичные фигуры «сеятелей» — земцев-либералов, труды которых сведены к крохоборческой политике «малых дел».

...лющимися и не помнящими родства людьми ..— Об этом часто встречающемся у Салтыкова термине см. т. 8, стр. 158.

Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом.— По свидетельству Цицерона, древне-

римские авгуры (гадатели), зная истинную цену своим предсказаниям, втайне посмеивались над легковерием римлян. Салтыков шутливо приписывает это общеизвестное высказывание Цицерона своему лицейскому учителю, профессору И. Кайданову, упоминающему об авгурах в «Руководстве к познанию всеобщей политической истории», ч. I, СПб. 1823, стр. 139.

..у Елисеева, Эрбера и Одинцова..— широко известные в то время магазины фруктово-колониальных товаров на Невском проспекте, при которых имелись отдельные «закусочные» комнаты ресторанного типа «с распивочной продажей питей». См. Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, ч. II, СПб. 1874, стр. 475—476.

Стр. 273. *...насчет концессии одной...*— Далее изображается концессионная горячка, охватившая в начале 70-х годов не только промышленно-коммерческие, но и помещичьи круги, а также высшую бюрократию и земство. С. Н. Терпигорев писал в своих воспоминаниях об этом времени: «Концессии сыпались на «соискателей», как из рога изобилия, и нахватали тогда их больше всего мои земляки, оскуделые или почти оскуделые помещики губерний Тамбовской, Саратовской и Пензенской» (*ИВ*, 1890, № 3, стр 531). В 1868 году Тамбовское и Саратовское земства получили концессию на постройку Тамбовско-Саратовской железной дороги. Возможно, что это обстоятельство отчасти отразилось на салтыковском определении земства как «рязанско<...>-тамбовско<..>-саратовского клуба».

...от земства..— Как отмечалось в печати того времени, многие земские деятели, руководствуясь корыстными побуждениями, были одержимы страстью строить железные дороги даже в таких местах, где строительство не могло быть оправдано деловыми соображениями. Помимо громадных материальных выгод, которые сулила концессия, связанная с распоряжением крупными денежными суммами, строительными работами, поставкой материалов и пр, самый факт прохождения железнодорожной линии вблизи помещичьих имений удорожал стоимость последних, облегчал вывоз и реализацию сельскохозяйственных продуктов и пр. В Петербург то и дело наезжали делегации из разных земств «со специальной целью — угощать людей нужных,— отмечал Н. Демерт в одном из своих обозрений,— и так как это угощение производится враз пятью или шестью депутатами, то устричный земский расход оказывается вовсе не маленьким — рублей на 500 minimum в месяц на брата» (*ОЗ*, 1871, № 5, отд. II, стр. 44) На это растрачивались даже суммы, предназначавшиеся для народного продовольствия во время голода (см. там же, 1869, № 4, отд. II, стр. 318, и т 7, стр. 568).

...все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hôtel...— «Гостиницы столицы никогда не были так набиты, как теперь,— сообщал в 1869 году из Петербурга корреспондент «Московских ведомостей»,— все этажи наполнены железнодорожными предпринимателями или, вернее, теми, что желали бы сделаться таковыми»,— людьми, «которые на действительный или мнимый капитал испрашивают какую угодно концессию,

будь она на юге или на севере, на востоке или на западе империи» (цит. по *ОЗ*, 1869, № 4, отд. II, стр. 311). См. также «Пестрые письма» (письмо 8-е), т. 16.

...твердость Муция Сцеволы...— Мифический древний римлянин Кай Муций Сцевола добровольно положил руку в огонь, чтобы доказать тюремщикам свое презрение к физическим мукам и смерти.

Стр. 275. *И у Бубновина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!* — Под фамилией Бубновин, намекающей на «бубновый туз» каторжника, выведен богатый железнодорожный концессионер «из мужичков» П. И. Губонин, который пользовался постоянной поддержкой высокопоставленных лиц, получавших от него огромные субсидии. О нем и о других упоминаемых ниже железнодорожных воротилах см. в воспоминаниях А. И. Дельвига «Полвека русской жизни», т. II, М.— Л. 1930. «Губонин <...> — предтеча Разуваевых и Колупаевых и, подобно им, начал карьеру в черном теле и «вышел в люди» чуть ли не из-за стойки питейного заведения» (В. О. Михневич. Наши знакомые, СПб. 1884, стр. 70). Мерзавским Салтыков именует видного железнодорожного концессионера А. М. Варшавского. Прозвищем «сын Сирахов» Салтыков указывает на национальность богача С. С. Полякова — еврея, игравшего огромную роль в многочисленных железнодорожных предприятиях тех лет (в состав Библии входит «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова»).

Стр 276. *..тандрессы* — нежности (*франц.* tendresses).

..на биржу к Елисееву...— магазин «фруктово-колониальных товаров» купца Елисеева с ресторанным залом, помещавшийся на Биржевой линии.

Стр. 279. *...жандарм и какой-то партикулярный молодой человек.*— В это время правительство производило многочисленные аресты среди революционной молодежи, ссылая без суда в северные губернии России. Салтыков иронически указывает на то, что проектируемые железные дороги дадут возможность правительству более оперативно доставлять революционеров к местам ссылки.

...господин Латкин с свежею печорскою семгою и кедровой шишкой в руках...— Золотопромышленник Н. В. Латкин деятельно выступал в печати, пропагандируя освоение природных богатств Сибири и Крайнего Севера.

Стр. 280. *...не выпить ли на ночь прощёную!* — то есть последнюю (подразумевается рюмка водки).

Хазовый — казовый, то есть выставленный напоказ (от татарского слова «чаз»).

Стр. 281. *..посещать лекции профессора Сеченова...*— И. М. Сеченов в начале 70-х годов прочел в Петербургском Клубе художников несколько курсов лекций, пользовавшихся в демократических кругах огромным успехом (см. «Физиология растительных процессов И. М. Сеченова. Публичные лекции, читанные в Санкт-петербургском Клубе художников зимою 1870 года», СПб. 1871).

...buvons, chantons, dansons et aimons! — часто употреблявшееся Салтыковым выражение, которым он характеризовал «польдекоковское» жизненное кредо светских бездельников Эти «программные глаголы» заимствованы из популярных опер-буфф Жака Оффенбаха, либретто А. Мельяка и Л. Галеви — «La belle Hélène» («Прекрасная Елена», 1864 — хор из д. III, сц 1) и «La grande Duchesse de Gérolstein» («Герцогиня Герольштейнская», 1867) — хор из д. I, сц. 1.

...исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского ..— Намек на историка М. П. Погодина, полувековой юбилей литературной и научной деятельности которого был отпразднован с большой помпой в Москве 29 декабря 1871 года (см. «Гражданин», 1872, № 1, 3 января, стр. 32—34). Предметом многочисленных и зачастую лишенных научного значения исследований Погодина был вопрос о пришествии в Россию на княжество варягов. Приняв в 1852 году участие в разыскании места погребения кн. Д. М. Пожарского и в водружении ему надгробного памятника в Суздале, Погодин опубликовал подробный мемуар — «Исследование о месте погребения кн. Дмитрия Михайловича Пожарского» («Москвитянин», 1852, № 19, отд. III, стр. 39—80). Салтыков считал исторические интересы, воодушевлявшие Погодина, «четвертаковыми» и относил его к числу «пенкоснимателей».

Говорит он о пользе классического образования <...> о податной реформе...— См. прим. к стр 111 и 371.

...«Ярославль-сребре» — «Ярославль-серебро» — древнерусская монета.

...выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия! — Древнеримский поэт Овидий умер в Молдавии, куда был сослан императором Августом. Место его погребения остается неизвестным. В одном из вариантов «Недоконченных бесед» (1885) Салтыков упоминает об ученом, который, «возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет и на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия, погребенного «в Полтавской губернии — в имении, принадлежавшем Ив. Ив. Перерепенко, который и доставил на съезд урну» (см. т. 14). Перерепенко — персонаж повести Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — С 7 по 20 декабря 1871 года в Петербурге проходил Второй археологический съезд, обсуждавший преимущественно малозначительные вопросы, связанные с археологией классических древностей. Этим, вероятно, и объясняется ирония Салтыкова.

Стр. 282. *Boulotte <...> Comme elle se gratte... les jambes...*— В оперебуфф Жака Оффенбаха «Barbe bleue» («Синяя борода», 1868; либретто А. Мельяка и Л. Галеви) роль крестьянки Бюлотты исполняла знаменитая французская опереточная актриса Гортензия Шнейдер, гастролировавшая в петербургском театре Буфф в конце 1871 — начале 1872 года.

«Dites-lui»! — ария из «Герцогини Герольштейнской» — д. II, сц. 5. А. С. Суворин в одном из своих фельетонов отмечал, что в первой картине

этой оперетты, проведенной Шнейдер «с отменным талантом», публика оставалась равнодушной, просыпаясь «только при грубых штрихах, при канканных движениях, при шаловливости, выходившей из границ», и добавлял. «Зато во второй картине публика ревела от восторга, от низу до верху, от фраков до чуек. Тут герцогиня желает соблазнить упомянутого Фрица, а Фриц ничего не понимает. Она поет арию «Dites-lui», исполненную вакхических движений совершенно разнузданной женской природы, и потом сажает его с собою и с ним заигрывает» (*СПб. вед.*, 1872, № 23, 23 января). С. Н. Худеков в фельетоне, напечатанном в «Петербургской газете» под псевдонимом «Сережа» (1871, № 180, 19 декабря), писал: «Ходил по Невскому, в тот самый час, когда наша плешивая юность прогуливает себя для возбуждения аппетита перед обедом Гуляли цилиндры, бобры, соболя, кепи и треуголки... Большинство из них пело «Dites-lui!»».

Стр. 283. *...у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже!* — По признанию самой артистки, она во время русских гастролей, наоборот, огрубляла свою игру с тем, чтобы быть более «доходчивой» для петербургской публики (см. «Гражданин», 1872, № 4, 24 января).

Стр 285. *«Le Sabre de mon père»* — Под этим названием шла в Петербурге «Герцогиня Герольштейнская», в которой изображались «галантные» подвиги Екатерины II.

Эта оперетта и исполнявшая главную роль Гортензия Шнейдер вызывали у русских современников настолько живой интерес, что даже Александр II, правнук Екатерины II, приехавший в 1867 году в Париж на Всемирную выставку, чуть ли не прямо с вокзала устремился в театр Variété (см. *Герцен*, т. XIX, стр. 282).

Стр. 286. *...товарищи мои <...> изнемогали, таяли, извивались..* — Кн. В. П. Мещерский в статье «У театра Буфф», выражая глубокое возмущение постановкой на русской сцене «пиесы» о Екатерине II, «Герцогини Герольштейнской» — «оскорбительной для всякого русского», где «цинизм разврата доведен до крайних пределов», описывал какого-то офицера, который, «высунувшись из ложи руками и половиною туловища», «впивался в сцену и в каждое движение г-жи Шнейдер до того соблазнительно, что обращал на себя внимание многих» («Гражданин», 1872, № 5, 31 января). Эта сценка как бы дополняет салтыковскую характеристику посетителей театра Буфф во время гастролей Шнейдер.

...борелевские татары... — См. прим к стр. 182.

Глава II

(Стр. 283)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 2, «Соврем. обозр », стр. 262—288, с примечанием: «Первая статья под этим названием была помещена в предыдущем номере «Отеч. зап.». *Автор*».

Критика приветствовала острую сатирическую направленность фелье-

тона против реакционного дворянства и в первую очередь против его нового органа — газеты «Гражданин», издаваемой с начала 1872 года князем В П. Мещерским. В статье В П. Буренина «Журналистика» отмечалось: «Самая выдающаяся по беллетристике статья февральской книжки встречается не в первом отделе, а в конце — это фельетон «Дневник провинциала в Петербурге». Многие страницы этого фельетона представляют едкую и блестящую сатиру на некоторые «веяния времени» и некоторых «охранителей», появившихся в наши дни Особенно хороши раут у князя Оболдуй-Тараканова и статья князя: «Как мы относимся к прогрессу», не уступающая ничем, по форме и содержанию, передовым выкликаниям «Гражданина». Не менее удачен проект «о расстрелянии и благих оного последствиях, сочиненный помещиком Поскудниковым» (*СПб. вед.* 1872, № 59, 29 февраля, Подпись: Z).

В *изд. 1873* Салтыков внес несколько незначительных стилистических поправок, а также следующее дополнение к тексту:

Стр. 295. *«...обладание властью действительно равносильно возможности гнуть в бараний рог, и что в этом смысле мы, точно, никакой власти не имеем»* — после этих слов добавлено: «Или, быть может, мы имеем ее в каком-нибудь другом смысле? Risum, teneatis, amici!».

Стр. 299. В *изд. 1881* после слов Прокопа: *«А я нынче по административной части гусара запустил»* добавлено: «Хочу в губернаторы».

Стр. 287. *...кокодессов...*— Слово cocodès, появившееся во французском языке в начале 60-х годов, означает «фат», представитель «золотой молодежи», «прожигатель жизни».

...без начала, без конца, без середки...— Содержателю частного театра Буфф Егареву запрещено было в то время ставить на своей сцене музыкальные спектакли полностью; поэтому оперетты шли у него как полуспектакли-полуконцерты, и вдобавок немилосердно искажались.

Стр. 288 *...красоулю...*— чашу.

...в отъезжее поле — на псовую охоту.

Стр 290 *...из Александринки...*— Петербургский императорский драматический (Александринский) театр

...охранение только одного-единственного права...— крепостного права.

Стр. 290—291. *...периодически, через каждые три года, бушевал в губернском городе...*— то есть участвуя в дворянских выборах.

Стр. 291. *...подстрекающей мысли о каких-то якобы правах.*— См. развитие этой мысли в «Завещании моим детям» («Признаки времени») — т. 7.

Если б кто-нибудь взял на себя труд обстоятельно написать историю этих пикировок...— См. об этом в «Помпадурах и помпадуршах» (глава «На заре ты ее не буди») — т. 8.

Стр 292. *Реприманд...*— Здесь: угроза (*франц.* reprimande).

Стр 293 *Мы даже m-lle Филиппо не можем заставить спеть «L'amour ce n'est que cela»...*— Салтыков приводит припев из песенки «L'Amour»

(«Любовь») — «L'amour, qu'est-ce donc que cela?» (см. «Каскадный мир. Сборник французских шансонеток, исполняемых г-жами Шнейдер, Терезою, Силли, Кадуджею, Филиппо, Альфонсин, Альфонсиною-Дюроше, Лафуркад, Антуанет, Мариею Лажи, Бланш-Гандон, Бланш-Вилэн и проч., с переводом на русский язык в стихах», СПб. 1873, стр 3). Шансонетная певица Луиза Филиппо выступала в течение нескольких лет подряд в театре Искусственных минеральных вод Излера Она сумела «три года подряд привлекать ежедневно тысячу человек, распевая неизменно одну-единственную песню «L'Amour», где и слов почти нет, кроме «Oh Robin! oh la la, ola li! oh la la и т. д.» (*СПб вед.*, 1872, № 181, 5 июля). В апреле 1871 года Филиппо привлекалась к суду за то, что, исполняя эту песню, «производила на сцене бесстыдные телодвижения», и в результате подверглась денежному штрафу (*СПб. вед*, 1871, № 126, 9 мая).

Стр. 294. *Есть наслаждение и в дикости лесов.* — Первая строка стихотворения К Н. Батюшкова (без названия; 1819—1820).

Стр. 295. *...отставным козы барабанщиком* — Устаревшее шутливое выражение о человеке, потерявшем свое прежнее (крайне незначительное) служебное положение.

...мой друг Сеня Бирюков... — Этот салтыковский персонаж является действующим лицом «Сатир в прозе» и «Помпадуров и помпадурш».

.по утвердившемуся на улице понятию... — О термине «улица» у Салтыкова см. т. 9, стр. 485.

Risum teneatis, amici! — часть пятого стиха из «Науки поэзии» Горация.

Стр 300. *Вон головорезы-то, слышали, чай! — миллион триста тысяч голов требуют...* — Во время первого заседания Петербургской судебной палаты по «нечаевскому делу» — «о заговоре, составленном с целию ниспровержения существующего порядка управления в России», была процитирована прокламация «Народная расправа», в которой говорилось о необходимости истребления «тех извергов в блестящих мундирах, обрызганных народною кровью, что считаются столпами государства», «целой банды грабителей казны» и т. п. («Правительственный вестник», 1871, № 156, 2 июля). Желая дискредитировать участников революционного движения III Отделение распускало провокационные слухи о намерении «нигилистов» истребить всех дворян, то есть миллион с лишним человек. Слух этот повторяет в разных вариантах ряд персонажей Салтыкова (например, Nicolas Персианов в «Господах ташкентцах» — см. стр. 101).

Стр. 300 *...сорок миллионов поясниц заполучить желаем!* — Подразумевается дворянское право телесного наказания крестьян (к концу 60-х годов крестьянское население России составляло около пятидесяти миллионов человек). Законом от 17 апреля 1863 года телесные наказания «низших сословий», широко распространенные в судебной практике дореформенной России, были резко ограничены, что вызывало недовольство среди закоснелых крепостников.

...даже прожект о расстрелянии...— то есть о резком усилении правительственных репрессий против оппозиционных и революционных элементов — вплоть до их полного физического истребления.

...прожект о расточении. .— Вероятно, имеется в виду широкое применение административной ссылки (в старинном словоупотреблении — «расточать» означало рассеивать, разгонять).

...с Домиником.— Как указывалось в одном из путеводителей по Петербургу, ресторан Доминика на Невском проспекте был «известен своими пирожками и вообще доброкачественностью и доступностью припасов; по количеству посетителей ему принадлежит первое место» (Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, ч. II, СПб. 1874, стр. 486).

Стр. 301. *Нас встретил хозяин...*— В сатирическом портрете князя Оболдуй-Тараканова современники угадывали черты реакционного беллетриста и публициста кн. В. П. Мещерского, изъявлявшего претензию на роль идейного вождя русской консервативно-помещичьей партии.

Стр. 302. *...уже смотрят государственными младенцами.*— См. об этом: «Испорченные дети», т. 7.

.. государственных семинаристов.— Речь идет о чиновниках Синода — в частности, департамента иностранных исповеданий, вице-директором которого был ранее гр. Д. А. Толстой Ср т. 7, стр. 363—366 и 644.

.. к догмату о папской непогрешимости.— См. прим к стр. 217.

...мотивы, побудившие императора Наполеона III начать мексиканскую войну.— Цель военной авантюры, предпринятой в 1862—1867 годах Наполеоном III, было уничтожение республики в Мексике и замена ее империей, предназначенной стать оплотом против Северо-Американских Соединенных Штатов Экспедиция эта закончилась полным провалом и ускорила крах наполеоновского режима.

...ососов . — поросят-сосунков.

Стр. 303 *Petit oiseau! qui es-tu?* — По-видимому, пародируется «нравоучительное» стихотворение аббата Ашиля Девуаля «Le Mendiant et l'Oiseau» — «Нищий и птичка» («Où vas-tu, petit oiseau?»).

«Zaire» — трагедия М.-А. Вольтера (1732).

«Излюбленные»...— Избранные на какую-нибудь общественную должность (термин русского обычного права). Салтыков, возможно, намекает на высказывание славянофила А. И. Кошелева, писавшего, что для обсуждения всех проектов законов следовало бы направлять в столицу из губерний «гласных, избираемых на сей предмет губернскими земскими собраниями» («Беседа», 1871, № 8, стр. 171—172).

Стр. 304 *..nous dansons sur un volcan...*— приобретшее широкую известность восклицание французского политического деятеля гр. А. де Сальванди на балу в Париже 31 мая 1830 года — за два месяца до Июльской революции.

...то посредники... то акцизные... то судьи...— Мировые посредники, на обязанности которых при проведении в жизнь крестьянской реформы 1861 года лежало регулирование взаимоотношений крестьян и их бывших

владельцев, являлись в первое время объектом ненависти со стороны крепостников; их называли «поджигателями» и подвергали травле на дворянских собраниях (см. Введение к «Мелочам жизни» — т. 16). Вскоре, однако, доходную и влиятельную должность мирового посредника сумело заполучить множество бывших крепостников, и это примирило их как с самой реформой, так и с институтом посредников.— В 1863 году в России были ликвидированы винные откупа и заменены вольной продажей вина, обложенного правительственным акцизом Чиновники, контролировавшие правильность проведения этой реформы, подвергались травле со стороны крупных помещиков, характеризовавших этих, в сущности «благонамеренных», чиновников как «нигилистов» и даже «коммунистов» (см. т. 7, стр. 190).

Стр. 305. *...куда же можно прийти, кроме... Но я не произношу этого страшного слова...*— Имеется в виду революция.

Стр. 306 *А суд, ваше превосходительство, между тем оправдывает-с!* — Намек на ряд оправдательных приговоров, вынесенных петербургским судом книгоиздателям, против которых цензурными органами было возбуждено судебное преследование.

...со времени покойного Николая Михайловича ..— то есть Карамзина, умершего в 1826 году.

...увидел тут все ..— Приводится ходовой набор обвинений реакционно-охранительной печати по адресу демократических органов, в особенности «Отечественных записок» и публиковавшихся там произведений Салтыкова.

Стр. 307 *У нас была одно время газета...*— Имеется в виду политическая и литературная газета «Весть», редактировавшаяся В. Скарятиным и Н. Юматовым Это был орган крепостников, добивавшихся передачи административной власти над крестьянами в руки помещиков «Весть» выходила с 1863 по 1870 год, имея ничтожное число читателей; прекратилась, как сообщалось в последнем номере, «вследствие полного истощения денежных средств».

...мы решились издавать новую газету под юмористическим названием «Шалопай»...— Здесь и далее высмеивается реакционно-консервативный еженедельник — «политический и литературный журнал-газета» «Гражданин», незадолго до того (с января 1872 года) начавший выходить в Петербурге под фактической редакцией кн. В П. Мещерского.

.. пренумерантов! — подписчиков.

Как мы относимся к прогрессу? — Пародируется передовая статья кн. В. П. Мещерского «Вперед или назад» («Гражданин», 1872, № 2, 10 января).

«Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию».— Пародируется следующее место из статьи Мещерского: «В России не может быть движения назад, потому что движение вперед объявлено всенародным,— в марте 1856 года, русским государем; в русском государстве немыслимо движение назад, потому что движение вперед стало жизнью, органическою потребностью России».

Стр. 309. ...*должен ли повторяться этот едва совершившийся факт безгранично? <...> что ежели бы рядом с совершившимся фактом было поставлено благодетельное т и р é*...— Пародируется высказывание из той же статьи Мещерского: «Но если движение назад немыслимо, а движение вперед есть такая же потребность для России, как жизнь, то из этого не следует, чтобы последнее, то есть движение вперед, могло бы быть нестройным, порывистым и управляемым не потребностями всех, а капризами нескольких, кто бы они ни были <...> К реформам основным надо поставить точку, ибо нужна пауза, пауза для того, чтобы дать жизни сложиться <...> Лихорадочно скачущие вперед создают упорно оттягивающих назад: и те и другие вне истины, вне России. России же нужна разумная средина, мир внутренний, мир безусловный...»

В своих позднейших воспоминаниях кн. Мещерский писал: «Эпизод с *точкою* вызвал против меня целый ураган. Он заключался в фразе, которую я дерзнул тогда сказать в одном из первых №-ров «Гражданина» о необходимости поставить к либеральным реформам *точку*. С этим словом все для меня кончилось, как будущность, и анафема надо мною произнесена была полная» (кн В. П. М е щ е р с к и й. Мои воспоминания, ч. II (1865—1881 гг). Спб. 1898, стр. 169). Незнакомец (А. С. Суворин) прозвал кн. Мещерского в одном из своих фельетонов «князем точкой, или точкой печального образа» (*СПб. вед.*, 1872, № 304, 5 ноября).

Стр. 311. ...*со времени известного происшествия*...— то есть отмены крепостного права.

Стр. 312. ...*у председателя общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы* — По евангельской легенде, «чающими движения воды» назывались больные и обессиленные люди, ожидавшие близ купальни Вифезда в Иерусалиме момента, когда появится ангел и приведет ее воды в волнение. Первому вошедшему за ним в воду это сулило исцеление (И о а н н, 5, 2—4). Персонажи с именем Стрекоза проходят через многие произведения Салтыкова — от «Губернских очерков» до «Современной идиллии».

...*с вавилонскою блудницей*.— «Вавилонская блудница» — выражение из Апокалипсиса («О т к р о в е н и е с в. И о а н н а Б о г о с л о в а» 17, 1 и 5).

Стр. 313. «*Как лебедь на брегах Меандра...*» — Начало «Оды на восшествие на престол Александра I» М. М Хераскова (СПб. 1801). В подлиннике вместо: «на брегах» — «на водах».

..*из всей этой плеяды остался только господин Страхов!* — В журнале «Заря» (1870, № 10) Н. Н. Страховым была напечатана под псевдонимом Н. Косица статья «Вздох на гробе Карамзина». Называя автора «Бедной Лизы» «великим писателем, создателем русской истории, зачинателем нового периода нашей литературы», Страхов декларативно заявлял: «Я вам открою, что я воспитан на Карамзине, что мой ум и вкус развивался на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями» (стр. 207). Об ожесточенной поле-

мике Салтыкова с этим идеологом «почвенничества» в начале и середине 60-х годов см т. 8, стр. 395, 584.

...*к Шухардину*. .— Трактир на Литейной с садом, в котором давались «музыкальные вечера», упоминавшиеся современниками с неизменной иронией (см. Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, ч. I, СПб. 1874, стр. 235—236).

Стр. 315. ...*к Балабину*...— «Балабинская гостиница» на Б. Садовой улице При ней был ресторан.

...*и охотно беседовал об искусстве* <...> *в трактире «Британия»*.— См. «Пошехонскую старину», гл. XXIV, «Валентин Бурмакин» (т. 15).

Глава III

(Стр 316)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 3, «Соврем. обозр.», стр. 119—145.

В *изд. 1873* в текст III главы внесено большое количество изменений. Ниже приводятся наиболее существенные из них.

Стр. 318. *«Какое это в самом деле благодеяние, что откупа уничтожены — и опять ушло»* — после этих слов в *ОЗ* было: «Дальше хорошо, однако ж, что присяжные по Мясниковскому делу оказались люди просвещенные, потому что ведь с бубновым-то тузом на спине... и опять ушло!»

Стр. 322. После слов: *«он знал и понимал, что если мир, по малой мере верст на десять кругом, перестанет быть пустыней, то он погиб?!* — вместо: «А мы?! Что дедушкина мораль удержалась в нас всецело — в этом нет никакого сомнения <...> вот почему мы колеблемся, путаемся и виляем», в *ОЗ* было:

и потому высказывал свои заключения настойчиво и безбоязненно. А мы?! Предоставляю беспристрастному читателю самому по совести ответить, действительно ли дедушкина мораль уже исчерпала свое содержание, как о том повествуют пламенные панегиристы успехов нашего времени? И многие ли из нас вполне искренно и сознательно отказались от убеждения, что удел хама в этом мире ограничивается телесным наказанием? А ежели некоторые и догадываются, что дедушкина мораль не вполне состоятельна, то не знают, как с этим делом быть».

Стр. 323—324. Вместо слов: *«Какая же это будет жизнь, коли меня на каждом шагу думать заставлять будут?»* — в *ОЗ* было: «А на кой черт, позволь тебя спросить, стану я думать, коли я и без думанья всякую штуку оборудовать могу? Да и какая же это будет жизнь, коли меня на каждом шагу думать заставлять будут? Ведь это каторга, а не жизнь! Думать!»

Стр. 325. *«...наша женерозность пришла к нам без особенно деятельного участия сознания»* — после этих слов в *ОЗ* было: «Мы задались ею почти из того же побуждения, из которого Большов у Островского задался мыслью о банкротстве».

Стр. 326. *«Тогда только мы начали суетиться и ахать»* — после этих слов в *изд. 1873* добавлено «и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться к системе заушения!»

Стр. 331. *«...в похвальном стремлении всех осчастливить»* — после этих слов в *ОЗ* было: «(не я, конечно, буду называть это стремлением непохвальным)».

Стр. 317. . *из рязанско-тамбовского клуба...*— из клуба дворянского собрания, имевшегося в каждом губернском городе.

...посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть! — До крестьянской реформы помещики, жившие в городе, имели право направлять своих дворовых для порки в полицейский участок.

И вот, о реформы, горькие ваши плоды! — Реминисценция из «Недоросля» Д. И Фонвизина: «Вот злонравия достойные плоды!» (заключительная реплика Стародума — д. 5, явл. 8).

Стр. 319. *...розоперстую аврору...*— поэтический синоним утренней зари, часто встречающийся в поэмах Гомера.

«.. о необходимости оглушения... «о переформировании де сиянс академии. »— Об этих «прожектах» см. прим. к стр. 338.

Стр. 320 *Был момент, когда мы искренно поверили ..*— Имеется в виду время, предшествовавшее крестьянской реформе, которая казалась большинству дворян-помещиков непоправимой катастрофой (см , например, т. 2, стр. 25).

Стр. 321. *...la grandeur d'âme est à l'ordre du jour <...> alea jacta est...*— См. прим. к стр. 65.

.. на последнем я листочке напишу четыре строчки — Банальные стишки, которыми обычно завершались альбомы «уездных барышень».

Стр. 322. *...это были дни нашего несчастия...*— время подготовки и проведения крестьянской реформы.

Стр. 323. *...это аттанде* — термин карточной игры: «Погодите, не мечите, я ставлю» (от *франц.* attendez).

Стр. 324. *...юдоль скорбей.*— Библейское выражение (Псал., 83, 7), означающее «земная жизнь» («юдоль» по-церковнославянски — долина).

...женерозна...— великодушна, благородна (от *франц.* généreuse).

Стр. 325. *...палладиумом...*— оплотом (от *лат.* palladium).

Стр. 327. *...господина Токевиля (удерживаю фамилию этого писателя в том виде, кик она является в плодах деревенских досугов)...*— В фамилии французского публициста А. де Токвиля (Toqueville) средняя буква *е* — немая и выпадает из русского написания и произношения. Архаическая транслитерация подобного рода фамилий (напр., Дидерот вместо Дидро) продолжала частично бытовать в России XIX века.

Токевиль положительно сделался популярнейшим из публицистов в наших усадьбах.— В своих известных книгах «La Démocratie en Amérique» («Демократия в Америке», 1835—1840) и «L'Ancien régime et la Révolution» («Старый порядок и революция», 1856) Токвиль коснулся проблем, актуальных для пореформенной России: представительного правления, централизации и т. п. Перевод обеих книг Токвиля вышел на русском языке в начале 60-х годов.

Стр. 327 . *Наполеон III <...> диктовал свои мероприятия относительно расстреляния?* — Имеются в виду мероприятия Наполеона III по установлению и упрочению режима жестокой личной диктатуры.

И Хлобыстовские приедут, и Дракичы...— Салтыков впервые изобразил этих «зубров-крепостников» в «Признаках времени» (см. т 7, стр. 547). См также «Письма к тетеньке» (т 14).

Стр. 328 *О необходимости децентрализации.*— В этом «прожекте» Салтыков подвергает осмеянию децентрализаторско-крепостнические устремления дворян-землевладельцев, требовавших от правительства усиления своей помещичьей власти и охраны государством их имущественных и сословных интересов. Одним из конкретных объектов пародии является, по-видимому, докладная записка, поданная в 1866 году Александру II министром внутренних дел П. А. Валуевым, министром государственных имуществ А. А. Зеленым и шефом жандармов гр. П. А Шуваловым, об усилении власти губернаторов на местах (см. «О минувшем. Исторический сборник», СПб. 1909, стр 100—109). Значительное усиление власти губернаторов было проведено через Комитет министров. «Сущность этого проекта заставляет опасаться, что в силу его вся Россия отдается под полицейский надзор <...> — записал в своем дневнике 27 января 1870 года А. В. Никитенко.— Ничего чудовищнее, кажется, не было придумано в это бестолковое время, где самые пошлые личные интересы самолюбия, честолюбия и трусости уже даже перестали с некоторых пор прикрываться личиною забот о народных интересах» (А. В Никитенко. Дневник, т. 3, М 1956, стр. 167) Об аналогичном проекте Шувалова и Тимашева 1870 г. см. т. 7, стр. 627—728

Токевиль выражается о сем прямо: «Централизация есть зло».— Вопросы, связанные с централизацией и децентрализацией власти, занимают заметное место в работах Токвиля, особенно в книге «Демократия в Америке». Об интересе Салтыкова к работам Токвиля см. в кн.: С. Макашин. Цит. изд., стр. 429—431 и 556.

Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: «Зло, с трудом поправимое даже деспотизмом» — Нелепость этой ссылки невежественного автора прожекта на Шарля Монтескье заключается в том, что он заставляет мыслителя, жившего за столетне до Токвиля, подтверждать изречения последнего.

. *английский писатель Джон Стуарт выражается так: «Централизация есть остаток варварства».*— Автор «прожекта» имеет в виду известного экономиста Джона Стюарта Милля, но по невежеству принимает его двойное личное имя за имя и фамилию. В заключительной части своей книги «On Liberty» («О свободе», 1859), Милль резко осудил тенденции к централизации, проявляющиеся в европейских странах, в частности — в наполеоновской Франции.

.. *«солнце наше вкруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем ..»* — Неточная цитата из речи Георгия Конисского в честь Екатерины II («Речь на прибытие ее императорского величества в город Мстиславль, говорен-

ная синодальным членом, преосвященным Георгием, архиепископом могилевским, мстиславским и оршанским генваря 19 дня 1787 года»). В подлиннике. «Всесветлейшая императрица! Оставим астрономам доказывать, что земля вкруг солнца обращается· наше *солнце* вкруг нас ходит, и ходит для того, да мы в благополучии почиваем».

Стр. 329. *Наши заатлантические друзья...*— См. прим к стр. 450.

...даже Наполеон III нередко <...> о сем поговаривал в секретных беседах с господином Пиетри.— Иронический намек на попытки Наполеона III в конце своего царствования несколько «либерализировать» правительственный режим, который основывался на строгой централизации и полицейско-бюрократическом регламентировании всех сторон жизни французского народа. О Ж Пиетри см на стр. 61

Стр. 330 *Известный криминалист Сергий Баршев говорит: «Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность».*— Профессор Московского университета С. Баршев писал в книге «О мере наказаний» (М. 1840), которую он в предисловии назвал своим «исповеданием»· «...на людей грубых и необразованных, каковы, большею частию, преступники, всего более действует страх наказания» (стр. 123). В другой своей книге — «Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях» (М. 1841) — Баршев посвятил целый раздел вопросу «О денежных наказаниях», подчеркивая целесообразность денежных штрафов в случае «маловажных преступлений» (раздел II, стр. 81—83). Ср. «Нашу общественную жизнь» — т. 6, стр. 173.

Стр. 331. *...ларчик просто открывался!!!* — Заключительный стих басни И. А. Крылова «Ларчик» (1807)

Стр. 332. *...предоставить <...> издавать правила.* — К. К. Арсеньев замечал по поводу этого проекта· «Это напечатано в 1872 году, а в 1876 или 1877 году администрации на самом деле дано и впоследствии еще более расширено право издавать обязательные постановления. То, что прежде казалось утрировкой, является, таким образом, простою прозорливостью; г. Салтыкову удается иногда подметить «тень, отбрасываемую грядущим» (the shadow of coming things), как картинно выражаются англичане» (*BE*, 1883, № 2, стр 730). Ср. аналогичные высказывания Салтыкова в письмах к Н А. Некрасову от 13 октября 1876 года и к П. В. Анненкову от 1 ноября 1876 года. Прожект «О децентрализации» был почти полностью воплощен в жизнь правительством Александра III в 80-х годах.

...и моего тут капля меду есть.— Из басни И. А. Крылова «Орел и Пчела» (1811).

Отставной корнет Петр Толстолобов.— В этом персонаже, фигурирующем также в «Помпадурах и помпадуршах», отражены некоторые черты лицейского товарища Салтыкова, «жестоковыйного человека», «ташкентца высшего полета» — гр. Д. А. Толстого, который ознаменовал свое многолетнее пребывание на посту министра народного просвещения, а затем министра внутренних дел рядом мероприятий по «помрачению просвещения в России».

Стр. 333. *Бьют, испытывают и ссылают.*— См. гл. II «Итогов» — т. 7, стр. 434—444 и 656—667.

Стр. 334. *О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств.*— «Прожект» направлен против разработанной правительством программы «классического образования».

Стр 336. *...азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут...*— Финикийцу Тауту легенда приписывала изобретение «письменных букв» (см. И Кайданов. Руководство к познанию всеобщей политической истории, ч. I, СПб 1823, стр. 17). Намек на введенное в классических гимназиях обязательное обучение древнегреческому языку.

...эфиопского языка — намек на эту же «реформу».

Стр. 338. *О переформировании де сиянс академии.*— «Де сиянс академия» — Академия наук (от *франц.* Académie de Sciences). Салтыков предполагал представить в «оправдательных документах» к «Истории одного города» написанную «градоначальником Двоекуровым» «Записку о необходимости учреждения в Глупове академии», которая занималась бы не изучением, а «рассмотрением» наук. Какие-то причины помешали ему реализовать это намерение в «Истории одного города», и он сделал это в «Дневнике провинциала». «О переформировании де сиянс академии» — одна из самых острых сатир Салтыкова, обличающих истинное отношение царизма к науке и просвещению. Салтыков высмеял в ней постоянные усилия самодержавия создать «благоиамеренную» лженауку, поддерживающую «законный порядок».

Стр. 339. *...как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила одного отца...*— Сатирическая реплика в адрес кн. В. П. Мещерского, выступавшего против равноправия женщин. В передовой статье газеты «Гражданин» (1872, 28 февраля, № 9), озаглавленной «Наш женский вопрос», рассказывалось о том, как «в одном помещичьем имении, в глуши Смоленской губернии, жил семидесятилетний старик с двадцатипятилетней дочерью», которая под влиянием брата, окончившего Петровскую сельскохозяйственную академию, бросила отца, переехала в Петербург «с обстриженными волосами» и заняла должность «свободной, самостоятельной наборщицы». Мещерский патетически описывал горе «покинутого отца».

Стр. 341. *...распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая «Психологией».*— У передовой русской молодежи глубокий интерес вызывали сочинения по естествознанию, посвященные связи физиологических и психических явлений,— книги Фейербаха, Фогта, Молешотта, Бюхнера и др. Герцен писал К. Фогту 9 мая 1866 года: «...в доносах Каткова упоминается и ваше имя. Он утверждает, что именно ваши сочинения, которые переводились ad hoc, и книги Молешотта развращали молодое поколение» (*Герцен,* т. XXVIII, стр. 185).

Стр. 343. *.. маймистов...*— Так прозвали финнов, живших в окрестностях Петербурга (искаженное «Эй мой-ста» — «Не понимаю»).

Глава IV

(Стр. 343)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 4, «Совр. обозр.», стр. 305—331.

Критик журнала «Сияние» в статье «Журналистика». «Отечественные записки» № 4» охарактеризовал четвертый фельетон «Дневника провинциала» как «великолепную характеристику нашего общества в самой популярной форме» («Сияние», 1872, т. I, № 23, стр. 386).

В *изд. 1873* Салтыков внес в текст IV главы следующие добавления.

Стр. 360. *«Это начало — всегдашнее, никогда не оставляющее челове-ка»* — после этих слов добавлено: «совершившего рискованное предприятие по присвоению чужой собственности».

Стр. 370. *«Через минуту ответы уж были готовы»* — после этих слов добавлено: «(до такой степени присяжные заседатели были тверды в вере!)».

Стр. 371. *«...Жаль этого дорогого принципа собственности, этого, так сказать, палладиума...»* — после этих слов добавлено: «Но куда бежать? в провинцию? Но там Петр Иваныч Дракин, Сергей Васильич Хлобыстовский... Ведь они уже притаились... они уже стерегут! Я вижу отсюда, как они стерегут!!»

Стр. 343. *...я должен сказать несколько слов о сновидениях...* — Далее следует пародийная характеристика антикрепостнического протеста либерально-оппозиционных кругов дворянского общества 40-х годов,— протеста искреннего, но «гамлетовски» нерешительного и лишенного практических результатов. В эту характеристику Салтыков ввел ряд автобиографических реминисценций, к которым относятся и воспоминания о своих дебютах в литературе,— повестях «Противоречия», «Запутанное дело», «Брусин», упоминание о своем крепостном слуге Григории («собрат моего камердинера и раба Гриши») и др.

Стр. 344. *...лампопо̀...* — анаграмма слова «пополам»: напиток из пива с лимоном и гренками.

...alma mater... — студенческое наименование университета (в данном случае — Московского).

...«Маланьей»... — См. прим. к стр. 383.

О Росс! о род непобедимый // О твердокаменная грудь! — Из оды «На взятие Измаила» Г. Р. Державина (1790—1791). В подлиннике: «О Росс! О род великодушный!»

Стр. 345. *...помещика Пеночкина!* — Аркадий Павлович Пеночкин — главный персонаж рассказа И. С. Тургенева «Бурмистр» (1847) из цикла «Записки охотника».

Стр. 346. *.. увлеченный артельными сыроварнями...* — Начиная со второй половины 60-х годов помещик Н. В. Верещагин деятельно пропагандировал создание в России густой сети артельных сыроварен, которые должны были, по его мнению, значительно поднять благосостояние крестьянского населения. Рациональность повсеместного распространения сыроварен оспаривал на страницах «Отечественных записок» известный тео-

ретик и практик агрономии — профессор А. Н. Энгельгардт, указывавший, что для многих крестьянских семей сыроварни явятся источником дополнительных лишений. В полемику между «Отечественными записками» и «С.-Петербургскими ведомостями» по этому вопросу был втянут и Салтыков (см. «Благонамеренные речи» — т. 11).

...местного комитета по улучшению быта крестьян.— «Комитеты по улучшению быта крестьян» были созданы в 1858 году из дворян-помещиков каждой губернии для разработки условий отмены крепостного права.

Стр. 346—347. *...председатель исчез неведомо куда, но «в сопровождении»...*— Намек на административную ссылку в Вятку (в сопровождении жандарма) председателя Тверского губернского комитета А. М. Унковского в 1860 году.

Стр. 347 *Итак, я видел сон.*— В основу «сна» положены факты нашумевшего процесса братьев Мясниковых, обвиненных в подделке духовного завещания купца Беляева. Саркастическому анализу этого дела посвятил большую часть своего ежемесячного обзора «Наши общественные дела» Н. Демерт в мартовской книжке «Отечественных записок» 1872 года, то есть за месяц до появления в этом журнале настоящей главы «Дневника провинциала». После внезапной смерти (в 1858 г.) купца К. В. Беляева, ведавшего делами офицеров — братьев А. и И. Мясниковых, первый из них, бывший в это время адъютантом начальника III Отделения, тотчас же перевез к себе все бумаги Беляева. Спустя три недели жена Беляева предъявила для засвидетельствования духовное завещание покойного мужа, написанное не по форме, причем подлинность подписи Беляева возбудила большие сомнения. Осенью 1859 года племянник Беляева Мартьянов возбудил дело о подложности этого завещания, но умер еще до разбора своей жалобы. В 1868 году родственники и наследники Мартьяновых подали в прокуратуру прошение о возбуждении уголовного дела против Мясниковых. «Мясниковское дело», разбиравшееся в феврале 1872 года в Петербургском окружном суде, закончилось полным оправданием обоих братьев, чему, как предполагалось, содействовало служебное положение старшего брата в высшем органе политической полиции и, быть может, даже подкуп присяжных заседателей (эти предположения неоднократно высказывались в периодической печати). Большое влияние на исход процесса оказала «интересная, исключительно глубокая по содержанию и замечательная по ее юридическому анализу» речь защитника А. Мясникова — К. К. Арсеньева (см. сб «Судебные речи известных русских юристов», изд. 2-е, М. 1957, стр. 223—224). Вторичное судебное разбирательство, произведенное в Москве, также закончилось полным оправданием обвиняемых. Подробностями этого сенсационного процесса Салтыков воспользовался как материалом для сатирической характеристики и обличения общественного быта и нравов 70-х годов.

что я был когда-то откупщиком...— Беляев также был винным откупщиком.

Стр. 348. *...выкупное свидетельство.*— Выкупные свидетельства представляли собой своего рода облигации, которые выдавались помещикам после реформы 1861 года за земли, входившие в крестьянский надел.

Стр. 349. *...всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил.*— Намек на так называемую «Хлудовскую историю» — аферу с крепостными крестьянами, устроенную несколькими помещиками Рязанской губернии и богатейшими фабрикантами той же губернии Хлудовыми. Афера эта была разоблачена Салтыковым во время его вице-губернаторства в Рязани (см. т. 5, стр 84—97 и 548—550).

Стр. 350. *...чтоб бутылка за семью печатями была!* — то есть чтобы вино не оказалось отравленным.

Стр. 353. *Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить норовят.*— Намек на обстоятельства, связанные с делом Мясниковых, когда несколько наследников Беляева, а также свидетелей умерло один за другим в больнице, сумасшедшем доме и пр.

Стр. 354. *...что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, да старинная копеечка...*— Намек на мясниковское дело В кабинете Беляева после его смерти полиция обнаружила только триста пятьдесят рублей наличными деньгами и двадцать пять серебряных монеток старинной чеканки. Все остальное было увезено и припрятано Мясниковым (см. «Дело Мясниковых». Полный стенографический отчет, СПб, 1872, стр. 15).

Пришли, понюхали — и ушли.— Из «Ревизора» Гоголя (реплика городничего: «...мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы <...> пришли, понюхали — и пошли прочь» (д. I, явл. 1).

..что они миллионщики! — Этот эпизод, возможно, связан не только с мясниковским делом, но и со следующим сообщением в русской печати того времени: «В нескольких верстах от гор. Змиева, верстах в сорока от Харькова, проживал один из первых богачей края Дмитрий Андреевич Донец-Захаржевский <...> имевший, по слухам, далеко за миллион рублей капитала в различных процентных бумагах <...> На днях в Харькове распространилась молва, что Д. А. Донец-Захаржевский скончался в деревне своей <...> Молва прибавляет, что, между прочим, при покойном не нашли капитала, бывшего при нем в последние дни» (*СПб. вед.*, 1872, № 1, 1 января).

...сипация...— искаженное слово «эмансипация», то есть «освобождение» крестьян.

Стр. 359. *...на острове Голодае?* — Близ острова Голодая (ныне остров имени Декабристов), на краю Смоленского кладбища в Петербурге хоронили нищих.

...мои таланты...— Здесь в смысле: деньги. В одной из евангельских притч упоминается раб, получивший от своего хозяина денежную сумму («один талант»); вместо того чтобы пустить ее в прибыльный оборот, раб зарыл этот талант в землю, чем вызвал негодование рабовладельца (Матф., 25, 15—30).

Стр. 361. ...*искариот*...— предатель (от евангельского персонажа Иуды Искариота, предавшего на казнь Христа).

Стр. 363. *Надо нам от этого Гаврюшки освободиться!* — Здесь, по-видимому, содержится намек на одно из обстоятельств мясниковского дела. Помощник Беляева А. А. Караганов, подделавший подпись Беляева по просьбе Мясникова, во время судебного процесса находился почти в невменяемом состоянии. По утверждению прокурора А. Ф. Кони, Мясниковы нарочно спаивали его, чтобы избавиться от опасного свидетеля обвинения («Дело Мясниковых», цит. изд., стр. 258—260).

Глава V

(Стр. 371)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 5, «Совр. обозр.», стр. 128—153.

Сохранился отрывок наборной рукописи от слов: *«Я не шел домой, а бежал.»* до слов: *«о... том, что было далее — до следующего раза М. М.»*

Сохранившийся отрывок представляет собой перебеленную с предыдущих черновиков рукопись с многочисленными исправлениями, вычерками и вставками Судя по пометам и следам типографской краски, это рукопись, которая использовалась для набора первопечатного текста. Следовательно, ее можно датировать концом апреля 1872 года.

Авторская правка в рукописи имеет преимущественно стилистический характер.

Сличение автографов с журнальным текстом позволяет установить правку в не дошедшей до нас корректуре.

Стр 389. *«И этот человек — заговорщик!»* — После этих слов в *ОЗ* добавлено: «Этот человек не настолько свободен, чтобы ясно сказать, что в городе Имярек исправник ездит на пожарных лошадях!» В одном только *изд. 1881* вместо *«на пожарных лошадях»* напечатано: *«на казенных лошадях»*.

Текст «Устава Вольного Союза Пенкоснимателей» — также добавлен в корректуре. В рукописи после слов: *«...и на заглавном листе ее прочитал»*: было *«Устав Союза Пенкоснимателей». О том, что было далее — до следующего раза»*.

С пятой главы «Дневника провинциала», посвященной «пенкоснимательству» и его газете — «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательнице», началась острая полемика «Отечественных записок» с «С.-Петербургскими ведомостями», как главным органом тогдашнего русского либерализма. В ответ на критику либералов в «Дневнике провинциала» и статье Н К. Михайловского «С.-Петербургские ведомости». Их настоящее и будущее» («Литературные и журнальные заметки».— *ОЗ*, 1872, № 5, стр. 51—76). «С.-Петербургские ведомости» опубликовали две большие передовые

статьи (*СПб. вед.* 1872, № 138, 21 мая, и № 142, 25 мая), а также серию фельетонов В. П. Буренина, подписанных буквой Z. В первом из них «Журналистика. Нечто о долгой скрытности «Отечественных записок» относительно своих принципов и своего направления...» (*СПб. вед.*, 1872, № 144, 27 мая) содержались резкие нападки на всех основных сотрудников журнала — Некрасова, Г. З. Елисеева, Н. Курочкина, Н. Демерта и Салтыкова. Следующий фельетон Буренина «Журналистика... Два слова о беллетристической манере г. Боборыкина...» был непосредственно направлен против «Дневника провинциала». В частности, рассуждение Салтыкова о «молодцах лихачах», появившихся в современной литературе, было с полемической целью переадресовано Буренинным П. Д. Боборыкину и его роману «Дельцы». Фельетон заканчивался утверждением, что «статейка, из которой извлечен вышеприведенный намек на г. Боборыкина, есть не что иное, как насмешка над современной литературой вообще и над «Отечественными записками» в частности» (*СПб. вед.* 1872, № 156, 10 июня).

По этому поводу Салтыков писал Н. А. Некрасову из Витенева в Карабиху 20 июня 1872 года «Негодяй Буренин, который не постыдился сказать, что мой предпоследний фельетон написан на Боборыкина, конечно, и на будущее время не воздержится от своих пакостей».

Положительная оценка пятого фельетона была дана в статье С. Т. Герцо-Виноградского «Очерки современной журналистики»: «Эфемерность и мизерность интересов, бессодержательность, случайность, болтовня, фельетонизм — вот типические черты нашей современницы-литературы, метко охарактеризованной сатириком литературой пенкоснимания, которая стала переполняться краткословными и краткомысленными представителями.. Очертить характер текушей литературы злее и метче, чем это сделал сатирик, вряд ли можно» («Одесский вестник», 1873, 6 мая, № 98. Подпись: С. Г.-В).

Стр. 371. *...о подоходном налоге...*— В начале 1872 года Комиссия для пересмотра системы податей и сборов рассматривала проект всесословного подоходного налога после обсуждения его на губернских и уездных земских собраниях. «С.-Петербургские ведомости» писали по этому поводу 22 февраля:

«Единственным выходом из такого положения представляется полная и окончательная отмена особенно неуравнительных податей: подушной, государственного земского сбора, общественного сбора и государственного земского сбора с гильдийских свидетельств. Существующую систему прямых налогов следует заменить иною, в основании которой лежал бы принцип всесословного налога...»

...о всесословной рекрутской повинности.— Дворянское сословие еще в 1762 году было освобождено от обязательной воинской повинности, которую отбывали в России только крестьяне и мещане. В начале 70-х годов периодической печатью обсуждалась реформа, вводившая всеобщую воинскую повинность. Утверждена она была в 1874 году.

Стр. 372 *...с других!* — то есть податных сословий — крестьян, мещан, негильдийского купечества.

Да ведь других-то и порют! — Телесным наказаниям в 60—70-х годах подлежали крестьяне, арестанты, ссыльнокаторжные и ссыльнопоселенцы. Дворяне, купцы первой и второй гильдии и «именитые граждане» не могли быть подвергнуты телесным наказаниям.

Стр. 374. *...с чего только бесятся!* — Прокоп имеет в виду губернские и земские собрания, обсуждающие проект всеобщего подоходного налога.

Стр. 377. *В надежде славы и добра // Иду вперед я без боязни!* — Из «Стансов» А. С. Пушкина (1826). В подлиннике вместо «иду» — «гляжу».

...налоги, равномерно распределяемые, суть единственные... — См. прим. к стр 411

Стр 378. *...пушнина...* — Здесь: хлеб с мякиной.

...бунте на коленях. — «Бунт на коленях» — выражение Герцена в статье «Сечь или не сечь мужика?», напечатанной в «Колоколе» (1857, л. 6, 6 декабря). См *Герцен,* т. XIII, стр. 106.

Стр. 379. *..Безе.* — В переводе с французского эта фамилия означает «поцелуй» (le baiser).

...подарил все дворы через двор... — Подобную же злую шутку проделал, по рассказу Салтыкова в «Пошехонской старине», помещик Захар Капитонович, поделивший между своими двумя сыновьями вперемежку двадцать три крестьянских двора (см. т. 17).

...вицы — шутки (от *нем.* Witz).

Стр. 381. *...реки Пряжки..* — Пряжка — «незначительная гнилая речонка в Коломне», «выходящая из Мойки, впадающая в залив» (Вл. Михнев и ч. Петербург весь на ладони, ч. 1, цит. изд., стр. 52).

Стр 383. *Менандр Прелестнов...* — В образе либерального публициста Менандра Прелестнова современники узнавали черты издателя-редактора «С.-Петербургских ведомостей» В. Ф. Корша. Черновой автограф рассказа «Похороны» подтверждает, что именно В. Ф. Корш явился прототипом Менандра Прелестнова (т. 12. Ср. *BE,* 1883, № 2, стр. 740). Упоминания о В Ф. Корше, о его редакторской деятельности и о плачевном финале этой деятельности см. также «За рубежом» (т. 14). К. К. Арсеньев, один из близких друзей Корша, писал в его некрологе: «Мягкий, гуманный от природы, умеренный по убеждению, В. Ф не был и не мог быть одним из тех бойцов, в которых типично выражается дух эпохи; как всем приверженцам середины, ему суждено было возбуждать неудовольствие направо и налево» (*BE,* 1883, № 8, стр. 878). Ср. К. К. Арсеньев. Салтыков-Щедрин, СПб. 1906, стр 93; *ОЗ,* 1877, № 7, стр. 128). Именем *Менандр* Салтыков, вероятно, не случайно связал своего персонажа с действующим лицом сатиры А. Д. Кантемира «О различии страстей человеческих», где изображен сплетник, жадно собирающий всякого рода слухи (см. Антиох Кантемир. Собрание стихотворений, М — Л. 1956, стр. 92—93).

...еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, че-

ловек и гражданин».— Этим намеком Салтыков подчеркивает тесную связь Менандра Прелестнова с его реальным прототипом В. Ф. Корш в 40-х годах учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Увлеченность античной и, в частности, греческой литературой он сохранил до конца жизни. В обширном, вышедшем под редакцией Корша труде «Всеобщая история литературы» (СПб. 1880—1883) ему принадлежал раздел «История греческой литературы».

Стр. 383. *«Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница»* — Главным объектом сатиры Салтыкова послужили здесь «С.-Петербургские ведомости», начавшие выходить еще в 1728 году, как прямое продолжение петровских «Ведомостей о военных и иных делах, достойных знаний и памяти» (1703—1727). Редактором-издателем этой газеты с 1863 года был В. Ф. Корш.

Экземпляр «Маланьи», отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у меня <...> время «Маланий» прошло.. — Здесь явный элемент автоиронии: в личном архиве Салтыкова несколько десятилетий хранилась переплетенная в «изящный шагреневый переплет» рукопись его раннего рассказа «Брусин» (см. т. 1, стр. 429).

Стр. 385. *...в Шемахе произошло землетрясение?* — 16 февраля 1872 года сильным землетрясением был почти полностью разрушен город Шемаха и несколько окрестных селений. Этому событию в «С.-Петербургских ведомостях» был посвящен ряд телеграмм и корреспонденций.

Стр. 386. *«Башмаков еще не износила!»* — Восклицание Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский» (перевод Н. А. Полевого, 1837, д. I, сц. 2). В годы учения в московском Дворянском институте Салтыков нередко посещал спектакли Малого театра с участием Мочалова, Щепкина, Живокини, в том числе и представления «Гамлета».

Стр. 387. *...как легко дышится!..*— Ср. аналогичную характеристику предшественников «пенкоснимательства» в статье Салтыкова «Наша общественная жизнь» (1863) по поводу газеты «Голос» (названной сатириком «Куриное эхо»), которая безудержно восхваляла результаты правительственных реформ (т. 6, стр. 41).

Стр. 387. *...ссудо-сберегательные кассы ..*— Ссудо-сберегательные товарищества начали появляться в России с 1870 года. Целью этих финансовых учреждений, поддерживавшихся земскими управами, было оказание помощи крестьянам-землевладельцам дешевым кредитом. (См. *BE,* 1872, № 10, стр. 827—837.) На деле это свелось к финансированию зажиточных слоев крестьянства.

...об интернационалке...— В 1864 году было создано возглавлявшееся Карлом Марксом Международное товарищество рабочих — I Интернационал. По-французски «Internationale» женского рода, и в русском языке того времени это слово сохраняло женский род и иногда передавалось термином «международка» — см., например, передовую статью в *РМ,* 1872, № 97, 11 апреля.

...еследствие свободы печати...— С 6 апреля 1865 года в России было

введено временное законодательство о печати, которое хотя и освобождало ряд изданий от предварительной цензуры, но вместе с тем давало возможность правительству применять самые суровые санкции. С 1 сентября 1865 по 1 января 1870 года было объявлено сорок четыре предостережения; семь периодических изданий были прекращены. Особенно усилились цензурные репрессии после покушения Каракозова и нечаевского процесса (см. К. К. Арсеньев. Законодательство о печати, СПб. 1903, стр. 25—85).

...в продолжение целого часа было видимо северное сияние... — В конце января 1872 года северное сияние наблюдалось не только в европейской части России, но даже в южной Европе.

Стр. 388. *..образовалось общество, под названием «Союз пенкоснимателей» .. но ради бога, чтоб это осталось между нами!* — Здесь впервые встречается у Салтыкова ставший классическим термин «пенкосниматели», который фигурирует и в произведениях: «Господа ташкентцы», «Недоконченные беседы» и др. Слово «пенкосниматели» («пенкоснимательство») получило широкое распространение в русской демократической публицистике для обозначения российского либерализма. Им не раз пользовался в своих произведениях В И. Ленин (см. *ЛН*, т. 11-12, стр. 400, 419, 420). Предупреждение Прелестнова о необходимости соблюдать «тайну «Союза пенкоснимателей» — сатирический прием, подчеркивающий полную безобидность для правительства либералов и всех их объединений.

Стр. 389 *...настоящая ли разбойничья, или так, вроде оффенбаховской, при которой Менандр разыгрывает роль Фальзакаппы?!* — В опере-буфф Жака Оффенбаха «Les Brigands» («Разбойники», либретто А. Мельяка и Л. Галеви, 1870), шедшей на петербургских сценах, представлена шайка наглых, но незадачливых грабителей, возглавляемых Эрнесто Фальзакаппой, который изображен либреттистами и композитором в подчеркнуто гротесковом плане.

Стр. 390. *В журнале «Вестник Пенкоснимания»*...— В этой и следующих главах «Дневника провинциала» называется множество пародийных заглавий столичных либеральных органов; некоторые из этих сатирических выпадов, вероятно, направлены по определенному и очевидному для современников «адресу». В статье «Несколько полемических предположений» Салтыков указывает, что, обличая «вредные и ненужные журналы», не следует создавать им рекламу, называя их, и что поэтому они должны быть окрещены «какими-нибудь псевдонимами», и это предоставит возможность «начать уже изобличать их со всею безопасностью!» (т. 5, стр. 268). Под «Вестником Пенкоснимания», вероятно, подразумевался либеральный ежемесячный журнал «Вестник Европы», тесно связанный с «С.-Петербургскими ведомостями».

«...перед судом общественной совести»...— Пародируется высказывание из обвинительной речи прокурора А. Ф. Кони на процессе Мясниковых: «...приговоры общественного мнения по этому делу не могут и не должны

иметь значения для вас. Есть другой, высший суд — суд общественной совести Это ваш суд, господа присяжные» («Дело Мясниковых», цит. изд., стр. 275).

В сих печальных обстоятельствах. — Намек на цензурный террор после покушения Каракозова.

...задал такую работу близнецам «Московских ведомостей»? — то есть М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву, которые, по словам самого Каткова, «были неразлучны» «до последних тайников мысли и сердечных движений» и семнадцать лет «жили, почти не расставаясь, под одним кровом» (*МВ*, 1875, № 97, 20 апреля). Катков и Леонтьев полемизировали с «С.-Петербургскими ведомостями», «Вестником Европы» и др., обвиняя их (совершенно неосновательно) в революционности.

Стр. 391. *...вертоград ..* — старинное название сада, часто употреблявшееся в переносном значении.

Пора, наконец, убедиться, что наше время — не время широких задач... — Одна из главнейших «формул» салтыковского обличения идеологии либералов, взятая из их основного органа — «С.-Петербургских ведомостей». Ср. в передовой статье «С.-Петербургских ведомостей» 1873, № 317, 17 ноября: «Несколько лет тому назад наша газета сделала верное замечание о настоящем времени, сказав, что наше время — скорее время практических, чем общих, широких, теоретических задач <...> В литературе появилось немалое число статей и беллетристических очерков, разрабатывавших ту же самую тему». Далее редакция отмечала, что «один из наших толстых журналов», то есть «Отечественные записки», «вот уже два или три года» цитирует эту «безвредную фразу», «сопровождая свои цитаты грубыми и вздорными толкованиями». Об этом «кредо» пенкоснимателей-либералов см. также в «Недоконченных беседах» (т. 14). Герой «Похорон» Пимен назвал это изречение либералов «распутной фразой», обвиняя ее автора — Менандра Прелестнова — в измене всему прошлому русской литературы. «Тут скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное» (т. 12). Это же изречение о «нашем времени» произносит пустоголовый фразер в «Благонамеренных речах» и Федот в «Пестрых письмах» (см. т. 11, т. 16).

.. дабы полуда на посуде в трактирных заведениях всегда находилась в исправности... — Обвинение либеральной прессы в крохоборстве.

Стр. 392. *«Зеркало Пенкоснимателя»...* — Возможно, что имеются в виду «Биржевые ведомости», ведшие в то время ожесточенную полемику с «С.-Петербургскими ведомостями».

Стр. 394. *...третье предостережение.* — После третьего предостережения периодические издания подвергались временной приостановке или полному запрещению.

...обличать городовых. — В качестве примера подобных «обличений» можно указать на статью, появившуюся в то время, когда писалась пятая глава «Дневника провинциала». «Все двинулось у нас вперед за последнее время; одной только провинциальной полиции это движение, по-видимому,

не коснулось вовсе или коснулось очень мало. Грубые нравы, немыслимые при нашем новом законодательстве, в ее среде еще не утратили своей дикой первобытности. От души желаем, чтобы наши губернские начальства обратили серьезное внимание на это важное обстоятельство и тем предотвратили на будущее время возможность подобных историй» (*СПб. вед.*, 1872, № 116, 29 апреля).

Стр. 395. *...внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему (см. соч. Токвиля: «L'Ancien régime et la Révolution»)* — Намек на французскую революцию 1789 года.

Стр. 396 *...изданиям общества распространения полезных книг...*— См. т. 5, стр. 185, т. 6, стр. 130.

...сын туманного Альбиона...— англичанин.

...«новое слово» когда-нибудь будет сказано.— См. прим. к стр. 9.

...инкюлькированием...— вдалбливанием в голову (от *франц.* inculquer).

..заношенное исподнее белье его соседа! — См. прим. к стр. 18.

Стр. 397. *...сто́ит подуть жестокому аквилону...*— Реминисценция из стихотворения Пушкина «Аквилон» (1824). В подлиннике: «грозный аквилон».

Глава VI

(Стр. 398)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 6, «Совр. обозр.», стр. 216—238.

Глава VI «Дневника провинциала» продолжает и развивает тему «пенскосимательства». В П. Буренин откликнулся на нее большим фельетоном: «Журналистика... г. М М., осмеивающий Салтыкова» (*СПб. вед*., 1872, № 170, 24 июня, подпись: Z), в котором, используя то обстоятельство, что «Дневник провинциала» печатался в «Отечественных записках» под малоизвестным псевдонимом М. М., пытался в полемических целях обратить критику пенкоснимательства против самого Салтыкова и его сатиры

«В первых фельетонах г. М. М.,— писал Буренин,— именно ощущалось присутствие некоторого дела, и потому я счел долгом рекомендовать их вниманию публики... Похвалы мои были тем более искренни и тем более мне приятны, что я заметил в моем собрате и юмор, и остроумие, и сатирический блеск, не уступающий ни в чем таковым же качествам первого сатирика и юмориста наших печальных дней, г. Салтыкова.. Но с появлением майской книжки «Отечественных записок» правдоподобие помянутой догадки значительно поколебалось <...> К моему удивлению, в «Отечественных записках» я нахожу врага и разоблачителя слабой стороны г. Салтыкова .. Этот разоблачитель — г. М. М., повторяю: последние два фельетона г. М. М. не что иное, как злая пародия на ложную сатирико-публицистическую манеру нашего даровитого автора».

Не стесняясь в средствах борьбы, Буренин, глубоко задетый салтыковской критикой, дошел до того, что назвал автора «Дневника» «непочтительным хамом», разоблачающим неприличные места сатиры «Отечественных записок», олицетворяемой г. Щедриным» (т а м ж е).

По поводу этого выступления «С.-Петербургских ведомостей» А. Н. Плещеев писал Некрасову из Петербурга в Карабиху 26 июня: «Затем, Н. С. Курочкин поручил мне спросить Вас — читали ли Вы фельетон «Петерб. вед» (суббота, 24-го), где ругня этого паршивого Буренина вышла уже изо всяких пределов приличия. Все названы там хамами и проч. В особенности же оплеван Салтыков. Нам кажется, что подобной вещи оставлять без ответа не следовало бы. Если от Вас в скором времени не получится ничего для напечатания в июльской книжке (или от Салтыкова), то ответ будет написан сообща Курочкиным, Михайловским и Демертом. и этому прохвосту будет воздано по заслугам» [1].

Салтыков также счел необходимым ответить на выступление Буренина 29 июня он сообщил Некрасову: «По поводу ругательного фельетона Буренина я надумал написать к нему письмо. Но так как ум хорошо, а два лучше, то я прилагаю это письмо к Вам, с тем что ежели Вы найдете его удобным, то заклейте и пошлите, а ежели оно не годится, то пришлите его мне обратно».

Дальнейшая судьба этого письма неизвестна. В архивах Салтыкова, Некрасова и Буренина оно не обнаружено. В. П. Буренину ответил Н. К. Михайловский в статье «Беседа со старым воробьем» (*ОЗ*, № 7, стр. 179. Литературные и журнальные заметки).

В июле 1872 года «Отечественным запискам» было объявлено первое предостережение за статью Н. Демерта «Наши общественные дела», напечатанную в июльской книжке. В правительственном распоряжении от 19 июля 1872 года ее автору инкриминировалось «резкое порицание недавно изданных законов о народном просвещении» и стремление «к возбуждению в обществе недоверия к сим законам, а в учащихся как неуважения к начальству и преподавателям, так и неудовольствие против вводимой ныне системы образования» [2].

Подобная мотивировка вызвала недоумение в редакции «Отечественных записок».

«Редакция нимало не виновата,— писал Некрасов Краевскому 3 июля 1872 года,— статью я читал и нахожу, что в ней сказано дело без задору и без неосторожных фраз» [3]. В литературных кругах распространились слухи, что репрессии против журнала вызваны главой VI «Дневника провинциала». Н. С. Курочкин 1 августа «из верного источника» информировал Некрасова.

«Дело вот в чем. Лонгинов обиделся до бешенства фельетоном Мих. Евг. в июньской книжке, так как ему почему-то показалось, что под видом Кузьмы Пруткова выведен он самолично». Однако по мнению С. А. Макашина, обоснованность возникшего слуха сомнительна [4], так как

---

[1] *ЛН*, кн 51—52, М. 1949, стр. 450.
[2] *БВ*, 1872, № 198, 23 июля
[3] Н А Некрасов. Собр. соч., т. V, стр. 490.
[4] *ЛН*, кн. 51—52, М. 1949, стр. 348.

вскоре Салтыков преподнес М. Н. Лонгинову, своему школьному товарищу (в 1844—1848 годах сослуживец по канцелярии военного министерства, а в 1872 году председатель Главного управления по делам печати), экземпляр только что вышедшего отдельного издания «Дневника провинциала».

Скорее всего, недовольство Главного управления по делам печати могло быть вызвано тем, что под видом двух проектов — «об упразднении» и «об уничтожении»,— в обсуждении которых принимает участие тайный советник Козьма Прутков, Салтыков осмеял утвержденные 7 июня 1872 года временные правила о печати, дававшие министру внутренних дел право задерживать издания, освобожденные от предварительной цензуры. Документального подтверждения этих предположений в бумагах цензурного ведомства обнаружить не удалось. Как бы то ни было, в целях ограждения журнала от дальнейших цензурных репрессий Курочкин с разрешения Некрасова и самого Салтыкова вычеркнул из следующего, седьмого фельетона упоминания о Козьме Пруткове, о котором, по его словам, «там говорилось снова в трех местах». В отдельных изданиях эти купюры восстановлены не были, и текст их неизвестен.

В первом издании настоящей главы «Дневника провинциала», кроме стилистической правки, имеется одно дополнение, существенно меняющее характеристику общества «пенкоснимателей».

Стр. 403. В *ОЗ* было: *«Этого ли мало для возбуждения в самом кротком человеке подозрительности?»* В *изд 1885* исправлено: «в самом кротком начальнике».

Стр. 411 *«Такое серьезное дело затеяли — да чтобы без дисциплины!»* — после этих слов добавлено. «Мы, брат, только и дела делаем, что друг за другом присматриваем!»

Стр. 420. Вместо: *«Да; нет мне от них спасения!»* — в *ОЗ* было: «Alea jacta est! нет мне от них спасенія!»

Стр. 399. *...вскую шатающийся...*— Выражение из псалма Давида: «Вскую шаташася языцы?» — «Зачем мятутся народы?» (Псалтырь, 2, 1).

Читая эти вдохновенные речи, мы, провинциалы, задумываемся.— См. «Нашу общественную жизнь» (т. 6, стр. 207—211).

Стр. 400. *...славословят и поют хвалу?* — Имеется в виду превознесение органами либеральной прессы реформаторской деятельности правительства и ее мнимых результатов.

...время господства «Британии» и эстетических споров — то есть 40-е — начало 50-х годов. См. выше прим. к стр 315.

Никодим редижировал какую-то казенную газету, при которой <...> имелся и литературный отдел.— Никодима Крошечкина Салтыков наделил некоторыми чертами личности М. Н. Каткова и фактами его биографии. В начале 50-х годов Катков стал редактором университетской газеты «Московские ведомости». «Насколько зависело от Каткова,— отмечал впоследствии его биограф,— он оживил казенную газету. В ней стали принимать участие московские профессора; был заведен постоянный литературный от-

дел». Вследствие этих мер тираж газеты за время редактирования ее Катковым поднялся вдвое (см. С. Неведенский. Катков и его время, М. 1888, стр. 98—99). Помощником, а затем преемником Каткова на посту редактора «Московских ведомостей» был В. Ф. Корш (до 1862 г.).

Стр. 402. .. *Мудрый Натан* .— главный герой одноименной драмы Г.-Э. Лессинга («Nathan der Weise», 1779).

Стр. 403. ...*благорастворение воздýхов* — крылатое выражение, источником которого является литургия Иоанна Златоуста (молитва «великая ектинья» — «О благорастворении воздýхов, о изобилии плодов земных и временах мирных»). Употребляется в значении «чудесная погода».

...*не об этих ли птицах писал Страбон?*..— В своем описании Италии и Средиземного моря известный древнеримский географ Страбон упоминает, что на одном из пустынных островов спутники мифического героя Диомеда были превращены в птиц, которые ведут там «в некотором роде человеческую жизнь» (Страбон. География в 17 книгах, М. 1964, стр. 260).

Стр. 404. ...*написал когда-то повесть, на которую обратил внимание Белинский!*..— В письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 года Белинский назвал первую повесть Салтыкова — «Противоречия» — «идиотской глупостью» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, М. 1955, стр. 421). Этот отзыв мог стать известным Салтыкову, по-видимому, не ранее конца 60-х годов, когда было опубликовано упомянутое письмо Белинского. Салтыков в письме к С. А. Венгерову от 28 апреля 1887 года упоминает о том, что Белинский назвал «Противоречия» «бредом младенческой души», а в главе VI «Дневника провинциала» вложил в уста Белинского аналогичную характеристику «Маланьи»: «бред куриной души».

...*Иван Николаевич Неуважай-Корыто, автор «Исследования о Чурилке»!* — В этом «пенкоснимателе», носящем гоголевскую фамилию (Петр Савельевич Неуважай-Корыто — крепостной помещицы Коробочки) сатирически заострены некоторые черты характера и научно-литературной деятельности сотрудника «С.-Петербургских ведомостей» известного критика и искусствоведа В. В. Стасова. Стасов принадлежал тогда к числу наиболее рьяных и последовательных сторонников компаративистской теории. Крайности этой теории и высмеивает прежде всего Салтыков в образе Неуважай-Корыта. В своей объемистой монографии «Происхождение русских былин» (*ВЕ*, 1868, №№ 1—4, 6—7), выводы которой получили непосредственное отражение в настоящем эпизоде, Стасов доказывал иностранное происхождение наиболее выдающихся памятников русского народного эпоса и его основных героев — Еруслана Лазаревича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и др.

Известен резкий отзыв Стасова о Салтыкове, вызванный, вероятно, обидой на комментируемые страницы «Дневника провинциала». В письме к В. П. Буренину от 8 октября 1873 года он охарактеризовал Салтыкова как «противного и тошнительного автора», отличающегося будто бы «стальной холодностью и бессердечностью», а в его произведениях находил «манерность, суесловие и скалозубленье», а также «недосказанность

слов», которая вытекает из «недосказанности мысли» и т. д. («Новое время», 1915, № 14051, 24 апреля).

Семен Петрович Нескладин, автор брошюры «Новые суды» и легкомысленное отношение к ним публики»! — В этом персонаже воплощены некоторые черты известного юриста и публициста К К Арсеньева, которому принадлежал ряд передовиц на судебные темы в «С.-Петербургских ведомостях», а также брошюры «Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного следствия» (СПб. 1870), «Судебное следствие» (СПб. 1871), и др. Заголовок пародирует содержание передовых статей «С.-Петербургских ведомостей», посвященных юридическим вопросам. Впоследствии Арсеньев написал первую биографию Салтыкова (*BE,* 1890, №№ 1—2) и ряд статей о его творчестве, вышедших отдельным сборником («Салтыков-Щедрин», СПб. 1906).

Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня: «Чижик! чижик! где ты был?» — перед судом критики»! — В этом персонаже также воплощены крайности историко-литературного компаративистского метода, наиболее рельефно выраженного в трудах Александра Николаевича Веселовского. 7 мая 1872 года, то есть за месяц до появления в печати этой главы «Дневника провинциала», им была защищена в Петербургском университете докторская диссертация «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» (СПб. 1872). Веселовский в течение нескольких лет занимался научными изысканиями в европейских библиотеках и архивах — в том числе и испанских. Это обстоятельство далее особенно акцентируется сатириком.

Вячеслав Семеныч Размазов, автор статьи «Куда несет наш крестьянин свои сбережения?» — По-видимому, высмеивается публицист Ф. Ф. Воропанов, автор передовых статей на экономические темы в «С.-Петербургских ведомостях».

Реприманда — выговора (*франц.* reprimande).

...Чуриль, а не Чурилка, был не кто иной, как швабский дворянин седьмого столетия.— Салтыков пародирует следующие утверждения В. В. Стасова в его монографии «Происхождение русских былин»: «Наш Еруслан Лазаревич есть не кто иной, как знаменитый Рустем персидской поэмы «Шах-Намэ»» (*BE,* 1868, № 1, стр. 175); «Наш Добрыня — не кто иной, как индийский Кришна <...> Похождения нашего Добрыни — это не что иное, как те же самые рассказы <...>, которые посвящены описанию похождений Кришны.. » (№ 2, стр. 644) и т. п. Стасов, как и Веселовский, в течение продолжительного времени работал над историческими источниками во многих зарубежных библиотеках — В «Вестнике Европы» (1872, № 4) было помещено два стихотворения В. П. Буренина под общим заглавием «Из русских былин». «Чурило Пленкович» и «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром». С этим, возможно, связаны упоминания Салтыкова о Чурилке и Илье Муромце.

Стр. 405 *..колебаниям, «ни в каком случае не достойным науки»* — Пародируется полемический выпад Стасова против «общих рассуждений»

защитников теории оригинального характера русских былин, удовлетворяющих, по его мнению, «только патриотическим чувствам, но не научным требованиям» (*ВЕ*, 1868, № 4, стр 652).

Совопросник...— собеседник *(церковнослав.)*.

...придет новый Моисей и извлечет из этого кремня огонь — По библейской легенде, пророк Моисей, ударив жезлом по скале, извлек из нее воду, утолившую жажду возроптавших израильтян (Исход, 17, 5—6).

Стр. 406 *Существуют два проекта: один об уничтожении, другой об упразднении.*— В 1872 году в Государственном совете разрабатывались новые цензурные правила «пресечения злоупотреблений печатным словом», возбуждавшие сильное волнение и беспокойство в литературных кругах 7 июня 1872 года, за неделю до фактического выхода в свет журнала с настоящей главой, были утверждены правила, разрешавшие министру внутренних дел задерживать выход в свет книг и периодических изданий и проводить через Совет министров постановления об их окончательном запрещении. 4 июля А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Новый закон о цензуре. Finis <конец> печати <...> При этом законе, если он будет исполняться, решительно становятся невозможными в России наука и литература» (А. В Никитенко. Дневник, т. 3, М. 1956, стр. 244).

Но тайный советник Кузьма Прутков!! Ужели он допустит до этого?! — О возникших в литературных кругах догадках и о циркулировавших в Петербурге слухах, будто в образе Козьмы Пруткова Салтыков задел М. Н Лонгинова, незадолго до того назначенного на пост председателя Комитета по делам печати — см. стр. 757—758.

Стр. 408. *...задали <...> вы задачу московским буквоедам!* — Монография Стасова вызвала ряд возражений со стороны московских ученых, в частности — профессора Ф. В. Буслаева. Стасов ответил на них статьей «Критика моих критиков» (*ВЕ*, 1870, № 2, стр. 897—935).

Стр. 409. *Парис преле-е-стный // Судья изве-е-естный!* — Из оперы-буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Ведь я не го! // Сударственный преступник! — Реплика дона Гуана в первой сцене оперы А. С Даргомыжского «Каменный гость» на текст одноименной «маленькой трагедии» Пушкина. Перенесением слога «го» в первый стих сатирик подчеркивает неверную, по его мнению, акцентировку этой музыкальной фразы композитором, претендовавшим на точную передачу средствами речитатива интонаций живой речи (аналогичным образом высмеял эту реплику и В. С. Курочкин в рецензии «Русский театр в Петербурге».— *ОЗ*, 1872, № 12, отд. II, стр. 398). Еще более резкий выпад против новаторских исканий Даргомыжского см. в «Недоконченных беседах» (т. 14). Премьера «Каменного гостя» состоялась в петербургском Мариинском театре 16 февраля 1872 года.

Я только однажды в жизни был в подобном положении, и именно, когда меня представляли одному сановнику...— Возможно, намек на представление Салтыкова великому князю Константину Николаевичу в Твери в середине августа 1860 года. Н. А. Белоголовый вспоминал об этом.

«А после обеда подошел к Салтыкову один из свитских и сказал, что великий князь Константин Николаевич желает с ним познакомиться <...> Вскоре действительно великий князь вышел и прямо подошел к Салтыкову с вопросом «Как ваша фамилия?», а потом надел пенсне и, осмотрев с головы до пяток, шаркнул ногой и с словами «честь имею кланяться» молодцевато удалился. Салтыков передавал эту сцену с удивительным юмором» (*«Салтыков в воспоминаниях...»*, стр. 623—624, ср. 54—56).

...свистун...— «Свистунами» реакционная печать 60-х годов называла, в первую очередь, сотрудников «Современника» (по названию сатирического отдела журнала — «Свисток»), а также всех «нигилистов».

Стр. 410. *.. все на свете сем превратно, все на свете коловратно ..*— Реминисценция из «Оды на суету мира» А. П. Сумарокова (1763): «Во всем на свете сем премена // И всё непостоянно в нем <...> // Воззри на красоты природы // И коловратность разбери».

Стр. 411. *...рязанско-тамбовско-саратовского клуба <...>, то бишь земства. .*— См. прим. к стр. 272.

Что налоги, равномерно распределенные...— Пародируется стиль передовых статей «С.-Петербургских ведомостей» на экономические и юридические темы. Одна из них, например, начиналась словами: «Что наши гражданские законы нуждаются в тщательном пересмотре и в коренных улучшениях — эта истина давно уже высказывается и обществом, и юристами» (№ 130, 13 мая).

...мы с гомерическим хохотом...— Намек на выражение из статьи «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 104, 15 апреля): «При всем нашем отвращении к полемике, не осмысленной, бесцельной и грубой, мы не могли удержаться от гомерического хохота, читая в апрельской книжке «Отечественных записок» статью г. Д<емерта>, направленную против «С.-Петербургских ведомостей». «С.-Петербургские ведомости» принадлежат к числу ванек-встанек,— саркастически замечал Н. К. Михайловский в том же номере «Отечественных записок», в котором была напечатана и настоящая глава «Дневника провинциала».— Что бы вы с ними ни делали, они непременно встанут на ноги и со скрежетом зубов будут утверждать, что они заливаются «гомерическим хохотом» над своими противниками» (*ОЗ*, № 6, отд. II, стр 314). И в следующей книжке журнала: «С.-Петербургские ведомости» всегда хохочут и всегда гомерически... «Весело им живется» (отд. II, стр. 170).

...литературные приличия ..— Вероятно, пародируется высказывание редакции «Вестника Европы» при публикации материалов по нечаевскому процессу (процитировано Салтыковым в статье «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики»): «Чувство нравственного приличия, понятное всем порядочным людям, не дозволяло бы нам употребить гласность для обсуждения вины...» (см. т. 9, стр. 222).

Стр. 412. *...лучшие крайние сроки для взноса налогов суть сроки <..> мы же, напротив того, утверждали, что сроки эти надлежит на две недели отдалить...*— Ср. в передовой статье «С.-Петербургских ведомостей»,

(1872, № 120, 3 мая): «Мы уже заметили выше, что Положение о выкупе (ст. 121) дает крестьянам двухнедельный льготный срок для взноса платежей за вторую половину года, так что они, не будучи недоимщиками, могут внести эти платежи 15 января следующего года, а это изменяет весь расчет. Таким образом, при существовании недоимок, правильнее будет не признавать указанную сумму в долгу в 1870 году, когда она должна быть уплачена в 1871 году, и тогда окажется не дефицит в 4 миллиона, а остаток в 5 миллионов».

...*наши бесшабашные свистуны*...— Пародируется высказывание из передовой статьи «С.-Петербургских ведомостей» об «Отечественных записках» и их обозревателе Н. Демерте. «Мы не станем возвращаться к этому благовоспитанному джентльмену <...> Он пускается в оценку нашей газеты вообще, которая представляется ему «безалаберною» <...>, «запасающеюся сотрудниками-чиновниками из всех возможных ведомств <...> Нам с своей стороны нет дела до того, имеются ли в редакции «Отечественных записок» чиновники, служащие или вышедшие в отставку; но отныне мы будем знать, что между ее сотрудниками есть истинные башибузуки с заднего двора литературы, для которых ничего не значит нагородить десятки страниц невообразимой ерунды и которых мы не пустили бы в нашу «безалаберную» газету» (*СПб. вед.*, 1872, № 104, 15 апреля).

...*чтоб поднять нас на смех, подобно тому как уже и поступили они на днях с одним из наших уважаемых сотрудников* ..— Откликаясь на заявление «С.-Петербургских ведомостей» о том, что один из ее сотрудников, К. К. Арсеньев, выступавший в качестве защитника на процессе Мясниковых (см. прим. к стр. 347), «пользуется безукоризненною репутацией», Михайловский в «Литературных и журнальных заметках» писал: «Спрашивается, за что «С.-Петербургские ведомости», усердствуя в возвеличении одного из этих адвокатов, набрасывают неблаговидную тень на остальных двух? <...> Ясно, что «С.-Петербургские ведомости» связаны безупречною репутацией некоторого таинственного незнакомца, скажем, к примеру, г. Арсеньева, по рукам и ногам, и ни к одному делу, в котором принимает участие этот адвокат, свободно относиться не могут. Безупречная репутация человека есть, конечно, известная гарантия, но ее неудобно выставлять напоказ. Тем более что ведь Адам пользовался безукоризненною репутацией до съедения запрещенного плода древа познания добра и зла» (*ОЗ*, 1872, № 5, отд. II, стр. 64).

Стр. 413. ...*что нас постигло уже два предостережения, тогда как другие журналы, быть может менее благонамеренные по направлению* <...> *еще не получили ни одного* — Намек на следующее высказывание из редакционной статьи «С.-Петербургских ведомостей» об «Отечественных записках». «Никаким невзгодам они себя не подвергали, и в числе периодических изданий, пораженных известного рода карами, мы напрасно стали бы искать «Отечественные записки» рядом с нашею газетой» (*СПб. вед.*, 1872, № 138, 21 мая). Н. Демерт писал по этому поводу во «Внутреннем обозрении»: «Г-н Корш в одной из своих «бранных» статей хвалится, что «Петербург-

ские ведомости» получили уже несколько предостережений, а «Отечественные записки» еще ни одного. Конечно, если больше нечем похвалиться, то можно и этим; но вот в чем беда· каждый ведь очень хорошо понимает, что предостережения — сколько бы их ни было,— не только не вредят «Петербургским ведомостям», но даже помогают» (*ОЗ*, 1872, № 7, отд. II, стр. 97).

Стр. 415. *Вы находитесь слишком в исключительном положении относительно известных сфер...*— Намек на правительственные дотации, получавшиеся некоторыми органами печати, например «Голосом».

..почему предостережения постигают именно нас, а не «Истинного Пенкоснимателя», например? Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая без цензуры, тем не менее пользуется услугами таковой...— Намек на газету А. А. Краевского «Голос», которая с 1867 года подвергалась «негласному «домашнему» цензурованию» Ф М. Толстым (см. Б Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия.— *ЛН*, т 49-50, 1949, стр. 479). Вместе с тем здесь содержится иронический отклик на высказывание «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 138, 21 мая) об «Отечественных записках», также подвергавшихся, по инициативе Н. А. Некрасова, «профилактической» цензуре Ф. М. Толстого, не одобрявшейся Салтыковым: «..еще недавно в литературных кружках было известно, что многие статьи почтенного журнала предварительно просматриваются кем-то и что мы, с своей стороны, лишены этого предохранительного средства от возможных крушений».

Мы и журналы издаем, и на суде защищаем, а быть может, участвуем и в акционерных компаниях.— Намек на то, что крупнейшие петербургские адвокаты К. К. Арсеньев, Е. И. Утин и др. сотрудничали в «С.-Петербургских ведомостях» — газете, тесно связанной с финансовыми и железнодорожными воротилами-акционерами, интересы которых она рьяно защищала. Н. Демерт в одном из обзоров «Наши общественные дела» упомянул, что «С.-Петербургские ведомости» сделались «органом Абрама Моисеевича Варшавского и К⁰» (*ОЗ*, 1872, № 6, отд II, стр. 242).

Стр. 416 *Факты эти мы надеемся изложить в целом ряде статей..*— Редакционные статьи «С.-Петербургских ведомостей» часто завершались словами· «Мы не замедлим поговорить о том...»; «мы постараемся доказать это на днях.», «мы поговорим на днях и о других курьезах, в изобилии предлагаемых «Отечественными записками» своим читателям» и т. д. (№№ 16, 18, 138 от 16, 18 января и 21 мая 1872 года).

Стр. 418. *В заголовке, во-первых, Санкт Петербург, во-вторых, 30-го мая..*— Передовые статьи в «С.-Петербургских ведомостях» и в других газетах того времени начинались с обозначения города, в котором издавался печатный орган, и даты, предшествовавшей дню выхода газеты в свет

31-го мартобря.— Этим «заголовком» характеризуются умственные способности автора передовой статьи. *Мартобря* — название месяца в «Записках сумасшедшего» Гоголя (1835).

А ведь я должен был объявить, что автор ее, все тот же Нескладин, один из самых замечательных публицистов нашего времени! — См. прим. к стр. 404.

Я хотел тогда поместить ее в «Московском наблюдателе», но Белинский сказал... — Журнал «Московский наблюдатель» издавался под фактической редакцией В. Г. Белинского в 1838—1839 годах.

...бред куриной души... — См. прим. к стр. 404.

Стр. 419. *История маленького погибшего дитяти.* — В этой сатирической «новелле» отражены некоторые подробности карьеры В. Ф. Корша. См стр. 752—753.

...у нас обозреватель один есть... — Имеется в виду фельетонист «С.-Петербургских ведомостей» В. П. Буренин, бывший сотрудник «Современника» и «Свистка». В своих еженедельных обозрениях «Журналистика», подписанных инициалом Z, Буренин подвергал разбору (нередко издевательскому) все выступления Салтыкова в печати. Об отношениях Буренина и Салтыкова см. стр. 756—757.

Стр. 420—421. *«О типе древней русской солоницы <...> «К вопросу о том· макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножей?»* — Сатирический отклик на монографию московского историка И. Е. Забелина «Домашний быт русских царей» и «Домашний быт русских цариц», в которой скрупулезно воспроизводились все детали царской обстановки и обихода.

Стр. 421. *...«веселого мая»...* — Из «антинигилистического» стихотворения А. К. Толстого «Баллада с тенденцией» («Порой веселой мая...»).

Стр. 422. *...тут есть одно недоразумение!* — Вероятно, намек на то, что Кюи, так же как и Стасов, являлся сотрудником «С.-Петербургских ведомостей», где регулярно вел отдел музыкальных обозрений, подписываясь знаком ***. Музыкальные вкусы Салтыкова (как и многих других его современников старшего поколения) сформировались преимущественно под влиянием итальянской и французской «большой оперы», что мешало ему оценить по достоинству «новую русскую музыкальную школу» и ее выдающихся представителей — Даргомыжского, композиторов «Могучей кучки», равно как и декларации теоретика и пропагандиста этой школы — В. В. Стасова. Отсюда сатирически заостренная тенденциозность ряда суждений и характеристик в этой главе «Дневника провинциала». Какие основания имел Салтыков приписывать «Неуважай-Корыту» враждебные чувства к Даргомыжскому и Кюи — неясно. В VII главе Салтыков подчеркнул, что «Неуважай-Корыто» — единственная личность среди пенкоснимателей, «к которой можно чувствовать симпатию», потому что это «человек убеждений», и что «притворство не в его характере». В то же время нельзя не отметить, что в переписке Стасова последующих лет (разумеется, неизвестной Салтыкову) находится несколько отрицательных отзывов о Даргомыжском, которого он характеризовал как «недостаточно русского», и о Кюи как о «ренегате кучкизма». «Я его самого все больше и больше терпеть не могу»,— писал Стасов о Кюи (см. В. Стасов. Письма к родным, т. I,

ч. 2, М. 1954, стр. 279). «Свойственная Кюи половинчатость, его постоянные компромиссы, поощряемые холодным скептицизмом, никак не могли удовлетворить цельного, горячего Стасова» (Ю. Кремлев. Русская мысль о музыке, т. II, Л. 1958, стр. 135).

Глава VII

(Стр. 422)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 8, «Соврем. обозр.», стр. 340—364.

Глава VII с самого начала работы над нею предназначалась автором не для очередной, июльской книжки журнала, а для августовской. Лето 1872 года (с 3 июня по 15 августа) Салтыков провел в своем подмосковном имении Витенево, откуда 20 июня он писал Н. А. Некрасову в Карабиху: «Работа моя идет довольно медленно, впрочем, к августовской книжке, наверное, пошлю фельетон ..»

В этом «фельетоне» Салтыков намеревался продолжить полемику с «С.-Петербургскими ведомостями». В не дошедшей до нас рукописи содержался ответ на резкий фельетон В. П. Буренина «Г. М. М., осмеивающий г. Салтыкова» (*СПб. вед.* 1872, № 170, 24 июня). Рукопись седьмого фельетона была выслана в редакцию 5 июля; в сопроводительном письме от 4 июля Салтыков просил Курочкина: «Если возможно, прикажите его набрать поранее и корректуру пошлите мне и Некрасову... Я возвращу корректуру очень скоро». А 5 июля он писал Некрасову: «Если Вам что-нибудь не покажется, пожалуйста, вычеркните, не церемонясь, а если найдете нужным вычеркнутое чем-нибудь заменить, то пришлите ко мне».

Опасаясь привлекать излишнее внимание к только что получившему предупреждение журналу, Некрасов стремился к прекращению острой полемики с либеральной журналистикой. К тому же В. П. Буренину уже ответил Н. К. Михайловский в июльской книжке в статье «Беседа со старым воробьем» (*ОЗ*, 1872, № 7, стр. 179. Литературные и журиальные заметки). На этом основании Некрасов, по-видимому, предложил Салтыкову вычеркнуть в корректуре упоминания о Буренине. Того же мнения придерживался и А. Н. Плещеев, который 26 июля писал Некрасову по поводу августовского номера журнала:

«Салтыковские заметки не попали в эту книжку. Но статья Михайловского — в ответ Буренину — кажется, вышла очень удачна <...> После этой статьи несколько слов, сказанных Салтыковым о Буренине, в присланном им фельетоне, теряют свою ядовитость» [1].

Одновременно Н. С. Курочкин 26 июля из Петербурга сообщал Некрасову: «Фельетон М. Евгр. получил, он вычеркнул из него места о Буренине. Краевский его подписал, не найдя в нем ничего нецензурного» [2].

В отдельном издании эти купюры при переиздании не восстановлены, в тексты VII главы каких-либо существенных изменений не вносилось.

---

[1] *ЛН*, т. 51—52, М. 1949, стр. 450.
[2] Там же, стр. 345.

Буренин в связи с появлением VII главы «Дневника провинциала» пытался исказить смысл сатиры Салтыкова на «либеральное пенкоснимательство», переадресовав его «Отечественным запискам».

«В августовской книжке «Отечественных записок», в фельетоне «Дневник провинциала», наряду с милыми юмористическими игривостями, выражена скорбь о современной литературе...— писал он.— Нельзя не признать, что в приведенном мнении, впрочем, далеко не новом, а напротив, очень и очень заезженном в последнее время, много справедливого <...> Возьмем хоть «Отечественные записки»... В наипритязательнейшем органе вы встречаете не что иное, как выветрившуюся литературную мумию, которая только по внешности представляется журналом» [1]. В следующем фельетоне Буренин советовал Салтыкову «оставить заботы об отыскивании в литературе каких-то пенкоснимателей. Пенкоснимати — это фикция почтенного сатирика, зародившаяся в его воображении вследствие некоторых полемических огорчений» [2].

В. Г. Авсеенко, следуя примеру Буренина, в статье «Очерки текущей литературы» сделал вид, что под псевдонимом М М. не узнал Салтыкова. «На задних страницах журнала появляется еще другой фельетонист, повествующий, не без значительного (правда, дубоватого) остроумия о пенкоснимателях и Менандрах, литературные приемы которых как-то случайно напоминают приемы известной приятельской компании...» [3]

Критик «Петербургского листка» М. М. Стопановский также выступил с развернутой статьей по поводу главы VII «Дневника провинциала», обнаруживая непонимание содержания и искусства сатиры Салтыкова. Он утверждал:

«Г. Щедрин вовсе не сатирик, если правильно понимать настоящие задачи и формы современной сатиры <...> — чтобы наши положения не показались слишком голословными, мы укажем на следующий образчик: нужно разоблачить и дискредитировать в глазах заблуждающейся публики тот фальшивый либерализм, которым кичатся, например, «Петербургские ведомости»... Г. Михайловский выполнил эту задачу блистательным образом на двух-трех страничках в одной из недавних книжек «Отечественных записок». Теперь в чем заключалось дело сатиры? В том, чтобы нанести последний решающий удар... Вместо того сатирик преподнес длиннейшую и скучнейшую аллегорию о каких-то пенкоснимателях, тянувшуюся в двух книжках» [4]. Речь здесь идет о «Литературных и журнальных заметках» в пятой книжке «Отечественных записок», где Михайловский в ответ на полемические фельетоны Буренина (см. стр. 750) охарактеризовал непоследовательность позиции либеральных «С.-Петербургских ведомостей» и утверждал, что «отсутствие какой бы то ни было цельной теоретической подкладки заставляет ее качаться из стороны в сторону и

---

[1] *СПб. вед.*, 1872, № 240, 2 сентября. Подпись: Z.
[2] Там же, 1872, № 268, 30 сентября. Подпись: Z.
[3] *РМ*, 1872, № 259, 7 октября. Подпись: А. О.
[4] «Петербургский листок», 1872, № 205, 19 октября. Подпись: 100.

мешает ей свободно относиться к явлениям русской и европейской жизни» [1]

Обозреватель газеты «Гражданин» дал резко отрицательную оценку VII главы и всего творчества Салтыкова, признавая, однако, растущую популярность его произведений в читательских кругах. Процитировав характеристику современной литературы, данную в «Дневнике провинциала», он закончил статью следующим образом:

«Вот драгоценные признания.. Теперь нам становится понятно, почему жалкая вымученность сквозит в большей или меньшей степени в произведениях гг. Некрасова, Щедрина, Боборыкина, Скабичевского и других постоянных сотрудников «Отеч. записок»... «Отеч. записки» имеют в нынешнем году необыкновенный успех .. Успех «Отеч. записок» должен быть всего более приписан г. Щедрину. Очевидно, у нас существует такой разряд читателей, которого не поражает никакая вымученность, который не замечает отсутствия вдохновения и свежей мысли Им только нужно, чтобы были затронуты их знакомые, любимые идеи .. Понятно, что такие люди никогда не устанут читать журнал, толкующий обо всем в их направлении...» [2]

Через десять лет к полемике Салтыкова с «пенкоснимателями» возвратился К. К. Арсеньев в ряде статей о творчестве Салтыкова на страницах «Вестника Европы». Защищая газету, в которой он сотрудничал, критик обвинил Салтыкова в «несправедливости и преувеличениях» [3]. Ответ на эти упреки был дан Михайловским уже после смерти Салтыкова в газете «Русские ведомости»:

«Один, вообще говоря, очень благосклонный критик, делает по поводу упомянутой полемики упрек сатирику в преувеличении, несправедливости и ошибке... Упомянутый критик говорит, что Салтыков потратил в этой полемике слишком много слишком тяжелых снарядов, но о том, какие снаряды пускались в ход пенкоснимателями, не говорил ни слова. Это придает всей истории неверное освещение. Полемика «Отечественных записок» с «С.-Петербургскими ведомостями» была не поединком Салтыкова с Менандром Прелестновым, а борьбою двух направлений» [4]. Михайловский справедливо имел тут в виду борьбу революционно-демократического направления с направлением буржуазно-либеральным.

Стр. 423. *Что внешний гнет играл здесь немалую роль — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но <.. > сопровождалось ли это вынужденное измельчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него?..—* Вероятно, это высказывание является ответом на следующий выпад В П. Буренина в обзоре «Журналистика» (*СПб. вед.*, 1872, № 170,

---

[1] *ОЗ*, 1873, № 6, стр. 314.
[2] «Гражданин», 1873, № 15—16, 16 апреля.
[3] К Арсеньев. М. Е. Салтыков-Щедрин. СПб. 1906, стр. 94—96
[4] Н. К Михайловский. Сочинения, т. V, СПб. 1897, стлб. 137.

24 июня) — по поводу V и VI глав «Дневника провинциала»: «..я не нахожу ничего предосудительного в намерении сатирика осмеять либеральную журналистику наших дней. Но вопрос вот в чем что должен был он сделать для такого осмеяния? Он должен был, прежде всего, выяснить себе главную, существенную причину отрицательного явления, подвергающегося его осмеянию, и затем устремлять свои сатирические удары, отправляясь от этого пункта». Автор сатиры, по мнению Буренина, «искал» «эту причину не в ничтожестве и оскудении общественных интересов, которыми живет журналистика, а выставляет дело так, будто вся суть происходит от ничтожества и самодовольства деятелей либеральной печати; он старается доказать, что они нимало не страдают от своего положения, что им, в качестве журнальных деятелей, столь же приятно подвизаться в душной общественной атмосфере, как рыбам приятно и свободно плавать в воде».

Стр. 424. *...стенографические отчеты.*— Имеются в виду отчеты о судебных заседаниях, регулярно печатавшиеся в столичных и провинциальных изданиях после судебной реформы.

Стр. 425. *...к так называемым утопиям* — то есть к социалистическим учениям и вообще ко всем программам радикального переустройства общественных отношений.

Стр. 427. *...у тех харьковских юношей, которые от хорошего житья задумали убить ямщика...*— В начале мая 1872 года в Харькове закончился судебный процесс над двумя шестнадцатилетними юношами из состоятельных семейств, Н. А. Полозовым и И. А. Эдельбергом, которые, решив стать профессиональными разбойчиками, убили молодого извозчика. «Эта мысль родилась и развивалась под влиянием романов, в которых действующими лицами были разбойники»,— объяснял Полозов мотив своего преступления. Убийство извозчика совершено было, по его словам, для того, чтобы испытать себя, то есть насколько он годится для того дела, которому хотел себя посвятить; Полозов заметил, что «считает себя вправе убить человека, если это может принести ему пользу» (*СПб. вед.*, 1872, № 146, 29 мая). Несмотря на то что состав преступления был полностью доказан. присяжные заседатели признали обоих юношей невиновными; для этого им пришлось отрицательно ответить на вопрос относительно самого факта убийства, в котором обвиняемые откровенно сознались. А. С. Суворин не без основания отмечал, что если бы вместо богатого Полозова перед судом сидел «крестьянский сын», «присяжные отправили бы его в Сибирь, долго не размышляя» (*СПб. вед*, 1872, № 185, 9 июля).

Стр. 428. *Фаланстер...*— дворец и мастерские, в которых, согласно утопическому учению Шарля Фурье, должны были жить и работать члены социалистического общества.

Икария — страна, описанная в утопическом романе Э. Кабе «Путешествие в Икарию» (1840) как прообраз будущего коммунистического общества.

..как живали некогда целые поколения людей с хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исакиевского собора.— Исаакиев

ский собор в Петербурге строился в течение сорока лет — с 1818 по 1858 год. На его строительство и содержание правительством отпускались колоссальные средства, что давало возможность предприимчивым поставщикам и интендантам наживаться в течение долгих лет.

Стр 429 ...*василиск* — мифологическое чудовище — полуптица-полузмея, которое одним своим взглядом способно было убивать людей.

.. *заглянул в Лесной, но вспомнил, что здесь главный очаг наших революций* ..— В Лесном помещался Петербургский земледельческий институт, там же обычно устраивались студенческие сходки.

...*довлели сами себе*...— то есть были достаточными для самих себя — старинное выражение, встречающееся у Герцена и других критиков и публицистов 40-х годов.

Стр. 430. *Говорят, что расплывчивость сороковых годов породила множество монстров, которые и дают себя знать теперь в качестве неумолимых гонителей всякого живого развития.*— Одним из наиболее ярких примеров подобной эволюции, который Салтыков, в первую очередь, имел в виду, являлся М. Н. Катков.

Стр. 432. ...*через Валдайские горы однажды перешел!* — Ирония заключается в том, что самая высокая вершина Валдайских «гор» едва достигает трехсот метров.

Через Балканские — это прежде бывало...— Намек на переход русских войск через Балканы в 1829 году, во время русско-турецкой войны, когда тридцать пять тысяч солдат форсировали неприступные горные перевалы.

...*обедать к Дороту* — Ресторан Дорота помещался на Черной речке. В Михневич охарактеризовал его как «загородный притон для фешенебельного обжорства и пропойства», в котором угощаются «гулящие богатые «саврасы» и «ташкентцы» да ворующие кассиры» («Наши знакомые», цит. изд., стр 76).

Стр. 432. ...*Минералы* <...> — *Каких, брат, там штучек с последними кораблями привезли!* — «Увеселительное заведение искусственных минеральных вод» Излера в Новой Деревне, на окраине Петербурга, нередко упоминаемое в произведениях Салтыкова. Зрелища в «минерашках» отличались специфическим характером. В. А. Слепцов отмечал в романе «Хороший человек», что у Излера в это время «можно было видеть голых женщин» (*ОЗ*, 1871, № 2, стр. 330).

Стр. 433. ...*в Белобородовском полку состоял*...— В Белобородовском гусарском полку служил персонаж комедии Салтыкова «Смерть Пазухина» и «Книги об умирающих» — Живновский (т. 4. стр. 99 и 180), а также герой «глуповского распутства» — Ферапонт Сидорович, утверждавший, что там в ходу было рукоприкладство (т. 4, стр. 230).

Стр. 435. *Боговдухновенный*...— вдохновенный богом *(церковнослав.)*.

«*Правило веры, образ кротости, воздержания учителю!*» — Из тропаря Святителю Николаю (Мир Ликийских епископа — IV в.). Впоследствии прилагалось и к другим «святителям».

Стр. 436. *...двести лет сряду в плену у себя нас держат!* — Весной 1872 года в России широко отмечался двухсотлетний юбилей Петра I, в царствование которого выходцы из Германии и прибалтийских губерний стали занимать особенно видное положение в правительственно-бюрократических сферах.

Стр. 437. *...в Калуге семнадцать гимназистов повесились? <...> Не хотят по-латыни учиться...* — Н. Демерт писал незадолго до того: «В последние три-четыре года у нас на каждый год приходится *по два, по три случая самоубийств по учебному ведомству,* не считая высших и низших учебных заведений и специальных школ. Нынче только еще июль месяц, а уже нам известны два случая самоубийств гимназистов (в Пензе и Одессе)» (*ОЗ,* 1872, № 7, отд. II, стр. 86—87). Самоубийства гимназистов были вызваны, главным образом, казарменным режимом, введенным в средних учебных заведениях министром народного просвещения гр. Д. А. Толстым, а также внедрением классических языков: неуспеваемость по ним лишала гимназистов шансов на поступление в университет.

...то нигилизм, то сепаратизм.. — Наиболее частыми объектами нападок Каткова являлась революционная молодежь, ее «нигилистическое» направление и так называемый сепаратизм. С середины 1863 года Катков неоднократно выступал с утверждениями, будто на Украине существуют сепаратистские тенденции, подогреваемые «иезуитскими интригами», идущими из Польши, и называл сепаратизм «внутренней язвой», которая в своем развитии может стать «неизлечимым недугом».

Кулеврину.— См. прим. к стр 209.

Стр. 438. *Шато-де-Флёр* — кафешантан на Каменноостровском проспекте.

Стр. 439. *.. Малоярославский трактир* — известный петербургский ресторан «Малоярославец» на Большой Морской улице.

Чертог сиял...— Начало первого стиха импровизации в «Египетских ночах» А. С. Пушкина (1827—1835).

...Клеопатры из Гамбурга — Салтыков сопоставляет с героиней «Египетских ночей», царицей Клеопатрой, предлагавшей купить «ценою жизни» ее ночь, публичных женщин, доставлявшихся в Петербург преимущественно из Гамбурга. О «гостеприимных принцессах вольного города Гамбурга» Салтыков упоминает в ряде своих произведений.

Стр. 440. *...присутствовал при защите педагогических рефератов...*— Петербургское педагогическое общество устраивало регулярные публичные заседания, во время которых зачитывались и обсуждались рефераты на педагогические и методические темы (например, «О преподавании французского языка по генетическому методу», «О воспитательном значении отечественной истории в курсе средних учебных заведений» и т. п.). Отчеты о заседаниях печатались в крупнейших петербургских газетах.

...видел в «Птичках певчих» Монахова...— Известный драматический актер И. И. Монахов выступал время от времени и в оперетте Под названием «Птички певчие» шла в Александринском театре с 1870 года опе-

ра-буфф Жака Оффенбаха «Перикола» («La Péricole», 1868), либретто А Мельяка и Л. Галеви.

...*«Fanny Lear»* — драма А. Мельяка и Л. Галеви «Фанни Лир» (1868). Премьера ее состоялась на сцене французского Михайловского театра при участии гастролировавшей в Петербурге французской актрисы Паска (для которой пьеса и была написана), в бенефис актера Дьёдонне, 9 сентября 1871 года (см о ней в статье П. Д. Боборыкина «Петербургское театральное искусство».— *ОЗ*, 1871, № 11, отд. II, стр. 72—74).

...*в Артистическом был даже свидетелем скандала*...— «Художественный клуб» — Петербургское собрание художников (Троицкий переулок, дом Руадзе), основанный в 1865 году «с целью служить, главнее всего, местом для собрания артистов, литераторов, художников...». «Несмотря на точную определенность своей основной, чрезвычайно плодотворной идеи, он вскоре свернул с ее колеи и превратился в чисто увеселительное заведение, каким и поднесь пребывает» (Вл. Михневич. Петербург весь на ладони. Часть I, цит изд., стр. 232). О скандалах и драках в Артистическом клубе не раз сообщалось в это время в периодической печати.

.. *радужную бумажку* — сторублевку.

Стр. 441. *Импетом* — напором (от *лат.* impeto).

...*помпадуром* — губернатором. О происхождении этого термина см. в прим. к «Помпадурам и помпадуршам» (т. 8).

Стр. 442. *«Le Sire de Porc-Epic»* — музыкальная буффонада Эрве (Флоримона Ронже), ставившаяся на сцене «Заведения искусственных минеральных вод» в 1871—1872 годах.

Стр. 444. ...*медиатор*...— посредник (*лат.* mediator).

...*вот как я понимаю мое назначение!* — Ср. аналогичные «исповедания веры» помпадуров Митеньки Козелкова и Феденьки Кротикова в «Помпадурах и помпадуршах» — т. 8

Стр. 445. ...*тройка, увлекающая двоих пассажиров (одного — везущего, другого — везомого)*...— то есть революционера и жандарма, сопровождающего его к месту ссылки.

...*тихое пристанище*.— Так Салтыков назвал свою незаконченную повесть начала 60-х годов (т. 4, стр. 260—333), в которой отразились его впечатления от города Сарапула Вятской губернии («Срывный»).

Стр. 446 .. *служители Марса* — офицеры.

...*мафусаилов век*...— По библейскому преданию, патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

Глава VIII

(Стр. 448)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 10, «Совр. обозр.», стр. 325—347.

В июле — августе 1872 года в Витеневе Салтыков одновременно работал над восьмым фельетоном «Дневника провинциала» и очерком «Ташкентцы приготовительного класса (параллель четвертая)». 20 июня он пи-

сал Некрасову в Карабиху: «К августовской книжке, наверное, пришлю фельетон, а к сентябрьской приготовлю и рассказ и фельетон». 28 июля Салтыков сообщал ему:

«Я 16-го августа непременно буду в Петербурге и надеюсь сдать в типографию, что нужно, хотя пишется довольно вяло».

Однако в сентябрьской книжке появился только «рассказ», то есть «Ташкеитцы приготовительного класса», восьмой же фельетон «Дневника провинциала» был напечатан одновременно с девятым в октябрьской книжке.

Восьмой и девятый фельетоны «Дневника провинциала» были положительно оценены критикой. Обозреватель журнала «Сияние» писал: «Последняя, десятая книжка «Отечественных записок» вышла в свет, так сказать, с шиком· каждый №, в котором есть хоть строка Щедрина, обращает уже на себя всеобщее внимание, а тут вдруг целых две статьи, обе в высшей степени интересные, живые, чрезвычайно талантливые, а последняя принадлежит положительно к числу самых крупных произведений русской сатиры» («Сияние», 1872, т. 11, № 47, стр. 340. Журнальное обозрение).

По словам Буренина, «фельетон в октябрьской книжке» «Отечественных записок» «представляет одну из остроумных сатир и одну из выдающихся статей <...> Автор «Дневника» на этот раз откидывает всякое глубокомыслие и просто забавляется· в результате, однако же, является меткая и тонкая сатира, проникнутая очень серьезной идеей...» (*СПб. вед.*, 1872, № 296, 28 октября).

Стр. 455 и 478. В восьмом и девятом фельетонах упоминается персонаж из романа Тургенева «Отцы и дети» — Феничка. В журнальном тексте и во всех прижизненных изданиях автор называет ее Аннушкой. Эта ошибка была исправлена в посмертном издании 1889 года.

Кроме того, в *изд. 1873* Салтыков сделал следующую поправку в тексте

Стр. 450. *«...чему хохочете! над собой хохочете!»* — после этих слов в *ОЗ* было: «Ибо вы плоть от плоти моей, кость от костей моих!»

Стр. 448 *...VIII международного статистического конгресса...*— Восьмая сессия Международного статистического конгресса проходила в Петербурге с 10 по 18 августа 1872 года. В ней участвовало около двухсот иностранных делегатов, среди которых находились и всемирно известные статистики А. Кетле (Бельгия), В. Фарр (Англия), Ц Корренти (Италия) и Е. Лавассёр (Франция), избранные вице-председателями конгресса.

...опаснейшего тайного общества, имевшего целию ниспровержение общественного порядка ..— Официальная терминология правительственных сообщений и обвинительных актов по делам о «государственных преступниках», в частности по недавнему процессу нечаевцев.

...Корподибакко...— Фамилия этого персонажа — одно из распространенных итальянских ругательств (Corpo di Bacco).

...эмиссары от интернационалки...— Как отмечал Б. П. Козьмин в книге

«Русская секция Первого Интернационала» (М. 1957), «в русском обществе второй половины 60-х годов при наличии большого интереса к Интернационалу наблюдалось отсутствие правильного представления о задачах этой организации. На страницах русской прессы того времени Интернационал часто изображался <...> как союз таинственных заговорщиков, готовящихся потрясти весь мир» (стр. 54). Так, в передовой статье «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 116, 29 апреля) отмечалось: «Под влиянием страха пресловутому Международному обществу уже приданы там какие-то мифические размеры. Оно чуть не везде присутствует в виде шапки-невидимки и чуть не летает по всему миру на ковре-самолете. Всякое тревожное событие непременно исходит от него...» О термине «интернационалка» см. на стр. 753.

Стр 450. *..чему хохочете! над собой хохочете!»* — Перефразировка заключительного монолога городничего в «Ревизоре» Гоголя. В подлиннике: «Чему смеетесь? над собою смеетесь!..» (д. V, явл. 8).

..то «братья», то «друзья», то «гости».— В мае 1867 года, в связи с торжественным открытием в Москве большой этнографической выставки, в Россию съехались представители различных славянских стран, находившихся под владычеством Турции и Австро-Венгрии. Приезд их послужил поводом для продолжительных дружественных манифестаций. Александр II, которому делегаты были представлены в Царском Селе, приветствовал их как «родных славянских братьев на родной славянской земле» (см. С. А. Никитин. Славянские съезды шестидесятых годов XIX века.— «Славянский сборник», М 1948, стр. 16—72). Выражения «славянские братья», «славянские гости» долго не сходили со страниц газет.

...роскошного пира науки...— Салтыков, возможно, пародирует следующее высказывание из передовой статьи «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 213, 6 августа) по поводу Статистического конгресса: «От нас будет теперь вполне зависеть произвести на наших гостей такое впечатление и оставить им по себе такое воспоминание чтоб, разъехавшись по домам, они не затруднились заявить Европе, что Россия перестала быть той неблагоприятной средой для подобных праздников свободной человеческой мысли, какою она, справедливо или несправедливо, считалась до самого последнего времени <...> Не одними обедами и комплиментами, конечно, сумеем мы встретить наших посетителей в течение будущих двух недель в достоинствах нашей кухни и в радушии нашего гостеприимства никто никогда не сомневался <...> Мы уверены также, что будет дан достаточный простор выражению русской мысли...»

...кадетами цивилизации...— Многие органы западноевропейской печати с пренебрежением относились к России и русскому народу, нередко характеризуя последний как «кадетов цивилизации» (cadets de la civilisation), в смысле «младших детей», еще не доросших до вершин культуры Некоторые русские либералы присоединялись к этой оценке. «Нас смущает мысль, что мы все-таки не больше чем les cadets de la civilisation»,— иронически отмечал Салтыков в «Признаках времени» (т. 7, стр. 112).

...*заатлантические друзья!..*— Под именем «заатлантических друзей» и просто «друзей» в русской прессе фигурировала американская дипломатическая миссия во главе с посланником конгресса Густавом Фогтом, прибывшая в Петербург 25 июля 1866 года. Делегация привезла адрес Александру II с выражением «сочувствия и уважения всей американской нации» в связи с покушением Каракозова. «Всякий здравомыслящий человек, глядя на тогдашнее наше беснованье,— писал фельетонист Экс (А. П. Чебышев-Дмитриев),— должен был подумать, что мы в уме повредились, и он был бы прав Мы бегали за ними, не давая ни на минуту покоя, целовались с ними до изнеможения сил, закормили было их до смерти, замо-
рили было их своими любовными спичами.. » (*Р. вед.*, 1872, № 138, 21 мая.)

Стр 451. ...*предметом его может быть только коротенькая статистика*...— Сходные мысли высказал Е. Карнович в статье «Предстоящий международный статистический конгресс в Петербурге» (*ОЗ*, 1872, № 7). Ряд вопросов был снят с повестки дня конгресса по политическим мотивам — например, вопрос о сокращении вооруженных сил европейских держав.

Стр. 452. .. *учреждения, обязанность которых главнейшим образом заключается в наблюдении*...— Имеются в виду органы цензуры.

...*о неприкосновенности или общедоступности домашнего очага.*— Салтыков подразумевает обыски, ставшие в России 70-х годов частым, почти повседневным явлением.

Стр. 453 *Risum teneatis, amici!* — См. прим. к стр. 295.

...*публичные сборища, митинги*...— Намек на полное отсутствие в самодержавной России демократических свобод.

. *«в зобу дыханье сперло»* — Из басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица» (1807).

..*стало быть, и я не лыком шит*...— В списке русских делегатов съезда значилось свыше шестисот имен — министров, губернаторов, директоров департаментов, редакторов газет, профессоров и пр. Делегатов же из провинции было сравнительно мало.

Стр. 454 *Конгресс помещался в саду гостиницы Шухардина*...— VIII Статистический конгресс проходил в помещении Петербургского дворянского собрания Этим объясняется выражение о «странности помещения конгресса» и сопоставление его с трактирным заведением третьего разряда

...*в залах у Марцинкевича*...— Танцевальное заведение Марцинкевича, в залах которого происходили публичные балы, нередко упоминается в произведениях Салтыкова — см., например, «Наша общественная жизнь» (т. 6, стр. 10 и 18).

...*арфисток*...— Имеются в виду «артистки» ресторанных эстрад, обслуживавшие гостей не только музыкальным искусством.

Веретьев, с которым я провел столько приятных минут в «Затишье»! — Один из персонажей повести Тургенева «Затишье» (1854), отставной гвардии поручик Веретьев, охарактеризованный Салтыковым в рецензии на ро-

ман К. Леонтьева «В своем краю» как «цыган-шалопай <...>, который у Тургенева пленяет дам залихватскими русскими песиями, подражанием жужжанию мухи и другими такой же силы талантами» (т. 5, стр. 454). Веретьев выведен Салтыковым также в «Помпадурах и помпадуршах» в качестве чиновника особых поручений при помпадуре Кротикове.

Стр 454—455 *Топилась, да вытащили. После вышла замуж за Чертопханова...*— Героиня «Затишья» — Марья Павловна Ипатова, дочь помещика, утопившаяся в пруду от несчастной любви; Пантелей Еремеич Чертопханов — герой рассказа Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» (1848), из цикла «Записки охотника». В этом рассказе изображена любовница Чертопханова — цыганка Маша, ничего общего не имеющая с Марьей Павловной Ипатовой из «Затишья» (цыганка Маша также упоминается в рецензии Салтыкова на роман Леонтьева — т. 5, стр. 454)

Стр. 455 *...даже Фет — и тот от нее бегать стал!* — Поэт А. А Фет напечатал в начале 60-х годов два публицистических очерка «Из деревни» (*РВ,* 1863, № 1 и 3). Изобразив помещиков жертвами «обнаглевших после реформы» крестьян, он делился с читателями своим опытом «обуздания» бывших крепостных при помощи системы штрафов. Салтыков высказал свое резко отрицательное отношение к очеркам Фета в апрельском номере «Отечественных записок» 1863 года («Наша общественная жизнь» — т. 6, стр 59—75) и не раз саркастически упоминал о них в своих позднейших произведениях.

...И. С. Тургенев совершенно иначе рассказал конец Чертопханова в «Вестнике Европы» за ноябрь 1872 г.— В рассказе Тургенева «Конец Чертопханова» цыганка Маша бросила Чертопханова Восьмая глава «Дневника провинциала» была опубликована до появления в печати «Конца Чертопханова» Этим примечанием Салтыков снабдил отдельное издание.

...молодой Кирсанов...— Далее Салтыков характеризует идейную эволюцию Аркадия Кирсанова, слегка намеченную в «Отцах и детях» самим Тургеневым. Аркадий Кирсанов фигурирует также в «Признаках времени» (т. 7, стр 82).

Берсенев — один из героев романа Тургенева «Накануне».

Ваш батюшка? Дяденька? — Николай Петрович и Павел Петрович Кирсановы — персонажи «Отцов и детей».

Феничку мы пристроили...— Речь идет о персонаже «Отцов и детей», возлюбленной Николая Петровича Кирсанова Салтыков, вероятно, забыл, что Феничка в конце романа выходит замуж за Николая Петровича Кирсанова, следовательно, необходимости «пристраивать» ее при живом муже не было

Стр. 456 *...на Кате Одинцовой...*— Катя Одинцова — персонаж «Отцов и детей».

Базаров — Об отношении Салтыкова к этому главному герою «Отцов и детей» см т. 5, стр. 581—582.

Рудин! Да вы с ума сошли! ведь вы в Дрездене на баррикадах уби-

ты! — Как указывает Тургенев в эпилоге к роману «Рудин», главный герой его романа погиб на парижских баррикадах в 1848 году. Заменив в данном контексте Париж Дрезденом, Салтыков подчеркнул общеизвестный, впрочем, факт, что прототипом этого тургеневского образа отчасти послужил М. А. Бакунин, сражавшийся на баррикадах в дни дрезденского восстания 1849 года. В цикле «В среде умеренности и аккуратности» Салтыков снова связывает судьбу Рудина с Дрезденом (см. об этом: С. Макашин. Полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина.— «Советская книга», 1946, № 5, стр. 52).— Рудин фигурирует и в ряде других произведений Салтыкова — «Помпадуры и помпадурши», «Круглый год», «Письма к тетеньке», «Пошехонские рассказы» и др.

...*«права человека-с!..»* — один из основных принципов, выдвинутых Великой французской буржуазной революцией.

Стр 456. ...*Лаврецкий* — главный герой тургеневского «Дворянского гнезда» — В «Помпадурах и помпадуршах» Салтыков характеризует его как человека, который раскаялся в былом либерализме и до того разжирел, что с трудом отличал уже теперь либеральные идеи от консервативных (т. 8, стр. 182).

Стр. 457. *Лиза*...— героиня «Дворянского гнезда» Тургенева.

...*Марка Волохова.*— Анализу образа «нигилиста» Марка Волохова из «Обрыва» Гончарова Салтыков посвятил большую часть своей статьи «Уличная философия» (т. 9).

...*фигура Собакевича.*— Этот персонаж из «Мертвых душ» Гоголя фигурирует также в одном из «Писем к тетеньке» Салтыкова, где он женится на Коробочке, чтобы воспользоваться ее имением (т. 14).

...*рипостировал* — ответил (от *франц.* riposter).

Первое заседание прошло шумно и весело <...> мы заключили наш avant-congrès...— Салтыков намекает на «Предварительное совещание официальных делегатов» Статистического конгресса («Réunion des délégués officiels de l'avant-congrès»), состоявшееся 4 августа под почетным председательством Кетле. На этом заседании делегаты были разбиты на пять отделений.

Стр. 458. *Завтрашний день начать осмотром Казанского собора*...— Для делегатов VIII Статистического конгресса в Петербурге было организовано множество развлечений и экскурсий. Они осматривали Павловск, Петергоф, Кронштадт, дворцы, музеи, соборы и пр. Генерал Трепов пригласил делегатов конгресса посетить даже больницу для умалишенных (*СПб. вед.*, 1872, № 225, 18 августа). 16 августа делегаты присутствовали на смотре пожарных команд (там же, № 224, 17 августа).

Стр. 458. ...*имеет быть обеденный стол.*— «В воскресенье членам Международного статистического конгресса будет предложен от имени его императорского величества государя императора обеденный стол в Царском Селе»,— сообщалось в петербургских газетах (*СПб. вед.*, 1872, № 219, 12 августа).

...*«la république <...> il n'y a que ça!..*— пародия на припев шансонетки

«L'amour ce n'est que ça», часто приводимый Салтыковым (см. стр. 737—738).

...*покажем-ка мы иностранным гостям Москву!* — Делегаты VIII Статистического конгресса после окончания его работы выехали в полном составе в Москву, где в их честь состоялся ряд обедов и всякого рода увеселений, выдержанных в духе той программы, которую излагает ниже Прокоп (см. *СПб. вед.*, 1872, № 230, 23 августа). Часть делегатов отправилась затем в Троице-Сергиевскую лавру, часть — в Нижний Новгород. Все уехали «очень довольные приемом, оказанным им в России, который, конечно, был роскошнее, нежели прием, сделанный где-либо Международному статистическому конгрессу» (там же, № 232, 25 августа).

Стр. 460. ...*от такового ж, имевшего свое местопребывание в Гааге.*— VII Международный статистический конгресс состоялся в Гааге в 1869 году.

...*встал Левассёр... <...> Messieurs <..>,— сказал он,— l'espionnage...*— Салтыков воспроизводит речь Левассёра по-французски, вероятно рассчитывая придать обличению политической полиции и ее тайных агентов-осведомителей более безопасный в цензурном отношении характер.

Déjà l'antique Jéroboam promettait des scorpions à ses peuples — неточная ссылка на текст Библии (Третья кн. Царств, 12, 11), где сын царя Соломона, Ровоам, заявляет Иеровоаму и другим представителям израильского народа: «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (скорпионы — плети с несколькими хвостами, снабженными наконечниками).

...*nous trouvons dans Aristophane des preuves irrécusables que les Grecs <..> donnèrent aux espions le surnom sonore des sycophantes.*— Профессиональные доносчики и клеветники встречаются в ряде комедий Аристофана («Птицы», «Плутос» и др.). В эписодии тринадцатом комедии «Птицы» выведен «потомственный» сикофант, чей «отец, дед и прадед» занимались тем же грязным ремеслом (см. Аристофан. Комедии в двух томах, т. II, М. 1954, стр. 82—85).

Au dire de Tacite <...> il n'y avait presque pas un seul homme <...> qui ne fût espion ou ne désirât de l'être.— Здесь резюмируются в шаржированном виде некоторые утверждения из «Истории» и «Летописи» Тацита. В рецензии на сочинение Н. И. Костомарова «Кремуций Корд» Салтыков привел цитату из монолога Тиверия об искусственном оподлении римлян «А стая доносчиков, которые мне служат, стараются отличиться подлостью <...> Уже в Риме мало остается благородного и высокого: я начинаю стравливать доносчиков между собою», и, намекая на русскую современность, добавил: «Трудно поверить, чтобы могли быть такие времена! А между тем они были: в том убеждает нас летопись Тацита» (т. 5, стр 321).

Стр. 462 *Прокоп, по обыкновению, ошибся и крикнул: Vive Henry IV!* — Прокоп, вероятно, хотел провозгласить здравицу в честь графа

Шамбора, которого французская монархическая партия в это время надея лась возвести на престол под именем Генриха V.

...*lassassine*...— русское слово «лососина» звучит сходно с француз ским «l'assassine» — женщина-убийца.

«Эльдорадо» — «танцевальное» заведение в Петербурге, пользовавшее ся репутацией «злачного места».

C'est ici que le sort du malheureux von-Zonn a été décidé! — В ночь с 7 на 8 ноября 1869 года содержатель притона Максим Иванов встретился в «Эльдорадо» с отставным надворным советником Н. Х фон Зоном и, заманив его на свою квартиру, зверски убил при участии нескольких молодых людей и проституток. Судебный процесс над убийцами фон Зона проходил в Петербургском окружном суде 28—29 марта 1870 года. Защитником Иванова выступал К. К. Арсеньев. О судьбе фон Зона упоминает Достоевский в «Подростке» и в «Братьях Карамазовых» (Ф. М. Достоевский Собр. соч., т. 8, М. 1957, стр. 583, и т. 9, М. 1958, стр. 49).

Стр 463. *Меридиональною* — южною (от *франц.* méridionale).

...заметил на континенте особенный вид проступков, заключающийся в вскрытии чужих писем.— На одном из заседаний четвертого отделения конгресса (14 августа) обсуждался доклад о международных почтовых сообщениях; при этом был затронут вопрос о перлюстрации иностранных писем.

Стр. 464. *инсулярному* — островному (от *франц.* insoulaire).

Стр. 465. *Петропавловским собором иностранные гости остались довольны*...— В этом соборе погребены русские цари, начиная с Петра I.

В сей местности воздух есть нездоров! — На территории Петропавловской крепости, как известно, размещалась главная тюрьма для политических противников самодержавия, отличавшаяся исключительно тяжелым режимом.

...я докладывал свою карту, над которой работал две ночи сряду (бог помог мне совершить этот труд без всяких пособий!)...— Салтыков иронизирует над графическим методом в сравнительной статистике, рекомендованным конгрессом. «Эту отрасль нужно оставить в полном господстве фантазии и ума,— заявили докладчики.— Пусть прилагают однообразие там, где оно приложимо, но пусть оставят нашим статистическим диаграммам их национальные и индивидуальные формы» «Дело автора — найти средства рельефнее выставить простую или сложную мысль, какую он желает выразить: ответственность, как и слава труда, должна остаться все-таки за ним» («Восьмая сессия Международного статистического конгресса ..», цит изд., стр. 24 и 33).

Стр. 466. *. самый вид Марсова поля действует на него неприятно.*— На Марсовом поле в Петербурге проходили военные парады, демонстрировавшие военную мощь царской империи.

...всегда был сторонником Парижской коммуны...— Левассёру, оказавшемуся (см. ниже) отставным корнетом Шалопутовым, Салтыков придал некоторые черты Н. А. Шевелева — агента-провокатора, доносившего вер-

сальскому правительству о действиях революционных органов Парижской коммуны. См о нем далее, на стр. 789.

Стр 466. *Ma femme est une pétroleuse* ..— Реакционная печать во Франции и в других странах старалась опорочить активных участниц Парижской коммуны, называя их «петролейщицами» («петрольщицами») и распуская слухи, будто они поджигали общественные и частные здания, поливая их предварительно керосином (*франц.* petrole). Щедринскии «помпадур» Феденька Кротиков также называл русских «нигилисток» «петролейщицами» (т. 8, стр. 518).

Стр. 467. *Коммуналист!* — участник Парижской коммуны (коммунар).

...*блягировать* — привирать (от *франц.* blaguer).

...*калужское тесто* — тестообразная масса, в состав которой входят растертые ржаные сухари, мед и пряности.

Стр. 468. *Речь, сказанная профессором Морошкиным <. > «Об Уложении и его дальнейшем развитии».*— Речь была произнесена 10 июня 1839 года и вскоре же издана отдельной брошюрой. Приведенная здесь Салтыковым цитата не раз повторяется в его произведениях. Она могла ему запомниться по «Полной русской хрестоматии» А. Д. Галахова, которая входила в число учебных пособий лицеистов; в ней отрывок из речи Морошкина был представлен как один из образцов «светских речей».

Я сказал, господа! — Перевод заключительной древнеримской ораторской формулы «dixi» — «Все необходимое сказано».

Иван Иванович Перерепенко — персонаж из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя; упоминается также в «Признаках времени» и в сказке «Вяленая вобла» (см. т. 7, стр. 79 и т. 15).

«...А может, тебе и мяса, небога, хочется?» — вопрос, который Иван Иванович Перерепенко обычно задавал нищенке. Приводится неточно.

Стр. 469. *Довгочхун* — Иван Никифорович Довгочхун — персонаж той же повести Гоголя.

Стр. 471 *Оттого-то немцы вас и побивают!* — Намек на результаты недавней франко-прусской войны.

Тогда мы начали толкать его вперед и кончили, разумеется, тем, что враги столкнились — Реминисценция знаменитой «сцены примирения» в главе VII «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.

...из газет достоверно известно, что японцы уже прибыли.— Среди участников VIII Статистического конгресса было несколько японских представителей

...*осмотр сфинксов* — Имеются в виду установленные у Петербургской Академии художеств в 1832 году два древнеегипетских сфинкса.

Стр 473. *«С тех пор <...> как Рим сделался нашей столицей...*— После занятия Папской области итальянскими войсками Рим 26 января 1871 года был объявлен столицей объединенной Италии.

Глава IX

(Стр. 474)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 10, «Совр. обозр.», стр. 347—366.

Стр 474. *..в списки сочувствующих...*— то есть в досье III Отделения, заведенные для лиц, сочувствующих «противогосударственным замыслам».

...в книгу живота! — в книгу жизни (*церковнослав.:* ж и в о т — жизнь). Так в библейских преданиях называется книга, в которую вносятся записи о благих и дурных деяниях человека, зачитываемые на Страшном суде. В данном случае имеется в виду зачисление в списки «неблагонамеренных» и подлежащих политическим репрессиям.

Стр. 475. *...должно признаться <...> хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться...*— Одна из наиболее известных салтыковских «формул», обличающих общественно-политическую беспринципность либеральной публицистики. В основу ее, вероятно, легли следующие строки из редакционной статьи «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 300, 1 ноября): «С таким мнением меньшинства нельзя не согласиться, точно так же как трудно не признать...» и т. д. Формула эта, часто употреблявшаяся Салтыковым, приобрела характер крылатого выражения Ее неоднократно цитировал В. И. Ленин.

Идет ли человек по тротуару, сидит ли в обществе пенкоснимателей, читает ли корреспонденцию из Пирятина...— Перефразировка первых строк стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных // Вхожу ль во многолюдный храм, // Сижу ль меж юношей безумных » (1829).

Стр. 476. *...тем рыцарям современной русской журналистики, которые, не имея возможности проникнуть в «храм удовлетворения», накидываются друг на друга ..*— Пародируя банальную фразеологию писателей XVIII — начала XIX века («храм славы», «храм утех»), Салтыков называет «храмом удовлетворения» правительственные дотации, которых добивались многие газеты, но получали только отдельные претенденты. Обойденные органы печати нередко вступали в полемику, упрекая друг друга в погоне за казенным пирогом.

Стр. 476—477. *...ни «хамами», ни «клопами», ни одним из тех эпитетов, которыми так богата «многоуважаемая редакция «Старейшей Русской Пенкоснимательницы»...*— См. фельетон В. П. Буренина «Журналистика» (*СПб. вед.*, 1872, № 170, 24 июня), где он относил автора «Дневника провинциала» к «непочтительным Хамам», «игривым Хамам» и т. п. (ср. передовую статью: *СПб. вед.*, 1872, № 162).

Стр. 477. *Астахов!* — герой рассказа Тургенева «Затишье» (см. прим к стр. 454). С Веретьевым он находился во враждебных отношениях, они чуть не стрелялись на дуэли.

«Человек он был!» — Реплика Гамлета о своем отце — из трагедии

«Гамлет, принц Датский» Шекспира в переводе Н. А. Полевого (д. I, сц. 2).

Утонула! — См. прим. к стр. 454—455.

«Башмаков еще не износила»... — См прим. к стр. 386.

Стр. 478. *Ты вспомни-ка, что̀ ты с Базаровым, лежа на траве, разговаривал!* — Имеется в виду эпизод из главы XXI «Отцов и детей», когда Базаров и Кирсанов, лежа «в тени небольшого стога сена», дружески беседовали, причем Базаров не скрыл от Кирсанова, что придерживается «отрицательного направления».

...эта история с Феничкой! — Эпизод из «Отцов и детей»: Базаров, поцеловавший в сиреневой беседке Феничку, был вызван на дуэль Павлом Петровичем Кирсановым

Как ты дворян-то на очные ставки с хамами ставил? — При проведении в жизнь крестьянской реформы многие помещики отказывались от непосредственных переговоров со своими бывшими крепостными в присутствии мирового посредника, выражая тем самым протест против отмены крепостного права.

Стр. 479. *...вызвал воинскую команду в деревню Проплёванную* .— Намек на кровавые усмирения бывших крепостных, выражавших недовольство результатами крестьянской реформы.

...об эмиссарах... — Подразумеваются «эмиссары» I Интернационала и Парижской коммуны. См. прим. к стр. 448.

...что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство? — Пародируется официальное обвинение привлеченных к «нечаевскому делу» студентов-сибиряков П. Кошкина и А. Долгушина в «образовании кружка сибиряков с целью ниспровергнуть правительство в некоторой части государства (отделить Сибирь), каковой умысел открыт правительством заблаговременно, при самом оного начале» (Обвинительное заключение.— См «Правительственный вестник», 1871, № 205, 28 августа) Адвокат В. Д. Спасович разъяснил в своей речи на процессе «ребяческий характер» приписываемого студентам замысла Источником пародии могло служить и более раннее дело о «сибирских сепаратистах» — Г. Н. Потанине, Н. М Ядринцеве и др.— См. т. 7, стр. 576.

Стр. 480 *...Фонарный переулок..* — переулок, в котором находились публичные дома и «торговая баня» Воронина.

..в Полтавскую губернию лапу засунет... — здесь и несколько ниже (см. обвинение Перепепенко в намерении отделить Миргородский уезд от Полтавской губернии) Салтыков высменивает постоянные обвинения «украинофилов» официальной прессой и катковскими изданиями в сепаратистских тенденциях.

Стр. 481. *...«русская сирота» — это «Ольга».* — На сцене Александрийского театра в это время шел водевиль Э. Скриба «Ольга, русская сирота» (перевод Н. Мундта); в главной роли выступала известная танцовщица Мариинского театра Вер ина

Стр. 482. .. *молодой человек в сюртуке военного покроя...*— жандарм-ский офицер.

...о происшествии, когда-то случившемся на Рогожском кладбище, где тоже приехали неизвестные мужчины, взяли кассу и уехали...— В ночь с 5 на 6 сентября 1866 года контора богадельни старообрядческого Рогожского кладбища в Москве была ограблена мошенниками, переодевшимися в офицерские и жандармские мундиры. Ими был произведен обыск и увезен якобы для представления московскому генерал-губернатору денежный ящик с суммой, превышавшей пятьдесят тысяч рублей. См. судебный отчет по этому делу в «Голосе» (1867, №№ 14 и 17, 14 и 17 января).

...кажется, через Троицкий мост сейчас переезжать станем...— Через Троицкий мост лежал путь из центра Петербурга к Петропавловской крепости. На последнее обстоятельство Прокоп и намекает.

Стр. 483. *.где едят, там и судят!* — Ироническая перефразировка русской поговорки «Где едят, там и гадят».

...презуса! — председателя военного суда.

Стр. 484. *Покуда вы не осуждены законом — вы наши гости, messieurs!* — Вероятно, пародия на заключительное высказывание судьи, во время нечаевского процесса, обратившегося к лицам, признанным невиновными, с подчеркнутой любезностью.

Стр. 485. .. *преступник Рудин?* — Прототипом Рудина в романе Тургенева являлся М. А. Бакунин, имя которого часто фигурировало на нечаевском процессе.

Стр. 486. *...дом Вяземского на Сенной площади-с!* — Огромная ночлежка, принадлежавшая кн. П. А. Вяземскому. Д. Д. Минаев писал о ней:

«Что за развалина! Скажите, мой любезный!
Тут разве крысы могут только жить!» —
«В нем столько жителей, что городок уездный
Не в состоянье всех их приютить».

(«Искра», 1872, № 4, стр. 59)

...вместо того, чтобы изгонять «этих дам» из Парижа...— Парижская коммуна вела последовательную борьбу с проституцией, подвергая аресту женщин, промышлявших на улице.

...очистить от них бельэтаж Михайловского театра-с! — А. С. Суворин отмечал в одном из своих фельетонов: «В настоящее время в Петербурге необыкновенный урожай на кокоток <...> В ложах <Михайловского театра> вы можете видеть женщин всех наций <...> Любопытно, что их влечет сюда? Наши ли ассигнации или наша широкая натура, сузившаяся в тесные рамки беспутства?» (*СПб вед.*, 1872, № 30, 30 января).

...положить в России начало революции введением обязательного оспопрививания! — Закон о введении в России обязательного оспопрививания был опубликован еще 6 августа 1865 года. В начале 70-х годов в земских собраниях обсуждался проект Медицинского совета о мероприятиях, необходимых для реализации ранее принятого закона. Салтыков высмеивает

здесь тенденцию русских либералов подменять революционные преобразования крохоборческой политикой «малых дел»

Стр. 487. *.. Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск.*— Насмешка над обвинениями в «сепаратистских» тенденциях, являвшихся навязчивой идеей Каткова. См. прим к стр. 480.

Я и до сих пор не могу опомниться от стыда! — «Провинциал» был подвергнут телесному наказанию. Слухи, что в III Отделении арестованных секут и пытают, широко распространенные в русском обществе, не лишены были оснований. Так, причиной покушения Веры Засулич на петербургского градоначальника ген. Ф Ф. Трепова (в 1877 году) было наказание розгами политического заключенного Боголюбова.

...уже прошедших сквозь искус.— Возможно, что в этом эпизоде содержится намек на угрозу некоего петербургского (вероятно, мифического) «Департамента Правосудия» из «Общества Спасения», который объявил о своем намерении «наказать на первый раз двадцатью ударами розог» фельетониста «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Суворина. Экзекуция должна была состояться в трактире «Лондон» на Васильевском острове, куда Суворина обязывали явиться. Об этой проделке опасных «шутников» Суворин поспешил сообщить читателям «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 4, 4 января). По мнению Р. В. Иванова-Разумника, этот случай, подхваченный многими газетами, сыграл важную роль в генезисе настоящей главы «Дневника провинциала» (см М. Е. Салтыков (Щедрин). Соч., т. III, М.—Л. 1927, стр. 739).

...ces petits colifichets...— Вероятно, имеются в виду порнографические картинки.

Стр. 488. *...с фениями* .— Фении — ирландские республиканцы, члены заговорщицкого «Ирландского революционного братства», основанного в 1858 году для борьбы за независимость Ирландии от Англии. В 1867 году они организовали ряд восстаний, закончившихся полным поражением.

Стр. 490 *...при нынешней свободе книгопечатания, чего доброго, она даже и пройдет.*— См. прим. к стр. 387.

...они прививали оспу совсем не туда, куда следует.— «Китайский способ прививки непривлекателен, так, китайцы вкладывали оспенные струпья в нос (вместе с мускусом или камфорою) или превращали их в порошок и затем уже вдували» (см. А. Эуленбург. Реальная энциклопедия медицинских наук. Медико-хирургический словарь, т. 14, СПб., 1895, стр. 66).

...сажусь и с божьею помощью пишу.— Вероятно, здесь содержится намек на статью «Оспа и оспопрививание», помещенную за подписью Х в «С.-Петербургских ведомостях» (1872, № 265, 27 сентября); в ней подробно описывалась история эпидемий оспы. Отмечая старинный обычай крестьян Казанской губернии, которые для предупреждения заболевания оспой «нюхали оспу и потом три дня потели в бане», автор добавляет в скобках: «Это напоминает китайский способ».

Стр. 491. *«Вестник пенкоснимательства».*— См. прим. к стр. 390.

...нет, г. Сури (автор статьи «La Délia de Tibulle», помещенной в «Re-

vue des Deux Mondes» (1872 года) — Имеется в виду статья «Une étude des moeurs antiques; La Délia de Tibulle» par Jules Soury («Очерк античных нравов Делия Тибулла», Жюля Сури), напечатанная в парижском журнале «Revue des Deux Mondes», 1872, 1 сентября, стр. 68—104 Подвергая разбору пять знаменитых элегий из первой книги Тибулла, целиком посвященных Делии, автор пытался воссоздать личность возлюбленной поэта и историю их взаимоотношений.

Глава X

(Стр 494)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 11, «Совр. обозр », стр. 175—202, под номером IX.

Сохранились отрывки наборной рукописи с авторской правкой:

Главка I (конец) от слов: *«Да-с, не лестно, и не расчет-с!..»* до слов: *«..чувство собственности заглушило все другие наплывные соображения».*

Главки 2 (конец), 3, 4 (начало) от слов: *«...80½, сделано 79⅛. Но в тот самый момент...»* до слов: *«. Во-первых, с самого основания университета».*

Приводим наиболее существенные варианты.

Стр. 503. ...После слов: *«...разговаривать с вами мне некогда»* в рукописи было (зачеркнуто).

Вот вам мой ультиматум! Вы понимаете· «ультиматум»? На дипломатическом языке это значит. если вы не примете этих условий — ну и делайте, как знаете!

Ультиматум состоял в следующем 1) Сестрицы получают десять тысяч (пять сейчас и пять по окончании дела) и затем выдают ему, адвокату Хлестакову, безграничную доверенность, которою предоставляют ему как ведение дела, так и взыскание денег, с употреблением сих последних по своему усмотрению, не отдавая им, сестрицам, в том никакого отчета, 2) кроме того, сестрицы обязываются: а) являться в суд, в качестве свидетельниц, в самой бедной одежде, лгать, как им будет указано, и, в случае надобности, плакать; б) дозволить газете «Старейшая Российская Пенкоснимательница» напечатать рекламу следующего содержания: «Нас обвиняют в том, что в последнее время мы сделались как бы органом известного Прокопа и его защитников. Взятое само по себе, обвинение это так пошло, что не может не возбудить в нас ничего, кроме гомерического хохота. И мы, конечно, не говорили бы об нем, если б сами не подали к нему довольно серьезных оснований. Не раз представляли мы довольно веские доводы в пользу ответчиков по этому делу, и хотя внутренно всегда сознавали, что эти доводы бледнеют перед массою сомнений, которые высказывались по их поводу в нашей публицистике, но для читателей это внутреннее сознание наше было недостаточно ясно, читателям казалось, что слова наши должны выражать наше убеждение,— и вот в чем вся ошибка.

Сличение автографов с журнальным текстом позволяет установить авторскую правку в несохранившейся корректуре.

Стр. 519. ...В рукописи было: *«...ибо он только что приторговал дом у*

своего соседа с правой стороны, а затем намерен приторговать дом у соседа с левой стороны» вместо: *«...ибо он только что приторговал дом у своего соседа с левой стороны»* Восстановлен рукописный текст.

Стр. 521 В описании визита к Прокопу депутации студентов Верхотурского университета фамилия «действительного статского советника и всех железнодорожных жетонов кавалера Губошлепова» первоначально читалась: «Губонина». Эта фамилия упоминается дважды на одной странице рукописи. Автор исправил ее на «Губошлепова» только в первом случае Вторая же фраза напечатана в «Отечественных записках» с фамилией «Губонин», очевидно, по недосмотру. В *изд. 1873* эта ошибка была исправлена.

Стр 497. В *изд. 1873* вместо слов: *«.. хотя же впоследствии афинство в нем мало-помалу испарилось...»* напечатано: *«..хотя же впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство. .»*

Особенное внимание критики привлек «биржевой эпизод» девятого фельетона, в котором выведены евреи — руководители акционерной компании. Отрицательное отношение к ним «провинциала», от имени которого ведется дневник, некоторыми читателями было отождествлено с точкой зрения Салтыкова, которого стали обвинять в антисемитизме.

М. М Хволос в открытом письме к Н. А. Некрасову резко протестовал против этих мест сатиры.

«Нам было особенно больно и обидно встретить в этом «Дневнике» такую грубую, ни к селу ни к городу, даже в прямой ущерб общей связи сатирической мысли пригнанную брань, что по некоторым литературным приемам, развязности и резкости стиля, а подчас — бесспорно своеобразному едкому юмору, в нем чувствуется как бы сатирическое перо г. Щедрина. Но кто бы ни скрывался под буквами М. М., нельзя не пожалеть о появлении такой брани в «Отеч. записках» <...> Мы утверждаем — и, надеемся, всякий порядочный человек с нами согласится,— что брань на целую нацию в такой грубой форме, какою пестреет сказанный «Дневник», непристойна и унизительна в образованном обществе, а еще более в уважающей себя литературе» («Вестник русских евреев», 1872, № 24, 14 декабря).

На это письмо Салтыков ответил в подстрочном применении к I главе «В больнице для умалишенных» (см. стр. 606). Свое отношение к еврейскому вопросу Салтыков высказал позднее в статье «Июльское веяние» (*ОЗ*, 1882, № 8; см. т. 14).

Стр. 494. *Просвети мой ум глупопониманием!* — Пародируется библейское выражение: «Господи, просвети тьму мою» (2 Цар., 22, 29).

Стр. 495 *...простое, не гарантированное правительством предприятие...*— Почти одновременно с процессом Мясниковых в Лондоне проходило судебное разбирательство по делу о наследстве богача Тичборна. «Дело Тичборна ведет свое начало издалека, как и дело Мясниковых,— сообщалось в «С.-Петербургских ведомостях».— При его возникновении

пущены были в ход всевозможные слухи в пользу неизвестного искателя богатого аристократического семейства; для ведения дела нужны были деньги, и, при отсутствии их у претендента, образовалась компания на акциях, проданы ей паи будущего богатого наследства, из которого не много бы, пожалуй, досталось в руки претендента после всех издержек, понесенных на собирание сведений, вызов свидетелей, наем адвокатов и печатание статей в различных журналах. В течение нескольких месяцев длился этот процесс; акции претендента то возвышались, то падали..» (1872, № 66, 7 марта). Этот редкий в судебной практике случай, видимо, лег в основу комментируемого эпизода. Схожая ситуация сложилась и у наследников Беляева в деле Мясниковых. «В городе рассказывают (и, кажется, толки эти более чем правдоподобны), что гражданский иск ведется целой компанией на акциях, которая всадила в процесс до пятидесяти тысяч рублей»,— указывало «Новое время» в передовой статье (1872, № 120, 7 мая). «Вокруг наследственных прав безвестного сарапульского мещанина Ижболдина, предъявившего гражданский иск о признании завещания подложным,— писал впоследствии по поводу «мясниковского дела» А. Ф. Кони,— образовалась группа далеко не бескорыстных радетелей и участников будущего дележа..» (А Ф Кони На жизненном пути, т. I, М. 1913, стр 149).

...миллион в тумане.. — Намек на название «романа-фельетона без начала и конца» А. С. Суворина (Незнакомца) — «Миллиард в тумане», печатавшегося в «С.-Петербургских ведомостях» в конце 1871 — начале 1872 года. В нем изображалась концессионная горячка и был выведен (под фамилией Дубровин) известный железнодорожный туз Губонин, фигурирующий в первой главе «Дневника провинциала», где он носит фамилию Бубновин (в предисловии Суворина к роману, между прочим, упоминаются Салтыков и его последние произведения). «Миллиардом в тумане» называлась и статья В А Кокорева (*СПб. вед*, 1859, №№ 5—6, 8—9 января), упоминаемая Салтыковым в «Нашей общественной жизни» (см. т. 6, стр. 197 и 603).

...«покупатели» 71$^{3}/_{4}$, «продавцы» 72$^{1}/_{8}$... «сделано» 71$^{7}/_{8}$.. — Пародируются сводки биржевых сделок, ежедневно печатавшиеся в газете «Биржевые ведомости» под рубрикой «С.-Петербургская биржа».

Стр. 496 *...судить обвиняемого Прокопа во всех городах Российской империи по очереди, начав таковую с города Срединного...*— Намек на ход «мясниковского дела», которое, после кассации сенатом первого приговора (в апреле 1872 года), вторично разбиралось в Москве («городе Срединном», как называет его сатирик) в октябре 1872 года, причем присяжные снова безоговорочно оправдали подсудимых. Защитник К. К. Арсеньев указал во время московского процесса Мясниковых, что он «просил правительствующий сенат на случай отмены решения передать его именно в Москву», так как думал, что «в этом городе, отдаленном от того, где возникло это дело и где происходили различного рода движения, открытие тайн по этому предмету, у всякого состава присяжных хватит достаточно

спокойствия и беспристрастия для того, чтоб взглянуть на дело это, как и на всякое другое» (*Спб. вед.*, 1872, № 284, 16 октября). Вероятно, это высказывание и имел в виду Салтыков.

Стр. 497 *...с белозерского суда, которому до сих пор были подсудны только снетки!* — то есть самая мелкая «рыбешка».— Ср. в «Благонамеренных речах». «Нокуда не сдадут меня, наконец, в виде милости, в архив, членом белозерского окружного суда, где я и буду до конца жизни судить «белозерских снетков»» (т. 11).

Было время, когда Срединный чуть-чуть не сделался русскими Афинами <...> впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство...— Москва являлась в начале XIX века центром русского просвещения. «Московский университет,— писал Герцен в «Былом и думах»,— вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года <...> В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя» (*Герцен,* т. VIII, стр. 106). Однако при Александре II дворянская и ученая Москва превратилась «в главный оплот реакционного патриотизма» (там же, т. XVIII, стр. 206—210). Салтыков намекает на неблаговидную роль, сыгранную профессорами и ретроградной частью студенчества в период реакции 60-х годов, когда в университете в честь Муравьева («Вешателя») устраивались многочисленные манифестации, подписывались верноподданнические адресы и т. п.

...от откупов непосредственно перешел к либерализму.— Вероятно, намек на московского питейного откупщика-миллионера В. А. Кокорева, либеральные поползновения которого неоднократно служили объектом сатирических обличений Салтыкова.

Я помню наш дом...— Ср. гл. XII—XV «Пошехонской старины», где подробно описан быт семьи Затрапезных во время их пребывания в Москве 30-х годов.

Стр. 498. *...по́нитках...*— зипунах из домотканой материи.

Стр. 499. *...соеременное европейское равновесие...*— В результате франко-прусской войны 1870—1871 годов, приведшей к разгрому Франции и возникновению мощной Германской империи, произошла перегруппировка европейских держав, образование новых союзов — для установления и поддержания равновесия сил. Реваншистские настроения, усиливавшиеся в это время во Франции, создавали серьезные сомнения в стабильности установившегося порядка.

...сиверки...— сиверка (сивер) — холодный северный ветер с дождем.

Стр. 500. *.. поленишевки...*— настойка из ягоды паленйки (княженики).

Стр. 501. *...нынче над ними начальники в судах поставлены.*— В соответствии с судопроизводством, введенным в 1864 году, контроль над деятельностью присяжных поверенных осуществлял Совет, имевший право подвергать адвокатов раличным взысканиям.

Стр. 502. ...*по десяти процентов с рубля* — Присяжные поверенные получали вознаграждение от своих клиентов за ходатаиство по делу с суммы свыше 500 рублей (до 2000 рублей) — 10% («Русский календарь на 1872 год» А Суворина. СПб. 1872, стр. 167).

Стр 503 ...*князь Серебряный (вот тот, что граф Толстой еще целый роман об нем написал!)* .— Главный герой «исторической повести времен Иоанна Грозного» гр. А. К. Толстого «Князь Серебряный» (1862) — Никита Романович Серебряный. Рецензию Салтыкова на роман А. К. Толстого, см. в т 5, стр. 352—362.

Стр. 506. ..*res nullius* <...> *occupanti!* — См. прим. к стр. 38.

Стр. 507. *Давали «Жидовку»* — оперу Ф. Галеви, либретто Э. Скриба («La Juive», 1835).

Все пархатые были налицо...— См прим. к стр 497.

...*опресноки.* — лепешки из пресного теста (маца), которые, по религиозному ритуалу, евреи должны есть в пасхальные дни — в память об исходе их предков из Египта.

...*каширная овца* ..— овца, заколотая по особым правилам еврейского религиозного ритуала.

...*Иуда Стрельников*...— В Иуде Стрельникове, как и в Шалопутове-Корподебакко (см. выше) отражены некоторые черты Н. А. Шевелева, «ташкентца III Отделения», который был связан с русской революционной эмиграцией 60-х годов (см. *ЛН*, т. 41-42, стр. 615 и т. 63, стр. 266—267 и 711) В 1871 году, после разгрома Парижской коммуны, в которой Шевелев «участвовал» в роли провокатора-осведомителя, он был арестован французской полицией и по просьбе русских властей выдан им.

Стр. 508. *Стегно* — бедро, ляжка *(церковнослав.)*.

...*гешвинд!* — быстро! (*нем.* geschwind).

Стр. 509. ...*телеграфировал в Ярославль с требованием скупить у тамошних баб все билефельдское полотно*...— Намек на то, что широко рекламировавшиеся распродажи билефельдского полотна (Билефельд — город в Пруссии, славившийся изготовлением тонких сортов полотна и батистов) часто представляли собой мошеннические аферы, а само так называемое билефельдское полотно было не чем иным, как ярославским домотканым изделием.

Стр. 512. ...*касательство в Версали-с* — То есть отправляясь в Версаль со шпионскими сведениями о Коммуне.

Стр. 513. ...*даже Верхотурье увидело гласный суд в стенах своих.*— Судебная реформа 1864 года проводилась постепенно, так что в начале 70-х годов северная и юго-восточные окраины страны продолжали оставаться при старом судебном устройстве.

...*nunc dimittis.*— Это евангельское выражение употребляется при избавлении от тяжкого бремени (Лука, 2, 29).

...*«излюбленных губернаторами людей»* — См. прим. к стр. 303

Стр. 514. ...*даже пастухи, охраняя ввсренные им стада, очень удов-*

летворительно склоняют tensa.— Ироническая оценка будущих мнимых «успехов» классической системы образования.

В колонну! <...> скорей! — солдатская песня, которая здесь, как и в «Истории одного города», символизирует военные экзекуции.

Податная комиссия, выдав 501-й том своих трудов, выработала наконец устав, которым все остались довольны.— В 1862 году при министерстве финансов была учреждена особая, так называемая податная комиссия, которая должна была разработать новые принципы налоговой системы в России. Отчеты о ее работе публиковались время от времени в виде правительственных сообщений (см. «Гражданин», 1872, № 12, стр. 429) и сборников «Трудов». В 1872 году вышел в свет XXII том «Трудов комиссии, высочайше утвержденной для пересмотра системы податей и сборов» (в двух книгах). Такое обилие печатной документации представляло резкий контраст убожеству результатов работы комиссии. К числу «пророческих» предсказаний Салтыкова должно быть отнесено и утверждение, что и четверть века спустя податная комиссия не завершит разработки вопроса о едином подоходном налоге. Этот вопрос так и не был разрешен до самой революции 1917 года.

Стр. 515. *Австрию мы предоставили ее собственной судьбе...*— «Лоскутная империя» Австрия пользовалась поддержкой, а затем — благожелательным нейтралитетом России, что помогало ей удерживать в течение нескольких десятилетий одно из ведущих мест в Европе и предотвращало ее неизбежный распад.

...ежели Пий IX будет упорствовать в своих заблуждениях...— После занятия Рима войсками короля Виктора Эммануила и уничтожения в 1870 году светской власти пап, Пий IX отказался признать новое итальянское правительство, объявил себя «ватиканским узником» и пытался восстановить свое прежнее влияние на положение дел в Италии, усиливая позиции клерикализма во всем мире.

Византия еще не покорена.— Намек на экспансионистские устремления царской России, издавна строившей планы захвата Босфорского пролива и Константинополя. Одним из идеологов этой политики в 60—70-х годах являлся И С Аксаков.

...действие единства касс ..— В связи с финансовой реформой 1862—1866 годов были уничтожены кассы и казначейства отдельных ведомств и учреждено «единство кассы». Все ассигнования должны были поступать из кассы министерства финансов.

. .котёлок...— котёлки — кренделя, варимые в котлах.

Стр. 516 *. .«запахом миллиона»...*— Возможно, намек на следующее высказывание адвоката Громницкого, заявившего во время процесса Мясниковых в Москве: «Вы знаете, насколько вообще миллионы соблазнительны; если они соблазнительны в провинции, то вы хорошо понимаете, что в Петербурге еще более народа, который при одном слове «миллион» решится на такие действия, перед которыми остановился бы, если бы дело шло о чем-нибудь другом» (*СПб. вед.*, 1872, № 285, 17 октября).

Стр. 517. ...*«часы»*...— См. прим. к стр. 168.

Потом выйдет на сцену прокурор, скажет для проформы: «Ах, какое негодование возбуждает в душе моей этот ужасный преступник...» — Намек на речь прокурора А. Ф. Кони, заявившего во время процесса Мясниковых, что обвиняет Александра Мясникова в составлении подложного завещания. В то же время он просил присяжных заседателей признать Ивана Мясникова и Карганова «заслуживающими полного снисхождения». В своих воспоминаниях Кони писал «Окончание моей речи вызвало в печати ядовитые выходки <...> Один <писатель>, имевший крупную известность в беллетристике, искусный улавливатель общественных настроений, даже назвал в своем фельетоне мое обвинение защитительною речью» (А. Ф. Кони. Собр. соч., т. I, М. 1913, стр. 153). Возможно, Кони имел в виду именно это место в «Дневнике провинциала».

Стр. 519. ...*киосков для проходящих*...— то есть общественных уборных.

Стр. 520. ...*гласную кассу суд... то бишь ссудо-сберегательный банк для крестьян*...— См прим. к стр. 387.

...*Губошлепова*...— См. прим. к стр. 275 Салтыков, вероятно, иронизирует здесь по поводу сообщений печати о создании на средства Губонина «комиссаровской технической школы» и других учебных заведений для неимущих (см. «Новое время», 1872, № 98, 11 апреля, *ОЗ*, 1872, № 7, отд. II, стр. 161—162).

...*Невтонов и быстрых разумом Платонов* .— Из оды М. В. Ломоносова (1747). В подлиннике: «Собственных Платонов // И быстрых разумом Невтонов».

Стр. 521. ...*чур не шуметь! <...> наймите-ка латинского учителя подешевле да и за книжку!.. Покуда зады-то твердите — ан хмель-то из головы и вышибет!* — Намек на студенческие волнения 60-х годов, а также на систему классического образования, в котором правительство видело средство для обуздания революционных настроений в среде молодежи.

Стр. 522. ...*древние нежинские греки*...— Эпитет «нежинские» вставлен здесь Салтыковым для комического эффекта (в городе Нежине с XVII века жила довольно многочисленная греческая колония).

...*согласно с обстоятельствами дела! Согласно! поступили бы!*..— См. прим. к стр. 347.

Глава XI

(Стр. 523)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 12, «Совр. обозр.», стр. 408—437, под заголовком «Окончание».

В начале 1873 года начали появляться отзывы на весь цикл фельетонов и первое отдельное издание «Дневника провинциала в Петербурге». Подробный разбор произведения с высокой оценкой его общественного зву-

чания появился в газете «Неделя» (1873, №№ 6 и 7) «В «Записках провинциала», изданных г. Салтыковым-Щедриным, мы имеем дело уже не с отдельным типом, как в ташкентцах, а с целою панорамою современной общественной жизни... Мы... от души приветствуем эту первую в литературе попытку предостеречь общество от болезни, гораздо более опасной, чем пресловутые «язвы»... В литературной попытке автора «Дневника» нам сказывается первое пробуждение общественного сознания, подмеченное чутьем художника и публициста».

Положительная оценка «Дневника провинциала» дана также в «литературных очерках» С. Т. Герцо-Виноградского («Одесский вестник», 1873, № 3, 8 февраля, стр. 117—118).

Одиннадцатый фельетон содержит наибольшее количество разночтений между журнальным текстом и текстом отдельного издания.

Стр. 525. *«Обо всем этом, однако же, речь впереди»* — после этих слов в *ОЗ* было:

В будущем году я представлю читателям «Отечественных записок» подробный отчет об имеющем произойти со мною в сумасшедшем доме.

Стр. 526. *...на которой — я знаю это наверно — рано или поздно, тем или другим способом, но провалюсь?»* — после этих слов в *ОЗ* было

Быть может, оно и правильно так устроено, чтоб современники не слишком-то охотно накидывались на разъяснение современности (страсти, говорят, у них есть, которые всему делу помехой) — этого я, опять-таки по скромности, не знаю, но не подчиниться этой правильности, но не признать ее для себя обязательною все-таки не могу.

Стр. 529. *«...становится заповедною областью, недоступною ни для воздействия публицистики, ни для художественного воспроизведения»* — после этих слов в *ОЗ* было:

До поры до времени это не живые люди, а иксы и игреки, действия которых могут быть комментируемы лишь на основании отрывочных слухов и сплетен Они могут совершать героические дела — и литература не засвидетельствует об них; они могут совершать дела лишь средние — и литература опять-таки не занесет о том в свои летописи. И героизм, и темные дела останутся заключенными в темном месте, откуда их может вывести на свет только история. Когда-то она их выведет?

«Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы» — после этих слов в *ОЗ* было: «Вроде Менандра, Прокопа, Нескладина, Неуважай-Корыто».

Стр. 535. *«И Петр Иванович был прав»* — после этих слов в *ОЗ* было:

Когда часовая стрелка показала ему, что его час настал, он без труда разбудил беспастушное либеральное стадо и сплотил в одну массу всех тех, кого мы некогда, в шутливом русском тоне, напутствовали словами: бог подаст!

Стр. 536. *«А вечером, как начнешь себя усчитывать... Грош!* — после этих слов в *ОЗ* было:

Истинным богом, грош, и ни копейки больше! Да ежели по правде-то говорить, так и гроша-то нет, а просто себе убыток!

Стр 539 *«. как питал и питает сам себя тот распивочный и раскурочный либерализм, который можно на золотники получать из лавочек современных пенкоснимателей»* — после этих слов в *ОЗ* было:

Но если, подкидывая и скидывая на весах граны и унции, люди могут доходить до исступления и с пеною у рта доказывать своим собратьям, что у того-то на полграна либерализма менее, нежели у них, а у того-то полграна хватило через край, то отчего же не признать и за Петром Ивановичем этого права доходить до исступления! Его исступление все же не так беспредметно: у него есть месть! У него есть хоть призрак задачи!

« .как вычеркнет из прошлого кровную обиду свою? — после этих слов в *ОЗ* было:

А ведь пенкосниматели, даже не будучи обижены (сами, напротив, пропасть народу обидели!), сидят себе, в укромном месте, и самым резонным и солидным образом выжимают из себя передовые статьи о грозящей для общества опасности от неснабжения городовых свистками!

«Пусть даже он будет тысячу раз неправ» — после этих слов в *ОЗ* было:

Я очень хорошо понимаю, что если он и не неправ, то деятельность его во всяком случае ни для него, ни для других пользы принести не может.

Стр. 552. *« ..и, во-вторых, есть счеты сзади. .»* — после этих слов в *ОЗ* было:

И вот он опять устремляется вперед, и в то же время заканчивает старые счеты, то есть мстит своим бывшим конкурентам, и мстит с тою холодною жесткостью, на которую способен только человек, не знающий никаких других интересов, кроме интересов куска.

Стр. 524 *...кажется, это было в Ахалцихе Кутаисском...*— Намек на подкупы присяжных заседателей. «Еще в начале этого года,— сообщалось в «Отечественных записках»,— правительствующий сенат действительно вел расследование по делу о лихоимстве присяжных заседателей в одной из южных губерний» (*ОЗ*, 1872, № 4, отд. II, стр. 269).

...«Tricoche et Cacolet»...— водевиль А Мельяка и Л. Галеви (1871). В нем изображено, между прочим, агентство, о характере которого дает представление следующий его проспект:

«Фирма, заслуживающая доверия; расследования, производимые в семейных интересах. Устройство на работу слуг обоего пола. Продажа фондовых ценностей в Париже и вне его. Различные объединения, браки и прочее. Особая служба для встревоженных мужей, наблюдение за их дамами — до, во время и после; то же в отношении мужей, и вообще предприятия всякого рода» (H. Meilhac et Lud. Halévy. Tricoche et Cacolet. P. 1872, p. 10). Комедия эта шла в петербургском Михайловском театре в 1872 году.

Стр. 525 *...это не люди, а жертвы...*— то есть «жертвы» исторического развития.

...один, к которому можно относиться апологетически <...> другой —

к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически...— В первом случае подразумеваются деятели революционно-демократического лагеря («новые люди»), во втором — лица из официального мира и из охранительного лагеря. Правдивое изображение тех и других было невозможно в цензурных условиях 70-х годов.

Стр 526. ...*«новых людей»*...— Революционно-демократическая молодежь — по определению Н. Г. Чернышевского, назвавшего свой роман «Что делать?» «рассказами о новых людях».

...*современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов*...— Имеются в виду авторы так называемых «антинигилистических» романов 60—70-х годов — В. П. Авенариус («Поветрие»), В П. Клюшников («Марево»), Вл. Крестовский («Панургово стадо») и др. К этим третьестепенным писателям — «нелавреатам» (не лауреатам) Салтыков причисляет также и «лавреатов» — А. Ф. Писемского («Взбаламученное море»), И. А Гончарова («Обрыв»), Ф. М Достоевского («Бесы»). К «лавреатам» Салтыков тогда относил и И. С. Тургенева. как создателя образа «типичного нигилиста» — Базарова.

Стр 527. ...*полное воспоминаний о недавчих торжествах*...— Имеется в виду разгул правительственного террора и торжество общественной реакции над революционно-демократическим движением 60-х годов.

...*fin de non-recevoir?* — французский правовой термин, означающий отказ от признания судебного иска. В данном случае имеется в виду отказ по чисто внешним мотивам.

Стр. 530. ...*отдать свои права первородства*...— Согласно библейской легенде, сын пророка Исаака Исав, изнемогая от голода, продал своему младшему брату-близнецу право первородства за блюдо чечевичной похлебки (Кн. Бытия, 25, 31—34).

...*всуе труждающихся*...— Из выражения «всую труждаются зиждущие» («напрасно трудятся строящие») (Псал., 126, 1), часто цитировавшегося Салтыковым.

...*самого самоотверженного человека*... — то есть человека, всецело преданного революционному делу.

Стр. 531 .. *«ветхого человека»*...— Имеются в виду помещики-крепостники, консерваторы всех родов. В основе этого термина лежит евангельское выражение «совлечь с себя ветхого человека» (или «ветхого Адама») (см. прим. к стр. 220).

Стр. 532. *То было время образцовых мировых посредников.*— В первый состав мировых посредников вошел ряд гуманно настроенных помещиков — например, Л. Н. Толстой, декабристы А. Е. Розен, Г. С. Батеньков, братья Бакунины и др.

...*одиноко раздававшиеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка*...— Реакционные дворянские публицисты Н. А. Безобразов и Г. Б. Бланк в конце 50-х — начале 60-х годов открыто выступали против крестьянской реформы См рецензию Салтыкова на книгу Бланка «Движение законодательства в России» — т. 9.

Стр. 534. *..потерял свою Эвридику* — то есть потерял свое счастье. Словами «потерял я Эвридику» начинается известная ария Орфея из оперы Хр.-В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762), написанная на сюжет древнегреческого мифа о певце Орфее, который в поисках своей умершей жены Эвридики спускается живым в преисподнюю (ад, ад). Этот же сюжет подвергся пародийному переосмыслению в знаменитой опере-буфф Жака Оффенбаха «Орфей в аду» («Orphée aux Enfers»), либретто А. Мельяка и Л. Галеви (1858).

...физикат ..— врачебная управа.

Стр. 535 *Я не только у вас, но и у господа бога моего объедком быть не хочу.*— Реминисценция известного выражения из письма М. В. Ломоносова к И. И. Шувалову от 19 января 1761 года, впервые опубликованного в альманахе «Урания» на 1826 год: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет» (М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 10, М.—Л. 1957, стр. 546).

Стр. 537. *...Михайлом Никифоровичем.* .— Катковым.

Стр. 539. *Кирсанов.* .— Об Аркадии Кирсанове см. прим. к стр. 455.

Стр. 540 *...нет места на жизненном пире.*— Намек на известное высказывание английского экономиста Т.-Р. Мальтуса в его сочинении «Опыт о законе народонаселения» («An Assay on the Principle of Population», 1798), содержащее утверждение, будто «человек, пришедший в занятый уже мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет права требовать себе пропитания <.. > На великом жизненном пире для него нет места».

Стр. 541. *...кимвал бряцающий...*— Выражение из «Первого послания апостола Павла к Коринфянам»: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал бряцающий» (13, 1). Кимвал — музыкальный инструмент, издающий пронзительные звуки.

Стр. 542. *«Je m'en fiche, contrefiche»* — По-видимому, слова из какой-то французской шансонетки. Салтыков цитирует их в ряде своих произведений.

Стр. 547. *...порутирует* — достанется (от *франц.* router).

Стр. 548. *...Орфеум* — кафешантан на Владимирской улице в Петербурге, в который, как отмечал А. С. Суворин, был «свободен вход для милых, но погибших созданий» (*СПб. вед.*, 1872, № 30, 30 января).

Стр. 549. *...«нраву моему не препятствуй»...*— Выражение купца-самодура из «Сцен купеческого быта» И. Ф. Горбунова (1861). В подлиннике: «ндраву».

Стр. 550. *.эффигия* — изображение (*лат.* effigies). Здесь Салтыков намекает на средневековый обычай публичной казни изображения преступника, в случае, когда ему удавалось скрыться от правосудия. Предполагалось, что эта позорная процедура окажет соответствующее влияние на личную судьбу преступника.

Стр. 551. ...*новый «ветхий человек»*...— Салтыков имеет в виду вновь народившегося хищника капиталистического типа, пришедшего на смену старому «ветхому человеку», обреченному на гибель, то есть помещику-крепостнику. О термине «ветхий человек» см. прим. к стр. 531.

«Не расплывайтесь!», «Не забудьте, что наше время — не время широких задач!» — См. прим. к стр. 391.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ И НАБРОСКИ

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

Сохранившиеся рукописи «Господ ташкентцев» относятся к тем фрагментам цикла, которые остались незавершенными и при жизни писателя им самим не публиковались. В настоящем издании печатаются две редакции очерка «Господа ташкентцы». Из воспоминаний одного просветителя. «Нумер второй» (1869) и «Параллель пятая и последняя» (1872), предназначавшаяся для раздела «Ташкентцы приготовительного класса». Все эти рукописи были в 1914 году извлечены из той части салтыковского архива, которая хранилась у М. М. Стасюлевича и после его смерти в 1911 году поступила в распоряжение М. К. Лемке. Первая публикация их была произведена одновременно В. П. Кранихфельдом и М. К. Лемке и приурочена к 25-летию со дня смерти писателя [1].

ДВЕ РЕАКЦИИ ОЧЕРКА «ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ»

<1>

Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя.

Нумер второй.

(Стр. 557)

Впервые в контаминации двух редакций и неполно — *BE*, 1914, № 5, стр 6—18 (первая глава очерка в публикации М. К. Лемке под общим заглавием «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова»). Полностью — «Звезда», 1926, № 19, стр 190—201 (в публикации Н. В. Яковлева «Неизданные произведения М Е Салтыкова-Щедрина»).

---

[1] О причинах параллельной публикации материалов к «Господам ташкентцам» и ее научном уровне см. М Лемке Письмо в редакцию («День», СПб 1914, № 118, 3 мая, стр. 6) и редакционную заметку «По поводу новых отрывков Щедрина, напечатанных в «Голосе минувшего» (*ГМ*, 1914, № 6, стр 318—319).

Напечатав в «Отечественных записках» (1869, № 10) очерк «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя», Салтыков задумал, видимо, продолжить начатое «исследование» и дать серию очерков, посвященных различным наиболее характерным представителям ташкентского «просветительства».

Настоящий незавершенный очерк и относится к предполагавшейся серии, от осуществления которой Салтыков отказался в конце 1869 года (см стр. 673). Помеченный писателем как «Нумер второй», он должен был следовать непосредственно за опубликованным очерком «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя» и, по-видимому, являвшимся «Нумером первым» задуманной серии. Оба эти очерка создавались одновременно, что подтверждается зачеркнутым в рукописи «Нумера второго» подзаголовком «Из записок одного просветителя», (вместо которого вписан подзаголовок первого очерка «Из воспоминаний одного просветителя»). Такое изменение могло быть произведено не позже начала октября 1869 года (в корректуре октябрьского номера), ибо первый очерк ташкентской серии появился в свет уже с измененным подзаголовком.

В октябре 1869 года, работая над «нумерами», Салтыков еще не подразделял свое произведение на «Ташкентцев приготовительного класса» и «Ташкентцев в действии». Его замысел пока еще не расчленился, свидетельством чего является публикуемый очерк.

В настоящем издании, как и во всех предшествующих, очерк печатается по рукописи в ее последней редакции. Варианты рукописи немногочисленны и содержат преимущественно мелкие стилистические разночтения. Текст неопубликованного автором очерка явился источником, из которого он заимствовал ряд тем, фрагментов и отдельных фраз для других своих произведений начала 70-х годов, в том числе для «Помпадуров и помпадурш»

Стр 557. *Один из моих предков ездил в Тушино...*— то есть на поклон к Лжедмитрию II, так называемому «тушинскому вору».

...Маринкою...— Мариной Мнишек, женой Лжедмитрия I, признавшей из политических соображений, что Лжедмитрий II якобы является ее мужем.

...соперничал с Бироном в грасах. .— то есть соперничал в расположении к себе со стороны императрицы Анны Иоанновны, всесильным фаворитом которой был Бирон.

Стр. 561. *Как в лугу весной бычка // Пляшут девицы российски // Под свирелью пастушка.*— Из стихотворения Г. Р. Державина «Русские девушки» (1799). «Б ы ч о к» — название танца.

Стр. 566. *...мютизма...*— немоты (от *франц.* mutisme).

Шуми, Иртыш...— из стихотворения И. И. Дмитриева «Ермак» (1794).

...vogue, la galère! — Выражение из «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле (кн. 1, гл. 3), ставшее популярным фразеологизмом.

Стр 566—567. *На это дает мне permis сам идеал наших нигилистов, Дарвин.*— Намек на термин Дарвина «борьба за существование». См. прим. к стр. 33.

Стр. 567. *«На заре ты ее не буди»* — начало стихотворения А. А. Фета без названия (1842).

Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя.

Нумер третий.

(Стр. 570)

Впервые в контаминации двух редакций и неполно — *BE,* 1914, № 5, стр. 13—18 (отрывок: от *«Годы летели мимо меня»* и до *«в деле искусства приобретать успехи»* в публикации М. К. Лемке под общим заглавием «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова»); *ГМ,* 1914, № 5, стр. 21—26 (публикация В. Кранихфельда с сокращениями, до слов: *«...в деле искусства приобретать успехи»*). Полностью — «Звезда», 1926, № 1, стр. 201—210 (в публикации Н. В. Яковлева «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина»).

Вторая, более расширенная редакция очерка «Господа ташкентцы». Из воспоминаний одного просветителя. «Нумер второй», переработка и дополнение которой осуществлялось, видимо, в конце 1869 года, после публикации в «Отечественных записках» первых двух ташкентских очерков. В пользу этой датировки свидетельствует отсутствующее в первой и появившееся во второй редакции очерка упоминание о деле фон Зона, относящемся к ноябрю 1869 года.

Перерабатывая и дополняя первый вариант очерка («Нумер второй»), Салтыков решительно сокращает те его части, которые посвящены формированию ташкентца и значительно расширяет рассказ о действиях героя в провинции. Сравнение этого рассказа с очерком «Здравствуй, милая, хорошая моя!» (1864) из цикла «Помпадуры и помпадурши» (т. 8) обнаруживает сюжетное сходство между ними, а образ изображаемого ташкентца во многих своих чертах сливается с образом помпадура Митеньки Козелкова. Возможно, что это обстоятельство сыграло свою роль в прекращении работы над серией «нумеров». Образ *действующего* ташкентца еще не выкристаллизировался в сознании писателя и был очень близок или даже почти сливался с образом помпадура

Не поддается пока вполне аргументированному объяснению проведенное Салтыковым изменение нумерации очерка «Нумер второй» на «Нумер третий». Трудно предположить, что это простая ошибка Салтыкова, но для окончательного решения вопроса нет данных. Предположительно можно сказать, что в период, который отделяет первую редакцию от второй, Салтыков несколько реконструировал план цикла: в «Отечественных записках» был напечатан очерк «Что такое «ташкентцы»? Отступление», кото-

рый он, возможно, намеревался сделать вступительным к будущему циклу и обозначить его «Нумером первым», а таким образом первый ташкентский очерк становился уже вторым, вследствие чего изменялась и нумерация всех следующих за ним произведений и «Нумер второй» закономерно превращался в «Нумер третий».

Очерк печатается, как и во всех предшествующих изданиях, по рукописи в ее последней редакции. Кроме публикуемой, существовала еще одна редакция очерка, промежуточная между «Нумером вторым» и «Нумером третьим». Текст сохранившихся отдельных листков этой редакции близок «Нумеру третьему», в связи с чем в настоящем издании он не воспроизводится.

Стр. 572. ...пик-ассьетов — блюдолизов (*франц.* pique-assiettes).
Стр. 577. *...участвовал в ограблении Зона!..*— См. прим. к стр. 462.

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

(Параллель пятая, и последняя)

(Стр. 582)

Впервые — *BE,* 1914, № 5, стр. 18—25 (публикация М. К. Лемке под общим заглавием «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова») — *ГМ,* 1914, № 5, стр. 27—32 (публикация В. П. Кранихфельда).

Сохранились две рукописи очерка, представляющие собою разные редакции произведения. Тексты их весьма близки между собой. В настоящем издании текст печатается по более поздней редакции.

Очерк написан, по-видимому, в июле 1872 года во время поездки Салтыкова в Спасское и Заозерье. На это указывают цифровые расчеты и даты, связанные с разделом наследства по имению, находившемуся в совместном владении Салтыкова и его брата Сергея Евграфовича, скончавшегося 7 июля 1872 года. Подсчеты на полях рукописи доведены до мая месяца включительно. Текст написан на шероховатой бумаге с серым оттенком, какой Салтыков в Петербурге никогда не пользовался.

Еще в «Параллели четвертой» Салтыков наметил образ купца и будущего финансового воротилы Василия Поротоухова, пообещав позднее специально к нему вернуться, что он и намеревался сделать в следующей «Параллели пятой и последней».

Отказ Салтыкова от завершения последней параллели связан, по-видимому, с тем, что именно в это время им был задуман цикл «Благонамеренные речи». Центральное место в этом произведении уделялось нарождающейся русской буржуазии, рассмотрению наиболее выразительных ее явлений и типов, среди которых герой заключительной ташкентской параллели занимал не последнее место.

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

В БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ

Продолжение «Дневника провинциала в Петербурге»

(Стр. 588)

Впервые — *ОЗ*, 1873, «Соврем. обозр », № 2, стр. 344—370, глава I; № 4, стр. 293—316, глава II. Подпись· *Н. Щедрин.*

Сохранились черновые рукописи незавершенной III главы, при жизни автора не публиковавшиеся.

В настоящем издании I и II главы печатаются по тексту «Отечественных записок». III глава печатается по автографам (ИРЛИ) [1].

Название этого произведения впервые встречается на л 4 черновой рукописи «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Нумер третий». Здесь имеется карандашная запись рукой Салтыкова· «В больнице для умалишенных».— Рукопись относится, по-видимому, к 1869 году, но когда была сделана карандашная запись на полях, сказать трудно. Более определенное указание на замысел цикла встречается в XI главе «Дневника провинциала». Говоря о помешавшемся на тушканчиках Менандре, автор после слов: «Обо всем этом, однако же, речь впереди» — добавляет· «в будущем году я представлю читателям «Отечественных записок» подробный отчет об имеющем произойти со мною в сумасшедшем доме» [2].

Л. Ф. Пантелеев в своих воспоминаниях рассказывает, что Петербургский цензурный комитет намеревался задержать февральский номер «Отечественных записок» с первым фельетоном «В больнице для умалишенных» (Пантелеев неточно называет его «Дневником провинциала), так как «председателю Петрову показалось, что М. Е. вывел личность вел. кн. Константина Николаевича, о чем у него и помышления не было». Далее в воспоминаниях передается рассказ самого Салтыкова· «А Лонгинова в то время в Петербурге не было; решил дождаться его возвращения. Вы знаете, что такое был Лонгинов; но все же у него был вкус, своего рода уважение к литературе. Только что он приехал, отправляюсь я к нему. Знаю, зачем пришли,— сказал Лонгинов,— не беспокойтесь. Мы с Тимашевым едва животики не надорвали, читая ваш дневник. Комитету бог знает что пригрезилось, ему уже послано распоряжение выпустить книгу» [3].

В архиве М. М. Стасюлевича сохранились семь рукописей, относящихся к незавершенной III главе «В больнице для умалишенных». Салтыков работал над ней, по-видимому, летом — осенью 1873 года и предназначал ее для октябрьской книжки «Отечественных записок», так как в

---

[1] Впервые опубликованы Б. Эйхенбаумом в *изд. 1933—1941*, т. X, стр 645—652.

[2] *ОЗ*, 1872, № 12, стр. 409—410.

[3] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, М. 1958, стр. 451.

подстрочном примечании к началу главы указано, что между появлением второй главы, напечатанной в апрельской книжке, и настоящей «прошло шесть месяцев» (см. стр. 645). Каждая из семи рукописей имеет заголовок «В больнице для умалишенных. III», но три рукописи относятся к одному сюжетному единству, а четыре остальные — к другому. В *изд. 1933—1941* и в научном описании рукописей Салтыкова эти две группы рукописей были сочтены двумя редакциями начала III главы [1]. В действительности, рукописи содержат несколько вариантов *двух различных по содержанию фрагментов* III главы.

Первый фрагмент — от слов *«Волей-неволей я должен был покориться»* — представлен тремя следующими последовательными вариантами:

1. Текст, вероятно, перебеленный с не дошедшего до нас черновика, с значительной правкой, до слов: *«...Вслед за тем доктор представил нас друг другу»* [2]. Имеется вариант, где Елеонский представлен читателю как *«старичок в синем вицмундире, который сидит в углу и делает рукой движения сверху вниз»*, то есть где он представлен помешанным на сечении воспитанников.

2. Перебеленный текст рукописи с значительной стилистической правкой и дополнениями, переходящий в другую редакцию до слов: *«...должна быть сильна и страшна»* [3]. Добавлено примечание, излагающее содержание предыдущих глав (см. стр 645). В конце фрагмента содержится более полное изложение педагогических принципов Елеонского, послуживших основой «безазбучному просвещению», отсутствующее в рукописи 1. Приводим текст этого изложения.

Стр. 651 После слов на стр. 5. *«..расскажите господину «провинциялу», в чем заключается ваш педагогический план»*, следовало:

И прежде, нежели я мог произнести слово, доктор уже представил нас друг другу.

Многие находят мой педагогический план слишком младенческим и потому смеются над ним,— начал Елеонский,— но, в сущности, он гораздо сложнее, нежели это может показаться на поверхностный взгляд.

Скрыть истину или показать ее в соответствующем известным целям свете — не менее трудно, как, например, на суде схоронить концы в воду или устроить более или менее правдоподобное alibi. Во-первых, истина не требует ни изворотливости, ни сноровки, ни творчества; во-вторых, она увлекает, так что надо обладать большой силой характера, чтоб не поддаться ее увлечениям.

В основании моего плана лежат именно те две вещи, о которых я сейчас упомянул, то есть или полное сокрытие истины, или уснащение ее та-

---

[1] См комментарий Б. М. Эйхенбаума в *изд. 1933—1941*, т. X, стр. 656, а также Л. М. Добровольский и М И Малова. Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. Научное описание — Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома, IX, стр. 36—37, №№ 115—121.

[2] См. Бюллетени РО, IX, стр. 36, № 115.

[3] См. там же, № 116.

кими околичностями, которые давали бы ей смысл, споспешествующий достижению известных, заранее обдуманных целей.

Быть может, вы спросите меня, милостивый государь, для чего требуется сокрытие или искажение истины в таком важном деле, как воспитание юношества? — на это отвечу вам: это нужно, во-первых, для удовлетворения потребности творчества, которая равно присуща педагогике, как и всем прочим отраслям человеческой индустрии, и, во-вторых, для того, чтобы с помощью воспитания получать благонамеренных граждан.

Как бы то ни было, но насмешки над моей педагогической методою не имеют никакого основания. Поводом для них послужила рутинность приемов и еще воспоминание о педагогах доброго старого времени, над которыми действительно много смеялись и в повестях и в жизни. Но не надо забывать, что времена значительно переменились Старинные педагоги прибегали к своим приемам в наивности сердца своего; это были педанты, которые в схоластике видели гимнастику для ума Мы же возобновляем старинные схоластические приемы совсем не с этой целью, а в видах [рации] [буйному] духу времени Поэтому ежели старинная педагогика была бесцельна и смешна, то новейшая педагогика при том же содержании и тех же приемах должна быть сильна и страшна.

3. Перебеленный текст рукописи 2 с значительными исправлениями, до слов *«...оставив меня в жертву этому странному существу»* [1]. Судя по содержанию последнего абзаца, продолжением данной рукописи должен был служить рассказ Елеонского о его «педагогическом плане» (см вариант рукописи 2), возможно, в переработанном виде.

Второй фрагмент представлен четырьмя последовательными рукописными вариантами, отличающимися друг от друга некоторыми добавлениями:

1. Перебеленный текст не дошедшего до нас черновика с многочисленными исправлениями, от слов: *«Утро. В больнице царствует загадочное движение.. »* до слов: *«...наши рабы верны, когда мы сами чувствуем себя властными и несокрушимыми»* [2]. На полях — конспективные карандашные записи, относящиеся к развитию сюжета.

2. Перебеленный текст начала рукописи 1 с многочисленными исправлениями, от слов: *«Утро. В больнице царствует загадочное движение ..»* до слов: *«...Ужели для того, чтобы быть взятым с оружием в руках... в сумасшедшем доме?!»* [3]

3. Перебеленный текст рукописей 2 (начало) и 1 (продолжение) с многочисленными исправлениями и дополнениями, переходящий в другую редакцию, от слов: *«В больнице царствует загадочное движение...»* до слов: *«...которых не тронула ее коса — вы видите перед собой...»* [4] Конец рукописи от слов: *«Да, Иван Карлыч, желательно бы»* [5] впервые опубликован в газете «Литературный Ленинград», 1934, 14 мая, № 22 (44).

4 Перебеленный текст рукописи 3 с исправлениями, переходящий в

---

[1] См. Бюллетени РО, стр. 37, № 117.
[2] Там же, № 118.
[3] Там же, № 119
[4] Там же, № 120.
[5] Там же.

другую редакцию, от слов: *«С раннего утра в больнице царствует загадочное движение...»* до слов *«..я назначаю вас главным бунтовщиком!»* Конец рукописи 3 после слов: *«Вы, господа, вероятно, бунтовать желаете?»* от слов. *«Да, Иван Карлыч, желательно бы!»* заменен в данной рукописи, возможно по цензурным соображениям, следующим вариантом.

— Однако, шпионы-то ваши не дремлют! — с дерзостью выступила вперед одна из тех мрачных личностей, которые на воле называются коноводами и зачинщиками

Я взглянул на [этого человека] нахала: рожа у него была совершенно разбойничья!

— Господин Соловейчиков! ваш дерзкий поступок не остается безнаказанным! — твердо сказал доктор,— господа консерваторы! наденьте на господина Соловейчикова рукавицы и уведите его в уединенный номер.

В одну минуту вся толпа сумасшедших бросилась на Соловейчикова и чуть не растерзала его. Только двое оставались [очевидно, радикалы] в стороне и угрюмо смотрели на эту сцену.

— Ввиду такого важного акта, как бунт, происшествие, случившееся с г. Соловейчиковым,— очень кстати! — продолжал доктор — Обыкновенно такие происшествия случаются после бунта, при так называемой переборке, у нас же оно случилось как раз наоборот. Я очень рад этому, потому что участь, постигшая преступника, должна внушить вам спасительный страх, господа! Но пусть знают «злые» [доктор искоса взглянул на двоих радикалов], что *око* правосудия не дремлет, и пусть трепещут заранее! Затем, господа, я ничего не имею против бунта... с тем, разумеется, что он будет происходить в совершенном порядке. А для того, чтобы окончательно устранить все недоразумения, я считаю нелишним указать вам, господа, на лицо, которое будет руководить вами в ваших бунтовских действиях Господин Морковкин! вы так долго служили предводителем до поступления в наше заведение, что бунтовские порядки должны быть известны вам в совершенстве! Я назначаю вас главным бунтовщиком![1]

Впервые рукопись 4 опубликована в журнале «Всемирная иллюстрация», 1914, 23 марта, № 3, стр. 39—40, в статье В П. Кранихфельда «Щедрин по новым раскопкам»

В настоящем издании первый фрагмент главы III публикуется по тексту рукописи 3, второй фрагмент — по тексту рукописи 4 (от слов: *«С раннего утра в больнице царствует загадочное движение...»* до слов: *«...Вы, господа, вероятно, бунтовать желаете? — совершенно спокойно обратился он к обществу сумасшедших»* (см. стр 653) и рукописи 3 от слов: *«Да, Иван Карлыч, желательно бы!»* — до слов: *«...вы видите перед собой»* (см стр. 654).

Опубликованные две первые главы «В больнице для умалишенных» не встретили сочувствия критики. Почти все газеты (за исключением кратких положительных замечаний в «Камско-волжской газете» и «Сыне отечества») [2] поместили отрицательные отзывы, в которых эти главы тракто-

---

[1] См. Бюллетень РО, стр 37, № 121, *изд. 1933—1941,* стр. 615—649

[2] «Камско-волжская газета», 1873, № 35, 25 марта.— Н. Розанов. Обзор текущей журналистики, стр. 2; «Сын отечества», 1873, № 33, 8 февраля, № 49, 1 марта, № 87, 20 апреля.

вались как шуточное произведение, лишенное художественных достоинств и сатирического значения «Дневника провинциала». Так, литературный обозреватель газеты «Азовский вестник» писал: «Увлекшись, по-видимому, успехом своего прошлогоднего «Дневника провинциала в Петербурге», г. Щедрин предпринял теперь продолжение его, под заглавием «В больнице для умалишенных». Но последнее, не имея и тени достоинств «Дневника», не представляет ничего, кроме бессодержательной болтовни, которой прямое место было бы в фельетоне «Петербургской газеты» или в «Развлечении». Мы посоветовали бы даровитому сатирику поискать нового предмета для своего пера» [1].

По-видимому, и сам Салтыков считал, что тема «Дневника провинциала» уже завершена и в ее продолжении «нависла угроза повторений, простого варьирования мотивов, идей, сюжетных положений и типов как «Дневника», так и других произведений» [2]. Во всяком случае, замысел «В больнице для умалишенных» как самостоятельного цикла, продолжающего тему «Дневника провинциала», осуществлен не был.

I

Стр. 591. ...*термин*...— Здесь: срок (*лат.* terminus).

У нас три категории больных.— В своей характеристике больницы для умалишенных Салтыков, несомненно, использовал появившиеся в печати сообщения об открытом в октябре 1871 года «Приюте государя наследника для неизлечимо помешанных» (вблизи Земледельческого училища). «Приют устроен по мысли и на средства государя наследника <.. > Внутреннее устройство приюта подчинено самым строгим требованиям современной науки, с разделением больных на категории Каждая категория имеет отдельные помещения» («Русский календарь на 1872 год» А Суворина, СПб. 1872, стр 363).

Стр. 592. ...*«Десять лет счастливейшего пристанодержательства».*— Выпад против В. Ф. Корша. в начале 1873 года исполнилось десять лет его деятельности как издателя-редактора «С.-Петербургских ведомостей», взятых им в аренду в 1863 году (пристанодержателями по уголовному праву назывались укрыватели преступников). Салтыков пользуется здесь выражением Герцена, отметившего в «Колоколе» от 1 сентября 1863 года двадцатипятилетие «пристанодержательства в русской литературе» А. А. Краевского, прежнего издателя «С.-Петербургских ведомостей» (см. *Герцен*, т. XVII, стр. 252).

Стр. 592. .. *иск игуменьи Митрофании с наследниками скопца Солодовникова?* — Игуменья Серпуховского Владычно-Покровского монастыря Митрофания, рожденная баронесса Розен, была в 1873 году обвинена в

---

[1] «Азовский вестник», 1873, № 33, 26 апреля — Новости журналистики, подп.: «Постоянный наблюдатель».

[2] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М. 1963, стр. 218.

крупных денежных злоупотреблениях. Непосредственным поводом к судебному процессу, состоявшемуся только в октябре — ноябре 1874 года, явилось представление игуменьей к оплате векселей, подписанных московским миллионером М. Г. Солодовниковым и признанных его наследниками подложными. По свидетельству Н. А. Демерта, «с самого открытия новых судебных учреждений не было еще такого громкого, шумного, возбудившего такой общий, всероссийский интерес дела, как это» (*ОЗ*, 1874, № 11, отд. II, стр. 256). Дело игумены Митрофании упоминается также в гл. I цикла «В среде умеренности и аккуратности» (т. 12) и в ряде других произведений Салтыкова 70-х годов.

...будто дважды два равняются стеариновой свечке — Выражение из романа И. С. Тургенева «Рудин» «. мужчина может, например, сказать, что дважды два — не четыре, а пять или три с половиною; а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка» (гл. II, реплика Пигасова).

«Какую роль в русской литературе играл бы воронежский литератор Де-Пуле, если б он писал в начале царствования императора Александра Благословенного?» — Речь идет о статье М. де-Пуле «Нечто об оскудении литературных талантов (письмо в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» — *СПб вед.*, 1872, № 351, 22 декабря). Де-Пуле утверждал в этой ретроградной статье, будто в последние пятнадцать лет в России не появилось «ни одного крупного дарования». Салтыков, в частности, был им отнесен к числу малозначительных литераторов конца 50-х годов (см. в *ОЗ*, 1874, № 1, отд. II, отклик Н. К. Михайловского на статью де-Пуле).

...наш знаменитый историограф, господин Богданович...— Салтыков намекает на обширный труд М. И. Богдановича «История царствования императора Александра I и Россия в его время» (1869).

Стр. 593—594. *Требуются нравственные гарантии, да еще чтоб курс юридических наук был пройден, а насчет умственных гарантий ничего не упомянуто.*— Согласно 354 статье Судебных уставов от 20 ноября 1864 года присяжными поверенными могли быть «лица, имеющие аттестаты университетов или других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук». По статье 380 в звании присяжного поверенного отказывалось всякому лицу, которое «хотя и удовлетворяет требованиям закона, но, по собранным о нем сведениям, не имеет нравственных качеств, необходимых для правильного отправления адвокатских обязанностей» (см. К. К. Арсеньев. Заметки о русской адвокатуре, ч. II, СПб. 1875, стр. I и 23).

Стр. 595 *Суп протоньер-с...*— «весенний» суп (искаж. *франц. printanière*).

.. вас будут свидетельствовать в губернском правлении...— Сам Салтыков по должности вице-губернатора не раз присутствовал в Рязанском и Тверском губернских правлениях при освидетельствовании душевнобольных.

Стр. 596. *...гонвед...* («защитник родины» — *венгр.*) — офицер или солдат особого венгерского ополчения, созданного в Австро-Венгрии в 1868 году.

...оттеснить господина Марфори...— то есть занять место фаворита при испанской королеве Изабелле — дона Карлоса Марфори.

Стр. 597. *...общекавалерийский романс «La donna è mobile»* — куплеты герцога Мантуанского из оперы Дж. Верди «Риголетто», либретто Пиаве, 1853 («Сердце красавицы»).

Стр. 598. *...за кокардою ..*— Имеется в виду дворянская кокарда. См. прим. к стр. 271—272.

Стр. 599. *...Beist, qui a écrit ce livre <...> «Manuel du laquais cosmopolite»*...— Реакционный политический деятель граф Ф Ф. фон Бейст начал свою административную карьеру в Саксонском королевстве; однако в октябре 1866 года он перешел на службу к австрийскому королю, заняв пост министра иностранных дел, а затем — премьер-министра. Названием мнимого сочинения Бейста «Руководство для лакея-космополита» Салтыков подчеркивает глубокую беспринципность и цинизм этого политического деятеля.

Sa Majésté Très Dualistique! — форма обращения к императору Францу-Иосифу — главе преобразованной в 1867 году двуединой монархии Австро-Венгрии.

Стр. 600. *...toute la vérité, rien que la vérité!* — слова присяги во французском судопроизводстве.

...старый девиз Австрии: tu, felix Austria, nube! — Этот латинский стих процитировал Н Я. Данилевский в своем труде «Россия и Европа». «Австрийские земли соединялись в одно целое посредством ряда наследств и брачных договоров»,— отмечал Данилевский (глава «Место Австрии в восточном вопросе».— «Заря», 1869, № 8, стр. 30).

...то самое, что в наших газетах известно под именем «иностранной политики»? — Русская периодическая печать того времени уделяла много места личной жизни зарубежных «царственных особ», особенно смакуя альковные похождения испанской королевы Изабеллы II и подробности ее отношений со своим фаворитом — дон Карлосом Марфори.

Стр. 601. *...развод с церемонией...* — Развод караула в императорской Австрии совершался с пышным церемониалом.

Эскуриал — королевский дворец вблизи Мадрида.

...сделаем в вашу пользу pronunciamento...— См. прим. к стр. 603.

Стр 602. *...aux Miloutines!* — то есть в «Милютином ряду» Гостиного двора в Петербурге, где торговали фруктами и так называемыми «колониальными товарами».

...en conversation criminelle avec la mère Patrocinia.— Монахиня Патросинио, фаворитка Изабеллы II, известная своими интригами, внушала королеве мысль о необходимости начать гражданскую войну для подавления оппозиционных сил.

Стр. 603. *...это проказы изменника Серрано!* — Генерал Серрано-и-Доминос был участником заговора против королевы Изабеллы II; во время переворота в сентябре 1868 года он возглавил войска, двинувшиеся на Севилью.

...называется по-здешнему гишпанскою революцией! — Салтыков высмеивает буффонаду дворцовых переворотов в Испании, так называемых pronunciamento. В данном случае — намек на события сентября 1868 года, когда в результате переворота Изабелла II вынуждена была бежать из Испании вместе со своим фаворитом Марфори. Как отмечают историки, Изабелла «могла, быть может, еще примириться с подданными, но для этого необходимо было принести в жертву Марфори На это она, однако, не могла решиться» («История XIX века» под ред. проф. Лависса и Рамбо, т. 5, М. 1938, стр. 364). В «Отечественных записках» (1872, №№ 9 и 11, и 1873, №№ 2 и 6) были напечатаны «Письма об Испании» В А. Зайцева, в которых ярко обрисована трагикомическая история революций в Испании XIX века. Возможно, что чтение этой статьи натолкнуло Салтыкова на создание «испанского эпизода» в «Больнице для умалишенных». Нарваэса Зайцев характеризовал как «простого Угрюм-Бурчеева» (№ 11, отд II, стр. 155).

...египетская тьма... — По библейской легенде, пророк Моисей погрузил на три дня Египет в «осязаемую» густую тьму (Исход, 10, 22).

...la candidature Hohenzollern va faire le reste! — После отречения от престола королевы Изабеллы II (23 июня 1870 года) одним из берлинских банкиров была выдвинута кандидатура немецкого принца Леопольда Гогенцоллерна-Зигмаринского, давшего согласие стать королем Испании. Этот проект, приобретший широкую известность (но не осуществленный), явился непосредственным поводом к франко-прусской войне 1870—1871 годов.

Стр. 604. *...дул по обе стороны на плечи...* — намек на погоны.

Стр. 605. *«Тайны мадридского двора»...* — роман Г. Борна, русский перевод которого был выпущен в 1870 году в Петербурге Вскоре это название приобрело характер крылатого выражения, означающего разоблачение сенсационных секретов.

Стр. 606 *...пензенские корнеты...* — В незаконченном рассказе Салтыкова «Приятное семейство» Пенза характеризуется как город, «сплошь населенный отставными корнетами», предающимися чревоугодию и старающимися «веселиться так, как умеют веселиться только корнеты» (см. т. 11)

...je conclue un emprunt à la manière austriaque... — В австрийских финансах второй половины XIX века государственный дефицит сделался хроническим явлением, а после австро-прусской войны 1866 года финансовое положение страны стало совсем катастрофическим. «Эта несчастная война довершила финансовое расстройство, начатое в давние годы частыми займами, чрезмерным выпуском бумажных денег и обременительными, но нецелесообразными расходами..» (Н. Кутейщиков. Вопрос о национальностях в Австрии и политика Бейста — *ОЗ*, 1871, № 7, отд. II, стр. 138). Только на уплату процентов по старым долгам в это время уходило около 49 процентов всего национального дохода Австрии, сами же долги не погашались (см. там же, № 5, стр. 139).

Печатание объявлений о распродаже настоящих голландских и билефильдских полотен... — См. прим. к стр. 509.

Здесь я должен оговориться. В одном из органов еврейской журналистики достопочтенный г. Хволос напечатал письмо к г. Некрасову.. — О выступлении Хволоса см. на стр. 786 Взгляд Салтыкова на еврейский вопрос изложен им в позднейшей статье, озаглавленной «Июльские веяния» (*ОЗ*, 1883, № 8), вошедшей в качестве шестой главы в «Недоконченные беседы» (т. 14). Ср. прим к сказке «Пропала совесть» — т. 15

Стр. 608. ...*в год от разорения Иерусалима 5001* — Иерусалим разрушен в 70 г н э войсками римского императора Тита.

Стр. 609 . *телесные наказания уничтожены*...— См. прим. к стр. 371.

Стр. 610 ...*фюить!* — Решения суда не являлись обязательными для органов политической полиции; в административную ссылку могло быть отправлено любое лицо, оправданное по суду.

...*Царицынского луга.*— Царицын, или Царицынский луг (затем Марсово поле) в Петербурге — плац, где производились военные парады (теперь площадь Жертв Революции).

Стр. 611. ...*генерала Дитятина*...— Популярный герой устных (впоследствии напечатанных) рассказов И. Ф. Горбунова, самодур времен Николая I, оппозиционно настроенный по отношению к военным реформам 60-х годов.

Стр. 612. *Tout s'enchaîne et se lie dans mon système*...— Это банальное изречение Салтыков цитирует в разных вариантах, относя его к «ламартиновскому словесному распутству» (ср. «Пестрые письма», т. 16).

Стр. 614 *Содержание судоговорения будет предметом особенной статьи, имеющей войти в настоящий «Дневник».*— Это намерение осталось неисполненным.

Стр. 616. ...*noblesse oblige!* — ставшее крылатым выражение герцога Гастона Пьера Марка де Леви

Стр 617. *Ты, по выражению Фета, никогда не знаешь, что́ будешь петь* ..— Имеются в виду заключительные строки стихотворения А. А Фета «Я пришел к тебе с приветом» (1843): «Я не знаю сам, что буду // Петь,— но только песня зреет».

...*ubi bene, ibi Patria!* — Это крылатое выражение приписывается римскому трагику Пакувию. Сходное выражение встречается и в комедии Аристофана «Богатство».

Стр. 618. *Вчера, например, отечество немцев кончалось у Страсбурга, а нынче вон оно уж Мец захватило.*— В результате франко-прусской войны 1870—1871 годов Эльзас и Лотарингия, вместе с городами Страсбургом и Мецем, отошли от Франции к Германии.

II

Стр. 619. ...*так называемые «помпадуры»*...— См. прим. к стр. 441.

Стр. 625. ...*delenda est Carthago!* — Вариант известного афоризма римского государственного деятеля Катона Старшего, который, по утвержде-

нию Плутарха, каждую свою речь в сенате заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен» («Carthaginem esse delendam»).

Стр. 626. ...*в «замарании халата»* — Сатирическое переосмысление так называемой «офицерской морали», не допускавшей «запятнания мундира» (или «чести мундира»).

Стр. 628. ...*ведите его на конюшню!* — Во времена крепостного права это означало «подвергнуть телесному наказанию».

Мне снятся годы ранней юности, тяжелые годы, проведенные под сенью «заведения».— В следующую далее сатирическую характеристику привилегированных учебных заведений Салтыков ввел немало личных воспоминаний, относящихся к его пребыванию в московском Дворянском институте и в Царскосельском (Александровском) лицее. См. об этом в кн.: С. Макашин. Салтыков-Щедрин, цит. изд., стр. 95—170.

Стр. 630. ...*наше «пустое и жалкое поколение»*...— Реминисценция из «Думы» Лермонтова (1838): «Печально я гляжу на наше поколенье! // Его грядущее — иль пусто, иль темно!»

Стр. 633. ...*кто разрубил гордиев узел, Александр Македонский или князь Александр Иванович Чернышев*...— По древней легенде, фригийским царем можно было стать, только распутав сложный узел, завязанный царем Гордием. Александр Македонский остроумно разрешил эту задачу, разрубив гордиев узел мечом. Салтыков иронически сопоставляет Александра Македонского с другим военачальником — Александром Ивановичем Чернышевым, военным министром при Николае I, человеком весьма ограниченных умственных способностей

Стр. 633. ...*два кауфера* — Кауфер — парикмахер (*франц.* coiffeur).

Стр 635. *С пальцем девять, с огурцом пятнадцать! Закончил он, пародируя известную гостинодворскую поговорку автора Григорьева* — О происхождении этой поговорки см. в статье В. В. Виноградова «Из истории русских слов и выражений» («Русский язык в школе», 1940, № 2, стр. 36—37).

Стр. 637. ...*басню о комаре, залезшем в нос к льву.*— Басня И. А. Крылова «Лев и Комар» (1809).

Стр 640—641. *Амедей отказался <...> Что скажет Олоцага.*— Амедей Савойский, сын итальянского короля Виктора-Эммануила, избранный королем Испании 16 ноября 1870 года, отрекся от престола 11 февраля 1873 года, в разгаре гражданской войны, охватившей Испанию. В «С.-Петербургских ведомостях» (1873, № 35, 4 февраля) сообщалось: «Сегодня в Палате депутатов прочитано послание короля Амедея <...> Все дальнейшие попытки к умиротворению он считает тщетными, а потому и слагает с себя корону». В том же номере была напечатана телеграмма из Мадрида «Испанское правительство просило Олоцагу остаться испанским послом в Париже» На следующий день в «С.-Петербургских ведомостях» были опубликованы сведения о составе нового правительства: министр-президент — Фигверас; министр иностранных дел — Кастеляри. Президентом Национального собрания был избран Мартос.

Стр. 642. *...что он полюбил новое отечество совершенно так, как будто оно было старое, и что теперь ему предстоит полюбить старое отечество...*— Испанский король Амедей приехал в Испанию в конце 1870 года, совершенно не зная ни ее «истории, ни языка, ни учреждений, ни нравов, ни партий, ни людей» («История XIX века» под ред. проф. Лависса и Рамбо, т. 7, М. 1939, стр. 312).

Стр. 643. *...фендрих...*— шутливо-пренебрежительное наименование молодого офицера.

...«мормон»...— член американской религиозной секты, разрешающей многоженство.

III

Стр. 649 *...сочинение доктора Тиссота по этому предмету — вы увидите, до чего может довести эта изнурительная страсть!* — Имеется в виду изданная в Петербурге в 1787 году книга: «О здравии ученых людей, сочинение Г. Тиссота, Доктора и Профессора Медицины Лондонского Королевского Социетета, Базельской физикомедической Академии и Бернского Економического общества члена, переведенное с Немецкого языка на Российский и с подлинником французским поверенное Доктором Медицины А. Ш», с эпиграфом из Плиния: «Болезнию и то почитается, чтоб умереть от наук». В книге доказывается, что «болезни ученых имеют два главные источника: неусыпные ума томления и всегдашняя тела недвижимость» (стр. 18). Подробно описывая бедствия, претерпеваемые учеными «от сильного ума напряжения», автор приводит множество курьезных фактов, подтверждающих его высказывания,— о женщине, «которой вдруг приключалась жестокая колика, как скоро хотела умом что-нибудь сделать» (24), об «одном заслугами славном муже, который чрез прилежное учение потерял свое здоровье: он впадал в обморок, как скоро было станет со вниманием слушать какую-либо историю или хотя маловажную повесть» (23) и т. п.

Стр. 650. *...в углу сидит субъект в синем вицмундире <...> — Это педагог <...> ближайшая цель которого — истребление идей.*— В изображении действий педагога Елеонского обличается направление системы классического образования, ставившего своей целью предохранение учащейся молодежи («закупориванье») от участия в общественно-политической жизни страны и от возникновения революционных настроений.

Стр. 653 *...начинается переборка...*— то есть аресты всех причастных к революционному движению и проверка «благонадежности» лиц, так или иначе связанных с участниками этого движения.

Стр. 655. *...вы так долго служили предводителем <...> что порядки эти должны быть вам известны в подробности.*— Речь идет о нередких в те годы случаях проявления дворянской оппозиции крестьянской реформе.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

Аарон (б и б л.) — 223, 258, *713*.

Август (63 г. до н. э — 14 г. н э), римский император с 27 г. до н. э — *735*.

Авенариус Василий Петрович (1839—1923), беллетрист, автор «антинигилистических» произведений — *704*, *794*.

«Поветрие» — *794*.

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), писатель, в 70-х годах выступал со статьями в «Русском вестнике», автор «антинигилистических» романов — *767*.

«Очерки текущей литературы» — *767*.

Агриппина Старшая (ум. 33), жена Германика, племянника императора Тиберия, находилась в оппозиции к императору, за что была сослана на остров Паидатерию, где покончила с собой — 36.

«Азовский вестник», политическая и литературная газета, выходила в Таганроге в 1871—1878 гг.; издатель П. С. Муссури, ред — Ф. Р. Браславский — *804*.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), поэт, публицист, литературный критик славянофильского направления, издатель редактор газет «День» (1861—1865), «Москва» (1867—1868) и «Русь» (1880—1885) — 515, *790*.

Александр I (1777—1825), русский император с 1801 г — 592, *713*, *805*.

Александр II (1818—1881), русский император с 19 февр. 1855 г.— *668*, *684*, *694*, *696*, *697*, *707*, *709*, *712*, *720*, *736*, *744*, *774*, *775*, *777*, *788*.

Александр Александрович, великий князь (1845—1894), русский император (Александр III) с 1881 г.— *745*, *804*.

Александр Македонский (356—323 до н э), царь Македонии с 336 г. до н э.— 633, *686*, *809*.

Алеша Попович, один из героев русских былин, прототипом которого был ростовский богатырь Александр Попович, упоминаемый в летописях XI—XIII вв — 405.

Альфонсин («Альфоисинка»), исполнительница французских шансонеток — *700*, *738*.

Алымова Екатерина М, екатеринославская капитанша, спиритка, авантюристка — 193, *709*.

Амедей-Фердинанд, герцог Аостский (1845—1890), сын итальяиского короля Виктора-Эммануила, в 1871—1873 гг. испанский король — 641, 642, *809*, *810*.

---

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упомииаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М. Малахова.

Анато Пальмира, актриса цирка, наездница — 640, 646.

Анна Иоанновна (1693—1740), русская императрица с 1730 г — 631, *797*.

Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813—1887), литературный критик и историк литературы, мемуарист — *745*.

Апеллес, древнегреческий живописец второй половины IV в. до н э, придворный художник Александра Македонского — 314

Апокалипсис — см Евангелие

Аристофан (Aristophane: ок 446—385 до н. э), древнегреческий драматург, «отец комедии» — 460, 461, *778*, *808*.

«Богатство» — *808*.

«Плутос» — *778*

«Птицы» — *778*.

Арсений Грек, выходец из Греции, основал по распоряжению царя Алексея Михайловича первую в России школу, где обучали греческому и латинскому языкам — *702*.

«Скрижали» — *104*, *702*

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), публицист, критик, общ деятель, с 1866 г сотрудничал в «Вестнике Европы», автор статей и книги о Салтыкове Щедрине, в 60 е годы присяжный поверенный — *671*, *745*, *748*, *752*, *754*, *760*, *763*, *764*, *768*, *779*, *787*, *805*.

«Законодательство о печати» — *754*.

«Заметки о русской адвокатуре» — *805*.

«Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного следствия» — *760*

«Русская общественная жизнь в сатире Щедрина» — *671*.

«Салтыков Щедрин» — *752*, *760*, *768*.

«Судебное следствие» — *760*.

Аспазия (род. в 470 г. до н э), афинянка, отличалась красотой, умом и образованностью, с 445 г. до н. э. жена Перикла — 549

Ахшарумов (подписывался крептоимом Н. А) Николай Дмитриевич (1819—1893) беллетрист и критик, сотрудничал в «Отечественных записках» и «Русском вестнике» — *663*

«Мандарин» — *663*.

Бакунин Алексей Александрович (1823—1882), брат М А. Бакунина, предводитель дворянства Новоторжского уезда Тверской губ. с 1860 г. Один из лидеров тверской либеральной оппозиции, участник съезда мировых учреждений губернии в декабре 1861 г., чрезвычайного дворянского собрания и «заявления тринадцати мировых посредников» февраля 1862 г Один из авторов текста «Адреса» Александру II с требованием либерально-демократических преобразований Вместе с другими участниками «заявления тринадцати» был заключен в Петропавловскую крепость и судим судом Союза — *794*

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), революционер и публицист, один из идеологов народничества и анархизма — *777*, *783*

Бакунин Николай Александрович (1818—1901), брат М. А Бакунина, член Тверского губернского комитета по крестьянскому делу, участник съезда мировых посредников в декабре 1861 г, подписал в феврале 1862 г. «заявление триадцати», за что был подвергнут такому же наказанию, как А. А. Бакунин — *794*.

Балабин, генерал, владелец гостиницы и ресторана в Петербурге — 315, *742*.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — *685*, *702*.

«Блеск и нищета куртизанок» — *702*

«Утраченные иллюзии» — *702*.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), археограф и библиограф, основатель (1863) и редактор журнала «Русский архив», опубликовавший много исторических и литературных архивных документов XVIII—XIX вв — 17, *679*, *680*.

Баршев Сергей Иванович (1808—1882), криминалист, профессор Московского университета, в 1864—1870 гг.— ректор — 330, *745*.

«О мере наказаний» — *745*.

«Общие начала теории законодательств о преступлениях и наказаниях» — *745*.

Батеньков Гавриил Степанович (1793—1863), подполковник, декабрист, после амнистии (1856 г.) жил в Калуге, входил в состав местных мировых посредников — *794*.

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт — *738*.

«Есть наслаждение и в дикости лесов» — 294, *738*.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), либеральный экономист и публицист, младший лицейский товарищ Салтыкова — 327, *717*.

Безобразов Николай Александровнч (1816—1867), дворяиский публицист, автор работ по крестьянскому вопросу, предводитель дворянства Петербургского уезда, камергер — 532, *794*.

Бейст Фридрих Фердинанд, граф (1809—1886), саксонский и австрийский государственный деятель, в 1871—1878 гг. посол в Лондоне — 596, 599, 600, 602, 603, 604, 616, 617, *806, 807*.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 65, 404, 418, 420, *692, 703, 718, 724, 759, 765*.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, общественный деятель и лнтератор, один из редакторов зарубежной газеты «Общее дело» (см.), друг Салтыкова — *691, 761, 762*.

Беляев Козьма Васильевич (ум. 1858), купец-миллиоиер — *723, 748—750, 787*.

Беляева (урожд Попова) Екатерина Васильевна, жена К В. Беляева — *748*.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт — 630.

«К даме, очаровавшей меня своими глазами» — 630.

Берг, владелец театра оперетты «Летний Буфф» в Петербурге — 91, 95, 103, 560, 562, 568, 569, 578, 579, 590, 597, 646, 647, *700*.

Бернет, литературный псевдоним Жуковского А. К (см.).

«Беседа», ежемесячный ученый, литературный и политический журнал славянофильского направления, издавался в Москве в 1871—1872 гг, редактор издатель — С А Юрьев — *680, 739*.

Бестужев (литературный псевдоним — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), писатель романтик, декабрист — 249, *716*.

«Аммалат бек» — *716;* Аммалат — 247, *716*

Биант (VII в), один из семи греческих мудрецов — 56, *689*.

Библия — 137, 138, 223, 234, 237, 324, 405, 410, 494, 530, *541, 678, 688, 700, 702, 705, 713—715, 734, 743, 758, 761, 778, 781, 786, 794, 795, 807*

«Биржевые ведомости», ежедневная литературно-политическая и коммерческая газета, выходившая в Петербурге (с перерывами) с 1861 по 1879 г, издатели редакторы К. В Трубников и П. С Усов, а с 1874 г — В А. Полетика — *661, 755, 757, 787*.

Бирон Эрнст Иогани (1690—1772), фаворит императрицы Аины Иоанновны — 557, 570, *797*.

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, князь (1815—1898), немецкий государственный деятель, в 1871—1890 гг германский имперский канцлер — 173, 174 310, 327, 435, 600, 616, 617.

Блан Луи (1811—1882), французский историк, социалист утопист — 65, *692*.

Бланк Григорий Борисович (1811—1889), публицист, член Тамбовского губернского комитета — 532, *794*.

«Движение законодательства в России» — *794*.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель, парижский корреспондеит «Отечественных записок» — *717, 751, 768, 772*.

«Дельцы» — *751*.

«Жертва вечерняя» — *717*.

«Петербургское театральное искусство» — *772*.

Бобринский Алексей Павлович (1827—1894), генерал-лейтенант, член редакционных комиссий, министр путей сообщения в 1871—1874 гг., лицейский товарищ Салтыкова — *720*.

Богданович Модест Иванович (1805—1882), генерал лейтенант, военный историк — 592, *805*.

«История царствования императора Александра I и Россия в его время» — *805*.

Боголюбов — см Емельянов А А

Бодянский Осип Максимович (1808—1877), филолог-славист, с 1842 г. профессор Московского университета по кафедре истории и литературы славянских наречий — 421

Бокль Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог позитивист — 76, *697*.

«История цивилизации в Англии» — 76, *697*.

Борель, владелец ресторана в Петербурге — 112, 183, 204, 276, 286, 287, 359, 440, *702*.

Борис — см Годунов Б Ф.

Борн Георг, немецкий писатель романист — *807*.

«Тайны мадридского двора Изабелла, бывшая королева Испании» — 605, *807*.

Борщевский Соломон Самойлович (1895—1962), литературовед и текстолог — *678*

«Щедрин и Достоевский» — *678*.

Боссюэт Жак Бенин (1627—1704), французский проповедник, историк и богослов — 219

Боткин Василий Петрович (1812—1869), писатель и литературный критик — *759*.

Братц Эмма, артистка цирка, наездница — 611, 627

Бренн, легендарный вождь галлов, вторгшихся в 390 г. до н э в Италию и взявших Рим — *697*.

Брунст, военный портной в Петербурге — 630, 632.

Буксгеведен Федор Федорович (1750—1811), генерал от инфантерии с начала царствования Павла I до 1798 г — петербургский военный генерал губернатор — *680*.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), реакционный писатель и литературный критик, осведомитель политической полиции, редактор-издатель газеты «Северная пчела» и соредактор журнала «Сын отечества» — 306, 430.

Бурбоны, династия королей французских, испанских, неаполитанских — 385.

Буренин (литературные псевдонимы — Z и В. Монументов) Виктор Петрович (1841—1926), поэт, драматург, литературный критик, много лет вел еженедельные обзоры журналистики в «Санкт-Петербургских ведомостях» — 419, *737*, *751*, *756*, *757*, *759*, *760*, *765—769*, *773*, *781*.

«Из русских былин» — *760*.

«Журналистика» — *737*, *765*, *768*, *781*.

«Журналистика... г М М, осмеивающий г. Салтыкова» — *756*, *757*, *766*, *767*.

«Журналистика Два слова о беллетристической манере г. Боборыкина» — *751*.

«Журналистика Нечто о долгой скрытности «Отечественных записок» относительно своих принципов и своего направления — *751*

«Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром» — *760*.

«Чурило Плеикович» — *760*

Буслаев Федор Иванович (1818—1897), филолог, исследователь русского языка и его истории, фольклора, древнерусской литературы и искусства, профессор Московского университета, действительный член Академии наук — *761*.

Бутков Яков Петрович (ум 1856), писатель, представитель «натуральной школы», в 1847—1849 гг. сотрудничал в «Отечественных записках» — 385

Бутеноп, владелец магазина сельскохозяйственных машин — 543

Бушмин Алексей Сергеевич, литературовед — *662*

«Сатира Салтыкова-Щедрина» — *662*

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель — 413

Бюхнер Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824—1899), немецкий физиолог, проповедник вульгариого материализма, автор сочинения «Сила и материя» (1855), популярного среди нигилистической молодежи — *746*,

Валуев Петр Александрович (1814—1890), министр внутренних дел в 1861—1868 гг, министр государственных имуществ в 1872—1879 гг.— *744*.

Варшавский (у Салтыкова — Мерзавский) Абрам Моисеевич, миллионер концессионер, строитель Скопино-Вяземской и других железных дорог — 275, *734*, *764*.

Василий Шуйский (Василий Иванович Шуйский, 1552—1612), политический деятель и русский царь в 1606—1610 гг — 162

Василиск (м и ф) — 429, *770*

Васильева, содержательница петербургского трактира — 473, 478.

Вашингтон Джордж (1732—1799) — 310, 327, 648, 650

«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах», газета, выходила с 1703 г. в Москве под редакцией Петра I, издавалась до 1727 г — *753*.

«Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» («Полицейские ведомости»), официальная газета, выходившая с 1839 до марта 1917 г.; публиковала правительственные и административные сообщения — 454

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы — *759*.

Венера (м и ф) — 612.

Вергина Александра Федоровна (1848—1901), артистка петербургского балета с 1868 по 1873 г.— 481, *782.*

Верди Джузеппе (1813—1901) — *806.*

«Риголетто» — 597, *806*; герцог Мантуанский — *806.*

Верещагин Николай Васильевич (1839—1907), основатель первой в России артельной сыроварни в Отроковицах, Тверской губ., в 1866 г — *747.*

Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862), композитор и театральный деятель — *716.*

«Черная шаль» (музыка) — 249, *716.*

Веселовский Александр Николаевич (1838—1906), филолог, историк литературы, с 1872 г. профессор Петербургского университета, академик (1880) — *760.*

«Из истории литературного общения Востока и Запада. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» — *760.*

Веселовский Константин Степанович (1819—1901), статистик и экономист — *725.*

«Вестник Европы», ежемесячный журнал, основанный в Москве в 1866 г. Редактор-издатель М М Стасюлевич — 390, 455, *661, 671, 677, 704, 727, 745, 752—755, 759—762, 768, 776, 796, 798, 799*

«Вестник русских евреев», еженедельная газета, издавалась в Петербурге в 1871—1879 гг., издатели редакторы А Цедербаум и А И Гольденблюм — *786*

«Весть», реакционная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 гг , издатели-редакторы В. Д Скарятин и Н. Н. Юматов, с 1867 г — В. Д Скарятин — 307, *740.*

Виктор-Эммануил II (1820—1878), король Сардинии (1849—1861) и объединенной Италии (1861—1878) — *790, 809.*

Вилен-Бланш, французская каскадная актриса, пользовалась большой популярностью в Петербурге в 60—70-х годах — 440.

Виргилий (Вергилий) Марон Публий (70—19 гг. до н. э), римский поэт, основатель «буколической поэзии» — 111.

«Буколики» («Les Bucoliques») — 111.

Владимир Святославич (Красное Солнышко; ум. 1015), великий князь Киевский с 978 г.— 405.

Волынский Артемий Петрович (1689—1740), государственный деятель и дипломат (с 1738 г — кабинет-министр) — 631.

Вольтер (Voltaire) (Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) — 217, 303, *739,*

«Заира» («Zaïre») — 303, *739.*

Вормс Николай Александрович (1845—1870), поэт, сотрудник «Современника» и «Русского слова», с 1866 г. эмигрант, печатался в «Колоколе» — *694, 696.*

«Белый террор» — *694, 696.*

Воронин Степан Дмитриевич (род. ок. 1797), владелец нескольких десятков домов в Петербурге, в их числе и «публичных домов» — 280, 440, *782.*

Воропанов Федор Федорович (1839—1913), публицист и экономист — *760.*

«Всемирная иллюстрация», еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге в 1869—1898 гг.; издатели редакторы (в разное время) А. П., Э Д и Г. Д Гоппе — *803.*

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), поэт и переводчик, владелец крупнейшего ночлежного дома в Петербурге — 486, *783.*

Габорио Эмиль (1832—1873), французский писатель, один из родоначальников детективного жанра — 93, 624, *698*

Гагарин Павел Петрович, князь (1789—1872), председатель Государственного совета; с 1864 г. член следственной комиссии по делу петрашевцев и председатель Верховного уголовного суда над Д В. Каракозовым — *694, 696.*

Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк литературы и писатель, автор учебных пособий по русской литературе — 632, *780.*

«Полная русская хрестоматия» — 632, *780.*

Галеви (прав Алеви) Людовик (183[illegible]—1908), французский писатель, автор оперетт, пародий, комедий нравов, водевилей — *689, 735, 754, 772, 793, 795*

«Орфей в аду» («Orphée aux Enfers»; либретто совместно с А. Мельяком) — *795.*

«Перикола» (у Салтыкова — «Птички певчие»; «La Péricole»; либретто совместно с А. Мельяком) — 440, *771, 772.*

«Прекрасная Елена» («La belle Hélène»; либретто совместно с А. Ме-

льяком) — 51, 409, *689, 710, 735, 761.*
«Разбойники» («Les Brigands»; либретто совместно с А Мельяком) — 411, *754*, Фальзакаппа — 389, *754*
«Синяя борода» («Barbe bleue», либретто совместно с А Мельяком) — 282, 285, *735*, Бюлотта — 282, *735*
«Трикош и Какоде» («Tricoche et Cacolet»; совместно с А Мельяком) — 524, *793.*
«Фанни Лир» («Fanny Learе»; совместно с А. Мельяком) — 440, 443, *772.*
Галеви (прав Алеви) Жак Франсуа Фроменталь (1791—1862), французский композитор — *789.*
«Жидовка» («La Juive») — 507, *789*
Гамбетта Леон Мишель (1838—1882), французский политический деятель, один из лидеров буржуазно-республиканской оппозиции против империи Наполеона III — 488.
Гандон Блаиш, французская опереточная артистка — 282, 336.
Гарибальди Джузеппе (1807—1882), вождь национально-освободительного демократического движения в Италии—488
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 195, *692, 709.*
«Философия права» — 195, *709.*
Генрих IV (1553—1610), француский король с 1594 г., первый из династии Бурбонов — 462, *778.*
Георгиевский Петр Егорович (1792—1852) с 1828 г профессор русской словесности Царскосельского лицея и училища правоведения — 117, *703.*
«Руководство к изучению русской словесности, содержащее в себе основные начала изящных искусств, теорию красноречия, пиитику и краткую историю литературы» — *703*
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — *661, 680, 681, 689, 692—695, 697, 701, 725, 727, 729, 736, 746, 752, 770, 788, 804.*
«Былое и думы» — *788.*
«Доктор Крупов» — *729.*
«К старому товарищу» — *727.*
«Русские немцы и немецкие русские» — *693.*
«Сечь или не сечь мужика?» — 378, *752.*
Герцо-Виноградский (литературный псевдоним — Икс) Семен Титович (1844—1903), литератор, сотрудник «Одесского вестника» — *670, 751, 792.*
«Очерки современной журналистики» — *751*
Гетэ (Guetté) Рене Франсуа Владимир (1816—1892), бывший католический священник, теолог и публицист, перешедший в православие — 95, *701.*
Гинне, владелец цирка в Петербурге — 597
Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 8, *678.*
«Записки Михаила Ивановича Глинки 1804—1851» — 8, *678*
Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), немецкий композитор — *795.*
«Орфей и Эвридика» — 534, *795.*
Гогенцоллерны, династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918) и германских императоров (1871—1918) — 603
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 33, 468, 501, *685, 686, 692, 700, 706, 710, 735, 749, 759, 774, 777, 780*
«Записки сумасшедшего» — *764.*
«Мертвые души» — 90, *700, 706, 759, 777*, Коробочка — *759, 777;* Неуважай-Корыто — 405, 407—409, *722, 759, 765, 777, 792;* Ноздрев — 159, 545, *706;* Собакевич — 457, *777.*
«Невский проспект» — *710*
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — 468, 469, 471, *735, 780;* Довгочхун — 468, 469, 480, *780*, Перерепенко — 468, 469, 480, 481 484, 525, *735, 780, 782.*
«Ревизор» — 354, 450, *749, 774*, Хлестаков — 501, 503, 505, 506, 508—510, 516—518, 522, 523, *698, 703, 730, 785;* Городничий — *749.*
«Театральный разъезд после представления новой комедии» — 33 *685, 686.*
Годунов Борис Федорович (около 1551—1605), правитель государства при царе Федоре Иоанновиче, с 1598 г — русский царь — 162
Голиаф (б и б л) — 121.
Головин (литературный псевдоним — К Орловский) Константин Федорович (1843—1913), писатель и публицист, автор «антинигилистических» романов — *671, 672.*
«Русский роман и русское общество» — *672.*

«Голос», ежедневная политическая и литературная газета либерального направления, издававшаяся в Петербурге А А. Краевским в 1863—1884 гг — *753, 764, 783.*

«Голос минувшего», журнал «истории и истории литературы», издававшийся в Москве в 1913—1923 гг.; редакторы-издатели С. П. Мельгунов и В И. Семевский — *661, 690, 796, 798, 799*

Гомер — 111, 383, 386, 388, 389, 398, *743, 752, 762.*

«Илиада» — 389, Менелай — 389

«Одиссея»; Одиссей — 157

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — *730, 777, 794.*

«Обрыв» — *777, 794,* Волохов — 457, 458, 477, 480—483, 493, *729, 777,* Райский — 545

Гораций (Квинт Гораций Флакк, 65—8 до н. э), римский поэт — 111, *702, 738.*

«Наука поэзии» — 111, 295, *702, 738*

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), писатель, актер петербургского Александринского театра, автор и исполнитель юмористических сцен из жизни мещан, мастеровых и крестьян — *795, 808.*

«Сцены купеческого быта» — 549, *795, 808;* Дитятин — 611, *808.*

Гордий, полулегендарный основатель фригийского государства — 633, *809.*

Горький Максим (наст. имя — Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — *675.*

«История русской литературы» — *675.*

Гостомысл (IX в.), легендарный новгородский посадник или князь, с именем которого связывается предание о призвании на Русь варяжских князей — 586

«Гражданин», реакционная политическая и литературная газета-журнал, основанная в Петербурге ки В П Мещерским в 1872 г , с начала 1873 до апреля 1874 г. редактировалась Ф. М. Достоевским — 307, 339, *702, 735—737, 740, 741, 746, 768, 790*

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), ученый и общественный деятель, с 1839 г профессор всеобщей истории в Московском университете — 35, 36, 66, 67, 418, 420, 455, *686, 695, 718, 724.*

«Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году» — *686.*

Грек Арсений — см Арсений Грек

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829)

«Горе от ума»; Молчалин — *685.*

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), литературный критик и поэт, с 1861 г сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха» — 385, *678.*

Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), ориенталист, член-корреспондент Академии наук, председатель Оренбургской пограничной комиссии в 1852—1863 гг — *695.*

Григорьев Петр Иванович (1806—1871), драматург-водевилист и актер петербургского Александринского театра с 1826 г — 635, *809*

Громницкий Михаил Федорович, юрист-адвокат и публицист, с 1869 г член судебной палаты, выступал на процессе Мясниковых — *790.*

Губонин (у Салтыкова — Бубнович) Петр Ионович (1825—1894), железнодорожный предприниматель и концессионер — 275, *734, 786, 787, 791.*

Гумбольдт Вильгельм (1769—1859), немецкий естествоиспытатель и путешественник — 403.

Гурин, московский ресторатор — 458

Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — *700.*

«Человек который смеется» («L'homme qui rit») — 90, *700;* Гуинплен — *700.*

Давид (конец XI в.— ок. 950 г. до н э), полулегендарный царь Израильско иудейского государства — 90, *700, 758.*

Даниельсон (псевд Николай он) Николай Францевич (1844—1918), народнический экономист и публицист, во время работы над переводом «Капитала» переписывался с Марксом и Энгельсом — *663.*

Данилевский (лит. псевдоним А. Скавроиский) Григорий Петрович (1829—1890), писатель, автор исторических романов, в 1869—1890 гг. редактировал официальную газету «Правительственный вестник» — *671, 704.*

«Г Щедрин, побиваемый собственными друзьями» — *671, 704.*

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), естествоиспытатель и публицист, идеолог пореформенного славянофильства и панславизма — *666, 679, 806*

«Россия и Европа Взгляд на культурные и политические отношения

славянского мира к германо-романскому» — *666, 679, 806.*

Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — 567, *685, 697, 798.*

«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятственных пород в борьбе за существование» — *685.*

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — 422, *761, 765.*

«Каменный гость» — 409, *761;* дон Гуан — *761.*

Деверия Огюстина, французская опереточная актриса, выступала на сцене петербургского Михайловского театра в 1860—1868 гг — 182, 197, 578, *710.*

Девуаль Ашиль, французский аббат, поэт — *739.*

«Нищий и птичка» («Le Mendiant et l'Oiseau») — 303, *739*

Делия, возлюбленная Тибулла, которой он посвящал свои элегии — 491, *722, 785*

Демерт Николай Александрович (1835—1876), писатель и публицист, вел внутреннее обозрение в «Искре» (1867—1869), «Неделе» (1869—1870) и «Отечественных записках» (1869—1875) — *733, 748, 751, 757, 762—764, 771, 805*

«Внутреннее обозрение» — *763.*

«Наши общественные дела» — *748, 757, 764.*

«День», еженедельная газета, издававшаяся в Москве И. С. Аксаковым в 1861—1865 гг., орган славянофилов — *796.*

Де-Пуле Михаил Федорович (1822—1885), педагог и публицист — 592, 593, *805.*

«Нечто об оскудении литературных талантов (письмо в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»)» — 592, *805.*

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — *747, 797,*

«На взятие Измаила» — 344, *747.*

«Русские девушки» — 561, *797.*

Дефо Даниель (1660 или 1661—1731) — *685.*

«Робинзон Крузо» — 31, *685.*

Дидро Дени (1713—1784) — *743.*

Диккенс (Dickens) Чарльз (1812—1870) — 559

Дитятин, генерал, герой устных рассказов И. Ф. Горбунова — 611, *808.*

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт — *797.*

«Ермак» — 566, *797.*

Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич, граф (1758—1803), адъютант Г А Потемкина с 1784 г., в 1786 г. флигель-адъютант Екатерины II, фаворит императрицы в 1787—1789 гг.— 94, *700.*

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 418, 420, *663, 695, 709, 716.*

Добрыня Никитич, герой русского былинного эпоса — 405, *759, 760.*

Долгомостьев Иван (у Салтыкова — Федул) Григорьевич (ум 1867), журналист и переводчик, сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха» — 400.

Долгоруков Петр Владимирович, князь (1816—1868), историк и публицист, с 1859 г эмигрант, сотрудничал в «Колоколе» — *698*

«Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта» — *698.*

Долгушин Александр Васильевич (1848—1885), революционер народник, в 1871 г. судился по процессу «нечаевцев», но был оправдан — *782*

Доминик Риз-а-Порта, владелец ресторана в Петербурге — 259, 300, 311, 493, 548, *739.*

Дон Карлос — см Карлос Младший

Донец-Захаржевский Дмитрий Андреевич, харьковский миллионер — *749.*

Донон, владелец ресторана в Петербурге — 112, 374, 375, 441, 443, 446, 548, *702.*

Дорот, владелец ресторана в Петербурге — 432, 436, *770.*

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 385, *701, 724, 779, 794.*

«Бесы» — *701, 724, 725, 794;* Верховенский — *724, 725;* Лембке — *725.*

«Братья Карамазовы» — *779.*

«Подросток» — *779.*

«Преступление и наказание» — *701;* Лебезятников — *701.*

Дубенский (лит. псевд — Проезжий) Николай Филиппович, публицист, старший советник Рязанского губернского правления — 400, 451.

Дьёдонне Альфонс Эмиль, актер французской труппы петербургского Михайловского театра с 1864 по 1874 г — *772.*

Дюма (сын) Александр (1824—1895) — 82, *699, 708.*

«Дама с камелиями» («La dame aux Camélias») — *708;* Маргерит Готье — *708*

Дюссо, владелец ресторана в Петер-

бурге — 112, 183, 276, 279, 287, 293, 298, 311, 548, 568, 576, 577, 595, 596, 614, 615, 647, *702*.

Евангелие — 164, 235, 237, 239, 312, 513, *694, 706, 710, 713, 714, 715, 716, 741, 749, 750, 789, 794*

Евгения Монтихо (1826—1920), испанская графиня, затем французская императрица, жена Наполеона III — 598.

Европеус Александр Иванович (1826—1885), общ. деятель, петрашевец, участник движения тверских либералов в годы подготовки и проведения крестьянской реформы — *696*.

Европеус А М, жена А И Европеуса — *696*

Евтропий (Eutrope) (ум ок. 360), римский историк, автор «Краткой истории Рима» в 10 ти книгах — 112, 131, *702*.

«Breviam historiae Romanae» («Краткий курс римской истории») — 112, *702*.

Егарев, содержатель театра Буфф в Петербурге — *737*.

Екатерина II Алексеевна (1729—1796), русская императрица с 1762 г.— 328, *693, 700, 701, 736, 744*.

Елисеев, владелец гастрономических и виных магазинов в Москве и Петербурге — 183, 272, 276, 280, 287, 289, 293, 298, 299, 300, 302, 311, 430, 548, *733, 734*.

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), публицист, сотрудник «Современника» в 1858—1866 гг., один из редакторов «Отечественых записок» — *696, 751*.

Елисеева (урожд Гофштеттер) Екатерина Павловна (ум. 1891), жена Г. З Елисеева, автор воспоминаний — *696*.

Емельянов Алексей Андреевич (Степанович?) (род ок 1852 — ум после 1885), революционер, арестован под фамилией Боголюбова — *784*.

Еруслан Лазаревич, герой русской рукописной повести, записанной в начале XVII в, в сюжете которой отразились мотивы былины об Илье Муромце — *759, 760*.

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт, один из создателей сатир Козьмы Пруткова, сотрудничал в «Свистке» — *720, 727*.

Жемчужников Владимир Михайлович (1830—1884), поэт, один из создателей сатир Козьмы Пруткова — *706, 720*.

«О введении едиомыслия в России» — *706*.

Живокини Василий Игнатьевич (1808—1874), комедийный актер, с 1824 г. играл на московской сцене — *753*.

Жорже (Жоржен), петербургский портиой — 120

Жуковский (лит. псевдоним — Бернет) Александр Кириллович (1810—1864), поэт — 630.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 117, 119, 313

«Марьина роща» — 117, 119

Забелин Иван Егорович (1820—1908), историк и археолог, в 1879—1888 гг председатель Общества истории и древностей российских — 421, *765*.

«Домашний быт русских царей» — 421, *765*.

«Домашний быт русских цариц» — 421, *765*.

Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист и критик демократического лагеря, в 1869 г. эмигрировал, был членом I Интернационала, где примкнул к М. А. Бакунину — *807*.

«Письма об Испании» — *807*.

«Заря», ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге с 1869 по февраль 1872 г., редактор издатель В. В. Кашпирев — *666, 679, 741, 806*.

Засулич Вера Ивановна (1851—1919), участница революционного движения, член «Народной воли» — *784*.

Захария (б и б л) — 164, *706*.

«Звезда», ежемесячный литературно художественный и общественно-политический журнал, издается в Ленинграде с 1924 г — *796, 798*.

Зеленой Александр Алексеевич (1818—1880), генерал-адъютант, в 1862—1872 гг министр государственных имуществ — *744*

Зенон Элейский (род. ок. 500 до н. э), древнегреческий философ, основатель школы стоиков — 626.

Зет, лит. псевдоним публицистов (современников Салтыкова) С А. Кельцева и Н. М. Виленкина (Минского) — 451

Зон Н Х фон (ум. 1869), отставной иадворный советник, убит в петербургском притоне — 462, 577, *779, 798, 799*.

Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584), великий князь с 1533 г., с 1547 г.— царь и великий князь всея Руси — 303, *789*.

Иванов Иван Иванович (ум. 1869), студент Московской земледельческой академии, участник студенческих волнений, член общества «Народная расправа», затем организовал свой революционный кружок, за отказ подчиниться Нечаеву был убит — *727*

Иванов Максим, привлекался по делу об убийстве Н Х Зона — *779*.

Иванов-Разумник (наст фамилия Иваиов) Разумник Васильевич (1878—1946), историк литературы и социолог, в годы Великой Отечественной войны изменил родине, умер в Германии — *784*.

Ивановский Игнатий Иоакинфович (1807—1886), профессор Петербургского университета по кафедре международного права — 41, *687*.

«О началах постепенного усовершенствования государства» — *687*.

Иегова (б и б л) — 507

Иероваам (Jerovoam), древнееврейский царь Израильского государства (в 935—912 гг до н. э) — 460, 461, *778*

Ижболдин Иван Алексеевич, сарапульский купец, привлекался по делу Мясниковых — *787*.

Изабелла (Isabeau; 1830—1904), королева Испании с 1833 г., в 1868 г в результате начавшейся буржуазной революции была низложена — 596, 598, 600—604, 642, *805—807*.

Излер Иван Иванович (1811—1877), владелец увеселительного сада «Минеральные воды» в Петербурге (Новая Деревня) — *738, 770*.

Иисус Христос (Jesus) — 365, *709, 713, 715, 734, 750*.

Икс, литературный псевдоним журналистов (современников Салтыкова) С Т. Герцо-Виноградского (см), В М Дорошевича и А. П. Мельникова — 451

Илья Муромец, герой русского былинного эпоса — 405, *759, 760*.

Иоанн Златоуст (б и б л) — *759*.

Иоанн Креститель (б и б л) — *706, 710*.

Иоанн I Цимисхий (925—976), византийский император с 969 г ; в 971 г. вытеснил с Балканского п-ова киевского князя Святослава и присоединил к Византии Придунайскую Болгарию — 60, *693*.

Иов (б и б л.) — 237, *715*.

Иохим, московский каретный мастер — *714*.

Ирод (б и б л.) — *719*

Исаак (б и б л) — *794*.

Исав (б и б л.) — *794*

«Искра», еженедельный сатирический журнал революционно-демократического направления, издававшийся в Петербурге Н А Степановым (вышел из состава редакции в 1864 г.) и В. С. Курочкиным в 1859—1873 гг — *783*.

«Исполнение указа Петра Великого о бритии бород в Соликамске, 1705 г», анонимная заметка в «Русской старине» — *679, 680*.

«Исторический вестник», историко-литературный журиал, издавался в Петербурге в 1880—1917 гг. ежемесячно Издатели-редакторы С. Н Шубинский, А С. Суворин и др — *661, 733*.

Иуда Искариот (б и б л.) — 361, *750*.

Кабе Этьенн (1788—1856), французский утопический коммунист — *769*.

«Путешествие в Икарию» — 428, *769*.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, правовед и публицист, профессор Московского (1844—1848) и Петербургского (1857—1861) университетов — *664*.

Кадуджа, артистка опереточной труппы в Петербурге — 506

Кайданов Иван Кузьмич (1782—1843), профессор Царскосельского лицея, автор учебников по истории — 272, *733, 746*.

«Руководство к познанию всеобщей политической истории» — 272, *733, 746*.

Калигула (Caligula) Гай Цезарь (12—41), римский император с 37 г — 460, 461.

Канут — см. Кнуд.

«Камско-волжская газета», политическая и литературная газета, выходила в Казани в 1872—1874 гг., издатель редактор Н Агафонов — *803*.

Канкрин Егор Францевич (1774—1845), государственный деятель, министр финансов в 1823—1844 гг , провел в 1839 г. денежную реформу в России — 225, *713*.

Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ-идеалист — 21, *681*.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744), поэт и переводчик — *752.*

«О различии страстей человеческих» — *752.*

Караганов Амфилогий Александрович, петербургский мещанин, служил у купца Беляева К. В., привлекался по делу Мясниковых — *723, 724, 750, 791.*

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер террорист, член Ишутинского революционного кружка, 4 апреля 1866 г. совершил покушение на Александра II, казнен — 106, 111, *675, 696—697, 754, 755, 775.*

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), историк, писатель — 117, 176, 306, 313, 421, *707, 740, 741.*

«Бедная Лиза» — 117, 119, *741.*

«Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» — 176, *707.*

Карлос, дон, Младший (1848—1909), претендент на испанский престол под именем Карлоса VII, в 1872—1876 гг вел борьбу за власть — 617, 642

Карнович Евгений Петрович (1824—1885), писатель, переводчик, публицист и издатель, в 1875—1876 гг редактировал газету «Биржевые ведомости» — *725, 726, 775.*

«Предстоящий международный статистический конгресс в Петербурге» — *775.*

Кастелар (Кастелляр) Эмилио (1832—1899), испанский политический деятель, в 1873—1874 гг.— глава республиканского правительства — 641, *809.*

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), реакционный публицист, редактор-издатель «Московских ведомостей» в 1851—1855, 1863—1887 гг. и «Русского вестника» в 1856—1887 гг — 41, 537, *679, 687, 692, 694, 696, 704, 718, 746, 755, 758, 759, 770, 771, 784, 795.*

Катон Старший Марк Порций (234—149 до н э), политический деятель и писатель Древнего Рима — 625, *808*

Качурин, урядник экзекутор, служил в Московском дворянском институте — 127, *705.*

Кетле (Кеттле) Ламбер Адольф Жак (1796—1874), бельгийский статистик, астроном и физик, основатель научной статистики, инициатор созыва международных статистических конгрессов — 448, 454, 459, 462, 463, 465, 468, 470, 472, 474, 513, *773, 777.*

Клеопатра (69—30 до н. э), египетская царица с 51 г.— 439, 605, *771.*

Клюшников Виктор Петрович (1841—1892), писатель, автор «антинигилистических романов» — *704, 794.*

«Марево» — *794.*

Кнуд (Канут) Великий (ок 995—1035), датский король с 1014, фактически с 1017 г, в его правление Дания утвердила свою власть в Англии, Норвегии и части Швеции — 405

Козьма Прутков, коллективный псевдоним А К Толстого и братьев А М и В М. Жемчужниковых — 406, 407, 412, *706, 720, 757, 758, 761.*

Козьмин Борис Павлович (1883—1958), историк и литературовед — *773*

«Русская секция Первого Интернационала» — *774.*

Кок Поль де (1794—1871), французский писатель — 624, *735.*

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик-миллионер, руководитель ряда промышленных и финансовых предприятий, в конце 50 — начале 60-х годов выступал с либеральными статьями и речами — *712, 787, 788*

«Миллиард в тумане» — 495, *787.*

«Колокол», первая русская революционная газета, издававшаяся Герценом и Огаревым с июля 1857 до апреля 1865 г. в Лондоне и с мая 1865 до июля 1867 г. в Женеве — *689, 694—698, 752, 804.*

Колумб Христофор (1451—1506) — 14

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) юрист, писатель и общественный деятель — *750, 754, 787, 791*

«На жизненном пути» — *787, 791*

Конисский Георгий (1717—1795), литератор и богослов, ректор Киевской духовной академии, могилевский мстиславский и оршанский архиепископ — 328, *744, 745.*

«Речь на прибытие ее императорского величества в город Мстиславль» — 328, *744, 745*

Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), генерал адмирал, брат Александра II — *761, 762, 800.*

Корбе Коистантин Федорович (1821—1870), отставной штабс-ротмистр, екатеринославский помещик, спирит — 193, *709.*

Корнелий Непот (между 99 и 24 гг. до н. э.), римский писатель — 112, 437.

Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк — *690*.

«Общественное движение при Александре II (1855—1881)» — *690*.

Корренти Чезаре (1815—1888), итальянский журналист, государственный деятель и статистик, министр народного просвещения в 1866 и 1869—1872 гг.— 454, 465, 468, 470, 473, 484, 485, *773*.

Корф Николай Александрович, барон (1834—1883), общественный деятель и публицист — *703*.

Корш Валентин Федорович (1823—1883), журналист и историк литературы, в 1863—1874 гг. редактировал «Санкт-Петербургские ведомости», за выступление против гимназической реформы Д. А. Толстого в 1874 г. снят с редакторства — 591, *752, 753, 759, 763, 765, 768, 804*.

«История греческой литературы» — *753*.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк и писатель; в 1859—1862 гг. профессор Петербургского университета; с 1866 г. сотрудник «Вестника Европы» — *778*.

«Кремуций Корд» — *778*.

Кочетов Иоаким Семенович (1789—1854), протоиерей, профессор Петербургской духовной академии в 1814—1851 гг., академик с 1841 г.— *703*.

«Черты деятельного учения веры» — 117, *703*.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист и общ. деятель, славянофил, редактор-издатель «Русской беседы» (1856—1860), затем «Беседы» (1871—1872) — *739*.

Кошкин Петр Михайлович (род. ок. 1850), студент Московской медико-хирургической академии, член сибирского кружка Долгушина в 1869 г., арестован в 1870 г. по делу Нечаева, признан невиновным, в 1872 г. находился под надзором полиции в Самаре — *782*,

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), литератор, издатель «Отечественных записок» в 1839—1884 (с 1868 г. только номинальный) и газеты «Голос» (1863—1884) — *757, 764, 766, 804*.

Краних фельд Владимир Павлович (1865—1919), историк литературы, автор многих работ о Салтыкове-Щедрине — *690, 796, 798, 799, 803*.

«Среди ташкентцев» — *690*.

«Щедрин по новым раскопкам» — *803*.

Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), поэт, беллетрист, автор «антинигилистических романов» — *704, 794*,

«Панургово стадо» — *794*,

Кришна, один из героев древней индийской эпической поэмы «Махабхарата» — *760*.

Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842—1921), революционер-анархист, публицист, социолог, историк и географ, в 1872 г. вступил в I Интернационал — *684*.

«Записки революционера» — *684*

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769—1844) — 123, 177, 331, *704, 708, 714, 745, 775, 809*.

«Ворона и лисица» — 181, 453, *708, 775*.

«Дуб и Трость» — 123, *704*.

«Ларчик» — 331, *745*.

«Лев и комар» — 637, *809*.

«Орел и пчела» — 332, *745*,

«Осел и соловей» — 177.

«Петух и жемчужное зерно» — 229, *714*.

«Стрекоза и муравей» — 181, *708*.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), драматург, беллетрист и поэт — 8, 11, *690*.

«Торквато Тассо» — 8, 57, *690*.

Купцов, урядник-экзекутор, служивший в Московском дворянском институте — 127, *705*.

Куракин Алексей Борисович (ум. 1829), генерал прокурор, в 1807—1811 гг. министр внутренних дел — *680*.

Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт, журналист и общ. деятель, сотрудник «Отечественных записок», в 1859—1873 гг. редактировал сатирический журнал «Искра» — *761*.

«Русский театр в Петербурге» — *761*.

Курочкин Николай Степанович (1830—1884), поэт, журналист и общ. деятель, член редакции «Отечественных записок» (1868—1874 гг.), где заведовал библиографическим отделом — *751, 757, 758, 766*.

Кювье Жорж (1769—1832), французский естествоиспытатель — 403.

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор и музыкальный критик — 422, *765*.

Л — е, американский миллионер — *710.*

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), революционный деятель, публицист и критик, члеи «Земли и воли» 60-х годов и «Народной воли» в 1866 г., в 1870 г. эмигрировал, вступил в I Интериационал, участвовал в Парижской коммуне — 197, *691, 697.*

Ламартин Альфоис Мари Луи де (1790—1869), французский поэт-романтик, публицист, политический деятель — 65, 612, *695, 808*

Латкин Николай Васильевич (1833—1904), золотопромышленник, владелец еиисейских приисков — 279, *734*

Левассер Эмиль (1828—1911), французский экономист и историк — 448, 454, 457—459, 462—467, 470—472, 474, 475, 481, 523, *773, 778, 779.*

Леви Гастон Пьер Марк де, герцог (1764—1830), французский политический деятель, монархист — 616, *808.*

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк русской общественной мысли, журналистики и цензуры — *677, 796, 798, 799.*

«Неизданные произведения М Е. Салтыкова» — *677, 796, 798, 799.*

«Письма в редакцию» — *796.*

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — *704, 722, 723, 754, 781,*

Леонтьев Константии Николаевич (1831—1891), писатель, публицист, литературный критик — *776.*

«В своем краю» — *776.*

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), профессор римской словесности в Московском университете, публицнст, ближайший сотрудник М. Каткова по изданию «Русского вестника» (с 1856 г.) и «Московских ведомостей» (с 1863 г.) — 41, *687, 755.*

Лепретре, петербургский сапожник — 120

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 630, *689, 716, 809.*

«Ашик Кериб» — *716*, Магуль-Мегери — 247, *716.*

«Бэла» («Герой нашего времени») — *716;* Азамат — 247, *716.*

«Демон» — 95.

«Дума» — 50, 630, *689, 809.*

Лесков (лит. псевдонимы — Стебницкий и Проезжий) Николай Семеиович (1831—1895) — *704.*

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий писатель-просветитель — *759.*

«Натаи Мудрый» («Nathan der Weise») — 402, *759.*

Лжедимитрий I (ум. 1606), вероятио, беглый монах Григорий Отрепьев, выдавал себя за сына Ивана IV, ставлеиник польско-шляхетских интервентов и Ватикаиа, на русском престоле в 1605—1606 гг — 162, *797.*

Лжедимитрий II («Тушинский вор», ум. 1610), ставленник польско-шляхетских интервентов и Ватнкаиа, авантюрист, выдававший себя за сына Ивана IV — Димитрия — *797.*

Ликург, легендарный законодатель Древней Спарты — 36, *686.*

«Литературное наследство» — *661, 690, 717, 754, 757, 764, 766, 781, 789.*

«Литературный Ленинград», газета издавалась в 1933—1937 гг — *802.*

Ловато, французская опереточиая актриса — 282

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 386, 535, *697, 791, 795*

«На деиь восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» — 75, 520, *697, 791.*

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф и историк литературы с 1871 по 1875 г. начальник Главного управления по делам печати, сотрудничал в «Русском вестнике» — *718, 757, 761, 800.*

Лукка Паолина (1841—1909), австрийская оперная артистка; в 1868—1869 и 1877 гг. гастролировала в России — 272

Ляпунов Прокопий Петрович (ум 1611), рязанский дворянин, возглавил первое ополчение против польских и шведских интервеитов — 271, *732.*

Мадзини Джузеппе (1805—1872), одчи из вождей итальянского национальио освободительного движения — 488

Макашин Сергей Александрович, литературовед — *687, 690, 705, 717, 744, 757, 764, 777, 809.*

«В борьбе с реакцией» — *690,*

«Некрасов и литературная политика самодержавия» — *764.*

«Полное собрание сочинеиий Салтыкова-Щедрииа» — *777.*

«Салтыков-Щедрии Биография» — *687, 705, 717, 744, 809.*

Максимов Сергей Васильевич (1831—

1 901), писатель и этнограф, приобрел известность очерками из народного быта — *717*

«Лесная глушь» — *717.*

Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский экономист — *795*

«Опыт о законе народонаселения» («An Assay on the Principle of Population») — 540, *795*

Мамонов — см Дмитриев - Мамонов А М

Мария (б и б л) — 239, *715.*

Маркевич, военный портной — 630, 632.

Маркс Карл (1818—1883) — *663, 753*

Марлинский — см. Бестужев А А.

Мартос Кристино (1830—1893), испанскнй государственный деятель, после революции 1868 г — министр иностранных дел, затем юстиции, наконец — президент Национального собрания — 641, *809.*

Марс (м и ф.) — 446

Мартьянов Иван Николаевич (ум. 1859), казаиский мещанин, племянник и наследник купца К В Беляева — *748.*

Марфа (б и б л.) — 239, *715*

Марфори Карлос (1828—1892), фаворит испанской королевы Изабеллы II — 596, 600—606, 642, *805—807*

Марцинкевич, содержатель петербургского танцкласса — 454, *775*

Массильон Жан Баптист (1663—1743), французский проповедник, епископ клермонский, с 1719 г член Французской академии — 219

Мафусаил (б и б л) — 446, *772*

Мелье, владелец петербургской книжной лавки — 490, 641

Мельяк (Мейяк) Анри (1831—1897), французский драматург, автор театральных рецензий, фельетонов и пародий; совместно с драматургом Л Галеви писал комедии нравов, водевили либретто оперетт и опер — *689, 735, 754, 772, 793, 795.*

«Орфей в аду» («Orphée aux Enfers», либретто совместно с Л Галеви) — *795.*

«Перикола» (у Салтыкова—«Птички певчие»; «La Péricole», либретто совместно с Л. Галеви) — 440, *771—772*

«Прекрасная Елена» («La belle Hélène»; либретто совместно с Л Галеви) — 51, 409, *689, 710, 735, 761.*

«Разбойники» («Les Brigands»; либретто совместно с Л Галеви) — 411, *754;* Фальзакаппа — 389, *754.*

«Синяя борода» («Barbe bleue»; либретто совместно с Л. Галеви) — 282, 285, *735;* Бюлотта — 282, *735*

«Трикош и Каколе» («Tricoche et Cacolet»; совместно с Л. Галеви) — 524, *793*

«Фанни Лир» («Fanny Leare»; совместно с Л Галеви) — 440, 443, *772*

Менелай, в древнегреческой мифологии царь Спарты, герой «Илиады» и «Одиссеи» Гомера — 389

Менюе, француз-гувернер Царскосельского лицея — 123, *705*

Мессалина Валерия (I в) жена римского императора Клавдия, известная властолюбием, жестокостью и распутством — 36, 605

Меттерних Клемеис Венцель, князь (1773—1859), австрийский министр иностранных дел и фактический руководитель правительства до 1848 г, один из организаторов Священного союза — 173, 174

Мещерский Владимир Петрович, князь (1839—1914), писатель и реакционный публицист, в 1872—1914 гг издавал газету «Гражданин» — 36, 327, 334, *736, 737, 739, 740, 741, 746*

«Вперед или назад» — 307, 309, *740, 741.*

«Мои воспоминания» — *741*

«Наш женский вопрос» — *746*

«У театра Буфф» — *736*

Миллер-Красовский Николай Александрович (1828—1888), педагог, надзиратель Гатчинского николаевского сиротского института — *716*

«Основные законы воспитания» — 261, *716.*

Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист, публицист и экономист — 328, 333, *744*

«О свободе» («On Liberty») — 328, *744.*

Мильтиад Младший (конец VI — начало V в до н э), афинский государственный деятель и полководец — 36, *680*

Милютин Алексей Яковлевич, фабрикант, в 1735 г выстроил торговые здания на Невском проспекте в Петербурге (Милютин ряд) — 196, 226, 602, *806*

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт, в 60-х годах постоянный сотрудник «Современника», «Русского слова», «Искры», с 1865 г.— «Будильника» — *717, 783.*

«В сумерках» — *717*

Митрофания (в миру баронесса Розен), игуменья Серпуховского Владычно Покровского монастыря — 592, 593 *804, 805.*

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, с 1868 г член редакции «Отечественных записок» — *671, 750, 757, 762, 763, 766, 767, 768, 805.*

«Беседа со старым воробьем» — *757, 766*

«Литературные и журнальные заметки» — *763, 767.*

«Санкт Петербургские ведомости». Их настоящее и будущее» — *750.*

Михневич Владимир Осипович (1841—1899), писатель, театральный критик, историк русской культуры и народного быта — *700, 702, 733, 734, 739, 742, 752, 770, 772*

«Наши знакомые» — *702, 734, 770*

«Петербург весь на ладони» — *700, 733, 739, 742, 752, 772.*

Мнишек Марина (ум 1614), политическая авантюристка, дочь саидомирского воеводы Ежи Мнишека, жена Лжедимитрия I — 557, *797.*

Моисей (библ.) — 405, *761, 807*

Молешотт Якоб (1822—1893), немецкий физиолог — *697, 746.*

Мольер (наст. имя — Жан-Батист Поклен, 1622—1673) — *712*

«Амфитрион» — *712;* Созий — 214, *712.*

Монахов Ипполит Иванович (1842—1877), драматический актер, с 1865 г состоявший в труппе Александринского театра; был широко известен как чтец — 440 *771.*

Монпансье Антуан Мари Филипп Людовик Орлеанский, герцог (1824—1890), сын Людовика-Филиппа, был женат на сестре испанской королевы Изабеллы II; в 1868 г. претендовал на испанский трон — 642.

Монтепен Ксавье де (1823—1902), французский писатель и журналист, автор мелодрам и романов — 93, *698.*

Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Бред (1689—1755), французский писатель, публицист, философ просветитель — 328, 330, *744.*

Морошкин Федор Лукич (1804—1857), профессор гражданских законов в Московском университете — 468, *780.*

«Речь об уложении царя Алексея Михайловича и о последующем его развитии» («Об уложении и его дальнейшем развитии») — 468, *780*

«Московские ведомости», официальная газета, выходившая в 1756—1917 гг., 1856—1862 гг под редакцией В Ф. Корша — либерально-обличительного направления, 1863—1887 гг под редакцией М. Н Каткова (до 1874 г совместно с П. М Леонтьевым) — реакционная — 390, 437, *661, 687, 692—694, 696, 704, 733, 755, 758, 759*

«Московский наблюдатель», энциклопедический журнал, выходил в Москве два раза в месяц в 1835—1839 гг., редактором до 1837 г был В П Андросов с 1838 г руководство журналом негласно перешло к В Г Белинскому — 418, *765*

Мочалов Павел Степанович (1800—1848), актер московского Малого театра с 1817 г — 386, *753.*

Мундт Николай Петрович (1803—1872) литератор и переводчик — *782.*

Муравьев (Вешатель) Михаил Николаевич, граф (1796—1866), генерал адъютант, член Государственного совета, министр государственных имуществ в 1857—1862 гг; в 1863 г в качестве военного губернатора Северо Западного края жестоко подавлял восстания в Литве и Белоруссии — 24, 46, *668, 684, 688, 689, 690, 693, 696—697, 788.*

Мясников Александр Константинович отставной ротмистр, занимавший до 1871 г должность адъютанта начальника III Отделения — *723, 724, 742, 748—750, 754, 755, 763, 786, 787, 790, 791.*

Мясников Иван Константинович, отставной надворный советник, до 1871 г — почетный смотритель С Петербургского вознесенского училища — *723, 724, 742, 748—750, 754, 755, 763, 786, 787, 790, 791*

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911), художник, член Товарищества передвижных художественных выставок — *720*

Назимов Владимир Иванович (1802—(1874), генерал-адъютант, в конце 1855 г виленский военный губернатор, гродненский, минский и ковенский генерал губернатор — *712*

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 335, *703, 714.*

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873), французский император в 1852—1870 гг.— 61, 173, 174, 302, 310, 327, 329, *684, 694, 739, 743—745.*

Нарваэс Рамон Мария (1800—1868), испанский генерал, государственный деятель, жестоко подавлял революционные движения в 1848 и 1867 гг — *807.*

Нарышкина (урожд Киорринг) Надежда Ивановна (1827—1895), жена А. Дюма-сына с 1864 г.— *699*

Невтон — см. Ньютон.

«Неделя», еженедельная либерально-народническая политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге с марта 1866 по 1901 г.— *670, 791*

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 606, *661, 719, 727, 728, 745, 751, 757, 758, 764, 766, 768, 773, 786, 807*

Нерон (Neron) Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император с 54 г.— 460, 461.

Нессельроде (урожд Закревская) Лидия Арсеньевна, графиня (род. 1830), жена Д Н. Нессельроде, в 1850—1851 гг. любовница Дюма-сына — *699.*

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), революционер народник, организатор общества «Народная расправа» (1869), после убийства студента И. И. Иванова бежал за границу, в 1872 г. швейцарскими властями выдан русскому правительству, осужден в 1873 г. к 20-ти годам каторги — *698, 701, 724, 725, 727, 738, 754, 762, 782, 783.*

Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности, автор «Римской истории» — 34, *686.*

«Чтения о древней истории в Боинском университете» («Vorträge über alte Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten») — 34, *686.*

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), мемуарист и литературный критик; в 1847—1848 гг. официальный редактор «Современника» — *668, 712, 722, 725, 744, 761.*

«Дневник» — *668, 712, 722, 725, 744, 761.*

Николай I (1796—1855), русский император с 1825 г.— *662, 681, 687, 688, 695, 713, 808, 809.*

Николай Чудотворец (б и б л) — 435

«Новое время», реакционная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1868—1917 гг., с 1869 г — ежедневно; издатель-редактор с 1876 г.— А. С. Суворин — *760, 787, 791.*

Ньютон (Невтон) Исаак (1642—1727) — 520, *791.*

«Общее дело», русская политическая и литературная газета, выходившая ежемесячно в Женеве с мая 1877 по ноябрь 1890 г. Основатель газеты А. Х. Христофоров, редакторы и главные сотрудники — П А. Белоголовый, В. А. Зайцев, Н О. Осипов — *690, 691, 692.*

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н э — 17 и э.), римский поэт, в 8 г. и э. был сослан на берег Дуная в местечко Томы — 281, *735.*

«Одесский вестник», политическая и литературная газета, выходившая в 1827—1893 гг , с 1828 г — ежедневно — *670, 751, 792.*

Одинцов, владелец магазина фруктово колониальных товаров на Невском проспекте в Петербурге — 272, 599, 613, 621, 622, 646, *733*

Олоцага Салюстиано (1803—1873), испанский дипломат, посол в Париже — 641, *809.*

Ольга (в крещении Елена; ум. 969), киевская княгиня, стоявшая во главе Древнерусского государства в годы малолетства ее сына Святослава Игоревича (с 945 г) — 491.

Орфей (м и ф.) — 534, *795.*

Оссиан, легендарный герой кельтского народного эпоса, по преданию, живший в III в на юге Ирландии — 105

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — *663, 742.*

«Свои люди — сочтемся!»; Большов — *742.*

«Отечественные записки», ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге с 1818 г; с 1868 г. при Некрасове и Салтыкове-Щедрине орган революционной демократии, закрыт в 1884 г.— 645, *661, 664, 672, 673, 676, 677, 681, 687, 688, 691, 698, 699, 703, 706, 711, 712, 717, 720, 725, 730—734, 736, 740, 742, 743, 747, 748, 750—752, 755—757, 762—764, 766—768, 770—773, 775, 776, 781, 785, 786, 791—793, 797, 798, 800, 805, 807, 808*

«Отче наш», православная молитва — 98, 136, *701, 705.*

Оффенбах Жак (Якоб; 1819—1880), французский композитор, один из основоположников классической оперетты — 389, 409, 410, 422, *689, 710, 735, 754, 761, 772, 795.*

«Герцогиня Герольштейнская» («La Grande Duchesse de Gérolstein»)

у Салтыкова — «Le Sabre de mon père» — 282, 285, 287, 319, *735, 736.*
«Орфей в аду» («Orphée aux Enfers») — *795.*
«Пернкола» (у Салтыкова — «Птички певчие»; «La Péricole») — 440, *771, 772.*
«Прекрасная Елена» («La belle Hélène») — 51, 409, *689, 710, 735, 761.*
«Разбойники» («Les Brigands») — 411, *754,* Фальзакаппа — 389, *754.*
«Синяя борода» («Barbe bleue») — 282, 285, *735;* Бюлотта — 282, *735.*

Ш. Б., автор статьи в «Неделе» — *670*

«Настоящие ташкентцы» — *670.*

Павел I (1754—1801), русский император с 1796 г — *680*

Павлов (лит псевдоним — Оптухин) Иван Васильевич (1823—1904), журналист, учился с Салтыковым в Московском благородном пансионе и в лицее, был близок славянофилам, в 1859—1861 гг. издавал еженедельник «Московский вестник» — *680.*

Пакувий Марк (род. ок 220 — ум. ок 130 до н. э), древнеримский поэт, писал также трагедии — 617, *808.*

Палкин, владелец ресторана в Петербурге — 58, 62, 63, 65, 311, 315, 439, 548

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), общественный деятель, публицист, мемуарист и издатель, член петербургского комитета «Земли и воли» — *685, 800.*

«Воспоминания» — *685, 800.*

Папковский Борис Васильевич, литературовед — *764.*

«Некрасов и литературная политика самодержавия» (в соавторстве с С. А. Макашиным) — *764.*

Паска Алиса Мария (1836—1914), актриса французской труппы петербургского Михайловского театра с 1871 по 1876 г.— 272, 440, *772.*

Патросиния (Patrocinia), монахиня, наставница испанской королевы Изабеллы II — 602—604, *806.*

Патти Аделина (1843—1919), итальянская певица, дебютировала в Петербурге в начале января 1869 г.— 272, 440, 548, 549.

Пашино Петр Иванович (1836—1891), путешественник и журналист, в 1866 г. был переводчиком в Средней Азии — *688, 689.*

«Туркестанский край в 1866 году Путевые заметки» — *688, 689.*

Перикл (493—429 гг. до н. э), государственный деятель Афинской республики, оратор и полководец — 549

Персиньи Жаи Жильбер Виктор, граф Фиален (1808—1872), бонапартист, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., министр внутренних дел в 1852—1854 гг. и 1860—1863 гг., посол в Англии в 1855—1858 и 1859—1860 гг — 600.

«Петербургская газета», политическая и литературная газета, основаниая в 1867 г И А Арсеньевым, выходила до 1918 г., издатели-редакторы И А Арсеньев, С. Н. Худеков; редакторы — В К. Тихомиров и И. А. Баталин — *661, 736, 804.*

«Петербургский листок», полубульварная газета «городской жизни и литературная», издавалась с 1864 г — *670, 767*

Петр I (1672—1725), российский царь с 1682 г, император — с 1721 г — 10, 11 16, 124, 467, 468, *670, 679, 771, 779*

Петр III (1728—1762), русский император в 1761—1762 гг — *693.*

Петр Амьенский (у Салтыкова — Пикардский) (ок. 1050—1115), французский монах, предводитель Северофранцузского отряда крестоносной бедноты, выступление которой в марте 1096 г послужило началом крестовых походов — 91.

Петров Александр Григорьевич (1802—1887), председатель Санкт Петербургского цензурного комитета в 1865—1884 гг.— *800.*

Пий IX (Джованни Мариа Мастаи Феррети), граф (1792—1878), папа римский с 1846 г., в период итальянской революции поддерживал либеральную партию — 515, *713, 790.*

Пиль Роберт (1788—1850), английский государственный деятель, в 1821—1827 и 1828—1830 гг. министр внутренних дел, в 1834—1835 и 1841—1846 премьер министр — 310.

Пирль Кора — 612

Пирх, биржетский городничий — *680.*

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — 418.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — *704, 730, 794,*

«Взбаламученное море» — *794.*

Платон (427—347 до и э), древнегреческий философ-идеалист — 520, *791.*

Плещеев Александр Николаевич (1825—1893), поэт, прозаик и критик, сотрудничал в «Современнике» и «Отечественных записках» — *757, 766.*

Плиний Старший (ок 24—79), римский писатель, ученый и государственный деятель, автор многочисленных сочинений по военному искусству, риторике и естественным наукам — *810.*

Плотицын Максим Кузьмич, купец-миллионер, глава скопческой секты, главный обвиняемый в процессе мормаиских скопцов — 198, *710*

Плутарх (ок 46 — ок 127), древнегреческий философ и писатель — *667, 707, 808*

«Сравнительные жизнеописания» («De viris illustribus», «О знаменитых мужах») — 177, *667, 707.*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель и журналист, академик с 1841 г.; в 1841—1856 гг редактор журнала «Москвитянин», автор драмы «Марфа Посадница» и рассказов из народного быта — 281, 421, *735.*

«Исследование о месте погребения князя Дмитрия Михайловича Пожарского» — 281, *735*

Подолинский Андрей Иванович (1806—1886), поэт, печатался в 20—30 х годах — 630

Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (ок 1578—1641), полководец, один из организаторов борьбы с польско-шведской интервенцией, в 1611—1612 гг. вместе с К Мининым возглавил народное ополчение — 281, *735.*

Покусаев Евграф Иванович, литературовед — *663, 665, 677, 678, 690, 717, 804.*

«Господа ташкентцы» Салтыкова-Щедрина» — *677.*

«Революционная сатира Салтыкова-Щедрина» — *663, 665, 677, 690, 717, 804*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), беллетрист, драматург, критик, историк, автор казенно-патриотических драм — *753, 782.*

«Полицейские ведомости» — см. «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции».

Полозов Николай Александрович (род 1856), ученик Московского лицея, в 1872 г. привлекался в Харькове к суду за убийство крестьянина П Мерзликина с целью ограбления — 427, *769.*

Поляков (у Салтыкова — сын Сирахов) Самуил Соломонович (1837—1888), петербургский домовладелец и коммерсант, миллионер, держатель большинства акций общества по постройке и эксплуатации железных дорог — 275, *734.*

Помаре IV Аимата (1822—1877), королева Таити, вела борьбу против французского протектората, закончившуюся в 1846 г полным подчинением Таити Франции, после провозглашения во Франции монархии в 1852 г отказалась от престола в пользу сыновей — 605

Понсон-дю-Террайль Пьер Алексис (1829—1871), французский писатель, автор многотомных приключенческих (серия «Похождения Рокамболя») и исторических (серия «Юность короля Генриха IV») романов, а также романа нравов («Парижские драмы») — 93, *698.*

Постоянный наблюдатель, псевдоним обозревателя газеты «Азовский вестник» — *804.*

«Новости журналистики» — *804.*

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), путешественник, географ и этнограф, исследователь Сибири, Монголии и Китая — *782.*

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II, в 1776 г. генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний — 94, 118, *700*

«Правительственный вестник», ежедневная официальная газета, выходившая в Петербурге в 1869—1917 гг.— *695, 738, 782.*

Пратц В В , владелец типографии в Петербурге — *731.*

Прим Хуан (1814—1870), испанский генерал и политический деятель, несколько раз пытался поднять армию против абсолютистского режима Изабеллы II, в 1869—1870 гг — премьер-министр, поддерживал Амедея Савойского в его притязаниях на испанский престол — 603

Проезжий, лит. псевдоним литераторов (современников Салтыкова). Н. Ф. Дубенского (см.), Н. С. Лескова (см.) и С В. Магницкого — 400, 451.

Прокопович Феофан (1681—1736), церковный и общественный деятель, ученый и поэт — *772.*

«Духовный регламеит» — *772.*

Прихожий, лит. псевдоним литераторов (современников Салтыкова) Н. Г. Кувайцева, В. С. Лихачева, И. С. Ремезова и А А. Тихоиова — 400, 451.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма — 95, 98, *701.*

Псалтырь — см Библия.

Пушкин (Pouschkinne) Александр Сергеевич (1799—1837) — 102, 114, 630, *693, 694, 700, 701, 703, 716, 752, 756, 761, 781.*

«Аквилон» — *756.*

«Бородинская годовщина» — 62, *694.*

«Братья-разбойники» — 60, *693*

«Брожу ли я вдоль улиц шумных. » — 475, *781.*

«Египетские ночи» — 439, *771.*

«Кавказский пленник» — *700.*

«Каменный гость» — *761.*

«Клеветникам России» — 72, *697.*

«Ночной зефир струит эфир» — 114, *703.*

«Стансы» — 377, *752.*

«Черная шаль» — 249, *716.*

Пьетри Иоахим (Жоаким) Мари (1818—1873), префект полиции в последние годы царствования Наполеона III — 61, 329, *694, 745.*

Пьетри Пьер Мари (1810—1864), префект парижской полиции в 1851—1858 гг — 61, 329, *694*

Пьяве Франческо (1810—1876), итальянский либреттист, в 1859—1867 гг. поэт театра «Ла Скала» — *806*

«Риголетто» (либретто) — 597, *806.*

Рабле Франсуа (род. 1483 или ок. 1494—1553), французский писатель и ученый-гуманист — *797.*

«Гаргантюа и Пантагрюэль» — 566, *797.*

«Развлечение», еженедельный юмористический журнал, выходил в Москве в 1859—1905 гг; в 1907—1916 как приложение к «Московскому листку»; издатель-редактор до 1881 г.— Ф. Б Миллер — *804*

Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758—1794), деятель французской революции конца XVIII в., вождь якобинцев — 408.

Ровоам, царь Иудеи, сын Соломона — *778*

Розен Андрей Евгеиьевич, барон (1800—1884), декабрист, член Северного общества с 1825 г.; в 1861—1867 гг. был мировым посредником в Харьковской губернии — *794.*

Ромачович-Славатинский Александр Васильевич (1832—1910), историк, профессор государственного права Киевского университета — *677.*

«Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» — *677.*

Романовы, династия русских царей, занимавшая престол в 1613—1917 гг — *693*

Ру, режиссер и комик опереточной труппы, игравшей в 1867 г. в «Заведении искусственных минеральных вод», а затем в театре Буфф — 443

Руадзе, владелец дома в Петербурге — *772.*

«Русская старина», ежемесячный исторический журнал, выходил в Петербурге в 1870—1918 гг; до 1892 г редактор издатель М И Семевский — *661, 664, 678, 679, 680, 703.*

«Русские ведомости», общественно политическая газета, издававшаяся в Москве в 1863—1918 гг — *661, 768, 775.*

«Русский архив», историко-литературный журнал, издававшийся в Москве П И. Бартеневым в 1863—1912 гг.— 17, *679.*

«Русский вестник», литературно политический журнал, издававшийся в Москве М Н Катковым в 1856—1887 гг., до 1861 г придерживался умеренно либерального направления, затем перешел на охранительные позиции — 313, *661, 774, 776*

«Русский мир», ежедневная общественно-политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге с сентября 1871 по январь 1880 г, основана М. Г Чернявым — *661, 670, 671, 710, 721, 753, 767.*

Садык-Паша — см. Чайковский М. С.

Саламатов, петербургский кухмистер — 640, 642

Салтыков (Н Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889).

«Благонамеренные речи» — *672, 675, 700, 709, 748, 755, 788, 799*

«Брусин» — 383, *747, 753.*

«В среде умеренности и аккуратности» — *685, 700, 707, 777, 805;* Молчалин — *685.*

«Валентин Бурмакин» («Пошехонская старина») — *742.*

«Вяленая вобла» («Сказки») — *780.*
«Глуповское распутство» — *679, 770;* Ферапонт Сидорович — *770.*
«Господа Головлевы» — *685, 705, 711;* Порфирий Головлев — *705, 711;* Степка-балбес — *705*
«Господа Молчалины» («В среде умеренности и аккуратности») — *672*
«Губернские очерки» — *741.*
«За рубежом» — *700, 752.*
«Завещание моим детям» («Признаки времени») — *737.*
«Запутанное дело» — *725, 747.*
«Здравствуй, милая, хорошая моя!» («Помпадуры и помпадурши») — *798.*
«Испорченные дети» («Для детей») — *700, 707, 716, 739.*
«История одного города» — *674, 679, 746, 790,* Угрюм-Бурчеев — *807.*
«Итоги» — *672, 704, 746.*
«Июльское веяние» («Недоконченные беседы») — *786, 808.*
«Книга об умирающих» (не завершена) — *662, 770;* Живиовский — *770.*
«Круглый год» — *679, 700, 777*
«Культурные люди» — *732;* Лизоблюдов — *732.*
«Мелочи жизни» — *740.*
«Мнения знатных иностранцев о помпадурах» («Помпадуры и помпадурши») — *678.*
«На заре ты ее не буди» («Помпадуры и помпадурши») — *737.*
«Наша общественная жизнь» — *664, 726, 745, 753, 758, 775, 776, 787.*
«Наши бури и непогоды» — *729.*
«Недокончейные беседы» — *705, 735, 754, 755, 761, 808.*
«Несколько полемических предположений» — *754.*
«Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» («Признаки времени») — *681, 732.*
«Один из деятелей русской мысли» — *686, 724*
«Первая русская передвижная художественная выставка» — *720.*
«Пестрые письма» — *692, 734, 755, 808.*
«Письма о провинции» — *700.*
«Письма к тетеньке» — *700, 703, 706, 707, 744, 777.*
«Помпадуры и помпадурши» — *663, 672, 674, 678, 679, 688, 707, 737, 738, 745, 772, 776, 777, 797, 798;* Козелков — *777, 798,* Кротиков — *776, 780;* Удар-Ерыгин — 43, *688*
«Похороны» («Сборник») — *752, 755.*
«Пошехонская старина» — *742, 752, 788;* Затрапезные — *788;* Захар Капитоиович — *752,*
«Пошехонские рассказы» — *679, 777.*
«Признаки времени» — *664, 681, 732, 737, 744, 774, 776, 780*
«Приятное семейство» (не завершено) — *807.*
«Пропала совесть» («Сказки») — *808.*
«Противоречия» — *747, 759.*
«Самодовольная современность» («Признаки времени») — *702.*
«Сатиры в прозе» — *688, 738;* Бирюков — *738;* Удар Ерыгин — 43, *688.*
«Скрежет зубовный» («Сатиры в прозе») — *706.*
«Смерть Пазухина» — *770;* Живиовский — *770.*
«Современная идиллия» — *685, 700, 729, 730, 741.*
«Современные призраки» — *681.*
«Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» — *698, 727, 762*
«Тихое пристанище» — 445, *772.*
«Уличная философия» — *704, 777.*

Салтыков Сергей Евграфович (1829—1872), брат М Е. Салтыкова — *799.*

Сальванди Нарцисс Ахилл де, граф (1795—1856), французский государственный деятель и публицист — 304, *739.*

Санд (Занд) Жорж (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804—1876) — 65, *692.*

Санковская Екатериина Александровна (1816—1878), балерина, с 1836 г. ведущая артистка Московского Большого театра — 386.

«Санкт-Петербургские ведомости», официальная ежедневная газета, выходившая в 1728—1917 гг.; в 1863—1874 гг. арендные права перешли к В Ф. Коршу — 383, 391, 393, 394, 397, 399, 401, 413, 438, 456, 477, 491, 494, 592, 622, 648, 652, 653, *661, 670, 698, 709, 721, 723, 736—738, 741, 748—757, 759, 760, 762—769, 773, 774, 777, 778, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 795, 804, 805, 809.*

«Свисток», сатирический отдел в журнале «Современник», созданный Н. А. Добролюбовым; всего вышло девять номеров за 1859—1863 гг.— *706, 762, 765.*

Святослав Игоревич (ум. в 972 или 973), великий князь Киевский с 945 г.— 60, *693*.

«Северная почта», ежедневная газета, издававшаяся министерством внутренних дел в Петербурге с 1862 по 1868 г.; в *1862—1863 гг. редакторы А. В. Никитенко*, затем И. А. Гончаров, с 1863 г. редактировалась Д. И. Каменским — *697*.

Селкирк Александр, английский боцман, прототип героя романа Дефо «Робинзон Крузо» — *685*.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк и публицист, автор популярных работ, характеризующих быт и придворную жизнь в России первой половины XVIII в., с 1870 г. начал издавать журнал «Русская старина» — 17, *679, 680*.

Семирамида, легендарная царица Ассирии, историческим прототипом которой была ассирийская царица Шаммурамат, правившая страной в 809—806 гг. до н. э.— 605.

Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616).

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — *685*.

Серрано-и-Доминтес Франсиско (1810—1885), испанский генерал и политический деятель, в революции 1868 г. командовал армией повстанцев, в 1869—1871 гг — регент, в 1871 г.— премьер-министр, в 1874 г. фактически установил военную диктатуру — 601—603, *806*.

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), естествоиспытатель, основоположник физиологической школы, создатель естественнонаучного направления в психологии — 281, *696, 734*

«Физиология нервной системы» — *696*.

«Физиология растительных процессов» — 281, *734*.

«Сияние», иллюстрированный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге в 1872—1874 гг. еженедельно, ред. В. П. Турба — *720, 747, 773*.

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), критик и историк литературы, народник; с 1868 г. постоянный сотрудник «Отечественных записок» — *671, 672, 768*.

«История новейшей русской литературы» — *672*.

Скарятин Владимир Дмитриевич, журналист, редактор газеты «Весть» (1863—1870) — *740*.

Скороходов И. Н., владелец типографии в Петербурге — *731*.

Скриб Эжен (1791—1861), французский драматург — *782, 789*.

«Жидовка» (*«La Juive»*; *либретто*) — 507, *789*.

«Ольга, русская сирота» — 481, *782*.

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878), писатель, революционный демократ; в 70-х годах секретарь редакции «Отечественных записок» — *770*.

«Хороший человек» — *700*.

«Слово о полку Игореве», произведение древнерусской литературы XII в — 137, *705*.

Смуров, владелец гастрономического магазина в Петербурге — 430.

«Собрание лучших русских произведений» — *692*.

«Современник», литературно-политический журнал, основанный Пушкиным в Петербурге, издавался с 1836 г ; с 1847 г при Некрасове и Панаеве — орган революционной демократии, в 1866 г. закрыт правительством — *695, 706, 716, 720, 725, 762, 765*.

Соколинский Василий, родственник Алымовой Е. М.— *709*

Сократ (ок. 469—399 до н э.), древнегреческий философ-идеалист — 37, *686*.

Солодовников М Г., московский миллионер, принадлежал к секте скопцов — 592, 593, *805*.

Соломон (1020—980 до н. э.), царь Иудеи — *717, 778*.

Солон (ок. 638 — ок. 559 до н. э), поэт, политический деятель Древних Афин — 36, *686*.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), юрист, публицист и автор работ по международному уголовному праву и процессу, с 1864 г.— адвокат — *782*.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), государственный деятель, с 1808 г. стал ближайшим доверенным лицом Александра I по всем вопросам внутренней политики государства — *713*

Станкевич Александр Владимирович (1821—1912), писатель и критик, в 40-х годах сотрудник «Современника» — 36, *686*

«Тимофей Николаевич Грановский Биографический очерк» — 36, *686*.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства, археолог — *759—761, 765, 766.*

«Критика моих критиков» — *761.*

«Письма к родным» — *765*

«Происхождение русских былин» — *759—761*

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк и публицист, в 1866—1908 гг редактор-издатель журнала «Вестник Европы» — *796, 800.*

«Статистический временник Российской империи», выходил в Петербурге в 1866—1890 гг. в трех сериях — 416.

Стопановский (литературный псевдоним — 100) Михаил Михайлович (1830—1877), литературный критик — *767.*

Страбон (ок. 63 г до н. э — ок 20 г. н. э.), древнегреческий географ и историк, путешествовал по Грецни Малой Азии, Италии и Египту — 403, *759.*

«География в 17 книгах» — 403, *759*

Страхов (лит. псевдоним — Н. Косица) Николай Николаевич (1828—1896), публицист, критик философ-идеалист, одии из идеологов «почвенничества»; с 1861 г. сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха», затем в «Заре» — 313, *741.*

«Вздох на гробе Карамзина» — *741.*

Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878), поэт и переводчик Гете, служил в одно время с Салтыковым в канцелярии военного министерства — *712.*

Суворин (литературные псевдонимы — А. Бобровский, Незнакомец) Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и книгоиздатель, сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Современник», «Вестник Европы» — *731, 735, 736, 741, 769, 783, 784, 787, 789, 795, 804*

«Миллиард в тумане» — 495, *787.*

«Русский календарь на 1872 год» — *789, 804*

«Судебный вестник», газета (с 1869 г.— ежедневная), издававшаяся в 1866—1877 гг в Петербурге; в 1866—1868 гг. официальный орган министерства юстиции — *710*

Сумароков Александр Петрович (1717—1777), поэт и драматург — *705, 762.*

«Димитрий Самозванец» — 125, *705,* Димитрий — *705.*

«Ода на суету мира» — 410, *762.*

Сури Жюль Огюст (1842—1915), французский философ и архивист — 491, *784, 785.*

«Очерк античных нравов Делия Тибулла» («Une étude des moeurs antiques; La Délia de Tibulle» — 491, *784, 785*

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург — *699, 706*

«Смерть Тарелкина» — *706;* Тарелкин — 162.

Сцевола Квинт Муций (159—82 до н. э), римский юрист, один из идеологов рабовладельческого права — 273, *734*

«Сын отечества», исторический, политический и литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1812—1852 гг., затем в 1856—1861 гг. возобновлен А. В. Старчевским — *803.*

Танеев Владимир Иванович (1840—1921), адвокат, философ и социолог, революционно-демократический общественный деятель, выступал защитником на процессе нечаевцев, был близок с Салтыковым — *696.*

«Танька, разбойница растокинская, или Царские терема», историческая повесть XVIII столетия, «сочинения Сергея... кого» — 121, 128, 131, *704.*

Татаринова (урожденная Буксгевден) Екатерина Филипповна (1783—1856), полковница, основательница «духовного союза», близкого к скопцам и хлыстам, а затем сектантской колонии под Петербургом (1825—1837), в которую входили виднейшие представители высшего света; пользовалась покровительством Александра I, в 1837 г. Николай I закрыл колонию, а ее сослал в монастырь — *715.*

Таут, полулегендарный финикийский ученый, которому приписывали изобретение «письменных букв» — 336, *746*

Тацит Публий Корнелий (ок 55 — ок. 120), римский историк, оратор и политический деятель — 460, 461, *778.*

«Анналы» («Летопись») — *778.*

«История» — *778*

Тедески, петербургский портной — 353

Теофиль, артист опереточной труппы, игравшей в 1867 г. в «Заведении искусственных минеральных вод», а затем в театре Буфф — 443.

Терпигорев (лит. псевдоним — Сергей

Атава) Сергей Николаевич (1841—1895) писатель — *733.*

«Воспоминания» — *733.*

Тестов, владелец ресторана в Москве — 458.

Тиберий (Tiberius, Тиверий) Клавдий Нерон (42 до н э.—37 н. э.), римский император с 14 г. н. э.— *778.*

Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н. э.), римский поэт — 491, *722, 785.*

Тимашев Александр Егорович (1818—1893), генерал-адъютант, начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением в 1856—1861 гг.; министр внутренних дел в 1868—1877 гг — *744, 800.*

Тимофеев Алексей Васильевич (1812—1883), поэт-романтик, которого Сеиковский называл «вторым Байроном»; с начала 40-х гг перестал печататься — 630.

Тиссо Симон-Андре (1728—1797), французский врач, профессор, практиковал в Лозанне — 648, *810*

«О здравии ученых людей .» — 648, *810*

Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э.), древнеримский историк — *697.*

Тит Флавий Веспасиан (39—81), римский император с 79 г. из династии Флавиев — *808.*

Тичборн, английский богач, известен скандальным судебным процессом вокруг его наследства в Лондоне в начале 70 х годов — *786*

Токвиль Алексис, граф (1805—1859), французский публицист, политический деятель и историк; с 1841 г.— член Французской академии, один из лидеров контрреволюционной «партии порядка» — 327—331, 333, 335, 336, 395, *743, 744, 756.*

«Демократия в Америке. 1835—1840» («La Démocratie en Amérique») — *743, 744*

«Старый порядок и революция» («L'Ancien régime et la Révolution») — 327, 395, *743, 756*

Толстой Алексей Константинович, граф (1817—1875), писатель и драматург — 313, 503, *701, 720, 765, 789*

«Баллада с тенденцией» — 313, 314, 421, *765.*

«Вздымаются волны» — *701.*

«Князь Серебряный» — *789;* Серебряный — 503, *789.*

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), государственный деятель, с 1865 г. обер-прокурор Синода, с 1866 до 1880 г совмещал эту должность с управлением министерством народного просвещения — *702, 719, 720, 739, 745, 771.*

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — *662, 794*

Толстой Феофил Матвеевич (1809—1881), публицист, музыкальный критик, композитор и писатель, член совета Главного управления по делам печати — *691, 764.*

Топете, правильнее Топете и Карбалью Хуан Баутиста (1821—1885), адмирал, испанский политический деятель, во время революции 1868 г возглавил экипаж, восставшую против абсолютизма Изабеллы II, после падения монархии — морской министр — 603.

Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769), поэт, переводчик и литературный критик — 631.

Трепов Федор Федорович (1812—1889) генерал-адъютант; в 1866—1878 гг. петербургский градоначальник — *777, 784.*

Трувор, полулегендарный древнерусский князь, брат Рюрика; по сообщению «Повести временных лет», княжил в Изборске во второй половине IX в — 491 492.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 454—456, *695, 747, 773, 775—777, 781, 783, 794, 805.*

«Бурмистр» («Записки охотника») — *695, 747,* Пеночкин — 345 *695, 747*

«Дворянское гнездо» — 456, *777,* Лаврецкая — 456; Лаврецкий — 456, 457, 484 487, 545, *777;* Лиза — 457 *777*

«Записки охотника» — *695, 747, 776.*

«Затишье» — 454, 477, *775, 776, 781* Астахов — 477, *781;* Верегьев — 454 455, 471, 472, 477, 478, 481, 482 484, *729, 775, 776, 781,* Маша Ипатова — 454, 455, 477, *776*

«Конец Чертопханова» — 455, *776*

«Накануне» — 468, *776;* Берсенев — 455, 456, 468, 477, 479, *729, 776.*

«Отцы и дети» — *773, 776, 782;* Базаров — 456, 478, *776, 782, 794,* Кирсанов Аркадий — 455, 456, 471—473, 477—480, 484, 487, 488, 539, 545, *729, 776, 782, 795;* Кирсанов Павел — 455, 545, *776, 782;* Кирсанов Николай — 455, 545, *776;* Один-

цова Катя — 456, *776;* Феничка — 455, 478, 545, *773, 776, 782.*
«Рудин» — 592, *777,* Пигасов — *805;* Рудин — 456, 457, 477, 483, 485, *729, 776, 777, 783.*
«Чертопханов и Недопюскин» («Записки охотника») — *776;* Маша — *776;* Чертопханов — 455, 477, *776*

«Тысяча и одна ночь», памятник литературы арабского Востока, сборник, включающий свыше 300 сказок и новелл — 446.

Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский историк, публицист и политический деятель, в годы Июльской монархии премьер-министр и министр внутренних дел; с 1871 по 1873 г. глава правительства — 466, 467, 485, 486, 512, 515.

Тэн Ипполит (1828—1893), французский историк литературы и искусства, философ-позитивист — *699.*
«Заметки о Париже» («Notes sur Paris») — *699.*

Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), общественный деятель, в 1857—1859 гг. предводитель дворянства Тверской губернии и председатель губернского комитета, руководитель тверской либеральной оппозиции, в 60-е годы выступал как публицист по крестьянскому и судебному вопросам, вместе с Салтыковым собирался издавать журнал «Русская правда» — *748, 794.*

«Урания». Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской словесности, изданная М Погодиным — альманах, вышел в Москве в 1826 г.— *795.*

Утин Евгений Исаакович (1843—1894), участник студенческих волнений 1861 г., затем адвокат и публицист — *764.*

Фарр Вильям (1807—1883), английский статистик — 448, 454, 457, 459—466, 468—471, 485, *773.*

Феваль Поль (1817—1887), французский беллетрист, автор бульварных романов — 624

Фейдо Эрнест (1821—1873), французский беллетрист, автор романов из светской жизни — 93, *698.*

Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872), немецкий философ-материалист — *746.*

Фелица, имя, которым иазывает Екатерину II в своих одах Г. Р. Державин — *730.*

Фет (Шеишин) Афанасий Афаиасьевич (1820—1892) — 455, 617, *701, 776, 798, 808.*
«Из деревни» — *776.*
«На заре ты ее не буди» — 567, *798*
«Я пришел к тебе с приветом» — 617, *808.*

Фигверас-и-Моралас Станислав (1819—1882), испанский политический деятель, адвокат, участник революций 1840 и 1868 гг., в феврале 1873 г. избран президентом исполнительной власти республики, в июне этого же года вышел в отставку — 641, *809.*

Филиппо Луиза, опереточная актриса, выступала в театре «Искусственных минеральных вод» — 293, 298, *737, 738.*

Фирдоуси Абуль Каснм (род. между 934 и 941 — ум. ок. 1020), поэт, классик таджикской и персидской литератур, автор эпопеи «Шах-Наме» («Книга о царях»).
«Шах-Наме» — *760;* Рустем — *760.*

Флери Эмиль Феликс (1815—1884), французский дипломат, бонапартист, в 1867—1870 гг.— посол в Петербурге, после свержения Наполеона III (1870 г.) возглавлял бонапартистскую партию — 27, *683—684, 685.*

Флобер Гюстав (1821—1880) — *698*

Фогт Густав (1829—1901), немецкий публицист, редактор-издатель «Neue Züriche Zeitung» и «Etats-Unis de l'Europe» — *775.*

Фогт Карл Христоф (1817—1895), немецкий естествоиспытатель и философ, участник революции 1848 г.; эмигрировал в Швейцарию, с 1852 г. профессор Женевского университета — *697, 746.*

Фонвизин Денис Иванович (1744—1792) — 14, *666, 679, 743.*
«Недоросль» — 312, *678, 679, 743;* Простаков Митрофаи — 14—22, 203, *665, 666, 675, 677, 678, 689,* Простакова — *679;* Стародум — *743.*

Франц-Иосиф I (1830—1916), австрийский император с 1848 г.— *806.*

Франческо (Франциск II; 1836—1894), последний неаполитаиский король (1859—1860) — 617.

Фролов Николай Григорьевич (1812—1855), географ — *686.*

Фукс Виктор Яковлевич (1829—1891), чиновник цензурного ведомства, в 1865—1877 гг. член Главного управления по делам печати — *732.*

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — *769.*

Фюрст — 577.

Халабаев Коистантин Иванович, литературовед и текстолог — *699*

Хволос М М, сотрудинк «Вестника русских евреев» — 606, 607, *786, 807, 808.*

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), поэт и писатель — *741.*

«Ода на восшествие на престол Александра I» — 313, *741*

Хлудовы, владельцы бумагопрядильных фабрик в Смолеиской и Рязанской губерииях — *749.*

Хмылов, пермский исправник — 121, *704.*

Христина Мария (1816—1878), жена испанского короля Фердинаида VII; после его смерти, в 1833 г., была провозглашена королевой их дочь Изабелла II, а мать стала регентшей — 642.

Худеков (лит. псевдоиим Сережа) Сергей Николаевич (1837—1913), журиалист, издатель «Петербургской газеты» с августа 1871 г.— *736.*

Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.), полководец, писатель и оратор Древнего Рима — 65, *679, 686, 695, 749.*

Цицерон Марк Тулий (106—43 до н. э.), оратор, адвокат, писатель и политический деятель Древнего Рима — 272, *732—733.*

Цумпт Карл Готлиб (1792—1849), немецкий филолог, профессор Берлинского университета с 1827 г., автор учебиика латинской грамматики — 131, *705.*

«Краткая латинская грамматика» («Auszug aus C. G. Zumpt's lateinischer Grammatik. Zum Gebrauch für untere und mittlere Klassen gelehrter Schulen») — 131, *705.*

Чайковский Михаил Станиславович (1808—1886), польский писатель, участник восстания 1831 г., эмигрант; в 1851 г. вступил на турецкую службу под именем Садыка-Паши; во время Крымской войны сражался против русских — 600, 616, 617.

Чебышев-Дмитриев (лит. псевдоним — Экс) Александр Павлович (1834—1877), профессор Петербургского университета по кафедре уголовного права и судопроизводства; журналист, редактор (с 1869 г. также издатель) журнала «Судебный вестник» (1866—1871) — *775*

Чернышев Алексаидр Иванович, киязь (1786—1857), генерал, с 1832 г. военный министр, с 1848 г председатель Государственного совета — 633, *809*

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — *695, 697, 701, 709, 725, 794.*

«Что делать?» — *697, 701, 794.*

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), геиерал, участник завоевания Средией Азии; в 1875—1876 гг. издатель реакционной газеты «Русский мир»; в 1876 г. командующий сербской армией — *671, 692.*

Чинизелли Эмма, артистка цирка, наездница — 611, 627, 628, 639, 640, 646, 647.

Чурило Пленкович, персонаж русских былин «Молодость Чурилы» и «Чурило и Катерина» — 392, 404, 405, 407, 408, 409, 421, 422, *760.*

Шамбор Анри Шарль Фердииаи Мари Дьедонне д'Артуа, граф, герцог Бордоский (1820—1883), претендент иа фраицузский престол, последиий представитель старшей ветви Бурбоиов, внук Карла X; в начале 70-х годов монархическая партия вторичио (первый раз в 1830 г.) безуспешно пыталась провозгласить королем; после 1873 г сошел с политической арены — *778, 779.*

«*Шах-Наме*» — см Фирдоуси.

Шевелев Николай Александрович (род 1826), подпоручик в отставке, эмигрант, в 1868—1869 гг. жил в Женеве, автор книги «Вероисповедание духовных христиан, обыкновенно иазываемых молоканами» — *779, 789.*

Шекспир Внльям (1564—1616) — 48, *689, 753, 782.*

«Гамлет, принц Датский» — 320, 386, 477, *747, 753, 781, 782,* Гамлет — *753, 781.*

«Хроника короля Геириха IV» — 48, *689;* Доль — *689.*

Шнейдер (у Салтыкова — Шнейдерша) Гортензия (1834—1920), французская актриса театра Буфф, в конце 1871 — начале 1872 г. гастролировала в Петербурге — 182, 272, 278, 279, 282—284, 286—289, 293, 294, 299, 311, 359, 440, 441, 506, *735, 736, 738.*

Штакеншнейдер Елена Андреевна (1836—1897), мемуаристка, автор «Дневника и записок (1854—1886)» — *721, 726.*

«Дневник» — *721, 726.*

Штейниц Г., немецкий издатель — *692.*

Шувалов Иван Иванович (1727—1797), генерал-адъютант, государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны — *795.*

Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), генерал-адъютант, главный начальник III Отделения и шеф корпуса жандармов в 1866—1873 гг., с 1874 по 1879 г — русский посол в Лондоне — *697, 744*

Шуйский Василий Иванович — см Василий Шуйский.

Шухардин, владелец сада и трактира в Петербурге — 313, 315, 450, 454, 458, 462, 506, 607, *742, 775.*

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — *753.*

Эвридика (миф) — 534, 540, *795*

Эдельберг Иван Александрович (род. 1856), харьковский гимназист, в 1872 г. привлекался к суду за убийство крестьянина П Мерзликина с целью ограбления — 427, *769.*

Эзоп, полулегендарный древнегреческий баснописец VI—V вв. до н. э.— 112.

Эйнем, московская кондитерская фирма — 350.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1960), литературовед — *699, 800, 801.*

Элпидин Михаил Константинович (ок. 1835—1908), владелец типографии и издатель в Женеве — *691, 692*

Энгель Эрнст (1821—1896), немецкий статистик, с 1860 г руководил прусским статистическим бюро — 454, 457, 465, 467, 470, 471, 476.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), химик, профессор Петербургского земледельческого института, публицист-народник, автор «Писем из деревни», по инициативе Салтыкова печатавшихся в «Отечественных записках» в 70 х годах, корреспондент Салтыкова — *730, 748*

Энгельс Фридрих (1820—1895) — *663.*

Эрбер, владелец магазина фруктово-колониальных товаров на Невском проспекте в Петербурге — 272, 276, *733.*

Эрве (Флоримон Ронже; 1825—1892), французский опереточный композитор, певец, актер, музыкант и капельмейстер — *772.*

«Повелитель дикообраза» («Le sire de Forc-Epic») — 440, 442, 443, 446, *772.*

Эстер — 577.

Юматов (лит. псевдоним — Юхманов) Николай Николаевич, журналист, в 1863—1867 гг редактор-издатель газеты «Весть» (совместно с В. Д Скарятиным), в 1868—1869 гг. «Нового времени» (совместно с А. Киркором) — *740*

Юрьев Сергей Андреевич (1821—1883), критик и переводчик, председатель «Общества любителей российской словесности» с 1878 г.— *680.*

Юстиниан (483—565), византийский император с 527 г — 38, *686.*

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894), этнограф, археолог и писатель, исследователь Сибири — *782*

Яковлев Николай Васильевич, литературовед — *796, 798*

«Неизвестные произведения М Е. Салтыкова-Щедрина» — *796, 798.*

Aragon, цирковая актриса — 618, 619

Borthu Jane Louis (1862—1934), французский адвокат и государственный деятель, автор ряда исследований о Ламартине — *695.*

«Lamartine orateur» — *695*

«Le Charivari», французский сатирический журнал, выходивший в Париже в 1832—1866 гг — 97.

Claudia (Клодиа), артистка опереточной труппы, игравшей с 1867 г в «Заведении искусственных минеральных вод», а затем в театре Буфф — 441, 443.

«Le Figaro», французская ежедневная газета, издается в Париже с 1854 г.— 97, 98.

Joyeux, французский актер, выступал в опереточной труппе, игравшей с 1867 г. в «Заведении искусственных минеральных вод» — 118.

«Le Journal pour rire», юмористический иллюстрированный журнал, выходил в Париже в 1848—1866 гг.— 97.

Leon, владелец магазина мужского белья в Петербурге — 120.

«Le Moniteur Universel», французская политическая официальная газета, основанная в 1789 г. в Париже; издавалась под этим названием по 1 января 1869 г.— *695.*

«La Revue des Deux Mondes», французский двухнедельный литературно политический журнал, издается в Париже с 1829 г.— 491, *784, 785.*

«Le Sabre de mon père», под этим названием в России шла оперетта Оффенбаха «Герцогиня Герольштейнская» (см.)

Virginie, цирковая актриса, наездница — 618, 619.

ПОПРАВКИ К ВЫШЕДШИМ ТОМАМ

Том 6. Вводная заметка в примечаниях к «Журнальной полемике» 1864 г. (стр. 692—697) написана Л. М. Розенблюм.

Том. 9. Примечания к рецензиям «Суета сует». Соч. Николая Соловьева» и «Цыгане». Роман В. Клюшникова» написаны Л. М Розенблюм.

Стр. 636, стлб. 2, строка 25 св. следует читать: «Новый Нарцисс» («Признаки времени»).

Стр. 645, строка 3 св следует читать: Напрасные опасения.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

От автора 7

Введение 8

Что такое «ташкентцы»? 22

Ташкентцы-цивилизаторы 41

Они же 59

Ташкентцы приготовительного класса

Параллель первая 82

Параллель вторая 121

Параллель третья 161

Параллель четвертая 211

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ 271

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ И НАБРОСКИ

Господа ташкентцы

Две редакции очерка «Господа ташкентцы» «Из воспоминаний одного просветителя»

Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя.

Нумер *второй* 557

Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя.

Нумер третий 570

Ташкентцы приготовительного класса
Параллель пятая и последняя 582
Дневник провинциала в Петербурге
В больнице для умалишенных
Продолжение «Дневника провинциала в Петербурге» 588

Примечания 661
Указатель личных имен и названий периодической печати 811

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 10

Редактор *С. Розанова*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 15/VII 1969 г. Подписано к печати 23/III 1970 г. Бумага типогр. № 1 60×90¹/₁₆. 52,5 печ. л. уч.-изд. л. 53,032 + 1 вкл. = 53.092 л. Тираж 55 500 экз. Заказ № 2669. Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.